



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

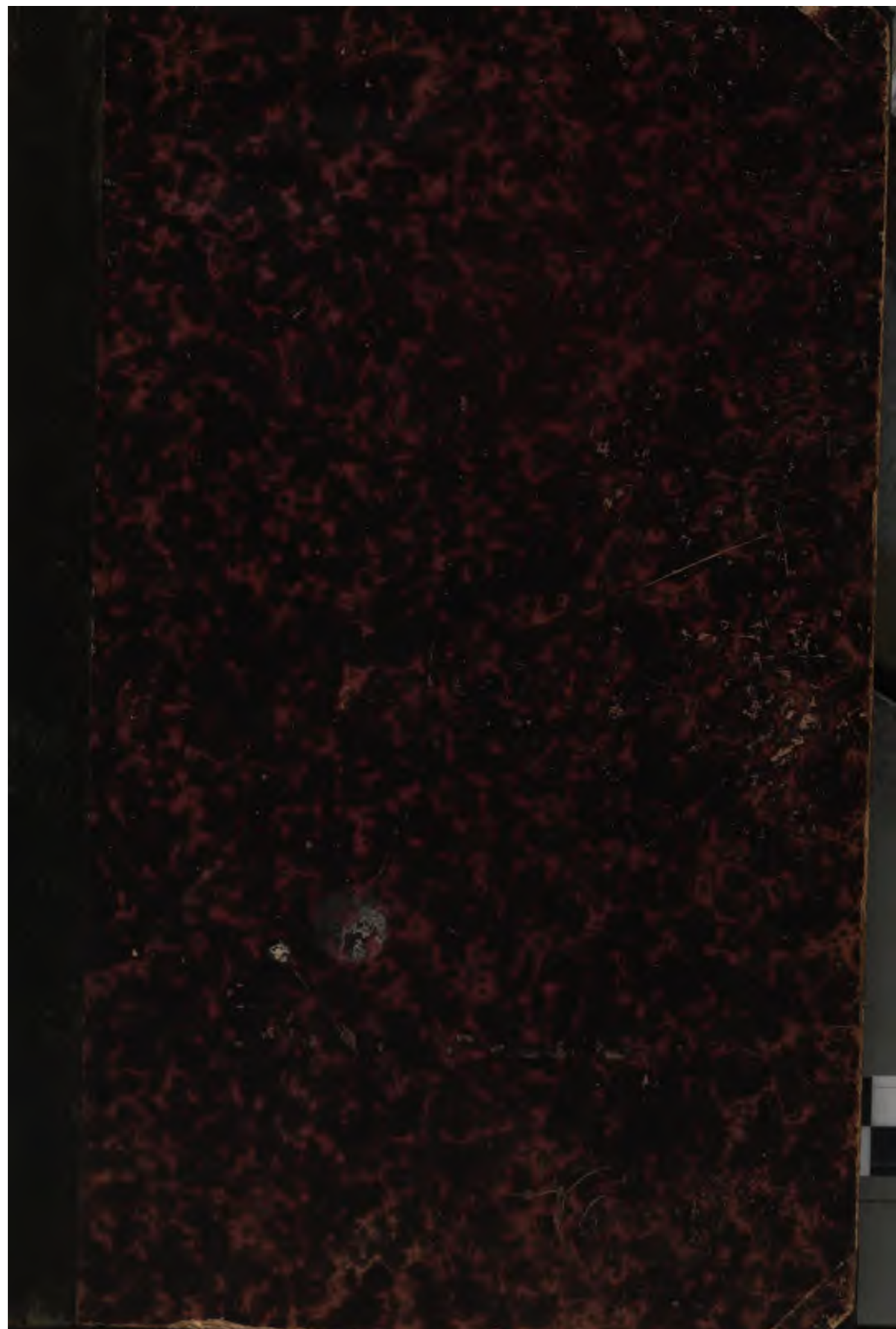
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



2466.





Гребинка, И. Е. Р.

СОЧИНЕНИЯ
Е. П. ГРЕБЕНКИ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

122466.

Южно-Русское Книгоиздательство
Ф. А. ЮГАНСОНА.

1902.

КІЕВЪ — ПЕТЕРБУРГЪ — ХАРЬКОВЪ.

1902.

РГ 3337

Нб

1902

v. 1

Дозволено цензурою. Київъ, 30 января 1902 года.

КІЕВЪ,

Типографія И. И. Чоколова, Фундуклеевская улица, домъ № 22-й.

1902.

N 2466.



Разсказы Пирятинца.

I.

ДВОЙНИКЪ.

БЫЛЬ.

I.

Ни холодно було, ни душно,
А самое такъ якъ въ сирякахъ;
И весело и такъ не скушно,
На великодныхъ мовъ святкахъ.

И. Котляревскій.

Праздникъ, праздникъ! кто тебя не любить? Не самъ ли Богъ назначилъ чело-вѣку день для отдохновенія? и это былъ вѣнецъ творчества. Шесть дней кипѣли силы природы по волѣ святаго Зиждителя и въ седьмой юная земля, какъ невѣста, засверкала, въ алмазной коронѣ горъ, об-искрытая лучами солнца, обвитая зеленью лѣсовъ и синевою моря. Все были чисто, свѣтло, спокойно. Земля имѣла царя-чело-вѣка, и Великій Зодчій, смотря на свое тво-реніе, съ улыбкой отдохнулъ отъ трудовъ. Это былъ первый праздникъ міра; что мо-жетъ быть святѣе начала его? Говорятъ, въ...ской семинаріи написано много пудовъ хрій, и *порядочныхъ*! и *превращенныхъ*, о пользѣ труда, и ни одной строчки о пре-лести успокоенія. Очень хорошо! прекрас-но! но ради чего вамъ угодно, господа писатели хрій, не представляйте нашу жизнь аспидною доской, исчерченною сѣ-ренъкими цифрами. Вездѣ математика, ра-бота уму—и ничего сердцу! Утѣшительна мысль о будущей жизни: тамъ мы, усталые путники, положимъ свой посохъ и ношу... отдохнемъ.

Я люблю Италію за ея dolce far niente, уважаю на Востокѣ одинъ кейфъ и, какъ уроженецъ Малороссіи, могу ли необожать праздниковъ? Только я не люблю ихъ въ шумномъ городѣ, гдѣ какой-нибудь бѣднякъ на занятія деньги нанимаетъ извозчика, надѣваетъ лучшее платье и, подъ дождемъ и стужею, съ самой зари отправляется бороздить уличную грязь въ возможныхъ геометрическихъ направленіяхъ; съ улыб-кою на губахъ и досадою въ душѣ, запи-сываетъ въ переднихъ свое имя, которое никто не читаетъ, или проговариваетъ за-ученныя поздравленія, которыхъ никто не слушаетъ. Не правда ли, это нисколько не весело?

То-ли-дѣло праздникъ въ деревнѣ! по-утру благочестивые собираются къ обѣднѣ; обѣдня кончилась и всѣ гуляютъ, какъ ко-му хочется, какъ вздумается. Тамъ не ко-сается на меня, что я пріѣхалъ въ черномъ галстукѣ; такъ я смѣюсь громко и еще громче спорю о чемъ мнѣ угодно. Удиви-тельно-хороша жизнь на-распашку!

Къ моему дядюшкѣ, бывало, въ праз-дникъ найдетъ, Боже мой! сколько добрыхъ

людей: ближній нашъ сосѣдъ съ женою, наша сосѣдка со своимъ мужемъ, отставной полковникъ, трехфутровая фигурка, вѣчно зашита въ мундирный сюртукъ; бывшій засѣдатель Иголочкинъ, подлинно прямой человекъ—во всю жизнь я ничего не видывалъ подобнаго аршину—еще кто-то въ шалоновомъ сюртукѣ, еще кто-то въ бѣлой жилеткѣ, еще и еще... да ихъ всѣхъ и въ день не описать!

А вотъ видите ли въ углу старика, съ крестомъ на шеѣ? Съ нимъ не шутите: онъ смотритъ въ землю, а далеко кругомъ видѣть; „онъ дока“, говорятъ мои земляки, не имѣя ничего, дослужился до чиновъ и крестовъ и благопріобрѣлъ въ вѣчное и потомственное владѣніе славную деревеньку, съ лугами и лѣсами, и мельницами, и рыбными ловлями. и прочая—такъ написано въ крѣпостномъ актѣ. Прочтите, когда не вѣрите; это должно быть въ архивѣ. Говорятъ злые люди, *якобы* онъ продавалъ... ну, продавалъ все, что можно продавать... Да это чистая ложь: посмотрите, какой онъ смирный!

Вотъ новоиспеченный помѣщикъ Евсей Кузьмичъ Носковъ. Онъ служилъ подпоручикомъ въ пѣхотѣ и носилъ подъ мундиромъ отчаянныя манжеты. Укравши, назадъ годъ и два мѣсяца, въ нашемъ уѣздѣ себя ~~небѣстну~~, онъ вышелъ въ отставку и сдѣлался помѣщикомъ. Впрочемъ, онъ добрый малый и въ большихъ связяхъ: въ Петербургѣ его короткій пріятель въ какой-то канцеляріи служить журналистомъ. „Можетъ“, говоритъ Евсей Кузьмичъ, „онъ теперь заважничалъ; а прежде мы съ нимъ жили душа въ душу“.

Вотъ еще Иванъ Ивановичъ, Петръ Петровичъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ—рекомендую: препорядочные люди; не смотрите, что они такъ неловко кланяются—не стличные!

А дядюшку и забылъ-было! не того дядюшку, у котораго гости, это самъ-по-себѣ, а другаго дядюшку, прелюбезнаго человека! Видите, въ сѣромъ казакинѣ съ отложнымъ воротникомъ и въ сапогахъ съ острыми китайскими носками, смѣется-себѣ мой дядюшка. Экой проказникъ! Совѣтую съ нимъ познакомиться: у него растутъ славныя арбузы.

Сѣли за столъ. Между-тѣмъ какъ хозяйка убѣдительно проситъ отвѣдать и борщу съ перепелками, и жареной индѣйки, и каплуна подъ лимоннымъ сокомъ, хозяйинъ предлагаетъ прохладительное:

— Петръ Петровичъ, не хотите ли рюмочку сливянки? Василій Васильичъ, вы охотникъ до рябиновки: это преполезная настойка. Я ее предпочитаю золототысяч-

нику. А вы какую предпочитаете, Евсей Кузьмичъ?

— Чужую-съ.

Гости хохочутъ.

— Но что же вы больше пьете?

— Хмѣльное-съ.

Всеобщій смѣхъ. Кузьмичъ и въ полку слылъ острякомъ.

Отобѣдали. Дамы удалились въ гостиную, гдѣ на столикѣ, покрытомъ синею ярославскою скатертью, ихъ ожидали плоды и варенье.

Мужчины закурили трубки. Разговоръ сдѣлался шумнѣе.

— Святая старина, баситъ сосѣдъ съ орденомъ:—теперь не то, что было: молодежь стала просвѣщаться, мечтать, всѣ—разсуждать...

— Смѣю доложить, сказалъ Иголочкинъ,—мы имѣемъ свои формы...

— Да и какъ прежде учили! перебилъ сосѣдъ: всѣ великіе люди, небойсь, скажете изъ нынѣшней молодежи?...

— Объ этомъ-то я вамъ и докладывалъ.

— Чтобъ у меня не взошла рожа къ назначенному сроку! кричалъ Носковъ:—а на что палки растутъ? Я поставлю на-своемъ! Охъ, это хамово племя! Громъ не грянетъ—мужикъ не перекрестится.

— Но всходы зависятъ не отъ прикащика, а отъ погоды, замѣтилъ кто-то.

— Въ службѣ что за отговорки!

Нѣкто въ шалоновомъ сюртукѣ плюнулъ и понюхалъ табакъ. Нѣчто, въ бѣломъ жилетѣ, сидя въ уголку хохотало до упаду, закрывъ лицо пестренькимъ платочкомъ. И къ чему это? подумаешь; какъ-будто лицо что-нибудь запрещенное? Я полагаю это такъ, странность.

— Да не такъ давно, въ семилѣтнюю войну, не отретируйся Апраксинъ, мы бы дали нѣмцамъ *тово оно какъ его*,—пищаль, подбоченся маленькій полковникъ.—Вотъ, на примѣръ, подъ Грос-Эгерндорфомъ я приказалъ моимъ кирасирамъ готовиться къ атакѣ да какъ крикну *тово! и ну его* во весь карьеръ...

Разговоръ дѣлался шумнѣе. Слова и рѣченія, противорѣчившія другъ другу, мѣшались, сталкивались и отражались въ ухахъ, какъ цвѣтныя стекла въ калейдоскопѣ.

Я предложилъ моему пріятелю N. прогуляться; мы подошли къ дверямъ. У самаго порога стояла наша сосѣдка и, крѣпко держа за полу своего мужа, спрашивала:

— Куда ты идешь?

— Я имѣю надобность.

— Какую надобность?

— Да такъ, душечка, право такъ.

— Охъ, этотъ мнѣ такъ! Ты вѣчно не бережешься, сегодня выпилъ два стакана холодной воды! Такъ совсѣмъ можно охладить себя. Что со мною будетъ тогда?...

Тутъ мой пріятель затворилъ дверь, и мы очутились на свободѣ.

Это было весною, подъ свѣтлымъ небомъ Малороссіи. День вечерѣлъ. Зеленые берега рѣки трепетали въ золотыхъ отливахъ; бѣлыя, пушистыя вѣтви цвѣтущихъ черешень, разбурьянныя послѣдними лучами солнца, стыдливо выглядывали между темныхъ вѣтвей дуба; кудрявыя яблони наполняли воздухъ ароматомъ; спокойная рѣка, какъ перламутръ, мѣнялась въ радугахъ; рѣзвухи-рыбы сновали по ней; яркія серебряныя нити или прихотливыми всплесками брызгали жидкимъ золотомъ. А небо—Боже мой какъ было хорошо это чистое небо!... Ни одной тучки, ни одного пятнышка. Только въ вышинѣ вился бѣлый голубь; какъ алмазъ горѣлъ онъ въ безграничной синевѣ, все выше и выше и... свѣтлою искрою угасъ въ эфирѣ.

Люблю я тебя, милая родина! Роскошна твоя природа, чистъ и нѣженъ воздухъ твой; не-земнымъ сладострастіемъ онъ наполняетъ грудь мою!

На зеленомъ лугу играютъ поселяне. Тамъ пестрая толпа дѣвухекъ: онѣ поютъ и вытягиваются длинною цѣпью, свиваются въ вѣйки, развиваются, живою вереницею мчатся по лугу, то, рассыпаясь, ловятъ другъ дружку; звонкія пѣсни ихъ оглашаютъ окрестность.

Далѣе, парубки играютъ въ мячи. Присутствіе *кожанокъ* одушевляетъ ихъ; съ какимъ стараніемъ одинъ хочетъ *попятнать* другаго! какія употребляетъ хитрости и неправды, чтобы крикомъ *ниша взяла* привлечь вниманіе пары черныхъ глазъ. И въ деревнѣ для улыбки, для ласковаго слова человѣкъ старается унижить ближняго. Бѣдныя люди! вѣрно такова ваша природа...

Игра въ мячи шла превосходно. Тутъ былъ *маткою* судовой паничъ, изъ ближняго города. Какъ чертовски играетъ онъ! Какъ теперь гляжу: онъ скидываетъ свой свѣтлозеленый нанковый сюртукъ и остается въ панталонахъ цвѣта яичнаго желтка, въ красномъ мериновомъ жилетѣ и въ огромномъ галстукѣ; бережно кладетъ на землю клеенчатый картузъ; поплевалъ на руки, взялъ палку, взмахнулъ—и послушный мячъ летитъ высоко-высоко, чуть видимо! Грѣхъ сказать, судовой паничъ мастеръ своего дѣла.

Согласитесь, нельзя не любить эту игру. Сколько мыслей приходитъ въ голову, глядя на нее! Не похожъ ли человѣкъ на

мячъ? часто я думаю, и судьба, какъ судовой паничъ, по прихоти своей заставляетъ его летѣть то выше, то ниже; во всякомъ случаѣ, впереди одинъ финалъ—паденіе.

Мы подошли къ гулявшимъ.

Старики не участвовали въ играхъ, а, собравшись въ кружокъ, вспоминали свое молодечество. Старухи, глядя на парубковъ и дѣвухекъ, мысленно ихъ сватали и мечтали о будущихъ свадьбахъ. Молодежь существенно наслаждалась настоящимъ. Всѣ были веселы, довольны, счастливы. Чего жъ болѣе?

Я смолodu любилъ сельскую жизнь и посвятилъ не одну слезу чувствительному Геснеру. Беззаботная радость поселенія очаровала меня; я началъ идилически вѣрить въ земное счастье людей, какъ дитя вѣрить сказкѣ няни о безбровомъ оборотнѣ, какъ невинная дѣвушка вѣрить клятвамъ своего любовника; но случай такъ жестоко уничтожилъ мои мечтанія!

Выливали ли вы сусликовъ? Вѣрно нѣтъ. А я-такъ выливалъ. Послушайте. У меня, во время оно, былъ учитель-семинаристъ, высокій, тощій философъ, въ длинномъ голубомъ сюртукѣ на заячьемъ мѣху, съ неразрѣзными полами, и въ полуботфортахъ. Онъ назначить, бывало, мнѣ урокъ изъ латинскихъ вокабулъ, а самъ ходитъ по комнатѣ, закинувъ за спину руки; ходитъ долго, ходитъ и нюхаетъ табакъ, еще ходитъ и свиститъ; потомъ беретъ картузъ, беретъ ведро и отправляется на охоту выливать сусликовъ.

Латынь для меня пахла гнилью. „Отчего же“, подумалъ я, „мнѣ нельзя охотиться?“ бросилъ книгу подъ столъ, промыслилъ ведро воды—и вотъ я уже въ полѣ.

Приволье жить въ степи! вышелъ за дворъ: вправо волнуются, шумятъ богатая нивы; влѣво яркимъ ковромъ раскинулся душистый сѣнокосъ, вверху звенитъ жаворонокъ, а внизу такъ и шныряютъ между травой мои непріатели—суслики.

Я скоро нашелъ норку этого звѣря и началъ лить въ нее воду; вода заурчала и наполнила норку. Я притаилъ дыханіе. На поверхность воды взбѣжалъ пузырь и лопнулъ, за нимъ другой и тотъ лопнулъ, и вслѣдъ за этимъ показалась мокрая головка суслика. Увидя меня, онъ попытался назадъ; назади вода—враждебная стихія; впереди я, человѣкъ—существо страшное. Бѣдный звѣрёкъ остался неподвиженъ. Уже жадная рука моя была протянута схватить его и—опустилась: передо мной, со всею педагогическою важностью, стоялъ учитель: видъ его былъ грозенъ, лицо пылало, полы сму-

тука играли съ вѣтромъ, и указательный перстъ былъ поднять кверху...

— Чтѣ ты здѣсь дѣлаешь? спросилъ учитель.

— Выливаю суслика.

— Какъ ты могъ смѣть это дѣлать?

— Я у васъ выучился.

— Э-э-э! Знаешь ли ты: *quid licet Jovi non licet bovi* (*). Понимаешь?..

И, договаривая эту пословицу, онъ уже тянулъ меня довольно-невѣжливо домой. О, проклятая латинь! Я не понималъ ее, но изъ дѣла подозрѣвалъ въ ней что-то недоброе; варварскія рифмы *Jovi* и *bovi* непріятно отзывались въ ушахъ моихъ. Этого мало: у насъ были гости. Сколько насмѣшекъ вытерпѣлъ я при чужихъ людяхъ отъ злаго педагога! сколько слезъ мнѣ это стоило!... Богъ съ ними, и врагу моему не совѣтую трогать сусликовъ; пусть они живутъ въ своихъ норкахъ.

Много лѣтъ прошло послѣ этого приключенія. Давно уже мой учитель сочетался законнымъ бракомъ; уже его дѣти бѣгло склоняютъ *cornu*; но я живо помню бѣднаго мокраго суслика, съ его испуганною мордочкой, съ его глазами, устремленными на меня въ какомъ-то глупомъ недоумѣніи.

Увеличьте этого суслика аршина въ два съ четвертью, одѣньте въ лохмотья, поставьте на заднія лапы—это будетъ вѣрный портретъ человѣка, который попался намъ на дворѣ. Равнодушно смотрѣлъ онъ на игры, напѣвая что-то вполголоса и, казалось, не замѣчалъ насъ.

— Здравствуй, Андрей, сказалъ Н., подходя къ незнакомцу.

— Здравствуйте, отвѣчалъ онъ, поворота на насъ свои оловянные глаза.

— Отчего ты не идешь гулять?

— Гулять?... гм!...

Глупая улыбка искривила лицо Андрея; онъ почесалъ въ затылкѣ.

— Развѣ ты не хочешь?

— Андрей не хочетъ: его не любятъ люди, а онъ ихъ боится.

— И насъ боится?

— Васъ?... Онъ пристально посмотрѣлъ на насъ и опустилъ голову, какъ-бы стараясь что-то припомнить, опять бѣгло взглянулъ и побѣжалъ, повторяя:—страшно Андрею!

— Чтѣ это за чудакъ? спросилъ я Н.

— Сумашедшій.

— *И по всему замѣтно*. О какомъ Андрей говоритъ онъ?

— Это его двойникъ. Недавно перестали говорить въ здѣшной деревнѣ о приключе-

*) Что прилично Юпитеру, то неприлично быку.

ніи, которое лишило ума этого несчастнаго. Если тебѣ будетъ пріятно, я готовъ разсказать.

— Да какъ это можетъ быть непріятно? Слушать приключеніе, въ концѣ котораго человѣкъ сходитъ съ ума. это—верхъ блаженства въ нашъ вѣкъ ужасовъ! И ты, обладая такимъ сокровищемъ, скрывалъ его!..

Станный человѣкъ Н. Глядя на него, вы никакъ бы не подумали, что онъ знаетъ хоть одно подобное происшествіе! Я самъ, клянусь вамъ, не подозрѣвалъ этого, а вышло противное!

Мы сѣли на траву, и Н. началъ говорить.

II.

Хиба уже бидному люботы не треба?

Малор. пѣсня.

Нѣсколько лѣтъ назадъ не было въ С* казака краше Андрея, да и богатствомъ онъ не уступалъ самому выборному; у него было два плуга воловъ; всякое лѣто отправлялъ онъ нѣсколько огромныхъ воевъ въ Крымъ за солью, или на Донъ за рыбою. Чего, бывало, не навезутъ оттуда! тарани, чабака, сельдей и всякой всячины; почти вообразить невозможно сколько! А коровы какія у него были! а овцы! а кабана, бывало, кормить къ Рождеству какого! Я самъ былъ у него въ саду: что за прелесть! Въ саду стоитъ будка, въ будкѣ сидитъ дѣдъ-сторожъ—гроза сосѣднихъ мальчишекъ. У этого-то дѣда прошу отвѣдать фруктовъ.

А въ хатѣ чего-то не было! Въ переднемъ углу, какъ въ цвѣтникѣ, между засушенными гвоздиками и васильками, стояли два образа, писанные на кипарисныхъ доскахъ, а кипарисъ, какъ извѣстно, дерево пахучее, у насъ не растетъ. Андрей на-славу заплатилъ за нихъ два съ полтиною и фунтъ воску суздальскому разнощику, и то разнощикъ по дружбѣ уступилъ такъ дешево. Добрые люди эти суздальцы!

На полѣ красовался длинный строй мисокъ, настоящихъ изъ Ични, съ глазурью, съ лапчатыми узорами. Вся печь была исписана клѣточками, звѣздочками, точками красными, черными, желтыми. Хохлатые голуби ворковали подъ печкою; на печкѣ мурлыкала сѣрый котъ. „Обиліе въ дому Андрея!“ говаривалъ, облизываясь, нашъ приходскій дьячокъ. Да какъ и не сказать этого?

Будь дуракъ да богатъ—назовутъ умнымъ. Такъ мудрено ли, что Андрей, малый не глухой, при своемъ богатствѣ, взялъ верхъ надъ всѣми молодыми людьми

въ деревнѣ? Гдѣ онъ, тамъ веселье и пѣсни и хохотъ. Парубки старались подражать ему; дѣвушки по немъ вздыхали. Да не только въ С*, а въ цѣломъ околоткѣ.

Напримѣръ, въ Крипицѣ на ярмаркѣ народу, можетъ-быть, тысяча слишкомъ бываетъ: и купечество, и духовенство, дворянство, и даже самъ засѣдатель—Андрею все трынть-трава! Какъ разгуляется—что твои запорожцы! Найметъ скрипку да бубенъ—и пошелъ по ярмаркѣ... Шапка на немъ сивыхъ смушковъ; свитка синяя, перетянута краснымъ поясомъ; шаровары полосатой пестради, сапоги юфтовые.

Былъ одинъ только отставной капраль, нейшлотскаго карабинернаго полка, который могъ танцовать съ Андреемъ. Гдѣ собралась куча народу, тамъ, вѣрно, они тѣшались. Капраль вытянется въ струнку, какъ передъ начальникомъ, руки по швамъ, глаза направо; только ноги пишутъ разные узоры. Андрей станетъ противъ него, заложитъ большіе пальцы за поясъ, наклонится впередъ, взглянетъ на сапоги—и пошелъ выдѣлывать такіе хитрые вензеля! ударитъ трепака—земля трясется! а какъ начнетъ косить въ присядку—Господи Боже, что за удалъ! Теперь нѣтъ такихъ танцоровъ.

Вдругъ Андрей пересталъ танцовать, пересталъ гулять: все грустить, молчить, все думаетъ; товарищи не узнаютъ его: вѣрно его сглазили, или изурочили. Разно говорили объ этомъ, разно думали, и никто не могъ догадаться; а Андрей, просто, влюбился, да еще какъ! Оно бы ничего, да лукавый попуталъ Андрея: онъ влюбился въ панночку!

Тамъ, подъ горою, стоитъ домъ Оомы Оомича, моего двоюроднаго дѣдушки; одна сторона дома спряталась въ садъ, а другая безжизненно смотритъ своими битыми окнами на широкій дворъ; этотъ дворъ теперь заросъ травой, а прежде, при жизни дѣдушки, экипажи сосѣдей не давали ей показываться изъ земли; нерѣдко и коляска маршала гордо катилась по немъ и, стуча и хлопая ветхими членами, останавливалась передъ крыльцомъ. Хозяинъ дома, въ нанковомъ сюртукѣ, съ косою и очковскимъ крестикомъ, умѣлъ достойно принять именитаго гостя, глубокомысленно разговаривалъ о губернскихъ новостяхъ и убѣдительно доказывалъ, отчего въ гербъ его пѣтушій хвостъ и роза, а не другіе цвѣты.

„Оома Оомичъ человекъ сильно мнительный, какъ по книгѣ говорить“, нѣсколько разъ повторялъ одинъ мой знакомый, пріѣзжая отъ дѣдушки. Слѣдовательно, по крайнему моему разумѣнію, у него,

должно быть, довольно-скучно; а между тѣмъ и старики, и молодые, и судовые паничи, и офицеры...скаго полка, всякій день являлись къ Оомѣ Оомичу, ѣли его хлѣбъ-соль; въ глаза свидѣтельствовали ему низжайшее почтеніе, за глаза смѣялись надъ нимъ и не сводили глазъ съ его дочери, милой Уляси. Это былъ магнитъ.

И правда, Уляся стоила вниманія: семнадцатая весна только-что образовала роскошныя ея формы... Но я не хочу, не стану описывать пластическія красоты: объ этомъ и безъ меня много говорили и писали. Да и можно ли сказать: мнѣ нравится дѣвушка, потому-что у нея черныя локоны, тонкая талія, маленькая ножка! Нѣтъ; такъ можно хвалить лошадь, можно хвалить охотничью собаку, но отнюдь не прекраснѣйшую половину прекраснаго созданія божія—человѣка. Есть особая прелесть, неуловимая, невыразимая для языка, но понятная для сердца, которую можно чувствовать, но не объяснить, и эту прелесть имѣла Уляся. Какъ мило краснѣла она, когда майоръ Хворостинъ, подсѣвши къ ней, начнетъ, бывало, рѣчь о погодѣ! длинныя рѣсницы ея опускались на пламенные глаза, и косынка сильно подымалась на груди.

Майоръ, *знатокъ въ женщинѣхъ*, какъ называли его товарищи, толковалъ это въ хорошую сторону.

Бѣдный майоръ захотѣлъ формально сочетаться законнымъ бракомъ съ Улясею и, по командѣ, адресовался къ отцу ея. Что жъ, вы думаете, сказалъ мой двоюродный дѣдушка?

Онъ просилъ жениха рассказать свое родословное дерево, а это не шутка! Майоръ потѣлъ, водилъ пальцемъ по лбу и никакъ не могъ доказать своего дворянства далѣе перваго колѣна по восходящей линіи. Тогда Оома Оомичъ воспламенился благороднымъ гнѣвомъ, вычислилъ по пальцамъ шесть дюжинъ своихъ предковъ и, въ заключеніе, важно поправляя очковскій крестикъ, сказалъ:

— Итакъ, знайте, милостивый государь мой, что скворцы въ орлиныя гнѣзда не летаютъ.

Хворостинъ съѣлъ грязь; лицо его сдѣлалось краснѣе общерамейскаго воротника; онъ пренеловко поклонился, скорыми шагами вышелъ изъ комнаты и поскакалъ на квартиру, оглашая дорогу различными междометіями во славу геральдики.

Бѣдный деньщикъ, говорятъ, много вытерпѣлъ при встрѣчѣ своего начальника. Это неудивительно. Согласитесь сами, вѣдь, надобно-жъ на комъ-нибудь вымѣстить свою досаду, чтобъ не испортить здоровья?

Но когда пыль гнѣва прошла; майоръ опять сталъ такимъ, какъ и прежде: выправлялъ рекрутъ, пилъ пуншъ изъ заграничнаго стакана, волочился за управительницею, пригонялъ амуніцію и въ занятіяхъ по службѣ забывъ, или почти забывъ, Улясю. Только не могъ онъ произнести имени Оомы Оомича безъ какого-нибудь кудряваго украшенія и, разумѣется, нога его болѣе не была въ домѣ моего двоюроднаго дѣдушки. Въ итогѣ вышло:

Майоръ не женился на Улясѣ.

Уляся осталась дѣвушкою.

И въ эту-то Улясю влюбился Андрей! Весьма справедливо нашъ уѣздный лекаръ, прехитрый нѣмецъ, нарисовалъ амура съ завязанными глазами.

Андрей былъ человѣкъ скрытный и никому не говорилъ, гдѣ и когда онъ влюбился. Впрочемъ, намъ до этого нѣтъ дѣла. Мало ли есть людей влюбленныхъ? и вѣрно и всякая интрига имѣла начало отъ какого-нибудь случая. Иной влюбляется на тротуарѣ, тотъ—въ маскарадѣ, нѣкоторые—Господи, прости! смотря на дѣвушекъ несатымъ сердцемъ въ церкви божіей и, кажется, нашъ Андрей принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Гдѣ ему лучше можно было видѣть панночку, какъ не въ храмѣ? тамъ люди нѣкоторымъ образомъ уравниваются; тамъ и панъ, и мужикъ—христіане, хотя все-таки существо въ фризовой шинели морщить рожу и подвигается на полвершка впередъ, когда дерзкая свитка ровняется съ нимъ. Впрочемъ, сказать рѣшительно, что какой-то де казакъ Андрей, такого-то мѣсяца дня и числа воспыла въ законопреступную любовь къ дочери вельможнаго пана, имярекъ, не могу: боюсь девятой заповѣди.

Андрей любилъ въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, и любилъ со всею страстью души пылкой, свободной, непривыкшей подчинять свои дѣйствія голосу холоднаго разсудка. Ему привилось видѣть Улясю, и онъ безотчетно глядѣлъ на нее, какъ на радость, какъ на утѣху. Но когда взоръ ея встрѣчался съ его взоромъ, онъ чувствовалъ, какъ эти черныя очи жгли казачью душу; онъ потуплялъ глаза; въ ушахъ у него шумѣло; горячая кровь такъ и переливалась въ сердцѣ.

Придетъ, бывало, Андрей въ церковь, станетъ подъ стѣною и все смотреть на панночку. Народъ молится, онъ все смотритъ на нее; благочестивые помолются, да и бредутъ домой, а онъ стоитъ какъ вкопанный; ему тяжело оставить свое мѣсто: сколько минутъ онъ былъ на немъ счастливъ!

Бывало, сядетъ Андрей вечеромъ на горѣ противъ дома Оомы Оомича и смотреть на окна; такъ свѣтится. „Можетъ-быть, она что работаетъ, или сидитъ, или ложится спать; этотъ огонекъ ей свѣтитъ“. И бѣднякъ завидовалъ огоньку. Вотъ мелькнула тѣнь. „Можетъ-быть, это ея тѣнь“ шепталъ онъ, и воображеніе рисовало ему свѣтлицу пана и Улясю съ ея огненными очами, съ ея милою улыбкою. Онъ готовъ былъ бѣжать, летѣть въ горницы гордаго пана и—оставался на прежнемъ мѣстѣ. Часто утренняя заря заставляла его тамъ, гдѣ покидала вечерняя.

Разгадайте, какая симпатія привязывали Андрея къ Улясѣ? Не отыскала ли душа бѣдняка въ душѣ панночки своей половины? А что вы думаете, гг. философы? вѣдь это можетъ быть.

Въ одинъ день въ домѣ Оомы Оомича была замѣтна необыкновенная дѣятельность: рано утромъ старая кухарка пронесла черезъ дворъ индѣйскаго пѣтуха; возлѣ погреба ключникъ разливалъ въ бутылки сливянку; къ конюшнѣ былъ привезенъ большой возъ сѣна; на крыльцѣ звѣвалъ и потягивался камердинеръ въ праздничномъ платьѣ; оно попало въ воявы изъ старыхъ панскихъ, а панъ былъ цѣлою головою ниже камердинера, слѣдовательно... Но кто безъ ошибокъ? Все предвѣщало праздникъ, и праздникъ не на шутку. Мой двоюродный дѣдушка не любилъ ударить лицомъ въ грязь. Событіе оправдало ожиданіе. Веселье былъ этотъ день; гости шумно пировали и разѣхались послѣ ужина, въ одиннадцать часовъ. Шутка ли?

Но всѣ ли тутъ веселились? По законамъ природы этого быть не можетъ. Нашъ міръ такъ чудно устроенъ, что крайности въ немъ невозможны. Природа дала человѣку и розы, и шипы вмѣстѣ; насадила ароматныя рощи гвоздики и скрыла въ нихъ гремучаго змія. Зло и добро, радость и печаль смѣшаны въ картинѣ нашего быта, какъ свѣтъ и тѣнь въ ландшафтѣ искуснаго художника. Крайности исчезаютъ въ противоположностяхъ: рыданія переходятъ въ хохотъ, продолжительный смѣхъ выдавливаетъ слезы. А у Оомы Оомича былъ пиръ горой.

У моего двоюроднаго дѣдушки были два музыканта-скрипача Я думаю... но вы не поймете меня, не слышавши ихъ; вы не вкушали этого безконечнаго веселья. Одинъ, буфетчикъ, игралъ ргімо. Что за чувствительное былъ созданіе! Подлинно, какъ говорятъ, съѣлъ собаку на скрипкѣ! всякую нотку дать, бывало, почувствовать; смычекъ у него такъ и юлитъ по струнамъ, пальцы дрожать, носъ шевелится, брови

ходить; а гдѣ придется трелька, онъ, бывало, даже присѣдаетъ. Другой—не знаю какъ опредѣлить его—онъ не пахалъ земли, но и не принадлежалъ совершенно къ огромной панской дворнѣ; жилъ на деревнѣ, но вмѣсто свитки носилъ какое-то преобразование сюртука, и вмѣсто шапки—военную фуражку. Онъ былъ мастеръ сбывать на ярмаркахъ домашніе продукты, иногда, въ часъ нужды, слеталъ въ городъ купить рису или винныхъ ягодъ, или бутылку рому, и въ торжественныхъ случаяхъ секундовалъ буфетчику—словомъ, онъ былъ человѣкъ, такъ, для всякихъ порученій. Этотъ почти не двигалъ пальцами, водилъ смычкомъ тише и смотрѣлъ глупѣе. А какое согласіе выходило у нихъ! Иной и въ свѣтъ бѣгаетъ, суетится, молитъ, другой едва двигается, а оба играютъ одну штуку! Говорятъ, это необходимо для общей гармоніи.

У дверей залы стояли буфетчикъ и человѣкъ для всякихъ порученій, дружно ударяя смычками по струнамъ скрипокъ экоссеэзъ.

Сама, ангелъ, какъ не стыдно
Вещь къ себѣ чужую брать?

рождаясь подъ ихъ искусными пальцами, раздавался въ залѣ. Танцы начались.

Передъ растворенными окошками собралась толпа любопытныхъ; вся почти дворня глазѣла на панскія потѣхи. Андрей втерся въ толпу и пробрался до самаго окошка: ему хотѣлось видѣть Улясю. Какъ чортъ передъ заутреней, прыгалъ съ нею тошій канцеляристъ, въ синемъ фракѣ, съ огромною сердоликовой печаткой на длинной цѣпочкѣ; ноги его, точно два восклицательные знака, корчились и ломались подъ разными углами. Весело было смотрѣть на канцеляриста.

„Послать бы тебя, проклятаго дармоѣда, косить сѣно, не такъ бы запрыгалъ!“ думалъ Андрей. „Вишь, лѣсной комаръ, какъ подкачивается!“

Онъ самъ не зналъ, за что сердился на весь свѣтъ, и на заходящее солнце, и на деревья, и даже на воробья, скакавшего на кровлѣ, а о канцеляриствѣ и говорить нечего.

Экоссеэзъ, какъ водится, кончился *змѣйкою*. Танцовавшіе разбрелись по комнатамъ. Уляся подошла къ окну; глаза Андрея встрѣтились съ ея глазами: она смотрѣла такъ ясно, такъ ласково! Бѣднякъ ожилъ; словно электрическая искра пробѣжала по его нервамъ, разбудила силы, зажгла душу и наполнила ее восторгомъ.

То же солнце казалось ему пышнѣе, краше обыкновеннаго; деревья непонятно хорошо зеленѣли; воробей чирикалъ какую-то пріятную пѣсенку; самого канцеляриста Андрей готовъ былъ дружески прижать къ сердцу. И какъ недолго человѣкъ бываетъ счастливъ!

Какіе виды, надежды и тому подобное имѣлъ Андрей? спросать меня люди *аристократы*.—Никакихъ. Слѣдовательно, онъ былъ дуракъ?—Совершенно согласенъ: это былъ дуракъ съ пылкой душой, пламеннымъ сердцемъ, свободою волей; его любовь была поэзія высокая, прекрасная, въ первообразной простотѣ; никто не зналъ, не подозрѣвалъ ее, да и сказать объ этомъ пану, все-равно, что закурить трубку на раскупоренномъ боченкѣ пороха. Панъ и казакъ—два полюса враждебные, —и—.

Правда, иногда посредствомъ препаратовъ нижняго земскаго суда, процесомъ, вовсе для насъ непонятнымъ, эти крайности соединяются и производятъ пресмѣшное чернильное существо, безъ цвѣта, вкуса и запаха, нѣчто въ родѣ карточного домика, пряничнаго конька или суздальской живописи: существо, презирающее земледѣліе и непонимающее *благороднѣйшихъ* игръ бостона и виста, такъ близкихъ почти всякому дворянину. Андрей не терпѣлъ подобныхъ выскочекъ и любилъ Улясю безотчетно. Любовь со всѣми мученіями ему нравилась; бросившись въ водоворотъ ея, онъ не могъ изъ него выбиться; страсть играла имъ, кружила, подняла высоко и бросила, какъ однажды вихрь шапку чумака на лубенской ярмаркѣ. „Бѣдная шапка“, всѣ думали, „она полетитъ за облака“; вихрь прошелъ, смотрятъ: летитъ шапка на землю и прямо въ лужу...

Бывали минуты, когда Андрею казалось, что его замѣчаютъ, на него смотрятъ привѣтно, ласково—и подъ грубою свиткой нѣжно трепетало сердце бѣдняка; душа его утонула въ чистыхъ, безмятежныхъ восторгахъ; надежда навѣвала на него что-то непонятно-пріятное; разсудокъ закрывалъ глаза. Андрей, какъ говорится, находился *въ упоеніи*. И въ такомъ-то забытіи онъ былъ послѣ экоссеэза.

Экая скрипка у буфетчика! такъ и заливается, будто словами выговариваетъ: „mein liber Augusten“; другая тоже славно вторить за нею. У стараго нѣмца-садовника Z. запрыгало ретивое; онъ громко билъ тактъ, и еслибъ тогда не докуривалъ своей трубки, то я навѣрное знаю, пустился бы кружиться, задыхаясь и ворча подъ носъ: ein, zwei, drei!...

Пфу! згинь нечистое племя! Опять канцеляристъ съ сердоликовой *печаткой*!

Ухмыляясь, какъ дуракъ передъ пирогомъ, подходитъ онъ къ панночкѣ, беретъ ее въ охапку—пошелъ вертѣть! Повѣрите ли вы этому? душить въ объятіяхъ, да и только! И какъ Ома Омичъ при своихъ глазахъ позволяетъ такъ помыкать дочерью?!

„О, вражій сынъ!“ закричалъ Андрей видъ себя отъ досады. „Черти бы тебя опановали!“

Это восклицаніе достигло слуха отца Уляси, сидѣвшаго недалеко отъ окна.

— Кто тамъ шумить? спросилъ онъ.

Любопытные брызнули въ стороны. Андрей одинъ остался на мѣстѣ; глаза его впились въ окошко; онъ былъ въ совершенномъ забытіи.

— Да это казакъ Андрей! Зачѣмъ ты сюда, какъ баранъ, смотришь? сказалъ Ома Омичъ.

„Сто тысячь десятковъ бочекъ чертей тебѣ, бездѣльнику,“ ворчалъ Андрей, не видя моего двоюроднаго дѣдушки и не слыша словъ его.

Представьте себѣ на мѣстѣ Омы Омича, и вы повѣрите, что онъ разсердился.

— Гей! хлопцы! зачѣмъ всякая дрянь лѣзетъ передъ мои окна? Чего вы смотрите? Вонъ съ двора этого пьяницу Андрея!

Рѣзкій голосъ пана разбудилъ Андрея — и сердце бѣдняка судорожно сжалось; холодный потъ выступилъ по тѣлу; свѣтъ закружился, заплескалъ въ глазахъ его. Съ хохотомъ бросилась на несчастнаго голодная челядь пана и, осыпая его толчками и насмѣшками, повлекла со двора.

Пусть бы въ другое время кто изъ нихъ осмѣлился тронуть казака Андрея: худая вышла бы расправа; а теперь онъ шелъ машинально, какъ животное, не понимая, чтѣ съ нимъ дѣлаютъ: вся жизнь его, казалось, перешла въ глаза, устремленные на домъ Омы Омича; тамъ еще раздался вальсъ, старый нѣмецъ билъ тактъ, въ окнѣ мелькала Уляся въ объятіяхъ канцеляриста.

А какъ страшно посмотрѣла на Андрея

вся природа! панскій домъ хохоталъ, какъ старый драгунъ, переваливаясь съ боку на бокъ; садъ значительно улыбался; рѣка злобно скалила зубы; даже кривобокая голубятня, и та строила гримасы... а люди... они торжествовали. Но какъ страшны были они: лица ихъ вытянулись, глаза потемнѣли, уста неистово скривились, раскрылись груди; тамъ было черно-черно, тамъ кипѣлъ цѣлый адъ крови; они насмѣшливо мигаютъ на Андрея; они приближаются къ нему; они холодными перстами трогаютъ его сердце... И бѣднякъ упалъ замертво подлѣ воротъ моего двоюроднаго дѣдушки.

Слова *выгнать Андрея* загремѣли въ ухахъ бѣдняка; какъ проклятiе судьбы ему показался этотъ голосъ выходящимъ изъ безпредѣльной пропасти, раздѣляющей его съ Улясею. И какъ послѣ этого любить Андрея? Несчастный разлюбилъ его—собственное свое имя.

Скоро въ С* отъ войта до послѣдняго мальчишки всѣ узнали, что Андрей боленъ странною болѣзнью: онъ представлялъ себя въ двухъ лицахъ, разговаривалъ съ кѣмъ-то, называя его Андремъ, и рассказывалъ, что онъ скоро бы женился, да Андрей помѣшалъ ему. Жалобамъ не было конца. Старухи поили его разными травами, подкуривали подметками, перьями и всякою шерстью, сбивали голову какими-то очень полѣзными обручами—все напрасно! Люди добрые, качая головами, говорили: „не трогайте его, такъ ему Богъ далъ.“ И всѣ вообще потолковали, да и перестали, и Андрей дурачекъ сдѣлался такъ же обыкновеннымъ въ селѣ, какъ прежній Андрей-гуляка.

Тутъ мой прiятель замолчалъ.

— А Ома Омичъ? спросилъ я.

— Онъ пилъ, ѣлъ, принималъ гостей, рассказывалъ свою родословную и спокойно умеръ.

— А что сдѣлалось съ Улясею?

— Она вышла замужъ и — сдѣлалась дамой.

II.

СТРАШНЫЙ ЗВѢРЬ.

НАРОДНОЕ ПРЕДАНИЕ.

Въ давнія времена, когда люди были добрѣе, земля плодороднѣе и по бѣлу свѣту много таскалось колдуновъ, оборотней, вѣдьмъ, упырей и всякой болотной и лѣсной сволочи; въ тѣ времена, въ сторонѣ казачьей, въ Малороссіи, на берегу Удаи широкаго, жилъ козакъ богатый, *Иванъ-добрый человекъ*. Многочисленныя стада его паслись на зеленыхъ лугахъ прибережныхъ; ежегодно нивы его волновались богатыми жатвами и обширный садъ отягчался плодами.

Не два явора развѣсистые шумятъ возлѣ дуба столѣтняго—два сына-козака растутъ у *Ивана-добраго человека*; не зеленая вѣтка хмѣля вѣется вокругъ пня дубоваго—молодая дочь лелѣетъ старость Ивана.

Добрый человекъ жилъ спокойно и счастливо. Но долго ли до бѣды? Въ обширный садъ его, говорятъ, по навѣту какой-то злой вѣдьмы, а можетъ-быть, и по собственному произволу, началъ учашать незваный гость—вепрь, величины неимоверной; онъ дѣлалъ страшныя опустошенія, подрывая деревья плодовые. И хозяинъ сада, и сосѣди его издали обходили мѣсто недоброе и, крестясь, творили молитву ангелу-хранителю.

Иванъ призадумался и говорить сынамъ своимъ:

— Кто изъ васъ убьетъ звѣря дикаго, разоряющаго достатокъ нашъ, тотъ получитъ половину богатства моего.

Страшенъ былъ вепрь: много обѣщали за его голову. Корысть превозмогла страхъ, и старшій братъ, сопровождаемый родительскимъ благословеніемъ, отправился караулить опустошителя.

Тихъ былъ вечеръ, когда пришелъ старшій въ садъ заколдованный, и расположился подъ вѣтвистою яблонью. Онъ легъ на траву мягкую, душистую и разложилъ вокругъ себя оружіе разное. Тихо шептали ему листочки древесныя что-то невѣдомое, но пріятное; вѣжди его смежились. Еще онъ слышитъ перебаты соловья чудесныя, но то уже не пѣсня соловьиная; ему кто-то поетъ на ухо: „спи, добрый человекъ; сладко спать ночью на мягкой по-

стели.“ Старшій потянулся, зѣвнулъ, раскинулъ руки могучія и захрапѣлъ сномъ богатырскимъ.

Ночь прошла, день насталъ, и солнышко, выбѣжавъ на гору, разлило веселый свѣтъ свой на все твореніе Божіе. Медленно вышелъ старшій братъ изъ сада отцовскаго, огорченный неудачею. На лицѣ его была написана печаль и негодование: онъ проспалъ приходъ врага своего.

На другой вечеръ пришла очередь меньшому.

— Не ходи, сказалъ отецъ ему:—ты молодъ еще, не укрѣпились силы твои и опасна будетъ тебѣ борьба съ звѣремъ страшнымъ.

— Чтѣ Богъ дастъ, то и будетъ,—отвѣчалъ меньшой, взявъ шапку, перекрестился и вышелъ.

„Братъ мой хитеръ и отваженъ“ подумалъ старшій: „онъ не проспитъ вепря, изловить его и получить половину богатства отцовскаго. Чтѣ я буду передъ нимъ?—бѣднякъ!—я, братъ старшій!... Какъ зазнается этотъ мальчикъ! Онъ былъ въ колыбели, я трудился уже. И за чтѣ онъ пожнетъ плоды трудовъ моихъ?... Пойду, подожду его на дорогѣ, въ кустахъ калиновыхъ; когда онъ будетъ возвращаться съ побѣдою къ отцу, я уговорю его обѣщаніями лестными—и онъ отдастъ мнѣ добычу свою; въ противномъ случаѣ, у меня есть острый топоръ, котораго не разъ трепетали дубы дубровныя и, падая съ холмовъ, омывали вѣтви-свои въ струяхъ Удаи быстротечнаго.“ И вотъ заблестало въ рукахъ его желѣзо убійственное, и ветхая дверь хижины съ воплемъ жалостнымъ пропустила брата на дѣло пагубное, на дѣло, доселѣ неслыханное въ Украинѣ—на братоубійство! Вся природа содрогнулась; полуночный вѣтеръ зашумѣлъ на *проклятой* осинѣ; стая вороновъ спорхнула съ ближнихъ деревьевъ и, злобно каркая, взвилась на воздухъ; луна покрылась цвѣтомъ кровавымъ.

Меньшой не бралъ съ собою, подобно брату старшему, оружія разнаго; у него не было ни пищали, ни сабли увѣсистой, ни кинжала заговореннаго. Твердая

вѣра въ Провидѣніе, мужество и проворство казачье да петля арканная—вотъ было его оружіе. Наломавши связку терновника колючаго, онъ постлалъ себѣ постель подъ яблонью развѣсною. Сладко шептали листья въ саду очарованномъ; соловей запѣлъ попрежнему—и меньшого одолѣла дремота тяжелая. Но чуть онъ склонился на постель молодецкую—иглы острые, терновыя выводили его изъ усыпленія: вздрагивая, онъ напрягалъ ухо чуткое, прислушивался, не идетъ ли звѣрь-чудовище. И скоро гость ожидаемый запрыгалъ въ силкѣ, искусно разставленномъ; застоналъ, заметался. Не беретъ сила звѣриная: пустился на хитрости: началъ мѣняться въ разные образы: то, дѣвушкою чернобровою, предлагалъ свои прелести; то, нѣмцомъ-искусникомъ, на ножкахъ тоненькихъ, показывалъ часы съ курантами, и сѣрныя спички самопалительныя, и всякія диковинки заморскія; то, жидомъ-арендаторомъ, разсыпалъ золото свѣтлое и камни самоцвѣтные—не помогли лукавому ни сила, ни хитрости. Казакъ-простой человѣкъ, не прельстился наводненіями богомерзкими, убилъ звѣря-опустошителя и, съ сердцемъ, полнымъ восхищенія, спѣшилъ обрадовать отца побѣдою. Уже видѣлись вдали бѣлыя стѣны хаты отцовской, озаряемая луною серебристою, и силы побѣдителя удвоились: перелетный вѣтерокъ навѣвалъ ему благоуханіе съ ближнихъ кустовъ цвѣтущей калины.

Часто бываетъ змѣя ядовитая подъ голубымъ барвинкомъ и зеленой рutoю. Въ душистыхъ кустахъ крылась смерть храбраго.

Шумя приняли побѣдителя вѣтви зеленныя въ свои объятія; онъ утонулъ въ кустахъ калиновыхъ.

Жалостно что-то застонало въ тѣнистой зелени и по небу чистому покатила звѣздочка ясная; стонъ затихъ, и звѣздочка свѣтлыми искрами разсыпалась въ синемъ воздухѣ.

Тутъ зашевелились кусты цвѣтущіе, раздвинулись вѣтви зеленныя: озираясь, вышелъ изъ нихъ старшій, неся на плечахъ вепря-чудовище; руки его были въ крови; широко шагаль онъ; искры прыгали въ глазахъ его, змѣи ползали подъ ногами; кто-то дергалъ его за полы, и шапка не держалась на головѣ. Онъ убилъ брата своего.

Страшная ночь прошла, уступая мѣсто ясному утру, и вскорѣ веселое солнышко, выкупавшись въ синемъ морѣ, выплыло изъ дальнихъ степей востока. Въ хатѣ Ивана раздавались веселые крики пировавъ; со сѣди сходились глазѣть на звѣря чуднаго,

и кубки варенухи душистыя переходили изъ рукъ въ руки любопытныхъ.

— Что же я не вижу сына младшаго моего? сказалъ *Иванъ-добрый человѣкъ*, разглаживая усы.—Или онъ не радуется побѣдѣ брата своего? или неудача огорчила юное сердце его, и онъ стыдится придти на глаза мои?

Ты не увидишь его болѣе, старецъ сѣдовласый, ты не прижмешь къ груди своей сына возлюбленнаго! Тамъ, на лугу, зарытъ убійцею трупъ его, неотпѣтый, неоплаканный!

Прошелъ день, другой и третій, прошла недѣля, за нею другая, а меньшаго и слыху не было. Горько рыдалъ безутѣшный отецъ о потерѣ его, рвалъ сѣдины и ломалъ руки изсохшія.

— Кто,—говорилъ онъ,—будетъ подпорою моей старости? Старшій сынъ мой, получилъ богатство, забылъ меня, и я остался одинъ съ дочерью слабою! Кто нагрузить возъ мой снопами тяжелыми? кто впряжетъ въ него воловъ круторогихъ и привезетъ на гумно мои богатые дары Всевышняго? кто зимою холодною, когда зашумятъ мятели по полямъ и лѣсамъ обнаженнымъ, согрѣетъ старика беззащитнаго? чей горю трудолюбивый застучитъ въ рошѣ ближней, и чья рука попечительная разложитъ огонь въ хатѣ моей?

— Развѣ я не осталась у тебя? прервала дочь его.

Старикъ покачалъ головою; она бросилась въ его объятія.

Дочь *Ивана-добраго человѣка* печалилась о братѣ, и дни молодости стали ей невеселы. Приблизился день Купала; запылали костры горячіе; поселяне украшали головы свои вѣнками и, при пѣсняхъ согласныхъ, простоты и невинности, прыгали черезъ пламя розовое. Одна она не участвовала въ общей радости; юное чело ея не покрывалось рutoю вѣчнозеленѣющею, ни гвоздичками золотистыми, ни васильками лиловыми. Настали обжинки, и колосья ржи, переплетенные съ красною калиною, появились на головахъ молодыхъ дѣвушекъ; она одна не надѣла вѣнка въ день общей радости: печаль о братѣ тяготила сердце ея.

Такъ прошло лѣто. Подкралась осень съ длинными вечерами. Въ полѣ чисто; щебетливая ласточка спряталась до весны въ колодезь, и вскорѣ снѣгъ укуталъ спящую землю бѣлымъ покрываломъ. Молодежь собиралась на вечерницы и досвѣтки; далеко звучали пѣсни ихъ, и хохотъ слышенъ былъ черезъ улицу. Подъ шумъ веретена и веселыхъ прибаутокъ нечувствительно пролетѣла зима. Счастливицы! не такъ тянулася она для дочери *Ивана-до-*

благаго человека; сердце ея замерло для радости; она не выбрала себѣ друга, не видѣла вечерницъ и досвѣтковъ; а люди? люди называли ее гордою!...

И вотъ повѣялъ весенній вѣтеръ; снѣгъ исчезъ. Весело зажурчали ручейки, и дикіе гуси, съ крикомъ радостнымъ, длинными вереницами понесли съ юга на сѣверъ. Вотъ и деревья зазеленѣли. Прибережныя взгорья Удаю покрылись травой, какъ бархатомъ. Насталъ часъ трудолюбія; крики пахаря раздавались на поляхъ; пастухи погнали овецъ на паству сочную. Все ожило, и могила брата невиннаго, никѣмъ не знаемая, приосѣнилась толстымъ стеблемъ *болиголова* (*). Пастухъ срѣзалъ его и сдѣлалъ свирѣль; приложилъ ее къ устамъ своимъ и чудо!—свирѣль играетъ пѣсню печальную, доселѣ имъ неслыханную:

По малу малу, овчарю, грай,
Не врази мого серденька вкрай.
Мене братъ убывъ, на лугу зарывъ,
За того вепря шо въ саду рывъ.

Онъ удивляется, надуваетъ ее въ другой разъ, и опять повторяется та же пѣсня заунывная. Цѣлый день игралъ пастухъ на свирѣли и къ вечеру тихо потянулся со стадомъ въ деревню.

Былъ прекрасный весенній вечеръ. Легкій сумракъ распространялся въ воздухѣ; тонкій туманъ, какъ дума грустная, подернулъ покойныя зыби Удаю; ароматный воздухъ дышалъ нѣгою. Пригорюнясь, сидѣла дочь Ивана подъ хатою.

— Не крушись, дитя мое! говорилъ ей *добрый человекъ*:— послушай, какъ поютъ *веснянку* (**) твои подруги! Какое у нихъ веселіе! а ты все плачешь о братѣ. Гдѣ онъ—Богъ знаетъ! Вотъ сегодня ровно годъ, какъ о немъ слуху нѣтъ...

— Слушай!... сказала она, схвативъ отца за руку.

Въ это время пастухъ проходилъ мимо нихъ, и свирѣлька пѣла жалобно страшную повѣсть братоубійства. Старикъ ужаснулся. Давно сердце его не лежало къ старшему сыну; онъ что-то подозрѣвалъ въ немъ недоброе, и теперь подозрѣніе осуществлялось. Старикъ подзываетъ пастуха, и предлагаетъ ему продать свирѣль. Пастухъ пожелалъ за нее овцу бѣлорунную. Сказано—сдѣлано, и свирѣль осталась въ рукахъ *Ивана-добраго человека*.

— Сегодня праздникъ, сказалъ Иванъ, входя въ жилище сына старшаго:—пойдемъ въ домъ мой и раздѣлимъ, что Богъ послалъ намъ.

И вотъ они въ хатѣ старика. *Иванъ-добрый человекъ* вынулъ изъ-за образовъ свирѣль таинственную и подалъ сыну, говоря:

— Поиграй на ней.

Чуть свирѣль коснулась къ устамъ старшаго, какъ заиграла печальнѣе прежняго:

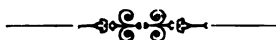
По малу малу, братику, грай,
Не врази мого серденька вкрай.
Ты жъ мене убывъ, на лугу зарывъ,
За того вепря, шо въ саду рывъ.

Крупный потъ покатился съ чела преступника, судорожно сжалось лицо его, но слезы не лились изъ глазъ братоубійцы. Онъ лежалъ у ногъ отца своего.

— Прости меня, о, родитель мой! и прервати жизнь, давно для меня тягостную, простоналъ онъ.—Я недостойнъ смотрѣть на свѣтъ Божій: алчба къ золоту подавила во мнѣ любовь родственную; я убилъ невиннаго брата и кровь его вызываетъ ко мнѣ! — Сокройся отъ очей моихъ! сказалъ *Иванъ-добрый человекъ*:—Да будетъ Богъ судья тебѣ, а укоры совѣсти—наказаніемъ.

И старшій скрылся изъ дома отцовскаго.

Долго бродилъ онъ по лѣсамъ и пустынямъ и влачилъ жизнь, очерченную пагубнымъ злодѣяніемъ; взоры его были дики и на лицѣ виднѣлась печать отверженія; совѣсть терзала душу его, внутренній жаръ пожиралъ преступное сердце; тщетно хотѣлъ онъ погасить его, съ жадностью впивая въ себя дыханіе вѣтровъ холодныхъ: окровавленная тѣнь брата вездѣ представлялась испуганнымъ глазамъ преступника, и въ завываніяхъ бури, и въ шопотѣ листьевъ отзывалась заунывная пѣсня свирѣли. Когда рокоталъ на небѣ громъ, и молнія раздирала черныя тучи, напрасно онъ призывалъ смерть: и громы, и молнія не касались его, наказывая жизнь, лютейшею смерти. Не скоро Всевышній послалъ ему конецъ желанный. Душу братоубійцы съ хохотомъ радостнымъ принялъ адъ въ свои нѣдра, а тѣло его сдѣлалось пищею вороновъ и волковъ хищныхъ.



*) Вѣтвистое однолѣтнее растеніе.

**) Веснянки—пѣсни, посвященныя собственно весеннему времени.

III.

ТЕЛЕПЕНЬ.

БЫЛЬ.

I.

Авванасію Ивановичу было шестьдесят лѣтъ.

Н. Гоголь.

Давно уже умерла жена отставного есаула Крутолоба, но онъ до сихъ поръ еще скучаетъ по ней; со дня смерти ея, улыбка слетѣла съ устъ есаула; онъ сдѣлался грустенъ, задумчивъ, хотя прежняя доброта его еще удвоилась. Когда онъ слышалъ про доброе дѣло или дѣлалъ какое добро, то, вмѣсто прежней улыбки, глаза его таяли въ слезахъ удовольствія, и старикъ медленно отворачивался въ сторону.

На берегу Перевода потонулъ въ садахъ скромный хуторъ Крутолоба. По хутору тянется глубокая дорога, окопанная **рядами**, изъ которыхъ, вырастая, роскошные **кусты** бузины и калины осѣняютъ ее широкими темно-зелеными вѣтвями, увѣшанными коралловыми и сизыми гроздами плодовъ. Въ прорѣдъ кустовъ мелькаютъ богатые огороды, краснѣетъ макъ, желтѣютъ подсолнечники, бѣлѣютъ стѣны хатъ и золотится стогъ ячменя. Направо съ дороги стоятъ растворчатые ворота съ соломеннымъ навѣсомъ и скамеечкою. Это ворота на дворъ есаула. Тамъ виденъ его маленький домъ съ выкрашенными ставнями и остроконечными дверьми; по обѣимъ сторонамъ двора стоятъ кладовыя и амбары; передъ окнами дома шумитъ грушевое дерево.

Часто любилъ есаулъ сидѣть за воротами на скамеечкѣ и думать, опершись на толстую кленовую палку. А между тѣмъ солнце садилось ниже и ниже, золотя кудрявые сады и зажигая облака пыли, которую прихотливо поднимаютъ по дорогѣ стада, бѣгущія на ночлегъ. Поселяне, возвращаясь съ поля, почтительно снимали передъ есауломъ шапки. И небо и земля постепенно темнѣли. На рѣкѣ кахеала утка; гдѣ-то за селомъ звучала свирѣль; далеко въ полѣ стучала ѣхавшая повозка; но и эти звуки замирали, и Крутолобъ медленно возвращался домой; тамъ уже стоялъ ужинъ и ждала его Галя.

Галя была единственная дочь есаула; для нея онъ жилъ, за нее боялся и радовался; она была существо, привязывавшее

его къ этой жизни. Ей едва минуло пятнадцать лѣтъ. Скромная, тихая, робкая, еще несогрѣтая огнемъ желаній, неоживленная страстями — этою мучительно-прекрасною жизнію, она была взрослое дитя, не оконченное, но предестное созданіе природы. Хорунжій Шлапакъ сравнивалъ ее съ горлицею. И точно, какъ робкая горлица, Галя росла въ домѣ отца своего; тѣнистый садъ былъ ея любимымъ убѣжищемъ, пѣсни — лучшею забавою. Бывало, какъ запоетъ она своимъ звонкимъ голосомъ *Могила* или *Чайку* или *Гоминъ по диброви* — задумается Крутолобъ, задумается крѣпко; крупныя слезы, сверкая черезъ длинные, сѣдые усы, покатаются въ чарку; онъ броситъ ее, соблазнительницу, прижметъ Галю къ груди своей, и долго-долго цѣлуетъ ее, и во весь тотъ день не пьетъ ничего, даже стосильнику, хотя многіе рекомендуютъ его, какъ вѣрное лекарство въ горести.

Не любилъ Крутолобъ шумныхъ бесѣдъ. Прошла пора, когда онъ, полный огня и жизни, упивался вихремъ войны и разгульно, бѣшено пировалъ съ пріятелями. Ему теперь какъ будто снились темныя ночи, когда, завернувшись въ косматую бурку, онъ сторожилъ и мракъ, и шелестъ дикой травы. Крутомъ тянется широкая тѣнь степи; по ней ползетъ кривецъ; фыркаетъ чуткій конь и прядетъ ушами, а частый осенній дождикъ шумитъ и обдастъ холодомъ до костей. Какъ звѣздочка, дрожитъ въ дальнемъ горизонтѣ огонекъ. Тамъ красныя жупаны, тамъ казацкія шапки, тамъ льется медъ и водка, бряцаютъ сабли, гремятъ пѣсни; тамъ жидъ играетъ на цимбалахъ, прыгаютъ и звенятъ стальные струны, пляшетъ цыганка: по поясу черныя косы; лицо горитъ, очи дерзко сверкаютъ; въ рукахъ кубокъ, на устахъ вольныя рѣчи... и шумъ, и свистъ, и хохоть... Все улетѣло съ лѣтами! холодные свидѣтели разгульной жизни: сабля и винтовка, безмолвно висятъ на стѣнѣ; на нихъ вьется паутина. Много товарищей не досчитывалъ есаулъ: нинѣ замучены въ Варшавѣ, другихъ засыпалъ

знойный песокъ Малой Азіи, кто не вернулся изъ молдавскихъ виноградниковъ, кто остался въ Черномъ морѣ... Грустное воспоминаніе! тутъ не пойдутъ на душу веселыя пѣсни.

Любилъ старикъ-есаулъ своего сосѣда, стараго сотника Подопригору. Часто они просиживали вмѣстѣ длинные вечера, вспоминая бывшее. Бывало, Подопригора прѣдетъ съ утра въ гости къ Крутолобу, и чуть станетъ смеркаться, то уже собирается домой: велитъ привести къ крыльцу своего коня, застегнетъ кунтушъ, возьметъ въ руки и шапку, и нагайку. Тогда есаулъ заводитъ стороною рѣчь про старые походы: сотникъ садится, закуриваетъ трубку, кладетъ нагайку и шапку на столъ—и забываетъ свое намѣреніе. Тихо тянулася ихъ бесѣда; лѣнливою струйкою наливался медъ въ золоченныя чарки и серебристая пѣна жемчужилась по краямъ ихъ; тонкою, едва замѣтною змѣйкою вился дымъ отъ трубокъ. Все спало; давно уже перекликнулись первые пѣтухи, и нагорѣвшая свѣчка слабо свѣтила въ комнатѣ, когда сотникъ, распростиаясь съ есауломъ, уѣзжалъ домой. Впрочемъ, и Шлапака любилъ Крутолобъ, любилъ и другихъ сосѣдей, но не такъ, какъ Подопригору.

Съ незапамятныхъ временъ началась ихъ дружба. Еще при покойницѣ-женѣ Крутолоба, уже вдовецъ, Подопригора часто посѣщалъ его съ маленькимъ сыномъ Петромъ; и Петро, и Галя, рѣзвыя дѣти, весело бѣгали по саду, играли, шумѣли и свыклись, какъ братъ съ сестрою. Теперь уже Галя выросла; она краснѣла, какъ маковъ цвѣтъ, когда говорили о Петрѣ. Со дня на день ожидали красиваго, молодого казака Петра, чтобъ праздновать его свадьбу съ Галею. Это была воля ихъ родителей. И Петро, и Галя, какъ послушныя дѣти, и не думали этому противиться.

II.

Отъ и встереглись!

Малоросс. поговорка.

— Нѣтъ, я позову весь дубенскій и прилуцкій полкъ, соберу всѣхъ родныхъ и знакомыхъ. Хотя полсвѣта приходи, у меня достанетъ хлѣба и вареной: пусть гуляютъ, да помнятъ, когда старикъ Подопригора женилъ сына!

— Оно такъ; но къ чему это? отвѣчалъ Крутолобъ.—Богачи будутъ пить, ѣсть, да тебя еще обругаютъ. Не лучше ли позвать нищихъ, раздать милостыню?

— Это само-собою; я ихъ соберу, пожалуй, дѣлю сотню, только съ условіемъ,

чтобъ ни одинъ изъ нихъ не строилъ кислой рожи и не пѣлъ про Лазаря, потому что у меня будетъ свадьба, а не—сохрани насъ, Боже!—похороны. Я хочу въ волю повеселиться съ добрыми людьми; найму пирятинскую музыку съ барабанами, съ тарелками...

— Ты все еще молодъ!

— Помолодѣешь отъ радости, когда женишь сына-молодца на такой дѣвчонкѣ, какъ Галя! Да ты что такъ невеселъ? Развѣ тебя не радуетъ свадьба дочери?

— Мнѣ что-то грустно; какъ-будто сердце чуетъ недоброе.

— Пустое, братъ! Мы проговорили за полночь, тебѣ видно, спать хочется. А все виноватъ мой Петро. Всѣ казаки вернулись домой, его задержали въ Прилукахъ и врядъ ли онъ сегодня будетъ... Ночь темная, ни зги не видать... Ба! слышишь ли топотъ? это онъ! вѣрно онъ. И сотникъ взглянулъ въ окно.

Въ окнѣ рисовалась страшная рожа, въ другомъ еще страшнѣе... Не успѣли пріятель обмѣняться взглядами, какъ быстро отворилась дверь и грозно вошелъ въ комнату дюжій мужчина, въ богатомъ поклафтаньи.

— Ни съ мѣста! сказалъ онъ, вынимая изъ-за пояса длинный пистолетъ:—я—Телепень.

И сотникъ, и есаулъ, какъ окаменѣлые, остались на своихъ мѣстахъ.

Между-тѣмъ другой разбойникъ, вооруженный съ ногъ до головы, сталъ въ дверяхъ, обнажилъ широкій ножъ и, какъ бы играя, началъ пробовать пальцемъ его лезвіе.

— Что же вы молчите, господа? сказалъ Телепень:—и не просите меня подкрѣпить силы съ дороги? Впрочемъ, я васъ не стану беспокоить, я и самъ похозяйничаю.

Онъ подошелъ къ столу, налилъ стаканъ настойки и съ жадностью осушилъ его.

— Вамъ нельзя уйти,—продолжалъ разбойникъ:—всѣ тропинки и возлѣ вашего хутора заняты, люди на хуторѣ перевязаны, а все-таки лучше и васъ связать. А ну-ка, Грицко! Кто окажетъ сопротивленіе, тому въ подарокъ эта пуля. И онъ навелъ дуло пистолета на испуганныхъ стариковъ. Грицко въ двѣ минуты скрутилъ имъ руки.

— Теперь пусть хлопцы пошарятъ хорошенько: всякое добро забирать; бабъ не трогать; найдете жида—прямо на осину; дѣвушекъ искать пуще золота!—сказалъ Телепень выходившему Грицку, и долгимъ, сладострастнымъ поцѣлуемъ впился въ любезную бутылъ. Настойка, кружась и плескаясь о бока широкой бутылки, быстро уплывала въ ненасытное горло разбойника.

Невыразимо-грустно смотрѣлъ есаулъ на боковую дверь, ведущую въ свѣтлицу Гали. Приказъ, искать дѣвушекъ пуще золота, напомнилъ ему о дочери. Сердце отца перестало биться. Онъ спокойно слушалъ, какъ буйная толпа разбивала его кладовыя, какъ предковское серебро звенѣло въ рукахъ грабителей; онъ дрожалъ объ одной дочери и отъ глубины души читалъ канонъ Дѣвъ-Заступницѣ.

Между тѣмъ Телепень окончилъ огромную бутылъ и бросилъ ее въ уголъ. Взоры его повеселѣли; онъ, покручивая усы, оборотился къ плѣнникамъ:

— Что вы, вельможные паны, вдругъ присмирѣли? Давно ли, подумаешь, вы щелбети, какъ дрозды! вѣрно, теперь мнѣ приходится пѣть. Онъ брякнулъ своими костистыми руками по столу, встряхнулъ головою и запѣлъ:

Ой бувъ соби Халеминъ,
Та взявъ жинку Любку!
Ой гопъ го-по-по,
Гой деръ-деръ-деръ-го-цо-цо.
Та взявъ жинку Любку!

Женскій вопль раздался въ сосѣдней комнатѣ... Сердце Крутолобово облилось кровью... Два разбойника внесли полураздѣтую Галю; вилось, билось, трепетало бѣдное дитя въ рукахъ ихъ.

— Славная добыча! заревѣлъ атаманъ, дерзко лаская дрожавшую дѣвочку. — Спасибо, хлопцы! У насъ много золота, а такой дѣвушки я и не видывалъ; она будетъ красою нашего городка.

— Пощади! простоналъ Крутолобъ удушющимъ голосомъ и повалился въ ноги Телепню.

— Чего ты валяешься, сѣдая голова?

— Пощади дочь мою! Она одно утѣшеніе моей старости, она еще такъ молода!..

— Она будетъ моею женою — да, женою. Понимаешь ли, какую честь я тебѣ дѣлаю? И, страшно вымолвивъ, онъ обнялъ Галю. Это былъ степной жаворонокъ въ когтяхъ ястреба.

— Проклятіе на голову твою, разбойникъ! произнесъ торжественно Крутолобъ: — ты опозоришь мое семейство, но слезы отца найдутъ мѣсто на небѣ!...

Темнѣе ночи сдѣлалось лицо Телепня; рѣзкія морщины сдвинулись на лбу его въ мрачное облако; изъ-подъ густыхъ бровей, какъ молніи, злобно сверкали глаза; рука его судорожно сжала рукоятъ кинжала. Отъ разбойника вѣяло смертью, но онъ взглянулъ на Галю — и морщины сбѣжали съ чела.

— Дурень, дурень! сказалъ онъ, качая головою. — Дерзки твои рѣчи! Никто доселѣ не смѣлъ безнаказанно говорить ихъ предо

мною; но ты отецъ Гали, и я тебя прощаю. Все ли готово, Грицко?

— Все.

— Итакъ, въ походъ!

Онъ взялъ рыдавшую дѣвушку и вынесъ ее изъ свѣтлицы.

— Прощай, моя голубка! прошепталъ Крутолобъ, и, убитый душевными муками, тихо склонился на грудь сотника.

Недолго клики разбойниковъ раздавались на хуторѣ; все глуше и глуше топтали кони, все тише и тише стучали повозки; и вотъ все утонуло въ морѣ мрака и безмолвія, все исчезло для слуха, какъ исчезаетъ для зрѣнія перелетная стая утокъ, сливаясь вдали съ горизонтомъ. Въ хуторѣ Крутолоба постарому прокричалъ пѣтухъ полночь, постарому въ тепломъ уголку запѣлъ сверчокъ свою однообразную армію.

III.

...Висятъ полунагіе своды,
И дряхлая стоитъ еще стѣна;
Она въ рубцахъ: ее изѣкли годы
И вывели узоромъ письмена.
Прочли ль вы ихъ? Здѣсь лѣтопись
природы
На зодчествѣ людей продолжена.

В. БЕНЕДИКТОВЪ.

Кто не знаетъ, кто не читалъ о славіи древняго Переяславля? Тамъ наши предки *переняли* славу, тамъ пировалъ, послѣ знаменитыхъ побѣдъ, не одинъ владѣтельный князь русскій; туда сосѣдніе данники привозили золото, серебро, и камни самоцвѣтные, и ткани узорчатые, и вина греческія, и всякія хитрости заморскія. Славенъ былъ Переяславъ! А теперь суровые вѣка, пролетая надъ нимъ, горько осуществили Сатурна, поѣдающаго дѣтей своихъ... Гдѣ вы, сильные земли? гдѣ ваша гордость, ваше богатство?

На мѣстѣ шумнаго Переяславля вы увидите кучу домиковъ, разбросанныхъ по берегу Трубежа и Альты. Трубежъ едва струитъ свои лѣнныя воды между аиромъ и осокою; Алта высыхаетъ въ лѣтніе жары. На этой площади, гдѣ не разъ совершался великолѣпный выѣздъ пышнаго князя, оборванный еврей мѣняетъ доврчивымъ украинцамъ обрѣзанные червонцы. Рука времени почти сравняла валы крѣпости: здѣсь и тамъ вросли въ землю большія, чугуныя пушки; стада козъ бродятъ по развалинамъ. Весь городъ похожъ на огромное кладбище: иногда дожди размоютъ бокъ горы и изъ обвала глядятъ на васъ желтые черепа вашихъ собратьевъ. Кругомъ города, какъ волны, тѣснятся могилы; онѣ давятъ одна другую, будто хотятъ ринуться и за-

сыпать его,—это обломки декораций печальной драмы, разыгранной вѣками, нѣмыя, но выразительныя! Гордый временщикъ, если тебѣ доступно какое-либо чувство, посмотри на Переяславль!... Но вы, можетъ быть, болѣе любите водевили, нежели трагедіи. Я и самъ согласенъ съ вами, что:

Водевилъ есть вещь, а прочее все-гилы!

и не люблю ничего грустнаго, ничего таинственнаго: не люблю точекъ, напечатанныхъ стихами, сочиненій Экартсгаузена, лекцій недоученнаго профессора... это, говорить доктора, даже вредитъ пищеваренію. Итакъ, не угодно ли вамъ будетъ прогуляться? Путешествіе очень здорово. Поѣдемъ хоть въ Петербургъ, убѣжимъ изъ погребенной столицы въ живую, цвѣтущую, шумную... тамъ есть театры, играютъ *святъ на изворотъ*, кокетничаетъ Невскій Проспектъ; тамъ есть кондиторскія, есть все, а здѣсь ничего. Поѣдемъ! поѣдемъ!

Кто въ часы досуга смотрѣлъ на географическую карту нашего отечества, тотъ вѣрно знаетъ, что Петербургъ лежитъ прямо на сѣверъ отъ Переяславля, и по этой причинѣ мы на тройкѣ тощихъ почтовыхъ лошадей выѣзжаемъ въ сѣверныя ворота; колокольчикъ плачетъ, ямщикъ бранится, кони едва вытягиваютъ ноги изъ глубокаго песка. Вамъ скучно? Потерпите, теперь вѣкъ сильныхъ ощущеній. Слава Богу! мы минули пески, выѣхали изъ лѣсу. Передъ нами разстилается прекрасная картина: вотъ цвѣтущія окрестности Яготина; вотъ дворецъ послѣдняго гетмана Малороссіи—графа Разумовскаго; вотъ за рѣкою красивое селеніе Гречаная-Гребля; тутъ длинная плотина, обсаженная вербами, перерѣзываетъ широкую рѣку Переводъ; влѣво отъ дороги тянется дубовая роща, вправо гуляютъ глаза по чистой степи. „А это на степи что за насыпь?“ спросите вы у ямщика.—Телепень. Стой! едва пріѣхали! Я радъ, очень радъ, что могу продолжать мою исторію. Угодно вамъ ѣхать далѣе? — Счастливый путь; а я останусь рассказывать.

Въ то время, когда случилось происшествіе, которое я описываю, мѣсто этой гладкой степи занималъ дремучій лѣсъ; Гречаная-Гребля не существовала; не было ни Ганзеровщины, ни Лемешовки; не было и добрыхъ людей, которые тамъ живутъ теперь. Все лѣсъ да глушь, и въ той глуши свилъ себѣ гнѣздо разбойникъ Телепень. Часто рѣзкій свистокъ его шайки отзывался погребальною пѣснью въ ушахъ проезжихъ; часто бесполезныя мольбы и проклятія несчастныхъ оглашали берега Перевода: одно небо, робко проглядывая

сквозь вѣтви столѣтнихъ дубовъ, было свидѣтелемъ ужасныхъ злодѣйствъ. Большая переяславская дорога опустѣла. Напрасно богатые купцы выпрашивали себѣ конвои—все бѣжало передъ Телепнемъ. Онъ усилилъ свою шайку до тысячи человекъ, хорошо-вооруженныхъ удальцовъ, окопался въ лѣсу крѣпкимъ валомъ, на валу поставилъ пушки и смѣялся угрозамъ пирятинскаго сотника. Даже о прилудкомъ полковникъ онъ говорилъ самыя дерзкія рѣчи.

Жидомъ, паномъ, монахомъ, казакомъ—словомъ, въ разныхъ образахъ скитался Телепень по Малороссіи и Украинѣ. Какъ воздухъ, онъ проникалъ всюду; его шайка, подобно облакамъ, гонимымъ вѣтромъ, налетала со всѣхъ сторонъ при малѣйшемъ сигналь предводителя—и горе побѣжденнымъ! Людей мучили; серебро и золото увозили въ земляной городокъ, названный по имени предводителя: Телепнемъ. Въ этомъ городкѣ была заперта дочь Крутолоба, Галя.

IV.

Ватагамы ходылы хмары,
Межъ ными молодыкъ блукавъ,
Витры въ очеретахъ бурхалы
И Пселъ ревивъ и клокотавъ.

Гулакъ-Артемовскій

Я радъ: останься до утра
Подъ сѣнью нашего шатра.

А. Пушкинъ.

Жаркій лѣтній день повечерѣлъ. Солнце утонуло въ облакахъ, и они, какъ бы торжествуя свою побѣду, росли, выше и выше, гордо подымая головы, облитыя кровью умиравшаго свѣтила. Глухо простоналъ отдаленный громъ; вдалекѣ вспыхивала молнія. Воздухъ былъ душенъ, спокоенъ: ни одинъ листочекъ на осинѣ не шевелился.

„Будетъ *воробыная ночь*“, говорилъ поселянинъ женѣ своей, входя въ хату, и жена старалась скорѣе убаюкать ребенка, съ безпокойствомъ поглядывая на маленькое окошко и крестясь всякій разъ, когда зарница освѣщала лицо ея красноватымъ цвѣтомъ.

Не долго ждали гости. Дохнулъ свѣжій вѣтерокъ—и зашумѣла дубрава; облака понеслись быстрѣе; дождь крупными каплями застучалъ въ окна. И вотъ, взвивая до облаковъ легкую пыль, понесся духъ бури—вихорь-разрушитель: какъ робкія жены, завывали, замахали длинными, косматыми вѣтвями бѣлыя березы, какъ чловѣкъ, припалъ къ праху гибкій тростникъ, какъ мужъ, затрепалъ при корнѣ могучій

дубъ. Громъ перекатывался надъ головою; молнія жгла небо... Великая природа! какъ ты прекрасна и въ торжественномъ покоѣ, и въ разгарѣ страстей!

— Ай да погода! Вотъ что хвалю, то хвалю! говорилъ Телепень, пробираясь лѣсомъ впереди своей шайки. Теперь не одна баба отъ страха прячетъ голову въ подушки. Пей другую, Грицко!

Въ это время Грицко, наѣхавъ на пѣнь, полетѣлъ съ лошади.

— И одною довольны, отвѣчалъ Грицко, садясь опять на лошадь. — Однако пань-атаманъ, намъ пора бы отдохнуть; лошади измучились, словно щуки, хоть въ иголку продѣнь; да и хлопцы устали.

Тутъ сверкнула молнія, грянулъ громъ и, раскroшенный въ мелкія щепы, огромный кленъ запылалъ передъ шайкою.

— Шабашъ! крикнулъ атаманъ. — Такъ здѣсь ночевать; кстати и огня разводите ненужно. Спасибо грому, есть на чемъ заварить кашу для ужина.

Атаманъ слѣзъ съ коня; разбойники засуетились вокругъ огня; сторожевые поѣхали въ сторону отъ табора.

Буря начала утихать; вдали отзывались раскаты грома все слабѣе и слабѣе; дождь пересталъ. Ярko пылалъ кленовый костеръ, на которомъ дымилась и кипѣла каша: вокругъ костра разбойники просушивали платье. Телепень сидѣлъ у самаго огня; волны свѣта обливали его съ ногъ до головы; его широкое лицо, отѣненное длинными усами, казалось, пламенѣло. Кругомъ выказывались изъ тѣни: то голова лошади, то длинная, кудрявая вѣтвь дерева, то сѣдло, то чубъ разбойника; и когда огонь на кострѣ ослабѣвалъ, то все это мало-по-малу пряталось въ темноту и сливалось съ окрестнымъ мракомъ.

Атаманъ курилъ коротенькую трубку и задумчиво плавалъ на огонь. Въ это время тихо заржала въ таборѣ лошадь; въ отвѣтъ слышалось ржаніе въ лѣсу, потомъ шестестъ шаговъ, который болѣе и болѣе приближался къ табору. Телепень поднялъ брови; разбойники вскочили съ мѣстъ. Но недолго продолжалось ихъ недоумѣніе, скоро явился предметъ ихъ страха: это былъ одинъ изъ караульных; онъ велъ съ собою молодаго человѣка въ простомъ казачьемъ платьѣ, котораго онъ поймалъ въ лѣсу.

— Кто ты? спросилъ атаманъ плѣнника.

— Я казакъ безъ роду, племени и доли, отвѣчалъ незнакомецъ.

— Зачѣмъ же ты ночью бродишь по лѣсу?

— Такъ, добродію; искалъ грибовъ, да и ночь настигла.

— Говори правду! не то... я не люблю шутить. Какой дуракъ ходитъ за грибами

двадцать верстъ въ сторону отъ дороги, а особенно ночью? Тутъ что-то не такъ...

— Ей-богу такъ, добродію.

— Неправда! сказалъ Телепень, устремивъ на него испытующій взглядъ.

Незнакомецъ опустилъ глаза на землю.

— Говори правду!—продолжалъ строгимъ голосомъ Телепень:—когда не хочешь проплясать казачка, примѣрно, хоть на этой березѣ.

— Помилуйте! вскричалъ незнакомецъ, бросаясь въ ноги разбойнику:—я расскажу вамъ всю правду, какъ отцу духовному на исповѣди, только не отсылайте меня къ сотнику... они казнятъ меня, я... преступникъ.

Телепень улыбнулся.

— Меня зовутъ Темошъ Кобка, продолжалъ незнакомецъ:—много горя терпѣлъ я на свѣтѣ и отъ родителей, и отъ чужихъ, а болѣе всѣхъ, отъ злой мачихи. Мнѣ наскучило ѣсть хлѣбъ со слезами; я хотѣлъ было самъ кинуться въ воду, и въ одинъ день, не знаю какъ, толкнулъ въ колодезь эту злую вѣдьму. Въ это время мимо шли люди и увидѣли мою шалость; они погнались за мною; я въ лѣсъ, все дальше и дальше, и вотъ уже недѣля какъ скитаюсь почти безъ пищи. Не дайте умереть бѣдному и не представляйте меня въ судъ!

— Только-то? сказалъ атаманъ:—небойсь, братъ, хоть бы ты десять мачихъ спровадилъ на тотъ берегъ, мы тебя не выдадимъ. Встань да благодари случай за то, что ты попался къ намъ: мы сами люди вольные, какъ степные ястреба; мы плюемъ на бабу, сотника и на всю долгохвостую полицію, и любимъ такихъ удалцовъ, которымъ жутко жить на свѣтѣ. Хочешь ли остаться съ нами?

— Благодарѣть! Я не знаю, какъ благодарить тебя; теперь я не умру съ голоду!... Я буду служить тебѣ до послѣдняго вздоха.

— Запьемъ могоричь, сказалъ Телепень, взявъ фляжку съ водкою, напился, отеръ рукавомъ усы и передалъ ее Темошу.

Скоро сняли съ огня котелъ съ кашею; разбойники поужинали; и когда все захрапѣло, спокойнымъ сномъ, Темошъ со слезами на глазахъ перекрестился и, завернувшись въ бурку, легъ между новыми своими товарищами.

V.

Но если женскими устами
Заговоритъ коварный адъ,
Тогда нигдѣ подъ небесами
Спасенья звѣзды не горятъ.

В. Сокolовскій.

Два года—и какъ роскошно, какъ плѣнительно распѣла эта милая Галя. При-

рода развила юную почку—и свѣжій прѣтокъ красуется, благоухаетъ. Легкая сорочка сладострастно ластится къ высокой, полной груди ея, а грудь волнуется, дрожитъ подъ ревнивымъ полотномъ. Галя хочетъ воли, воли! Ея глаза искрятся, облитые хрустальною влагою; въ нихъ отражается, блеститъ, играетъ сила юности, въ каплѣ чистой утренней росы; лицо вспыхнуло пожаромъ желаній; какая-то томность, какая-то неясная грусть слегка отгѣнила его. Она была прекрасна, заманчива какъ тайна полуразгаданная.

Съ чѣмъ сравнить этого сильнаго широкоплечаго мужчину, лежащаго на татарской буркѣ? Страсти избороздили е о, лѣта оставили на немъ иней. Это остывшій вулканъ, покрытый снѣгомъ; огонь и смерть когда-то вылетали изъ жерла его, въ которомъ теперь едва дымятся остатки перегорѣлой лавы и клубами виситъ черная сажа.

Утромъ лежалъ Телепень на буркѣ, почти не отвѣчая на ласки Гали. Она съ дѣтскою шаловливостью играла его длинными, посѣдѣвшими усами, обвивала лилейными руками его шею, впивалась жгучими устами въ его холодныя уста; но онъ безчувственно принималъ ея лобзанія.

Такъ, пресыщенный виномъ на богатомъ пирѣ, изъ приличія пьетъ заздравную чашу. И Галя, живая, кипящая, приняла къ холоднымъ персямъ разбойника.

— Чего ты хочешь? хладнокровно спросилъ онъ:—вотъ золото, серебро, дорогіе камни...

— Не хочу я этого.

— Вотъ богатые парчи, шелковыя ткани—возьми ихъ, одѣвайся, рядись.

— Ненужно мнѣ ихъ!

— Любви! прошептала Галя и скрыла румяное лицо свое на груди Телепня.

Телепень замолчалъ.

— Мнѣ скучно, продолжала Галя:—я умру: ты меня не любишь! Два года я живу здѣсь и не вижу никого, кромѣ двухъ-трехъ страшныхъ твоихъ товарищей. Я не была за оградой, не видѣла свѣта Божія! Меня стерегутъ, за мною смотреть, какъ за преступницею, какъ-будто я тебѣ желаю зла, какъ-будто я не люблю тебя... О, мой милый!..

И она поцѣловала чело Телепня, на которомъ бродили мрачныя думы.

— Я старикъ: ты хочешь обмануть меня, оставить; тебѣ весело улыбаться какому-нибудь малокососу! Да, я знаю васъ, женщинъ. Но этого не будетъ, не будетъ, пока я живъ.

Глаза злодѣя засверкали, руки судорожно сжались, грудь колебалась тяжелымъ дыханьемъ.

— Вотъ плата за любовь мою! говорила

соч. ГРЕВЕНКИ.

Галя, и слезы брызнули изъ глазъ ея.— Неужели ты думаешь, что я могу оставить тебя? Безъ тебя я боюсь сдѣлать шагъ: мнѣ страшно и волковъ, и людей, и оборотней. Ты одинъ мой защитникъ; одного я люблю въ бѣломъ свѣтѣ—и тотъ меня не любитъ!

Рыданья прервали ея голосъ.

— Перестань, перестань плакать! Забрала себя въ голову какую-то любовь—и токуетъ безирестанно! сказалъ Телепень.— Тебѣ скучно? Ну, этому можно пособить: я давно общалъ и повезу тебя на первую ярмарку, какая будетъ въ нашемъ околотѣ: тамъ мы повеселимся, накупимъ товаровъ, какіе тебѣ понравятся, послушаемъ, какъ играютъ бандуристы, посмотримъ, какъ цыгане мѣняють лошадей, какъ продаютъ соль, рыбу и всякіе овощи; увидимъ, какъ танцуютъ пьяные запорожцы и пляшутъ литовскіе медвѣди... Довольна ли?

Онъ взялъ Галю за подбородокъ, поцѣловалъ ее въ лобъ и вышелъ.

О, женщины! куда дѣвалась эта грусть, эти слезы, эти рыданья? На заплаканномъ лицѣ Гали проглянуло удовольствіе, какъ ясный лучъ солнца сквозь разбитыя облака послѣ бури; не прошло пяти минутъ, какъ она уже весело напѣвала:

Болитъ моя головонька
Видь самого чола;
Не бачыла мыленького
Сегодня и вчера!...

VI.

Супца нема ал с зора бистра,
И плам зраках истокъ зацалиле

Петар Петровнѣ.

Ума твердаго, но простого, стрѣляетъ мѣтко, танцуетъ разные танцы, вино пьетъ, а пьянъ не бываетъ.

Изъ стариннаго кондуктитаго списка.

Еще несовсѣмъ разсвѣло и природа дремала въ чуткомъ покоѣ. Слабый розовый отсвѣтъ разгорался на восточномъ горизонтѣ. Было слышно, какъ вода потихоньку просачивалась подъ потоками старой водяной мельницы; рѣка дымилась туманомъ, и вдругъ прорѣзала его огненная струя; грянулъ выстрѣлъ—окрестность пробудилась: съ шумомъ и крикомъ подымались изъ тростниковъ стада дикихъ утокъ, и вверху и внизу засвищѣли кулики, закричали бекасы. Изъ мельницы выскочилъ человекъ съ преогромными усами.

— Ого-го! какой славный выстрѣлъ! говоритъ онъ, бродя по поясъ въ водѣ и со-

бирая убитыхъ утокъ.—Разъ ихъ, двѣ ихъ, три ихъ—хорошо! четыре ихъ—удачный выстрѣлъ! Доброе ружье! не жаль за него дать два рубля и нагайку... пять ихъ, и еще одна подстрѣленная! поди-ка сюда! шесть ихъ... ого-го! да она ныряетъ... проклятая, такъ и ускользнетъ изъ рукъ! Вотъ я тебя!...

И усатый человѣкъ прыгалъ за уткой въ водѣ въ разныя стороны, какъ индійскій факиръ, обрекшій себя при жизни разнымъ дурачествамъ для спасенія души.

— Точно, ловкій выстрѣлъ! сказалъ кто-то.

Усачъ оглянулся: на плотинѣ, подлѣ подлѣ мельницы, стоялъ верховой; лошадь его, покрытая потомъ и пѣною, тяжело работала боками.

— Не узнаешь меня, Шлапакъ? продолжалъ верховой.

— Что я Шлапакъ—это правда. А вашу милость, кажется, и во снѣ не видывалъ.

— Скоро, братъ, забываешь старыхъ прятелей! сказалъ незнакомецъ, слѣзая съ лошади.

— Постой, постой... ба! голосъ точно его, такъ, эта литовская борода... Чортъ возьми! да ты, ей-богу, Петро Подопрыгора!

— А то же кто?

— Господи, Боже мой! такъ ты еще живъ? И Шлапакъ, выскоча изъ воды, началъ обнимать Петра.—Да что за нарядъ такой на тебѣ? Откуда ты взялъ бороду, какъ у этой беззаконной Литвы, что ходитъ въ лаптяхъ? ха-ха-ха! Гдѣ ты пропадалъ два года? Я слышалъ, что ты пріѣхалъ изъ похода домой да на другой день какъ въ воду канулъ. Ну, что же стоишь, какъ деревянный? Пойдемъ, братъ, въ мельницу.

— Тутъ свѣжѣе, отвѣчалъ Петро:—мнѣ и такъ жарко, а ты тащишь въ эту душную будку.

— Будку? нѣтъ, братику, это не будка, а такая мельница, какихъ здѣсь мало. Но, быть по-твоему: сядемъ на завалинѣ да Расскажи, откуда ты? Ни свѣтъ, ни заря, а такъ угрѣлъ лошадь!

— Я сегодня о полуночи выѣхалъ изъ Сергѣевки и къ обѣду долженъ назадъ воротиться.

— Ты, вѣрно, подрядился нечистой силѣ возить почту?

— Я спѣшилъ къ тебѣ, именно къ тебѣ: мнѣ нужна твоя помощь.

— Хорошо! рассказывай поскорѣе, въ чемъ дѣло. Побить кого—я не прочь; похвать на охоту до ляховъ—согласенъ. Право, наскучило стрѣлять однѣхъ утокъ.

— А вотъ видишь: тебѣ, я думаю, извѣстно, что я былъ помолвленъ на дочери есаула Крутолоба.

— Ну какъ не знать! Еще моя Феська—

помнишь? которая у меня смотреть за порядкомъ—говорила: „вотъ будетъ парочка!“

— День нашей свадьбы положенъ былъ по возвращеніи моемъ изъ похода противъ крымцевъ, куда я ходилъ въ отрядѣ полковника Вышкварки. Долго мы бродили по степямъ, отбили два табуна коней, развѣяли нѣсколько шакъ бусурмановъ и, очистивъ границу отъ этихъ разбойниковъ, возвратились домой. Я цѣлую ночь скакалъ изъ Прилукъ на хуторъ Крутолоба, гдѣ ожидали меня и отецъ, и невѣста. Два раза разсѣдывался мой конь, два раза сбивался я съ дороги, и уже свѣтомъ пріѣхалъ на хуторъ. Хотя было утро, но ни одинъ человѣкъ не попадался на встрѣчу; ворота и двери вездѣ были растворены; скотъ бродилъ по огородамъ и по улицѣ, какъ-будто въ хуторѣ всѣ люди вымерли отъ чумы. Я спѣшу къ панскому двору—та же пустота; кладовыя разбиты; разныя вещи разбросаны по двору. Вхожу въ свѣтлицу—Крутолобъ и отецъ мой лежатъ связанные... тутъ я узналъ свое несчастье!

— Помню, помню! Когда Телепень увезъ твою Галю, въ тотъ день я убилъ славную дрофу. Пріѣзжаю домой, а мнѣ Феська и рассказываетъ, что она слышала эту новость отъ торбаниста, который пилъ у меня въ шинкѣ водку.

— Я развязалъ старику въ душѣ покаялся освободить Галю и отмстить Телепню. Черезъ три дня я уже былъ въ его шайкѣ подъ именемъ Темоша Кобки.

— Въ шайкѣ у Телепня?

— Да! и скоро сдѣлался однимъ изъ его любимцевъ. Благодаря этому, я успѣлъ нѣсколько разъ видѣться съ Галею: она меня любить попрежнему. Пользуясь отлучкою разбойника и своею властію, я могъ бы бѣжать съ нею; но это бесполезно: сила Телепня извѣстна; отъ него и подъ землею не спрячешься; тогда онъ могъ бы погубить насъ обоихъ; а я хочу отмстить ему, хочу погубить его самого. Теперь Телепень отлучевалъ дня на два къ Днѣпру, и я съ полночи скакалъ къ тебѣ просить помощи.

— Прекрасно! Но что я могу сдѣлать?

— А вотъ что: въ Густинѣ, въ день Успенія, будетъ ярмарка; Телепень туда пріѣдетъ, и пріѣдетъ переряженный, а потому ты долженъ, собрать нашихъ прятелей...

— Понимаю! Но сдѣлай милость, братику, пойдемъ въ мельницу.

— Зачѣмъ?

— Вотъ эта стая утокъ уже три раза перелетѣла надъ нашими головами; не будь здѣсь насъ, онѣ вѣрно сѣли бы на воду подлѣ мельницы, и я опять хватилъ бы ихъ полдесятка... При томъ же, тамъ у

меня есть... знаешь, охотничья бутылка доброй водки и чудесная колбаса. Съ дороги перекусить не худо. И Шлапакъ силою втащилъ Петра въ мельницу.

Черезъ часъ они вышли.

— Итакъ, я надѣюсь на тебя, сказалъ Петро, садясь на лошадь. Не забывай Успенія!

— Скорѣ забуду какъ зовутъ меня.

— А много ли у тебя воевъ?

— Пропастъ, штукъ двадцать будетъ, да все такіе объемистые!

— Хорошо! Прощай.

— Прощай, братику.

Петро пригнулся къ сѣдлу и облако пыли скрыло слѣдъ ловкаго наѣздника.

„Дѣло!“ сказалъ самъ-себѣ Шлапакъ. — „А какой богатый выстрѣлъ! да все крыжыи! разъ ихъ, двѣ ихъ, три ихъ, четыре ихъ, пять ихъ; жалко, что ушла шестая! Впрочемъ, пусть она расскажетъ въ болотѣ своимъ пріятелямъ, какъ стрѣляетъ хорунжий Шлапакъ“. И, взявъ ружье и дичь, онъ тихими шагами пошелъ въ хуторъ.

VII.

...отъ множества народу
Нѣтъ ни выхода, ни входу;
Такъ кишмя воть и кишать,
И смѣются, и кричатъ.

II. Еришовъ.

Въ 1622 году казакъ Желѣзнякъ пріѣхалъ изъ сѣчи на родину, въ прилуцкій полкъ, женился и зажилъ домою; но грусть грызла сердце его. Напрасно молодая, черноокая жена цѣловала его, напрасно онъ заливалъ горе сладкими медами и крѣпкими наливками: у Желѣзняка было много денегъ; много грѣховъ лежало на душѣ его: и то и другое привезъ казакъ на родину изъ сѣчи. И вотъ задумалъ Желѣзнякъ—а задумать у добраго казака то же, что и сдѣлать—задумалъ, для искупленія грѣховъ, построить монастырь *на-славу*. Слава льститъ слабымъ потомкамъ Адама. Гордый нашъ Вишневецкій, узнавъ о намѣреніи Желѣзняка, подалъ ему руку,—и приступили къ дѣлу: Вишневецкій далъ планы, Желѣзнякъ—деньги. Вскорѣ великолѣпная церковь во имя Успенія Богородицы, обведенная крѣпкою стѣною, со службами для монаховъ и съ красивою надписью надъ воротами: *ижедевицею пана Вишневецкаго и казака Желѣзняка*,—явилась въ непроходимой чашѣ лѣса, на берегу Удая, недалеко отъ Прилуки. Окрестные жители называли это урочище *Густыня*, по причинѣ густаго лѣса, окружавшаго монастырь.

Вишневецкій въ честь храма новопостроенной церкви учредилъ 15-го августа ярмарку.

Болѣ двухъ столѣтій прошло съ того времени. Монастырь давно упраздненъ; толстыя стѣны ограды разрушились; но все еще, по старой привычкѣ, добрый малоросъ считаетъ грѣхомъ не быть въ Густынѣ въ день Успенія. Тогда подъ ветхими сводами церкви опять раздается священное пѣніе; вся окрестность закипитъ жизнью; сосѣдніе холмы заестрѣбуютъ народомъ; въ зелени лѣса замелькаютъ пѣвчія ленты рѣзвыхъ дѣвушекъ; запылаютъ надъ рѣкою костры; даже самъ Удай какъ-то сладостнѣе зашумитъ между тростниками. Право, славное мѣсто Густыня!

О, рудый Панько! дай мнѣ твоего волшебнаго пера начертать хоть слабую картину лѣтней малороссійской ярмарки, представить этотъ водоворотъ двуногихъ и четвероногихъ, этотъ нестройный шумъ, говоръ, мычанье, ржаніе, крикъ, хохотъ, брань, пѣсни; изобразить живописныя кучи румяныхъ яблокъ, пирамиды арбузовъ, золотыя горы дынь, плутовскія фізіономіи цыганъ и простодушныя лица чумаковъ, съ черными усами, бритую голову, длиннымъ чубомъ; смѣшную спѣсь мелкихъ уѣздныхъ чиновниковъ. Много-много я написалъ бы, но все это будетъ слабое подражаніе. Прочитайте лучше „Сорочинскую Ярмарку“ нашего Панька, и вы будете имѣть ясное понятіе о томъ, что дѣлалось въ Густынѣ 15-го августа нѣкотораго года.

Уже солнце высоко горѣло въ небѣ; обѣдни отошли и духъ торговли развивался въ полной силѣ: хлопанье по рукамъ, божбы. клятвы носились надъ площадью. Но вотъ хлопнуль бичъ—толпа начала раздвигаться и посреди ея покотился богатый рыдванъ, запряженный парой красивыхъ лошадей. Въ рыдванѣ сидѣлъ здоровый усачъ, а подлѣ усача молодая, прекрасная женщина. Между-тѣмъ, какъ народъ, зѣвая, смотрѣлъ на пышный экипажъ, онъ, прокатясь во всю длину ярмарочной площади, своротилъ налѣво и остановился подъ тѣнью вербъ. Кучеръ, въ смушковой шапкѣ, слѣзъ съ козелъ, подбросивъ лошадямъ вязанку травы, закурилъ коротенькую трубку, сѣлъ на землю, поджавши ноги, и началъ любоваться, какъ еврей и цыганъ на хромыхъ лошадяхъ бѣгали въ запуски. А панъ и пани, въ сопровожденіи дюжей, босой дѣвки, тихо двинулись по ярмаркѣ.

— Грицко, Грицко, а Грицко! говорила Катря, дергая за полу своего мужа.

— Га! отвѣчалъ онъ.

— То паны идутъ?

— Ну, да.

— А что жъ это за паны?

— Богъ ихъ знаетъ.

— Да какіе же это паны?

— Господи, ну, паны себѣ—да и только.

— А откуда они?

— Отвяжись, пожалуйста! И Грицко медленно двинулся впередъ, уплетая дыню, которую держалъ въ обѣихъ рукахъ.

Катря осталась рѣшительно безъ всякихъ свѣдѣній. Не знаю, что бы она дѣлала, еслибъ не подоспѣла къ ней кума. Кума—лицо важное въ Малороссіи: свадьбы, похороны, выборы, рекруты, сплетни, вареники не могутъ существовать, не могутъ дѣйствовать безъ кумы. Она вездѣ, гдѣ ее просятъ и не просятъ; она говоритъ, совѣтуетъ, бранится, работаетъ и головою, и руками, и ногами, то дѣйствуетъ, то страдаетъ—словомъ, если-бы можно допустить существованіе философскаго камня, то главнымъ его элементомъ была бы непременно—кума.

— Это не нашъ панъ, Остапенко, и не Крыця, говорила скороговоркою кума, ударивъ по плечу Катрю.

— Не Кошуля ли?

— О, будто я не знаю Кошули! У того хоть жупанъ зеленый и такъ же вышитъ золотыми шнурами, да шаровары синіе, а у этого все платье зеленое.

— Будто у Кошули синіе шаровары?

— Вотъ еще славно! А тожь какіе? Кошу знать лучше, какъ не мнѣ? Панъ Кошуля пріѣзжалъ въ такомъ нарядѣ въ наше село, какъ я была еще дѣвушкою. Еще бы не знать этого!

— Такъ это Олійникъ.

— Туда! Какъ-таки не совѣстно говорить Богъ знаетъ что, не подумавши! Твой Олійникъ не чета этому молодцу; посмотри: что за плечи, что за усы! да и откуда бы Олійникъ взялъ такую паню?

— Такъ вотъ отгадала! именно отгадала, ей-богу отгадала: это пирятинскій сотникъ. Еще вчера невѣсткиной свахи сестра говорила мнѣ, что его ждутъ на ярмарку.

— Вотъ что такъ, то такъ. Знай нашихъ! даже самъ сотникъ пріѣхалъ къ намъ изъ Пирятина!

— И неудивительно: у насъ въ Густынѣ, развѣ только птичьего молока нѣтъ.

Во время этого разговора толпа стѣснилась и скрыла изъ глазъ кумы и Катри занимательнаго пана. Кума стала на колесо сосѣдняго вѣза и продолжала смотрѣть.

— Ну, что тамъ видно? спрашивала Катря.

— Чудеса да и только; тамъ кто-то *водитъ музыку*. Господи, какъ онъ пляшетъ подлѣ тѣхъ чумаковъ, что продають рыбу! Сотникъ съ женою остановился и смотритъ на удалца. Проклятые чумаки! такъ сдвинулись въ кружокъ вокругъ сотника, что

ничего не видать. Да въ своемъ ли я умѣ? Ахъ, бѣдная моя голова! что это...

— А что тамъ? спрашивала Катря.

— Постой! Кругомъ изъ чумацкихъ вѣзовъ лѣзутъ казаки, какъ изъ ульевъ пчелы.

Въ это время послышался выстрѣлъ.

Телепень! Телепень! пронеслось межъ народомъ. Толпа дрогнула; на площади поскакали казаки. Тутъ, на бѣду, вѣтеръ поднялъ такую пыль, сдѣлалась такая кутерьма, что кума не могла добиться толку.

VIII.

И, гу! гу! гу!...

Припѣвъ свадебныхъ малоросс. пѣсенъ.

Давно было за полночь, а на хуторѣ у Крутолоба никто и не думалъ спать. Весь хуторъ собрался на панскій дворъ, на которомъ ярко пылали смолевые бочки: вездѣ поставлены были чаны съ медомъ и горѣлкою, и разныя закуски для простыхъ казаковъ, а въ самомъ домѣ гремѣла музыка; туда безпрестанно входили и выходили люди знаменитые, чиновные; тамъ, въ переднемъ углу, подлѣ жениха, молодого Петра, сидѣла красавица-невѣста Гая, скромно опутивъ глаза на грудь, увѣшанную жемчугомъ и монистами, между-тѣмъ, какъ легкій, радужный каскадъ шелковыхъ лентъ, падая съ головы, разбѣгался по плечамъ ея, струился подлѣ щекъ и ушей, нашептывая нѣгу. Петро былъ одѣтъ въ красный жупанъ, обшитый богатымъ галуномъ и бахромою; черная, какъ смоль, баранья шапка отгнѣяла свѣжее лицо его; изъ шапки прихотливо отбросился въ сторону алый верхъ; на немъ, сверкая, дрожала золотая кисточка. На столѣ, передъ новобрачными, лежалъ большой коровой, увитый малиновымъ шелкомъ, увѣнчанный кистями калины и ржаными колосьями; подлѣ коровая, красиво возвышалось кудрявое деревцо съ золотыми орѣхами, листьями и плодами; далѣе горѣли золоченные кубки и разноцвѣтныя бутылки. Старикъ Крутолобъ и Подопригора, одѣтые въ праздничное платье, суетились по комнатамъ, подчюя гостей ароматною вареною. Подлѣ Гали сидѣла *свѣтилка*, держа въ рукахъ казачью саблю, обвитую зеленью и цвѣтами, между которыми пылали восковые свѣчи; далѣе, по обѣимъ сторонамъ свѣтлицы, сверкали серебромъ и золотомъ кунтуши и жупаны гостей; посрединѣ свѣтлицы плясалъ доупаду небольшой, усатый толстякъ. Уже давно танцовалъ онъ; его движенія становились лѣнивей, музыка играла тише; вдругъ онъ пріостановился, закричалъ: *грай Сан-*

жаривки! и съ новою силою пустился ба-
рабанить ногами, припѣвая:

Ишли дивки зѣ Санжаривки
А за ними два парубки,
А собака съ макивокъ:
Гавъ, гавъ! на дивокъ!
гавъ, гавъ, гавъ, гавъ,
гавъ, гавъ на дивокъ!...

Онъ тогда только пересталъ танцовать,
когда родные и знакомые, взявъ его подъ
руки, отвели въ сторону и запретили
играть музыкантамъ.

— Ты, Шлапакъ, какъ я замѣчаю, боль-
шой охотникъ танцовать? спросилъ одинъ
изъ гостей неутомимаго танцора.

— Признаюсь, люблю побѣситься у прия-
теля, когда радость не только на языкѣ,
но и на сердцѣ, да и пѣсня эта мнѣ очень
полюбилась съ тѣхъ поръ, какъ я ее про-
плясалъ передъ Телепнемъ. Тогда не то
было: танцевалъ бойко, а душа такъ и про-
скакала въ пятки.

— Ты давно общалъ рассказать мнѣ,
какъ это было.

— Было весьма обыкновенно. Мнѣ ска-
залъ Петро, что Телепень съ Галею будетъ
на ярмаркѣ, одѣтый паномъ. Я подговорилъ
полсотню пріятелей, отборныхъ казаковъ,
положилъ ихъ въ чумацкіе возы и, накрывъ
кожами, поставилъ на ярмарочной площади,
а самъ, взявъ двухъ музыкантовъ и бу-
тылку водки, пошелъ гулять между наро-
домъ. Скоро показался богатый панъ съ

молоденькою женою; я подпустилъ ихъ къ
моимъ возамъ и началъ разсыпаться мел-
кимъ бѣсомъ, заплясалъ, запѣлъ Санжа-
ривки. Глядь, а красавица уронила платокъ:
это былъ условный знакъ — я въ присядку,
да и свиснулъ. Тутъ изъ всѣхъ возовъ,
какъ изъ земли, выросли мои ребята; я
прямо на разбойника и, повѣришь ли, не
такъ чортъ страшенъ, какъ его малюютъ;
повѣришь ли, что этотъ трусъ, чтобъ ему
не ѣсть порядочныхъ галушекъ, въ пяти
шагахъ выстрѣлилъ по мнѣ изъ пистолета
и — далъ промахъ!...

— Да онъ уже ничего ѣсть не станетъ:
его на прошлой недѣлѣ въ Прилукахъ
четвертовали.

— Слышалъ. Богъ съ нимъ! однимъ без-
дѣльникомъ меньше на свѣтѣ, да и только.
А все я не понимаю, отчего его такъ бо-
ялись?... Стрѣлять не умѣлъ, грѣшный! Это
не то, что иной стрѣлокъ: хватить, чортъ
возьми! въ одинъ выстрѣлъ поддесятка, или
болѣе, утокъ... Да вотъ, недалеко сказать,
съ мѣсяцъ назадъ, я сдѣлалъ засаду...

— Староста, панъ подстароста, благосло-
вите спать идти, заревѣлъ подлѣ Шлапака
исполинскаго роста мужчина, перевязанный
черезъ плечо краснымъ поясомъ.

— Богъ благословить! отвѣчалъ протяжно
староста.

Тутъ музыка заиграла маршъ: гости
начали вставать съ мѣстъ, и Галя, покрас-
нѣвъ, какъ маковъ цвѣтъ, подала торже-
ствовавшему Петру руку...

1836 г.

IV.

МѢСЯЦЪ и СОЛНЦЕ.

ПРЕДАНИЕ.

Случалось ли вамъ видѣть ясное май-
ское утро, когда молодое солнце топить
розовые лучи свои въ нѣжно-лазуревомъ
небѣ, когда все пробуждается, поетъ, когда
отъ долины вѣетъ свѣжестью и ароматомъ,
а между тѣмъ темносиняя туча грозно
встаетъ на западѣ, ростетъ выше и выше,
и веселое утро, улыбаясь, посматриваетъ
на тучу, и въ свѣтлыхъ глазахъ его про-
бѣгаетъ невольный страхъ, грустное ожи-
даніе?

Прекрасенъ, какъ майское утро, моло-
дой Иванъ, сынъ стараго казака Правды,

но, какъ сизая туча, дума нерадостная бро-
дитъ на челѣ его. Жаль молодца, и о чемъ
ему печалиться? Статенъ, красивъ онъ;
густые, каштановые волосы отбѣняютъ лицо
его, такое свѣтлое, открытое, что сосѣди
прозвали его: *Иванъ-во лбу мѣсяцъ*. Отецъ
любитъ Ивана; мать подарила его сестрою-
красавицею — о чемъ бы ему печалиться?

Недавно, гуляя по лѣсу, увидѣлъ Иванъ
молодую дѣвушку. Ея свѣлорусыя кудри
небрежно бѣжали по плечамъ, на нихъ
былъ накинута голубой вѣнокъ изъ василь-
ковъ. Она сидѣла подъ ивою, склонясь къ

ручью, и слезы, какъ зернистый жемчугъ, катились по ея розовымъ щекамъ въ воду.

— О чемъ ты плачешь? спросилъ Иванъ дѣвушку.

* — О тебѣ, отвѣчала она, и сквозь слезы посмотрѣла на Ивана лазоревыми глазками, такъ ласково, съ такимъ участіемъ! — Я твоя Доля. Отъ самой колыбели я смотрю за тобою: бужу тебя на утренней зарѣ, прыскаю въ лицо свѣжею росой, и вечеромъ засыпаю усталые глаза твои мягкимъ пухомъ; я держу подъ уздцы твою лошадь, когда ты опереживаешь въ степи вольнаго кречета; собираю дыханіе травъ и лучи звѣздные и плету изъ нихъ чудные сны, которые забавляютъ тебя. Всегда я весело смотрѣла на тебя; но съ-тѣхъ-поръ, какъ твоя мать родила дочь, мнѣ грустно, я плачу о тебѣ и день, и ночь: сестра твоя... бѣги отъ нея, это будетъ змѣя въ образѣ человѣка; она изведетъ тебя, если ты не оставишь дома родителей. Бѣги отъ нея... И слезы сильнѣе прежняго полились изъ глазъ Доли.

— Поѣду, отвѣчалъ Иванъ: — только перестань плакать.

Дѣвушка исчезла; изъ ивоваго куста порхнула ласточка и, весело щебеча, начала виться надъ водою.

Отъ того сталъ печаленъ молодой Иванъ; отъ того черная дума помрачила ясное чело его.

Далеко-далеко, на высокой горѣ, на востокъ, живетъ солнце; много добра дѣлаетъ оно въ мірѣ; старикъ Правда съ незапамятныхъ временъ водилъ съ нимъ дружбу; къ нему отправился и сынъ его.

Рано утромъ взглянулъ Иванъ въ послѣдній разъ на отца и мать свою: они сладко спали; имъ сердце не вѣщевало, что любимый сынъ оставляетъ ихъ на вѣки. Грудь Ивана сжалась; слезы брызнули изъ очей; онъ бросился на коня и вихремъ помчался по чистому полю. Только шумѣла подлѣ него степная трава, только веселая ласточка, щебеча, вилась подлѣ коня его.

Долго ѣхалъ молодой Иванъ, и видитъ необозримое поле: черныя, мохнатые сосны, какъ мертвыя чудовища-медвѣди, лежатъ по полю; вѣтвистые дубы брошены одинъ на другой, какъ скошенная степная трава на покосѣ; поднятые изъ земли жилистые корни, словно руки, протянулись къ небу съ жалобой; вправо чернѣлъ большой лѣсъ; посреди поляны, на дубовомъ пнѣ, сидѣлъ человѣкъ. Онъ ѣлъ ломоть черстваго хлѣба, смачивая его слезами.

— О чемъ ты плачешь? спросилъ Иванъ этого человѣка.

— Какъ мнѣ не плакать, отвѣчалъ онъ: — можетъ-быть, ты слыхалъ про меня, добрый человѣкъ: я Вернидубъ; я обреченъ всю

жизнь вырывать съ корнями деревья. Моеими трудами уже истребленъ весь лѣсъ въ мірѣ, кромѣ этого. И онъ показалъ вправо. — А когда я окончу эту трудную работу, то мнѣ придется умереть. Такова моя судьба! Тяжело мнѣ жить на свѣтѣ, а умирать не хочется. Иванъ пожалѣлъ о Вернидубѣ и поѣхалъ далѣе.

Долго-долго скакалъ Иванъ, и увидѣлъ огромную равнину, покрытую камнями: на одномъ камнѣ сидѣлъ дюжій, широкоплечій человѣкъ, опустья печально голову.

— О чемъ ты горюешь? спросилъ Иванъ человѣка.

— Какъ мнѣ не горевать, отвѣчалъ онъ: — я Вернигора. Отъ рожденія до самой смерти я обреченъ разрушать горы. Многие вѣки я ломаю камень, и уже привыкъ къ моей тяжелой работѣ; мало этого, она даже мила мнѣ: какое зрѣлище, когда снимаешь кору съ горы-великана и согласишься въ тайныя святилища земли! роскошными деревьями распустило тамъ свои вѣтви свѣтлое серебро; какъ огненные рѣки, вытянулись жилы золота; радугами горятъ дорогіе камни; какъ слезы, въ темномъ грунтѣ сверкаютъ алмазы, и, какъ свѣжіе дуга, широко лежатъ пласты мѣдной зелени. Радуетъ душа, смотря на это; а вотъ остается одна гора; я ее сломаю и — умру. Такъ вѣдно судьбиною.

Иванъ пожалѣлъ о Вернигорѣ и поѣхалъ къ Солнцу.

Лѣтъ десять жилъ Иванъ у Солнца, и жилъ лучше, нежели дома, если только богатство можетъ замѣнить родину; что ни задумывалъ онъ, тотчасъ все являлось; дорогія кушанья и напитки, кони и быстрые сокола. Но сгрустнулось Ивану за домомъ, онъ вышелъ на гору, гдѣ жило Солнце, посмотрѣлъ на западъ, далеко-далеко, и увидѣлъ свой домъ. Въ немъ все было какъ и прежде: такъ же зеленѣло передъ окнами вѣтвистое дерево, такъ же стояли старыя кладовыя и амбары; по-старому бѣгали по двору Рябко; въ саду, какъ и прежде, росли давнишніе друзья его — яблони и груши, обремененныя краснобокими плодами; сестра его выросла и, сидя у окна, вышивала шелками; но ни отца, ни матери нигдѣ не замѣтилъ Иванъ. Онъ еще разъ пристально обвелъ глазами свой домъ, и за садомъ, на высокой горѣ, увидѣлъ два новые креста... Горькія слезы помѣшали ему смотрѣть далѣе.

На другой день Иванъ ѣхалъ на родину. Напрасно уговаривало его Солнце остаться: онъ клялъ свою долю, называлъ ее несправедливо, говорилъ, что она разлучила его съ родителями, которые закрыли глаза, не благословя его.

— Прощай! сказала Солнце:—да не раскаявайся, что бросаешь меня. На прощанье проси чего хочешь.

— Мнѣ ничего не нужно, отвѣчалъ Иванъ:— а ѣдучи сюда, я видѣлъ двухъ человѣкъ, которымъ хотѣлъ бы помочь. Тутъ Иванъ разсказалъ о Вернигорѣ и Вернидубѣ.

— Хорошо, сказала Солнце:— вотъ тебѣ щетка и платокъ: когда щетку бросишь на землю, то вырастетъ такой лѣсъ, какого отъ созданія міра не было; а если махнешь платкомъ, то взгромоздятся горы до самыхъ облаковъ.

Солнце поцѣловало Ивана, и онъ поѣхалъ на родину. Долго, долго скакалъ Иванъ и, усталый, измученный, подвелъ свою лошадь напиться къ ручью.

— Ты опять ѣдешь на родину, на вѣрную смерть, прозвучало изъ воды голосъ.

Иванъ посмотрѣлъ: между водяными цвѣтами печально кивала ему головка Доли въ голубомъ вѣнчкѣ.

— Ёду непременно. Когда бъ я не зналъ тебя, то жилъ бы съ добрыми родителями и закрылъ бы глаза ихъ... А теперь... Нѣтъ, худая моя доля!

— Эй, Иванъ! не грѣши на Долю, она любить тебя. Иной пьетъ, гуляетъ въ шинкѣ и проматываетъ послѣдній грошъ отцовскій; между-тѣмъ его нивы выбиваетъ вольный вѣтеръ и птицы небесныя; табуны разгоняютъ волки и медвѣди, а Доля его гуляетъ по берегу Чернаго моря: то собираетъ жемчугъ, чтобы осыпать имъ перваго чумака, который подѣдетъ къ лиману, или снова бросить его въ пропасть; то плещется съ волнами, то летаетъ съ легкимъ облакомъ. Ей весело, а бѣднякъ плачется безъ Доли; дѣти просятъ у него хлѣба—ему нечѣмъ накормить ихъ. Нѣтъ, не такая у тебя Доля; я смотрю за тобою, какъ за дитятемъ; я плачу, когда грозить тебѣ зло, а ты еще ругаешь меня! Часто не знаютъ люди, что дѣлаютъ. Иванъ, не ѣди на родину.

Иванъ сѣлъ на коня, махнулъ рукою и поскакалъ далѣе.

Мимоходомъ отдалъ Иванъ платокъ Вернигорѣ и щетку Вернидубу.

Летитъ Иванъ домой. Его молодецкій конь развѣ на бѣгу схватитъ колосъ травы, или полевой цвѣтокъ, или листокъ съ придорожнаго кустарника, да утронъ капли двѣ росы—тѣмъ и живъ добрый конь. Хозяинъ не думаетъ его кормить, онъ торопитъ его на родину. Вотъ уже показались знакомыя роши; впереди сверкаетъ родная рѣчка, за нею весело шумятъ друзья дѣтства—золотыя поля и пестрые сѣнокосы; знакомая мельница радостно машетъ изъ-за горы крыльями. Всякій кустъ, всякое дерево

сильно говоритъ сердцу. Усталый конь какъ-то легче, бодрѣ поскакалъ по знакомой дорогѣ; сердце Ивана готово было выпрыгнуть. Вотъ запахъ, родной дымъ; Иванъ уже въ деревнѣ; передъ нимъ широко распахнулись ворота родительскаго дома.

Весело принимаетъ сестра дорогого гостя: лучшія кушанья бременять столы; вкусные меды и вина принесены изъ погребовъ. Пѣлуетъ сестра брата и въ очи соколиныя, и въ малиновыя уста: она рада пріѣзду его. А какъ хороша она сама! черныя, какъ смоль, косы двойнымъ вѣнкомъ обвили ея бѣлое чело; какъ двѣ зрѣлыя терновыя ягоды, омытыя въ утренней росѣ, блестяги глаза изъ-подъ длинныхъ, пушистыхъ рѣсницъ, а надъ ними двумя стройными дугами расходились соболи брови; перламутровые зубы, гибкій, высокій станъ— все было обворожительно!

— Послушай, братъ, сказала она, обнявъ его и смотря прямо въ очи:—я пойду хлопотать по хозяйству, хочу достойно принять милаго гостя, а ты позабавься, поиграй въ эти гусли: я люблю слушать, какъ играютъ онѣ.

Сестра открыла гусли краснаго дерева съ золотыми струнами и вышла.

„И я могъ бояться этого добраго созданія“ сказалъ самъ себѣ Иванъ, пробуя гусли. Громкая музыка огласила весь дворъ.

Иванъ играетъ. Легкая тѣнь упала на струны; онъ поднялъ голову: передъ нимъ стояла Доля; голубой вѣнчекъ завялъ на головѣ ея, руки печально скрестились на груди. Доля плакала.

— Смерть виситъ надъ тобою, а ты играешь такъ весело! Бѣги скорѣе!

— Я не вѣрю тебѣ, злой духъ, отвѣчалъ Иванъ:—ты нарочно ссоришь меня съ доброю сестрою и заставляешь бѣгать по свѣту. Много я вытерпѣлъ, слушая тебя.

— Я сяду играть на гусляхъ, говорила Доля:—а ты ступай въ погребъ, который, вонъ тамъ, въ саду, и посмотри въ щелку, что тамъ дѣлается.

Доля весело начала перебирать струны, а Иванъ подошелъ къ погребу, пригнулся къ щелкѣ — и обмеръ отъ ужаса. Посреди погреба стояло большое точило; сестра одною рукою ворочала камень, а въ другой держала длинный, стальнй ножъ; искры изъ-подъ ножа били фонтаномъ и освѣщали сырыя стѣны погреба, на которыхъ висѣли снопами разныя зелья, вяленныя змѣи, чучелы уроковъ, человѣческія кости, черепы со впадинами вмѣсто очей, съ желтыми зубами. Страшно было лицо сестры, облитое огненнымъ свѣтомъ; красота ея исказилась; распущенные волосы, какъ змѣи, вились по плечамъ и вокругъ шеи; покрытыя пѣною

уста судорожно дрожали и бормотали проклятія.

„Я угощу тебя, баловень!“ говорила она, остря ножъ. „Такъ вотъ тотъ, котораго любили до смерти родители, который только и былъ у нихъ въ поминѣ, какъ-будто меня у нихъ не было... Какъ играетъ затѣйливо! Играй, играй себѣ похоронную пѣсню! Я изготовлю тебѣ богатый пиръ изъ огня и желѣза! Вишь какой! видно зелье: прѣхаль да прямо на могилу къ старикамъ; давай плакать! Меня будто и не замѣтилъ... Чего добраго, завтра отберетъ отъ меня все, да выгонитъ въ шею. Постой, голубчикъ!..“

Такъ говорила преступная сестра, и колесо точила кружилось скорѣе, и злобно шипѣла сталь, цѣлуя холодный камень..... А Иванъ далеко уже скакалъ на своемъ быстромъ конѣ, безъ сѣдла, безъ вооруженія.

Вышла сестра изъ погреба, поправила волосы, посмотрѣлась въ свѣтлый ножъ и, спрятавъ его въ рукавъ, пошла къ свѣтлицѣ. Тамъ, не умолкая, звучать гусли, и сестра, улыбаясь, отворила дверь: музыка умолкла; брата нѣтъ, только быстро промелькнула въ дверь сѣренькая мышь. Черная кровь проступила сквозь бѣлую кожу сестры; лицо ея побагровѣло, глаза засверкали.

„Я поймаю тебя, слабый ребенокъ!“ прошипѣла она и, захохотавъ, выбѣжала изъ комнаты.

Ночь. Въ степи, на курганѣ, горитъ огонь; на огнѣ стоитъ котелъ; въ котлѣ варятся чары. Волны кипятка выбрасываютъ наверхъ то змѣиную кожу, то клубокъ волосъ, то ногти, то колючія травы, и опять все прячется на дно сосуда. Передъ котломъ стоитъ сестра и подкладываетъ въ огонь щепокъ изъ дубоваго гроба. Чудно трещитъ огонь, стонутъ и кипятъ злые снадобья; и вотъ повалилъ изъ котла густой паръ; но степи пронесся протяжный свистъ и паръ гибкою струею повисъ въ воздухѣ; минута—онъ спустился ниже и огромнымъ змѣемъ покорно протянулся у ногъ волшебницы; съ злобною радостью вскочила она ему на спину, и, какъ стрѣла, понеслась за братомъ.

Далеко скакалъ Иванъ, какъ увидѣлъ позади себя въ горизонтѣ черное пятно; оно все росло и приближалось, и когда Иванъ минулъ Вернидуба, вырвавшаго послѣднія деревья, то ясно увидѣлъ за собою сестру, летящую на чудномъ змѣѣ. Въ это время Вернидубъ бросилъ на землю щетку—вдругъ зашевелилась земля и въ мгновеніе ока выросъ, зашумѣлъ непроходимый лѣсъ; махровая сосна скрестилась вѣтвями съ широколистымъ кленомъ; при корнѣ ихъ заткалъ стѣну колючій терновикъ; дикій хмѣль уви́ль, перепуталъ лѣсъ. По ту сторону лѣса

ѣхалъ Иванъ на быстромъ конѣ, по сую сторону стояла, какъ окаменѣлая, сестра. Но вотъ соскочила она съ змѣи, взяла ее за голову, ударила объ землю—и длинная пила засверкала въ рукахъ ея. Она принялась пилить лѣсъ. Какъ снопы валятся огромныя деревья; пила страшно визжитъ по лѣсу; потъ въ три ручья льется съ лица преступной сестры, а Иванъ, между-тѣмъ, все ѣдетъ далѣе и далѣе. Три дня и три ночи работала сестра; наконецъ, яркою полосой свернула предъ нею равнина: она пила объ землю—пила стала змѣемъ; только пылъ поднялась надъ степью, какъ полетѣли они.

Иванъ опять увидѣлъ за собою роковое пятно и поскакалъ шибче; только успѣлъ онъ минутъ Вернигору, какъ тотъ махнулъ платкомъ—затрещало, зазвенѣло подъ землею, и вдругъ, какъ исполины, медленно, торжественно вышли изъ земли каменные горы: все плотнѣе и плотнѣе сдвигались онѣ, росли выше и выше, уперлись своими головами въ небо и стали, какъ стѣна, между братомъ и сестрою, между порокомъ и добродѣтью. Но какая преграда удерживаетъ зло?

Хороши были эти горы! ихъ ледяныя вершины горѣли алмазами и отливали матовымъ серебромъ; ниже—зеленѣли роціи, въ роцяхъ бѣгали звѣри, пѣли птицы; съ утесовъ прыгали водопады, брызгали фонтаны. Посмотрѣла сестра на горы и горько улыбулась, а слезы отчаянія облили глаза ея. Она взяла змѣю за хвостъ, ударила о камень—и змѣя стала широкимъ топоромъ; сверкнулъ топоръ въ рукѣ сестры—дождь искръ обрызнулъ всю окрестность; запыргалъ топоръ чаще и чаще; зазвучали земля и небо. И мраморъ, и гранитъ, обдавая дерзкую потокомъ огня, сокрушались и падали въ бездну.

Три недѣли, день и ночь, рубила преступница горы, а Иванъ все скакалъ къ Солнцу, и уже былъ близко его дома, какъ увидѣлъ за собою летящую сестру. Онъ прыгнулъ на коня и помчался какъ изъ лука стрѣла, а между-тѣмъ, слышитъ, погоня все ближе и ближе; уже ядовитое дыханіе змѣи обдаётъ его жаромъ, жжетъ искрами; вотъ чья-то рука машетъ надъ нимъ, ловить его за затылокъ; онъ наклонился впередъ, коня нагайкою—и разомъ вскочилъ на дворъ Солнца; за нимъ захлопнулись ворота; сестра осталась за воротами.

Кольцомъ свился змѣй вокругъ дома Солнца. У воротъ стоитъ сестра и требуетъ себѣ брата.

— Ты, Солнце, несправедливо завладѣло братомъ, говорила она:—ты съѣшь раздоръ между нами. Отдай мнѣ моего брата! Онъ забылъ любовь родственную и бѣгаетъ отъ

меня, какъ дикій звѣрь. Я вышла готовить ему лучшія кушанья и напитки, а онъ, какъ воръ, выбѣжалъ изъ отцовскаго дома и поскакалъ къ тебѣ, сломя голову. Я, бѣдная, слабая женщина, выбилась изъ силъ, его преслѣдуя; и что жъ?—достигаю, хочу обнять брата, а злой человѣкъ прячетъ его за замки.

Нѣсколько дней Солнце не выходило и не показывалось добрымъ людямъ, а люди добрые такъ любятъ Солнце-благодѣтеля! На землѣ стало грустно, печально.

— Послушай, сказалъ Иванъ Солнцу:— выдай меня сестрѣ; ты за меня терпишь лютый плѣнъ; вся земля невинно страдаетъ.

— Этому не бывать, отвѣчало Солнце:— я пойду, лучше поговорю съ твоею сестрою: можетъ-быть, она стала добрѣе.

Солнце вышло изъ комнаты и, подойдя къ воротамъ, долго говорило съ сестрою.

— Твоя сестра выпускаетъ насъ изъ плѣна, говорило весело улыбаясь, Солнце, войдя къ Ивану: — только съ условіемъ: должно поставить передъ домомъ большіе вѣсы; на одну доску вѣсовъ станеть она, на другую я съ тобою, и кто подымется выше, тотъ будетъ вѣчнымъ господиномъ того, кто его перетянетъ.

— Пропали мы! сказалъ печально Иванъ:— насъ двое, а она одна, да еще женщина: онѣ всѣ, говорятъ, легче вѣтра! Быть намъ рабами у этой вѣдмы.

— Невинность всплываетъ наверхъ, какъ масло, а зло камнемъ тонетъ, отвѣчало Солнце и велѣло ставить передъ домомъ вѣсы. Злобно улыбаясь, смотрѣла на эту работу сестра-преступница.

На другой день рано утромъ вышло Солнце изъ дома, ведя за руку Ивана. Они

подошли къ вѣсамъ и стали на одну доску; дрожа отъ радости, вскочила сестра на другую и—поблѣднѣла; ея доска быстро опустилась внизъ; еще секунда—земля растворилась и она вошла въ землю. Только клубъ трескучаго пламени вырвался изъ земли и бездна опять сдвинулась, густой дымъ побѣжалъ отъ того мѣста по землѣ. Высоко поднялась доска, на которой стояли Солнце въ Иваномъ. Мгновеніе — и двѣ свѣтлыя черты сверкнули между небомъ и землею: праведники улетѣли на небо и остались на немъ.

Всякій день съ тѣхъ поръ ходитъ Солнце по небу и свѣтитъ, и грѣетъ, и благоворитъ міру. Всякую ночь Мѣсяцъ (Иванъ) грустно свѣтитъ землѣ, вспоминая своихъ родителей и злую сестру. Чистыя слезы его живительною росой капаютъ на растенія.

Велика, необъятна Россія! Много морей омываетъ берега ея; много тысячъ рѣкъ живою сѣткою легли на ней; много миллионовъ людей блаженствуетъ на землѣ ея, благословляя Бога и государя! И кругомъ этой исполинской страны, какъ безцѣнный жемчугъ вокругъ святой картины, легли вѣрною цѣпью казаки. Помнить мѣсяцъ свое происхожденіе, любить казаковъ, какъ братьевъ; въ пограничныхъ лѣсахъ Польши и Пруссіи, въ горахъ Кавказа, на равнинахъ Татаріи и въ степяхъ Китая—вездѣ свѣтитъ имъ дружелюбно. Ни одинъ лихой наѣздъ, ни одно истинно казачье дѣло не совершается иначе, какъ при лучахъ мѣсяца, и въ народѣ зовутъ его: *Казачье солнце*.

1836 г.



V.

ПОТАПОВА НЕДѢЛЯ.

Б Ы Л Ь.

Не слухай, сердце, тихъ, кто такъ тоби казавъ,
Що буцимъ Богъ жинкамъ волосья довге давъ
За тимъ, що розумъ имъ укоротивъ чымало:
То погань такъ верзла, школярство такъ брехало.

Гулакъ-Артемовскій.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

— Та-та-та! голубочко! Будто я васъ не знаю!... Разсказывай, когда хочешь, попо-

вой кобылѣ... говорилъ протяжно Потапъ своей женѣ, медленно ложась на широкую скамью.

— Говорю, говорила и буду говорить, что

мнѣ съ тобою житья нѣтъ. Развѣ меня мать отдала за татарина? Развѣ завязала въ мѣшокъ, чтобъ я свѣта не видала?—отвѣчала скороговоркою Настя, молоденькая женщина небольшого роста, жена Потапа, и полныя ея щеки горѣли отъ гнѣва, и черные глазки сверкали, какъ искры.

— Ого-го, та ба! та до кумы не пушу! пусть я узнаю, что ты была у нея!

— Такъ что!—и пойду, и не побоюсь стараго дьявола?

— Кого, кого?

— Не дослышалъ?—дьявола—вотъ тебѣ!

— Гей, жена! не серди меня: ты знаешь, что я золь.

— Золь? Еще ли онъ золь! Ахъ ты, старый!... Я тебѣ покажу злаго... И, съ этими словами, глиняный кувшинъ, бывшій въ рукахъ Насти, полетѣлъ въ голову Потапа. Потапъ поднялъ руку ко лбу; кувшинъ разлетѣлся о жилистый кулакъ его.

— Скверная вѣдьма! сказалъ Потапъ и обернулся лицомъ къ стѣнѣ.

— Скверная вѣдьма? закричала Настя, схвативъ вѣнникъ, стоявшій у порога, и удары вѣника посыпались изъ рукъ супруги на бѣднаго Потапа.

— Послушай, перестань шутить! говорилъ Потапъ:—ты знаешь, что я золь.

— Какъ? ты золь? такъ я должна терпѣть твою злобу? Вотъ я тебѣ!... И опять вѣникъ опустился на Потапа.

— Зачѣмъ ты шла за меня, когда знала, что я такой злой? говорилъ Потапъ, защищаясь руками и ногами отъ вѣника.

Еще нѣсколько обоюдныхъ упрековъ, еще нѣсколько ударовъ вѣника, и эта семейная буря совершенно окончилась; даже, когда пришла вечеромъ кума, Потапъ весьма учтиво выпилъ съ нею около бутылки запеканки; хотя, между нами будь сказано, онъ терпѣть не могъ кумы, у которой собирались веселыя вечеринки и часто бывалъ новопріѣзжій изъ Переяславля дьячокъ Петя Опанасовичъ Флоранскій, а этотъ Флоранскій такими масляными глазками смотрѣлъ на молодыхъ женщинъ. Петя Опанасовичъ, воспитанникъ покойной барыни, пребогомольной вдовы, считался дальнимъ родственникомъ кумы, носилъ длинный синій сюртукъ, имѣлъ черные усы, ровный басы и двадцать-пять лѣтъ отъ-роду. Съдому Потапу кралось подъ шестьдесятъ. Настя едва насчитывала двадцать. Это было весною, именно въ мартъ, не помню хорошенько котораго года—да это все-равно.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ.

Сколько разъ случалось мнѣ видѣть весну и всегда новое чувство оживляло

меня. Скажите люди, вы—такъ много хвастаете умомъ своимъ—скажите мнѣ, что такое разливается тогда въ воздухѣ? что заставляетъ трепетать грудь вашу безотчетнымъ восторгомъ? что раздвигаетъ своды неба и показываетъ вамъ высоко-высоко недоступную лазурь? Но вы молчите, мудрые. А между-тѣмъ вокругъ меня пиръ весны въ полномъ блескѣ: непостижимая сила разбудила природу; оживленные корни ползаютъ подъ землею, жужжатъ насѣкомыя, поютъ птицы, шумятъ воды!... Далеко подъ синимъ сводомъ тянутся перелетныя птицы: стройно, рядъ за рядомъ, показываются онѣ съ юга, несутся надъ головою моею, оживляя пустыню воздуха радостнымъ крикомъ, и на сѣверѣ исчезаютъ, какъ минуты нашей жизни, какъ радости человѣка!... И откуда эта воздушная армія? и куда летитъ она? „Это посланцы Бога“ говоритъ темная чернь, „они разносятъ изъ рая жизнь и теплоту на крыльяхъ своихъ.“ Летите, вольныя птицы, я не полечу за вами мечтою на сѣверъ: тамъ холодно, а здѣсь такъ прекрасно! Но когда отцвѣтетъ это пышное лѣто, открасуется, какъ невѣста въ вѣнчальномъ нарядѣ; когда печально пожелтѣетъ поле, холодный вѣтеръ зашумитъ по дубравѣ и унылая роша, грустно вздыхая отъ его порывовъ, съ каждымъ вздохомъ станетъ ронять, какъ слезы, поблеклые листья—тогда вы, минутные гости, поспѣшите на теплый югъ, тогда я вамъ передамъ много-много на мою родину!... Вы увидите тамъ мою ненаглядную, вы скажите отъ меня вѣсть; она найдетъ васъ въ небѣ своими черными глазами... О, какъ вамъ будетъ весело летѣть! съ какой любовью смотреть она!... Но прочъ фантазія!... Вотъ перелетная станица спускается все ниже и ниже къ землѣ; передовой журавль сѣлъ на поле и всѣ окружили его. Чрезъ минуту поднялась стая, но передовой остался на мѣстѣ; онъ вытянулъ шею, взмахнулъ крылами, чтобы слѣдовать за товарищами: крылья его опустились, какъ свинцовыя. Птицы обвили надъ нимъ вѣнокъ, другой, третій, всѣ выше и выше, и скрылись изъ глазъ. Прощальный крикъ отсталаго, какъ вопль отчаянія, долго раздавался въ пустынномъ полѣ. Вѣрно пуля охотника задѣла крыло его—и полувоздушный жилецъ остался прикованъ къ землѣ. Жаль тебя, вольная птица! страшно жить на коварной землѣ.

Вечерѣло. Лѣниво тянулся по полю плугъ, запряженный восьмью волами; впереди шли два мальчишка, а позади плуга мѣрно передвигали ноги Потапъ; на немъ были тяжелые сапоги до колѣна, широкіе шаровары, свитка, опоясанная пестрымъ

комъ, и сивая баранья шапка съ сиверхомъ; въ зубахъ онъ держалъ кожную трубку; надъ его головою то стало, то исчезало легкое облачко наго дыма.

А что тамъ ходитъ подлѣ дороги? иль Потапъ мальчика, прижимая указнымъ пальцемъ золу въ трубкѣ.

Да, что-то ходитъ, дядюшка.

Зотъ дурень! да что жъ оно такое?

А Богъ его знаетъ, а ходитъ.

И я самъ вижу, что ходитъ; кажется, и.

Должно-быть, птица, дядюшка. А вотъ аю, И мальчикъ побѣжалъ къ ходив-предмету. Напрасно бѣдный журавль въ крыльями, онъ его не слушались; лось уходить ногами, но мальчикъ естанно останавливалъ его. Къ маль-прибѣжалъ товарищъ, наконецъ полъ самъ Потапъ. Со всѣхъ сторонъ ѣли на бѣднаго журавля палки: онъ и черезъ полчаса, не болѣе, Потапъ, за столомъ въ своей хатѣ, говорилъ

Смотри, Настя, я завтра до свѣта въ поле и буду домой не раньше а, а ты изготви мнѣ къ ужину сла-борщъ, положи въ него цѣлаго жу- , котораго я убилъ сегодня, да по-е сала... Ужъ коли ѣсть, такъ есть!

А борщъ съ журавлинымъ мясомъ вкусенъ, сказала Настя:—я пробо-его у попадьи. Ей, бывало, стрѣляетъ ю дичь тотъ высокій офицеръ, что, ѣ, стоялъ въ нашей деревнѣ.

Мы и не офицеры, а полакомимся въ Туши, жена, каганецъ!

И въ комнатѣ сдѣлалось темно.

ВТОРНИКЪ.

Измъ-то будетъ Настя угощать своего! Онъ скоро прѣдетъ съ поля; уже ѣть.

Потапъ рано выѣхалъ на работу, а въ обѣдъ съѣли журавля, да съѣли ста.

Настя были гости: была кума и Петя Опанасовичъ; они сѣли за столъ кое время, какъ и всѣ крещенные лю-Петя Опанасовичъ отвѣдалъ раза че-ганусовой водки; кума рассказала ка-о исторію, и когда Флоранскій началъ въ пятое испытаніе надъ бутылкою, а оканчивала рассказъ, журавля уже не даже его кости, какъ вещь ненуж-были выброшены за окно. Жаль, что не видѣлъ кочующій механикъ Деръ, онъ сдѣлалъ бы изъ нихъ карман-Наполеона, или свистокъ, или иголь-

никъ, или какую-нибудь полезную дудочку, а все-таки что-нибудь сдѣлалъ бы.

Но чѣмъ станетъ Настя угощать сво-его мужа? Уже вечеръ; кума и Петя Опанасовичъ ушли домой; скоро будетъ Потапъ съ поля.

— Гей! цобъ, цобъ, гей! раздалось подъ окномъ на улицѣ. Ворота заскрипѣли; лѣнливо втянулся на дворъ Потапа длинный плугъ. Минута—и Потапъ былъ уже въ хатѣ.

— Давай, жена, ужинать! сказалъ онъ, положивъ на лавку плетъ и шапку, и сѣлъ за столъ.

Чѣмъ-то станетъ угощать его Настя? Журавля съѣли еще за обѣдомъ.

— Давай же поскорѣ! закричалъ Потапъ.

— Вотъ, еще! какъ москаль раскричался! Успѣешь накушаться, говорила Настя, ставя передъ мужемъ огромную миску поста-наго борщу.

Потапъ попробовалъ борщъ, посмотре-лѣлъ на жену, положилъ на столъ ложку и плюнулъ.

— Съ чѣмъ это борщъ? спросилъ Потапъ.

— Съ чѣмъ? разумѣется, постный.

— Развѣ я монахъ какой кievскій, чтобъ по вторникамъ постился?

— А съ чѣмъ бы я тебѣ изготвила? не-бойсь, ты купилъ мяса...

— А журавля гдѣ ты дѣла?

— Журавля! какого журавля? что ты бредишь!

— Это такъ! еще бредишь! Журавля, котораго вчера убилъ?

— Это, вѣрно, тебѣ снилось.

— Гм! снилось! Вчера я убилъ палкою журавля, привезъ его, отдалъ тебѣ въ ру-ки и приказалъ приготовить изъ него борщъ.

— Богъ съ тобою! продолжала Настя, перекрестивъ Потапа.—Хоть не кричи такъ громко, а то сторонніе люди, идя мимо, услышатъ да еще, чего добраго, скажутъ, что ты съ ума сошелъ!

— Какъ, съ ума сошелъ? Я пойду по-зову мальчиковъ: они видѣли, какъ я билъ журавля.

— Погоди, говорила Настя, удерживая Потапа за полу:—погоди, не дѣлай намъ стыда, прежде подумай хорошенько. Слы-ханное ли дѣло убить палкою журавля? и воробья не скоро убьешь этимъ инструмен-томъ, а то журавль, птица осторожная! Ты подумай. Вотъ нашъ комиссаръ, какой стрѣлокъ, ни по чему не дастъ промаха, а какъ поѣдетъ на охоту, наберетъ съ собою сколько людей, да все грамотныхъ, сколько ружей и всякаго запаса, да ѣздятъ они, иногда два-три дня; выпьютъ столько раз-

ныхъ настоекъ, что намъ не имѣть до смерти, а слава Богу, когда убьютъ хоть одного журавля. Это птица осторожная! Ты и не думай звать мальчиковъ: они тебя въ глаза высмѣютъ, и вездѣ расскажутъ, что ты одурѣлъ.

— Да я именно помню: я ѣхалъ съ поля, а журавль ходилъ подлѣ дороги; я взялъ палку, бросилъ и, кажется, убилъ его.

— То-то, что тебѣ такъ кажется; тебѣ приснилось, или представилось.

— Оно, можетъ-быть, и представилось; такъ нѣтъ, я вотъ тутъ и положилъ его на лавкѣ.

— Опять за свое! Богъ съ тобою, Потапъ, не испортилъ ли тебя кто-нибудь? Какъ можно рассказывать такое неподобное! Гдѣ бы я дѣла этого журавля? подумай хорошенько...

— И то правда. Именно мнѣ приснилось; да какъ живо! ну, вотъ, я готовъ бы спорить, что убилъ журавля—такъ живо! будто я держалъ его въ рукахъ!

— Да оставь его, не пугай меня. Не хочешь ли каши?

— Каши?—это не худо. Да какъ живо приснилось!...

С Е Р Е Д А.

Поднялось уже солнце высоко на небо. Въ воздухѣ жарче. Какъ-то лѣнивѣе идутъ въ плугъ волю, которыми пашетъ Потапъ. Совсѣмъ пора обѣдать. Идетъ Потапъ за плугомъ и думаетъ: „отчего жена не несетъ обѣда? Я, кажется, велѣлъ ей принести сегодня.“ А того и не видитъ, что вслѣдъ за нимъ идетъ жена его, несетъ ему обѣдъ, а въ кувшинѣ холодную воду. Вынимаетъ она изъ кувшина живыхъ щукъ и окуней, и бросаетъ ихъ въ борозду. Странныя прихоти у этихъ женщинъ: несутъ мужу обѣдъ Богъ-знаетъ съ какою соленою рыбою, а свѣжихъ щукъ и окуней бросаетъ по полу!... Жаль смотрѣть, какъ онѣ, бѣдныя, прыгаютъ на солнцѣ, такъ бы вотъ, кажется, взять ихъ, несчастныхъ, изжарилъ да и съѣлъ; а то, вѣдь, ни за что пропадають! Вотъ окончилась нива и плугъ началъ поворачивать налѣво.—Стой! закричалъ Потапъ, увидя жену,—распрягай воловъ, обѣдъ несутъ.

Въ это время Настя подошла къ плугу и поставила на землю обѣдъ.

— Какой это волю идетъ у тебя впереди? спросила она Потапа.

— Вотъ хозяйка, не знаетъ своихъ животныхъ! отгадай.

— Неужели, это нашъ красный, что хромалъ прошлое лѣто?

— Разумѣется, тотъ самый.

— И теперь онъ ходитъ?

— Ты видишь!

— И пашетъ?

— Какъ нельзя лучше!

— Вотъ этому я не повѣрю! Еще что ходить-то можетъ быть, а пахать—куда ему, грѣшному!... Никогда не повѣрю.

— Да такъ пашетъ, что тебѣ и не снилось такъ пахать. Хочешь, я сейчасъ пропащу еще одну борозду?

— Пошелъ дѣлать глупости! Сядемъ лучше обѣдать. Волю и такъ устали, онъ и не пойдетъ теперь; тебѣ же стыдно будетъ.

— Кто? красный не пойдетъ? знаешь ты!... Хлопцы! не распрягать, погоняй! И плугъ потянулся назадъ. А что, не идетъ? Ай-да, красный! небось, не везетъ—а? Что жъ ты молчишь, Настя? Ужъ эти мнѣ женщины! Часто, Господи прости, чертъ знаетъ о чемъ спорятъ! говорилъ Потапъ, поглядывая самодовольно на жену.

— Дядюшка! закричалъ мальчикъ, погнавшій переднихъ воловъ.

— Га?

— Дядюшка, рыба!

— Что?

— Дядюшка! щука!

— Дуракъ! то змѣя.

И мальчикъ понесъ къ Потапу живую щуку.

— Брось ее, дурень! это такая гадина, кричалъ Потапъ; но мальчикъ уже принесъ и бросилъ къ ногамъ его рыбу.

— Да это вправду щука, говорила Настя.

— Точно щука повторилъ Потапъ, пожимая плечами—но откуда ее занесла легкая?

— Богъ ее знаетъ; а щука славная, вѣрно съ икрою: такая толстая! побѣжай далѣе, можетъ-быть, выпашешь и другую для ужина.

— Какъ выпашешь?

— А откуда же взялась эта? вѣдь ты ее выпашалъ изъ земли; щуки по полю не пасутся.

— Правда! не пасутся, но...

— Дядюшка, окуны! закричалъ опять мальчикъ.

— Неси его сюда,—говорилъ Потапъ, хлопая руками по широкимъ шароварамъ,—это цѣлая исторія! Случалось мнѣ выпашивать и змѣй, и мышей, и даже однажды (жа выпашалъ, а рыба попала въ первый разъ въ жизни!

— Дядюшка!

— Опять?

— Опять!

— А что?

— Щука!

— Ха-ха-ха! Подавай ее сюда! Комедія да и только! Что я выпашалъ рыбу—это

но откуда набралась она и какъ за-
вѣ землю—не приберу толку!

Сказывала мнѣ бабушка покойницы ма-
говорила Настя:—что на этомъ мѣстѣ
инѣ было озеро, которое потомъ вы-
; такъ весьма можетъ быть тогда ры-
пряталась въ землю, да и жила тамъ
хѣ порѣ.

Ну, такъ и есть! теперь все понятно.
ныя времена были эти, старинныя!...

А между-тѣмъ плугъ ѣхалъ далѣе и
икъ безпрестанно приносилъ Потапу
о рыбу, такъ-что, когда сѣли обѣдать,
гъ самъ насчиталъ восемь шукъ и три
и, отдавая ихъ женѣ, сказалъ: слу-
Настя, я сегодня заночую въ полѣ, а
а ты возьми изготви эту рыбу и при-
мнѣ обѣдать. Да смотри, не переведи
у... (Тутъ Настя мигнула на Потапа)
къ, какъ.... Ты сама знаешь, какъ что

ЧЕТВЕРГЪ.

Юздно вечеромъ сердито вошелъ По-
въ свою хату; онъ цѣлый день пи-
однимъ хлѣбомъ и водою: Настя по-
-то причинѣ не приносила ему обѣ-

давай ѣсть, жена! закричалъ онъ:—я
энтъ, какъ волкъ, по твоей милости!

Юльно было не приходить къ обѣду.
[а вѣдь я тебѣ приказывалъ при-
мнѣ въ поле рыбу?

Южно дурачиться старый! Въ четвергѣ
алъ поститься! И гдѣ бѣ я ему взя-
бы? Лучше покушай галушекъ съ са-
ты ихъ любишь, я нарочно для тебя
товила.

Галушки, гм! Но гдѣ жѣ рыба?

Ха-ха-ха! не знаетъ, гдѣ рыба! которая
дѣ—та плаваетъ, которая у чумаковъ
лежитъ въ возахъ и амбарахъ, ко-
...

Юще и смѣется! Да наша гдѣ?

Юслѣдній десятокъ тарани еще пе-
Крещеніемъ сѣзли. Помнишь, когда
кумъ Свистоплясъ въ новыхъ сапо-
Вотъ сапоги, настоящіе московскіе!
ждую подошву вколочено сотни пол-
гвоздей. Какъ идетъ кумъ по хатѣ,
тъ словно добрая лошадь.

Юто ты мнѣ врешь околѣсную про-
опляса да про московскіе сапоги! Охъ,
меня не проведешь! Вѣрно кошки
рыбы?

Да оставь, пожалуйста! Какую рыбу?

Гу, чтѣ я вчера выпалъ изъ земли
шей нивѣ.

Ютъ опять Богъ знаетъ чтѣ! Опять
ибудь приснилось!

— Приснилось? развѣ ты забыла, что я
вчера, на твоихъ глазахъ, выпалъ во-
семь шукъ и три окуня?

— Полно шутить! Ёшь галушки, не то
простынуть.

— Какъ шутить? Я выпалъ рыбу, а ме-
ня увѣряютъ, что я шучу!

— Богъ съ тобою, Потап! не кричи такъ;
право, сторонніе люди услышатъ да раз-
скажутъ вездѣ, что ты съ ума сошелъ. Раз-
суди хорошенько, умная ты голова: какъ
можетъ рыба жить въ землѣ? какъ она
тамъ будетъ плавать? а ежели она и пла-
ваетъ, то почему не испугалась плуга и не
уплыла въ землю глубже? Вѣдь, рыба въ
водѣ водится, а попробуй, начини пахать
воду, право и лягушки не поймашь; хоть
лягушка и не рыба, а такъ живая, неѣдо-
мая скверность. Нѣтъ, это чистый сонъ; и
какъ можно вѣрить всякому сну, мало чего
не приснится, такъ и кричать: давай мнѣ
того и другаго и десятаго! А гдѣ его взять...

— Сонъ—другое дѣло; а рыбу я держалъ
въ своихъ рукахъ, кажется, такъ и шеве-
лилась!

— То-то и бѣда, что кажется! Вотъ мнѣ
разъ показалось, что я плыву, какъ на яву,
хоть побойться, такъ живо! и держусь за
престолстый чурбанъ... Проснулась; а я сплю-
себѣ преспокойно подлѣ тебя, на мягкой
постели!?

— Господи, Боже мой! отчего же прежде
не случались мнѣ такіа видѣнія?... Тамъ
журавль, тутъ рыба...

— Молчи, молчи, Бога ради! опять за ста-
рый бредъ! Ты нездоровъ, тебя испортили
злые люди. И за чтѣ я, несчастная, осужде-
на терпѣть? промолвила тихимъ голосомъ
Настя, утирая рукавомъ слезы.

Потапъ задумался.

— Что ты не ужинаешь? спросила его
Настя.

— Мнѣ нездоровится, отвѣчалъ Потапъ,
и проворчалъ, закуривая трубку:—тутъ что-
то не спроста, право не спроста.

— Охъ, и я такъ думаю! сказала Настя,
и тяжелый вздохъ вырвался изъ полной
груди ея.

ПЯТНИЦА.

Сегодня пятница, день рабочій и нѣтъ
никакого праздника. Всѣ люди отправились
на работу: Заяцъ пошелъ на мельницу; Бар-
дакъ давно стучить топоромъ; Куцъ съ
Шевцомъ молотятъ просо; прочіе всѣ поѣ-
хали въ поле. Теперь время весеннее: лю-
ди, какъ муравьи, роются въ землѣ, а По-
тапъ остался дома; его хлопцы сами поѣ-
хали на ниву. Потапъ не могъ даже обѣ-
дать; онъ былъ скученъ, молча курилъ

трубку и на ласки и поцѣлуи жены не отвѣчалъ ни слова. Послѣ обѣда онъ взялъ шапку и куда-то вышелъ, и возвратился уже передъ вечеромъ. Въ хатѣ никого не было; Настя что-то дѣлала на огородѣ.

„Я никакъ не думалъ,“ говорилъ самъ себѣ Потапъ, сядя на лавку, „чтобъ эта кума была такая добрая; попалась мнѣ на дорогѣ и затащила къ себѣ. Славная у нея настойка! Говорить: „выпейте, Потапъ Евтуховичъ, это полезно,“ и правда: гораздо благополучнѣе на желудкѣ... Да и говорить-таки: „испытайте вашу болѣзнь надъ вашею же женою...“ Пожалуй, я не прочь, мнѣ же лучше. „Когда вправду больны, такъ лечитесь, говорить, а когда это женскія штуки...“ О! то я ей покажу себя, я вѣдь золъ, сильно золъ!... Спасибо еще сказала: Богъ не приказалъ женщинамъ стричь волосы, а я частенько думалъ: отчего онъ не стригутся?—а имъ Богъ не приказалъ! Вѣрно, такъ надобно. Да говорить, оттого-то въ хатѣ и стричь нельзя. Ну, да это пустое.... Спасибо кумѣ, право она такая добрая! „Вы, говорить, Потапъ Евтуховичъ, не беспокойтесь и выпейте еще; а тогда, какъ испытаете—другое дѣло! это важно, говорить, попросите Флоранскаго: онъ знаетъ разныя заклинанія.“ Мнѣ-то больно не по-душѣ этотъ Петя Опанасовичъ, а дѣлать нечего.

Такъ, или почти такъ, рассуждалъ Потапъ, пока не пришла Настя съ огорода.

Насталъ вечеръ. Поужинали. Вотъ и темно въ мирѣ: пора спать.

— Мы сегодня будемъ ночевать въ амбарѣ, сказалъ Потапъ женѣ.

— Въ амбарѣ!

— Да, въ амбарѣ; здѣсь очень душно.

— Давно ли кутался тремя шубами? ничѣмъ, бывало, его не нагрѣешь, а теперь душно!...

— Не твое дѣло; говорю тебѣ: иди стели постель въ амбарѣ, а я подожду здѣсь хлопцовъ. Какъ они долго не ѣдутъ съ поля.

— То журавли, то рыба, то душно, еще Богъ знаетъ что дальше будетъ. Пропалъ человекъ! прошептала Настя и пошла въ амбаръ.

Потапъ остался одинъ. Онъ вынулъ изъ кармана ножницы, досталъ съ полки брусь и началъ острить ихъ. Скоро приѣхали хлопцы; волю распряжены; имъ дали сѣна; плугъ поставленъ на мѣстѣ. Чего же болѣе? Потапъ, осмотрѣвши все хозяйство, пошелъ въ амбаръ.

СУББОТА.

Настало утро, тихое, прекрасное утро. Предразсвѣтный вѣтеръ задулъ въ небѣ

звѣзды. На землѣ все становилось свѣтлѣе. Вотъ загорѣлось на востокѣ небо. Изъ-подъ соломенной кровли вылетѣла ласточка, взвилась къверху, очертила кругъ надъ хатою, и, устѣвшись на крышѣ, весело защебетала на встрѣчу красному солнышку. Вышло оно, радость наша, свѣтлое, чистое, омытое свѣжею росой, и привѣтно улыбнулось; отъ его улыбки потеплѣло на свѣтѣ, пробудилась земля.

Передъ хатою Потапа стоитъ любимая его чубарая кобыла; и вы не узнали бы ее, когда бы теперь увидѣли, представьте, грива и хвостъ такъ у нея выстрижены, что смотрѣть совѣстно. Право непонятно, кто остригъ ее. Въ деревнѣ нѣтъ военного поста, да хотя бы и былъ, все-таки чубарой хвостъ не годится на султаны. На завалинѣ подъ хатою сидитъ Потапъ. Онъ задумался и, потупивъ глаза въ землю, чертилъ на пескѣ палкою какія-то фигурки. Подлѣ него стоитъ Настя. Она убита горестью; ея глаза отъ слезъ не могутъ смотрѣть на свѣтъ Божій; ея длинныя, черныя косы въ безпорядкѣ разметались по плечамъ; она была такъ хороша, ея горестъ была такъ непритворна, ее такъ было жалко, что даже вы, вы, почтенный философъ, въ длинномъ сюртукѣ, изучившій всего Цицерона, вы бы невольно захотѣли поцѣловать ее, чтобъ утѣшить эту безутѣшную горестъ.

— Боже мой! за что ты такъ меня наказываешь? говорила Настя, скрестивъ на полной груди своей бѣлыя руки: — за что ты берешь отъ меня моего добраго Потапа? Потапе! Потапе! ты живъ? продолжала она, дергая его потихоньку за рукавъ.

— Кажется, живъ, отвѣчалъ онъ, пожимая плечами.

— Кажется! О, Боже мой, все ему кажется! Послалъ же какой-то недобрый человекъ на него видѣнія! Шутка ли, цѣлую ночь провозиться съ кобылою? Не успѣла я вздремнуть съ вечера, смотрю: онъ встаетъ, взявъ ножницы, и давай стричь кобылу. Сколько я не просила, такъ-нѣтъ, и слышать не хочетъ. „Я знаю, говорить, что дѣлаю; ты, безтолковая баба, не мѣшайся въ казацкія дѣла. Охъ, не то было бъ на свѣтѣ, когда бы вы насъ слушали! а то мужъ неподобное станеть дѣлать — жена молчи и пикнуть не смѣй! Да и что тутъ за казацкое цѣло — стричь кобылу? смѣхъ людямъ сказать. На ней теперь никуда поѣхать нельзя, и продать, такъ полцѣны не дадутъ.“

— Сдурѣлъ, сдурѣлъ, право сдурѣлъ я на старость! Самъ вижу ясно, что сдурѣлъ, говорилъ Потапъ, тихо качая головою.

Настя плакала.

— Не плачь, Настя, это Богъ наказалъ меня за то, что я тебѣ не вѣрилъ, что я хотѣлъ, когда ты спала въ амбарѣ, обрѣзать твои косы, чтобъ испытать, точно ли мнѣ все кажется. Хоть присягнуть, мнѣ помнится, я пришелъ въ амбаръ, отрѣзалъ на твоей головѣ косы, положилъ ихъ подъ подушку и легъ спать. Поутру просыпаюсь — подъ подушкою конская грива, на твоей головѣ не тронутъ ни одинъ волосокъ, по двору бродитъ моя кобыла совсѣмъ опипанная!

— Скажи спасибо, что я не дала тебѣ обрѣзать ей уши.

— А я хотѣлъ и уши ей обрѣзать?

— Какъ же! А послѣ все искалъ топора, чтобъ отрубить ей голову.

— И голову? Ей-богу, ничего не помню.

— Мало этого, еще хвалился на слѣдующую ночь меня зарѣзать. Я боюсь тебя.

— Не знаю, хоть убей, ничего не знаю, моя милая. Ты свяжи меня на ночь, когда боишься, свяжи руки и ноги.

— Тебя связать? О, Боже мой, до чего я дожила! чтобъ я на своего законнаго мужа, на своего начальника подняла руки? Нѣтъ, Потапе, лучше зарѣжь меня.

— Вотъ дура! когда я тебя зарѣжу, такъ и мнѣ житья не будетъ: меня зашлютъ въ Сибирь.

— Ну, когда такъ, то возьму тяжкій грѣхъ на душу, спеленаю тебя, какъ ребенка, а въ Сибирь не пущу!

— Спасибо тебѣ, жена. А мнѣ все-таки худо.

— Худо? Бѣдный, совсѣмъ рехнулся! Когда-бъ я знала, что ты будешь сидѣть смирно, я пошла бъ за дьячкомъ: пусть онъ прочитаетъ надъ тобою что-нибудь полезное, авось будетъ лучше.

— Дѣлай что хочешь! И Потапъ махнулъ рукою.

Черезъ пять минутъ Настя была уже у кумы.

— Каково твой старый чортъ отдѣлалъ меня, говорила кума, снимая съ головы платокъ — и Настя начала хохотать: кума была острижена, какъ рекрутъ. — Видишь, что я вытерпѣла изъ дружбы къ тебѣ, а ты мнѣ не хочешь дать полотна.

— Принесу цѣлую штуку.

— Ну, то-то! Куда ты идешь?

— Послалъ меня мой нелюбъ за дьячкомъ вычитывать дурь изъ головы.

— За Петею? Ха-ха-ха! но, послушай... Тутъ онѣ начали говорить такъ тихо, какъ-будто ихъ кто подслушивалъ. Гдѣ сойдутся двѣ женщины, тамъ вѣчно секреты.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Господи! какъ скоро идетъ время! Давно ли, подумаешь, я былъ ребенкомъ? Меня занимала и пестрая бабочка и перелетное облачко и тонкая струя дыма въ голубомъ воздухѣ и любовь дѣвушки — давно ли? А теперь я не причисляю бабочки къ лику небожителей, я понимаю, что она гадкій червь, прикрашенный блестящею нилью; знаю, что облачко и дымъ разлетятся при первомъ дуновеніи вѣтра. А любовь... Но Богъ съ ними! Я теперь улыбаюсь отъ того, что прежде увлаживало глаза мои, можетъ-быть, святою слезою. Кто виноватъ въ этомъ — Богъ знаетъ. Давно ли миръ упалъ ницъ предъ Наполеономъ, котораго рати наводнили Европу? Давно ли сѣверный орелъ, согрѣтый жертвеннымъ огнемъ Москвы, встрепенулся, смелъ однимъ крыломъ буйныя полчища съ лица Европы и, распустивъ другое, прикрылъ державною сѣнью полміра, освобожденнаго отъ рабства — давно ли? И мы уже припоминаемъ это какъ сонъ! Давно ли было воскресенье? всѣ ходили въ село Корованъ къ обѣднѣ, а сегодня опять воскресенье и всѣ уже идутъ отъ обѣдни, и Семень, и Швець, и Заяць, и всѣ идутъ. Господи, какъ скоро идетъ время!

Привольно, тепло свѣтитъ красное солнышко; его лучи весело разбѣгаются по голубой водѣ и таютъ на свѣжей зеленой муравкѣ, обливая ее золотомъ. Сады уже прыснули листочками; въ густой бузинѣ стонетъ иволга. Какой прекрасный день! настоящее воскресенье!

Послѣ обѣда подъ трактиромъ собрались всѣ порядочные люди. Вотъ гдѣ послушать исторій: тутъ рассказываетъ мельникъ, какъ давно еще когда-то, *за стараго пана* его отецъ убилъ ночью, въ мельницѣ, собственноручно небольшого бѣса, который былъ, по обыкновенію, въ нѣмецкомъ платьѣ, въ самыхъ узенькихъ панталопахъ, съ хвостомъ, съ рогами и крыльями; какъ покойный отецъ взялъ эту негодную тварь за рога и выбросилъ на плотину. Настало утро; вы думаете, бѣсъ исчезъ? — ни чуть не бывало; утро освѣтило бѣсовскій трупъ; все село смотрѣло на него; и нѣсколько дней лежалъ бѣсенокъ на плотинѣ; его не клевали вороны; собаки, поджавъ хвосты, съ визгомъ обѣгали эту нечистую вещь, а бѣсъ, между-тѣмъ, сохъ да стеживался, и сдѣлался такъ малъ, что проходящая изъ Курской губерніи баба плюнула на него... и его не стало видно. Немного подальше, въ кружкѣ, Заяць увѣряетъ и божится, что Александръ Македонскій ѣхалъ моремъ-океаномъ и заѣхалъ на край свѣта, гдѣ со-

плось небо съ землею. И всѣ удивляются, отчего Александра Македонскаго назвали Македонскимъ.

Если у него не было умнѣ фамилии, говорилъ Швець, то назвать бы его по отцу: когда отецъ былъ Тарасъ—Тарасенкомъ, когда Грицко — Гриценкомъ. А то Македонскій—ни къ селу, ни къ городу.

— Дураки были тогда люди, перебилъ Заяць.

— Значить, это Македонскій немного не доходилъ до Іерусалима? спрашивалъ Кочережка.

— Вотъ голова! кричалъ Кулишъ:—будто Іерусалимъ на краю свѣта! Я самъ былъ въ Одессѣ, а тамъ до Іерусалима и ста верстъ не будетъ.

— Взять бы нашему Потапу у пана билетъ, когда Іерусалимъ такъ близко, да сходить туда Богу помолиться за свои грѣхи, сказать, подошедши къ бесѣдовавшимъ, Максимъ Стусъ.

— А что съ Потапомъ? спросили всѣ въ одинъ голосъ.

— Совсѣмъ слурѣлъ, отвѣчалъ съ важнымъ видомъ Стусъ.

— Это ему за грѣхи его, заговорили люди:—онъ былъ злой человѣкъ и безвинно обижалъ свою жену; сколько разъ мы сами

видѣли, она, бывало, обливается отъ него горячими слезами.

— Именно такъ, продолжалъ протяжно Стусъ:—ему всякая дрянь въ умъ лѣзаетъ: то представляется, что палкою стрѣляетъ журавлей, то выпихиваетъ на нивѣ живую рыбу, то стрижетъ кобылу и называетъ ее своею женою.

— Кобылу называетъ женою?

— Да, право, да.

— Можетъ-быть, жену кобылою?

— Я знаю, что говорю! Мало этого, еще хотѣлъ бѣдную жену зарѣзать.

— О? Не уже ли?!

— Да, однако, Господь не допустилъ этого. Самъ Потапъ приказалъ женѣ связать себя руки и ноги. Что жъ? цѣлую ночь ему представлялось, что его Настя... Господи, прости! цѣлуется съ Петею Опанасовичемъ и смѣется ему въ глаза, и языкъ показываетъ, и лихой ихъ знаетъ, что такое!... Такъ въ эту ночь измучился, такъ избился, что на себя не похожъ, веревки до крови врѣзались въ его руки и ноги.

„О Господи, какое несчастіе!“ говорили слушатели, „а давно ли, подумаешь, прошлое воскресенье, онъ съ нами вотъ тутъ подъ трактиромъ бранилъ новаго управителя и пилъ водку, какъ человѣкъ въ добромъ разсудкѣ!“...



Вотъ кому зузуля новала!

Р А З С К А З Ъ.

I.

Весьма хорошее село Нехайки; въ немъ все такія бѣленькія, чистенькія избы, какіхъ литвину и во снѣ не видывать. Село перерѣзываетъ широкая дорога; на этой дорогѣ, за селомъ, стоятъ ворота, подлѣ воротъ, въ землянкѣ, живетъ коронный сторожъ, отставной солдатъ инвалидной команды, лгунъ, нахаль, шарлатанъ. Но о немъ поговоримъ въ свое время, онъ, вѣдь, за селомъ; въ Нехайкахъ такого вздору не водится. Тамъ есть дюжіе паробки, есть красавицы-чернобровыя дѣвушки, есть музыканты, сады, собаки, голуби, даже есть докторъ, который прекрасно шепчетъ отъ бѣлыма и отъ простуды; но главное, чѣмъ отличаются Нехайки отъ другихъ селъ, это — огороды. Что за роскошь эти огороды! Отъ хатъ до самой рѣки тянутся они широкими цвѣтными полосами. Тутъ чинно, спокойно, какъ въ засѣданіи какого-нибудь комитета, прозябаютъ увѣсистыя, гладкія головы капусты, далѣе, цѣпляясь за подпорки, улыбается вамъ розовыми цвѣточками кудрявый горохъ, точь-въ-точь завитой франтикъ въ чужомъ кабріолетѣ; подлѣ него, какъ пышная дама въ страусовыхъ перьяхъ, гордо колеблетъ махровою зеленью морковь; тамъ, какъ живая смуглянка Малороссіи, безпрестанно шевелитъ добрыми темнозелеными, блестящими ласточками петрушка; какъ сѣверныя дѣвы, стройныя, свѣтлыя, стоитъ майсъ, разметавъ свою русую косу; какъ сотникъ Мартина Задеки, лѣниво раскинула толстыя сѣроокрасноватыя листья свекла; какъ люди-труженики ползутъ, во всѣхъ направленіяхъ по землѣ, огуречные побѣги, отягченные сочными, здоровыми плодами — словомъ, тамъ растетъ все, что

соч. ГРЕБЕНКИ.

есть на свѣтѣ. Выйди только ховяйка на огородъ, задумай чего необходимо — оно тутъ и есть, подъ-рукою.

Совершенно такіе огороды имѣли два казака-сосѣда: Никита Чмыхъ и Козьма Щуръ. Эти огороды граничили между собою, какъ полы застегнутаго сюртука, или какъ иногда слово *дуракъ* съ какимъ-нибудь человѣкомъ, такъ-что когда скажутъ: *дуракъ*, то сейчасъ въ воображеніи вашемъ и рисуется известная фигура, и обратно. Вѣдь это бываетъ? Такъ и огородъ Чмыха невольно представляется глазамъ, когда вспомнишь огородъ Щура.

Эти огороды были раздѣлены ветхимъ полуразломаннымъ плетнемъ; посреди ихъ росла развѣсистая верба, та самая, на которой въ прошломъ году — помните, какъ была въ Нехайкахъ днѣвка гусарскаго эскадрона, нашла ремезово гнѣздо *) шингарка Феська. Умная баба Феська: дождалась же военныхъ людей! Небойсь, сама не пошла: знала, что ремезъ птица волшебная! Въ глухую полночь взяла двухъ солдатъ и сняла съ вербы гнѣздо. Никто бы не повѣрилъ, что такая молоденькая женщина достала такую рѣдкость, да самъ Дмитро Гречаникъ видѣлъ своими глазами, какъ она перелѣзла черезъ плетень и пошла подъ вербу съ солдатами. Да что вамъ рассказывать, вы вѣрно слышали про это гнѣздо.

Пограничная верба раскинула свои вѣтви далеко на огороды обоихъ казаковъ,

*) Ремезъ очень искусно дѣлаетъ гнѣзда изъ пуху, шерсти и другихъ мягкихъ веществъ. Въ Малороссіи приписываютъ ему большую лекарственную силу.

распустила корни и широко, и глубоко въ землю обоихъ огородовъ и какъ-бы связывала братскимъ узломъ владѣнія двухъ пріятелей, которые люди раздѣлили, хоть слабымъ плетнемъ, да все-таки раздѣлили.

Чмыхъ и Щуръ были издавна пріятелями, крестили одинъ у другаго дѣтей; оба курили и нюхали табакъ, употребляли хмѣльное и очень любили колбасы съ чеснокомъ. Да кто ихъ и не любитъ? Славная вещь!

Утромъ въ маѣ мѣсяцѣ, въ праздникъ Вознесенія, была прекрасная погода. Солнце поднялось довольно-высоко на небо и смотрѣло на Нехайки такъ ласково, какъ нашъ курносый писарь, когда хочетъ у васъ что-нибудь выпросить. Парубки гуляли вдоль улицы; дѣвушки, украшенныя цвѣтами, острыми рядами сидѣли подъ хатами; Козьма Щуръ лежалъ на огородѣ, ожидая онѣ. „Анахронизмъ!“ реветъ ужасно *ловецъ ошибокъ*, человекъ съ большимъ брюхомъ. Онъ какой-то членъ—право не помню хорошенько, имѣетъ акцію на желѣзную дорогу и двѣ на освѣщеніе газомъ. Основываясь на этихъ опорахъ, *ловецъ ошибокъ* всегда кричитъ октавой выше людей обыкновенныхъ. „Вниманіе!“ кричитъ онѣ, „Малороссія не достигла еще до апогея порчи нравовъ; ergo невыразимо-непростительно думать и писать, чтобы въ тотъ торжественный моментъ, когда человекъ возносятъ свои моленія къ престолу Великаго Зодчаго природы...“ Ахъ, monsieur ловецъ! какъ вы болтаете высокопарно! говорите яснѣе. Вамъ странно, что простой казакъ, здоровый и тѣломъ и душою, во время великаго праздника не пошелъ въ церковь, а легъ на огородѣ дѣлать кейфъ? Правда, это не въ духѣ малороссійнъ, народа религіознаго; но дослушайте до конца, и—кричите сколько вамъ угодно. Въ Нехайкахъ былъ боленъ священникъ и по этому случаю не было обѣдни.

Вотъ Козьма Щуръ вышелъ въ огородъ и легъ въ зеленой травѣ, обратя свою широкую спину къ солнцу. Онѣ уперъ локти въ землю, поднялъ вверхъ ладони и на нихъ положилъ голову такъ, что, смотря съ улицы, вы не узнали бы, какое усатое чудовище лежитъ на огородѣ Щура; а это былъ самъ Щуръ. Не знаю, о чемъ думалъ онѣ, а былъ занятъ чрезвычайно: ему хотѣлось плюнуть въ чашечку огуречнаго цвѣтка, который росъ на поларшина отъ его носа, и, представьте! это ему никакъ не удавалось. Уже часа два лежалъ онѣ и плевалъ въ разныхъ направленіяхъ, а все неудача: то возьметъ слишкомъ влѣво, то вправо, то не доплюнетъ, то переплюнетъ, а золотая коронка цвѣтка все остается не-

вредима и, покачиваясь отъ вѣтра, какъ будто дразнить Щура.

— Какое поганое зелье! проворчалъ Щуръ, и хотѣлъ-было протянуть руку, чтобы сорвать цвѣтокъ и наплевать въ самую чашечку, какъ почти надъ самымъ ухомъ раздалось жалобное: *куку*.

— О! сказалъ Щуръ: зузуля куетъ!

Я думаю, вамъ часто случалось видѣть на тонкихъ вѣточкахъ деревъ какіе-то наросты, въ родѣ бисерныхъ ожерелій? Спросите объ этомъ любого естествоиспытателя, онѣ вамъ, пожалуй, расскажетъ, что это яички мотыльковъ, что на весну изъ нихъ выйдутъ гусеницы, что гусеницы превратятся опять въ мотыльковъ и тому подобное. Онѣ вамъ наговоритъ разной чепухи три короба, лишь бы чѣмъ-нибудь обмануть васъ; а дѣло гораздо проще. Извольте видѣть: кукушка птица-вѣщунья: она знаетъ, сколько кому лѣтъ прожить на бѣломъ свѣтѣ, и вамъ, и вашему кучеру, и вашему начальнику отдѣленія, потому-что всѣ люди одинаковы смертны. Когда вы услышите, что поетъ кукушка, обратитесь только къ ней повѣжливѣе—и она вамъ сейчасъ продиктуетъ остальные годы вашей жизни, и въ это время для всякаго года выковыываетъ по зернышку и кладетъ ихъ въ видѣ ожерелья вокругъ вѣтки, на которой сидитъ. Вотъ вамъ, господа ученые, ваши яички и гусеницы, и мотыльки! О, смѣхъ съ вами, да и только! Любая баба въ Малороссіи объяснитъ эти вещи умнѣе вашего. Пожалуй, вы еще скажете, что изъ яблока выйдетъ жаворонокъ, а изъ жаворонка копіистъ! Молчите! кто вамъ повѣритъ?

Щуръ поворотилъ голову къ вербѣ и вполголоса сказалъ:

— Зузуля, княгиня! сколько мнѣ лѣтъ еще жить на свѣтѣ?

Куку! отозвалось на вербѣ.

— Разъ, сказалъ Щуръ.

Куку, куку, куку!

— Два, три, четыре, считалъ Щуръ, а на лицѣ его показывалось удовольствіе, и когда кукушка перестала пѣть, Щуръ насчиталъ пятьдесятъ.

— Спасибо тебѣ, княгиня, сказалъ онѣ, подымаясь изъ травы: — еще много вѣку впереди!...

А таинственная вѣщунья, испуганная движеніемъ Щура, спорхнула съ вѣтки и быстро мелькнула надъ землею, скрываясь между маисомъ и подсолнечниками.

Надобно жъ было такъ случиться, что и Чмыхъ, пользуясь свободнымъ временемъ и хорошею погодою, вышелъ полежать на своемъ огородѣ. Онѣ легъ прямо лицомъ къ небу, сложивъ на-крестъ руки подъ головою и раскинувъ ноги въ стороны, такъ,

что изъ него образовалась буква ижица (V). Чмыхъ лежалъ неподвижно. Иногда дерзкая муха садилась къ нему на носъ, тогда Чмыхъ дергалъ носомъ, шевелилъ усами, и когда это не пособляло, то вытягивалъ нижнюю губу болѣе обыкновеннаго, загибалъ ее кверху и окончательно сдувалъ муху съ носа; но это онъ продѣлывалъ такъ, безъ всякаго соображенія, какъ дѣло постороннее, потому-что все его мысли занимала ласточка. Эта веселая летунья вилась надъ нимъ, щебеча звонкія пѣсни; то быстрою точкою рѣяла въ небѣ, то плавно рѣзала воздухъ сверху внизъ въ косвенныхъ направленіяхъ, то, какъ-бы купаясь въ свѣтлой синевѣ, трепетала крылышками, останавливалась неподвижно, и вдругъ, какъ лучъ молніи, исчезала съ глазъ.

„Вотъ безтолковое твореніе!“ думалъ Чмыхъ: „и чего она такъ летаетъ? вѣрно у нея другой работы нѣтъ. Рада теплomu дню, какъ-будто это первый и послѣдній. Она бы себя на плетень, или на крышу, да и грѣлась, и пѣла бы, коли охота есть, а то летаетъ! Нѣтъ, это должна быть сама: самецъ не станеть дѣлать подобныхъ глупостей...“

Вдругъ, это философское размышленіе прервалъ знакомый намъ голосъ кукушки.

— А скажи, зузуля-княгиня, сколько мнѣ лѣтъ на свѣтѣ жить? спросилъ Чмыхъ и тоже насчиталъ пятьдесятъ, вскочилъ съ самодовольствіемъ, чтобъ сообщить женѣ эту пріятную новость, и увидѣлъ Щура.

— Добрыдень куме! сказалъ Щуръ, подходя къ плетню.

— Здоровъ куме! отвѣчалъ Чмыхъ, тоже приближаясь къ границѣ.

Черезъ минуту они стояли носъ-об-носъ другъ съ другомъ. Щуръ вынулъ изъ-за сапога рожокъ съ табакомъ, постучалъ имъ о плетень и, насыпавъ табакъ на ноготь большого пальца, хотѣлъ передать рожокъ своему куму, но слова Чмыха остановили его намѣреніе.

— Еще поживемъ на свѣтѣ, Кузьмо! говорилъ Чмыхъ.

— Какъ, Никито?

— Да такъ, Кузьмо, пятьдесятъ годовъ, какъ червонецъ, отсчитала мнѣ сейчасъ кукушка.

— О!

— Ей-богу!

— Ова!

— Чего жъ тутъ—ова?

— Пятьдесятъ лѣтъ?

— Пятьдесятъ.

— А можетъ больше?

— Вы, вѣрно, пане Кузьмо, не выпались?

— Не выпались! а можетъ быть, мнѣ зузуля ковала—вотъ что!

— Тебѣ?

— Да, мнѣ, я ее просилъ.

— Нѣтъ, я ее просилъ, она мнѣ ковала.

— Подумай, Никито, куда тебѣ жить пятьдесятъ лѣтъ; тебя на дняхъ нечистый слижетъ со свѣта.

Подобныя фразы загремѣли на спокойныхъ огородахъ Нехаекъ. Жены Чмыха и Щура, услышавъ недружелюбные возгласы мужей, выбѣжали изъ хатъ и присоединились къ воевавшимъ. Проходившіе сходились посмотреть на ссору и приставали кто къ сторонѣ Чмыха, кто къ сторонѣ Щура. Въ этомъ дѣлѣ приняла дѣятельное участіе вся сельская аристократія: пришелъ самъ выборный, волостной писарь, дьячокъ; всѣ толковали, спорили, шумѣли и не могли дать толку.

— Стоить только узнать, въ чьемъ владѣніи пѣла птица, тому принадлежитъ и пѣсня, кричалъ писарь... Но верба росла на границѣ и не была собственностью ни одной изъ спорившихъ сторонъ. Вымѣряли ея вѣтви: онѣ одинаково осѣняли владѣнія и Чмыха, и Щура; раскопали корни этого враждебнаго дерева: они безконечно-далеко ушли въ землю обоихъ огородовъ. Требования Чмыха и Щура были совершенно равносильны и разрѣшить задачу: кому куковала кукушка,—казалось дѣломъ сверхъ-естественнымъ. Выборный, пожавъ плечами, сказалъ:

— Ихъ и самъ чортъ не разберетъ, кромѣ высшаго начальства! Мой совѣтъ: ѣхать къ сотнику; а я въ этомъ дѣлѣ сторона, я простой человѣкъ.

— Хотя къ полковнику поѣду, а поставлю на своемъ! кричалъ Щуръ.

— Хотя до гетманъ, отвѣчалъ Чмыхъ:—я не позволю заѣдать моего вѣку!

Сотникъ Непейвода былъ извѣстенъ во всемъ околоткѣ, какъ человѣкъ весьма умный; хотя онъ имѣлъ свои странности, но эти странности только показывали его умъ, а болѣе ничего. Онъ, бывало, скажетъ кому-нибудь: „Какъ тебя зовутъ?“ и вдругъ такъ зѣвнетъ передъ самыми его глазами, что тотъ невольно попятится назадъ и поклонится. Или попробуйте спросить о чемъ-нибудь сотника: онъ, не отвѣчая, засвиститъ потихоньку, да такъ прекрасно, какъ иволга, и послѣ скажетъ: „что вы говорили?“ Разумѣется, еслибъ это сдѣлалъ кто-нибудь изъ простыхъ людей, оно было бы не очень хорошо, а сотникъ на то начальникъ, можетъ быть, онъ знаетъ и по-птичьему; не даромъ же его учили въ кievской бурсѣ. Кромѣ того—подивитесь! онъ былъ большой гомеопатъ. Не было еще ни доктора Ганемана, ни его системы, а на хуторѣ Непейводы процвѣтала гомеопатія. Говорять, ве-

ликіе люди опереживаютъ свой вѣкъ, а сотникъ былъ роста вершковъ одиннадцати. Непейвода ничего не пилъ, кромѣ шиповниковки. Для этого обыкновенно рано утромъ бросали въ штофъ одну ягоду шиповника и наливали полонъ штофъ пѣнниковъ. Въ продолженіе дня сотникъ уничтожалъ въ конецъ эту настойку, такъ-что оставалась въ штофѣ одна ягода; на утро опять на эту ягоду наливали водку, и опять сотникъ выпивалъ ее, и такъ далѣе. Это было нѣчто въ родѣ *perpetuum mobile*. Сосѣди божились, что сотникъ пьетъ чистый пѣнникъ, что въ шиповниковѣ не было никакого вкуса, ни запаха; сотникъ крѣпко стоялъ на своемъ, что они врутъ. Онъ пилъ эту настойку наперсткомъ; въ тотъ вѣкъ, когда все человѣчество пило аллопатическими ковшами, вмѣщавшими въ себѣ бутылки двѣ и болѣе, пить наперсткомъ была большая странность, отдѣлявшая сотника отъ обыкновенной толпы. Говорили, что еще въ молодости онъ получилъ этотъ наперстокъ на память отъ одной польской панны; а сотникъ говорилъ: „Люди неразумные пьютъ стаканомъ: они разомъ упьются—и только; но когда я выпью наперстокъ—чудесный жаръ разольется во мнѣ, въ лицо вступитъ краска, глаза заблестаютъ огнемъ; я готовъ полѣзть на что вамъ угодно, хоть на турецкую батарею; а если эта храбрость начнетъ проходить, я опять пью наперстокъ—и опять бодрѣ, и все-таки не пьянъ—вотъ что!“ Четыре года какъ овдовѣлъ Непейвода; у него было дитя лѣтъ пяти. Что жъ вы думаете? Сотникъ, по добротѣ своей, не захотѣлъ къ дитяти брать ни одной няньки: „зачѣмъ“ говорилъ онъ, „отрывать женщину отъ работы, пусть за нимъ смотрятъ по очередно“, и, вслѣдствіе этого, каждое утро являлась съ хутора дѣвушка или молодая женщина, одѣтая по-праздничному; она цѣлый день и цѣлую ночь тѣшила ребенка и на утро сдавала его на руки слѣдующей, кто былъ на очереди. Великій геомопатъ былъ Непейвода! Даже самыя геомопатическія приношенія просителей бралъ сотникъ ни мало не сердясь: курица, старая сабля, мѣрка овса—все принималось за *благ*, хотя бы онъ, по званію, такими мелочами могъ и обидѣться. Тутъ только и есть маленькая разниа между нимъ и послѣдователями Ганемана.

Рано поутру проснулся мудрый сотникъ Непейвода. Вчера былъ праздникъ Вознесенія Господня и у сотника было много гостей; онъ, какъ хозяинъ, радушно принималъ ихъ, оживляя по временамъ свои силы спасительною шиповниковкою, и до того захлопотался, что, отъ усталости, склоняясь на столъ, захрапѣлъ, держа въ рукахъ на-

перстокъ. Буйное ликованье гостей-аллопатовъ не имѣло уже на него никакого дѣйствія: онъ спалъ, какъ богатырь въ русской сказкѣ. Хорошо, что это случилось не въ первый разъ и потому не произвело никакого разстройства; пировавшіе далеко за полночь разбрелись по домамъ, а хозяинъ проспалъ до самаго свѣта въ томъ самомъ положеніи, какъ заснулъ съ вечера. Рано поутру онъ всталъ и потребовалъ соленыхъ огурцовъ, шиповниковки и сотеннаго писаря.

Огурцы съѣдены, настойка выпита, писарь явился.

— Что новаго? спросилъ сотникъ.

— Есть просители, *добродію*.

— Какіе?

— Два казака изъ Нехаекъ, поссорившіеся о неизвѣстности кованія зузули.

— Зузули?... А-у! (сотникъ протяжно зѣвнулъ). Дѣло важное! Какихъ не приведетъ Господь дѣлъ разбирать нашему брату!

— На то вы у насъ голова! сказалъ, кланяясь, писарь.

— Оно такъ... А зови-ка ихъ сюда!

Писарь вышелъ. Сотникъ сѣлъ за столъ, покрытый краснымъ сукномъ. Черезъ нѣсколько минутъ вошли Щуръ и Чмыхъ.

— Ну, въ чемъ ваше дѣло? спросилъ ихъ сотникъ грознымъ голосомъ.

Чмыхъ поклонился и началъ рассказывать исторію, которая вамъ извѣстна.

— Чего жъ тебѣ хочется? спросилъ сотникъ, разсѣяннo смотря въ окно и насвистывая что-то въ родѣ куликовой пѣсни.

— Чтобы была ваша ласка сказать, кому зузуля ковала, отвѣчалъ Чмыхъ, подошелъ къ столу, поклонился въ поясъ и, приподнявъ красное сукно, положилъ подъ него серебряный рубль.

— Кому ковала зузуля? Не спѣши. А ты что скажешь, Щуръ?

Щуръ рассказалъ ту же исторію, такимъ же порядкомъ положилъ подъ сукно серебряный рубль и просилъ разрѣшить тотъ же вопросъ, что и Чмыхъ.

— Кому?... Гм! и сотникъ началъ наливать въ наперстокъ шиповниковку; но, какъ на зло, только-что наклонялъ штофъ, ягода шиповника всплывала въ горлышко и не пропускала ни капли настойки. Нѣсколько разъ указательнымъ пальцемъ сотникъ прогонялъ ягоду обратно въ штофъ, наклонялъ его въ разныхъ направленіяхъ—и опять несносная ягода являлась въ горлышкѣ. Брови сотника сѣжались отъ гнѣва; онъ сердито поставилъ штофъ и закричалъ на просителей:

— Зачѣмъ вы здѣсь стоите, болваны?

Какъ по командѣ, разомъ поклонились оба кума и пробормотали:

— Кому же, какъ изволите, зузуля... и не кончили своей фразы.

— Дурни вы оба, сказалъ сотникъ, гордо вставъ съ мѣста:— зузуля ковала не тебѣ, Никитю, ни тебѣ, Кузьмо, а ковала пану сотнику. Тутъ онъ отерлъ сукно и показалъ имъ два цѣлковыхъ, которые они ему положили.

— Вотъ что ковала зузуля; а вы и этого не догадались! И птицы небесныя должны служить начальству—понимаете ли?

— Понимаемъ, добродію, какъ не понять!

— Ну, то-то же! ступайте домой!

— Такъ вотъ кому зузуля ковала, а мы и не догадались! говорилъ выборный, по-

чесывая затылокъ, когда Чмыхъ и Щуръ сообщили всѣмъ Нехайкамъ результатъ своей поѣздки.

— Вотъ кому ковала зузуля! говорили и дячокъ и сельскій писарь, пожимая плечами.

Теперь эта поговорка въ Малороссіи сдѣлалась повсемѣстною. Если какое дѣло принимаетъ неожиданный оборотъ, или постороннее лицо пользуется выгодами, ему не принадлежащими, или... что-нибудь подобное этому, и впослѣдствіе грѣхъ выйдетъ наружу, добрый малороссъ, нюхая съ разстановкою табакъ, говоритъ иронически: *такъ вотъ кому зузуля ковала!*

1836 г.

ВОСПОМИНАНІЯ.

РАЗСКАЗЪ.

Какъ жаль, что Адамъ Богдановичъ уѣхалъ! Какой онъ былъ прекрасный человекъ! какъ всѣ любили бывать у него, и въ цѣломъ городѣ только у него! И вотъ почему: во-первыхъ, онъ былъ добрый человекъ, потому что не могъ никому вредить; во-вторыхъ, всегда бывалъ радъ гостямъ, если гости заставляли его à son aise; любилъ хорошо поѣсть, и потому держалъ повара; имѣлъ лучшую квартиру въ городѣ; давалъ балы и танцевальныя вечера просто, и наконецъ былъ совершенно музыкантъ. У него въ залѣ, на лѣво, стоялъ флигель, на право органъ, на флигелѣ лежала гитара, на которой онъ игралъ съ аккомпаниментомъ свиста; подъ флигелемъ скрипка въ футлярѣ; а въ углу часы съ музыкой. Этакой музыкальности и въ губерніи не найдешь: такъ какъ же не любить такого человека въ уѣздѣ, тѣмъ болѣе, что все это онъ имѣлъ для другихъ, а не для себя, за исключеніемъ гитары, на которой онъ игралъ большимъ пальцемъ, какъ я уже сказалъ?

Адамъ Богдановичъ человекъ женатый: холостому не всегда можно принимать общество дамъ. Одна только слабость была у Адама Богдановича: онъ любилъ просторъ, и потому всегда ходилъ въ халатъ безъ пояса; даже и гостей такъ принималъ, исключая дней званныхъ; а тогда... о, тогда онъ становился молодцомъ!

Какъ теперь вижу Адама Богдановича, какъ онъ прохаживается въ залѣ по половику (у него полы крашенныя): въ лѣвой рукѣ табакерка, въ правой кончикъ носового платка; прохаживается и съ каждымъ переходомъ у него дѣло: то табакъ понюхать, то вытереть платкомъ пыль на флигелѣ, то носъ утереть.

Адамъ Богдановичъ ужасно чистоплотенъ и порядливъ: у него всегда чисто, всегда все на своемъ мѣстѣ. И какъ онъ не устанетъ! цѣлый день на ногахъ, безпрестанно ходить то по залѣ, то по гостиной, то по кабинету (онъ же и спальня его), а иногда такъ разъ въ недѣлю даже по женской спальнѣ. А жена?.. Я забылъ о ней; впрочемъ, и немудрено: мы большіе пріятели съ Адамомъ Богдановичемъ, а онъ рѣдко вспоминалъ жену: у него всегда бывала „такая куча дѣлъ, что мочи нѣтъ, голова кругомъ“ — такъ онъ выражался. Я очень люблю его выраженія: они такъ сильны!

А какъ пріятно, какъ весело жилъ Адамъ Богдановичъ! Послушайте, я расскажу вамъ сначала простой день, потомъ званный балъ.

Между семью и восьмью часами утра раздается звонъ колокольчика изъ кабинета Адама Богдановича: это значитъ, онъ проснулся. На звонъ является къ нему дѣвка—и бѣда если не явится на первый призывъ:

за вторымъ ее ожидаетъ плетка, обыкновенное оружіе Адама Богдановича въ домашнемъ скоросудіи. Но вотъ дѣвка явилась съ всегдашнимъ „чего изволите?“

— Барыня встала?

— Давно уже.

— Надѣвай мнѣ сапоги, давай халатъ, дай платокъ, дай табакерку.

И бѣдная дѣвка едва успѣваетъ исполнять приказанія.

— А чай поданъ?

— Нѣтъ еще.

— Ступай же, давай мнѣ чаю. А поваръ водку пилъ?

— Нѣтъ еще.

— Скажи барынѣ, чтобъ дала ему рюмку водки... Пстой! Куда летишь? Позови его ко мнѣ. Ну, что стала ступай!

Тутъ Адамъ Богдановичъ понюхаетъ табачку, потомъ положить лѣвую полу халата на правую, возьметъ въ лѣвую руку табакерку и этой же рукой держитъ халатъ, приведя ее въ горизонтальное положеніе съ локтемъ и прижимая къ себѣ, въ правую руку платокъ, выходитъ, покашливая, изъ кабинета въ гостиную и садится на диванъ. Дѣвка приноситъ ему чай и докладываетъ, что поваръ пришелъ. Адамъ Богдановичъ выходитъ въ залу. Тутъ обыкновенно стоитъ его мальчикъ лѣтъ четырнадцати ростомъ аршина полтора, просто, карликъ.

— Водку пилъ? (это повару).

— Пилъ.

— Что ты будешь сегодня готовить?

— Не знаю. Что прикажете?

— У тебя тамъ есть говядина?.. Ванюшка, чего ты трешь стѣну? Вотъ я тебя, мерзавецъ!—И шокъ его по головѣ.—А? говядина есть?

— Есть маленькій кусочекъ.

— Ну, такъ слушай же.—Ванюшка! принеси мнѣ изъ гостиной чай.—Ну, такъ слушай же!... Ванюшка несетъ чай.—Пролей, пролей! Я тебѣ дамъ по сторонамъ зѣвать! Поставь на столъ.—Ну, слушай же: сдѣлай намъ бульонъ, къ столу говядину вынь и облей какимъ-нибудь соусомъ, да зажарь тетерку, да сдѣлай овсяный кисель; только смотри, чтобы онъ былъ бѣлый, да не забудь прибавить горькаго миндаля. Слышишь?

— Слушаю-сь.

— Ну, такъ ступай.

Поваръ уходитъ, а Адамъ Богдановичъ начинаетъ свою прогулку по залѣ, отъ дверей гостиной къ дверямъ жениной спальни. Проходить часъ, другой; часы бьютъ десять и играютъ пятую фигуру французской кадрили. Адамъ Богдановичъ останавливается и слушаетъ: это любимая его фигура; онъ чрезвычайно любитъ соло.

— Катя! а Катя!

— Что?

— Вели дать водки, да закусить.

— Чего жъ тебѣ? я не знаю, чего ты хочешь.

— Да чего-нибудь. Вели нарѣзать ломтика два ветчины, да кусочка два сыру, да подать кильки, да колбасы.

— Хорошо.

— Ванюшка! верти органъ.

Адамъ Богдановичъ отворяетъ органъ, сдуваетъ пыль, вкладываетъ ключъ, и Ванюшка начинаетъ вертѣть. Адамъ Богдановичъ, въ полномъ удовольствіи, садится и слушаетъ. Приносятъ закуску; онъ пьетъ водку и слушаетъ, ѣстъ и слушаетъ, слушаетъ и опять пьетъ водку, слушаетъ и опять закусываетъ. Потомъ повторяется прогулка и, наконецъ, въ полдень, Адамъ Богдановичъ ложится спать часа на три; зато ужъ послѣ обѣда не отдыхаетъ.

Въ три часа опять колокольчикъ и опять та же церемонія вставанья и выхода, что и поутру, исключая повара и чаю. Едва вошелъ Адамъ Богдановичъ въ залу, какъ отворилась дверь изъ передней и явился уѣздный лекаръ.

— Здравствуйте, Адамъ Богдановичъ.

— А! здравствуйте, Петръ Ивановичъ! А я только что всталъ.

— Нѣтъ. А я успѣлъ ужъ быть у М.—знаете? Такъ мы съ нимъ сидѣли да разговаривали, и выпили по двѣ бутылочки на брата. Что, я красенъ—а?

— Ха-ха! немножко. Вы у насъ обѣдаете?

— Хорошо-сь.

— Эй, Ванюшка! скажи барынѣ, чтобъ она велѣла повару прибавить что-нибудь къ обѣду, да накрывай на столъ. Садитесь, Петръ Ивановичъ.

— Хорошо-сь. И онъ сѣлъ на полтора стула.—А мы съ стряпчимъ были вчера у Б., выпили втроемъ двѣнадцать бутылочекъ. А? славно? Хи-хи!

— Мнѣ такъ что-то нездоровится: третій день голова болитъ. Вчера я былъ дома, все слушалъ музыку; у меня были кое-кто, играли на флигелъ—славный флигелъ, чудесный! на органѣ, часы играли. Пріятно какъ все въ домѣ есть. Господа здѣсь, спасибо, добрые, не забываютъ меня. Ванюшка! поди, верти органъ.

— Да-сь, да-сь, Адамъ Богдановичъ; хорошо-сь, послушаемте.

— Слышите, Петръ Ивановичъ, какую славную „Тройку“ органъ играетъ?

— Да-сь, славную.

Представьте, какъ некстати была похвала: органъ игралъ арію изъ оперы „Невѣста“.

— Ну, что жь не дають обѣдать? Катя! а Катя! Да вели жь скорѣй обѣдать; скоро пятый часъ.

— Сейчасъ подають. Здравствуйте, Петръ Ивановичъ.

— А, здравствуйте, К. Е.

— Чтѣ ваша маменька, здорова ли?

— А? Да-съ, да-съ, здорова.

— Прошу кушать.

И они сѣли за столъ.

— Чтѣ вы такъ мало взяли тетерьки? берите, Петръ Ивановичъ. Вѣдь еще есть.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Ванюшка, подай сюда жаркое! Я сегодня худо завтракалъ: аппетита не было.

И Ванюшка унесъ пустое блюдо.

— Да берите же, Петръ Ивановичъ, кисель: славный кисель! Я недавно выучился готовить его на манеръ блан-манже; прежде только жена его ѣла въ постъ, съ медомъ. Да берите же: вѣдь еще много.

— Да-съ, да-съ, славный! Довольно.

— Ванюшка, подай сюда блюдо! Я люблю кисель. Да подай же и сливки.

И опять Ванюшка унесъ пустую посуду отъ киселя и сливокъ.

— Что же вы не пьете вина, Петръ Ивановичъ? Выпейте: славное вино! Мнѣ недавно изъ Петербурга привезли.

— Да-съ, да-съ, хорошо-съ; выпьемте-съ.

— Ванюшка, какъ уберешь со стола, приходи органъ вертѣть.

— Слушаю-съ.

Посидѣвъ съ полчаса послѣ обѣда, лекарь ушелъ. Адамъ Богдановичъ пошелъ прогуливаться по залѣ и смотрѣть, все ли у него въ порядкѣ.

Вдругъ... Надобно вамъ сказать, что у Адама Богдановича шторы на окнахъ рисованныя: на одной представлена рѣчка, на ближнемъ берегу домики, на дальнемъ лѣсокъ; ночь, луна за тучами, а отраженіе ея въ водѣ безъ тучъ, чтѣ и освѣщаетъ картину; на другой—пастухъ играетъ на рожкѣ и гонитъ въ полѣ стадо овецъ, а изъ окна дома, мимо котораго онъ проходитъ, смотритъ дѣвушка, и все это освѣщено солнцемъ снизу; на третьей—что-то подобное, все занимательныя картинки. Вдругъ Адамъ Богдановичъ увидѣлъ на второй шторѣ, и именно на лицѣ у дѣвушки, масляное пятно.

— Эй, Ванюшка, поди сюда!

— Чего изволите-съ?

— Смотри, чтѣ это такое?

— Не знаю-съ.

— Дамъ я тебѣ, не знаю-съ. Это твои штуки. Ты, вѣрно, транспаранты хотѣлъ дѣлать? Говори!

— Нѣтъ баринъ, ей-богу, не я.

— Врешь, я тебя! Пошелъ вонъ. Катя! а

Катя! зачѣмъ ты не смотришь? Посмотрите, чтѣ тутъ надѣлалъ этотъ негодяй. И Адамъ Богдановичъ усердно принялся вытирать пятно носовымъ платкомъ, до того усердно, что красавица осталась безъ носа.

Такъ кончился этотъ день. Не имѣя обыкновенія ужинать, потому-что это ему вредно, Адамъ Богдановичъ ушелъ спать. Я долженъ объяснить причину заботливости Адама Богдановича о поварѣ. Вотъ въ чемъ дѣло: у него поваръ пьяница и состоитъ на условіяхъ напиваться безъ позволенія и быть исправну въ дни нужные. И для подкрѣпленія условій и удержанія повара отъ пьянства, ему ежедневно отпускается порція отъ 2 до 4 стаканчиковъ, чтѣ зависитъ отъ расположенія Адама Богдановича.

Былъ пятый часъ вечера. Адамъ Богдановичъ въ халатѣ прохаживался по залѣ, и просто по полу: онъ ожидаетъ къ себѣ гостей, у него балъ сегодня, и потому половики сняты. Только запросто танцуютъ по половикамъ, а въ званые, торжественныя балы по полу.

— Катя, а Катя! вели вытереть пыль вездѣ да приготовь десертъ; скоро кто-нибудь придетъ.

— Что же ты не одѣваешься?

— Успѣю. Тяжело будетъ одѣться съ-этихъ поръ. Тѣсно во фракѣ!

— Помилуй, Адамъ Богдановичъ, пора! Какъ тебѣ не стыдно? Поди одѣнься.

— Маришка! а Маришка! давай одѣваться. Въ это время въ спальнѣ что-то задрезжало.—Ну, чтѣ тамъ разбили?

— Ничего, отвѣчала жена.

Адамъ Богдановичъ ушелъ одѣваться; гости понемножку начали сходиться, и, какъ обыкновенно въ провинціи, къ шести часамъ всѣ званые состояли на-лицо. Тутъ были: уѣздный судья, сохранившій навсегда видъ человѣка, слушающаго дѣло, съ супругою, разумѣется, первой дамой, исправникъ, градоначальникъ, и прочіе; много дамъ, дѣвицъ и дѣвъ изъ города и изъ уѣзда. Между дамами была замѣчательная старушка-нѣмка, съ сыномъ; не говоря порусски, она находила удовольствіе единственно въ томъ, чтобы смотрѣть, какъ отличается въ танцахъ ея сынъ, а остальное время очень учтиво спала гдѣ-нибудь въ уголку.

Въ семь часовъ вышелъ Адамъ Богдановичъ, въ полномъ блескѣ, во фракѣ, перетянутъ, раздушенъ и въ золотыхъ очкахъ, въ которые видитъ, когда смотритъ на кончикъ своего носа, вышелъ и привѣтливо раскланялся дамамъ, пожалъ руки мужчинамъ, досталъ изъ кармана ключъ и открылъ флигель, чтѣ означало: можете танцовать.

Начались танцы. Какъ вѣрный историкъ я долженъ сказать, что наша провинція совершенно просвѣтилась, и съ 183... ничего не танцуютъ у насъ, кромѣ французскихъ кадрилией, вальсовъ, мазурокъ и ватильоновъ; но какъ танцуютъ—это другой вопросъ. Такъ было и теперь. Адамъ Богдановичъ ангажировалъ градоначальнику и поселился у дверей гостиной: это его обыкновенное мѣсто. Странныя понятія онъ имѣетъ о танцахъ! Ему кажется, что если, стоя у дверей гостиной, онъ танцуетъ направо къ зеркалу, то, перейдя на другое мѣсто, надобно танцевать къ тому же предмету, какъ бы ни пришлось—вправо, влево, или прямо; и потому, для избѣжанія безпорядковъ, онъ остается постоянно вѣренъ однажды-выбранному мѣсту, откуда у него проведены умственные линіи цѣлой кадрили.

А какъ онъ танцуетъ! Руки въ карманчикахъ, глаза на кончикъ носа, то-есть въ очкахъ, и выступаетъ чинно, плавно, такъ, какъ теперь танцуютъ. Только въ соло не можетъ удержаться и подпрыгнуть, но все это такъ кстати, такъ идетъ къ нему, особенно, когда, танцуя соло, онъ поноживаетъ табачокъ!

Танцы длились долго, очень долго, такъ, что ужъ Адаму Богдановичу захотѣлось спать, и потому онъ велѣлъ накрывать на столъ. Все утихло; барышни сѣли перешептываться, дамы молодыя пустились въ толки о нарядахъ, старыя—въ хозяйство и непремѣнную принадлежность маленькихъ городковъ—сплетни. Мужчины скрылись въ кабинетъ курить табакъ и играть въ карты.

Часы ударили три и заиграли пятую фигуру французской кадрили. Ванюшка вертѣлъ органъ. Накрывали два стола, одинъ на 24 персоны со всеми принадлежностями серебряными, на которыхъ особенно выказалась утонченная заботливость Адама Богдановича: даже пробки на парадныхъ бутылкахъ благо стекла были серебряныя. Другой столъ былъ попроще, для мужчинъ, неслишкомъ взыскательныхъ. Какъ только доложили Адаму Богдановичу, что ужинъ готовъ, онъ отправился въ гостиную, подалъ руку съ носовымъ платкомъ первой дамѣ и привелъ ее къ столу. Другіе послѣдовали его примѣру.

Ужинъ шелъ скромно; всѣ ѣли втихомолку до бѣдственнаго приключенія съ пирожникомъ. Вотъ какъ это случилось. Подавали пирамиду изъ бисквитъ, облитую кремомъ; лакей поднесъ къ безсловесной старушкѣ, о которой я докладывалъ. Набѣду, передъ этимъ, между кушаньями былъ продолжительный антрактъ, и она вздремну-

ла. Лакей поднесъ къ ней съ словомъ „неудобно ли?“ Старушка спросохла вдрогнула, человекъ испугался, блюдо потеряло равновѣсіе, опрокинулось на чепчикъ старушки, и пирамида съ кремомъ очутилась у ней на головѣ, падая понемножку во всѣ стороны. Старушка совершенно потерялась, и вскрикнувъ „O, mein Gott!“ осталась неподвижна. Къ счастью, сосѣдка ея была находчива, схватила ножикъ и давай скоблить по чепчику, по платку, по лицу, по платью, и собирать все это къ себѣ на тарелку. Этотъ случай произвелъ общій смѣхъ, довольно неумѣстный; но чтѣ же дѣлать? таковы провинціалы! Адамъ Богдановичъ, какъ догадливый хозяинъ, чтобы избѣжать осужденія, посѣпшигъ, объявить, что это не его человекъ, который подавалъ пирожное.

Едва я не забылъ сказать, что во время ужина былъ концертъ: какая-то неузнанная дама играла на флигелѣ да, сверхъ того, Адамъ Богдановичъ завелъ музыку часовъ. Ванюшка, по непремѣнной обязанности, вертѣлъ органъ, а одинъ секретарь игралъ на скрипкѣ. И было очень весело.

Увы! Адаму Богдановичу еще долго не дали спать! Послѣ ужина составили ватильонъ; танцовали его долго, выдумывали разныя фигуры. Между всѣми самая занимательная была фигура общихъ прыжковъ. Вотъ какъ это дѣлается: нѣсколько паръ становится какъ-будто танцевать экоссеъ; начинающіе дама и кавалеръ берутъ за кончики, у кого есть, чистый носовой платокъ и несутъ его надъ головами дамъ, а потомъ подъ ноги кавалеровъ, которые, каждый поочередно, черезъ платокъ прыгаютъ, потомъ всѣ вертятся, то-есть вальсируютъ. Бѣда, если дама или кавалеръ, которые несутъ платокъ, маленькаго роста: берегите ваши прически, mesdames: ихъ унесутъ. Бѣда, если кавалеры худо прыгаютъ: достанется носу!

Наконецъ, къ-удовольствію Адама Богдановича, зала опустилась; онъ крикнулъ: „Маришка, раздѣваться!“ и ушелъ спать.

На другое утро, Адамъ Богдановичъ проснулся и позвонилъ. Пришла дѣвка.

— Барыня встала?

— Давно уже.

— А залу ты подтерла?

— Подтерла.

— Давай халатъ. Подотри же здѣсь. Надѣвай сапоги, да смотри, хорошенько. Дай платокъ. Вычисти залу: вишь какъ тутъ трубочники насорили. Дай табакерку.

Адамъ Богдановичъ вышелъ въ залу, потирая голову. „Фу! какъ я усталъ вчера! Ката, а Ката!“

— Ну, чтѣ тебѣ?

— Стекло перемыла?
 — Да.
 — А серебро вычищено?
 — Нѣтъ еще.
 — Нѣтъ еще? Отчего? Чтобы послѣ не отчистить? чтобы почернѣло?... Маришка!
 — Чего изволите?
 — А что же ты не положила половниковъ? Сейчас постели! Охъ какъ полъ-то испаранали! всю краску стерли. Пыли сколько вездѣ, воли: ужъ эти мнѣ трубочники!... Фу, какъ у меня голова болитъ!

1838 г.



Мачиха и Панночка.

МАЛОРОССІЙСКОЕ ПРЕДАНИЕ.

I.

Хороша бѣлая лебедь на синемъ лиманѣ, хороша яркая звѣздочка на свѣтломъ вечернемъ небѣ, но лучше ихъ была дочь стараго пана; плавнѣ лебеди выступала она, веселѣ Божіихъ звѣздочекъ смотрѣли глаза ея. Когда она пѣла—соловей умолкалъ въ рошѣ; махровый красный макъ блѣднѣлъ передъ ея красотою. Богъ наградилъ пана дочерью-красавицею. Видно по всему было, что это Божій даръ: чѣмъ больше смотришь на нее, тѣмъ больше хочется смотреть. Она была такая ненаглядная, какъ серебристая луна, какъ море широкое, какъ высокое небо.

Давно уже умерла мать панночки, и старій панъ женился на полькѣ-красавицѣ. Съ утра до вечера наряжается молодая пани, надѣваетъ золотыя парчевыя платья, украшается черными соболями и самоцвѣтными камнями.

Молодая панночка не рядится: двѣ-три ленты да широкая коса разбѣгается по ея бѣлымъ плечамъ, на головѣ вѣнокъ изъ полевыхъ цвѣтовъ. А всѣ смотрятъ на панночку, забывая пышную пани. Блѣднѣетъ молодая мачиха; зависть черною змѣю обвиваетъ ея сердце; пани въ душѣ клянется извести свою падчерицу-красавицу.

II.

Уже на дворѣ ночь. Въ свѣтлицѣ у пани горитъ лампада. Пани сидитъ на кровати; подлѣ нея ворожея, старая колдунья;

Теперь у васъ старая пѣсня, Адамъ Богдановичъ, и потому прощайте. А право жаль, что вы уѣхали! Теперь и въ городѣ незачѣмъ ѣздить: никого нѣтъ, ничего нѣтъ и пообѣдать негдѣ. Бывало, прїѣдешь въ городъ: куда идти обѣдать? къ Адаму Богдановичу; а теперь поѣзжай домой. Бывало, вздумается потанцевать: куда ѣхать? къ Адаму Богдановичу, а теперь пляши дома... Утѣшительный были вы человекъ, Адамъ Богдановичъ!

много грѣховъ на душѣ у этой старухи. Напрасно пани позвала ее къ себѣ.

— У меня и очи чернѣе, и коса шире, и голосъ звонче, отчего же она красивѣе меня? сказала пани, закрывъ бѣлыми руками лицо и, рыдая, упала на подушку.

— Не плачь, не кручинься, мое дитятко, говорила старуха:—этому горю можно пообить: ты будешь краше ея.

— Такъ пособи поскорѣе, а то я умру до завтра съ печали.

— Погоди, мое дитятко, прежде выслушай: не живые глаза, не густая коса, не звонкая рѣчь, не гордая поступь дѣлаютъ насъ красавицами: есть особая красота, она разлита на лицѣ; это живая красота; коли она улетитъ—красавица станетъ безобразною; останутся то же лицо, тѣ же глаза, да не будетъ въ нихъ прежней красы, и эта краса очень летуча. Случалось ли тебѣ видѣть, когда на простой цвѣтокъ сидеть пестрая, красивая бабочка: какъ хорошеетъ тогда онъ; а дунулъ вѣтеръ, пошатнулся цвѣтокъ—бабочки не стало и цвѣтокъ опять некрасивъ по-прежнему...

— Я умру, бабушка, пока ты кончишь твой рассказъ.

— Погоди, дитятко. А все-таки, какъ она ни летуча, ее можно поймать. На все есть своя наука; не даромъ мы дожили до сѣдыхъ волосъ. Можно достать тебѣ, какую хочешь, красоту, хоть твоей падчерицы, только это дѣло трудное.

— Можно? Бабушка! милая моя, золотая

моя, голубка моя сизая! научи меня поскорѣе.

— Для этого надобно, чтобы панночка умерла, и умерла скорою смертию, и какъ будетъ умирать она, должно покрыть ей лицо вотъ этимъ заколдованнымъ платкомъ; вся красота перейдетъ въ платокъ; на мертвой останется простой обликъ безъ жизни; тогда стѣишь тебѣ умыться на ночь парнымъ молокомъ, утереться платочкомъ—и ты станешь еще лучше ея.

Пани выхватила изъ рукъ старухи платочекъ, расплѣвала старуху, и едва къ свѣту могла заснуть. Ей снилось, что она лучше падчерицы, что всѣ на нее смотрятъ... И это такъ легко достается: стоитъ только сгубить невинную дѣвушку!...

III.

Чисто, безоблачно небо надъ Украйною; высоко горитъ солнце на небѣ. Въ Украйнѣ давно уже весна: цвѣтутъ густые сады, цвѣтутъ веселые луга, цвѣтутъ зеленые берега голубыхъ рѣкъ; отъ легкаго вѣтерка нивы разбѣгаются живыми волнами; жаворонокъ утонулъ въ небѣ и звенить тамъ, какъ серебряный колокольчикъ, призывающій природу къ молитвѣ; каждая травка, каждый цвѣтокъ тихо шепчутся между собою и киваютъ головками.

Быль Троицынъ день; чисто было небо надъ Украйною; только въ поднебесьѣ неслоь одно бѣлое облачко—это ангелъ Божій летѣлъ осматривать землю. Остановилось облачко надъ Украйною. Сложивъ руки, распустивъ легкія крылья, съ улыбкою посмотрѣлъ ангелъ на прекрасную сторону—и радостная слеза удовольствія скатилась съ его рѣсницы: зашумѣла святая слеза въ воздухъ и разсыпалась на Украйну свѣжимъ, теплымъ дождемъ; облако скрылось; ангелъ полетѣлъ далѣе.

Земля стала еще веселѣе; она засверкала въ дождевыхъ брызгахъ, какъ невѣста въ слезахъ радости. Все зашѣло, заговорило, все радовалось; паукъ пересталъ навремя раскидывать свои роковыя сѣти; волчица забыла про добычу и весело играла съ волчатами въ молодомъ посѣвѣ ржи; даже змѣя, когда проходилъ мимо нея человѣкъ, откидывала въ сторону свою ядовитую голову и безпечно грѣлась на солнцѣ.

Кажется, и людямъ можно бы въ это время оставить суету и предаться покою, тихому, безмятежному. Нѣтъ, страсти людскія плетутъ сѣти хитрѣе, коварнѣе тарантула; они свирѣпѣе волчицы, ядовитѣе змѣи.

Пять разъ поцѣловала пани панночку, выпроважая ее въ церковь, а до церкви отъ хутора было верстъ пятнадцать.

И вотъ панночка сѣла въ раззолоченный рыдванъ, украшенный рѣзною рѣшоткой и окнами изъ разноцвѣтныхъ стеколъ. Сѣдой казакъ Макаръ тронулъ вожжами и рыдванъ покатился со двора. Долго ѣхали они. Давно бы пора быть въ церкви, а ни церкви, ни села не видно, кругомъ глухая степь; уже солнце о полудни, а рыдванъ стучитъ колесами по степи да катится далѣе; испуганные стрепеты, свистя крыльями, поднимаются изъ травы и раkitовыхъ кустовъ, кружатъ въ воздухѣ и опять садятся на прежнее мѣсто.

— Куда ты везешь меня? спросила панночка Макара.

Макаръ молча махнулъ кнутомъ надъ лошадьми и рыдванъ помчался быстрѣе.

Уже вечерѣетъ; золотое солнце тихо скатилось на землю; маленькіе степные ястребы, какъ мерцающія лампы въ куполѣ великаго храма, подъ чистымъ небомъ трепетали крыльями, озолоченными послѣдними лучами дневнаго свѣтила. Вотъ не стало и солнца. Впереди черною полосой темнѣлъ боръ.

Скучно человѣку жить въ душной темницѣ; скучно вольному степному жителю заѣхать въ боръ: нѣтъ свободы глазамъ; невидно чистаго неба. Страшно стало панночкѣ, а рыдванъ ѣхалъ шибче да шибче, а боръ придвигался ближе да ближе. Изъ бора вѣяло прохлагою; тамъ угрюмо шептались зеленые дубы и яворы. Сердце панночки забилося, затрепетало, какъ пойманная птичка въ рукахъ охотника. А рыдванъ все ѣдетъ, и вотъ уже въ лѣсу, и стучитъ по дубовымъ корнямъ колесами; вѣтви соткали надъ рыдваномъ темный пологъ; сѣрый волкъ, сверкнувъ глазами, перебѣжалъ имъ дорогу. Скучно степняку заѣхать въ боръ.

Рыдванъ остановился. Панночка вышла изъ рыдвана; старый Макаръ подошелъ къ ней. Въ слезахъ упала панночка въ ноги Макару и просила сказать, гдѣ она и что съ нею будетъ?

— Не плачь, отвѣчалъ казакъ, а слушай: твоя мачиха приказала мнѣ извести тебя; скверная баба, она думала, что казакъ можетъ поднять руку на такую добрую, молоденькую дѣвушку; видно, что она не бывала въ походахъ и не знаетъ казацкой службы, а я думаю, не будетъ по ея волѣ—я не запятнаю грѣхомъ своей души. Богъ съ тобою, панночка, оставайся здѣсь; это лѣса кievскіе, недалеко и до жиля; тутъ есть много всякихъ ягодъ и грибовъ—не умрешь съ голоду; только и не думай идти домой: тамъ твоя смерть неминуемая, да и мнѣ не миновать бѣды.

Макаръ сѣлъ въ рыдванъ, и скоро за-

тихъ стукъ отъ колесъ уѣзжавшаго рыдвана.

Бѣдная панночка одна въ лѣсу, ночью; страшно панночкѣ: въ лѣсу бѣгаютъ волки и медвѣди; въ лѣсу ползаютъ змѣи, скользятъ разные гады, шелестятъ холодныя ящерицы—страшно въ лѣсу! А ночь все темнѣе и темнѣе! Уже близка полночь—пора лѣшихъ и оборотней, пора, въ которую полетятъ надъ боромъ вѣдьмы пировать на Лысую-гору. Дрожитъ панночка, какъ былинка отъ вѣтру, идетъ по лѣсу: шумятъ подлѣ нея широкіе листья папоротника, хрустятъ подъ ногами сухія вѣтви, колючій терновникъ парapaетъ ея бѣлыя руки, длинныя вѣтви хлещутъ ее по нѣжному лицу, а вдали слышенъ какой-то ревъ, какой-то вопль—такъ сердце и замираетъ. Упала панночка на землю и долго молилась Богу, горячо цѣловала серебряный крестъ—благословеніе покойной матери, и пошла далѣе, уже безъ страха, безъ трепета.

Чудесная сила молитвы! Когда васъ Богъ захочетъ испытать несчастіями, молитесь чаще, молитесь отъ глубины души—и вы будете спокойны. Услышитъ ли панночка въ лѣсу вопль; она, помолясь, идетъ въ ту сторону, и сова, кричавшая такъ жалобно, улетаетъ. Представится ли ей лѣшій; она къ нему, и находитъ обгорѣлый пенъ. Вдали сверкнули глаза волка; она къ волку, идетъ да идетъ, нѣтъ, это не волкъ, это огонь—и бѣдная дѣвушка вздохнула свободнѣе. Скоро она была у человѣческаго жилья и сидѣла въ чистой, спокойной хатѣ, а подлѣ нея четыре казака, четыре Ивана.

Всѣ четыре Ивана были родные братья. Съ честью и славой наѣздили въ Сѣчи, получили много золота и много ранъ, и когда Сѣчь замиралась съ своими сосѣдями, они, видя, что не будетъ работы ихъ саблямъ, удалились отдохнуть въ кievскіе лѣса. Золота у нихъ было много; въ три дня поспѣлъ домъ, и они расположились въ немъ отдыхать. Работать имъ было не для чего, деньги доставляли имъ все, да и что за отдыхъ, когда работаешь? Нѣтъ, они поутру молились Богу и выѣзжали на охоту, послѣ обѣда отдыхали, потомъ говорили о прошедшихъ походахъ, тамъ ужинали и, помолясь Богу, ложились спать. Завтрашній день проходилъ точно такъ, какъ вчерашній. Завидная участь!

Съ ужасомъ выслушали Иваны рассказъ панночки о ея несчастіяхъ, и сказали ей: „Живи у насъ, какъ сестра наша; днемъ и ночью мы будемъ охранять тебя, и вотъ тебѣ клятва казацкая: или ты увидишь мачиху у ногъ своихъ, или намъ не жить на свѣтѣ“. Тутъ Иваны вышли изъ свѣтлицы

и легли спать на дворѣ по четыремъ угламъ дома. Панночка поцѣловала свой серебряный крестъ и тоже скоро заснула такъ тихо, такъ спитъ невинность.

IV.

А чтѣ же дѣлаетъ мачиха. Долго въ Духовъ-день ждала она свою дочь, цѣлую ночь не спала ни она, ни старый панъ, все ждали дочку изъ церкви, а дочка не ѣхала. Передъ свѣтомъ пришелъ Макарь и разсказалъ пану печальную вѣсть, что въ степи подъ ноги конямъ подлетѣло перекатиполе; что кони взбѣсились, закусили удила и помчались влѣво съ дороги; что онъ упалъ и только и видѣлъ и рыдванъ, и панночку; что исходилъ всю степь, но не нашелъ ничего, кромѣ платка. Тутъ Макарь подаль пани платокъ.

— Ахъ, Боже мой! да это точно платокъ нашей дочери. Я не отдамъ его никому; пусть онъ мнѣ останется на память; я любила ее, какъ родную сестру,—говорила, рыдая, пани, и цѣловала знакомый ей платокъ.—А я какъ-будто чувствовала, что съ нею будетъ какое несчастіе: три раза прощалась, и когда не стало видно рыдвана, то мнѣ такъ сдѣлалось грустно, что хотѣла послать воротить ее домой.

— Ты предчувствовала, моя милая. наше несчастіе,—говорилъ панъ:—и мнѣ что-то было грустно цѣлый день.

Онъ нѣжно обнялъ жену, и тихія слезы полились изъ очей его.

Гонцы панскіе поскакали во всѣ стороны искать панночку: все было понапрасну; къ обѣду прибѣжала одна лошадь въ упряжи, избитая, измученная, но ни рыдвана, ни другихъ лошадей, ни панночки никто не видалъ, не слыхалъ; какъ-будто ихъ взяли татары.

Съ печали заперлась пани въ свою свѣтлицу, стала передъ зеркаломъ и опять начала цѣловать панночкинъ платокъ, но уже безъ слезъ, безъ воплей. Она умылась на ночь молокомъ и нетерпѣливо накинута на свое прекрасное лицо волшебный платокъ.

Подивитесь, добрые люди! пани была у цѣли своего желанія, и ей вдругъ сдѣлалось страшно: мысль, что платокъ видѣлъ предсмертный вздохъ ея дочери, заставила ее содрогнуться; она съ ужасомъ сорвала съ лица платокъ, посмотрѣла въ зеркало и, на зло душевной тревогѣ, хотѣла улыбнуться; но это не была очаровательная улыбка, которою плѣнялись всѣ, и даже сама пани, нѣтъ—злбно искривились ея розовыя губки; на нихъ блеснулъ какой-то злой огонь. Недовольная собой,

сердито сдвинула брови; легкія морщины набѣжали на ея гладкое, бѣлое чело и остались на немъ навѣки.

Быстро, мгновенно, такъ-что воробей не успѣлъ слетѣть съ крыши на землю; пани примѣтно подурнѣла. Она, съ печали, хотѣло-было броситься въ прудъ и утонуть. „Но какая я буду нехорошая“ подумала она, „какъ вода безчинно разовьетъ, спутаетъ мою косу, какая я буду!“ И пани не утопилась. Хотѣла зажечь домъ и сгорѣть съ нимъ:—и это некрасиво; мучилась, бѣдная, томилаcь и не придумала ни одной красивой смерти: весь пылъ души ея выразился воплемъ, стономъ, рыданьемъ. Она своими бѣленькими ручками рвала густыя косы, и еще болѣе подурнѣла, а пани два раза присылалъ сказать, чтобъ она не убивала себя напрасно; велѣлъ сказать, что мертвыхъ слезами нельзя возратить. Пани тогда только успокоилась, когда пришла къ ней колдунья и сказала, взявъ ее за голову: „Не крушись, мое дитятко, всему пособимъ“.

V.

Рано утромъ встала панночка, умылась ключевою водой, помолилась Богу и вышла въ лѣсъ посматрѣть на братьевъ Ивановъ. Утро было во всей красѣ: солнце ярко играло на росистой темной зелени-дубовъ и ясеней; рѣсчатая тѣнь отъ вѣтвей ихъ раскинулась по дорогѣ; въ свѣжѣмъ воздухѣ вѣяло ароматами дикой мяты; сѣрый заяцъ весело прыгалъ между орѣшникомъ; птицы привѣтствовали ясный день громкими пѣснями; въ чащѣ лѣса свистѣли дрозды, стонали иволги; въ кустахъ пѣла малиновка и веселый кобчикъ, кружась надъ боромъ, рѣзкими криками своими будилъ дальнее эхо. Какъ прекрасное всякое твореніе Божіе! Хорошо бываетъ и лѣсъ.

Долго смотрѣла панночка на дорогу, теряющуюся между лѣсомъ—на дорогѣ никого не было; грустно стало панночкѣ, такъ грустно, что она хотѣла заплакать. Вдругъ передъ нею, какъ изъ земли выросла старушка, въ синей юбкѣ, въ лаптяхъ, съ посохомъ въ рукѣ, съ кузовомъ и тыквою за плечами.

Вы вѣрно не разъ видѣли лѣтомъ такихъ старушекъ: онѣ идутъ со всѣхъ сторонъ Россіи поклониться святому граду Киеву.

Подошла старушка къ панночкѣ и начала просить милостыни.

— Ты вѣрно на богомолье? спросила панночка.

— Да, дитятко.

— А издалека?

— Охъ, издалека, мой свѣтъ, изъ самаго Харькова.

— И ты все пѣшкомъ идешь?

— Пѣшкомъ. Я была больна, умираю, и дала обѣтъ сходить въ Кіевъ; теперь Богъ помиловалъ, поднялась на ноги, доброду какъ-нибудь; терплю и голодъ, и жажду. Вотъ вчера вечеромъ здѣсь, въ бору, упала отъ усталости, да тамъ и ночь провела.

— Ты голодна? Пойдемъ ко мнѣ, я тебя накормлю и успокою, сказала панночка.

И скоро въ свѣтлой комнатѣ были поставлены передъ старухою лучшія кушанья и напитки. Панночка приглашала старуху побольше кушать.

— Нѣтъ, не хочу, мое дитятко, отвѣчала она:—я сыта; пора мнѣ въ дорогу.

— Да останься, отдохни.

— Нѣтъ, я не выполняю моего обѣта, когда буду идти съ отдыхомъ да съ роскошью. Прощай, мое дитятко, вотъ на тебѣ, на память, золотое кольцо; возьми его.

— Не хочу; Богъ съ тобою, старушка.

— Возьми его, говорю тебѣ, не будешь каяться; это кольцо дала мнѣ моя покойная бабушка: оно предохранитъ тебя отъ всякаго ала.

— Какое бы оно ни было, я его не возьму; я не торговка. Господи прости, чтобы брала деньги за угощеніе,

— Экая упрямая! ну, хоть придѣнь его, посмотри, какъ оно заблеститъ на твоей хорошенькой ручкѣ!

Кольцо горѣло, какъ огонь. Панночка взяла его въ руку, посматрѣла и надѣла на палецъ—панночка была женщина!... Вдругъ ей сдѣлалось дурно, въ глазахъ потемнѣло, грудь сдавила доска, будто тяжелый камень легъ на нее; она рванула перстень съ пальца—не тутъ-то было, какъ змѣя обвился онъ около ея бѣлаго пальчика. Панночка пошатнулась и упала на землю.

— Теперь пани будетъ спокойна, проворчала вѣдьма и вышла изъ свѣтлицы, свистнула нечеловѣчьимъ посвистомъ, отъ котораго закрутился вихорь на пыльной дорогѣ; схватилъ вихорь скверную бабу въ свои объятія, прикрылъ ее пескомъ и листьями, и выше бора стоячаго понесъ на хуторъ пана.

„Экъ нечистая сила разыгралась!“ говорили братья Иваны, подъѣзжая къ своему дому, когда увидѣли летѣвшій черный столбъ вихря. Они слѣзли съ коней и, привязавъ ихъ, пошли въ свѣтлицу. Тамъ лежала мертвая панночка; она была такъ же хороша, какъ и живая; румянецъ не сбѣжалъ съ щекъ ея; опущенныя рѣсницы, казалось, такъ и подымутся, такъ и засвѣтятъ изъ-подъ нихъ два блестящіе глаза; а безъ ды-

ханія лежала она; напрасно братья будили ее: она была безотвѣтна, безжизненна.

Опустивъ руки, поникнувъ головами, стояли Иваны передъ панночкой.

„Напрасно мы скликали добрыхъ молодцовъ“ говорили они: „теперь мы не можемъ выполнить даннаго слова, какъ честные православные казаки: мы поклялись или умереть, или унизить передъ глазами нашей гостью ея злую мачиху; теперь панночка умерла, и намъ остается умереть и тѣмъ выполнить свое слово. А какъ хороша она и по смерти! Мы ее не похоронимъ въ землю: жаль будетъ такую красоту засыпать сырымъ пескомъ; мы ее положимъ въ стеклянный гробъ и накроемъ гробъ хрустальною крышкою; мы ее поставимъ подъ открытымъ небомъ—пусть соловей перелетомъ полюбуется на красоту и запоетъ про нея сладкую пѣсню; пусть солнце, съ высоты смотря на нее, захочетъ заткать такими цвѣтами широкіе луга. Какъ хороша она, будто живая!“ говорили Иваны, закрывая гробъ хрустальною крышкою, и слезы бѣжали по ихъ загорѣлымъ лицамъ.

Четыре наѣздника, закаленные въ войнѣ, у которыхъ не исторгли бы ни слезы, ни вздоха никакія пытки въ Варшавѣ или въ крымскомъ полону, которые умѣютъ умереть съ улыбкою, проклиная своихъ враговъ. Эти люди рыдали передъ трупомъ дѣвушки.

Не даромъ въ Сѣчи не было ни одной женщины.

Далеко надъ Днѣпромъ есть непроходимая пуща: клены, дубы и яворы раскинули тамъ въ разныя стороны свои вѣтви, переплели ихъ, перепутали и составили одну свѣжую, зеленую стѣну. Топоръ дровосѣка никогда не стучалъ еще въ этой пущѣ; она не слышала выстрѣла охотника. Въ этомъ лѣсу есть небольшая поляна; трава, какъ шелкъ, разлегается по ней, а посрединѣ растетъ дубъ-великанъ, дѣдушка дубовъ кievскихъ; десять человѣкъ, взявшись за руки, едва обнимутъ толстый пенъ его; подъ тѣнью вѣтвей его укроется отъ дождя сотня казаковъ съ вѣрными конями. На этомъ дубу стоитъ стеклянный гробъ, въ гробу лежитъ панночка; надъ дубомъ на всѣ четыре стороны бѣлаго свѣта раскинулись мертвыя тѣла братьевъ Ивановъ. Умерли добрые казаки: своими вѣрными саблями сами убили себя и—сдержали свое слово.

VI.

Летитъ время, летитъ быстрое—не остановишь его, не упростишь его, не умо-

лишь. Осѣдай, козакъ, черкесскаго скакуна, несишь, казакъ, по степи! Любо тебѣ! соколы остаются за тобою, а время быстрое тебя. Пожалѣй, казакъ, добраго коня, дай ему перевести духъ. Ты остановился, а время ушло впередъ, и никогда не догонишь его.

Ждутъ люди весны—пришла она, цвѣтушая; когда бѣ скорѣ лѣто—вотъ и лѣто шумитъ жатвою; скоро ли созрѣютъ плоды?—и осень несетъ вамъ румяные плоды. Плоды хороши, но какъ же пусто въ природѣ! пора бы снѣгу—явился снѣгъ. Несносная зима! скоро ли ты минуешь, скоро ли будетъ весна?... Такъ бѣгутъ годы—и мы все недовольны... смотримъ завистливо въ будущее; тамъ есть что-то такое, тамъ чернѣетъ точка. Вотъ она растетъ, близится, вотъ она передъ вами—темный гробъ! И человѣкъ не успѣлъ оглянуться, какъ прошелъ прошелъ путь жизни.

Пролетѣли пятьдесятъ лѣтъ со времени смерти панночки. Пятьдесятъ лѣтъ! полвѣка, шутка ли?... О, какъ скоро прошли они: несчастный ихъ не пережилъ, счастливцевъ ихъ не замѣтилъ! А панночка все лежала въ хрустальномъ гробу такъ же хорошо. Днемъ надъ поляной вились лѣсные орлы и, перекликаясь въ небѣ, любовались чудною смертью казаковъ; ночью соловей садился на зеленой вѣткѣ надъ гробомъ и до восхода солнца въ звучныхъ пѣсняхъ рассказывалъ темному бору о красотѣ панночки.

Въ это время у воеводы кievскаго Черноуса былъ молодой сынъ-красавецъ. Высокій ростъ и черныя кудри, смѣлая поступь, пріятная рѣчь дѣлала его замѣтнымъ между всѣми молодыми кievлянами. Никогда пуля его не пролетала въ синемъ небѣ мимо быстрого сокола; ни одинъ конь не смѣлъ вольничать, когда рука Черноусенка управляла имъ. „Всѣмъ былъ бы казакъ“ говорили добрые люди, „да загубить отецъ сына: къ чему онъ учить его всякимъ наукамъ?“

А какъ сидеть, бывало, на коня Черноусенко, да поѣдетъ прогуляться между народомъ—вы ни за что бы не сказали, что онъ такой грамотный—такъ красивъ, такъ ловокъ, такъ статенъ! Посмотрите, вотъ онъ съ добрыми товарищами выезжаетъ на охоту; конь подъ нимъ такъ и дрожитъ, такъ и пышетъ, взвился на дыбы, прыгнулъ въ сторону—сидитъ Черноусенко, какъ гвоздемъ прикованный, только красная лопасть казацкой шапки закружилась въ воздухѣ. Почуялъ конь на себѣ добраго сѣдока и гордо пошелъ по кievскимъ улицамъ. Подлѣ Черноусенка

ѣдутъ его товарищи: и они храбрые наѣздники, и у нихъ кони черкескіе, и они хороши, да такъ, какъ звѣздочки передъ свѣтлымъ мѣсяцемъ.

Мелкою рысью ѣхалъ сынъ воеводы со своими товарищами; легкая пыль гудрявою волною разбѣгается по слѣдамъ ихъ. Ихъ оружіе блеститъ золотомъ и дорогими каменьями. Любо было посмотрѣть на нихъ; люди снимаютъ передъ ними шапки и почтительно кланяются, дѣвушки смотрятъ изъ оконъ. Вотъ выѣхали наѣзники за городъ, поворотили по берегу Днѣпра... Вдругъ выстрѣлилъ сынъ воеводы по дикой козѣ: раненая коза бросилась въ чащу лѣса; охотники за нею, а лѣсъ становится все чаще, коза скачетъ все быстрее. Уже всѣ товарищи Черноусенка остались назадъ; кого толстою вѣтвью сбросило съ сѣдла, кто попалъ съ конемъ въ лѣсной оврагъ, кто, какъ въ сѣти, запутался въ дикій хмель и терновникъ; одинъ Черноусенко скакалъ по слѣдамъ раненой козы, но лѣсъ становился все чаще и чаще. Вотъ уже конь совсѣмъ наскочетъ на нее, а тутъ репейникъ уколеть его въ морду—онъ бросится въ сторону, а коза уже далеко впереди. Соскочилъ Черноусенко съ вѣрнаго коня, выхватилъ саблю и побѣжалъ за добычею, бѣжалъ долго и выбѣжалъ на поляну.

На полянѣ, посреди зеленой, свѣтлой лужайки, стоялъ дубъ, на дубу блестѣлъ стеклянный гробъ, подъ дубомъ лежали четыре человѣческіе остова. Видно было, что давно они лежатъ здѣсь: по бѣлымъ костямъ ихъ вились лѣсные колокольчики и зеленая трава. Кривыя казацкія сабли были въ рукахъ остововъ. Подошелъ Черноусенко къ стеклянному гробу, взглянулъ на него—и опустилъ руки. А коза давно уже исчезла: въ первый разъ добыча ушла послѣ выстрѣла воеводскаго сына.

Скоро пріѣхали и товарищи Черноусенка, сняли съ дуба стеклянный гробъ и поставили на зеленой муравѣ. Прекрасная, какъ ясное утро, лежала въ немъ панночка; румянецъ игралъ на ея щекахъ; губки, казалось, такъ и улыбнутся, такъ и заговорятъ; она сложила на груди крестомъ руки, на указательномъ пальцѣ правой руки ея горѣлъ перстень.

Хорошо, что зналъ Черноусенко всякія науки! Только взглянулъ онъ на перстень, тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло, сказалъ какія-то умныя слова, схватилъ перстень съ руки панночки и бросилъ его на землю: гдѣ прокатилось оно, тамъ трава выгорѣла, тронулось дерева—дерево засохло.

Тихо открыла панночка глаза, поднялась изъ гроба и сказала: „какъ долго спала я!“ Тутъ... тутъ я не скажу ничего; я не былъ въ лѣсу съ Черноусенкомъ въ то время, и мнѣ никто не рассказывалъ, что тамъ говорилось и дѣлалось.

Вечеромъ панночка уже сидѣла въ домѣ воеводы. Воевода и сынъ его ласкали панночку и спрашивали ее, и кормили яствами, и поили напитками, а козакъ-посланецъ на быстромъ скакунѣ летѣлъ уже далеко отъ Кіева въ хуторъ стараго пана кликать его на радость великую и просить благословенія на свадьбу дочери съ воеводскимъ сыномъ.

VII.

Какъ ты красивъ, мой родной Кіевъ! добрый городъ, святой городъ! какъ ты красивъ, какъ ты свѣтелъ, мой сѣдой старикъ! Что солнце между планетами, что царь между народами, то Кіевъ между городами. На высокой горѣ стоитъ онъ, опоясанъ зелеными садами, увѣнчанъ золотыми маковками и крестами церквей, словно святой короною: подъ горою широко разбѣжались живыя волны Днѣпра-кормильца. И Кіевъ, и Днѣпръ вмѣстѣ... Боже мой, что за роскошь! Слышите ли, добрые люди, я вамъ говорю про Кіевъ, и вы не плачете отъ радости? Вѣрно, вы не русскіе.

А сколько тамъ церквей, сколько въ нихъ богатства! Войдите хоть въ соборъ Софійскій—да тутъ толпа народу: здѣсь поютъ, вѣнчаютъ. Дѣлать нечего, въ другое время мы съ вами рассмотрѣли бы церковныя рѣдкости Кіева, и гробницу Ярослава, и мозаику греческую, и много-много кое-чего, а теперь поглядимъ на свадьбу.

Церковь горитъ въ огнѣ отъ множества свѣчей. Священникъ вѣнчаетъ Черноусенка съ панночкой; кругомъ толпятся родственники; недалеко отъ наложъ стоитъ старый панъ; онъ бѣлъ, какъ снѣгъ; преклонная дрожащая колѣни, онъ благодарить Бога, что далъ ему увидѣть дочь еще разъ и въ такую счастливую минуту.

Когда молодые поцѣловались—въ церкви раздался глухой стонъ и какая-то женщина упала на полъ—это была старая пани. Пятьдесятъ лѣтъ сняли съ лица ея красоту и свѣжесть молодости, и провели на немъ рѣзкія морщины: она не могла перенести красоты и счастья своей падчерицы, когда сама была дряхлою старухой. Пани упала на полъ и умерла отъ зависти.

А въ Кіевѣ долго еще въ ту ночь гремѣли веселыя свадебныя пѣсни, долго го-

рѣли огня, долго еще пировали наши дѣдушки; но пѣсни постепенно умолкали, огни, одинъ за другимъ, погасли, все утихло, заснулъ Кіевъ... только у подошвы его лѣ-

ниво протекаетъ Днѣпръ, да надъ святыми церквами идутъ-себѣ обычною дорогою божьи звѣздочки.

1838 г.



ЛУКА ПРОХОРОВИЧЪ.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Есть на Петербургской сторонѣ много улицъ; нѣкоторыя изъ нихъ лѣтомъ до того бываютъ сухи, что можно ходить по нимъ не замазавъ грязью сапоговъ, другія постоянно залиты тиною, а нѣкоторыя прикрываютъ свое болотистое достоинство досчатой мостовой, такъ-что съ перваго взгляда онѣ покажутся намъ пустыми, а попробуйте по нимъ поѣхать: доски застучатъ, запрыгаютъ подъ колесами вашего экипажа, какъ клавиши на старыхъ клавикордахъ; изъ всякой щелки какая-то нечистая сила станетъ бросать грязью прямо вамъ въ лицо, хотя бы вы были и въ чинахъ и въ крестахъ. Вашъ прекрасный плащъ приметъ пѣгій цвѣтъ; ваша манишка останется въ пятнахъ; ваше свѣжее, пріятное лицо станетъ похоже на грудь рябчика—смѣю васъ увѣрить.

Утомительно-длинно вытянулась на Петербургкой Сторонѣ такая Клавикордная Улица; однимъ концомъ она выходитъ на Большой проспектъ, а другимъ чуть ли не упирается въ Ледовитое Море. Я думаю, объ этомъ должно быть извѣстіе въ путевыхъ запискахъ къ сѣверному полюсу капитана Росса.

По обѣимъ сторонамъ Клавикордной Улицы есть досчатые тротуары; за тротуарами, какъ грибы, выросли сѣренькіе, одноэтажные деревянные домики. Иногда, въ окошкахъ этихъ домиковъ вы увидите розовое личико дѣвушки, или трубку съ чубукомъ, или артиста, въ одномъ жилетѣ, играющаго на скрипкѣ; иногда изъ форточки какой-нибудь чепчикъ торгуетъ сига; иногда кто-нибудь отворитъ форточку, плюнетъ на тротуаръ да и затворитъ ее опять; а иногда на окошкѣ растутъ красные и бѣлые балзаминны. Удивительное разнообразіе!

Въ одномъ изъ этихъ домиковъ есть мелочная лавочка. Вы ее тотчасъ отыщите

днемъ по вывѣскѣ, на которой, въ голубомъ полѣ, нарисованы: галстухъ, арбузъ, окорокъ ветчины, двѣ бритвы и маска съ надписью № 1; а ночью подъ этой вывѣской горитъ фонарь, единственный во всей Клавикордной Улицѣ, полярная звѣзда этого полночнаго края. Въ мелочной лавочкѣ есть пироги, конфеты, карты, сѣрый котъ и хозяинъ Иванъ Петровичъ въ красной рубахѣ, съ черной окладистой бородою. У этого самаго Ивана Петровича нанималъ за 30 рублей въ мѣсяцъ маленькую комнату, со столомъ и прислугою, Лука Прохоровичъ. Въ комнатѣ Луки Прохоровича было все чрезвычайно опрятно: стояли кровать, березовый столъ, три стула и противъ самыхъ дверей комодъ; на комодѣ лежали бритвенный ящикъ, палочка сургуча, два визитные билета и маленькое зеркало, которое во время бритья хозяина привѣшивалось къ окошку; въ углу темнѣли сапоги и самоваръ. Самъ Лука Прохоровичъ былъ губернской секретарь, служилъ чиновникомъ въ какомъ-то департаментѣ, имѣлъ прекрасные сѣрые брюки, здравый рассудокъ, виц-мундиръ и за 15 лѣтъ пряжку. Онъ былъ человекъ аккуратный; лицо его выражало какое-то подобострастіе: казалось, онъ считалъ себя виновнымъ предъ всякимъ коллежскимъ ассессоромъ, и въ департаментѣ слылъ великимъ мастеромъ чинить перья; начальникъ отдѣленія не могъ писать другимъ перомъ, какъ не очинки Луки Прохоровича. Всѣ полагали, что Лука Прохоровичъ, при будущей наградѣ, получитъ лишнюю сотню рублей.

Когда вы хотите видѣть героя моего разсказа (вы же ѣдите смотрѣть носорога), идите на Петербургскую Сторону, въ длинную Клавикордную Улицу часу въ девятомъ утра, въ воскресенье; вы увидите на улицѣ кучу мальчиковъ, которые пе-

редь окнами одноэтажного домика строить гримасы и показывают языки—это вѣрный признак квартиры Луки Прохоровича: онъ въ это время стоитъ передъ окномъ, на которомъ привѣшено маленькое зеркало, стоитъ съ намыленнымъ лицомъ, съ бритвою въ рукахъ и, надувши обѣ щеки, брѣветъ подбородокъ.

II.

Въ четвергъ Лука Прохоровичъ пришелъ домой ранѣе обыкновеннаго: директоръ департамента былъ нездоровъ, начальникъ отдѣленія уѣхалъ куда-то на именины, а мелкимъ чиновникамъ это на-руку. Въ три часа Лука Прохоровичъ былъ уже дома и велѣлъ кухаркѣ Агафѣ подавать обѣдать, а самъ, между-тѣмъ, снялъ вицмундиръ, осмотрѣлъ на немъ всѣ пуговицы, бережно сложилъ его и спряталъ въ комодъ, въ самый нижній ящикъ; потомъ изъ комода вынулъ полотенце, вытеръ комодъ, сургучъ, зеркальце, визитные билеты и окна, и опять спряталъ полотенце. Послѣ надѣлъ халатъ, поймалъ на рукавѣ муху и, оборвавъ крылья, бросилъ ее на полъ, прошелся по комнатѣ и посмотрѣлъ на муху, точно ли она безъ крыльевъ. Въ это время Агафя поставила на столъ приборъ. Лука Прохоровичъ взялъ стулъ, накрылъ его листомъ бумаги, приставилъ къ столу, сѣлъ и, смотря въ тарелку, спросилъ Агафю:

— Что у тебя есть?

— Щи да каша.

— А картофель въ мундирахъ?

— Есть.

— Ну, картофель прежде, а потомъ прочее.

— Да это я всегда такъ дѣлаю.

— И прекрасно. Порядокъ—вещь важная.

Агафя поставила передъ чиновникомъ полную тарелку вареннаго картофеля и вышла.

Лука Прохоровичъ взялъ салфетку, заложилъ одинъ конецъ ея за галстухъ и началъ чистить картофель. Уже земляное яблоко вылиняло изъ своего сѣраго мундира и янтарнымъ шаромъ лежало на ладони Луки Прохоровича; онъ, какъ виночникъ преобразования, съ улыбкою посмотрѣлъ на него, взялъ ножъ, разрѣзалъ картофель на-двое и, захватя двумя пальцами шепотку соли, началъ медленно солить обѣ половинки. Вдругъ лицо губернскаго секретаря приняло самое серьезное выраженіе; онъ понюхалъ вокругъ себя воздухъ, посмотрѣлъ внимательно на картофель и, поднявъ къверху брови и плечи, прошепталъ въ полголоса: „знакомый ароматъ.“ Впрочемъ, волненіе Луки Прохоровича скоро успокоилось, и онъ хотѣлъ уже съѣсть кар-

тофель безъ дальнихъ размышленій, уже языкъ его готовъ былъ принять на себя это пріятное бремя, какъ дверь съ шумомъ отворилась и вошелъ—кто бы вы думали? вошелъ маленькій человекъ въ парикъ, въ бѣломъ галстухѣ, на которомъ красиво обвилась орденская лента—словомъ, начальникъ отдѣленія Луки Прохоровича—ну, тотъ самый коллежскій совѣтникъ, который всегда такъ занятъ, всегда играетъ въ карты и отъ котораго всегда такъ чрезвычайно пахнетъ мускусомъ.

Губернскій секретарь хотѣлъ встать, но неожиданное посѣщеніе такого великаго лица совершенно сбило его съ толку; онъ приподнялся и опять присѣлъ. Наконецъ, въ одинъ прыжокъ очутился подлѣ комода и началъ отпирать его, чтобъ достать вицмундиръ. Руки бѣднаго чиновника дѣйствовали неловко; потъ лился съ лица его, упрямый замокъ, какъ сердитая собака, щелкалъ зубами и не отпирался.

Хорошія были времена въ древности! Стоить только прочитатъ мисологію грековъ, чтобъ полюбить ихъ. Боги и полубоги сходили въ счастливыя долины Аркадіи, и жили съ людьми, и учили ихъ кое-чему; но это такъ давно было... Теперь мы уже отвыкли отъ этой мысли, и вдругъ начальникъ отдѣленія въ гостяхъ у писца на второмъ окладѣ; чернильный аристократъ на Петербургской Сторонѣ, въ Клавикордной Улицѣ, въ маленькомъ домѣ, въ квартирѣ рядомъ съ мелочною лавочкой—это не понятно! это смутило бы и не такого робкаго человека, какъ Лука Прохоровичъ. Петербургъ—не Аркадія!

Минуты двѣ начальникъ отдѣленія стоялъ въ недоумѣніи отъ такого страннаго пріема. Наконецъ, онъ понялъ, въ чемъ дѣло; сердце его наполнилось невыразимымъ удовольствіемъ отъ созерцанія собственнаго величія, уста разразились громкимъ, пронзительнымъ смѣхомъ. Въ это время ящикъ со стукомъ отворился и черезъ двѣ секунды Лука Прохоровичъ стоялъ уже передъ своимъ начальникомъ въ вицмундирѣ.

— Ха-ха-ха-ха! пищалъ коллежскій совѣтникъ:—къ-чему это, Лука Прохоровичъ? что за комплиментъ такой! Ха-ха-ха! Это, право, смѣшно. Хе-хе-хе! любезнѣйшій

— Помилуйте, Иванъ Питовичъ, я знаю долгъ службы... И Лука Прохоровичъ низко поклонился, разведя руки въ стороны.—Чему я обязанъ такимъ счастьемъ?

Лука Прохоровичъ опять низко поклонился.

— Вашимъ талантамъ, любезнѣйшій отвѣчалъ Иванъ Питовичъ, протягивая губернскому секретарю правую руку, и въ это

время почесывая лѣвою свою правую ногу. Хе-хе-хе! да выньте изъ-за галстука вашу салфетку. То-то молодые люди!

Лука Прохоровичъ опять поклонился и опять пробормоталъ что-то.

Я не стану описывать ихъ разговора, въ продолженіе котораго Иванъ Питовичъ объяснилъ Лукѣ Прохоровичу, что онъ его ужасно любитъ, что давно хотѣлъ побывать у него, что теперь чрезвычайно радъ, заставъ его дома и, въ заключеніе, пригласилъ къ себѣ на вечеръ.

Теперь, съ позволенія вашего, я разкажу, что было съ Лукою Прохоровичемъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ этимъ.

III.

Черезъ три дома отъ квартиры Луки Прохоровича есть домикъ съ мезониномъ и зелеными ставнями, принадлежащій женѣ отставнаго титулярнаго совѣтника Азбукина, съ 17-ти-лѣтнею дочерью Ольгою Гавриловною. Его жена умерла десять лѣтъ назадъ. Всякое утро полное личико Ольги Гавриловны, какъ розовый цвѣтокъ, блестѣло у окна между густыми вѣтвями темнозеленой герани; всякій разъ, проходя мимо этого окна въ департаментъ, Лука Прохоровичъ думалъ: „какая красавица!“ И, подивитесь, его форменное сердце ощущало что-то странное; Лукѣ Прохоровичу казалось, будто Семенъ Семеновичъ, его сослуживецъ, шепчетъ ему по секрету: „Лука Прохоровичъ! васъ представили къ награждѣ.“ — „Но Семенъ Семеновичъ вѣчно лжетъ; а можетъ-быть, теперь и не лжетъ, можетъ-быть, и представили?“ думалъ губернскій секретарь, и ему было и грустно, и радостно.

Лука Прохоровичъ ходилъ да ходилъ въ департаментъ, а Ольга Гавриловна все смотрѣла да смотрѣла въ окно. „Вѣрно я ей приглянулся“ подумалъ Лука Прохоровичъ, и началъ собирать справки. Оказалось, что Ольга Гавриловна была единственная наследница домика съ мезониномъ и зелеными ставнями; что отецъ ея получалъ небольшой пансіонъ; что сами они живутъ въ первомъ этажѣ, и живутъ препорядочно, а мезоникъ отдають въ наемъ какому-то отчаянному поэту и бѣлошвейкѣ. „Недурно, право, недурно, если бы я женился“ шепталъ Лука Прохоровичъ: „а почему же мнѣ и не жениться?“ Задавъ себѣ этотъ вопросъ, Лука Прохоровичъ надѣлъ галоши, шинель, шляпу, и отправился въ департаментъ.

Это было въ концѣ мая. Природа Петербурга начинала оживать; березки одѣ-

соч. ГРЕБЕНКИ.

лись желтозелеными листочками; на Клавикордной улицѣ стоялъ тощій гусь, вытянувъ длинную шею; частый дождикъ тихо падалъ на землю. Лука Прохоровичъ подошелъ къ домику съ мезониномъ, взглянулъ въ окошко: тамъ не было ни герани, ни знакомаго личика; онъ шагъ впередъ — стукнула калитка и — кто опишетъ его удивленіе? — передъ нимъ стояла сама Ольга Гавриловна, въ зеленой кацавейкѣ, накинувъ на голову пестрый платочекъ, держа въ рукахъ горшокъ знакомой герани. Она бережно поставила герань на троттуаръ и, поднявъ глаза, увидѣла передъ собою Луку Прохоровича.

— Это очень полезно, сказалъ Лука Прохоровичъ, вѣжливо приподнимая рукою шляпу.

— Да, — отвѣчала Ольга Гавриловна, покраснѣла, какъ фуляръ начальника отдѣленія, ступила шагъ назадъ и захлопнула за собою калитку.

Лука Прохоровичъ пошелъ далѣе. „Боже мой! думалъ онъ, какой былъ прекрасный случай! И что я за оселъ такой! упустилъ изъ рукъ да и только. Какъ подумаешь, какъ дѣйствуютъ въ такихъ обстоятельствахъ офицеры — плакать хочется! Явится, покрутитъ усы, кивнетъ эпалетомъ — и началъ говорить разныя разности; а дѣвушка улыбается, а дѣвушка присѣдаетъ, а онъ фонаберится, а онъ шаркаетъ, такъ и лѣзетъ на горло. Черезъ десять минутъ они уже танцуютъ мазурку, и шепчутся, и смѣются; а черезъ три дня смотри — офицеръ уже обладатель прекраснаго домика!... Правда, и между нашимъ братомъ есть бойкія головы, да все же не то. Семенъ Семеновичъ, напримѣръ, душа общества!... А у меня еще чортъ знаетъ какая натура, самая скверная; да и хожу я какъ пугало. Впрочемъ, она, кажется, меня любитъ: она покраснѣла, какъ сказала да, а Семенъ рассказывалъ, что въ танцклассѣ у М — ча онъ говорилъ съ какою-то баронессою; баронесса покраснѣла и полюбила его на вѣки, да и полюбила, какъ онъ говорить, какъ-то пламенно, безусловно... Чортъ его знаетъ, мастеръ рассказывать, бездѣльникъ, хоть и вретъ часто! Ну, не баронесса, а все какая-нибудь женщина; да дѣло въ томъ, что покраснѣла и полюбила. Этого-то намъ и надобно. Да, Ольга Гавриловна меня любитъ.“ Думая такимъ образомъ, Лука Прохоровичъ пришелъ въ департаментъ, отдалъ свой плащъ служителю и вошелъ въ канцелярію.

На слѣдующій день въ департаментѣ замѣтили, что у Луки Прохоровича новыя запонки, черезъ два дня новый галстухъ,

чрезъ недѣлю на старомъ плащѣ новый бархатный воротникъ.

IV.

На часахъ департамента ударило одиннадцатъ. Вся канцелярія собралась вокругъ молоденькаго титулярнаго совѣтника и шупала у него сукно на вицмундирѣ. Титулярный совѣтникъ всѣмъ и каждому въ особенности, рассказывалъ, гдѣ, какъ и по какой цѣнѣ куплено сукно, кто шилъ вицмундиръ, что заплочено за работу, и въ канцеляріи поздравляли его съ обновкою.

— А помните ли вы, какой фракъ былъ на Каратыгинѣ въ прошедшую среду?—сказалъ, улыбаясь, одинъ изъ чиновниковъ.

— О, да, чудеснѣйшій! совершенно атласный, подхватилъ чиновникъ съ мушкой на носу:—это, кажется, въ Гамлетѣ!

— Помилуйте! кричалъ Семень Семеновичъ:—въ Отеллѣ! Развѣ вы забыли? Что за прелестная трагедія. Я былъ въ ложѣ съ маркизою Монамуръ; маркиза была чрезвычайно растрогана; я рыдалъ, какъ ребенокъ. „Не плачьте, Семень Семеновичъ, сказала она: это...“

— А по-мѣду, такъ Воротниковъ лучше,—говорилъ человекъ съ просьбью, нюхая табакъ.

— Что вы!...

— Да, лучше, не въ примѣръ лучше! Какъ онъ—нечистый его знаетъ—умѣетъ ломать языкъ, совершенно нѣмецкій подмастерье. Когда я былъ на чугунномъ заводѣ, бывало, привозить сапоги нашему директору, съ Вознесенскаго Проспекта, бѣлобрысый нѣмчикъ—можетъ, вы его знаете, тутъ, недалеко отъ Синяго Моста, его магазинъ; онъ такой рыжеватенькій съ красными бакенбардами—бывало, придетъ да станетъ говорить—ничего не поймешь, а шилъ славно.

— А что, вы купили домъ?

— Нѣтъ, несовсѣмъ, отвѣчалъ старичекъ:—я говорю о нѣмецкомъ подмастерьѣ, знаете, тутъ у Синяго Моста.

— Покупайте, покупайте скорѣе, почтеннѣйшій! говорилъ Семень Семеновичъ:—да задайте намъ пиръ, позовите кавалергардскую музыку. За дамами дѣло не станеть, я это беру на себя: графиня Меледѣ съ фамиліей, баронесса Сенситивъ, семейство Прыгуновыхъ—и дѣло въ шляпѣ.

— Полно врать, Семень Семенычъ! сказалъ столоначальникъ.

— Вамъ все врешь! Посмотрѣли бы вы, какъ я третьягодня танцевалъ соло на одномъ дипломатическомъ обѣдѣ...

— На обѣдѣ соло?

— Что жъ вамъ тутъ удивительнаго? Вы

обѣдъ принимаете слишкомъ буквально; сначала, разумѣется, бываетъ довольно серьезно: супъ, мадера, мрачные трюфели, испанскія дѣла, христिनсы, альбиносы и всякая сволочь, а подъ конецъ заплѣнится шампанское, загремятъ стулья, посланница изъ Страсбурга сядетъ за рояль—и пошла потѣха.

Тутъ Семень Семеновичъ поднялъ кверху руки, наклонилъ голову къ лѣвому плечу и граціозно повернулся на одной ножкѣ.

— Да,—продолжалъ Семень Семеновичъ:—когда я протанцевалъ соло, танцмейстеръ Эбергардъ бросился мнѣ на шею. „Съ этихъ поръ вы другъ мнѣ“ сказалъ онъ: „идите на театръ; вотъ вамъ семь тысячъ жалованья и четыре бенефиса.“ За дружбу благодаренъ, а танцевать не намѣренъ за деньги; покорно васъ благодарю...

— Да, кажется, третьяго дня мы съ вами были...

— А знаете ли, вѣдь Лука Прохорычъ скоро разбогатѣетъ не на шутку?

— Полно вамъ шутить, Семень Семеновичъ! это я вовсе не для себя...

— Ба! какъ-такъ? спросили всѣ чиновники.

— А вотъ, послушайте. Вчера американскій секретарь поручилъ мнѣ, по дружбѣ, взять билетъ въ польскую лотерею. Признаться, это мнѣ стоило большихъ хлопотъ: надобно было мѣнять американскія деньги; у Штиглица наконецъ все окончилъ, приѣзжаю въ контору и застаю тамъ Луку Прохоровича. Какъ вы думаете, онъ рискнулъ взять билетъ! „Браво, браво! браво! сказалъ я, выиграете, сдѣлайте балъ, попляшемъ, повеселимся, и...“

Семень Семеновичъ умолкъ, какъ-будто кто его ударилъ щелчкомъ по носу.

Въ канцеляріи запахло мускусомъ, передъ кружкомъ стоялъ начальникъ отдѣленія. Чиновники медленно, шагъ за шагомъ, начали отступать къ своимъ... Нѣтъ, это не пугливые школьнпки, которые, какъ стадо овецъ отъ волка, бросаются въ разныя стороны, видя приближеніе школьнаго педагога; нѣтъ, это отступали люди съ бакенбардами, съ просьбью, отступали съ чувствомъ собственнаго достоинства, сохранивъ обычную важность своего званія... Хвала имъ!

— Очините перышко,—сказалъ Иванъ Пировичъ, обращаясь къ Лукѣ Прохоровичу. О чемъ вы такъ шумѣли, Семень Семеновичъ?

— Ничего-съ. Это я только рассказывалъ, что Лука Прохоровичъ взялъ билетъ въ польскую лотерею.

— А, Лука Прохоровичъ! Отъ души желаю вамъ счастья. А какой номеръ вашъ?

— 666-й.

— Посмотрите, когда вы не выиграете. Это число кабалистическое. Я самъ хотѣлъ взять этотъ нумеръ... А что, вы переписали отношеніе, которое я вамъ далъ вчера вечеромъ?

— Вотъ оно-съ.

— Хорошо, хорошо; только надобно писать ваше превосходительство прописными буквами. Да; а число 666 всегда выигрываетъ.

И Иванъ Питовичъ вышелъ, а въ другую дверь вошелъ сторожъ департамента. Онъ сказалъ что-то на ухо Лукѣ Прохоровичу, и Лука Прохоровичъ, застегнувъ вицмундиръ, вышелъ изъ комнаты.

— Что его Иванъ Питовичъ требуетъ? спросилъ Семенъ Семеновичъ, подбѣгая къ сторожу.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе: къ нимъ пришелъ какой-то человекъ съ дамою.

— А дама хорошенькая?

— Красавица, ваше благородіе.

И Семенъ Семеновичъ исчезъ изъ канцеляріи. Онъ побѣжалъ въ темную комнату, гдѣ, въ шкапу, были спрятаны платья чиновниковъ, скинулъ съ себя сюртукъ съ галунами, такъ краснорѣчиво обличавшій его канцелярское званіе, надѣлъ синій фракъ, поправилъ галстукъ и чрезъ минуту очутился въ передней, гдѣ разговаривалъ съ Лукою Прохоровичемъ пришедшій незнакомецъ.

— И потому-то, говорилъ незнакомецъ: — замѣтивъ вашъ вицмундиръ, я спросилъ въ лавочкѣ ваше имя, отчество и фамилію, и, имѣя дѣло въ департаментъ, прямо рѣшился отнестись къ вамъ съ моею покорнѣйшею просьбой.

Тутъ слѣдовало объясненіе дѣла, которое ни ко мнѣ, ни къ вамъ не относится.

— Что только можно будетъ, съ величайшимъ удовольствіемъ... отвѣчалъ Лука Прохоровичъ.

— Рѣшительно все, сказалъ Семенъ Семеновичъ, вѣжливо кланяясь незнакомцу. — Извините, что я вмѣшался вовсе непрошенный; но вы просили Луку Прохоровича, а я такъ люблю его, что всякую просьбу готовъ выполнить вмѣсто него. Знаете, это называется жить по пріятельски; притомъ же это дѣло у меня въ экспедиціи.

— Покорѣйше васъ благодарю. Я радъ, что нашелъ такихъ добрыхъ людей. Видишь, Оленька, а ты не хотѣла зайти въ департаментъ!

Дѣвушка потупила глаза и поправила манто.

— Мы теперь идемъ въ гостинный дворъ, но къ тремъ часамъ будемъ дома. Смѣю надѣяться, что вы, Лука Прохоровичъ, не откажете на перекутъ пожаловать къ намъ

откушать хлѣба-соли; вѣдь вы знаете нашъ домъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ Лука Прохоровичъ.

— Ежели по дорогѣ и вашему пріятелю... не имѣю чести знать имя и отчество.

— Хотя не по дорогѣ, но если вы позволите воспользоваться вашимъ пріятнѣйшимъ знакомствомъ, отвѣчалъ Семенъ Семеновичъ: — то...

— Итакъ, смѣю надѣяться, вы не забудете старика Азбукина, мы васъ ожидаемъ, сказалъ незнакомецъ, низко кланяясь и, пожимая руки новымъ пріятелямъ, вышелъ изъ департамента.

Это былъ тотъ самый Азбукинъ, котораго домъ находился черезъ три дома отъ квартиры Луки Прохоровича. А эта дѣвушка Ольга Гавриловна—его дочь. Лука Прохоровичъ обезумѣлъ отъ радости.

Ольга Гавриловна, которую онъ только могъ созерцать въ окнѣ, за стекломъ, какъ дорогой тепличный цвѣтокъ, Ольга Гавриловна та самая, которая покраснѣла, когда шелъ дождикъ, была здѣсь въ департаментѣ. Этого мало: я буду сегодня у нихъ въ собственномъ домѣ! думалъ Лука Прохоровичъ, удивляясь, какъ судьба свела его съ Азбукинымъ. И если бъ онъ воспитывался тамъ, гдѣ его сослуживецъ, чиновникъ съ большимъ краснымъ носомъ, то написалъ бы огромное похвальное слово судьбѣ, по правиламъ буржіевой реторики. Слава Богу, что онъ не учился! Лука Прохоровичъ задумался, и въ три часа едва могъ его растолкать Семенъ Семеновичъ. Они надѣли плащи, галоши, и отправились.

Лука Прохоровичъ и Семенъ Семеновичъ весело провели время у новаго своего знакомаго: обѣдали, пили чай, играли въ вистъ, и возвратились домой далеко за полночь. Я говорю: „возвратились“, потому что Лука Прохоровичъ пригласилъ къ себѣ ночевать Семена Семеновича, который жилъ на Пескахъ „опасаясь наводненія“, какъ говорилъ онъ.

— Что же, Лука Прохоровичъ, вы можете одолжить меня этою бездѣлицей, о которой я просилъ дорогою?

— Двадцатью рублями? Извините, Семенъ Семеновичъ, ей-богу нѣтъ.

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ. Отчего жъ вы такъ кривляетесь? я, вѣдь, такъ сказалъ, только подружески; мои деньги всѣ разсчитаны впередъ. Это мое правило. Но вдругъ проклятая свадьба все разстроила.

— Развѣ вы женитесь?

— Боже сохрани! Пока жизнь кититъ въ насъ, къ чему связывать себя? Я живу, какъ говорилъ покойный Пушкинъ:

Какъ бабочка, съ букета на букетъ летаю
И время весело провоождаю.

А? каковы стихи?

— Это вамъ говорилъ Пушкинъ?

— Нѣтъ, это было гдѣ-то напечатано, кажется, въ „Онѣгинъ“. Впрочемъ, за годъ до свадьбы Пушкина мы съ нимъ сошлись было и сдѣлались пріятелями. Вотъ, однажды я спрашиваю: „что вы не женитесь, Александръ Сергѣичъ?“

„Ахъ, милый другъ Семѣнъ Семенычъ!

Я, какъ бабочка, съ букета на букетъ порхаю
И время весело провоождаю.

Въ это время официантъ несъ мимо насъ чай, я и говорю Пушкину: „неудобно ли чашку чаю?“

„Да вы поэтъ“, сказалъ Пушкинъ.

— Куда намъ!“

„Какъ, куда намъ? да этотъ стихъ.... позвольте мнѣ напечатать — вотъ что значить экспромтъ! вы поэтъ“.

„Не то, чтобы поэтъ, а такъ, признаться, люблю писать. Когда я былъ въ пансіонѣ, много мнѣ доставалось за любовь къ поэзіи; я и теперь помню посланіе къ чижикѣ... виновать, къ нашему нѣмецкому учителю:

Учитель въ синемъ сюртукѣ
И въ старомъ парикѣ;
Плащъ у него надѣтъ налегкѣ,
Идетъ съ тросточкою въ рукѣ...

И такъ далѣе; оно большое“.

„Сколько тутъ поэзіи!“ закричалъ Пушкинъ, когда я кончилъ стихи: „въ сюртукѣ, парикѣ, налегкѣ и въ рукѣ!“ Тутъ онъ меня началъ приглашать въ сотрудники „Библиотеки для чтенія“. Оно хорошо, подумалъ я; но за славу я долженъ жертвовать всѣмъ, а денегъ я съ Пушкина ни за что бы не взялъ... я поразмыслилъ, да и отказался.

„Дайте хоть стихи“, сказалъ Пушкинъ.

„Стихи возьмите“. Скоро послѣ этого Пушкинъ умеръ и стихи пропали—да и къ лучшему, подумалъ я: я неизвѣстенъ въ литературѣ, такъ спокоенъ въ канцеляріи. И вы, пожалуйста, Лука Прохорычъ, не пересказывайте объ этомъ въ департаментѣ. Да вы спите, почтеннѣйшій?

— Нѣтъ, я все это думалъ, о какой вы свадьбѣ говорили?

— Эге! да васъ что-то занимаетъ свадьба. Я говорилъ о своей свадьбѣ; я женюсь на Ольгѣ Гавриловнѣ. А? что же вы на меня такъ смотрите? Поймались? Признайтесь откровенно, вы пылаете любовью къ Ольгѣ Гавриловнѣ?

— Полно вамъ! я совсѣмъ не пылаю.

— Пылаете, пылаете! вы ее обожаєте, какъ существо, которое должно...

— Перестаньте! она...

— Такъ! любовь скромна... обожаєте, какъ существо, которое должно украшать жизнь вашу. Притомъ же у нея хорошенькій домикъ; вѣдь это нехудо?

— И домикъ маленький!...

— Не пугайтесь, я очень хорошо помню стихи Пушкина; вы—дѣло десятое: вы человекъ въ лѣтахъ, съ чинами. Женитесь, Лука Прохорычъ, берите меня шаферомъ, задайте балъ, а дамъ я доставлю: у меня знакомство все иностранное, европейское. Я знаю, что ваша свадьба не будетъ такъ пышна, какъ эта проклятая, что лишила меня средства завра быть въ театрѣ. Представьте, я былъ шаферомъ у одного моего пріятеля, конногвардейскаго полковника: одинъ бѣлый атласный жилетъ 50 р., шесть паръ бѣлыхъ перчатокъ, карета и прочее... словомъ, оно мнѣ стало сотни четыре! Рѣшительно всѣ деньги вышли, а завтра балетъ „Марсъ и Венера“, и „Филатка“—и посмотрѣть и посмѣяться въ волю! Притомъ же, третьяго дня, пріѣхалъ одинъ мой знакомый, почетный гражданинъ изъ Ливерпуля. Его жена—прелесть, что за почетная гражданочка! Она хочетъ посмотрѣть нашъ русскій театръ. „Вы, говорить, достанете мнѣ ложу?“ Ну, что бы вы сказали?

— Я бы сказалъ, что у меня нѣтъ денегъ.

— Хороши вы! Какъ можно! Я сказалъ ей: „миледи, если я могу чѣмъ доставить вамъ удовольствіе—весь къ вашимъ услугамъ“.—„То-то, смотрите, не ударьте лицомъ въ грязь!“ И плутовка погрозила пальчикомъ... И что послѣ этого? завтра театръ, а денегъ не хватаетъ внять ложу... Если бы вы, Лука Прохорычъ, поискали—а?

— Ахъ, Боже мой! гдѣ же взять? Вы знаете, что изъ моего жалованья и двухъ рублей въ мѣсяцъ не остается.

— Кто и говоритъ о жалованьи! Долго ли бы я могъ жить на свѣтѣ съ моими 400 р. въ годъ? но посторонніе доходы...

— О постороннихъ тоже нельзя думать.

— Полно-те скромничать! Вѣдь вы же нашли денегъ на лоттерей; вѣрно не изъ жалованья.

— Ну, вотъ и лоттерея! вы, Богъ знаетъ, какъ ввели меня въ эту лоттерей. Теперь вся канцелярія знаетъ, и Иванъ Питовичъ знаетъ, а билетъ-то совсѣмъ не мой.

— Зачѣмъ же вы тогда сказали, что онъ вашъ?

— Да такъ, вы меня сбили съ толку: я не зналъ, какъ и признаться; вы видите, это билетъ нашей кухарки.

— Вы, пожалуй, скоро скажете и на дворника.

— Я, ей-богу, не шучу. Вотъ, извольте видѣть, въ чемъ дѣло: эта кухарка въ нѣсколько лѣтъ своей службы скопила немного денегъ и хотѣла положить ихъ въ ломбардъ, какъ вдругъ приснилось ей, что она сдѣлалась барыней. Она пошла къ ворожеѣ, вотъ которая живетъ у крестовскаго перевоза, и ворожея посовѣтовала ей взять билетъ въ лотерею. Какъ я ни отговаривалъ, такъ нѣтъ: „возьмите, Лука Прохорычъ“, да и только. Дѣлать нечего, пошелъ да и взялъ; а вы тутъ, откуда ни возьмись, и рассказали въ канцеляріи.

— Тѣмъ лучше! Пусть ихъ думаютъ, что у васъ много денегъ.

— Спасибо, какъ возьмутъ въ соображеніе при наградѣ, такъ и дадутъ меньше сотню-другую.

— Худо вы знаете, почтеннѣйшій! Богатому скорѣй дадутъ болѣе; всякій подумаетъ: онъ привыкъ къ роскоши, ему больше и надо; онъ бываетъ въ хорошихъ обществахъ, станетъ хвалить тамъ своихъ начальниковъ—имъ же лучше. Право, не знаете вы свѣта, Лука Прохорычъ! А хороша ваша кухарка?

— Такъ-себѣ, женщина здоровая.

— А молодая?

— На крестинахъ у нея не былъ, а полагаю, что будетъ за тридцать.

— Прекрасно! Если она выиграетъ нѣсколько сотъ тысячъ, вы на ней женитесь.

— Богъ съ вами!

— Ахъ, я и забылъ, вы человѣкъ влюбленный! Женитесь себѣ на Ольгѣ Гавриловнѣ, а я женюсь на вашей кухаркѣ, приберу къ рукамъ полмилліона, сдѣлаю балъ; ко мнѣ пріѣдетъ графиня Меледа и, божусь вамъ, найдетъ мою жену очень миловидною. О, деньги много значатъ! а тутъ не хватаетъ 20 рублей для хорошенькой гражданочки... Но вы опять зѣваете? Ступайте лучше спать. Спокойной ночи, Лука Прохорычъ! Вы, вѣдь, до-свѣта пойдете въ департаментъ; сдѣлайте одолженіе, не будите меня, я люблю поспать.

— Спите, съ Богомъ.

И чрезъ нѣсколько минутъ Лукъ Прохоровичу представилось, будто какой-то начальникъ дуетъ ему потихонько въ глаза. „Какія бываютъ странныя прихоти у важныхъ людей“, подумалъ Лука Прохоровичъ: „вѣрно, это такъ надобно!“ А начальникъ все дуетъ ему въ глаза такъ сладко, такъ сладко!... Голова Луки Прохоровича закружилась; онъ какъ-будто летитъ-летитъ—и вотъ уже въ канцеляріи; все тихо, только скрипятъ перья; черезъ три комнаты видна на маленькомъ столикѣ шляпа Ивана Пи-

товича; все какъ надобно: чиновники скромно, благоприлично ходятъ, низко кланяются и дружески жмутъ руку Лукъ Прохоровичу: столоничальникъ поздравляетъ его съ наградой. Тутъ прошелъ сторожъ съ курильницею и въ канцеляріи запахло какъ въ магазинѣ Марса. Лукъ Прохоровичу было такъ легко, такъ радостно! „Боже мой, что за канцелярія!“ подумалъ онъ и готовъ былъ плакать отъ восхищенія.

А Семену Семеновичу дѣлую ночь снился какой-то анекдотъ.

На другой день, рано поутру, Лука Прохоровичъ всталъ, одѣлся, вычистилъ метелкою свое платье, плащъ, шляпу и даже перчатки, выпилъ стаканъ чаю и поставилъ чайникъ на самоваръ, чтобъ не простылъ до пробужденія Семена Семеновича; а Семенъ Семеновичъ спалъ крѣпкимъ сномъ. „Славный человѣкъ“, подумалъ Лука Прохоровичъ: „онъ научилъ меня жить на свѣтѣ. Полно мнѣ кланяться да работать изъ небольшой платы: самъ сдѣлаюсь богатъ, женюсь на Ольгѣ Гавриловнѣ, а не то, почему не воспользоваться его умною мыслью: подождать, авось Агафѣя выиграетъ полмилліона, тогда Ольга Гавриловна въ сторону, женюсь на Агафѣ. Нѣтъ, надо его поблагодарить“. Лука Прохоровичъ пошелъ въ мелочную лавочку и занялъ двадцать рублей; чрезъ четверть часа двѣ красныя ассигнаціи были запечатаны, подписаны и отданы Агафѣ для врученія Семену Семеновичу, когда проснется.

Минуту спустя, Лука Прохоровичъ вѣжливо раскланялся съ окномъ у домика съ зелеными ставнями; а черезъ часъ онъ уже сидѣлъ въ департаментѣ и писалъ отношеніе о чемъ-то прескучномъ.

Нескоро, по уходѣ Луки Прохоровича, проснулся Семенъ Семеновичъ, напился чаю, разругалъ и воду, и самоваръ, и чайникъ, и сухари, и лавочника, и всю Петербургскую-Сторону; рассказалъ Агафѣ, что все это у него несравненно лучше, спряталъ въ боковой карманъ, какъ онъ говорилъ, долгъ Луки Прохоровича и, смотря въ окно, свистѣлъ арію изъ „Финеллы“, думая о томъ, что ему пора, хоть смертельно не хочется, итти въ департаментъ. Послѣ его заняла мысль: какъ лучше употребить деньги, полученные отъ Луки Прохоровича. „Это рѣшено: я обѣдаю у Дюме, шесть рублей долой, только надобно кого-нибудь пригласить изъ департаментскихъ чиновниковъ, чтобъ былъ свидѣтелемъ. Оно же пріятно иногда закричать: Н. Н. помните вы этого генерала, вотъ что сидѣлъ подлѣ меня, какъ мы обѣдали съ вами у Дюме? ему дали звѣзду! За десять рублей возьму лихаго извозчика, прикажу ему отвязать нумеръ и

пойду ко всем знакомым; нигде не посижу больше минуты, скажу, что тороплюсь, что я мимоходом, что у меня экипаж графини, и прочее. Это будет славно! На остальные четыре рубля, что бы такое?" Тут Семен Семенович самодовольно улыбнулся, надѣл шляпу и хотѣлъ уже выйти изъ комнаты.

— Вы уже идете, баринъ? сказала Агафья, отворяя дверь.

— Да, иду, моя милочка. Что ты так испугалась? Да ты, кажется, плачешь?

— У меня только на васъ и надежда, говорила Агафья и зарыдала.

— Что же тебѣ нужно, милая? Пожалуй, я скажу графу Лампопо, или барону Фриш-тику, или тайному...

— Не въ томъ дѣло, сударь, мнѣ надобно денегъ.

— Ага! кому ихъ не надобно? А сколько тысячъ тебѣ нужно?

— Какія тысячи! мнѣ только двадцать рублей, и я была бы счастлива.

— Это пустяки. Что же ты так хлопочешь? Перестань; объ этомъ и думать нечего!

— Такъ вы мнѣ дадите?

— А для чего они тебѣ?

— Вотъ, видите, у меня есть троюродный братецъ въ медицинской академіи фельдшеромъ; вы, можетъ быть, его знаете: Бориска, такой бравый, здоровый парень; а какъ играетъ на балалайкѣ! какъ почтенъ, хочется, чтобы и въкъ не пересталъ. Вотъ его и послали сегодня на Сѣнную купить аптеку — его и начальство любить, и все ему повѣряетъ — и дали ему на задатокъ 50 рублей денегъ; онъ пришелъ на Сѣнную — хватъ за карманъ, а денегъ нѣтъ, потерялъ, горемычный, казенныя деньги! Теперь пришелъ ко мнѣ — на себя не похожъ, словно съ перепоемъ блѣденъ: „Пропаду“ говорить, „Агаша, коли не дашь 50 рублей“. Что станешь дѣлать? Гдѣ знала, бросилась, что было, собрала, а всего только тридцать рублей; двадцати не хватаетъ, а Бориска понукаетъ: „давай скорѣе, вотъ придутъ да возьмутъ!“

— Да ты не вѣрь ему, милая, онъ вретъ. Кто бы его послалъ купить аптеку? Да и какая на Сѣнной аптека?

— Коли хотите сдѣлать добро, такъ пожалуйста, а не корите доброго человѣка: онъ отродясь не лгалъ; какъ скажетъ: буду тамъ-то, такъ будетъ; коли общаетъ что сдѣлать, такъ вдвое сдѣлаетъ... Что жъ, вы мнѣ пособите?

— Да со мною, милая, нѣту денегъ, кроме двадцати рублей на извозчика, что я получилъ сегодня; а то, пожалуй, я бы те-

бѣ далъ и больше; а такъ развѣ черезъ недѣлю?

— Какую недѣлю! тутъ и часъ бѣды надѣлаетъ. Господи! что мнѣ дѣлать? Носила въ лавочку билетъ, что мнѣ взялъ ономясь Лука Петровичъ. Вѣрите ли, за двадцать рублей отдавала лавочнику, а онъ еще смѣется: „я, говорить, не хочу быть баринъ; возьми, когда хочешь, цѣлковый“.

Пророчество Ивана Питовича сверкнуло быстрѣе молніи въ головѣ Семена Семеновича.

— Знаешь, моя милая, одинъ сенаторъ просилъ взять ему билетъ въ эту лоттерей; ежели ты отдавала билетъ лавочнику за двадцать рублей, то, пожалуй, я хотѣ, кажется, немного поважнѣе этого бородача, а дамъ тебѣ двадцать рублей. Нечего дѣлать, для тебя пойду пѣшкомъ въ департаментъ...

— Ахъ, благодѣтель! Возьмите билетъ. Грѣхъ попуталъ меня съ нимъ, давайте скорѣе деньги!

Она отдала Семену Семеновичу билетъ, схватила ассигнаціи и выбѣжала изъ комнаты.

„Какая братская любовь!“ сказалъ Семенъ Семеновичъ, смотря на билетъ: „вѣрно этотъ фельдшеръ малый ловкій. Теперь не худо зайти къ Азбукину, показать ему билетъ: это придастъ намъ вѣсу“.

И точно, Семенъ Семеновичъ пошелъ къ Азбукину, будто мимоходомъ, узнать о здоровьи, завелъ издалика рѣчь объ учености и сказалъ Азбукину полу-шутя, полу-серьезно, показывая лоттерейный билетъ: „Вотъ, почтеннѣйшій, проба человѣческой мудрости. Одинъ мой пріятель, профессоръ университета, ученѣйшій человѣкъ, ѣздилъ за границу и тамъ еще болѣе набрался всячины, такъ-что даже знаетъ немножко кабалистики и магіи... фокусникъ Молдуано передъ нимъ менѣе нуля... этотъ профессоръ высчиталъ по числамъ и посоветовалъ мнѣ взять въ лоттерей билетъ № 666-й, говоря, что онъ непременно долженъ выиграть.“

Азбукинъ совершенно былъ согласенъ въ важности этого числа и замѣтилъ, что когда переверотить его вверхъ ногами, то выходитъ 999; да и въ „Письмовникѣ“ Курганова, въ книгѣ, которую признали умною отцы наши, есть пѣсенька, гдѣ часто упоминается число 666, какъ будто вовсе безъ смысла, а тутъ-то и должна быть математика.

Въ этотъ же вечеръ Семенъ Семеновичъ проигралъ свой таинственный билетъ одному знакомому.

V.

Но обратимся къ нашему Лукѣ Прохоровичу. Мы его оставили въ собственной квартирѣ на Клавикордной улицѣ, вмѣстѣ съ Иваномъ Питовичемъ, который убѣдительно просилъ его къ себѣ на вечеръ.

Вотъ они сѣли на собственные дрожки Ивана Питовича и поѣхали. Быстро пронеслись дрожки чрезъ Васильевскій Островъ, покатались по Невскому, минули Аничкинъ мостъ, минули какую-то биржу и остановились предъ огромнымъ каменнымъ домомъ. Вы вѣрно его когда-нибудь видѣли: на немъ желѣзная крыша, надъ воротами прибитъ номеръ и красная дощечка страхового общества. Наши путешественники поднялись по лѣстницѣ въ третій этажъ и вошли въ переднюю. Человѣкъ снялъ съ нихъ плащи. Иванъ Питовичъ взялъ за руку Луку Прохоровича и сказалъ: „прошу любить да жаловать“. Чрезъ минуту они были уже въ гостиной.

Бѣдный Лука Прохоровичъ! зачѣмъ вы сюда пріѣхали? не лучше ли бы вы провели время въ маленькомъ домикѣ съ зелеными ставнями: тамъ васъ ждали, хотѣли съ вами видѣться; тамъ привѣтно шумитъ самоваръ; тамъ Ольга Гавриловна разливала чай и самъ Азбукинъ тасуетъ карты; тамъ бы вы заговорили, а здѣсь... зачѣмъ вы пріѣхали, Лука Прохоровичъ? Чѣмъ выше, тѣмъ тяжелѣе дышать нашему брату, земному существу.

Въ гостиной Ивана Питовича было общество, какое вѣрно вы встрѣчали въ гостиной женатаго начальника отдѣленія: тутъ былъ диванъ, передъ диваномъ, на пестромъ коврѣ, стоялъ столъ; на столѣ лампа, подъ матовымъ колпакомъ, разливая пріятный свѣтъ по комнатѣ; вокругъ стола стояли кресла красного дерева; надъ диваномъ висѣлъ литографированный портретъ директора департамента; на диванѣ сидѣла жена начальника отдѣленія, направо въ креслѣ сестра ея, Лиза, тощая, блѣдная, высокая дѣвушка; подлѣ нея офицеръ въ серебряныхъ эполетахъ, съ выпушками, которые при свѣчахъ не имѣли никакого опредѣленнаго цвѣта; слѣва раскинулся въ креслѣ какой-то толстый, важный человѣкъ въ синемъ фракѣ; онъ держалъ въ рукахъ золотую табакерку, смотрѣлъ весело и очень былъ похожъ на именинника; далѣе, на креслѣ, подлѣ важнаго человѣка лежала балонка; еще далѣе сидѣлъ дальній родственникъ Ивана Питовича, въ черномъ фракѣ; у камина стоялъ экранъ, на окнахъ цвѣли гортензіи и китайскія розы. Не знаю, въ насмѣшку ли Иванъ Питовичъ поставилъ эти цвѣты въ своей гостиной, или это была

счастливая игра случая... Я не люблю этихъ цвѣтовъ: они красивы, а запаха не допросишься.

Важный человѣкъ съ восторгомъ выхвалялъ привезенное на баркахъ сѣно, какъ-будто онъ самъ его кушалъ; офицеръ рассказывалъ своей сосѣдкѣ о пикникѣ, на которомъ не было ни одного фрака; дѣвушка, улыбаясь, косвенно поглядывала на его мишурные эполеты; родственникъ молча глядѣлъ на болонку. Вдругъ дверь открылась, Иванъ Питовичъ ввелъ за руку Луку Прохоровича и представилъ женѣ своей.

Хозяйка что-то заговорила Лукѣ Прохоровичу: важный человѣкъ что-то говорилъ, дѣвушка что-то говорила, но ничего нельзя было разобрать: болонка звонкимъ лаемъ покрывала весь этотъ разногласный говоръ и, въ заключеніе, бросилась подъ ноги Лукѣ Прохоровичу и начала дергать его за сѣрые брюки. Лука Прохоровичъ трихнулъ ногою—и назойливая собачка, описавъ дугу въ воздухѣ, съ визгомъ упала на полъ. Хозяйка бросилась къ ней на помощь, дѣвушка сверкнула на него ястребиными глазами, какъ-будто выговорила: „у! варваръ!“ и тоже побѣжала къ собачкѣ. Родственникъ уже прыскалъ на болонку водою, офицеръ совѣтовалъ ей пустить кровь, незнакомецъ въ синемъ фракѣ рекомендовалъ какой-то бальзамъ, о которомъ напечатано что-то очень хорошее въ объявленіяхъ при афишахъ; Иванъ Питовичъ умолялъ всѣхъ не беспокоиться, говоря, что это скоро пройдетъ.

Лука Прохоровичъ остался одинъ въ самомъ незавидномъ положеніи. Онъ не зналъ, куда ему дѣтъ свои руки, не зналъ, куда самому дѣваться; онъ, человѣкъ скромный, миролюбивый, не могъ себѣ простить, что при первомъ шагѣ въ домъ своего начальника обидѣлъ существо, кажется, самое драгоценное въ цѣломъ семействѣ. Напрасно вы пріѣхали, Лука Прохоровичъ!

Вскорѣ буря утихла. Подали чай; послѣ чая Луку Прохоровича усадили играть въ вистъ. Въ сосѣдней комнатѣ дѣвушка брала какіе-то несвязные аккорды на фортепіано, офицеръ вѣжливо переворачивалъ ноты, а родственникъ сѣлъ за столомъ Ивана Питовича и безмолвно смотрѣлъ на игру—ни дать, ни взять memento mori на пирахъ среднихъ вѣковъ.

Когда вистъ кончился, Лука Прохоровичъ съ ужасомъ узналъ, что проигралъ тридцать рублей. Изъ сорока трехъ рублей мѣсячнаго жалованья проиграть тридцать—право невыгодно! Онъ мысленно проклиналъ и вистъ, и вечеръ, и даже проклялъ бы Ивана Питовича, еслибъ онъ не былъ его начальникомъ.

Вскорѣ Лука Прохоровичъ раскланялся: Иванъ Питовичъ, проводя его до лѣстницы и пожимаая дружески руку, сказалъ съ лукавою улыбкою: „Я знаю, что вы скоро будете веселѣе. Я видѣлъ, какъ вы посматривали на Лизу... Охъ, молодые люди! гдѣ дѣвушка, тамъ и они. Ну, да ничего, ничего. Кто Богу не грѣшенъ, кто бабушкѣ не внукъ! Это дѣло мы уладимъ, только бывайте почаще. До свиданія“. Тутъ Иванъ Питовичъ еще разъ поклонился и заперъ дверь, а Лука Прохоровичъ тихо побрелъ домой, удивляясь, какъ это онъ самъ не замѣтилъ, что волочился за Лизою?

Давно уже спала Клавикордная улица, когда застучали по ней галоши Луки Прохоровича; только у нѣмца-булочника свѣтился огонь; черезъ улицу перебѣжала горничная, да на углу Малаго Проспекта стоялъ офицеръ въ шинели и фуражкѣ. Лука Прохоровичъ пришелъ домой, вдохнулъ и легъ спать.

VI.

„Да это совершенно такъ, какъ мнѣ когда-то снилось“, подумалъ Лука Прохоровичъ, входя въ департаментъ. Всѣ ему кланяются, всѣ его поздравляютъ, всѣ улыбаются; даже столоничникъ протягиваетъ руку, не косится и не показываетъ часовъ, хотя Лука Прохоровичъ, утомленный вчерашними сильными ощущеніями, проспалъ и опоздалъ цѣлымъ часомъ. „Вѣрно кто-нибудь видѣлъ, что я вчера пилъ чай у Ивана Питовича“, подумалъ Лука Прохоровичъ и началъ говорить своимъ товарищамъ: „Полноте, господа! разумѣется, это большое счастье, но, вѣроятно, и каждый изъ васъ современемъ можетъ этого достигнуть.“

— Хороши вы! достигнуть! говорилъ чиновникъ съ мушкою на носу:—вамъ теперь рассказывать легко. Жаль, что нѣтъ Семена Семеныча, а то онъ попросилъ бы у васъ въ займы тысячу пятьдесятъ.

— А гдѣ же Семенъ Семенычъ? спросилъ Лука Прохоровичъ.

— Богъ его знаетъ! Впрочемъ, записки о болѣзни не присылалъ.

— Жаль; а я самъ думалъ взять у него рублей двадцать!

— Полноте шутить! Вотъ вы уже и насмѣхаетесь надъ нами. Грѣхъ забывать старыхъ товарищей!

— *Honores mutant mores*. проворчалъ сѣдой семинаристъ.

— Любезнѣйшій Лука Прохорычъ! сказалъ громко Иванъ Питовичъ, протягивая ему руку: — поздравляю васъ, поздравляю. Не правда ли моя, вѣдь вашъ билетъ, № 666-й,

выигралъ вамъ девятьсотъ тысячъ золотыхъ. Какъ жаль, что я не зналъ этой новости вчера, какъ вы были у меня въ гостяхъ!

Въ секунду вся канцелярія обмѣнялась взглядами. Апельсинообразный чиновникъ, прищуря правый глазъ, кивнулъ на чиновника съ мушкою; но тотъ былъ не въ состояніи понимать намековъ. Онъ усадилъ на Луку Прохоровича два безцвѣтные, какъ старые двугривенные, глаза, открылъ табакерку и трепещущими пальцами переминалъ табакъ.

— Я надѣюсь, что вы и теперь не оставите нашъ департаментъ и будете поддерживать его вашею ревностью и умѣньемъ, продолжалъ Иванъ Питовичъ.

Но эти слова застали уже Лука Прохоровича на дорогѣ. Въ первый разъ въ жизни онъ рѣшился выйти безъ спроса изъ департамента, не сказавъ даже, для виду, что идетъ хоронить тетюшку, или что-нибудь въ родѣ этого. Мысль, что Семенъ Семеновичъ уже вѣнчается съ Агафьею, совершенно ошеломила его.

„Нѣтъ, я не упущу девятьсотъ тысячъ золотыхъ изъ своихъ рукъ“, думалъ Лука Прохоровичъ: „я женюсь на Агафѣ... А Ольга Гавриловна? Что мнѣ она съ ея домикомъ! Я, слава Богу, не дитя, чтобъ на хорошенькое личико промѣнялъ капиталъ: лицо скоро износится, полиняетъ, какъ платокъ, а деньги—вещь: онѣ изъ Агафьи сдѣлаютъ красавицу. Накуплю ей въ магазинахъ всякой всячины, такъ куды будетъ красавица! Когда бъ только этотъ болтунъ, Семенъ Семеновичъ, не женился пока я былъ въ департаментѣ!“

— Эй, извозчикъ, на Петербургскую Страну, въ Клавикордную улицу! да пошелъ же скорѣе! — И Лука Прохоровичъ безъ торга сѣлъ на дрожки и скоро скрылся изъ виду.

Видали ли вы свадьбу въ Петербургѣ? Не знаю, какъ для васъ, а на меня всегда наводитъ грустное чувство. Я помню великолѣпно-освѣщенную церковь; у подвѣзда много щегольскихъ экипажей, толпа ливрейныхъ слугъ; внутри торжественное пѣніе; въ блескѣ и брилліантахъ вѣнчали молодую пери съ какимъ-то богачомъ. Онъ былъ бодръ и безпрестанно поправлялъ свой парикъ и вставные зубы; а вдали, между колоннами, въ темномъ углу, сверкали, какъ двѣ искры, глаза молодаго человѣка и неподвижно бѣлѣло, какъ мертвое, лицо; онъ былъ весь въ черномъ; темные кудри въ безпорядкѣ осѣняли лобъ его, его руки были скрещены на груди... а вокругъ рой заказныхъ улыбокъ и привѣтствій; а невѣста шаловливо играетъ брилліантовымъ браслетомъ... Нѣтъ, на похоронахъ мнѣ бы-

ъ веселѣе. Тутъ уже расчетъ конченъ, свадьба только начинается. Будущее — море жизни. Еслибъ я былъ увѣренъ, что дорогія серьги, карета и ливрей-болванъ на запяткахъ могутъ сдѣлать меня счастливою, моя милая пери, я бы ился, я бы хохоталъ на вашей свадьбѣ, тотъ юноша въ бѣлыхъ перчаткахъ; я говорилъ безъ умолку, какъ офицеръ, рый стоялъ недалеко отъ васъ, и вы не замѣтили моей горькой улыбки, вы не называли меня злымъ человѣкомъ.

Видѣлъ я, какъ вѣнчали чиновнаго пу съ молоденькою дѣвушкой — и мнѣ еще грустнѣе: эти дѣти такъ вѣрили въ свое счастье, такъ смотрѣли другъ на друга, что я готовъ былъ плакать. Еслибъ имѣли двойное зрѣніе, они бы испугались, увидя предъ собою тощую нищету, иди раскаяніе, по бокамъ упреки, жалость... Она была бѣдная сирота, воспитанная въ богатомъ домѣ, онъ — молодой чиникъ, на скудномъ жалованьи, безъ связей и знакомства. „Видныя дѣти!“ — я, когда бы вы не выходили вѣчно изъ моего очарованія! А у жениха еще долгъ въ долгъ на сегодняшний вечеръ! И опять я горько улыбнулся, и я, можетъ быть, кто-нибудь назвалъ бы злымъ человѣкомъ.

Послушайте, братія, еслибъ я былъ счастливъ, я бы радовался вашимъ ошибкамъ, а не о нихъ... Впрочемъ, думайте какъ вамъ!

Въ тотъ самый день, когда Лука Прохоровичъ такъ поспѣшно вышелъ изъ дома, на Крестовскомъ не было гулянья, не было праздничныхъ лицъ, грохотъ сигаръ, толкотни, фейерверка и ушнаго шара. Крестовскій былъ самою хорошею: его густыя тѣни манили къ охотника, любителя природы и ея тихихъ удовольствій, погулять на свободѣ. Я гулялъ на Крестовскомъ, и когда уже было, медленно возвращался домой.

Вотъ и Клавикордная улица, вотъ и тира рядомъ съ мелочною лавкою: это тира Луки Прохоровича; въ квартирѣ гдѣ четыре свѣчки. Я не вѣрю глазамъ моимъ: Агафья сидитъ на стулѣ въ новомъ шелковомъ платьѣ; на столѣ стоятъ бутылка вина и нѣсколько рюмочекъ, Лука Прохоровичъ въ вицъ-мундирѣ чинно кланяется чиновникамъ, которые пьютъ его здоровье; на кровати кто-то, въ мундирномъ сюртукѣ, играетъ на гитарѣ и припѣваетъ ую пѣсню. Вотъ и Иванъ Петровичъ въ своей красной рубахѣ вышелъ изъ лавочки.

Что это, братецъ, за веселье у твоего дома?

— Ничего-съ; это Лука Прохоровичъ изволяетъ жениться.

— На комъ?

— Да вотъ, какъ изволите видѣть, на кухаркѣ Агафѣ.

— Что онъ, съ ума сошелъ?

— Не можемъ знать; не намъ судить ихъ.

Еще нѣсколько десятковъ наговѣвъ, и я былъ подлѣ домика Азбукина. Не только зеленые ставни этого дома, но и самыя окна не были затворены; въ комнатахъ ярко горѣли лампы; какой-то слѣпой игралъ на фортепіано и барабанилъ языкомъ, и ревѣлъ, и прищелкивалъ; разряженные дѣвушки подъ эту музыку порхали во французской кадрили; Семенъ Семеновичъ отчаянно вырабатывалъ соло; двоюродный братъ Азбукина, претолстый человѣкъ, сидѣлъ у окна, со стаканомъ пунша въ рукѣ, и сыпалъ такими каламбурами, что можно было считать его виновнымъ въ чтеніи многихъ водевилей; въ сосѣдней комнатѣ стояли вазы съ цвѣтами, конфеты и амуры, которые, по волѣ официантовъ, летаютъ съ одной свадьбы на другую.

— Не видать его сѣятельства, громко проговорилъ Семенъ Семеновичъ, выставивъ въ окно свою голову.

И что это была за голова! она даже иногда мнѣ снится. Представьте: точно на мраморномъ пьедесталѣ покоилась она на бѣломъ накрахмаленномъ галстукѣ; густой, крѣпкій, блестящій хохолъ, какъ-будто изъ фарфора, вѣнчалъ ее; прочее не выразиимо... Это была удивительная голова; присниться она можетъ, но описать ее не станеть словъ. „Ба, это вы!“ и Семенъ Семеновичъ исчезъ отъ окошка и чрезъ минуту уже душилъ меня рассказами: „я женюсь, почтеннѣйшій!“ кричалъ онъ: „зайдите ко мнѣ на свадьбу“.

— Извините, не могу.

— Вотъ пустяки! я жду часъ на часъ графиню, барона, статскаго совѣтника... и понесъ чепуху.

— Нѣтъ, прощайте, я въ сюртукѣ: согласитесь, что это неловко.

— Правда. Ну, хоть поздравьте меня съ счастьемъ. Я выигралъ 900 тысячъ золотыхъ въ лоттерей. Выпейте бокалъ шампанскаго; я прикажу принести сюда.

— Вина пить не стану, но позвольте васъ увѣрить, что 900 тысячъ золотыхъ...

— Выигралъ не я? — это правда; но я почти ихъ выигралъ. Этотъ билетъ былъ мой; и еслибъ я не подарилъ его моему пріятелю, то былъ бы обладателемъ полумиліона. Впрочемъ, сказалъ Семенъ Семеновичъ, понизивъ голосъ: — мой тестъ и жена еще этого не знаютъ; пусть ихъ строятъ воздушные замки... Но Лука Прохоровичъ — вотъ смѣшно! представьте, онъ воображаетъ,

что его кухарка выиграла эти деньги и женится на ней, сломя голову, даже без позволения начальства. Ха-ха-ха! Я уже писалъ объ этомъ въ канцелярію: то-то похочемъ завтра!

— Васъ дожидають-сь, Семень Семенычъ, пропущала изъ окошка кабая-то дѣвушка.

— Прощайте, прощайте! закричалъ на всю улицу Семень Семеновичъ, пожимая мнѣ руку. Я считаю себя счастливымъ, что вы хоть инкогнито участвовали въ моей радости. До свиданія.

„На силу вырвался!“ подумалъ я и пошелъ далѣе.

— Гдѣ, гдѣ посланники? слышались сзади меня вопросы:—вотъ этотъ въ плащѣ и круглой шляпѣ?

— Да, да, отвѣчалъ голосъ Семена Семеныча.

Я оглянулся: изъ оконъ дома Азбукина смотрѣли нѣсколько дамскихъ головокъ, на улицѣ шелъ только я да дѣзла по забору кошка, но она была безъ плаща и безъ шляпы.

VII.

На другой день послѣ свадьбы Лука Прохоровичъ сидѣлъ въ совершенномъ *разочарованіи*. Супруга уже успѣла ему разсказать горькую исторію билета, къ тому же, лавочникъ Иванъ Петровичъ рано утромъ вздумалъ напомнить ему о долгѣ, и хотя Лука Прохоровичъ и послалъ его къ Семену Семеновичу, однако это сдѣлало на него непріятное впечатлѣніе. Въ первый разъ въ жизни Лукѣ Прохоровичу не хотѣлось идти въ департаментъ... Вдругъ вошелъ департаментскій курьеръ и подаль ему пакетъ: въ пакетѣ было написано рукою экзекутора, что Иванъ Петровичъ, по добротѣ своей, проситъ его подать просьбу объ увольненіи заднимъ числомъ и явиться для полученія причитающагося ему жалованья 13 рублей 33 копейки, за вычетомъ должныхъ ему 30 рублей Ивану Петровичу за прошлый мѣсяцъ.

— „Проклятый вѣсть, не прошелъ-таки даромъ!“ прошепталъ Лука Прохоровичъ, сложилъ бережно бумагу, спряталъ ее въ конвертъ и машинально началъ разматривать печать на конвертѣ.

1838 г.

— Пожалуйста на водку, ваше благородіе, сказалъ курьеръ.

Лука Прохоровичъ молчалъ.

— Я вѣдь далеко ѣхалъ, спѣшилъ къ вамъ...

— Пошелъ вонъ, мужикъ! закричала Агафья:—еще смѣешь обижать насъ, благородныхъ людей. Пошелъ же!

Лука Прохоровичъ въ первый разъ ощутилъ пользу своей женитьбы.

Курьеръ вышелъ, а вошелъ Иванъ Петровичъ и подаль Лукѣ Прохоровичу записочку.

Лука Прохоровичъ развернулъ записку, въ которой лежалъ полумпериаль и гривенникъ, отдалъ деньги лавочнику и прочелъ слѣдующее:

„Лука Прохоровичъ!“

„Наконецъ, я увѣрился въ вашихъ низкихъ чувствахъ, и не удивляюсь, что вы рѣшились жениться на вашей кухаркѣ, когда вздумали измѣрять дружество, отъ котораго я теперь совершенно отказываюсь, ничтожною цѣною какихъ-нибудь двадцати рублей, и вздумали прислать ко мнѣ за долгомъ бородатого мужика, вѣроятно, брата жены вашей, который перепуталъ мою слабонервную Оленьку. Благодарите своимъ понятиямъ моего геста, который посылаетъ вамъ деньги. Я никогда бы не заплатилъ вамъ, чтобъ выучить васъ хорошему обращенію.

Семень N. N.

— Чего же вы еще стоите, Иванъ Петровичъ? сказалъ Лука Прохоровичъ, бросая подъ столъ записочку.

— Здѣсь не всѣ деньги.

— Вамъ еще слѣдуетъ гривна—я заплачу ее.

— Нѣтъ-съ, изволите видѣть, вы брали ассигнаціями, а здѣсь монета-съ: слѣдуетъ еще восемьдесятъ копеекъ лаку.

— Да за что же я заплачу? видите, онъ такъ прислалъ.

— Стало быть, останется за вами? сказалъ Иванъ Петровичъ, поклонился и вышелъ.

— „Еще девяносто копеекъ за меня!“ сказалъ Лука Прохоровичъ, дождавъ къ окну, вздохнулъ и нѣтъ въ родѣ слезы, пошелъ къ его рѣсничкамъ...

Такъ иногда люди женятся.

РАСКАЗЪ.

I.

Ей было восемнадцать лѣтъ; она очень хороша; я видѣлъ дѣвушекъ краше, но милѣе, право, не видывалъ.

У нея были быстрые каріе глаза, чердинныя рѣсницы, свѣжее, веселое, розовыя губки, бѣлые, ровные зубы, — прелесть: для нея нѣтъ прилагательнаго.

Разсматривая пышный цвѣтникъ на міра—прекрасный полъ, вы найдете бныя красоты; но, урѣяю васъ, не въ совершенствѣ, не въ такой очаровательной гармоніи.

Она была похожа на бутончикъ розы, тащій въ свѣжей утренней росѣ.

Восемнадцать лѣтъ — чудесный возрастъ! Если вамъ 18 лѣтъ—благословляйте; если болѣе—вспомните прошедшее дохните. Одной юности дано завидное о смотрѣть на свѣтъ въ волшебный каскопъ будущаго, слѣпо вѣрить въ счастье идеализировать земное до небеснаго. Но она такъ безпечна, такъ весела!

Еслибы можно осуществить всѣ мечты, одѣть ихъ въ краски и звуки, поэмы физическимъ чувствамъ, мы бы осили отъ ихъ блеска... Живописецъ съ рѣннемъ бросилъ бы блѣдныя краски, и ни разу не разбилъ бы скрипку и могучій эмеральдъ бы на устахъ поэта!... От лица юности такъ свѣтлы, такъ неохороши!

Ей было 18 лѣтъ. Она любила все расное: заглядывалась на луну, сладко гила подъ переливчатую пѣсню соловья, лакала надъ стихами Пушкина и Жукаго. Счастливицы эти поэты!...

Часто ее видѣли въ хатѣ бѣднаго сѣтва, съ ласкою и утѣшеніемъ на усахъ, готовую помочь несчастью; часто ее или въ саду подлѣ любимыхъ кустовъ съ лейкой въ рукахъ. И бѣдное сѣтво всегда благословляло приходъ ея, изы оживали отъ ея посѣщенія... Она добра, очень добра!

Я видѣлъ ее только одинъ разъ въ ии и никогда не забуду. Это было весна, когда такъ очаровательна природа ой Россіи. Я какъ теперь вижу тихое

утро, тѣнистый садъ, облитый бѣлыми цвѣтами; внизу шумитъ Ингулъ. На маленькомъ пригоркѣ, въ густой тѣни черешень, она молилась. Станъ ея стягивало простое бѣлое платье; на груди колебался голубой василекъ. Скрестивъ руки, поднимая глаза къ небу, она стояла на колѣняхъ, а между тѣмъ первые лучи солнца, прорѣзавъ вѣтви, вдругъ зажгли розовымъ блескомъ лицо ея, и на немъ, какъ два алмаза, двѣ крупныя слезы—чудесное мгновеніе! Молитва дѣвушки и утро!... Сколько чистоты и прелести вмѣстѣ! Нѣтъ, я никогда не забуду этого!

А главное, я-было и забылъ: ее звали Анна Васильевна.

II.

Онъ былъ человекъ лѣтъ сорока-пяти; всегда носилъ маленькіе ботфорты, нагольный тулупъ и зеленый картузъ. Подъ тулупъ онъ всегда надѣвалъ черный плисовый жилетъ; въ карманѣ этого жилета постоянно лежало что-то круглое, въ родѣ земнаго глобуса. Говорятъ, это были серебряныя часы. Сапоги его смазывались каждое утро гусинымъ жиромъ. Голова была плотно выстрижена; по бокамъ ея торчала пара ушей; надъ носомъ темнѣли щетинистыя брови, подъ которыми свѣтились зеленые глаза средней величины, а подъ носомъ былъ обыкновенный ротъ, только нижняя губа этого рта такъ была странно устроена, такъ была прижата къ зубамъ, что, казалось, хозяинъ ея хочетъ свистнуть въ ключъ. Василій Петровичъ, хваля кого-нибудь, съ особеннымъ, неподражаемымъ выраженіемъ, говорилъ: *прекраснѣйшій* и *любезнѣйшій*, и въ это время подымалъ кверху брови и плечи.

Онъ всегда курилъ изъ длиннаго чубука, въ который было вправлено утиное перышко, читалъ старыя газеты, слылъ все дѣлалось въ опредѣленное время. Его звали Василій Петровичъ; это отецъ Анны Васильевны.

IV.

энь быстро приближалась къ Херсон-
ой губерніи. Степи отцвѣли и побле-
Только ярко зеленѣли поля, засѣян-
озимую рожью, да на лугахъ пестрѣ-
асные осенніе цвѣточки—предсмертный
нець умирающей красавицы—лѣта.
нѣй воздухъ дѣлался холоднѣе и чище!
чали цѣпы на гумнахъ, уставленныхъ
ыми скирдами; полетѣли, на югъ пти-
тъ гикомъ поскакали по степи охот-
за быстрымъ зайцемъ; въ уѣздный
дѣ****пришелъ Киргизскій пѣхотный
б.

Физиономія города измѣнилась: по ули-
стали ходить люди въ фуражкахъ;
й вечеръ передъ квартирою полковаго
здиря гремѣли пѣсенники:

Мы тебя любимъ сердечно:
Будь командиромъ намъ вѣчно.

Полковой адъютантъ ѣздитъ верхомъ
удой лошади; дочери городничаго взя-
въ лавкахъ на новыя платья ситцу; въ
гирѣ стучали бильярдные шары, каб-
нъ стаканы, въ Херсонѣ поскакалъ
артъ за картами. Городъ оживился, рас-
а промышленность...

И вотъ изъ веселаго города, какъ отъ
ра, въ разныя стороны побрели уста-
юины на зимнія квартиры. Въ деревнѣ
лія Петровича назначенъ ротный дворъ
гану Здраву.

Припомните хорошенько, вы вѣрно ви-
этого капитана. У него круглое, пол-
лицо, короткіе, кудрявые волосы золо-
го цвѣта и колесообразныя ноги. Въ
у онъ слытъ игрокомъ, ѣздокомъ, тан-
къ и мастеромъ раскупоривать бутыл-
нъ не очень жаловалъ дамскія бесѣды
эма любилъ пуншъ съ лимономъ. Въ
у и теперь еще рассказываютъ много
готовъ про капитана Здрава. „Послу-
е“, говорилъ мнѣ недавно одинъ по-
ый офицеръ, дергая меня за пугови-
„послушайте, я вамъ расскажу удиви-
зую исторію. Однажды, во время сто-
нашего полка въ Гродненской губе-
капитанъ Здравъ проигрался въ-пухъ,
дну ночь все спустилъ, все рѣшитель-
аже ружейную отвертку... Плохо при-
хъ добромъ молодцу! Что бы вы сдѣла-
а его мѣстѣ? А онъ ничего; бацъ! ро-
риказъ: собратъся къ вечеру на рот-
дворъ въ полной амуниціи, набивъ
ы сѣномъ. Рота явилась, капитанъ ос-
ѣлъ ее, поблагодарилъ за исправность
казалъ, для облегченія людей на воз-

вратномъ пути, выбросить на ротномъ
дворѣ сѣно. Цѣны на фуражъ были тогда
огромныя; вотъ выбросили, сударь, солда-
ты сѣно... Вечеромъ капитанъ поставилъ
въ банкъ возъ сѣна въ десять рублей; мы
пристали; завязалась игра, и къ свѣту
Здравъ все воротилъ свое, да еще у одно-
го нашего прапорщика выигралъ большой
пѣсенникъ, лягавую собаку и сѣрую ко-
былу. Ась?“ Тутъ офицеръ быстро пово-
ротился и пошелъ мѣрными шагами по ко-
мнатѣ, чтобъ дать мнѣ свободу сообразить
всю удалъ этой продѣлки.

Капитанъ Здравъ прибылъ благополуч-
но на зимнія квартиры въ деревню Ва-
силія Петровича, сейчасъ провѣдалъ, есть
ли у помѣщика дочь, хороша ли, богата ли,
и проч.—обыкновенные вопросные пункты
устава касты кочующихъ жениховъ, и чрезъ
три дня по пріѣздѣ, выпивъ съ пріятеля-
ми стакана по три лимоннаго пунша, от-
правился знакомиться къ помѣщику, тщетно
ожидая съ его стороны приглашенія.

Въ скучный осенній день Василій Пе-
тровичъ, осмотрѣвъ работы, читалъ старыя
„Московскія Вѣдомости“; погода была сѣ-
рая, на дворѣ вечерѣло, и онъ едва могъ
окончить статью о продающейся у Никола-
на-Куричьихъ-Ножкахъ двумѣстной каре-
ты, взялъ скрипку, сталъ лицомъ къ окну
и заигралъ *журавля*. Первое колѣно онъ
только припѣвалъ, но когда дошло дѣло до
второго, на него слетѣлъ музыкальный во-
сторгъ: лѣвою рукою Василій Петровичъ
началъ вырабатывать *ниччикато*, а пра-
вою пристукивалъ въ тактъ смычкомъ по
скрипичной доскѣ. Въ это время отвори-
лась дверь и вошелъ капитанъ Здравъ; на
немъ былъ сюртукъ, большой галстухъ и
въ рукахъ фуражка.

Капитанъ вѣжливо расшаркался. Ва-
силій Петровичъ смотрѣлъ въ окно; гром-
кое *ниччикато* звучало въ комнатѣ, смы-
чокъ съ усердіемъ клевалъ скрипку въ ра-
зныхъ мѣстахъ, какъ-бы пробуя, гдѣ она
повкуснѣе. Капитанъ повѣсилъ на оленій
рогъ фуражку, подбоченился и пустился
выплясывать журавля, прикрикивая: „разъ,
два, три, четыре! разъ, два три, четыре!“
Василій Петровичъ оборотился, посмотрѣлъ
съ любовью на танцующаго и заигралъ
живѣе прежняго.—Капитанъ танцевалъ.—
Василій Петровичъ перемѣнилъ журавля
на комаринскую: быстрѣе стали движенія
капитана; онъ леталъ какъ резиновый
мячъ.

Наконецъ, Василій Петровичъ почти
бросилъ на столъ скрипку и кинулся об-
нимать капитана. „Съ сей поры вы, мно-
гостивый государь, для меня любезнѣйшій че-
ловѣкъ въ свѣтѣ. Перваго человѣка я ви-

жу, который дѣлаетъ то, что нужно. Я играю—вы танцуете. Я пересталъ—и вы перестали: такъ и слѣдуетъ! Слава Богу, я нашелъ человека! Садитесь, пожалуйста“. Капитанъ шаркнулъ ногою, поправилъ галстухъ и, тяжело вздыхая, сѣлъ на стулъ.

„А я вотъ это все читаю новости“, началъ хозяинъ: „въ типиграфшн Василя Логина сочинили цѣлую книгу: „Робъ-Рой“. Вы не читали ее?“—„Ровно нѣтъ“. —„И хорошо сдѣлано, ибо она весьма дорога стоитъ“. Подобные разговоры продолжались во весь вечеръ.

Капитанъ обворожилъ Василя Петровича. Когда подали чай—Здравъ пилъ чай: принесли французскую водку—онъ началъ пить пуншъ; подали ужинъ—онъ сталъ кушать; а когда Василій Петровичъ сказалъ: „я думаю, намъ пора спать“, онъ взялъ фуражку, пристыкнулъ каблучки и исчезъ. „Милостивый государь“, закричалъ хозяинъ уходившему капитану. Капитанъ явился, словно синев-бурка въ сказкахъ нашихъ дѣдушекъ. „Я вамъ хочу сообщить нѣчто важное“, говорилъ Василій Петровичъ: „сдѣлайте одолженіе, садитесь. Вотъ изволите видѣть, у меня много и денегъ, и степи, и всякаго свѣта, только недостаетъ зятя. Вы человекъ достойный: хотите ли жениться на моей дочери?“—„Съ большимъ удовольствіемъ“, отвѣчалъ капитанъ. „Ну, такъ давайте вашу руку! Анета пойди сюда! полно грустить да плакать: вотъ тебѣ женихъ“. Краска събѣжала съ лица дѣвушки; она зашаталась и оверглась рывкомъ о столѣтъ. „Не пережонитесь же, капитанъ“, продолжалъ Василій Петровичъ: „что вы, какъ пѣтухъ, гребете ногами землю? подблудьте вашу невесту“. Бѣдная дѣвушка не опомнилась, какъ Здравъ поцѣловалъ ее громко, какъ деревенскій староста свою жену въ день воскресенія Христова.

Черезъ недѣлю два молодые прапорщика сошли цѣлую четвертку жуковскаго табаку, пыхнувъ о томъ, какую значимую жуту подымали себѣ Здравъ. А въ гнѣздномъ судѣ секретарь сказалъ заклиателю: „я полагаю, что зять Василя Петровича будетъ лхой исправникъ“. Въ тотъ день и прапорщики, и секретарь, и заклиатель возвратились со свадьбой капитана.

V.

Года полтора спустя послѣ той свадьбы, нѣтъ случилась проказка. Херомекскій губернш, я спѣшилъ изъ Москвы къ Василю Петровичу. Солнце было и тихій вечерокъ, прохладная жидуха, прижались со

степи громкія пѣсни перепела, когда я увидѣлъ деревню Василя Петровича. Лошади, измученныя дневнымъ жаромъ, начали фыркать и бодриться, чья скорый отдыхъ, а я мечталъ увидѣть милую Анну Васильевну, услышать „журавля“ и новости прошлаго года... Вотъ мы уже у воротъ. „Въ своемъ ли умѣ Василій Петровичъ?“ подумалъ я: „у него на дворѣ шумъ и линованье“. Звучный теноръ заводитъ какую-то отрывистую лагерную пѣсню: удалой хоръ подхватываетъ ее и вторить съ прищелкиваньемъ, съ присвистомъ—сущая оргія! На крыльцѣ стоитъ болченогій человекъ, въ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, опусти руки въ карманы плисовыхъ шароваръ, заломивъ картузы на затылокъ. Передъ крыльцомъ, на маленькомъ столѣтъ кипитъ самоваръ; дюжая, красноногая дѣвка, живьемъ ваятая съ картинъ Теньера, приготавливаетъ пуншъ: кругомъ десятка два мужиковъ и парней режутъ разгульную пѣсню.

— Очень радъ гостямъ, закричалъ мнѣ болченогій человекъ:—милости просимъ!

— Я не имѣю удовольствія знать васъ... Дома ли Василій Петровичъ?

— Я зять Василя Петровича, отставной капитанъ Здравъ. Прощу любить и жаловать.

— Очень радъ. Гдѣ же Василій Петровичъ?

— На Василя Петровича, любезнѣйшій, уже болѣе года получаютъ провіантъ на томъ свѣтѣ.

— Такъ онъ умеръ?

— Давно, братецъ, черезъ двѣ недѣли послѣ моей свадьбы.—Эй, Самка, пуншу!—Прощу за упокой батюшки!

— А ваша супруга?

— Въ отъомандировкѣ... Эте, да вы не пьете пуншу? Пожалуйста, пережонитъ въ сторону: мы люди военные.—Донка! что уснуло? Ярославскы!

И хоръ грянулъ:

Изъ-подъ дуба, изъ-подъ вяза,
Изъ-подъ вяза коренья,
Бѣжитъ зайка-горностайка,
Несетъ въ рукахъ вѣсенку,
Про дѣду красну-дѣвицу!

— Какого братъ! кричалъ Здравъ:—вѣдь это же дѣду! Вотъ какъ я ихъ повернулъ по-своему! въ какой полкъ пѣсенники!...

Куда я могъ отговориться отъ пѣсенъ и пѣсней, сказавъ, что у меня болитъ голова, и ужель сдѣлать съ тѣрпимымъ намѣреніемъ вѣкнуть въ степи снутъ хоть двое сутокъ, не докладывая Анны Васильевны. Прижались грубый человекъ—нѣтъ хотѣлось рассмотреть, какъ выжигаетъ она подобныя

продѣлки. Неужели это милое творение могло привыкнуть къ тону своего мужа? а если нѣтъ, то я хотѣлъ видѣть, какъ она ведетъ себя при постороннихъ людяхъ, и проч., и проч., словомъ, я хотѣлъ разрѣшить какую то психологическую задачу, которой и самъ не понималъ хорошенько. Это мы часто дѣлаемъ, только рѣдко признаемся...

За-полночь не давали мнѣ спать ликованья хозяйина; потомъ явились комары съ своими плаксивыми элегіями, а тамъ—долга ли лѣтняя ночь!—начало разсвѣтать. Восточное небо загорѣлось тонкимъ румянцемъ; въ воздухѣ стало свѣтло; подъ самымъ окномъ моей комнаты заплѣла малиновка. Кто просыпаетъ восходъ солнца, тотъ просыпаетъ лучшіе часы жизни. Смотри на эту великолѣпную картину, я въ душѣ своей прощаю заблужденія гебровъ...

Я одѣлся и вышелъ въ садъ. Утро было тихое; роса крупными каплями жемчужилась на растеніяхъ; птички весело чиликали, отряхивая крылышки, прыгая съ вѣтви на вѣтку. На Ингулѣ перекликались кулики.

Года два какъ я былъ здѣсь въ это самое время и въ такое точно утро, и какъ

1838 г.

съ тѣхъ поръ перемѣнился этотъ садъ! Дорожки покрылись травой, многія деревья срублены, цвѣтникъ заросъ крапивою, и даже любимые кусты розъ Анны Васильевны были скошены вмѣстѣ съ травой на кормъ лошадямъ. Я невольно подошелъ къ знакомой бесѣдкѣ: кудрявые черешни цвѣли по-прежнему, и—представьте мое удивленіе—опять въ ихъ тѣни она молилась!... Присматриваюсь—въ полумракѣ бѣлѣетъ ея платье; я подкрадываюсь и бережно развожу руками вѣтви. Въ это время первые лучи солнца разогнали тѣнь и ярко освѣтили передо мною бѣлый деревянный крестъ, облитый розовымъ свѣтомъ; казалось, онъ пламенѣлъ нездѣшнымъ огнемъ; на немъ было написано крупными черными буквами: „Здѣсь покоится тѣло рабы Божіей Анны, бывшей супруги капитана Здрава...“ Болѣе я не могъ читать...

Черезъ полчаса я уже ѣхалъ далѣе отъ деревни Здрава.

— Да-съ, милостивый государь, говорилъ мнѣ майоръ Киргизскаго полка, когда я рассказалъ ему мою встрѣчу съ капитаномъ:—да, сгубила женитьба лихаго чело-вѣка! Не женись Здравъ—былъ бы теперь майоромъ! Охъ, эти женщины!...

Вѣрное лекарство.

ПОВѢСТЬ.

Воображеніе есть пружина, управляющая нашими дѣйствіями.

Новѣйшія россійскія прописи.

— Сначала мы вамъ пропишемъ легонькую микстуру; вы ее примете завтра утромъ. А до того прикажите сейчасъ же пустить изъ лѣвой руки фунта два крови, поставьте на затылокъ семь пиявокъ и положите во всю спину гумозный пластырь; а потомъ...

— Помилуйте, докторъ! stoютъ ли мозоли, чтобъ такъ себя мучить?

— Зачѣмъ же прибѣгать къ помощи врача, если, по вашему, это бездѣлица?

— Бездѣлица; но онѣ меня беспокоятъ, болятъ нестерпимо!

— То-то, болятъ. Всякую болѣзнь должно лечить радикально. Смѣшонъ чело-вѣкъ, который ошипалъ на растеніи засохшіе ли-

сточки и воображаетъ, что оно здорово, когда корень растенія точитъ червь. Убейте червя—и листья перестанутъ желтѣть. Такъ и ваши мозоли: надобно отыскать причину зла.

— Я думаю, тѣсны сапоги.

— Да, вамъ такъ кажется, вѣрю. Но, соображая... А! мое почтеніе.

И докторъ, оставя меня, кинулся къ какому-то вошедшему чело-вѣку. Незнакомецъ на всѣ поклоны доктора довольно-холодно кивнулъ головою и протянулъ ему указательный палецъ, который докторъ по-жалъ весьма выразительно.

Согласитесь, мой добрый читатель, что

нельзя вообразить ничего худощавѣ кулика въ апрѣлѣ мѣсяцѣ: сквозь перья этой бѣдной птицы можно пересчитать ея косточки: длинная шея, какъ увядшій цвѣточный стебелекъ, гнется подъ тяжестью треугольной головки съ безконечнымъ носомъ; тоненькія ножки, точно соломенки, какъ-то нетвердо, шатко поддерживаютъ это созданіе, когда оно, оставя гнѣздо свое, станетъ гордо прохаживаться на тѣнистомъ берегу рѣки. Кажется, подуетъ вѣтерокъ и унесетъ его какъ сухую вѣточку.

Худъ куликъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, но вошедшій посягатель, смѣю васъ увѣрить, былъ хуже всѣхъ возможныхъ куликовъ Старого и Нового Свѣта. Платье на немъ сидѣло будто на палкѣ: кожа на лицѣ была желтовата, какъ пергаментъ въ старинныхъ грамотахъ, и немного сквозилась, какъ на сахарныхъ статуйкахъ. Онъ посмотрѣлъ на меня подозрительно и бросилъ на доктора вопрошающій взглядъ.

— Извините, сказалъ докторъ, подойдя ко мнѣ:— я васъ оставляю на нѣсколько минутъ: мнѣ нужно переговорить съ барономъ. А тамъ мы бросимъ раціональный взглядъ на болѣзнь вашу.

Я поклонился. Докторъ съ сухопарымъ барономъ вышли въ другую комнату.

Скучно сидѣть и дожидаться чего-нибудь одному въ комнатѣ. Въ передней ли, въ будуарѣ ли, въ кабинетѣ ли—все равно, скука нестерпимая. Я скучалъ, а дѣлать нечего, надобно подождать; по-крайней-мѣрѣ узнаю, какъ раціонально и радикально лечатъ мозоли...

Въ кабинетѣ доктора царствовать какой-то полумракъ, вѣроятно, отъ кенкета съ матовымъ колпакомъ; письменный столъ былъ заваленъ книгами и бумагами: въ углу стояла электрическая машина и водородное огниво: передъ столомъ широкое кресло.

Я подошелъ къ столу и взялъ книгу — „Леченіе горячею водою“, другую — „Леченіе холодною водою“, третью — „О пользѣ гомеопатіи“, четвертую — „О вредѣ гомеопатіи“. Подлѣ книги „О вредѣ гомеопатіи“, лежала тетрадь, писанная бойкимъ, четкимъ почеркомъ. Отъ нечего дѣлать, я началъ ее перелистывать. Далѣе почеркъ письма все дѣлался хуже, связнѣе, неразборчивѣе, хотя и крупнѣе; черезъ нѣсколько страницъ уже было писано по одной линейкѣ, еще далѣе по двумъ, самымъ крупнымъ дѣтскимъ письмомъ: подъ конецъ рукописи, несмотря на двѣ линейки, буквы стояли какъ рекруты, наклоняясь во всѣ стороны, иногда самодовольно переходя за начертанныя границы, иногда присѣдая въ полшрифта. Странная форма рукописи возбуждала мое любопытство; я началъ читать.

Самыхъ первыхъ страницъ не было, но должно полагать, это были памятные записки, не журналъ—нѣтъ, а просто записки. Здѣсь были замѣчены кратко важныя эпохи въ жизни какого-то человѣка; наприкладъ: „Января 10 скончался мой родитель; марта 1 произведенъ въ титулярные совѣтники со старшинствомъ 7 мѣсяцевъ; мая 22 раздѣлили остаточную сумму (поздненько!). Августа 30 родилась у моего начальника дочь Анастасія. Сентября 1 меня обокрали. Октября 2 получилъ награду; 4—игралъ съ ея превосходительствомъ въ карты; 29—стала Нева...“ и тому подобное. Замѣчаніями въ подобномъ родѣ были исписаны двѣ страницы: далѣе крупными словами:

ВѢРНОЕ ЛЕКАРСТВО.

182... года октября 26 дня.

Сегодня чортъ-знаетъ что сдѣлалось со мною! Случай, навѣки памятный въ моей жизни! Я проснулся повтру въ 8 часовъ. У моей постели стоялъ Ѳедотъ, преглуло улыбаясь.

— Что тебѣ надобно? спросилъ я.

— Честъ имѣю васъ поздравить, Дмитрій Ивановичъ.

— Съ чѣмъ?

— Съ днемъ вашего ангела, съ именинами.

— А, да! я и забылъ. Ступай, принеси мнѣ чай.

.....Грустно я всталъ съ постели. Сегодня мнѣ стукнуло пятьдесятъ лѣтъ!... Зеркало показало на лицѣ моемъ еще новую пару морщинъ... Потускнѣвшіе отъ работы глаза и сѣдина, которая очень хороша только на бобрѣ, все громко говорило мнѣ: *стукнуло пятьдесятъ!* Легко сказать, шутка ли—пятьдесятъ лѣтъ? полстолѣтія!.. Далеко ли до гроба!.. А что ты сдѣлалъ, Дмитрій Ивановичъ? какъ ты провелъ лучшія лѣта своей жизни? давно ли я былъ молодъ, давно ли я мечталъ? Богъ знаетъ, о чемъ не мечталъ я!... Жизнь кипѣла во мнѣ, а я трудился: дни въ департаментѣ, ночи на квартирѣ; другимъ отдыхъ, а я трудись! Надобно же чѣмъ-нибудь взять бѣдному человѣку...

Бывало, утромъ, въ канцеляріи то-и-дѣло что рассказываютъ товарищи: я былъ тамъ-то, танцевалъ съ такою-то, что за глазки, что за голосъ, талія!.. Хорошо, думаешь, бывало, что у васъ батюшки да дядюшки превосходительные; погодите, добьемся и мы до чиновъ, до крестовъ, погуляемъ и мы. Вотъ я и начальникъ отдѣленія, и крестъ у меня на шеѣ, и деньги есть. Можно бѣ отдохнуть — оглянулся, а

тутъ тебѣ пятьдесятъ лѣтъ, какъ гора съ-
ла на плечи—тяжело, по-неволѣ согнешься!..
Что мнѣ въ деньгахъ? Придетъ тяжкая бо-
лѣзнь—старость, а она не за горами, ни-
кто не призритъ безроднаго холостяка, ум-
решь ниѣмъ не оплаканный!.. Не успеешь
порядкомъ глазъ закрыть—этотъ дуракъ
Федотъ все стащить. И для чего я тру-
дился, изъ чего мучился? Продавалъ луч-
шіе дни жизни, чтобъ какой-нибудь глу-
пецъ прокутилъ ихъ въ грязной харчевнѣ,
съ подобными ему неумытыми рожами!..

Хорошо бы жениться! Молоденькая же-
на станетъ дѣлать со мною длинныя, скуч-
ныя вечера; меня окружаютъ миленькія дѣ-
точки... Полно, такъ ли? Что ты, Дмитрій
Ивановичъ! Кто пойдетъ за тебя, стари-
ка?.. Посмотришь, на любой вечеринкѣ ихъ
пропасть, этихъ дѣвушекъ, да все такія
полоненькія, пухленькія, веселенькія, съ ро-
зовыми щечками, а возлѣ нихъ такъ и
вьется молодежь, словно мотыльки; и вмѣ-
шался бы туда, такъ совѣстно: будешь не
въ своей тарелкѣ—идешь за вистъ... Такъ
и вечеръ прошелъ, а ты еще днемъ поста-
рѣешь, еще шагомъ ближе къ гробу!.. А
если бы кто и пошелъ за меня, будетъ ли
у насъ согласіе? Не погублю ли я своего
покоя и ея молодости? Смогу ли, съумѣю
ли отвѣчать на ея ласки? Трудно держать
въ одномъ мѣстѣ и ледъ, и огонь: что-ни-
будь не выдержать. Поздненько спохватил-
ся; пріѣхалъ на балъ, а тамъ уже огни
гасятъ!..

И какъ неожиданно подкрались эти
пятьдесятъ лѣтъ! Шутка! полстолѣтія про-
маялся человѣкъ!.. Хотѣлъ бы я знать, къ
чему строятъ университеты, академіи и
прочія заведенія, и отапливаютъ ихъ, и
освѣщаютъ на казенный счетъ? Неужели
такъ, для красоты? Быть не можетъ; тамъ
люди живутъ да учатся, цѣлый вѣкъ учат-
ся, и вѣрно что-нибудь знаютъ больше на-
шего; да вѣдь не скажутъ намъ! Хотѣ бы
Пинетти—чего, говорятъ, не зналъ! захо-
четъ сдѣлать человѣка курицею или бара-
номъ, барана дрожками; а небось сказалъ
кому? такъ и умеръ! Да и прочіе ученые
люди вѣрно что-нибудь полезное выдумали.
Глупо провелъ я жизнь; книгъ даже почти
не читалъ никакихъ, кромѣ Адресъ-Кален-
даря. Ничего не знаю!.. А вѣрно есть что-
нибудь этакое... Пять лѣтъ жизни отдалъ
бы за годъ молодости; все отдамъ, что ни
выслужилъ, буду опять безчиновнымъ че-
ловѣкомъ, лишь бы воротить прошедшее!..

Долго разсуждалъ я и чѣмъ болѣе ду-
малъ, тѣмъ становилось грустнѣе. Чай дав-
нымъ-давно простылъ; ударило 12-ть, я
одѣлся и вышелъ прогуляться на улицу.
Не доходя Палкина трактира, вижу: идетъ

на встрѣчу Николай Антоновичъ, идетъ и
смѣется. Кажется, нечему бы и радоваться:
день сѣрый, праздникъ небольшой, да и
время такое скучное, ни снѣга нѣтъ, ниче-
го, только-что морозить—а онъ смѣется!
Такая натура глупая, да и молодъ: всего
подъ-тридцать! „Здравствуйте“, кричитъ,
„Дмитрій Ивановичъ, поздравляю васъ со
днемъ вашего ангела“ и жметъ руку, и
кланяется, и смѣется. Къ чему такая ра-
дость? Хуже Федота!

— Куда вы идете? спросилъ меня Нико-
лай Антоновичъ.

— Такъ, иду проходиться.

— И прекрасно; я тоже.

„Не дасть же покойно погулять!“ по-
думалъ я и посмотрѣлъ на часы.

— А что, который?

— Половина перваго.

— Ого! оно, знаете, пора бы закусить.
Зайдемте!

Николай Антоновичъ человѣкъ нуж-
ный—секретарь директора,—подумалъ я,—да
притомъ и мнѣ что-то скучно,—и сказалъ:

— Вы, Николай Антоновичъ, очень кстати
выдумали; пойдемте; только мнѣ, какъ име-
ниннику, позвольте распорядиться.

— Эхъ, Дмитрій Ивановичъ! а я хотѣлъ-
было пустить въ ходъ свой имперіаль; дру-
гая недѣля валяется у меня въ карманѣ,
наскучилъ ужасно; ну, да дѣлать нечего,
сегодня вашъ день.

— Честь имѣю поздравить васъ со днемъ
вашего ангела! проговорилъ сзади чей-то
голосъ; оглядываюсь—мой столоначальникъ
Биркинъ.—Покорно васъ благодарю.

— Я сейчасъ былъ у васъ на квартирѣ,
но, къ несчастью, не засталъ васъ дома.

— Напрасно беспокоились.

— Помилуйте, пріятное безпокойство, Дми-
трій Ивановичъ.

— Пойдемте-ка, лучше вмѣстѣ закусимъ.

Мы пошли въ трактиръ и приказали
подать закуску. За закускою мои гости пи-
ли сотернъ, а я спросилъ себѣ бутылку
старого портвейна и, рюмка за рюмкою,
нечувствительно его окончилъ. Это меня
немного освѣжило.

Николай Антоновичъ разсказывалъ пре-
странныя вещи о важности именинъ для
человѣка: будто въ этотъ день есть мину-
та, въ которую стѣитъ только захотѣть че-
го бы то ни было—въ мигъ оно явится;
что въ Голландіи одна баба захотѣла въ
декабрѣ мѣсяцъ свѣжаго огурца—и огурецъ
явился пребольшой, прездоровый. „Вотъ
захотите, Дмитрій Ивановичъ“, сказалъ онъ
послѣ этого: „шампанскаго—оно явится“.
Дѣлать нечего! кстати приговорился. Пода-
ли шампанскаго. За послѣднимъ бокаломъ
Николай Антоновичъ началъ разсказывать

Биркину такую соблазнительную историю, что какъ мнѣ ни хотѣлось знать ея развязку, но я, сохраняя свое достоинство, счелъ неприличнымъ при подчиненномъ слушать такія вещи, вышелъ потихоньку въ переднюю, заплатилъ за завтракъ и ушелъ.

Прошло три часа. Во время нашего завтрака погода очень перемѣнилась: солнце выглянуло изъ-за облаковъ; Невскій Проспектъ кишѣлъ народомъ; пестрая толпа двигалась отъ Аничкина до Полицейскаго Моста. Господи, сколько прелестей!..

Щогольскіе мундиры, удивительныя бекони, лакеи въ какихъ-то особенно-красныхъ ливреяхъ — смотрѣть даже нельзя: слезы мѣшались; желтыя перчатки, бровные воротнички, черненькіе усики... А дамы! При одномъ взглядѣ на нихъ меня бросило въ жаръ: талія узенькая, будто выточенная, какъ игрушечка, какъ рюмочка, а кругомъ бархатное платье такъ и обвилось; лицо свѣженское, разрумяненное холодомъ... Боже-мой! идти легко, какъ кошечка, чуть дотрогивается до троттуара ножками!... А ножки!... такъ и хочется положить на троттуаръ свою руку, чтобъ мимоходомъ ступила на нее эта чудесная ножка; кажется, такъ скользнетъ, какъ вѣтерокъ, погладить какъ атласомъ.

Виновать, попутать грѣхъ: я и началъ самъ-себѣ, этакъ въ-тихомолку хотѣть: пусть посмотритъ на меня вотъ эта брюнеточка въ синемъ бархатномъ платьѣ; захотѣлъ, встряхнулъ бобра, поправилъ на шеѣ орденскую ленту и смотрю — не тутъ-то было: она зѣваетъ-себѣ на Казанскій Соборъ: вѣрно приѣзжая. „Ну, подумалъ я, вотъ эта блондиночка въ голубой шляпкѣ равняется; я гляжу въ оба, даже языкъ чешется сказать ей что-нибудь пріятное, а она поправляетъ мѣховую шапочку своему братцу, что-ли, мальчишкѣ лѣтъ семи — азбуку бы ему учить дома — и прошла! Вотъ одна, кажется, на тебя и смотреть такъ выразительно, будто говорить: „а, Дмитрій Ивановичъ! какъ я васъ давно не видала!“ Сердце замереть: оглянешься, а едвини тебя ей кланяется какой-нибудь гвардеецъ. Иная даже улыбнется — такъ въ жаръ и бросить, смотришь а у тебя съ боку ухмыляется ей какой-то щедушный франтъ, сущая треска-рыба, подъ бровь выправилъ себѣ лорнетку, и ухмыляется! даже лицо искривилось. Что тутъ хорошаго?

А другія большакомъ-частью проходили мимо, не обращая на меня никакого вниманія. Опять стало грустно!..

Я перешелъ Полицейскій Мостъ. У магазина Юнкера собралась передъ окномъ кучка народа: какой-то старичокъ, въ кар-

тузѣ съ назатыльникомъ, высокій офицеръ и босый мальчикъ въ пестрядинномъ халатѣ. Всѣ они почти неподвижно стояли, глядя на разныя картинки, разложенныя на окнѣ; только мальчикъ безпрестанно перемѣнялъ ноги: подгибая одну, стоялъ какъ журавль, потомъ становился на отогрѣтую, а другую отогрѣвалъ подъ халатомъ. Отъ нечего дѣлать и я остановился передъ картинками. Хорошенькія головки всѣхъ націй лежали на окошкѣ; офицеръ дѣлалъ очень рѣзкія замѣчанія на счетъ профиля гречанки, на глаза итальянки, рѣсницы испанки и прочее...

„Молодость! подумалъ я, а для насъ нѣтъ лекарства!“ да послѣднія слова уже не подумалъ, а просто проговорилъ самъ-себѣ. „Ступайте въ Семеновскій Полкъ“, сказалъ стоявшій возлѣ меня офицеръ. Я взглянулъ на него; онъ улыбнулся и пошелъ. Мальчикъ тоже въ припрыжку побѣжалъ къ Малой Морской. У окна остался я да старикъ. — „Вѣрно этотъ молодой человекъ помѣшанъ?“, сказалъ я. — „Совсѣмъ нѣтъ“, отозвался, покашливая, старичокъ. Я посмотрѣлъ на него пристальнѣе: онъ былъ въ тепломъ скротукѣ гороховаго цвѣта, съ стоячимъ воротникомъ, въ четвероугольномъ плисовомъ картузѣ съ длиннымъ козырькомъ и въ ботфортахъ. Странная рѣчь, странный нарядъ и странные взгляды старика смутили меня. — „Да знаете ли вы, что я думалъ и что сказать мнѣ г. офицеръ“.

— Разумѣется, отвѣчалъ старичокъ; онъ вамъ говорилъ: идите въ Семеновскій Полкъ, а я прибавлю: въ Госпитальную улицу, часу въ десятомъ вечера; за Среднимъ Проспектомъ, направо, есть деревянный одностажный домъ, съ занавѣшенными окнами; идите туда, скажите обо мнѣ: васъ примутъ прекрасно.

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ. Между тѣмъ старичокъ, лукаво улыбаясь, юркнулъ черезъ проспектъ, замѣшался между экипажами, и... я не замѣтилъ, куда онъ дѣвался, будто провалился сквозь землю, будто исчезъ въ воздухѣ.

Долго стоялъ я въ раздумьи, не понимая, что все это значитъ; мысли тежѣли въ головѣ моей, и на улицахъ темнѣло: въ магазинахъ начали зажигать лампы; въ воздухѣ стало сыро, пошелъ какой-то холодный дождикъ. Я продрогъ и вошелъ въ кондитерскую, вынулъ рюмку — все холодно, и другую согрѣлся, и за стаканомъ глгивейна началъ разсуждать. Чѣмъ болѣе разсуждалъ, тѣмъ болѣе убѣждался, что именно я въ счастливую минуту имениннаго дня пожелалъ лекарства отъ старости, и

когда ударило 8 часовъ, я рѣшился ѣхать за лекарствомъ.

Дойхавъ на дрожкахъ до Семеновскаго Полка, я, чтобъ удобнѣе отыскать домъ, пошелъ пѣшкомъ въ Госпитальную улицу. Боже мой, какая мрачная улица! Вездѣ пусто, вездѣ тихо, темно; издали то вспыхивалъ, то замиралъ потухавшій фонарь, точно въ просонкахъ мигая глазами; цѣпная собака, спущенная на ночь, рада свободѣ, выбѣжала на улицу, посмотрѣла во всѣ стороны, и ну лаять на мигавшій фонарь. Пусто; ни души живой; грязно, темно.

Я хотѣлъ уже воротиться; смотрю направо—ба! въ одноэтажномъ домикѣ свѣтится; окна задернуты красными занавѣсками. „Нашелъ“, подумалъ я, и шагнулъ черезъ порогъ, а сердце вотъ-такъ и застучало въ груди.

Вхожу въ комнату; въ комнатѣ пахнетъ розовымъ масломъ; полъ устланъ коврами; у стѣны низенькій диванъ, столъ на трехъ ножкахъ; на столѣ горитъ сальная свѣча въ подсвѣчникѣ преуродливой формы; за столомъ сидитъ человѣкъ и читаетъ книгу; брови у него густыя, голова бритая, чуть прикрыта пестрою шапочкою, борода рѣдкая, какъ у молодаго козлика; на немъ былъ надѣтъ шелковый халатъ, краснаго цвѣта; на шеѣ висѣло что-то въ родѣ золотой медали. Красный человѣкъ, казалось, не замѣтилъ моего прихода и читалъ книгу.

— Милостивый государь, сказалъ я:—не имѣя чести знать васъ лично...

— Что вамъ надобно? спросилъ меня незнакомецъ по-русски иностраннымъ выговоромъ.

— Меня къ вамъ прислалъ извѣстный вамъ старичокъ... чтобы...

— За лекарствомъ, что ли?

— Точно такъ.

— Хорошо, почтеннѣйшій, присядьте.

Я сѣлъ на диванъ; хозяинъ подалъ мнѣ трубку турецкаго табаку, сѣлъ подлѣ меня и молчитъ. Вотъ я и начинаю разговоръ издалика:

— Вы, вѣрно, не здѣшній?

— Да, почтеннѣйшій, казанскій татаринъ.

— И, вѣроятно, изволите производить торговлю халатами?

— Не отгадали. Это мы предоставляемъ простому народу, любезнѣйшій.

— А! вы стало-быть... Я недавно читалъ въ газетахъ, что въ Казани произведенъ въ титулярные совѣтники... какъ-бишь его? Казн-Чикимъ, или Чики-Казимъ.

— Нѣтъ, я не титулярный и не совѣтникъ, я мулла.

„Ого! подумалъ я: такъ это голова!“ и продолжалъ:

— Значить, вы недавно изволили сюда пріѣхать?

— Я здѣсь съ восьми лѣтъ.

— Такъ вы вѣрно окончили курсъ въ здѣшнемъ университетѣ?

— Нѣтъ, я всѣ правила вычиталъ изъ книгъ, самъ-себѣ.

— А, очень пріятно, что имѣю честь познакомиться съ такимъ ученымъ!

— Ничего, почтеннѣйшій.

— Слѣдовательно, у васъ кто вычитаетъ себѣ мудрость изъ книгъ, тотъ и мулла!

— Какъ можно, любезнѣйшій! я держалъ экзаменъ.

— Вотъ видите! Здѣсь изволили держать?

— Здѣсь никто ничего не знаетъ! я ѣздилъ за-границу.

— Вѣроятно, въ Карлсбадъ?

— Нѣтъ, дальше за Оренбургъ, въ киргизскія степи; тамъ есть народъ ученый, тамъ умѣютъ толковать Коранъ.

— Коранъ! а не Алкоранъ? Помнится, я читалъ гдѣ-то въ газетахъ „Алкоранъ?“

— Все-равно, почтеннѣйшій, а лучше—Коранъ.

— А Коріоланъ?

— Можетъ-быть, и такъ зовутъ туда дальше, къ Астрахани, да это все-равно.

— Вѣроятно, вы изволите его читать?

— Да.

— Позвольте посмотрѣть... Господи! Господи! какія странныя литеры, точно пауки да букашки ползаютъ по страницамъ!...

— Лучше бы сказали: пчелы. Здѣсь всякая буква несетъ медъ, всякая буква несетъ сладость познанія, собранную отъ добра и зла, какъ пчелка несетъ медъ и отъ розы и отъ нечистаго растенія.

— Виноватъ, если не такъ называлъ ваши буквы; это съ непривычки: я отъ-роду первый разъ вижу татарскую книгу, и не хотѣлъ ее обидѣть, дай Богъ ей здоровья...

— Ничего, почтеннѣйшій; я вамъ еще больше скажу, говорилъ мулла, таинственно понижая голосъ:—всякая пчела имѣетъ и медъ, и жало; умѣй нею обращаться—тебѣ хорошо, не умѣй—укусить. Понимаете?

— Понимаю.

— Такъ вотъ, видите: азбука одна—хорошо; я возьму изъ нея буквы и напишу *мулла*. Видите?... Изъ той же азбуки возьму буквы, поставлю ихъ не въ томъ порядкѣ и выйдетъ *шайтанъ*!

Последнее слово онъ сказалъ почти шопотомъ, но такъ выразительно, и такъ сверкнулъ узенькими глазами, что у меня душа ушла въ пятки.

— Такъ и книги, продолжалъ мулла: состояются изъ буквъ, науки изъ книгъ. Вездѣ своя пропорція. Умѣй съ ними обра-

щаться—хорошо; не умѣй—худо, очень-худо! Я вамъ дамъ лекарство, о которомъ вы просили; выпей его въ мѣру—хорошо, больше—лучше, а еще больше—будетъ худо...

— Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста, сами дайте мнѣ лекарство, я у васъ здѣсь и выпью или съѣмъ что будетъ нужно.

Тутъ мой татаринъ засуетился, искалъ чего-то долго въ карманахъ и подъ столомъ; потомъ взялъ бутылочку, положилъ въ нее длинную красную ниточку и налилъ прозрачнымъ составомъ, взболталъ, приговаривая какую-то татарскую пословицу, вылилъ въ рюмку и далъ мнѣ выпить.

— Но прежде, нежели я употреблю ваше лекарство, позвольте спросить, какое будетъ его дѣйствіе?

— Чудеснѣйшее, почтеннѣйшій!

— Нѣтъ, не то; то-есть, возвратитъ ли оно мнѣ мою молодость вдругъ или постепенно?

— Какъ?

— То-есть, моя молодость будетъ возобновляться относительно старости?

— Не понимаю, почтеннѣйшій!

— То-есть, если я проживу годъ, такъ это будетъ, что я не прожилъ, а отжилъ годъ назадъ.

— Разомъ десять съ плечъ долой.

— Прекрасно, и я постепенно дойду до лѣтъ отрочества, младенчества и даже до первой минуты своего существованія? А послѣ?

— Послѣ опять все пойдетъ попрежнему.

— И я, значитъ, начну мужать?

— Да, пейте скорѣе; настаетъ время совершать омовеніе.

— Пью, пью, пью, сказалъ я, въ восторгѣ, и разомъ осушилъ рюмку лекарства. Точъ въ точъ хорошее пѣнное вино, только немного отбивается ниточкой. Я поклонился татарину, бросилъ на столъ бѣленькую асигнацію и вышелъ.

— Почтеннѣйшій! кричалъ мнѣ въ слѣдъ татаринъ:—о лекарствѣ никому ни слова, а то потеряешь силу.

— Слушаю, слушаю, мой благодѣтель, отвѣчалъ я:—никто не узнаетъ, ни самъ... ну, кто бы ни былъ.

Да и какую же я получилъ бодрость! въ минуту огонь разлился по всѣмъ моимъ жиламъ, глаза стали зорче, руки развязнѣе. У будки меня окликнулъ часовой. „Что кричишь, оселъ, развѣ не видишь кто?“ сказалъ я такъ звучно, громко, отчетливо, такимъ сердитымъ голосомъ и тономъ, что будочникъ хоть бы слово!

Пришелъ домой, выгналъ изъ комнаты бѣдота и записалъ подробно все, что случилось со мною сегодня. Да, великій день. Чортъ возьми, за 25 рублей купилъ коробъ

счастья!... Правда, иногда за 25 рублей люди покупаютъ вещи, сопутствующія имъ во всю жизнь, да самой жизни не хватаетъ. Нѣтъ, господа, купите жизни, какъ я, да еще молодой жизни! Спасибо высокому офицеру, и старичку спасибо. Кути, Дмитрій Ивановичъ.

27 октября.

Чудное лекарство! начинаю исполнѣе чувствовать его благодѣтельное дѣйствіе.

„Какъ прекрасный сонъ!“ подумалъ я, просыпаясь сегодня; но мнѣ было такъ легко, кровь такъ тепло переливается въ моемъ сердцѣ. Подхожу къ письменному столу: на немъ лежитъ эта тетрадь замѣчательныхъ дней моей жизни, и все вчерашнее записано съ поразительною вѣрностью. Да, это не сонъ; притомъ же и дѣйствительность говорить въ мою пользу. Сокровище въ рукахъ: отъ меня зависитъ распорядиться этимъ сокровищемъ. Небойсь, мы съумѣемъ не ударить лицомъ въ грязь.

Теперь я похожъ на путника, который сѣлъ въ лодочку, положимъ хоть въ истокъ Волги, да и поѣхалъ внизъ по рѣкѣ. Онъ ѣдетъ, а вокругъ красивые берега, зеленныя рощи, мирныя села, шумные города—все живетъ, все манитъ къ себѣ путника, а онъ ѣдетъ, онъ спѣшитъ, ему некогда. Вотъ несетъ его быстро своимъ теченіемъ, а онъ еще веслами ускоряетъ бѣгъ своей лодочки, все дальше и дальше. Волга шире, крупнѣе накатываются волны, быстрѣе несутъ лодочку; веселые города и села далеко остались; впереди безплодная степь, а по степи широко синѣетъ Волга... Далѣе море; горами ходятъ по немъ черныя валы; туда мчитъ вода лодочку. Погибель неизбежна. Робко двигаетъ путникъ свои весла; напрасно—весла ломаются, и онъ, сложа руки, безмолвно ожидаетъ кончины... Вдругъ какая-то невидимая сила ставитъ парусъ на его лодочкѣ, съ моря дуетъ вѣтеръ и путникъ летитъ обратно къ тихому истоку: опять передъ нимъ знакомые города, села, рощи, горы, луга; все веселится, все смѣется по прежнему, опять тихая пристань, изъ которой пустился онъ въ путь, опять родительскій домъ, съ густыми вербами надъ прудомъ...

Нѣтъ, г. путникъ, если судьба прикажетъ опять ѣхать тебѣ внизъ по рѣкѣ, ты не станешь торопиться. Останавливайся отдохнуть у тѣнистой рощи, радуйся въ селахъ тихимъ радостямъ поселянъ, любуйся пышными городами. Ты уже знаешь, что за всѣмъ этимъ песчаная степь, а тамъ—вѣчное море...

Я—этотъ счастливецъ; благопріятный вѣтеръ дуетъ въ мой парусъ, и я лечу обрат-

но. Полно, такъ ли? именно такъ; что же тутъ удивительнаго? я чувствую себя гораздо здоровѣе; въ одну ночь годомъ помолодѣлъ. Моя жизнь должна идти иначе. Иду въ департаментъ.

Вечеромъ того же числа.

Начало очень хорошее. Я пришелъ въ департаментъ какъ обыкновенно; раскланялся, подаль, какъ водится, руку моему товарищу, Петру Ивановичу, начальнику 2-го отдѣленія, подаль руку казначею и сѣлъ.

Спустя десять минутъ нанесли мнѣ кипу бумагъ; я прочелъ одну, другую, подписалъ, да и сижу себѣ, посматриваю во все стороны; потомъ вышелъ въ другую комнату, смотрю—Биркинъ что-то пишетъ; я подошелъ къ нему, спросилъ о здоровьи и подаль руку; онъ немного смѣшался, однако ничего, поклонился и говоритъ: „покорно благодарю“. Разумѣется, подаль руку человеку—дѣло важное, тутъ надобно подумать да и подумать, тѣмъ болѣе подчиненному: сейчасъ зазнается; да и люди такъ уже чудно устроены, что у всякаго на языкѣ вѣчно сидитъ просьба къ начальству. Ты подчиненному не успѣешь договорить ласковаго слова, а онъ уже и улыбается этакъ, знаете, почти по-пріятельски, и проситъ о чемъ-нибудь. Гораздо лучше держать себя важно, однимъ видомъ отталкивать отъ себя сажени на полторы: это гораздо спокойнѣе.

Ты мнѣ завѣщаль эти правила, покойный бригадиръ Дутиковъ; чувствую всю цѣну ихъ и благословляю прахъ твой!

Но почему же мнѣ не подаль руки Биркину? Лѣтъ черезъ пять мы будемъ съ нимъ ровесники: достанется покутить вмѣстѣ. Я хорошо сдѣлалъ. Потомъ пошелъ посмотрѣть на термометръ — мороза мало; въ казначейскую — тамъ считаютъ деньги; зашелъ въ бухгалтерскую, понюхалъ табакъ. Душа радуется, такъ весело!...

Мой товарищъ, Петръ Ивановичъ—отъявленный лѣнивонецъ; частенько директоръ съ нимъ ссорится, ссорится, да и рукой махнетъ, а онъ все свое: сидитъ, читаетъ „Вѣдомости“ да жмется ногою. Вотъ Петръ Ивановичъ, увидя, что я такъ-себѣ хожу самонадѣянно, очень обрадовался, подошелъ ко мнѣ и говоритъ: „Кажется, вы намѣрены отдыхать, Дмитрій Ивановичъ?“ — „Почему же и не такъ?“ отвѣчалъ я; „мнѣ кажется, можно“. — „Да“, подхватилъ Петръ Ивановичъ: „вамъ никакъ пошелъ шестой уже десятокъ: въ такихъ лѣтахъ позволительно...“ При этихъ словахъ я чуть-чуть не улыбнулся. Ну, да Богъ съ нимъ, у меня на немъ написана моя тайна...

Мы сѣли съ Петромъ Ивановичемъ около моего стола, и у насъ завязался длинный разговоръ о семъ, о томъ, о соленыхъ перепелкахъ и проч... Ударило три часа. Я вышелъ изъ департамента и пришелъ домой гораздо-здоровѣе обыкновеннаго: грудь не болитъ, дышать легко... Не поѣду на вистъ къ Якову Ивановичу, лучше отдохну; пусть себѣ эти старички играютъ; мнѣ играть не для чего, жалованье хорошее, да и въ ломбардѣ на черный день лежить тысячъ десятокъ другой; составлять партію нужнымъ людямъ не хочу: много я и такъ для другихъ дѣлалъ. Игра—трата времени; мы умѣемъ провести время повеселѣе.

Завтра зайду въ Ручу, одѣнусь щеголеватѣе, а тамъ... кути, Дмитрій Ивановичъ! Пора спать.

182... октября 26.

„Фу, ты, Господи! какая разсѣянная жизнь! нѣсколько лѣтъ не бралъ въ руки своихъ записокъ. День за днемъ, день за днемъ, вотъ такъ и плывутъ, какъ утки. Съ вечера на балъ, съ бала въ маскарадъ, тамъ на пикникъ, тамъ.. и названія не приберешь всемъ удовольствіямъ. Николай Антоновичъ, спасибо, вездѣ пролѣзаетъ, какъ игла, и меня проведетъ, какъ ниточку. Сегодня я прикинулъ на счетахъ, что прожилъ, что отжилъ, и вышло мнѣ около двадцати лѣтъ. Тѣ же страсти, склонности, желанія.

Какъ себя помню, мнѣ въ 20 лѣтъ Богъ знаетъ какъ хотѣлось крестика, хоть какого-нибудь въ петличку; а для чего? чтобы явиться къ Марьѣ Ивановичъ! Дѣло прошлое; но что это была за Марья Ивановна! сущее наливное яблочко; бывало, и смотрѣть на все боишься: что дескать я такое? коллежскій регистраторъ! Оно, правда, чинъ; но произнести его неловко передъ коллежскимъ ассессорами; хоть бы крестикъ отличалъ меня—иное дѣло. Ахъ, крестикъ, крестикъ! Что же? не дали когда хотѣлось; Марья Ивановна меня не замѣтила, вышла за другаго—вотъ и все. Послѣ получилъ и на шею, да все какъ-то хладнокровно...

Теперь опять воскресаетъ старое: хочется звѣздочки, да какъ хочется: ни есть, ни спать не могу! Стою въ мундирномъ фракѣ по часу передъ зеркаломъ да воображаю, какъ бы пристала ко мнѣ звѣзда. А для чего? хотѣлось бы представиться въ такомъ тоже видѣ Марьѣ Ивановичъ — не прежней, той дѣти давно вышли въ отставку—нѣтъ, у меня опять есть Марья Ивановна, такая же, какъ и прежняя, розовая,

рѣзвая, вѣселая. Какъ бы я удивилъ ее, являсь нечаянно со звѣздой! „У васъ, Дмитрій Ивановичъ, звѣзда?“ — „Точно такъ, Марья Ивановна, повергаю ее къ стопамъ нашимъ“ — и пошла потѣха... Она меня очень любитъ. Вчера, напримѣръ, танцуя съ нею, я пожалъ ей руку, рѣшился, что называется, очертя голову. Какъ она весело взглянула на меня! какіе состроила глазки!... Ну, просто, она влюблена въ меня по уши... Я отъ восторга едва имѣлъ силы докончить кадрили, а она будто нарочно выдумывала новыя фигуры: вмѣсто шести, я полагаю, мы протанцовали двѣнадцать.

Я былъ растроганъ, сѣлъ и во весь вечеръ не хотѣлъ и ногой ступить; все смотрѣлъ, какъ она порхала по паркету, словно ласточка... Да, не худо бы звѣздочку! — А тутъ чего-то косится директоръ; даже однажды сказалъ: „въ ваши лѣта, я полагаю, вамъ тяжело управлять отдѣленіемъ“. — „Это правда“ подумалъ я. Хорошо, что ты, пріятель, еще не догадался совершенно: гдѣ видано двадцатилѣтнему юношѣ управлять отдѣленіемъ?... У меня, таки нечего сказать, дѣла накопились, да ну ихъ, смотрѣть не хочется!

Весьма прискорбно, что мои писцы еще какъ-то меня чуждаются, а малые добрые, ребята молодые, надобно съ ними познакомиться. Столоначальники со мною уже давно на пріятельской ногѣ, да они очень серьезны, слишкомъ важничаютъ, стариковъ корчатъ, дураки! Узнали бы, что значитъ старость, не торопились бы! Вотъ я, небойсь, какъ начну опять выростать, не буду торопиться жить, не стану въ 13 лѣтъ скоблить усы перочиннымъ ножикомъ, чтобъ скорѣе чернѣли, чтобъ казаться взрослымъ... Скучно! завтра поѣду въ танцклассъ.

27 октября.

Два часа сидѣлъ за туалетомъ, приглаживалъ голову, обдѣлывалъ прическу; теперь хорошо волосокъ къ волоску подобранъ. Мои волосы день ото дня болѣе теряютъ свой темный цвѣтъ, не сѣдѣютъ, а блѣднѣютъ, отчего я дѣлаюсь гораздо молоджавѣе.

29 октября.

Третьяго дня былъ въ танцклассѣ и тамъ успѣлъ, наконецъ, сойтись покороче съ моими канцеляристами; ихъ было трое, все премилые ребята. Они показывали мнѣ всѣ достопримѣчательности танцкласса; я съ ними, т. е. съ канцелярскими, говорилъ обо всемъ такъ, безъ церемоніи; они мнѣ рассказывали все свое, я имъ рассказалъ

кое-что изъ своихъ похожденій; они меня спросили: отчего я не женюсь, имѣя хорошее содержаніе? Мы, говорятъ, и дня бы не думали, пережениться. А я — то-то молодость! чуть-чуть не выболталъ своей тайны. Какъ же мнѣ жениться, когда я все молодѣю, а жена моя будетъ старѣться! Современемъ вышла бы завидная пара. Однако, я ничего этого не сказалъ, только подумалъ, и отвѣчалъ: „такъ, друзья мои, не пришла пора!“

4 декабря.

Меня вездѣ называютъ душою компаніи! Каково, Дмитрій Ивановичъ? вотъ что значитъ умѣть употреблять время сообразно возрасту. „Что вы не поете?“ недавно сказала мнѣ Марья Ивановна. „Не умѣю“ отвѣчалъ я. — „Вздоръ, вы обманываете“, сказала она: „вы должны пѣть“. — „Слушаю, отвѣчалъ я: съ величайшимъ удовольствіемъ спую что-нибудь, когда выучусь“. Дѣлать нечего, взялъ учителя и пою. Завтра дивилъ Марью Ивановну: она будетъ на именинахъ у Саввы Саввича; я нарочно затѣю фанты и въ фантахъ запою романсъ, который выучилъ меня учитель:

Дѣдушка, дѣвицы
Разъ мнѣ говорили:
Нѣтъ ли небылицы,
Иль старинной были?

5 декабря.

Былъ у Саввы Саввича и рѣшительно своимъ романсомъ восхитилъ публику; сначала всѣ, отъ удовольствія, улыбаются и поглядывали другъ на друга, а потомъ растрогались, даже Савва Саввична заплакала; только одинъ маленькій Саввинька елолтилъ деревяною куклою орѣхи и немного мѣшалъ пѣть. Какое это странное семейство! хозяйнѣ Савва Саввичъ Саввиновъ, его жена Савва Саввична, и сынъ Саввинька — удивительный случай!...

Полно писать, усталъ; а тутъ завтра нужно ѣхать въ три дома на именины; нѣтъ времени ни о чемъ подумать. Какой омутъ нашъ свѣтъ!

183... ноября 9.

Вотъ опять нѣсколько лѣтъ я не писалъ въ моихъ запискахъ, и съ тѣхъ поръ какъ измѣнило меня чудесное мое лекарство! Сегодня по утру мой Ѳеодотъ чистилъ что есть силы какой-то старый вицъ-мундиръ, но никакъ не могъ надрать на немъ ворсы.

— Что это за фракъ? спросилъ я Ѳеодота.

— Вашъ, отвѣчалъ Ѳедотъ.

— Что же я его не помню?

— Да онъ лѣтъ десять валялся въ шкапу; я его сегодня самъ нашелъ нечаянно.

— Это интересно; подай его сюда!

Я примѣрилъ вицъ-мундиръ, мой собственный вицъ-мундиръ, который сидѣлъ когда-то на мнѣ очень хорошо, и что же? онъ теперь и длиннѣе, и широкѣе. Видимо, уменьшаюсь!

Ноября 10.

Мнѣ теперь по расчету около 15 лѣтъ.

Ноябрь 12.

Въ среду былъ на вечерѣ у Ивана Петровича, рѣзвился, шумѣлъ, дурачился, какъ всегда. Марья Ивановна еще похорошѣла; у нея на лицѣ иногда вдругъ покажется какая-то милая важность; это ей очень пристало, такъ и хочется поцѣловать. Начались танцы.

— А вы не танцуете? спросила Марья Ивановна.

— Развѣ съ вами.

— Да я ангажирована, Дмитрій Ивановичъ!

— Иначе не танцую, какъ съ вами.

Она побѣжала, переговорила съ своимъ кавалеромъ, то-есть просто отказала ему, профану, и подала мнѣ руку.

Я очень помню, какъ меня учили танцевать, и учили именно въ этихъ лѣтахъ, какъ теперь; кажется, и стоишь, бывало, какъ люди, и ходишь, какъ они, а пошелъ танцевать—ноги точно деревянные: прыгъ, прыгъ, прыгъ по полу, собьешься, зацѣпишься за что-нибудь и растянешься на землѣ во весь ростъ. Такъ и теперь случилось. Мнѣ изъ головы мои лѣта! Заиграли кадрили: первую фигуру я еще кое-какъ путался, только раза два наступилъ кому-то на ногу; пришла вторая — ноги не несутъ, точь въ точь, какъ, бывало, встарину, когда учился танцевать, шагнулъ впередъ, назадъ, право, лѣво, задѣлъ ногу за ногу, бацъ, обѣ полъ! Господи, какой срамъ! По-несла же меня нелегкая!

Меня подняли и посадили въ кресло; тутъ бы и оставить; кто изъ насъ не падалъ? Такъ нѣтъ: хлопчутъ, спрашиваютъ, не ушибся ли, суетятся... Раздосадовали до нелзя! Я забился въ темный уголъ и заплакалъ—не отъ боли, а отъ досады, отъ огорченія. Марья Ивановна подошла ко мнѣ, съ участіемъ взяла меня за руку и почти сквозь слезы сказала: „бѣдняжчикъ!“ У меня такъ и растаяло сердце. „Чѣмъ пособить вамъ?“ продолжала она.—„Ничего“, отвѣчалъ я, сжимая съ дѣтскою радостью ея

нѣжную ручку, „поцѣлуйте меня“.—„Только то? Извольте. хоть десять разъ.“ — И она поцѣловала меня!... поцѣловала!... Я весь затрепеталъ отъ этого поцѣлуя, и уже плакалъ отъ радости.

Всякій возрастъ имѣетъ свои неотъемлемыя права, свои прекрасныя привилегіи!

Ноября 13.

Слава Богу, начали падать зубы.

Ноября 14.

Сегодня въ департаментѣ я шелъ изъ казначейской по корридору; смотрю: направо въ темной комнатѣ (гдѣ стоятъ чернила, лежатъ щетки и спитъ сторожъ) мои канцеляристы—экіе пройдохи!—закурили коротенькую трубочку и затягиваются. Быстро пришла мнѣ на мысль прежняя молодость, когда, бывало, потихоньку отъ учителя, гдѣ-нибудь за угломъ потянешь трубки — и страшно, и осматриваешься кругомъ, и дрожишь, глотая дымъ, будто какой нектаръ. Сущее наслажденіе!... Впослѣдствіе я имѣлъ возможность и способы курить трубку, но пикогда не курилъ съ такимъ удовольствіемъ. Не трубка пріятна; а этотъ судорожный страхъ, невольный трепетъ отъ пустаго скрипа двери; пріятны „сильныя ощущенія“. Я вспомнилъ все это и не выдержалъ: шастъ въ темную комнату: канцеляристы сначала сробѣли, спрятали трубку за фалды вицъ-мундира и, будто не видя меня, начали громкій разговоръ о *черновыхъ отпускахъ*. „Полно, пріятель!“ сказалъ я: „не объ отпускахъ дѣло, а давайте затянуться, пока не пришелъ директоръ“. Канцеляристы переглянулись между собою, одинъ досталъ трубку, другой набилъ ее, вытянувъ изъ жилетнаго кармана табакъ, завернутый въ газетную бумажку, третій вырубилъ огня и въ минуту все поспѣло. Да и затянулся же я великолѣпно!...

Потомъ скорыми шагами прошелъ черезъ канцелярію въ свою комнату; тамъ стоялъ директоръ. „Что у васъ въ канцеляріи будто табакомъ пахнетъ?“ спросилъ онъ.—„Не знаю, ваше превосходительство; можетъ быть, сторожа утромъ курили; впрочемъ, я не слышу“, отвѣчалъ я, а въ душѣ такъ и пошелъ морозъ. „Скажите экзекутору, чтобъ за ними смотрѣлъ“ продолжалъ директоръ и ушелъ. Уфъ! какъ гора съ плечъ свалилась!... Вотъ какую штуку я ему выкинулъ.

183.. мая 23.

Мой Ѳедотъ слишкомъ состарѣлся: такой сталъ неповоротливый, иногда стаканъ воды подаетъ часа два. Нехорошо.

Іюля 2.

Сегодня ко мнѣ пресерьезно подошелъ директоръ, совершенно мой бывшій учитель, такъ же важно надулъ свой стриженный хохолокъ и такъ же грозно заговорилъ со мною: „Дмитрій Ивановичъ, у васъ дѣла запущены, вы худо смотрите за отдѣленіемъ; вотъ другой годъ не рѣшается дѣло откупщика Медвѣдева. Займитесь имъ исключительно, преимущественно займитесь имъ сегодня“.

Пока кричалъ директоръ, то мнѣ и хотѣлось заниматься; я пришелъ въ свою комнату и началъ читать. Признаюсь, было отчего ему лежать не два года, а двадцать лѣтъ: пресквернымъ почеркомъ писано, ничего не разберешь. Да и что это за Медвѣдевъ? кто онъ такой? Мнѣ представилось, что это простой бурый медвѣдь во фракѣ стариннаго покроя и въ спальныхъ сапогахъ. Эта идея меня очень развеселила, я пошелъ и сообщилъ свою мысль въ канцеляріи, чѣмъ произвелъ всеобщій смѣхъ.

Возвратясь въ свою комнату, я уже не взглянулъ на дѣло — пропадай оно со всѣмъ, вещь прескучная!

Смотрю—лѣзетъ по окну синяя муха, прекрасной породы, прекрупная; я вспомнилъ, что во время оно я забавлялся мухами, заперъ дверь изъ канцеляріи на замокъ, расшилъ дѣло Медвѣдева и досталъ изъ него ниточку шелка; потомъ поймалъ муху, оборвалъ ей крылья, привязалъ шелковинкою за ногу къ перу и пустил на окно. Да какая рысистая попалась муха! такъ и возить перо, только оно переваливается... Слышу, за дверьми говоритъ столоначальникъ: „Тише, господа! Дмитрій Ивановичъ занимается“. Меня такъ смѣхъ и пронялъ; думаю: „вотъ гуси!“ А въ канцеляріи стало тихо, тихо, даже было слышно, какъ моя муха шелестила перомъ по бумагамъ.

Не увидѣлъ какъ прошло время. Ударило три часа; я бросилъ муху съ перомъ за форточку и отворилъ дверь; на встрѣчу мнѣ директоръ.

— Ну, что, Дмитрій Ивановичъ, подвинулось дѣло?

— Подвинулось, ваше превосходительство.

Онъ взялъ дѣло въ руки, и вдругъ посыпались изъ него листы.

— Это что?

— Не знаю, ваше превосходительство; я самъ цѣлое утро подбиралъ листы; они перепиты, не сшиты, въ нихъ никакого толку нѣтъ.

— Кто сшивалъ дѣло?

— Полагаю, канцеляристъ Финфирулькинъ: на немъ лежитъ эта обязанность.

— А вы не можете присмотрѣть за вашими подчиненными! Въ вашихъ лѣтахъ вы сущій ребенокъ, съ позволенія сказать.

„Къ чему тутъ просить позволенія?“ подумалъ я и улыбнулся.

— Что вамъ смѣшно? почти завопилъ его превосходительство и пошелъ ругать Финфирулькина. Пушилъ, пушилъ; тотъ, бѣдный, не знаетъ, откуда такая напасть приключилась, стоитъ ни живъ, ни мертвъ, только запонка на манишкѣ трепещется... „Славно сошло съ рукъ!“ подумалъ я, потирая отъ радости руки, поскорѣе за шляпу и махнулъ домой по черной лѣстницѣ.

Іюня 10.

И помина нѣтъ о дѣлѣ Медвѣдева! Отдали его разсмотрѣть столоначальнику. Директоръ, тоже какъ и всегда, поклонится холодно и пройдетъ. Объ этомъ я ни мало не беспокоюсь: мнѣ съ нимъ не дѣлать крестить. Въ департаментѣ жарко, дѣлать ничего не хочется. Посидѣлъ часъ и ушелъ домой. Скучно!

Іюня 13.

„Слава Богу, догадались! Я все думаю: неужели я буду служить и ребенкомъ? Наконецъ, сегодня получилъ увѣдомленіе, что по разстроенному здоровью увольняюсь въ отставку. Это маленькая ложь: мое здоровье здоровѣе всѣхъ ихъ. Ну, спасибо, хоть догадались, а за пятидесятилѣтнюю службу дали пансіонъ полнаго жалованья. По настоящему и тутъ не такъ: я служилъ вѣрою и правдою тридцать лѣтъ, а остальные двадцать ни то, ни се, а чаще портилъ порядки. Здѣсь, слава Богу, не догадались!“

Іюня 14.

Итакъ, я въ отставкѣ! Хорошо; больше не пойду и не поѣду въ департаментъ. Живи спокойно себѣ дома, Дмитрій Ивановичъ! очень хорошо!

Я думаю, мнѣ нехудо бы имѣть дядьку; въ моихъ лѣтахъ безъ присмотра не бываютъ, да и люди скорѣе бы слушали дядьки, нежели меня, а то ни Ѳедотъ, ни кухарка знать меня не хотятъ: дають какой-то черствый хлѣбъ и твердое мясо—не укусишь.

Какая теперь скверная дѣлается бумага: никакъ невозможно прямо писать; начнешь строчку, кажется, хорошо, а сведешь или внизъ, или вверхъ вершка на два—такъ перо и ѣздитъ въ стороны. Неужели мнѣ придется оставить свои за-

писки? Что же я буду дѣлать?... Развѣ попробую разлиневать; когда-то въ этихъ лѣтахъ я такъ писывалъ, а послѣ, пожалуй, можно карандашъ вытереть резинкою, чтобы незамѣтно было.

Юня 18.

„Проба пера и чернила, какая въ немъ сила!“ Хорошо, недурно! Писать по линейкамъ и легко, и пріятно.

Я совершенно счастливъ; провидѣніе, видимо, печется обо мнѣ—у меня есть дядька! Третій день какъ Богъ послалъ его.

Утромъ въ четвергъ была погода не такъ-то хорошая; шелъ дождикъ; я сидѣлъ въ кабинетѣ и дожидался чая; сижу и слышу въ передней что-то стучить, будто скидаются калоши. „Кто тамъ?“—Отвѣта нѣтъ. Ну что, если это какой злой человѣкъ? Я подумалъ, что въ моемъ возрастѣ, когда при мнѣ никого нѣтъ—это опасно, и сижу ни живъ, ни мертвъ. Дверь отворилась; входитъ въ кабинетъ человѣкъ высокаго роста, въ поношенномъ военномъ сюртукѣ, съ воротникомъ ни то малиновымъ, ни то апельсиновымъ; въ одной рукѣ онъ держалъ фуражку, а въ другой полосатый ситцевый кисетъ и деревянную трубку съ краснымъ чубукомъ, украшеннымъ красными снурками и кистями. Незнакомецъ поклонился мнѣ довольно сурово, шевельнулъ длинными рыжими усами и спросилъ меня:

— Не вы ли Дмитрій Ивановичъ?

— Точно такъ.

— Очень радъ. Честь имѣю рекомендоваться вашимъ родственникомъ.

— Весьма пріятно; но, сколько помню, послѣдняя сестра моя, дѣвица, умерла.

— Не уже ли вы не помните Алены Львовны?

— Алены Львовны?—Да, помню. Она приходилась мнѣ троюродною тетушкою, и часто драла за уши, называя безпутнымъ сахарникомъ, хоть и никогда не видѣлъ въ этихъ словахъ большаго смысла.

— Не о смыслѣ дѣло, Дмитрій Ивановичъ. Помните, у нея была дочь Любовь Андревна?

— Какъ не помнить Любиньки! Она была такая добрая, но она поѣхала куда-то на Западъ, я въ Петербургъ—и потерялъ ее изъ вида.

— Любовь Андревна уѣхала на Западъ потому, что слѣдовала за полкомъ, вышелъ замужъ за поручика Кашемирскаго полка Кричимова.

— Помню и Кричимова: такой толстенькій, черномазенькій, вѣчно, бывало, торчитъ и баситъ.

— Не угодно ли вамъ будетъ, милостивый государь, говорить о немъ повѣжливе, потому что я его сынъ.

— Извините меня, я это сказалъ такъ, на скорую руку, не могъ въ немъ припомнить ничего особеннаго... Итакъ, вы сынъ Любиньки, доброй Любиньки, которая меня когда-то кормила конфетами.

— Никакъ нѣтъ. Любовь Андревна умерла бездѣтной, отъ безпокойства на переходахъ и сырого климата, впрочемъ, записавъ моему родителю свое имѣніе. Онъ, для развлеченія грусти, вскорѣ по смерти жены женился на полькѣ паннѣ Юзефѣ; отъ этого брака произошелъ вашъ покорный слуга.

— Дайте вашу руку, дражайшій родственникъ! Вы, значитъ, обладатель деревни Свиштуновки? Славная деревенька! тогда въ ней числилось 73 души.

— Нѣтъ, изволите видѣть, я очень несчастливъ. Вы мой ближайшій родственникъ, я отъ васъ ничего не скрою.

— Это меня очень растрогало.

— Продолжайте, сказалъ я.

— У моихъ родителей только и было дѣтей, что я. Мой батюшка любилъ селянку и бесѣду людей чиновныхъ, постарѣе себя, а маменька любила шеколадъ и общество молодыхъ людей; отъ этого различія во вкусахъ они какъ-то все расходились въ разные стороны, такъ-что однажды утромъ, когда пришли къ моему батюшкѣ и сказали, что барыни нѣтъ, куда-то сбѣжала, онъ махнулъ рукою и сказалъ: „не ищите; соскучится, сама придетъ.“ Однако она до сегодня не возвращалась. Батюшка вышелъ въ отставку, самъ воспиталъ меня, опредѣляя въ уланы и умеръ. Я служилъ, благодаря Бога, хорошо, дослужился до поручика, заложилъ имѣніе—нельзя же служить въ кавалеріи, не дѣлая долговъ; я ихъ дѣлалъ—это ничего; но въ одинъ вечеръ ко мнѣ пришли человѣка четыре моихъ пріятелей, мы пили чай, играли въ карты, шутили, смѣялись, просидѣли почти до свѣта, и—моя Свиштуновка какъ-то сошла у меня съ рукъ, а я на другой день подалъ въ отставку...

— Значитъ, вы не имѣете Свиштуновки?

— Ничего, любезнѣйшій Дмитрій Ивановичъ, ровно ничего, кромѣ этой трубки и кисета.

„Вотъ.“ подумалъ я, „будетъ мнѣ лихой дядька,“ и сказалъ:—Если вы почтеннѣйшій родственникъ—извините, не имѣю чести знать вашего имени и отчества...

— Василій Кузьмичъ.

— Да, почтеннѣйшій Василій Кузьмичъ, если вы ничего не имѣете, то прошу принять мое предложеніе: переѣзжайте ко мнѣ на квартиру, живите у меня: вы этимъ до-

кажете всю вашу родственную привязанность. Разумѣется, мы, люди статскіе, не можемъ оказатъ вамъ должнаго гостепріимства и доставитъ приличныхъ удовольствій; покрайней мѣрѣ, вы будете имѣть квартиру, столъ и все нужное; я одинъ, вы у меня ближайшій родственникъ, располагайте всѣмъ: что мое—все ваше.

Боже мой, что сдѣлалось при этихъ словахъ съ Василюмъ Кузьмичемъ! Въ первый разъ въ жизни я увидѣлъ на опытъ всю силу, всю трогательную нѣжность родственной любви! Василій всею тяжестью своего тѣла повисъ на моей шеѣ и цѣловалъ меня въ плечи... Добрый человекъ!...

Августа 5.

Мои волосы приняли блѣдножелтый цвѣтъ, какъ у младенцевъ. Я быстро иду къ своей цѣли—возрожденіе не за горами.

Сентября 1.

Славная моя жизнь! я совершенно спокоенъ. Василій Кузьмичъ всѣмъ управляетъ: и заказываетъ обѣды, и поитъ меня чаемъ, и держитъ мои расходы. Спасибо ему! Что бы я былъ безъ него?...

Помню, очень давно, когда я былъ ребенкомъ, бывало, къ моему отцу соберутся знакомые уѣздные чиновники и пьютъ пуншъ, и цѣлый вечеръ играютъ въ карты, а тебѣ такъ спать хочется, и смотришь и не видишь, будто пухъ на рѣсницахъ; вотъ пойдешь въ другую комнату, ляжешь на кровать, да и заснешь подъ пѣсни да хохотъ. Такъ и теперь: Василю Кузьмича любить добрые люди, частенько сходягся къ нему поигратъ въ карты; тутъ подымется шумъ, крикъ, хохотъ, дымъ отъ трубокъ стелется, какъ отъ парохода, а я уйду въ кабинетъ, раздѣнусь, да и въ постель—простать гости моему возрасту. Засыпаю, а чрезъ двѣ комнаты шумятъ, хохочутъ, точно уѣздные чиновники у моего батюшки. Такъ станетъ спокойно, такъ пріятно... Кажется, вотъ придетъ батюшка и скажетъ матушкѣ: „пора бы, жена, на столъ накрывать.“ Того и ждешь, что матушка ласково возьметъ тебя за ухо и прошепчетъ, „встань, Дмитрушка; не хорошо спать, сейчасъ будемъ ужинать.“ Кажется, слышишь, какъ старушка няня шелеститъ по комнатамъ своими суконными башмаками... Давнопрошедшее воскресаетъ и живетъ со мною... Засыпаешь и улыбаешься старымъ друзьямъ... Дай Богъ адоронъ казанскому татарину!...

Сентября 15.

Тѣмъ болѣе я цѣню заботы и попеченія Василю Кузьмича, что они рѣшительно безкорыстны. Охота же ему возитъ ся съ мальчикомъ, зная, что онъ вырастетъ и забудетъ его, не помянетъ его добрымъ словомъ—это случается, по пословицѣ, сплошь да рядомъ—а еще, можетъ-быть, за его попеченія отплатитъ неблагодарностью. Будь я старикъ—дѣло другое, по неволѣ пришла бы на умъ черная мысль... Господи прости, какъ-то о людяхъ скорѣе подумаешь худое, нежели хорошее...

Мое хозяйство поправилось, все идетъ быстро, проворно; одно мнѣ не нравится: Василій Кузьмичъ въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ перемѣнилъ шесть кухарокъ: ни одна не уживется; и Ѳедотъ часто является ко мнѣ съ измятою прической. Мнѣ иногда жалко старичка; впрочемъ, это все дѣлается для моего благополучія... Золотой Василій Кузьмичъ!...

1839, февраля 3.

Я сегодня сказалъ въ защиту Ѳедота нѣсколько словъ Василю Кузьмичу; онъ на меня порядочно прикрикнулъ за это; я хотѣлъ-было поспорить, но подумалъ, да и отошелъ молча къ окошку. Вотъ что думаю я: хорошо, если бы дѣти имѣли опытность взрослыхъ: сколькихъ непріятностей, слезъ, неудовольствій избѣжали бы они! Я, бывало, до слезъ спорю съ батюшкою, да съ матушкою за глупаго Ванюшку, спорю до тѣхъ поръ, пока мнѣ порядочно не выдерутъ ушей: и Ванюшкѣ не легче, и у меня цѣлый день горятъ уши, какъ языкъ, когда покушается перцу. А подростъ, такъ самъ увидѣлъ, что мой дѣтскій умъ не постигалъ всей негодности Ванюшки. Выходитъ, что уши драли не за то, ни за сѣ, и я единственно своимъ характеромъ купилъ себѣ нѣсколько горькихъ минутъ. Оттого я не сказалъ ни слова Василю Кузьмичу.

Февраля 4.

Помирися съ Василюмъ Кузьмичемъ. Онъ добрейшій человекъ: для меня же ссорится съ людьми, для меня колотится съ утра до ночи, а я вздумалъ еще упрекать его! „Вы не сердиты на меня?“ спросилъ я Василю Кузьмича, когда онъ возвратился съ прогулки по Невскому Проспекту. „Нѣтъ, Дмитрій Ивановичъ; за что же на васъ сердиться? Вотъ я сегодня получилъ часть вашего пансіона и принесъ вамъ гостинецъ.“

Тутъ онъ опустилъ руку въ карманъ сюртука, вынулъ пребольшую грушу и говоритъ: „Возьмите, только не кушайте передъ обѣдомъ.“ — „Хорошо“ — сказалъ я, ушелъ въ кабинетъ и сейчасъ же съѣлъ грушу. Вытерпишь, когда такой душистый, сочный плодъ въ рукахъ!

Февраля 5.

Просилъ Василія Кузьмича купить мнѣ чижики. „Не нужно такой дряни“ сказалъ Василій Кузьмичъ: „въ немъ ни цвѣта, ни голоса.“ А мнѣ очень хочется; попрошу кухарку купить, и поставлю у себя съ кѣткою на окошко.

Мая 10.

По двумъ линейкамъ писать гораздо лучше: слова ровнѣе, Сегодня за обѣдомъ Василій Кузьмичъ приказалъ закрыть мнѣ грудъ салфеткою. Это очень полезно; и прежде, въ дѣтствѣ, меня завязывали.

Мая 11.

Обѣщали достать чижики.

Августа 19.

Выпалъ послѣдній зубъ. Скоро ли начнутъ расти новые? А чижики все нѣтъ!

Сентября 2.

Есть чижики! да какой миленькій, какой веселый! Съѣлъ конопляное сѣмя и пьетъ воду—и все пьетъ, все чиликаетъ. Заплатили гривенникъ.

Сентября 4.

Мнѣ очень хочется красного платка на шею. Скажу Василію Кузьмичу; какъ бы онъ не разсердился? Скажетъ: „вы ребячитесь, бросаете деньги.“ Чижики здоровы.

Сентября 20.

Уже меня водить человѣкъ подъ руки. Приятно и легко. Что день, то я ближе къ цѣли.

Сентября 21.

Меня кормятъ молочною кашею. Кушанье мягкое и очень сладкое. Чижики тоже едятъ кашу.

Сентября 22.

Навязалъ на шею чижику зеленую бахрому; онъ сталъ еще красивѣе.

Сентября 24.

Хочу достать другаго чижики: моему будетъ веселѣе, у нихъ будутъ дѣти, маленькіе чижики, и вдругъ всѣ запоятъ цѣлымъ семействомъ; то-то будетъ весело! Разведу полную комнату чижиковъ.

Сентября 25.

Сегодня цѣлый день провелъ, слушая играющую табакерку; играетъ весело, и внутри все перебѣгаютъ прутики—не насмотришься! Чижики тоже пѣлъ.

Сентября 27.

Дастъ Богъ весну, я положу въ кѣтку къ чижику зеленой травки—какъ обрадуется бѣдная птичка!

Октября 1.

Василію Кузьмичу представилось, что я скоро умру; онъ совѣтовалъ мнѣ написать духовную. Странно!

Октября 2.

Я сказалъ Василію Кузьмичу, что переживу всѣхъ, и кухарку, и Феодота, и его самого; онъ пожалъ плечами и ушелъ.

Октября 3.

Былъ докторъ, не знаю зачѣмъ, прописалъ лекарство. Я сдѣлалъ чижику прекрасную коробочку изъ карты.

Октября 4.

Лекарство вылилъ въ печку. Былъ докторъ, прописалъ другое.

Октября 5.

И то вылилъ

Этими словами, или почти этими, оканчивалась рукопись, потому что еще тамъ было напарапано нѣсколько строчекъ, но такимъ почеркомъ, который очень похожъ на знаменитую гвоздеобразную грамоту: ни въ одной буквѣ нельзя было признать никакой извѣстной формы. Я нетерпѣливо

ожидалъ окончанія переговоровъ высокаго барона съ докторомъ; наконецъ, дверь отворилась, баронъ вышелъ и началъ раскланиваться.

— До свиданія, m. le Baron, говорилъ докторъ:—будьте благонадежны, покушайте еще эту зиму моихъ микстуръ, а весною, съ Богомъ на воды въ Мариенбадъ—и вашъ курсъ оконченъ.

— Вы думаете, онъ будутъ мнѣ полезны? спросилъ баронъ, отворяя дверь.

— Непремѣнно! онъ укрѣпляетъ когезію твердыхъ частей и умѣряетъ чувствительность нервной периферической системы; но, ради Бога, calmez vous, laissez toutes les affaires qui...

Баронъ захлопнулъ дверь и фраза осталась не оконченною.

— Что это? спросилъ я у доктора, показывая ему тетрадь.

— Это, вотъ извольте видѣть, отвѣчалъ докторъ, спокойно опускаясь въ кресла:—это одинъ изъ добрейшихъ людей, послѣдняя отрасль древняго, богатаго дома бароновъ Фейф-тобакъ. Весною будетъ три года, какъ я имѣю надъ нимъ практику. Удивительный субъектъ! Первоначальная болѣзнь его была просто tussis, кашель; но въ продолженіе трехъ лѣтъ онъ испыталъ поочередно всѣ, такъ называемыя, кахетинскія болѣзни. Удивительный субъектъ! все вынесъ, и теперь, кромѣ нѣкотораго рода дискразій, въ немъ ничего не осталось. Впрочемъ, надѣюсь, Мариенбадъ довершитъ начатое.

— Мы, кажется, не понимаемъ другъ друга. Вы говорите о больномъ, который сейчасъ вышелъ?

— Разумѣется!

— Напротивъ, я спрашивалъ объ этой тетради.

— О тетради? стоитъ ли заниматься подобными глупостями! Это писалъ почти сумасшедшій, помѣшанный.—Недѣли двѣ назадъ, пришелъ ко мнѣ человекъ, очень-хорошо одѣтый и просилъ навѣстить его дядю. Мы отправились; при первомъ взглядѣ, я узналъ, что у больного тагасмус—неизбѣжная участь старости, болѣзнь неизлечимая; однако, я прописалъ легонькое укрѣпляющее лекарство: на завтра я навѣстилъ больного; племянникъ со слезами просилъ прописать еще лекарство; напротивъ, самъ больной смѣялся, увѣрялъ, что онъ здоровъ и просилъ меня не беспокоиться. Эта странность поразила меня. Я совѣтовалъ племяннику не спускать глазъ съ больного и, въ случаѣ переменъ, дать мнѣ знать. Черезъ день опять явился ко мнѣ племянникъ съ этою тетрадью, которую укралъ у дядюшки, замѣтивъ, что онъ

что-то въ ней записываетъ и на ночь тщательно прячетъ ее подъ подушку. Смотрю—да это hypochondriasis! Вотъ твои болѣзни, голубчикъ! Вотъ откуда и апогизмъ, и тремог, и прочая, и прочая!... И мушкетеръ этого я зналъ: онъ продавалъ нашъ ядовитый пѣнникъ вмѣсто какого-то восточнаго эликсира отъ всѣхъ болѣзней. „Не беспокойтесь, милостивый государь,“ сказалъ я племяннику: „у насъ у самихъ на это есть вѣрное лекарство. Пойдемте.“

— Приходимъ. Старичекъ сидитъ въ креслѣ возлѣ кровати и строитъ изъ картъ домикъ, что-то шепчетъ и улыбается, глядя на свою шаткую работу, а на кровати стоитъ клѣтка съ чижиномъ. Я сдулъ со столика карточный домикъ и началъ говорить: „Полно вамъ дурачиться, Дмитрій Ивановичъ! Всѣ мечты человека разлетятся, какъ вашъ домикъ; стыдно забирать себѣ въ голову глупости на долгое время; лекарство муллы просто дрянь: оно не имѣетъ никакой силы, да и весь городъ о немъ знаетъ. Вотъ ваша тетрадь, видите: она уже у меня.“ Дмитрій Ивановичъ робко посмотрѣлъ на меня, торопливо заглянулъ подъ подушку и тихо опустился на спинку кресла; ни слова; ни звука; но тѣлу пробѣжалъ легкій трепетъ, точно въ живой рыбѣ, когда ее тронешь рукой, и только. „Теперь, говорю я племяннику, не надо зѣвать!“ открылъ кровь, на голову льду—и старикъ очнулся.

— Ахъ, Боже мой, прошепталъ онъ:—что со мною? не уже ли все это мечта!

— Мечта, подхватилъ я: нелѣпая мечта! Посмотрите въ зеркало: глубокія морщины на лицѣ вашемъ, пожелтѣвшіе отъ времени волосы, ваша дряхлость, развѣ не обличаютъ, что вамъ пошелъ восьмой десятокъ?

— Правда, правда. Возьмите его, едва слышно сказалъ Дмитрій Ивановичъ и медленно отворотился отъ зеркала... Онъ закрылъ лицо длинными, высохшими кистями рукъ своихъ, и плакалъ, какъ дитя; крупныя слезы, пробиваясь между пальцевъ, быстро скатывались по его мѣховому шлафроку...

„Ну,“ сказалъ я племяннику, выведя его въ другую комнату: „мы восторжествовали; болѣзнь смята, прогнана... Только я долженъ сказать вамъ, что существованіе вашего дядюшки не можетъ быть продолжительно: сильныя потрясенія, при всей своей пользѣ, бываютъ пагубны.“—„Благодѣтель мой!“ сказалъ племянникъ, обнимая меня: „хоть на два часа мой дядюшка здоровъ, и этого для меня довольно...“ И, повѣрите ли, онъ плакалъ, говоря эти слова. Благородный человекъ!... Вчера я встрѣтилъ на Невскомъ племянника; онъ шелъ

въ богатой бекешѣ и въ шляпѣ, обшитой флѣромъ.

— Что дядюшка? спросилъ я.

— Ваша правда, докторъ, отвѣчалъ онъ, крѣпко сжимая мнѣ руку:—дядюшка уже на Смоленскомъ кладбищѣ... Заходите, докторъ, когда-нибудь ко мнѣ; у меня по пятницамъ вечера.

— Надобно будетъ,—продолжалъ докторъ, когда-нибудь захватить отвезти ему эту тетрадь.

— Вы лучше отдайте ее мнѣ, сказалъ я:

—она племяннику будетъ напоминать пе-

чальное происшествіе, а мнѣ, напротивъ, пріятный вечеръ, проведенный съ вами.

— И то правда; пожалуй, возьмите!...

— Прощайте, докторъ!

— А мозоли? вы съ ними не шутите: полечите ихъ рационально.

— Непремѣнно; но теперь мнѣ некогда; если позволите, я приѣду въ другое время.

— Какъ вамъ угодно; въ пять часовъ пополудни всегда дома. Мой совѣтъ — не шутить...

— До свиданья!

1839 г.

Горевъ, Николай Ѳедоровичъ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Скучна, очень скучна осень! Весною природа дышетъ дѣвственной прелестью; она, какъ невѣста, убранная свѣжими цвѣтами, весело улыбается; грядущее сулитъ ей много.

Въ яркомъ сіяніи дня веселый жаворонокъ щебечетъ про любовь; при полномъ свѣтѣ луны, въ кустѣ душистой сирени, поетъ про ту же любовь соловей; его звуки то стонутъ грустью, то страстно замираютъ, то гремятъ удовольствіемъ, счастлиемъ. Слущая ихъ, вздыхаетъ дѣвушка-мечтательница, робко поправляя косынку на полной груди своей; вздыхаетъ счастливый юноша, самъ не зная о чемъ... а ночныя фіалки и ландыши лѣютъ благоуханія, а ближній ручей такъ говорливо переливается по камешкамъ!...

Настало лѣто—и природа, какъ женщина, полная жизни и страсти, роскошно хороша; цвѣты замѣняются плодами, мечты—дѣйствительностью; солнце жаркое смотритъ на природу, обливаятъ ее огненнымъ потокомъ лучей, сожигаетъ весенніе цвѣточные лепестки и румянитъ сочные плоды...

Еще весело; но придетъ осень—подобіе нашей старости—и грустно станетъ сердцу, способному грустить, способному чувствовать. Кокетливый уборъ листьевъ цвѣтовъ слетитъ съ природы-старухи; свалются румяные плоды; птицы, какъ неблагодарные поклонники ея прежней красоты, улетятъ туда, гдѣ имъ теплѣе; солнце

перестанетъ ласкать ее своими лучами; сѣрыя тучи, какъ нерадостныя думы, заволочуть горизонтъ и какъ слезы объ утраченномъ благѣ, полется частый холодный дождикъ... Поневолѣ загрустишь!

Хорошо, если еще человѣкъ богатъ: онъ кое-какъ скроетъ, замаскируетъ скучное время; онъ покажетъ золото—и его ближній, забывъ свое назначеніе, свою духовную гордость, засвиститъ, защелкаетъ передъ нимъ и соловьемъ, и малиновкою; тепличныя цвѣты, наперекоръ природѣ, разольютъ благоуханіе въ его палатахъ; дѣвушки улыбнутся ему привѣтливо, будутъ смотрѣть на него глазами, полными страсти... и онъ, счастливецъ, въ обаятельномъ чадѣ забудетъ настоящее, существенное, ухнетъ воображеніемъ!

И хорошо! Наше счастье, говорятъ, зависитъ отъ насъ самихъ: стоитъ только вообразить—и кончено!...

Но если, при наступленіи холоднаго осенняго времени, у васъ не будетъ теплаго платья, если слезы природы—именуемыя въ просторѣчи дождемъ—наводнятъ улицы и покроютъ ихъ грязью, а вы, не имѣя экипажа, скрѣпя сердце, должны попирать ногами эти небесныя слезы, притомъ, если ваши сапоги не въ надлежащей исправности, и вы твердо увѣрены, что, шрдя домой, не найдете ни полѣна дровъ и ляжете въ сырой комнатѣ на холодную постель, въ мокромъ платьѣ, то, какъ бы ни было пламенно ваше воображеніе, врядъ ли

вы будете въ состояніи вообразить себя счастливымъ и веселымъ.

Особливо, если вы—чего Боже сохрани!—любите дѣвushку всѣми силами души вашей и встрѣчаете холодное равнодушіе, или, если вы—это еще хуже—любили, были любимы, но обстоятельства оторвали васъ отъ вашей ненаглядной... Тогда во всякой перелетной птичкѣ вы увидите улетѣющую вашу радостную мечту; ваши вздохи найдутъ созвучіе въ жалобныхъ порывахъ вѣтра, каждая капля дождя прокатится холодомъ по вашему сердцу. Послѣ этого вы догадаетесь, отчего Николай Федоровичъ Горевъ очень грустно шелъ по улицамъ Москвы бѣлокаменной.

Это было осенью. Тяжелыя тучи безконечную грядую лежали на небѣ; солнца сутки трое и въ поминѣ не было; дождикъ принимался идти въ часъ раза четыре; грязь въ невымощенныхъ улицахъ доходила почти до колѣна; холодный осенній вѣтерокъ цовѣвалъ лихорадкою. По всему можно было замѣтить, что октябрь распорядился по своему, а у него—между нами будь сказано—прескверныя привычки и наклонности.

Николай Федоровичъ грустно шелъ отъ Кремля домой, повѣся голову; шинели на немъ не было; фракъ, застегнутый снизу на двѣ пуговицы, открывалъ вѣтру грудь, прикрытую пестрымъ ситцевымъ жилетомъ. Заложивъ руки въ карманы, для защиты отъ холода, Горевъ медленными, но широко шагами мѣрилъ улицы такъ хладнокровно, что вы бы подумали, онъ это дѣлаетъ по казенной надобности, или что онъ англійскій лордъ, скушавъ два, три пудинга да фунта четыре раббифу, ищетъ аппетита къ предстоящему обѣду.

Гореву идти было очень далеко: онъ квартировалъ въ приходѣ Ермолая или Никола на курьихъ ножкахъ... Нѣтъ, виновать, не на курьихъ ножкахъ,—тотъ приходъ въ другомъ мѣстѣ, а этотъ былъ гдѣ-то тамъ, далеко, въ концѣ города; еще въ этомъ приходѣ живетъ Харитонъ огорожникъ, и, года три назадъ, два студента ночью спустили на вѣтеръ огромнаго змѣя, склееннаго изъ какого-то журнала, привѣсивъ къ нему два фонаря, и этимъ ложнымъ телеграфомъ встревожили всю пожарную команду... Помните? Ну, въ этомъ самомъ приходѣ, у самой сѣзжей, нанялъ Николай Федоровичъ весьма необширную комнату, до которой отъ Кремля было добрыхъ верстъ десять. Въ Кремль онъ постоянно ходилъ третій мѣсяцъ: опредѣлялся на службу; ему обѣщали мѣсто, но всякій разъ говорили: „придите завтра“;

завтра опять повторяли вчерашнее, и такъ далѣе...

Въ день, съ котораго я началъ мой рассказъ, Николаю Федоровичу тоже сказали: „придите завтра“, и онъ отправился домой. Холодный вѣтеръ пробиралъ его легкое платье, холодные отвѣты начальниковъ сжимали душу, а тутъ еще въ карманѣ всего два двугривенныхъ.—„Прокормишься завтраками съ недѣлю, такъ и обѣдать не на что; совѣстно сказать, сапоги совсѣмъ износились, ноги не служатъ въ этой проклятой грязи, того и гляди, тутъ и подошвы на вѣки останутся, завтра невозможно будетъ явиться получить мѣсто; лучше взять извозчика: дамъ двугривенный и сберегу полтора рубля“—такъ думалъ Горевъ, шагая по улицѣ. Вдругъ кругомъ его зашумѣло, запищало, будто кто вылилъ ему на голову ушатъ воды. Николай Федоровичъ оглянулся—и улицы не видать за дождемъ, такъ и льетъ.

— Извозчикъ сюда! Пошелъ въ Отдаленный приходъ, дамъ двугривенный.

И Николай Федоровичъ поѣхалъ на прекурьезныхъ дрожжахъ по жидкой грязи московскихъ улицъ.

— Прибавьте, баринъ!

— Не за что, худо везъ.

Говоря эти слова, Николай Федоровичъ растегнулъ фракъ и опустилъ пальцы въ жилетный карманъ; пальцы, пройдя карманъ, опять явились на свѣтъ Божій внизу жилета. Николай Федоровичъ проворно вынулъ руку изъ кармана, будто тамъ нашелъ змѣю, посмотрѣлъ на пальцы, и опять послалъ ихъ въ карманъ; они опять немедленно явились подъ карманомъ; не было никакого сомнѣнія, что въ карманѣ существовала дыра; но Горевъ все еще сомнѣвался, торопливо вывернулъ карманъ—и тогда горькая истина явилась его очамъ.

„Мерзкій карманъ съѣлъ два двугривенника!“ ворчалъ Николай Федоровичъ, а извозчикъ громко требовалъ денегъ: мнѣ, дескать, не охота мокнуть подъ дождемъ.

— Погоди, любезный, говоритъ Николай Федоровичъ, стуча въ дверь:—видишь, какое несчастіе: деньги были, да потеряны: я спрошу у хозяйки. Но дверь не отпиралась: хозяйка ушла куда-то и заперла домикъ.

— Что же, баринъ, деньги?

— Видишь, любезный, никого нѣтъ.

— А мнѣ что за дѣло? Я тебя везъ.

— Приѣдешь, братецъ, завтра.

— Какъ бы не такъ: отъ завтраковъ не станешь сытъ.

— Совершенная правда, я съ тобой согласенъ: но гдѣ же я возьму денегъ? Какія были—потерялъ.

Извозчикъ сердился, ругался, кричалъ, что его надувають — словомъ, поступалъ, какъ всякій русскій мужикъ, когда видитъ хотя малѣйшую возможность вольничать безнаказанно. Горевъ увѣрялъ, божился, что отдастъ завтра четвертакъ, и, волей неволей, долженъ былъ идти въ часть къ квартальному надзирателю, чтобъ тотъ за него поручился.

Квартальный надзиратель Курилкинъ вмѣшалъ въ себя двѣ странности: былъ очень аккуратенъ и весьма любилъ и уважалъ жареныхъ утокъ. Исполняя обязанности по службѣ, онъ готовъ былъ забыть и жену, и дѣтей; но когда передъ нимъ проносили жареную утку, онъ почти былъ въ состояніи оставить всѣ казенныя дѣла, даже самыя экстренныя, и преслѣдовать очаровательное видѣніе.

Курилкинъ продрогъ на службѣ и, воротясь домой, выпилъ добрую чарку ерофенчу, закусилъ чѣмъ-то соленымъ и сѣлъ за столъ. Все шло благополучно, щи были хороши: квартальный утопалъ въ тихомъ семейномъ счастіи. Вдругъ доложили о приходѣ Горева и извозчика.

— Пусть ихъ подождутъ, пока отобѣдаешь, душенька, сказала жена Курилкина.

— Нѣтъ, моя крошечка, нельзя: это служба, отвѣчалъ Курилкинъ, нѣжно взявъ за подбородокъ свою пятидесятилѣтнюю супругу, наскоро утерся и вышелъ въ переднюю: даже второпяхъ вынесъ въ лѣвой рукѣ вилку съ разбитымъ черенкомъ и на вилкѣ кусочекъ хлѣба, посыпанный солью.

Горевъ разсказалъ Курилкину всю исторію своей поѣздки.

— Весьма вамъ вѣрю, милостивый государь, протяжно произнесъ квартальный, но, не имѣя чести знать васъ, не могу поручиться: это дѣло щекотливое.

— Я живу подлѣ васъ, въ домѣ Ульяны Михайловны.

— Ульяну Михайловну знаю, но васъ — извините. Да полиція и не имѣетъ никакого предписанія дѣлать ручательства.

Не знаю, чѣмъ бы кончилось разсужденіе квартальнаго, если бы не пронесли въ это время черезъ переднюю жареную утку.

— Это, кажись, утка, Петрушка?

— Точно такъ.

— Ну, прощайте, господа, мнѣ некогда, прощайте. И, улыбаясь во слѣдъ уткѣ, Курилкинъ пошелъ къ дверямъ.

— Ради Бога, если вы хотите обязать меня, развяжите съ этимъ грубіяномъ, почти сквозь слезы сказалъ Горевъ и заступилъ дорогу квартальному: — безъ этого я, право, не уйду.

Квартальный хотѣлъ снова начать рѣчь, но, вспомня объ уткѣ, замолчалъ; ему очень хотѣлось поскорѣе окончить разговоръ; притомъ же, когда человѣкъ радъ, въ восторгѣ, онъ гораздо добрѣе, даже бываетъ способенъ на самыя большія пожертвованія. Это случилось и съ Курилкинымъ:

— Если такъ, сказалъ онъ, то Богъ съ вами, я вамъ дамъ въ займы двугривенный до завтра. Подите сюда.

Квартальный вошелъ въ гостиную, отперъ бюро и, взявъ двугривенный, подаль его Гореву.

Любили ли вы когда-нибудь, мой читатель? Если да, то представьте себѣ человека, который любилъ когда-то, давно, въ своей юности, любилъ горячо, безумно. Прошло съ тѣхъ поръ много времени, и рѣзвый юноша сталъ степеннымъ мужемъ; прежняя любовь, кажется, совершенно забыта, и вдругъ нечаянно попался ему въ руки платокъ, надушенный, положимъ, резедою; кажется, ничего, но этотъ запахъ любила она, та, кому онъ посвящалъ первые восторги сердца, первыя мечты юности!.. И внезапно передъ нимъ воскресаютъ дни забытаго счастья; онъ жадно впитываетъ очаровательный ароматъ, снова переживаетъ, чувствуетъ прошедшее; онъ пьянѣетъ отъ слабого запаха резеды; ему пріятно это упоеніе; если бы громъ разразился надъ головою мечтателя, врядъ ли бы онъ его услышалъ!...

Случилось ли вамъ быть далеко отъ родины, долго не видать ея и неожиданно на чужой сторонѣ услышать родную пѣсню, которою васъ убаюкивали въ колыбели? Вы будете дрожать отъ этихъ звуковъ, вы готовы промѣнять ихъ на лучшія блага жизни. Умолкаетъ пѣсня, а вы долго будете прислушиваться, не воскреснутъ ли еще въ воздухѣ замершіе дорогіе звуки... Не правда ли?

Кажется, въ двугривенномъ Курилкина не было ни запаха резеды, ни звуковъ родной пѣсни, но Горевъ смотрѣлъ на него какими-то странными глазами; руки Горева опустились, глаза его, хотя открытыя, не глядѣли ни на что; онъ какъ-будто припоминалъ что-то давно прошедшее, грустное...

— Что же вы не берете? спросилъ квартальный,

— Что?

— Двугривенный.

— Ахъ, да, двугривенный! Нѣтъ, покорно васъ благодарю. Прощайте!

— Что съ вами?

— Ничего! Я отъ васъ не возьму, нѣтъ. Прощайте.

— Въ такомъ случаѣ, извольте, какъ вамъ угодно удовлетворить извозчика, безъ этого

васъ не выпустятъ со съѣзжей, а мнѣ пора обѣдать, жаркое простынетъ...

— Со съѣзжей? Да, я на съѣзжей! Ну, Богъ съ вами, давайте его сюда!

Горевъ почти вырвалъ изъ рукъ Курилкина двугривенный, бросилъ его въ глаза извозчику и выбѣжалъ на улицу.

Дождь шелъ, на основаніи прежнихъ примѣровъ, весьма исправно; съ крышъ лились на улицу ручьи воды. Николай Ѳедоровичъ скорыми шагами отправился гулять по окрестностямъ; его прежнюю мѣрную походку замѣнили быстрыя движенія; онъ почти бѣжалъ, размахивая руками, и такъ забрызгалъ, при встрѣчѣ, и безъ того уже мокрую бабу, что она нарочно остановилась и отправила вслѣдъ за нимъ съ полсотни разныхъ вѣжливыхъ эпитетовъ и пожеланій, которыхъ, разумѣется, Горевъ не слышалъ...

II.

Поздно вечеромъ пришелъ домой Николай Ѳедоровичъ, мокрый, измученный; его глаза горѣли лихорадочнымъ пламенемъ! „Да, точно такъ, это оно; но что я стану дѣлать?“ ворчалъ, входя въ комнату, Горевъ, и бросился на кровать; за нимъ внесла свѣчку старушка Авдотья, единственная служанка и собесѣдница Ульяны Михайловны.

— Что ты, баринъ, боленъ?

— Нѣтъ, милая, оставь меня.

— Ой-ли! Смотри, у тебя глаза свѣтятся, какъ у Васьки.

— У какого Васьки?

— Да вотъ у сибирскаго кота, что у барыни.

— Оставь меня!

— Э, баринъ, дѣло грѣшное оставить больного; у меня есть четверговая соль; разболтай щепотку да выпей—рукой сниметъ...

— Прощай, я спать хочу.

— Встань же, кормилецъ, перестелю постельку.

— Не нужно!

„Охота же человѣку спать по уши въ водѣ! Это рыбье дѣло“, ворчала Авдотья, выходя изъ комнаты.

Горевъ остался одинъ. Тихо и темно было въ его маленькой комнатѣ; за окномъ однообразно журчала вода, падая съ кровельнаго желоба въ корыто, да изрѣдка, за печкою, жалобно вскрикивалъ сверчокъ. Вотъ на каланчѣ ударило полночь, а Горевъ все еще не спалъ; внутреннее волненіе не давало ему покоя; онъ переворачивался съ боку на бокъ! метался на постели, а между тѣмъ услужливое воображеніе проносило передъ нимъ длинный рядъ свѣтлыхъ картинъ прошедшаго: онъ еще Ни-

коля — такъ его называютъ и маменька, и воспитанница маменьки, милая, голубоглазая Варенька. У его маменьки свой домъ въ Москвѣ, съ садикомъ; на дворѣ конюшня и въ ней пара лошадей, и двѣ жирныя коровы. По двору ходятъ цесарская курочка и павлинъ; въ садикѣ есть бесѣдка изъ акацій, и множество цвѣтовъ; по сторонамъ прямой аллеи, какъ царскіе скипетры, усыянные драгоценными камнями, растутъ стройныя мальвы, унизанныя съ верху до низу махровыми цвѣтами; извилистыя боковыя дорожки обсажены кустами огненныхъ настурцій и душистыхъ левкоевъ; у бесѣдки цвѣтутъ красныя и бѣлыя розы, и недалеко въ густыхъ вѣтвяхъ крыжовника поетъ зябликъ. Николая и Варенька рѣзво бѣгали по дорожкамъ, усыпаннымъ пескомъ. срывали цвѣты, приносили ихъ маменькѣ. прятались въ малину, и весело хохотали, отыскивая другъ друга.

А какое милое созданіе была эта Варенька! Волнистая, русая кудри рѣзво разбѣгались по ея бѣлымъ плечамъ; свѣжее, румяное личико, голубые глазки, полные огня, жизни и разума; розовый, вѣчно-улыбающійся ротикъ... А какъ улыбалась она! Сколько откровенности, чистосердечія, сколько прелести было въ этой улыбкѣ! Кажется, если бы Варенька подошла къ одру умирающаго, отъ ея улыбки ожилъ бы страдалецъ, она пролила бы въ него новую жизнь—и черная смерть, уже готовая внести въ свой списокъ новую жертву, улетѣла бы далеко отъ этой ангельской улыбки...

Но время идетъ; Николая окончили курсъ въ университетѣ; уже ему 18 лѣтъ, а Варенькѣ 16; она перестала бѣгать взапуски по садовымъ дорожкамъ; уже Варенька называла его Николаемъ Ѳедоровичемъ; ея веселая, беззаботная улыбка отъѣхалась тихою грустью; ея грудь высоко подымалась и дрожала какимъ-то томительнымъ чувствомъ. Часто, бывало, выйдетъ Варенька въ садъ, сорветъ розу, станетъ у бесѣдки и слушаетъ зяблика; онъ все поетъ, а она все слушаетъ — такъ ей хорошо, здѣсь бы и цѣлый день осталась... „Варенька!“ закричитъ старуха въ саду. Дѣвушка вздрогнетъ, всѣ мечты ея разлетѣлись; смотреть: у нея, вмѣсто розы, одинъ стебелекъ—и не замѣтила, какъ оцѣпала всѣ листочки. „Я здѣсь, маменька!“ говорить она, весело подбѣгая къ старухѣ.

— Что ты дѣлала, дитя мое?

— Ничего, такъ; хотѣла вамъ нарвать цвѣтовъ, да заслушалась зяблика. Ахъ, какой онъ добрый!..

— А ты опять плакала?...

— Какъ же не плакать, когда такъ... весело.

И густой румянецъ вспыхнулъ на щекахъ Вареньки.

Николай Ѳедоровичъ тоже переѣмнилъ. Бѣда отъ наукъ! зафилософствовалъ, т.-е., попросту говоря, сталъ задумчивъ, полюбилъ уединеніе. Еще на сторонѣ кое-какъ добрые люди расшевелиятъ его: онъ и говоритъ, и смѣется, и походитъ на человека. Чуть домой—куда все дѣвалось! Опять ученый, опять философъ!...

— Здоровъ ли ты, Николая? бывало, спрашиваетъ его маменька, и обнимаетъ его, и цѣлуетъ, и сквозь слезы смотритъ на свою радость, на своего Николиньку, а онъ, будто не понимаетъ ея участія, ея любви, любви материнской... Странное дѣло! неужели есть чувство священнича, сильнѣе этого? неужели гадкія, старинныя книги въ пергаментномъ переплетѣ такъ могутъ околдовать молодого человека?...

Душа Николая Ѳедоровича была переполнена чувствами; ему хотѣлось раздѣлить ихъ, онъ хотѣлъ высказать Варенькѣ много-много. „Почему же и не такъ? развѣ я не имѣю дара слова?“ думаетъ, бывало, Горевъ и весело войдетъ въ гостиную.

Варенька одна сидитъ за фортепiano. И къ чему она играетъ такія мольныя сонаты? Николай Ѳедоровичъ очень чувствителенъ; вотъ, онъ уже растроганъ, молча кланяется и тихо садится у фортепiano; ему отвѣчаютъ скромнымъ поклономъ. Кажется, соната очень занимаетъ и музыканта, и слушателя.

— Здоровы ли вы? спрашиваетъ Горевъ.

— Слава Богу.

— Маменька въ саду?

— Да-съ.

Не всѣ имѣютъ способность играть и говорить въ одно и то же время; бѣдная дѣвушка взяла не тотъ аккордъ, хотѣла поправиться, и взяла неправильно два; звуки громко вопіяли противъ гармоніи, клавиши, будто на зло, ускользали изъ-подъ пальчиковъ музыкантши... Какой-нибудь восточный калифъ пришелъ бы въ восторгъ отъ этой музыки. Варенька покраснѣла и окончила пьесу дикимъ, нестерпимымъ диссонансомъ Николай Ѳедоровичъ внимательно слушалъ.

— Безподобно! прошепталъ онъ.—Чья это соната?

— Плеея.

— Онъ великій музыкантъ. Вы скучаете?

— О чемъ мнѣ скучать?

— Какая сегодня прекрасная погода?

— Да, очень хороша.

И они замолчали. Варенька, пробовала лѣвою рукою какія-то двѣ клавиши, а Горевъ молча смотрѣлъ на нее. Кажется,

СОЧ. ГРЕВЕНКИ.

занятіе не слишкомъ веселое, но имъ очень не хотѣлось итти, когда ихъ позвали обѣдать.

Съ нѣкотораго времени Николаю Ѳедоровичу казалось, что Варенька груститъ, что ей скучно, что она нездорова. Ему стало жалъ ея; она была такъ хороша, что онъ отдалъ бы хотъ жизнь за право поцѣловать ея. Эта мысль постоянно его преслѣдовала: уснетъ ли онъ, и передъ нимъ голубые глаза и розовый ротикъ волшебницы! Вотъ, онъ уже полководецъ, побѣдитель половины свѣта; его вѣчаютъ лаврами, везутъ его на торжественной колесницѣ, но все еще сердце его не бьется полною радостью, ему не достаетъ чего-то, и онъ спѣшитъ стереть слезу своею великолѣпной одеждой. Вотъ онъ мореходецъ; исполнскіе замыслы зрѣютъ въ головѣ его; подобно Колумбу, онъ пускается открывать новый свѣтъ за полярными льдами—и открываетъ его. Народъ сбѣгается смотрѣть на диковинки, привезенныя отважными моряками, удивляется дорогимъ мѣхамъ и невиданнымъ металламъ; царь слушаетъ рассказы героя о новомъ свѣтѣ, гдѣ нѣтъ ни солнца, ни луны, а вѣчно свѣтятъ сѣверныя сіянія, гдѣ ловкіе франты прогуливаются верхомъ на бѣлыхъ медвѣдяхъ, гдѣ деревья растутъ съ бѣлыми листочками и цвѣтутъ зелеными цвѣтами, гдѣ рѣки льются красными струями (въ родѣ нашего лафита). Слушаетъ царь Николая Ѳедоровича, обнимаетъ его и говоритъ: „Проси у меня, чего хочешь“, Горевъ, не запинаясь, проситъ одного только поцѣлуя отъ Вареньки. „Многого ты просишь“, говоритъ царь важнымъ голосомъ: „но тебѣ нѣтъ отказа“. Побѣжали пажы, поскакали курьеры отыскивать очаровательницу, а Николай Ѳедоровичъ весь дрожитъ, ожидая счастливой минуты—и вдругъ пробудится... Бѣда да и только: отъ этакихъ сновъ легко сойти съ ума.

Весною, часу въ 5-мъ или 6-мъ передъ вечеромъ, Николай Ѳедоровичъ вошелъ въ бесѣдку; Варенька выходила изъ бесѣдки; они столкнулись въ дверяхъ—и остановились. Съ минуту молчаніе. Наконецъ, Горевъ началъ разговоръ печальнымъ голосомъ:

— Вы все скучаете?

— Нѣтъ, Николай Ѳедоровичъ.

— Вы на меня сердиты?

Молчаніе.

— Съ чего это вы взяли? спросила Варенька.

— Со всего, рѣшительно со всего. Вотъ видите... И Николай Ѳедоровичъ тихо взялъ ее за руку.

— Отчего вы меня не зовете по прежнему Николаемъ, какъ брата? Къ чему этотъ Оедорычъ?

Дѣвушка молчала; рука ея дрожала въ рукѣ Горева; ея щеки горѣли, глаза были потуплены. Горевъ судорожно пожалъ ея руку и небесно-голубой взоръ Вареньки встрѣтился съ его глазами: велико было очарованіе; невольно, безотчетно Николай Оедоровичъ бросился къ ней на грудь; уста ихъ встрѣтились и сомкнулись безконечнымъ поцѣлуемъ.

Говорятъ, жители Москвы замѣтили въ этотъ день на небѣ очень рано передъ вечеромъ яркую звѣздочку. Иначе и быть не могло. Чистый дѣвственный поцѣлуй первой любви летитъ въ небо, сверкнетъ тамъ свѣтлою искрою, блестящею звѣздочкою, и угаснетъ, угаснетъ навсегда!

Разъ человѣкъ родится, разъ умираетъ и одинъ разъ ощущаетъ истинный восторгъ поцѣлуя. Слаба натура человѣка, она бы не вынесла въ другой разъ присутствія въ себѣ небесной радости, и благое провидѣніе, щадя насъ, даетъ единожды, и то не всякому, это наслажденіе.

Въ бесѣдку вошла маменька, и нестати, а можетъ быть, и весьма кстати прервала длинный поцѣлуй. Молодые люди смѣшались; старушка, кажется, ничего не замѣтила и позвала ихъ въ комнаты пить чай.

Никогда еще не замѣчалъ Николай Оедоровичъ у своей маменьки такого обильнаго краснорѣчія, какъ въ продолженіе всего этого вечера: старуха безъ умолку говорила—ни ему, ни Варенькѣ—а такъ, почти сама себѣ, о страстяхъ, о характерахъ, о долгѣ чести, о благородствѣ, о состраданіи, Богъ знаетъ, о какихъ отвлеченныхъ предметахъ, и говорила убѣдительно профессоромъ психологій, подкрѣпляла свои рассказы примѣрами изъ жизни—словомъ, взяла на себя роль проповѣдника; изрѣдка поглядывала она на Николинку, который какъ-то весьма неловко держался на стулѣ и смотрѣлъ въ чашку. Такъ прошелъ весь вечеръ.

Николай Оедоровичъ, идя спать, обнялъ и горячо поцѣловалъ свою маменьку. Какъ одна минута счастья перемѣнила его: онъ сталъ опять прежнимъ Николинкой. Старуха набожно перекрестила его; онъ ее еще разъ обнялъ, и въ это время непримѣтно пожалъ Варенькѣ ручку. Всѣмъ тремъ снились самые прекрасные сны.

Насталъ 1812 годъ—пора испытаній и пожертвованій, пора славы и величія для Россіи. Народъ могучій, русскій народъ готовился къ народной войнѣ, рѣшился биться съ врагомъ на смерть за каждый шагъ

родной земли, за каждую каплю воды, за каждый вздохъ роднаго воздуха. И какое было величественное зрѣлище въ этомъ пригосвященіи! Грозовая туча шла съ запада; она поглотила всѣ царства Европы и гордо двигалась, гремя побѣдоносными громами. Но русскіе не пали предъ ея сокрушительною тяжестью; они молились Богу и, улыбаясь, посматривали на западъ. Внутреннее сознаніе своего достоинства укрѣпило силы ихъ, а врожденная жажда молодечества рада была помѣряться силою съ иновѣрцами. Всѣ волновались, суетились, готовили оружіе, учили ратниковъ; но ни тѣни малѣйшаго ужаса, страха, даже боязни не было видно ни на одномъ лицѣ. Предложить народу отдаться безъ битвы французу или встрѣтить его съ хлѣбомъ и солью значило накликать бѣду на свою голову. Жены сами выпровожали мужей своихъ на войну; мать, удерживая слезы, благословляла сына на защиту отечества; старикъ, забывъ свои сѣдины, становился въ ряды вмѣстѣ съ молодымъ внукомъ...

Чудная была пора! свѣтлая страница въ исторіи русскихъ. Въ трудныхъ обстоятельствахъ узнается вся сила народнаго духа.

Въ домѣ старухи Горевой было необыкновенное движеніе: передъ крыльцомъ стояла почтовая повозка, запряженная тройкою лихихъ коней; въ комнатахъ живѣе двигалась прислуга: выносили дорожныя вещи, ящики съ кушаньемъ, чемоданы, и все это громоздили на повозку. Горевъ торопилъ людей; его маменька хлопотала, чтобъ чего не забыли. Варенька ушла въ гостиную, стала у окна и молча смотрѣла на природу, а между тѣмъ крупныя слезы, украдкой пробиваясь, катились по ея розовымъ щечкамъ. Ей было очень грустно. День былъ сѣрый, невеселый; тучи неслись по небу. Въ почтовой повозкѣ, у крыльца, коренная лошадь по временамъ встряхивала головою и колокольчикъ отзывался такъ жалобно!...

— Все готово, сказалъ маменькѣ Николай Оедоровичъ.

— Хорошо, отвѣчала старушка:—но прежде, нежели я отпущу тебя, мнѣ нужно переговорить съ тобою. Пойдемъ.

Она вошла съ Николаемъ Оедоровичемъ въ гостиную и заперла за собою дверь. Варенька хотѣла выйти.

— Останься, Варенька, сказала старуха:—ты въ нашемъ семействѣ не лишняя, и, сѣвъ на диванъ, продолжала:—Садись, Николинка, возлѣ меня, вотъ адѣсь поближе. Сердце мое вѣщаетъ что-то недоброе. Не хочется мнѣ отпускать тебя. Не знаю, до-

ведетъ ли Господь намъ увидѣться... Старуха отерла платкомъ слезы.

— Полно, маменька, перестаньте! Будто это за горами! Чрезъ недѣлю я опять обниму васъ.

— Молчи, Никола, знаешь ли ты, что будетъ чрезъ часъ? Молодость! у васъ все возможно. Поживешь на свѣтѣ, не станешь распорядиться будущимъ, какъ рублемъ, который лежитъ у тебя въ карманѣ. Предчувствую, что намъ нескоро увидѣться: всю ночь мнѣ снилось страшные сны. Молчи, Бога ради. Ты учился многому, и, по вашему, все это пустяки. Я женщина неученая и вѣрю снамъ, вѣрю предчувствіямъ: они никогда меня не обманывали. Ты любишь, сынъ мой, Вареньку; она тебя любить—это я давно знаю; я знаю васъ обоихъ и радуюсь вашей склонности. Она дочь друга покойнаго отца твоего, круглая сирота... Ты долженъ быть ей защитой. Обнимитесь, дѣти мои, благословляю васъ...

И Николай Ѳедоровичъ и Варенька бросились на шею маменькѣ.

— Ну, полно, полно, дѣти, перестаньте! Ты, Никола, возвратишься въ Москву, обручишься съ Варенькою и поѣдешь въ армию. Твое желаніе для меня свято; надобно защищать отечество. Когда выгонять враговъ, торопись домой—вотъ твоя награда: тогда женись на Варенькѣ.

— Но...

— Безъ *но*, Никола. Не должно веселиться, когда груститъ царь-батюшка, когда плачетъ Россія.

— Варенька, поди сюда.

Старуха подошла къ бюро, открыла его, выдвинула ящикъ, опрокинула, прижала пружинку и двойное дно растворилось; тамъ лежала связка банковыхъ билетовъ.

— Вотъ, Никола, все имущество, которое оставилъ тебѣ отецъ: здѣсь пятьдесятъ тысячъ. Если будете бережливы—не умрете съ голоду вмѣстѣ съ Варенькою. Теперь, кажется, я сказала все, что лежало на душѣ моей, продолжала старуха, запирая бюро.—Поѣзжай, сынъ мой. Да будетъ надъ тобою воля Божія и мое благословеніе.

Маменька обняла Николая Ѳедоровича, Варенька тоже; онъ сѣлъ въ повозку и поскакалъ къ петербургской заставѣ.

Если вы острякъ, любезный читатель, и задумаете во слѣдъ уѣзжающему Гореву пропѣть прекрасные стихи:

Мальбругъ въ походъ поѣхалъ,
Конь былъ подъ нимъ игрень.
Когда же онъ пріѣдетъ?
Авось ли въ Троицынъ день!

то я долженъ предупредить васъ, несмотря на все достоинство стиховъ, ваша острота

не состоится, потому что Горевъ поѣхалъ вовсе не на войну, а въ мирный городокъ Россійской имперіи, въ Тверь. Впрочемъ, если я и не скажу, то всякому довольно извѣстно, что въ 1812 году Москва и Тверь между собою *никакого худа не имѣли*, а Николай Ѳедоровичъ скакалъ въ Тверь вслѣдствіе нравственной эпидеміи. Какъ подумаешь, па что не бывало эпидеміи? Эпидемія альманаховъ, овцеводства, свекловичнаго сахара, даже очковъ. Въ 1833 году оставилъ я одинъ уѣздный городъ *Россійскаго государства* въ страшной эпидеміи очконосія. Вы не повѣрите—все носило очки! Самъ докторъ въ высокой степени страдалъ этою болѣзнію; полиція, судебныя мѣста, уѣздное училище—все смотрѣло на свѣтъ Божій стеклянными глазами; не только народъ чиновный, нѣтъ, простые канцеляристы, даже школьники!... Чуть съ глазъ начальство за уголъ, сейчасъ на глаза оправу—и пѣтущатся по улицѣ... Года черезъ два возвращаюсь, и не вѣрю глазамъ своимъ: ни однихъ очковъ на улицѣ, всѣ носы разсѣдланы; вездѣ такіа благопристойныя лица—не тотъ городъ: прошла эпидемія!...

Во время нашествія Наполеона въ Москвѣ существовала своего рода эпидемія: всѣ бѣжали изъ Москвы. Куда? куда-нибудь; кто въ Казань, кто въ Астрахань, кто на китайскую границу, кто на встрѣчу Наполеону, лишь бы не оставаться въ Москвѣ. Мать Горева заразилась этою болѣзнію, притомъ же и докторъ Адамъ Карловичъ совѣтовалъ ей, для поправленія физическаго здоровья, пожить въ деревнѣ, поспотрѣть, какъ коровы кушаютъ траву и покушать молока ихъ на деревенскомъ воздухѣ. Но у Горевой не было деревни. Кстати, одна ея знакомая писала изъ Твери, что верстахъ въ 20 отъ города продается небольшая хорошая деревенька, и потому въ одинъ день, когда Николай Ѳедоровичъ пришелъ къ матери просить ея согласія и благословенія вступить въ ряды защитниковъ отечества, она отвѣчала, что не благословить его, пока онъ не обезопаситъ ее отъ непріятеля, т. е. поѣдетъ въ Тверь, посмотритъ деревню и, буде она окажется годною—въ чемъ не было никакого сомнѣнія—то купить ее, „и тогда“, прибавила старуха, „я буду спокойна, останусь съ Варенькою въ деревнѣ, а ты поѣзжай изгонять непріятеля“. Бѣдная, она воображала, что къ тверской деревнѣ не можетъ приступить никакая сила иновѣрная... Это была странность эпидеміи.

Нечего дѣлать Николаю Ѳедоровичу; душа его рвалась на войну, а надобно было ѣхать въ Тверь осматривать какую-то усадь-

бу Кузовкино или Лукошкино, право, не помню хорошенько.

Не скоро дѣлается, а сказка скъзывается очень скоро, говорить русская пословица, и говорить, какъ и всѣ ея сестрицы-пословицы, очень справедливо. Давно ли мы оставили Николая Оедоровича, ѣдущаго по московскимъ улицамъ къ пѣтербургской заставѣ, а онъ уже въ Твери, напился въ трактирѣ прекраснаго чаю, едва не подавился коврижкой, въ которой, какъ-то нечаянно, былъ запеченъ штукатурный гвоздь, узналъ практически, что означенная коврижка вмѣсто миндаля была украшена бобами, и на напятыхъ клячахъ поѣхалъ проселочными дорогами осматривать свою будущую резиденцію.

Вотъ, онъ минулъ урочище Грибопеки, вотъ и деревня Клюквино, вправо Брусникино, далѣе Мирошкофды, Лыкоплеты, а вотъ и Лукошкино: направо лѣсъ и болото, нѣтъ болото и лѣсъ, вправо, въ лѣсу, течетъ ручей и впадаетъ нѣтъ въ болото; этотъ ручей именуется рѣка Быстрина-Глубина. Рѣка Быстрина-Глубина на своемъ двуверстномъ теченіи огибаетъ песчаный бугоръ, на которомъ растетъ сосновая роща; въ этой рощѣ въ жаркіе лѣтніе дни нестерпимо пахнетъ смолой и постоянно, и въ жаръ, и въ холодъ, стоитъ подсыетка избъ, что и составляетъ въ буквальный смыслъ деревню Лукошкино.

Прошла недѣля со времени отъѣзда Горева изъ Москвы; пора бы ему возвратиться, а его нѣтъ; только получили письмо, въ которомъ писалъ, что скоро будетъ, что Лукошкино никуда не годится, и что онъ посмотритъ по дорогѣ другую усадьбу Качадыкъ, которая тоже продается, и если она получше, то купить.

Еще проходитъ недѣля—нѣтъ Горева; еще двѣ—и слуху нѣтъ, а тутъ французъ идетъ, вотъ-вотъ, уже подъ Москвою; всѣ добрые люди выѣхали. Куда поѣдетъ старуха Горева съ Варенькою?... Нѣтъ сына, бѣда на плечахъ. Страшно!.. А съ Николаемъ Оедоровичемъ было вотъ что:

Ему очень не полюбилось Лукошкино: ни мѣстоположенія, ни воздуха, ни кувшина молока, ни свѣжихъ яицъ, ни даже порядочнаго хлѣба въ немъ не было, а маменькѣ необходима была деревушка. Что дѣлать? Сталъ разспрашивать старосту и узналъ, что верстъ десятокъ въ сторону есть помѣщикъ Родіонъ Ивановичъ Лихошерстовъ, который хочетъ продать свою усадьбу Качадыкъ, и что у него усадьба на порядкахъ: всякаго заведенія достаточно, а ягодъ и грибовъ хоть не бери, и хлѣбъ, дескать, растетъ въ количествѣ, и рыба въ изобиліи, и лѣсу довольно. „По-

пытаюсь“, подумалъ Николай Оедоровичъ: послалъ письмо въ Москву къ матери, чтобы не беспокоилась, а самъ поѣхалъ въ Качадыкъ.

Село Качадыкъ стояло на крутой горѣ; подъ горою шла довольно-глубокая рѣчка, съ обрывистыми берегами; черезъ рѣчку былъ мостъ, безъ перилъ, построенный на превысокихъ сваяхъ, которыя отъ самаго легкаго экипажа шатались во всѣ стороны, что весьма тѣшило Лихошерстова. Съ моста прямо подымалась дорога на гору и вела къ господскому дому, а отъ дома тянулся рядъ крестьянскихъ избъ.

У самаго крыльца Горевъ встрѣтилъ идущаго мужика и спросилъ: „Дома баринъ?“ Мужикъ посмотрѣлъ на Горева, улыбаясь, замоталъ головою и пошелъ далѣе. На крыльцѣ стояла старуха.

— Дома баринъ?

— Слава Богу, дома, кормилецъ.

— Можно видѣть?

— Нѣту-те, нельзя, въ отлучкѣ.

— Гдѣ?

— Свадьбу гуляетъ, Богъ радость далъ!

— Что, онъ женится?

— Нѣту-те, сударикъ, онъ холостъ, а выдаетъ замужъ за Сеньку-лакея горничную Дуняшу, и самъ на свадьбѣ—вотъ какъ!

— Гдѣ же свадьба?

— Въ сборной избѣ, кормилецъ, тамъ у насъ праздничекъ далъ Господь! И пироговъ напекли, и пивца, и винца, и бражки вволю. Свадьба не какая-нибудь простая, важная, членистая—вотъ какъ у насъ!

— Хорошо, матушка. Гдѣ же сборная-то?

— А вотъ, въ концѣ улицы, вишь передъ окнами кумъ Тереха пляшетъ, тамъ и есть.

— Спасибо, матушка. Прощай.

— Прощай, сударикъ-кормилецъ; то-то обрадуется гостю Родіонъ Ивановичъ!

Въ сборной избѣ на первомъ мѣстѣ, за столомъ, сидѣла Дуняша, краснощекая, здоровая дѣвка; съ одной ея стороны помѣщался мужъ, долговязый лакей, очень похожій на бутылку рейнвейна, а съ другой—плечистый мужчина. лѣтъ тридцати, съ круглымъ лицомъ, какъ плошка, съ огромными усами, съ вольною рѣчью, съ зипуномъ нараспашку. Это самъ Лихошерстовъ, самъ Родіонъ Ивановичъ. Рядомъ съ нимъ помѣщался Нахалъ, сѣрый песъ борзой породы. Далѣе сидѣли на лавкахъ мужики и бабы. Отецъ Дуни обносилъ честную компанію виномъ; барину чарка вина, а Нахалу кусокъ говядины. Пусть-де и онъ потѣшается, пусть и онъ знаетъ праздникъ. Собака не простая, барская!

— Что вы не поете — а? сказалъ Лихошерстовъ, покручивая усы.

— Все бы тебѣ пѣть, баринъ, да пѣть, а на водку такъ нѣтъ.

— Экой свѣтъ сталъ, подумаешь, своему барину не стануть пѣть безъ денегъ. Дѣлать нечего, вотъ гривенникъ, смотрите же!

— Споемъ, споемъ, вотъ какъ! Спасибо, кормилецъ. Гдѣ же Стешка? Безъ Стешки пѣть нельзя, темпить некому.

— Подать сюда Стешку! закричалъ Родіонъ Ивановичъ.—Безъ темпу не пѣть!

— Стешка, а Стешка! отозвались разные голоса по избѣ и по сѣнямъ.

Пришла Стешка, женщина лѣтъ подъ тридцать, полная, здоровая, стала посреди избы, подбоченилась, крикнула: „Эй вы, бабы голосистыя!“ дернула плечомъ—и нѣсколько десятковъ бабьихъ голосовъ гаркнуло любимую Лихошерстова:

Вдоль по улицѣ молодецъ идетъ,
Балалаечку со гуслими несетъ.
Охъ, струнка въ струнку бьетъ,
Струна струнъ приговариваетъ!
По широкой по муравушкѣ идетъ,
По муравушкѣ по травушкѣ.
Охъ, струнка въ струнку бьетъ,
Струна струнъ приговариваетъ!
Въ балалаечку поигрываетъ,
А во гуслицы побрякиваетъ.
Охъ, струнка въ струнку бьетъ,
Струна струнъ приговариваетъ!

Живо поютъ бабы пѣсню, Стешка въ такту подергиваетъ плечами, топаешь ногой и щуритъ глаза. „Экая баба!“ поговариваютъ мужики: „посмотри, какъ темпить!“ — „А еще молода“ отвѣчалъ другой: „дай ей въ лѣта войти“. — „Что-то будетъ какъ потемпить она лѣтъ пятокъ?“ подхватилъ третій.

И Родіонъ Ивановичъ въ восторгѣ; онъ прищелкиваетъ, подпрыгиваетъ на мѣстѣ и кричитъ *bravo*! Въ эту самую минуту вошелъ въ избу Горевъ. Можете представить, какъ обрадовало хозяина появленіе его. Лихошерстовъ не зналъ, куда посадить дорогаго гостя, продержалъ его здѣсь до ночи и повелъ ночевать къ себѣ въ домъ, извиняясь, что онъ не можетъ достойно принять пріѣзжихъ гостей изъ столицы.

Трое сутокъ Лихошерстовъ не выпускалъ Николая Ѳедоровича изъ Качадыка: то показывалъ ему свою деревню, въ которой считалось по послѣдней ревизіи 21 душа, то возилъ въ лѣса стрѣлять дроздовъ, то травилъ Нахаломъ всѣхъ возможныхъ четвероногихъ. Угощалъ какъ друга.

Утромъ часа въ четыре слышитъ Николай Ѳедоровичъ, уже ругается Родіонъ Ивановичъ, уже стучать тарелками; минутъ чрезъ пять отворяется дверь въ его комнату и является самъ хозяинъ, со свѣчкою въ рукахъ, за нимъ долговязый Сенька несетъ на подносі графинъ съ *горьчайшею*, за Сенькою баба тащитъ селянку.

Пришли, поставили всѣ снадобья на столикъ, подлѣ кровати Горева, и вышли.

— Вставай, братецъ, Горевъ, кричитъ хозяинъ:—путные люди не спятъ такъ долго, а еще собирается служить въ военной!... Охъ, вы, нѣженки, ученые, столичные! Ну же, ну! И Лихошерстовъ тянулъ Николая Ѳедоровича за ноги съ кровати.

Дѣлать нечего, встаетъ гость, зѣваетъ, морщится, глотаешь пріемъ *горьчайшей*, ѣстъ селянку. Иначе нельзя, а то, пожалуй, хозяинъ разсердится и мѣсяцъ не выпуститъ.

Такъ начинался день, а тамъ и пошелъ, и пошелъ, и пошелъ... до самаго вечера все въ этомъ же вкусѣ.

Качадыкъ не полюбилися Николаю Ѳедоровичу въ тысячу разъ больше Лукошкина; радъ бы уѣхать, не на чемъ. На вторые сутки своего плѣна, онъ какъ-то успѣлъ нанять у проѣзжавшаго одноконную подводку и, къ удивленію и величайшей радости, не замѣтилъ со стороны радушнаго хозяина никакого сопротивленія.

Николай Ѳедоровичъ простился съ Родіономъ Ивановичемъ, сѣлъ и поѣхалъ. Пріѣзжаютъ къ мосту, нѣтъ переправы: четыре доски сорваны на мосту. Пришлось возвратиться въ Качадыкъ. Кое-какъ обогрели назадъ оглоблями повозку и потянулись на гору.

Смотритъ Горевъ—его встрѣчаетъ какая-то процесія: впереди идетъ Лихошерстовъ... нѣтъ, впереди борзая собака, а за собакою баринъ, за бариномъ кривой, рыжобородый Орфей наигрываетъ на волынкѣ нѣчто въ родѣ марша, за Орфеемъ ряды мужиковъ, бабъ и мальчиковъ, оглашающихъ Качадыкъ дикимъ крикомъ и визгомъ.

— Что, братъ, далеко уѣхалъ—а?—кричитъ Николаю Ѳедоровичу Родіонъ Ивановичъ, подходя къ повозкѣ:—вѣдь говорилъ, раньше трехъ сутокъ не отпущу, хоть умирай; у меня такой обычай... Люблю угощать добраго человѣка. А, Николай Ѳедоровичъ, каковъ мостъ? Да это просто не мостъ, а чортъ знаетъ, какая хитрая штука!

Говоря слова эти, Лихошерстовъ тащилъ Горева подъ руку въ домъ, гдѣ было приготовлено все, какъ слѣдуетъ, для принятія дорогаго гостя. Хозяинъ подошелъ къ столу, выпилъ за здоровье Горева чарку, потомъ другую, и пошелъ, и пошелъ...

Кончилось трое сутокъ карантина для Горева. Родіонъ Ивановичъ приказалъ заложить въ повозку тройку своихъ лошадей, чтобъ довезть гостя до Твери, съ утра поилъ и кормилъ его, самъ себя не забывая. Николай Ѳедоровичъ, чтобъ поскорѣе отвязаться отъ песноснаго хозяина, обѣщалъ ему скоро возвратиться, купить у него деревню и итти служить съ нимъ въ

одинъ полкъ. Николай Ѳедоровичъ сѣлъ въ повозку, а Родіонъ Ивановичъ взялъ ружье и пошелъ возлѣ повозки.

— Куда вы, Родіонъ Ивановичъ?

— Пойду на охоту, кстати и тебя провозу до рѣки.

Повозка поѣхала шагомъ. Лихошерстовъ, идя рядомъ съ нею, болталъ безъ умолку, клялся и божился, хотя съ нимъ никто не спорилъ.

— Да, пріятель, говорилъ онъ: — этотъ Наполеонъ штука замысловатая.

— Да.

— Чортъ возьми, мнѣ кажется, я его гдѣ-то видалъ, въ Твери или въ Торопцѣ.

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а должно быть, клянусь всѣмъ Качадыкомъ, это былъ онъ, этойкой поджаристый!

Между тѣмъ лошади неохотно начали спускаться съ крутой горы, коренная почти сядилась на крестецъ и нетерпѣливо мотала головою.

— Да, поджаристый, продолжалъ Лихошерстовъ: — этакая дрянъ намъ не почемъ: души его, бей, коли! Такъ ли, сослуживецъ?

— Такъ.

— Стрѣлай его, варвара! Бацъ!

И Родіонъ Ивановичъ, въ пылу гнѣва, не шутя выстрѣлилъ у самого уха Николая Ѳедоровича; испуганныя лошади понеслись съ горы въ рѣку; къ счастью, ловкій кучеръ успѣлъ ихъ направить на мостъ, и повозка, гремя, запрыгала по ходячему мосту; Николай Ѳедоровичъ вздохнулъ свободнѣе, ожилъ, но не надолго. Лихошерстовъ забылъ положить на мостъ сорванные доски; лошади доскакали до пустаго мѣста, бросились въ сторону, и повозка, и кучеръ, и лошади, и Горевъ — все зашумѣло въ рѣкѣ...

Очнулся Николай Ѳедоровичъ, смотритъ: у печки горитъ лучина, слабо освѣщая избу; въ углу старуха прядетъ ленъ; однозвучный говоръ ея самопрялки сливается съ ворчаньемъ чернаго кота, спящаго въ головахъ Николая Ѳедоровича; кругомъ черныя стѣны...

— Гдѣ я? спросилъ Горевъ.

— Ась? сказала старуха, вытянувъ впередъ шею и останавливая рукою колесо самопрялки.

— Гдѣ я, голубушка?

— Очнулся, родимый, очнулся! Трофимушко, а Трофимушко! очнулся.

— Слава те, Господи, коли очнулся! проворчалъ съ палатей мужской голосъ и опять замолкъ.

Между тѣмъ къ Николаю Ѳедоровичу подошла старуха и начала говорить: „Ничего, кормилецъ, не безпокойся, ты у доб-

рыхъ людей, у Трофима Иванова, а я жена его, мы крестьяне Родивона Ивановича; вотъ третья недѣля, какъ Трофимушко вытаскилъ тебя изъ воды, а ты все бредилъ, все былъ не при себѣ; и кучера, и пристяжную одну вытащили, а гнѣдко да савраско пошли, сердечныя, ко дну. Другая недѣля идетъ, какъ нашъ баринъ уѣхалъ въ дружину. Усни, голубчикъ, утромъ все узнаешь“. Но Горевъ давно уже спалъ и безъ совѣта старухи.

На утро съ ужасомъ узнать онъ, что пролежалъ въ безпамятствѣ почти три недѣли въ избѣ добраго рыбака Трофима. „Три недѣли! А что дѣлаетъ матушка? Варенька?!... Ъду, сейчасъ ѣду!“ И, шатаясь, Горевъ всталъ съ постели и началъ одѣваться...

Откуда берутся у человѣка силы при необычайныхъ потрясеніяхъ? Отчего иногда слабого больного не могутъ удержать четыре сильные, здоровые человѣка? Отчего Горевъ, пролежавшій въ постели почти безъ пищи двадцать дней, вдругъ всталъ, одѣлся и совсѣмъ былъ похожъ на здороваго человѣка, если бы не измѣняли ему необычайная блѣдность и худощавость лица и впалые глаза, сверкавшіе болѣзненнымъ, лихорадочнымъ блескомъ. Трофимъ, глядя на него, покачивалъ головою.

Николай Ѳедоровичъ одѣлся въ то самое нлатье, въ которомъ былъ вытащенъ изъ воды; прочія всѣ его вещи и деньги, бывшія въ чемоданѣ, потонули.

— Гдѣ же мои часы? спросилъ Горевъ.

— Э, часы-то, батюшка, не пропали ни весъ какъ: ихъ взялъ Родивонъ Ивановичъ.

— Вашъ баринъ?

— Да, нашъ баринъ; говоритъ: „къ чему, дескать, утопленнику часы? умереть, съ нами не хоронить стать, а выздоровѣть, будемъ служить вмѣстѣ — сѣиграемся; часы, говоритъ, вещь любопытная, у васъ кто-нибудь украдетъ, а мнѣ въ походѣ, говорить, для безопасности пригодятся“, взялъ да и поѣхалъ.

— На что же я найму лошадей?

— Ничего, баринъ, сказалъ Трофимъ: — я сегодня ѣду въ Тверь, и даромъ тебя свезу.

— Нѣтъ, въ Москву, въ Москву!..

— Въ Москву ѣхать не для чего; тамъ плохо.

— Какъ плохо?

— Не сегодня, завтра, французъ войдетъ; всѣ выѣхали изъ Москвы.

— Самъ Родивонъ Ивановичъ поѣхалъ отставать *ее, матушку*, перебила старуха; ну, да куда ужъ ему!..

— Говорятъ, ихъ старшой идетъ на нее, сказалъ Трофимъ: — а онъ, вишь, Антихристъ, што ли...

— Баютъ, что онъ съ рогами, словно корова, опять перебила старуха.— Ухъ, какія страсти!...

Сердце Горева разрывалось отъ такихъ разсказовъ. „Матушка, Варенька, бѣдныя!“ шепталъ онъ и торопилъ Трофима ѣхать.

Въ Твери Горовъ промѣнялъ свое платье, на простое, крестьянское, взялъ додачи нѣсколько пѣлковыхъ, и на эти деньги, на извозчикѣ, поѣхалъ въ Москву.

Чѣмъ ближе къ Москвѣ, тѣмъ болѣе попадалось на встрѣчу экипажей, нагруженныхъ всѣмъ безъ различія; женщины, дѣти, старики — всѣ тянулись изъ Москвы. Разсказы о непріятелѣ часъ отъ часу становились страшнѣе. Горовъ летѣлъ бы въ Москву, а тутъ иногда столько столпится встрѣчныхъ экипажей, что извозчикъ стоитъ полчаса на одномъ мѣстѣ, ни взадъ ни впередъ. Крикъ, шумъ, толкотня, давка — сущая ярмарка!

До Москвы оставалось недалеко; былъ вечеръ. Горовъ, измученный дорогою, прилегъ на повозкѣ и вздремнулъ; просыпается и чувствуетъ, что повозка стоитъ. „Опять эти встрѣчныя!“ съ досадою проворчалъ онъ, и открылъ глаза. Полнеба было объято яркимъ заревомъ, багровыя тучи носились надъ нимъ. Тихо стоялъ весь обозъ по дорогѣ, сколько можно было видѣть; опустивъ руки, молча глядѣлъ народъ; направо и налево нѣсколько человѣкъ на колѣняхъ безмолвно молились, извозчикъ крестился и лѣвымъ рукавомъ отиралъ слезы.

— Что это? спросилъ Горовъ.

— Москва горитъ! отвѣчалъ онъ шепотомъ и тихо зарыдалъ.

Въ это время по дорогѣ изъ Москвы поскакалъ казакъ.

— Французъ палитъ? спросилъ кто-то.

— Французъ, отвѣчалъ козакъ: — все вырѣзалъ, все выжегъ, ни души живой не оставилъ!

И поскакалъ далѣе.

Нѣсколько дней спустя, священникъ одной изъ подмосковныхъ деревень нашелъ на погостѣ полуживаго человѣка, который безпрестанно шепталъ: „Матушка, Варенька, горятъ, горятъ!“ причемъ глаза его безумно смотрѣли во всѣ стороны.

Прошла война. Русскіе взяли Парижъ: миръ и тишина благословили Европу на новую и безмятежную жизнь. Москва начала отстраиваться, старушка возникла изъ подъ своего пепла красивою, молодою, какъ царь-дѣвица, въ родныхъ ея сказкахъ, отъ живой воды. И Горовъ пришелъ въ Москву. Тяжкая болѣзнь два года прoderжала его

въ постели. Товарищи его возвратились на родину въ чинахъ, въ крестахъ, а онъ все тотъ же студентъ, потерялъ мать, невѣсту, состояніе, и былъ лишенъ судьбою даже удовольствія сражаться съ врагами своей родины. Часто онъ ходилъ на мѣсто, гдѣ былъ его красный домикъ съ садикомъ, гдѣ зеленѣла бесѣдка, гдѣ онъ такъ бывалъ счастливъ; тамъ чернѣли кучи обгорѣлыхъ развалинъ — и только.

Впрочемъ, Николаю Федоровичу обѣщали мѣсто, разумѣется, не выгодное, но все же оно могло его избавить отъ голодной смерти. Даже онъ нашелъ Вареньку; она была гувернанткою у какой-то богатой дамы и жила въ довольствѣ.

Николай Федоровичъ, испытывая всѣ непріятности нищеты, не могъ и думать о женитьбѣ, даже не хотѣлъ тревожить Вареньку, не являлся никогда передъ нею, а только сквозь заборъ смотрѣлъ на нее, когда она гуляла съ дѣтьми по саду. „Къ ней присвадывается порядочный человѣкъ“, думалъ Николай Федоровичъ: „она съ нимъ будетъ счастлива, меня позабудетъ: долго ли дѣвчискѣ забыть любовь!.. А если она, изъ любви ко мнѣ, выйдетъ за меня замужъ? что я предложу ей? кусокъ чернаго хлѣба, смоченный слезами! Нѣтъ, не хочу возмущать твоего покоя, моя радость! Живи себѣ, мой ангелъ, счастливо“.

И Николай Федоровичъ, со слезами на глазахъ, отходилъ отъ забора, и долго ему представлялся въ глазахъ голубой платочекъ Вареньки...

Вотъ какія картины прошедшаго явились Николаю Федоровичу, когда онъ лежалъ въ темной комнатѣ Ульяны Михайловны. Ночь прошла, а воспоминанія Николая Федоровича дошли до вчерашняго приключенія съ квартальнымъ: онъ началъ припоминать всѣ подробности и вскочилъ съ постели. Странная, дикая улыбка пробѣжала по лицу его; еще мгновенье — и Николая Федоровича уже не было въ комнатѣ: онъ куда-то не шелъ, а бѣжалъ.

III.

Часу въ десятомъ утра Курилкинъ сидѣлъ дома въ богатомъ шелковомъ шлафрокѣ, который недавно подарилъ ему одинъ знакомый бухарецъ, и пилъ кофе изъ чашки — вамъ нѣтъ надобности знать, изъ какой именно, и какой кофе: это домашніе секреты. Курилкинъ пилъ кофе и курилъ трубку.

— Какой ты добрый, мой душечка! говорила ему жена: — вчера ни за что, ни про что далъ двугривенный этому сорванцу.

— Ахъ, моя крошечка! какъ ты, проживъ столько лѣтъ на свѣтѣ, не знаешь, что есть такія вещи, которыя, покажи только, такъ радъ отдать послѣдній грошъ; я спорю, а тутъ ровнехонько подъ носомъ пронесли утку, такую зарумяненую!..

Курилкинъ улыбнулся.

— Все-таки, отвѣчала жена: — утка не ушла бы, и двугривенный былъ бы въ карманѣ.

— И безъ этого еще цѣлый десятокъ двугривенныхъ будетъ! А это, знаешь, можетъ быть, такой человѣкъ, знаешь, посланный отъ начальства узнать, что-нибудь насчетъ добросердечія, милосердія, добродѣтели или чего подобнаго—понимаешь?

— Баринъ, баринъ! гости! кричалъ Петрушка, вбѣгая въ комнату, гдѣ сидѣлъ квартирный съ женою.

— Что за гости?

— Какой-то генералъ, кажись, полиціймейстеръ, да еще вотъ тотъ, что вчера былъ съ извозникомъ, какъ изволили обѣдать.

— Видишь! сказалъ тихо женѣ квартирный, значительно подымая кверху указательный палецъ.

Между тѣмъ гости ходили уже по гостиной. Жена квартирнаго приложила глазъ къ замочной скважинѣ и, отскочивъ отъ двери, прошептала:—Ей-богу *омъ*!

Квартирный надѣлъ мундиръ, шпагу и явился передъ начальствомъ молодецъ-молодцомъ.

— Это ваше бюро? спросилъ Курилкина полиціймейстеръ.

— Мое-съ, ваше превосходительство.

— Побезпокойтесь выбрать изъ него всѣ вещи.

Квартирный робко посмотрѣлъ на генерала, однако скоро оправился, отворилъ бюро и началъ выбирать изъ ящиковъ деньги, бумаги, кошельки, янтари, пуговицы, старые галуны и прочее... долго выбиралъ, большую кучу наложилъ на полу всякой всячины, наконецъ, вынулъ изъ потаеннаго ящика серебряный свистокъ и изломанную ложечку, и остановился.

— Все ли вы взяли изъ ящиковъ? спросилъ генералъ.

— Все, ваше превосходительство.

— Ничего въ бюро не остается?

— Ничего, ваше превосходительство.

— Попросите сюда вашу жену.

Вскорѣ явилась толстая жена квартирнаго въ огромномъ чепчикѣ.

— Посмотрите, сударыня, нѣтъ ли чего вашего въ этомъ бюро?

— Нѣтъ, ваше превосходительство.

— Можетъ быть, вы забыли гдѣ-нибудь въ потаенномъ ящикѣ какія бумаги или деньги?

— Никакихъ нѣтъ, ваше превосходительство, ящики всѣ на-лицо, отвѣчалъ квартирный:—другихъ не имѣется.

— Значить, бюро совершенно пусто.

— Пусто, ваше превосходительство.

— Извольте искать, теперь ваша очередь, сказалъ генералъ, обращаясь къ Гореву.

— Это оно, бюро моей маменьки,—отвѣчалъ Горевъ, взялъ ящикъ, прижалъ пружинку, и дно отскочило въ сторону; подъ нимъ лежала связка билетовъ.

— Вотъ оно, вотъ мое наслѣдство! вскричалъ Горевъ, подавая генералу билеты; здѣсь ровно пятьдесятъ тысячъ, вотъ и записка моей матери.

— Пути Божіи неисповѣдими, сказалъ генералъ, возвращая Гореву билеты.—Благодарите его, а я въ этомъ дѣлѣ слѣпое орудіе случая.

Полиціймейстеръ уѣхалъ, Горевъ тоже. Квартирный и его жена долго стояли на одномъ мѣстѣ, а послѣ опомнились и сошли съ мѣста.

Съ этой поры у квартирнаго къ двумъ прежнимъ присоединилась третья странность: онъ всякую старую мебель, которую ему удавалось купить, подвергалъ строжайшему обзору, будто отыскивалъ въ ней непріятеля: жаль руками, грызъ зубами, билъ ногами, нюхалъ, прислушивался, и только послѣ этихъ опытовъ ставилъ спокойно на мѣсто.

Если вы одарены воображеніемъ, то можете представить, что Николай Федоровичъ на старомъ мѣстѣ выстроилъ новый, прекрасный домикъ, развелъ садъ, устроилъ бесѣдку, женился на Варенькѣ и сталъ жить да поживать. Право, такъ! Спросите у московскихъ жителей.

БЫВАЛЬЩИНА.

РАЗСКАЗЪ.

Раковая зола, брошенная въ стоячую воду, производитъ раковъ.

Эккартсгаузенъ.

I.

Иногда добрая наша луна бываетъ, Богъ ее знаетъ, въ какомъ-то странномъ положеніи: новая еще не родится, а старая, или соскучивъ скитаться между облаками, или предчувствуя свою скорую кончину, цѣлую ночь глазъ не кажетъ людямъ; чуть передъ разсвѣтомъ блеснетъ на небѣ, а тутъ уже и день. Она въ это время похожа на исправника, дослуживающаго свой срокъ, между-тѣмъ какъ преемникъ, избранный дворянствомъ, ждетъ только новаго года, чтобъ засіялъ на горизонтѣ земскаго суда. Это самая скучная пора. Тогда бываетъ очень темно на бѣломъ свѣтѣ, какая-то грусть лежитъ на душѣ человѣческой, и нечистыя силы кутятъ на землѣ. Говорятъ, будто волки и лисцы очень рады этому времени. Можетъ-быть: на то они звѣри.

Въ одну изъ такихъ темныхъ безлунныхъ ночей отставной надворный совѣтникъ **Василій Ивановичъ** ѣхалъ домой отъ своего сосѣда, **Ивана Ильича**...

— Какой странный человѣкъ!—говорите вы: и что это за малороссійская привычка: рассказывать о **Василѣ Ивановичѣ**, **Иванѣ Ильичѣ**, не познакомивъ съ ними читателя, какъ-будто весь свѣтъ долженъ знать какого-нибудь!...

— Виноватъ! Скажите, что вамъ угодно: описаніе лицъ, характеровъ, одежды и т. п.? Извольте, хотя это очень старо, хотя это вы найдете въ любой школьной тетрадкѣ—такъ и быть, для васъ скажу нѣсколько словъ о моихъ герояхъ.

Иванъ Ильичъ и **Василій Ивановичъ** помѣщики одной изъ нашихъ южныхъ губерній. **Иванъ Ильичъ**, какъ и всѣ мы, порядочнаго роста и пріятной наружности, а **Василій Ивановичъ** немножко выходитъ изъ общаго круга, какъ хохлатый голубь изъ круга простыхъ голубей. Отличительную черту въ его фізіономіи составляетъ прочнаго устройства изрядный носъ. Во глубинѣ души своей онъ (т. е. не носъ, а **Василій**

Ивановичъ) таитъ полный коробъ отвлеченностей и безконечное число замѣтныхъ взглядовъ.

Еще въ молодости **Василій Ивановичъ** было опасно занемогъ, разсуждая трое сутокъ о томъ, какимъ образомъ могли люди ходить по потолку амбара внизъ головами, какъ мухи, а что они ходили—не было никакого сомнѣнія: объ этомъ свидѣтельствовали грязные слѣды человѣческихъ ногъ, отпечатанные на одной изъ досокъ потолка. Едва успѣла увѣрить **Василія Ивановича** старая ключница, что доска лежала прежде на землѣ, и тогда кто-нибудь прошелъ по ней грязными ногами, а мастера не благоразсудили обмыть ее, вдѣлывая въ потолокъ, потому-что, есть ли слѣды человѣческіе на потолкѣ, или нѣтъ ихъ—все равно; отъ этого нисколько не зависитъ прочность зданія. Мастера были философы.

Впослѣдствіе природная наклонность **Василія Ивановича** къ отвлеченностямъ усовершенствовалась чтеніемъ. „Ключъ къ Тайнствамъ Натуры“ **Эккартсгаузена**, „Угрозъ свѣтовостоковъ“, чья-то фізіологія, психологія и астрономія развили совершенно душу мыслителя, а логика **Баумейстера** дала ей надлежащее направленіе. И этотъ человѣкъ, непонятый, неоцѣненный, живетъ въ деревнѣ!...

Василій Ивановичъ ѣздилъ когда-то въ Сибирь за чиномъ коллежскаго ассессора и привезъ вмѣстѣ съ чиномъ еще одну рѣдкость: это былъ экипажъ—предметъ насмѣшекъ всѣхъ сосѣдей и удивленіе деревенскихъ мальчишекъ. Экипажъ былъ въ родѣ дрожекъ, хотя походилъ на нихъ, какъ педантъ на умнаго человѣка; на низкихъ четырехъ колесахъ были положены двѣ жерди, аршинъ по семи длиною; посреди жердей возвышалось сѣдалище, очень похожее на раковину, въ которой обыкновенно ѣздятъ по морямъ **Венера** на картинкахъ XVIII-го столѣтія; впереди, на концѣ жердей, устроены низенькіе козлы для

возницъ и оглобли, куда впрягалась тощая пѣгая кобыла. Все это, двигаясь на маленьких колесахъ, какъ-то сливалось съ землею; только Василій Ивановичъ, взгромоздясь на сѣдалище, возвышался надъ толпою, и, отъ колебанія упругихъ жердей, гордо покачивался въ стороны, причемъ кисточка его бархатнаго картуза моталась вокругъ своего центра, и носъ раскланивался съ природой.

Ночь была темная. Василій Ивановичъ, какъ я уже сказалъ, возвращался домой отъ Ивана Ильича на своемъ сибирскомъ экипажѣ. Проѣхавъ версты три степью, сибирскій экипажъ спустился съ горы и мелко рысью запрыгалъ по плотинѣ. Плотина шла черезъ прудъ, а за прудомъ стоялъ дворъ Василья Ивановича. Густыя, вѣтвистыя вербы росли по обѣимъ сторонамъ плотины; вправо былъ прудъ, влѣво глубокая пропасть; на днѣ этой пропасти была небольшая лужа зеленоватой воды, въ которой Василій Ивановичъ хотѣлъ было завести раковъ и надѣлать угрей, по правиламъ древней науки полингенези, объясненной ученымъ Кирхеромъ; но попытка осталась безъ успѣха.

— Держи правѣ! сказалъ Василій Ивановичъ своему возницѣ съ высоты сѣдалища:—еще правѣ! Развѣ тебѣ охота сломить шею въ пропасти?

Возница тронулъ возжами, и экипажъ покатился у самаго края плотины надъ прудомъ.

Василій Ивановичъ опять предался размышленіямъ. „Я, старый дуракъ“ думалъ онъ: „полагалъ, что на свѣтѣ только и есть проза да стихи; прозою мы говоримъ, а стихами поемъ; а нѣтъ, не тутъ-то было: этотъ мальчишка, учитель дѣтей Ивана Ильича, совсѣмъ сбилъ меня съ толку, да еще поднялъ на смѣхъ: „вы, говорить, спорите о томъ, что всему свѣту извѣстно: то, говорить, проза, то стихи, а то еще среднее между ними“—вотъ этого я хорошенько не понялъ, прозалита, прозолота какая-то, что ли—нечистый ихъ знаетъ!... и даже показалъ объ этомъ книгу: „Риторику“, напечатанную чуть ли не десятимъ изданіемъ въ С.-Петербургѣ, книгу учебную... Что теперь я знаю послѣ этого? Ничего не знаю! не знаю даже, какъ я говорю: прозой, или стихами, или этимъ третьимъ?... Ученіе, ученіе!“

Эти мысли занимали тогда почтеннаго Василья Ивановича. Признаюсь, было отъ чего задуматься. Да и сама природа навела думы: кругомъ ни свѣта, ни звука; мрачно дремали надъ плотиною вербы; изрѣдка въ темной вышинѣ просвиститъ крыльями дикая утка и, садясь на прудъ, зашумитъ сонною водою: изрѣдка падучая звѣздочка опишетъ на небѣ свѣтлую струйку—и все станетъ еще темнѣе, еще молчаливѣе.

— Ай-ай-ай! пошелъ! громко закричалъ Василій Ивановичъ и схватился за лобъ. Какая-то невидимая рука такъ его хлеснула по головѣ—какъ самъ Василій Ивановичъ рассказывалъ—что бархатный картузъ полетѣлъ въ сторону и миллионы искръ запрыгали въ глазахъ.

Быстро помчался экипажъ съ плотинъ и едва остановился у крыльца: такъ мальчишка, перепуганный ярмъ крикомъ своего пана, помощію кнута привелъ въ бодрость пѣгую кобылу.

Василій Ивановичъ вошелъ въ комнату, послалъ людей, вооруженныхъ дубинами и ружьями, отыскивать свой картузъ, и съ отеческой заботливостью примочилъ водкою лобъ, покраснѣвшій отъ ушиба.

Взяло раздумье Василья Ивановича: кто бы это такой ударилъ его? Догадки смѣнялись другими, мысли путались. Василій Ивановичъ счасъ просидѣлъ, наклонивъ землѣ свой красный лобъ, потомъ быстро поднялъ голову, улыбнулся, всталъ со стула и приказалъ позвать сапожника.

Прудъ составляетъ почти необходимую принадлежность хозяйства всякаго степнаго помѣщика. Изъ пруда со всею патриархальной простотой пьютъ воду стада разныхъ четвероногихъ; на немъ тихо плаваютъ бѣлоснѣжными стаями домашніе гуси. Если вы охотникъ пострѣлять, всегда найдете, туда подайте, въ вершинѣ, чопорную семью дикихъ утокъ, или робкую водяную курочку, или нѣсколько паръ болотныхъ франтовъ-куликовъ. А какіе жирные, золотистые караси водятся въ прудѣ! если-бъ вы ихъ покушали зажаренныхъ со сметаною, или хотъ посмотрѣли, какъ ихъ ловятъ бреднемъ двѣ молодыя украинки, какъ хохочутъ онѣ, какъ плещутся, и, плавно подвигаясь къ берегу, разбиваютъ легкія волны полною, упругою грудью... Какъ не любить пруда!...

Я навѣрное не знаю, любилъ ли сапожникъ кушать караси, или ловить ихъ, а знаю только, что, недѣли двѣ назадъ, его порядочно за что-то выругалъ Василій Ивановичъ на берегу пруда.

Выругалъ—ну, кажется, и концы въ воду, а вышло противное: когда Василій Ивановичъ, переѣзжая плотину, получилъ отъ неизвѣстной руки ударъ по лбу, то это его сильно заняло: „кто-бы такой это сдѣлалъ?“ думалъ Василій Ивановичъ, „да еще такъ ловко угораздило, несмотря на тѣмную ночь“.

Василій Ивановичъ началъ припоминать изъ логики Баумейстера статью о силлогизмахъ, и въ минуту у него созрѣлъ самый отчаянный силлогизмъ: „У пруда я недавно порядочно побранилъ сапожника, да и стоилъ: такой неблагопрестойный мальчишка!... Да, у пруда я побранилъ сапожника, у пруда меня нѣкто ударилъ по лбу, слѣдовательно: ударилъ сапожникъ. Это ясное дѣло, а я не видѣлъ сапожника, потому-что мракъ покрывалъ всѣ предметы...“ Исполать тебѣ, наука, обучающая здраво мыслить!

— Позвать ко мнѣ сапожника! закричалъ Василій Ивановичъ еще громче прежняго, и въ головѣ своей началъ выдумывать кару для бѣднаго преступника.

Сапожникъ медлилъ приходомъ. Между тѣмъ голосъ совѣсти шепталъ Василью Ивановичу: „не торопись наказывать человѣка; можетъ-быть, онъ не виноватъ“. — „Какъ не виноватъ?“ подумалъ Василій Ивановичъ: „онъ кругомъ виноватъ; я дошелъ по логикѣ, я знаю логику, я читалъ ее: тамъ такъ напечатано, вѣдь глупостей не печатаютъ“. Вдругъ пришла ему на мысль книга, которою уничтожилъ его совершенно учитель дѣтей Ивана Ильича, пришло на умъ незнаніе прозы, и проч., и проч., и Василій Ивановичъ усомнился въ вѣрности силлогизма. „Нечего дѣлать“ подумалъ онъ: „хоть не хочется, а придется провѣрить свой выводъ практически“.

Сапожникъ вошелъ въ комнату.

— Ты преступникъ! закричалъ на него Василій Ивановичъ.

Сапожникъ молчалъ.

— Ты преступникъ! самое молчаніе обвиняетъ тебя.

— Я не понимаю, что вы говорите.

— Не понимаешь? Развѣ я говорю не по-человѣчески? развѣ во мнѣ нѣтъ логическаго смысла? Ты смѣешь еще говорить здѣсь, рожденный подъ несчастною планетою! Запереть его въ амбаръ!

Сапожника вывели.

Долго послѣ того ходилъ по комнатѣ Василій Ивановичъ, долго разсуждалъ и, не ужиная, легъ спать, повторяя: „испытаніе, испытаніе, завтра же испытаніе!“ потомъ раскрылъ какую-то книгу, перевелъ съ нѣмецкаго, въ которой весьма убѣдительно было доказано, что голубой цвѣтъ, минорный аккордъ, флегматическій темпераментъ, цвѣтокъ анемонъ, земля, флейта и лихорадка суть вещи равносильныя, т. е. въ случаѣ вадобности, могутъ замѣнить одна другую. Эта статья совершенно успокоила Василья Ивановича; онъ заснулъ сладкимъ, пріятнымъ сномъ.

А сапожника заперли подъ двумя замка-

ми въ томъ самомъ амбарѣ, гдѣ видны были на потолокъ человѣческіе слѣды.

II.

На другой день часу въ седьмомъ послѣ обѣда, только что собралось семейство Ивана Ильича пить чай, какъ вошелъ Василій Ивановичъ.

— Василій Ивановичъ! закричалъ хозяинъ:—куда и откуда?

— Изъ дому, къ вамъ нарочно. Вы не можете пожаловаться, что я у васъ рѣдкій гость.

— Спасибо, сосѣдъ. Да отчего у васъ перевязана голова?

— Такъ, маленькій ушибъ.

— Стыдитесь, Василій Ивановичъ! Вы человѣкъ холостой и закрываете лобъ; вамъ надобно бодриться, молодѣть; намъ, старикамъ—другое дѣло.

— Не слушайте его: онъ всегда говоритъ глупости, сказала хозяйка. Садитесь поближе къ самовару.

Василій Ивановичъ сѣлъ, но не могъ поддержать общаго разговора. Иванъ Ильичъ, человѣкъ весьма тонкій, разъ два начиналъ рѣчь о станціяхъ на собакахъ и о самоѣдскомъ чернокушнѣ; жена Ивана Ильича—о сибирской наливкѣ изъ княженики; учитель—о прозѣ и стихахъ; но Василій Ивановичъ отвѣчалъ какъ-то неловко, невпопадъ, часто поглядывалъ на часы, и, когда ударило девять, всталъ и началъ раскланиваться.

— Куда же вы торопитесь? спросилъ хозяинъ.

— У меня есть важное дѣло.

— Вы, право, странный человѣкъ! Оставайтесь закусить чего-нибудь на дорогу.

— Нѣтъ, не могу, право не могу, ей-богу не могу.

— Точь въ точь, какъ вчера: поднялся въ девять часовъ; ни упротить, ни умолить было нельзя.

— Вчера другое дѣло: я былъ пораженъ рѣчами вотъ г-на учителя—имени и отчества не имѣю чести знать—на счетъ риторики, и спѣшилъ домой поразмыслить на свободѣ.

— Охъ, эти мысли! Вы, право, когда-нибудь отъ нихъ заболѣете. Ну, а сегодня?

— Сегодня? важное дѣло, очень важное. Пріѣзжайте завтра ко мнѣ обѣдать: я вамъ расскажу все, а теперь прощайте.

Василій Ивановичъ прыгнулъ на сибирское сѣдалище и поѣхалъ домой.

Была такая же темная ночь, какъ и вчера. Вотъ долговязый экипажъ опять уже на плотинѣ.

— Держи правѣй! закричалъ Василій Ива-

новичъ:—еще правѣй, такъ, какъ ты вчера ѣхалъ.

И колеса экипажа опять застучали по вербовымъ кореньямъ. Василій Ивановичъ сидѣлъ неподвижно, вытянувъ голову впередъ, какъ-бы вызывая на поединокъ таинственную руку, задѣвшую его вчера по плечу. Вдругъ, что-то зашумѣло мимо ушей его и разразилось по лбу ударомъ; картузъ опять полетѣлъ въ сторону.

— Пошелъ! закричалъ Василій Ивановичъ и поѣхалъ прямо къ амбару.

Принесли фонарь, явились люди. Василій Ивановичъ, забывая боль отъ удара, досталъ изъ кармана ключи и отперъ амбаръ. Сапожникъ спалъ, растянувшись въ углу.

— Встань, другъ мой, сказалъ торжественно Василій Ивановичъ:—ты невиненъ; я напрасно подозрѣвалъ тебя. Нѣтъ, не ты ударилъ меня. Это было дѣйствіе стихійныхъ духовъ, какъ говоритъ мудрый Парацельсъ. Теперь я все понимаю. На тебѣ рубль, поди, напейся водки и позабудь все.

Сапожникъ пошелъ домой съ цѣловымъ въ карманѣ, Василій Ивановичъ—съ краснымъ лбомъ и удивительными мыслями. Вся дворня, вооруженная кто чѣмъ попало, отправилась на плотину, при свѣтѣ фонаря, отыскивать панскій картузъ.

Мнѣ случилось видѣть дневникъ Василія Ивановича: тамъ на одной страничкѣ было написано:

„19-го іюля 18.... года. Вчера, близъ пруда, на плотинѣ, я получилъ отъ стихійнаго духа пощечину. Сегодня подтвержденіе оной. Въ чемъ я твердо увѣренъ, основываясь на духѣ числа 9-го и на глубокомъ выводѣ, сдѣланномъ изъ онаго великимъ Эккарстгаузеномъ, ибо вчера было 18-е число, а $1+8=9$, да я поѣхалъ въ 9-ть часовъ, а $9+9=18$. Все ясно; больше говорить нечего!“

Вѣрите или нѣтъ, а это случилось, давно когда-то, на бѣломъ свѣтѣ.

1839 г.

Б Р А Т Ь Я.

ПОВѢСТЬ.

..... про одно нѣмное
Настѣнниковъ сердитый хоръ
Заводить непристойный споръ.

А. Пушкинъ.

ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ДАВНО, ВЪ СЕЛЕНИИ ЖАВОРОНКОВЪ.

I.

Въ четвергъ, на второй недѣлѣ петрова поста, Федоръ Федоровичъ куталъ съ большимъ аппетитомъ жаренную щуку, подавленную кусточкою и умеръ—умеръ какъ-будто отъ какой болѣзни. Въ субботу пріѣхалъ спасать Федора Федоровича уѣздный докторъ, но засталъ его уже на дорогѣ къ кладбищу, сваявъ почтительно шлану, взявъ прогонныхъ деньги и уѣхавъ обратно. Въ домѣ Федора Федоровича остался неутѣшный сынъ его, Андрей Федоровичъ, другаго сына, Павла, не было дома: онъ служилъ гдѣ-то далеко въ полку.

Жаль мнѣ Федора Федоровича! Онъ

былъ добрый человекъ; у него была прекрасная славянка и не было ни одного тяжелаго дѣла въ уѣздномъ судѣ. Сосѣди любили Федора Федоровича.

Какъ нарочно, въ среду вечеромъ его чужаки пріѣхали изъ Крыма и выстроили къ рацѣ передъ крыльцомъ двадцать воловъ соли. Цѣлый вечеръ тогда сидѣлъ на крыльцѣ Федоръ Федоровичъ, курялъ добокъ изъ трубки, ошметенной мѣдною промакоюю, слушалъ цѣли соловья, разговаривалъ съ Андрюшкой о томъ, гдѣ и какъ соить соль помысломъ, и, уходя спать, не забывалъ трогать соли впродъ до приказанія... а въ четвергъ вечеромъ—напрасно, ракомъ спрашивалъ Андрей Федоровичъ:

куда батюшка соль дѣвать? — безотвѣтно лежалъ покойникъ на столѣ; въ изголовьѣ горѣли свѣчи; однообразно, монотонно, безчувственно читалъ святую книгу приходскій дьячекъ; въ растворенное окно вѣялъ изъ сада теплый вѣтерокъ; въ саду, какъ и вчера, пѣлъ соловей. Вчера и сегодня, кажется близко, а между ними прошла цѣлая вѣчность для Федора Федоровича!...

Если вы когда-нибудь наблюдали людей, то-есть обращали болѣе вниманія на рѣчи и дѣла человѣка, нежели на его записки (хотя и записки иногда бываютъ очень красивы), то смѣю васъ увѣрить, вы встрѣчали характеры, которые я вамъ хочу описывать.

Видали ли вы человѣка средняго роста, худощаваго; онъ ходитъ немного наклоняясь впередъ; по лицу его разлита какая-то кроткая задумчивость; глаза его постоянно свѣтятся тихимъ огнемъ; онъ всегда улыбается выразительно: это не животная улыбка льстеца, не горькая юмориста, не бессмысленная дурака — нѣтъ, это улыбка отрадная, утѣшительная, она какъ-будто говоритъ: *прекрасенъ Божій міръ, друзья мои! живите счастливо!* Если у этого человѣка тихій, глухой голосъ, какъ-бы выходящій изъ груди; если этотъ человѣкъ, видя васъ въ богатствѣ и знатности, старается быть отъ васъ подальше, а въ дни невзгоды первый подаетъ вамъ руку помощи, то вы знаете очень хорошо Андрея Федоровича.

Братъ Андрея Федоровича, Павелъ Федоровичъ, человѣкъ другаго десятка: онъ былъ тоже роста средняго, но дороднѣе и широкѣе въ плечахъ; имѣлъ высокую грудь, звучный голосъ, полное лицо, глаза немного на выкатѣ и довольно толстыя губы. Онъ принадлежалъ къ разряду людей, которые имѣютъ способность громко кричать о благородствѣ и возвышенности чувствъ и при первомъ случаѣ готовы сдѣлать всякую низость, нисколько не краснѣя. Не знаю, какъ вы думаете, а мнѣ кажется, эта способность порядочная.

Если Павелъ Федоровичъ зоветъ васъ къ себѣ въ гости, это значить, онъ въ васъ нуждается. Если онъ у васъ попроситъ займа денегъ на недѣлю — и въ десять лѣтъ не получите; а напомните о долгѣ, онъ на васъ еще разсердится, не захочетъ говорить съ вами... Таковъ у него обычай!... По-мнѣ, и обычай недуренъ.

Если вы считаетесь другомъ Павла Федоровича, но вы губернский секретарь или поручикъ, то не оскорбляйтесь, когда въ собраніи, гдѣ находится полковникъ или коллежскій совѣтникъ, Павелъ Федоровичъ не замѣтитъ васъ. А подойдете къ нему съ

вопросомъ, онъ торопливо скажетъ: „А, здравствуйте! извините, мнѣ некогда,“ отворотится и пойдетъ отъ васъ къ значительному лицу, станетъ сзади его или съ боку, хоть ему тамъ и дѣлать нечего, и все будетъ стоять и улыбаться. Такая у него странность! Впрочемъ, и странность, какъ видите, благородная.

Павелъ Федоровичъ человѣкъ очень пріятный въ обществѣ. Дайте ему варенья — онъ расскажетъ что-нибудь замѣчательное о вареньѣ; попотчуйте ромомъ — явится анекдотъ о ромѣ.

Славный человѣкъ Павелъ Федоровичъ; но не дай вамъ Богъ, мой читатель, служить съ нимъ вмѣстѣ, жить подъ одною кровлей, даже встрѣчаться на дорогѣ. Своротите въ сторону, — право, не проиграете. „Съ Павломъ Федоровичемъ,“ говорилъ одинъ мой знакомый, „очень хорошо дѣлать лихорадку; чуть заспорить — *возьми те себя всю, Павелъ Федоровичъ!*...“

Братья дѣлили отцовское имѣніе десять лѣтъ и, Боже мой! какой видъ оно приняло! Вozy съ солью, которые стояли передъ крыльцомъ Федора Федоровича, сгнили и разсыпались, и никто не смѣлъ ихъ тронуть: все ждали окончанія раздѣла; на крышѣ дома росли и цвѣли разныя травы; она во многихъ мѣстахъ провалилась, и дождевая вода лилась ручьями сквозъ эти отверстія въ комнаты: на крыльцѣ не было двухъ первыхъ ступенекъ; плотины и мосты такъ разрушились, что съ трудомъ можно было по нимъ проѣхать — и никто ничего не хотѣлъ поправлять; всякій говорилъ: „это не мое.“ — „Да чье же?“ — „А Богъ его знаетъ! кому достанется, того и будетъ.“

Можетъ быть, до сего дня продолжался бы ихъ раздѣлъ, еслибъ одно обстоятельство сильно не подвинуло впередъ этого дѣла. На дворѣ покойнаго Федора Федоровича стоялъ старыи амбаръ, состоящій изъ пространный комнаты, съ одною дверью. Братья, съ обоюднаго согласія, провели на полу амбара, во всю ширину его, черту мѣломъ, которая и раздѣлила амбаръ на двѣ равныя части. Андрей Федоровичъ имѣлъ пять аршинъ амбара и Павелъ Федоровичъ тоже. Въ одинъ вечеръ Андрей Федоровичъ возвратился изъ гостей чрезвычайно веселъ: ему кто-то подарилъ мѣрку овса Вольнаго Экономическаго Общества, который, какъ увѣряли, тайно провезенъ жидомъ черезъ радзивиловскую таможену. А жидъ, всякому извѣстно, провезетъ и отца роднаго безъ штемпеля. Вотъ Андрей Федоровичъ пріѣхалъ домой, самъ отнесъ драгоценный овесъ въ амбаръ и пошелъ отдыхать. Павелъ Федоровичъ въ это

время сидѣлъ на крыльцѣ, и сказалъ: *гм!* Скоро пошелъ съ поля скотъ, а Павелъ Ѳедоровичъ съ крыльца къ воротамъ.

Мимо воротъ тянулася пестрая толпа четвероногихъ разнаго рода и виду, наполняя воздухъ ржаніемъ, крикомъ, мычаньемъ, блеяньемъ... Павелъ Ѳедоровичъ какъ-будто понималъ этотъ разговоръ и, сочувствуя ему, улыбался; вдругъ скромная улыбка превратилась въ хохотъ...

— Ха-ха-ха! Гей! пастухъ! отчего эта пестрая свинья такъ весела?

— Кто ее знаетъ: она всегда такая веселая.

— Прекрасно! ха-ха-ха! Какъ это мнѣ нравится: этакого любезнаго характера! Должно быть, прямодушное животное! Чья она?

— Какъ прикажете... то есть, изволите видѣть, ея мать осталась послѣ покойнаго вашего батюшки, а это уже отъ той молоденькая.

Ага! значитъ, въ ней есть моя половина. Хорошо, я заплачу брату за остальную половину, а свинью возьму себѣ. Поймать ее и сейчасъ пустить въ нашъ амбаръ: да смотрите на мою половину: на право за черту.

Павелъ Ѳедоровичъ еще сказалъ: *Гм!* и пошелъ спать. Вскорѣ уснуло и все Жаворонково.

Вѣроятно, по своимъ понятіямъ, свинья полагала, что братья живутъ между собой дружно и что черта, проведенная на полу амбара, была ни что иное, какъ глупость; а можетъ-быть, она, при входѣ въ амбаръ, не замѣтила черты, а когда заперли дверь, то въ темнотѣ и замѣтить не могла. Какъ бы то ни было, но, по теоріи вѣроятностей, свинья начала практически прохаживаться по амбару, перешагнула черезъ завѣтную границу, нашла овесъ и, не принимая его драгоцѣнности, скушала какъ простое кушанье... Сказано: свинья и въ барскомъ амбарѣ не оставила своихъ привычекъ!

На утро Андрей Ѳедоровичъ разсердился не на шутку; укоры посыпались на Павла Ѳедоровича.

— Отвяжись отъ меня, пожалуйста! отвѣчалъ Павелъ Ѳедоровичъ: — я пустил свинью въ свою половину амбара; спроси ее, зачѣмъ она перешла къ тебѣ? Отвернулся и пошелъ въ садъ стравливать кошку съ собакой.

— Нѣтъ, сказалъ почти сквозь слезы Андрей Ѳедоровичъ: — этимъ обидамъ конца не будетъ! Поѣду въ судъ: пусть онъ раздѣлитъ насъ, какъ-нибудь да раздѣлитъ; мнѣ покой дорогъ! И поѣхалъ въ городъ.

Павелъ Ѳедоровичъ самъ въ городъ

не поѣхалъ, а послалъ своего любимаго слугу, Бродягу, и при немъ нѣсколько подводъ съ мукой, масломъ, горохомъ, медомъ и прочимъ.

Черезъ недѣлю отсчитали Андрею Ѳедоровичу изъ отцовскаго имѣнія половину ревизскихъ душъ, слѣпыхъ, хромыхъ, или давно уже записанныхъ въ ревизію на мрачныхъ берегахъ Стикса, или путешествующихъ по зеленымъ побережьямъ Ингула и Буга. Павелъ Ѳедоровичъ отрубилъ половину отцовскаго дома, амбара, конюшни и голубятни, перевезъ за десять верстъ въ хуторъ и основалъ тамъ резиденцію, а Андрей Ѳедоровичъ, залечивъ отрубленные мѣста тростникомъ, остался въ Жаворонковѣ.

II.

Какъ странно въкусъ у женщинъ! Иная дама готова Богъ-знаетъ на какое пожертвованіе, чтобы только проѣхать по городу съ военнымъ мушиной. Тутъ есть своя хорошая сторона: очень пріятно, когда, при встрѣчѣ съ вами, солдаты снимаютъ фуражки. Но тотъ же самый мужчина выйдя въ отставку—она не обратитъ на него вниманія. И это понятно. Нѣкоторыя дамы любить мужчинъ здоровыхъ, плотныхъ, краснощекихъ—будь они глупѣе поверстнаго столба. Даже и это понятно. Другая увидитъ какого-нибудь блѣднаго, узенькаго мужчину—и вздыхаетъ. Вотъ это для меня вовсе непостижимо!

Фридерика Карловна фон-Клокъ, лѣтъ десять назадъ, была молоденькая дѣвушка, и задумывалась, смотря на серебряные эпoletы Павла Ѳедоровича; но какъ она была блѣдна, то Павелъ Ѳедоровичъ не замѣчалъ ея *тихой грусти*, а между-тѣмъ время летѣло. Павелъ Ѳедоровичъ вышелъ въ отставку: эпoletы исчезли съ его плечъ. Фридерика Карловна сдѣлалась умнѣе, начала разсуждать, и результатъ этого былъ: Андрей Ѳедоровичъ добрѣе брата, слабѣе характеромъ, слѣдовательно, имъ гораздо удобнѣе *управлять*, а этотъ глаголъ чрезвычайно нравился Фридерикѣ Карловнѣ, и потому Павелъ Ѳедоровичъ оставленъ, какъ выдохшійся цвѣтокъ, и всѣ ласки обращены на Андрея Ѳедоровича.

Сначала Андрею Ѳедоровичу было очень совѣстно, когда двадцати-шести-лѣтняя дѣвица, распѣвая извѣстный романсъ: *Пойми меня...* обращала къ нему косвенные взгляды. Онъ всегда оборачивался назадъ: не стоитъ ли кто за нимъ; притворно чихалъ, барабанилъ по столу пальцами и думалъ: „неужели такая воспитанная дѣвица можетъ любить меня?“

И когда, однажды, Фридерика Карловна подала ему конфетку, завернутый въ печатный билетикъ:

„Куда свой взоръ ни обращаю,
Вездѣ Амура я встрѣчаю.“

Андрей Ѳедоровичъ рѣшительно не зналъ, что думать. Онъ много видѣлъ рисованныя амуровъ и, сравнивая ихъ круглыя, полныя рожицы съ своимъ длиннымъ лицомъ, ихъ легкія одежды—съ своимъ шалоновымъ сюртукомъ, сталъ въ тупикъ. Первая мысль его была: „это насмѣшка!“, но Фридерика Карловна такъ мило склонила голову; густой румянецъ горѣлъ даже на ушахъ ея!

„Нѣтъ, это любовь,“ подумалъ Андрей Ѳедоровичъ „надобно ободрить ее.“

Онъ подошелъ къ тарелкѣ съ конфетами, выбралъ билетикъ:

„Прекрасна и свѣтла натура:
Я признаю въ тебѣ амура.“

и подалъ Фридерикѣ Карловнѣ; она пробѣжала билетикъ, выразительно посмотрѣла на Андрея Ѳедоровича, торопливо поправила на груди косыночку—и билетикъ исчезъ.

А настоящій Амуръ въ это время, летя изъ Греціи въ Лапландію, сѣлъ отдыхать подлѣ пары голубей, на конюшнѣ стараго Германа, и смѣялся до слезъ, смотря въ окно на эти продѣлки.

Да кто же Фридерика Карловна и старій Германъ, на конюшнѣ котораго отдыхалъ Амуръ?

Фридерика Карловна, обрусѣвшая нѣмочка, довольно стройная, съ черными глазами и бѣлокурыми кудрями. Она очень проворно вяжетъ чулки, и когда чего-нибудь испугается, то препріятно вскрикиваетъ: *ахъ!*—не такъ, какъ мы, православные, будто командуемъ отрядомъ глухихъ, а какъ-то потихоньку, втягивая въ себя воздухъ, этакъ: *ахъ!* неподражаемо!

Германъ Карлъ Адамовичъ—отецъ Фридерики Карловны; онъ долго былъ садовникомъ у графа Пустогорохова, растилъ ананасы и померанцы, и когда имѣніе его сіятельства было продано за долги съ публичнаго торга, онъ на сбереженные деньги купилъ себѣ домикъ съ огородомъ и садикомъ, гдѣ развелъ прекрасныя цвѣты. Сосѣди часто навѣщали стараго нѣмца (такъ они называли Германа): мужчины—покурить трубки и посоветоваться о посѣвахъ, а дамы—чтобъ выпросить цвѣточныхъ сѣмянъ.

III.

У Андрея Ѳедоровича былъ камердинеръ Иванъ Утка. Онъ часто являлся передъ своего барина безъ сюртука, часто вмѣшивался въ разговоры барина съ гостями—что весьма обижало поручика Буку—и въ отсутствіи барина всегда напивался пьянъ такъ, какъ только можно быть пьяну.

„Уточка! Уточка! гей, Утка! Вотъ не слышитъ... Иванъ Утка! Иванъ Утка! кричалъ Андрей Ѳедоровичъ, пріѣхавъ довольно поздно отъ Германа. „Вѣрно, пьянъ!“ проворчалъ Андрей Ѳедоровичъ, и опять принялся звать камердинера, и опять никто не являлся. Андрей Ѳедоровичъ высккъ огня, и началъ раздѣваться, думая: „пустъ выпится человекъ! Я былъ въ гостяхъ, провелъ пріятно время съ Фридерикою Карловной, а онъ, бѣдный, скучалъ.“

За дверью послышался тяжелый сапъ; она потихоньку начала отворяться и въ комнату вошло какое-то четвероногое животное. Андрей Ѳедоровичъ попятился назадъ, схватилъ свѣчку и закричалъ: „Боже мой! это ты, Утка?“

Иванъ замоталъ головою и подползъ на четверенькахъ къ барину.

— Что съ тобой? Стань на ноги!

— Не... мо... гу, съ разстановками прошепталъ Утка.

— Ты пьянъ. Поди спать.

Иванъ моталъ головой и не подвигался съ мѣста.

— А, понимаю: ты хочешь мнѣ служить? Бѣдный! Ну, ладно, сними сапоги.

При этомъ Андрей Ѳедоровичъ сѣлъ на стулъ, противъ своего слуги и протянулъ ему ногу. Утка, схватилъ обѣими руками сапогъ, присѣлъ на корточки, посмотрѣлъ на барина, улыбаясь, замоталъ головой, дернулъ за сапогъ и, потерявъ равновѣсіе, опрокинулся назадъ, ударился затылкомъ объ полъ и умеръ на томъ же мѣстѣ!...

Андрей Ѳедоровичъ бросился поднимать бездыханное тѣло Утки; лилъ на него гофманскія капли, муравьиный спиртъ, холодную воду—все осталось безъ успѣха. На крикъ Андрея Ѳедоровича сбѣжались люди, и отнесли тѣло Утки въ людскую.

На другой день Андрей Ѳедоровичъ хотѣлъ было послать за докторомъ, да подумалъ: „къ чему это? докторъ пріѣдетъ, какъ къ моему покойному батюшкѣ, на третій день, возьметъ прогоны и уѣдетъ, а помочь не поможетъ; между тѣмъ, пойдутъ, храни Боже, слѣдствія! Пожалуй, еще будетъ отвѣчать и тотъ добрый человекъ, который напоилъ Ивана. Богъ съ нимъ! Лучше честно похоронить Утку.“

И точно, къ вечеру Утка былъ похороненъ.

IV.

На широкомъ дворѣ ходилъ Павелъ Ѳедоровичъ подъ-руку съ откупщикомъ, жидомъ Самойломъ. У нихъ былъ жаркій разговоръ.

— Не могу, ей-богу не могу, любезнѣйшій Самойло, уступить тебѣ ни гроша; въ большомъ количествѣ—дѣло другое.

— Это въ этомъ какъ вамъ угодно. Я только изволилъ говорить, что, примѣрно, у вашего покойнаго батюшки имѣлъ уступку.

— У батюшки—другое дѣло: онъ могъ выкуривать вина вдвое болѣе и продавалъ дешевле; онъ былъ одинъ, а насъ двое сидятъ на его имѣнии. Андрей тоже курить. Ты не заѣзжалъ къ нему?

— Забѣгалъ по дорогѣ, да они въ такихъ хлопотахъ, что ой! Они хоронятъ своего человѣка, того, что былъ при нихъ человѣкомъ.

— Утку?

— Да, кажется, Утку, того, что любилъ выпить.

— Странно. Я третьягодня его видѣлъ живаго.

— Онъ вчера умеръ, скоропостижно,

— А сегодня хоронятъ! Бѣдный Утка!... Потомъ, помолчавъ немного, Павелъ Ѳедоровичъ продолжалъ:—Хоть братъ мнѣ Андрей Ѳедоровичъ, а не скрою отъ тебя, любезный другъ, Самойло, что много грѣха онъ хватилъ тутъ на душу.

— Какъ-такъ?

— Да такъ! Вотъ видишь... какъ сказать... ну, да что тутъ церемониться! Андрей Ѳедорычъ засѣкъ бѣднаго Утку до смерти... Не пугайся, Самойло! Я знаю, что человѣку съ хорошими правилами это даже слушать трудно; но что жъ дѣлать? Сердце мое разрывается на части, а долженъ высказать всю правду!... Я надѣюсь, ты будешь такъ добръ, другъ мой, что возьмешь маленькое письмо къ исправнику, котораго я долженъ извѣстить объ этомъ происшествіи.

— Такъ это вы изволите, то есть, на братца...

— Что жъ дѣлать, любезнѣйшій!... Гдѣ дѣло совѣсти, тутъ нѣтъ родства... Я на то дворянинъ, чтобъ свято выполнять присягу. Ты самъ умный человѣкъ.

— Извѣстно, вы люди ученые. А какіе Андрей Ѳедорычъ съ виду смиренные! я никакъ бы не подумалъ...

— То-то и есть, любезнѣйшій. „Въ тихомъ омутѣ черти водятся“ говорить по-

словица. Онъ не нашъ братъ: что на сердцѣ, то и на языкѣ!...

Часа чрезъ три послѣ этого разговора жидъ Самойло, подпрыгивая на тряской повозкѣ, везъ въ уѣздный городъ доносъ Павла Ѳедоровича, въ которомъ онъ съ прискорбіемъ извѣщалъ о противозаконныхъ поступкахъ своего брата, Андрея, и просилъ земскій судъ не замедлить выѣхать въ Жаворонково, для освидѣтельства умерщвленнаго побоями человѣка, котораго съ намѣреніемъ похоронили прежде узаконеннаго срока.

А Павелъ Ѳедоровичъ потиралъ руки и думалъ, ходя скорыми шагами по своей комнатѣ: „теперь ты въ моихъ рукахъ, рябчикъ! Или прикидывайся сумасшедшимъ и отдай мнѣ Жаворонково, или... не бойся, испугаешься: дѣло уголовное! Впрочемъ, самъ виноватъ: разграбилъ безъ меня отцовское наслѣдство. Ну, да Богъ съ нимъ! жилъ бы себѣ, пока умереть; такъ нѣтъ, вздумалъ еще жениться! Пойдутъ наслѣдники и имѣніе, нажитое трудами отца, переидетъ чертъ знаетъ въ какія руки! А все эта нѣмка: сама навязывается!... Андрей до смерти не рѣшился бы жениться; такъ она сватается да и только, забывая всякую совѣсть!... Вотъ какова теперь стала нравственность! А все проклятые новѣйшіе романы... Гей, Бродяга!

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе, закричалъ усатый лакей, въ военной курткѣ, вбѣгая въ комнату.

— Луна свѣтитъ?

— Свѣтитъ, вашевысокоблагородіе.

— Я сейчасъ иду съ тобой на рѣку стрѣлять утокъ.

— Слушаю, вашевысокоблагородіе.

V.

Какъ хорошо кладбище въ Жаворонковѣ! Это не ваше сѣверное кладбище, гдѣ на песчаныхъ, полуразмытыхъ дождемъ могилахъ торчатъ, наклоняясь въ стороны, дряхлые кресты и кое-гдѣ вытягиваются изъ бесплодной почвы длинныя, желтыя травы. Мнѣ понятны на сѣверѣ стихи Крамзина:

Страшно въ могилѣ холодной!
Вѣтры здѣсь воютъ, гробы трясутся,
Бѣлыя кости стучатъ!

Не то на югѣ! Вы похоронили, положимъ, друга, и на слѣдующую весну роскошная природа закидаетъ его могилу цвѣтами и зеленью: широкіе снопы колокольчиковъ лиловыми дугами склоняются надъ его прахомъ, рѣзвый горошекъ взбѣжитъ по кресту, обовьетъ его, опутаетъ зелеными

прядами и повиснетъ на немъ небесно-голубыми гирляндами, или розовыми кисточками душистыхъ цвѣтовъ. Въ пышномъ, веселомъ нарядѣ предстанетъ вамъ могила вашего друга! Живительная мысль о возрожденіи обвѣтъ печаль съ души вашей: вы инстинктивно познаете, что находитесь въ точкѣ соединенія земли съ небомъ, почувствуете душою присутствіе Великаго, Непостижимаго—и сердце ваше затрепещетъ святыми восторгомъ, и изъ тайника своего пошлетъ драгоценный алмазъ—чистую слезу на глаза ваши: и это будетъ слеза не скорби, не печали земной; вы сами себѣ не дадите въ ней отчета и пойдете съ могилы друга съ тихою радостью. Кто скажетъ на южномъ кладбищѣ:

Страшно въ могилѣ холодной и темной...

у того нечистая совѣсть, или онъ не христіанинъ.

Въ оградѣ, изъ густыхъ, вѣтвистыхъ черемухъ, дружно тѣснились зеленныя могилы жаворонковского кладбища; ночныя фіалки, распѣвая въ травѣ между ними, разливали вокругъ тонкій, пріятный запахъ. Была полночь. Давно все спало. Прилегли къ землѣ, кажется, можно было бы услышать, какъ бьется пульсъ природы—такъ было тихо!... Изрѣдка на лугу пугливо вскрикнетъ сонная чайка, и опять все молчитъ. Мѣсяцъ высоко плылъ по чистому, темносинему небу, и подъ нимъ и за нимъ, какъ легкій паръ, пролетали серебристыя облака.

Вотъ скрипнули кладбищныя ворота и изъ-за черемухи протянулись по могиламъ двѣ тѣни, а за ними показались два чело-вѣка. Они торопливо пробирались между брестами, нашли въ углу свѣжую могилу и начали ее быстро раскапывать. Работа кипѣла; мѣсяцъ плылъ по небу; все спало вокругъ; только въ тишинѣ раздавалось прерывистое, усиленное дыханіе гробопателей, и съ шорохомъ разсыпалась по травѣ земля изъ-подъ ихъ заступовъ; вдругъ заступъ глухо стукнулъ въ крышку гроба—и все замолкло.

— Что ты сталъ, Бродяга! сердито прошепталъ чело-вѣкъ, стоящій наверху.

— Страшно стало, ваше высокоблагородіе, отвѣчалъ другой изъ ямы:—такъ руки и опустились!

— Дуракъ, на берегу тонешь! Снимай крышку; подавай *его* сюда.

И черезъ минуту высунулась изъ ямы блѣдная голова мертвеца; густой черный чубъ раздѣлился на лбу и висѣлъ по сторонамъ длинными космами, а открытое чело и лицо страшно сверкало, облитое се-

ребрыными лучами мѣсяца. Павелъ Федоровичъ схватилъ мертваго за волосы, отворотился въ сторону и вытащилъ его на траву; потомъ подаль руку Бродягѣ, и Бродяга въ одинъ прыжокъ выско-чилъ изъ могилы.

— Воля ваша, говорить Бродяга, дико озираясь въ стороны:—а... я... нѣтъ, ей-богу нѣтъ... посмотрите...

— Чтѣ съ тобой?

— Ей-богу, *онъ* шевелить губами!

Трусъ! Подай-ка арапникъ, вотъ я его пошевелю; ну же, проворнѣй! Завтра судъ прійдетъ, надо кончить поскорѣй.

Арапникъ хлопнулъ.

— Ай, ай! Павелъ Федоровичъ! закричалъ мертвый, поднимаясь на ноги.

Какъ мыши отъ кота, бросились бѣжать съ кладбища Павелъ Федоровичъ и Бродяга. Топотъ своихъ шаговъ они принимали за топотъ мертвеца; собственныхъ тѣни, мелькавшія въ сторонѣ на дорогѣ, казались имъ безплотными руками какого-то чудовища, которое хотѣло ихъ схватить за затылокъ; въ воздухѣ, свистѣвшемъ мимо ихъ ушей, имъ слышалось сердитое шипѣнье злаго духа.

V.

Мѣсяцъ высоко плылъ по небу. Спокойно спало Жаворонково; только не спалъ Андрей Федоровичъ: грусть о смерти Утки не давала ему покоя.

„Вотъ уже давно за полночь, а я все сижу нераздѣтый, и не сплю, оттого, что нѣтъ моего Утки,“ думалъ Андрей Федоровичъ, глядя въ окно на небо.—„Говорятъ старые люди, будто душа умершаго трое сутокъ летаетъ вокругъ своего дома, какъ ласточка вьется вокругъ разореннаго гнѣзда. Можетъ быть, и душа Ивана теперь близко гдѣ-нибудь; а можетъ быть, она вотъ сейчасъ пролетѣла легкимъ облачкомъ мимо мѣсяца! Известно—душа Божія, гуляетъ себѣ по высотамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія!... Ей нѣтъ другой работы.“

Легкій стукъ въ окно прервалъ эти размышленія. Андрей Федоровичъ вздрогнулъ; стукъ повторился сильнѣе—ознобъ пробѣжалъ по тѣлу Андрея Федоровича. „Кто тамъ?“ спросилъ не твердымъ голосомъ.

— Я, отвѣчалъ внизу, за окномъ, знакомый голосъ.

Андрей Федоровичъ взглянулъ внизъ и обмеръ: тамъ стоялъ Иванъ Утка.

— Впустите меня! жалобно говорилъ Утка.

Андрей Федоровичъ молчалъ.

— Впустите меня! Всѣ двери заперты, войти некуда, повторилъ Иванъ.

— Не пущу, Иване! Богъ съ тобою, лежи себѣ спокойно.

— Гдѣ жъ я тутъ лягу? Святые васъ знаютъ, чтѣ выдумали; трава мокра отъ росы. Впустите!

— Оставь меня въ покоѣ! Я знаю, что виноватъ передъ тобой; видитъ Богъ, я не хотѣлъ тебѣ сдѣлать зла: ты самъ напросился снимать сапоги, самъ упалъ, и самъ умеръ!

— Христосъ съ вами, баринъ! что это вамъ приснилось?

— Не приснилось, Иване! О, когда бъ приснилось!... Иди себѣ съ миромъ да ложись въ могилу; я завтра за твою душу отслужу панихиду, то и тебѣ будетъ покойнѣе...

— Перестаньте шутить, баринъ! я виноватъ, что вчера былъ немного пьянъ, да и заснулъ... за то вы уже довольно и посмѣялись надо мною... Впустите! мнѣ и ѣсть хочется.

— Оставь меня въ покоѣ! видно, нечистая сила говорить твоими устами; тебѣ не нужна пища.

— Да развѣ я духъ какой, что мнѣ и хлѣба ѣсть не нужно?

— А то жъ кто?

— Я вашъ слуга, Иванъ Утка!.. Вотъ заспались!

— А перекрестись.

— Хоть десять разъ, коли вамъ, хочется; смотрите...

— Такъ! А прочитай молитву.

Иванъ началъ читать „Отче нашъ.“

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, читай: „Да воскреснетъ Богъ.“

Иванъ прочелъ.

— Да ты въ самомъ дѣлѣ не мертвецъ и не какая-нибудь нечистая сила! Не ужели ты Иванъ Утка, мой слуга?

— Ей-богу Иванъ Утка, вашъ слуга.

„Это мнѣ снится чтѣ ли?“ говорилъ про себя Андрей Ѳедоровичъ, крѣпко щипля свою руку, носъ и уши.

— Да какой чертъ снится! крикнулъ, разсердясь, Утка:—впустите скорѣе!

— Нехорошо, Иване, произносить имя чорта—будь онъ проклятъ!—ночью; и безъ этого пропасть всякой дряни на бѣломъ свѣтѣ... Когда жъ ты хочешь, чтобъ я тебя впустилъ въ комнату, скажи, чтѣ у меня въ карманѣ?

— А кто васъ знаетъ! Развѣ я могу влѣзть въ вашъ карманъ?

„Онъ долженъ быть человѣкъ“, подумалъ Андрей Ѳедоровичъ.—„Если бъ онъ былъ духъ, то зналъ бы, чтѣ у меня въ карманѣ.“

— Ну, скажи мнѣ, чтѣ я третьягодня ужиналъ?

— Галушки съ молокомъ.

— Правда!

— Колбасы четырехъ сортовъ.

— Такъ! Еще?

— Десять карасей со сметаною.

— Ну!

— Блюдо жареныхъ голубятъ.

— Да! а еще?

— Миску варениковъ.

— И только?

— А послѣ выпили кувшинъ молока.

— Правда, правда! А что я говорилъ тебѣ?

— Говорили, что мало, что ужинъ безъ борщу негодится...

— Такъ, такъ!... Ты вправду Утка!

Тутъ Андрей Ѳедоровичъ, въ восторгѣ, открылъ окно и продолжалъ:

— Откуда ты пришелъ, моя Уточка?

— Вотъ этого-то я и самъ хорошенько не знаю... Я былъ немного хмѣленъ и не помню, гдѣ спалъ. Сплю и слышу—меня ворочаютъ съ боку на бокъ и собираются бить арапникомъ; я по голосу узналъ Павла Ѳедоровича; да такъ крѣпко спать хотѣлось, что подумалъ:—„пусть себѣ бьютъ, а я буду спать!“—Вдругъ какъ ударить меня Павелъ Ѳедоровичъ, да такъ больно, что куда и сонъ дѣвался! Я вскочилъ на ноги, а они отъ меня... Смотрю, кругомъ кресты да могилы; стало страшно! я скорѣй оттуда, да едва дошелъ сюда: съ похмѣлья ноги не несутъ.

„Опять чепуха“, подумалъ Андрей Ѳедоровичъ: „ну, да онъ ли сошелъ съ ума или я, а только онъ именно человѣкъ, живой человѣкъ“; подумалъ, разбудилъ дворню, да и впустилъ Утку въ горницу. Всѣ крестились и чурали себя, когда вошелъ Иванъ Утка, и только тогда увѣрились, что онъ живой христіанинъ, когда онъ съѣлъ половину жаренаго поросенка и выпилъ добрую чарку водки.

Куда было спать послѣ такого происшествія! Пока поговорили, потолковали, подумали, а тутъ и день смотреть въ окно. Не успѣло солнце порядочно выйти изъ-за села, а по селу зазвенѣли колокольчики, и прямо на дворъ Андрея Ѳедоровича прискакали два верховые казака, за ними почтовая телѣга, а въ телѣгѣ человѣкъ съ шеею, обмотанною краснымъ платкомъ—это былъ земскій исправникъ, одинъ изъ числа нѣсколькихъ десятковъ тысячъ коллежскихъ секретарей Россійской имперіи. У него лѣто и зиму постоянно была обмотана шея краснымъ платкомъ яркаго цвѣта; причина этому мнѣ неизвѣстна. За первую телѣгою вслѣдъ скакала вторая: въ

ней сидѣлъ человѣкъ почтенной наружности, въ картузѣ, съ предлиннымъ зонтикомъ: это былъ извѣстный въ уѣздѣ лошадинный барышникъ и главный заводчикъ свекловичнаго сахара, уѣздный докторъ. Въ третей телѣгѣ сидѣлъ писецъ въ желтомъ нанковомъ сюртукѣ; въ четвертой ѣхалъ фельдшеръ, съ виду очень похожій на молоденькаго зайца, а за нимъ скакали шесть верховыхъ казаковъ.

Андрей Ѳедоровичъ, протирая глаза отъ изумленія, смотрѣлъ на гостей, которые съ шумомъ шли къ нему на крыльцо, будто на непріятельскую батарею, приказывая людямъ готовить посылки обѣда да засыпать поболѣе лошадямъ овса. Вотъ дверь изъ сѣней въ комнату распахнулась и на первомъ планѣ картины показалась красная шея исправника, изъ-за нея выглядывалъ длинноносый картузъ доктора, за картузомъ желѣлъ сюртукъ писца, изъ-подъ мышки котораго выглядывала заячья мордочка фельдшера; далѣе пестрѣли казачьи шапки.

— Мое почтеніе, Мадагаскаръ Ивановичъ, сказалъ на встрѣчу исправнику Андрей Ѳедоровичъ, и хотѣлъ было уже съ нимъ поцѣловаться.

— Во первыхъ... громко сказалъ исправникъ, отступая шагъ назадъ, да и чихнулъ, потомъ утерся носовымъ платкомъ и продолжалъ:— а во вторыхъ, я долженъ дѣйствовать безъ всякаго лицепріятія, то-есть, вслѣдствіе законнаго основанія... а въ-третьихъ, извольте отвѣчать: гдѣ вашъ крестьянинъ Иванъ Утка?

— Вотъ онъ, отвѣчалъ Андрей Ѳедоровичъ, показывая на Ивана.

— Нѣтъ, не этотъ, а другой Иванъ Утка.

— Да онъ одинъ только и былъ у меня.

— Какъ же это? Гдѣ же Утка, яко бы умершій скоропостижно ударомъ и безсрочно-погребенный?

— Это онъ и есть!

Исправникъ поднялъ кверху плечи и

брови, расправилъ персты правой руки въ видѣ опахала, а лѣвую приложилъ къ подбородку, и вопросительно посмотрѣлъ на обѣ стороны

Вы догадываетесь, что здѣсь начинается слѣдственное дѣло, которое ни вы не имѣете охоты слушать, ни я рассказывать, тѣмъ болѣе, что вамъ извѣстно, кто правъ, а кто виноватъ.

Между-тѣмъ... ну, между-тѣмъ хоть прочитайте слѣдующую страницу:

ЭПИЛОГЪ.

Въ іюнѣ, въ самый полдень, тянулась по пыльной дорогѣ партія арестантовъ; они едва шагали, побрякивая тяжелыми цѣпями; впереди и сзади партіи шли старые солдаты инвалидной команды во всей походной амуниціи. Вотъ, мимо партіи быстро промчалась коляска, запряженная четвернею пѣгихъ лошадей. Въ ней сидѣлъ Андрей Ѳедоровичъ съ своею супругой, Фридерикою Карловной. Быстро приблизилась и исчезла коляска, осыпавъ печальныхъ путешественниковъ облакомъ пыли; но одинъ арестантъ, въ смуромъ кафтанѣ, съ широкою включенною бородой, долго смотрѣлъ вслѣдъ за нею, и когда она совершенно скрылась изъ виду, зашатался, поблѣднѣлъ и, судорожно хватаясь за товарища, грянулся о землю.

— Свистуновъ! что съ нимъ? спросилъ ефрейторъ.

— Должно быть, сомлѣлъ отъ жару, отвѣчалъ инвалидъ, шедшій сзади.

— Окати его водой!

И солдатъ, ставъ на колѣни передъ арестантомъ, началъ лить ему на лицо изъ манерки воду.

Арестантъ былъ — Павелъ Ѳедоровичъ!...



Записки студента.

ПОВѢСТЬ.

Entre le commencement et la fin il y a la vie.
V. Hugo.

Я желалъ бы знать, что думаютъ лошади во время гололедицы?

Не знаю какъ вы, а я съ большимъ сожалѣніемъ смотрю на лошадей, когда улицы покроетъ гладкій ледъ и бѣдныя животныя, робко ступая, скользятъ, шатаются и всякую секунду готовы упасть, можетъ-быть, съ тѣмъ, чтобъ не встать болѣе. Особенно гибельны въ это время торговыя мостовыя и мосты. Люди—животныя разумныя, привыкшія ходить безъ опасенія на скользкомъ паркетѣ, и тѣ нерѣдко падаютъ во время гололедицы—а лошади, бѣдныя лошади! Право, жаль ихъ...

Осенью 184 . года, часу въ 10-мъ утра, въ Петербургѣ была знаменитая гололедица. Все живое, всякаго пола и возраста, болѣе или менѣе падало. Тучковъ мостъ представлялъ длинное поприще для этого упражненія.

Онъ былъ похожъ на арену, усѣянную побѣжденными. Особливо камнемъ преткновенія, о который разбивались всѣ усилія путешественниковъ, былъ маленькій подъемный мостикъ посреди длиннаго моста на сваяхъ... Я предполагаю моихъ читателей до того образованными, что они очень хорошо знаютъ Тучковъ мостъ, что, проѣзжая или проходя его, они на половинѣ своего пути подымались на холмикъ и, спустясь съ холмика, опять продолжали свой путь спокойно, даже до каменной мостовой—и очень хорошо понимаютъ, что этотъ холмикъ не есть произведеніе природы, но подъемный мостъ, построенный инженерами для пользы общественной: ночью онъ растворяется и пропускаетъ корабли, а днемъ, имѣя подобіе естественной горки, пріятно разнообразить путешествие...

Утромъ, во время знаменитой гололедицы, о которой уже сказано выше, я подходилъ къ подъемному мостику на Тучковомъ мосту: деревянная горка, остеклованная льдомъ, представилась глазамъ моимъ; передъ горкою стояла дюжая сѣрая лошадь, запряженная въ роспуски, и, поставя врозь всѣ четыре ноги, съ ужасомъ смотрѣ-

ла на предстоящую опасность; такъ-называемый лоховой извозчикъ, стоя съ боку, собралъ возжи въ одну руку и махалъ ими надъ лошадыю, приговаривая на распѣвъ: Ну! ну-у-у! у! На роспускахъ лежалъ бѣлый, досчатый гробъ, привязанный веревкою; сзади стояла женщина лѣтъ пятидесяти, въ голубой заячьей шубкѣ, съ желтымъ, поношеннымъ платкомъ на головѣ.

— Ну! ну! ну-у-у! крикнулъ извозчикъ, сильнѣе прежняго.

Лошадь съ усиліемъ ступила передними ногами на мостикъ, зачастила ими, скользя внизъ по льду, и упала на колѣни.

— Ну! разомъ! ну! Сѣрко! прикрикнулъ извозчикъ, ударивъ лошадь концомъ возжей. Сѣрко быстро всталъ, прыгнулъ впередъ, невѣрно цѣпляясь подковами, и стено растянулся на мосту.

Два офицера выругали извозчика за то, что его лошадь мѣшала имъ пройти свободно.

Извозчикъ ругалъ мостъ и гололедицу, и билъ возжами Сѣрко, который стоялъ, жалобно смотря на своего хозяина,

— Онъ не подымется: развѣ ты не видишь, у него ноги изломаны? сказалъ какой-то прохожій, въ синемъ картузѣ, съ красными выпушками.

— Ой, матушки! вскрикнула старуха въ голубой шубкѣ, стоявшая позади роспусковъ:—бѣдный Яковъ Петровичъ! и тутъ ему талану нѣту: и на Смоленское сразу не доѣдетъ!

— Ты родственника хоронишь, старуха? спросилъ я.

— Какого родственника! Это ихъ благородіе, дворянинъ, чиновникъ. Добрый былъ—царство ему небесное, а какой безталанный!... Вотъ, хороню на свои деньги... хоть сама не купчиха какая, не богачка... Богъ заплатитъ, ради добраго покойника...

Недавно члены какого-то человѣколюбиваго общества, сложась по четвертаку, схоронили безроднаго бѣдняка. Цѣлую недѣлю говорили объ этомъ поступкѣ, и восемь разныхъ статей было написано о немъ въ газетахъ, между-тѣмъ, какъ о приѣздѣ

хивинскаго посланника говорилъ только сутки, о возвращеніи Тальони—двое, о привозѣ свѣжихъ устрицъ—трое сутокъ, о механическомъ дивѣ и о *превосходнѣйшихъ* каменныхъ зубахъ (каждаго изъ Вагентеймовъ особо) публикуется въ „Полицейской Газетѣ“ только по три раза.

Передо мною стояла простая, необработанная баба, которая, не будучи членомъ человеколюбиваго общества, не складываясь ни съ кѣмъ, на послѣднія деньги, какъ могла, хоронила своего бѣднаго собрата-человѣка, и, какъ мнѣ казалось, даже далеко была отъ мысли опубликовать о своемъ пожертвованіи.

Я вообще очень привязанъ къ красному полу: люблю безъ души молоденькихъ и чрезвычайно уважаю пожилыхъ; но я съ особеннымъ уваженіемъ смотрѣлъ на бѣдную старушку въ голубой шубѣ, и какъ ниже ея въ то время показались мнѣ многія изъ прекрасныхъ дамъ, читающихъ французскіе романы, отчаянно играющихъ въ карты, и даже могущихъ доставить своему protegé выгодное мѣсто!...

Прохожій, котораго, по синей фуражкѣ, я счелъ за ветеринарнаго врача, болѣе солгалъ, нежели сказалъ правду, потому что Сѣрко, наконецъ, не выдержавъ манипуляціи извозчика, всталъ на всѣ четыре ноги и, кое-какъ переправясь черезъ подземный мостикъ, тихо потащилъ гробъ.

Я пошелъ за гробомъ, разговаривая съ старухой и узнавъ, что умершій былъ ея постоялецъ, что онъ во время болѣзни даже продалъ все свое платье, что умеръ не оставя ничего, кромѣ свертка бумагъ. „И умеръ надъ ними, голубчикъ! За нихъ если дать лавочникъ пятачокъ,—и то спасибо,“ прибавила старуха.

Вы догадываетесь, что я купилъ у старухи бумаги; она на другой день принесла мнѣ ихъ. Это былъ повседневный журналъ; между листами его лежали письма; каждое пришито къ тому дню записокъ, въ который было получено; все это вмѣстѣ составило родъ простой повѣсти, и я рѣшилъ ее напечатать, не измѣняя ни одного слова.

183... года 20 іюня.

Экзаменъ оконченъ сегодня — и я вступаю въ новую жизнь... Миръ праху твоему, добрый человѣкъ, основатель лицей! Благословлю память твою!...

Давно ли я былъ еще ребенокъ? Какъ сегодня, помню день моего отъѣзда въ лицей. Я на своей маленькой лошаdkѣ хотѣлъ ѣхать гулять въ степь; меня позвалъ папенька.

— Послушай, сказалъ онъ мнѣ:—собери свои книги; мы сегодня поѣдемъ далеко: я тебя отдамъ учиться въ лицей.

— А это очень далеко? спросилъ я.

— Верстъ полтораста.

— Такъ мы завтра не воротимся?

— Нѣтъ; ты проживешь тамъ долго.

— Болѣе недѣли?

— Гораздо.

— Мѣсяцъ?

— Больше.

— Не уже ли годъ?

— Шесть лѣтъ.

Меня обдало холодомъ. Ъхать въ такую даль, за 150 верстъ отъ дома, на шесть лѣтъ проститься съ папенькою, съ моею маленькою комнатою, съ бѣлою акаціей, которую я поливалъ каждое утро, а она, какъ нарочно, такъ душисто расцвѣла теперь!...

Грустно стало мнѣ; я вышелъ на крыльцо; моя лошадка, увидѣвъ меня, привѣтно заржала; я подошелъ къ ней, машинально сѣлъ на нее и шагомъ выѣхалъ въ поле.

Нивы шумѣли отъ утренняго вѣтерка, росистая стена пестрѣла въ цвѣтахъ, жаворонки пѣли; но ничто меня не радовало. Я не спѣшилъ нарвать букетъ анемоновъ, не старался поймать красивую бабочку, чтобъ подарить ее маменькѣ—одна мысль тяготила меня: я долженъ все это оставить, оставить на долго!... Какъ хороша воля! подумулъ я и соскочилъ съ лошади. „Прощай, лошадка, сказалъ я: ступай на волю!“ поласкалъ ее и бросилъ поводъ. Лошадка стояла передо мною. „Глупенькая, ты будешь гулять!“ Я обнялъ ее и махнулъ руками. Черезъ минуту, только ея головка далеко ныряла между цвѣтистою зеленою; еще минута, и я уже не видѣлъ ничего: все зародужилось, закружилось въ глазахъ моихъ, наполненныхъ слезами.

Послѣ обѣда мы съ папенькой выѣхали изъ дома. Прощаясь, маменька уговаривала меня не грустить, общала привѣтъ ко мнѣ, дала мнѣ коробочку конфектъ—и я утѣшился.

И вотъ я въ лицей. Меня ввели и оставили въ этомъ огромномъ зданіи. Все незнакомыя лица, все такія страшныя, классическія фізіономіи профессоровъ, все такъ сухо, такъ важно! Папенька уѣхалъ.

Я пошелъ къ окошку; оно было въ третьемъ этажѣ; внизу краснѣли крыши одноэтажныхъ домиковъ; далѣе, стройно вытянулась улица, за нею стояла березовая роща, а тамъ—Боже мой! гладкое поле; на немъ змѣилась дорога на мою родину!... По дорогѣ несло облако пыли;

мнѣ казалось, что я вижу въ немъ нашу коляску, даже казалось, что папенька машетъ мнѣ изъ коляски платкомъ; но вотъ и это облако слилось съ горизонтомъ... я стоялъ и тихо плакалъ. Тутъ подошелъ ко мнѣ Ш.; онъ такъ мило заговорилъ со мною, такое принялъ участіе въ моей печали, что мы съ того дня сдѣлались друзьями.

Милый Ш.! Мнѣ теперь смѣшно, когда вспомню, какъ онъ утѣшалъ меня. Онъ говорилъ, что лицей непременно долженъ сторѣть, потому-что въ немъ много несчастныхъ, подобныхъ намъ; а когда онъ сторить, то мы опять побѣдемъ по домамъ. И какъ эта глупая мысль восхищала меня! Я цѣлый мѣсяцъ ложился спать, напередъ хорошенько увязавъ всѣ свои книги и платье, чтобъ сейчасъ же бѣжать, когда начнется пожаръ. Вся кровь, бывало, бросится въ голову, когда услышишь запахъ дыма, или кто пройдетъ ночью по корридору со свѣчею: все ждешь, вотъ загорится, вотъ будетъ тревога, вотъ разольется огонь по комнатамъ... Но угрюмо дремали во мракѣ каменные стѣны огромнаго зданія; изрѣдка гдѣ-нибудь хлопнетъ незатворенное окошко, или въ дальнемъ корридорѣ простонутъ тяжелые шаги стараго инвалида, и опять все тихо, тихо... такъ и захочется спать.

Но вотъ, сегодня шесть лѣтъ, какъ я здѣсь; завтра день выпуска. И сколько перемѣнитъ съ того времени!... Наука открыла передо мною свои святые сокровищницы; мой умъ смѣло ширяетъ въ тучахъ и разлагаетъ громы и молніи; я дерзаю вычислять пути свѣтилъ небесныхъ; наука увлекаетъ меня на дно моря и показываетъ жемчугъ и подводныя чудовища, сводить въ нѣдра земли, гдѣ растутъ жилы золота и зрѣютъ драгоценные камни; она рассказала мнѣ судьбы народовъ, и дѣла давно минувшія переходятъ въ умъ моемъ яркою фантазмагоріей; я изучаю природу, изучаю человѣка, самого себя, и люблю Творца, какъ благодѣтеля моего, люблю по убѣжденію.

А поэзія? Боже! и есть люди, которые не понимаютъ поэзіи!... Бѣдные, жалѣю о васъ: вы не знаете лучшаго наслажденія въ жизни! вы не понимаете ни Жуковского, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина, великаго Пушкина! Вы произносите эти имена, какъ имя славнаго портнаго, парикмахера—и ваше седце не трепещетъ сладкимъ восторгомъ. Жалкіе! плачьте о вашемъ невѣжествѣ и дивитесь этимъ именамъ, какъ проявленіямъ неба на землѣ... Шесть лѣтъ—и какъ я выросъ духовною жизнью!...

Я долженъ сказать прости моимъ товарищамъ, съ которыми вмѣстѣ, съ которыми дѣлилъ и радость, и горе, съ которыми не разъ тепло передъ святымъ алтаремъ; я долженъ имъ прости. Долгъ чести зовя: я долженъ служить отечеству. разъ я завидовалъ мудрымъ Спинозамъ, Аристотелямъ... И редко мною широкое поле жизни, стое. Какой разгулъ для дѣятельно редъ! какое раздолье быть поближнему... Мой девизъ: прези низкое, любить одно возвышенн увидимъ, что что я сдѣлаю!...

2

Вотъ я опять въ нашей мале ревнѣ. Свободенъ, какъ Божія Кантъ, и Юстиніанъ, и несносны забыты до времени.

28 in

Чудная жизнь въ Малороссіи. Вчера я пріѣхалъ домой; отецъ обня и поздравилъ *человѣкомъ*: макала; сбѣжались братья, подняли хохотъ—такъ прошелъ цѣлый день мнѣ отвели квартиру, какъ батюшка, въ саду, въ бесѣдкѣ. Эту утонула въ зелени деревьевъ; пе ими окнами цвѣтутъ цѣлыя пира шистаго горошка, стройно колебли поцвѣтныя мальвы, а розы, полни ныя розы, тянутся густою гирлянд по сторонамъ темнозеленой аллеи. живописецъ могъ нарисовать такую ну, онъ умеръ бы отъ восторга.

29 in

Сегодня день моего ангела. снулся рано поутру. Въ головахъ стояла огромная ваза только-что шихъ розъ. Человѣкъ сказалъ мнѣ восходомъ солнца моя маменька савила эти розы и ушла тихонько, стивъ меня... Какъ я сладко селился Богу; эти розы курились оиміамомъ къ Его престолу! Ести въ жизни, которыми выкупаются данія человѣчества.

Люди! понимаете ли вы, чмать? понимаете ли вы это страд существо, эту вѣчную, безгранич бовъ? Мужчины, благоговѣйте петью: это алтарь, на которомъ неурить любовь къ человѣчеству, мож одна любовь въ мірѣ безъ холоднаго

У насъ были гости: человѣка четыре сосѣдей, все люди отставные съ мундиромъ. Цѣлый почти день рассказывали о разныхъ случаяхъ войны; мой отецъ говорилъ о взятіи Очакова такъ подробно, какъ-будто вчера только его брали. Тутъ были свидѣтели и семилѣтней войны и войны отечественной. Какая поэтическая жизнь военного человѣка! Сегодня здѣсь, завтра тамъ, послѣ въ третьемъ мѣстѣ; вездѣ новыя лица, новыя знакомства, прелесть отдыха, грусть разлуки—все это должно тревожить сердце, возбуждать духъ къ дѣятельности. А это глубокое самоотверженіе, эта всегдашняя готовность пожертвовать для блага общаго самымъ драгоцѣннымъ для человѣка — жизнью, не возносить ли это меня самого въ глазахъ моихъ? Какъ понятна благородная гордость рыцарей, надѣвавшихъ мечъ! Нѣтъ, я непременно посвящу себя войнѣ; я буду кавалеристомъ; мои предки жили и умирали на коняхъ; я послѣдую ихъ примѣру.

1 іюля.

У насъ есть два сосѣда, статскіе; одинъ Щука-Окуневскій, говорятъ, удивительный вѣстовщикъ и любитъ говорить свысока, а другой Сутяговскій; объ этомъ отзываются какъ объ умномъ человѣкѣ. Они оба вышли въ отставку и пріѣхали изъ губернскаго города въ уѣздъ, въ свои деревни, когда я былъ въ лицѣѣ.

14 іюля.

Я очень не люблю нашего сосѣда Сутяговскаго, хотя онъ и пользуется какого-то особеннаго рода уваженіемъ всего уѣзда: всѣ за-глаза его ругаютъ, а въ глаза какъ-будто его боятся; даже видъ Сутяговскаго мнѣ не нравится: высокій мужчина, вѣчно наклоненный впередъ; на лбу всегдашняя дума о чемъ-то недобромъ; голосъ — хриплый басъ, похожій на ворчанье бульдога; глаза постоянно опущенные внизъ; о чемъ бы ни говорилъ онъ, съ кѣмъ бы ни говорилъ, они всегда устремлены на одно мѣсто, на полъ. Мнѣ кажется, онъ долженъ быть большою грѣшникомъ и боится поднять глаза, чтобъ не увидѣть надъ собою карающей десницы правосудія. Важность, съ какою онъ входитъ въ комнату, какъ поправляетъ медленно на шеѣ орденскую ленту, какъ прикидывается простакомъ, чтобъ больше еще выказать свою ученость, которая, *entre nous soit dit*, не слишкомъ глубока — все это нестерпимо. Куда бы ни пріѣхалъ онъ, всѣхъ перецѣлуешь, начиная съ хозяина до послѣдняго гостя, хотя бы ему кто былъ и

незнакомъ — ему все равно; идетъ по тихоньку вокругъ комнаты, схвативъ человѣка въ объятія, поцѣлуешь разъ, два, три, заворчитъ какую-то любезность или заклинаніе—кто его разберетъ! — и принимается за другаго, пока всѣхъ обойдетъ... Да это такъ важно, будто онъ Богъ-знаетъ какая знаменитость, и не хочетъ никого обидѣть, лишивъ частички своей высокой ласки.

Я недавно видѣлъ, какъ въ сѣти паука попалась муха: въ одну секунду паукъ былъ уже возлѣ своей жертвы, схватилъ ее, прижалъ къ своей груди и долго обнималъ ее двумя передними лапками, опутывая роковой паутиною; потомъ прокусилъ бѣдный мухѣ голову, выпилъ изъ нея кровь и преспокойно возвратился въ свою засаду, какъ ни въ чемъ не бывало, только потолстѣлъ немного. Съ этихъ поръ я не могу равнодушно смотрѣть на Сутяговскаго: когда онъ обнимаетъ человѣка, мнѣ все кажется: вотъ запищитъ бѣдный страдалецъ, вотъ сосѣдъ прокуситъ ему голову...

Сутяговскій тоже меня не очень жадуетъ: то экзаменуетъ меня и чрезвычайно важничаетъ, когда я, чтобъ не огорчить батюшку, отвѣчаю ему, какъ профессору; то беретъ на себя трудъ дѣлать мнѣ наставленія, поетъ съ бемольнаго тона о правдивности, какъ пресвитеріанецъ временъ Кромвеля. Несмотря на все это, въ немъ сильно отзывается духъ прошедшаго XVIII вѣка, не слишкомъ нравственнаго.

Какую онъ соорудилъ сердитую рожу, когда я сказалъ, что не считаю Вольтера великимъ поэтомъ! Онъ готовъ былъ скупать меня, какъ паукъ муху, проворчалъ себѣ подъ носъ, вѣроятно, какую-нибудь глупость, и, сразу перемѣнивъ разговоръ, началъ проповѣдывать о чести, обязанности всякаго дворянина служить отечеству, о томъ, что молодому человѣку гораздо приличнѣе служить даже въ городской ратушѣ, нежели заниматься пустыми мечтами, ведущими къ растлѣнію нравовъ; что встарину такъ не бывало; оттого было болѣе и учтивства, и утонченной вѣжливости, и приличнаго всякому обращенія... Я вышелъ изъ комнаты, и возвратился, увидя, что Сутяговскій уѣхалъ.

Несносный человѣкъ!

15 іюля.

Скоро будетъ въ Р* ярмарка; весь нашъ уѣздъ приходитъ въ движеніе; только и толкуютъ о ярмаркѣ; чрезъ недѣлю половина нашего населенія двинется въ Р*.

Батюшка тоже хочетъ ѣхать и меня беретъ съ собою. Я скучалъ бы этою по-

такой, если бы не надѣялся увидѣться съ М., съ своимъ милымъ товарищемъ.

19 июля, полдень.

Мы въ дорогѣ. Скоро я увижу добраго М. Онъ живетъ въ томъ уѣздѣ, гдѣ будетъ завтра свиданіе! Я желалъ бы перелетѣть въ Р. Но мы ѣдемъ на своихъ лошадяхъ, едемъ упряжку 30 верстъ, и, говорятъ, чтобы отдохнуть лошадямъ, покормить ихъ. На постоянныхъ дворахъ останавливаются теперь нѣтъ никакой возможности: такъ жарко, миллионы мухъ, а народу всегда еще больше: шумъ, крикъ — несносно! Мы ѣхали изъ селенія и сейчасъ же остановились въ тѣнистой дубовой рощѣ, которая съ дороги спускалась по отлогой горѣ до ручья, быстрой рѣчки.

Пока лошади ѣдятъ овесъ, а поваръ, раскинувъ въ сторонкѣ огонь, хлопочетъ около огня, мы вышли изъ коляски и ушли въ тѣни на раскинутомъ коврѣ. Батюшка читаетъ „Московскія Вѣдомости“, я пишу отъ-нечего-дѣлать. Ба! къ намъ еще подъѣзжаетъ экипажъ... останавливается... Господи! да это Сутяговскій; его лошадей отпрягаютъ; онъ уже идетъ сюда, и я часа два долженъ буду слушать его широковѣщательныя пошлости... Нѣтъ, прощайте.

Вечеромъ.

Въ первый разъ въ жизни я благодаренъ Сутяговскому: чтобы избавиться отъ его присутствія, я взялъ ружье и пошелъ къ рѣкѣ, будто на охоту, велѣвъ извѣстить меня, когда лошади будутъ готовы. По берегу рѣки шла узенькая проселочная дорога: въ двухъ шагахъ отъ дорожки стояла распряженная кибитка, поднявъ къ небу оглобли; на оглобляхъ было натянуто полотно, изъ котораго тройка гнѣдыхъ лошадей кушала овесъ; двое мальчиковъ, лѣтъ около десяти или двѣнадцати, подбирали къ берегу раковины и цвѣтные камешки; недалеко отъ берега, на песчаной отмели, сидѣлъ въ водѣ пожилой человекъ, выставивъ изъ воды свою усатую голову, накрытую кожанымъ треугольнымъ картузомъ; голова весело разговаривала съ дѣтьми:

Батюшка, бросьте намъ еще раковинъ.

Ладно! отвѣчала голова: — я вамъ доставлю самыхъ пестрыхъ, и отодвинулась еще дальше отъ берега...

Гдѣ же раковины? кричали дѣти.

Господи! что это?! я иду въ пропасть... Ухъ!... вскрикнула голова и исчезла подъ водою; треугольный картузъ быстро поплылъ по теченію... Секунды черезъ три опять

показалась голова, ухнула, и опять скрылась...

— Батюшка тонетъ!... вопили дѣти: — онъ не умѣетъ плавать.

Въ минуту я былъ уже въ водѣ, схватилъ утопленника, кое-какъ вынесъ на берегъ, скоро привелъ его въ чувство и возвратился къ экипажу, душевно благодаря Сутяговскаго.

Я пришелъ весь мокрый. Сутяговскій, увидя меня, началъ басить моему отцу: — Да, я вамъ говорю, совсѣмъ не то время: все теряетъ свою цѣну; имъ тяжело послушать часъ-другой опытнаго старика, лучше пойдутъ въ болото, убьютъ какую-нибудь пичужку — заряда не стоитъ! — ни пуху, ни перьевъ, ни мяса, въ ротъ взять нечего; а зарядъ денегъ стоитъ, а платье и того болѣе, все перепачкаешь, изгадишь... Мы, бывало, у нашихъ стариковъ изволь носить пестрядиное, холстинное и прочее... такъ нанковому платью и цѣну, бывало, знаешь: а суконное — если дождемся суконнаго — бывало, бережемъ какъ свою душу: коли черное, такъ черное, ни пятнышка бѣлаго не допустимъ; а теперь наряжаются въ будни какъ подъ вѣнецъ; различія нѣтъ между возрастами... Право, не хорошо!

Батюшка крѣпко обнялъ меня, когда я рассказалъ ему свое приключеніе, а Сутяговскій началъ ворчать:

— Благородно, не спорю, да неразумительно; онъ, вы говорите, толстъ и здоровъ, а вы молоды и малосильны; прими дѣло другой оборотъ — осиротили бы своихъ родителей, а пользы никакой...

Тутъ Сутяговскій началъ поправлять на шеѣ свою орденскую ленту, а мы уѣхали.

21 июля.

Любопытно знать, какимъ способомъ распространяются новости въ уѣздныхъ городахъ? Этотъ вопросъ для меня занимательнѣе вопроса о Востока. — Самые быстрые телеграфы, электрическіе, гальваническіе — какъ вамъ угодно, ничто передъ быстротою уѣздныхъ вѣстей. Положимъ, вы спали одни въ комнатѣ, никого не было даже въ сосѣднихъ покояхъ, и въ продолженіи ночи раза два кашлянули: поутру, вы не успѣли выйти на крыльцо, вамъ мимоходомъ кланяется Борисъ Ивановичъ и спрашиваетъ:

— Каковъ вашъ кашель? легче ли вамъ?

— Да кто вамъ сказалъ, что у меня кашель?

— Полно скрываться! весь свѣтъ это знаетъ; я заходилъ въ аптеку, тамъ уже часа полтора для васъ катаютъ пилюли.

— Ахъ, они проклятыя! кто ихъ просилъ?

— Именно проклятыя пилюли, хотъ и изготавливаются по рецепту патентованнаго

медика Лейбы Францовича. Лучше, я вамъ совѣтую, папиться огуречнаго разсолу—испытанное средство.

— Много благодаренъ!

— Не за что! Да, еще Александра Ивановна, проѣздомъ въ чужой уѣздъ, остановила меня на рынкѣ и говоритъ: „Скажите (тутъ она упомянула ваше имя и отчество) чтобъ поберегся, да пилъ липовый цвѣтъ съ патокою“. — До свиданія! берегитесь. Охъ, перенесъ и я въ прошломъ году кашель!

Да, чудная вещь! пока вы спали, духъ сплетень незримо прокрался въ вашу спальню, подслушалъ вашъ кашель и вынесъ его на свѣтъ Божій; вы спите, а за васъ уже не дремлютъ ближніе; катаютъ на вашъ счетъ пилюли; докторъ записалъ васъ въ свою приходную книгу; не только Борисъ Ивановичъ, но даже и Александра Ивановна уже знаетъ о вашемъ кашлѣ и, смотрите, черезъ недѣлю изъ чужаго уѣзда пріѣдутъ дальніе родственники спорить о вашемъ наслѣдствѣ, а вы еще и не думаете умирать.—Непонятная вещь!

Еслибъ я былъ англичаниномъ, непременно назначилъ бы огромную премію тому, кто вычислитъ съ математическою точностью быстроту провинціальныхъ сплетней.

Первое знакомое лицо, которое попалось мнѣ на встрѣчу въ Р*, былъ мой милый Ш.; онъ обнялъ меня и поздравилъ съ добрымъ дѣломъ. Боже мой! ужъ и здѣсь всѣ знаютъ о томъ, что я вытащилъ изъ воды человѣка. Мы пошли съ батюшкою *въ ряды*; народу было множество; всѣ спрашиваютъ меня объ утопленникѣ, осыпаютъ меня нелѣпыми похвалами; они уже успѣли узнать, что человѣкъ, спасенный мною, называется Ивановымъ, что онъ богатый мѣщанинъ нашего города, перекрещенецъ изъ жидовъ и т. п. Знакомые указывали на меня пальцами людямъ незнакомымъ.

Неужели самое высокое чувство должно отравляться глупостью? Неужели святая минута восторга, которую я испыталъ, спасая жизнь ближняго, должна выкупиться оскорбительными часами безтолковаго удивленія праздною толпою, которая черезъ часъ еще съ большимъ вниманіемъ станетъ смотрѣть на канатнаго плясуна, удивляться его прыжкамъ, станетъ толковать о немъ отъ-нечегодѣлать. Да и что тутъ необыкновеннаго—вытащить изъ воды утопающаго человѣка? Неужели кто-нибудь изъ этихъ господъ могъ бы спокойно смотрѣть на гибнущаго собрата и не подать ему помощи?

22 іюля.

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ
И сердце трепетное вынулъ,
И уголь, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ!..

Да, уголь, пылающій огнемъ, пламенѣетъ въ груди моей. Чудные вопросы роятся въ умѣ моемъ: и что со мною? и что я? и для чего я? и что такое жизнь наша?.. Одинъ извѣстный римскій писатель задалъ себѣ остроумный вопросъ: *Quid est nostra vita?* (что такое наша жизнь?) и самъ же отвѣчаетъ: *est forum in quo venditur et emitur* (рынокъ, на которомъ продаютъ и покупаютъ).

Господи! какой прозаическій отвѣтъ: рынокъ, гдѣ продаютъ и покупаютъ!.. Какъ это отзывается вѣкомъ паденія великаго царства, вѣкомъ, въ который изнѣженные потомки доблестныхъ, безкорыстныхъ римлянъ съ разсвѣтомъ дня выходили за ворота своихъ великолѣпныхъ домовъ, съ вѣсками въ рукахъ, и отдавали проходящимъ въ ростъ золото!... Нѣтъ, въ жизни есть цѣль выше торгашества...

Какъ хороша сестрица Ш.! Сегодня меня Ш. звалъ къ себѣ обѣдать; я немного опоздалъ. Вхожу въ переднюю—никого нѣтъ; въ сосѣдней комнатѣ обѣдаютъ, стучать тарелками, весело разговариваютъ... „Я его люблю“ говорилъ нѣжный, почти дѣтскій голосъ: „за его благородный поступокъ и желала бы видѣть...“ Отворяя дверь, я прервалъ начатую фразу.

— Легокъ на-поминѣ! закричалъ Ш.: — а мы думали, что ты измѣнишь, и сейчасъ только о тебѣ говорили. Рекомендую: это мои братья и сестры, а вотъ эта мечтательница—полно краснѣть!—сію минуту публично призналась, что тебя любитъ.

Меньшая сестра Ш., о которой онъ говорилъ, наклонилась къ тарелкѣ; густые, темные локоны почти закрывали все лицо ея, только по ярко-розовымъ ушкамъ можно было заключить о пожарѣ, который вспыхнулъ на лицѣ ея отъ словъ брата.

Но долго ли продолжается смущеніе женщины?

Черезъ нѣсколько секундъ она оправилась, подняла голову, рѣзко раскинула рукою кудри, улыбаясь, посмотрѣла на меня—и, Боже мой, какой отрадный, утѣшительный ея взоръ!... Я весь затрепеталъ отъ этого зора... затрепеталъ отъ полноты восторга, какъ трепещетъ прозрѣвшій слѣпецъ, впервые увидя міръ Божій, какъ изгнанникъ, услыша пѣсню далекой родины.

Ея лицо мнѣ знакомо: я гдѣ-то видѣлъ его, и видѣлъ не разъ, если не на яву,

такъ во снѣ; въ немъ много роднаго, близкаго моему сердцу; я гдѣ-то слышалъ ея рѣчи, эту чудесную музыку голоса человѣческаго; она мнѣ напомнила лучшія мѣста безсмертныхъ созданий Бетховена и Моцарта: въ нихъ отзывается ея рѣчами, — только отзывается, и отъ-того эти созданія такъ хороши! А тутъ сами ея упительные звуки!.. Мнѣ было невыразимо-хорошо, невыразимо-весело у Ш. Послѣ обѣда я остался пить чай и сидѣлъ у нихъ весь вечеръ.

Пришелъ домой и вдругъ на меня нашла невыносимая тоска. Я легъ въ постель — жарко; отворилъ окно въ садъ — въ саду пѣлъ соловей; у самого окна цвѣлъ душистый кустъ фіалокъ... Не знаю, почему фіалки мнѣ напомнили *ее*, въ звукахъ соловья было сходство съ *ея* голосомъ... какая-то гармонія, успокоивающая душу.

Пой, соловей, пока ты свободенъ; быть можетъ, завтра сѣти человѣка опутаютъ тебя, и въ тѣсной клѣткѣ ты станешь повторять свои вдохновенныя пѣсни! Можетъ быть, завтра и эти фіалки, сорванныя жадною рукою, очутятся въ богатой фарфоровой вазѣ и, оторванныя отъ роднаго корня, станутъ разливать предсмертное благоуханіе въ покояхъ богатаго. Можетъ быть, и *она* — чудесное созданіе... Но нѣтъ, неужели какой-нибудь эгоистъ завладѣетъ этимъ сокровищемъ?!... Господи! и откуда такія черныя мысли? отчего эта душевная тревога? Давно уже соловей умолкъ, дремля около своей подружки, счастливца!... давно уже полночь; луна заглялась, все спитъ... а ко мнѣ не слетаетъ сонъ-утѣшитель...

23 июля.

Сегодня я опять видѣлъ *ее*, слушалъ *ее* — словомъ, былъ счастливъ цѣлый день. Странное чувство овладѣло мною: отчего, когда подхожу къ ней, въ груди у меня что-то трепещетъ, будто пойманная птичка въ рукахъ охотника? хочу говорить — голосъ прерывается, а между тѣмъ, я вездѣ найду *ее* по какому-то странному инстинкту: въ рядахъ, между сотнею соломенныхъ шляпокъ съ розанами, я безошибочно узнаю *ея* шляпку, такую же соломенную, съ такими же розанами, какъ и другія — отъ чего это?

Неужели это любовь? неужели меня постигло это неразгаданное, таинственное, святое чувство, чувство, возвышающее человѣка до невозможности, сила, хранящая весь міръ, альфа и омега благодати Провидѣнія, сила, которая заставляетъ бездупный цвѣтокъ трепетать и склоняться къ другому, сдвигаетъ противоположные полюсы твердаго магнита, проявляется въ притягаемости разнороднаго электричества,

влечетъ тучи небесныя къ землѣ и соединяетъ небо съ землею огненными нитями молніи; краеугольный камень нашей божественной религіи: „любите и враговъ вашихъ!“ — сказалъ Богъ устами человѣка...

Да, это ты, любовь! это ты, желанная гостья! Я схороню тебя какъ драгоценность. Пусть теплится во мнѣ тихое, безпредѣльное чувство, я никому не скажу о немъ — ни другу, — ни брату: они, можетъ быть, улыбнутся, слушая меня, а и этого довольно, чтобъ возмутить непорочное чувство. Я не скажу *ей*: боюсь оскорбить *ее*; даже бумагъ не стану передавать всѣхъ сокровенныхъ помысловъ души моею... Теперь я понимаю глубину стиховъ Пушкина:

Пью за здравіе Мери,
Милой Мери моей.
Тихо заперъ я двери,
И одинъ, безъ гостей,
Пью за здравіе Мери.

Человѣкъ истинно-любящій не станетъ хвалиться любовью своею, не станетъ пить *ея* здоровье въ кругу товарищей, чтобъ не слышать любимаго имени, произнесеннаго нечистыми устами, чтобъ не подать повода никому даже думать о *ней*; нѣтъ, онъ одинъ, въ тишинѣ, какъ древній жрецъ, совершаетъ жертву своему идолу; онъ пьетъ *ея* здоровье отъ полноты души передъ свидѣлемъ, которому извѣстны всѣ тайныя помыслы человѣка; я даже никогда не рѣшусь написать имя *ея*... Кто знаетъ будущее? можетъ быть, чей-нибудь взоръ оскорбится, читая это имя. Оно всегда въ душѣ моей.

16 августа.

Вотъ уже и лѣто приходитъ къ концу; вездѣ жатва, вездѣ видно довольство — чудное время! Съ дѣтства я любилъ тихую семейную жизнь и по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ на картинки прошедшаго вѣка, подписанныя *les douceurs de l'automne*; тамъ, въ саду, передъ дверью домика съ навѣсомъ, сидитъ за столомъ счастливое семейство; полныя кружки стоятъ на столѣ, дватри старика, разговаривая, курятъ трубки; прелестный ребенокъ играетъ на колыняхъ матери; хорошенькая, круглолицая дѣвушка срысываетъ съ дерева яблоки, а молодой человѣкъ поддерживаетъ *ее* такъ лукаво... Она покраснѣла, какъ яблоко, которое держать въ одной рукѣ, а другою бьетъ по рукамъ дерзкаго шалуна; но это наказаніе сопровождается такою милою улыбкою, что самъ желаешь быть вѣчно наказаннымъ. Далѣе, видны виноградники; въ нихъ кипитъ веселая работа: кто обрѣзываетъ зрѣ-

лые грозды, кто несетъ полную корзину плодовъ; другіе складываютъ виноградъ въ деревянные чаны; какой-то проказникъ опрокинулъ пустой чанъ на бокъ, усѣлся въ немъ, какъ въ будкѣ, и смѣется; въ сторонѣ двѣ дѣвушки хохочутъ и бросаютъ въ него виноградомъ.

Такъ, бывало, легко и весело, когда смотришь на подобную картину, забываешь, что эти поселяне ни-дать-ни-взять маркизы мужскаго и женскаго пола вѣка Людовика XIV, что они въ парикахъ, фижмахъ, въ розовыхъ бантикахъ, какъ фарфоровыя статуйки, полученные въ наслѣдство отъ покойнаго дѣдушки—все забываешь, глядя на картину тихаго счастья...

У насъ поля покрылись, какъ войскомъ, безконечными рядами копенъ хлѣба. Я всякій день хожу любоваться на полевую работу. Поселяне весело жнутъ и ожидаютъ съ восторгомъ праздника обжинковъ; говорить, онъ скоро будетъ.

20 августа.

Никогда Малороссія не была для меня такъ хороша, какъ теперь. Царь потребовалъ отъ нея казачьихъ полковъ—и вдругъ все зашевелилось: цѣлыя селы готовы вооружиться, чтобъ исполнить желаніе своего государя. Гдѣ нужно взять пятьдесятъ человѣкъ рядовыхъ казаковъ, тамъ является сто охотниковъ; восемь полковъ выступили весною; теперь набираютъ резервы.

На дняхъ въ уѣздномъ городѣ будетъ дворянское собраніе для выбора офицеровъ. Я имѣю ученую степень — она тоже офицерскій чинъ; попрошу согласія батюшки и матушки и пойду служить. Теперь война; сколько случаевъ быть полезнымъ отечеству! сколько случаевъ отличиться, сдѣлать добро!..

Одного я боюсь: если простой народъ, бросая свои мирныя занятія, стекается толпами подъ знамена, которые далеко шумѣли громкою славою при ихъ предкахъ, стекается толпами, болѣе многочисленными, нежели нужно, то что будетъ въ дворянскомъ собраніи, куда явятся люди образованные? а у насъ осталось еще довольно дворянъ, служившихъ въ военной службѣ: имъ отдадутъ преимущество—тогда прощай мое желаніе, моя охота!

Я сказалъ батюшкѣ о своемъ желаніи служить въ казакахъ; онъ согласенъ. Мы завтра ѣдемъ на выборы.

21 августа.

Итакъ, я офицеръго малороссійскаго казачьяго полка. Сомнѣнія мои были напрасны... Маршалъ нашего уѣзда сидѣлъ

уже въ собраніи, когда я вошелъ туда. Дворянъ было очень-довольно, чтобъ набрать офицеровъ на два полка: а тутъ шло дѣло объ избраніи одного оберъ-офицера. Сутяговскій, пользуясь штабъ-офицерскимъ чиномъ и старостью, преважно расхаживалъ и басилъ о пользѣ и важности выборовъ: „Если бы мнѣ не подагра, я не посмотрѣлъ бы на свою сѣдину—на коня и въ поле: все-таки придушилъ бы кого-нибудь; жена сама uprawилась бы съ картофелемъ, а винокурню въ аренду перекресту Ивану — человѣкъ хорошій, честный: это былъ бы второй я...“

Почтенный старичокъ-маршалъ почти дремалъ въ спокойномъ креслѣ; подлѣ него стоялъ письмоводитель, тощій, испитой человѣкъ съ головкою, согнутою напередъ въ родѣ крючка; вообще онъ былъ очень похожъ на цвѣточный стебелекъ, убитый морозомъ. Письмоводитель принесъ списокъ; началось избраніе. Я съ удовольствіемъ замѣтилъ, что большая часть дворянъ, находившихся въ собраніи, были то коллежскіе ассессоры, то майоры, то подполковники, то надворные совѣтники, а требовался оберъ-офицеръ; наконецъ, дошло до мелкихъ чиновниковъ

Мой аттестатъ былъ прочитанъ, и я провозглашенъ казачьимъ офицеромъ, ко всеобщей радости собранія. Маршалъ всталъ съ кресла, дверь въ сосѣднюю комнату отворилась, и всѣ отравились завтракать, или, по словамъ маршала, перекусить послѣ трудовъ. Черезъ недѣлю будутъ готовы лошади, и мы выступаемъ въ походъ.

22 августа.

Обычай старины всегда для меня священный: въ нихъ отзывается патриархальная простота нашихъ предковъ. И нѣтъ, по-моему, лучше обычая и веселѣе праздника обжинковъ. Когда совершенно кончится жатва, поселяне и поселанки сплетаютъ изъ хлѣбныхъ колосьевъ вѣнокъ, украшаютъ его цвѣтами и ягодами, выбираютъ изъ среды себя дѣвушку, лучшую по красотѣ душевной и тѣлесной, вѣнчаютъ ее этимъ золотымъ вѣнкомъ и съ пѣснями, нарочно сочиненными по случаю праздника, идутъ веселою толпою поздравлять помѣщика съ окончаніемъ полевыхъ работъ.

Еще съ утра батюшка увѣдомилъ близкихъ сосѣдей о праздникѣ. Къ обѣду приѣхало нѣсколько человѣкъ гостей.

Стало вечерѣть; длинныя тѣни отъ нашего сада вытянулись по двору; верхи пирамидальныхъ тополей, бѣлыя трубы дома и крылья далекой вѣтряной мельницы

вспыхнули красноватымъ цвѣтомъ; въ воздухѣ стало свѣжѣе, и вотъ далеко въ степи слышались пѣсни; звонко неслись онѣ съ широкой степи, все ближе, громче и громче, и наконецъ огласили весь дворъ. Разнохарактерная дворня высыпала со всѣхъ угловъ смотрѣть на веселыхъ поселянъ, которые довольно-тихо шли подъ пѣсню. Впереди, окруженная старѣйшинами села, шла, потупя въ землю глазки, царица праздника, премиленная, быстрая брюнетка; на ней былъ вѣнокъ изъ золотистыхъ колосѣвъ ржи, перевитыхъ, словно кораллами, пунцовыми гроздьями калины, что очень шло къ ея смуглому личику и чернымъ косамъ.

Мы вышли на крыльцо; дѣвушка подошла къ намъ, поклонилась въ-поясъ и, снявъ съ головы вѣнокъ, подала его батюшкѣ, а старики въ это время поздравляли съ окончаніемъ работъ; батюшка взяла вѣнокъ, поцѣловалъ его, поцѣловалъ царицу праздника и, кланяясь, поблагодарилъ крестьянъ за ихъ лѣтніе труды. Пѣсни раздались громче прежняго... Мой отецъ, старикъ твердаго характера; но когда онъ положилъ вѣнокъ на столъ, свѣтлая слеза, какъ чистая росинка, засверкала, качаясь, на золотомъ колосѣ.

На дворѣ разставлены были столы и поселяне усажены кушать. Послѣ обѣда или ужина — не знаю какъ назвать правильнѣе — у крестьянъ явилась скрипка; начались танцы. Мы пили чай въ залѣ; въ растворенныя окна съ чистымъ вечернимъ воздухомъ долетали къ намъ веселыя пѣсни, хохотъ и быстрый, звонкій стукъ подковъ. Высоко уже взошла луна, когда разошлись пировавшіе; мало-по-малу пѣсни умолкали на селѣ; сосѣди поужинали и разѣхались; послѣдняя удалилась бричка Петра Федоровича, стуча и дребезжа всѣми членами. Вотъ ея стукъ замеръ въ отдаленіи — всѣ спать, а мнѣ опять не спится... Странное дѣло! дѣвушка въ вѣнкѣ напомнила мнѣ ее; не то, чтобы она была похожа — нѣтъ, а такіе же волосы, такого же цвѣта глаза, почти такой же ростъ — и этого довольно! вся кровь прилила у меня къ сердцу. Неужели я ее не увижу? а дней чрезъ пять я долженъ уѣхать, и, можетъ быть, на всегда!

24 августа.

Она здѣсь; да, здѣсь! Я не вѣрю глазамъ своимъ: я опять видѣлъ ее, опять слышалъ очаровательные звуки ея голоса. Сегодня мы всѣ сидѣли за круглымъ столомъ и пили чай: батюшка курилъ трубку и рассказывалъ мнѣ, какъ военному человѣку, о взятіи Очакова: меньшіе братья жались ко мнѣ отъ страха, слушая, какъ турки, отъ

нечего дѣлать, обрѣзывали своимъ плѣнни камъ носы и уши; матушка сквозь слезы посматривала на меня; сестра оканчивала кошелекъ мнѣ на дорогу; вдругъ къ крыльцу подъѣхала коляска и изъ нея вышелъ П съ братомъ и сестрою. Я не помню, чтобъ я когда-нибудь обнималъ П. такъ, какъ въ эту минуту. Семейство П. ѣдетъ къ одному своему родственнику, живущему въ нѣшемъ уѣздѣ, и мой добрый товарищъ очевидно кстати заѣхалъ увидѣться со мною. Узнавъ, что я скоро иду въ походъ, они согласились прожить у насъ до моего отъѣзда.

27 августа.

Прошли три дня, какъ три минуты. Она дивно-хороша!... А завтра день моего отъѣзда... Уже все готово; мой быстрый черкесъ подкованъ, пистолеты вычищены; добрая тройка выкормлена; завтра прощаю все, что мило и дорого сердцу! Кто знаетъ, что застану я, возвратясь на родину, когда возвращусь? да и возвращусь ли? Прочь, темныя мысли! Скоро я обниму отца и матушку, покажу имъ георгиевскіе кресты... Она меня любитъ!... Сегодня мы гуляли по саду:

— Вы завтра уѣзжаете непременно? сказала она.

— Да, грустно отвѣчалъ я.

Мы замолчали и прошли длинную аллею. Потомъ я началъ что-то говорить, самъ я понимая хорошенько, что такое; тогда онъ казалось очень-умно и складно, а какъ помню — выходитъ удивительная чепуха: она тоже говорила о постороннихъ вещахъ, но такимъ голосомъ, такой смыслъ выходилъ въ рѣчахъ ея, что я ободрился и подарилъ ей на память вѣточку полыни. Самъ не знаю, какъ я рѣшился на подобную дерзость; отдать вѣточку и сейчасъ же готовъ былъ отнять ее, готовъ былъ провалиться сквозь землю, боялся поднять глаза, чтобъ не увидѣть, какъ моя вѣточка, небрежно смятая, съ улыбкою будетъ брошена въ землю и съ нею вмѣстѣ мое счастье, моя будущность. Я слышалъ, что женщины всегда улыбаются, дѣлаютъ подобныя вещи.

Мы вчера читали „Селянъ“, роскошный языкъ цвѣтовъ, и еще П. очень смаялся, что полыни дано значеніе:

Твой образъ, забываясь сномъ,
Съ послѣдней мыслию сливаю.

Но полынь не брошена; къ ней прибавлено два или три мелкіе цвѣточка — этотъ букетъ былъ цѣлый день приколотъ къ ея груди.

Вечеромъ она подошла къ роскошному кусту цвѣтшихъ камелій, сорвала одинъ цвѣтокъ и робко отдала мнѣ на память. Я пришелъ въ свою комнату, схватилъ „Селямъ“, началъ быстро отыскивать камелію...

Передо мною мелькали: анемонъ, акація, барбарисъ, вѣтренница, василекъ, гвоздика и проч. и проч. Вотъ и камелія... тутъ я прижалъ пышный цвѣтокъ къ губамъ своимъ — камелія: *я люблю тебя*. Я еще разъ прочелъ, не вѣря самъ себѣ... Точно, напечатано: *я люблю тебя*! Я пишу, и камелія лежитъ передо мною; ея лепестки, кажется, вытягиваются ко мнѣ, кажется, шевелятся... кажется, шепчутъ: „я люблю тебя“. Люблю! какое гармоническое слово! сколько мягкости и нѣги въ этомъ словѣ! какъ очаровательно должно быть оно въ устахъ ея! Еслибъ мнѣ удалось услышать отъ нея мелодическіе звуки этого слова!...

28 августа.

Сегодня я простился съ роднымъ домикомъ. Отслужили молебенъ, матушка надѣла мнѣ на шею образъ Спасителя, отецъ благословилъ меня саблею, съ которою онъ онъ во время Екатерины впереди своихъ храбрыхъ гусаръ вѣзывался въ турецкія колонны и казачествовалъ въ отечественную войну. Я обнялъ отца, матушку, братьевъ, сестеръ, милого Ш., поцѣловалъ ея ручку, которая, видимо, затрепетала въ моей рукѣ, и поскакалъ на тройкѣ. Я скоро догналъ казачій отрядъ, выступившій уже въ походъ.

1 сентября.

Третій день мы идемъ, и нашъ походъ очень похожъ на торжественное шествіе: вездѣ народъ встрѣчаетъ насъ съ восторгомъ; ненужно посылать впередъ квартиреровъ: старшины казачьихъ селъ, куда мы приходимъ на ночлегъ, на перехватъ приглашаютъ казаковъ на квартиры, кормятъ ихъ, кормятъ лошадей, и ни за что не хотятъ брать ни гроша. Это приятно, но утомительно; такой незаслуженный триумфъ несносенъ: дѣло другое, еслибъ мы возвращались побѣдителями... Когда бы скорѣе попасть въ непріятельскую землю!

2 сентября.

Вѣчно мнѣ ничего не удастся! Пришедши въ городъ П***, я уже засталъ приказъ остановиться и дожидать дальнѣйшихъ распоряженій.

Очень весело стоять въ дрянномъ городѣ, гдѣ даже нѣтъ порядочнаго трактира пообѣдать, а какая-то скверная харчевня!

Для перваго моего дебюта въ харчевнѣ ничего болѣе не отыскилось, кромѣ жареной курицы и половины поросенка, вѣроятно зажаренныхъ на медленномъ огнѣ въ средніе вѣка за еретичество. Эти кушанья представили въ лицахъ поговорку: „видить око, да зубъ нейметъ“. Спросилъ чаю—мнѣ дали сбитню. и какая-то скверная рыжая борода, называвшая себя хозяиномъ харчевни, смѣетъ еще увѣрять, что это чай, и что почти всѣ семинаристы пьютъ его подъ этимъ названіемъ. А тутъ еще нѣтъ квартиры! Это уже не казачье село, а городъ; здѣсь уже никакого толку не добьешься. Едва ночью показали квартиру, и я голодный легъ спать.

10 сентября.

Вотъ уже недѣля, какъ стоимъ въ П***, а о походѣ и слуха нѣтъ. Тамъ люди получаютъ почести, отличія и славныя раны за отечество, а здѣсь изволь сидѣть да скучать. Городъ осмотрѣлъ въ два часа; раза три ходилъ къ Днѣпру: отъ воды сыро; наступаетъ осень, погода дѣлается холоднѣе...

Вчера ко мнѣ явился мой хозяинъ, человекъ очень фантастическій, въ сѣрыхъ брюкахъ и въ синей венгерской курткѣ; его маленькая головка постепенно суживалась и, выдвигаясь впередъ, перешла въ большой красный носъ, отчего мой хозяинъ очень похожъ на птицу, называемую дубельшнепомъ; онъ улыбался, то-есть, приподнявъ немного кверху носъ, осклаивъ зубы и, кланяясь, поставилъ на землю порядочной величины гробъ, который принесъ подъмышкою.

— Что вамъ угодно? спросилъ я.

— Ничего, милостивѣйшій государь. — Я полагаю, вамъ, должно быть, скучно, и принесъ вамъ утѣшеніе.

„Хороша утѣха“ подумалъ я и сказалъ:

— Согласенъ, что это утѣшеніе для всякаго христіанина, но...

— Извините, милостивый государь, и до христіанства у іудеевъ это было въ большомъ употребленіи, какъ средство, разгоняющее темныя мысли.

— А иногда, я полагаю, и нагоняющее...

— Извините, милостивый государь...

— По крайней мѣрѣ я бы просилъ васъ избавить меня отъ этого страннаго утѣшенія. Смотрѣть на гробъ, хотя онъ и выкрашенъ, какъ вашъ, для меня неочень приятно.

— Хе-хе-хе! государь мой любезный! вы не поняли дѣла: оно сходственно, да со всѣмъ не то; это доброголасныя гусли.

Тутъ онъ поставилъ свой ящикъ на столъ, поднялъ крышку, и я засмѣялся своей ошибкѣ; это были точно гусли; мой

хозяинъ попросилъ позволенія сыграть и забавлять меня цѣлый вечеръ.

4 октября.

Вотъ и мѣсяцъ, а о походѣ и слуха нѣтъ; война, говорятъ, утихаетъ. Неужели придется кончить службу, не выходя изъ П***? Здѣсь умрешь со скуки. Жизни, однообразіе моею, и выдумать невозможно. Рано поутру выслушаешь донесенія урядника, поѣдешь на конюшню: тамъ лошади ѣдятъ овесъ; монотонный звукъ отъ ихъ челюстей, жующихъ зерна, уже нагоняетъ скуку. Возвратясь домой, пьешь чай, долго пьешь—часа два, чтобъ убить время; потомъ стрѣляешь въ цѣль изъ пистолетовъ, тамъ обѣдаешь; послѣ обѣда или свистишь, или, глядя въ окно, барабанишь по стекламъ пальцами, пока не настанетъ время отправиться на конюшню; на конюшнѣ по-старому слышишь, что „все обстоитъ благополучно“, и лошади опять ѣдятъ овесъ. Приѣдешь домой, напьешься чаю, поучишь часъ-другой собаку носить поноску, и спать пора. Завтра то же, то же и то же!...

Еще, пока было теплое, меня веселили какіе-то два ученика въ тиковыхъ халатахъ удивительнымъ дуэтомъ: у меня передъ окномъ растетъ преобладающая шелковица; каждый день, бывало, при солнечномъ закатѣ являются два ученыхъ существа, одно лѣтъ шестнадцати или семнадцати, а другое лѣтъ двѣнадцати. Старшій ученый усядется, бывало, въ полдерева верхомъ на толстомъ суку и, болтая ногами, звучнымъ баритономъ начинаетъ спрятать латинскій глаголъ *ато*, а меньшей взберется на самый верхъ шелковицы, совершенно укроется въ вѣтвяхъ—только и видишь изъ зелени одну торчащую книжку въ красномъ переплетѣ—и самымъ пронзительнымъ дискантомъ распѣваетъ какое-то греческое склоненіе. Да какъ припустить, бывало, вдвоемъ—истинная музыка! Ни одна баба не пройдетъ мимо двора, не остановясь минуты на двѣ, чтобъ послушать иностраннаго пѣнія.

— Съ трудомъ дается наука, милостивѣйшій государь мой! всегда, бывало, скажетъ мой хозяинъ, поглаживая красный носъ, когда услышитъ латино-греческій дуэтъ.— Смѣю вамъ доложить, что лучше бѣ согласился пахать землю, нежели пѣть подобнымъ образомъ по деревьямъ.

Теперь я лишился и этого удовольствія; осень оборвала почти всѣ листья на деревѣ, вечера стали холодные и пѣвцы сокрылись невѣдомо куда. Хозяинъ и его гусли мѣся стали противны: всякій день играетъ одно и то же; выпросить у меня стакана два

пуншу, напьется и начнетъ пѣть такъ дести, что слушать отвратительно...

Уже начались мелкіе осеніе дожди; цѣлый день не выпускаютъ изъ комъ въ городѣ нѣтъ ни одной книжной лавки, хотя улицы полны такъ-называемымъ народомъ, а винныхъ погребовъ жется, около десятка. Я очень жалѣю, не взявъ съ собою изъ дома ни одной книги; приказалъ своему человѣку говорить сказки, да у него какія-то лакейскія книги—все барыни, да господа, да нѣтъ—Что ты мнѣ не рассказываешь про Ягу, про Змѣя Горыныча, про Гар-гар, про Наливайку?... „Все это, сударь, жицкія сказки, я такихъ не знаю...“ съ нимъ дѣлать? Вотъ полупросвѣтъ вретъ нелѣпости на новый ладъ и не хочетъ старины! Толковалъ ему, валь—ничего не понимаетъ!

4 декабря.

Наконецъ, я опять дома, въ своемъ ревнѣ, въ кругу своего семейства! Резервы распущены по домамъ. Вотъ нецъ моей службы! Какая злая насъ судьба надо мною! Гдѣ мой крестъ моя слава? что я сдѣлалъ полезнаго! совѣстно смотрѣть на людей. Мой пѣвчикъ похожъ на гору, родившую мышонка; разыгрывалъ роль синицы, которая ралась зажечь море. Рыцарская страсть приключеніямъ, жажда опасностей и все это дало результатъ: изъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ убійственной скуки и горечи очарованія, одна польза—опытъ.

183... 4 января

Часто, улыбаясь, смотрѣлъ я на и мысленно повторялъ извѣстный ст

Да изъ чего бѣснуетесь вы столы

Люди, кажется, и порядочные, и рятъ довольно умно, и знаютъ приличія; мужчины не стануть ни прыгать по натамъ отъ скуки, ни свистѣть за стѣнами дамы ходятъ тихо, плавно, будто вывихнуть себѣ ногу, все опускаютъ ноги, ни на волосъ изъ устава *Куту* цевъ о десяти тысячахъ церемоній; а ла музыка, эти люди стали въ кружъ и пошла потѣха! Замахали руками, какали ногами, засуетились, запрыгали скакать прямо, кто бочкомъ, кто то на одномъ мѣстѣ; да всѣ такъ храбро точно воробы надъ просыпанною к

Уморительно-смѣшно! А теперь : танцую съ утра до вечера, съ веч

утра... Согласенъ, что танцовать, такъ, лишь бы танцовать съ кѣмъ попало, для vis-a-vis, для компаніи, и т. п.—мученіе; танцовать съ дамою, которую не только любить, но даже уважать не можешь — жесточайшая казнь; но танцовать съ нею, кружиться подъ волшебные звуки вальса Штрауса въ какомъ-то обаятельномъ мірѣ фантазій, забывая и людей, окружающихъ меня, и все, кромѣ ея, держать это чудное созданіе въ объятіяхъ, чувствовать, какъ бьется, трепещетъ подъ рукою сердце, за которое радъ бы отдать и мечты прошедшаго, и будущность, пить ея дыханіе, слышать легкое прикосновеніе ея кудрей къ лицу вашему, обдающее васъ электрическимъ огнемъ — верхъ блаженства! Выносить всю нѣгу этихъ ощущеній можетъ душа любящая, но передать ихъ — никто!... Съ недѣлю какъ она пріѣхала съ своими родными и гостить у насъ, и я, прежде танцовавшій только для приличія, сдѣлался страннымъ охотникомъ до танцовъ — все почти танцую съ нею.

Какъ она добра и умна! Матушка моя очень полюбила ее, а она полюбила мою маленьку. Съ дѣтства лишенная отца и матери, она круглая сирота; ей любо отогрѣть душу любовью.

1 мая.

Настала весна. Весело щебещутъ въ лѣтѣ жаворонки, цвѣтутъ подснежники, зазелѣли рощи, зацвѣли сады; соловей прилетѣлъ уже и цѣлыя ночи поетъ свои страстные пѣсни; все живетъ, все радуется, а мнѣ скучно...

Какъ весело встрѣчалъ я весну, будучи ребенкомъ! какъ меня радовала первая травка, зазеленѣвшая на пригоркѣ! я съ восторгомъ встрѣчалъ южныхъ гостей — перелетныхъ птицъ. Природа и теперь все та же; отчего же мнѣ грустно? Какое тяжелое чувство тѣснить грудь мою и слезы готовы брызнуть изъ глазъ? Отчего это? Я не бѣденъ, отецъ и мать мои живы и такъ любятъ меня; а люблю ее и люблю — не верхъ ли это благополучія? Женюсь и стану жить въ тишинѣ и спокойствіи... Нѣтъ, я такъ люблю ее, что не могу теперь жениться... Какое имя я принесу ей? *дѣйствительный студентъ*!... Это значитъ унижить ее предъ уѣздною спѣсью, такъ овладѣвшею моими землячками, что нѣкоторые даже подписываются на пріятельскихъ запискахъ: *майорша и кавалерша* N. N. и проч. въ родѣ этого. Нѣтъ, я долженъ служить, сдѣлаться хоть чѣмъ-нибудь, и тогда... Да и батюшка мнѣ это совѣтуетъ; а я не хочу быть ослушникомъ его воли...

Мнѣ необходимо служить; я долженъ употребить на пользу отечества мои познанія.

Въ военную службу я теперь ни за что не пойду; война кончилась: что я буду дѣлать? опять закочую изъ села въ село, изъ городка въ городишко; скучать или волочиться за дочками помѣщиковъ, чтобы отъ-нечего-дѣлать какъ-нибудь убить праздное время? Нѣтъ, я переменяю саблю на перо, поѣду въ столицу, въ Петербургъ: тамъ широкое поле для умственной дѣятельности, тамъ столько министерствъ, тамъ я съ пользою употреблю мои познанія.

Рѣшено: ѣду въ Петербургъ. Года два, много три — и я надѣюсь отличиться; я постараюсь укоротить, облегчить дѣловыя переписки; профессоръ правъ такъ много намъ толковалъ о нихъ; я ночей не стану спать... Я достигну чего-нибудь и возвращусь домой. Тогда какъ будетъ пріятно съ гордостью подать ей руку и сказать: „все для тебя!...“ Ёду, ёду, въ Петербургъ! тамъ же есть братъ моей матушки, человекъ въ чинахъ, давно уже дѣйствительный статскій совѣтникъ. Батюшка говоритъ, что онъ его когда-то отправилъ на свой счетъ въ Петербургъ... Ну, да это въ сторону; довольно, что онъ братъ моей безцѣнной матери. Я пріѣду, обниму этого добраго старичка, передамъ вѣсти о матушкѣ, о нашемъ житѣ, о своихъ надеждахъ; онъ вѣрно не оставитъ меня на первый разъ своимъ совѣтомъ и покровительствомъ.

10 мая.

Несносный Сутяговскій былъ у насъ и мучилъ цѣлый день своими хитрыми и злыми рассказами. Когда смотрю на него, невольно приходятъ на умъ стихи Пушкина:

И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ!

Намеки его на мою праздную жизнь нестерпимы; я сказалъ ему, что ѣду въ Петербургъ: ему, кажется, это досадно. Онъ ворчалъ батюшкѣ о высокомѣріи молодыхъ людей, о выгодѣ служить сначала въ уѣздномъ казначействѣ и постепенно переходить даже до сената, гдѣ можно, дослужась до секретаря, быть *человѣкомъ* — да я и не слушалъ его вздора.

Сегодня пріѣзжалъ Ивановъ! онъ рассыпался передо мною въ благодарностяхъ; говорилъ, что онъ обязанъ мнѣ жизнью и просилъ моего батюшку дать ему въ залогъ нашу деревню на какія-то соляныя озера, обѣщая за это заплатить за крестьянъ подати. „Мнѣ, говоритъ, многіе съ радостью дадутъ имѣнія для этой операціи; но, какъ

я обязанъ вашему сыну жизнью, то хочу какъ-нибудь быть вамъ полезнымъ, хоть вашимъ крестьянамъ. Это дѣло моей совѣсти, позвольте облегчить ее; а между-тѣмъ и вы дадите мнѣ возможность получить огромныя выгоды и составите счастье моихъ дѣтей“. Отецъ мой согласился и даетъ Иванову довѣренность. Сутяговскій очень одобряетъ это и, по своему образу мыслей, сказалъ, что можно бы еще было сорвать съ Иванова тысячу-другую.

30 мая.

Вчера я простился съ нею. Это было на степномъ хуторѣ ея дяди, гдѣ все семейство Ш. гостить теперь. Часу въ десятомъ утра она пошла въ степь искать полевой земляники; я пошелъ съ ружьемъ стрѣлять перепелокъ и нашелъ ее около версты отъ хутора.

Утро было чистое, ясное: мы сѣли въ долину; все вокругъ улыбалось; цвѣты весело помахивали головками; душистый чаберъ благоухалъ въ долину. Грустно сидѣли мы; я разсказалъ ей необходимость поѣздки въ Петербургъ. Судорожно обняла меня она, какъ-бы боясь выпустить, потомъ, склонясь на грудь мою, тихо заплакала... Я тоже плакалъ... Горьки были для меня эти минуты, тяжело было на душѣ моей, а вокругъ все было свѣтло, весело: птички пѣли, ароматные цвѣты ярко пестрѣли. Мы немного успокоились, покаялись въ вѣчной любви и обмѣнялись кольцами. На небѣ не было ни облачка; но когда она стала надѣвать мнѣ на руку свое колечко съ незабудкою, вдругъ на липѣ ея набѣжала тѣнь—мы разомъ вздрогнули, взглянули вверхъ: надъ нами вился степной коршунъ. Кто бы могъ повѣрить, что такое ничтожное твореніе могло заставить насъ затрепетать отъ неизвѣстнаго страха?...

Нѣсколько минутъ мы сидѣли неподвижно, смотря другъ на друга; я еще разъ обнялъ ее, наконецъ оторвался отъ прощальнаго поцѣлуя и побѣжалъ въ степь; она тихо возвратилась на хуторъ. Къ обѣду мы сошлись оба печальные, а послѣ обѣда я уѣхалъ.

15 іюня.

На-дняхъ я выѣду въ Петербургъ; мнѣ приготовили хорошую дорожную бричку на рессорахъ; ѣхать будетъ спокойно; долго ли проскакать полторы тысячи верстъ? Черезъ недѣлю я увижу нашу приморскую столицу, увижу новый свѣтъ; образованность, науки, художества—все тамъ имѣ-

етъ свою цѣну. Чудный городъ!... я готовишь мнѣ?

Почкина станція. 23 іюня

Давно ли—еще сегодня утромъ я окруженъ милыми моему сердцу—и одинъ брошенъ въ свѣтъ; съ каждою нутю удаляюсь отъ знакомыхъ мѣстъ его счастливаго дѣтства и беззаботности, и приближаюсь Богъ-знаетъ къ худому ли, къ доброму ли, во всѣхъ случаяхъ къ могилѣ. Когда я отправлялся въ походъ на войну, гдѣ готовъ былъ въ минуту стать лицомъ-къ-лицу смерти, грустилъ ни мало,—мнѣ было весело; го же теперь грущу? Отчего я такъ каля, въ послѣдній разъ обнимая моихъ родителей? отчего мнѣ безпрерывно мерещется этотъ проклятый, злокоршунъ, съ распушенными крыльями раздвинутыми когтями, висящій надо мной?

Выѣхавъ изъ дома, я все шло назадъ, пока не скрылась изъ виду деревня; долго еще была видна вершина пирамидальнаго тополя; подъ нимъ вчера мы весело пили чай... вотъ скрылся изъ виду; я вздохнулъ, пустилъ на подушку и подъ однообразную моего ямщика:

Какъ жена била мужа
Да еще пошла на него жаловаться

вздремнулъ. Въ минуту я былъ въ какомъ-то безграничномъ храмѣ; тамъ многаго народа; вотъ батюшка, матушка, братья, сестры; бѣгу къ нимъ—они отъ меня двигаются: далѣе, въ нишѣ, стоитъ о-бщечина въ начальномъ нарядѣ; я къ ней, хватаю за руку—она отнимаетъ руку, строго треплетъ меня... я кличу ее по имени, шиваю: узнаешь ли ты меня?—она потихоньку улыбается и говоритъ: „я васъ знаю“. Я вздрогнулъ и проснулся... нелѣпый сонъ!...

Вотъ я уже три часа сижу на станціи; долговязый писарь говоритъ: „нѣтъ дѣй“.—„Не вѣрьте ему бездѣльнику“, кричитъ какой-то проѣзжій, котораго я задерживаю: „онъ на водку хочетъ. Вотъ стой разъ сижу на этой дурацкой станціи и ни разу не выѣхалъ, не давъ чести этому пьяницѣ—вотъ онъ чего хочетъ“. Пришелъ еврей, содержатель станціи, началъ крикъ, ссора, споръ—писать можно.

7 іюля

Къ безчисленному множеству мнѣ порожденныхъ просвѣщеніемъ, долж-

же отнести и прославленную быструю русскую почтовую ѣду. Четырнадцать суток ѣду день и ночь, и не могу проѣхать полторы тысячи верстъ: то нѣтъ лошадей, то лошади не везутъ... А безпрестанныя неприятности, просьбы ямщиковъ и старость на водку, а рублевья порціи телятины, которыхъ мало десяти человѣкамъ позавтракать—все это нестерпимо.

Здѣсь встрѣтилъ меня человѣкъ въ родѣ откормленнаго кабана, въ красной рубашѣ, съ рыжею бородою, съ претолстою шею, сквозь которую едва пробивается хриплый голосъ: это былъ самъ староста. Онъ посмотрѣлъ на мою подорожную и посоветовалъ мнѣ идти въ гостиницу, потому-что лошадей нѣтъ. Я отыскала смотрителя и подала подорожную.

— Надобно спросить у старосты, сказалъ онъ.

— Я старосту видѣлъ.

— Что же онъ?

— Говорить: нѣтъ лошадей.

— Вотъ видите! Я вамъ говорю: тонъ ужаснѣйшій!... Хотя сами посмотрите въ книгу... у меня каждая лошадь записана.

— Скоро ли будутъ лошади?

— А Богъ знаетъ. Часовъ черезъ шесть, можетъ, соберемъ, если кто не подоспѣтъ по казенной.

— А если подоспѣтъ, то мнѣ опять придется ждать?

— Дѣлать нечего, у насъ иногда сутокъ по двое сидятъ: подъ столицею разгонъ всегдашній. Бейся, бейся, какъ рыба объ ледъ—бѣдовое дѣло!

— Нѣтъ ли у васъ своихъ лошадей?

— Куда намъ держать! служимъ изъ хлѣба; а если хотите, здѣсь есть вольный извозчикъ, у него лошади знатныя: мигомъ васъ доставить въ Питеръ.

— Ради Бога, пошлите за нимъ.

— Только онъ менѣ сорока рублей не возьметъ за тройку.

— Богъ съ нимъ, лишь бы доставилъ скорѣе.

— Такъ вы пожалуйста деньги, я ему отдамъ.

— Возьмите.

Добрый старичокъ смотритель! Онъ взялъ деньги, открылъ окно и закричалъ: Оумка, живѣ барину тройку! Пожалуйста вашу подорожную.

— Для чего жъ это? вѣдь я поѣду на вольныхъ.

— Конечно; но все, знаете, оно безопаснѣе; вы уѣзжаете изъ станціи, надобно беречь себя.

— Развѣ здѣсь шалать?

— Богъ миловалъ; а на всякій случай не мѣшаетъ, знаете, ради острастки.

Смотритеть, записавъ подорожную, отдалъ мнѣ ее, приговаривая: „Вотъ такъ лучше! Ну, теперь съ Богомъ“. Добрый человѣкъ этотъ смотритель!

8 іюля.

Много радости приносятъ намъ фантазія, а еще больше печали. Какъ сравнишь мечту съ дѣйствительностью—вѣчный проигрышъ на сторонѣ послѣдней, и человѣкъ—постоянная жертва разочарованія. Я въ Петербургѣ, и недоволенъ имъ! Моя фантазія состроила идеалъ этого города; сущность не подошла къ идеалу, и Петербургъ мнѣ не нравится. Я ожидалъ гораздо лучшаго... Нештукатуренные дома некрасивой архитектуры, въ родѣ фабрикъ, поразили глаза мои неприятнымъ ощущеніемъ. Даже, мнѣ кажется, мало въ немъ жизни, мало движенія для столицы. Впрочемъ, я не видѣлъ еще главной улицы—Невскаго проспекта. На этой улицѣ живетъ мой дядюшка. Завтра приѣдусь и поѣду къ нему.

9 іюля.

Я приѣхалъ къ дядюшкѣ въ 10 часовъ утра. „Его превосходительство изволятъ почивать“, сквозь зубы проворчалъ мнѣ надутый лакей и захлопнулъ передъ носомъ дверь. Прихожу въ одиннадцать: „чай кушаютъ!“ отвѣчаетъ таже ливрейная кукла.

— Доложи, братецъ, что я племянникъ генерала, приѣхалъ изъ губерніи и привезъ ему отъ родной сестры письма.

Лакей окинулъ меня глазами съ головы до ногъ и, указавъ рукою на дверь, ведущую въ пріемную, сказалъ: „обождите тамъ“.

Цѣлый часъ бродилъ я по комнатамъ, разсматривая эстампы, висѣвшіе на стѣнахъ, и не переставая удивляться, отчего бы дядюшкѣ не пригласить меня выпить съ нимъ чашку чаю. Ударилъ двѣнадцать; лакей отворилъ дверь въ гостиную и просилъ меня войти.

Дядюшка въ виц-мундирѣ, съ звѣздою на груди, сидѣлъ на диванѣ; возлѣ него въ креслѣ почти лежалъ молодой гвардейскій офицеръ, а возлѣ офицера сидѣла дѣвушка блѣдная, худая, перетянутая до-нелѣзя, очень похожая на стрекозу. При первомъ взглядѣ на дядюшку, меня оставила мысль броситься къ нему на шею. Это былъ чопорный старикъ, одѣтый съ изысканностью, съ бѣлымъ фарфоровымъ лицомъ, безъ жизни, безъ выраженія. Когда я ему отдалъ письма, онъ, не читая ихъ, подаль мнѣ два холодные, какъ ледъ, пальца и

хладнокровно проговорилъ: — Очень радъ, садитесь. Вы, вѣроятно, приѣхали на службу?

— Точно такъ.

— Здѣсь чрезвычайно-трудно доставать мѣста по статской службѣ.

Тутъ вбѣжалъ въ комнату какой-то чиновникъ и пренизко поклонился дядюшкѣ: дядюшка обняла его, усадила на диванъ и начала толковать о вчерашнемъ.

Мой дядюшка одушевился, глаза его какъ-то задвигались скорѣе: онъ засыпалъ своего гостя сюркупамъ: онѣрами, три лезва, два лезва, четыре лезва такъ и лились съ языка. Противникъ не плошалъ и быстро отстрѣливался фразами въ родѣ: тузъ, король и дама самъ-пять.

Дѣвушка шепталась съ офицеромъ, смѣялась и изрѣдка поглядывала на меня въ лорнетку. Кажется, мой провинціальный костюмъ очень тѣшилъ ее; такъ, по крайней-мѣрѣ, я заключилъ изъ немногихъ словъ, дозвѣвшихъ до меня: а офицеръ держалъ оппозицію, увѣряя, что въ Польшѣ, во время похода, онъ видѣлъ много подобныхъ оригиналовъ, что это въ провинціи въ модѣ. Вѣроятно, язычокъ милой дѣвicy уже слишкомъ заѣхалъ далеко: она сдѣлала какое-то замѣчаніе на ухо офицеру и, лукаво кивая головою, громко сказала: *n'est ce pas?* а тотъ хладнокровно отвѣчалъ: *je crois que non.*

— *Dites encore, que la neige n'est pas blanche!* съ сердцемъ скоро проговорила дѣвушка, сжала отъ злости губки, отворотилась отъ офицера и, презрительно посмотрѣвъ на меня, вышла изъ комнаты.

Офицеръ не тронулся съ мѣста, только зѣвнулъ.

Видя, что мною никто не занимается, я раскланялся. Дядюшка на этотъ разъ не подала мнѣ и одного пальца, только сказала, слегка кивая головою: „Когда устроитесь, извѣстите меня: мнѣ будетъ пріятно слышать; да кланяйтесь вашимъ родителямъ, если будете писать.“ Въ передней я спросилъ слугу:

— Кто эта дѣвушка и офицеръ?

— Это дѣти его превосходительства.

— А гость во фракъ?

— Сочинитель Единоноговъ.

— Что же онъ сочиняетъ?

— Не могу доложить. Кажется, онъ намъ сказывалъ, пишетъ исторію дома его превосходительства. Писать лишь бы охота, а домъ большой, съ флигелями, съ конюшнями...

Грустно я вышелъ на улицу. Мой дядюшка человекъ надутый: его дѣти—жалкія, пустѣйшія созданія! Никогда нога моя не будетъ въ этомъ домѣ. Еслибъ мнѣ пришлось умереть на улицѣ отъ холода, я не

укроюсь у него подъ воротами. Гдѣ радужный пріемъ, о которомъ я мечталъ всю дорогу? гдѣ, наконецъ, благодарность? Опять разочарованіе!...

8 августа.

Вотъ уже мѣсяцъ живу я въ Петербургѣ: всѣ мои занятія—обѣдъ, сонъ и прогулка. Чѣмъ болѣе узнаю я Петербургъ, тѣмъ болѣе ему удивляюсь. Очаровательный городъ!... Острова его—заглядѣнье. Еслибы холодная сырость, проникающая васъ по закатѣ солнца, не напоминала о близкомъ сосѣдствѣ съ Лапландіей, можно бы подумать, что находишься подъ небомъ счастливой Италіи: кругомъ прелестныя рѣчки съ зелеными берегами; въ ихъ чистыя воды глядятся изящно-красивыя домики, тѣнистые сады, цѣлый міръ цвѣтовъ. Вы идете: пахнутъ вѣтерокъ и обдалъ васъ благоуханіемъ цвѣтущихъ померанцевъ. На чистой площадкѣ сада, усыпанной бѣлымъ пескомъ, вы видите извѣстную статую Меркурія флорентинскаго: онъ вылетаетъ изъ куста прекрасныхъ синихъ колокольчиковъ.

Перстъ указываетъ на даль, на главѣ развились крылья.

Дышетъ свободою грудь, съ легкостью дивною онъ,

Въ землю удара крылатой ногой, падается въ воздухъ...

Мигъ—и умчится...

Боишься отвести глазъ, чтобъ не потерять этотъ мигъ...

Далѣе, въ павильонѣ изъ розъ и акацій, Амуръ обнимаетъ Психею; ихъ позы полны пѣги и сладострастія; съ какою любовью смотритъ Амуръ въ очи Психеи, будто читаетъ въ нихъ вѣчную, безпредѣльную повѣсть счастья! Его мраморныя крылья, кажется, трепещутъ отъ восторга, и эта группа облита темнымъ полусвѣтомъ, проходящимъ между зеленыхъ вѣтвей акацій, обвѣяна тонкимъ ароматомъ розъ... Тамъ ярко пестрѣетъ широкополосная, въ восточномъ вкусѣ, шелковая палатка; шалунъ-вѣтерокъ мимолетомъ тронетъ ее—и роскошно заволнуются, перельются въ радужныхъ отливахъ ея фантастическія помы, и засверкаютъ алые шнуры и кисти, перевитые золотомъ. Тихе!.. вы слышите звуки, будто летящіе къ вамъ съ вышины—это бѣглая проба на арфѣ, аккордъ, другой—и чистый голосъ запѣлъ въ палаткѣ итальянское болеро; струны арфы то гремятъ, то замираютъ подъ руками, и голосъ пѣвицы, проходя по всѣмъ измѣненіямъ страсти, дрожитъ, перерывается, растанываетъ въ какомъ-то самозабвеніи и сливается съ арфою; голосъ умолкъ, одна только арфа,

какъ далекое эхо, въ тихихъ аккордахъ повторяетъ страстную мелодію... Очаровательно!...

1 сентября.

Теперь уже Невскій проспектъ началъ оживать; впрочемъ, посѣщая его въ извѣстные часы нѣсколько дней сряду, я замѣтилъ, что онъ похожъ на огромную гостиную: народу пропасть, а встрѣчаешь всѣ одѣ и тѣ же лица. Я ни съ кѣмъ не знакомъ въ Петербургѣ, но знаю очень много людей по фizioноміи и, кажется, узналъ бы ихъ, еслибъ встрѣтился съ ними въ Америкѣ; особливо обратилъ мое вниманіе одинъ почтенный старичокъ: въ четвертомъ часу онъ каждый день идетъ по Невскому, въ коричневомъ длинномъ сюртукѣ и шляпѣ съ широкими полями; лицо у него важное—такъ много на немъ думы; глаза всегда съ размышленіемъ опущены въ землю. Я, ежедневно встрѣчаясь съ нимъ, вчера только замѣтилъ, что у него на лѣвомъ глазу бельмо. Можетъ-быть, это одинъ изъ свѣтильниковъ науки. какой-нибудь извѣстный въ мірѣ ученый, академикъ. Четверть часа ранѣе встрѣчаются два молодые франта—должно быть, высокіе аристократы; они идутъ вѣчно вмѣстѣ объ-руку другъ съ другомъ, вѣчно веселы, громко говорятъ, хохочутъ... что за манеры у нихъ: то искоса мигнутъ на встрѣчную субретку, то слегка задѣнутъ тросточкою бѣгущую мимо собаку—прелесть!... Полчаса спустя, послѣ старичка въ широкой шляпѣ встрѣтишь... Ну, да Богъ съ ними! и въ недѣлю не опишешь Невскаго. Весело, а все-таки нѣтъ мѣста!

Въ какомъ министерствѣ я не былъ! вездѣ примутъ ласково, и отвѣчаютъ: „къ величайшему сожалѣнію, нѣтъ ваканцій“. Одинъ добрый секретарь даже сказалъ мнѣ, что такъ уважаетъ мои таланты и такъ полюбилъ меня (поговоря минутъ пять), что готовъ самъ умереть, лишь бы доставить мнѣ ваканцію. Нечего сказать, народъ вѣжливый!...

5 сентября.

Наконецъ, я опредѣленъ. Проходя по улицѣ, вымощенной камнемъ, я замѣтилъ надпись: „Департаментъ***“. Я взялъ свой аттестатъ и явился къ начальнику. Начальникъ, маленькій, толстенькій человекъ, съ круглымъ, веселымъ лицомъ и коротко-выстриженными волосами, зачесанными вверхъ, вошелъ въ пріемную и, быстро поворачивая въ рукахъ золотую табакерку, спросилъ: „что вамъ угодно?“ Я объявилъ ему о на-

мѣреніи служить подъ его начальствомъ и просилъ о мѣстѣ. Директоръ протянулъ ко мнѣ руку и, какъ-бы ожидая, что я подамъ ему письмо, спросилъ:

— Кто вамъ рекомендовалъ нашъ департаментъ?

— Никто.

— И вы ни отъ кого не имѣете письма?

— Ни отъ кого.

— Но вы имѣете руку?

— Даже и двѣ, чтобъ работать все полезное.

— Нѣтъ, вы меня не поняли, вы имѣете знакомство, связи, родство?

— Никакого.

— Да какъ же это вы такъ?... Кто за васъ поручится? Извините меня...

— Мое происхожденіе, мое воспитаніе...

— Ха-ха-ха! извините меня, это неслыханное дѣло! Петръ Ивановичъ! Егоръ, позови Петра Ивановича!

Скоро пришелъ Петръ Ивановичъ, высокий, сухощавый человекъ.

— Послушайте, Петръ Ивановичъ, говорилъ директоръ:—вотъ молодой человекъ пришелъ безъ рекомендательнаго письма опредѣляться на службу—безъ рекомендательнаго письма! Да это оригинальная штука! Мнѣ бы хотѣлось опредѣлить его; у насъ есть ваканціи?

— Есть одна, отвѣчалъ Петръ Ивановичъ, мрачно посмотрѣвъ на меня:—на первый окладъ.

— Прекрасно! напишите молодой человекъ, просьбу, приложите ваши бумаги и отдайте Петру Ивановичу. Удивительное приключеніе! Я сегодня же расскажу объ этомъ въ англійскомъ клубѣ—похохочетъ князь Бедотъ!...

Черезъ часъ я былъ уже опредѣленъ въ какіе-то чиновники 1-го оклада. Вотъ какъ! разомъ въ 1-й окладъ! Завтра явлюсь на службу.

6 сентября.

Меня упрятали, просто, въ писаря, съ жалованьемъ 420 рублей ассигнаціями въ годъ!...

— Вы учились ариметикѣ? спросилъ меня начальникъ отдѣленія, Петръ Ивановичъ. Я не успѣлъ отвѣчать на этотъ нелѣпый вопросъ, какъ онъ продолжалъ:—такъ возьмите у журналиста Кокоровкина вѣдомость, повѣрьте въ ней итоги и подведите общій итогъ. Кокоровкинъ дослужился до надворнаго совѣтника, славно запечатываетъ и подписываетъ пакеты, а все не знаетъ сложенія: самъ вызвался составить вѣдомость о людяхъ, да и концовъ не сведетъ: все въ итогѣ приходится то половиною, то треть человека!

Канцелярія засмѣялась, и я пошелъ къ журналисту.

При первомъ взглядѣ на журналиста я замѣтилъ въ немъ разительное сходство съ старичкомъ въ широкой шляпѣ: такой же глазъ съ бѣлымъ, та же важная фізіономія, только вмѣсто коричневаго сюртука журналистъ былъ въ виц-мундирѣ. Я взялъ вѣдомость, посмотрѣлъ на итогъ и чуть не захохоталъ во все горло: въ итогѣ было написано $5643\frac{3}{4}$ человѣка; послѣ $\frac{3}{4}$ были зачеркнуты карандашомъ и сверху приписано $\frac{5}{8}$.

— Вѣдомость, должно быть, трудная? спросилъ я у журналиста.

— Попробуйте, такъ и узнаете.

— Отчего же у васъ тутъ вышло $3\frac{1}{4}$ человѣка?

— Нѣтъ, должно быть $\frac{5}{8}$.

— А пять восьмыхъ отчего?

— Отчего? чортъ его знаетъ отчего! такъ выходитъ. Попробуйте, такъ перестанете смѣяться. Тутъ такое, я вамъ скажу: и мертвыя души, и несовершеннотѣтнія... такая путаница, самъ чортъ ногу сломить.

— А у него непрочныя ноги?

— Попробуйте-ка, попробуйте, перестанете смѣяться.

Еще я замѣтилъ здѣсь двухъ молодыхъ писцовъ—презнакомыя лица, какъ-будто я гдѣ-то ихъ видѣлъ, или они снислись мнѣ: въ старыхъ сюртучкахъ, обшитыхъ галунами; сидятъ они за особымъ столомъ и Петръ Ивановичъ въ продолженіе всего присутствія ворчалъ на нихъ, выговаривалъ, что они русской грамотѣ не знаютъ и не хотятъ слушать, только озорничаютъ, и грозился оставить ихъ въ департаментѣ безъ сапоговъ. „Я, говоритъ, дескать, вспомню старыя времена, когда я служилъ въ вашемъ чинѣ“.

Въ три часа директоръ уѣхалъ. Петръ Ивановичъ ушелъ вслѣдъ за нимъ, и въ департаментѣ поднялась кутерьма: всѣ прятали бумаги; первые выскочили въ переднюю два писца, надѣли короткіе сюртучки, взяли тросточки и помчались по Невскому; теперь только я ихъ узналъ совершенно—моихъ нѣвскихъ аристократовъ. Немного погодя, вышелъ журналистъ, натянулъ сверхъ виц-мундира коричневый сюртукъ, покрылъ мудрую голову шляпою съ широкими полями и важно двинулся по Невскому. „Такъ вотъ мой академикъ, механикъ, астрономъ!“ подумалъ я и, увлеченный общимъ потокомъ, пошелъ тоже по Невскому—домой.

1 декабря.

Третій мѣсяцъ служу я и все переписываю бумаги скучныя, безжизненныя! Сто-

ило для этого ѣхать въ Петербургъ! Я могу, при счастьи, лѣтъ чрезъ пять поступить на жалованье 750 р. и все-таки буду переписывать; а я еще при вступленіи нажилъ себѣ непріятеля въ лицѣ Петра Ивановича: онъ приберегалъ мѣсто, которое я занялъ, своему крестнику, и вдругъ я какъ съ облаковъ свалился.

Петръ Ивановичъ называетъ меня вольнодумцемъ оттого, что я, переписывая его бумаги, исправляю букву *ъ*, которую онъ ставитъ какъ попало; онъ напишетъ *веденіе*, а я поправлю *въденіе*; споримъ часть, и кончится тѣмъ, что онъ разскажетъ сказку, какъ яйца курицу учили, и тому подобныя любезности, и согласится принять одно *ъ* и нишетъ *въденіе*.

Ванька несетъ съ почты письмо. Въ сторону журналъ! Что-то новаго мнѣ пишутъ изъ дома?

„Милостивый государь,

„Яковъ Петровичъ!

„Будучи въ сосѣдствѣ и находясь въ пріязни съ домохъ вашимъ, я всегда питалъ къ вамъ чувства моего почтенія, иначе выразиться, чувственную привязанность, не найдя въ васъ трагическаго духа. Съ особеннымъ неудовольствіемъ сплшу навести васъ о паденіи вашего черкеса: онъ палъ, иначе выразиться, издохъ отъ сильнаго перегона; будучи посылаемъ за докторомъ по причинѣ удара, приключившагося вашему батюшкѣ, онъ и померъ; ваша матушка осталась теперь во вдовствующемъ положеніи, но что же дѣлать! Не печальтесь, ибо мы всѣ ходимъ подъ Богомъ и кончаемся за грѣхи Адама. У васъ на похоронахъ было много почету и нашъ предводитель генералъ Н. Н., который, можно выразиться, и генералъ, и человекъ генеральный, и Сутяговскій очень оскорблялся и плакалъ, и прочіе, всѣ извѣстныя, были въ сильномъ расположеніи и въ слезахъ, а послѣ обѣда разѣхались. За симъ съ чувствомъ глубочайшаго высокопочитанія и совершенной преданности имѣю честь пребыть вашимъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ слугою—

Иванъ Щука-Окуневскій.

1831. года, ноября 15 дня.

Село Скоробрехи.

„Прилагаю при семъ рецептъ, доставленный для васъ нашимъ аптекаремъ для самопалительныхъ сѣрныхъ спичекъ.

Возьми: Phosphor: gr. x., т.-е. фосфору 10 грановъ,

Flor. Sulph. — j — сѣрыхъ цвѣт. 1 гранъ,
Kali oximuriatici 3j—солянокислаго поташа
1 драхму,

разотри въ тридцати гранахъ слизи ара-
війской камеди и обмакивай спички, а по-
слѣ суши въ сухомъ воздухѣ.“

29 декабря.

И еще мѣсяцъ; я все переписываю бу-
маги; въ положенные часы прихожу, и вы-
хожу въ положенный часъ; я сдѣлался
сущимъ автоматомъ!... Впрочемъ, со смерти
моего добраго отца, я хожу какъ въ туманѣ,
неспособенъ понять ни одной живой мысли,
и для меня занятіе переписчика очень по-
рукъ; даже я не могъ ничего написать въ
своей памятной книжкѣ: онъ умеръ—и боль-
ше ничего! Я даже смѣялся, читая без-
толковое письмо съ сѣрыми спичками, а
на грудь будто легъ тяжелый камень, го-
лова трещала отъ жара, а руки стали хо-
лодны, какъ ледъ.

Сегодня немного мнѣ легче; слезы бры-
знули изъ глазъ, и мнѣ такъ стало жалко
добраго моего старика! Я вспомнилъ, какъ
онъ прощался со мною и плакалъ, обни-
мая меня, какъ долго смотрѣлъ вслѣдъ за
уѣзжавшимъ моимъ экипажемъ; какъ его
сидящая голова медленно кланялась мнѣ изъ
окна... И зналъ ли я тогда, что прощаюсь
съ нимъ на вѣки... что я схороню его...
что мои поцѣлуи были надгробное лобзаніе
сходившему въ могилу? Блаженъ человѣкъ,
что не вѣдаетъ будущаго!...

183... 1 января.

Сегодня новый годъ. Коллежскій ассес-
соръ Алеутниковъ, служащій въ одномъ со
мною отдѣленіи, затащилъ меня поздра-
вить съ праздникомъ Петра Ивановича.
Петръ Ивановичъ одѣвался, однако принялъ
насъ очень ласково и, разговаривая о по-
годѣ, началъ повязывать передъ зеркаломъ
галстухъ. Петръ Ивановичъ не любитъ бан-
товъ и всегда завязываетъ галстухъ на
затылкѣ; теперь, какъ-нарочно, концы пла-
тка не сходились, руки двигались врозь, и
Петръ Ивановичъ начиналъ морщиться отъ
досады. Въ два прыжка низенькій Алеу-
тниковъ очутился сзади своего патрона,
вытянувшись на цыпочкахъ овладѣлъ гал-
стухомъ и повязалъ его. Я невольно улы-
нулся.

— Чувствительно обязанъ! сказала Петръ
Ивановичъ, быстро оборотаясь къ Алеутни-
кову, и даже взявъ его за руку, а на меня
бросилъ самый мрачный взоръ.

2 января.

Косо посмотрѣлъ на меня въ департа-
ментѣ Петръ Ивановичъ и почти бросилъ
передо мною бумагу, исписанную ужаснѣй-
шими крючками и хвостами, сказавъ серд-
dito: „переписать скорѣе, да не ошиби-
ться. Эти ученые много о себѣ думаютъ, а
мало дѣлаютъ“.

Началъ я разбирать кудрявое письмо
моего благодѣтеля, по слову, по два пере-
водить на бумагу и къ концу присутствія
явилось очень чистенькое отношеніе отъ
лица нашего директора къ одному важному
духовному лицу. Петръ Ивановичъ долго
разсматривалъ мою копію, сличалъ ее съ
оригиналомъ, придирался къ запятымъ, и
вдругъ поблѣднѣлъ отъ ужаса и, гордо
поднявъ голову, грозно посмотрѣлъ на
меня:

— Какъ вы смѣете дѣлать подобныя де-
разости, невѣжественности? Вотъ что зна-
чить принимать на службу неизвѣстныхъ
лицъ!

— Какія дерзости?

— Еще и какія! Какъ вы могли смѣть
искажать смыслъ бумаги, данной вамъ на-
чальникомъ?

— Гдѣ же, позвольте узнать?

— Гдѣ же! гдѣ же! вы хотите подъ судъ
меня упрятать? еще гдѣ же?... Этакое фан-
фаронство, съ позволенія сказать, воль-
нодумство, сущее безбожіе! неуваженіе вла-
стей!...

— Я васъ не понимаю.

— Не хотите понимать, лучше скажите...
Да, возьмите. читайте, что тутъ написано:
съ совершеннымъ и прочая...читайте!

— Съ совершеннымъ высокопочтеніемъ
честь имѣю...

— Довольно, довольно! какъ вы сказали,
съ совершеннымъ...

— Высокопочтеніемъ.

— Да, высокопочтеніемъ, еще и смотреть
такую невинность! развѣ можно писать
такъ неуважительно?

— У васъ такъ написано.

— Неправда, подайте сюда! видите:—выс.
поч. и только—это значить, что я далъ
вамъ только намекъ, надѣясь на ваше об-
разованіе, а вы и этого не знали, или не
хотѣли знать, я полагаю.

— Что же здѣсь написать надобно?

— Съ совершеннымъ высокопочтаніемъ
—понимаете? не почтеніемъ, а почитаніемъ;
это означаетъ степень великаго уваженія.
Хорошъ бы я былъ, еслибъ подаль къ под-
писанію его превосходительству эту бу-
магу, и вдругъ бы мнѣ наклонили носъ,
вотъ какой—при этомъ словѣ Петръ Ива-

новичъ приставилъ къ своему носу указательный палецъ и сдѣлался очень смѣшонъ.

Петръ Ивановичъ еще пѣтушился, еще ворчалъ, но я уже не слышалъ его замѣчаній: сторожъ принесъ мнѣ письмо; я вышелъ въ приемную, чтобъ прочитать... нѣтъ, прописать... или да, точно, прочитать и прочитать, перечитать, нѣтъ, зачитать... голова кружится—жарко—не могу писать... лягу прочитать.

„Дорогой товарищ мой!

„Давно мы съ тобою не видались. Какъ вышли изъ лица, подали на прощанье другъ другу руки и разошлись по разнымъ дорогамъ: ты зажилъ въ деревнѣ, а я отправился къ своему дядѣ, командовавшемумъ уланскимъ полкомъ, получить *virtuti militari*, чинъ поручика, и теперь стою съ полкомъ въ..... уѣздѣ. Славный уѣздъ! помѣщиковъ пропасть, ребята все веселые, *хорошенькихъ* бездна—извини за армейскій слогъ: гдѣ намъ угоняться за вами, столичными! У насъ, вмѣсто зеркала, блистаетъ свѣтлой сабли полоса, и диваны замѣняетъ куль овса, какъ тамъ поется въ этой гусарской пѣснѣ—ты знаешь; я не мастеръ былъ и въ классѣ заучивать стихи; грѣшенъ только въ четырехъ строкахъ, которыхъ профессоръ приводилъ въ примѣръ слога, не помню какого роста, чуть ли не высокаго, и за которые я сидѣлъ три дня въ карцерѣ; врѣзались въ память проклятыя! вотъ они, возьми ихъ себѣ на здоровье:

Хоть съ вами бѣ Россы къ намъ достигли
Пояши западъ быстрины,
Хотя бы вы на насъ воздвигли
Союзы ваши всѣ страны...

А дальше, хоть убей, не знаю. Желалъ бы и этихъ не помнить, да западали въ голову какъ смертный грѣхъ. А за стихи ты, по старой дружбѣ, сослужи службу: вышли по первой почтѣ двѣ пары эпюлетъ, одну форменую, а другую бальную, побольше, потолще, поблестящее, со всевозможными блѣсками. Что будетъ стоить, деньги я вышлю. А *propos!* Я забылъ-было! Въ здѣшнемъ уѣздѣ живетъ нашъ товарищъ Ш.; растолстѣлъ, братецъ; все спитъ послѣ обѣда, а у него сестрица—объяденье, такая сантиментальная! Я къ нимъ очень часто ѣзжалъ прежде съ корнетомъ фон-Шпекъ. Лихой малый, говоритъ по-нѣмецки, и по-русски объясняется порядочно: можно понять; играетъ шибко—вотъ бѣда! Такой бѣшеный нѣмецъ; все ставитъ на карту, пока есть что на немъ; радъ бы и душу загнать на уголъ, да на что кому она?

никто и въ грошъ не приметъ! прошли времена Громобоевъ...

Съ нимъ было уморительное приключеніе: сестрица Ш. начала на него заглядывать; онъ былъ дорогой гость въ домѣ. Однажды Шпекъ проигрался въ пухъ и пѣлюю недѣлю питался картофелемъ и солью; я, ѣдучи къ Ш., взялъ Шпека съ собою. Дорогою Шпекъ мнѣ разсказалъ о своемъ картофельномъ постѣ. Приѣжаемъ—намъ очень рады. Приходитъ пора обѣдать. Шпекъ съ удовольствіемъ посматриваетъ въ столовую, сѣли за столъ: первое кушанье—картофельный супъ; я посмотрѣлъ на Шпека и не могъ не улыбнуться; подаютъ соусъ картофельный, другой тоже изъ картофеля, жареный картофель и пирожное изъ картофельной муки. Шпекъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ; онъ принялъ это въ насмѣшку, тѣмъ болѣе, что при всякой переѣмъ черные глазки *m-lle Ш.* быстро посматривали на Шпека. Я человѣкъ неслишкомъ тонкій, а каюсь, подумалъ, что это насмѣшка на нѣмецкую натуру моего товарища. Послѣ обѣда Шпекъ закапризился ѣхать домой; я боялся, чтобъ онъ не соорилъ какой сцены, и мы уѣхали.

Дорогою Шпекъ разразился въ проклятіяхъ. „Дьяволъ бы побралъ всѣхъ этихъ быстроглазыхъ!“ кричалъ онъ: „сама дала мнѣ поводъ волочиться за собою, а теперь издѣвается. Да что она мнѣ? Еслибъ не ея имѣніе; я и не смотрѣлъ бы на нее. Я знаю себѣ пѣну; въ сюртукѣ еще ничего, а надѣну уланскій мундиръ—всѣ дамы засмотрятся не меня; выбирай любую! Рѣшительно голоденъ; въ желудкѣ пусто какъ въ карманѣ! А вы, чай, и хлѣба не видали, Ѳедотовъ?“

Ѳедотовъ, деньщикъ Шпека, сидѣвшій на козлахъ вмѣстѣ съ моимъ кучеромъ, сдѣлалъ пол-оборота направо и, приподнявъ фуражку, отвѣчалъ: „Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе, до отвалу накормили; едва могу сидѣть на козлахъ, да и ко мнѣ прибѣгала только-что мы пріѣхали, горничная барыни, да все спрашиваетъ: „да скажи, Ѳедотычъ, что твой баринъ больше всего любитъ?“—Наше дѣло служивое, ваше благородіе; я и говорю: „вотъ такихъ чернявочекъ“. Она хватъ меня по рукѣ, да и говоритъ: „не о томъ спрашиваютъ; что твой баринъ любитъ кушать?“

— Все, что люди ѣдятъ.

— Да что больше всего ѣстъ?

— Коли голоденъ, что подашь первое, то и ѣстъ больше всего.

— Да что чаще всего ему готовятъ?

— Вотъ съ недѣлю, молъ, все ѣстъ картофель.

— Такъ бы и давно!—и побѣжала отъ меня словно угорѣлая.

Шпекъ, слушая разсказъ деньщика, былъ въ восторгѣ. Теперь объяснилась причина картофельнаго обѣда: ему хотѣли угодить. Я поздравилъ Шпека съ завоеваніемъ, взявъ съ него честное слово послѣ вѣнца купить мнѣ одному бутылку шампанскаго, а я обязался при немъ и при женѣ его выпить. Вчера бутылка выпита, свадьба была шумная — только свои. Шпекъ едва утерпѣлъ, чтобъ въ день свадьбы не сѣсть играть отъ радости. Его молодая супруга была въ восхищеніи; ея черные глаза такъ и сыпали искры... Чрезъ мѣсяцъ назначенъ огромный балъ у молодыхъ, а тамъ и пойдутъ танцы—то у того, то у другаго изъ родственниковъ. Очень радъ, что узналъ твой адресъ; послѣши выслать эпюлеты къ этому времени; авось и мы выкинемъ такую штуку... Прощай, mon ange, какъ пишутъ молоденькія пансіонерки. Не забудь твоего друга.

„А. Завитаевъ.“

25 января.

Третій день, какъ я началъ прохаживаться по комнатѣ; силы мои быстро восстанавливаются. Сегодня я уже могу писать и докончить описаніе ужаснаго дня... Два раза перечиталъ я письмо Завитаева и началъ читать уже въ третій разъ, какъ понялъ страшную истину и судорожно измялъ его въ рукѣ. Мысль, что Завитаевъ ничуть не виноватъ, быстро мелькнула въ умѣ моемъ; я молча спряталъ письмо въ карманъ; въ это время кольцо съ незабудою блеснуло мнѣ въ глаза, я сорвалъ его съ пальца и хотѣлъ выбросить въ окошко.

— Погодите, ваше благородіе, сказалъ сторожъ Егоръ.

— А что?

— Вы хотите выбросить на улицу колечко.

— Тебѣ какое дѣло?

— Такъ, вѣдь оно, кажись, золотое?

— Ну, да.

— Пожалуйте лучше мнѣ его.

— А тебѣ на что?

— У меня, сударь, есть дочка, дѣвчонка лѣтъ пятнадцати, да какая охотница до перстеньковъ.

— Нѣтъ, еслибъ ты хотѣлъ его пропить въ кабацѣ, я, можетъ-быть, отдалъ бы тебѣ его, а дочери твоей не отдамъ. Не хочу я, чтобъ въ добрыхъ рукахъ было это кольцо.

— На улицѣ могутъ поднять его и добрые люди.

— Это правда; спасибо за совѣтъ.

Я спряталъ предательское кольцо въ карманъ; но оно не давало мнѣ покоя, шевелилось, жгло меня. Пойду къ Невѣ, думаю я, и брошу въ Неву гадкій перстень; но Нева такъ хороша, всегда такъ величественно, благородно несетъ свои синія, прозрачныя волны; не хочу осквернить ее моимъ кольцомъ.. Въ этихъ мысляхъ шелъ я по Невскому и уже былъ на Полицейскомъ мосту. Была оттепель; у ногъ моихъ, какъ змѣя, вилась грязная Мойка; ея густыя, зловонныя струи лѣниво переливались въ широкой проруби... „Вотъ достойное мѣсто для ея подарка“, подумалъ я, досталъ кольцо, положилъ его на руку, по старой привычкѣ поцѣловалъ его, и щелчкомъ сбилъ въ Мойку. Долетая до воды, оно еще разъ сверкнуло, поворотилось ко мнѣ голубымъ цвѣточкомъ и ушло на дно.

Въ эту минуту что-то будто порвалось въ груди моей, и я почувствовалъ необыкновенно-пріятную теплоту; я кашлянулъ—кровь хлынула изъ горла. Пришедъ на квартиру, я съѣлъ пару апельсинавъ, выпилъ стакана два со льдомъ воды и волненіе крови унялось. Я сталъ, по-видимому, спокойнѣе, даже съѣлъ писать свои записки, но не могъ кончить... Иванька говоритъ, что онъ нашелъ меня въ креслѣ въ обморокѣ, уложилъ въ постель, и я на третій день едва очнулся отъ сильнаго бреда. Доктора взяли меня въ руки, поохотились порядкомъ надо мною, и травили надо мною, и травили цѣлыми стаями злыхъ пѣвоковъ, и чего не дѣлали они, а спасибо—помогли.

1 февраля.

Я хочу не думать о ней: я презираю ее; а несносное воображеніе безпрестанно мнѣ ее представляетъ: она не стоитъ того, чтобъ я о ней думалъ: она хоть и хорошенькій бюстикъ, но безъ души; ея глаза хоть и глядятъ такъ упорно, но въ нихъ свѣтится огонь сладострастія—и больше ничего; ея улыбка, хоть и очаровательна, на полна лжи... такъ вовсе я не хочу думать о ней, хочу заставить себя забыть ее, и между-тѣмъ все больше думаю... Странное созданіе человѣкъ!

3 февраля.

Сегодня я проснулся; мой Иванька стоитъ у постели моей и плачетъ.

— О чемъ ты плачешь? спросилъ я его.

— Ничего, отвѣчалъ онъ, смѣшавшись:— такъ.

— Быть не можетъ; развѣ ты боишься сказать мнѣ?

— Вотъ видите что. Вы спали, а я смотрѣлъ на васъ, да мнѣ даже страшно стало: лежите вы блѣдные, ни кровинки въ лицѣ, словно мертвыи; щеки запали, на рукахъ хоть кости считай!... Такой ли вы были дома, какъ пріѣхали изъ лица, подумай я,—кровь съ молокомъ!... Бывало, смѣтесъ, такъ въ пятой горницѣ слышно, а какъ сядете на коня, на черкеса, да какъ пуститесь по степи, ястреба васъ, бывало, не обгонять!... А теперь что?... Ни живой, ни мервый, голосу не отведете. И зачѣмъ мы пріѣхали въ этотъ Петербургъ? что тутъ хорошаго? Я съ перваго дня покачалъ головою, какъ нарядили васъ въ узкія нѣмецкія брюки. Сейчасъ увидѣлъ, что тутъ толку мало... Сколько вотъ служите, а и эплетовъ не даютъ вамъ. А знаете что?

— А что, Иванька?

— Поѣдемъ домой, поѣдемъ въ наши степи. Тамъ у насъ весело, тамъ широко, привольно, много полей, много всякаго хлѣба, много плодовъ—всего довольно. Чего намъ искать здѣсь? Что мы потеряли? Выздоровливайте, да поѣдемъ скорѣе!... Станете гулять по степи, стрѣлять дичь, опять станете веселы... Дастъ Богъ женитесь, а тутъ, ей-богу, вы умрете.

И добрый Иванька плакалъ, цѣловалъ мои руки...

— Полно, Иванька, перестань, я и самъ думаю ѣхать.

— И слава Богу! Заживемъ опять дома, уѣдемъ отсюда! Что это за городъ! безъ гроша воды не дадутъ напиться, а войдешь въ лавочку, тотчасъ бороды на смѣхъ подымутъ: и „хохолъ голоухій“, и то, и другое... Богъ съ ними!

6 февраля.

Я изъ департамента получилъ записку, въ которой экзекуторъ, по приказанію начальства, приглашаетъ меня сегодня же явиться на службу, а въ случаѣ невозможности—прислать просьбу объ увольненіи. Далѣе говорится, что я только занимаю мѣсто, безпрестанно боленъ, отчего останавливается теченіе дѣлъ: другой, дескать, былъ бы полезенъ на моемъ мѣстѣ. Я съ радостью написалъ просьбу и отправилъ.

7 февраля

Мой Иванька разсуждалъ благоразумно. Что я тутъ буду дѣлать? Поѣду въ деревню. Матушка одна: ей надобно по-

собить въ управленіи имѣніемъ, пристроить братьевъ и сестеръ. Рѣшено: завтра же пишу къ матушкѣ, чтобъ выслала денегъ на прогоны, да и расплатиться здѣсь: я въ болѣзнь задолжалъ таки-порядочно—и прощай Петербургъ, въ тебѣ очень холодно.

Иванька съ утра поетъ въ-полголоса свои родныя пѣсни и собирается въ дорогу; ему кажется, будто мы завтра должны выѣхать; я и самъ цѣлый день мечталъ о тихой деревенской жизни... Иногда мнѣ приходило на мысль: не будетъ ли воспоминаніе о ней тревожить меня въ мѣстахъ, бывшихъ свидѣтелями первой любви нашей? Нѣтъ, я уже простилъ ее!

Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!...
Утѣшься, другъ!—она дитя.
Твое уныніе безрасудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское—шутя...

Эти стихи великаго сердцевѣдца нашего, Пушкина, примирили меня съ нею, обвѣяли тишиною тревожную мою душу. Мнѣ жаль даже кольца: зачѣмъ я его бросилъ, да еще въ такую скверную тину! оно бы мнѣ напоминало лучшія минуты въ жизни, которая даровала мнѣ судьба; не всегда же быть человѣку вѣчно счастливымъ:

Порою всѣмъ дается радость;
Что было, то не будетъ вновь.

Нѣтъ, я былъ злымъ человѣкомъ въ минуту, когда бросилъ перстень въ Мойку... Спасибо Пушкину, онъ успокоилъ меня. Какой-то, чуть-ли не греческій, баллагуръ сказалъ, что поэтъ должно увѣнчать и выпроводить изъ города. Желалъ бы я посмотреть въ лицо этому мудрецу; оно, должно быть, нелѣпѣе суздальской картинки.

8 февраля.

Сегодня я только-что сталъ писать домой о своей отставкѣ и о высылкѣ мнѣ денегъ на прогоны, какъ Иванька подалъ мнѣ письмо съ почты. Со смерти отца я не получалъ ни одного пріятнаго письма, и какъ прежде, бывало, бьется сердце отъ радости, когда увидишь киверъ почтальона, такъ теперь трепещетъ оно отъ какого-то темнаго предчувствія. Я взялъ письмо и даже боялся его распечатать; отъ Сутиговскаго—странное дѣло! „Теперь уже я не поѣду“, сказалъ я Иванькѣ, пробѣжавъ письмо: „а ты одинъ будешь дома...“ Онъ робко

посмотрѣлъ на меня, какъ-бы стараясь прочесть что-нибудь въ глазахъ моихъ, и когда я ему прочелъ письмо Сутяговскаго, громко закричалъ: „Этому не бывать! я уйду съ первой станціи!“

„Милостивый государь,

„Яковъ Петровичъ!

„Любя васъ и уважая память покойнаго родителя вашего, я спѣшу извѣстить васъ о непріятномъ положеніи дѣлъ вашихъ: г. Ивановъ оказался несостоятельнымъ по причинѣ различныхъ неудачъ въ соляной операціи, и ваше имѣніе, бывшее по сему случаю въ залогъ, продано съ публичнаго торга. Я, какъ ближайшій сосѣдъ, не хотѣя пустить его въ незнакомыя руки, купилъ оное и законнымъ образомъ введенъ во владѣніе; но, разматривая ревизскій сказки, я не отыскалъ въ наличности одного человека, Ивана Добряка; а какъ по справкамъ оказалось, что онъ мой крестьянинъ, Иванъ Добрякъ, находится у васъ въ услуженіи, то я и отнесся въ санктпетербургскую полицію о высылкѣ означеннаго Ивана на мой счетъ по этапу, и не желая огорчить васъ нечаянно, рѣшился писать къ вамъ объ этомъ. Впрочемъ, уважая память покойнаго вашего батюшки, я ничего не стану требовать съ васъ за услуги означеннаго моего крестьянина до отправления его изъ Петербурга, надеясь, что вы, съ вашей стороны, не оставите за сіе снабдить его на дорогу приличнымъ платѣмъ. Я полагаю, что вы, какъ человекъ ученый всякимъ наукамъ, не станете скорбѣть о потерѣ пустаго имѣнія. Влага земная непрочна, и въ свѣтѣ все такъ дѣлается, какъ сказано въ новѣйшихъ русскіихъ прописяхъ: „Всякій въ свою очередь является на сцену и сходитъ съ нея“. Я учился по этой прописи и теперь мой сынокъ Павлуша ее пишетъ, За симъ, при желаніи вамъ всѣхъ благъ, имѣю честь быть вашимъ покорнымъ слугою

„И. Сутяговскій.“

183... года, января 24.

С. Грабуново.

9 февраля.

Сегодня получилъ письмо отъ матушки. Она пишетъ, что когда Ивановъ объявилъ себя банкротомъ, Сутяговскій пріѣхалъ къ ней, уговорилъ ее не писать объ этомъ ничего ко мнѣ, чтобъ не потревожить меня—какое человеколюбіе!—а самъ Сутяговскій плакалъ передъ нею, говоря, что и онъ немного виноватъ въ этомъ, совѣ-

товавъ покойнику дать залогъ Иванову и, сознавая свою ошибку, самъ поѣхалъ хлопотать объ этомъ въ губернский городъ, откуда возвратился уже владѣтелемъ нашей деревни. Сама же матушка съ дѣтьми, не желая пользоваться ничѣмъ снисхожденіемъ, наняла въ городѣ у одного мѣщанина небольшой домикъ и живетъ кое-какъ. Нашъ домъ занялъ какой-то шляхтичъ, управитель Сутяговскаго.

16 февраля.

Иванька отправился по этапу. Тяжело было мнѣ разстаться съ нимъ: онъ у меня былъ одно существо, съ которымъ я могъ дѣлить радость и горе; онъ понималъ меня, сочувствовалъ мнѣ, когда я говорилъ о родинѣ... Теперь я одинъ, сирота въ шумномъ городѣ!... Прощаясь, я уговорилъ Иваньку не бѣгать ни съ первой, ни съ какой станціи, совѣтовалъ честно служить новому господину, и мы разстались... Черезъ четверть часа опять входитъ Иванька въ комнату.

— Что тебѣ надобно?

— А вотъ, баринъ, я нечаянно унесъ вашъ ножикъ: онъ былъ у меня въ карманѣ, да я такъ и ушелъ; вспомнилъ дорогою, да такъ стало совѣстно, что подумаете, можетъ быть, будто я нарочно взялъ его. Едва уговорилъ солдата воротиться къ вамъ на минуту.

Онъ подаль мнѣ ножикъ; руки бѣднаго Иваньки дрожали, крупныя слезы падали на землю.

Еще разъ обнялъ я моего добраго слугу, и болѣе уже не видалъ его.

17 февраля.

Теперь я *долженъ* остаться въ Петербургѣ, *долженъ* работать, жить скромно, *долженъ* сколько-нибудь помогать моему бѣдному семейству: я не допущу, чтобъ матушка, добрая матушка, которая такъ любитъ меня, дожила до необходимости питаться трудами рукъ своихъ. Я не напрасно учился; здѣсь много пансіоновъ, отъищу себѣ гдѣ-нибудь мѣсто—надѣюсь, что мой аттестатъ будетъ уваженъ учеными людьми—и стану передавать свои знанія молодымъ людямъ. Мнѣ кажется, нѣтъ святѣе этой обязанности... Я понимаю науку не какъ сухое собраніе правилъ, которыя *долженъ задоить* себѣ въ голову бѣдный ученикъ—нѣтъ, наука, по-моему, есть извѣстная форма, посредствомъ которой мы передаемъ молодымъ умамъ живую идею, обогащая умъ знаніемъ и вмѣстѣ согрѣвая душу любовью къ прекрасному, высокому...

А прежде всего мнѣ нужно расплатиться съ долгами.

20 февраля.

Мебель, часы и всѣ лишнія вещи проданы: денегъ было довольно, а какъ расплатился съ долгами, и въ аптеку, и за квартиру, и за то, и за другое—осталась въ карманѣ двадцати-пяти-рублевая ассигнація и гривенникъ: на эти деньги не раскутишься, а пока мѣста нѣтъ... Сегодня же поищу квартиру и завтра переѣду на нее. Говорятъ, должно искать дешевую квартиру на Петербургской Сторонѣ.

24 февраля.

Едва отыскалъ квартиру по своимъ деньгамъ—все дороги. Теперь моя резиденція въ Теряевой улицѣ на Петербургской Сторонѣ. Кто бывалъ на Петербургской, на Большомъ проспектѣ, или около кадетскихъ корпусовъ, тотъ не имѣетъ никакого понятія о характерѣ Теряевой улицы: тамъ аристократія Петербургской Стороны, здѣсь чистый плебсъ; тамъ домики довольно-опрятные, выкрашенные, — здѣсь мрачнаго, желѣзнаго цвѣта; тамъ вы иногда увидите и солиднаго чиновника, ѣдущаго на своей лошади, и атласный салопъ, иногда услышите звуки фортепьяно, если погода позволяетъ открыть окошко; иногда на улицѣ наступите ногою на сотерновую пробку или на листокъ газеты, — здѣсь подобныя вещи баснословіе! Тишина изумительная; въ шесть часовъ на улицѣ нѣтъ живой души; съ вечера упадетъ снѣжокъ, а утромъ вы увидите подъ вашими окнами свѣжіе слѣды волка!... Можетъ-быть лѣтомъ будетъ веселѣе.

Я занимаю маленькую комнату отъ жилища, за 15 рублей ассигнаціями, со столомъ, на условіи, учить грамотѣ ея семилѣтняго сына *Ваську*. Хозяйку мою зовутъ Анісю Карповна, а домъ принадлежитъ какому-то отставному арану. Впрочемъ, онъ человѣкъ бѣлый: я его развѣ видѣлъ.

2 марта.

Цѣлую недѣлю ходилъ по пансіонамъ—и вездѣ отказъ. Всѣ спрашиваютъ: кто рекомендовалъ васъ? Былъ и у м-г Аuku, и у м-г Коко, и у м-те Шнейбахъ, и у м-те Гольцкопфъ, и у пана Ютржицкаго, и у десятаго, и у двадцатаго—не беретъ!... Одинъ посылаетъ къ другому, другой—къ третьему... Еще попытаюсь; говорятъ, гдѣ-то за Черною-Рѣчкою есть, на болотѣ, пансіонъ отставнаго капитана Лисицына, и у не-

го всегда найдешь ваканцію, лишь бы подешевле.

„Уживетесь ли вы съ нимъ долго—за это не отвѣчаемъ: у него никто больше мѣсяца не выживетъ, а принять-то онъ приметъ“—такъ говорили люди о Лисицынѣ. Люди не всегда правду говорятъ, и иногда охотнѣе скажутъ дурное, нежели хорошее, я думаю; притомъ же не умирать мнѣ съ голоду; пойду въ пансіонъ на болотѣ.

4 марта.

Договоръ съ Лисицынымъ сдѣланъ. Я вотъ уже недѣлю учу его школу читать, писать и ариметикѣ за 50 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ. Я долженъ быть въ пансіонѣ каждый день съ семи часовъ утра до двѣнадцати, и съ двухъ часовъ до семи вечера; а опоздаешь минуты двѣ-три—все Лисицынъ записываетъ и, при окончаніи мѣсяца, слагаетъ минуты въ часы и, по расчету, вычитаетъ изъ жалованья.

Незавидна моя участь: съ утра до ночи толковать безмозглымъ шалунамъ одно и то же, толковать имъ изъ послѣднихъ силъ, что дважды-два—четыре, и замѣчать, что слушатели въ это время или спятъ, или рисуютъ съ меня каррикатуры, между-тѣмъ каждый день выносить невыносимо-холодный и презрительный взглядъ сдѣлаго капитана Лисицына, регулярно каждый день слышать одну и ту же фразу: „У васъ мало старанья! Получая деньги, надобно заниматься дѣломъ!...“ Надменный человѣкъ! будто я не понимаю своихъ обязанностей... Видно, онъ провелъ свой вѣкъ, обучая рекрутъ!... О, деньги, деньги! сидите вы у меня на сердцѣ.

Говорятъ, бѣдность не порокъ. Безсовѣстная ложь: порокъ бѣдность, ужасный порокъ, отлучающій человѣка отъ общества, кладущій печать отверженія на лицо человѣка, убинаяющій душу и тѣло!... Одна религія спасаетъ меня... Благославляю минуту, въ которую она озарила меня истиннымъ свѣтомъ Евангелія... Придешь домой съ душою истерзанною, съ тѣломъ истомленнымъ, станешь на колѣни передъ образомъ Спасителя, простишь обиды гордому человѣку—не вѣдаешь бо что творить—и слезы, и молитвы текутъ изъ упокоеннаго сердца, и всѣ печали отлетятъ отъ тебя, и станетъ свѣтло и легко на душѣ, и духъ, и тѣло укрѣпятся на завтра, на новую битву съ жизнью, на новыя страданія..

5 апреля.

Мѣсяцъ прошелъ. Я получилъ жалованье. Съ меня вычли рубль пять копеекъ—

—отняли сухарь у нищаго!... Изъ этихъ денегъ пошлю красную ассигнацію матушкѣ...

27 мая.

Настала весна и мученія мои умножились: на дачи наѣхало пропасть празднаго народа и, гуляя отъ нечего-дѣлать, всякая сволочь заходитъ въ пансіонъ. Лисицынъ сейчасъ начинаетъ экзаменоватъ воспитанниковъ, для поддержанія славы заведенія. Приходящіе отъ скуки даютъ Лисицыну разные совѣты, а онъ сейчасъ же приводитъ ихъ въ исполненіе...

Бѣда учить русскому языку! Каждый лавочникъ, умѣя записать расходъ и приходъ, воображаетъ, что онъ знаетъ русскій языкъ! и каждый лавочникъ—смѣю васъ увѣрить—дастъ какой-нибудь безтолковый совѣтъ касательно русскаго языка, только попросите его. Начнешь опровергать какую-нибудь нелѣпость, Лисицынъ сдвинетъ съдыя брови и скажетъ такую любезность, что всѣ внутренности перевернутся; а молчишь... О бѣдность!...

16 июля

Лѣто не веселитъ меня, даже ни разу я не былъ на островахъ... Богъ съ ними! Тамъ все такія веселыя лица... Погода непостоянная: то жаръ нестерпимый, то холодъ съ дождями. Придешь изъ пансіона, поучишь Васюку, помолишься—и спать пора... Моя хозяйка очень добрая баба; ей лѣтъ за пятьдесятъ, была замужемъ за солдатомъ, три года какъ овдовѣла и живетъ одна съ сыномъ, занимаясь мытьемъ бѣлья.

2 сентября.

Приходитъ осень; падаютъ листья, вечера дѣлаются длиннѣе, по утрамъ морозъ бѣлѣетъ по заборамъ. Моя грудь начинаетъ опять болѣть; я два дня не былъ въ пансіонѣ—не могъ дойти туда: въ ногахъ тяжело и во всемъ тѣлѣ какая-то слабость, все спать хочется. На третій день Лисицынъ прислалъ мнѣ отказъ, извѣщая, что онъ не намѣренъ содержать богадѣльню, что больной человѣкъ, не принося пользы, наноситъ уже вредъ. При концѣ онъ прибавилъ что отказывается мнѣ не изъ каприза, но *по долгу*, и весьма обо мнѣ сожалѣть.

Я замѣтилъ, что Лисицынъ не такъ золъ отъ природы, какъ выказывается въ своихъ поступкахъ. Онъ прочелъ „Исторію Наполеона“, замѣтилъ, что тотъ часто, для

пользы государственной, ставилъ въ ничто и жизнь, и счастье одного человѣка, и сталъ примѣнять это къ своему пансіону... Слабость человѣческая! онъ даже и руки складываетъ à la Napoleon. Богъ ему судья!

Анисья обѣщала мнѣ отыскать работу: переписывать что-нибудь; она моетъ бѣлье на какого-то сочинителя. Спасибо, хоть та польза отъ моей службы въ департаментѣ, что выучился четко писать. Работать нужно. Послѣднія деньги я отправилъ матушкѣ, въ надеждѣ на жалованье изъ пансіона. Чѣмъ стану жить, чѣмъ заплачу за квартиру? а обременять собою добрую старушку-хозяйку я не намѣренъ.

4 сентября.

Былъ сочинитель, это — Единороговъ, котораго я видѣлъ у дядюшки. Онъ не узналъ меня—и къ лучшему! Онъ мнѣ привезъ свое сочиненіе.

— Будетъ ли имѣть эта книга успѣхъ? спросилъ я.

— Невѣроятный; я ее *посвящаю* одному важному лицу—и я въ барышахъ. Для этого вотъ вамъ четыре печатныя книги; вы выпишите только изъ нихъ въ одну общую тетрадь все, что отмѣчено карандашомъ—и книга составитъ.

— А эта тетрадь? спросилъ я.

— Здѣсь ничего нѣтъ, кромѣ заглавія; вы въ эту тетрадь и выписывайте. Надѣюсь, что мы останемся довольны другъ другомъ. Современемъ я похлопочу о васъ; графъ Б., графиня С., баронъ П. и всѣ за васъ постараются—это всѣ мои друзья; а между-прочимъ, позвольте спросить, что вы берете съ листа?

Этотъ вопросъ сбилъ меня съ толку; я покраснѣлъ и едва могъ сказать:

— Я не знаю; что вы другимъ платите?

— Я моему писарю плачу сорокъ копѣекъ мѣдью съ листа.

— И я на это согласенъ.

— Но, позвольте, любезнѣйшій, тотъ пишетъ съ писанаго—это труднѣе, а вы будете писать съ печатнаго: здѣсь нѣтъ никакой трудности—читай-себѣ и пиши! По этому, я надѣюсь, вы возьмете по 35-ти копеекъ съ листа?

— Пожалуй.

— Еще одно условіе: чтобъ завтра къ вечеру все было готово; я долженъ поднести мою книгу его превосходительству въ день его рожденія. Прощайте, тороплюсь на завтракъ къ князю Прохору Ивановичу.

Единороговъ уѣхалъ на прекрасной парѣ собственныхъ лошадей.

5 сентября.

Сегодня къ вечеру я окончилъ работу, но уже не могъ самъ отнестъ ее: моя грудь разболѣлась—и не удивительно: я написалъ въ сутки около тридцати листовъ. Кровь сильно показалась изъ горла. Холодно, а голова горить. лягу въ постель.

6 сентября.

Я слегъ. Анисья принесла мнѣ отъ Единорогова деньги, безъ гривенника: „тѣ, сказалъ, послѣ отдамъ: мелочи нѣтъ. На долго ли станеть этихъ денегъ? а мое здоровье все хуже и хуже. Анисья — добрая баба, а никакъ не соглашается топить у меня въ комнатѣ. „Богъ съ тобою“ говоритъ: „теперь еще начинаются утренники, а тебѣ, кормилецъ, топи печку! Что же зимой дѣлать?“ Хорошо ей ходить съ утра до вечера въ своей голубой пубѣ: ей тепло.

8 сентября. Утро.

Вѣрно я крѣпко боленъ: Анисья безъ моей просьбы истопила печку и пошла за докторомъ, какъ говорилъ Васька.

Вечеръ.

Къ вечеру пришла Анисья, ругая напавъ всѣхъ докторовъ: „Экіе они какіе!“ ворчала старуха: „которому ни расскажу о тебѣ, всѣ говорятъ: „некогда, бабушка“. На-силу отыскала одного и оставила адресъ“.

Часа черезъ два пріѣхалъ докторъ—мальчикъ лѣтъ восемнадцати; онъ очень важно вошелъ, поговорилъ со мною издалика; безпрестанно нюхая какія-то капли. будто я лежалъ въ чумѣ, сказалъ словъ пять по-латынѣ и увѣрялъ, что эта латинщина моя болѣзнь; потомъ прописалъ рецептъ на полулистѣ, приказалъ принимать микстуру (которая должна родится изъ его рецепта) чрезъ часъ по ложкѣ, и уѣхалъ, объявивъ Анисѣ, что въ другой разъ онъ ни за что въ свѣтѣ не пріѣдетъ въ такую чертовскую даль.

4 октября.

Вотъ уже мѣсяць я лежу въ постели, и все въ одинаковомъ положеніи: ни лучше, ни хуже. Не будь я слабъ, я былъ бы совершенно здоровъ. На дворѣ октябрь; грязно, сыро; у меня надъ постелью появилась течь; въ комнатѣ тяжело пахнетъ глиною. Вчера продалъ послѣднюю книгу „Сочиненій Пушкина“, подаренную мнѣ въ лицѣ за успѣхи въ наукахъ.

7 октября.

Сегодня отдалъ старый серебряныя рубль. Петра-Великаго, именинный подарокъ моей матушки, когда я еще былъ ребенкомъ. Двадцать лѣтъ я носилъ его съ собою; онъ былъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ—какъ память матушки и память о великомъ государѣ. Впрочемъ, я его отправилъ въ лавочку, съ уговоромъ выкупить современемъ Немного оправлюсь, и хоть стану дровъ рубить, а достану денегъ на выкупъ.

8 октября.

Какой-то поэтъ сказалъ, что юноши вступаютъ въ свѣтъ въ вѣнкѣ изъ прелестныхъ цвѣтовъ. Человѣкъ живетъ—и опыты неумолимою рукою обрываетъ на вѣнкѣ одинъ за другимъ, всѣ цвѣты; остаются подъ конецъ только засохшіе стебельки, которые, какъ терны, мучатъ человѣка. Въ этомъ вѣнкѣ онъ сходитъ въ могилу... Давно ли я смотрѣлъ на жизнь, какъ на веселые праздники! Всѣ люди были мнѣ пріятелями всѣ дѣвушки казались чистыми, непорочными Сильфидами. Я былъ окруженъ родными; отецъ, матушка, братья любили меня... она — горькое воспоминаніе! — такъ жарко клялась въ безпредѣльной любви, въ вѣрности до гроба... мнѣ совѣстно за нее! И все исчезло, прошло, какъ сонъ, какъ разлетается отъ вѣтра позолоченная гора облаковъ... Я имѣлъ достатокъ и могъ помогать ближнему, а теперь моя матушка въ бѣдности, и я не могу помочь ей! Самъ лежу безъ куска хлѣба, одолженъ существованіемъ милостынѣ отъ бѣдной солдатской вдовы!...

Часто смотрю по пѣлымъ часамъ въ окно; у самого окна стоитъ береза! на черныхъ безлистныхъ вѣтвяхъ ея трепещетъ запоздалый, блѣдный листочекъ... Гдѣ его товарищи, съ которыми онъ такъ сладко шептался въ знойные часы лѣта? ихъ давно умчалъ холодный вѣтеръ; онъ одинъ остался сироткою, и тихо лепечетъ между вѣтвями свои жалобы, пока порывъ бури не умчитъ его туда,

Куда и листъ лавровый мчится,
И легкій розовой листокъ!..

Мнѣ жаль бѣднаго листочка: его моетъ осенній дождь и нѣтъ товарища покрыть его... защитить его. Его судьба похожа на мою. Я люблю его: онъ мнѣ родной... А далѣе, тамъ, за березою, несутся по небу сѣрыя тучи, одна другой темнѣе, мрачнѣе, тяжелѣе!.. И день, и ночь грустно таятся онъ, какъ погребальное шествіе за гробомъ

прекраснаго лѣта. Куда летятъ онѣ, гонимыя буйнымъ вѣтромъ? и зачѣмъ летятъ онѣ?... Въ этомъ туманномъ небѣ, обремененномъ тяжелыми тучами, въ этомъ то-скливомъ воѣ вѣтра, какъ въ зеркалѣ, отражается душа моя. Мнѣ любо слушать и созерцать грустную природу... Современемъ вѣтеръ перенесетъ облака, опять засвѣтитъ солнце—и міръ оживетъ снова; а я?... Кто знаетъ, можетъ быть, мнѣ придется сказать съ Жильберомъ:

*Je meurs, et sur la tombe où lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.
Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exil de bois!
Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature,
Salut pour la dernière fois...*

Во всякомъ случаѣ, будущее отраднѣе—если не здѣсь, то тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія, тамъ отдохну отъ страданій...

16 октября.

Какъ благодѣтельна природа! При однообразномъ моемъ положеніи, при нестерпимой скукѣ, которая ѣстъ меня, какъ ржа желѣзо, она мнѣ даровала какую-то способность дремать; стоитъ только закрыть глаза—сейчасъ передо мною чудесныя картины: горы, лѣса, рѣки; все живетъ, движется, говоритъ, поетъ... невыразимо-пріятно! А между-тѣмъ я слышу шаги Анисьи, или частый стукъ дождя по оконнымъ стекламъ.

Болѣе всего мнѣ представляются картины моего дѣтства. Кажется, утро. Солнце только-что поднялось надъ землею; вездѣ блещитъ роса; мы съ сестрою выбѣжали въ садъ и ѣдимъ клубнику. Ягоды такія крупныя, сочныя... „Стыдно, дѣти, ѣсть безъ спросу ягоды!“ говоритъ маменька, обтворя окошко.—Мы такъ и сгорѣли отъ стыда!... Бѣжимъ въ комнаты, а на встрѣчу намъ папенька: „Куда, дѣти? ко мнѣ; на шею!“ И мы бросились цѣловать его... Вотъ мы всѣ ѣдемъ по степи въ линейкѣ, а вокругъ столько цвѣтковъ, да такіе душистые... Мы, дѣти, побѣжали срывать цвѣты—такъ весело! на цвѣтахъ садятся и ползаютъ хорошенкѣе жучки—и золотые, и серебряные, и красные... Я подбѣгаю къ кусту ракиты... порхъ изъ куста птица и полетѣла, свистя крыльями. „Какая это птица, папенька?“ — „Стрепетъ“. — „Ухъ, какое страшное названіе! слава Богу, она далеко улетѣла“. — „Ты трусъ!“ говоритъ папенька. „Нѣтъ, я не трусъ, посмотрите!“—и я иду къ ракитѣ, толкаю кустъ ногою, а сердце такъ и бьется, такъ и кажется, еще вы-

летитъ другой стрепетъ. Иногда въ нѣсколько минутъ вырастаешь—и вотъ я казачій офицеръ, стою у окошка и слушаю дуэтъ школьниковъ на шелковицѣ, а между-тѣмъ думаю: „любитъ ли она меня?“ Является она, полна невинности, очаровательно-хороша, улыбается мнѣ и даетъ цвѣтокъ камеліи; а хочу обнять ея... скрипнула дверь, я открылъ глаза—все улетѣло: и цвѣты, и сады, и чистое небо, и зелень лѣсовъ, и милыя лица...

Опять дышешь гнилымъ воздухомъ, видишь сырыя, грязныя стѣны. За окнами шумитъ дождикъ, и одинокій желтый листочекъ дрожитъ и трепещетъ отъ вѣтра на обнаженной вѣткѣ. Закроешь глаза—и снова являются знакомые образы, и снова душа полна блаженства. Такъ проходятъ мои дни и ночи.

20 октября.

Полутру я смотрѣлъ въ окно и не видѣлъ уже желтаго листочка: онъ улетѣлъ куда-то темною ночью, и уже не кланется мнѣ такъ привѣтно... еще я осиротѣлъ болѣе. Писемъ изъ дома нѣтъ; хоть бы еще разъ увидѣть руку матушки, поцѣловать ея строки! А тучи идутъ по небу мрачнѣе вчерашняго...

21 октября.

Сегодня я всю ночь бесѣдовалъ съ батюшкою.

— Скажите, пожалуйста, говорилъ я ему:—вы живы и здоровы и даже попрежнему веселы, а мнѣ писалъ Щука-Окуневскій, что будто вы умерли.

— Нѣтъ, мой другъ, это неправда, отвѣчалъ батюшка.

— Я такъ и думалъ. Старый сплетникъ Окуневскій вѣчно лжетъ.

— Не брани человѣка; можетъ быть, такъ надобно было.

Я началъ думать и убѣдился, что Окуневскій правъ, что иначе сдѣлать было нельзя, какъ написать ко мнѣ такое письмо. Послѣ долго мы говорили съ старикомъ. Вошла Анисья—и видѣніе исчезло; но я ясно слышалъ слова „до свиданія!“ и за Анисьею въ темномъ углу что-то кивнуло мнѣ головой.

— Кто здѣсь былъ? спросилъ я у Анисьи.

— Никого, батюшка; ты бредишь!

Я не хотѣлъ спорить съ доброю женщиной, а попросилъ придвинуть ко мнѣ столикъ и подать мою памятную книжку.

— Куда тебѣ писать! сказала она, показывая головою;— чай, пера въ рукахъ не удержишь. Однако подала, и я пишу-пишу,

а писать не хочется—такъ очаровательны видѣнія! такъ и хочется закрыть глаза.... Допишу послѣ... чудесныя видѣнія... вотъ батюшка... вотъ еще кто-то

Недавно я былъ въ большомъ театрѣ. Давали „Озеро Волшебницъ“. Театръ былъ полонъ. Волшебница Тальони, обвинивъ рукою рѣзвую Шлефохтъ, неслась по сценѣ въ живомъ галопѣ. Вотъ онъ летятъ къ зрителямъ: минута — и удаляются въ глубину сцены, подъ прихотливые звуки оркестра, восхитительно улыбаясь, сладострастно маня руками какого-то счастливца. Восторгу не было границъ, театръ дрожалъ отъ *браво*...

— Какъ вамъ нравится нашъ театръ? спросилъ одинъ мой знакомый у толстаго че-

ловѣка съ огромными усами, сидѣвшаго рядомъ со мною въ креслахъ.

— Изрядно! отвѣчалъ толстякъ.

— Кто этотъ жирный чудакъ? въ свою очередь спросилъ я, въ антрактѣ, знакомого:—этотъ толстякъ, съ которымъ говорилъ ты?

— Извѣстный человѣкъ, даетъ чудесныя обѣды! Откупщикъ Ивановъ.

— Онъ не здѣшній, какъ видно?

— Да, онъ недавно пріѣхалъ изъ...

— Мнѣ кажется, онъ былъ банкротомъ?

— Богъ его знаетъ! впрочемъ, онъ выдалъ свою дочь замужъ за какого-то секретаря и обдѣлываетъ всѣ дѣла подъ его именемъ. Да мнѣ что за дѣло? Онъ славный малый; простоватъ немного, немного матеріаленъ, а обѣды даетъ *поэтическіе*. Хочешь, я тебѣ завтра представлю къ нему прямо въ столовую? По рукамъ, что ли?

— Ни за что въ свѣтъ!

1840 г.



Куликъ.

ПОВѢСТЬ.

Всякъ куликъ свое болото хвалитъ.

Народная пословица.

Куликъ

Не великъ

А все-таки птица!

Философская пѣсня.

I.

Россія — страна богатая, изобилуетъ водами, лѣсами и пажитями: въ ней есть много золота и серебра, много драгоценныхъ камней, а еще болѣе отставныхъ поручиковъ.

Я намѣренъ познакомить васъ съ однимъ изъ безчисленнаго множества этихъ поручиковъ. Макаромъ Петровичемъ Медвѣдовымъ: онъ служилъ въ кавалеріи корнетомъ года полтора, и вышелъ въ отставку поручикомъ вслѣдствіе разсужденія:

„Служба отъ меня много не выиграетъ; я тоже не хочу быть фельдмаршаломъ, да, признаться, и трудно!... Много есть людей бѣдныхъ, которые рвутся служить, а у меня порядочное состояніе: уѣду въ деревню, женюсь-себѣ, да и буду жить баринномъ“.

Подумавъ, взявъ отставку, сѣлъ въ коляску и уѣхалъ,

Пріѣхавъ на родину, Медвѣдовъ спилъ себѣ модную венгерку, привелъ въ порядокъ охотничьи ружья, купилъ въ Ромнахъ на ярмаркѣ парныя дрожки и женился на хорошенькой брюнеткѣ. Аннѣ Андреевнѣ дочери сосѣдняго помѣщика.

Теперь Медвѣдовъ женатъ, независимъ, спокоенъ: живи-себѣ да толстѣй! Завидна перспектива, право завидная!

Не улыбайтесь такъ зло, мой пріятель, съ пожелтѣвшею, поношенною физиономіею вы ненавидите всѣхъ толстяковъ, потому что сами высохли отъ злости, какъ нашъ комое: вѣчно бранитесь, клеветаете, сплетничаете, какъ старая дѣва; пеняйте на себя сами виноваты... Изъ-за чего хлопчете? Согласитесь, что тихая деревенская жизнь

нибудь да стоитъ? Тѣмнѣйшій садъ, съ
и золотыми, румяными плодами, чи-
озеро, по которому такъ весело гу-
ваша лодка, прудъ обсаженный пла-
и ивами, на прудѣ подъ-вечеръ роб-
тадо дикихъ утокъ, за прудомъ звон-
ѣсни поселянокъ, идущихъ съ поля
i... А поле съ душистымъ сѣнокосомъ?
юдая супруга-красавица, не растратив-
первыхъ дней жизни въ безсонныхъ
съ однообразныхъ баловъ, супруга, при-
вующая возвратъ вашъ крѣпкимъ по-
змъ? а этотъ свѣжій, чистый поцѣлуй?..
! сколько тутъ поэзіи, сколько... нѣтъ,
, лучше замолчать.

Вы теперь знаете отставнаго поручи-
едвѣдева, знаете, что онъ женатъ—
гся, и все тутъ. Позвольте, еще есть
замѣчательное лицо: это—Петрушка,
Макара Петровича, его крестьянинъ
ѣствъ съ тѣмъ крестный сынъ. Макаръ
овичъ почти росъ вмѣстѣ съ Петруш-
и когда уѣзжалъ въ полкъ, то угово-
покойнаго своего отца отдать Пе-
ку въ уѣздное училище. Баринъ слу-
, крестьянинъ учился. Макаръ Петро-
пріѣхавъ домой, нашелъ Петрушку
ивымъ 18-ти лѣтнимъ парнемъ, да еще
итнымъ и проворнымъ; онъ взялъ его
ѣбъ, любилъ какъ сына, и даже немного
алъ, какъ говорили сосѣди, позволяя
ъ всѣ книги изъ своей деревенской
отеки.

II.

Чапкій:!

Молчалинъ: Мнѣ завѣщалъ отецъ...

Горю отъ Ума.

Медвѣдевъ въ началѣ ноября, часу въ
юмъ вечера, съ своею супругою пилъ
они сидѣли на диванѣ передъ круг-
столомъ, на которомъ кипѣлъ свѣт-
бронзовый самоваръ, и въ тяжелыхъ
инныхъ подсвѣчникахъ горѣли двѣ
и; у двери стоялъ, съ подносомъ въ
кѣ, Петрушка; на коврѣ, у ногъ Ма-
Петровича, сидѣлъ Трезоръ—большая
зая собака.

Въ комнатѣ было тихо. Изрѣдка раз-
юсь протяжное: *ти-бо! ти-бо!*, потомъ
е: *ниль!* потомъ нѣсколько секундъ
слышно, какъ Трезоръ ѣлъ сухарь, и
ь все умолкало. Анна Андреевна, отъ
го-дѣлать, очень прилежно ловила ло-
юю въ чашкѣ чайный листочекъ; Ма-
Петровичъ затыкивался и потомъ какъ-
собеннымъ образомъ перепускалъ че-
усы табачный дымъ.

Супруги, съ позволенія сказать, ску-
чали—не то, что-бы они наскучили другъ
другу—Боже сохрани! нѣтъ, нѣтъ; а только
просто скучали. Осенній дождь стучалъ
однообразно въ окна, самоваръ шепталъ
какую-то усыпительную легенду, свѣчи го-
рѣли тускло... Въ такіе минуты въ деревнѣ
особенно пріятно зѣвается. Тогда гость—
дорогой человѣкъ, неоцѣненный подарокъ,
благодѣяніе судьбы.

Въ гостиной Макара Петровича тиши-
на продолжалась по-прежнему. Вдругъ Тре-
зоръ тревожно поднялъ голову, вытянулъ
шею, заворчалъ и бросился въ переднюю
съ громкимъ лаемъ.

— Назадъ, назадъ, Трезоръ! Тибо! тибо!
закричалъ Медвѣдевъ: — Кто тамъ, Пе-
трушка?

— Не беспокойтесь, это я! сказалъ, улы-
баясь, тоненькій гость, въ синемъ фракѣ,
и началъ вѣжливо раскланиваться.

— Ба, ба! Юліанъ Астафичъ! мое почте-
ніе! Откуда, братецъ—а?

— Мое почтеніе, Макаръ Петровичъ! изъ
П—вы, прямо изъ канцеляріи губернатора,
посланъ курьеромъ въ П...ъ.

— Здоровы ли вы?

— Слава Богу! слава Богу!

— Очень радъ! слава Богу!

— Мое почтеніе вамъ, Анна Андреевна.
Здоровы ли вы?

— Слава Богу!

— И слава Богу!

— Полно вамъ строить комплименты! Эти
губернскіе господа такъ и засыплютъ рѣ-
чами!... Лучше давай-ка жена поскорѣ чаю:
онъ озябъ съ дороги.

— Ваша правда, грѣшный человѣкъ. Ба!
да какъ Петрушка выросъ, поздоровѣлъ!
Ну, подойди сюда, поцѣлуемся; мы съ тобой
пріятели. Экой молодецъ! Въ прошедшемъ
году, когда пріѣзжалъ съ вами на выборы,
онъ былъ гораздо моложе... А! Трезоръ! не
узналъ меня? злая собака! только одного
барина и любитъ. Позвольте ему дать су-
харикъ?

— Перестаньте возиться съ собакою, вы
ее вѣчно балуете! пейте чай, да расскажите
намъ, какъ тамъ у васъ, въ губернскомъ
свѣтѣ? что новенькаго?

— Рѣшительно ничего. Войны не слыхать,
набора тоже.

— Набора тоже?

— Тоже!...

— Это хорошо. А Катерина Федоровна
что?

— Слава Богу! здорова; велѣла вамъ кла-
няться. У нея для дочери есть женихъ на
примѣтѣ... Что вы говорите, сударыня?

— Военный?

— Да, военный, сударыня, и, говорят, очень богат: гдѣ-то въ Олонецкой губерніи свои виноградники...

— Скажите! какая завидная партія!

— Да, и еще, говорят, у него есть гдѣ-то возлѣ Торжка свой судоходный каналъ; что прошла лодка — гривна въ карманѣ; барка или тамъ что другое — двадцать копѣекъ. Такое заведеніе!...

— Неужели!?

— Да, сударыня! и нашъ совѣтникъ Горюхъ Дороховичъ, и Ульяна Ульянова... и... всѣ говорятъ: а самъ такой молодецъ, эплетъ какъ жаръ горять...

— И въ чинахъ? спросилъ Макаръ Петровичъ.

— Чинъ офицерскій; уже восьмой мѣсяцъ прапорщикомъ.

— Ну, такъ послужить бы еще немного.

— Говорятъ, ему въ этомъ году придется въ подпоручики.

— Понимаю, черезъ годъ въ отставку поручикомъ — это другое дѣло... Ну, да пусть-себѣ онъ убирается къ болотному лѣдушкѣ, наше дѣло сторона. А сама-то Катерина Ѳедоровна?

— Ничего! живетъ по-прежнему; недавно купила у барышника для себя сѣраго рысака.

— А Петръ Потапычъ? спросила Анна Андреевна.

— Все танцуетъ мазурку.

— Охота же спрашивать объ этомъ чурбанѣ! перебилъ Медвѣдевъ. — Что нашъ почтеннѣйшій Тузъ Ивановичъ?

— На прошедшей недѣлѣ схоронили.

— Схоронили?

— Да, схоронили: впрочемъ, потѣшилъ-таки онъ весь городъ. Представьте себѣ, въ духовномъ завѣщаніи запретилъ своей женѣ покупать карету.

— Какъ такъ?

— Такъ: написалъ просто: „Какъ-де моя жена происходитъ изъ хвастливаго рода, да и въ продолженіи многолѣтняго супружества нашего всегда оказывала неимовѣрную склонность къ суетности и тщеславію, что неоднократно выражалось нелѣпыми требованіями о покупкѣ кареты, то я, сохраняя пользу дѣтей нашихъ и не желая видѣть ихъ современемъ нищенствующими, запрещаю, подъ опасеніемъ моего проклятія, женѣ моей покупку кареты, не только новой, но даже и потѣженной, какъ вещи, могущей служить поводомъ къ разоренію моего семейства“.

— Ха-ха-ха! экой пострѣлъ! Царство ему небесное! Утѣшилъ!

— Что же бѣдная его вдовушка? спросила Анна Андреевна.

— Тутъ нечего спрашивать, душа моя: вѣрно ругается.

— Извольте отгадать: сильно ругается, ругаетъ покойника, и дома, и въ гостяхъ, и на улицѣ. Такая стала сердитая; недавно сдѣлала большой афронтъ жениху дочери Катерины Ѳедоровны.

— Оставьте его въ покоѣ: смерть не люблю прапорщиковъ, которые сватаются; лучше бы вы сами женились.

— Это единственная цѣль моей жизни; я радъ жениться, но, вы знаете, я человѣкъ небогатый...

— А если бы я тебѣ, пріятель, нашелъ невѣсту съ состояніемъ?

— Полноте шутить!

— Нѣтъ, право. Помнишь ли ты полковницу Фернамбукъ, которая цѣлое лѣто прожила съ дочерью въ губернскомъ городѣ?..

— Какъ же, я ее имѣлъ честь часто видѣть у Катерины Ѳедоровны, еще у ней дочка — сущій амуръ или грація!

— Ни амуръ, ни грація, а такъ, дѣвушка недурная, съ 300 душъ приданого. Эта самая дама безъ души отъ тебя. Какъ пріѣхала въ деревню, все твердила: „вотъ человѣкъ, Юліанъ Астафьичъ, какой вѣжливый, услужливый, толковый!...“ Влюблена въ тебя да и баста!...

— Шутите! Она, кажется, уже стениныхъ лѣтъ.

— Экой приказный! ей лѣтъ за шестьдесятъ: женись на ея дочкѣ...

— Куда намъ! такого счастья я и во снѣ не видывалъ.

— Что за счастье? ты молодецъ, добрый малый, дворянинъ. Чего этой бабѣ еще надобно?...

— Она можетъ найти себѣ зятя офицера. — Стыдись, братецъ, развѣ ты не офицеръ? какой на тебѣ чинъ?

— Губернскій секретарь.

— Чортъ васъ разберетъ! переведи, братецъ, какъ это будетъ по-христіански.

— Въ рангъ поручика.

— И прекрасно! чѣмъ ты не женихъ? Хочешь, я женю тебя?

— Будьте благодѣтелемъ! Да нѣтъ, меня смѣхъ беретъ. Ха-ха-ха! вотъ occasia!... впрочемъ, дѣлайте, что хотите!

— Ладно? Куда ты ѣдешь курьеромъ?

— Въ П — въ.

— Сколько ты можешь прожить у меня?

— Дня два.

— Вадоръ! ты долженъ прожить недѣлю.

— Невозможно. Макаръ Петровичъ!

— Почему? какія-нибудь дрянныя бумаги нужно отдать кому? Это можно сдѣлать: я пошлю въ П — въ форейтора Ваську, онъ ихъ отдастъ по адресу, а надругой день привезетъ отвѣтъ. П — въ всего отъ насъ

50 верстъ. Остаешься? Завтра же начну дѣйствовать—и не будь я Медвѣдевъ, если ты не женишься на молодой Фернамбуковой. Поѣдешь—пеняй на себя.

— Дѣлать нечего, сказалъ Юліанъ Астафьевичъ.

— Люблю за обычаи. Давай, пріятель, руку! Благодарю, жена: теперь не будешь скучать цѣлую недѣлю въ эту скверную погоду. А я право женю молодца!...

— Если дастъ Богъ вамъ успѣхъ, сказала Анна Андреевна:—какой вы будете близкій сосѣдъ: деревня Фернамбуковой отъ насъ всего три версты,—только черезъ рѣку.

— Скажите: и сосѣдъ, и вашъ покорнѣйшій слуга.

— Это уже много; а шутки въ сторону, у меня будетъ къ вамъ просьба.

— Приказывайте, сударыня.

— Если вы женитесь, прежде всего должны исправить плотину и мостъ, а то всякій разъ, какъ переѣзжаю плотину Фернамбуковыхъ, я прощаюсь съ бѣлымъ свѣтомъ: кажется, такъ коляска и слетитъ съ плотины или провалится подъ мостъ.

— Будьте увѣрены, что въ мірѣ не будетъ другой подобной плотины: самъ пойду работать, лишь бы угодить вамъ.

— Что за страсть, подумаешь, у этихъ губернскихъ франтовъ нести такую чепуху! Полно, братъ, мою жену морочить, а я себѣ выговариваю право стрѣлять дичь во всѣхъ твоихъ дачахъ безданнымъ и безпошлинно.

— Помилуйте, Макарь Петровичъ! на что мнѣ эта дичь? Я самъ отъ-роду не стрѣлялъ изъ ружья и не знаю, какъ оно стрѣляетъ. Вся дичь — ваша. Мое почтеніе къ вамъ всегда было непреложно, и если вы пособите моей карьерѣ такою выгодною женитьбою, то я... и проч... и проч...

Въ такомъ родѣ разговоръ продолжался до самаго ужина.

Четверо сутокъ извоили кутить Макарь Петровичъ на радостяхъ, что поймалъ губернскаго гостя, и каждый вечеръ губернский гость почти сквозь слезы говорилъ Медвѣдеву: „Боже мой! когда же мы будемъ сватать m-elle Фернамбукъ?“

— Погоди, братецъ, время впереди, отвѣчалъ Медвѣдевъ:—не возьметъ ее нечистая сила, завтра непременно поѣдемъ.

Приходило завтра, и опять та же исторія.

Наконецъ, на пятый день Медвѣдевъ представилъ своего гостя семейству Фернамбукъ, а еще чрезъ день поѣхалъ самъ съ рѣшительнымъ предложеніемъ.

Это былъ роковой день для Юліана Астафьевича. Задумчиво ходилъ бѣдный губернский секретарь по комнатамъ, по вре-

менамъ щелкая пальцами; лицо его было блѣднѣе обыкновеннаго; принужденная улыбка на тонкихъ губахъ его превращалась въ какое-то судорожное кривлянье; иногда онъ, тяжело вздыхая, обращалъ глаза къ образамъ, иногда, подойдя къ окну, очень правильно барабанилъ по стеклу, модную пѣсенку:

Во всей деревнѣ Катенька
Красавицей слыла.

Онъ очень хорошо чувствовалъ, что въ эти минуты рѣшалась судьба всей его будущности; отъ *да* или *нѣтъ*, зависѣло быть ему достаточнымъ человѣкомъ или прозябать въ канцеляріи съ перспективою сѣдыхъ волосъ, при великомъ счастьи секретарскаго мѣста и чахотки.

Напрасно Анна Андреевна старалась развеселить Чурбинскаго (это была фамилія Юліана Астафьевича) своими шутками: онъ, противъ обыкновенія, не понималъ ихъ, не старался предупредить окончаніе какого-нибудь анекдота, давно извѣстнаго всей губерніи, улыбкою удивленія или громкимъ хохотомъ. Юліанъ Астафьевичъ былъ не похожъ на самаго себя.

Пришло время обѣдать—нѣтъ Макара Петровича; вотъ и вечерѣтъ—нѣтъ его; вотъ уже и самоваръ на столѣ—все его нѣтъ. Несносный день, несносный человѣкъ Макарь Петровичъ!

Но вотъ зазвенѣлъ колокольчикъ, бѣлая тройка остановилась передъ крыльцомъ, и въ комнату вошелъ Медвѣдевъ.

Съ перваго взгляда можно было замѣтить, что Фернамбуковы его приняли за гостя: лицо Макара Петровича горѣло румянцемъ удовольствія, глаза блестя; онъ живо переступалъ съ ноги на ногу, потирая руки.

— Ну что, почтеннѣйшій Макарь Петровичъ? рѣшайте мою участь! отказъ? гарбузы? говорите, говорите, я напередъ это знаю!

— Въ чистую, братецъ, безъ мундира и пенсіона!

— Такъ, такъ, я это зналъ. Душа моя это предчувствовала. На смѣхъ подняли!... И не грѣхъ ли вамъ меня, беззащитнаго сироту, вводить въ такія исторіи, будто я не понимаю, что я, а что онъ? Богъ свидѣтель, я никогда и не думалъ о Фернамбуковыхъ; вы сами затѣяли неподобное; вамъ смѣхъ, а я что теперь стану дѣлать? еще подъ арестъ посаждать!...

— Чтѣ, пріятель, впятилъ тебя въ бракъ—а?

— Хорошо вамъ издѣваться, что меня

забраковали, какъ лошадь куда не годную, а мнѣ каково?...
 Ха-ха-ха! у тебя страхъ и разумъ-то выгнали! Кто тебѣ говорить о негодности? Ха-ха-ха! Запиши, жена, каламбуръ: въ бракъ тебя введемъ, т. е. въ законное супружество—вотъ что! давай руку! поздравляемъ! И старуха, и дочь сначала было, знаешь, такъ немного закуражились, да какъ я имъ объяснилъ все толкомъ: и ты что за человекъ, и то, и другое, и прочее—они и стались, и дѣло въ шляпѣ, какъ говаривалъ мой декабронный командиръ—пожимаешь?... Завтра ъдемъ къ Фернамбукумъ въ вѣстѣ; завтра же надо извѣстить свѣдѣй, а послѣзавтра—и подь вѣнецъ. Куй желѣзо пока горячо!... Не радъ, что ли?

— Понимаю, что значить—въ бракъ! Я, кажется, не подамъ повода къ шуткамъ. Грѣхъ вамъ, Макарь Петровичъ!
 — Прямо—ты, братъ, чучело гороховое! еще и пѣтушишься! прошу покорно!... Коли не хочешь—сейчасъ ѣду къ невѣстѣ и въ полчаса все разстрою, заварю такую кашу, что весь домъ пойдетъ вверхъ дномъ. Эй! Петрушка, лошадей!...
 — Перестаньте, что вы, что вы! ей-богу! я не знаю, какъ принимать слова ваши, мнѣ все не вѣрится! Неужели?... счастье такъ велико!...
 — Такъ велико, что я остался бѣть обѣдѣ съ деревяннымъ масломъ—Господи, прости мое согрѣшеніе!—и выпилъ лишнюю рюмку гадкой наливки. Уговоръ лучше денегъ: сейчасъ послѣ свадьбы прошу запретить во всемъ домѣ употребленіе деревяннаго масла, и улучшить питейную часть!...
 — Какъ прикажете! что угодно! вы благодѣтель мой, второй отецъ!...

Юліанъ Астафьевичъ обнималъ Медвѣдева, подвѣсивъ руки Анны Андреевны и даже, въ торопяхъ, толкнувъ нечаянно Трезора, взявъ его за морду и пренебрежно сказавъ: «извини, душа моя!...»
 Макарь Петровичъ, человекъ добрый отъ природы, былъ очень радъ счастью знакомца, тѣмъ болѣе, что эта свадьба доставляла ему развлеченіе въ скучные осенніе дни, когда, какъ нарочно, нечастье препятствовало ѣздить на охоту. Онъ хлопоталъ объ экипажахъ, о лошадяхъ, созвалъ своихъ музыкантовъ и приказалъ имъ повторять увертюры изъ «Калифа Багдадскаго» и «Двухъ Слѣпыхъ».

— Слушай, жена, кричалъ онъ, кѣмъ Юліанъ Астафьевичъ насъ пугалъ, имъ это женихъ послѣ свадьбы будетъ у насъ балъ смотритъ, не ударъ лицомъ въ грязь, приказалъ наготовить по балу всякой всячины: пирожки, кремль и разной такой чреви, а я ужъ потрѣбу свой потребу—кутить

такъ кутить!... О чемъ ты, Юліанъ Астафьевичъ, опять загрустилъ?

— Знаете ли что? сказалъ Юліанъ Астафьевичъ, взявъ тихонько Медвѣдева за полу венгерки и, отведя его къ окну, повторилъ въ полголоса: —знаете ли что?

— Ровно, братецъ, ничего не знаю.

— Не кричите такъ. Мнѣ кажется, что намъ не слѣдуетъ вѣнчаться такъ скоро.

— А почему?

— Да такъ, видите, мнѣ невозможно.

— Это что значить? сказалъ Медвѣдевъ, прищуривая лѣвый глазъ.—Понимаю, какіи нибудь шашни.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. Боже сохрани! не думайте, чтобъ я что-нибудь такое, или этакое—нѣтъ!

— Такъ что жъ?

— А вотъ видите, я выхажу изъ П—ви налегкѣ, со мной нѣтъ приличнаго платья.

— Вздоръ, братецъ! есть о чемъ думать! сегодня же пошлю человека на всю ночь, и завтра къ вечеру все здѣсь будетъ.

— Къ чему посылать? это лишнее безпокойство, лучше я самъ съѣзжу и чрезъ недѣлю-другую, явлюсь.

— Пустое, тебя-то не пушутъ! Эй, кто тамъ? человекъ!

— Не дѣлайте шуму и не посылайте, потому-что я не знаю хорошенько, отдастъ ли мой пріятель немного передѣлать мой фракъ: сукно отличное, самъ платилъ по 18 р. за аршинъ, да фасонъ некрасивъ; если привезутъ напередѣланный, то еще хуже!...

— Прямо сказать: у тебя нѣтъ фрака вовсе: давно бы такъ я говорилъ! Не безпокойся: у меня цѣлая дюжина этихъ дурацкихъ фраковъ, выбирай любой. Да, кажется, у тебя нѣтъ ни бѣлья, ни прочаго? Пошлю красить, прикажи Петрушкѣ приготовить, что нужно, изъ моего гардероба. Не къ чему скромничать! Эхъ, странный народъ эти господа статскіе!...

III.

Милостивый государь, любезнѣйшій другъ,
 Кузьма Демьяновичъ!

По обстоятельству я женился на прекраснѣйшей дѣвкѣ, извѣстной фамиліи Фернамбукъ. Еще въ П—вѣ я пѣлилъ сію дѣвкѣ своимъ свѣтлымъ обращеніемъ, и теперь, конечно, обещалъ начатое, а что плакать волею получить въ приданое 300 душъ крестьянъ. Я теперь настрѣнъ жить, не малое будущее время служить, буду служить по выбору дворянства. Еще есть къ вамъ мое письмо, а именно: вамъ известно, что я жилъ въ угодность Катерины Федоровны, бываю въ собраніе

на всю зиму, и со взносомъ 25 р. записался въ члены; а какъ я теперь, по дальности разстоянія, бываю въ собраніи не могу, то вспомнилъ о Григоріѣ Михайловичѣ, который когда-то, кажется, при васъ выразился: „Я взялъ бы зимній билетъ, да дорогъ, анаѣемскій; по нашему, еслибы рубликовъ 15—никуда бы шло!“ Я, любя Григорія Михайловича, рѣшился уступить ему оный билетъ за 15 р., хотя и понесу убытку 10 р. И еще сдѣлайте одолженіе: у меня на квартирѣ остался горшокъ коровьяго масла, подаренный мнѣ Катериною Ѳедоровною, масло очень хорошее, добраго качества и пріятнаго вкуса; его было десять фунтовъ, мною израсходовано онаго 2 фунта, слѣдственно осталось 8; безъ меня же оно убыть не могло, ибо, уѣзжая, я запечаталъ горшокъ собственною моею вензелевою печатью, а потому возьмите на себя трудъ, посмотрѣвъ предварительно, не нарушена ли печать, взять горшокъ и приказать вашему Петкѣ продать заключающееся въ немъ масло; еще разъ повторю, что масло очень хорошее, чтобы Петка, при продажѣ, не опростоволосился. Не вѣрьте, если, паче чаянія, хозяинъ квартиры моей станеть претендовать на масло: онъ всегда былъ грубіанъ. Скажите ему, въ случаѣ надобности, что еслибы онъ былъ почтителнѣе и не входилъ ко мнѣ въ комнату въ колпакѣ, то я и ему удѣлилъ бы что-нибудь изъ означеннаго масла. Надѣюсь, вы не замедлите выслать деньги за билетъ, равно и за масло, а прочія мои вещи, какъ-то: старый фракъ, сапожныя щетки, двѣ пары ножей съ костяными колодочками, и проч. сохраните у себя до моего пріѣзда: хочу по зимнему пути побывать въ П—вѣ съ женою.

Имѣю честь быть вашимъ, милостивый государь, благопріятелемъ

Юліанъ Чурбинскій.

18. 7 года, ноября 12 дня.
Деревня Фернабуковка.

P. S. На случай, сіе письмо затеряется, то я сію же почту пишу и отсылаю другое, точно такового же содержанія, къ Марку Титовичу, въ коемъ, упоминая о вышепрописанномъ вамъ порученіи, прошу и его принять участіе, въ случаѣ вашей (чего Боже сохрани!) болѣзни, или чего другаго.—Еще просьба: еще съ прошедшаго лѣта я общалъ Аннушкѣ, знаете, которая мнѣ мыла манишки, купить золотыя сережки. Дѣлать нечего! изъ полученныхъ денегъ за мои вещи возьмите 80 копѣекъ ассигнаціями и купите ей сережки, изъ металла, называемаго *семилеръ*: этотъ металлъ

немного дешевле золота, но въ носкѣ пріятнѣе и имѣетъ разительный блескъ. Я полагаю, послѣдняя порученность вамъ не безъ пріятности.

IV.

Милая моя сестрица,

Анисья Парамоновна!

Наказалъ меня Богъ, сестрица, наслѣдствомъ въ глупой сторонѣ: ни сосенъ, ни елокъ, ни людей нѣту—все чучелы; крестьяне безъ бородъ, и бань не строить, и въ семикъ не пляшутъ, и сохой не пашутъ. Одинъ, кажись, былъ человекъ изъ сосѣдей—Медвѣдевъ, да и тотъ, какъ я узнала, змѣя подкодная. Я писала къ тебѣ, милая, что выдала дочку за Чурбинскаго: золотой малый, ни въ чемъ не перечить, такъ насъ любить, мнѣ и платокъ подаетъ, и скамеечку подъ ноги ставить, да въ дѣла не мѣшается, говоритъ: „имѣніе ваше, и я ваша, дѣлайте, что хотите“. А мы съ дочкой что знаемъ? наше дѣло женское; вотъ мы и хотимъ ему записать нашу деревню, авось охотнѣе дѣломъ займется. Только зять мой все упрашиваетъ: „не говорите, дескать, объ этомъ Медвѣдеву“. А что? я спросила. Вотъ онъ тутъ мнѣ всю правду и разсказалъ: что онъ совсѣмъ не пріятель нашему дому, что насмѣхается надъ нашимъ хлѣбомъ-солью, говоритъ, что у насъ въ кушаньяхъ скверное деревянное масло... ужаси такія наговорилъ, что бѣда! Меня **вотъ** такъ лихорадка и взяла, а онъ, говоритъ: „сваталъ меня изъ своихъ интересовъ: и плотину почини, чтобъ его женѣ было хорошо ѣздить, и то, и другое; да еще обращается со мною, какъ съ какимъ-нибудь лакеемъ, все *ты да братецъ*“,—при публикѣ такъ унижаетъ“. Третьягодня обѣдалъ у насъ окаянный Медвѣдевъ; я сама нарочно подлила во всѣ кушанья деревяннаго масла—что жъ? и не ѣлъ ничего, надулъ усы, словно сомъ-рыба, и сидитъ. „Что не кушаете, сосѣдъ? я спросила. „Можетъ статься, у насъ не умѣютъ готовить?“—„Нѣтъ говоритъ онъ, что-то голова болитъ“, да и уѣхалъ сейчасъ послѣ обѣда. Вотъ что, моя милая сестрица, а я только и надѣялась на одного сосѣда, а и тотъ въ лѣсъ смотреть!... Я уже совѣтовала своему зятю не позволять наступать себѣ на ногу. Да, моя милая! скверная сторона! скоро Петровъ день, клубника у насъ отошла, а была крупная; черешень въ саду пропасть, и бѣлыхъ, и красныхъ, и черныхъ, да все скверныя ягоды, какъ сахаръ сладкія; и вишни поспѣваютъ, и шелковицы, а нѣтъ ни клюквы, ни брусники, ни черники, ни голубики, ни одной

генеральши Оглоблиной. Господи твоя воля, чего тамъ нѣтъ!... что шагъ, то мѣстополюженіе, всякая дичь кишмя-кишитъ.

— Полно врать. Намъ и здѣсь хорошо; впередъ, ребята!

— Нѣтъ, ей-богу, нѣтъ, пане! я буду въ отвѣтъ. Не моя вина, а стрѣлять все-таки нельзя, не приказано. Говорить баринъ: „пусть птица плодится; можетъ быть я, когда-нибудь, возьму ружье, попрошу кого знающаго зарядить, да и поѣду стрѣлять на озеро; къ тому времени дичь освоится и зарядъ не пропадетъ даромъ: сразу убью паръ десятокъ“ говорить.

— Кого другаго не пускай, а мнѣ вѣрно не станеть запрещать твой баринъ.

— Будь кто другой, а не ваша милость, мы бы его давно спровадили въ городъ—такъ приказано. Говорить: „лови, Потаповичъ, всѣхъ моею рукою, да и въ судъ, да и въ судъ, хотя бы мой родитель, говорить, пришелъ, и того въ судъ; не его земля, моя земля!“

— Что онъ, съ ума сошелъ?

— Уповательно это ихъ воля, и я объ этомъ прямо сказать не могу; а если хотите, я пошлю хлопца справиться: вѣрно баринъ вамъ позволитъ.

Озеро было верстахъ въ двухъ отъ дома Чурбинскаго, а потому охотники тутъ же, въ болотѣ, присѣли на кочкахъ, въ ожиданіи, пока сынъ прикащика, проворный мальчикъ, посакавшій во весь духъ на отцовской лошади къ барину, привезетъ милостивый фирманъ.

Черезъ четверть часа обратно прискакалъ мальчикъ, слѣзъ съ лошади и, утирая рукавомъ съ лица потъ и пыль, крестился и кричалъ:

— Не можно; пусть я пропаду, если можно.

— Врешь! ты вѣрно не разслышалъ, сказалъ Медвѣдевъ.

— Какъ бы то не разслышалъ? Я пріѣзжаю, а баринъ стоитъ въ красномъ халатѣ у амбара, гдѣ дѣвки подточиваютъ пшеницу, и такіе веселенькіе; вотъ я и говорю имъ: „Какъ зволите прикажете, у насъ стрѣляютъ на болотѣ птицу“. — „Зачѣмъ же ты пріѣхалъ? говорятъ они: ловите ихъ, бездѣльниковъ, дармоѣдовъ, да и въ судъ“. Я имъ поклонился да и говорю: „такой человекъ, что и ловить нельзя, настоящій панъ“. — „Губернаторъ что ли?“ — „Не знаю, можетъ ихъ и такъ дразнить, а мы всѣ зовемъ ихъ Медвѣдовымъ“. — „Дуракъ!“ сказали баринъ, топнувъ ногою, „я такой же панъ, какъ и Медвѣдевъ, когда не почище его. Скажи, чтобы сейчасъ убирался вонъ изъ болота. А твой отецъ за чѣмъ смотреть? вотъ я его, стараго осла!“

— Такъ, таки, такъ! я такъ и думалъ, ворчалъ Потаповичъ.

— И только? спросилъ Медвѣдевъ.

— Нѣтъ, еще оборотились къ Фесѣкѣ, дочери нашего кузнеца, взяли ее за подбородокъ, да и говорятъ: „Отчего ты такъ покраснѣлась, Θεοδοσία?“ Я вижу, что это уже не ко мнѣ, взять да и уѣхалъ.

Макаръ Петровичъ съ досады кусалъ усь.

— Какъ изволите, захѣтилъ ему, кланаясь прикащикъ:—а неуждо ли вамъ убираться; не моя воля; невиненъ гвоздь, что лѣзетъ въ стѣну, коли его колотятъ по головѣ обухомъ.

Молча вышелъ изъ болота Медвѣдевъ и его спутники. Мужики значительно переглядывались между собою, не вѣря сами: какъ это можно Медвѣдева выгнать изъ болота?...

По моему мнѣнію, куликъ самая безхарактерная птица; иногда онъ увидитъ человека за версту, подымается съ мѣста, кружить надъ болотомъ, кричитъ, свиститъ, будить всю окрестность; иногда запуститъ въ болотную тину свой носъ и сидитъ-себѣ въ травѣ преспокойно, развѣ толкнешь его подъ бокъ, тогда только онъ схватится, зачастить крыльями, завопитъ какъ... ну, какъ человекъ, когда затронутъ его самолюбіе.

Петрушка выходилъ изъ болота, и вдругъ изъ-подъ ногъ его выпорхнулъ куликъ и съ жалобнымъ крикомъ понесся въ степь; Петрушка выстрѣлилъ — и бѣдная птица, закружась въ воздухѣ, упала передъ прикащикомъ.

— Не дурачиться! закричалъ Медвѣдевъ, и подошелъ къ толпѣ мужиковъ. Въ это время прикащикъ поднималъ застрѣленнаго кулика и, разсматривая его, ворчалъ: „экое страданіе!...“

— Дѣлать нечего, ребята, скажите вашему пану, что такъ дѣлать нехорошо; онъ жалѣетъ для меня перелетной птицы, а я не пожалѣлъ ему дать къ вѣнцу и свое платье, и... можетъ, слышали!

— Мы сами безъизвѣстны объ этомъ, заговорили мужики; но Потаповичъ погрозилъ пальцемъ—и все притихло.

— Прощайте, ребята. Вотъ вамъ рубль серебра: выпейте по чаркѣ водки; теперь жарко.

— А вашъ куличокъ? сказалъ прикащикъ, подавая Петрушкѣ застрѣленную птицу.

— Отвезите его, дядюшка, своему барину, пусть онъ имъ подавится.

Охотники уѣхали, мужики ушли, скворцы улетѣли, и возлѣ озера опять только осталась стреноженная пѣгая кобыла...

VI.

Мѣсяца за два до женитьбы Чурбин-скаго Медвѣдь съ женою были въ гостяхъ у Фернамбуквыхъ. Въ гостиной старуха Фернамбукъ разсказывала о вчерашней вѣстѣ, какъ она съ управителемъ сдѣлала шествіе, а играли четверо: она, ея дочь, управитель и «я сосѣдъ, отставной юнкеръ; какъ у нея на рукахъ былъ валетъ и т. п. Бѣтъ съ нею, она всегда разсказываетъ скучныя вещи. Молодая Фернамбукъ показывала Аннѣ Андреевнѣ баночку духовъ съ надписью: *Extract triple à la violette*, привезенную будто-бы изъ Парижа, нюхала пробку и, подымая глаза къ небу, восторженно шептала: «Ахъ, какое благовоніе! ахъ, какъ должно быть хорошо въ Парижѣ!» Медвѣдь дѣлалъ по временамъ странныя жимки, перегибавая животу, и поглядывалъ на жену, какъ бы спрашивая: не пора ли домой?

Въ передней было веселѣе. Петрушка, сидя на длинной зеленой скамейкѣ, толковалъ Филькѣ, лакею въ тиковую куртку, какъ цвѣтутъ орѣхи, и отчего на орѣхахъ биваетъ цвѣтъ двухъ родовъ.

— О, Петрушка, надуваешь! протяжно говорилъ Филька, нюхая табакъ изъ тавлинки.

Придетъ весна — посмотри самъ.

— Развѣ посмотри, а такъ не повѣрю, и ты не вѣрь книгамъ: тамъ, я думаю, все написано такое!... Филька махнулъ рукою.

Имъ нельзя иначе цвѣсть.

— Такъ, конечно, орѣхи, не бойсь, у тебя спрашиваютъ?

— Не спрашиваютъ, а это оттого...

— Хе-хе-хе! ну, отчего?

— Оттого... послушай, Филька, что это за барышня перешла черезъ комнату?

— Вотъ тебѣ и грамотный! знаетъ, отчего орѣхи цвѣтутъ на-двое, коли-то еще цвѣтутъ, а нашего брата называютъ барышнемъ! Это, братъ, Машка, горничная нашей барышни.

— Полно, Филька, кто она?

— Я не грамотѣй, надувать не умѣю, ска-залъ разъ — и правда. Не диво, что ты ее первый разъ видишь: она шесть лѣтъ училась около моря въ Аддестахъ у мамзели убирать головы, знаешь, разными цацками; вотъ какъ наша барышня на порѣ замужъ, такъ и выписали Машку для уборовъ; вотъ уже другая недѣля, какъ она приѣхала, да какая, братъ, бойкая, и книги читаетъ по-твоему, а день въ день ситцевое платье носить, а на нашего брата и смотрѣть не хочетъ; на что прикащикъ Потапычъ — человекъ и почетный, и грамотный, третьего дня подошелъ къ ней и началъ замгивать —

она хватъ его по рукамъ. „У васъ“ говорить „сѣдина въ головѣ, а не умѣете обращаться съ дѣвушками“, засмѣялась ему подъ-носъ и убѣжала. „Тю-тю“ сказалъ Потапычъ, „для нея судовой паничъ ростеть! Бросьте ее, хлопцы, вишь какая бучная!..“ А мы такъ и покатались по землѣ отъ смѣха. Вотъ что, ей-богу!.. Этакая! а сама не больше, какъ дочь нашего коновала Ивана. — О чемъ ты задумался?

— Ничего, такъ; а какая хорошенькая эта Маша!

— Да, нечистой ее не взять; сухопара немного.

Маша была очень хороша: ей было 17 лѣтъ. Высокій, стройный ростъ давалъ ей какую-то особенную величавость; ея черные волосы были украшены алою махровою маковою; смугловатое лицо Маши, оттененное легкимъ румянцемъ — признакъ чистой украинской крови — длинныя, пушистыя рѣсницы, большіе голубые глаза, легкая походка, даже самый покрой платья, отличный отъ здѣшняго — все очаровывало Петрушку... При первомъ взгядѣ на Машу онъ затрепеталъ отъ удовольствія; какое-то тревожное и вмѣстѣ пріятное чувство запахло въ грудь его.

Люди много толкуютъ о сочувствіи душъ; я мало вѣрю людямъ, но въ этомъ случаѣ въ-половину соглашаюсь.

Когда Петрушка и Филька разговаривали, дожая дворовая дѣвка внесла въ переднюю коробку яблокъ. Минуты черезъ двѣ вышла Маша, подошла къ коробкѣ и, несмотря ни на кого, сказала: „снеси, Дуныша, эти яблоки въ дѣвичью, барыня приказала сосчитать ихъ“.

— А позвольте узнать, какія это яблоки, кислыя или сладкія? спросилъ Петрушка, подойдя къ коробкѣ, да и покраснѣлъ, самъ не зная чего.

— Не знаю, отвѣчала Маша, посмотрѣла на Петрушку и сама покраснѣла еще болѣе Петрушки, взяла изъ коробки яблоко и начала вертѣть его въ рукахъ.

— Его можно попробовать, сказалъ Петрушка: — вотъ прекрасный ножикъ.

Петрушка вынулъ изъ кармана складной охотничій ножъ своего барина и подаль его Машѣ.

Маша разрѣзала яблоко и отдала половину его, вмѣстѣ съ ножомъ, Петрушкѣ.

— А какой это удивительный ножъ! замѣтилъ Петрушка: — это у насъ, въ Россіи, въ Тулѣ такіе великіе мастера.

— Да, отвѣчала Маша.

— Вотъ, видите, точно нѣмецкій складной, и какъ умно все придумано одинъ большой ножъ — видите? одинъ маленький, вотъ пробовникъ, огниво, гвоздь — чистить труб-

ку, и ухвертка. Говоря это, Петрушка раскрывалъ ножъ и показывалъ каждую штуку особенно.

— Спрячь-ка, пріятель, свой ножъ, сказалъ Филька:—а вы съ яблоками проваливайте; застанетъ старая барыня, что вы ѣдите фрукты, надаетъ вамъ тумакъ и мнѣ, какъ свидѣтелю, достанется—слышь? идуть!

Дѣвушки ушли въ боковую дверь, въ переднюю вошелъ Медвѣдевъ и приказалъ подавать лошадей.

Такъ началось знакомство Петрушки съ Машею, а если хотите и любовь ихъ.

Съ этихъ поръ всякій разъ, когда пріѣзжалъ Медвѣдевъ къ Фернамбуковымъ, Маша всегда находила какой-нибудь предлогъ придти въ переднюю. Петрушка, съ своей стороны, всегда имѣлъ что-нибудь любопытное передать Машѣ; мало-по-малу они до того ознакомились, что Петрушка началъ привозить Машѣ изъ господской бібліотеки романы: *Природа и Любовь*, Лафонтена, *Алексисъ или Домикъ въ лѣсу* Дюкре-Дюминия, и другіе, подобные.

VII.

Замѣтили ли вы, господа, что, пируя на свадьбѣ, холостые люди и дѣвушки behave какъ-то особенно настроены; они откровеннѣе, мечтательнѣе, рѣшительнѣе, разговорчивѣе, довѣрчивѣе?... Право! Музыка ли располагаетъ къ этому человѣческія сердца, или веселыя, счастливыя лица новобрачныхъ, или яркое освѣщеніе—не знаю; но увѣряю васъ, что мое замѣчаніе справедливо.

На свадьбѣ Чурбинскаго пиръ приходилъ къ концу. Музыка играла мазурку. Юліанъ Астафьевичъ танцевалъ въ первой парѣ съ своею супругою, далѣе Макаръ Петровичъ съ Еленою Павловною, еще Василій Александровичъ съ Александрою Ивановною, и еще много, много паръ. Можете представить, какъ было весело!

Лакеи и горничныя пріѣхавшихъ господъ столпились у дверей залы и съ изумленіемъ смотрѣли, какъ уѣздный учитель математики, приглашенный на свадьбу ради великаго искусства и знанія танцевальнаго дѣла, изогнувъ, данную ему Богомъ, обыкновенную человѣческую фигуру въ иноземную букву S, отчаянно носился по залѣ изъ угла въ уголъ; правою рукою поддерживалъ онъ за кончики пальцевъ огромную даму, а въ лѣвой держалъ за уголокъ бѣлый носовой платокъ, который, какъ флюгеръ, шумѣлъ, кружился, плясалъ въ воздухѣ и летѣлъ за своимъ господиномъ,

точно хвостъ за кометою. Зрѣлище диковинное и не для однихъ лакеевъ.

Маша не было въ толпѣ любопытныхъ зрителей. Петрушка и прежде видѣлъ эти танцы, потому онъ и не тискался впередъ, закинулъ за спину руки и сталъ почти у самой двери, ведущей въ сѣни. Вдругъ ему послышалось будто за нимъ отворяется дверь, онъ взглянулъ—нѣтъ никого; чрезъ минуту кто-то дернулъ его сзади за сюртукъ: оглянулся—опять никого; немного погодя, чья-то нѣжная ручка робко пожала его руку: въ секунду Петрушка былъ за дверью въ большихъ темныхъ сѣняхъ—ему на встрѣчу какая-то женщина, бросилась на него и обвила жаркими руками.

— Это ты, Маша?

Я, Петруша!

Я не вѣрю самъ себѣ; это ты, моя ненаглядная! Что съ тобою? Ты плачешь?

— Грустно мнѣ, Петруша: они пляшутъ, веселятся, а мнѣ грустно, грустно... такъ и хочется заплакать... да все хочется говорить съ тобою: кажется, все и отляжетъ отъ сердца отъ твоихъ рѣчей. Какъ я люблю тебя, Петруша! Смѣйся надо мною, а я давно хотѣла тебѣ сказать это...

Петрушка отвѣчалъ длиннымъ поцѣлуемъ.

— Ахъ, Петруша, какъ ты хорошъ! Я сегодня все на тебя смотрѣла, пока начали надо мною смѣяться. Дунька такая злая! „Посмотрите, говоритъ, Марья Ивановна и на пановъ не смотритъ, какъ въ танцахъ прохлаждаются, да все на Петрушку, и глазъ съ него не спустить“. А я себѣ думаю: „Петрушка стоитъ того“, и нарочно хотѣла на тебѣ глядѣть, да такъ стало совѣстно; ушла въ дѣвичью и оттуда въ щелку все на тебя смотрѣла—ты лучше всѣхъ!

— Я давно люблю тебя, да сказать боялся: ты такая быстрая, кажется, сразу на смѣхъ подымешь.

— Грѣхъ тебѣ говорить это, Петруша! Не бойся меня, что я быстра. Сова тиха, да птицъ душитъ; а ласточка цѣлый день летаетъ да щебечетъ, только хвалитъ Бога, зла никому не дѣлаетъ. Скажи мнѣ еще разъ, что ты меня любишь—мнѣ такъ весело слушать... отъ радости, кажется, не доживу до утра.

— Люблю, люблю, моя радость!.. А я все не вѣрилъ, что ты меня любишь, хоть Филька и божился... Вздумаю-было тебѣ сказать такъ что-нибудь стороною, да вспомню, какъ ты насмѣялась надъ прикащикомъ—и языкъ онѣмѣетъ.

— Богъ съ тобою! То прикащикъ, сѣдой дурень, а то ты—мой ясочка: съ тобою и жить, и умереть готова...

— Послушай, завтра же, если хочешь, я

бѣднякъ вдругъ очнулся, будто тяжелый сонъ слетѣлъ съ глазъ его. „Кажется, голосъ Маши“, подумалъ онъ и началъ осматриваться. Дѣвка въ лохмотьяхъ стояла передъ нимъ,—это была Маша.

Ружье выпало изъ рукъ Петрушки.

— Ты ли это? прошепталъ онъ.

— Я, мой милый, ненаглядный, отвѣчала Маша, обнимая его: —а ты и не узналъ меня... неужели платье такъ перемѣнило меня?... а я все та же, такъ же люблю тебя; чѣмъ они злѣе, тѣмъ больше я люблю тебя. Пусть они... Богъ съ ними. . . .

Ты былъ боленъ, мой голубчикъ, я все слышала, а меня и болѣзнь не беретъ... Рыданія заглушили голосъ Маши.

— Успокойся, моя рыбка... сядемъ вмѣстѣ да Расскажи мнѣ, что у васъ такое дѣлается и отчего ты такая простоволосая?..

— Охъ, много я вынесла! Была бы я давно рыбою, бросилась бы въ самую быстрину, еслибъ не хотѣла хоть еще разъ увидѣть тебя...

Маша обняла Петрушку, склонилась головою къ нему на грудь и тихо плакала.

— Богъ съ тобою, моя горлица, успокойся: все будетъ хорошо...

Маша покачала головою.

— Садись вотъ здѣсь, продолжалъ Петрушка: —здѣсь будетъ покойнѣе... Господи! ты босая!... теперь холодна осенняя роса, холоденъ мокрый рѣчной песокъ... возьми мою шапку, положи въ нее свои ножки, пусть отогрѣются...

— И вспомнить страшно, какъ разсердился баринъ, получа письмо отъ твоего барина. „Это, говоритъ, насмѣшка; меня обидѣли и еще сватаютъ мою дѣвушку за урода, который публично желалъ мнѣ подавиться куликомъ“; кричалъ, кричалъ, ругался, а послѣ и говоритъ: „да у меня для Марьи есть женихъ получше этого сорванца, я ее сдѣлаю счастливою. Позвать ко мнѣ Машу!“ Я пришла ни живая, ни мертвая. „Послушай, Маша,“ сказалъ баринъ, „я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебѣ *partie*. Потапычъ, нашъ прикащикъ, очень желаетъ на тебѣ жениться; я, съ своей стороны, согласенъ... Что же ты молчишь?“ — „Помилуйте, баринъ, сказала я, у прикащика дѣти отъ первой жены старѣе меня; мнѣ Потапычъ годеенъ въ отцы, а не въ мужья“. — „Дура!... а богатство его развѣ ничего не значитъ?“ — „Богатство пусть останется при немъ, мнѣ ничего не нужно!...“ — „Ого-го! сударыня, такъ вамъ прикажете выписать жениха изъ губернскаго города?...“ — „Будьте милостивы“ сказала я и бросилась ему въ ноги, „не разлучайте меня съ Петрушкою; или за нимъ, или ни за кѣмъ не буду заму-

жемъ...“ Какъ онъ толкнетъ меня ногою прямо въ лицо, какъ закричитъ... я и свѣта не взвидѣла... „Такъ и ты за одно съ моими врагами! они и тебя, знать, подкупили на мою обиду. Вотъ я тебѣ самъ отыщу жениха, а до времени... Гей! Потапычъ! сейчасъ съ нея долой панское платье да въ черную роботу“.

— Обрадовался Потапычъ этому приказанію. „Помните, Марья Ивановна, сказалъ онъ мнѣ, вы говорили, что я не умѣю обходиться съ дѣвушками—вотъ увидимъ. Пока отправляйтесь варить для работниковъ галушки, да поворачивайтесь проворнѣе! я человекъ сердитый, знаете, отъ старости; берегитесь, отеческое наказаніе у меня въ рукахъ“ и онъ, улыбаясь, посмотрѣлъ на свою длинную палку.

— Трои сутки варила я галушки, носила воду тяжелыми ведрами, мыла чугунную посуду... отъ непривычки работа валилась изъ рукъ моихъ. Сердитый Потапычъ за всякую бездѣлицу безъ милосердія меня наказывалъ... Вчера я нечаянно опрокинула огромный горшокъ кипятку и —вотъ видишь, совѣтъ обварила себѣ лѣвую руку... меня все-таки наказали и до выздоровленія заставили пасти господскихъ утокъ...

— Бѣдная моя Маша! шепталъ Петрушка, цѣлуя ея больную руку.

— Еще не все. Сегодня... когда я гнала сюда утокъ, повстрѣчался мнѣ Потапычъ и говоритъ: „я старъ, Марья Ивановна, и глухъ, и непригожъ, и не гождусь вамъ въ мужья, а все-таки люблю васъ, отыскалъ вамъ жениха. и баринъ приказалъ завтра вечеромъ перевѣнчать васъ... знаете Фомку-дурачка, что пасетъ господскихъ свиней; правда, онъ не пересчитаетъ на рукахъ пальцевъ, за то человекъ молодой; готовьтесь къ вѣнцу.“

— Да онъ пугалъ тебя, сказалъ Петрушка.

— Охъ, нѣтъ! Еще вчера баринъ приказалъ выстричь и вымыть Фомку и дать ему новую рубашку... Весь дворъ удивился, за что такая милость къ этому дураку... а теперь я знаю... я не переживу своего несчастья!...

— Нѣтъ, Маша! нѣтъ, быть не можетъ, чтобъ эти ясныя очи, черныя косы, бѣлая грудь, это сердце, такое доброе, которое такъ меня любитъ... чтобъ все это досталось неумытому дураку... Онъ—это животное,—станетъ ласкать тебя, станетъ цѣловать тебя... нѣтъ, Маша, этого быть не можетъ!...

— А будетъ!.. едва слышно сказала Маша. Молчаніе.

— Послушай, говорила Маша: —ты любишь меня и я люблю тебя болѣе всего

на свѣтъ; намъ еще можно спастись, насъ никто не разлучить... послушай меня...

И, притянувъ къ себѣ на грудь Петрушку, она что-то стала шептать ему.

Петрушка пришелъ домой веселѣе, спокойнѣе: необыкновенная радость блистала въ глазахъ его.

— Тебѣ лучше, Петрушка?... спросилъ Медвѣдевъ.

— Лучше, баринъ, я совѣмъ здоровъ.

На другой день рано поутру, чуть стало солнышко показываться изъ за лѣсу, Петрушка, съ охотничьею сумкой за плечами, съ ружьемъ въ рукахъ, былъ уже въ рошѣ Чурбинскаго на берегу рѣки; немного погодя, пришла Маша. На ней была бѣлая, шитая шелкомъ рубаха, завязанная красною лентою; косы лежали на головѣ чернымъ вѣнкомъ и между ними блистали осеннія бѣлыя астры...

— Хороша твоя невѣста? сказала Маша, подходя къ Петрушкѣ!...

Петрушка бросился цѣловать ее.

— Погоди, Петрушка, не цѣлуй меня: станемъ молиться Богу, чтобъ онъ не разлучалъ насъ и въ будущей жизни...

Они упали на колѣни и тихо молились; въ ночномъ тростникѣ пѣла пѣночка... Солнце величественно выходило на небо... Село начинало пробуждаться...

Помолясь, Петрушка подошелъ къ Машѣ, обнялъ ее, и уста ихъ слились долгимъ поцѣлуемъ.

— Слышишь, говорила Маша:— они придутъ сюда— и все пропало! поспѣшимъ, моя радость: тамъ насъ не разлучать. До свиданія!...

Она стала на колѣни и распахнула рубашку на полной груди своей.

— Смотри же, мой милый, стрѣляй прямо въ сердце, вотъ оно, вотъ бьется, стрѣляй сюда, а какъ я умру, и самъ за мною скорѣе: безъ тебя мнѣ будетъ скучно и минуту... Ахъ какъ весело умереть отъ твоей руки!...

Петрушка поднялъ ружье и прицѣлился.

— Чего же ты ждешь? я душою чувую, что идутъ сюда! и отдадутъ меня Фомкѣ!...

Выстрѣлъ раздался— и Маша упала на траву. „Приходи ко мнѣ скорѣе...“ были послѣднія слова ея... Алая кровь теплымъ ключемъ била изъ ея раны; свѣтлые глаза подернулись смертнымъ туманомъ.

Петрушка торопливо началъ заряжать ружье, а между-тѣмъ въ рошѣ раздавались голоса: „Кто смѣетъ стрѣлять! Лови, лови, да и въ судъ, кто бъ ни былъ, мбею рукою... барская земля!“ и Потаповичъ съ тремя десятниками бѣжалъ къ Петрушкѣ.

Вотъ они уже близко. Петрушка спѣшитъ прибить зарядъ, взводитъ курокъ,

упирается дуломъ ружья въ грудь и, перегнувшись впередъ, спускаетъ курокъ; шелкъ! не выстрѣлило: Петрушка въ торопяхъ забылъ насыпать на полку пороха.

Десятники схватили Петрушку.

— И умереть не дадутъ! простоналъ Петрушка.—Прощай, Маша; я сдержу слово; скоро увидимся!...

IX.

Былъ осенній вечеръ. Въ гостиной Медвѣдева, постарому, на кругломъ столѣ кипѣлъ самоваръ и горѣли двѣ свѣчки въ тяжелыхъ подсвѣчникахъ; на диванѣ, у стола, Анна Андреевна разливала чай, въ креслѣ сидѣлъ Медвѣдевъ, только не было Трезора, а передъ хозяиномъ сидѣлъ сосѣдъ съ большимъ, круглымъ лицомъ, да у двери, вмѣсто Петрушки, стоялъ дюжій черномазый лакей.

— Прескверная погода! говорилъ, сморкаясь, сосѣдъ: давно ли было тепло, и вдругъ стало холодно! кажется, и не пора бы: еще половина сентября!

— Будто очень холодно? спросила Анна Андреевна.

— Нѣтъ, оно не холодно, а дождикъ идетъ, такой, знаете, ехидный, такъ всего и измочить; кажется, и не большой, а пронзительный.

— Такъ вы такъ бы и говорили, перебилъ Макаръ Петровичъ.

— Нельзя же иначе выразиться, когда хочется съ дороги пуншу!

— Ну, то-то! Охъ, Евграфъ Пантелеймонычъ, вы все еще не просто говорите, все смекай его, да смекай, куда что сказано! Откуда же васъ Богъ несетъ?

— Изъ нашего уѣзднаго города.

— Что тамъ новенькаго?

— Новенькаго? гм! особеннаго ничего. Развѣ, что вашъ Петрушка вчера умеръ.

— Царство ему небесное! въ одинъ голось сказали, перекрестясь, и Медвѣдевъ, и его супруга.

— Да, умеръ и, знаете, очень странно; со дня вступленія въ тюрьму, онъ все худѣлъ, таялъ, какъ свѣчка; послали и доктора— не признается: я, говоритъ, совершенно здоровъ, а все чахнетъ, все день отъ дня хуже, да вчера и умеръ!... Что жъ вы бы думали? весь хлѣбъ, что ему давали, нашли у него подъ постелью; ничего не ѣлъ и умеръ съ голода!... Впрочемъ, тутъ вы много виноваты: зачѣмъ было давать ему читать книги?!... Самъ бы не выдумалъ такой штуки! прочиталъ гдѣ-нибудь — и баста!...

Медвѣдевъ молча всталъ и началъ сколыми шагами ходить по комнатѣ.

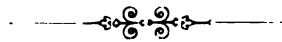
— А вы зачѣмъ ѣздили въ городъ? спросила Анна Андреевна.

— Избирать судью на мѣсто умершаго въ прошломъ мѣсяцѣ нашего почтеннѣйшаго Цвиринковского.

— И выбрали?

— Общимъ голосомъ Юліана Астафьича.

1840 г.



Путевыя записки зайца.

— Очень любопытно имѣть дойную корову и получить отъ нея молоко.

— Да-съ, всѣ животныя очень любопытны.

А. КОКАМЬО.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Основьяненко сказалъ великую истину, что все на свѣтѣ измѣняется: теперь уже и политика не та, и архитектура не та, и обычаи, и настойки—все измѣнилось! Съ этимъ легко всѣ согласятся; но вы не повѣрите, какъ измѣнилось просвѣщеніе: мы сдѣлались энциклопедистами, судимъ, рядимъ обо всемъ поверхностно, торопимся жить, спѣшимъ освободиться изъ рукъ доброй, заботливой няни, чтобъ поскорѣ надѣтъ университетскій мундиръ; не успѣемъ порядочно прослушать двухъ лекцій профессора—уже его осуждаемъ, уже онъ намъ наскучилъ, насъ тяготятъ наши познанія, и мы мѣняемъ шпагу студента на мечъ воина или на покойное мѣсто въ департаментъ... И вотъ является въ свѣтѣ новый гражданинъ, новый членъ общества; ему только 17 лѣтъ, но у него высшіе взгляды, у него запасъ свѣтскихъ идей, куча свѣдѣній!... Привѣтствую васъ, новый членъ общества, желаю вамъ всякаго благополучія и—отхожу отъ васъ подальше. Мы люди простые: наше дѣло сторона!...

Не такъ учились встарину; я еще помню многихъ стариковъ изъ сосѣдей моего отца, которые были люди небогатые, а окончили курсъ въ разныхъ иностранныхъ университетахъ. Бывало, если родители замѣтятъ въ сынѣ наклонность къ наукамъ, то отдадутъ его въ кievскую академію учиться; учиться долго птенецъ, лѣтъ пять брѣветъ бороду, а все учится, и наконецъ, получивъ аттестатъ, является въ домъ отца.

— А зачѣмъ ты пришелъ? спрашиваетъ отецъ.

— Окончилъ всѣ науки.

— Такъ ты уже все знаешь?

— Все, чему учился.

— Врешь, ты ничего не знаешь, ты дуракъ. Отдохни съ недѣлю, да ступай во Львовъ поучиться; я тебѣ дамъ для этого два червонца.

Долго ли идетъ недѣля, особливо въ домѣ родителей? Вотъ ея какъ не бывало, и молодой студентъ вышелъ изъ роднаго села, напутствуемый благословеніемъ отца и матери; въ его ушахъ отдаются послѣднія слова: „будь добръ и честенъ.“ На черномъ казакинѣ студента еще блеститъ прощальная слеза матери; у него въ карманѣ звенятъ два червонца; во рту дышится походная трубка; сердце полно грусти, голова—чуждыхъ замысловъ... На крыльцѣ стоитъ старушка мать и дрожащею рукою креститъ ему дорогу; за темнымъ кустомъ бузины мелькаетъ красная лента и сверкаютъ въ слезахъ черные глаза молодой казачки: ей совѣстно показать предъ людьми любовь свою.

А студентъ все идетъ... И вотъ уже его невидно... Долго еще въ убогомъ сельскомъ храмѣ предъ иконою скорбящей Богоматери ставила свѣчи старуха-мать и жарко молилась и клала земные поклоны; долго молодая казачка цѣлыя ночи плакала, ходя одна по зеленому саду... А студентъ во Львовѣ учится, учится, кончаетъ курсъ, и уже безъ помощи узнаетъ, что онъ—почти ничего не знаетъ; получаетъ Кѣнигсбергъ, Лейпцигъ, вездѣ получаетъ ученые дипломы и возвращается на родину образованный и въ школѣ науки, и въ школѣ горькихъ опытовъ. Не въ обиду будь нами сказано, эти старики куда больше насъ знали! Мы, если знаемъ два-три иностранныхъ языка, хоть бы и плохо понимали свой, русскій, сейчасъ кричимъ: и Шекспиръ не то, и Байронъ не такъ, и

Гёте негодится, и того передѣлаемъ; это по-китайски не такъ, *sie* по-санскритски невозможно! Намъ ли, дескать, не знать? мы все знаемъ, насъ всѣ знаютъ!... Поневолѣ вспомнишь золотой стихъ:

А онъ дивитъ
Свой только муравейникъ!...

Нѣтъ, господа! вотъ я вамъ расскажу про моего двоюроднаго дѣдушку; онъ, можно сказать, былъ представителемъ ученыхъ блаженнаго стараго времени—разумѣется, по моему крайнему разумѣнію; онъ всегда говорилъ: „я ничего не знаю, а въ этомъ-то и вся мудрость!“ Чего онъ не зналъ, Боже мой!...

Не стану говорить здѣсь о его глубокихъ познаніяхъ во всѣхъ наукахъ; умолчу о способности рѣшать арифметическія задачи римскими и арабскими цифрами; но не могу не вспомнить его даръ говорить на всѣхъ возможныхъ языкахъ. Да, милостивые государи! дѣдушка былъ, кажется, такъ-себѣ человекъ, штука небольшая: ходитъ лѣтомъ по саду въ бѣломъ холстинномъ сюртукѣ и соломенной шляпѣ, изъ-подъ которой какъ хвостикъ, торчитъ сѣдая коса, ходитъ и поетъ подъ носъ:

Весна весела цвѣты приносятъ.
Пастушокъ пастушку во лузи проситъ,
Пастушка столь рада,
Овечки погнала
Въ тѣн дуга, въ тѣн дуга!...

Со стороны подумаешь: дѣячокъ какой-нибудь, а это самъ дѣдушка. Попробуй пріѣхать жидъ, съ нимъ дѣдушка ни слова по человечески, все по жидовски, заговоритъ, закашливаетъ, захлопаетъ ртомъ—настоящій арендаторъ Ицка, если вы его изволите знать—даже подергиваетъ плечемъ по жидовски!... Осенью привезутъ татары продавать виноградъ—уже дѣдушка съ татарами пріятель, сидитъ съ нимъ подъ арбою, ѣсть виноградъ и говоритъ по татарски лучше нежели сами татары: у татаръ все-таки разберешь какое-нибудь слово: *Иванъ*, или что-нибудь подобное, а у дѣдушки ровно ничего не поймешь: какъ заговоритъ, языкъ словно козотушка болтается во рту, такъ и стучитъ, будто деревянная пробка въ пустомъ боченкѣ... бойкость необыкновенная!... Однажды онъ схватился на рѣчахъ съ плѣннымъ французомъ.. вѣроятно, болѣе я не услышу и не увижу подобнаго разговора: ярые иностранные звуки быстро летѣли изъ устъ дѣдушки, глаза хлопали, брови ежились, уши шевелились, ноги топали, а руки вольно махали во всѣ стороны, какъ

крылья у вѣтренной мельницы. Французъ сначала было отгрызался, пожималъ плечами, а послѣ спасовалъ и молча отошелъ къ окошку... Тяжелъ французскій разговоръ! поговоря такъ полчаса, устанешь какъ отъ доброй старинной музыки. „Ну, что, спросили всѣ гости у дѣдушки, что говорить французъ?“—„Развѣ вы не слышали?“ отвѣчалъ дѣдушка: „о, онъ просто дуракъ! сказалъ, что здоровъ, слава Богу, да и молчить!...“ Мало этого! не только всѣ людскіе языки, но и всѣ животныя зналъ дѣдушка. Бывало, сидитъ у окошка и не смотритъ на дворъ; вдругъ запищать воробы — „коршунъ летитъ“ скажетъ дѣдушка, и точно: выбѣжишь на дворъ, смотришь — коршунъ вѣется гдѣ-нибудь надъ кустомъ сирени, машетъ широкими крыльями, а въ кустѣ штурку десять воробьевъ не знаютъ куда дѣваться отъ страха, прыгаютъ съ вѣточки на вѣточку, суетятся и кричатъ, какъ бабы на рынкѣ. Иногда, бывало, лѣтомъ погода такая прекрасная; солнце свѣтло и ярко зайдетъ за гору, вечеръ теплый; рой ночныхъ бабочекъ носится надъ цвѣтникомъ, такимъ упительнымъ запахомъ вѣетъ отъ цвѣтущей каприфоли, такъ на душѣ весело... „Дѣдушка, дѣдушка!“ закричишь, бывало: „завтра побѣдемъ въ степь, наберемъ полевой клубники.“

— Нѣтъ, —отвѣчаетъ дѣдушка: завтра будетъ дождь.

— Отчего же? Вы шутите, только меня пугаете. На небѣ ни облачка, откуда взяться дождю?

— Развѣ ты не слышишь?

— Ничего,* дѣдушка.

— А что говорятъ на рѣкѣ лягушки? Прислушайся.

И точно, вдали, на рѣкѣ, безпрестанно повторялись однообразные звуки: кумъ, кумъ, кумъ!

— Пустое, дѣдушка. Это лягушка зоветъ своего кума въ гости.

— Это лягушка говоритъ: будетъ дождь.

— Да вы отчего знаете?

— Поживите съ мое, побывайте въ иностранныхъ земляхъ, и вы узнаете.

Шутить дѣдушка, подумаешь, и ляжешь спать, мечтая о завтрашнемъ днѣ, о веселой прогулкѣ, о вкусной клубникѣ, которая такъ пріятна со сливками.

На завтра проснешься, скорѣе къ окну—такъ и руки опустятся: откуда набрались сѣрыя тучи и заволокли чистое небо; густой дождикъ, какъ сквозь сито, сѣется на землю, скрывая подъ сѣдымъ туманомъ всѣ окрестности; деревья опустили листочки, цвѣты—головки, съ нихъ льется вода; на дворѣ лужи... скучно ста-

нетъ, готовъ заплакать; ляжешь опять въ постель и заснешь, думая: какой умный дѣдушка!

Какъ жаль, что онъ умеръ, когда я еще былъ ребенкомъ, и только предъ смертью успѣлъ выучить меня писать арабскія цифры: всѣ знанія погибли съ нимъ!...

Осенью мы съ дѣдушкою гуляли въ полѣ. День былъ прекрасный; на скошенномъ лугу пестрѣли, какъ звѣздочки, на короткихъ стебелькахъ, розовыя гвоздички, на сжатой нивѣ гуляла стая голубей; по дорогѣ перепархивали золоторудые подорожники. А какъ гороша была роща, къ которой мы подходили! грушевыя деревья будто окутаны въ красныя мантии; жимолость покрывалась темно-синимъ цвѣтомъ; кудрявыя липы красовались въ желто-золотыхъ листочкахъ, а между ними свѣтло-зелеными конусами высились тополи и выбѣгали серебряныя стволы березокъ, перевитые темнозелеными прядями вѣтвей. Надъ рощею вилась запоздавшая пара горлицъ; въ рощѣ цвѣли голубыми букетами осенніе колокольчики.

— Какъ хорошо здѣсь, дѣдушка! сказалъ я, бросаясь, самъ не зная для чего, на шею доброму старику.

— Да, прекрасное и умираетъ прекрасно!

— Что, что такое дѣдушка?

— Ничего, другъ мой. И дѣдушка отеръ платкомъ покраснѣвшіе глаза.

— Смотрите, смотрите: вотъ къ намъ орелъ летитъ!

— Это не орелъ, а кажется Петръ Ивановичъ.

— Развѣ Петръ Ивановичъ умѣетъ летать?

— Онъ скачетъ къ намъ верхомъ на лошади.

Точно, это скакалъ Петръ Ивановичъ; а отчего онъ мнѣ показался летящимъ орломъ—вотъ причина: Петръ Ивановичъ, нашъ сосѣдъ, былъ очень великъ ростомъ и худъ, не то, чтобъ онъ былъ худой, т. е. нехорошій человекъ—нѣтъ, насъ Богъ избавилъ отъ такихъ сосѣдей,—а Петръ Ивановичъ былъ худъ, сухощавъ, т. е. сухопартъ, иначе выразиться—тонокъ. У Петра Ивановича была верховая лошадь маленькая; у странствующаго нѣмца-комедіанта она бы съ пользою носила поноску, какъ лагавая собака. У Петра Ивановича, кромѣ лошади, была борзая собака Великанъ, ростомъ немного поменьше лошади. Петръ Ивановичъ очень любилъ въ праздное время—а оно всегда у него было праздное—ѣздить на охоту по полямъ верхомъ на своей лошади и травить Великаномъ зайцевъ. Для этого онъ обыкновенно надѣвалъ длинную бекешу бурого сукна, доходившую до самыхъ пятъ, садился верхомъ на

лошадку, бралъ въ руки арапникъ, въ карманъ бутылочку пѣнника, привязывалъ къ поясу турецкій кинжалъ и выѣзжалъ въ поле. Пока Петръ Ивановичъ ѣхалъ спокойно, шагомъ, то еще ничего, ноги на два вершка не достигали до земли, и полы бекеша, какъ длинная мантия, скрывали отъ глазъ половину лошади; но когда, бывало, Великанъ подыметъ зайца, Петръ Ивановичъ вскрикнетъ дикимъ голосомъ, распустилъ арапникъ, опишетъ имъ надъ головою какой-то фантастическій знакъ—въ родѣ вензеля покойнаго турецкаго султана—и, опустивъ поводъ лошади, понесется въ слѣдъ за убѣгающимъ звѣркомъ. Тутъ картина совершенно измѣняется: Петръ Ивановичъ пригнетъ къ луку сѣдла, ноги прикорчитъ къ лошадиному крестцу, и доселѣ спокойная бекеша, развѣваемая противнымъ вѣтромъ, подымаетъ свои полы, какъ птица крылья, выше головы Петра Ивановича. Если вы такъ счастливы, что онъ скачетъ къ вамъ, то увидите совершенное подобіе баснословнаго грифа, летящаго надъ землею во всемъ блескѣ красоты и величія. Изумленіе окуетъ ваши чувства. А если вы отъ природы робкаго характера, то, пожалуй, и струсите. Въ профиль онъ былъ похожъ на бабочку, увеличенную въ миллионъ разъ; но это до насъ не касалось... Не успѣлъ я хорошенько разсмотрѣть Петра Ивановича, скакавшаго прямо на насъ по дорогѣ, какъ онъ былъ ужъ очень не далеко; передъ нимъ скакали еще два существа—заяцъ и Великанъ. Бѣдный заяцъ бросился намъ подъ ноги, испугался, оторопѣлъ, свернулъ въ сторону, а тутъ Великанъ хватъ его за шею и понесъ на воздухъ. Какъ ребенокъ, закричалъ несчастный звѣрокъ, но скоро затихъ подъ кинжаломъ Петра Ивановича.

— Ахъ, дѣдушка, какой злой Петръ Ивановичъ! къ чему онъ зарѣзалъ бѣднаго зайца?

— Нѣтъ, ты ошибаешься: Петръ Ивановичъ добрейшій человекъ, а зайца онъ зарѣзалъ—такъ, для удовольствія, отъ нечего-дѣлать.

— Бѣдняжка, какъ онъ закричалъ жалко! Я никогда не забуду его стона: совершенно дитя въ колыбели!... Что онъ кричалъ, дѣдушка? вѣдь вы знаете?

— Жаловался на судьбу.

Въ это время Петръ Ивановичъ увязалъ свою добычу въ торока, сѣлъ на лошадку и сказалъ дѣдушкѣ:

— Мое почтеніе. Вы гуляете?

— Гуляемъ.

— А что, какова погода?

— Прекрасная.

— А каковъ заяцъ?

— Отличный!

— А каковъ мой Великанъ?
 — Удивительный!
 — Именно удивительный! прекурёзная собака! Ахъ, ты мой Сиволапушка, ты мое золото! — Прощайте.

— Прощайте!

И Петръ Ивановичъ уѣхалъ, разговаривая съ собакою.

— Несчастливая судьба этого зайца! сказалъ дѣдушка, помолчавъ немного.

— А вы его знали?

— Нѣтъ, но я знаю исторію его жизни.

— Онъ вамъ рассказывалъ?

— Я читалъ.

— Гдѣ же вы читали? развѣ зайцы пишутъ?

— Пишутъ; теперь всѣ животныя грамотны, и лѣсныя, и полевые, и водяныя: всѣ пишутъ; даже насѣкомыя имѣютъ свою грамоту и своихъ писателей!

— Ахъ, какъ это весело!...

— Не очень, другъ мой!...

Дѣдушка наклонился, сорвалъ листокъ лошадиного щавеля и, показавъ мнѣ на красныя точки и черточки, испещрившія весь широкій темно-зеленый листокъ, сказалъ:

— Вотъ одинъ листъ изъ рукописи этого зайца.

— Переведите мнѣ это на языкъ человѣческій.

— Пожалуй, нарви ихъ побольше.

Мы съ дѣдушкой возвратились домой, неся большую связку листьевъ щавеля, которые, мы думаемъ, расписываетъ такими красивыми письменами рука осени, между тѣмъ какъ это литература зайцовъ.

На-завтра мнѣ дѣдушка сдѣлалъ переводъ, который и предлагаю въ подлинникъ. Если не понравится, ругайте покойнаго дѣдушку: онъ уже умеръ, отбраниваться не станетъ. Это же и въ духъ времени!

ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.

I.

Заяцъ оставляетъ свою родину.

— Идутъ, идутъ, оставь меня, бѣги, мой другъ!

— Прощай, моя радость!...

Онъ торопливо поцѣловалъ ее и выбѣжалъ въ садъ, забывъ даже притворить дверь. Изъ сосѣдней комнаты вошелъ, съ арапникомъ въ рукахъ, въ длинной бекешѣ, Петръ Ивановичъ.

— Здорово, жена! а я вотъ это съ охо-

ты, хотѣлъ-было заночевать на хуторѣ, да блохи кусаются.

— Какъ я рада! Мнѣ что-то нездоровится, другъ мой.

— Да, ты вся горишь!

Петръ Ивановичъ началъ цѣловать свою жену, а я пробрался въ полуотворенную дверь, прыгнулъ съ крыльца въ кусты и, скорѣе нежели кошка можетъ съѣсть порядочную крысу, былъ въ своей родимой рошѣ.

Вся польза двадцатидневнаго пребыванія моего въ домѣ людей была та, что я выучился понимать ихъ рѣчи и сдружился съ прелестною Сиволапушкой, любимой кошечкой жены Петра Ивановича.

Какая *милашка* Сиволапушка! Она такая же сѣренькая, какъ и мы, зайцы, только на шейкѣ бѣленькое пятнышко, зато глазки—прелесть! Я готовъ трое сутокъ не кушать молодого гороха, чтобъ у моей будущей жены были такіе глазки: зеленые-презеленые, какъ листочки свѣжей травки послѣ теплаго весенняго дождика. Шерсть на ней мягкая, пушистая! походка скромная; движенія тихія, плавныя—вѣжливость необыкновенная! Поутру, бывало, только-что я начну ѣсть молоко, поставленное для меня подъ столомъ въ чистенькой тарелочкѣ, тотчасъ явится Сиволапушка, станетъ противъ меня, изогнувъ дугою спину, надуеъ усики и скажетъ на общемъ звѣриномъ языкѣ (разумѣется кошачьимъ выговоромъ):

— Какъ прекрасно въ тихое утро освѣжать свою натуру благовоннымъ молокомъ.

Я не люблю говорить, кушая, и потому въ отвѣтъ очень благосклонно махну правымъ ухомъ.!

Я полагаю, извѣстно всѣмъ звѣрямъ, что у насъ, у зайцевъ, махнуть правымъ ухомъ значитъ изъявить радость, согласіе, удовольствіе и прочее—словомъ, этимъ движеніемъ выражается все пріятное. Махнуть лѣвымъ ухомъ—значитъ показать неудовольствіе, даже презрѣніе; обѣими ушами мы, зайцы, машемъ только въ случаѣ изумленія.

— Смѣю ли просить иностраннаго гостя о милости участвовать въ его пріятномъ занятіи?...

Я махну два раза правымъ ухомъ—и Сиволапушка начнетъ кушать со мною молоко изъ одной тарелки, нѣжно, ловко, снисходительно... и послѣ завтрака такъ благоприлично утретъ пушистою лапкою свою розовую мордочку, такъ лестно начнетъ благодарить, что мое правое ухо разъ пятнадцать махнетъ ей передъ самымъ носомъ. Будь у Сиволапушки подлиннѣе уши

оче хвостъ, она была бы красивъ зайчихъ на бѣломъ свѣтѣ.

лапушка очень великодушна. У Ивановича висѣлъ на окошкѣ въ юй клѣткѣ-снѣгирь. Чуть забрежеть, уже снѣгирь просыпается, ключнышко-другое коноплянаго сѣмена жердочку, надуетъ свою краску и свиститъ потихоньку, цѣлый ститъ, пока станетъ темно, приз спатъ.

го это у васъ такъ свиститъ снѣрашиваются, бывало, Петра Ивановичи.

го же ему и не свистать? отвѣтеръ Ивановичъ: — корма достада свѣжая, воздухъ чистый, живипѣваючи!

меня душа разрывалась, слушая гиря: съ утра до ночи онъ жана судьбу свою, вспоминалъ родкъ и чащу терновника, гдѣ у негнѣздо, была подруга, были дѣти; и просилъ у неба смерти; онъ о „Петръ Ивановичъ хуже совы, ючью нападаетъ на беззащитныхъ потому-что сова поймаетъ птицу бѣтъ, а Петръ Ивановичъ мучитъ зоего удовольствія; ему любо, дескъ я плачу.“ Хорошо, что Петръ не понималъ снѣгиря.

что случилось въ одинъ ясный, й день:

комнатѣ никого не было кромѣ Сиволапушки. Съ восхода солнца овался снѣгирь на свою судьбу и Петра Ивановича; моя участь очень на участь снѣгиря; я задумался. емъ вы мечтаете? спросила Сивонѣжно трогая меня лапкою.

о чемъ, сударыня, такъ.

не можете! въ вашихъ глазахъ съ такъ много чувства...

правда; меня разжалобилъ снѣгирь. и меня тоже!

бѣдняжкѣ, жизнь въ тягость.

ма такъ думаю, и давно хочу по-

огите, ради прекрасной погоды и солнышка!

истиннымъ самоотверженіемъ наираться чувствительная кошечка по окошку, хватаясь безпрестанно къ, которымъ была привязана стоя Сиволапушка то висѣла вытявѣмъ тѣломъ, то, сжавшись въ словно нашъ лѣсной колдунъ-ѣжъ, на шнуркѣ, какъ яблоко на тончкѣ. Нѣтъ, за два кочна самой капусты я бы не продѣлалъ поштуки!... Смотрю — уже Сивола-

пушка на клѣткѣ, обхватила ее всѣми четырьмя лапами и кротко, любовно глядитъ на снѣгиря, а онъ, дуракъ, будто угорѣлый мечется по клѣткѣ. Немного погодя, моя кошечка просунула въ клѣтку правую лапу и тихо начала водить ею надъ птичкою; снѣгирь припалъ на дно клѣтки; лапа быстро опустилась надъ нимъ, подняла его на воздухъ. Откуда явилась быстрота и сила у Сиволапушки! Снѣгирь пищалъ: „помогите, помогите!“

— Я помогаю тебѣ, ворчала кошечка, и проворно тянула снѣгиря изъ клѣтки между прутьевъ... Клѣтка кружилась, плясала, кормъ сыпался изъ клѣтки, вода плескалась, пухъ и перья носились въ воздухъ... Наконецъ, Сиволапушка спрыгнула на полъ, держа въ лапѣ снѣгиря.

— Освобожденъ! закричалъ я и подбѣжалъ къ снѣгирю, но, увы, онъ былъ безъ дыханія! — Сиволапушка положила его у ногъ своихъ; слезы горести катились изъ глазъ ея на трупъ бѣдной птички.

— Чтѣ вы надѣлали? спросилъ я.

— Хотѣла облегчить участь несчастнаго и нечаянно умертвила его. Ахъ!..

— Бѣдняжка!

— Впрочемъ, благодарю судьбу: я хоть что-нибудь для чего сдѣлала: онъ жаловался на жизнь, она была ему въ тягость, и я сняла съ него эту тягость. Уже отъ этого сердце мое бьется радостнѣе.

— Въ-самомъ-дѣлѣ!... Мнѣ и въ голову не пришло это сначала! Какъ вы добры, Сиволапушка!

— Я родилась съ наклонностями ко всему доброму и прекрасному. Разумѣется, маменька примѣрнымъ воспитаніемъ развила и укрѣпила ихъ... шептала кошечка сквозь слезы, рассматривая снѣгиря.

— Оставьте его! это зрѣлище слишкомъ жестоко для вашего чувствительнаго сердца.

— Нѣтъ, любезный иностранецъ, я не оставляю его: я не хочу, чтобъ люди нечистыми руками трогали эту красивую птицу.

— Какая чувствительность!... Такъ возьмите ее и спрячьте въ саду въ густую траву, или заройте въ песокъ.

— А насѣкомыя!... фи!.. не могу, не могу.

— Чтѣ же вы съ нимъ сдѣлаете?...

— Я думаю... я съѣмъ его.

— Скушаете?... птичку? да это, я полагаю, не вкусно!...

— Чтѣ жѣ дѣлать? лучше перенесу маленькое неудовольствіе, нежели... И Сиволапушка начала, вздыхая, кушать снѣгиря.

„Господи!“ подумалъ я: „до чего доводитъ иногда нашего брата, звѣря, излишняя доброта!... Положимъ, кошка употребляетъ мышей, какъ враговъ своихъ, да и

мышь все-таки зѣбри, имѣть шерсть— это какъ-то аккуратнѣе; а то рѣшится скушать птицу, единственно для того, чтобъ избавить ее отъ несприятности попасть въ чьи-либо руки, птицу въ перьяхъ!... Я взялъ одно перышко, чтобъ узнать, какой въ немъ вкусъ... грызъ, грызъ, да и выплюнулъ: рѣшительно никакого вкуса; сухо, жестко, хуже гречневой соломы!

Вотъ какъ великодушна, добра и чувствительна была Сиволанушка! вотъ какого друга приобрѣлъ я, живя двадцать дней съ людьми!...

Можетъ-быть кому-нибудь изъ почтенныхъ дикихъ звѣрей покажется страннымъ, что я, будучи природнымъ кореннымъ зайцомъ, настоящимъ дикимъ звѣремъ, сдружился съ кошкою; можетъ-быть, мнѣ скажутъ, что выбирать друга должно по шерстя, т. е. одного рода. Въ такомъ случаѣ я попрошу господина звѣря пожить недѣлку въ домѣ Петра Ивановича и онъ перемѣнитъ свои мысли.

Повѣрите ли, мои дичайшіе, я тамъ видѣлъ поросенка очень порядочнаго юношу, съ обширнымъ умомъ и прекраснымъ аппетитомъ, который былъ друженъ со столбикомъ— да, со столбикомъ! Чтѣ бы, кажется, такое могло быть въ столбикѣ? а поросенокъ не отходилъ отъ него: отлучился на самое короткое время, для какихъ-нибудь необходимыхъ занятій: покушать елочки, или что-нибудь подобное, и бѣжитъ скорѣе къ столбику и ласкается къ нему, и чешетъ объ него свою спину, и называетъ его всякими приятными именами, да и заснетъ тутъ, прислонясь къ нему... Отому я самъ былъ свидѣтель! Почему же мнѣ не быть дружнымъ съ кошкою? Да, коли направду пошло, такъ и шерсть-то у насъ одинаковая: оба съ-рѣзанные!...

Но пора къ дѣлу. Я заговорился о Сиволанушкѣ. Чтѣ дѣлать? любовь и дружба любятъ болтать.

Первый предметъ, который попался на мои глаза въ родной рощѣ, была матушка. Горестъ очень измѣнились черты ея лица: она сидѣла подъ кустомъ малины, сложивъ лапки, опустила голову; ея уши развѣсались въ разные стороны, какъ листья на уходящемъ кустѣ липы; она держала въ зубахъ вѣточку дикой мяты, вѣроятно хотѣла скушать это лакомое растеніе, но отъ горести, задумалась и забыла. Легкимъ, рѣзкимъ, самымъ пріятнымъ смехомъ приближаюсь я къ матушкѣ и, обнимая всю дикую вѣтвицу, при каждомъ прыжкѣ локко наклоняюсь на свою голову, при чемъ мое прямое ухо почти касалось земли. Чтѣ же сидѣлъ иной отъ такихъ знакомыхъ

уваженія получилъ бы позывъ на пищу; а матушка даже не замѣтила моего приближенія—такъ меланхолія овладѣла ею!...

Шага за три я остановился и началъ лапками разгребать землю; шорохъ отъ этой вѣжливости вывелъ матушку изъ задумчивости: она вздрогнула, быстро поднялась на переднія лапки, выронила изо рта вѣточку мяты и проворно замахала обѣими ушами!...

— Матушка! развѣ вы не узнаете вашего сына, пойманнаго, назадъ двадцать дней, какимъ-то человѣкомъ, и проданнаго Петру Ивановичу за рюмку водки?... Это я! я! я! я!... *)

— (Сынъ мой, какъ ты выросъ! какъ перемѣнился! двадцать дней—шутка ли!...

Тутъ матушка замолчала; я тоже. Въ сильныхъ ощущеніяхъ слова какъ-то не вяжутся, путаются; гораздо выгоднѣе молчать. Мы сѣли другъ противъ друга, смотрѣли другъ на друга, лизали мордочки и кивали правыми ушами; такъ застала насъ ночь. Тихо, спокойно заснулъ я въ родимой норкѣ, на сухихъ кленовыхъ листьяхъ, поужинавъ двумя листочками заячьей капусты.

Петръ Ивановичъ кормилъ меня молокомъ и цвѣтною капустою; я спалъ у него на мягкой подушкѣ, нарочно для меня приготовленной; но никогда у него я не былъ такъ сытъ, такъ спокоенъ!...

Жизнь моя опять пошла по прежнему: рано утромъ, до восхода солнца, мы съ матушкою выбѣгаемъ на опушку лѣса; вездѣ еще тихо, тихо... въ воздухѣ свѣжо, такъ и хочется прыгать: всѣ травы покрыты крупными каплями росы; тронешь нечаянно какой-нибудь кустикъ—въ мигъ обдастъ тебя частый дождикъ; встрепнешься—онъ скатился на землю, а ты опять сухъ, опять прыгаешь высоко, широко, привольно!... Взойдетъ солнышко—еще станетъ веселѣе: все пробудится: птички, оставя гнѣзда, начнутъ пѣть... чего не услышишь въ это время! Жаворонокъ, поднявшись высоко надъ землею, рассказываетъ всему свѣту, чтѣ ему видно: какія рѣчки, поля, лѣса, озера, сады, города—все рассказываетъ. Малиновка сто разъ повторяетъ, какой она видѣла сонъ: чижики кричатъ на всю рощу, что онъ выпилъ три капли самой чистой росы и готовъ драться хоть съ ястребомъ; соловей очень откровенно болтаетъ о своихъ ночныхъ доложженіяхъ: ястреба подъ облаками перекликаются куда имъ лѣтъ на охо-

*) Жаворонокъ вообще очень любитъ мѣстоныть.

ту; далеко въ деревнѣ собаки начинаютъ ругать весь свѣтъ и самихъ себя; но вотъ и люди пошли на работу; мы съ матушкой прячемся въ молодой, колосистый овесъ; люди близёхонько идутъ мимо насъ и не видятъ, а мы только слышимъ, какъ они съ первымъ кускомъ хлѣба, которымъ завтракаютъ на дорогѣ, осуждаютъ своихъ ближнихъ и начальниковъ, поносятъ своихъ братьевъ, идущихъ сзади, а идущіе сзади, въ свою очередь, взводятъ небывлицы на переднихъ, и такъ далѣе... Я до-тѣхъ-поръ перевожу матушкѣ людскія рѣчи, пока она махнетъ лѣвымъ ухомъ и поскачетъ въ глубь овсяной нивы; я послѣдую за нею.

Настанетъ полдень—и мы роскошно отдыхаемъ въ овсѣ; частые, колосистые стебли затекутъ надъ нами сѣтку, непронускающую солнечныхъ лучей; вѣтерокъ, гуляя по нивѣ, скользитъ отъ верхушекъ до корней растений и освѣжаетъ насъ; захотѣлъ ѣсть—стоитъ только поднять мордочку—и кисть полнозвѣсныхъ, молодыхъ, сочныхъ зернышекъ овса прямо падаетъ къ тебѣ въ ротъ; покушалъ и дремлешь. Придетъ вечеръ—опять въ рощу скачешь, прыгаешь, рѣзвишься; на ночь въ норку, на кленовыя листья... Чудная жизнь!...

Въ одинъ день мы съ матушкой лежимъ въ овсѣ, и слышимъ, кто-то идетъ къ намъ, шумя и ломая овсяные стебли; шелестъ все ближе и ближе. Мы, притая уши, ползкомъ выбрались на опушку нивы, смотримъ: на другомъ концѣ стоитъ Петръ Ивановичъ верхомъ на своей лошаdkѣ, а по нивѣ прыгаетъ Великанъ: то подымается на заднія лапы, сверкая во всѣ стороны жадными глазами, то опять нырнетъ въ зеленый овесъ. Я взглянулъ на матушку: она махнула лѣвымъ ухомъ, и мы сразу быстро донесли по небольшой полянкѣ въ свою рощу.

Ого-го! у-лю-лю! а-ту! а-ту! закричалъ Петръ Ивановичъ; за нами раздался топотъ лошадки, шелестъ прыжковъ Великана; мы слышали его радостные взвизги, но спасеніе недалеко: вотъ знакомый кустарникъ, вотъ знакомыя деревья, вотъ наша норка! я первый юркнулъ въ нее; матушка за мною. Отлегло отъ сердца!... Я, какъ былъ моложе и вдвое меньше матушки, то и забился въ боковую норку, а матушка осталась въ главной, тутъ же, возлѣ меня, такъ что мнѣ ее было видно. Не успѣли мы спокойно вздохнуть, какъ надъ нашими головами послышался топотъ лошадки; онъ умолкъ, и вдругъ, я слышу, посыпалась въ норку земля, и что-то, сопя, лѣзетъ къ намъ; сопъ болѣе и болѣе приближался; душно стало мнѣ; и вотъ

мимо меня сверкнули глаза и просунулась острая вооруженная страшными зубами морда Великана, схватила мою матушку и повлекла изъ норки.

Бѣдная матушка! какъ жалко застонала она въ зубахъ этой собаки! „Сынъ мой,“ прошептала она задышавшимся голосомъ: „бойся собакъ и людей!...“ только я и слышалъ. Бѣдная матушка! много дней прошло съ-тѣхъ-поръ, но и теперь, вспоминая послѣднія слова твои, я плачу какъ ребенокъ.

Ко мнѣ въ норку долетали предсмертные вздохи матушки; но они скоро затихли; опять послышался страшный сопъ Великана, опять показалась его морда и осталась противъ меня; глазъ сердитой собаки горѣлъ какъ раскаленный уголь и, казалось, готовъ былъ сжечь меня; отъ страха я прижался еще плотнѣе къ стѣнкѣ своей норки, вросъ въ землю. Великану, чтобъ взять меня, нужно было повертнуть голову въ сторону, но голова его была очень велика, а норка узка; злобно запищалъ онъ, искрививъ, сколько могъ, свою морду на бокъ въ мою норку и защелкалъ зубами; судорожно разводилъ онъ и сжималъ челюсти, оскаливъ на меня свои кривые зубы—все напрасно: зубы за-дѣвали только верхушки моей шерсти; вытянувъ свой длинный, сухой языкъ, онъ дотрагился имъ до меня, обдавалъ меня жаркимъ дыханьемъ... Это были страшныя минуты въ моей жизни!... Еще немного—я бы умеръ отъ ужаса.

„Назадъ, назадъ! Великанъ, назадъ! полно вратъ!“ закричалъ наверху Петръ Ивановичъ. Великанъ, сдѣлавъ послѣднее усиліе, щелкнулъ зубами почти у самой моей кожи и по-пятился изъ норки... Вскорѣ хлопнулъ арапникъ, затопотала лошадка—и опять все утихло.

Только ночью я рѣшился выползть изъ норки. Все было тихо; мѣсяцъ высоко плылъ по небу; широкіе дубы, какъ темныя горы, рисовались на темно-голубомъ небѣ; роща дремала; между травой блестяли свѣтляки, въ орѣшникѣ, какъ и прежде, спала сорока; далеко въ болотѣ, за рощею лягушки, какъ и всегда, хоромъ спорили о какомъ-то новомъ танцѣ; ничто не измѣнилось, кромѣ моего положенія: я остался сиротой на бѣломъ свѣтѣ! Не съ кѣмъ мнѣ сказать слова, не съ кѣмъ раздѣлить ни печали, ни радости! Матушка! добрая матушка! я тебя не увижу болѣе!... Гдѣ ты, моя родная? что съ тобой? О, Петръ Ивановичъ! о, Великанъ!... Я горько заплакалъ.

— О чемъ ты плачешь, дитя мое? спросилъ меня знакомый голосъ; смотрю—пес-

редо мною стоитъ нашъ дѣдушка-колдунъ ёжъ, покашливаетъ и жуётъ какой-то корешокъ.

— () чемъ я плачу? Ахъ, еслибъ вы знали, дѣдушка-колдунъ, я лишился матери! И, рыдая, я рассказалъ ему свою несчастную исторію.

Подлинное несчастіе, сказалъ ёжъ, глотая остатки корешка. — Жаль, жаль, очень жаль твоей матушки! я ее зналъ еще въ дѣвнцахъ; она была очень дикая особа... И тебя-то жаль, мой другъ, рано остался безъ подпоры.

— Правда ваша, дѣдушка-колдунъ!

— Я никогда не лгу, мой другъ—это мое правило. Что же, у тебя норка теперь пуста?

— Да, много ли для меня нужно мѣста?

— Ну, такъ и быть, я тебѣ окажу услугу: это въ моемъ характерѣ; остаюсь у тебя жить, тебѣ будетъ веселѣе, а я старый анѣрь, беспокоить тебя не стану; захочешь слушать скажу сказочку, а нѣтъ—и замолчу.

— Вы благодѣтель мой! сколько дикости въ этомъ поступкѣ!... Пойдемте, расположитесь въ норкѣ на сухихъ листьяхъ, гдѣ почивала моя матушка: будьте какъ у себя...

Ёжъ вошелъ въ мою норку, проворчалъ себѣ подъ носъ какія-то волшебныя слова, перекутилъ раза четыре на одномъ мѣстѣ и, свернувшись въ комокъ, уснулъ. Я сдѣлалъ то же въ боковой норкѣ.

На завтра, возвратясь съ прогулки, я не узналъ своего жилища: вся боковая норка была завалена лягушками, ящерицами, змѣями и другими гадами. Ёжъ очень хладнокровно и съ большимъ любопытствомъ разсматривалъ небольшого ужа.

— Фи! дѣдушка-колдунъ! что это? Къ чему вамъ эта жерзость?

— Неохотима; другъ мой, для моихъ практическихъ занятій, для опытовъ.

— Для какихъ опытовъ?

— Видишь, узнаю, что вкусно.

— Это истерично, дѣдушка-колдунъ! Гдѣ же я буду спать?

— Гдѣ угодно.

— Вытаскайте изъ моей норки этихъ уродовъ!

Этого не будетъ, другъ мой: они возлѣ меня здѣсь.

— Но наши иглы колются: около васъ близко быть страшно.

— Молодой другъ мой, поживи съ мое и у тебя вырастутъ такія иглы... А боюсь, жена можешь провести ночь на вольномъ воздухѣ.

Да въ васъ нѣтъ никакой дикости! это самый образованный поступокъ: въ чужомъ

домѣ распоряжаться какъ въ собственномъ и почти выгонять хозяина.

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а есть. Прощайте! И я выскочилъ изъ норки, съ намѣреніемъ провести ночь гдѣ-нибудь вблизи; но пахнулъ вѣтерокъ, нагналъ тучи и пошелъ частый дождикъ. Дѣлать нечего, я опять въ норку. Что жъ бы вы думали? не успѣлъ сдѣлать двухъ шаговъ, лѣзетъ мнѣ навстрѣчу ёжъ, уставя противъ меня свои иглы; я назадъ—онъ остановится; я въ норку—онъ опять противъ меня.

— Что это значить, дѣдушка-колдунъ?

— Ничего, другъ мой. Во мнѣ нѣтъ дикости; я самый образованный звѣрь!

— Вы хотите выгнать меня изъ моей родной норки, лишить меня наслѣдія родителей?

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а есть... Вы неблагодарны! Какъ можно въ дождикъ выгнать на дворъ хозяина!

— Это тебѣ урокъ, молодой звѣрь, чтобы ты умѣлъ уважать старшихъ себя...

Дѣлать нечего! я махнулъ лѣвымъ ухомъ и оставилъ родное жилище. Дождь лилъ рѣкою; я измокъ и, согнувшись подъ кустомъ, едва имѣлъ силы дожидаться утра, пока взошло солнышко и осушило меня, сиротку, лишеннаго даже роднаго пріюта.

Грустно провелъ я день и къ вечеру брелъ по рошѣ безъ цѣли, безъ намѣренія, не зная, гдѣ преклоню свою голову; смотрю—идетъ Сиволапушка.

— Здравствуйте, Сиволапушка! закричалъ я, прыгая ей на встрѣчу.

— А! мое почтеніе! отвѣчала она, очень граціозно шевеля пушистымъ хвостомъ.

— Какъ вы попали въ нашу рошу?

— Единственно чрезъ свое добродушіе: Петръ Ивановичъ, вмѣсто снигиря, котораго я освободила, посадилъ въ клѣтку чижика; я и этого избавила отъ неволи...

— И также жертваго?

— Нѣтъ, этотъ, по выходѣ изъ клѣтки, у меня въ лапахъ еще вздохнулъ раза два.

— Ага!... это хорошо. Что же дѣлать?

— Мѣсто чижика занялъ скворецъ, такой печальный!... Два дня смотрѣла я на него, и наконецъ на третій рѣшилась, во что бы ни стало, освободить: все шло какъ нельзя лучше, но этотъ дуракъ поднялъ такой крикъ, что прибѣжалъ Петръ Ивановичъ и...

— Что же такое?

— Ну... нагнѣлась нѣ много неприятностей, такъ что я рѣшилась тогда же оставить домъ этого грубіяна и только во ночамъ посѣщаю иногда кухню и комнаты, чтобы

покушать чего-нибудь да послушать каких-нибудь историй.

— Я понимаю; это очень приятно.

— Даже и полезно. Сегодня, напимѣрь, я слышала вѣсточку, которая, можетъ-быть, спасетъ васъ отъ смерти.

— Какъ?

— Съ нѣкоторыхъ поръ, именно съ того времени, какъ привезли молодаго студента учить сына Петра Ивановича, бѣдная наша барыня все хвораетъ, и все посылаетъ своего мужа достать дичи, такъ что онъ часто по цѣлой недѣлѣ пропадаетъ; то захватитъ жена: „убей мнѣ мнѣ цаплю съ бѣлымъ хохломъ; кажется, какъ посмотрю на нее, станетъ легче.“ Привезетъ Петръ Ивановичъ цаплю—опять стоны: „еслибъ была съ чернымъ хохломъ.“ Вотъ такъ все и капризничаетъ.

— Да, это и при мнѣ бывало, и учителя-то я знаю: онъ меня нехотя выпустилъ на свободу.

— И прекрасно! Слушайте же: вотъ вчера сижу я подъ кроватью и слышу: „Накорми меня, Петръ Ивановичъ, зайцомъ, да тѣмъ самымъ что у насъ жилъ.“ Петръ Ивановичъ отвѣчаетъ, что онъ затравитъ цѣлую сотню, хотя теперь порядочные люди и не ловятъ зайцовъ, а ждутъ осени; „я, дескать, и третьягодня затравилъ для тебя, да ты и не ѣла.“—„Потому что тотъ былъ старикъ,“ отвѣчала жена, „а я хочу молоденькаго, вотъ того, что у насъ росъ да ты выпустилъ.“—„А узнаешь ты его?“ спросилъ Петръ Ивановичъ.—„Узнаю.“—„Ну, ладно, завтра же обшарю всѣ кусты во всемъ околоткѣ.“—„Эге! подумала я: надобно извѣстить объ этомъ моего пріятеля“—и побѣжала въ рощу, а вы, какъ нарочно, идете на встрѣчу.

— Что жъ мнѣ дѣлать?

— Сидите цѣлый день въ норкѣ. Ночью покушайте да и опять въ норку: дня въ три буря пройдетъ.

— Да у меня проклятый колдунъ отнял норку.

— Въ такомъ случаѣ путешествуйте. Люди всегда путешествуютъ, когда хотятъ чего-нибудь избавиться.

— Куда же? Не оставьте меня вашимъ совѣтомъ,

— Я думаю, какъ вы звѣрь молодой и ловкій, вамъ не бесполезно было бы побывать въ Муромскихъ лѣсахъ: тамъ-то, говорятъ, настоящее звѣрство, неподѣльная дичь. Тамъ, говорятъ, наше невѣжество—сущее образованіе; тамъ-то можно перенять превосходныя дикія манеры, темныя мысли, неистовыя чувства... Ахъ, путешествуйте! туда, туда!...

— Рѣшено: путешествую! сказалъ я, протягивая лапу Сиволапушкѣ.

— Будьте счастливы, прошептала мнѣ очаровательница, и исчезла, какъ видѣніе.

Не успѣло еще разсвѣсть порядочно, какъ я уже былъ въ дорогѣ; съ сосѣдняго пригорка взглянулъ еще разъ на рощу и поскакалъ далѣе и далѣе, все на восходъ солнца: тамъ, говорятъ, Муромскіе лѣса!...

II.

Заяцъ знакомится съ нѣкимъ насѣкомымъ.

Вотъ скачу себѣ все далѣе и далѣе, скокъ да скокъ, впередъ да впередъ... Далеко осталась за мною родимая роща; давно уже ея не видно. Прощай, моя зеленая! Кажется, о чемъ бы мнѣ грустить? матери у меня не осталось, моимъ жилищемъ завладѣлъ старый колдунъ съ колючками—скверный ѣжъ; меня тамъ ждетъ неминуемая смерть, коли не отъ Петра Ивановича, такъ отъ собаки Великана. Гадкая роща! пропадай она со всѣмъ отъ верхушки до корня! А все-таки ее жаль, самъ не знаю отчего. Я плакалъ бы, еслибъ путешествіе не было такъ приятно.—Ахъ, звѣри, звѣри! и малые, и большіе, и сѣрые, и пестрые, путешествуйте, путешествуйте! Я теперь только понимаю высокое наслажденіе мыши-пеструшки¹⁾, которая, оставляя свою родину, часто отправляется путешествовать безъ цѣли, безъ намѣренія, такъ, лишь бы путешествовать.

Что шагъ впередъ, то открываются передо мною новыя виды; незнакомыя рощи, темныя лѣса, широкіе луга... подъ небсами плаваютъ орлы, въ болотѣ пресмыкаются разнообразныя гады, на встрѣчу летятъ стаи скворцовъ, ползутъ насѣкомыя, сороки сплетничаютъ, воробьи врутъ чепуху—скачешь и упиваешься блаженствомъ: вездѣ такая прекрасная дичь!... ни слова, ни звука образованнаго, ни лица, ни голоса человѣческаго; все мы-звѣри и прочія животныя. Что же ожидаетъ меня въ Муромскихъ лѣсахъ?

Проскакавъ одну порядочную рощу, я выбѣжалъ на чистое, обширное поле; по полю шла дорога; по обѣимъ сторонамъ ея кое-гдѣ росли кусты ракиты. День былъ жаркій, полуденное солнце не грѣло, а просто жгло безъ милосердія. Кто меня гонитъ? подумалъ я и, сворота съ дороги, улегся спокойно въ тѣни ракитоваго куста. Легкая дремота начала овладѣвать мною; вдругъ почти у самаго моего уха раздался

¹⁾ Mus lemmus. Linn. *Примѣчаніе двдущки.*

какой-то пронзительный, пискливый голосъ; прислушиваюсь, — кто-то поетъ пѣсню:

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно, солнце, свѣтишь!
Повѣрь мнѣ, солнце, я одинъ лишь правду говорю;
Всмотрись, о царь свѣтилъ! и ты съ высотъ тотчасъ примѣтишь,
Что дремлетъ птица, звѣрь, и гадъ, и цвѣтъ, и злакъ, а я одинъ пою!
Возможно ли сравнить съ тобою блѣдную луну и звѣзды?
Всѣ знаютъ здѣсь меня; я знаю всѣхъ и потому
Прилично воспѣвать тебя всегда мнѣ одному,
Когда пернатые пѣвцы убрались въ гнѣзды!...

— Перестань, сосѣдъ, пищать! сказалъ пѣвцу какой-то голосъ.

— Не перестану, почтеннѣйшій! не могу. Посмотри, какъ прекрасно оно, это благодѣтельное свѣтило — не могу: я весь проникнутъ признательностью; моя пѣсня — чистое излияніе души.

— Не дальше, какъ прошлую ночь, ты мнѣ не далъ спать, напѣвая такую же пѣсню лунѣ.

— Тогда шла луна по небу, а теперь идетъ солнце; ночью и луна хороша, а днемъ она дрянъ — это мое убѣжденіе, почтеннѣйшій. До свиданія, сосѣдъ. Не хотите послушать?

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно солнце, свѣтишь!...

Я поднялъ голову и увидѣлъ недалеко отъ себя поющее насѣкомое; оно было худощаво, желтоватаго цвѣта, съ зеленоватыми глазами и длинными, тоненькими, сухими ножками; скорчившись, оно сидѣло подъ листкомъ чертополоха и, надрываясь, начало неслѣпую пѣсню солнцу. Вотъ что значитъ путешествовать, подумалъ я, у насъ въ рождѣ нѣтъ такихъ насѣкомыхъ; само маленькое, невзрачное, поджарое, а кричитъ какъ добрый поросенокъ, да какую великолѣпную дичь!... Насѣкомое, замѣтивъ, что я смотрю на него, сдѣлало легкій прыжокъ и, очутившись возлѣ самого моего носа, начало присѣдать и шаркать самымъ вѣжливымъ образомъ, безпрестанно повторяя: „какъ я радъ, что нѣко удовольствіе видѣть на нашемъ полѣ иностраннаго звѣря — сына роши и лѣсныхъ предѣловъ“.

— Какъ это дико! отвѣчалъ я.

— Помните-съ, на этомъ только и живемъ, это уже наше дѣло; все окрестное поле меня знаетъ; спросите у всякаго, вотъ недалеко муравейникъ — хотите справиться?

— Покорно васъ благодарю! Но позвольте васъ спросить: какъ вы узнали, что я иностранецъ?

— Вы вовсе непохожи на нашихъ полевыхъ животныхъ.

— А вы постоянный здѣшній житель?

— Да-съ. Впрочемъ, насъ живетъ искони на этомъ полѣ множество и, для различія, ихъ именуютъ разнѣ: здѣсь живетъ полевая мышь ¹⁾, полевой жаворонокъ ²⁾, полевой жукъ ³⁾, полевой скакунъ ⁴⁾, и проч., всѣхъ не перечесть и до вечера.

— А вы?...

— Я полевой сверчокъ, — къ вашимъ услугамъ ⁵⁾.

— Очень пріятно!

— А! вы, вѣрно, обо мнѣ слышали много кое чего? Это правда, меня всѣ знаютъ, да и я таки-понялъ эти окрестности. Положа лапку на сердце, осмѣлюсь вамъ доложить, мой добрый путешественникъ, что въ томъ, что я вамъ буду говорить, есть много занимательнаго и поучительнаго.

— Рассказывайте.

— Наше поле обширно; много животныхъ населяетъ его, но въ особенности я счастливъ моими родственниками: нѣкоторые изъ нашей породы, извѣстные подъ названіемъ саранчи ⁶⁾, опустошаютъ поле человѣка и, подивитесь! что то, что посѣяно съ трудомъ и страданіемъ, поѣдаетъ саранча въ одно мгновеніе, и что въ то же время мы, что называется, благодарствуемъ гордому человѣку, потому-что другую нашу породу люди ѣдятъ вмѣсто хлѣба ⁷⁾. Мы казимъ, но мы же и милуемъ человѣка; мало этого, что сказалъ я, мы, чтобъ что-нибудь сдѣлать ему пріятное, за грабежи нашихъ родственниковъ отрядили искони одну отрасль нашего рода жить къ нему въ домъ и увеселять его прекрасными пѣснями. Этотъ пѣвецъ извѣстенъ подъ именемъ запечнаго сверчка ⁸⁾.

1) *Mus arvalis* (Linn.), le carmagnot, ou petit rat des champs. При благоприятныхъ обстоятельствахъ, эти животныя до того размножаются, что дѣлаются настоящимъ бичомъ, казнью неба. Если полевки заведутся къ какихъ-нибудь мѣстахъ, то бывають причиною голода. (Зоол. Эдварса, ч. II стр. 293).

2) *Alauda arvensis*. Linn.

3) *Scarabeus agricola*. Linn.

4) *Cicindela campestris*. Linn.

5) *Grillus campestris* (Linn.). Le Grillon des champs. Il se creuse sur les bords des chemins, dans les terrains secs et exposes au soleil des trous assez profonds, où il se tient l'affût des insectes, dont il fait sa proie... Le mâle produit un bruit aigu et désagréable (Cuvier).

6) *Grillus migratorius*. Linn.

7) *Aceridum*. Сію саранчу въ Аравіи и другихъ восточныхъ странахъ различно приютываютъ и употребляютъ въ пищу, и также дѣлають изъ нея муку для печенія хлѣбовъ. (Her. Her. Ломекаго).

8) *Grillus domesticus*. Linn.

Примѣчанія дядюшки.

— Знаю, знаю сверчка: когда я проживалъ въ домѣ Петра Ивановича, то часто слушалъ его пѣсни.

— Ну, вот видите, я вамъ говорилъ, что то, что ¹⁾ я вамъ скажу, будетъ очень для васъ поучительно. И я готовъ перекричать всѣхъ насѣкомыхъ, что Петръ Ивановичъ великій человекъ.

— Ваша правда, очень великій: будетъ съ поверстный столбъ, который стоитъ при началѣ этой дороги, если знаете.

— Я все знаю! Но позвольте вамъ доложить, что одинъ изъ сверчковъ, именно братъ дѣдушки моего пріятеля, жилъ во время оно въ домѣ пастуха Демида—а вамъ небезызвѣстно то, что пастуха уважають и слушаются всѣ, даже быки и кони!—жилъ, былъ уважаемъ и пѣлъ такъ громко, что заглушалъ синичку, летавшую всю зиму по избѣ, съ которою онъ былъ въ непріязненныхъ отношеніяхъ, потому что боялся, чтобы она его не съѣла. Обиталище его было подъ печкой, въ глубокой, уединенной трещинѣ, откуда онъ только выходилъ ночью и, покровительствуемый глубокимъ мракомъ, воспѣвалъ отъ полноты души восторженные пѣсни!... Мало этого, родъ человѣческій уже давно оцѣнилъ заслуги нашего рода и даже сочинилъ въ похвалу намъ какое-то пріятное изреченіе ²⁾. Я пытался перевести его на наше нарѣчіе, потому-что знаю языкъ человѣческій...

— Вот видите! это величайшая рѣдкость!
Гдѣ же вы учились языку человѣческому?

— Почти нигдѣ. Я разъ какъ-то подслушалъ, какъ проѣзжавшій мимо извозчикъ бранилъ лошадей; эту фразу я взялъ за основаніе, составилъ себѣ систему, а остальное дополнило воображеніе... и вышло очень хорошо — спросите у всѣхъ. Пойдемте въ мурaveйникъ.

— Увольте меня, ради знойного дня.

— Какъ вамъ угодно. Теперь я расскажу вамъ о себѣ. Я... ахъ! извините... мнѣ должно пѣть, видите, взлетѣла на горизонтъ птица; да какъ высоко летить!... пою, пою...

И полевой сверчокъ затянулъ пѣсню:

Привѣтствую тебя, прекраснѣйшая птица:
Какая прелесть, красота пернатая, въ тебѣ
видна!

О! недоступная для нашихъ глазъ ты быть
должна

Всѣмъ соколамъ, чижамаъ, скворцамаъ и
воробьямаъ сестрица.

Лети себѣ, крылами воздухъ разсѣкая.
Счастливъ я и на землѣ, тебя лишь воспѣвая... 3)

1) *Что*—безпрестанно встрѣчается въ рѣчахъ полевого сверчка, а потому я рѣшился оставлять эту частицу, какъ она была въ оригиналѣ, для сохраненія самостоятельности слога.

2) Я полагаю: *знай сверчокъ свой шестокъ.*

3) Всей красоты подлинника невозможно

Окончивъ пѣсню, полевой сверчокъ высунулъ головку изъ-подъ листка и, увидя, что птица уже пролетѣла, немного успокоился.

— Ваша пѣсня довольно дика, замѣтилъ
я изъ вѣжливости.

— Помилуйте-съ! скажу вамъ откровенно, что въ томъ, что поется на бѣломъ свѣтѣ, никто не знаетъ болѣе толку, чѣмъ я. Я самъ пою безпрестанно; ничто не уйдетъ отъ моей пѣсни; я переложу всѣхъ животныхъ. Да, если по правдѣ сказать, то кто теперь поетъ? жаворонки, зяблики, скворцы, соловьи и прочіе... Сами посудите, что это за народъ! ни одного насѣкомаго! всѣ—птицы. Птицы! Эка невидаль какая!.. Рады, что живутъ въ гнѣздахъ повыше нашего брата! А самъ ихъ соловей учился у меня. Вы слышали соловья?

— Какъ же! прекрасно поетъ.

— Да, порядочно; но главная красота его пѣнія заключается въ звукахъ: чикъ, чикъ, чикъ, чикъ! и это онъ у меня перенялъ.

— У васъ?

— Да-сь. Прежде соловей пѣлъ какъ-то странно: пикъ, пикъ... Но я первый рѣшился запѣть чикъ, чикъ — и соловей нѣсколько разъ прилеталъ къ муравейнику, у котораго я пѣлъ, и сидивалъ долго, изучая мое пѣніе. Послѣ слышу: онъ поетъ чикъ, чикъ!.. Да-сь! перенялъ; а злоба и зависть даже и на это не соглашаются! Вообразите! мои недоброжелатели распустили слухъ по всему полю, что соловей прилеталъ къ муравейнику, гдѣ я пѣлъ, не за тѣмъ, чтобъ учиться пѣть, но чтобъ покушать муравьиныхъ яичекъ!

— Это ужасно!

— Именно ужасно! Поютъ какія-нибудь верхолетки, которыя порхаютъ по верхушкамъ деревь, а нашему брату, изучающему природу въ ея основаніи, при корнѣ, не даютъ хода! То ли было въ старинныя времена! Здѣсь пѣлъ пѣтухъ, потерянный на нашемъ полѣ хмѣльному бабю, да, самъ пѣтухъ, котораго даже люди разводятъ въ домахъ своихъ ради пѣнія; мало этого, здѣсь свистѣлъ свои пѣсни сурокъ, изучавшій природу, какъ и мы, въ уединеніи, въ нѣдрахъ темной норки. И теперь не могу вспомнить равнодушно о томъ, какъ свистѣлъ онъ: его рѣзкій свистъ рѣшительно заглушалъ все и даже самого пѣтуха. Да, было времечко! Охъ, старина, старина!...

— Вы полагаете, встарину было лучше?

— Несравненно! Тогда даже одинъ соло-

передать языкомъ челоѣческимъ; однако и прозу, и стихи полеваго сверчка я старался переводить какъ можно ближе, сохраняя въ послѣднихъ даже размѣръ подлинника.

Примѣчанія двдущики.

Примѣчанія двѣдушки.

кой пѣлъ пѣсни кузнечика, слышу въ мнѣ ихъ знаменитыхъ родственниковъ.

Нашему родственнику?

Да-съ, родственнику: онъ былъ дворянинъ дядя брата ожесточеннымъ жестокимъ, умершимъ стропиломъ жабы исполненнаго роста, въ достопримечательную эпоху, извѣстную въ исторіи подъ именемъ войны мышей съ лягушками.

Развѣ онъ былъ мышь?

Нѣтъ; онъ былъ тоже полевою нашкодомъ, а попалъ въ войну единственно по добротѣ сердца и враждебной храбрости: не могъ терпѣть трусости. Мыши поколотить лягушекъ онъ тотчасъ къ мышамъ и поеть имъ похвалу. Лягушки ли одержать верхъ онъ въ станѣ лягушекъ, и тупеетъ съ ними галопадъ, и перевозоситъ ихъ удалество, и поеть имъ пѣсню. Сколько разъ говорили ему родственники: „ой, кузнечикъ, не юли! не яришь!“ и слушать не хотѣлъ, пока, пойманный въ неприютельскомъ лагерѣ, не былъ предательски умерщвленъ огромною стропиломъ жабой!... Непривда ли, что то, что я вамъ говорю, послужитъ вамъ источникомъ къ размышленіямъ?

Согласенъ. Но скажите, ради вашего прекраснаго голоса, какой это птицѣ вы пѣли похвалу?

Удовлѣворить исполнѣ васъ я не могу, потому-что самъ хорошенько не знаю ея породы, но полагаю, что она птица сильны, отъ того, что летитъ высоко; слабая птица такъ не подымается; побоятся; сверхъ-того, она полетѣла по направленію къ Муромскимъ лѣсамъ, а тамъ, вы знаете, что все огьвлеченная дичь, такъ пусть и о нашь тамъ слово скажетъ, что, дескать, и въ полѣ не безъ дичи-съ.

А! такъ я ее еще увижу?

Навѣрите-съ, повѣрите, что я все знаю; вы ее не увидите, потому-что она полетѣла въ Муромскіе лѣса.

Да и я, вѣдь, скачу туда же.

Какъ, и вы въ Муромскіе лѣса? и вы туда же путешествуете?

Что тутъ удивительнаго?

Разумѣется, ничего, мой благородный поетъ. Я посканцаю отъ радости, что, наконецъ, познакомился съ животнымъ, которую такъ необразованно... такъ...

Поросенку лѣтитъ!

И не лѣтитъ: какъ-то лѣтитъ на сердце и удивлю васъ, что не лѣтитъ. Ахъ! еслибы вы знали, что и я давно уже собираюсь путешествовать. Еслибы вы знали, что я торжало на пойдъ за свое добродѣтели и правды! Вотъ, напримеръ, мой соседъ, полевой скачунъ мой злѣйшій врагъ! онъ хотѣлъ сдѣлать мнѣ невозможныя неприят-

ности... дакъ вѣдь выдѣлалъ: порѣлъ нацѣлъ нашего протѣвѣннаго, извѣстнаго не хотѣлъ сдѣлать мой пѣсни скачку.

— А я думалъ, что онъ будетъ приятель. Вы, кажется, его называли протѣвѣннымъ соседомъ!...

— Изъ одной только жалости. Дай мнѣ побольше силы—онъ бы записалъ по моему дудѣ. Но я, слабое, тощее, обожженное природой нашкодомъ, что могу я сдѣлать? только терпѣть, или удалиться. Рѣшаюсь на последнее: путешествую! Скачешь вѣстѣ, мой добрый гость!

— Вотъ моя лапа.

Полевой сверчокъ съ чувствомъ схватилъ мою лапу своими двумя лапками и, присѣдая на одномъ мѣстѣ, похвалъ ее. Черезъ нѣсколько времени я скачалъ уже далѣе и полевой сверчокъ, взмохъ мнѣ на спину, кричалъ всѣмъ встрѣчнымъ животнымъ: „не нужно ли вамъ чего въ Муромскихъ лѣсахъ? мы, вотъ, туда путешествуемъ“.

III.

ПОЛЕВОЙ СВЕРЧОКЪ ЛѢСТИТЬ ЖУРАВЛЯМЪ.

Скачу да скачу я, все далѣе и далѣе; кругомъ меня исчезаетъ всякая образованность и возникаетъ дичь. Ахъ, какъ весело!... уже рѣдко встрѣчаются обработанные поля и нивы, лѣса становятся чаще, пустыри огромны, кустарники и дикій верескъ почти непроходимы. Я скачу, у меня на шеѣ сидитъ мой товарищъ, полевой сверчокъ, и поетъ пѣсню—очень весело! Послала же мнѣ судьба такого прекраснаго товарища!—Меня удивляетъ непонятная способность полевого сверчка пѣть обо всемъ; въѣдетъ въ лѣсъ—онъ поетъ:

О лѣсъ, о лѣсъ, о лѣсъ, великій лѣсъ,
Пою тебя, кладу на сердце руку
И говорю: о лѣсъ! всегда ты здѣсь:
Не перенести съ тобою мнѣ разлуку!..

Прискакали въ рощу—ужъ онъ пишитъ другую пѣсню:

О роща! я тебя люблю, какъ человекъ квасъ
и кашу;
И лѣсъ противъ тебя—естественный дуракъ.
Собой ты прославилъ: роща, землю нашу...
Я говорю, пока такъ это вѣрно такъ...

Выскачу я изъ рощи на степь, полевой сверчокъ покрѣпче ухватится мнѣ за мою заднюю лапку, переднія подымаетъ вверхъ и дико запишитъ:

О степь! о протѣвѣнный видъ!
И лѣсъ и роща—дряхль передъ тобою!

Кто, глядя на тебя, спокойствіе хранить,
Или о рожахъ смѣетъ говорить,
Тотъ низокъ, тотъ не дикъ душою! .
Я знаю толкъ во всемъ—повѣрь мнѣ, не шутя!
Что, глядя на тебя, я плачу какъ дитя...

И много, много подобной дичи напѣвалъ мнѣ надъ самымъ ухомъ мой товарищъ; иногда дичь доходила до такой нелѣпости, что выразить ее нѣтъ никакихъ словъ на языкѣ звѣриномъ, даже, сколько я понимаю, и на языкѣ человѣческомъ. Часто я, слушая пѣсни полевого сверчка, останавливался на всемъ бѣгу и, пораженный, уничтоженный высочайшею ихъ необразованностью и звѣрствомъ, стоялъ благоговѣйно, какъ пень, какъ мерзлая лягушка. Нѣтъ, кто что ни говори, а по-моему полевой сверчокъ—умнѣйшее насѣкомое: чего онъ не знаетъ, чего онъ не вѣдаетъ! Запечнаго сверчка я не уважаю; но полевой—дичайшій звѣрь!...

Разъ, подвечеръ, мы встрѣтились съ дикимъ кроликомъ; разговорились о томъ, о другомъ, вышло, что онъ мнѣ съ родни. Славный малый, почти безъ образованія; далеко выше стоитъ тѣхъ, которыхъ и видывалъ на дворѣ Петра Ивановича: тѣ, живя съ людьми, почти потеряли свою дикость, изнѣжились, ослабли, бредятъ какимъ-то комфортомъ (должно быть, слово рыбьяго языка, котораго я не знаю), стали очень довѣрчивы и отъ того часто, недумано, негадаю, попадаютъ въ супъ, а супъ такая гадость, которую, я полагаю, ни одинъ хоть немного дикій звѣрь не можетъ попробовать, не потерявъ на цѣлые сутки аппетита.

Мы съ родичемъ съѣли листка по четыре хорошей заячьей капусты. Полевой сверчокъ не отказался раздѣлить нашу трапезу. Между разговорами, кроликъ сказалъ мнѣ: „итакъ, вы, любезнѣйшій родственникъ, скоро достигнете цѣли вашего путешествія, проскакавъ денекъ-другой, будете въ Муромскомъ лѣсу—славное мѣсто! заросли необыкновенныя, собаки не бѣгаютъ, люди тоже—прелесть!...“

— Ахъ, какъ я радъ! сказалъ я.

— Только, продолжалъ кроликъ:—если вы любите овесъ, то совѣтую вамъ покушать его сегодня вдоволь.

— А развѣ въ Муромскихъ лѣсахъ нѣтъ овса?

— Нельзя сказать, чтобъ не было—чего тамъ нѣтъ! но, видите, его очень мало и вообще онъ поѣдается звѣрями сильными, большими: лошадьми, оленями, зубрами; даже простой быкъ не рѣшается кушать овса, боясь непріятностей, потому-что тамъ овесъ звѣринный, а не сѣянный людьми. Но сегодня вы еще можете воспользоваться. Не-

далеко отсюда какой-то человѣкъ вздумалъ засѣять ниву овса, и мы, звѣри, считая это нарушеніемъ своихъ правъ, опустошаемъ его частенько. Мое почтеніе, любезнѣйшій родственникъ. Кланяйтесь отъ меня тушканчикамъ ¹⁾, познакомьтесь съ ними: ребята теплые, отличные прыгуны, они же намъ съ родни приходятся.

— Прощайте! А овесъ я гдѣ найду?

— Тутъ, недалеко, вамъ по дорогѣ будетъ нива.

— Прощайте, почтеннѣйшій, записалъ полевой сверчокъ.—Минуты вашего драгоценнаго знакомства никогда не изгладятся изъ моего сердца.

— Прощайте, доброе насѣкомое.

Кроликъ ускакалъ, и я отправился своею дорогой.

— Вашъ родственникъ не чета вамъ, сказалъ полевой сверчокъ, когда кроликъ скрылся изъ виду.

— Какъ такъ?

— Да такъ; я повседневно, можно сказать ежечасно, удивляюсь вашему уму, а онъ... — А онъ?

— Дуракъ, чистый дуракъ, образованный, съ позволенія вашего...

— Не слишкомъ ли это? вы ошибаетесь.

— Повѣрьте, то, что я говорю, всегда правда; это я знаю, и всѣ знаютъ, я говорю по убѣжденію.

— По какому?

— Развѣ вы не замѣтили, что когда вы сказали слово комфортъ, какъ онъ глупо махнулъ лѣвымъ ухомъ; онъ рѣшительно не понимаетъ этого слова, хотя то, что вы замѣтили, что это слово изъ рыбьяго языка—чрезвычайно справедливо.

— Вы полагаете?

— Помилуйте-съ, совершенно увѣренъ, на этомъ живемъ-съ! Комфортъ значитъ камышинка; и если, положимъ, говорить: улитка влѣзла въ комфортъ, это значитъ улитка спряталась въ камышинку. Ужъ я знаю рыбій языкъ; между нами сказать: скверный язычишка; кажется, и смысла нѣтъ по нашему, очень образованно, а по ихъ это хорошо, дико.

Убивая время подобными разговорами, мы наконецъ прискакали къ желанной нивѣ съ овсомъ и услышали очень дикую музыку. На нивѣ было гостей множество—цѣлое стадо журавлей. Пять или шесть особъ изъ этого стада стояли въ концѣ нивы, каждый поджавъ подъ себя одну ногу, и во все горло кричали на голосъ стариннаго экоссеса извѣстную журавлиную пѣсню:

¹⁾ Mus jacalus (Pall.).

Примѣчаніе дѣдушки.

Прилетѣли на овесъ
И покушали овесъ.
Ай люли, ай люли! (bis.)
Хоть не любимъ мы овса,
Но отвѣдали овса.
Ай люли, ай люли! (bis.)
Мы бродили по овсу,
Честъ мы сдѣлали овсу.
Ай люли, ай люли! (bis.)
Мы плѣнились овсомъ,
Подкрѣпилися овсомъ.
Ай люли, ай люли! (bis.)

Музыканты играли неумоимо, а прочіе журавли танцевали препріятный танецъ: то собирались въ кружокъ, подымая вверхъ крылья, то, разсыпаясь, прыгали по нивѣ и каждый въ одиночку неподражаемо плуталъ длинными ногами и выдѣлывалъ самыя дикія па.

Я хотѣлъ-было, вздохнувъ, проскакать мимо овсяной нивы, но мой товарищъ запищалъ мнѣ: „не дѣлайте этого, вѣдь вамъ журавли хоть и не большіе пріятеля, но и не враги; насъ, другое дѣло, эти невѣжи часто очень образованно хватаютъ своими длинными носами; полевой сверчокъ самое несчастное животное!... А вы можете воспользоваться пищею, да не забудьте унестъ и для меня во рту одинъ колосокъ.

— А вы куда? спросилъ я.

— Э, почтеннѣйшій! журавли враги мнѣ, я спрячусь; ужъ позвольте мнѣ влѣзть на ваше ухо: я помѣщусь въ немъ очень спокойно, оно такое большое; признательно сказать, у васъ уши, какъ у добраго дикаго осла — удивительныя уши, чуть ли не больше ослиныхъ; я даже гдѣ-то читалъ объ этомъ, — кажется, въ диссертациі о превратности счастья, сочиненія сѣраго попугая Попки, или синей мясной мухи — не могу сказать утвердительно, а помню даже форматъ этой лапописи: на зеленомъ лапушномъ листѣ въ полскачка длиною.

Говоря такимъ образомъ, полевой сверчокъ залѣзъ мнѣ въ ухо и шепнулъ, чтобъ я бѣжалъ смѣло къ нивѣ. Ему хорошо было давать совѣты спрятавшись, а меня немного взяло раздумье: „что если одинъ изъ этихъ болвановъ, для потѣхи, такъ разыгравшись, мимоходомъ задѣнетъ меня носомъ: шутки плохи: можно лишиться глаза“, и я робко подскочилъ къ музыкантамъ и остановился въ недоумѣніи. Музыканты разомъ повернули ко мнѣ свои шеи и, увидѣвъ, что я не изъ числа враговъ, занялись своимъ дѣломъ. Вдругъ мое ухо запѣло — да, полевой сверчокъ началъ изъ моего уха подѣлывать журавлямъ! Чуть музыканты окончатъ:

Ай люли, ай люли,

а полевой сверчокъ и подпоетъ:

Патріоты журавли!

Танцоры скоро замѣтили эту прибавку въ стихахъ экоссеа и шумной толпой подбѣжали къ музыкантамъ, крича: „браво! браво! молодцы!“

— Кто это изъ васъ такъ хорошо подхваливаетъ? спросилъ самый большой журавль, вѣрно, начальникъ.

— Не можемъ знать, отвѣчали въ одинъ голосъ музыканты.

— Быть не можетъ, я самъ слышалъ.

— И мы, и мы, закричало все стадо.

— Не бойтесь ничего, это дѣло хорошее, сказалъ старый журавль: — не къ чему запариться.

— Право-слово, не можемъ знать. Развѣ вотъ они.

Говоря это, музыканты показали на меня. Стадо стояло въ недоумѣніи; старый журавль призадумался съ минуту и сказалъ музыкантамъ: „а ну-тка еще!“ Музыканты вытянули шеи и начали отхватывать прежнюю пѣсенку; но чуть они кончили:

Ай люли, ай люли,

полевой сверчокъ подпѣлъ изъ моего уха громче прежняго:

Патріоты журавли!

Прелестъ—наши журавли!

— Стой! закричалъ старый журавль: — теперь понимаю.

Музыканты остановились, а онъ подошелъ ко мнѣ, расшаркался самымъ вѣжливымъ образомъ, произнесъ рѣчь, въ которой изъяснилъ свое удивленіе, встрѣтивъ между четвероногими такого пріятнаго пѣвца, наговорилъ мнѣ кучу любезностей и пригласилъ раздѣлить съ его стадомъ человѣческій овесъ. Я покушалъ препорядочно и еще унесъ съ собой нѣсколько самыхъ сочныхъ вѣточекъ. Удивительно смѣтливое и находчивое насѣкомое — полевой сверчокъ!

IV.

заяцъ прискакалъ благополучно.

Наконецъ мы прискакали въ Муромскій лѣсъ. Чудное мѣсто! Глубочайшая дичь! Кругомъ чертополохъ, репейникъ, терновникъ, шиповникъ и всякія добрыя растенія, да еще — дубы, сосны, ели, березы... трава невылазная... Мой товарищъ, сидя у меня на шеѣ, еще издали началъ громко хвалить Муромскій лѣсъ, сравнивалъ его съ други-

и ругалъ, насмѣхался надъ другими лѣ-
и, называя ихъ лѣсишками — даже на-
илъ мнѣ. Узенькой тропинкой я вы-
илъ на небольшую чистенькую площад-
тервинный точекъ, какъ я узналъ послѣ;
лошадкѣ гордо ходилъ пѣтухъ, подлѣ
цадки, въ болотномъ камышѣ, сидѣлъ
зень и лежала большая свинья. Я хо-
-было проскочить мимо, какъ пѣтухъ
родилъ мнѣ крыломъ дорогу, гордо от-
илъ одну ногу впередъ и крикнулъ на
истый напѣвъ кукареку: „кто такіе?“
Путешественникъ, отвѣчалъ я, низко
гаясь.

Кто такіе? повторялъ пѣтухъ, громче
княго.

Я заяцъ, сѣрый заяцъ, русакъ, что на-
ется, а это мой искренній другъ, по-
й сверчокъ, невообразимо-дикій пѣвецъ.
Такъ, такъ, дѣти, такъ! заговорилъ
лымъ голосомъ селезень, выбираясь
камышѣ.

Пѣтухъ сзысока, надмѣнно смотрѣлъ
иасъ; селезень тоже подошелъ, перева-
иасъ съ боку на бокъ, любопытно огля-
иасъ кругомъ и сказалъ: — такъ, такъ!

Полно кричать! спать не даютъ про-
ые, проворчала свинья, приподнявъ не-
о изъ болота свою жирную голову, и
ъ улеглась.

Селезень тоже убрался въ камышъ,
оряя:

Такъ, такъ, такъ!...

Убирайтесь! прокричалъ пѣтухъ преж-
ь напѣвомъ и пошелъ ровнымъ шагомъ
лошадкѣ, а мы поскакали въ самую
у лѣса.

V.

ЗАЯЦЪ НЕМНОГО РАЗСУЖДАЕТЪ.

Хороши Муромскіе лѣса, а правду ска-
въ нихъ часто придется нашему бра-
маленькому звѣрю, умирать съ го-
и. Я началъ-было ѣсть траву подлѣ
ювника; откуда ни возмись коза, при-
ивно раскланялась и говоритъ:

Позвольте узнать, что вы намѣрены
ить?

Хочу немного перекусить, отвѣчалъ я.

Мнѣ очень жаль, сказала она, что я
зна вамъ отказать въ этомъ удоволь-
и: я персона бѣдная, только и имѣю,
это мѣсто для корма; и если буду поз-
ить всякому пользоваться, то, посудите
и—вы умный человѣкъ—могу остаться
и, пищи, и, говоря это, она довольно-
рѣнно направила на меня пару своихъ
ыхъ роговъ.

— Извините, пробормоталъ я и поскакалъ
далѣе.

Въ другомъ мѣстѣ баранъ очень вѣж-
ливо говорилъ мнѣ, что считаетъ за честь
со мною познакомиться, что очень много
хорошаго слыхалъ обо мнѣ; но, при всемъ
желаніи мнѣ добра, никакъ не можетъ поз-
волить пастись около себя. Тамъ оселъ
просто говорилъ: „убирайся, братецъ, къ
чорту! самому травы мало“; здѣсь лошадь,
не говоря ни слова, такъ значительно по-
дымала свою ногу, вооруженную широкимъ,
твердымъ копытомъ, что я, сколько силъ,
улепетывалъ подальше; но болѣе всѣхъ меня
удивила лисица, которая не позволила щипать
травки: „я, говоритъ, здѣсь живу близко“.

— Помилуйте, сударыня, сказалъ я; всѣмъ
извѣстно, что вы не употребляете постнаго:
ни травы, ни листьевъ, на что же вамъ
они? Позвольте попользоваться бѣднымъ
звѣрю.

— По вашему выговору, и еще болѣе по
образу мыслей, замѣчаю, что вы иностран-
нецъ, отвѣчала лисица: — и потому позволъ-
те вамъ дать совѣтъ прыгать подальше отъ
моего жилища: вы звѣрь очень дикій и безъ
всякаго образованія, но слабый; знаете, у
насъ, какъ и вездѣ, плотоядные звѣри лю-
бятъ иногда, для потѣхи, придушить ва-
шего брата. Согласитесь, какъ мнѣ будетъ
непріятно, когда волкъ, или кто другой, го-
нясь за вами, ворвется въ мое гнѣздо: я
должна буду защищать свое семейство, и,
ни за что ни про что, входить въ драку
и ссориться съ сильными звѣрями.

— Однако... началъ было я, но лисица
зѣвнула передъ самымъ моимъ носомъ и
такъ страшно оскалила свои собачьи зубы,
что я вспомнилъ Великана и опрометью
бросился далѣе. Въ-силу къ вечеру набрѣлъ
на семейство тушканчиковъ, передалъ имъ
поклонъ отъ кролика, посчитался съ ними
родствомъ и перекусилъ не очень вкуснаго
моху; они и сами, бѣдные, кое-какъ имъ
перебиваются, а живутъ весело, скачутъ,
прыгаютъ—славный народъ!

— Кто васъ заставляетъ жить въ этомъ
лѣсу, спросилъ я своихъ родичей: — если
здѣсь пища такъ трудна?

— Да мы лучше станемъ поститься трое
сутки, нежели бросимъ Муромскій лѣсъ,
завопили они хоромъ.—Помилуйте, гдѣ вы
найдете такую дикость, такое тонкое не-
вѣжество, такое отсутствіе всего, что но-
ситъ хоть тѣнь образованія?

— Правда, правда. Однако у меня въ ро-
димой рошѣ столько заячьей капусты,
столько...

— Зачѣмъ же вы пришли сюда? жили
бы тамъ у себя, ждали бы каждый часъ,

что васъ затравить человѣкъ или придушить собака!.. Тутъ воля, свобода, звѣрство.

Родственники говорили правду, но я не привыкъ питаться мохомъ: я избалованъ съ дѣтства, и рѣшился подражать сильнымъ звѣрямъ. Я замѣтилъ, что медвѣди и волки всегда жириѣ нашего брата, всегда у нихъ бока полны и шерсть лостится. Вотъ я и пошелъ къ одному извѣстному волку проситься въ науку. Голодъ не свой братъ.

VI.

ЗАЯЦЪ БЕРЕТЪ УРОКИ.

Волка я засталъ грызущимъ косточку.

— Позвольте потревожить ваше занятіе, сказалъ я самымъ благоприличнымъ голосомъ, наклоня правое ухо до земли.

— Что-съ? спросилъ волкъ, не выпуская изъ рта косточки.

— Позвольте бѣдному травоядному, грызуну, отнять у васъ нѣсколько минутъ драгоценнаго времени, посвящаемаго вами такимъ полезнымъ занятіямъ!

— Говори, братецъ, ясиѣ: ничего не понимаю.

— Будьте отцомъ и благодѣтелемъ, сказалъ я, падая на колѣни: — научите меня охотиться по-вашему. Я бѣдный звѣрь, трава мнѣ прискучила, плохо жить нашему брату; хочу ѣсть мясо, хочу сдѣлаться волкомъ...

— Благодарн судьбу, что я сытъ, а то примѣрно наказалъ бы тебя за твою дерзость. Какъ ты смѣлъ, скверный мальчишка, подумать о чести сдѣлаться волкомъ! Посмотри на себя въ лужу: похожъ ли ты съ виду на нашъ великолѣпный родъ? гдѣ у тебя нашъ увѣсистый хвостъ, этотъ чувствомѣръ, какъ назвала его одна лягавая собака? гдѣ у тебя сильныя, крѣпкія лапы? гдѣ широкая пасть и многоуважаемые волчьи зубы? Ты съ ума сошелъ, или гдѣ-то у людей образовался, молодой звѣришка—правда?

— Точно, вы изволите говорить правду, мой кровожаднѣйшій! Я имѣлъ несчастье прожить двадцать дней въ человѣческомъ домѣ и, смѣю васъ увѣрить, кромѣ языка, ничего по человѣчески не понимаю. Но вы не поняли меня: я очень далекъ отъ чести сдѣлаться волкомъ; мнѣ бы хотѣлось только перенять ваши приемы, ваши средства, вашу ловкость при нападеніи на звѣрей...

— Смѣшно мнѣ твое желаніе; впрочемъ, поучись, пожалуй; а если ты понимаешь человѣческія рѣчи, то можешь немного быть мнѣ полезнымъ, но не сегодня; сегодня я съ пріятелемъ хорошо позавтракалъ и хочу отдохнуть.

— Могу ли выразить мою величайшую...

— Безъ благодарности; эта штука ни грѣтъ, ни кормитъ.

О волкъ, о звѣрь, о кровожадность!
Тебя хочу я пѣть и голосъ мой теряетъ всю пріятность.

О диво...

запѣлъ-было полевой сверчокъ.

— Это что за дрянъ пищитъ? спросилъ волкъ.

— Мой пріятель, полевой сверчокъ...

— Слишкомъ, братецъ, много чести, что я и тебя принялъ подъ свое покровительство, а ты еще привелъ сюда гадкое насѣкомое. Вонъ его!

Я сказалъ нѣсколько словъ въ защиту полевого сверчка, но волкъ разсердился и хотѣлъ придушить его лапой. Сверчокъ въ два прыжка очутился на деревѣ, разругалъ волка и меня, сказалъ, что я неблагодарнѣйшее животное, что я дѣйствую очень образованно и, положя руку на сердце, поклялся мстить мнѣ до конца дней. Такъ мы разстались съ дорожнымъ товарищемъ. Не знаю, за что полевой сверчокъ разозлился на меня; я, кажется, и привезъ его въ Муромскіе лѣса на спинѣ своей, и всегда дѣлилъ съ нимъ послѣдній листочекъ зелени, и пряталъ его отъ непріятелей въ свое ухо. Не умереть же мнѣ съ голоду ради пріятеля, ради поющаго насѣкомаго, когда мой благодѣтель, будущій мой наставникъ и покровитель не взлюбилъ его.

Волкъ уснулъ, приказавъ оберегать его во время сна отъ всякаго шума, особливо не допускать на его персону падающихъ листочковъ. Я присѣлъ на заднія лапки, поворачивалъ безпрестанно голову во всѣ стороны и, схватывая на-лету падавшія съ дерева листья, сѣдалъ ихъ. Подобное занятіе немного безпокойно, но полезно.

Путру волкъ послалъ меня провѣдать, нѣтъ ли гдѣ на опушкѣ лѣса домашнихъ животныхъ, и если есть, то нѣтъ ли близко людей.

Я скоро возвратился.

— Ну что? спросилъ волкъ.

— Есть, отвѣчалъ я.

— Что такое?

— Здоровая, возовая лошадь.

— А люди?

— Людей нѣтъ, ушли версты за полторы въ кабакъ, а лошадь пустили подальше въ лѣсъ, чтобъ напаслась.

— Нѣтъ ли засады?

— Нѣтъ. Я слышалъ людскія рѣчи: молодой, говорилъ: „Заѣдемъ, дядюшка, въ кабакъ, тамъ лошади и овса купимъ и сами перекусимъ“. — „Вишь какой бойкой“ говорилъ старикъ, „много у тебя денегъ на

ть? — „Баринъ, кажись, вамъ пожаловало? — „Мало чего нѣтъ! станешь овесъ пать, такъ не на что будетъ и выпить. одая у тебя голова, глупа!... Мы вотъ, пустимъ гнѣдка напасть въ волю, зайдетъ подальше отъ дороги въ лѣсъ, ми сбѣгаемъ въ кабакъ, недалеко елка (а; повозка тутъ постоитъ, благо пу-“ — „А кабы что не случилось?“ на- было молодой, да старикъ перебилъ „молодъ, братъ; впервые ѣздишь по кому дѣлу, вотъ такъ бы и дрожалъ по- ! Слушай меня, старика, я человѣкъ олой“.—Вотъ и пошли они въ кабакъ, со всѣхъ ногъ сюда.

Мегсі! сказалъ волкъ, и мы отправи- въ походъ.

Когда мы прискакали на мѣсто, людей не было; большой, жирный, гнѣдой стоялъ у куста орѣшника и въ пол- са высчитывалъ тяжесть покупокъ, ко- я долженъ будетъ везти обратно изъ да, а между-тѣмъ, вытянувъ кверху, щипалъ съ куста молодые побѣги.

Теперь приготовимся, сказалъ волкъ, дя меня въ сторону.—Первое правило уничтоженія большихъ животныхъ— шой вѣсь. Чѣмъ болѣе въ насъ вѣсу, . быстрѣе и легче мы душимъ силь- ь животныхъ. Я сегодня очень легко! . этимъ словомъ онъ началъ ѣсть землю. Что, у меня глаза красны? сказалъ , покушавъ немного земли.

Немного.

Волкъ опять принялся за землю.

А теперь?

Красны, очень красны.

Шерсть ошетижилась?

Нѣтъ.

Волкъ опять покушалъ земли.

Теперь ошетижилась?

Ошетижилась.

Бока потолстѣли?

Потолстѣли.

Хвостъ приподнялся?

Виситъ, какъ палка.

Плохо! И волкъ началъ ѣсть землю во ротъ.

Не подымается?

Приподымается.

Ну, хорошо, теперь видишь, я сердить желъ, брошусь на лошадь, она меня отащитъ.

И, съ этимъ словомъ, въ два прыжка повисъ на шеѣ бѣднаго гнѣдка; гнѣдко ерерѣзаннымъ горломъ упалъ на траву. У! какъ сталъ страшенъ волкъ въ это я! онъ жадно, торопливо раздиралъ этавшую лошадь, пилъ ея кровь, оскатъ красные зубы; глаза его сверкали, орлъ слышался удушливый хрипъ. Я

бросился изъ всѣхъ ногъ, радуясь, что знаю секретъ волчьяго промысла.

— Хорошо! сказалъ кто-то у меня надъ самымъ ухомъ, когда я отскакалъ съ версту отъ волка.

— Это вы, полевой сверчокъ? спросилъ я, узнавъ пріятеля по голосу.

— Я, почтеннѣйшій. Извините, я опять сижу на вашей шеѣ: знаете, у меня къ вамъ влеченье, родъ недуга...

— Вы мнѣ, кажется, разсердились на меня?

— Помилуйте! можно ли на васъ разсердиться? вы, просто, дичайшій изъ зайцевъ! Я все слѣдилъ за вами, съ вѣточки, на вѣточку, съ листочка на листочекъ, боялся спустить васъ съ глазъ, и очень радъ, что вы знаете средство сражаться съ лошадьми.

— А вы слышали? видѣли?

— Какъ же! Удивительный способъ! Положа лапу на сердце, увѣрю васъ, что вы теперь станете ужасомъ всѣхъ звѣрей; лучшая трава и горошекъ во всемъ Муромскомъ лѣсу будутъ къ вашимъ услугамъ. Повѣрьте мнѣ, мнѣ эта грамота немножко извѣстна: я часто видывалъ подобные примѣры; одинъ даже описанъ моимъ дѣдушкой съ теткой стороны, во время извѣстной въ исторіи войны мышей съ лягушками. Знаете, я вамъ скажу, что вы теперь, что бы ни захотѣли, можете, что называется, сразу уничтожить. Вотъ, на примѣръ, баранъ; хотите, нападёмъ на него?

— Нѣтъ, отвѣчалъ я; если нападать, такъ нападать на что-нибудь покрупнѣе.

— Превосходно! О, дичайшій мой! вотъ пасется осель: нападёмъ что ли?

Я покушалъ земли—препротивное кушанье, ничего не могъ проглотить, все выплюнулъ, и спросилъ у полевого сверчка:— а что, глаза красные?

— Красные, какъ огонь? отвѣчалъ онъ.

— А шерсть щетинится?

— Словно ежовыя иглы!

— Бока потолстѣли?

— Будто арбузъ, такъ потолстѣли...

— А хвостъ подымается?...

— Поднимается! такъ и лѣзетъ кверху.

— Ну, хорошо, сказалъ я, пріосанился и подскочилъ къ ослу; но тутъ, признаюсь откровенно, на меня нашла сильная робость, сердце тревожно забилося, ноги задрожали, я не взвидѣлъ свѣта.

— Смѣлѣе, смѣлѣе! кричалъ мнѣ полевой сверчокъ, высоко качаясь надо мной на березовой вѣточкѣ.

Мнѣ стало совѣстно и я прыгнулъ прямо на горло ослу, оборвался, упалъ и легъ передъ нимъ, не могши, отъ страха, пошевелить ногами. Хладнокровно посмотрѣлъ на меня осель и пошелъ далѣе, лягнувъ меня копытомъ. Тутъ я ужъ ничего не

помню—все исчезло передо мной. Кажется, я уснулъ.

VII.

ПОЛЕВОЙ СВЕРЧОКЪ КЛЕВЕЩЕТЪ НА ЗАЙЦА.

Просыпаюсь и чувствую страшную боль во всемъ тѣлѣ; въ головѣ шумить; надо мной кто-то бойко, бѣгло разговариваетъ.

— Зачѣмъ онъ тутъ, кто онъ такой? говорилъ одинъ голосъ.

— Вѣрно воръ, вѣрно плутъ! прибавилъ другой.

— Разспросить, разузнать бы не худо! трещалъ третій.

— Позвольте, позвольте, я вамъ объясню, пищалъ кто-то: я все знаю, повѣрьте мнѣ, mesdames; то, что я вамъ сообщу, будетъ очень любопытно. Этотъ звѣришка, что лежитъ передъ вами, долженъ быть, что называется, какой-нибудь бѣглецъ и самого буйнаго характера; я его не знаю, да и что мнѣ за нужда знать всякую сволочь? Эка невидаль какая! но вѣрно то, что онъ вздумалъ... содрогнитесь, почтеннѣйшія дамы! вздумалъ растерзать осла, нашего доброго осла, всѣми уважаемаго осла, самого дикаго осла! Разузнется, оселъ, съ чувствомъ своего достоинства, легонько оттолкнулъ дерзкаго копытомъ и — противъ правилъ своихъ, рѣшительно противъ своего убѣжденія — убилъ гадкую тварь. Я знаю, mesdames, вашъ тонкій гастрономическій вкусъ, но знаю, что вы, изъ снисхожденія, иногда кушаете заячье мясо, которое гораздо лучше души этого звѣрька; знаю, что вы, просвѣщая муромскую дичь разными поучительными разсказами, еще не успѣли пообѣдать, и совѣтую, чтобъ что-нибудь извлечь изъ этого приключенія, отвѣдать этого зайца. Истинный мудрецъ изъ всего извлекаетъ пользу. Probatum est!...

Я открылъ глаза: вижу надъ собою семью сорокъ, которыя, прыгая по дереву съ вѣточки на вѣточку все ниже и ниже, жадно засматривали мнѣ въ глаза, а противъ нихъ разглагольствуешь полевой сверчокъ, спрятавшись, для безопасности, въ щелку дубовой коры, и высовывая только оттуда по временамъ свою голову. Сороки, увидя, что я еще живъ, быстро отлетѣли на верхушку дерева, переговорили наскоро между собой и разлетѣлись въ разные стороны свѣта оглашать Муромскій лѣсъ новою сплетней о моемъ несчастномъ сраженіи. Полевой сверчокъ, видя, что сороки удалились, вылѣзъ изъ своей щелки и тоже рѣзво поскакалъ по лѣсу, не обращая на меня никакого вниманія.

— Милостивый государь, простоналъ я: господинъ полевой сверчокъ, куда вы? Не оставляйте меня; я не сержусь за ваши сплетни съ сороками, не сержусь за ваше отреченіе; ради овса и капусты, останьтесь со мной! Видите, я раненъ, не могу встать съ мѣста...

Но полевой сверчокъ прикинулся, что не слышитъ моихъ стонów и ускакалъ далѣе. Этотъ поступокъ, очень образованный, крѣпко меня опечалилъ; я лежалъ беззащитный, съ перебитыми *скаками*, не могъ протянуть шеи, чтобъ достать листочекъ травки, стебелекъ папоротника или ключокъ моху, а онъ, мой товарищъ, котораго я привезъ на своей шеѣ въ Муромскіе лѣса, котораго пряталъ въ свое ухо, кормилъ, оберегалъ, онъ оставилъ меня! Я лежалъ и громко плакалъ.

VIII.

ЕЩЕ КЛЕВЕТА. ПЛОХО ЗАЙЦУ.

Передъ вечеромъ сѣлъ недалеко отъ меня, на деревѣ, сѣрый дроздъ, очистилъ носъ, оправилъ имъ свои перья, встрепнулся и запѣлъ пѣсню:

Жиль былъ заяцъ, сѣрый заяцъ,
Пребольшой дуракъ.
Вѣрьте мнѣ, весь свѣтъ меня знаетъ-съ
Что скажу, то быть тому такъ!...

Я не упомянулъ всей пѣсни, но въ ней весьма подробно было разсказано мое несчастное приключеніе съ осломъ. Пѣсня была, какъ всякій можетъ судить по началу, довольно-дика, по содержанію близка моему сердцу, и я рѣшился разспросить о ней у дрозда.

— Здравствуйте, милостивый государь, сказалъ я.

— Bon jour! отвѣчалъ дроздъ.

— У васъ прекрасный голосъ, чистый теноръ.

— Vous trouvez? вы думаете?

— Я, рѣдко слыхалъ подобный голосъ.

— Всѣ синички, всѣ чечотки говорятъ то же.

— Позвольте узнать, какую это пѣсню вы такъ прекрасно пѣли?

— Самую новую; она сегодня только-что вышла, напечатана въ „Трубадуръ-дю дичъ“.

— Ваше сочиненіе, смѣю спросить?

— Нѣтъ, ее написалъ какой-то полевой — не то жукъ, не то кузнечикъ, не помню хорошенько, а пѣсня пріятная, много, этакъ, знаете, чепухи...

— Не полевой ли сверчокъ?

— Oui, monsieur, да, c'est vrai, полевой сверчокъ.

— Позвольте васъ просить?

— Съ удовольствіемъ; вамъ спѣтъ что-нибудь?

— Нѣтъ; я боленъ, не могу двинуться съ мѣста, такъ нельзя ли потрудиться подать мнѣ вѣточку чего-нибудь...

— Ахъ, извините! mille pardons! Я спѣшу. Къ намъ прибыла степная перепелка, очень музыкальная особа и, притомъ, *belle femme*! Я общалъ сегодня пѣть ей при закатѣ солнца. Прощайте, au revoir!

Дроздъ улетѣлъ, напѣвая обо мнѣ пѣсенку, которую услужливое насѣкомое успѣло тиснуть въ „Трубадуръ-дю-дичъ“, и я остался безъ надежды на помощь. Къ счастью, ночь освѣжила меня холодною росой, а къ свѣту навернулся какой-то кротъ, звѣрь чернорабочій, неказистый, подслѣповатый, но добродѣтельнѣйшій изъ четвероногихъ и большой философъ. Онъ принялъ во мнѣ участіе, пріютилъ въ своей норкѣ и даже къ свѣту успѣлъ ее расширить, замѣтивъ, что она мала по мнѣ.

Добрый кротъ носилъ мнѣ разные корни и молодые отпрыски растеній, кормилъ меня, холилъ и былъ вѣкъ себя отъ радости, что такой быстрый звѣрь, какъ я, сдѣлалъ честь ему, ползуну, своимъ посѣщеніемъ. Скоки мои, которые часто невѣжи называютъ задними ногами, понемногу срослись, крѣпли; я началъ по ночамъ выходить изъ норки и, прихрамывая, прыгалъ около нея. Между-тѣмъ кротъ, возвращаясь изъ своихъ подземныхъ путешествій, приносилъ мнѣ разные вѣсти. Видѣть-то онъ почти ничего не видѣлъ, а слухъ имѣлъ необычайный, хоть у него уши маленькія, не чета длиннымъ ушамъ труса-осла, который ими ничего не слышитъ, я думаю. Вѣсти добраго крота были для меня рѣшительно непонятны, но тѣмъ болѣе пугали меня; кротъ говорилъ, что общій голосъ всѣхъ звѣрей называетъ меня нарушителемъ спокойствія, воромъ, что надо мною составили судъ и т. п. Я просилъ крота, если встрѣтитъ, привести одного изъ моихъ родственниковъ, тушканчика. На слѣдующій день тушканчикъ сидѣлъ передо мною и рассказывалъ слѣдующее происшествіе:

— Назадъ тому съ недѣлю, явился къ медвѣдю, который у насъ теперь воеводой, старый, заслуженный олень о девяти рогахъ, и жаловался, что кто-то съѣлъ два куста дикаго овса, принадлежавшаго ему, оленю. Медвѣдь велѣлъ нарядить слѣдствіе; выбрали осла, быка, лошадь и барана, назначили секретаремъ лисицу—и закипѣло слѣдствіе; двѣ дикія козы да я съ братомъ совершенно выбились изъ силъ, бѣгая за справками. Слѣдователи съѣли полстога самаго лучшаго сѣна, а дѣло не шло впередъ ни на

волось, хоть мы всѣ знали, кто съѣлъ овесъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ; овесъ съѣлъ самъ быкъ, много мелкихъ звѣрей это видѣли, да всѣ сказать боялись; а секретарь подойдетъ къ быку, пошепчется съ нимъ, да и скажетъ: „нѣтъ никакихъ слѣдовъ; пора бы распустить слѣдователей“.

— Правда, заблестъ баранъ; ему поддадутъ конь и оселъ, такъ дѣло и отложатъ до завтра.

Такъ шли дѣла. Уже медвѣдь хотѣлъ было приказать закрыть комитетъ, уже секретарь составилъ-было протоколъ, въ которомъ признано оставить въ сильномъ подозрѣніи птицу овсянку, какъ носящую кличку украденнаго предмета, вдругъ, во все неожиданно, явился гусь съ донесеніемъ, что онъ видѣлъ своими глазами вора, что онъ съ рогами, и хотѣлъ-было начать описывать его примѣты.

— Гм! гм! сказала лошадь.

— Важное обстоятельство! сказалъ оселъ: — разберите его хорошенько, господинъ секретарь.

— И мы взываемъ къ вамъ объ этомъ, замычалъ быкъ, значительно глядя на лисицу.

— Очень хорошо, отвѣчала лисица.—Но, господа, вы, кажется, устали, много работали сегодня; не пора ли разойтись? Завтра, на свѣжую память, все разсмотримъ, а доносчика посадимъ до завтра подъ караулъ.

Слѣдователи разошлись; лисица отдала гуся подъ караулъ двумъ волкамъ.

— Смотрите вы мнѣ, бирюки, сказала лисица:—только уйдетъ гусь, и сами на глаза не кажитесь!

На утро, къ изумленію всѣхъ слѣдователей, гуся не оказалось, волковъ тоже. На мѣстѣ, гдѣ содержался преступникъ, нашли немного крови и нѣсколько перьевъ. Въ лѣсу до-сихъ-поръ толкуютъ это происшествіе разное: волкоманы увѣряютъ, что волки съѣли гуся и ушли, а гусоманы—будто гусь проглотилъ обоихъ волковъ и улетѣлъ за границу. Какъ бы то ни было, но медвѣдь началъ подозрѣвать въ покражѣ всѣхъ роконосцевъ и велѣлъ удвоить стараніе при слѣдствіи. Всѣ были въ отчаяніи. Вдругъ явилось тощее насѣкомое и объявило, что гусь доносилъ вполнѣ справедливо, *ибо*, по своей близорукости, принялъ уши за роги; а что съѣлъ овесъ заяцъ, извѣстный всему околотку за грубіяна, бузна и самаго дерзкаго кутилу, который, забывъ всякое уваженіе, еще недавно бросился весьма злобно на шею его ослиной милости.

Такъ это онъ? спросилъ осель, поднявши кверху уши и брови.

Онъ-съ, право онъ, отвѣчало насѣкомое. — Я былъ большой пріятель съ гусемъ, и мы вмѣстѣ, разсуждая о блаженствѣ сумасбродства и прочихъ отвлеченныхъ идеяхъ, нечаянно наткнулись на реченнаго зайца, когда онъ пожиралъ воровской овесъ. Отвратительное было зрѣлище! Я содрогаясь, вспоминая его.

— А вы кто такой? спросила лошадь.

Я полевой сверчокъ, къ вашимъ услугамъ.

Да правду ли вы говорите, точно ли вы видѣли? замѣтилъ быкъ.

Помилуйте-съ! я все знаю, меня всѣ знаютъ—спросите въ муравейникѣ. Стану ли я лгать передъ вашимъ говаящимъ достоинствомъ! Я, еще не имѣя счастья видѣть васъ, пѣлъ въ честь вамъ пѣсню:

Ай-да быкъ!

Превеликъ! и проч.

Я знаю этого зайца, я даже имѣлъ несчастье быть его товарищемъ въ путешествіи; но, узнавъ короче образованность, нравъ его и наклонности, поспѣшилъ съ нимъ разойтись.

Хорошо! сказала лисица:—поклонитесь.

Съ удовольствіемъ. Клянусь, положила лапку на сердце, что то, что я вамъ сказала—истинная правда.

Чего же больше? промычалъ быкъ.

— Да, да, заржали радостно конь и осель.

Браво! порѣшили, братцы! заблеялъ баранъ.

Я было-хотѣлъ вступиться за васъ, родичъ, да мнѣ лисица и пикнуть не дала. И тутъ же составили опредѣленіе поймать васъ, обгрызть, въ наказаніе, вамъ уши и доставить ихъ къ воеводѣ. Исполненіе приговора возложили на чекалку¹⁾ и, будте осторожны, онъ уже давно васъ ищетъ: это ему на зубы! уши онъ доставитъ медвѣдю, а съ прочимъ поступитъ по усмотрѣнію. Не вѣковать вамъ!

Какъ же это поклялся полевой сверчокъ въ такой неправдѣ? спросилъ я у моего родича-тушканчика.

Я и самъ не понималъ этого, да нечаянно открылъ истину: пробѣгая по лѣсу, я услышалъ, что быкъ шепчется съ лисой въ кустахъ; я подкрался и все выслушалъ. Быкъ, добрый зѣфиръ, изъясняетъ ему удивленіе лисицы, какъ вы теперь мнѣ.

— Какъ вы просты! говорила лисица: благодарите судьбу, что я дѣло хороню съ

рукъ спустила!.. а полевому сверчку клясться легко, положила лапку на сердце, потому что у него нѣтъ сердца вовсе.

— Можетъ ли быть?

— Я вамъ докажу. Господинъ полевой сверчокъ! гдѣ вы? пожалуйста сюда! скорѣе! дѣло есть, закричала лисица. И, немного погодя, прискакало это насѣкомое.

— Ну, спасибо вамъ, поддержали вы моего кума, продолжала лисица. Дайте вашу лапку, и другую.

Полевой сверчокъ, униженно присѣдая, подаль лисицѣ обѣ лапки. Лисица крѣпко взяла его за обѣ лапки и громкимъ голосомъ спросила: „какъ ты смѣло, противное насѣкомое, говорить и клясться противъ совѣсти?“

Полевой сверчокъ позеленѣлъ отъ страха и началъ корчиться.

— Ты сегодня вралъ на зайца, а завтра соврешь и на меня, бездѣльникъ, продолжала лисица:—такъ вотъ тебѣ... и при этомъ словъ она разорвала его на части и показала быку, говоря:—посмотрите, гдѣ тутъ сердце?

— Рѣшительно нѣтъ и признака, сказалъ быкъ, мотая въ раздумьи головой. — Повѣрьте, кумушка, въ первый разъ въ жизни вижу подобнаго звѣря!..

— Эти всѣ насѣкомыя, любезный кумъ, которыя присѣдаютъ, да прискакиваютъ, да увиваются вокругъ чего-нибудь, всѣ безъ сердца!).

Не успѣлъ тушканчикъ окончить печальнаго разсказа, какъ вдругъ остановился, прислушался и торопливо сказалъ мнѣ: — Бѣги, бѣги скорѣе! идеть сюда чекалка! Плохо тебѣ будетъ. Я слышу его шаги!

— Прощай, сказалъ я родичу, и бросился въ чащу: оглянувшись: чекалка, словно тѣнь, летитъ за мною: я вправо и онъ вправо, я влево и онъ влево: были бы у меня здоровые скоки, я бы и не подумалъ о немъ; но я прихрамывалъ и крѣпко боялся за свою шкуру. Стало разсвѣтать: я выскакалъ изъ лѣса, а чекалка налетала на меня все ближе и ближе: зубы его шелкнули надо мной, я рванулся и высочилъ далеко впередъ, оставя только хвостъ въ зубахъ не-пріятеля. Тутъ, на мое счастье, повстрѣчалась намъ повозка: люди стали кричать на чекалку, онъ повернулъ въ лѣсъ, а я кое-какъ ушелъ въ кустарникъ и прилежъ, замученный, усталый.

¹⁾ Насѣкомыя снабжены желудкомъ и кишечнымъ каналомъ. У нихъ нѣтъ сердца, но они имѣютъ насѣкомыя сосуды, содержащія въ себѣ кровь и холодную жидкость. (Естествен. Исторія А. Ломоносова Ч. II. стр. 104).

¹⁾ Canis arcus. (Естествен. Исторія А. Ломоносова).

Отдохнувъ, я началъ разсуждать о своей несчастной жизни. „Вездѣ непріятности, вездѣ гоненія! вездѣ я виноватъ безвинно отъ-того, что слабѣе всѣхъ, думалъ я. И куда я покажусь, хромою, безхвостый?!.. всѣ стануть смѣяться надо мной!“ Подобныя мысли, одна мрачнѣе другой, бродили въ головѣ моей; я рѣшился не страдать болѣе, то-есть, не жить, рѣшился утопиться и прямо побѣжалъ къ рѣкѣ.

— Звѣрь, звѣрь, заяцъ, заяцъ! бѣгите! спасайтесь! раздалось по всему рѣчному берегу, и куда я ни прибѣгу: лягушки, сломя голову, скачутъ отъ меня въ воду.

„Стѣй!“ подумалъ я, „значить, есть же твари беззащитнѣе меня, которыя и меня боятся, а живутъ, весело поютъ пѣсни, а порой и пляшутъ“, и мое намѣреніе утопиться сильно остыло при этомъ разсужденіи. Я не утопился; я рѣшился возвратиться на родину, отыскать свою старую норку: авось околѣлъ колдунъ-ежъ; если же не околѣлъ, то обзавестись хорошимъ логовомъ, что теперь гораздо приличнѣе моему возрасту, и спокойно проведу свою старость.

IX.

ЗАЯЦЪ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ.

Вотъ я и на родинѣ! Осень очень измѣнила мою рошу; но все я узналъ ее и привѣтствовалъ какъ стараго друга: здѣсь мнѣ веселѣе, привольнѣе!.. Всѣ знакомые звѣри стали очень уважать меня: это, кажется, единственная польза отъ путешествія... Нѣтъ, есть, правда, еще и другая: возвратясь изъ путешествія, какъ-то лучше цѣнишь свою родину, понимаешь пословицу, которую я въ дѣтствѣ слышалъ отъ людей въ домѣ Петра Ивановича: *славны бубны за горами!* Разумѣется, въ Муромскихъ лѣсахъ отъявленная дичь, но одна дичь да дичь, право, нехороша; для нашего брата, маленькаго звѣря, иногда не мѣшаетъ и немного образованія...

Старый колдунъ—Ежъ очень со мной почтителенъ, даже предложилъ мнѣ поселиться въ моей норкѣ, да я отвѣчалъ ему, что теперь я уже не ребенокъ, что доброму зайцу не пристойно жить въ норѣ, и сдѣлалъ себѣ прекрасное логово подъ кустомъ ракиты, опутаннымъ до нельзя полевымъ горошкомъ. Мое логово въ чистомъ полѣ недалеко отъ роши, жить безпокойно: все теперь падаютъ листья и своимъ шелестомъ напоминаютъ мнѣ шелестъ шаговъ чекалки.

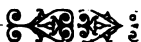
Сегодня прекрасное утро, солнце грѣетъ, пища пропасть—я счастливъ и спокоенъ! Ай да родина—славная сторона!

На весну обзаведусь дѣтками и стану съ ними прыгать по рошѣ, вспоминая покойную матушку... Что сдѣлалось съ Петромъ Ивановичемъ? издохъ ли гадкій Великанъ? Завтра надобно поразспросить о немъ у сорѣкъ: эти сплетницы выносятъ всякій соръ со двора... Непремѣнно завтра; не будь я заяцъ, если не узнаю...

Этими словами оканчивается переводъ моего двоюроднаго дѣдушки. Завтра—какъ вы уже знаете изъ присловія (если его не забыли)—завтра не пришло для бѣднаго зайца, и всѣ его замыслы, всѣ мечты утихли, замерли съ послѣдними воплями голоса подъ кинжаломъ Петра Ивановича.

Покойный дѣдушка, переводя записки зайца, перевелъ изъ нихъ множество эпизодовъ, неидущихъ къ исторіи зайца, но очень любопытныхъ, напримѣръ: *Сказаніе синицы о томъ, какъ полевой сверчокъ управлялъ муравейникомъ и что изъ того произошло* и т. п. Если понравятся людямъ простыя, нехитрыя приключенія, чувства, бѣдствія и радости звѣрей и всякихъ животныхъ, то я современемъ напечатаю еще нѣсколько переводовъ моего двоюроднаго дѣдушки.

1840 г.



Сказаніе о горохѣ и женитьбѣ Василія Иваныча, что почти все равно.

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!
А. ГРИБОВДОВЪ.

I.

Въ одномъ изъ малороссійскихъ уѣздовъ есть свой метафизикъ и поклонникъ алхиміи, свой собственный, или, выражаясь простымъ слогомъ, „доморощенный метафизикъ“; его зовутъ Василій Иванычъ. Да вы вѣрно его знаете—его всѣ знаютъ. Онъ ѣздилъ въ Сибирь за коллежскимъ ассесорствомъ, привезъ оттуда чудныя дрожки на жердяхъ, и рассказываетъ, что получилъ отъ стихійнаго духа щелчокъ по носу.

Разныя вычисленія, машины, архитектура и колдовство наполняютъ голову добраго Василія Иваныча; у него карманный ножикъ вѣчно натертъ магнитомъ; электрическая машина составляетъ для Василія Иваныча предметъ недоумѣнія, величайшаго любопытства и зависти.

Весною, поутру, въ понедѣльникъ, солнце свѣтило очень тепло и пріятно; въ полѣ пѣли жаворонки; въ саду цвѣли черешни, а у амбара Василія Иваныча крестьяне нагружали три повозки тяжелыми мѣшками. Василій Иванычъ вышелъ на крыльцо по домашнему, въ голубомъ халатѣ, желтыхъ сапогахъ и красномъ колпакѣ. Въ одной рукѣ табакерка и носовой платокъ, въ другой книга.

Эта книга была въ переплетѣ и съ картинками, а называлась она: „Естественная Исторія доктора и кавалера Рейпольскаго.“

— А что вы дѣлаете, хлопцы? спросилъ Василій Иванычъ прикащика.

— А вотъ, насыпаемъ въ мѣшки горохъ, да повеземъ на поле сѣять. Итакъ уже опоздали, надо поспѣшить, отвѣчалъ прикащикъ.

— Доброе дѣло,—сказалъ Василій Иванычъ, сѣлъ на скамейку и началъ читать книгу.

Но судьба не хотѣла оставить его въ покоѣ. Конскій топотъ развлекъ вниманіе Василія Иваныча: по двору скакалъ всадникъ на тощей чубарой кобылѣ. Тяжело галопируя, старая кобыла мѣрно стучала копытами о землю и съ удивительною точ-

ностью подъ эту музыку подымались и опускались длинныя полы свѣтлозеленаго сюртука, картузный козырѣкъ и локти всадника.

— А! это учитель дѣтей моего сосѣда Ивана Ильича! проговорилъ самъ себѣ Василій Иванычъ и привѣтствовалъ гостя словами: — Добро пожаловать, почтеннѣйшій! Что это вы, въ гусары записались?

— Боже меня сохрани! отвѣчалъ тошій гость, утирая платкомъ лицо:—нѣтъ, это я такъ, разбиваю меланхолію.

— Развѣ у васъ есть меланхолія?

— И ужасная! просто покоя не даетъ.

— А кажется, вы сложенія несовсѣмъ меланхолическаго.

— Тутъ дѣло не въ сложеніи, Василій Иванычъ. Мы, люди ученые, всегда страдаемъ подобными болѣзнями.

— Я согласенъ; но все же темпераментъ, какъ говоритъ докторъ Галенъ... шея длинная, грудь плоская...

Тутъ съ полчаса толковалъ Василій Иванычъ о темпераментахъ и заключилъ, что г. учитель имѣетъ точно меланхолическій темпераментъ, но въ соразмѣрномъ смѣшеніи холерическаго, сангвиническаго и флегматическаго.

Между тѣмъ, сюда же на крыльцо внесли закуску. Василій Иванычъ и г. учитель выпили по рюмкѣ водки, сѣли по два сушеныхъ караса и продолжали пріятную бесѣду.

— Что вы читаете, Василій Иванычъ? спросилъ учитель.

— Читаю я, любезнѣйшій, умную книгу—естественную исторію, писанную кавалеромъ; должна быть уже поэтому книга бойкая... Да, признательно сказать, г. кавалеръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ... боюсь и подумать, а, кажется, морочить насъ, простыхъ людей...

— Неужели?

— Да, вродѣ этого. Напримѣръ, вотъ хоть бы п здѣсь: изволить увѣрять, что въ бѣдугѣ есть икра 1,348,758 зернышекъ! Хо-

бы я знать, какъ онъ пересчиталъ зернышки?

Это легко, Василій Иваннычъ: стоитъ въ какой-нибудь сосудъ, положимъ рюм-сосчитать, сколько будетъ зернышекъ сосуда, потомъ перемѣрить икру сосуда и помножить число сосудовъ на число пышекъ одного сосуда.

Что вы говорите?... Да; высчитать изъ сосуда... потомъ... сосудъ... сосуда... домъ... сосудами... въ сосудъ...

Минутъ пять Василій Иваннычъ сидѣлъ задумавшись; изрѣдка уста его шептали „сосудъ“, склоняя это слово по всѣмъ жамъ *россійской* грамматики; потомъ чилъ съ мѣста, обнялъ учителя и закричалъ:—Открытие, чудесное открытие!... И! стой! прикащикъ вези сюда мѣшки горохомъ.

Въ это время возы уже выѣзжали за ворота, но, по приказу панскому, воротились и стали у крыльца.

Сколько мѣшковъ гороху на подводѣ? спросилъ Василій Иваннычъ прикащика.

По пяти.

А мѣшки равные?

Извѣстно равные, какъ одинъ: всѣ по три мѣрки.

Хорошо. Эй! подать мнѣ стаканъ и чашу.

Что это вы затѣваете, Василій Иваннычъ? сказалъ учитель, протяжно нюхая къ.

А вотъ, по вашему совѣту, или какъ сказать, эксперименту, хочу узнать, сколько зернышекъ посѣю гороху, а послѣ вы опять сосчитаю и на вѣрное буду въ зерно въ зерно, свою прибыль.

Вы будете заниматься, какъ я вижу, ездой, а потому прошу прощенья, Василій Иваннычъ.

Таки правда, я серьезно позаимусь изъ дѣломъ, и, клянусь вамъ, что у меня отнынѣ всегда будутъ записывать и одѣ и приходъ зерноваго хлѣба не путая, не мѣшками—нѣтъ, это слишкомъ изнурительно, а просто зернами, Прощайте, единѣйшій. Скажите мое почтеніе Ивану Ильичу.

Боже мой! вскрикнулъ учитель, ударивъ себя ладонью по лбу:—я занялся съ разными учеными предметами, а главные позабылъ: Иванъ Ильичъ просилъ къ себѣ въ воскресенье откушать; его имениныца.

Которая?

А вотъ что недавно привезли изъ панского.

Такъ ужъ привезли?

Привезли.

— Прощайте и скажите, что буду.

— Простите Василій Иваннычъ.

Прежнимъ же порядкомъ учитель ускорилъ домой, а Василій Иваннычъ высыпалъ на блюдо стаканъ гороху, пересчиталъ зерна и началъ на листъ бумаги писать цифры. Мужики въ это время стояли у крыльца возлѣ своихъ воловъ, снявъ шапки.

Уже солнце высоко шло по небу, уже два раза приходилъ лакей звать Василія Иванныча кушать, а Василій Иваннычъ все множилъ да повѣрялъ, перечеркивалъ свою работу и начиналъ снова, потомъ взялъ карандашъ въ зубы, еще съ четверть часа смотрѣлъ на бумагу, къ одному нулю прибавилъ съ низу хвостикъ и, улыбаясь, обратился къ прикащику:

— Теперь вы повезете съять семнадцать миллионъ шестьсотъ-восемьдесятъ-девять тысячъ семьсотъ-двадцать одно зерно гороху; посмотримъ, сколько дастъ зерно на себя прибыли.

— Слушаю отвѣчалъ прикащикъ, кланяясь и почесывая въ затылкѣ.

— Что ты такъ постно глядишь? развѣ тебѣ непонятно?

— Онъ не то, чтобъ непонятно, да кто его считалъ? на мѣрки вотъ и я знаю.

— Развѣ ты не слыхалъ, что, помноживъ сосудъ, а потомъ сосудъ на сосуда—произведеніе отъ множимаго будетъ искомое число, то-есть желанный результатъ?

— Ничего не понимаю, отвѣчалъ прикащикъ, низко кланяясь.

— Неучъ! Я докажу тебѣ. Сколько у насъ работаетъ мужиковъ на пашнѣ?

— Человѣкъ пятьдесятъ будетъ.

— Всѣхъ ихъ позвать сюда!

Къ вечеру, дворъ Василія Иванныча представлялъ необыкновенное зрѣлище: полсотни, если не болѣе, дебелыхъ усачей сидѣло среди двора, поджавъ ноги; передъ каждымъ была раскинута широкая простыня, стояла мѣра гороху, лежала длинная палка и ножъ. Отсчитавъ на простыню десять зернышекъ, мужикъ дѣлалъ наръзку на палкѣ, а послѣ десяти наръзокъ вырѣзывалъ крестикъ. Такъ на опытъ повѣрялъ Василій Иваннычъ свою теорію.

Едва въ субботу вечеромъ окончили повѣрку: то дождикъ мѣшалъ, то миллиона два не доставало, или миллиона три оказывалось болѣе, нежели нужно для вѣрнаго счета; наконецъ, въ субботу все было приведено къ одному знаменателю, или къ „благополучному результату“, какъ выражался Василій Иваннычъ; только не доставало одного зерна; нашъ математикъ немного было-призадумался, но прикащикъ побожился, что онъ своими глазами видѣлъ,

как воробей спустился съ крыши прямо на горсть и съел зернышко, да так смѣло, какъ будто какая чиновная птица.

— Ну, зерно куда не шло! Въ понедѣльникъ посѣте горохъ, а я запишу въ книгу бѣсъ этого сѣдѣннаго зерна. Впередъ прошу вѣрить: не стать же мнѣ съ вами чѣтать макъ, а весь хлѣбъ я сѣю и приедемъ и отпускаю на счетъ зеренъ; дурацкіе пуды и мѣрки мнѣ прискучили.

II.

Василію Иванычу хотя было лѣтъ пять сорокъ, но онъ былъ добръ, здоровъ и свѣжъ, чѣмъ не могутъ похвастать многие изъ двадцатилѣтнихъ столичныхъ юношей: онъ былъ очень добръ, стоворчивъ, если дѣло не касалось *таинствъ природы*, а главное, имѣлъ сотни двѣ душъ крестьянъ, много земли и разныхъ угодій, незауженныхъ въ банкъ, что въ далекомъ уѣздѣ рассказывали какъ анекдотъ и считали Василія Иваныча однимъ изъ первыхъ жениховъ.

Въ воскресенье поутру Василій Иванычъ нарядился въ праздничную форму и велѣлъ себѣ подать экипажъ, то есть длинныя дрожки на жердяхъ, да мимоходомъ вздумалъ записать завтрашній посѣвъ гороху, а тутъ рядомъ стоитъ пшеница, что выскыно на прошлой недѣлѣ 154 мѣрки. Василій Иванычъ подумалъ: „Какъ былъ я глупъ на прошедшей недѣлѣ! Впрочемъ, дѣло можно исправить...“ Приказалъ принести гарнецъ пшеницы, насыпалъ ея рюмочку, сосчиталъ зерна и, переминая гарнецъ рюмкою, началъ писать цифры на листѣ бумаги. Часа три продолжалась его работа и кончилась тѣмъ, что Василій Иванычъ вычеркнулъ въ книгѣ 154 мѣрки и поставилъ 1,348,754.893 зерна; послѣ сѣлъ въ экипажъ и, показываясь во всѣ стороны, поѣхалъ къ Ивану Ильичу.

Войдя въ комнату, Василій Иванычъ остолбенѣлъ отъ удивленія: онъ пріѣхалъ позже всѣхъ, гостинная была полна народа и всѣ толпились около стола, уставленнаго закусками: хозяинъ раздѣзывалъ именнинный пирогъ.

Въ то время еще въ далекомъ уѣздѣ была мода цѣловаться со всѣми мужчинами и цѣловать ручки у всѣхъ дамъ, мода, извѣстная, какъ и всякій предметъ, свою чрезвычайно блестящую и въѣдѣ всѣмъ темную сторону. Василій Иванычъ, приближаясь къ хозяйкѣ, началъ здороваться съ гостями: съ кѣмъ обниматься, кому въ ручку, и вотъ онъ уже у пирога; хозяйка стоитъ возлѣ хозяйки и протягиваетъ руку къ свѣжій огурцамъ. Василій Иванычъ

быстро двинулся впередъ, схватилъ руку и прижалъ къ губамъ.

— Чтò вы, чтò вы?! Богъ съ вами! закричалъ Иванъ Ильичъ, освобождая свою руку отъ поцѣлуевъ Василія Иваныча.

Василій Иванычъ съ ужасомъ увидѣлъ свою ошибку, покраснѣлъ, повернулся направо и машинально заключилъ въ объятія первое встрѣчное лицо; но это лицо запищало „ахъ!“, вырвалось и побѣжало. То была дочь Ивана Ильича.

Василій Иванычъ махнулъ рукой и бросился въ другую комнату. Выбравшись изъ толпы, онъ вздохнулъ, перекрестился и прошепталъ: „Господи Боже мой, чтò это со мною дѣлается?...“

Есть люди, которые ступаютъ лѣвою ногою, вставая съ постели, и цѣлый день бывають скучны, пасмурны, чтò называется—не въ своей тарелкѣ. Мудрено ли, что Василій Иванычъ послѣ такого начала во весь день чувствовалъ себя какъ-то неловкимъ. Къ вечеру, за стаканомъ пунша (тогда еще въ далекомъ уѣздѣ пили пуншъ), гости стали веселѣе и многіе приступили къ Василію Иванычу съ вопросами: отчего онъ такъ не веселъ?

— Такъ себѣ, господа, отвѣчалъ Василій Иванычъ.

— Быть не можетъ! Вы, кажется, влюблены, говорили нѣкоторые.

— Я вамъ говорю, что такъ себѣ, да и только.

— Я съ вами совершенно согласенъ, сказалъ какой-то незнакомый гость въ длинномъ сѣромъ сюртукѣ:—но извѣстно изъ законовъ природы, изслѣдованныхъ многими учеными, начиная отъ Иппократа, лечившаго моровую язву болѣе психологическими средствами, до Галена, великаго антрополога и придворнаго доктора римскаго императора Адриана, что дѣйствіе безъ причины не бываетъ.

— Ваша правда. Аванасій Кирхеръ, начертывая карту подземнаго міра, замѣтилъ...

— А вы уже и разговорились! сказалъ Иванъ Ильичъ. —То то! рыбакъ рыбака далеко видить! Позвольте вамъ откомендовать, Василій Иванычъ: это Титъ Омиичъ Азиевскій, философъ; онъ прежній товарищ моего учителя и очень кстати пріѣхалъ его навѣстить къ радостному дню.

У Василія Иваныча запрыгало сердце отъ радости: онъ повеселѣлъ, видя передъ собою великаго философа, психолога, антрополога и проч., сдѣлался разговорчивъ и наконецъ рассказалъ свое приключеніе съ пуншомъ, причину, отчего онъ опоздалъ и такъ смѣшался при входѣ въ комнату.

Такъ, такъ я и думалъ, что въ этой

головѣ опять роятся какія-нибудь недобрѣ мысли. Вѣчно математика, вѣчно испытанія! ужь эта мнѣ ученость! говорилъ Иванъ Ильичъ, дружески трепля по плечу своего сосѣда.

— Какъ я замѣчаю, вы имѣете необычайную наклонность къ экспериментамъ.

— Именно, Титъ Ѳомичъ! эксперименты мнѣ и ночью покоя не даютъ.

— Но у' васъ, какъ видно, болѣе способность реальная?

— То... есть... е...?...

— То есть, вещественная.

— Отчего же вы это такъ замѣчаете?

— Потому что вы болѣе, кажется, склонны къ математикѣ.

— Признаться, люблю ее, мошенницу, очень люблю! Но таинства міра недоступнаго люблю еще болѣе.

— Это прекрасно! Какъ пріятно иногда занестись въ метафизику! Боже мой! думаешь, думаешь... даже ѣсть иногда хочется—такъ и день пройдетъ.

— Я часто представляю себѣ тѣ времена, когда путешествовалъ молодой Костисъ въ Египетъ и нашелъ тамъ старцевъ, которые посѣдѣли, сидя на одномъ мѣстѣ въ пещерѣ и размышляя, откуда берется малѣйшая травка. Вѣрите, слезы пробиваются!

— На протекшей недѣлѣ вы упражнялись весьма много въ реальныхъ вещахъ и въ математикѣ и, вѣроятно, слѣдующую будете отдыхать?

— Придется отдыхать, хоть очень бы не хотѣлось; люблю, знаете, помыслить...

— Смѣю ли я вамъ предложить для перваго знакомства маленькую задачу, только уже чисто въ идеальномъ, въ философическомъ смыслѣ.

— Съ удовольствіемъ! А чья, смѣю спросить, задача?

— Извольте видѣть: ее сочинилъ Коперникъ, а Галилей раскусилъ совершенно; впоследствии занимались ею Альбертъ-Великій, Мартинъ Задека, Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ и многіе ученые мужи. Къ намъ же ее первый разъ вывезъ Ломоносовъ изъ Германіи; вотъ она съ тѣхъ поръ и ходитъ между философами, хотя очень рѣдко.

— Ради Бога, Титъ Ѳомичъ! Да вы мнѣ сдѣлаете чистое благодѣяніе! Рѣшеніе такой задачи дастъ новый свѣтъ моимъ мыслямъ.

— Это правда; извольте, съ большимъ удовольствіемъ я вамъ напишу ее.

Тутъ Азиновскій взялъ листъ бумаги и крупными литерами написалъ:

Жизнь человѣческая! а ложки?

Я беру противъ неприятеля на цѣлыя дрожки.

— Штука! штука! пропенталъ Василій Ивановичъ, перечитывая въ сотый разъ умное двустипіе:—но какимъ способомъ должно разрѣшить ее?

— Способомъ мышленія, а потомъ словоговоренія, или начертательно, то есть письмомъ.

— Понимаю, Титъ Ѳомичъ; да не въ томъ дѣло. Я спрашиваю, чего требуется отъ этой задачи?

— Здраваго смысла.

— То... есть?...

— То есть отъищите здравый смыслъ, скрытый въ этихъ письменахъ, и пальма Коперника, Лейбница, Мартина Задеки и всѣхъ великихъ людей останется за вами!...

— Попробуемъ, попробуемъ! говорилъ Василій Ивановичъ, бережно складывая листъ съ мудрою задачею и укладывая его въ карманъ.

III.

Пусть Богъ проститъ философа Азиновскаго: задалъ онъ работу бѣдному Василію Ивановичу! Вѣрите ли, съ понедѣльника до другаго понедѣльника и обѣдалъ нашъ метафизикъ съ задачею; ужь онъ и переставлялъ слова—ничего не выходитъ. Началъ перемѣщать буквы... вотъ тутъ-то Василій Ивановичъ совершенно исчезъ въ лабиринтѣ звуковъ: гласныя и согласныя, какъ чертенята, вертѣлись передъ нимъ, прыгали, а онъ ихъ ловилъ за хвостики, ставилъ въ ряды, и являлись цѣлые ряды, цѣлыя рѣченія сугубой галиматіи... Вотъ, кажется, и набѣжало на смыслъ; еще бы два слова и было бы, этакъ, знаете, маленькое изрѣченіе о фейерверкѣ; вышли и ракеты, и колеса; нуженъ буракъ, да буквы б не имѣется, а въ остаткѣ одно д и выходитъ „дуракъ“, что вовсе нейдетъ въ составъ фейерверка. „Экое гадкое слово составилось“, проворчитъ Василій Ивановичъ и разорветъ бумагу.

Такъ бился онъ болѣе недѣли, да, спасибо судьбѣ, какъ-то вдругъ пришла умная мысль и рѣшила все дѣло.

У Василія Ивановича была книжка, которую онъ держалъ скрытно у себя въ кабинетѣ: „Новый Полный Гадательный Оракулъ, или чудесное таинство предсказаній колдовства и чародѣйства, заключающій въ себѣ все, что доселѣ изобрѣли умы человѣческіе, составлено изъ разныхъ астрономическихъ, философическихъ, астрологическихъ, физическихъ и магическихъ книгъ Н. Данилевскимъ. Москва. У книгопродавца В. Логина.“ Въ важныхъ случаяхъ Василій Ивановичъ прибѣгалъ къ этой книгѣ; такъ было теперь, когда всѣ его

предположенія, силлогизмы и гипотезы лопнули. когда мысли совершенно перепутались между собою и, составивъ родъ войлока, окутали мракомъ разсудокъ Василія Иваныча: онъ вспомнилъ о волшебной книгѣ, съ трепетомъ взялъ ее въ руки, поднялъ выше головы и, сказавъ съ чувствомъ: „о, Василій .Логиновъ, чародѣй московскій, не оставь меня!“, раскрылъ ее. Книга распоролась на 22-й страницѣ, гдѣ глазамъ Василія Иваныча представились магическіе круги: онъ, не размышляя, опустилъ палецъ на одинъ кругъ, палецъ упалъ на слово *любовь* и цифры 26 и 2. „Вишь, задача!“ говорилъ Василій Иванычъ, перелистывая книгу. Вотъ и волшебное 26 въ квадратѣ; но уже возлѣ любви напечатано Меркурій и цифра 160. „Замысловато! право, замысловато!“ шепталъ Василій Иванычъ, и опять началъ быстро переворачивать листы; но вотъ и 160, и отвѣтъ подъ 2 №: *женись, чтобъ послѣ не тужить...*

Василій Иванычъ почесалъ въ затылкѣ, потомъ посмотрѣлъ въ зеркало, потомъ улыбнулся, потомъ сказалъ: „какъ странно судьба играетъ мною!“ и легъ спать, довольный рѣшеніемъ задачи, въ которомъ онъ находилъ косвенный смыслъ. Ночью приснились Василію Иванычу Василій Логиновъ и Н. Данилевскій; важны и величественны стояли они передъ его постелью, и то Логиновъ начинаетъ: *женись*, а Данилевскій кончить: *чтобъ послѣ не тужить*; то Данилевскій скажетъ: *женись*, а Логиновъ кончить фразу. Такъ они всю ночь промучили Василія Иваныча своимъ дѣломъ, а онъ все молчитъ да думаетъ: „что мнѣ съ ними спорить! люди умные, съ ними не согласишься“. Наконецъ, видитъ — плохо, не отстоятъ... какъ закричитъ онъ: „женюсь, почтенные мудрецы, женюсь, непременно женюсь!“ вскочилъ съ постели, открылъ глаза: ужъ день; солнце такъ весело смотритъ въ окно: на дворѣ, противъ оконъ, пара воловъ шиплетъ травку и гуляетъ стадо индѣекъ: но ни Логинова, ни Н. Данилевскаго нигдѣ не видать. — „Станный сонъ!“ сказалъ Василій Иванычъ, протирая глаза: „странный сонъ!“

А между-тѣмъ, спустя часика три, поѣхалъ обѣдать къ Ивану Ильичу; да не просто обѣдать, какъ бывало прежде, а съ какими-то странными мыслями, въ которыхъ онъ самъ себѣ не могъ дать отчета: и хорошенькая дочка сосѣда, которую онъ нечаянно поцѣловалъ, и гадательная книжка, и Логиновъ, и задача — все это толпилось въ головѣ Василія Иваныча, постепенно приходило въ порядокъ и при новомъ толчкѣ длиннаго экипажа опять по-

гружалось въ хаосъ. Самъ Василій Иванычъ былъ наряженъ въ праздничное платье, хотя былъ день буденный.

IV.

Василія Иваныча сосѣди приняли особенно ласково; при встрѣчѣ Иванъ Ильичъ взглянулъ на нарядъ Василія Иваныча, посмотрѣлъ на жену и лукаво улыбнулся.

За столомъ жена Ивана Ильича спросила Василія Иваныча, давно ли онъ видѣлъ Александру Ивановну.

— И не помню когда; я думаю, съ годъ будетъ.

— Помилуйте! она была у насъ на именинахъ Глаши, а этому и двухъ недѣль еще нѣтъ.

— Да, виновать! отвѣчалъ, смѣшавшись, Василій Иванычъ, посмотрѣлъ на Глашу, а та покраснѣла, какъ въ огнѣ. Онъ еще болѣе смѣшался и, чтобъ замять разговоръ, спросилъ хозяина:

— А гдѣ почтенный философъ Азиновскій?

— Онъ уѣхалъ на другой же день. — А вы рѣшили его задачу?

— Рѣшилъ.

— Любопытно! Что же вышло?

— Отгадайте.

— Куда намъ, простакамъ, отгадать! Скажите-ка, что тамъ такое?

— Да вышло Богъ-знаетъ что, такое странное.

— Да что же странное?

— Вышло... что мнѣ должно жениться.

— И прекрасно! Что же тутъ страннаго? Вы человекъ въ чинахъ, въ лѣтахъ, имѣете состояніе: вамъ жениться необходимо.

— Я такъ и думалъ, оттого и пріѣхалъ къ вамъ просить вашего совѣта.

— Понимаю, понимаю! Это мы давно знаемъ; Александра Ивановна тогда же все намъ рассказала, и мы только ждали съ вашей стороны предложенія. Мы съ женою совершенно согласны, если Глаша не прочь; хоть завтра въ церковь.

Глаши уже не было за столомъ. Отецъ и мать ушли спрашивать ея согласія, а Василій Иванычъ всталъ изъ-за стола, вышелъ въ гостиную и, мѣрными шагами путешествуя изъ угла въ уголъ, старался пояснить себѣ, что изъ этого выйдетъ. Черезъ полчаса вышелъ Иванъ Ильичъ съ женою и дочерью и объявилъ Василію Иванычу, что Глаша согласна быть его женою. Невѣста и женихъ поцѣловались; старикъ и старуха обняли Василія Иваныча и назначили быть вѣнчанію въ пятницу вечеромъ въ 6 часовъ.

— Видишь, правду говорила Александра Ивановна, сказала жена Ивану Ильичу:—

что Василій Иванычъ влюбленъ въ нашу Глашу.

— Отчего же она это знала? спросилъ Василій Иванычъ.

— Спросите вы у нея. Посмотрить — и знаетъ!

— Должно быть, животный магнетизмъ имѣеть, сказалъ Василій Иванычъ.

— Не дальше, какъ вчера, продолжала супруга Ивана Ильича: — она была у насъ и спрашиваетъ: „а когда будетъ свадьба вашей Глаши?“ Я спрашиваю: „да съ кѣмъ же?“ — „А съ Васильемъ Иванычемъ.“ Я и говорю: „Богъ съ вами! Василій Иванычъ ничего намъ не говорилъ“ — „И еще бы!“ отвѣчала она: „поцѣловалъ публично вашу дочь — да не быть свадьбѣ! Вотъ хорошо! теперь объ этомъ весь уѣздъ говорить, всѣ ждутъ приглашеній“.

— Вотъ видите, Василій Иванычъ, что говорятъ въ уѣздѣ! мы только и ждали васъ. Еще бы денёка два-три, надобно бы самому Ивану Ильичу ѣхать съ вами по-сосѣдски объясниться, а вы сами рѣшились, и дурнымъ языкамъ нечего болтать!...

Василій Иванычъ просидѣлъ до ночи у своей будущей супруги и родителей, и пріѣхалъ поздно домой, не вѣря себѣ, что онъ помолвленъ на миленькой дѣвочкѣ.

V.

Въ четвергъ передъ вечеромъ Василій Иванычъ спросилъ прикащика: какой сегодня день?

— Четвергъ, отвѣчалъ прикащикъ.

— Значить, завтра пятница?

— Пятница.

— Ахъ, да! Вѣдь завтра я вѣнчаюсь! Завтра ничего не работать, всѣхъ людей созвать сюда, на дворъ, выкатить имъ бочку водки — пусть веселятся. А мнѣ сейчасъ прикажи запретъ въ бричку пару лошадей: я ѣду въ городъ.

Городъ отъ деревни Василья Иваныча былъ верстахъ въ тридцати, а солнышко садилось, какъ выѣхалъ Василій Иванычъ изъ дома; проѣхали верстъ десятокъ, и совсѣмъ стало темно. Кстати тутъ на дорогѣ было огромное село Шеретиловка; онъ и заночевалъ въ немъ, разсуждая: „ночью по дорогѣ ѣздить, да еще по незнакомой, значить рисковать каждую секунду головою; ну, да это еще бы ничего, да стихійные духи, пожалуй, опять вздумаютъ пошутить со мною, а это къ вѣнцу худо! И чего же мнѣ торопиться? переночую на постояломъ дворѣ, и завтра, чуть-свѣтъ, буду въ городѣ, куплю сапоги къ вѣнцу, какіе самъ знаю, и назадъ къ обѣду“.

Вадумано — сдѣлано: заѣхали на посто-

ялый дворъ, лошадей подъ навѣсъ, бричку тоже, Василій Ивановичъ пошелъ ночевать въ избу.

Уже ночь. Все успокоилось, а не спится Василью Иванычу: ему было жарко въ хатѣ. Ворочаясь съ боку на бокъ, онъ разсердился, вскочилъ и, какъ былъ, вышелъ на свѣжій воздухъ, даже не надѣлъ сапоговъ. Ночь была прекрасная, весенняя; луна не свѣтила, но звѣзды мириадами ярко горѣли на темноглубомъ небѣ; тишина была необыкновенная; изрѣдка повѣвалъ душистый вѣтерокъ изъ цвѣтущаго яблоннаго сада да вдали отзывалась заунывная свирѣль. Успокоенный прохладою и тишиною ночи, Василій Иванычъ началъ размышлять о важности завтрашняго дня, о важности шага въ жизни, который онъ хочетъ сдѣлать, и тому подобное. Послѣ того онъ посмотрѣлъ на небо, кстати вспомнилъ кое-что изъ астрологій и началъ дѣлать свои выкладки о завтрашнемъ днѣ. Онъ отыскалъ Большую Медвѣдицу и назвалъ ее своею невѣстою, а для себя нашелъ созвѣздіе, похожее на барана, потому-что онъ родился въ знакѣ Овна, а Овенъ значить овца мужскаго рода, или попросту баранъ. Когда знаки были отысканы, Василій Иванычъ пристально смотрѣлъ, куда созвѣздіе Возъ направляетъ свой путь, и ясно увидѣлъ, что Возъ изволилъ поворотить оглобли и не ѣдетъ ни къ Медвѣдицѣ, ни къ Овну, а куда-то въ сторону. Только-что хотѣлъ Василій Иванычъ еще сдѣлать кое-какія замѣчанія по млечному пути, какъ что-то холодное сѣло ему на босую ногу; онъ съ ужасомъ тряхнулъ ногою, и лягушка взвилась, какъ мячикъ, на воздухъ и упала за бортомъ.

„Э-ге!“ сказалъ Василій Иванычъ: „да тутъ есть эти мерзкія животныя, въ которыхъ иногда вселяется недобрая сила! Не даромъ нѣкоторые племена черкесовъ называютъ чорта кукамъ и представляютъ его въ образѣ зеленой жабы съ синими глазами. Бррр!...“ Говоря такую рѣчь, Василій Иванычъ подошелъ къ чумацкимъ возамъ, которые стояли среди двора, накрытые кожами. Онъ усѣлся на возу и сталъ смотрѣть на небо — и хорошо: жаба не взберется на возъ, да сидѣть неловко на кожѣ, смоченной прохладною росой. Василій Иванычъ поднялъ кожу; полный возъ насыпанъ пшеницы. „Ладно“ прошепталъ нашъ астрономъ: „теперь все небо разсмотрю“. Онъ залѣзъ подъ кожу, врылся въ пшеницу такъ, что одна голова осталась наверху и, приподнявъ конецъ покрывки, началъ разсматривать небо. Сперва всѣ звѣзды стояли попрежнему, потомъ мало-по-малу начали подвигаться. Возъ поворотилъ оглобли къ Медвѣди-

цѣ, Медвѣдица, видимо, подходила къ Овну, потомъ по солнечному пути побѣжали звѣзды, поскакали разные планеты... и все принялось плясать; руки Василя Иваныча, подерживавшія кожу, опустились отъ упоенія такимъ высокимъ зрѣлищемъ—и настала тьма...

VI.

Въ четвергъ жена Ивана Ильича долго хлопотала по хозяйству, заботясь о завтрашнемъ днѣ, и уже поздно ночью зашла въ комнату Глаши. Глаша была въ слезахъ.

— О чемъ ты плачешь, дитя мое?

— Ни о чемъ, маменька, такъ...

— Смотри, чтобъ подъ этимъ „такъ“ не было чего важнаго. Какъ можно дѣвицѣ накануне свадьбы реветь!... Да я цѣлую ночь передъ свадьбою не спала отъ радости, все думала о томъ, что завтра будетъ... Тутъ что-нибудь да есть, Глаша?

— Право, ничего, маменька. И Глаша кинулась къ ней на шею.

— Какъ же ты плачешь, а мнѣ не скажешь, дурочка? Можетъ, твое горе можно поправить.

— Теперъ уже поздно!...

— Какъ поздно? Да растолкуй путемъ, что это значитъ?

Лицо маменьки вытянулось.

— Вотъ видите, маменька: завтра свадьба, а мнѣ бы хотѣлось быть въ розовомъ платкѣ, въ такомъ, какъ была у насъ на выпускѣ m-lle Мышьякъ...

— Уфъ! Боже мой! Я думала, съ нею Богъ-знаетъ что такое, а она реветъ о платочкѣ! Не бойся, завтра на зарѣ пошлю Степку, и онъ привезетъ тебѣ чудесный розовый платочекъ еще къ обѣду... О чемъ же еще плачешь?

— Ни о чемъ; я думаю, что Степка у насъ не былъ въ пансіонѣ на выпускѣ и не знаетъ, какой былъ платочекъ на m-lle Мышьякъ.

— Какая ты странная! розовый—ну, онъ и купить розовый.

— Ахъ, маманъ! на томъ были такіе узоры, мотыльки, цвѣточки... такъ весело...

— Коли ты такая капризная, Богъ съ тобою! Завтра вечеромъ сама станешь госпожею, такъ я тебя еще разъ побалую: чуть станетъ всходить солнышко, мы сядемъ въ коляску, поѣдемъ въ городъ, купимъ платокъ и къ обѣду будемъ назадъ. Смотри же, не проспай!... И маменька, поцѣловавъ дочку, вышла изъ комнаты.

А знаете, о чемъ плакала Глаша?

Она дала согласіе на бракъ съ Василемъ Иванычемъ безъ принужденія и даже

съ нѣкоторою радостью: ей было невыразимо пріятно выйти замужъ первую изъ всѣхъ своихъ сверстницъ, чтобъ подразнить ихъ и еще выиграть у m-lle Мышьякъ черепашковое кольцо по пансіонскому договору. Это хорошо; но любви къ Василю Иванычу она никакой не чувствовала—не только любви, но даже почтенія, уваженія—рѣшительно ничего. Для нея женихъ казался такъ-себѣ, не уродъ и не красавецъ; рѣчей его она почти не слыхала, а что и слышала, не все понимала; словомъ, ей Василій Иванычъ казался ни рыба, ни мясо. Эти мысли пришли непрощенныя къ Глашѣ вечеромъ передъ свадьбою, и она загрустила; ей почти стало досадно, что она выходитъ замужъ... „Гдѣ же тотъ идеалъ мужа, о которомъ я мечтала почти отъ колыбели?“ думала Глаша: „Гдѣ онъ, стройный, перетянутый тоньше меня, съ прекрасными усиками? Не станетъ онъ утромъ сторожить мое пробужденіе, весь въ блескѣ, въ киверѣ, въ шарфѣ, въ эполетахъ!... Нѣтъ, не сбьется моимъ мечтамъ!“ И слезы, горькія слезы бѣжали по розовымъ щечкамъ Глаши.

Вотъ что было причиною слезъ, а платочекъ былъ отводъ, который гораздо прежде Франклина изобрѣли женщины; иначе: платочекъ былъ игра воображенія, фантазія, или, еще проще, мнѣ, какъ Семирамида, Рюрикъ, и прочее.

VII.

Въ пятницу утромъ рано собрался въ селѣ Шеретиловкѣ базаръ: здѣсь продавали молоко, яйца, разные (по словамъ майора Иванова) „пряные корни“: хрѣнь, морковь, лукъ, чеснокъ, и т. п. Чумаки вывезли нѣсколько возовъ съ разными товарами, у кого была соль, у кого рыба.

— А у тебя что? спросилъ чумака, стоявшаго спокойно у воза, толстѣй въ нанковомъ сюртукѣ.

— Пшено, отвѣчалъ чумакъ.

— А покажи, хорошее ли оно?

— Пожалуй. Чумакъ открылъ кожу, и съ ужасомъ отскочилъ отъ воза: тамъ изъ пшена торчалъ человѣческій носъ, виднѣлась часть лба и закрытые глаза.

Въ нѣсколько секундъ торговля на базарѣ остановилась, всѣ важные обороты и операціи пряными корнями и другими товарами прекратились. Народъ густою толпою окружилъ возъ съ чудною головою.

„Что это такое?“ кричалъ народъ: „вотъ комедія!“

Чумакъ важно крестился и говорилъ:

„Ей-богу не знаю, люди добрые! это должно быть *мара* *), или что подобное“.

Но вотъ, голова потихоньку поднялась, открыла глаза, да какъ чихнетъ... народъ такъ и отскочилъ въ стороны... Спасибо, толстякъ въ нанковомъ сюртукѣ доказаль всѣмъ ясно, что это долженъ быть бѣглый, имѣвшій укрывательство въ пшенѣ.

„Такъ вотъ оно что! именно такъ!“ заревѣлъ народъ, подходя къ возу: „такъ ты имѣвшій укрывательство! А выходи-ка сюда!“ И въ минуту Василій Ивановичъ былъ вытащенъ изъ пшена. Его нарядъ еще болѣе подтвердилъ общее подозрѣніе. „Онъ воръ, онъ разбойникъ!“ кричали въ толпѣ: „иначе зачѣмъ ему забраться въ пшено? Связать его и въ полицію!“ Сначала Василій Ивановичъ ничего не понималъ, и гдѣ онъ, и что съ нимъ дѣлается; послѣ, мало-по-мало, пришелъ въ себя и началъ было оправдываться, но народъ не хотѣлъ и слушать. „Вреть, вреть!“ кричала толпа: „не слушайте его, а то, чего добраго, обморочитъ насъ, и мы его изъ рукъ выпустимъ!“ Два или три человѣка офицеровъ переходящаго полка тоже подходили къ толпѣ и спрашивали солдата, который имъ объяснялъ, что поймали вора, и что воръ называетъ себя помѣщикомъ Васильемъ Ивановичемъ.

Въ это время по улицѣ ѣхала коляска; въ коляскѣ сидѣла Глаша съ маменькою; отъ тѣсноты коляска остановилась и глазамъ изумленныхъ дамъ представился связанный Василій Ивановичъ. Маменька поблѣднѣла отъ ужаса; она не вѣрила глазамъ своимъ, а дочь тихо шептала: „Что вы смотрите на гадкаго Василья Иваныча? смотрите, какіе миленькіе офицеры...“

— Кстати, сказала маменька:— не знаютъ ли они чего? И, обратясь къ одному офицеру, спросила:— Милостивый государь, позволите спросить, отчего здѣсь такая давка?

Офицеръ подошелъ къ коляскѣ скорымъ шагомъ, подбоченясь лѣвою рукою, правою вѣжливо поднявъ за козырекъ фуражку и, оставляя ее въ положеніи между небомъ и землею, отвѣчалъ:

— Изволите видѣть, поймали вора, кото-

рый называетъ себя здѣшнимъ помѣщикомъ и говорить, будто онъ сегодня женится на дочери здѣшняго помѣщика.

— Фи! какая ложь! отвѣчала маменька:— онъ сумасшедшій! А вы, вѣроятно, въ здѣшнихъ мѣстахъ переходомъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, сударыня! Нашъ полкъ будетъ расположенъ въ здѣшнемъ уѣздѣ.

— Очень вамъ благодарна. Надѣюсь, вы продолжите съ нами знакомство, хоть оно началось такъ романически...

— Сущая правда, сударыня.

— До свиданія! Мы живемъ отсюда верстахъ въ десяти, въ деревнѣ Пузырьковкѣ; мой мужъ очень любитъ военныхъ. Степка, пошелъ домой!

Коляска уѣхала; офицеръ расшаркался. Василій Иваныча увели въ деревенскую полицію, гдѣ, выслушавъ его, убѣдились, что онъ точно Василій Ивановичъ, послали за его экипажемъ, и бѣдный астрономъ уѣхалъ домой очень-печально.

Не успѣлъ Василій Ивановичъ войти въ комнату, какъ на дворѣ раздались веселые пѣсни и клики: вся деревня, по его вчерашнему повелѣнію, пришла во дворъ и начала упражняться около бочки съ водою.

— Эй! кто тамъ! закричалъ Василій Ивановичъ.

— Я, отвѣчалъ слуга Иванъ.

— Отчего эти дураки такъ заорали?

— Приѣхалъ отъ вашей невѣсты нарочный.

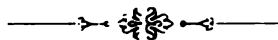
— Зови его сюда.

Пришелъ нарочный, поклонился и тихо выкатилъ изъ мѣшка къ ногамъ Василія Иваныча огромную тыкву.

— Спасибо! сказалъ Василій Ивановичъ. Иванъ! дай ему рюмку водки, да прикажи гнать этихъ пьяныхъ дураковъ на пашню, а гарбузъ **) мнѣ сварить къ обѣду.

„Какъ судьба странно играетъ мною!“ прошепталъ, тяжело вздыхая, Василій Ивановичъ. „А тутъ прикащикъ пророчить, что гороху не будетъ: поздно, дескать, посѣяли... Кругомъ напасти!...“

1841 г.



*) *Мара*—призракъ.

**) Тыква.

Водевиль въ частной жизни.

ПОВѢСТЬ.

Не думайте, господа, чтобы Нѣжинъ происходилъ отъ нѣги, гм! т. е. отъ нѣжности или извѣженности: думать подобнымъ образомъ болѣе или менѣе неосновательно. Напротивъ, отъ низкаго своего положенія назывался городъ Низень, впоследствии—Ниженъ, далѣе—Нишинъ, наконецъ и вышло Нѣжинъ.

Изъ профессорской лекціи.

Тамъ нѣкогда гулялъ и я...

А. Пушкинъ.

I.

Если вы когда-нибудь проѣзжали городъ Нѣжинъ, не по казенной надобности, не курьеромъ, не фельдъегеремъ, не торопясь къ хорошенькой невѣстѣ, или къ умиравшему богатому дядюшкѣ, а такъ, просто, путешественникомъ-наблюдателемъ, то вѣрно замѣтили каменный двухъэтажный домъ, въ два окошка на улицу, домъ, въ родѣ узкой башенки древнихъ замковъ, крытый желѣзомъ съ желѣзными рѣшетками на окнахъ, съ тяжелыми желѣзными ставнями. Ворота на дворѣ этого дома, сколоченныя изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ, вѣчно были на замкѣ; у воротъ была прикована злая цѣпная собака, а по маленькому двору ходилъ ручной журавль, имѣвшій привычку съ дикимъ крикомъ бросаться въ глаза и бить крыльями всякое незнакомое лицо.

И домъ, и собака, и журавль принадлежали нѣжинскому греку Зою Марковичу Бакизаки.

Бакизаки былъ одинъ изъ первыхъ капиталистовъ Нѣжина; оставя торговые обороты, онъ жилъ уединенно въ своемъ домѣ съ старою служанкою Христиной и давалъ въ ростъ деньги подъ вѣрные заклады.

Не знаю почему, мы привыкли всегда представлять себѣ скупца тощимъ, худымъ, желтымъ—словомъ, какимъ-то кащеємъ. Бакизаки былъ величайшій скупецъ, отказывалъ себѣ во всемъ и притомъ былъ чудовищно толстъ: онъ едва двигался отъ

своего жира и только маленькіе, быстрые глаза показывали въ немъ умъ и сметливость.

Всякій отъ стола Бакизаки умеръ бы съ голоду, а онъ толстѣлъ. Впрочемъ, подобныя явленія не рѣдкость: многія породы кактусовъ распускаютъ на сыпучихъ пескахъ свои толстые листы—и здоровы, и зелены безъ капли дождя; или, еще ближе: чѣмъ жарче и безводнѣе лѣто, тѣмъ огромнѣе растутъ арбузы; все растущее умираетъ отъ засухи, отъ недостатка пищи, а арбузъ толстѣетъ да толстѣетъ. Въ этомъ случаѣ арбузъ похожъ на Бакизаки или Бакизаки—на арбузъ.

Полутру Христина идетъ на рынокъ покупать къ чаю для Бакизаки на грошъ баранокъ, потомъ одѣваетъ барина и даетъ ему чай, уходитъ на кухню, а Бакизаки запираетъ двойныя двери своей комнаты двойными замками и остается въ ней до обѣда; занятія его тамъ неизвѣстны, только по временамъ бываетъ слышенъ звонъ монетъ, и опять все утихаетъ.

Въ первомъ часу обыкновенно Бакизаки обѣдаютъ или похлебку изъ маслинъ, или огурцы подъ медовымъ соусомъ съ лавровымъ листомъ и перцемъ, или что-нибудь подобное, соображаясь съ временемъ года, что подешевле; послѣ садился на кровать, клалъ себѣ на колѣни подушку, опирался на нее локтями и въ такомъ положеніи выкуривалъ трубку турецкаго табаку и выпивалъ чашечку кофейной гущи

сахара; съ послѣднимъ дымомъ изъ ки глаза Бакизаки закрывались, онъ нялся на постель и спалъ почти до ра.

Регулярно каждый день передъ вечеромъ старинныя широкія двухмѣстныя дрожапряженныя одною чалою лошадей, енно переваливаясь черезъ бревна деной мостовой, глухо стучали и кати по спокойному городу Нѣжину; во ширину дрожекъ сидѣлъ Бакизаки въ мнѣ лисей шапкѣ съ козырькомъ; рвые люди снимали шапки передъ чалошадью и низко кланялись Баки-

Всѣ знали, что у него много денегъ.

II.

Для наслажденій
Ты рождена.
Часть упоенья
Лови, лови!
Младья лѣта
Отдай любви...

А. Пушкинъ.

Какаа радость—будетъ балъ!...

А. Пушкинъ.

Марья Львовна была въ сильномъ еніи; она заботливо перебирала свои ды, посматривала въ зеркало, то разла свой длинный, темный локонъ и ежно бросала его на плечо ослѣпной бѣлизны, то свивала его, рѣзваясь, и краска самодовольствія вспыхивала на лицѣ; черныя глаза весело блики изъ-подъ пушистыхъ рѣсницъ; грудь овалась неопредѣленнымъ вздохомъ.

Марья Львовна собиралась на балъ въ зродное собраніе.

Благородное собраніе въ уѣздномъ городѣ—эпоха, эпоха важная.

Тутъ собираются и знакомые, и незкомые; сюда съ трепетомъ пріѣзжаетъ ная барышня; ея сердце жаждетъ люу нея уже есть въ душѣ идеаль его, э непохожій на становаго пристава, ственнаго гостя въ деревнѣ ея батю-

Авось этотъ идеаль осуществится! въ онъ здѣсь—молодой и красивый! и тательно смотритъ она на уланскаго нтера, который храбро вломился въ аніе и, щелкая шпорами, ангажируетъ осядку.

Здѣсь и студентъ съ шитыми петлицами на воротникѣ, щипая пушокъ на вергубѣ своей, наивно толкуетъ дамамъ адріяхъ о философіи, засматривается ихъ, краснѣетъ и улыбается. Здѣсь и ские, и военные, и дамы, и дѣвушки,

и старики, и молодые: кто танцуетъ, кто играетъ въ карты, кто въ буфетѣ пьетъ лимонадъ, хотя очень умно замѣтилъ одинъ помѣщикъ, что не стоитъ платить пяти рублей за право пить лимонадъ въ буфетѣ, когда онъ дома обходится гораздо дешевле.

Неудивительно, что Марью Львовну очень занимало собраніе, тѣмъ болѣе, что она первый разъ въ жизни выѣзжала на балъ.

Другая недѣля какъ Марья Львовна оставила пансіонъ; она еще не видала свѣта, боялась его, но и любила, какъ всякій юноша, очарованный надеждами... Она была сирота: отецъ ея убитъ въ сраженіи; мать умерла гдѣ-то въ степномъ хуторѣ, оставя ее на попеченіе своего брата. Опекунъ-дядя, чтобы избавиться докучнаго ребенка, куда-то подаль прошеніе, и Марья Львовна за заслуги отца принята пансіонеркою въ одно казенное учебное заведеніе, гдѣ выросла и расцвѣла, не зная родственныхъ ласкъ. И вотъ молодая пансіонерка другую недѣлю гоститъ въ уѣздномъ городѣ, въ семействѣ своей подруги по воспитанію, ожидая отъ дядюшки лошадей. Въ городѣ случилась ярмарка, пріѣхалъ театръ, составилось собраніе—всѣ ѣдутъ... Марья Львовна спѣшитъ приколотъ на голову свѣжую розу; руки дрожатъ, сердце сильно стучитъ подъ корсетомъ отъ радости, а тутъ давно ждетъ коляска; подруга торопитъ.—„Какой несносный балъ!“ шепчетъ Марья Львовна, надувъ миленькія губки, и кидается въ коляску.

Марья Львовна была высокаго, стройнаго роста; ея греческій профиль...ну просто сказать: она была прехорошенькая.

И въ залу высыпали всѣ—

И балъ блистать во всей красѣ!

Оркестръ довольно-правильно игралъ мазурку; ремонтеръ, гремя шпорами, увлекъ въ танецъ генеральшу Оглоблину, и она, тяжело обѣгая залу, кивала головою своимъ знакомымъ; какой-то франтикъ, накренивъ въ сторону, какъ легкая лодочка подъ парусами, быстро рѣзалъ воздухъ по комнатамъ, а посреди залы восемь дѣвушекъ охотились надъ степеннымъ полковникомъ: манили его улыбками, какъ свѣтами опутывали розовыми и голубыми шарфами, стрѣляли глазками; но старый ветеранъ, обстрѣленный въ отечественную войну, оставался невредимъ, тряхнулъ густыми эполетами, схватилъ дамскую руку, которая была поближе, и пошелъ прихрамывать подъ тактъ мазурки... Хотите знать, гдѣ Марья Львовна? посмотрите: въ углу си-

дитъ она съ молодымъ человѣкомъ въ черномъ фракѣ; они танцуютъ и уже пропустили, какъ замѣтила Оглоблина, двѣ фигуры... Посмотрите, съ какою пансіонскою невинностью щиплетъ она свою перчатку! какъ томо опустила свои огненные глаза! какъ мило краснѣетъ!... Черный фракъ что-то говоритъ много. Хотите знать, о чемъ говорятъ они? Не совѣтую: для васъ ихъ разговоръ не будетъ не только занимателенъ, но даже понятенъ; и если вы хотите имѣть хорошее мнѣніе объ умѣ людей, то не подслушивайте, когда мужчина и дѣвушка говорятъ, да такъ увлекательно, что пропускаютъ въ танцахъ фигуры.

Собраніе кончилось. Марья Львовна уѣхала домой, безъ розы на головѣ. Какой-то кавалеръ вышелъ изъ собранія съ розою на черномъ фракѣ, что было замѣчено, какъ великая странность, всѣми уѣздными чиновниками.

III.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА МАРЬИ ЛЬВОВНЫ.

20 августа.

Боже мой! гдѣ я? что со мною будетъ?... Третьяго-дня едва я дождалась экипажа. „Marie. Marie!“ кричала Anette, вбѣгая въ мою комнату: „за тобою пріѣхали...“ Я собралась, выхожу на крыльцо; у подъѣзда стоятъ узенькая жидовская брика съ крышею изъ цыновокъ, запряженная парю тощихъ лошадей; на козлахъ жидъ, такой гадкій, въ круглой, широкой шляпѣ, съ красными локонами, съ красною бороδοю, сухой какъ палка, да такъ страшно сверкаетъ глазами, какъ болонка нашей класной дамы, а въ рукахъ у него длинная вѣтка какого-то дерева. Anette и ея маменька уговорили меня ѣхать, дали на дорогу и жаренаго миндаля, и пирожковъ—какія добрыя! Мы съ Anette обнялись, поклялись въ дружбѣ до гроба. За мною пріѣзжала Христина. Всю дорогу я плакала, жидъ ворчалъ: „фуръ! фуръ!“ и стегалъ длинною вѣткою бѣдныхъ лошадей. Христина спала или нюхала табакъ—фи!... Такъ мы пріѣхали въ Нѣжинъ... Не дай Богъ, еслибъ онъ меня тогда увидѣлъ!...

Въ комнатѣ, куда я вошла, толстый старикъ сидѣлъ на диванѣ „Вотъ вашъ дядюшка!“ сказалъ Христина. „Поди, поцѣлуй меня“, сказалъ довольно-хладнокровно дядюшка, не трогаясь съ мѣста. Я подошла къ дядюшкѣ, а онъ такъ больно ущипнулъ меня за щеку, что я вскрикнула. „Ого, какая нѣженка!“ говорилъ дядюшка: „точь-въ-точь покойница сестра.

Да расфрантилась какъ! можно бы въ дорогу одѣться попроще, и дома то что сегодня за праздникъ?“

А на мнѣ было простое ситцевое платье и соломенная шляпка.

Дядюшка тутъ же выбранилъ Христину за дорожныя издержки и далъ мнѣ совѣтъ поменьше кушать. „Четыре яйца въ-смятку“, ворчалъ дядюшка: „для такой молодой дѣвочки на завтракъ, Богъ знаетъ что такое!... Такъ, пожалуй, никто и замужъ не возьметъ!... Вотъ какъ воспитываютъ!... Бывало, прежде дѣвушка, какъ птичка Божія, что только попробуетъ, до чего дотронется, что понюхаетъ—и сыта, и весела, щебечетъ-себѣ—и всѣмъ весело!...“

Еще много подобнаго говорилъ дядюшка; я готова была расплакаться и очень обрадовалась, когда онъ велѣлъ идти мнѣ въ свою комнату.

Моя комната—маленькой чуланъ съ однимъ окномъ въ дворъ; окно задѣлано желѣзною рѣшеткою; передъ окномъ высокій заборъ, далѣе небо, по небу ходятъ тучи, по двору—журавль. Скучно! и фортепяно нѣтъ у дядюшки.

Вотъ я и дома и на свободѣ!... Чтожъ? меня ущипнули, выбрали за грошъ и посадили въ темницу!... Богъ судья, а у меня не лежитъ сердце къ дядюшкѣ.

21 августа.

Какъ я люблю галопадъ!... Такая веселая музыка!... Мнѣ снилось собраніе, балъ... на мнѣ было бѣлое кисейное платье, вышитое премиленькимъ узоромъ; голова убрана à l'ancien regime, что, говорятъ, мнѣ къ лицу... Въ залѣ толпа; но вотъ толпа раздвинулась, ко мнѣ подходитъ онъ, въ черномъ фракѣ съ розою въ петлицѣ: я узнала свою розу и покраснѣла... Тутъ музыка заиграла галопадъ; онъ подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня одною рукою—и мы понесли по залѣ. Какъ легко, какъ весело танцевать съ нимъ. Музыка играла все шибче и шибче, мы летали быстрѣе и быстрѣе; все собраніе, и мужчины, и женщины, мелькали въ глазахъ пестрыми цвѣтными полосками...вдругъ... Христина разбудила меня, несносная! „Пожалуйте“, говоритъ, „дядюшка ждетъ васъ къ чаю“. Еще бы соснуть хоть полчаса... хоть пять минутъ! Нечего дѣлать, иду.

Вечеръ.

— Поздненько, сударыня, поздненько! сказалъ мнѣ на встрѣчу дядюшка.

— Я поздно легла.

отчего же поздно? Все романы да луна да звѣзды—знаемъ мы васъ! а противъ, изъ моего окна, кромѣ за-ничего не видно.

то жъ вы дѣлали?

занималась, писала...

исъма?

ѣтъ, свои мысли, замѣчанія...

Ѣ же звѣзды съ луною!... игра свѣтъ ить, а вѣдь свѣчу, какъ ни ухит-меньше восьми копеекъ не купишь. аша, ты дѣлаешь вадоръ: пишешь... ютъ, каракульки, а свѣчу палишь; съ есть, а что пользы? только вста-позже... Если хочешь писать, вста-ныше; солнце рано встаетъ, да такъ о свѣтить, лучше всякой свѣчи... ядюшка просто скупъ...

22 августа.

ядюшка далъ мнѣ выговоръ, зачѣмъ ий день одѣваюсь какъ подъ вѣнецъ. отвѣчала, что у меня платьевъ ху-ъ. Онъ покачалъ головою и провор-„гм!“

алъ какой-то лысый магистратскій икъ; дядюшка подчивалъ его галь-краснымъ виномъ. Вѣрно лысый икъ важная особа! Онъ на меня по-валъ исподлобья такъ смѣшно!

23 августа.

хотѣла посадить на зиму въ горшки ѣ—дядюшка и противъ этого.

же луна и звѣзды, сказалъ онъ:—ялки да нарцисы, роши да ручейки ра не доведутъ; посадила бы луку: зелень, а полезнѣе.

ѣ чему это?

акъ-же, придетъ зима, какъ пріятно ить маслины или что-нибудь зеле-лукомъ.

не могу терпѣть этого запаху.

ядюшка засвисталъ, покачивая голо-а стороны и сказалъ:

ипная дѣвчонка.

ѣ чему жъ вы меня такъ воспитали? ла я.

! я? торопливо говорилъ дядюшка:—мое почтеніе, такого грѣха я не на свою душу... Это дѣло казенное. вой отецъ былъ убитъ въ сраженіи, и возьми тебя учить на свой счетъ; дѣло сторона. Я опекунъ добросо-ий и не сталъ бы тратить денегъ, сдѣлать изъ тебя этакую бѣло-

24 августа.

Опять былъ лысый чиновникъ; его зовутъ Банава; съ нимъ приходилъ его сынъ—тощее, высокое созданіе, съ острымъ лицомъ, будто сдѣланнымъ изъ бубноваго туза въ профиль; оно двигалось на тонень-кихъ ножкахъ, какъ на двухъ тросточкахъ, на которыхъ были надѣты пребольшіе ши-рокіе сапоги; на длинной шеѣ былъ на-мотанъ пестрый бумажный платокъ. Я не могла равнодушно смотрѣть на это созданіе: мнѣ казалось, что дядюшка для шутки на-рядилъ въ сапоги нашего журавля.

„Честь имѣю рекомендоваться“, гово-рило мнѣ это созданіе, показывая зубы и выговаривая вмѣсто ч—ц: „я коллежскій регистраторъ Ставръ Ставровичъ Банава“.

И началъ мнѣ рассказывать, какая у его батюшки винокурня, и что онъ хочетъ быть церковнымъ старостою.

Боже мой! какъ всѣ люди отстали отъ него! Онъ лучше всѣхъ мужчинъ! Что это за уроды, какъ сравнишь съ нимъ, даже и самъ... ну и самъ дядюшка! и неужели я никогда его не увижу?! Быть не можетъ! при одной мысли я умереть готова... А какъ было бъ хорошо, еслибъ, вмѣсто гад-каго Банавы, приходилъ онъ къ дядюшкѣ: какъ была бы я счастлива!... мы бы вмѣ-стѣ сидѣли, говорили; я бы опять слушала его пріятный голосъ, украдкою посмотри-вала бы въ его свѣтлые глаза, какъ въ собраніи... Опять онъ, прощаясь, пожалъ бы мнѣ руку, какъ тамъ... послѣ мазурки... Никогда не забуду этой минуты!... Anette еще, бывало, въ пансіонѣ, шутя, сдавить мнѣ руку такъ, что цѣлый часъ горять пальцы, и ничего, только больно... А онъ слегка, робко пожалъ—и я вся вздрогнула отъ какого-то непонятнаго удовольствія... Ахъ, Боже мой! гдѣ онъ? мнѣ хочется плакать...

25 августа.

Все кончено: я ненавижу дядюшку! Сегодня передъ вечеромъ пріѣхалъ онъ домой и позвалъ меня къ себѣ.

— Ну, вотъ тебѣ и гостинецъ! сказалъ мнѣ дядюшка, развязывая какой-то гряз-ный узелокъ, и вытащилъ оттуда красное мериновое платье, все въ пятнахъ, из-ношенное, истертое.

Я приняла слова дядюшки за какую-то странную мистификацію и начала хо-хотать.

— Чего ты хохочешь, какъ безумная? говоритъ дядюшка, держа передъ собою, въ родѣ передника, красное платье.

— Ахъ, дядюшка! гдѣ вы нашли такую гадость? едва я могла выговорить отъ смѣха.

— Гадость! гадость!... Избалованная дѣвчонка! да не дальше какъ съ недѣлю назадъ, именно въ день Фрола и Лавра, весь городъ видѣлъ его на нашей капитаншѣ— понимаешь ли? дама солидная, капитанша не стыдилась надѣвать его, а ты, дѣвчонка, называешь гадостью.

— Помилюйте, дядюшка, пусть-себѣ капитанша его и носитъ.

— То-то молодое—зеленое! оно принадлежало капитаншѣ, а теперь твое.

— Я не понимаю... вы купили эту дрянность у капитанши?

— Конечно! Что, не бойсь, у васъ много денегъ есть, душечка?... Спасибо, хоть люди принимаютъ въ васъ участіе. Я сегодня заѣхалъ къ нашему инвалидному капитану; сѣли за чай, слово за слово, и о тебѣ рѣчь зашла. Вотъ я и говорю, что всѣ тебѣ тамъ настроили такихъ платьевъ, какъ вѣтеръ, какъ паутина, дома и ходить не въ чемъ... Дальше, все о томъ да и томъ, и вышло, что я тебѣ и привезъ гостиницу.

— Боже мой! такъ вы выпросили у капитанши эти лохмотья?

— А еслибъ и такъ?

— Фи! стыдъ—нищенствовать!... Знайте, что я никогда не надѣну этого рубища... Боже мой!...

Слезы задушили во мнѣ голосъ.

Дядюшка, улыбаясь, качалъ головою.

30 августа.

Былъ опять лысый Банава съ сыномъ. Ставръ Ставровичъ такъ же худъ, такъ же смѣшно улыбается, только поглупѣлъ немного. Онъ мнѣ приносилъ въ подарокъ картинку, вырѣзанную изъ какой-то нравственной книги: „Умиравшій Грѣшникъ“. Я на взяла картинку; онъ разсердился и сказалъ: „Если такъ, я ее отдамъ собакамъ“. Я замѣтила, что собаки не ѣдятъ картинокъ. „Ну, такъ подарю вашему дядюшкѣ“. Дядюшка остался очень доволенъ подаркомъ.

Послѣ я ушла въ свою комнату и все думала о немъ.

31 августа

Сегодня поутру дядюшка ворчалъ цѣлый часъ на Христину: отчего она купила къ чаю черствыхъ баранковъ, и упрекалъ ее въ воровствѣ капитала.

— Всего я вамъ покупаю на два гроша баранковъ; изъ чего же тутъ красть? го-

ворила бѣдная женщина.

— Ого, какая невинная! Спроси-ка у этихъ господъ: вотъ, знаешь... изъ копѣйки денежку утаить... да тебѣ это самой извѣстно!... Ты имѣешь въ рынкѣ большое знакомство, покупаешь каждый день продукты на чистыя деньги, тебѣ за три копейки уступятъ то, за что съ меня возьмутъ четыре, а эти черствые баранки—товаръ залежалый, имъ вся цѣна грошъ. Говоря это, дядюшка переломалъ всѣ баранки, бросилъ ихъ Христина и закричалъ:—сей часъ пошла, перемѣни!

Христина печально подобрала брошенные куски и вышла. Двѣ крупныя слезы побѣжали по ея смуглымъ щекамъ.

Она скоро возвратилась съ мягкими баранками.

— Не бойсь, перемѣнила! ворчалъ дядюшка.

— Барышня! а барышня! сказала мнѣ Христина, когда я, послѣ чая, пришла въ свой чуланъ.

— Что тебѣ нужно?

— Вы не знаете, что я вамъ скажу?

— Не знаю.

— Сегодня я иду мѣнять баранки и думаю: „кто мнѣ ихъ перемѣнитъ? никто не перемѣнитъ; придется за послѣдній свой грошъ купить!“ Думаю да и плачу. А тутъ только за ворота, а какой-то баринъ, молодой да раскрасивый, стоитъ у воротъ и спрашиваетъ: „О чемъ ты плачешь, милая?“ Я взяла, да и рассказала ему все, такъ-все рассказала—не въ мочь терпѣть, а онъ говоритъ: „Ничего; вотъ тебѣ гривенникъ, ступай, купи свѣжихъ баранковъ“. А послѣ спрашивалъ о васъ: здоровы ли вы, и какъ живете, и что дѣлаете? Такой добрый!...

— Въ чемъ онъ былъ? въ черномъ фракѣ? спросила я, думая, что это былъ онъ.

— Нѣтъ, въ сѣрой шинели.

Цѣлый день я думала о сѣрой шинели. Можетъ-быть, это и онъ; можетъ-быть, онъ надѣлъ и сѣрую шинель.

2 сентября.

Я счастлива: онъ здѣсь! мой Вольдемаръ! Какое прелестное имя—Вольдемаръ! сколько роскоши въ этихъ звукахъ! сколько гармоніи! Вольдемаръ, Вольдемаръ, Вольдемаръ!...

Какъ я сегодня буду молиться о счастіи Вольдемара!... Христина принесла сегодня записку отъ Вольдемара; я угадала, что онъ вчера далъ ей денегъ. Христина извинялась передо мною, что принесла записку, говорить: „не могла отказать добродушному барину“. Глупенькая, есть въ чемъ извиняться! Вольдемаръ пишетъ, чтобы я

не сердилась за его дерзость. Какая жь тутъ дерзость? Онъ пишетъ, что хочетъ меня избавить отъ плѣна дядюшки, вырвать изъ этой темницы. Какой добрый! Напрасно моя классная дама говорила: „бойся мужчинъ: они всѣ тираны, крокодилы“. Еще пишетъ, чтобъ я не говорила дядюшкѣ о нашемъ знакомствѣ на балѣ. Какой смѣшной! Скажу я слово этому толстому скупцу: развѣ захочу слушать упреки и выговоры? Нѣтъ, cher oncle, не дожидетесь вы отъ меня откровенности. Вольдемаръ—другое дѣло; я ему напишу все, напишу, что на все согласна... даже напишу что... да, напишу, что люблю его! Поздно, пора спать, давно полночь. Пора молиться, молиться о Вольдемарѣ.

3 сентября.

Несносный Банава спрашивалъ меня, хочу ли я быть его супругою. Я хохотала до упаду; онъ обидѣлся, и когда я перестала смѣяться, спросилъ: что меня такъ развеселило.

— Ваше смѣшное предложеніе,—отвѣчала я.

— Отчего же оно смѣшное? развѣ вы меня не любите?

— Нисколько!

— Отчего?

— Не скажу.

— Скажите. Бога ради!

— Если вы не разсердитесь.

— Нѣтъ; скажите.

— Отъ того, что вы похожи на нашего журавля.

Онъ покраснѣлъ и сказалъ:

— Такъ и я васъ знать не хочу. Вы похожи на сороку. Скажу вашему дядюшкѣ, такъ онъ васъ принудитъ идти за меня; тогда поневолѣ будете меня любить.

Я не на шутку испугалась, да спасибо, дядюшка даже закричалъ на Ставра Ставровича: „и молоко у васъ на губахъ есть, и чинъ такой, какъ на птицѣ—курицѣ...“ и еще что-то такое—не помню хорошенько, назвалъ меня ребенкомъ, дитятею... Я посмотрѣла нечаянно въ зеркало и засмѣялась. Долго еще ворчалъ дядюшка на молодаго Банаву, а того уже давно и въ комнатѣ не было; а послѣ началъ мнѣ дѣлать выговоры, будто я виновата, что длинный Банава надѣлалъ глупостей? „Онъ“ говорить „не сдѣлалъ бы предложенія, если бы ты ему не позволила“. Я сказала, что я его терпѣть не могу и назвала его журавлемъ. „Опять худо!“ заворчалъ дядюшка: „не должно человѣка нарекать птичьимъ именемъ. Это не дѣлаетъ тебѣ чести“, и пошелъ ворчать часа два, а кончилъ со-

вѣтомъ, чтобъ я и не думала о замужествѣ, что я еще дитя и могу лѣтъ десять подождать да поучиться хозяйству. Неправда ваша, дядюшка!

Сегодня вечеромъ будетъ онъ у дядюшки, я не выйду, а въ замочную скважину посмотрю на него. Я бы и вышла, да, кажется, дядюшка сейчасъ все и узнаетъ. Лучше подождать: онъ пишетъ, что все скоро уладить, и мы никогда не разлучимся. Неужели это сбудется?

IV.

Нашла коса на камень.

Народная поговорка.

— Ну, что же, почтеннѣйшій Зой Марковичъ, теперь вы знаете мои обстоятельства, скажите, какъ вы рѣшились? говорилъ молодой человѣкъ въ черномъ фракѣ, сидѣвшій въ комнатѣ Бакизаки у маленькаго стола противъ самаго хозяина.

— Да, Владиміръ Петровичъ, я помню, очень помню вашего покойника батюшку. Петръ Семеновичъ прекрасный былъ человѣкъ. Бывало, приѣдетъ, займетъ и платитъ хорошо, и живетъ спокойно; былъ и у васъ въ деревнѣ: славная деревня, одному жить хорошо, а васъ, кажется, не одинъ, кажется; я-то васъ помню, какъ вы здѣсь учились, да еще съ братцемъ. Гдѣ вашъ братецъ?

— Который?

— А развѣ у васъ еще есть братцы?

— Слава Богу! семеро.

— Семеро! Благословилъ Богъ покойника, благословилъ! Да, что для одного достаточно, мало для восьмерыхъ, мало: трудное время стало!

— Не мучьте меня, добрѣйшій Зой Марковичъ: въ этомъ заключается все мое счастье. Дня чрезъ четыре я получу двадцать тысячъ изъ Петербурга; я ихъ приказалъ выслать вслѣдъ за мною, и вы получите свои деньги не позже какъ чрезъ недѣлю, въ будущую среду или, непременно, въ четвергъ. Я вамъ объяснилъ мои обстоятельства. Знаете пословицу: дорого яичко къ Христову дню.

— Оно такъ, Владиміръ Петровичъ, но... сколько вамъ нужно?

— Тринадцать тысячъ двѣсти-двадцать-пять рублей, ну да еще нужно подарить кое-кому—вы знаете эти дѣла. Дайте мнѣ тринадцать тысячъ съ половиною, я вамъ возвращу чрезъ недѣлю четырнадцать.

— Нѣтъ такого количества.

— Но войдите въ мое положеніе! отъ этой бездѣлицы я вдвое теряю: завтра срокъ.

— Это не бездѣлица. Впрочемъ, я душев-

но соболѣзную о вашемъ состояніи.

— Полно вздоръ говорить, Зой Марковичъ! я знаю, что у васъ есть въдесятеро больше денегъ, нежели мнѣ нужно, а вы знаете, что мнѣ нельзя обойтись безъ этихъ денегъ. Слушайте жъ, я вамъ даю на недѣлю полторы тысячи процентовъ, болѣе этого я дать не могу. Я къ вамъ заѣхалъ, какъ къ человѣку знакомому и пріятелю моего отца, а не то, за эти проценты я у жида найду денегъ. Говорите: да или нѣтъ? и я поѣду къ другому.

— Пожалуй, тихо сказалъ Бакизаки, будто размышляя:—развѣ изъ уваженія къ старому знакомству съ вашимъ батюшкой, я какъ-нибудь соберу деньги; но гдѣ же у васъ залогъ?

— Залогъ! спросилъ Владиміръ Петровичъ голосомъ изумленного человѣка:—къ чему это?

— Какъ къ чему? спросилъ, въ свою очередь, изумленный Бакизаки.

— Неужели вамъ мало честнаго слова благороднаго человѣка? Ну, пожалуй, я вамъ дамъ расписку.

— Дѣло невозможное; я иначе не даю, какъ подъ вѣрные залого.

— Но что я вамъ дамъ? Боже мой!...

— Безъ этого не получите ни гроша не только у меня, ни у кого въ городѣ. Можеть-быть, у васъ въ Петербургѣ дають на-слово, а здѣсь нѣтъ.

— У меня есть вещи втрое дороже вашихъ денегъ, говорилъ Владиміръ Петровичъ, ходя въ сильномъ волненіи по комнатѣ:—но...

— Какія вещи?

— Бриліанты.

— Я ихъ приму съ удовольствіемъ.

— Но я ихъ везу изъ Петербурга въ подарокъ своей невѣстѣ. Какъ я покажусь къ ней.

— Ничего: недѣлку потерпите; а вы устройте ваши судебныя дѣла—и все будетъ хорошо. А безъ залога, я вамъ говорю, не получите ни гроша.

— Затруднительное положеніе! шепталъ молодой человѣкъ:—но дѣлать нечего. Степка! принеси шкатулку.

Владиміръ Петровичъ вынулъ изъ шкатулки ящичекъ съ бриліантами и, раскрывъ, подалъ его Бакизаки.

— Сколько блеску! Мать Пресвятая Богородица! сказалъ Бакизаки, смотря на алмазы:—однако же, цѣнность...

— Я заплатилъ за нихъ пятьдесятъ тысячъ, вѣрьте или не вѣрьте; а самое лучшее: пошлите за ювелиромъ; у васъ, кажется, есть ювелиръ.

— Какъ же, какъ же! Эй, Христина! бѣги, попроси ко мнѣ Сердолика Ивановича,

да живо! скажи, чтобъ непремѣнно пришель.

Черезъ полчаса возвратилась Христина и сказала, что ювелиръ сегодня передъ вечеромъ уѣхалъ къ какому-то барону и скоро оттуда не будетъ.

— Какъ быть въ такихъ обстоятельствахъ? ворчалъ Бакизаки.

— Если вы не рѣшаетесь, отвѣчалъ Владиміръ Петровичъ:—то я ѣду въ другое мѣсто искать денегъ.

Бакизаки очень не хотѣлось въ недѣлю потерять около двухъ тысячъ рублей; судя по количеству алмазовъ, они стоили вдвое дороже пятнадцати тысячъ, и онъ рѣшился; отсчиталъ деньги, взялъ расписку съ Владиміра Петровича и въ залогъ ящикъ изъ чернаго дерева съ бриліантами. Владиміръ Петровичъ, отдавая ящикъ, вручилъ Бакизаки отъ него ключъ и только для предосторожности отъ людей, какъ говорилъ онъ, запечаталъ своимъ гербовымъ перстнемъ, а Бакизаки далъ отъ себя записку, что точно взялъ подъ залогъ ящикъ съ драгоценностями.

— Прощайте, сказалъ Владиміръ Петровичъ, взявъ въ руки шляпу.

— Куда вы? Не торопитесь! выкушайте рюмку сорокоцерковнаго вина.

— Прощайте, мнѣ некогда.

— А вино чистое, какъ журавлиное око; но когда не хотите, я не стану и удерживать; пожалуй, иногда отъ лишней церемоніи что-нибудь утеряешь.

Въ воскресенье поутру Бакизаки получилъ письмо, прочелъ его и задумался; еще разъ прочелъ, улыбнулся и послалъ Христину за Машею: такъ онъ называлъ Марью Львовну. Письмо было слѣдующаго содержанія:

Милостивый Государь,

Зой Марковичъ!

Во-первыхъ, поздравляю васъ съ праздникомъ, съ воскреснымъ днемъ.—Третьягодня вы отвѣчали на законное предложеніе моего сына, насчетъ брака съ вашею племянницею, довольно насмѣшливо и говорили доткливости и обиды словесныя; я очень знаю причины, васъ къ тому побудившія и говорить такъ заставившія: вамъ жалко отдать капиталъ, сто тысячъ, вашей племянницѣ отъ матери доставшійся и у васъ сохраняющійся; но все таки онѣй капиталъ не есть вашъ, и вы съ нимъ, рано или поздно, разстанетесь; а лучше сдѣлаемъ полюбовную сдѣлку: выдайте Марью Львовну за моего сына Ставра и при вѣнцѣ получите чистыхъ денегъ десять тысячъ. Это, полагаю, для васъ го-

раздо-выгоднѣе и мнѣ пріятнѣе, и дружба наша старая нерушимо сохранится; соглашайтесь скорѣе; не упускайте изъ рукъ и своихъ выгодъ; я для того тороплюсь, что вчера вступила въ городъ гусарская дивизія; того и гляди, что гусары украдутъ Марью Львовну; тогда и я, да и вы съ большими носами останемся; а это дѣло бывалое, напримѣръ сказать, увезъ же ея мать, т. е. вашу сестрицу, ея бывший мужъ, пѣхотный полковникъ. Покончимъ же миролюбиво наше дѣло; и вамъ, и намъ будетъ хорошо. Ожидая благосклоннаго отвѣта, остаюсь съ почтеніемъ вашъ покорнѣйшій слуга

Ставрѣ Банаву.

6 сентября.

Въ третій разъ перечитывалъ Бакизаки письмо Ставра Юрьевича Банавы, какъ вошла Марья Львовна.

— Ну, Машенька сказалъ Бакизаки, ласково улыбаясь:—вѣдь мы напрасно отказали Ставру Ставровичу. Правда, онъ молодъ, да и ты не старуха: онъ малаго чина, да не чинъ въ супружествѣ главное, а доброта и другія душевныя способности. Послужить, и чинъ большій получить.

— А я не хочу за него выходить замужъ, за этого журавля.

— Опять за свое! говорилъ тебѣ, Маша, не нарекай человѣка птицею: это противно природѣ, все равно, еслибы стали нарекать воробья Ивановъ, дрозда Евстафѣемъ, курицу Анастасією и прочая.

— Да я его въ глаза называла журавлемъ.

— Худо дѣлала; вотъ онъ теперь, сдѣлавшись твоимъ мужемъ, выместитъ на тебѣ эту обиду; обида человѣкомъ никогда не прощается.

— Да я не пойду за него замужъ.

— Отчего?

— Я его не люблю, я его терпѣть не могу.

— Это ничего не значить; послѣ такъ привыкнешь, такъ полюбишь, что не оторвешься отъ него, какъ отъ своего блага, отъ удовольствія.

— Этому не бывать; я не пойду за него.

— Пойдешь.

— Почему?

— Потому-что я далъ слово.

— Развѣ вамъ жить съ этимъ журавлемъ?

— Опять журавль!... припомнишь меня, не разъ заплачешь отъ этого журавля; а я далъ слово и выдамъ тебя замужъ... Мнѣ на это Богъ далъ право.

— Когда-же вамъ Богъ далъ это право? спросила Марья Львовна съ невиннымъ видомъ пансіонерки.

Бакизаки смѣшался и замолчалъ.

— Я вамъ болѣе ненужна? сказала Марья Львовна.

— Убирайся! да помни: въ слѣдующее воскресенье твоя свадьба. Я не переменяю слова; я честный человѣкъ.

„Что, если Вольдемаръ меня обманетъ, если онъ не сдумѣетъ вырвать меня отсюда?“ думала Марья Львовна, придя въ свою комнату: „и меня дядюшка отдастъ за этого урода! Я не переживу дня своей свадьбы, я умру подъ вѣнцомъ, я скажу всѣмъ, что люблю Вольдемара!“

И бѣдная дѣвушка со слезами бросилась на колѣни передъ иконою всѣхъ скорбящихъ.

VI.

— Что вы не были у меня въ прошлый четвергъ, Сердоликъ Ивановичъ? Я послалъ за вами; сказали: уѣхалъ къ барону въ деревню,—говорилъ Бакизаки, останавливая середь улицы свои дрожки. Въ это время маленькій человѣкъ, шедшій подъ заборомъ, подбѣжалъ къ дрожкамъ и, безпрестанно мигая глазами и кланяясь, началъ отвѣчать скороговоркою:

— Извините-съ, Зой Марковичъ, былъ въ отлучкѣ; это удивительная исторія—да и полно.

— Чтò такое?

— Да вотъ-съ и до сихъ поръ не знаю, что за казія! Въ четвергъ послѣ обѣда я сижу и обдѣлываю аметистикъ въ золото; оно знаетъ: гранатики и аметистики въ золотой оправѣ гораздо миловиднѣе-съ.

— Знаю, знаю!

— Сами изволите знать; васъ не учить стать. Вотъ обдѣлываю и говорю женѣ: мамочка Граша, вѣдь будетъ съ эффектомъ-съ? Вдругъ, откуда ни возмись, человѣкъ и спрашиваетъ: „здѣсь ювелиръ живетъ?“ Я говорю: я, братецъ, самъ, ювелиръ. „Такъ вотъ вамъ записка отъ барона Эзеля.“ Далъ мнѣ записку и вышелъ. Въ запискѣ лежала 25-ти рублевая ассигнація и написано, какъ слѣдуетъ:

„Милостивый государь, Сердоликъ Ивановичъ! Дескать баронъ Эзель имѣетъ самую скорую необходимость, по случаю бракосочетанія, въ драгоценностяхъ, и проситъ васъ не медля ни минуты привезть, чтò у васъ, дескать, есть наилучшаго, и деньги на прогоны присылаетъ.“—Ась?

— Какая тутъ исторія?

— Помилуйте! позвольте-съ. Я прочиталъ записку и говорю Грашѣ: что, мамочка, ѣхать? а она отвѣчаетъ: ѣхать. Вотъ я на скорую руку уложилъ въ ящикъ дватри солитера карать по три. Правда одинъ

въ два съ половиною, да еще брошку; знаете, изумрудецъ, осыпанный жемчугомъ—вещица пріятная! Алмазныхъ колечекъ, бирюзовыхъ подвѣсочекъ, знаете, для разнообразія-съ. Бирюза-то была и настоящая, а костяная: ну, да подумалъ: авось сойdetъ, не всякій баронъ знаетъ толкъ къ бирюзѣ.

— Да говорите—видите, мой чалой не хочетъ стоять.

— Сейчасъ, сейчасъ, Зой Марковичъ! Собралъ вещицы въ ящикъ, заперъ и ключикъ положилъ въ карманъ; распрощался съ Грашемъ и уѣхалъ; вѣрите ли, на всю ночь! да-съ, ей-богу, правда! Приѣзжаю утромъ въ пятницу, прямо въ комнаты: гдѣ баронъ Эзель? говорятъ, на конюшнѣ. Я подѣ мышку ящикъ, да и себя на конюшню: смотрю: ходитъ баронъ около коновязи и ругается, а самъ сѣдой. Я подошелъ, снялъ картузъ—вотъ этотъ самый, чтѣ и теперь на мнѣ—и говорю: я нѣжинскій ювелиръ Сердоликъ Ивановичъ Яшма.

— Што? спросилъ баронъ.

— Яшма-съ.

— Гдѣ?

— Я здѣсь самъ, Сердоликъ Ивановичъ.

— Ну?

— Привезъ, по вашему приказанію, различные драгоценности...

Баронъ потрясъ головою и сказалъ:— не надо.

— Помилуйте-съ, сказалъ я:— приѣхалъ по вашей запискѣ, которую писали-съ

— Кто?

— Должно быть, вы писали-съ; вотъ она со мною, посмотрите-съ.

— Врешь!

— Помилуйте-съ, я привезъ драгоценности къ вашей свадьбѣ.

— Вы глупый человѣкъ, болванъ и больше ничего.

Отвернулся и пошелъ. Я къ нему—и слушать не хочетъ! вѣрите ли: приказалъ прогнать со двора, такой бѣшенный! вы, говоритъ, мошенникъ да и только. Я вижу, что дѣлать нечего, поклонился и уѣхалъ. И чортъ его знаетъ, Господи прости, кто со мной выкинулъ такую штуку! Камердинеръ баронскій говорилъ, что баронъ, дескать, и не думаетъ жениться, что ему семьдесятъ лѣтъ. Ну, а другого барона Эзеля въ цѣломъ округѣ нѣтъ! развѣ еще приѣдетъ? что вы скажете, почтеннѣйшій Зой Марковичъ?

— Странно! отвѣчалъ Зой Марковичъ.— Заходите-ка сегодня ко мнѣ, я имѣю къ вамъ дѣло. Ну, чалый! трогай!

„Отчего онъ такъ поблѣднѣлъ послѣ моего разсказа?“ подумалъ ювелиръ, смотря на уѣзжающія дрожки.

„Какъ бы меня не надули,“ думалъ Бакизаки, входя въ свою комнату. „Побѣдила его очень странна; нельзя, чтобы тутъ не было какихъ видовъ; его не обокрали во время отлучки, жена его не красавица—что-нибудь да значитъ; такъ, изъ шалости, человѣкъ не броситъ двадцати пяти рублей. И надобно-жъ случиться этому въ прошлый четвергъ, поневолѣ возьметъ раздумье... Кажется, человѣкъ благовоспитанный и благородный, а въ душу къ нему не залѣзешь... Ну, что если... Пресвятая Богородица, спаси насъ!“

Бакизаки проворно перекрестился и прошелъ по комнатѣ, потомъ тихо прошепталъ: „Однако сегодня срокъ; уже вечеръ, а онъ не является,“ подошелъ къ сундуку, вынулъ изъ него извѣстный намъ ящикъ чернаго дерева и долго смотрѣлъ на него испытующими взорами, попробовалъ на рукѣ его тяжесть и со вздохомъ поставилъ на столъ. Въ раздумьи пройдя раза два по комнатѣ, Бакизаки опять остановился передъ ларчикомъ, взялъ его въ руки, осмотрѣлъ со всѣхъ сторонъ, досталъ изъ кармана ключъ, медленно вложилъ его въ замокъ и въ нерѣшимости остановился, потомъ быстро повернулъ ключемъ: пружина щелкнула, печать слетѣла, крышка ящика отскочила и, при тускломъ свѣтѣ сальной свѣчки, засверкали передъ глазами Бакизаки дорогіе перстни, фермуары, браслеты, серьги. Скупецъ, улыбаясь, смотрѣлъ на нихъ, когда вошелъ ювелиръ.

— А, Сердоликъ Ивановичъ, я только ожидалъ васъ; посмотрите, каковы вещи?

— Прекрасныя; признаюсь, вещицы блестящія-съ. Отъ евреевъ, Зой Марковичъ?

— Изъ Петербурга.

— Отличныя! французскія-съ! признаюсь, я не бывалъ въ Петербургѣ, а говорятъ, тамъ легко достать настоящія французскія вещицы. Особенно по этой части все, говорятъ, тамъ на парижскій манеръ, даже бездѣлюшечки, сувенирчики, пряжечки, кошелечки-съ...

— А какъ вы полагаете—что стоитъ?

— Что-съ, эта брошечка, или всѣ вещицы?

— Да всѣ, всѣ! только, пожалуйста, по чистой совѣсти, какъ вы полагаете?

— Десять.. двадцать... сорокъ рублей, пятьдесятъ.

— Пятьдесятъ тысячъ!...

— Что вы, Зой Марковичъ, изволите шутить? пятьдесятъ рублей ассигнаціями.

— Да развѣ это?

— Чистыя стеклышки-съ!...

VII.

Щипая усь отъ нетерпѣнья,
Считаль онъ каждыя мгновенья.

А. Пушкинъ

На краю города Нѣжина, у кievской заставы, въ тѣсной комнаткѣ постоялаго двора большими шагами расхаживалъ молодой человѣкъ въ черномъ фракѣ—словомъ, Владиміръ Петровичъ. Онъ безпрестанно поглядывалъ на часы, барабанилъ по стекламъ пальцами, ощипывалъ листочки съ бальзаминовъ, стоявшихъ на окнѣ, насвистывалъ арію изъ „Роберта“, и въ подобныхъ занятіяхъ даже забылъ снять со свѣчекъ: онѣ, бѣдныя, едва мерцали передъ портретомъ Кульнева, повѣшеннымъ на стѣнкѣ у стола. Съ хрипомъ, стономъ и какимъ-то коварнымъ шипѣніемъ восемь разъ крикнула кукушка на стѣнныхъ часахъ, восемь разъ ударилъ колоколъ на монастырской колокольнѣ. Молодой человѣкъ тяжело вздохнулъ, посмотрѣлъ на часы, взялъ шляпу и хотѣлъ-было выдти изъ комнаты, но въ дверяхъ чуть не сшибъ его съ ногъ человѣкъ и торопливо подаль ему письмо.

— Кто принесъ? спросилъ Владиміръ Петровичъ, разламывая печать.

— Извѣстно, Христина.

— Хорошо стекло! прекрасно! дай ей рубль серебромъ; да сейчасъ чтобъ лошади были готовы, теперь все кончено!

Черезъ десять минутъ, гремя колокольчикомъ, бодрая тройка остановилась у воротъ Бакизаки; изъ дорожной брички выскочилъ Владиміръ Петровичъ, и быстро вошелъ въ комнату, гдѣ Бакизаки горестно толковалъ съ ювелиромъ о стеклышкахъ и потерянныхъ деньгахъ.

Еслибы громъ разразился надъ головою Бакизаки, то это такъ бы не ошеломило его, какъ пріѣздъ Владиміра Петровича. Физіономія обманутаго грека приняла самое неопредѣленное выраженіе, губы силились улыбнуться, глаза были полны слезъ.

— Здравствуйте, почтеннѣйшій Зой Марковичъ! здоровы ли вы? А я сломя голову скакалъ, чтобъ не заставить васъ беспокоиться; да, у меня такой характеръ; откровенно скажу вамъ, какъ долгъ есть на душѣ, и спать не могу спокойно.

Во время этого монолога лицо Бакизаки просвѣтлѣло.

— Покорно васъ благодарю, отвѣчалъ онъ:—я, слава богу, живу помаленьку.

— Вотъ же, Зой Марковичъ, ваши деньги; не знаю, какъ и благодарить за одолженіе; вы доказали вашу всегдашнюю пріязнь къ нашему семейству, говорилъ Владиміръ

Петровичъ, вынимая изъ кармана толстый бумажникъ:—вотъ пять, десять, пятнадцать тысячъ; всѣ сполна, прошу пересчитать, а мнѣ поскорѣ возвратите мои вещи...

— Погодите немного, отдохните съ дороги, выкушайте рюмочку сорокоцерковнаго; вино чистое, чистое, какъ журавлиное око.

— Не могу, почтеннѣйшій; очень тороплюсь, мнѣ надобно далеко быть сегодня.

— Ну, какъ хотите, я принуждать не смѣю.

Бакизаки пересчиталъ деньги, пересмотрѣлъ на свѣчку двѣ или три ассигнаціи, и отдалъ Владиміру Петровичу его ларчикъ и ключикъ, значительно поглядывая на Яшму.

— Благодарю васъ еще разъ, сказалъ Владиміръ Петровичъ, небрежно поставивъ ящикъ на столъ:—да здѣсь, кажется, и печать отскочила?

— Да это такъ, изъ любопытства... Мы вотъ съ господиномъ Сердоликомъ Ивановичемъ любовались... Это, рекомендую, г-нъ Сердоликъ Ивановичъ Яшма, здѣшній ювелиръ.

— Очень пріятно! а какъ вамъ показались мои вещи?...

— Вещи, смѣю доложить—съ, отличной работы...

— А наприхѣръ, вы замѣтили фермуаръ съ большимъ восточнымъ рубиномъ?

— Съ рубиномъ... кажется—съ... нѣтъ, виновать, не замѣтилъ.

— Какъ же можно, а еще ювелиръ! это лучшая вещь; хоть и некогда мнѣ, а не могу не показать вамъ.

Владиміръ Петровичъ отворилъ ларчикъ, бѣгло взглянулъ на вещи, отступилъ шагъ назадъ и покачалъ головою, говоря Бакизаки:

— Ну, батюшка, выкинули бы мнѣ штуку, еслибъ изъ любопытства я не посмотрѣлъ вещей; вы, вѣрно, показывая ихъ вашимъ знакомымъ, перепутали съ другими и сюда положили какую-то бронзу... Ради Бога, поищите моихъ.

— Да это ваши.

— Послушайте, г. Бакизаки, я полагаю, что вы шутите и, для смѣху, наложили сюда всякой дряни. Тутъ только и добра, что вотъ этотъ яхонтъ. Въдь это яхонтъ, кажется, Сердоликъ Ивановичъ?

— Это? да, то-есть, подобіе яхонта.

— Какъ подобіе яхонта?

— То-есть на манеръ яхонта вставочка.

— То-есть стекло?

— Да, стекло.

— Сейчасъ же прошу отдать мои вещи, г. Бакизаки! вы поступили неблагородно; надѣясь на мою молодость и легковѣріе, перемѣнили драгоцѣнности на стекла; если

вы будете упрямы, я объявлю полицію; пусть она разсудитъ вашъ поступокъ.

— Я вамъ отдаю, что бралъ, отвѣчалъ робко Бакизаки.

— Стыдитесь! вотъ ваша собственная росписка; вы сами написали, что дали мнѣ 15 тысячъ и оставили у себя подъ залогъ шкапулу съ драгоценными вещами. Весь городъ знаетъ, что вы не ребенокъ и, подъ залогъ стеклышекъ, не дадите 15 тысячъ; теперь я вамъ возвращаю деньги всѣ сполна, а вы мнѣ отдаете мой ларчикъ, сломивъ печать и набивъ его стеклами. Г. ювелиръ, прошу быть свидѣтелемъ; скажите по чистой совѣсти, что стоитъ эта дрянь, которой Зой Марковичъ хочетъ меня утѣшить?

— Рублей пятьдесятъ.

— Слышите! Нѣтъ, г. Бакизаки, всѣ знали васъ за человека скупаго; но не подозревали, чтобы скупость заставила васъ присвоить обманомъ чужую собственность. Вы должны удовлетворить меня.

— Чего вы отъ меня хотите?

— Возвратите мнѣ вещи или заплатите пятьдесятъ тысячъ.

— Этого никогда не будетъ,—запальчиво сказалъ Бакизаки, ударивъ по столу кулакомъ.

— Не горячитесь,—отвѣчалъ хладнокровно Владиміръ Петровичъ:—что я правъ, это яснѣе дня, и я получу свое; кромѣ того, приказные знаютъ, что у васъ есть деньги, начнутъ васъ жать, и, дай-Богъ, если они вамъ станутъ дешевле моего; да и все-таки законы старше приказныхъ; они вамъ будутъ обѣщать, а кончится неизвѣстно чѣмъ... Богъ-знаетъ, гдѣ вы будете...

— Господи! за что Ты меня наказуешь? чего вы хотите отъ меня?

— Отдайте мои драгоценности, которыя были въ моемъ ящикѣ.

— Всѣ святыя видятъ, что я ихъ не бралъ.

— Если такъ, я начну дѣйствовать закон-

нымъ порядкомъ. Эй, Степка! сходи къ городничему и скажи, что здѣсь есть экстренное дѣло о утайкѣ собственности; но нѣтъ, ты переврешь... скажи просто, что есть важное дѣло, и я прошу его сейчасъ сюда пожаловать...

— Погодите, Владиміръ Петровичъ, перебилъ Бакизаки:—не дѣлайте огласки, не срамите моего имени... Охъ, Боже мой! неужели я долженъ вамъ пятьдесятъ тысячъ?!...

— Впрочемъ, сказалъ, немного подумавъ, Владиміръ Петровичъ:—мнѣ васъ жаль, и если хотите, я отступлюсь отъ моихъ вещей и денегъ; пусть они пропадаютъ, но съ условіемъ...

— Что угодно, закричалъ Бакизаки:—будьте благодѣтелемъ!

— Хорошо, я вамъ скажу просто: выдайте за меня вашу племянницу.

— Что это вамъ пришло въ голову? она дитя молодое... Да и ваше состояніе... позвольте напомнить, а она у меня привыкла къ роскоши...

— Гей, Степка! иди же...

— Нѣтъ, погоди! Сказать по правдѣ, она уже просватана, я ее обѣщалъ, почти обручилъ...

— Можете взять назадъ ваше слово.

— Десять изъ пятидесяти, сорокъ, шепталъ Бакизаки.

— Что такое?

— Ничего, ничего! это я такъ. Дѣлать нечего: откажу Банавѣ; наше слово не королевское!.. Христина, позови Машу!

На другой день вѣнчали Марью Львовну и Владиміра Петровича въ соборной нѣжинской церкви.

— Вотъ красавица! говорили между-собою гусарскіе офицеры, показывая на невѣсту.

— Вотъ человекъ! ежели-бъ пустился въ коммерцію! говорилъ своимъ знакомымъ Бакизаки, показывая на жениха

НѢЖИНСКІЙ полковникъ Золотаренко.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БЫЛЬ.

Кругомъ поле широкее рястомъ зацвilo,
Не рясть, висько гетьманское у пиходъ пишло.
Пидъ нымъ земля дрыжить,
Курява стовпомъ стоить,
Хмары вслидъ ыдутъ.

Л. Боровиковскій.

I.

Въ 1654 году борьба за вѣру въ Малороссіи окончилась счастливо присоединеніемъ ея къ Россіи. Народъ началъ отдыхать, а дѣла Польши становились хуже и хуже. Король Казиміръ удалился въ Силезію и золотомъ покупалъ дружбу крымцевъ; друзья медлили защитою, торговались... Между тѣмъ, король шведскій Карлъ X разбивалъ поляковъ. Царь Алексѣй Михайловичъ самъ явился подъ Смоленскомъ, куда, по волѣ гетмана Богдана Хмельницкаго, назначенъ былъ наказнымъ гетманомъ нѣжинскій полковникъ Иванъ Золотаренко съ казачьими полками нѣжинскимъ и черниговскимъ.

Случалось ли вамъ видѣть, какъ выступаютъ полки съ квартиръ въ наше время?—Очень просто, безъ шума, безъ всякаго эффекта, кромѣ двухъ, трехъ трагикомическихъ сценъ въ обозѣ. Пріѣзжайте вечеромъ въ городъ, изъ котораго утромъ выступилъ полкъ, вы и не догадаетесь, что жители лишились сегодня своихъ гостей: все такія веселыя лица, особливо у мужчинъ. Развѣ гдѣ-нибудь въ уголку завѣтной спальни уѣздная барышня, отговорясь отъ ужина головою болью, грустно раскрыла томъ сочиненій Марлинскаго и смотреть, долго смотреть все на одну страницу, на которой самыя кипучія, не человѣчьи выраженія страсти подчеркнуты знакомою рукою, и обличительныя слезы падаютъ на книгу, а книга изъ рукъ...

Но скрипнула дверь—Марлинскій подъ подушкой, слезы обтерты, и барышня, нѣжно улыбаясь, говоритъ маменькѣ: „Теперь мнѣ гораздо лучше, не беспокойтесь, маменька, къ завтраму все пройдетъ, и я буду танцовать на балѣ у Пентюхова“.

Не такъ выступали встарину казацкіе полки на моей родинѣ. Цѣлый городъ прощай! — вой полкъ: матери—дѣтей, сестры—братъ—мужей. Каждый казакъ,

выходя въ походъ, разлучался съ семействомъ; походъ имѣлъ для города великій интересъ.

Весною, рано утромъ, начали собираться казаки на большую нѣжинскую площадь передъ соборомъ; одни ѣхали верхомъ, другіе шли, ведя въ поводу лошадей; и съ ними и за ними брѣли женщины, дѣти, старики. Площадь кипѣла народомъ; шумъ, говоръ, лошадиное ржаніе и брязгъ оружія не умолкали. Не высоко успѣло подняться солнце, какъ пріѣхалъ полковникъ Золотаренко.

Изъ собора вышли священники въ полномъ облаченіи, вынесли бунчуки, хоругви, знамена; все утихло, войско преклонило колѣни, священники, подъ стройное пѣніе молебна, окропили знамена и воиновъ святою водою. Золотаренко приложился къ кресту, взявъ благословеніе, поклонился собору и всему народу на четыре стороны, и ловко вскочилъ на коня. Раздалась команда, и при звукѣ трубъ тихо, плавно развилось полковое знамя и заструилось на утреннемъ вѣтрѣ.

— Прощайте, хлопцы, говорилъ народъ:—кому-то изъ васъ дастъ Богъ опять увидѣть это знамя здѣсь передъ соборомъ!

Стройно двинулись полки изъ города. Тысячи рукъ благословляли ихъ, тысячи глазъ долго смотрѣли имъ вслѣдъ, пока не улеглась пыль, поднятая ими по дорогѣ.

— Поѣхали! говорилъ старый казакъ сѣдому своему пріятелю, сидѣвшему у заставы.

— Поѣхали, отвѣчалъ пріятель, нюхая табакъ.

— Дастъ Богъ и пріѣдутъ.

— И пріѣдутъ, если пріѣдутъ...

— А что?

— Еще бы что!!

— Я ничего не знаю.

— Чуть полковникъ на коня, а конь такъ и упалъ на колѣни!..

— Худо, братъ! это не къ добру.

— Ах, вот такъ было и съ Наливай-
комъ, какъ онъ выстрѣлялъ на проклятую
Славянку.

II.

Есть въ бѣломъ свѣтѣ книга подъ за-
главьемъ „Ночи“—не помню какія, а кажет-
ся, „Сельскія Ночи“—гдѣ авторъ свирѣпо
возстаетъ противъ охоты и со слезами до-
казываетъ, что бѣдная птица, застрѣленная
вами, жила, чувствовала и во *цвѣтъ лѣтъ*
своихъ жила отъ вашего выстрѣла.

Очень согласенъ, что каждый убитый
человѣкъ имѣлъ отца, мать, тетусекъ,
братусекъ, кузинъ—словомъ, огромную род-
ню и связи, даже, можетъ-быть, имѣлъ дѣ-
тей, возлагавшихъ большія надежды; но ни
какъ не сомнѣваюсь, что котлеты, которые
кушалъ авторъ „Ночей“, были изготовле-
ны изъ телянка, имѣвшаго также нѣжно
любимыхъ имъ родственниковъ; что передъ
нимъ открывалась необозримая перспекти-
ва наслажденія и созерцательныхъ прогулокъ
въ лѣсу, и что, можетъ-быть, въ то самое
время, когда авторъ кушалъ котлеты, мать
этого телянка тяжело вздыхала о сво-
ей дѣтящѣ, проливая горькія слезы надъ
кустомъ клевера. Нѣтъ, я держу рѣшитель-
ную оппозицію противъ „Сельскихъ Ночей“,
и готовъ спорить съ кѣмъ угодно, что охо-
та, и именно охота съ ружьемъ, есть одно
изъ лучшихъ удовольствій деревенской
жизни.

Приятно слѣдить взоромъ птицу въ под-
небесьи и быть увѣрену, что отъ моего же-
ланія зависить ея жизнь, что я однимъ
легкимъ движеніемъ пальца могу остано-
вить ея полетъ: или видѣть скачущаго звѣ-
ря и знать, что онъ, несмотря на свою
быстроту и силу, не уйдетъ отъ меня—и
въ секунду пуля, посланная мною искус-
ствомъ, догонитъ и остановитъ его. Тутъ
повеваю рождается въ человѣкѣ гордость
отъ сознанія своего превосходства: внутрен-
нее самодовольствіе, понятное однимъ охот-
никамъ—причина, отчего это удовольствіе
часто переходитъ въ страсть у людей, не-
имѣющихъ достаточно воли управлять со-
бою.

И теперь еще въ Малороссіи и на Ук-
раинѣ удачный выстрѣлъ приводитъ народъ
въ восхищеніе: но въ XVII столѣтіи, во
время смутъ и раздоровъ, когда отъ одно-
го выстрѣла часто зависѣли жизни и бла-
гополучіе человѣка, хорошій стрѣлокъ
былъ лицо почтенное, уважаемое всѣми.

Не мудрено, что весь Славяно-
любовъ уважалъ органиста Томаша; Томаша
былъ удивительный стрѣлокъ. Томаша и ви-
дѣли Томаша во время обѣды, когда онъ

игралъ на органахъ; обѣдня кончилась—его
и слѣдъ простылъ; ищи органиста или въ
лѣсу, или въ болотѣ...

Бывало, весною, солнце сядетъ, совсѣмъ
стемнѣетъ; кажется, и мухи на носу не
увидишь; Томашъ стоитъ себѣ на опушкѣ
лѣса, пафъ да пафъ, и несетъ полную сум-
ку сломокъ (вальдшнеповъ). Разъ народъ
выходилъ изъ церкви, а надъ городомъ вы-
соко летятъ журавли; народъ, разужбѣтся,
сталъ смотрѣть на журавлей: кто считаетъ,
а кто такъ смотритъ. Откуда ни возьмись
Томашъ уже съ винтовкою и спрашиваетъ:
„а котораго бить?“

— Высоко, братъ Томашъ, высоко! закри-
чалъ народъ.

— Мое дѣло знать, высоко или нѣтъ! отвѣ-
чалъ Томашъ, подымая винтовку.

— Ну, такъ бей вожатаго!

Томашъ выстрѣлилъ—и вожатый упалъ
на улицу.

У пана Врубельскаго собрались гости.
Выпили по кубку, по другому, выпили по
стакану, по рюмкѣ, по чашкѣ, по бакалу,
по вазѣ, по башмачку панны Зоси, дочери
Врубельскаго, и развеселились. Давай стрѣ-
лять пулями воробьевъ. Кто промахнется—
ругается ружье: кто убьетъ воробья—пьютъ
за того здоровье! Не прошло часа, а уже
никто не попадаетъ въ воробья.

— Что за чортъ? говорятъ паны:—видно
воробьи сегодня обѣлись чего-нибудь та-
кого забористаго, такъ и вертятся, нельзя
прицѣлится! А послать за Томашемъ: какъ-
то онъ будетъ стрѣлять этихъ бѣшеныхъ
воробьевъ?

Пришелъ Томашъ: что выстрѣлъ—ле-
житъ воробей! Мало этого: скажутъ паны:
„стрѣлай въ голову“—и воробей падаетъ
безъ головы. „Стрѣлай по хвосту“—и во-
робей падаетъ безъ хвоста!...

Едва ушелъ Томашъ, такъ разсерди-
лись на него паны за удалую стрѣльбу; и
послѣ долго еще Врубельскій отворачи-
вался отъ Томаша и называлъ его гру-
бияномъ.

Иѣтомъ Томашъ былъ у ксендза.

— Посмотри, Томашъ, говоритъ ксендзъ:—
какой гадкій народъ: того и гляди весь
домъ спалить.

Томашъ посмотрѣлъ въ окно, и видитъ:
на гумнѣ работникъ, молотившій рожь, сѣлъ
на снопахъ, вырубилъ огня и закурилъ ко-
ротенькую трубку.

Я его прогнать, сказалъ органистъ, вы-
ходи изъ комнаты.

Черезъ минуту испуганный ксендзъ, ус-
лышавъ въ другой комнатѣ выстрѣлъ, вы-
бѣжалъ: стоитъ у раствореннаго окна То-
машъ въ рукахъ у него дымитъ вин-
товка.

— Что ты дѣлаешь? спрашиваетъ ксендзъ.
— Ничего, отвѣчалъ Томашъ:—я проучилъ
вашего работника: вышибъ ему пулей изъ-
подъ носу трубку.

Удивительный стрѣлокъ!... И до завтра
не пересказать объ немъ всѣхъ анекдотовъ.
Одно званіе органиста спасало его отъ про-
изводства въ колдуну.

III.

Цѣлое лѣто осаждали Смоленскъ мос-
ковско-казацкія войска, и наконецъ, 10 сен-
тября, городъ сдался. Казаки дѣлали чуде-
са храбрости, подъ предводительствомъ на-
казнаго гетмана, нѣжинскаго полковника Зо-
лотаренка. Царь Алексѣй Михайловичъ осы-
палъ его подарками, жаловалъ ласковымъ
словомъ и приглашалъ къ своему царско-
му столу; счастье улыбалось наказному гет-
ману. Быстро онъ покорилъ Гомель, Чечерскъ,
Пропойскъ, Новый Быховъ, разбилъ у Шкло-
ва князя Радзивила и обложилъ войсками
Старый Быховъ.

Быль вечеръ. Золотаренко въ своей
ставкѣ принималъ парламентаря, прислан-
наго изъ осажденнаго города. Въ казачь-
емъ лагерѣ ярко сверкали веселые огни,
на нихъ кипѣла къ ужину обычная каша,
вокругъ ихъ собирались казаки покурить
трубки.

Шагахъ въ пятидесяти отъ гетманской
ставки сидѣли у огня три казака; одинъ
сѣдой, какъ лунь, другой съ черными уса-
ми, а у третьяго были усы, сказать совѣ-
стно, совсѣмъ желтые! право, желтые! гово-
рятъ, такъ ему Богъ далъ. Сѣдая голова
курить трубку и рассказываетъ сказку, а
другіе тоже курятъ трубки, да не говорятъ,
а только слушаютъ.

— Нѣвкоторомъ царствѣ, нѣвкоторомъ го-
сударствѣ...

— А гдѣ это? спросили желтые усы.

— Что? сказала сѣдая голова.

— Нѣвкоторое царство?

— Извѣстно, тамъ!

— Ага!

— Жили были три брата, и всѣ три Кон-
драта...

— И всѣ разумные? спросили желтые
усы.

— Погоди, скажу.

— Не забѣгай впередъ, ворчалъ черно-
усый.

— Нѣтъ, я такъ только.

— Всѣ три Кондрата, два разумныхъ, а
третій дуракъ.

— Я такъ и думалъ! шептали желтые усы.

— Да не перебивай же! а то перестану,
ей-богу, перестану, пускай тебѣ сорока
доскажетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, говори! я ничего...

— И утекали они изъ Азова...

— Отчего? спросили желтые усы.

— Вѣрно въ плѣну были, отвѣчалъ чер-
ноусый.

— Тѣфу на васъ! вотъ дурни! закричала
сѣдая голова.—Говори имъ сказку, а сами
двѣ говорятъ! Хуже бабъ, ей-богу, хуже;
чтобъ на мнѣ верхомъ боченокъ чертей ѣз-
дилъ, если не хуже. Пусть вамъ говорить
сказку пѣгая корова, а не добрый казакъ!

Сѣдая голова расходилась не на шут-
ку; не знаю, чѣмъ бы кончилось ея крас-
норѣчіе, еслибъ другой предметъ не обра-
тилъ ея вниманія: изъ ставки гетмана вы-
шелъ парламентаръ и, въ сопровожденіи
нѣсколькихъ казаковъ, отправился по до-
рогѣ къ городу; одинъ изъ свиты отсталъ
отъ конвоя и присоединился къ нашимъ
приятелямъ.

— А говорите, хлопцы: слава Богу! ска-
залъ онъ, подходя къ огню.

— Ну, слава Богу, Никита! А что такое?

— Слава Богу! сказали вполголоса жел-
тые и черные усы.

— А вотъ что, отвѣчалъ Никита:—завтра
будемъ въ Старомъ Быховѣ.

— Приступъ?

— Самъ сдается! не станемъ тратить по-
роху.

— Неправда! сказала сѣдая голова.

— Горсть земли съѣмъ, что неправда, под-
хватили желтые усы.

— И то хорошо, хоть усы вычернишь,
если ничего не докажешь, отвѣчалъ Ники-
та:—а что я сказалъ, то и будетъ.

Черноусый захохоталъ, расправляя свои
усы.

— Вотъ видите что, продолжалъ Ники-
та:—я сейчасъ выпроводилъ изъ гетманской
ставки ксендза; онъ приходилъ съ повин-
ною головою и обѣщалъ завтра на раз-
свѣтъ отворить говодскія ворота. Вотъ что!
и мы завтра отпразднуемъ день св. Вѣры,
Надежды и Любви въ городѣ.

— Вотъ-то, я думаю, радъ нашъ полков-
никъ! сказали желтые усы...

— Странное дѣло, отвѣчалъ Никита:—
полковникъ будто испугался, что ему сда-
ютъ городъ завтра; даже сталъ отнѣкивать-
ся, а самъ весь поблѣднѣлъ. Богъ вѣсть,
чѣмъ бы это кончилось, да спасибо моско-
вскій воевода, вотъ тотъ, что вездѣ ѣздитъ
при нашемъ полковникѣ, сталъ говорить
и то, и другое, и третье, да все такъ ра-
зумно, словно дьячекъ изъ кievской гра-
мотки читаетъ, а полковникъ махнулъ ру-
кой и сказалъ: я не врагъ царю, на то я
крестъ цѣловалъ; завтра войдемъ въ го-
родъ—и только.

— Чудно! чудно! говорили казаки.

— Тутъ и толку не приберешь, отвѣчаѣ, пожимаѣ плечами, Никита.

— А я такъ знаю, сказалъ старый казакъ, покачивая сѣдою головою.— Вотъ послушайте, хлопцы: вы люди молодые, переживете меня; можетъ, вамъ и пригодится такая оказія, да только не перебивать: это не сказка, а былъ.

Казакъ общалъ слушать внимательно, тѣснѣ сдвинулись вокругъ старика, и онъ вполголоса началъ:

„Давно уже я живу при Золотаренкахъ: полковникъ и выросъ на моихъ рукахъ: ну, слушайте-жъ! Вотъ, назадъ тому лѣтъ больше десятка, матушка нашего полковника сильно загрустила по мужъ, когда старика, помните, убили крымцы. Кашляла она да охала, сохла да сохла, и вотъ пришло время ей кончаться.

„Приобщилась покойница святыхъ Тинъ и позвала Ивана (Василія тогда дома не было). Какъ прощалась она съ нимъ! всѣ плакали! Цѣловала его, благословляла, да все одно твердила: „Не забывай, сынъ мой, меньшей сестры: вы съ братомъ добрые казаки, вамъ горя мало, а она одна у васъ сестра, да еще дитя дитею: забудешь ее—тебя Богъ забудетъ: причинишь ей печаль—мои кости въ гробу зашевелиются“. Еще разъ перекрестила сына и его жену, и Богу душу отдала. Похоронилъ полковникъ матушку, отправилъ по ней панихиды, дѣлалъ обѣды, какъ слѣдуетъ добромъ христіанину, а сестру Любку взялъ къ себѣ: ей тогда было не то 13, не то 14 лѣтъ.

„Очень любили полковникъ и жена его свою сестру, тѣшились ею, радовались; а она такая добрая, такая веселенькая, знай гуляетъ себѣ, какъ вольная рыбочка краснопера, щебечетъ, какъ птичка Господня! На что я, старъ челоуѣкъ, а бывало цѣлый день веселъ, когда увижу нашу панночку Любку... всѣ любили ее отъ мала до велика!

„Неподалеку отъ насъ жилъ польскій староста; забылъ, какъ его звали, такой жирный: шея была толще головы; а у этого старосты былъ на посылкахъ шляхтичъ Францишекъ, нечего грѣха таить, славный малый, молодой, высокій, чернявый, настоящій казакъ, еслибъ не католикаго закона. Онъ часто къ намъ хаживалъ, то съ тѣмъ, то съ другимъ, отъ своего пана до нашего. Да вотъ тутъ уже не умѣю вамъ сказать, какъ они, какимъ средствомъ или способомъ, слюбились съ Любкою. И она—Господи прости ей!—полюбила безроднаго шляхтича, да еще и католика! Вотъ они себѣ любятъ, да такъ хитро, что никому и въ голову не пришло, что они любятъ.

„Весною, года три послѣ смерти полковницкой матери, я, какъ сегодня помню, иду-себѣ по двору, а надъ дворомъ летитъ пара дикихъ утокъ, взяли, да и спустились за садомъ на рѣку. Полковникъ, стоя на крыльцѣ, видѣлъ это, взялъ ружье и пошелъ въ садъ, чтобъ изъ-за кустовъ убить утокъ, да и говорилъ мнѣ: „Данило! у меня издохла собака, поди со мною, вытащишь изъ воды утокъ“.

„Онъ всегда любилъ меня... Мы идемъ садомъ, а садъ весь въ цвѣту; какъ подъ снѣгомъ стоятъ деревья, да такъ пахнутъ; соловьи, чуя, что солнце садится, перекликаются по кустамъ, такъ и заливаются надъ рѣкою! Мы все идемъ; уже видна и рѣчка. Полковникъ взвелъ куроку и по-сматриваетъ на полку...

„Вдругъ онъ сталъ, сталъ, будто приросъ къ землѣ, и руки опустились, и глядитъ на черешню; посмотрѣлъ и я, да и ударилъ объ полы руками... Вѣрите ли, хлопцы, дѣло прошлое, а ей-богу, сидитъ подъ черешнею поганый Францишекъ, а наша Любка у него на коѣняхъ, обняла его и цѣлуетъ... и не слышитъ, что мы здѣсь!

„Какъ волкъ, не въ примѣръ сказать, бросился полковникъ, откинулъ одною рукою сестру, и началъ душить Францишка прямо за горло. Съ крикомъ схватила Любка за руки брата и просила о пощаду.

„— Правда, сказалъ полковникъ:—эта гадина не стоитъ, чтобъ ею пачкалъ руки добрый казакъ. Бей его, Данило, нагай-кою!

„Сильно я былъ сердитъ на Францишка, и съ радостію хлопнулъ его по плечамъ нагайкою.

„Любка крикнула, а шляхтичъ, какъ заяцъ, бросился въ кусты, оттуда въ лодку, и быстро уплылъ по течению; только мы отъ него и слышали: „помни, Иванъ, этотъ день—мы съ тобой увидимся“. Полковникъ схватилъ ружье и выстрѣлилъ въ догону, да куда тебѣ, далеко; а ружье было заряжено дробью; только воробьевъ насмѣшилъ.

„Глянулъ я на Любку: она стоитъ бѣлая, какъ полотно, прислонилась спиною къ черешнѣ и не дышетъ; полковникъ дернулъ ее за руку, она и повалилась на траву, какъ спощъ.

„Только мы и видѣли Любку! Съ этого дня никто ее не узнавалъ: она и не плакала и не убивалась, а только спала съ лица, да чудно стала по-сматривать, да ходитъ пошатываясь, будто хочетъ падать; схватится за что-нибудь рукою, постоятъ, да и пойдетъ своею дорогою. А пѣсень не спрашивай—не то пѣсень, и рѣчей не

слышно; только бывало, какъ съѣдутся гости, да братъ станетъ укорять ее, что полюбила католика, да начнетъ честить Францишка, какъ долгъ велить: и оборванцемъ, и блюдолизомъ, и всякими разными словами, гдѣ ни возьмется у Любки смѣлость: покраснѣетъ какъ маковъ цвѣтъ, подыметъ голову и скажетъ: „Убейте меня, братецъ, лучше разомъ, а не мучьке меня“; да такъ скажетъ, что полковникъ глаза опуститъ, проворчитъ подъ носъ: „какъ важно!“ да и замолчитъ.

„Много сваталось за Любку великихъ пановъ—ни за кого не пошла. Лучше, говорить, буду носить тяжелые камни, нежели стану называть нелюбаго милымъ; лучше буду ѣсть полынь, нежели сяду ужинать съ нелюбымъ человѣкомъ.

— За кого жъ ты пойдешь? бывало спрашиваетъ полковникъ.

— За Францишка—или въ могилу!

— За Францишка? скажетъ полковникъ: —за того поганца шляхту?... и пойдетъ ругаться.

— Не ругайтесь, братецъ, да велите копать могилу...мнѣ пропоютъ свадебныя пѣсни дѣяки...а не дружки, скажетъ бывало Любка, и тихо отойдетъ отъ брата.

— Толкуй бабѣ, а она все свое! крикнетъ полковникъ, плюнетъ и уйдетъ.

„Такъ прошло лѣто; стали опадать листья съ деревь, а Любкѣ все хуже; какъ свѣчка таяла, моя ластовка! Жалко вспомнить. Пришелъ день ея патрона, и мы всѣ обрадовались, словно воскресла Любка, только что худа, а щеки горятъ огнемъ, какъ прежде, глаза блестятъ, какъ двѣ звѣзды.

„Полковникъ обрадовался, принесъ ей въ подарокъ и жемчугу, и турецкихъ платковъ, и разныхъ подарковъ; посмотрѣла она, усмѣхнулась, покачала головкою и говорить: „Спрячьте это, братецъ; вамъ на что-нибудь пригодится, а мнѣ ничего не нужно, я умру сегодня: мнѣ такой снится сонъ. Прикажете на моей могилѣ посадить черешню; люблю я черешню, легче мнѣ будетъ въ землѣ лежать подъ этимъ деревомъ. Она зацвѣтетъ весною и осыплетъ мою могилу бѣлымъ, душистымъ цвѣтомъ... на немъ сядетъ кукушка и прокукуетъ вѣсти о васъ, братецъ, когда вы будете въ дальномъ походѣ, и о мнѣ... не сердитесь, братецъ!... Чѣмъ онъ обидѣлъ васъ? что любилъ меня?...“

— Бабы бредни, сказалъ полковникъ, выходя изъ комнаты...

„Вечеромъ того же дня уже Любка лежала на столѣ; всѣ плакали, и самъ полковникъ плакалъ, словно баба; и я плакалъ, ей-богу, плакалъ, хлопцы...

Старикъ замолчалъ и утеръ кулакомъ глаза.

„Не смѣйтесь, хлопцы! Когда подъ Варшавою мнѣ вынимали изъ плеча щипцами двѣ пули, я не поморщился—весь нѣжинскій полкъ знаетъ, я только попросилъ покурить трубки—а тутъ жалость взяла.

„Схоронили ее, мою пташечку, и будто у каждого чего-то не стало... Полковникъ загрустилъ, роздалъ много добра на бѣдныхъ, и построилъ надъ ея могилою церковь во имя Вѣры, Надежды и Любви.

„Вотъ уже нѣсколько лѣтъ прошло, а какъ придетъ храмовый праздникъ новой церкви полковника, онъ ходитъ ни живъ, ни мертвъ, грустенъ, скученъ, все Богу молится. А тутъ завтра, въ этотъ самый день, нужно вѣзжать въ городъ... вотъ что... гдѣ-жъ тутъ быть веселу?...“

— Правда, говорили казаки.—Ну, а куда-жъ дѣвался Францишекъ?...

— Гм! Францишекъ? лихой его знаетъ! Видите: ужъ скоро мы не помирили съ поляками и толстый староста далъ тягу туда, къ своимъ подальше, а Францишекъ, сказывали люди, пошелъ въ монахи, не въ наши, а въ свои, извѣстно, въ польскіе монахи, въ католицкіе.

— Понимаю! то-есть: не въ христіянскіе! подхватили желтые усы.

— Спасибо, Данило, сказалъ Никита:—теперь всю дорогу у меня не выдетъ твой рассказъ изъ головы. Прощайте, хлопцы.

— Куда же ты? спросилъ Данило.

— Къ женѣ полковника; посланъ извѣстить, что мы завтра беремъ послѣдній городъ, и полковникъ скоро будетъ домой.

IV.

Вечеромъ, наканунѣ дня святыхъ Вѣры, Надежды и Любви, сидѣлъ Томашъ за столомъ передъ мискою не очень сытнаго картофельнаго супа. Рядомъ съ Томашемъ сидѣлъ сынъ его Юзефъ, мальчикъ лѣтъ восьми, а напротивъ—жена.

— Ну, супъ! ворчалъ Томашъ, опуская ложку въ миску.—Просто, еслибъ поссорились въ немъ между собою куски картофеля и захотѣли подраться. то пѣлыя сутки одинъ кусокъ не нашелъ бы другаго... Я, слава Богу, человѣкъ, да и тутъ ничего не поймаю... Мариська! нѣтъ ли у насъ чего получше? а?

— Все вышло, отвѣчала жена:—завтра и такого не будетъ; въ городѣ ничего нѣтъ; ты давно не былъ на охотѣ.

— Скверно! за городъ носа нельзя показывать; кругомъ москали да казаки, пропала охота... а этого супа все-таки ѣсть нельзя—

просто вода! Цю-цю! Хайна! не хочешь ли супу? Смотри, жена, и собака не ѣсть, понюхала и отвернулась... Думаю, изъ порядочной палки можно бы сварить вкуснѣе супу. Этотъ картофель хуже дерева.

— И то насилу я выпросила у ксендзовой кухарки; общала зайца зимою.

— Тятя, тятя! я хочу зайца, говорилъ Томашу Юзефъ:— дай мнѣ, тятя, зайца.

— Нѣту зайца, Юзя, нѣту, ѣшь супъ.

— Ты самъ говорилъ, тятя, что собака не ѣсть этого супу, и я не хочу.

— Такъ ложись спать.

— А гдѣ же заяцъ?

— Заяцъ въ лѣсу, гуляетъ себѣ, ждетъ, пока ты подрастешь и застрѣлишь его.

— О! я его сейчасъ застрѣлю; дай мнѣ ружье, я принесу зайца; пойдемъ, Хайна!... И Юзефъ, соскочивъ на полъ, началъ терзать собаку за уши, приговаривая:— пойдемъ, Хайна, пойдемъ на охоту, намъ дадутъ хлѣба на дорогу, а я послѣ спую пѣсню... У меня есть новая пѣсня, тятя! слышь! ты знаешь мою новую пѣсню?...
— Какую?... не знаю.

— Сегодня меня выучилъ монахъ, такой добрый. Увидѣлъ меня у ксендза и выучилъ пѣть новую пѣсню: послушай! Юзефъ звонкимъ голоскомъ запѣлъ:

Miłość moja, miłość serdeczna,
Miłość moja, miłość scdeczna.
Iezus, Iezus, Marya, Iózef,
Iezus, Iezus, Marya, Iózef...

Задверью послышалась молитва. „Амен!“ сказалъ Томашъ, и въ комнату вошелъ ксендзъ.

— Хорошо! Молитесь Богу, дѣти мои, молитесь, говорилъ ксендзъ, подходя къ столу:—времена трудныя! Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Panskye, сказалъ пророкъ Давидъ въ 112 псалмѣ... А какой прекрасный голосъ у Юзи: поди сюда, моя крошка.

Ксендзъ благословилъ Юзефа, поцѣловалъ его въ голову, сѣлъ, и началъ говорить Томашу:—А я къ тебѣ за дѣломъ, именно пришелъ поговорить о твоёмъ сынѣ; онъ будто чуялъ радость, что такъ распѣлся.

— Что такое? спросилъ, кланяясь, Томашъ.

— А вотъ что: ко мнѣ пришелъ іезуитъ, голова удивительная; благословеніе лежитъ на немъ!... Онъ видѣлъ твоего сына сегодня у меня, и хочетъ воспитать его, сдѣлать изъ него человѣка.

Томашъ поклонился.

— Да, пора Юзефу учиться, а то что изъ него будетъ? развѣ хорошій стрѣлокъ, и

то—Богъ вѣдаетъ: стрѣльба не всякому дается.

— Не-всякому, сказалъ Томашъ, качая головою:—вотъ панъ Славикій, какія у него ружья! и съ насѣчками, и съ позолотою, и стрѣляетъ уже, я знаю, лѣтъ двадцать, а до-сихъ-поръ порядочнаго выстрѣла не сдѣлалъ; еще дробью, съ грѣхомъ пополамъ, пугаетъ чужихъ голубей у себя на горохѣ, а пулюю...

— То-то-же, перебилъ ксендзъ:—самъ ты умный человѣкъ, знаешь это дѣло; а тутъ счастье идетъ прямо въ руки. Монахъ узналъ, что ты бѣдный человѣкъ, нашелъ твоего сына способнымъ къ учению и хочешь его сдѣлать великимъ человѣкомъ. Чего добраго, можетъ-быть и я подѣ старости скажу: попроси, Томашъ, своего сына, пусть дастъ мнѣ получше мѣсто.

— Шутите! сказалъ Томашъ.

— Что же тутъ удивительнаго? Будетъ учиться, будетъ вѣрно служить ордену, какъ разъ попадетъ въ бискупы.

— Куда намъ объ этомъ думать!

— Отчего же нѣтъ? Ты бѣдный человѣкъ это не мѣшаетъ твоему сыну быть знатнымъ, быть кардиналомъ. Ты видѣлъ! меня лѣтомъ какіе цвѣли цвѣты, и красивые и душистые, а вѣдь они выросли изъ земли, изъ грязи!

— Да будетъ воля Божія! вы лучше знаете. Когда же и какъ возьметъ монахъ Юзю?

— Для этого ты приходи ко мнѣ сегодня ночью, какъ ударить 12 часовъ; теперь онъ занятъ молитвами, а завтра на разсвѣтъ хочетъ уйти, такъ надо поговорить поскорѣе.

— Ахъ, Iezus Marya! сказала жена Томаша:—какъ же онъ пройдетъ мимо казакъ?

— Это уже не твое и не наше дѣло Господь хранить избранныхъ. Ты ложись спокойно спать, а мужъ твой въ полночь придетъ ко мнѣ потолковать объ Юзѣ. Кто знаетъ? можетъ-быть онъ, этотъ Юзя, будущій папа.

— Господи! неужели бывали подобныя примѣры?... спросилъ Томашъ.

— И сколько! Одинъ вышелъ на высокую степень оттого, что умѣлъ варить луковый супъ. Я жию тебя, прощайте!

— Смотри, Юзя, сказалъ Томашъ, когда ушелъ ксендзъ:—не вѣдуй только варить начальству этакого картофельнаго супу: съ нимъ далеко не уйдешь.

V.

Подъ воротами костела въ Старомъ Быховѣ, по лѣвую руку, есть двое дверей

вторая ведетъ въ длинный узкій корридоръ; въ углу корридора есть еще дверь направо въ небольшой корридорчикъ, оканчивающийся желѣзною дверью въ большую комнату со стрѣльчатыми сводами; въ этой комнатѣ было совершенно пусто, какъ и въ корридорѣ, но въ сосѣдней съ нею горѣлъ въ каминѣ огонь; противъ него стоялъ столъ, на которомъ ярко сіяла золоченая чаша, а надъ нею простирало руки небольшое распятіе изъ чернаго дерева; далѣе въ полу-свѣтѣ, въ углу, лежали на скамейкѣ какіе-то желѣзные инструменты въ-родѣ щипцовъ; у камина ксендзъ раздувалъ небольшимъ мѣхомъ уголья, на которыхъ стоялъ закрытый тигель; за столомъ сидѣлъ іезуитъ, противъ него стоялъ Томашъ.

— Что же, ты рѣшаешься? говорилъ іезуитъ.

— Страшно, святой отецъ, дѣло нечистое.

— Не твое дѣло разсуждать; наше духовенство умнѣе тебя, и дѣла нечистаго предлагать не станетъ; это подвигъ богатырскій; вѣдь Самсонъ избивалъ филистимлянъ...

— Страшно.

— Неужели ты боишься дать промахъ?

— Кто, я? Нѣтъ, не безчестите меня! да я въ двадцати шагахъ не промахнусь по воробью, попаду въ пуговицу...

— О чемъ же беспокоишься? съ твоей стороны одинъ удачный выстрѣлъ—и ты прямо попадешь въ рай: святѣйшій отецъ въ Римѣ отпуститъ всѣ грѣхи твои, и прошедшіе, и будущіе; твой сынъ будетъ воспитанъ какъ сынъ герцога и современемъ прославить и успокоитъ твою старость... и все это такъ легко!... Когда-нибудь, можетъ-быть, ты вспомнишь меня, стоя на паперти св. Петра между вельможами, какъ на великолѣпномъ тронѣ понесутъ каноники твоего сына, увѣнчаннаго папскою тиарою, и весь Римъ падетъ ницъ, и въ торжественной тишинѣ только раздадутся благословенія: *urbi et orbi*... Вспомнишь меня, счастливый отецъ, и самъ посмѣешься своей сегодняшней нерѣшительности...

— Такъ, если доживу... а если придется завтра же и голову положить, то Богъ съ нимъ и съ папою... Да будетъ надъ нимъ благословеніе Божіе!

— Понимаю: ты боишься послѣдствій выстрѣла?

— Ваша правда.

— Не думалъ же я о тебѣ, Томашъ, чтобъ ты былъ такъ глупъ! Какъ можно намъ выдать своего? Видишь, здѣсь на угольяхъ плавится самое чистое серебро; я изъ него отолью тебѣ священную пулю,

которая поражаетъ невидимо, неслышимо; ты можешь стрѣлять ею въ комнатѣ, а въ другой никто слышать не будетъ.

— Неужели? Ахъ, святой отецъ, давно я слыхалъ о такихъ пуляхъ! Разсказывалъ мнѣ одинъ шляхтичъ изъ Галиціи, что самъ видѣлъ такого охотника: подойдетъ изъ-за куста къ стаду утокъ, всѣхъ перестрѣляетъ поодиночкѣ, а тѣ и не догадываются.

— Вотъ видишь, ты самъ знаешь. Что жъ, рѣшаешься?...

— Почему жъ не рѣшиться! Извольте, сослужу службу, только ужъ вы мнѣ еще отлейте такихъ пуль.

— Для чего же?

— Знаете, иногда, на всякій случай, для охоты; будьте благодѣтелемъ.

— Не нужно, Томашъ; твое ружье, разъ выстрѣливъ этою пулею, станетъ всегда стрѣлять безъ звука.

— Да я такъ, пожалуй, всю дичь перебью, да я...

— Тише, сынъ мой! не плѣняйся земными помыслами; скоро настанетъ великая минута, молись!..

Всѣ трое стали на колѣни; іезуитъ вполголоса началъ читать молитву... Тихо было въ комнатѣ; однообразные тоны молитвы глухо отражались подъ сводами; по временамъ, какъ свирѣпый гадъ, заключенный въ тигль, злобно зашипить расплавленный металлъ, или пугливо треснуть уголья, и вспыхнетъ огонекъ, сверкнувъ синимъ пламенемъ по лицамъ молящихся.

Іезуитъ взялъ изъ темнаго угла и положилъ на столъ желѣзную форму для пули, вынулъ осторожно тигель и приказалъ Томашу молиться усерднѣе. Томашъ, съ дѣтскимъ страхомъ стоя на колѣняхъ, скрестя на груди руки, опустилъ голову и читалъ молитвы; будто сквозь сонъ онъ слышалъ, какъ расплавленный металлъ съ ропотомъ влился въ форму, какъ вынутая пуля брякнула въ чашу и звонко заходила по гладкому дну; машинально повторилъ за іезуитомъ страшныя клятвы и опомнился тогда, какъ іезуитъ и ксендзъ приказали ему встать, положили ему на ладонь блестящую серебряную пулю, испещренную латинскими словами, и заѣли протяжно: *Te Deum laudamus!*

Крѣпко сжалъ Томашъ въ рукѣ пулю и бросился бѣжать домой; страшно шелестѣли шаги его по пустымъ, темнымъ корридорамъ; горячая серебряная пуля жгла и шевелилась въ рукѣ; звучное *te Deum laudamus* гремѣло за нимъ во мракѣ пустыхъ сводовъ.

VI.

Грустно было на родинѣ полковника Ивана Золотаренка. И пышно, и торжественно, да невесело возвратился нѣжинскій полковникъ въ свой родной Корсунь. Впереди полковника ѣхала почетная стража, за нимъ войсковые старшины, вокругъ него вѣяли бунчуки и значки, толпились вѣрные казаки и народъ, а самъ полковникъ не красовался на рьяномъ турецкомъ конѣ, не сверкалъ передъ народомъ полковничьей булавою... Онъ лежалъ мертвъ въ черномъ гробѣ: воронные кони, печально опустивъ до земли головы, тихо везли его. Не криками радости встрѣчалъ народъ своего славнаго земляка, а слезами и стономъ. Гробъ поставили въ деревянную церковь, состроенную покойникомъ; народъ разошелся по домамъ. Долго еще оставалась жена полковника, рыдая надъ его прахомъ... И она ушла...

День былъ грустный, мрачный, осенній; рѣзкій, холодный вѣтеръ гналъ по небу облака, шумѣлъ и стоналъ въ рошѣ, срывая и крутя въ воздухѣ желтые листья; вода въ рѣчкѣ то синѣла, какъ вороненая сталь, то чернѣла, какъ вспаханное поле, и брызгала пѣною на берегъ; стая галокъ быстро носилась надъ рѣкою, вилась надъ рошею и съ рѣзкимъ, жалобнымъ крикомъ садилась отдыхать на куполы и кресты одинокой церкви, гдѣ лежалъ убитый полковникъ... Не одинъ взоръ печально и робко посматривалъ на эти золотые кресты, блестяшіе надъ темными вершинами дубовъ и тополей.

Насталъ вечеръ такой же холодный, бурный, ненастный. Въ церкви горѣли свѣчи передъ мѣстными образами и вокругъ гроба. Народу было мало: полковника съ дѣтьми, нѣсколько человѣкъ родственниковъ и близкихъ пріятелей. Завтра были назначены великолѣпные похороны; народъ отдыхалъ въ ненастную погоду въ ожиданіи завтрашняго зрѣлища.

Началась вечерня; печальный напѣвъ клира порою прерывался стономъ и рыданіями жены покойнаго; но когда все утихло, внятно раздавались въ алтарѣ слова священника, читавшаго молитвы; казалось, невидимые духи говорили эти святые, утѣшительныя рѣчи людямъ, убитымъ горестію, простертымъ во прахѣ передъ таинственнымъ лицомъ Всемогущаго...

На паперти стояли два казака, закутанные въ широкіе кобеники *); они тихо

разговаривали, опершись на сабли.

— Да, говорилъ сѣдой казакъ:—могъ ли я думать, нося на рукахъ еще ребенкомъ нашего полковника, что мнѣ, старику, придется хоронить его!.. Я училъ его и ѣздить верхомъ и стрѣлять... Какъ теперь помню первую кукушку которую мы съ нимъ застрѣлили, то-то была радость!.. Бѣдный ребенокъ прыгалъ какъ козленокъ надъ кукушкою, разгорѣлся отъ радости какъ наливное яблочко; не было тогда въ цѣломъ округѣ дѣвушки краше его, ей-богу, брать!.. Я тогда увидѣлъ, что онъ будетъ добрый казакъ... и правда, много мы съ нимъ надѣлали бѣдъ невѣрнымъ, да и много получили почестей!.. Городъ не городъ, бывало, крѣпость не крѣпость передъ полковникомъ Золотаренкомъ!.. А подъ Смоленскомъ насъ чуть на рукахъ не носили; царь московскій души не слышалъ въ нашемъ полковникѣ, ему и обѣдъ не обѣдъ былъ безъ Ивана Никифоровича. И кубокъ ему прислалъ царь въ девять гривенокъ, и соболей, и бархату.... Знатный, былъ человекъ, а пришлось умереть, Господи прости, подъ поганымъ городомъ Старымъ Быхомомъ!... да еще безъ бою, застрѣлили окаянныя, не въ примѣръ сказать, какъ тетерева!..

— Расскажи, Данило, путемъ, какъ случилась такая оказія?

— Такъ братъ, просто, самъ не придумаю, какъ эта бѣда случилась!.. Мы, видишь, вступали въ Старый Быховъ... намъ и ключи вынесли, и народъ встрѣтилъ насъ съ хлѣбомъ и солью, и монахи католицкіе съ крестами. Полковникъ ѣхалъ на гнѣдкѣ во всемъ парадѣ, рядомъ съ нимъ московскій воевода; и поровнялись они съ костеломъ; вдругъ что-то щелкнуло, будто кто по воздуху арапникомъ хлопнулъ, или кто крѣпкій орѣхъ раскусилъ, а на колокольнѣ завилась дымокъ. Мое ухо привыкло къ выстрѣламъ: я сейчасъ почувалъ, что это смертельный. Народъ заволновался; гляжу: полковникъ шатается на сѣдлѣ, приложивъ правую руку къ сердцу; я подбѣжалъ къ нему, снялъ съ коня, а кровь такъ и бѣжитъ у него изъ груди между пальцевъ.

— Прощай, Данило, сказалъ мнѣ полковникъ:—пусть меня похоронятъ въ Корсунѣ, въ моей церкви; да скажи женѣ... не договорилъ, отнялъ отъ груди правую руку, молча показалъ ею въ толпу—отвернулся и умеръ!.. Я глянулъ туда: между народомъ стоитъ Францискъ въ монашескомъ платѣ и страшно смотритъ на полковника... Я бросился за нимъ, закричалъ „лови!“ а онъ исчезъ, будто провалился. Схватили двухъ, трехъ монаховъ, да все не того... А тутъ поднялась рѣзня! всѣ кричали: „измѣна!“ Не приведи Богъ, какъ

*) Казачья одежда, въ-родѣ бурнуса, и теперь еще употребляема въ Малороссіи.

пно! Наши молодцы бросились на колыню и поймали убійцу.

Поймали! Кто жъ онъ?

Сказать стыдно: простой органистъ, штъ!.. Какъ подумаешь, что храбрый овникъ умеръ отъ органиста, голова омаъ пойдетъ!..

Ужъ я бы его!

Я и самъ думалъ надъ нимъ потѣшить-ыместить свое горе—а вышло дрянъ. Дрянъ?

Превеликая дрянъ! Нѣженка! извѣс-органистъ: не успѣли хлопцы стащить по-своему съ колокольни, онъ уже и ъ!..

Жалко!

Дѣлать нечего — пошли къ нему на : жена была у окаяннаго, добро было: прахомъ пошло!.. и сынъ былъ, пла-сердечный, все говорилъ: „не бейте , дядюшка, я вамъ спою пѣсню“; я думалъ, что мнѣ скоро жалъ станеть , ребенка... и его извели хлопцы!.. На-гѣсто свято!.. Посмотри, Никита, вонъ , въ темномъ углу церкви, налѣво, гдѣ жена покойница Любка, видишь?..

Ничего! отвѣчалъ Никита, смотря внутрь ви, прикрывъ глаза рукою.

Вотъ же быть бѣдѣ! Посмотри... вотъ рь видишь, въ темнотѣ будто теплится ка?

Это такъ что-нибудь, а ты уже испу-и?

Вотъ еще! Мнѣ только странно...

Отчего же ты такъ стучишь зубами, ло?

Озябъ. Никито! поневолѣ, братъ, засту- , зубами на этакоемъ вѣтрѣ; слышь, какъ ъ! никакъ и дождикъ накрапываетъ.

Пойдемъ лучше въ церковь; что здѣсь гь, пока вечерня кончится!

Никита и Данило вошли въ церковь и притворили за собою дверь. Въ это я еще тише отдѣлилась отъ кустовъ,

роспихъ у самого церковнаго крыльца, черная фигура, неслышными шагами подошла къ двери, задвинула ихъ снаружи; потомъ быстро обошла вокругъ церкви и скрылась въ рошѣ.

Вечерня шла въ церкви. Осеннее небо было черно, какъ могила, и вдругъ, на его темномъ грунтѣ, всталъ огненный столпъ, свирѣлое пламя лилось въ воздухъ, вѣяло съ вѣтромъ, кружилось съ вихрями, далеко озаряя окрестность. Съ ужасомъ увидѣли жители Корсуна, что горитъ церковь, въ которой стоялъ гробъ полковника.

Толпа народа сбѣжалась, но никто не могъ подойти къ церкви, объятой со всѣхъ сторонъ пламенемъ; сильный вѣтеръ, взрывая его, уносилъ въ воздухъ, то, склоняя на землю, разстилалъ и струилъ по ней широкими волнами. Сначала слышны были въ церкви вопли, но они скоро затихли. Страшно звонили сами колокола, будто на вѣчную память; огонь ревѣлъ, далеко летѣли искры по темному небу, а на противоположномъ холмѣ народъ съ ужасомъ увидѣлъ длинную, черную фигуру, закутанную въ мантию: она неподвижно стояла, поднявъ руки кверху, облитая краснымъ свѣтомъ пожарнаго зарева, и тогда только исчезла, когда упалъ сводъ церкви, погребя подъ собою прахъ полковника Ивана Золотаренка, все его семейство, родныхъ и друзей.

Долго въ Корсунѣ толковали о страшномъ пожарѣ и о страшномъ привидѣніи, которое любовалось на пожаръ. Даже многіе смѣльчаки, подходившіе ближе къ привидѣнію, находили въ лицѣ его что-то знакомое, будто похожее на Францишка. И вообще рѣшили, что это козни врага рода человѣческаго.

А историкъ Коховскій очень наивно приписываетъ это происшествіе гнѣву мстящаго Провидѣнія!

С Е Н Я.

ПОВѢСТЬ.

Знаю, что правду пишу и именъ не значу;
Смѣюся въ стихахъ, а въ сердцахъ о злонрав-
ныхъ плачу.

Князь Антиохъ Кантемиръ.

ГЛАВА I.

О музыкальномъ вечерѣ у гнѣдопѣгаго моста.

Хвастливаго отъ богатаго не распознаешь.

Народная поговорка.

Когда-то, при началѣ весны, часу въ шестомъ вечера, шель я по Невскому проспекту. Въ магазинахъ начали зажигать лампы.

— Что вы ко мнѣ никогда? сказалъ Макаръ Ивановичъ, одною рукою останавливая меня, а другою вѣжливо приподнимая свою шляпу.

— Виновать, Макаръ Ивановичъ, мепремѣнно постараюсь быть.

— Третій годъ это вы мнѣ говорите!

— Вашу квартиру отыскать такъ трудно, а у меня мало времени...

— Помилуйте! Я имѣю, благодаря его превосходительству Александру Петровичу, казенную квартиру, въ Каменномъ департаментѣ. Знаете, большой домъ недалеко отъ Гнѣдопѣгаго моста?

— А! очень радъ...

— Вотъ видите, рады, а ко мнѣ никогда...

— Посмотрите, Макаръ Ивановичъ, какой страшный левъ.

Мы стояли у шляпнаго магазина Симиса. Многие, можетъ-быть, видѣли на оконномъ стеклѣ этого магазина нарисованнаго льва, но видѣли его днемъ и пропустили безъ вниманія. Неудобно ли посмотрѣть этого льва, какъ зажгутъ лампы: онъ преобразается въ какую-то саламандру *златоогненнаго* цвѣта; его зѣвъ, кажется, готовъ сію минуту раствориться и скусить голову первому прохожему. Его глаза сверкаютъ адскимъ, зеленоватымъ пламенемъ такъ дико, такъ свирѣпо... Подите, сами посмотрите эту вывѣску—если не боитесь страшныхъ сновъ.

— На то звѣрь, отвѣчалъ Макаръ Ивановичъ:—сердито нарисованъ; должно-быть, Брюловъ сдѣлалъ.

— Съ чего вы это взяли?

— Помилуйте, вы видѣли Помпею?

— Видалъ.

— Славная штука?

— Да.

— Припомните хорошенько: тамъ есть этакая подобная фигурка вся въ огнѣ.

— Да вы знатокъ въ живописи!

— Не то, чтобъ знатокъ, а люблю, признаться. Вотъ вы никогда у меня не бываєте, я бы вамъ показалъ свои картинки и угостилъ бы васъ музыкою... Пріѣзжайте; у меня по субботамъ вечера.

— Вы кутите, Макаръ Ивановичъ!

— Нельзя-съ, надобно жить. Въ то время, когда вы служили въ нашемъ департаментѣ, я былъ просто чиновникомъ на первомъ окладѣ, а теперь, благодаря Бога и его превосходительство Александра Петровича, въ три года шагнулъ хорошо, получилъ штатное мѣсто и казенную квартиру—надобно жить соотвѣтственно должности и мѣсту. Вотъ видите...

— Вижу. До свиданія, Макаръ Ивановичъ!

— До свиданія. Не забудьте же: у Гнѣдопѣгаго моста, спросите помощника архиваріуса.

— Хорошо, не забуду.

Пройдя шаговъ десять, Макаръ Ивановичъ торопливо вернулся и проговорилъ мнѣ:—Вамъ скажутъ: „дверь въ углу двора“, а двери не видно. Видите: во дворѣ сложены дрова, но это ничего, идите за дрова, проходъ есть, да по лѣстницѣ придер-

итесь правой стороны, налѣво стоять и ведра,—жена экзекутора тамъ ихъ итъ. Не забудьте этого... и, поклонясь, рѣ Ивановичъ пустился по Невскому нѣмъ шагомъ между иноходью и рис-

Макаръ Ивановичъ былъ человѣкъ не-паго роста, полненькій, на коротень-ножкахъ, съ круглою головою и бол-глазами; вообще онъ былъ очень по-на сѣраго попугая въ форменномъ ѣ и круглой шляпѣ; даже любилъ час-вторять людскія рѣчи, не вникая въ смыслъ, любилъ перенимать обычая иычки, не разбирая, хороши ли они, и всемъ этомъ былъ весьма невиненъ въ-менномъ просвѣщеніи.

Кто служить въ штатской службѣ, тотъ со мною согласится, что въ департа-ахъ иногда бываютъ минуты невыно-і скуки. Не только мелкіе чиновники, аже посѣдѣлые ветераны, которые такъ ительно и такъ искусно толкуютъ о-сти, обязанности, долѣ, пріятности и—и тѣ длинно, длинно зѣваютъ надъ-пеніями и сообщеніями. Причину это-йдти такъ же трудно, какъ и причи-урной погоды: то и другое *бываетъ*,-ько. Судьба любить людей и потому-партаменты напускала Макаровъ Ива-ей; эти люди своею невинностію и-ѣ своими претензіями на что-то услу-тъ скуку департаментовъ. Скука когда-ела меня съ моимъ Макаромъ Ивано-гъ. И вотъ уже постоянно нѣсколько онъ останавливаетъ меня на улицѣ и-иваетъ: „что вы ко мнѣ никогда?“

На бѣломъ свѣтѣ, какъ и въ департа-ахъ, бываютъ иногда для человѣка скуч-минуты, да такія скучныя, что не зна-куда дѣвать себя. Въ этомъ, надѣюсь, сятся со мною всѣ живущіе... За что-эмешься—все изъ рукъ валится, все-дится... Кузьма Васильевичъ, влюблен-по уши въ Эккартсгаузена, приписы-это состояніе душѣ человѣка, кото-астосковалась по своей отчизнѣ. Ва-

Кузьмичъ, ревностный почитатель-ра Бруссе, говорить, что Кузьма Ва-вичъ вретъ, и что скука происходитъ-еправильнаго разложенія соковъ, ос-наго на большей или меньшей раздра-сти перепонокъ, а Кузьма Кузьмичъ, вшій въ тонкости систему Галля, раз-вааетъ, что въ это время на мозгу че-а начинается образовываться шишка, и что, какъ его тезка, равно и Ва-Кузьмичъ, не правы. Послѣдняя тео-мнѣ какъ-то больше нравится: она, ите видѣтъ, проще, осязательнѣе, по-говѣрка легче; хватилъ себя за голову,

нашелъ шишку и дѣло въ шляпѣ—и зна-ешъ причину чего бы то ни было.

Итакъ, по теоріи Кузьмы Кузьмича, у-меня росла шишка скуки; просто сказать, мнѣ было очень скучно, и я, во время встрѣ-чи съ Макаромъ Ивановичемъ, ходилъ по Невскому проспекту, не зная, какъ убить время, смотрѣлъ на фонари, освѣщенные газомъ, смотрѣлъ на вывѣски, толкалъ про-ходящихъ и былъ *сугубо толкаемъ оными*. Нѣтъ, не беретъ; скучно! Зашелъ въ кон-дитерскую: тамъ несносно свѣтло, пахнетъ шоколадомъ, и какой-то старичокъ жадно-глотаетъ его, будто отъ роду въ первый-разъ попробовалъ. На столахъ лежатъ скуч-ныя газеты; мальчики въ зеленыхъ курт-кахъ бессмысленно улыбаются; краснощекій провинціалъ, зѣвая надъ какимъ-то журна-ломъ прошлаго года, невинно спрашиваетъ: „Когда же выйдетъ декабрьская книжка?“ Это уже верхъ скуки... Я выбѣжалъ изъ-кондитерской. На башнѣ городской думы-ударилъ 6 часовъ. Сколько еще впереди-времени, подумалъ я, куда мнѣ дѣваться? Ба! сегодня суббота; ѣду къ Макару Ива-новичу. Въ Петербургѣ пути сообщенія-чрезвычайно упрощены и усовершенство-ваны: оттого, безъ всякихъ особенныхъ-приключеній, я черезъ четверть часа былъ-уже въ квартирѣ Макара Ивановича.

Въ передней Макара Ивановича меня-поразили два предмета: освѣщеніе и самъ-Макаръ Ивановичъ. Для освѣщенія постав-лена была на окно помадная банка, нали-тая ламповымъ масломъ; на поверхности-масла, какъ лодочка, плавалъ зажженный фи-тилькъ, прикрѣпленный къ поплавку изъ-пробочнаго дерева. Свѣтъ этого хитраго-прибора не подходилъ ни къ какому из-вѣстному освѣщенію. Это было что-то сред-нее между блескомъ звѣздъ и жучка-свѣт-ляка. Человѣкъ, неимѣющій гривны на по-купку свѣчи, не станетъ дѣлать вечеровъ. Кто не жалѣетъ денегъ дѣлать вечера, вѣр-но не пожалѣетъ купить въ переднюю свѣч-ку. Изъ этого заключенія легко убѣдиться, что фантастическое освѣщеніе передней бы-ло просто маленькая странность штатнаго-чиновника Макара Ивановича, который, при-мерцаніи помадной банки, какъ привидѣніе, предсталъ глазамъ моимъ; онъ былъ въ га-лошахъ, въ шинели и даже въ шляпѣ.

— А! это вы? закричалъ онъ мнѣ на встрѣ-чу.—Очень радъ.

— Да, Макаръ Ивановичъ; я, разставшись-съ вами, вспомнилъ, что сегодня суббота, вашъ день, и рѣшилъ побывать у васъ, не откладывая въ даль.

— Покорнѣйше благодарю. Вотъ что на-зывается утѣшили! Прошу пожаловать.

— А вы куда?

— Я въ театрѣ.
 — Въ театрѣ?!
 — Извините; и не радъ, да ѣду; играютъ нѣмцы какую-то комедію: я, вы знаете, и афишки по-ихнему не прочитаю.

— Кто же васъ неволитъ?
 — Билетъ есть, нельзя! Поѣзжай, Макаръ Ивановичъ!

— Я васъ не понимаю; вамъ и ѣхать не хочется, и по-нѣмецки вы не знаете, а взяли билетъ и ѣдете.

— Нельзя! Вотъ видите: сегодня мнѣ подарилъ этотъ билетъ начальникъ отдѣленія. „Мнѣ, говоритъ, ѣхать некогда, а деньги за билетъ заплачены, все равно пропадутъ.“ Я уже дома разсмотрѣлъ, что пьеса будетъ нѣмецкая, а дѣлать нечего, неравно обидится; надобно сходить.—До свиданія!

— И я съ вами пойду до улицы.

— Помилуйте! въ три года собрались разъ побывать у меня, да и не посидите!..

— Что же я у васъ стану дѣлать?

— Милости прошу, пожалуйста въ гостиную, не соскучитесь; тамъ у меня уже есть три гостя; они сейчасъ только пришли: прошу *до компаніи*. Я тамъ оставилъ на столѣ бутылку мадеры и сейчасъ къ вамъ явится музыка... Мое почтеніе! Боюсь опоздать...

Предложеніе Макара Ивановича было такъ оригинально, такъ нелѣпо, что я рѣшился сдѣлать ему удовольствіе, просидѣть часть-другой съ его гостями.

Въ такъ-называемой гостиной были три человѣка: одинъ въ очкахъ, котораго называли Семенъ Ивановичъ, другой, маленькій, горбатый чиновникъ, въ бѣломъ галстухѣ, а третій чиновникъ съ табакеркою.

Семенъ Ивановичъ сидѣлъ на диванѣ, протянувъ во всю его длину свои ноги, обутыя въ сапоги съ острыми носками. Чиновникъ съ табакеркою раскрылъ табакерку и, омочивъ палецъ въ мадеру, съ большимъ усиліемъ стряхивалъ съ него вино въ табакъ, а горбунокъ въ бѣломъ галстухѣ стоялъ среди комнаты, ноги врозь, лѣвая рука въ карманѣ, а правая держала рюмку мадеры.

— Что, какова погода? спросилъ меня чиновникъ съ табакеркою такъ важно, съ такимъ участіемъ, будто онъ цѣлый мѣсяцъ не выходилъ изъ комнаты и будто съ минуты на минуты ожидалъ своихъ кораблей изъ-за моря.

— Ахъ, какой вы смѣшной человѣкъ! перебилъ чиновника съ табакеркою Семенъ Ивановичъ:—сейчасъ пришли и спрашиваете о погодѣ: въ пять минутъ она не можетъ переимѣниться.

— А почему не можетъ? спросилъ очень хладнокровно чиновникъ съ табакеркою.

— Станный вы человѣкъ! Ну, атмосфера не какая-нибудь игрушка, которую взялъ такъ, да и началъ вертѣть какъ угодно Здѣсь, можетъ-быть, и кислородъ, и другое что не позволить...

— Какой это кислородъ, Семенъ Ивановичъ?

— Кислородъ—простая вещь, постоянный двигатель, то-есть, элементъ; онъ всегда въ воздухѣ: вы вздохнули—и его втянули.

— И это не вредно?

— Напротивъ, очень здорово. Въ больницахъ нарочно дѣлаютъ кислородъ: льютъ уксусъ или что-нибудь кислое на горячую плитку—вотъ вамъ и кислородъ.

— Понимаю. И чиновникъ съ табакеркою выпилъ рюмку мадеры.

— Да, да! такъ, такъ! ученіе свѣтъ! говорилъ горбунокъ, хлопая ртомъ.—Вотъ я захвачу полонъ ротъ воздуха—и, ваша правда, Семенъ Ивановичъ—точно чувствую кислоту на языкѣ. Я этого до сихъ поръ не замѣчалъ.

Цѣлый вечеръ послѣ этого горбунокъ, только и дѣлалъ, пилъ мадеру и хлопалъ ртомъ, приговаривая:—да, именно такъ, чувствительная кислота...

— Значитъ, у васъ тамъ, на родинѣ, много кислорода, если вы ѣдете туда для поправленія здоровья? спросилъ человѣкъ съ табакеркою.

— Чистѣйшій кислородъ!.. „Какъ вы счастливы!“ говоритъ мнѣ княгиня Софья Петровна: „ѣдете наслаждаться такимъ воздухомъ“. Да, вѣдь, они всегда такъ, эти вельможи.—Позвольте попросить призъ табаку?.. А! порядочный табакъ! Я вообще имѣю привычку нюхать французскій; у князь-Сержа удивительный, настоящій французскій, что называется пикантъ.

— Нѣтъ, я подъ этимъ названіемъ не нюхаю. Вы надолго изволите ѣхать?

— На 28 дней.

— Разсчитливо въ разсужденіи жалованья!

— Помилуйте, на что мнѣ жалованье? Я камердинеру плачу почти столько же, хоть графъ Поль и ворчитъ на меня: „Опомнись, братъ Сеня, ты всѣхъ людей перебалуешь“, да я всегда ему отрѣжу: „Полно, Поль, не твои деньги; ты графъ, а я такъ-себѣ человѣкъ, люблю наказывать, люблю и помиловать“. Нѣтъ, а въ деревнѣ жить долго прискутить—прахъ ее возьми! какъ говорить князь-Сержъ.

— Но у васъ есть родители; они вѣрно васъ скоро не выпустятъ изъ деревни.

— Да что я у нихъ буду дѣлать? смотрѣть, какъ косятъ сѣно, или пугать воробьевъ по саду? Воображаю я этихъ провинціаловъ Къ нимъ придется извѣстный стишокъ:

И не съ кѣмъ танцовать, и не съ кѣмъ молвить слова!

Нѣтъ, слуга покорный! Приѣду, поучу стариковъ уму-разуму—не даромъ же я слушалъ курсъ юридическихъ наукъ—брошу тысячу, другую, да и назадъ. Удивлю княжну Вѣрочку: нечаянно явлюсь на балъ къ минеральнымъ водамъ... А старики не изволь шумѣть: съ вечера уложу свои вещи, пошлю на всю ночь въ городъ за почтовыми лопадьми, а самъ послѣ ужина скажу: „Итакъ, любезные родители, я завтра долженъ ѣхать! (разумѣется, это ихъ ошеломятъ) да, завтра я рѣшился, а потому не угодно ли вамъ со мною проститься: зоря не застанетъ меня подъ вашимъ кровомъ. Прошу васъ не беспокоиться рано вставать: это можетъ повредить вашему здоровью, и для меня двойное прощанье тягостно“. Обниму стариковъ и на завтра уѣду. Это очень просто.

— А если васъ не пустиять?

— Я имъ скажу: обязанности службы, долгъ, ревность и тому подобное; и если закапризничаютъ, просто скажу: *ѣду да и только*, потому-что хочу ѣхать. Слава Богу, я, кажется, *sui juris*. могу располагать собою!.. Я, кажется...

— Позвольте, перебилъ его чиновникъ съ табакеркою:—позвольте попросить вашего табаку; мнѣ бы желалось понюхать подъ штемпелемъ, о какомъ вы упоминали.

— Извините, почтеннѣйшій! не взялъ съ собою, да и рѣдко беру, признаться. У меня золотая табакерка очень тяжела, носить беспокойно. Правду говорятъ баронъ Киксъ: маленькія бездѣлушки тяготятъ человѣка болѣе важныхъ дѣлъ. Притомъ же, я постоянно нюхаю, когда занимаюсь литературою. Всякій день, возвращаясь съ бала, я имѣю обыкновеніе немного сочинять—не стихами, нѣтъ! Богъ избавилъ меня отъ подобнаго безумія—а прозою... Приѣдешь домой, голова еще кружится отъ ароматической, благовонной, сверкающей, можно сказать, атмосферы бала; еще чувствуешь пожатіе атласныхъ ручекъ, видишь живо бѣлоаморныя шейки и плечики; еще горятъ щеки, наэлектризованныя въ бѣшеномъ вальсѣ легкимъ прикосновеніемъ роскошныхъ локонъ; въ устахъ еще не замеръ робкій шопотъ аристократокъ, назначившихъ мнѣ *rendez-vous*. Скорѣе за перо—и вѣрите ли? иногда пропишешь часа три, четыре—такъ и льется, да все такое граціозное, грандіозное; предо мною возникаютъ гиганты, исполины, графы, князья—все это ново, съ иголочки, по послѣдней модѣ; тонъ, манера!.. Я самъ иногда удивляюсь, какъ прочту, спустя недѣлю, свое писанье—откуда

что берется?! Просто вдохновеніе: его не купишь и не сдѣлаешь! говоритъ маркиза Брамаре.

— О комъ это вы говорите? спросилъ чиновникъ съ табакеркою.

— О вдохновеніи.

— Понимаю: вы опять о своемъ вдохновеніи; то-есть, какъ мы вдыхаемъ въ себя съ воздухомъ кислородъ?

— Помилуйте, какой тутъ кислородъ! Вы меня не понимаете... Я вамъ говорю о состояніи души, а вы...

— А я вамъ скажу, Семенъ Ивановичъ, что какъ заговорить ваша братья, ученые, то лучше не слушать—ничего не поймешь... А ты здѣсь уже, Григорій? Съиграй-ка мою любимую.

Послѣднія слова чиновника съ табакеркою относились къ человѣку, одѣтому въ форменный солдатскій сюртукъ, темно-зеленаго цвѣта, съ красною выпушкою по швамъ и съ мѣдными пуговицами. Во время громкой болтовни Семена Ивановича, этотъ человѣкъ тихо вошелъ въ комнату и сталъ у двери, держа подъ мышкою скрипку, а въ рукахъ смычокъ, что давало право сильно подозрѣвать его въ музыкальномъ талантѣ... И точно, не успѣлъ еще чиновникъ съ табакеркою окончить своей просьбы, какъ человѣкъ въ солдатскомъ сюртукѣ, словно по командѣ, вскинулъ скрипку къ подбородку, махнулъ смычкомъ—и послушныя струны заплѣли довольно-фальшиво двойными нотами мотивъ извѣстной пѣсни:

Какъ на матушкѣ на Невѣ, рѣкѣ
На Васильевскомъ славномъ островѣ.

Семенъ Ивановичъ въ пол-свиста аккомпанировалъ Орфею Каменнаго департамента, а чиновникъ съ табакеркою спряталъ на время табакерку въ боковой карманъ, оперся локтемъ на столъ, склонилъ голову на руки и задумался.

Музыкантъ проигралъ пѣсню, дернулъ три раза смычкомъ по струнамъ, отчего вышла проба въ аккордѣ *G dur*, и, опустя скрипку, стоялъ самодовольно.

Чиновникъ, вынувъ изъ боковаго кармана табакерку началъ говорить:—Право, хорошо, Григорій!.. чувствительно и пріятно—люблю я эту пѣсню! Помню, еще я былъ мальчикомъ, мы жили въ Гавани. Къ моему батюшкѣ, бывало, соберутся ластовые, усядутся лѣтомъ въ садикъ, да какъ грянутъ!.. душѣ весело!.. Или какъ былъ женихомъ: бывало, зайду, на Петербургской Сторонѣ, къ моей Марѣ Ивановнѣ; такъ пріятно: пьемъ чай; ея матушка, въ очкахъ, вяжетъ чулокъ, а я возьму гитару и затяну:

Какъ на матушкѣ на Невѣ рѣкѣ.

И Марья Ивановна, бывало, подпѣваетъ... Гитара въ рукахъ, и слышишь такое удовольствіе... Вотъ ужъ и жены пять лѣтъ какъ не стало, а все слышу ту же пѣсню... Добрая пѣсня!.. задушевная!

Чинovníкъ махнулъ рукою и опустил на грудь голову.

Не играешь ли ты чего-нибудь изъ Моерберга? спросилъ Семенъ Ивановичъ.

Не можемъ знать, ваше благородіе.

Опъ даже ночь не знаетъ! сказалъ чинovníкъ съ табакеркою.

Ну-ужели?

Смѣю васъ увѣрить. Это департаментскій сторожъ; служилъ прежде въ солдатахъ и самъ по себѣ дошелъ до такой игры.

— О, русскій человѣкъ имѣетъ высокое предназначеніе! Стоитъ соскочить съ сердца престолоудина его духовную шелуху, то-есть, срѣзать съ души эту накипь невѣжества, какъ говорить одинъ мой задушевный другъ, извѣстный нашъ литераторъ; вышлепайте, вышлепайте русскіе умы — и нравственные великаны возникнутъ изъ праха... Ну, гениальный Григорій! сыграй теперь что-нибудь повеселѣе, такъ, для танцевъ.

Сторожъ сыгралъ вальсъ изъ Фрейшюца.

Превосходно! кричалъ Семенъ Ивановичъ: не играешь ли ты мазурки Шопена?

Никакъ нѣтъ.

— Какъ это можно не играть! ни одной мазурки Шопена? Это срамъ, не играть Шопена!

Чи мазурки вы изволили сказать? спросилъ чинovníкъ съ табакеркою.

Шопена!...

Шопена? Я первой разъ слышу.

Помилуйте! всѣ безъ ума отъ Шопена... Человѣкъ пятнадцать въ высшемъ кругу въ Вѣнѣ на смерть затанцовались подъ эти волшебныя мазурки... „Я предпочитаю мазурки Шопена мороженому изъ фиеста-шекъ“ говорила мнѣ еще вчера баронесса, а баронесса, по своему темпераменту, не можетъ жить безъ мороженого... Третьягодня супруга его превосходительства, тайнаго...

— Отчего же онъ такъ хороши? перебилъ Семена Ивановича чинovníкъ съ табакеркою.

Отчего хороши? Онъ просто прелесть: такія сочныя, жирныя, мясистыя!

Это ужъ слишкомъ, сказалъ чинovníкъ съ табакеркою, голодомъ обиженнаго человѣка: вашимъ ученымъ языкомъ вы можете говорить какъ вамъ угодно, а не въ пре-

тенціи: но въ глаза дурачить себя я не позволю. Кто-таки гдѣ выдастъ мясистую мазурку? танцовать ихъ, пожалуй, могутъ особы всякой комплекціи, но, чтобы были мазурки жирныя...

— Вы не понимаете, милостивый государь, что значить сочная, мясистая мазурка?

— Позвольте вамъ напомнить, что, доживя до сѣдыхъ волосъ, я всегда разговаривалъ на русскійскомъ діалектѣ и понимаю русскія слова; сосенски сочныя, мясистыя бываютъ—это понятно, а мазурки... извините меня...

Я, видя, что дѣло принимаетъ довольно-серьезный оборотъ, и не желая быть свидетелемъ полемики, взялъ шляпу.

— Не уходите! закричалъ Семенъ Ивановичъ: вотъ я только докажу имъ о мазуркѣ—и мы поѣдемъ вмѣстѣ: у меня свой экипажъ.

Я поблагодарилъ Семена Ивановича за предложеніе, извинился передъ нимъ и вышелъ.

Въ интервалѣ между дровами и подъѣздомъ, ведущимъ къ Макару Ивановичу, стояли старыя дрожки; въ нихъ была запряжена дюжая водовозная лошадь; на козлахъ сидѣлъ мальчикъ въ сѣромъ ярмякѣ и картузѣ.

— Это экипажъ Семена Ивановича? спросилъ я.

Я привезъ ихъ; а экипажъ не ихній. а отъ Марка Петровича, княжаго дворецкаго; Семенъ Ивановичъ учать у Марка Петровича сына. такъ вотъ Маркъ Петровичъ и дають по вечерамъ ѣздить эти дрожки, да какого-нибудь разѣзжаго коня...

Я уже былъ у воротъ, а словоохотный мальчикъ все еще проповѣдывалъ съ козелъ о своихъ дрожкахъ, о лошадяхъ и въ особенности о Маркѣ Петровичѣ.

ГЛАВА II.

БЮГРАФІЯ СЕНИ.

Гдѣ ступишь, тамъ цвѣты алѣютъ
И съ неба летятъ благодать.

Н. Карамзинъ.

Изъ всѣхъ уѣздныхъ должностей, по моему мнѣнію, самая выгодная, занимательная — должность уѣзднаго почтмейстера. Мѣсто почтмейстера — мѣсто спокойное, квартира казенная, теплая А сколько любопытнаго переходитъ чрезъ его руки... Человѣкъ, наклонный къ статистикѣ, будетъ служить безъ жалованья на почтмейстерскомъ мѣстѣ. Почтмейстеръ знаетъ, кто въ уѣздѣ къ кѣмъ переписывается, кто ни-

петь въ столицу и какъ кому отвѣчаютъ изъ столицы; знаетъ, кто сколько посылаетъ денегъ въ банкъ, знаетъ, кто и какъ платить проценты въ приказъ—все знаетъ и изъ всего можетъ вывести очень основательное логическое заключеніе. Сколько онъ можетъ прочесть журналовъ, получаемыхъ богатыми помѣщиками въ уѣздѣ! сколько можетъ узнать разныхъ новостей!... Даже имѣетъ право распечатать посылку, адресованную на имя уѣздной щеголихи, и пересмотрѣть прежде нея всѣ милые наряды, которыми она станетъ щеголять на балу у предводителя... Счастливецъ! онъ имѣетъ право трогать своими руками, пахнущими сургучомъ, эти бусы, созданныя обвивать лилейную шейку; перебирать пушистое боа, которое будетъ живописно трепетать на роскошной груди; чего добраго, можетъ, для шутки, надѣть баретъ съ райскою птичкою, подъ которымъ заронится въ головкѣ красавицы много очаровательныхъ думъ о „немѣ“; онъ осмѣлится равнодушно брать въ руки сережки, будущія свидѣтельница и повѣренныя робкаго пошота любви... Несносный человѣкъ! и все-таки счастливецъ!.. Притомъ же, онъ въ городѣ единственная власть по почтовой части—одинъ, какъ судья, какъ исправникъ, какъ городничій. Онъ имѣетъ право рѣзать хвосты негоднымъ почтовымъ лошадямъ и можетъ, если захочетъ, оказать посobie проѣзжающимъ. Послѣдняя причина познакомила гороховскаго почтмейстера, Ивана Яковлевича Лобко, съ княгиней Плерець.

Это случилось въ 18.. году. Иванъ Яковлевичъ былъ въ городѣ Гороховѣ почтмейстеромъ, имѣлъ жену, сыновей: Сеню, Митю, Гришу, Сашу, и дочерей: Лизу и Клавдочку. Самому старшему, Сенѣ, было восемь лѣтъ. Княгиня Плерець была женщиною лѣтъ 35-ти, нехороша собою, черноглазая, черноволосая, съ рѣзкимъ голосомъ, живыми манерами и довольно-плоскою грудью. Она пять лѣтъ какъ овдовѣла, не имѣла дѣтей и безпрестанно о чемъ-то вздыхала и плакала; гороховскій городничій говорилъ, будто онъ видѣлъ у нея въ экипажѣ книжку, подъ заглавіемъ: „Бѣдная Лиза“; но жена исправника этому не вѣритъ. Каждую весну, по смерти мужа, княгиня Плерець ѣздила, изъ своихъ сѣверныхъ деревень, или изъ столицы, въ Кіевъ на богомолье, и молилась тамъ, и плакала о супругѣ, и гуляла въ казенномъ саду до осени, когда даже и войска, стоявшія подъ Кіевомъ лагеремъ, оставляли свои палатки и брели по зимнимъ квартирамъ.

Въ одно изъ подобныхъ обратныхъ путешествій на сѣверъ, княгиня, пріѣхавъ въ Гороховъ, узнала, что нѣтъ лошадей на

станціи; вмигъ ея влажные глаза засверкали гнѣвомъ; она закричала на смотрителя, прогнала, въ гнѣвъ, писаря и послала ливрейнаго лакея за почтмейстеромъ. Иванъ Яковлевичъ зналъ свою обязанность: надѣлъ мундиръ, прицѣпилъ шпагу и явился, какъ листъ передъ травой, передъ княгиней. Княгиня кричала; почтмейстеръ второпяхъ сказалъ ей какую то отчаянную лесть—княгиня заговорила октавою ниже; ободренный почтмейстеръ еще сказалъ комплиментъ—княгиня улыбнулась и вздохнула; почтмейстеръ объявилъ, что если чрезъ три часа не будетъ лошадей, то онъ готовъ повезть ее самъ на себѣ, а между-прочимъ, въ ожиданіи этого процесса, просилъ сдѣлать ему честь откушать у него чашку чаю. Княгиня согласилась—и чрезъ нѣсколько минутъ въ гостиной почтмейстера на диванѣ сидѣла княгиня; рядомъ съ нею, въ чепчикѣ съ желтыми лентами, жена почтмейстера; противъ стоялъ почтмейстеръ, какъ слѣдуетъ, въ мундирѣ, съ треуголкою подъ-мышкой. Княгиня вздыхала и говорила нѣжности; почтмейстерша поправляла на себѣ платочекъ, сжимала губы и подбирала слова, самыя учтивыя, для отвѣтовъ ея сіятельству, а почтмейстеръ осыпалъ дорогую гостью комплиментами, вынесенными въ отставку покойнымъ его отцомъ изъ службы въ легкочконцахъ.

Когда княгиня изволила кушать вторую чашку чаю, вбѣжалъ въ комнату сынъ почтмейстера, Сеня, свѣжій, здоровый, румяный мальчикъ, съ большими голубыми глазами.

— Ахъ, какой амурчикъ! сказала княгиня.

— Это, съ позволенія сказать, нашъ старшій сынъ, отвѣчалъ почтмейстеръ.

— Вы имѣете дѣтей? какъ это мило!... И княгиня вздохнула.

— Какъ же-съ! не оставилъ Богъ. Четыре сына и двѣ дочери... Жена! представь ей сіятельству...

Зашевелились отъ удовольствія желтые банты на головѣ почтмейстерши; она вышла и скоро явилась, насильно ведя обѣими руками двухъ мальчиковъ, которые сквозь слезы косились на гостью; за нею рябая дѣвка вела одного мальчика и несла груднаго ребенка; за дѣвкою кормилица несла еще одного ребенка. Вся процессія двинулась на княгиню; почтмейстеръ называлъ каждого ребенка уменьшительнымъ именемъ, пояснивъ, что послѣднія дочери—двойни.

Скоро дѣти расплакались и были вынесены вонъ. Остался одинъ Сеня. Онъ стоялъ возлѣ княгини; она тихо склонила его кудрявую головку къ себѣ на колѣни и, перебирая своими нѣжными пальчиками

шелковистые волосы ребенка, съ улыбкою смотрѣла въ его голубые глаза.

Говорятъ, будто брюнетамъ всегда нравятся блондинки, а блондинамъ—брюнетки, и основываютъ эту гипотезу на взаимномъ влеченіи противоположностей въ природѣ. Такъ ли, не такъ ли, а смуглой княгинѣ очень понравился блѣдный Сеня.

— У васъ хорошая должность? спросила княгиня.

— Какая хорошая, ваше сіятельство! Только съ копейки на копейку перебиваемся: городишко небольшой, всего двѣсти-пятидесятъ обывательскихъ дворовъ, двѣ церкви и три ярмарки, да и тѣ Богъ-знаетъ въ какую распутицу: ни ходить, ни ѣздить; евреи, по колѣно въ грязи, продаютъ пряники—смотрѣть прискорбно...

— Какъ же вы станете воспитывать свое семейство?

— Богъ милостивъ: благословилъ дѣтьми, дастъ и способы пристроить. Отдамъ въ уѣздное училище: у насъ смотритель чело-вѣкъ очень ученый. Агаемновъ Харитоновичъ. Линейкинъ... вотъ онъ идетъ по улицѣ, этакій съ усами, въ голубомъ сюртукѣ. Прикажете позвать?

— Оставьте его.

— Слушаю-съ, ваше сіятельство. Изъ училища опредѣлю въ уѣздный судъ, или канцелярію: будутъ служить—безъ хлѣба не останутся.

— Фи! и вашъ маленький Сеня станетъ марать свои ручки гадкими уѣздными чернилами?

— Это ничего: чернила легко и удобно отмываются...

— Нѣтъ, онъ достоинъ лучшей участи. У васъ много дѣтей, а у меня ни одного: отдайте мнѣ вашего сына: я его возьму съ собою; воспитаю, какъ своего сына. Пусть онъ подѣлаетъ старость будетъ вамъ подпоркою и утѣшеніемъ.

— Изволите шутить, ваше сіятельство...

— Нѣтъ, я не шучу: я очень понимаю чувство родителей, хоть Богъ не допустилъ меня испытать это чувство, и не стану играть имъ. Я говорю нешути.

Княгиня поцѣловала Сеню и заплакала. Добрая женщина!

Почтмейстеръ потолковалъ съ женой и согласился отдать Сеню на воспитаніе доброй княгинѣ. Тутъ вышла семейная сцена. Отецъ и мать плакали отъ удовольствія и называли княгиню „сіятельною благодѣтельницею“. Княгиня въ свою очередь плакала, называла почтмейстера и жену его великодушными родителями, которые для счастья дитяти жертвуютъ удовольствіемъ его видѣть возлѣ себя, и увѣряла, что отроду не плакала такими пріятными слеза-

ми. „Это не слезы“, говорила она: „это алмазы моего чувствительнаго сердца...“

— Брильянты, ваше сіятельство! воскликнулъ почтмейстеръ, утирая глаза пестрымъ бумажнымъ платкомъ.

Княгиня, разумѣется, заночевала у почтмейстера, и когда все въ домѣ уснуло—кто убаюканный свѣтлыми мечтами о будущемъ, кто матеріально угощенный радостнымъ почтмейстеромъ—одна женщина не спала въ домѣ: старушка, няня Сени, она, при слабомъ свѣтѣ ночника, стояла у изголовья своего спящаго любимца и старалась насмотрѣться на него. „Ты молодой еще, дитя мое ненаглядное“ шептала она, „а я стара, не увижу тебя больше, мой голубчикъ: вырастешь, дастъ Богъ, пріѣдешь большимъ баринкомъ, а меня ужъ давно засыплютъ землею... Хоть бы посмотрѣть еще разъ на тебя привезъ Господь!... выносила на своихъ рукахъ, а тутъ берутъ чужіе люди!.. Доведутъ ли они тебя до добра, мое кровиночкѣ?.. Хоть добрые, а все чужіе!... Провожая тебя на вѣчное разставанье, словно въ могилу ложусь... Спать себѣ! извѣстно: дитя, не знаетъ, что его завтра далеко увезутъ, надолго!.. Еще и улыбается, мое золото!“ И няня осторожно поцѣловала спящаго ребенка, и робко крестила его, и тихо плакала.

Да еще плакалъ на кухнѣ камердинеръ княгини оттого, что былъ очень пьянъ.

Наутро весь городъ съ изумленіемъ узналъ, что княгиня ночевала у почтмейстера; всѣ гороховцы пришли въ движеніе: засѣдатель по питейной части еще до восхода солнца раза три прошелъ мимо воротъ Ивана Яковлевича и тщетно дразнилъ собакъ, чтобъ вызвать кого-нибудь для разспроса. Жена градскаго головы была счастлива: она сразу поймала босую дѣвчонку, бѣжавшую на рынокъ за баранками, и разспрашивала ее минутъ десять, а послѣ сама рассказывала городничихѣ слышанное часа полтора. Но когда гороховцы узнали объ отѣздѣ съ княгинею почтмейстерскаго сына, то, забывъ всякое приличіе, осадили ворота Ивана Яковлевича, какъ греки Трою, и чуть карета ея сіятельства, сопровождаемая благословеніями и поклонами, вышла со двора, толпою хлынули въ домъ, поздравляли, обнимали хозяина и хозяйку и предрекали Сени или жезлъ фельдмаршала, или губернаторское мѣсто.

— Эхъ, господа! говорилъ Агаемновъ Харитоновичъ:—въ мѣстахъ ли дѣло! Оно, конечно, почетъ: но главное: образованъ-то какъ будетъ—вотъ главное! Не для того жить, чтобъ ѣсть, а для того ѣсть, чтобъ жить!—писали философы... Столичное образованіе не то, что наше. Тутъ и радъ бы,

да средствъ нѣтъ... Потолковать бы изъ физики вотъ такъ тебя и тянетъ, а онъ грамотѣ не смыслить—толкуй съ нимъ!... Эхъ, бѣда ученому!... Вы счастливы, сугубо счастливы, почтеннѣйшій Иванъ Яковлевичъ; теперь, на-радостяхъ, не худо бы и закусить.

— Ваша правда, сказали гости въ одинъ голосъ.

ГЛАВА III.

ПРОДОЛЖЕНІЕ И КОНЕЦЪ БЮГРАФИИ.

Чтобъ не измучилось дитя,
Всему училъ его шутя.

А. Пушкинъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, княгиня дѣлала визиты и недѣли двѣ не видала Сени; потомъ вспомнила, приказала его принести, распаловала и дней десять съ нимъ няньчилась, пока не получила отъ кухни въ подарокъ прекраснаго зеленого попугая съ краснымъ хвостомъ.

Новый пернатый любимецъ витѣснилъ изъ сердца княгини своего соперника, тоже двуногаго, но безъ крыльевъ—почтмейстерскаго сына—и Сеня отданъ былъ въ какой-то пансіонъ. Мѣсяца два спустя, княгиня навѣстила Сеню, нашла его очень худымъ и блѣднымъ, расплакалась, и объявила содержателю, г-ну Ютржицкому, что возьметъ мальчика изъ пансіона, если его будутъ изпурять подобнымъ образомъ. Ютржицкій былъ, что называется, тертый калачъ—когда-нибудь мы поговоримъ о немъ подробно—онъ униженно раскланялся передъ княгиней, сказалъ, что хотѣлъ сдѣлать изъ Сени математика; но теперь, понимая желаніе княгини, постарается приготовить его по извѣстному направленію; проводилъ ее безъ шапки до кареты, самъ отворилъ двери и просилъ пожаловать черезъ мѣсяцъ посмотрѣть на воспитанника.

И точно, въ самое короткое время Сеня опять сталъ такъ же румянъ и свѣжъ, какъ былъ въ благословенномъ Гороховѣ. Чудесный человекъ Ютржицкій! Онъ постигъ чувствительность княгини и перемѣнилъ совершенно съ Сенею методу воспитанія: когда другіе воспитанники пансіона сидѣли надъ уроками, Сеня гулялъ на вольномъ воздухѣ; всѣ его занятія ограничивались русскою грамотою и началами арифметики, и то *ad libitum*. Гимнастическія упражненія, возбуждая аппетитъ, еще болѣе способствовали укрѣпленію тѣла. Ютржицкій образовывалъ физическаго Сеню, и образо-

вывалъ съ знаніемъ дѣла. А нравственный Сеня? Ну, да какое до этого дѣло! Княгиня платила хорошо; княгиня не любила желтыхъ, испитыхъ рожекъ—и Ютржицкій дѣлалъ ей угодное.

Нечувствительно прошло нѣсколько лѣтъ; Сенѣ стало шестнадцать, и Сеня былъ очень хорошенькій мальчикъ, или юноша, коли угодно: его голова была кудрява и шелковиста, какъ у ребенка, но въ глазахъ свѣтилъ не дѣтскій огонь; его полное, румяное личико было свѣжо и нѣжно, какъ у дѣвушки, но на верхней губѣ, щекахъ и подбородкѣ, какъ на зрѣломъ персикѣ, пробивался густой пухъ; изъ высокой груди Сени вылетали не дѣтскіе звуки: онъ говорилъ звучнымъ контральто. Сеню взяли изъ пансіона.

Сеня былъ живъ, рѣзовъ; всѣ въ домѣ кланялись передъ Сенею; воля Сени была закономъ для всѣхъ; княгиня очень любила Сеню; ни однимъ попугаемъ такъ не занималась она, какъ своимъ воспитанникомъ.

— Ахъ, какой ты ребенокъ! говорила она часто, какъ взяла Сеню изъ пансіона:—развѣ такъ платятъ дѣти за любовь своимъ родителямъ? Ну, поди сюда, назови меня мамашею, обними меня.

Сеня, робко опустивъ глаза, обнималъ маменьку...

Добрая княгиня!

Излишняя доброта не ведетъ къ добру. Скоро Сеня сдѣлался дерзокъ, гордъ, грубъ съ окружающими его, даже и съ самою княгиней; выучилъ попугая браниться, читалъ Поль-де-Кока, расписывалъ соннымъ лакеямъ рожи, даже поилъ ликеромъ любимую москву княгини, и за все это добрая женщина драла за ухо своего воспитанника.

Однажды княгиня ласково сказала Сени:—Ты, мой другъ, принять въ университетъ; учись, Сеня; со временемъ ты долженъ быть подпорою старости твоихъ родителей; каждый день поутру ты будешь ѣздить на лекціи, а вечера можешь проводить попрежнему дома, въ обыкновенныхъ занятіяхъ.

И вотъ ежедневно гнѣдой рысакъ началъ возить Сеню въ университетъ и изъ университета.

На всѣхъ возможныхъ разгульяхъ явилось новое лицо, очень веселое.

Однажды Сеня возвратился домой ранше обыкновеннаго; или не было лекціи, или онъ сократилъ ее по какому-нибудь неизвѣстному мнѣ причинамъ. Сеня вбѣжалъ въ спальню княгини; тамъ была только одна горничная. Вы согласны, что горничныя бываютъ прехорошенькія? Горничная княгини, восемнадцатилѣтняя Маша, розовенькая, живая, веселая, съ вѣчною

— Машенька! просишь Сеню, убьгая из комнаты.

— Убьгая? — сказала Мама, отскочив от стула, и восторг начала снимать с лица. — Птичка как прекрасно вылетает из вольера и не хотела оставить прекрасной головки.

— Конечно, я тебе помогу, Мама?

— Нет, нет, оставьте!

— Какая дурачка! погоди, я сейчас отдам. И Семень Иванович медленно, буди восторг, начал отщипывать птичку.

— Куда же уехала мамаша в такую дурную погоду?

— Не знаю-съ: видно, имъ хорошая погода.

— Отчего?

— Такъ-съ, Аргонавтъ Макаровичъ такой замечательный...

— Какъ? Аргонавтъ Макаровичъ? вотъ это усатое чучело?

— Что вы, чучело! такой молодецъ! такой плечистый!.. Мама захохотала.

— Княгиня съ нимъ поѣхала? Да онъ, кажется, всего разъ былъ у нея, какъ привезъ изъ Вадая письмо отъ ея кузины.

— Слава Богу! вотъ ужъ мѣсяць, почти каждое утро ѣздить гулять вѣстѣ.

— Вотъ что!.. Семень Ивановичъ потихоньку засвисталъ.

— Да скоро ли вы кончите?

— Сейчасъ, сейчасъ, Машенька! Какая ты хорошенькая...

— Полноте пустяки-то болтать! Оставьте!

— Премиленькая!..

— Пустите! кто-то идетъ. Несносный!

— Вздорь!..

Семень Ивановичъ быстро схватилъ Машу за подбородокъ, приподнял ея голову и звонко поцаловалъ.

— Ахъ!.. пропичалъ за нимъ знакомый голосъ.

— Cet homme a des entrailles! прошепталъ бась. Убьгая, Сеня взглянулъ назадъ: княгиня стояла блѣдая, изволнованная. Ее держалъ подъ руку усатый человѣкъ въ венгеркѣ.

Вечеромъ того же дня дворецкій княгини, Маркъ Петровичъ, объявилъ Семену Ивановичу, чтобъ онъ къ завтраму оставилъ домъ княгини.—Вы, дескать, сказали ея сѣятельство, говорили дворецкій:—уже довольно образованы и можете сами себя искать хлѣбъ; а лѣта ваши такіа, что ей, какъ вдовѣ, непрестало васъ держать; да

и вамъ-то скучно жить здѣсь: вы человѣкъ молодой.

— Очень радъ! отвѣчалъ Семень Ивановичъ.

— Слушаю-съ. Княгиня приказала оставить при васъ всѣ ваши вещи и платье: такъ куда прикажете ихъ перевезти? Я приготовилъ уже подводу.

— Куда?.. куда вѣбуть!

— Смѣшно разсуждаете, Семень Ивановичъ!..

— Что?..

— Не извольте горячиться: я вамъ добра желаю и изъ жалости хочу, то-есть, войти въ ваше положеніе...

— Я сейчасъ пойду къ княгинѣ!.. и!..

— Ея сѣятельство приказали сказать, что для нихъ очень прискорбно разставаться съ вами, оттого она уѣхала въ театръ, и надѣется, возвратясь, съ вами здѣсь не встрѣтиться.

— О-го! какая чувствительность! и вѣрно уѣхала съ этимъ усатымъ вадайцемъ!..

— Не наше дѣло.

— Да, да! говорилъ Семень Ивановичъ самъ съ собою, ходя по комнатѣ:—ихъ воля, они sui juris! Да, проклятые Аргонавты!.. гдѣ нашли Колхиду! вотъ разгада мина! а еще профессоръ ломаетъ голову!.. И лучше, прахъ возьми! Бѣгу изъ этого дома! и слава Богу! ѣду!..

— Куда же вы поѣдете? Здѣсь городъ сточный; никто ничего даромъ не даетъ, и въ комнату даромъ не пустятъ. Много ли у васъ денегъ?

— А тебѣ какое дѣло?

— Вѣрно есть, когда спрашиваю, Семень Ивановичъ. А я знаю, что немного: дай Богъ какъ рублей десятокъ-другой наберется—вы человѣкъ небережливый. Правда моя? То-то же. Молчите? Вамъ надобно служить, Семень Ивановичъ. Хотите, я вамъ достану мѣсто? Не смѣйтесь; Семень Ивановичъ! Нашъ братъ простой человѣкъ подчасъ дѣлаетъ больше инаго знатнаго; поживете, увидите! Золотой стрѣлкѣ честь: она, дескать, время показываетъ, а ее-то толкаетъ желѣзная пружинка, только пружинки не видно... Хотите, завтра же васъ опредѣлимъ, а то вамъ негдѣ будетъ головы приклонить; вы же дитя барское, къ нуждѣ непривычное...

— Пожалуй! дѣлать нечего.

— Извольте; но вы съ своей стороны не откажите и мнѣ въ услугѣ. Когда вы сейчасъ говорили сами съ собою, я многого не понималъ: вы говорили хорошо, по ученому, извѣстно: ученые свѣтъ, мы люди темные. Вотъ я и подумалъ: у меня ро-

стеть сынишка Оедька и грамоту уже знает, не поучили ль бы вы его уму-разуму? Я за это ужъ вамъ доставлю мѣстечко. У меня есть хорошій пріятель, Иванъ Ивановичъ Баллада; онъ служитъ столоначальникомъ по счетной части; вотъ тутъ же недалеко отъ насъ въ казенномъ домѣ и квартируетъ; если вы согласны, мы сейчасъ же можемъ сходить къ нему поговорить о мѣстѣ.

Семень Ивановичъ молчалъ.

— Куда же прикажете перевезть ваши вещи? спросилъ хладнокровно дворецкій.

— Нѣтъ, пойдемъ, братецъ, лучше къ Балладѣ.

— И давно бы такъ!.. Да, вотъ я еще хотѣлъ вамъ сказать, Семень Ивановичъ. Изволите видѣть, было время, вы на меня покрикивали *ты*, и даже часто называли сѣдланною коровою... ну, Богъ съ вами, это было время, а теперь другое; тогда вы были ребенокъ, извѣстно—балованное дитя, для потѣхи ея сіятельства—а теперь вы, слава Богу, уже человѣкъ взрослый. Со стороны подумаютъ объ васъ худо, скажутъ, что вы и сѣдинъ не уважаете... Я же, слава Богу, человѣкъ пожилой; недавно купилъ домикъ на Петербургской Стронѣ у отставнаго камер-музыканта Фейфа, съ огородикомъ и кустомъ сирени—можетъ, вы замѣтили въ Двусторонней улицѣ? И надзиратель у меня бываетъ, и сама княгиня говоритъ со мною уважительно...

— Хорошо, хорошо, пойдемте, почтеннѣйшій Марко Петровичъ.

— Пойдемте, любезнѣйшій Семень Ивановичъ! Ваши вещи я прикажу перенести въ мою комнату: вы у меня переночуете; а когда пріѣдетъ княгиня изъ театра, я доложу, что вы съѣхали и очистили покой.

— Я знаю Балладу уже болѣе двадцати лѣтъ, говорилъ дворецкій Семену Ивановичу, идя по длинному корридору казеннаго дома:—тогда еще онъ пѣлъ альтомъ въ какомъ-то хорѣ, и съ тѣхъ поръ наша дружба не прекращается; я ему доставляю иногда игранныя ноты съ флигеля ея сіятельства... Веселый человѣкъ! а притомъ и дѣловой, учить пѣть двухъ дочекъ какого-то значительнаго человѣка—да, что хочеть, все дѣлаетъ—уважительный человѣкъ! Слышите ли?

Въ это время въ углу корридора раздалось: фа-соль! фа-соль! и послѣ октавою выше: фа-соль! фа-соль!..

— Это самъ Иванъ Ивановичъ пробуетъ свой голосъ. Вишь, какъ звенить!

При этомъ словѣ, Маркъ Петровичъ отворилъ дверь изъ корридора прямо въ маленькую комнату. Въ комнатѣ противъ двери сидѣлъ на диванѣ толстый человѣ-

чекъ, въ пестромъ жилетѣ и бѣломъ галстукѣ съ манжетами, держа на колѣняхъ маленькіе клавикорды аршина полтора длиною; за ухомъ у него торчало гусиное перо, на носу зеленые очки, въ правой рукѣ былъ карандашъ, въ лѣвой листъ бумаги. Иванъ Ивановичъ смотрѣлъ на бумагу, билъ карандашомъ по двумъ клавишамъ и вопилъ: *fa-sol!*

Иванъ Ивановичъ очень хорошо принялъ Семена Ивановича, общалъ завтра утромъ на урокъ у его превосходительства похлопотать о мѣстѣ, и просилъ навѣдаться завтра же часу во второмъ въ департаментѣ.

Ночью Семень Ивановичъ имѣлъ время поразмыслить, впервые оглянулся вокругъ себя, и увидѣлъ, что ему нельзя существовать безъ службы. Но сдержитъ ли поющій скворецъ Иванъ Ивановичъ свое слово? Сомнѣніе закралось въ душу Семена Ивановича: въ немъ родилась какая-то недовѣрчивость къ себѣ и къ своему покровителю; словомъ, онъ былъ въ положеніи человѣка, ищущаго мѣста. Вы счастливы, читатель, если не испытали этого положенія! Благословляйте судьбу свою и пожалѣйте о Семенѣ Ивановичѣ, который робко прочелъ надпись: *департаментъ такой-то* и медленно, нерѣшительно взялся за чисто выполированную ручку департаментской двери.

— Прощайте, Семень Ивановичъ; можетъ-быть, никогда не увидимся!..

Быстро оставилъ Семень Ивановичъ департаментскую ручку, будто она обожгла его, и оборотился: передъ нимъ на тротуарѣ стояла Маша.

— Машенька, что съ тобою?

— Отправляютъ по пересылкѣ въ Саратовскую губернію на фабрику... отвѣчала Маша, хотѣла улыбнуться--и заплакала.

— За что?

— Все черезъ васъ... вотъ видите...

Она не договорила, пошла, оглянулась на Семена Ивановича, еще разъ оглянулась при поворотѣ въ другую улицу, поклонилась ему—и исчезла.

Семень Ивановичъ стоялъ у двери; ему стало досадно и совѣстно и чего-то жалъ. Непріязненное предзнаменованіе! подумалъ онъ и вошелъ въ департаментъ. Вѣрно, онъ не зналъ русской поговорки: начало дурное—конецъ хорошій. Да и кто теперь вѣруетъ въ примѣты, кромѣ старушекъ-тетушекъ? Я имѣю удовольствіе лично знать человѣка, которому заяцъ перебѣжалъ дорогу у самой заставы, при вѣздѣ въ губернскій городъ. Согласитесь, примѣ-

та весьма неблагоприятная, особенно для будущего по тяжбному делу? Мой знакомый не оплошал: застрелил зайца, приказал зажарить, прибавил къ нему ящик шампанскаго и угостил судей этимъ *муриознымъ*, какъ онъ самъ выражался, зайцемъ. Черезъ недѣлю мой знакомецъ выигралъ дело! Вотъ вамъ и примѣты! По моему, всякая примѣта хороша, умѣй только распорядиться...

Хорошее дело—опытъ! Жаль, что надо покупать его цѣною сѣдыхъ волосъ...

Семена Ивановича приняли въ департаментъ очень хорошо и скоро опредѣлили помощникомъ къ г. Баллада. Баллада, не смотря на свое физическое свойство—*явочность*, обладалъ еще превосходнымъ французскимъ глаголомъ *savoir vivre*. На основаніи этого полезнаго глагола, онъ умолчалъ объ отношеніи Семена Ивановича къ княгинѣ, и распустилъ слухъ, будто она сама хлопочетъ о немъ. Баллада говорилъ по секрету много всякой всячины, которая была бы не очень пріятна ея сятельству, еслибъ дошла до нея. Между тѣмъ, это дало Семену Ивановичу вѣсь въ глазахъ мелкихъ чиновниковъ, это его ободрило: онъ началъ безсовѣстно лгать канцелярскимъ о высшемъ кругу, который былъ для нихъ *terra incognita*, и мало-по-малу, повторяя свои нелѣпые рассказы, дошелъ до того, что самъ, если не вполнѣ, то вполонину, вѣрилъ своимъ баснямъ. Впрочемъ, если вы служили, то сами скажите, какъ не вѣрить въ сильную, необыкновенную протекцію человека, шагнувшаго разомъ на штатное мѣсто? и какъ не вѣрить вѣсьмъ нелегическимъ рассказамъ человека, имѣющаго такую протекцію?...

Я имѣлъ честь въ первый разъ видѣть и слышать Семена Ивановича на музыкальномъ вечерѣ у Макара Ивановича—помните? у Гиббодѣаго моста въ каменномъ департаментѣ, въ казенной квартирѣ. И еще мы шли съ вами по лѣстницѣ, гдѣ жена экзекутора ставитъ на ступенькахъ къ лѣвой сторонѣ кадки и ведро...

ГЛАВА IV.

ЖИЗНЬ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА.

Вашъ я отникъ!—сказалъ рыбакамъ
я любезнымъ.
В. Бенедиктовъ.

Когда Сеню взяла княгиня, Иванъ Яковлевичу было подъ пятьдесятъ, а женѣ его подъ сорокъ. „Что такая паря“, гово-

рилъ мнѣ одинъ докторъ: „что дѣтей почти никогда не бываетъ; дело другое, будь мужу семьдесятъ или восемьдесятъ—были бы непременно“. И точно, больше дѣтей у Ивана Яковлевича не было. „Да и на что мнѣ дѣти?“ говаривалъ почтмейстеръ: „слава-Богу, одинъ сынъ въ столицѣ, будетъ министромъ, а при мнѣ еще пятеро, и такъ визгу довольно“.

Служилъ почтмейстеръ, подростали его дѣтки, и между тѣмъ регулярно два разъ въ годъ получалъ письма отъ дворянско-княгини, что Сеня живъ и здоровъ. Такъ прошло нѣсколько лѣтъ.

Однажды вечеромъ Иванъ Яковлевичъ пришелъ домой не въ духѣ и сказалъ женѣ по секрету, что въ Россіи ходитъ странная болѣзнь, какая-то холера: вѣсь письма изъ южныхъ городовъ и даже изъ Москвы исколоты.—Что-то съ нами будетъ?

— Будетъ воля Божія, сказала Аграфена Львовна.

— Это такъ, да мнѣ что-то страшно, самъ не знаю отчего.

— Станемъ молиться.

— Станемъ.

Супруги помолились, благословили дѣтей и легли спать.

Ночью Иванъ Яковлевичъ услышалъ тревогу въ домѣ: двое меньшихъ его дѣтей жестоко страдали, тревожно метались на подушкахъ: головы ихъ горѣли, ручки и ноги были холодны. Послали за докторомъ.

Пришелъ докторъ, осмотрѣлъ дѣтей и, отступая два шага, сказалъ: „Спасайтесь! Холера!“

Отъ ужаса никто не могъ сойти съ мѣста. Поутру весь городъ былъ опфлененъ: вездѣ дымилась курева. У Ивана Яковлевича лежало на столѣ двое мертвыхъ малютокъ. Крестьянъ, проходивъ народъ мимо дома почтмейстера, робко поглядывая на ворота, отмѣченные чернымъ крестомъ.— „Вотъ гнѣздо, гдѣ таятся наша смерть“ говорили другіе, указывая издали на красную крышу Ивана Яковлевича: „оттуда придетъ она къ намъ“. Къ вечеру бѣдный почтмейстеръ былъ круглымъ сиротомъ: а старшія его дѣти лежали мертвы. Жена едва дышала въ страшныхъ мучкахъ. Иванъ Яковлевичъ не плакалъ, только потиралъ рубкою лобъ и, безпрестанно переходя отъ окна къ другому, смотрѣлъ на небо. Черезъ нѣсколько дней, Аграфена Львовна, сверхъ всякаго ожиданія, начала выздоравливать. Отчаяніе почтмейстера превратилось въ тихую, безмолвную грусть. Онъ часто сидъ дома одинъ, заливался слезами.

Тогда еще мнѣніе о заразительности холеры не подлежало никакому сомнѣнію, и Иванъ Яковлевичъ крѣпко забралъ себя

лову, что самъ былъ причиною смер-
зонхъ дѣтей, перебирая въ рукахъ ис-
гнѣя письма. Мѣсто службы стало для
противно. Сверхъ того, нѣкоторыя
ненія по почтовой части, перемежа-
ныхъ денегъ и т. п., рѣшительно сби-
ло съ толку; онъ подалъ въ отставку—
двигленію всѣхъ гороховцевъ, привык-
, видѣть его лѣтъ тридцать въ почто-
конторѣ—и переселился въ родовое
іе жены своей на рѣчку Синеводъ.

Сильныя утраты быстро двинули до-
Ивана Яковлевича къ старости; онъ
одъ одряхлѣлъ и примѣтно потерялъ
ную живость характера. Въ то время
получилъ письмо отъ дворецкаго, что
ынъ, окончивъ курсъ наукъ, по мило-
княгини, опредѣленъ въ штатскую
бу. Старики отлужили молебень о
и благодарственной княгини, созвали
ѣдъ сосѣдей и тутъ же рѣшились вы-
сына, если можно, женить и утѣ-
ся на старости. Это сдѣлалось един-
ною мечтою Ивана Яковлевича. По-
переписка. Сеня писалъ отцу, что
его видѣть, но не имѣетъ денегъ.
и вещь важная на Синеводѣ; прого-
отъ Петербурга приходилось платить
ало: старикъ призадумался. Иванъ
евичъ продалъ цыганамъ своего лю-
о коня; Аграфена Львовна спустила
къ, какъ она выражалась, алмазный
ень въ видѣ пылающаго сердечка,
енный ей покойною бабушкою, сло-
капиталъ, сосчитали раза четыре:
ять прогоны, еще и лишніе рублей
ь. „Ну, это пусть полакомится доро-
вѣдъ ѣсть надобно что-нибудь“ ска-
Иванъ Яковлевичъ, самъ отвезъ на
деньги и, возвратясь домой, началъ
итывать дни: когда письмо придетъ
етербургъ, когда Сеня его получитъ,
соберется выѣхать и когда пріѣдетъ
зневодъ. Для этого Иванъ Яковлевичъ
вилъ особенную таблицу; ложась спать,
лй вечеръ зачеркивалъ одно число и
лъ остальные. — Семень Ивановичъ
илъ деньги исправно, но не торо-
ѣхаться: онъ сейчасъ издержалъ про-
на одну лошадь и рѣшился ждать
мая, чтобъ ѣхать невозбранно на
а отцу отвѣчалъ, что его какой-то
съ какимъ-то княземъ не пускаютъ
пе этого числа; что они оба его на-
ики, оба женятся въ первыхъ числахъ
и оба хотятъ имѣть его шаферомъ.
ждемъ“, говорилъ Иванъ Яковлевичъ:
ивъ начальства не должно спорить“.

ГЛАВА V.

СЕНЯ ѢДЕТЬ.

Гдѣ ящики нашъ, на попойку
Вставшій съ темнаго утра,
И загнать готовый тройку
Изъ полтины серебра?

Кн. Вяземскій.

— Господи, Боже мой! что за городъ!
всѣмъ завладѣли кулаки! житья нѣтъ отъ
нихъ. Ступишь за дверь—передъ тобою
кулакъ; какъ тѣнь, проклятые, не отста-
ютъ... Ай-да Москва! нечего сказать! Прав-
да, видъ съ Ивана-Великаго хорошъ, и
пушка въ Кремлѣ хороша, и колоколь хо-
рошъ, и калачи хороши... Не будь кула-
ковъ, далъ бы старухъ руку на мировую;
но эти несносные, эти мучители... Тутъ
Семень Ивановичъ выразительно ударилъ
себя въ грудь собственнымъ своимъ кула-
комъ и началъ быстрыми шагами ходить
по микроскопической комнаткѣ самага верх-
няго этажа гостиницы Шевалдышева, ко-
торую, подъ громкимъ названіемъ *покой-
наго нумера*, отдаютъ проѣзжающимъ въ
наемъ, по два рубля съ полтиною въ сутки.

У насъ много было писано о всѣхъ
возможныхъ кулакахъ вообще, и о русскихъ
въ особенности; смотрѣли на этотъ пред-
метъ съ разныхъ точекъ зрѣнія: кажется,
и довольно бы; но мода—великое дѣло: из-
виняюсь, а все-таки скажу о нихъ два
слова.

Всякому образованному человѣку из-
вѣстно, что кулакомъ называются сжатые
плотно къ ладони пять пальцевъ руки че-
ловѣческой; практическое примѣненіе ихъ
къ дѣйствительной жизни тоже болѣе или
менѣе не скрыто отъ публики: иные ути-
раютъ ими слезы, и т. п. Есть еще кула-
ки на мельничныхъ колесахъ; эти уже дѣ-
лаются не изъ пальцевъ человѣческихъ,
но изъ какого-нибудь крѣпкаго дерева:
клена, бука, или граба. Московскіе кулаки
рѣшительно не подходятъ ни подъ одно
изъ вышеприведенныхъ опредѣленій и са-
ми-по-себѣ составляютъ вещь довольно не-
пріязненную. Это, изволите видѣть, живые
люди, точно такіе же, какъ и мы съ вами,
мой добрый читатель, а названы „кулака-
ми“ такъ, безсознательно, хоть и довольно
удачно. Они составляютъ касту, живущую
на счетъ другихъ, безъ всякаго труда съ
своей стороны, какъ омела на растеніяхъ.
Какъ многіе полипы на животныхъ. Кулакъ
сидитъ цѣлый день у воротъ и смотритъ
на свѣтъ Божій—вотъ вся его работа; ме-
жду-тѣмъ, живетъ онъ по-своему хорошо.

слово не пройдет без корня... Позволите приступить?

— Сдѣлайте одолженіе.

Семень Ивановичъ засвистѣлъ воевильный куплетъ.

— Вы проезжающій, какъ я замѣчаю? спросилъ синій сюртукъ.

— Я ѣду въ свои деревни. Отчего жъ вы узнали, что я проезжающій?

— Человѣкъ наблюдательный сейчасъ это замѣтитъ: вы съ такимъ вниманіемъ разсматриваете нашъ городъ. Смѣю спросить, гдѣ остановились?

— Въ гостинницѣ Шевадышева—и очень недоволенъ: берутъ въ сутки пятнадцать рублей, кормятъ гадко... Съ нетерпѣніемъ жду минуты, когда будетъ готова моя карета—сейчасъ же усажу. У васъ очень скучно, а придется посидѣть день другой...

— Справедливо изволите говорить; впрочемъ, здѣсь есть много очень веселыхъ вещей. Вотъ противъ Кремля новый фонтанъ—тоже по части древностей... Я въ прежнее время, признаться, служилъ, просвѣщалъ юношество и все оставилъ единственно для древностей; живу здѣсь и, не утаю правды, много успѣлъ... Здѣсь есть университетъ: но профессоры, молодые люди, меня не понимаютъ... Позвольте спросить, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

— Я... графъ... Крузадо... къ вашимъ услугамъ.

— Вмѣняю себѣ въ особенное счастье. Синій сюртукъ привсталъ, приподнялъ картузъ и опять сѣлъ.

— Да-съ, ваше сіятельство; вѣрите ли, они даже не могутъ понять, что этотъ бульваръ африканскій...

— Я думалъ, Тверской?

— Тверской во всякое другое время; но теперь африканскій...

— Отчего же?

— Оттого, что Африка вовсе не Африка, но Априка—понимаете? Вѣроятно, ваше сіятельство, изволите знать по-латинѣ?

— Да, разумѣется; кто теперь не знаетъ по-латинѣ! Но все я васъ какъ-то понимаю темно.

— Вотъ видите: солнце теперь вверху, а бульваръ внизу, противъ него; слѣдовательно, онъ противолѣжащій солнцу, что называется по-латинѣ: *argicus*, а въ женскомъ *argica*, отъ чего и Африка получила названіе, то-есть, страна *argica*, противолѣжащая солнцу. Впослѣдствіи *p* измѣнилось въ *f* и вышло: Африка; слѣдовательно, бульваръ Тверской въ полдень дѣлается африканскимъ, или априканскимъ, точнѣе сказать... Что? это васъ поразило?

— Сильно поразило!

— И вѣрите ли, господа ученые этого не понимаютъ; живутъ въ Москвѣ и знать не хотятъ, что Москва произошла отъ моста, что здѣсь былъ единственный мостъ въ цѣломъ округѣ, и всѣ говорили: „поѣдемъ въ деревню у моста“, то-есть, которая стоитъ у моста; а впослѣдствіе, отъ сораго выговора: моста, моста, моста, вышло Москва...

Синій сюртукъ вдругъ умолкъ и, улыбаясь, посмотрѣлъ въ глаза Семену Ивановичу.

— Да, ваше сіятельство! здѣсь очень пріятно для *антикофила*. Вотъ одинъ почтенный мужъ, докторъ медицины, статскій совѣтникъ Нетроньмена, безпрестанно пишетъ ко мнѣ и уговариваетъ служить вмѣстѣ, а я и служить не хочу, пока не кончу своихъ корней...

Синій сюртукъ вынулъ изъ кармана довольно засаленное письмо и поднесъ его къ носу Семена Ивановича. Письмо начиналось: „Любезный другъ, Меодій Исааковичъ...“

— Вы Меодій Исааковичъ? спросилъ Семень Ивановичъ.

— Надворный совѣтникъ и кавалеръ Меодій Исааковичъ Аароновъ. Признаюсь, мое имя, напоминающее Меодія и Кирилла, первыхъ писателей на языкѣ словенскомъ, часто мнѣ будто шепчетъ: „трудись на почвѣ корнесловія словенской рѣчи, во славу своего патрона...“

— Прекрасный слогъ, сказалъ Семень Ивановичъ, возвращая письмо:—очень похожъ на слогъ баронессы Фруктенбау.

— Не имѣю чести знать.

— Это кузина барона Кикса, моего первѣйшаго друга.

— Я не смѣлъ васъ беспокоить, но, признаюсь, слышалъ мимоходомъ, какъ вы упоминали незабвенную для меня фамилію Киксъ. Я имѣлъ счастье пользоваться въ молодости благосклонностью многихъ вельможъ и, въ томъ числѣ, барона Кикса: всегда, бывало, по вечерамъ ему читалъ газеты; баронесса, бывало, сама мнѣ поднесетъ чашку чаю и скажетъ какой-нибудь привѣтъ... Что, здоровъ ли Левъ Адамовичъ?

— Мой Киксъ—Карлъ Карловичъ.

— А! долженъ быть дальній родственникъ или однофамилецъ. Потерялъ я изъ виду Льва Адамовича! Все работаю и думаю: окончу свой трудъ, перепису на бѣло семьдесятъ тысячъ корней и посвящу ему. Но теперь я благодаренъ случаю, что имѣю честь бесѣдовать съ вашимъ сіятель-

ствомъ и надѣюсь, современемъ ваше просвѣщенное вниманіе... Куда же вы уходите, графъ?

— Тороплюсь узнать, скоро ли будетъ готовъ мой экипажъ. Скучно у васъ въ Москвѣ!

— По крайней мѣрѣ позвольте, ваше сіятельство, мнѣ имѣть честь засвидѣтельствовать вамъ мое глубочайшее почтеніе у васъ на квартирѣ.

— Къ чему это, почтеннѣйшій?

— Нѣтъ, извините: я знаю свои обязанности въ отношеніи къ ученымъ вельможамъ, и если вы позволите...

— Хорошо, хорошо: приходите въ гостиницу въ восемь часовъ вечера пить чай...

„Несносные чудаки эти ученые!“ думалъ Семень Ивановичъ: „однако и я ему пустилъ пыль: пускай, голубчикъ, явится да пощетъ графа!.. Убираться поскорѣе изъ Москвы... Охъ, кулаки, кулаки! дорого, а дѣлать нечего!..“

Часа черезъ три выѣхала изъ Москвы примѣчательная телѣга: тройка тощихъ, разбитыхъ лошадей едва тащила ее, переваливаясь съ ноги на ногу; ямщикъ, лукаво улыбаясь, разводилъ по воздуху кнутомъ, приговаривая: „Шалишь, друзья! Охъ вы, соколки, выноси! Съ горки на горку! дасть баринъ на водку!.. Э-но-о-о!“ Въ телѣгѣ, на чемоданѣ, какъ на пьедесталѣ, сидѣлъ человѣкъ въ модномъ узенькомъ скюртукѣ съ короткими рукавами: распустивъ надъ головою дамскій зонтикъ, онъ подпрыгивалъ при каждомъ толчкѣ телѣги и былъ очень похожъ на резинного китайца. Мальчишки смѣялись, показывая на него пальцами, и кричали: „у! у!“, а онъ ворчалъ: „Пари держу, что это дѣти гадкихъ кулаковъ! Что за городъ Москва! Слава Богу, что изъ нея вырвался: теперь все пойдетъ ладно!..“

ГЛАВА VI.

ВСЕ ЕЩЕ ѢДЕТЪ СЕНЯ.

Обмануть я—увы! одинъ чудакъ вскричалъ. Увидѣвши сіе прохожій отвѣчалъ: Чрезъ злато ты себѣ не учинилъ добра! Сей камень собери здѣсь вмѣсто серебра.

Новѣйшая дѣтская азбука.

Обращаюсь къ вамъ, господа-путешественники, имѣвшіе удовольствіе ѣздить по своей надобности за Москву на городъ Подольскъ: вы не станете спорить, что Подольскъ—городъ самый пріятный: я держу

пари за девяносто-девять изъ ста, что вы провели въ этомъ очаровательномъ городѣ гораздо болѣе минутъ, часовъ и, можетъ-быть, дней, нежели располагали... Подольскъ очень похожъ на волшебные замки въ народныхъ сказкахъ: ворота для входящихъ широко распахнуты, а для выходящихъ крѣпко заперты; разница только, что въ волшебныхъ замкахъ заключенная жертва предается терзаніямъ всѣхъ возможныхъ чудовищъ, а въ Подольскѣ она занимается вѣжливымъ разговоромъ съ станціоннымъ смотрителемъ о разныхъ поучительныхъ предметахъ, слушаетъ веселыя, удалыя народные поговорки и остроты ямщиковъ, пьетъ чай изъ трактира надъ своею головою, и можетъ, если молода, кушать бимитикъ—кушанье въ родѣ жаркаго, приготовляемое мѣстными жителями изъ какого-то неизвѣстнаго мяса съ примѣсью лука и остиндскихъ приностей—пища здоровая и пріятная, но требующая крѣпкаго устройства челюстей и прочныхъ зубовъ.

Еще было далеко до вечера, какъ Семень Ивановичъ торжественно вошелъ на станцію въ Подольскѣ, привѣтствуемый низкими поклонами служителей трактира, находящагося во второмъ этажѣ, наверху надъ станціей. Но вотъ уже зашло солнце: ужъ, говоря высокимъ слогомъ, ночь покривъ міръ черною мантиею и на стогнахъ бою спасаемаго града Подольска царствовала тишина, а Семень Ивановичъ, очарованный, закодированный, все еще сидѣлъ на станціи въ Подольскѣ: онъ стоялъ у раствореннаго окна: въ комнатѣ едва мерцалъ нагорѣвшій огарокъ сальной свѣчки: наверху гремѣли бильярдные шары и рѣзкій голосъ маркера распѣвалъ фистулою: „никого и ничего“, „очень мало и слишкомъ обидно!“ и вслѣдъ за этимъ слышался басистый смѣхъ и восклицаніе „какая bestia!“. Передъ окномъ по улицѣ ходили подъ-руку три или четыре дѣвушки: удалой ямщикъ, идя подѣ нихъ, брѣвчалъ что-то на балабайкѣ, подбивая въ полголоса какую-то импровизацію. Небо было мрачно: иногда вѣтеръ повѣвалъ въ окно, иногда большая станціонная собака, проходя мимо окна, сердито косилась на Семена Ивановича и ворчала, поджимая хвостъ.

— А что, любезнѣйшій, когда будутъ? спросилъ самымъ ласковымъ тономъ Семень Ивановичъ.

— Завтра въ эту пору кони будутъ! отвѣчалъ ямщикъ и, оборотаясь къ сосѣдкѣ, заплѣлъ громче прежняго:

Что на барынѣ чепецъ—
Любить барыню купецъ.

Что на барынь обручикъ—
Любить барыню поручикъ, и проч.

Семень Ивановичъ молча тяжело вздохнулъ.

Разобравъ хорошенько поступки Семени Ивановича, мы увидимъ, что Подольскъ былъ для него непріятнѣе кулаковъ: на кулаковъ онъ изливался цѣлымъ потокомъ рукоприкладствъ, даже хотѣлъ-было согрѣшить телеграммою, а здѣсь уже несчастіе сильно подавило его—онъ былъ способенъ только задыхаться.

Разумѣется, сидѣть на станціи, когда хочется ѣхать—положеніе непріятное; но унывать въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ: это, говорятъ доктора, вредно для здоровья и можетъ подать поводъ къ улыбка какому-нибудь писарю; главное же, нисколько не поможетъ горю. Въ подобномъ случаѣ лучшее правило быть веселу, вообразить: какъ смѣшно сидѣть, когда сидѣть не слѣдуетъ, строить любезности женѣ или дочерямъ зрителя, постараться поссорить двухъ ямщиковъ или двухъ пѣтуховъ, дразнить собаку и острить надъ лубочными картинками, развѣшанными по стѣнамъ; если это не поможетъ—побольше ѣсть и спать.

Одинъ мой пріятель на подобный случай всегда возилъ въ карманѣ флейту. На отвѣтъ „нѣтъ лошадей“, онъ хладнокровно приказывалъ вносить свои вещи въ коммату, садился на нихъ, складывалъ флейту и начиналъ играть. Его игра отъ обыкновенныхъ звуковъ переходила crescendo въ самые адскіе тоны; бѣдная флейта дрожала и вопила совершенно не флейтнымъ голосомъ; ноты перебивались, путались и, съ визгомъ вырываясь изъ подъ пальцевъ артиста, вылетали въ окна и двери. И какъ бы вы думали? эта операція всегда удавалась: не было примѣра, чтобъ самый упорный зритель выдержалъ ее болѣе получаса, и обыкновенно минутъ черезъ десять, даже меньше, являлся писарь, съ поклономъ докладывавъ, что лошади готовы и просилъ поторопиться отъѣздомъ: вамъ, дескать, на свой страхъ даемъ курьерскихъ.

Семень Ивановичъ въ первый разъ ѣхалъ на почтовыхъ, не имѣлъ съ собою флейты и былъ въ отчаяніи. Долго смотрѣлъ онъ на мрачныя тучи; а тучи, какъ вамъ извѣстно, рождаютъ самыя фантастическія идеи, чему прекрасный примѣръ стихотвореніе „Le Soleil Couchant“ въ „Осеннихъ Листьяхъ“ Виктора Гюго. Вотъ причина, почему Семень Ивановичъ, глядя на тучи, какъ новый Громобой, подумалъ о нечистой силѣ, и не на шутку вздрогнулъ, когда, вслѣдъ за грѣшною мыслью, явилось передъ нимъ существо, будто изъ земли

выросло... Не пугайтесь; существо это не съ хвостомъ, не съ рогами, самаго обыкновеннаго вида, въ форменномъ скортукѣ, въ фуражкѣ съ кантиками и съ кожаной сумкою на груди. Семень Ивановичъ очень обрадовался, когда оно, вѣжливо поклонясь, сказало человѣческимъ голосомъ:

— Желаю добраго вечера! Вѣрно проѣзжающій?

— Точно-такъ, отвѣчалъ Семень Ивановичъ и глубоко вздохнулъ.

— Гм! вѣроятно, лошадей дожидаете?

— Да-съ. Эти варвары, эти вандалы, не имѣющіе никакого состраданія!.. И Семень Ивановичъ разразился цѣлымъ потокомъ разныхъ эпитетовъ, радуясь, что нашелъ слушателя.

— Напрасно слова изволите тратить... не имѣю чести знать вашего имени...

— Семень Ивановичъ Лобковъ. Служилъ въ... и проч. Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

— Тринадцатаго класса Брусникинъ, къ вашимъ услугамъ. Вотъ я самъ жду болѣе двухъ часовъ, а ѣду курьеромъ по казенной подорожной.

— Неужели нѣтъ никакого средства?

— Миѣ-то черезъ часъ обѣщаютъ, а вы подождете; ночью идетъ тяжелая почта, да къ завтраму заготовлено двѣнадцать лошадей для княгини Плерець—вотъ и расчетъ; я самъ смотрѣлъ въ книгу.

Брусникинъ подошелъ къ столу, снялъ со свѣчки пальцами, сѣлъ и, вынувъ изъ сумки свѣжій огурецъ, началъ его чистить перочиннымъ ножичкомъ, потомъ разрѣзалъ въ длину и посолилъ обѣ половины, доставъ изъ кармана мелкую соль, завернутую въ бумажку.

Семень Ивановичъ, глядя въ окно, заплѣлъ извѣстную арію изъ Роберта:

Въ законъ, въ законъ, въ законъ себѣ
поставимъ

Для ра, для ра...

— Не угодно ли? сказалъ Брусникинъ, подавая Семену Ивановичу половину огурца.

— Благодарю!

...для радости пожить;

Другимъ, другимъ, другимъ мы предоставимъ

Безъ го...

— Развѣ вы не любите?

— Не очень.

...ра вѣкъ, безъ горя вѣкъ тужить.

— Какъ угодно: я и самъ съѣмъ, ска-

зять Брусникинъ, съѣлъ огурецъ, досталъ изъ сумки колоду старыхъ картъ и началъ раскладывать граппасыяся.

Семенъ Ивановичъ просвистѣлъ ригурнель къ своей ифени и, подойдя къ столу, сталъ помогать Брусникину.

— Не хотите ли сыграть отъ скуки?

Сыграть?

Да; сидѣть скучно; пожалуй, я проиграю рублей двадцать пять.

Сѣли играть. Семенъ Ивановичъ проигралъ двадцать пять рублей.

— Не хотите ли еще? авось вамъ повезетъ.

Нѣтъ, покорнѣйше благодарю,

Напрасно! вы можете отыграться.

Эта правда, я согласенъ, но... Семенъ Ивановичъ въ раздумьи прошелся по комнатѣ: но будемъ говорить откровенно, почтеннѣйшій. Въ Москвѣ я съѣхался съ моимъ закадычнымъ пріятелемъ, графомъ Мелондъ. Вы его не знаете?

— Не имѣю чести.

Жаль: онъ служитъ въ Петербургѣ совѣтникомъ при итальянскомъ посольствѣ. Настоящій итальянецъ: такой веселый, все ѣсть макароны, а теперь пріѣхалъ въ Москву искать нефть. Вотъ мы съ нимъ периодически кутнули... Ваша Москва любитъ деньги...

Истинно!

Ну, это еще не бѣда. Вдругъ, въ самый день отъѣзда, мой камердинеръ возмнилъ и заболѣлъ: ужаснѣйшая горячка съ пятнами! какъ дубовые листья, пошли пятна по всему человѣку! Что мнѣ дѣлать? Жаль человѣка, а домой хочется, обнять поскорѣе родителей. Вотъ я оставилъ себѣ проигрышъ на перекладную, остальные деньги отдать человѣку на лекарство и разныя необходимыя, бросилъ въ Москвѣ акипажъ и скачу домой на простой телегѣ.

Согласитесь, что мнѣ рисковать въ игрѣ опасно. Другое дѣло, еслибы вы стали играть на честномъ, благородномъ словѣ...

— Истинно! Гм! А куда вы изволите отпуживаться!

Въ Царскую губернію, въ Гороховскій уѣздъ, въ собственныя свои деревни.

Тутъ еще можно какъ-нибудь посоветоваться: я и самъ ѣду въ ту же губернію.

Неужели? въ Гороховѣ?

— Не въ Гороховѣ, а въ городѣ Зелено-Бобы, верстъ двѣсти за Гороховымъ, по дорогѣ черезъ вашъ городъ.

Прекрасно! такъ поѣдемте вмѣстѣ.

— Я самъ объ этомъ думалъ, и очень радъ, что теперь вамъ можно еще поиграть отъ скуки.

— Какъ?

— Да вотъ какъ: у меня казенная подорожная, остановокъ не будетъ; далъ бы Господь выбраться изъ Подольска, я васъ доставлю въ Гороховѣ въ четверо сутокъ; вы отложите себѣ кормовыхъ на четыре дня, выдайте мнѣ прогоны до Горохова на одну лошадь, а на остальные можете рискнуть въ игрѣ.

— Превосходно!

Семенъ Ивановичъ отдалъ Брусникину прогоны—не помню сколько рублей и тридцать семь копѣекъ, а на остальные сѣлъ играть. Ровно въ полночь у Семена Ивановича не осталось ни гроша въ карманѣ, и онъ выѣхалъ изъ Подольска по тракту на Серпуховѣ, вмѣстѣ съ Брусникинымъ, въ очень печальномъ расположении духа.

Въ Серпуховѣ наши путешественники съѣхались на станціи съ молодымъ прапорщикомъ ***го полка, ѣдущимъ въ отпускъ. Прапорщикъ былъ веселъ, махалъ, курилъ трубку, самъ пилъ мадеру и подчивалъ ихъ мадерою. Прапорщикъ вышелъ въ другую комнату и началъ тихо разговаривать съ Брусникинымъ, а Семенъ Ивановичъ, прислонясь къ спинкѣ дивана, уснулъ самымъ пріятнымъ сномъ: трясина дорога и мадера взяли свое.

Проснувшись, Семенъ Ивановичъ съ ужасомъ замѣтилъ, что солнце клонилось уже къ вечеру, въ комнатѣ было пусто, ни Брусникина, ни прапорщика нигдѣ не было. Гдѣ же лошади? гдѣ мои товарищи? спросилъ Семенъ Ивановичъ у воеводы слуги.

Слуга молча положилъ передъ нимъ аспергнацію, нѣсколько затертыхъ серебряныхъ монетъ, сорокъ копѣекъ мѣди и записку слѣдующаго содержанія:

„Милостивый государь,

„Семенъ Ивановичъ!

„Очень сожалѣю, что обстоятельства не позволяютъ мнѣ ѣхать съ вами. Прапорщикъ Сверѣлкинъ ѣдетъ прямо въ Зелено-Бобы, слѣдовательно, онъ мнѣ получитъ выполненнѣйшій, ибо платитъ половину прогоновъ до самаго мѣста моего назначенія; а ѣдучи съ вами, я отъ Горохова долженъ ѣхать самъ-однѣмъ двѣсти верстъ, что для меня, бываго человѣка, составляетъ большой расходъ, и можно выразиться, даже убытокъ: оттого я ѣду съ господиномъ Сверѣлкинымъ прямо въ Зелено-Бобы, а вамъ возвращаю ваши прогоны за одну лошадь

по расчету отъ Серпухова, и желаю вамъ ѣхать благополучно. Вашъ всенижайшій слуга

„А. Брусникинъ 13-го класса.“

Изъ Серпухова повезъ Семена Ивановича очень дешево на сдаточныхъ ямщикъ Трошка; провезя десять верстъ, Трошка продалъ его за полцѣны Стѣпкѣ; на десятой верстѣ Стѣпка продалъ Филькѣ; Филька за селомъ повстрѣчалъ кума Матвѣя и перемѣнился съ нимъ сѣдоками; кумъ Матвѣй, не то на седьмой, не то на восьмой верстѣ продалъ Семенъ Ивановича за двугривенный какому-то Ивану Безталанному, а Иванъ Безталанный, доѣхавъ до ближняго селенія, выпрягъ лошадей и пошелъ въ кабакъ, говоря Семену Ивановичу, что дальше съ нимъ не поѣдетъ, что за двугривенный онъ, только изъ уваженія и свойства куму Матвѣю, везъ такъ далеко, почти двѣ версты, а въ заключеніе попросилъ на водочку. Везли, торговались, спорили и перепрягали цѣлыя сутки—и проѣхали пятьдесятъ верстъ!

Семенъ Ивановичъ изъ опыта и изъ пустоты кошелька убѣдился, что скорая ѣзда ему не далась: сосчиталъ свои деньги, на всѣ договорилъ одноконную подводу, и на долгихъ во весь шагъ пустился до города Пышнаго. Отъ Пышнаго оставалось до Горохова всего сто верстъ; но Семенъ Ивановичъ едва могъ найти себѣ извозчика, съ уговоромъ заплатить на мѣстѣ безъ малѣйшаго задатка впередъ. Извозчикъ былъ жидъ, вымѣнявшій, какъ онъ говорилъ, сегодня утромъ у помѣщика на старый бобровый воротникъ лошадь съ экипажемъ. Лошадь была чубарый двухлѣтокъ; экипажъ состоялъ изъ трехъ досокъ, сколоченныхъ въ видѣ корыта, и двигался на четырехъ колесахъ съ дѣтской повозки. На этомъ легкомъ экипажѣ Гершко намѣревался дебютировать первый разъ въ качествѣ извозчика.

Весеннее солнце жгло землю, Гершко суетился на передкѣ, помахивая пеньковымъ кнуромъ и приговаривая: „гешвинде! гешвинде, шварцъ юръ!“ Двухлѣтокъ плелся иноходью; Семенъ Ивановичъ сидѣлъ въ дощатой повозкѣ, распуская надъ головою маленькій зонтикъ; повозка дребезжала, прищелкивала какою-то снастью и ѣхала по проселочной дорогѣ прямо въ Гороховъ.

Не успѣлъ скрыться изъ виду городъ Пышный, какъ Гершко остановилъ двухлѣтка, быстро соскочилъ съ передка и началъ развязывать хомутъ.

— Что ты дѣлаешь? спросилъ Семенъ Ивановичъ.

— Ничего, ваше высокоблагородіе; распрягаю лошадь: пусть немного попасется.

— Ты съ ума сошелъ!

— Нѣтъ, не сошелъ, ваше высокоблагородіе: лошадь молодая, горячая, надорвется; а тутъ будутъ пески, оборони Господи какіе пески! страшно и подумать: цѣлая верста песку, да такой песокъ, такъ и сыплется! Надо покормить лошадь: отдохнетъ, такъ въ одну упряжку переѣдемъ весь песокъ. И вы отдохнете, пока лошадь попасется.

Дѣлать нечего, Семенъ Ивановичъ легъ въ тѣни повозки, двухлѣтокъ щипалъ листочки зеленого подорожника, Гершко ѣлъ корку хлѣба и луковицу, приговаривая: „Ой, Боже ты мой, что за лукъ пресладкій уродился въ это лѣто! Хоть Радзивилду кушать!“

Черезъ полчаса Гершко запрягъ чубараго, а черезъ часъ опять сталъ *попасать*. На такомъ положеніи шла ѣзда до самаго вечера; но чуть стало садиться солнце, Гершко выпрягъ двухлѣтка, заботливо стреножилъ его и пустил пасться, съ особеннымъ стараніемъ установилъ повозку въ сторонѣ отъ дороги, торжественно вымылъ руки и началъ навязывать себѣ на лобъ маленькій четырехугольный сундучекъ.

— Это что за штуки? спросилъ изумленный Семенъ Ивановичъ.

— Надо молиться, наступастъ шабашъ.

— Когда?

— А вотъ сядетъ солнце и настанетъ великій день, день субботній, день Господа.

— Ну, молись поскорѣе, да поѣдемъ; теперь не такъ жарко.

— Ой вей! какъ это можно? какъ говорить такое неподобное!.. Кто ѣздитъ въ шабашъ?

— Какъ! и завтра нельзя ѣхать?

— Извѣстно нельзя! зайдетъ солнце, поблагодаримъ Бога и поѣдемъ.

— Ждать цѣлыя сутки!...

— Зачѣмъ же вы ѣхали? Будто вы не знали, что еврей не смѣетъ ничего дѣлать въ день субботній!... Какъ это можно!

Семенъ Ивановичъ началъ ругаться самымъ ужаснымъ образомъ. Между-тѣмъ, солнце сѣло, миллионы голосовъ зашумѣли, запѣли, зажжужжали въ обширной степи прощальную ему пѣсню. Гершко надѣлъ тфелемъ, бѣлую мантию, обшитую синей каймой и, какъ древній жрецъ, поднявъ руки къ первой звѣздочкѣ, робко мерцавшей на свѣтломъ еще небѣ, запѣлъ однообразнымъ, унылымъ голосомъ молитву:

Цуръ мишелн охалну боруха іемунай.
Совайну негисарну кидваръ Аденой!...

Картина была самая патриархальная: кругомъ степь и небо; на степи пасется лошадь, стоитъ убогая повозка, и въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея бѣдный труженникъ, рабъ копеечнаго разсчета, Гершко, въ позитической одеждѣ своихъ предковъ, устремивъ глаза и руки къ небу, поетъ вдохновенныя пѣсни своей родины, пѣсни, которыя оглашали нѣкогда станъ іудеевскитальцевъ въ пустыняхъ Аравіи...

Должно быть, эта картина тронула Семена Ивановича: онъ смотрѣлъ на звѣзды и свистѣлъ галопадъ.

Но оставимъ на время Семена Ивановича: вы сами можете представить, какъ весело сидѣть въ степи цѣлый день, ничего не дѣлая и смотрѣть на еврея, который безпрестанно молится. Пусть они-себѣ скучаютъ, а мы перейдемъ къ другому предмету.

ГЛАВА VII.

О рѣчкѣ Синеводѣ и Иванѣ Яковлевичѣ.

Не можешь ты чиновъ давать,
Не можешь зернами питать
Семейство птичекъ благодарныхъ.
Карамзинъ.

Въ Далекон, губерніи, въ Гороховскомъ уѣздѣ, верстахъ въ десяти отъ славнаго города Горохова, течетъ рѣчка Синеводъ. По какому-то непонятному случаю, этой рѣчки нѣтъ ни на одной географической картѣ, хотя въ Синеводѣ есть вода, которая издали кажется синею, а вблизи—зеленоватою, какъ вода славнаго Рейна, и въ этой водѣ водятся жирные, золотистые караси и очень вкусные пискари. Берега Синевода ежегодно зимою покрываются снѣгомъ, а лѣтомъ зеленью: правый берегъ немного возвышенъ, а лѣвый разстилается широкимъ лугомъ, весьма годнымъ для паствы всякаго скота. Правый берегъ усаженъ садами и небольшими хуторами, отчего весь Синеводъ похожъ на степной архипелагъ. Вообще, Синеводъ находится въ такомъ точно отношеніи къ Горохову, какъ Сѣверо-Американскіе штаты къ Великобританіи: отставные чиновники Горохова несконно покупали по нѣскольку десятинъ земли на берегахъ Синевода, строили дома, хутора, садили сады и поселялись, отчего вскорѣ составилось общество, ни мало неуступавшее ни въ образованіи, ни въ современныхъ идеяхъ го-

роховцамъ, и часто молодые служители Ѳемиды, вступая на скользкое поприще службы, въ трудныхъ казусахъ и юридическихъ недоумѣніяхъ прѣзжали на Синеводъ, гдѣ, подѣ тѣнію липъ и вязовъ, слушали наставленія и пользовались мудрымъ бесѣдою опытныхъ посѣдѣлыхъ юристовъ. Всѣ Синеводы были связаны неразрывными узами родства, сватовства и бужовства; въ ихъ союзѣ была даже одна статская совѣтница, отличная мастерица замривать кашу, которую (т. есть, совѣтницу) вся округа титуловала ея превосходительствомъ. Статская совѣтница снисходительно принимала это титуло, ни мало не обижалась и даже гордилась имъ; Синеводы, съ своей стороны, гордились, имѣя на родной рѣчкѣ генеральшу. Обитатели Синевода паходились въ безпрестанныхъ сношеніяхъ съ гороховцами; безчисленныя дороги и тропинки вели изъ Синевода къ Горохову; по нимъ Синеводцы отправляли въ Гороховъ сырыя произведенія своей земли: свѣжую рыбу, молоко, яйца, куръ, разный хлѣбъ, и взамѣнъ вывозили изъ Горохова предметы роскоши: курительный табакъ, судацкое вино, мыло, московскіе ситцы, гвозди, выдѣланныя кожи, маленькія зеркала, перецъ, желѣзный купоросъ, и тому подобное.

Весною Синеводъ разливался и затоплялъ лѣвый берегъ широко, шаговъ на двѣсти или болѣе; но эта свирѣпость Синевода была болѣе благотѣльна, нежели опасна: добрая рѣчка, какъ Нилъ въ Египтѣ, оплодотворяла своимъ разливомъ лѣвый берегъ, дня въ два приходила въ прежнее положеніе, и гдѣ недавно бушевали волны Синевода, тамъ ярко раскидывалась зеленая растительность и расцвѣтали букеты желтыхъ болотныхъ цвѣтовъ. Только сообщеніе праваго берега съ лѣвымъ въ это время бывало немного затруднительно: всѣ плотины и гати размокали и превращались въ толщу грязи, весьма неудобную для переѣзда; но, благодаря благотѣльному вліянію солнечныхъ лучей, и это неудобство современемъ исчезало: гати, малопо-малу, высыхали, крѣпли, и къ Петрову-дню почти по всему Синеводу учреждался прочный и безопасный переѣздъ.

Между безчисленными хуторами Синевода прошу замѣтить одинъ, состоящій изъ четырехъ крестьянскихъ хатъ и бѣленкаго господскаго дома: отъ дома до самого Синевода тянется густой вишневый садъ, оканчивающійся у рѣки высокою осиновой аллеєю. Этотъ хуторъ съ хатами, домомъ и садомъ принадлежитъ отставному почтмейстеру Ивану Яковлевичу Лобко: въ четырехъ хатахъ живутъ 13 душъ его кре-

стьянъ. Домъ у Ивана Яковлевича чистенькій, съ крыльцомъ на дворѣ и двумя колоннами; на домѣ вѣчно сидятъ голуби; по двору бѣгаютъ кролики, цесарскія и простыя куры, и ходитъ павлинъ; на-лѣво отъ дома выстроена кухня, направо амбаръ и конюшня, возлѣ нихъ прикованы двѣ цѣпныя собаки, а противъ самаго дома, vis-à-vis, стоитъ на четырехъ столбикахъ маленькій домикъ, какъ игрушка, съ однимъ круглымъ окномъ въ фасадѣ, вершковъ десяти въ діаметрѣ; по временамъ изъ этого окна выглядываетъ и сверкаетъ маленькими глазами чудовищно-жирная кабанья голова. Тамъ живетъ охота Ивана Яковлевича, затворникъ, отшельникъ, кормленный кабанъ. Иванъ Яковлевичъ очень любитъ пить чай, или просто сидѣть на крыльцѣ и посматривать на своего кабана, воображая вкусныя колбасы и ветчину, въ которыхъ преобразится современемъ этотъ затворникъ. „Кровожадное удовольствіе,“ скажете вы; „достойное римскаго обжоры временемъ имперіи!“ прибавлю я, и все-таки скажу, что Иванъ Яковлевичъ былъ добрый-шій человекъ въ цѣломъ округѣ; всѣ синеvodцы уважали его, хотя онъ былъ бѣднѣ многихъ и очень многихъ, что на Синеvodѣ считается немалымъ порокомъ. Сама генералша дѣлала Ивану Яковлевичу визиты, особливо, когда узнала, что скоро прійдетъ къ нему изъ Петербурга сынъ. Иванъ Яковлевичъ былъ по своему счастливъ; одна забота—ожиданіе сына, смущала иногда его спокойствіе, и старикъ въ бѣломъ халатѣ часто выбѣгалъ за ворота посмотрѣть, не ѣдетъ ли Сенья, когда слышалъ звукъ почтового колокольчика вдали по дорогѣ.

ГЛАВА VIII.

въ которой можетъ Сенья приѣхать.

Вотъ ближе, ближе. Сердце бьется;
Но мимо, мимо звукъ несется,
Слабѣй... и смолкнулъ за горой.

А. Пушкинъ.

Вечерѣло. Стада, возвращаясь домой, мычали и блеяли; на Синеvodѣ кричали утки и гудѣлъ выпъ, точно будто кто водилъ смычкомъ по контрбасу; въ садахъ пѣли соловья, въ воздухѣ летали жуки; затворникъ Ивана Яковлевича, выставивъ голову въ круглое окно своей темницы, бессмысленно смотрѣлъ на природу. Иванъ Яковлевичъ сидѣлъ на крыльцѣ въ бѣломъ халатѣ и колпакѣ; здѣсь была жена его и два сосѣда: синеvodскій архитекторъ и жи-

вописецъ. Впрочемъ, не должно понимать этого въ буквальномъ смыслѣ. Сосѣди были мнимый архитекторъ и мнимый живописецъ, короче сказать, они были аматеры, почти такіе же аматеры, какихъ мы съ вами, любезный читатель, имѣли скуку не разъ слышать на домашнихъ концертахъ. Первый весь свой вѣкъ строился и не могъ себѣ соорудить комнаты, въ которой можно бы зимою сидѣть безъ шубы, а лѣтомъ, во время дождя, остаться суху. Второй рисовалъ тушью съ натуры цвѣты, прикрывалъ ихъ слегка красками и дарилъ всѣмъ синеvodцамъ въ день ихъ ангела, подписывая: „рисовалъ Георгій Кулешъ 18... года, мая 9-го дня, въ два часа пополудни, при солнцѣ,“ или „въ 7 часовъ утра, при сильномъ вѣтрѣ,“ и т. п., судя по времени и погодѣ.

Пили чай.

— Посмотрите, почтеннѣйшій, что за машина этакая! сказалъ Иванъ Яковлевичъ, указывая чайною ложечкою на кабанью голову:—подлинно, славнѣйшее животное на всемъ Синеvodѣ.

— Да, отвѣчалъ архитекторъ:—животное! настоящее животное! И зданіе не дурно! Вы сами его строили?

— Самъ.

— И планъ сами составляли?

— Самъ.

— Недурно! Есть ошибки, а право, недурно! Я бы на вашемъ мѣстѣ сдѣлалъ карнизъ у окошка.

— Куда намъ до карнизовъ! было бы сало...

— А должно вамъ отдать справедливость, прибавилъ живописецъ:—вы отлично умѣете откармливать кабановъ.

— Стоить только сначала закармливать *нечуйвѣтромъ*, сказала хозяйка:—а послѣ и отъ чистаго хлѣба будетъ сытъ.

— Вотъ что! Знаю нечуйвѣтеръ—маленькіе голубенькіе цвѣточки; я еще имѣлъ удовольствіе изобразить ихъ на картинѣ, которую подарилъ вамъ въ день вашего рожденія, Аграфена Львовна.

— Славнѣйшее животное! Вѣрите, иногда меня страхъ беретъ, глядя на него: жары наступаютъ, можетъ съ ума сойти отъ жиру.

— Кто же вамъ мѣшаетъ порѣшить его? Вотъ скоро заговѣнье на петровъ постъ; оно и кстати угостить и насъ колбасами.

— Очень радъ, милости просимъ; да нельзя... Все, знаете, сынишка поджидаетъ, хочу ужъ при немъ это торжество совершить; у нихъ тамъ, знаете, говорятъ, все такое поджарое, такая штука въ рѣдкость.

— А ужъ пора быть Семену Ивановичу.

— Пора-то, пора. Ума не приложу, куда

онъ дѣвался... Пишетъ ко мнѣ Сеня изъ Москвы: доѣхалъ, говорить, благополучно, да тамъ съ какимъ-то графомъ трое сутокъ гуляли, не пускастъ, говорить, да и только; однако, сегодня, говорить, вырвался и уѣзжаю.

Какія знакомства! прошенгель архитекторъ.

— Благословилъ васъ Богъ сыномъ! ска-
заль живописецъ.

— Да, спасибо Грушѣ, выкормила мо-
лодца.

Иванъ Яковлевичъ обнялъ жену и
отеръ слезы.

— Вѣрите ли, друзья мои, жду не до-
ждусь! Изъ Москвы, мнѣ хорошо извѣстно,
почта ходитъ на худой конецъ шесть, семь
дней, а вотъ уже недѣля слишкомъ, какъ
я получилъ получилъ письмо. На долгихъ
можно бы давно пріѣхать, а онъ летитъ
на перекладныхъ.

Зазвенѣлъ колокольчикъ. Старикъ
Иванъ Яковлевичъ закричалъ: „это онъ“
и сбѣжалъ съ крыльца; сосѣди улыбались,
Аграфена Львовна была уже за воротами.
Но — увы! это былъ становой приставъ, въ
зеленомъ нанковомъ сюртукѣ, въ пыли, съ
трубкою въ зубахъ. Опять все пришло въ
прежній порядокъ.

— Откуда васъ Богъ несетъ? спросилъ
хозяинъ у становаго.

— Не Богъ, скажите, а съ позволенія
сказать—нечистая! Кто-то съ дуру увѣ-
рилъ исправника, что въ моемъ стану скры-
вается извѣстный разбойникъ Засоринъ. А
вы знаете, какой онъ, нашъ исправникъ:
все у него по военному, кричитъ: „лови,
бери! доставляй въ полицію!“ А гдѣ его
ловить? Третьягодня получаю строжайшее
предписаніе: „немедленно съ полученія се-
го отправиться на поиски.“ Моя Лизочка
была мянниница, собрались добрые прия-
тели, пироги стояли на столѣ—все оста-
вилъ, двое сутокъ бѣгали по стану: во
ржахъ искали, въ тростникахъ искали, пе-
рерыли, что называется, всѣ мыши нор-
ки: въ озеро неводъ забрасывали, выта-
щили небольшую щуку—и только! Усталъ
какъ почтовая лошадь, заѣхалъ къ вамъ
на передуть отдохнуть полчаса, да
прямо въ Гороховскъ отправился, что нѣтъ,
и засяду дома.

Въ одинъ годъ Засоринъ былъ какое-
то фантастическое лицо, путавшее нѣкото-
рыхъ местных и западныхъ губерній. Его ни-
кто не видѣлъ, даже никто не видѣлъ че-
ловѣка имъ обрабатываема, но всѣ трепе-
тали при имени Засорина. Про него рас-
сказывали простой народъ самыя величныя
истории: будто Засоринъ перекачивается
высокомъ птицемъ, прячется въ табакерки,

въ кувшины, въ пустыя бутылки: будто
онъ владѣетъ чудною *разрывъ-травой*, пе-
редъ которою разступаются каменные стѣ-
ны и отскакиваютъ самыя хитрые и крѣп-
кіе замки, и т. п. Люди поумнѣе не вѣри-
ли этимъ баснямъ, но къ ночи удваивали
сторожей около амбаровъ,, заряжали ружья
и пистолеты, запирали тщательно двери и
окна, и готовы были, при малѣйшей при-
чинѣ, поднять шумъ и тревогу. Такъ были
напуганы умы и разстроено воображеніе
страшнымъ, таинственнымъ именемъ За-
сорина.

Только напугалъ становой добрыхъ лю-
дей Засоринымъ; не посидѣлъ полчаса,
выпилъ чашку чаю съ мурашковымъ спир-
томъ и ускакалъ въ городъ; гости Ивана
Яковлевича послѣ деревенскаго ужина
уѣхали на таратайкѣ домой: еще съ по-
часа свѣтился огонекъ въ комнатѣ Ивана
Яковлевича; видно было въ окно, какъ онъ
читалъ Псалтырь и молился Богу; но и
этотъ огонекъ погасъ... Синеводъ уснулъ
глубокимъ сномъ; изрѣдка сонная утка ше-
скала крыломъ по водѣ да гдѣ-то вдаль
замирала пѣсня запоздалаго гуляки... Пол-
ная луна плыла по небу, дробилась въ
струяхъ Синевода и освѣщала бѣлыя хаты
хутора... Вдругъ цѣпныя собаки на дворѣ
Ивана Яковлевича залаяли, загремѣли цѣ-
пями, завопили ужаснымъ голосомъ... По
двору шли мѣрными шагами два человѣка,
одинъ—совершенный нѣмецъ, даже въ круг-
лой шляпѣ, другой—съ ужасною рыжею
бородою, съ длинными кудрями, точь-въ-
точь наряженный жигомъ... О ужасъ! они
прямо идутъ къ крыльцу, стучать, ломать-
ся въ двери... Быстро отворилось слухо-
вое окно, изъ нея показалась женская го-
лова и еще быстрее спряталась, закри-
чавъ: „Засоринъ!“ Изъ всѣхъ дверей и
оконовъ выглядывали и прятались испуган-
ныя головы... отворилось слуховое окно и
мужской голосъ подѣльнымъ басомъ спро-
силъ: „Кого вамъ надобно?“

— Ивана Яковлевича Лобко! сказалъ про-
хожий.

— Здѣсь нѣтъ Ивана Яковлевича, отвѣ-
чалъ голосъ:—здѣсь только полонъ домъ
сидѣть, ищутъ Засорина.

— Убирайся къ черту, дуракъ! отвори
скоро.

Голосъ утихъ, а изъ окна явилась
рука, вооруженная топоромъ, нагнула ра-
за два и перерубила какъ-то веревку, ве-
ревка, какъ оборванная струна, взвилась,
хлестнула по амбару и вникъ собаки, по-
чтя свободу, понеслись на двѣсти. Нѣмецъ
отмахивался шляпою, жуть кричалъ и пры-
галъ: куски его халата летали во все-
хъ... „Помогите!“ кричалъ таковой въ

нѣмецкомъ платьѣ: „я Семенъ Ивановичъ, я сынъ Ивана Яковлевича, уймите вашихъ проклятыхъ собакъ!“ Наконецъ кое-какъ вышли люди съ рогатинами, съ ухватами, даже одинъ съ ружьемъ, уняли собакъ и, осмотрѣвъ плѣнниковъ съ головы до ногъ, рѣшились ввести въ домъ.

Явился старикъ въ бѣломъ халатѣ съ пистолетомъ въ одной рукѣ, въ другой съ огаркомъ свѣчи, и освѣтилъ чудесную картину: Семенъ Ивановичъ въ узкихъ брюкахъ по колено въ грязи, въ модномъ сюртукѣ, оборванномъ собаками, живописно рисовался, приглаживая руками шляпу. Его прическа à la moujik была поднята сверху въ видѣ пламени; за нимъ стоялъ Гершко, безъ ярмолки, лицо въ грязи, платье въ дырахъ; вокругъ толпились мужики и бабы съ разными непріязненными орудіями.

— Чтѣ за народъ? грозно спросилъ старикъ тѣмъ же голосомъ, какимъ говорилъ изъ слуховаго окна.

— Оставь, братецъ, эту комедію, сказалъ раздосадованный Семенъ Ивановичъ:—лучше доложи Ивану Яковлевичу, что пріѣхалъ его сынъ изъ Петербурга.

— О-го! знаю, братъ, куда стрѣляешь! Слышали, что ждутъ сына, такъ и прикидываешься; У Ивана Яковлевича сынъ никогда не выглядывалъ такимъ разбойникомъ. Что, небось, и жидъ сынъ или племянникъ? Объявите, ребята, хорошенько этихъ бродягъ, свяжите ихъ, а завтра чуть свѣтъ въ Гороховъ, въ полицію.

— Да это разбой! Вотъ мои бумаги, читай, коли грамотенъ, не то отнеси къ Ивану Яковлевичу.

И Семенъ Ивановичъ бросилъ дорожную.

— Гм! говорилъ старикъ, искоса поглядывая на пріѣзжаго:—штука! и фамиліи не умѣлъ прописать: Иванъ Яковлевичъ Лобко, а здѣсь Семенъ Лобковъ. Какой-то москаль писалъ!... Да Сеня былъ красавчикъ, а это...

— Коли отецъ Лобко, такъ сынъ Лобковъ. Такъ слѣдуетъ по грамматикѣ.

— Да что тутъ толковать! сердце мое чувствуетъ, это Сеня; вотъ я скорѣ узнаю, кричала пожилая женщина въ старомъ ситцевомъ капотѣ, съ повязанною зеленымъ платкомъ головою:—у Сени на шеѣ родимка, точно очаковскій крестикъ, батюшки; вотъ я сейчасъ...

Костистые пальцы женщины въ капотѣ принялись развязывать галстухъ Семена Ивановича. Семенъ Ивановичъ хотѣлъ ее оттолкнуть, но два сильные мужика схватили его за руки; онъ только моталъ

головою, ворча: „Отвяжись, тетка, задавить хочешь, бѣлены объѣлась...“

Галстухъ упалъ къ ногамъ Семена Ивановича, а женщина повисла на шеѣ повторяя:—Онъ, мой голубчикъ, ей-богу, онъ!... Дитя мое, Сеня... Сенюшка!... Старикъ бросилъ дорожную и тоже сталъ обнимать сына. Семену Ивановичу насилу растолковали, что они его родители.

— Вотъ что! сказалъ Семенъ Ивановичъ.

—А я думалъ, вы дворецкій и ключница!

— А мы тебя, Сеня, приняли было за разбойника!

Семенъ Ивановичъ сплелъ какую-то басню о разбойникахъ, которые его ограбили, вотъ тутъ, недалеко отъ Синевода.

— Вотъ полиція! кричалъ Иванъ Яковлевичъ:—а еще сегодня былъ становой и говорилъ: „все благополучно,“ а у него подъ носомъ грабятъ, рѣжутъ!...

— А вы и повѣрили ему? кричала старуха.—Ему лишь бы скорѣй домой косить сѣно!

— Ограбили! кричалъ Сеня:—рѣшительно ограбили, всѣ деньги отняли...

— Всѣ до копѣйки?

— До полушки, и гостинцы отняли! А какіе вамъ гостинцы везъ я! Боже мой!... Слава Богу, что чемоданчикъ съ будничнымъ платьемъ оставили, а мундиръ пропалъ, весь въ золотѣ...

— Богъ съ ними, Сеня! Слава Богу, что ты живъ! Вотъ полиція!...

И старики принялись обнимать сына.

— Кто бы могъ подумать, что я буду ограбленъ на порогѣ родительскаго дома!... ворчалъ Семенъ Ивановичъ.

— Богъ съ тобою, Сеня! Что вспоминать нехорошее! Пойдемъ же, я поведу тебя въ твою комнату; вотъ уже четыре недѣли, какъ ее для тебя убрали... И образъ поставила, которымъ меня благословили замужъ: кіота серебряная, золоченная чистымъ червоннымъ золотомъ—при себѣ покойница велѣла золотить, чтобъ не украли—и занавѣсочки на окнахъ чистыя, настоящія кисейныя, своими руками вымыла, не дала Палашкѣ; посмотри... Чтѣ ты смѣешься?

— Ничего. Я вспомнилъ, что видѣлъ такія занавѣсочки въ одномъ домикѣ въ Петербургѣ, на Итальянской улицѣ.

— Вотъ, видишь, Сеня! и мы сдѣлаемъ не хуже вашихъ итальянскихъ! А цвѣты-то какіе на окнахъ! нарочно сѣяли, тебя дожидая... Насилу сѣмянъ выпросила у генеральши... Понюхай, какой горошекъ.

— Недурно; я люблю геліотропъ.

— Вотъ этого, душа моя, отъ-роду не слыхала.

— Полно тебѣ молодца подбивать двѣточками, это бабье дѣло. Ты куришь, Сеня?

— Какъ же!

— И прекрасно; я для тебя приготовилъ два картуза табаку: что въ ротъ, такъ спасибо, настоящій вакштафъ фабрики Каратаева и Богомолова; дорогъ, да для тебя куда ни шло!

— Я курю пахитосы.

— Ей-богу, въ первый разъ слышу! Было написать: я поискалъ бы... Жаль, когда не угодилъ!... А наши канцелярскіе если бы услышали про мой вакштафъ, мигомъ налетѣли бы изъ Горохова, какъ осы на медъ: да я купилъ и не признаюсь, все тебя поджидая.

Между-тѣмъ принесли яичницу, жаренныхъ голубей, сливокъ, огурцовъ... Семень Ивановичъ ѣлъ за четверыхъ; старики улыбались, поглядывая на него.

— Люблю, говорилъ Иванъ Яковлевичъ: — за аппетитъ: мой сынъ! славно ѣсть! Ты, Сеня, скажи, что любишь, такъ то и будутъ готовить.

— Я люблю страсбургскій пирогъ.

— Ну, братъ, такого наша кухарка не то не изготовить, да и не выговорить.

— Отчего же? перебила Аграфена Львовна. — Можетъ-быть, у насъ не такъ называется. Я недавно читала въ „Опытной Поварихѣ“ про одинъ пирогъ, вѣрно этотъ; книга изъ Петербурга: надобно взять, говорить рубленое мясо, приправить перцомъ и ниточкою уксуса, потомъ...

— Пошла болтать!... Ышь, братъ, Сеня, не слушай ея: завтра я тебя угошу: у меня ѣсть колбасы удивительныя... Ты не повѣришь, толщина не обычайная!

— Вотъ, вы уже у меня отбиваете сына! Горькая наша доля: выкормила — и прощай! говорить не дадутъ!

— Богъ съ тобою, матушка! наговоришься: впереди много времени. Я только хотѣлъ сказать слова два о кабанѣ. Вѣдь ты любишь, Сеня, колбасы?

— Иногда, а больше люблю дрозды съ трюфелями.

Старики переглянулись между собою.

— А вотъ что, папаша: заплатите моему бѣдному извозчику: у меня все отняли, не чѣмъ расплатиться: почевать онъ не хочетъ, заплатите сейчасъ.

Жидъ получилъ плату за извозъ да сверхъ того, за ограбленныя вещи выпросилъ пять рублей и исчезъ. При выходѣ въ сѣни, онъ еще получилъ отъ Аграфены Львовны четвертакъ за благополучную доставку сына.

А дѣло было очень просто: въ четверо сутокъ еврей, откармливая чубараго

двухлѣтка, наконецъ вечеромъ привезъ мена Ивановича на Синеводъ; но на бѣ оставалось еще три недѣли до петрова; и гати на Синеводъ не успѣли надѣющимся образомъ окрѣпить; двухлѣто въ грязь рѣшительно отказался везти сажировъ и спокойно легъ на бокъ; крики, ни угрозы пеньковымъ кнутомъ помогали дѣлу и, провозясь безъ успѣхъ двухлѣткомъ до глубокой ночи, ни путники рѣшились идти пѣшкомъ изъ хутора Лобка. Выйдя изъ грязи на дру берегъ, они увидѣли мужика, который дѣлъ верхомъ на срубленномъ деревѣ, жавшемъ у дороги, и распѣвалъ пѣню про синій кафтанъ и красное сѣдло.

— Эй, послушай, мужикъ! сказали менѣ Ивановичъ.

— Здѣсь нѣтъ мужика.

— А кто же ты?

— Казакъ.

— Ну, казакъ, все равно.

— Какъ бы не такъ! какой грамотный!

— Гдѣ хуторъ Лобка?

— Вы или дураки, или пріѣзжіе: прип въ хуторъ, а спрашиваете хутора!

— Это куда дорога?

— И туда, и сюда.

— Какъ?

— Поидете туда, будетъ туда, пойдъ сюда, будетъ сюда: извѣстно: дорога обѣ стороны...

— А Иванъ Яковлевичъ дома?

— Дома, если никуда не поѣхалъ.

— Такъ намъ идти въ хуторъ прямо?

— Нѣтъ, криво! вотъ дуринъ!

— Прощай! спасибо, братъ.

— На здоровье! не за что.

И козакъ опять зачѣлъ про красное сѣдло, а Семень Ивановичъ съ жидомъ пошелъ прямо во дворъ Ивана Яковлевича, гдѣ и надѣлалъ столько шума. Семень Ивановичъ радъ былъ слухамъ о Засоринѣ и на него сложилъ всю вину своего очень блѣстательнаго пріѣзда...

ГЛАВА IX.

Сосѣди съѣхались въ возкахъ,

Въ кибиткахъ, бричкахъ и въ саняхъ

А Пушкинъ.

Какъ спокоенъ съ веру видъ:

Опустился на дно, ужасный

Крокодилъ на немъ сидитъ.

К. Батюшковъ

Рано поутру Семену Ивановичу показалось, будто каркаетъ ворона: онъ пріснулъ и началъ вслушиваться, и съ у-

иѣмъ замѣтилъ, что въ карканьи отзы-
сь человѣческія рѣчи.

А гдѣ же вашъ петербургскій паничъ?
ахъ странный голосъ:—покажите мнѣ
Спитъ? Вотъ прекрасно! спать до сихъ
!

„Хитеръ мой батюшка,“ подумалъ Се-
. Ивановичъ: „выучилъ на досугъ го-
тъ ворону, и потѣшается!... Это рѣд-
ь была бы и въ Петербургѣ; сороки
ящія—не рѣдкость, а ворона—почти
лыхано. Правда, мнѣ рассказывалъ на-
гѣ какой-то семинаристъ, что ворона
ила пріѣзженную рѣчь одному рим-
у императору; почему же на Синеводѣ
ожетъ выкинуться римская штука?...

А вставайте-ка! громко закричалъ во-
й голосъ. Семенъ Ивановичъ увидѣлъ
мную человѣчью голову, которая ки-
ему въ полуразвороченную дверь.

Не конфузьтесь! мы не петербургскіе:
звой. Да какой же вы худой! Ни одна
шня не пойдетъ замужъ за такого
наго!

И, прихлопнувъ дверь, голова исчезла.
Между тѣмъ, мальчикъ, босой въ пе-
диной курткѣ, сѣлъ верхомъ на була-
кобылу, которую Иванъ Яковлевичъ
ь удачно называлъ камбалою, потому-
она имѣла одинъ глазъ и была не-
злительно худощава, и отправился по
Синеводѣ. Пріѣзжая въ каждый ху-
ль, мальчикъ являлся на дворъ къ хо-
у и, почесываясь, говорилъ:

Баринъ и барыня приказали кланяться...
Ну?

Кланяться... и... просили...

Ну?

И просили... да, и просили кушать
ась.

Развѣ убили вашего кабана?

Убили...

Быть не можетъ!

Убили, ей-богу, убили! сегодня на за-
били!

Для чего же его убили?

Такъ убили,—говорятъ отъ радости:
чѣ пріѣхалъ.

Изъ Петербурга?

А-га! оттуда!

И давно бы такъ сказалъ, дуракъ! уби-
я къ чорту! Скажи, что будемъ.

„Э-ге! къ чорту! Нѣтъ, еще надобно
ать къ Петру Петровичу,“ ворчалъ
чикъ, садился на камбалу и, свистя,
ь далѣе.

Я уже сказалъ вамъ, что Синеводъ—
нѣкій міръ, и какъ въ мірѣ есть мно-
го хорошаго, и дурнаго, такъ точно и
Синеводѣ. Оттого я не стану вамъ опи-
сать разнообразнаго общества, пріѣхав-

шаго на обѣдъ къ Ивану Яковлевичу. Ска-
жу только, что весь Синеводъ явился къ
доброму сосѣду раздѣлить его радость
вмѣстѣ съ калбасами и посмотрѣть на прі-
ѣзжаго. Здѣсь были всѣ возрасты, отъ
желтоватыхъ сѣдинъ до груднаго ребенка;
глаза всѣхъ цвѣтовъ, отъ сѣро-голубень-
кихъ до самыхъ черныхъ, на которые
нельзя смотрѣть безъ смущенія; были та-
ли, похожія на арбузы и на осу; были
лица отвратительныя и были возбуждавшія
страстную охоту распѣловать ихъ. Словомъ,
было все, что мы встрѣчаемъ ежедневно.

Гости были рады, поздравляли Ивана
Яковлевича и Аграфену Львовну съ пріѣ-
здомъ дорогаго гостя; все шло очень хо-
рошо, кромѣ маленькой сцены съ двою-
родною тетушкою, которая раскапризлась,
раскричалась, расплакалась и уѣхала до-
мой, говоря, что подобное неуваженіе къ
лѣтамъ и прекрасному полу невыносимо;
что она давно замѣчала коварныя взгляды
своей двоюродной сестры, но презирала
ихъ; а теперь, когда сестрица настроила
насмѣхаться своего сына, столичнаго сор-
ванца княжескаго нахлѣбника, она прекра-
щаетъ всякое знакомство.

Семенъ Ивановичъ, будучи предста-
вленъ своей двоюродной тетушкѣ, не бро-
сился въ родственныя объятія, не подо-
шелъ къ рукѣ, а просто пожалъ ей руку
—вотъ чѣмъ тетушка обидѣлась.

— Ну, Богъ съ нею, сказалъ Иванъ
Яковлевичъ, когда уѣхала сестра.—Эта ста-
рая дѣвка всегда съ капризами... Пора
обѣдать. Кажется, всѣ?

— А ея превосходительство не будетъ?
замѣтилъ архитекторъ.

— Къ обѣду врядъ ли воротится. Она была
у меня сегодня рано утромъ—такая до-
брая! Сеня еще спалъ, и къ нему за-
глянула...

— Перепугала меня, mesdames! сказалъ
Семенъ Ивановичъ, обращаясь къ чепчи-
камъ:—вѣрите ли, я думалъ, ученая воро-
на—такъ кричить...

— Да, такая добрая! почти закричалъ
Иванъ Яковлевичъ, желая заглушить отзы-
вы сына о статской совѣтницѣ:—забѣжала хотъ
на минуту, мимоѣздомъ въ Гороховъ. Тамъ
сегодня ждутъ губернатора, такъ и ей дол-
жно быть—сами знаете.

— Разумѣется! отвѣчали сосѣди.

— А развѣ она служить? спросилъ Се-
менъ Ивановичъ.

— Какъ ты простъ, Сеня! Не служить, а
все же надобно быть—этакъ, знаешь, для
почета...

— Скажите, Семенъ Ивановичъ, вы такъ
удачно сравнили нашу сосѣдку съ говоря-
щею вороною, сказала одна пожилая дама

въ черномъ чепчикѣ, вертя головкою и очень зло улыбаясь:—развѣ можно птицу выучить говорить?

Помилуйте! сколько ихъ въ Петербургѣ! на каждомъ шагу попадаются. Вотъ, напримеръ, развѣ я иду съ баронессою Соте по биражъ и слышу, кто-то меня вполголоса кличетъ: „Семенъ Ивановичъ! Семенъ Ивановичъ!“

— Что вамъ угодно? спрашиваю я у баронессы.

Ничего, отвѣчала она: — я васъ не звала. Кто жь это меня кличетъ на французскомъ языкѣ?

И я сама смышала, а не знаю, кто.

Странно! подумалъ я и посмотрѣлъ вокругъ нѣтъ никого; мы пошли. Опять слышу: „Семенъ Ивановичъ! Семенъ Ивановичъ!“ Глядь: наверху, надо мной, сидитъ на дорѣнѣ прекрасный попугай, самъ голубой, хвостъ желтый, крылья оранжевыя, головка черная съ краснымъ носомъ. Я показываю на него баронессѣ.

— Баронесса вскричала: „ахъ! какая бѣлѣ-птица!“ и замолчала отъ восторга.

— Что тебѣ, братецъ, надобно? спросилъ я у попугая.

— Купите меня! отвѣчалъ попугай:—пожалуйста, купите, Семенъ Ивановичъ! я буду хорошъ.

— Отчего же ты меня знаешь!

— Мнѣ много говорилъ о васъ мой братецъ, попугай княгини.

Вотъ-что! Дѣлать нечего, купилъ. Славная была птица!

— И умерла? спросили дамы.

— Нѣтъ, я ее подарилъ начальнику; знаете, некая отказать—все хвалить, все говорить бывало: „рѣдкую птицу имѣете“, за послѣ этого такъ немного и покосится... Думалъ, думалъ, да и отдать въ день именинъ.

— И прекрасно сдѣлалъ, душа моя, сказалъ Иванъ Яковлевичъ.

— Навѣ-за длинной птицы не ссориться съ начальствомъ, прахъ ее возьми!

— Однако я утѣшился: скоро пропалъ у начальника попугай. Чего не дѣлали: и консулы и сажали, и генераловъ, и гидрографовъ—ничто не помогло: кашлялъ, кашлялъ и пропалъ въ Спасской. Ни мнѣ, ни тебѣ, что-разывается!

— Вы шутили? спросила Семена Ивановича робкая блондинка членская дочка дѣвушка.

— Навѣ чѣмъ?

— Навѣ наша, когда говорили о попугаѣ. Развѣжъ-ли? какъ вы жестоки!

— А я думала...

— Что вы думали?

Я думала, вы шутите.

Семенъ Ивановичъ сказалъ дѣвушкѣ что-то на ухо и громко прибавилъ:—Надѣюсь, это останется между нами?

Дѣвушка покраснѣла и опустила глаза.

— Онь сочинитель! шепнулъ черный чепчикъ, толкая локтемъ сосѣдку.

— Что это, моя матушка?

— Этакій критиканъ столичный! хуже бшеной собаки!

Сѣли за столъ; застучали ножи и тарелки; общій разговоръ слился въ нестройный шумъ, изъ котораго вырывались порою отрывистыя фразы; „я не люблю огурцовъ—осталась вдовою—а съ медомъ хорошо?—прикупила себѣ валета и выиграла!—самой рысистой породы—должно-быть, землемѣръ?—и по два съ полтиною аршинъ?—смию вамъ доложить, самые живые, настоящіе раки—красныя цвѣточки по зеленому полю—знаю—дома самъ-другъ—три дня въ самомъ темномъ погребѣ, а потомъ—какъ это хорошо!...“

Къ вечеру явилась статская совѣтница и навезла съ собою кучу новостей и городскихъ чиновниковъ; новости переходили изъ устъ въ уста, чиновники—изъ угла въ уголъ. Семенъ Ивановичъ рассказывалъ дамамъ разные анекдоты, пѣлъ водевильныя куплеты; старики пили, съ позволенія сказать, пуншъ. Было очень-весело. Иванъ Яковлевичъ обнималъ отъ радости сосѣдей и благославлялъ добрую княгиню Плерець; желтые банты на чепчикѣ Аграфены Львовны плясали; смотритель училища, Агаменонъ Харитоновичъ, поднявъ къверху стаканъ пуншу, восклицалъ: „Не правда ли моя, Иванъ Яковлевичъ? не говорилъ ли я: будетъ человекъ, дайте только вырасти въ Петербургъ? Воспитаніе дѣло великое—да-съ!“

— Выбрался веселый денекъ! сказалъ Иванъ Яковлевичъ, когда гости разѣхались по домамъ.—Ну, что, Сеня, какъ тебѣ понравились наши добрейшіе сосѣди?

— Ужасные уроды, папаша!

— Богъ съ тобою! Въ семьѣ не безъ уroda, есть пословица, но не въ же уроды.

— Да, эта дѣвушка въ розовомъ платьѣ очень мила.

— Дочь станового... Что, не бойсь, понравилась?

— Да, я даже сказалъ ей на ухо, когда мы шли обѣдать: съ горемъ, какъ *Венера*!

— Мой сынъ—рѣшительная голова! Что же она?

— Стрѣла.

Любилъ за обычай! Былъ бы тебѣ офицеромъ.

— А что жь? прибавила Аграфена Львовна:—оба дѣвушки не бѣдныя особы думъ,

и садъ, и прудъ, и еще кое-что есть... Можно бы и жениться...

Семенъ Ивановичъ легъ спать въ восторгъ самъ отъ себя, не воображая, что посѣялъ сѣмена величайшей ненависти къ своей особѣ. Статская совѣтница рассказала всему Горохову о разбойникахъ, ограбившихъ Семена Ивановича почти въ ея глазахъ; исправникъ далъ порядочную гонку становому и даже грозилъ жаловаться губернатору, если становой впередъ, вмѣсто поисковъ, станетъ ловить рыбу—становой сталъ первымъ врагомъ Семену Ивановичу; второй врагъ была двоюродная тетушка, за родственное пожатіе руки; третій врагъ и врагъ закланной статская совѣтница, которой дорогою объявилъ черный чепчикъ о говорящей воронѣ. Надобно же было, на бѣду, пріѣхать Семену Ивановичу лѣтомъ, когда пѣхотный полкъ выступилъ изъ Синевода въ лагерь и уѣздные любезники, за отсутствіемъ офицеровъ, собирались пожинать лавры. Пріѣзжій изъ Петербурга развлекъ вниманіе барышень; онъ только его слушали, только на него и смотрѣли; многія остроты молодыхъ синеводцевъ, многіе комплименты, многіе вздохи остались незамѣченными. Это возбудило противъ Семена Ивановича цѣлый полкъ самыхъ злыхъ враговъ: въ нихъ бушевало оскорбленное самолюбіе челоѣка, еще болѣе синеводца—звѣрь страшный, неукротимый!... Бѣдный Семенъ Ивановичъ спитъ спокойно!

ГЛАВА X.

ШАПКА-НЕВИДИМКА.

Молва, зло скоростью всѣхъ паче золь
извѣстна,
Проворствомъ не всегда своимъ оживлена;
Сперва мала и вдругъ величины чудесной!

Херасковъ.

Славное было время встарину! Какъ считаешь книжечекъ, называемыхъ россійскими сказками—душа радуется. Кутили наши пращуры не по-нашему: у нихъ были и сапоги-самоходы, и коверъ-самолетъ, и шапка-невидимка... Поэтическое было время! Иной отдалъ бы пароходы, желѣзныя дороги, гальванопластику, дагерротипъ и всѣ чудеса нашего премудраго вѣка за одни сапоги-самоходы; вотъ славный инструментъ, чтобъ уходить отъ долговъ! Впрочемъ, и у меня есть нѣчто въ-родъ шапки-невидимки: стоитъ надѣть ее—и вы сдѣлаетесь невидимкою. Попробуйте, надѣньте... Ну, вотъ, вы надѣли, и я васъ не вижу, мой добрый

читатель, клянусь, не вижу; будто васъ вовсе нѣтъ передо мною.

Теперь не угодно ли, я поведу васъ куда прикажете: вы можете все видѣть, все слышать и остаться незамѣченнымъ, хотя бы вы имѣли большой чинъ, почетные знаки отличія и даже огромное богатство. Согласитесь, быть незамѣченному *иногда* чрезвычайно-пріятно. На первый разъ я васъ проведу по гостинымъ синеводцевъ, обѣдавшихъ наканунѣ у Ивана Яковлевича.

ГОСТИНАЯ ПЕРВАЯ.

Мужъ сидитъ въ креслѣ и слегка прижимаетъ къ груди обѣ ладони. Жена обрываетъ съ герани сухіе листочки.

Мужъ. Проклятые колбасы, чтобъ ихъ чортъ побралъ! совершенно меня разстроили: вотъ тутъ и тутъ... и здѣсь... охъ! будто ящерицы бѣгаютъ...

Жена. Этотъ старый дуракъ вѣчно окормить; пристанетъ: ѣшь да ѣшь, будто у насъ дома ѣсть нечего.

Мужъ. Нельзя; изъ политики...

Жена. Какая тутъ политика! просто самъ радъ поѣсть и другихъ силуетъ, чтобъ не совѣстно было, а можетъ-быть, и подмѣшалъ чего...

Мужъ. Богъ съ тобою...

Жена. Ты не говори мнѣ; не даромъ они съ нашимъ лакеемъ шептались... Вотъ ему и будетъ практика! Меня не проведешь, я всякое кушанье нюхала; чуть не много подозрительно—и въ ротъ не возьму; а ты, мой батюшка, все убиралъ: смотрѣть было совѣстно! Ужъ я и мигала, и кашляла, и поглядывала на тебя—нѣтъ, ничего не видать, знай-себѣ обжирается, какъ-будто три дня не ѣлъ... Теперь, Богъ знаетъ что будетъ!..

Мужъ. Что жъ мнѣ дѣлать, матушка? не напиться ли чего?...

Жена. Мята хорошо бы... да нѣтъ; вотъ сухіе листочки, очень пахучіе, сдѣлаемъ пробу, нальемъ кипяткомъ, какъ чай, ты и выпей: авось уймется...

Мужъ. А хорошо ли оно?...

Жена. Попробуемъ; попытка не шутка, спросъ не бѣда. А! здравствуйте!...

Архитекторъ (*входитъ, раскланиваясь*). Мое почтеніе! Какъ ваше здоровье?

Мужъ. О-охъ!.. признаюсь... не знаю, что я сдѣлалъ, а очень вредное...

Жена. Лекаръ скажетъ спасибо Ивану Яковлевичу.

Архитекторъ. Вы думаете?...

Мужъ. Я думаю, это штуки петербургскія. Иванъ Яковлевичъ добрый челоѣкъ...

Жена. Когда спать...

ГОСТИНАЯ ВТОРАЯ.

Статская совѣтница. Ахъ, онъ сорванецъ! такъ и сказалъ?

Черный чепчикъ. Да, ваше превосходительство, извините, говорить: „такая черная, какъ головня“, а послѣ подумалъ и говорить: „нѣтъ, головня не живая, а она, то-есть, вы, какъ ворона каркаетъ, и, говорить, говорить, какъ ворона каркаетъ, вотъ такъ: кра!... кра!... кра!...“ ей-богу!...

Статская совѣтница. Ахъ, онъ дрянй! щенокъ!... Видали мы этихъ выскочекъ... Да я его съ грязью смѣшаю...

Черный чепчикъ. Ломается и куда тебѣ! Своей ближайшей родственницѣ какой афронть сдѣлалъ, страшно рассказывать... А та по немъ души не слышитъ, все, бывало, говорить: „вотъ пріѣдетъ Сеня, какого-то мнѣ гостинца привезетъ?“ Вотъ тебѣ и гостинецъ!... расплакалась бѣдная дѣвушка... безпомощная, беззащитная!...

Статская совѣтница. Правда, правда! Уродъ какой!

Черный чепчикъ. Мало этого, ваше превосходительство, еще признался, что онъ сочинитель—знаете, критиканъ: что увидитъ, такъ сейчасъ и на смѣхъ, въ этихъ дурацкихъ книжкахъ все и напечатаетъ, и хлѣбъ, дескать, полагали не выпечены, и руки были не вымыты, и все такое.

Статская совѣтница. И это онъ вамъ признался?

Черный чепчикъ. Какъ бы не такъ! Засмотрѣлся на дочку станового и выболталъ, а я подслушала...

Статская совѣтница. На Лизку? и что въ ней хорошаго?

Черный чепчикъ. Вы же говорите! А послѣ спохватился, да почти со слезами говорить: „ради Создателя, пускай это останется между нами“.

Статская совѣтница. Покорно васъ благодарю. Вотъ что значитъ поступать по дружески.

Черный чепчикъ. Какъ же, ваше превосходительство, вы намъ и примѣръ, и наставникъ, и все...

ГОСТИНАЯ ТРЕТЬЯ.

Становой ходитъ по комнатѣ, руки крестомъ à la Napoléon. Нѣсколько молодыхъ синеводцевъ сидятъ на стульяхъ. Лиза валяетъ кошелекъ въ видѣ голубой глазской шапки.

Становой. Сплетникъ, мерзкій человекъ и больше ничего! Ну, если и по-

малилъ съ нимъ кто, очень нужно передавать проклятой болтунѣ! она на весь городъ разблаговѣстила, а меня, ни за что, ни про что, распудрили какъ осла!... Да каковъ онъ собою? молодецъ ли?

Молодой синеводецъ № 1. Такъ себѣ, чортъ знаетъ что такое, ни важности, ни приличія...

Становой. Я такъ и думалъ. Увидѣлъ пьянаго мужика и кричитъ: „разбойники!“ Только нарушаетъ тишину и спокойствіе... Ужъ эти мнѣ петербургскіе фертики: вотъ тутъ сидятъ...

Уздный учитель. Человѣкъ безъ всякой эрудиціи, вертопрахъ, вѣтрогонъ...

Молодой синеводецъ № 2. Все скалить зубы да болтаетъ, какъ трещотка...

Становой. Изъ ума выжилъ Ивашъ Яковлевичъ! какъ не унять сорванца?...

Молодой синеводецъ № 3. А съ дамами говорить будто съ своимъ братомъ.

Лиза. Онъ говоритъ очень занимательно.

Становой. Та-та-та! занимательно!.. Вамъ очень нравятся этикіе заѣзжіе шаркуны, въ папильоткахъ, въ пуговкахъ, въ цѣпочкахъ! Очень занимательно!...

Статская совѣтница (*вбѣгая, запыхавшись, съ комнату*). Хороши мы, хороши! нечего сказать... Ухъ, устала! Здравствуйте!... Садитесь, садитесь, зачѣмъ вы повставали съ мѣстъ? Попались!

Всѣ. Что такое, ваше превосходительство?

Статская совѣтница. Ужо будемъ всѣ съ руками и съ ногами, въ тѣхъ проклятыхъ книжкахъ...

Становой. Что такое?..

Статская совѣтница. Ваша Лиза лучше меня знаетъ. Не краснѣйте, сударыня. Что вамъ говорилъ пріѣзжій сорванецъ, когда вы шли къ обѣду?

Лиза. Не помню.

Статская совѣтница. Короткая память у васъ, душечка; отчего же у васъ слезы на глазахъ?.. Помните, еще онъ сказалъ: „пускай это останется между нами?“

Становой. Лиза! что это? опять за старое—а? Что за шептанья?.. Да я тебя... знаешь?..

Статская совѣтница. Видно, мнѣ придется сказать: этотъ богоненавистникъ признался ей, что онъ сочинитель: „Я, говоритъ, всѣхъ выведу на чистую воду! Тотъ, говоритъ, лѣгучъ, та—ворона, та—куропатка“.

Становой. Ну, а я Богъ знаетъ что подумалъ! Впрочемъ, нехорошо, что ты, Лиза, мнѣ этого не сказала. Чему ты смѣешься?

Лиза. Это пустяки, валяныя!

Статская совѣтница. Слышите —пустяки! Вашего отца, вашу матушку, васъ самихъ, меня, всѣхъ выведутъ вотъ съ такими головами, вотъ съ такими носами, съ такими рогами, и станутъ потѣшаться... Пустяки! Вѣрно и вы въ заговорѣ?

Архитекторъ (*вбѣгаетъ*). Живы ли вы? здоровы ли? Бѣда!.. нѣтъ ли у васъ анисовой водки?

Статская совѣтница. Что съ вами? Можетъ быть, съ перцемъ лучше, если у васъ что такое...

Архитекторъ. Охъ! что-то будто колонною подпираетъ меня подъ ложечку.

Статская совѣтница. Богъ знаетъ, что вы говорите! какая у васъ колонна?

Архитекторъ. Охъ... есть... ужъ я... лучше васъ знаю. Вчера подали мнѣ у Ивана Яковлевича огурецъ, а на огурцѣ листочекъ: какъ съѣлъ, такъ и заварило!.. Дайте водки!..

Становой. Выкушайте; это вамъ такъ, отъ воздуха.

Архитекторъ. Какое отъ воздуха! Не я одинъ, вотъ сейчасъ отъ Мнишкиныхъ: обое, и мужъ, и жена, при смерти, все отъ вчерашняго обѣда. Такъ ихъ и коробить, кричать на весь домъ...

Статская совѣтница. Аграфена Львовна таки, нечего грѣха таять, за кухней вовсе не смотритъ. Мой кучеръ говорилъ: у нихъ есть кастрюля, вѣрно забылъ какой-нибудь провѣзжающій, совсѣмъ нелужонная, и ту для гостей берегутъ.

Архитекторъ. Мнишкина жена изволила сказывать, что замѣтила, будто бы Иванъ Яковлевичъ съ докторомъ что-то подсыпали въ кушанье...

Статская совѣтница. Я и сама замѣтила; только не старикъ, а его шальной сынъ: это вы ослышались...

Архитекторъ. Можетъ быть, ваше превосходительство.

Статская совѣтница. Я знаю эти штуки. Когда стоялъ здѣсь драгунскій полкъ, такъ мнѣ разъ на полковомъ балѣ дали чашку кофе... Знала я кофе!.. Вы не повѣрите...

Учитель. Позвольте, ваше превосходительство, у меня есть книга изъ Петербурга, гдѣ написано, что уѣздный учитель танцуетъ и машетъ платочкомъ; я сейчасъ подумалъ: это на мой счетъ, я танцую и, когда жарко, машу платочкомъ; но не зналъ, кто написалъ, а теперь понимаю...

Статская совѣтница. Посмотрите: тамъ, я думаю, подписано.

Учитель. Смотрѣлъ, да подписано Богъ знаетъ что, какая-то вещь. Кто пишетъ пасквиль, тотъ своего имени не подпишетъ, а такъ, знаете, что-нибудь...

Статская совѣтница. Такъ на васъ написано?

Учитель. Написано! Есть еще и генеральша Воронина...

Статская совѣтница. Онъ, ей-богу, онъ! Я знаю... Нѣтъ ли еще кого изъ нашихъ?

Учитель. Не помню наизусть... Есть еще какой-то человѣкъ, который женился на богатой и заважничалъ, а между тѣмъ подличаетъ передъ женою...

Статская совѣтница. А жена его за носъ водить?

Учитель. Кажется...

Статская совѣтница. Знаю, знаю; это Чурбинскій. Сейчасъ же ѣду къ нему и расскажу, а вы, пожалуйста, сбѣгайте въ городъ и привезите къ Чурбинскому книжку.

Учитель. Съ величайшимъ удовольствіемъ.

Статская совѣтница. Ахъ, онъ сочинитель!..

Но я васъ утомилъ, мой снисходительный читатель, вода по гостинымъ обитателей доброй рѣчки Синевода; вы зѣваете, а еще впереди вдесятеро домовъ, куда намъ слѣдовало бы заглянуть. Богъ съ ними, бросьте шапку-невидимку! Всѣ остальные гостинныя похожи на видѣнныя нами. Впрочемъ, не думайте, что синеводцы племя злое—нѣтъ, избави Боже! они всѣ люди какъ люди; будь они овцы, или лошади, то были бы гораздо смирнѣе. Мнѣ кажется, вся бѣда въ томъ, что они люди. Человѣкъ—животное разумное, объ этомъ нечего и говорить; его потребность жить и физическою, то-есть животною жизнью, и духовною; но какъ на Синеводѣ, по обычаю предковъ, живутъ чисто животною жизнью, то всякій синеводецъ, утопая въ чувственномъ довольствѣ, вѣчно скучаетъ, жаждетъ чего-то, а чего—и самъ хорошенько не знаетъ. Это изнываетъ въ синеводцѣ мыслящая способность; не имѣя для себя никакой пищи, она томить синеводца. Потому малѣйшая новость, нелѣпѣйшая сплетня, уродливѣйшая фантазія принимаются съ любовью, съ жадностью, находятъ себѣ защитниковъ, быстро распространяются по Синеводу—синеводцы оживаютъ; для нихъ открывается величайшее наслажденіе хоть какъ-нибудь пожить

нефизически: они думают, догадываются, предполагают, строят гипотезы, вдаются въ теоріи вѣроятностей, доходятъ до истины по аналогіи—словомъ, начинаютъ мыслить, начинаютъ предвкусывать настоящую жизнь и удовольствія человѣчества. Какъ они мыслятъ, каковы ихъ гипотезы и теоріи—объ этомъ мы умолчимъ. Но все-таки мыслятъ, и мнѣ кажется, здѣсь заключается корень синеводскихъ толковъ и сплетней. Займите умы добрыхъ синеводцевъ чѣмъ-нибудь, кромѣ кушанья, и, даю вамъ слово, нелѣпости будутъ умирать на Синеводѣ, не успѣвъ родиться.

Вамъ живой примѣръ: Петербургъ.

ГЛАВА XI.

ВѢСТИ ЗА БАКАНЬ.

Однимъ словомъ, сатира, что чистосердечно
Писана, колетъ глаза многимъ всеконечно:
Ибо всякъ въ семь зеркалъ какъ станеть смотрѣти,
Мнитъ, зная себя, лицо свое ясно зрѣти.
Князь Антиохъ Кантемиръ.

— Думалъ я тебя женить, Сеня, да что-то, кажется, сосѣди тебя не полюбили, говорилъ Иванъ Яковлевичъ, спустя недѣлю послѣ своего званнаго обѣда.

— Вы спросите, полюбили ли я ихъ? А они, эти профаны, ничего не понимаютъ...

— Не говори...

— Отчего же бы имъ меня не полюбить?

— Не знаю, а не полюбили: скажу тебѣ больше: они даже сердятся; не знаю на кого, а сердятся.

— Вамъ это кажется.

— Нѣтъ. Вчера, помнишь, какъ насъ приняли у становаго? Лиза не показалась: значить, ее не пустили; это намекъ, чтобъ ты выбросилъ изъ головы женитьбу. Хозяинъ явился съ подвязаннымъ глазомъ, говорить: „оса укусила“; хозяйка перевязала щеку и жаловалась на зубы: это для того, чтобъ не разговариваться... Худыя примѣты! Петръ Петровичъ, когда ѣдетъ мимо двора, всегда отворачивается—раза два я видѣлъ; а ея превосходительство, поравнявшись съ воротами, даже плюнетъ.

— Можетъ ей въ ротъ муха попала.

— Нѣтъ, закричала Аграфена Львовна:—это на нашъ счетъ. Генеральша даромъ не плюнетъ.

— Для чего же, если сердиты на васъ и не хотятъ смотрѣть на нашъ домъ, они присылаютъ просить къ вамъ разныхъ вещей: третьягодня, генеральша просила ван-

ны, купаться; вчера Иванъ Ивановичъ бралъ нашего мальчика обрывать въ саду вишни, и даже сегодня утромъ Петръ Петровичъ прислалъ занять на три дня охотничьяго сапога: одинъ, дескать, у него мыши съѣли.

— Неопытность, Сеня! отвѣчалъ старикъ. —Это и показываетъ, что они на насъ сердиты; а если не дадимъ, тутъ настоящая ссора. Хочешь, мы сдѣлаемъ опытъ: пошлемъ мальчика просить чего-нибудь у сосѣдей. Эй, Ярошъ!

Извѣстный намъ мальчикъ, въ пестрядиной курткѣ, передъ Иваномъ Яковлевичемъ.

— Слушай, Ярошъ! садись на Камбалу и поѣзжай вверхъ по Синеводу; кланяйся отъ меня Петру Петровичу, да попроси на два часа краснаго жилета: для скройки, молъ, нужно. Слышишь?

— Слышу.

— Послѣ заѣзжай къ Ивану Ивановичу, и попроси пару лошадиныхъ подковъ только въ городъ съѣздить. Послѣ кланяйся Ѳедору Ѳедоровичу и займи печеную булку: у насъ, молъ, выпекутся къ вечеру, такъ принесемъ. У генеральши спроси листочекъ бумаги: письмо, скажи, въ Петербургъ писать нужно; а оттуда заверни къ становаму: нѣтъ ли у него ружейнаго кремня. Слышишь?

— Слышу.

Черезъ два часа возвратился Ярошъ съ пустыми руками.

— Ну, что? спрашивалъ Иванъ Яковлевичъ.

— Ничего.

— Что Петръ Петровичъ?

— Сказали, что и сами умѣютъ смѣяться въ красномъ жилетѣ.

— Тутъ что-то не такъ! врешь. А Иванъ Ивановичъ?

— Ей богу, такъ. А Иванъ Ивановичъ сказали, что всѣ подковы избили, посылая за лекаремъ.

— А Ѳедоръ Ѳедоровичъ?

— Сказали: у меня булка не выпечена; боюсь, не пролѣзетъ въ петербургское горло.

— А генеральша?

— Выбрали меня и васъ, дурнями называли и сказали: а дзуски имъ на моей бумагѣ съ меня портреты писать.

— А становой?

— Становой сказалъ: кремня самому нужно. Поѣду искать разбойниковъ, что ограбили вашего панича, такъ для безопасности въ свое ружье нужно.

— Хорошо, ступай себѣ. Вотъ видишь, Сеня: всѣ противъ насъ! Есть какая-то штука, да я и самъ не понимаю ничего.

Должно быть, не ея ли превосходительство на тебя гнѣвается. Ты ее обидѣлъ.

— Я? чѣмъ?

— А называлъ вороною! И охота же тебѣ ссориться съ такою почетною женщиною; отъ нея все станется: она такихъ людей сводила и разводила, не намъ чета; а мы что для нея? Захочетъ—по міру пустить, захочетъ—воду запрудить въ Синеводѣ и не дастъ тебѣ напиться.

— Да развѣ я ее въ глаза называлъ вороною? Я говорилъ только, что ея голосъ похожъ на вороній, и то говорилъ между пріятелями.

— Молодъ ты, Сеня! Ничто такъ не расходуется скоро, какъ секретъ между пріятелями на Синеводѣ.

Вошелъ живописецъ.

— Здравствуйте, Иванъ Яковлевичъ. А я вотъ это къ вамъ. Пускай, что хотятъ говорить, а я люблю васъ. Вотъ принесъ показать вашему сыну новую картину; нельзя сказать, чтобъ отличная, а все-таки очень хороша. Первая картина не съ натуры, а своя фантазія. Посмотрите; цвѣтокъ тюльпанъ, въ тюльпанѣ лежатъ три яичка, ихъ снесъ жаворонокъ, ошибся: думалъ, что тюльпанъ гнѣздо, а самъ летаетъ вокругъ и поетъ...

— Умудрился! сказалъ Иванъ Яковлевичъ:—и жаворонокъ похожъ; все есть: и крылья, и лапки, и носикъ; видно, что птица, и ротъ раскрытъ, словно поетъ.

— Поетъ, поетъ...

— Немного ненатурально, прибавилъ Семенъ Ивановичъ.

— Ужъ молчите! самъ я знаю, да что вы прикажете дѣлать? Нѣтъ въ здѣшнихъ мѣстахъ хорошаго бакану. Лѣтъ пять тому назадъ, мнѣ было вывезъ изъ Кишенева одинъ офицеръ маленькій кусочекъ бакану; признаться, баканъ былъ! Я нарисовалъ имъ картины четыре, да грѣхъ попуталъ: какъ-то заночевалъ у ея превосходительства, всталъ поутру—нѣтъ бакана; украли горничныя на румяна... чтобъ имъ почернѣть! Я уже все собираюсь васъ попросить, если, дастъ Богъ, поѣдете въ Петербургъ, вышлите мнѣ бакану, хоть рубля на два; я четвертакъ вамъ дамъ впередъ, а остальные вышлю по почтѣ, какъ получу вещь. А то, не повѣрите, мы здѣсь покупаемъ у жидовъ и дорого, и дрянъ: совсѣмъ синій, едва замѣтна краснота; возьмешь иногда пышную столитвенную розу, срисуешь, прикроешь жидовскимъ баканомъ—и выйдетъ не роза, никакого сходства нѣтъ съ розою, а такъ, будто бы ціонъ или что другое свекловичнаго цвѣта.

— Хорошо; я напишу къ моему пріятелю, даже можно сказать, къ другу, просто къ

моему единственному, задушевному другу, придворному живописцу г-ну Тердесеню: онъ вамъ пришлетъ самаго лучшаго бакану, самаго свѣжаго; тамъ все курьеры привозятъ...

— На то столица! Когда же вы напишете къ Тердесеню?

— Къ г-ну Тердесеню я написалъ бы хотъ сегодня; но вы повремените почтеннѣйшій: онъ теперь въ Италіи, то-есть въ Римѣ.

— Тамъ, гдѣ, говорятъ, папа?

— Да. Такъ вы повремените немного; онъ поѣхалъ на самое короткое время, на курьерскихъ, по казенной надобности, снимать съ папы портретъ; онъ скоро возвратится; только я получу объ этомъ извѣстіе, сейчасъ же напишу къ нему, и будьте увѣрены, вы получите отличнѣйшій баканъ. Онъ мнѣ, по дружбѣ, пришлетъ безъ денегъ.

— Покорнѣйше васъ благодарю! и еще говорить о васъ худо... о такомъ человѣкѣ!...

— Кто? спросили въ одинъ голосъ Иванъ Яковлевичъ и Аграфена Львовна.

— Да такъ! пускай на меня сердятся, а я расскажу вамъ все. Вчера былъ я у Юліана Астафьевича Чурбинскаго; много было нашихъ, да, всѣ были наши, кромѣ вашего семейства; изъ Горохова было много, и самъ судья былъ.

— И судья?!

— Да, и судья; пріѣхалъ въ каретѣ шестернею, а карета, я вамъ скажу, словно гумигутомъ выкрашена, какъ золотая, такъ и горитъ. Я было спросилъ, отчего васъ нѣтъ? да какъ закричить на меня ея превосходительство: „знайте себя! и безъ него обойдемся—это бѣ-то безъ васъ“; я и замолчалъ.

Сѣли обѣдать. Судью посадили на первое мѣсто, возлѣ него ея превосходительство, а тамъ всѣ, всѣ сѣли. Хозяинъ не сѣлся, ходитъ вокругъ стола, потираетъ руку, и такъ что-то самъ не при себѣ, какъ будто что-то непорядочное сдѣлалъ, и людей совѣстится. Вотъ сѣли жаркое, начали подавать пирожное; топчется Юліанъ Астафьевичъ около судьи, и въ лицѣ перемѣнился, и слезы на глазахъ—всѣ даже замѣтили!

— Да полно вамъ переминаться! сказала хозяйиню ея превосходительство:—говорите ужъ судьѣ, что тамъ у васъ такое на душѣ сидитъ.

Всѣ посмотрѣли на Чурбинскаго, а онъ сдѣлалъ головою такъ, будто насильно проглотилъ что нибудь непріятное, сложилъ руки калачикомъ и почти со слезами началъ:—Вы у насъ судья, разсудите по законамъ мальчишку, молокососа, который для всего Синевода злѣе Засорина.

Вѣрно вамъ приснился Засоринъ, крикнулъ становой.

Молчите! не перебивайте! еще громче закричала ее превосходительство.

— Тотъ молокососъ, продолжалъ Чурбинскій:— описываетъ всю нашу страну самыми черными красками, кощунствуетъ, издѣвается и ругается надъ нами, женами и дѣтьми нашими, даже тревожить прахъ предковъ нашихъ для потѣхи празднаго народа, читающаго книги; единственно изъ корыстолюбія продаетъ насъ...

Кто же это? спросилъ судья.

Сынъ отставнаго почмейстера Лобко... Прошу съ нимъ поступить по законамъ, съ симъ пасквилянтомъ.

Вы имѣете доказательства?

Вотъ явная улика!

Тутъ Чурбинскій вынулъ изъ кармана книжку, толщиною, этакъ, букваря въ четыре, и подалъ ее судѣ.

Знаю я эту книжку, сказалъ судья:— да здѣсь, кажется, нигдѣ нѣтъ сочиненія Лобка.

— О! ужъ вы не говорите! закричала генеральша:— еще бы и подписался! Эти сочинители все, говорятъ, опишутъ неподобное, да на концѣ и поставятъ что-нибудь, сапоги или шапку, ихъ уже и прозвали за это какими-то псы... или... что жъ вы не говорите, г-нъ Тетрадъ?

Учитель поклонился и сказалъ:

Вотъ я и самъ упомянулъ, а что-то бранное... псовой домъ или псовой дымъ— не помню.

Положите и такъ, сказалъ судья:— гдѣ же здѣсь на насъ пасквиль?

Помилуйте? воскликнулъ Чурбинскій:— не только на меня, на весь Синеводъ, на весь гороховскій уѣздъ. Посмотрите: повѣсть *Памуля*. Съ перваго слова критика. Какъ можетъ быть повѣсть пѣтухомъ? Это явно вотъ на ихъ счетъ насмѣшка.

Именно на меня, сказалъ Иванъ Ивановичъ Пѣтуховъ:— а, кажется, я ему ничего и не сдѣлалъ!

— У насъ прекрасныя дражки: а у него нѣтъ— вотъ и злится, закричала генеральша.

— Что жъ! а дражки не украсть, купилъ на свои деньги.

— Здѣсь и на меня напечатано, сказалъ учитель:— и это неправда; иногда точно я пишу платкомъ въ танцахъ, когда жарко, но зачѣмъ писать, что я похожъ на латинскую букву S?

— Да какъ здѣсь напечатано, уѣздный учитель: а развѣ вы одинъ учитель въ уѣздѣ? сказалъ учитель:— огибала судья.

Еще бы написать мое имя и фамилию! когда была бы явная улика.

— А какъ меня отдѣляли! закричала генеральша.

— Неужели? спросилъ судья. — Вы читали?

— Нѣтъ, слава Богу, я не читаю этихъ безтолковыхъ книжекъ; спасибо, добрые люди прочитали, да растолковали, что на меня приходится... Называетъ просто вороною; а самъ порядочнаго зяблика не стоитъ... Прочитайте тамъ, Юліанъ Астафьевичъ... гдѣ про меня писано... Э! какіе вы неспорные, а еще мужчина!

— И на меня! и на меня! и на меня написано! кричали со всѣхъ сторонъ гости.

— А болѣе всѣхъ на меня, сказалъ, вадыхая, Юліанъ Астафьевичъ:— а что я сдѣлалъ этому злокозненному человѣку? Видитъ Богъ, всегда къ нему былъ расположенъ какъ къ наилучшему изъ друзей, питалъ къ нему самую нѣжную привязанность—и вотъ вамъ благодарность.

— Злодѣй! ворчали гости:— утопить его въ Синеводѣ!

— Гдѣ же вы тутъ себя узнаете? спросилъ Чурбинскаго судья.

— Еще и спрашиваете! Будто вы не видите: вотъ Фока Фоковичъ Подковкинъ— это я.

— Вы не Подковкинъ, не Фока Фоковичъ?

— Да это я по поступкамъ...

— Здѣсь описанъ самый низкій, безхарактерный человѣкъ, взяточникъ.

— То-то и обидно—все неправда! пишетъ, будто я подаю женѣ подъ ноги скамеечку.

— А если бы и такъ, что же тутъ дурного?

— Неправда—вотъ что обидно!

— Это написано на тотъ счетъ, закричала генеральша:— будто у Юліана Астафьевича людей нѣтъ, подать некому—вотъ въ чемъ насмѣшка!

— Еще пишетъ, продолжалъ Чурбинскій:— будто меня жена водить за носъ... Ну, скажите, господа, кто это видѣлъ? Развѣ я лодка? Душа болитъ—такъ обидно!

— Да не спорьте съ нимъ, сказала судѣ жена Чурбинскаго:— это съ него списать портретъ, ей-богу съ него, и принялась хотать.

— Изъ уваженія къ вамъ и синеводцамъ, я не вѣрю, говорилъ судья Чурбинскому.

— Такъ знайте же, отвѣчалъ онъ съ сердцемъ:— тутъ и на васъ есть, да еще и съ намѣреніемъ насъ досорить. Смотрите: пишетъ, будто вы умерли, а я на ваше мѣсто избралъ судью.

— Разувѣрьтесь! Видѣть молодого Лобко не было здѣсь болѣе десяти лѣтъ: откуда бы онъ могъ знать ваши нравы, привычки, ваши отношенія? Это вадорь!

— Говорите вы, вадорь! Слышали вы, жена съ васъ портретъ не выкалываетъ, закричала генеральша. — Я справилась на

почтѣ: три раза въ годъ, говорятъ, отсылаетъ старикъ Лобко къ сыну въ Петербургъ по толстому письму. О чемъ бы ему писать такъ часто и такъ много? Не графы какіе! Старикъ вышелъ изъ ума и пишетъ все сыну про насъ: тотъ обманулъ того, у того сбѣжала дочка, а у этого денегъ нѣтъ ни гроша, и все вотъ этакое, а сынъ радъ, описываетъ земляковъ: безъ того опухъ бы съ голоду.

— Охъ, не говорите! сказала сосѣдка въ черномъ чепчикѣ:—я подозрѣваю тутъ штуки Аграфены Львовны: она прехитрая женщина.

-- Обое рябое! отвѣчала генеральша.

Еще, можетъ быть, и больше что-нибудь говорили бы, да встали изъ-за стола. Судья сейчасъ же уѣхалъ. Тутъ принялись ругать судью и рѣшили, что онъ оглуфѣлъ, живя долго въ Петербургѣ, а генеральша даже начала подозрѣвать, что онъ соучастникъ Семена Ивановича. Послѣ обѣда немного отдохнули, и за чаемъ опять принялись ругать все ваше семейство.

— И вѣрно меня больше всѣхъ? спросилъ Семенъ Ивановичъ.

— Не могу сказать, чтобъ больше; вамъ сильно досталось, но и батюшкѣ вашему не меньше; а какъ подумаешь, то и матушку не обдѣлили. Дѣло щекотливое и трудное, рѣшить не берусь... Ругали васъ, ругали, а послѣ начали придумывать вамъ—собственно вамъ, Семенъ Ивановичъ—вашей особѣ достойное наказаніе, и на васъ самъ Юліанъ Астафьевичъ сочинилъ стихи. Я, говоритъ, и самъ учился не хуже его, и самъ напишу и напечатаю.

-- Стихи? вы не помните?

— Гдѣ мнѣ ихъ помнить! А понялъ я, что очень обидное, на какой-то Парнасъ, какой-то пегасъ ѣхалъ, и вы родились будто бы... Обидно сказано... Я было и самъ хотѣлъ принять ихъ на свой счетъ, оттого, что пріѣзжалъ къ Чурбинскому на пѣгой лошади, да Богъ съ ними, берите все на себя!

Иванъ Яковлевичъ и Аграфена Львовна сидѣли какъ громомъ пораженные вѣстью живописца. Семенъ Ивановичъ хохоталъ.

— Ахъ, онъ проказникъ! да онъ на меня не сочинилъ стихи, а передѣлалъ чужіе: я ихъ слышалъ гдѣ-то на станціи въ Тульской губерніи.

— Чужіе ли, свои ли, а какъ напечатаетъ на тебя, такъ худо будетъ, сказалъ Иванъ Яковлевичъ.

— На нихъ... на нихъ! я самъ видѣлъ, такъ и подписано: стихи Лобченку, да еще, вмѣсто Ч, поставилъ Юліанъ Астафьевичъ Щ. Такъ и читаетъ Лоб-щенку: этимъ, го-

ворить, я намекаю на его гадкую молодость.

— Ахъ, онъ уродъ! закричалъ Иванъ Яковлевичъ.

— Оставьте его, папаша. Я знаю въ Петербургѣ одного молодого литератора, на котораго пишутъ по три эпиграммы въ день, а онъ только смѣется да толстѣетъ...

-- Вотъ до чего я дожила! сквозь слезы говорила Аграфена Львовна:—мало, что безчестятъ меня, издѣваются надъ моимъ рожденіемъ, дворянскаго сына называютъ щенкомъ...

— Ну, прощайте! Видите, какую я вамъ принесъ вѣсточку, сказалъ, откланиваясь, живописецъ:—смотрите жъ, не забудьте за это достать баканцу...

ГЛАВА XII.

съ разлукою.

Прости! Хранимый небомъ.
Не разлучайся, другъ,
Съ свободою и Фебомъ.

А. Пушкинъ.

На петровъ-день въ Гороховѣ была ярмарка. Гороховцы, синеводцы и жители другихъ смежныхъ областей толпились въ лавкахъ, кланялись, обнимались, болтали о всякой всячинѣ и рѣшительно мѣшали купцамъ торговать. Иванъ Яковлевичъ началъ прицѣпляться къ желтой китайкѣ, а Семенъ Ивановичъ, отъ скуки, пошелъ гулять по краснымъ рядамъ. Онъ прошелъ изъ конца въ конецъ всѣ ряды и, встрѣчая вездѣ непріязненные взгляды, вышелъ изъ-подъ холстиннаго навѣса и сталъ пробираться между мѣняльными столиками въ бакалейныя лавки, гдѣ обыкновенно продаются пряники, свѣчи, мыло и черносливъ. Вдругъ знакомый голосъ закричалъ сзади его: „Мое почтеніе, ваше сіятельство!“ Семенъ Ивановичъ оглянулся: у мѣняльнаго столика стоитъ московскій антикварій, въ синемъ сюртукѣ и синемъ картузѣ съ назатыльникомъ, держитъ въ зубахъ старую серебряную монету, кланяется ему и говоритъ: „Очень радъ, что имѣю честь васъ видѣть, сіятельный графъ!“

— Здравствуйте, разсѣянно отвѣчалъ Семенъ Ивановичъ и прибавилъ шагу.

— Погодите, графъ! вы опять хотите исчезнуть какъ изъ Москвы. Вотъ любопытная вещь, должно быть, монета Рюрика: вся затерта, только едва примѣтна буква Р., далѣе можно замѣтить 8... и еще будто есть на концѣ ъ. Весьма основательно—

здѣсь было цѣлое слово Рѹрикъ, все равно что и Рюрикъ... Куда же вы? не уходите! Въ Москвѣ тогда вся пслиція поднялась за вами. А я вотъ поѣхалъ по Россіи подбирать штучки, знаете, по нашей части...

Но Семень Ивановичъ исчезъ между народомъ, прямо почти прибѣжалъ на квартиру, и началъ, съ досады, ѣсть ветчину.

Часа черезъ два пришли Иванъ Яковлевичъ и Аграфена Львовна, блѣдные, разстроенные.

— Что ты надѣлалъ, Сеня? спросилъ Иванъ Яковлевичъ.

— Ничего.

— Какъ ничего? Въ городѣ странные слухи, вся полиція на ногахъ.... Тебя подозреваютъ...

— Въ чемъ?

— Не знаю. Я слышалъ, говорятъ, будто становой мѣнялъ синюю ассигнацію у стола, гдѣ человекъ подозрительной наружности искалъ какихъ-то старыхъ денегъ. Вдругъ ты показался—и вы заговорили съ нимъ Богъ-знаетъ о чемъ; подозрительный человекъ тебя величалъ графомъ, говорилъ о полицейскихъ поискахъ за тобою въ Москвѣ.. Говорятъ, будто этотъ странный человекъ собираетъ какую-то шайку... Генеральша при мнѣ совѣтовала городничему захватить тебя, говоря: „можетъ-быть, это не Лобченко, а самъ Засоринъ...“

— Успокойтесь; это пустяки.

— Какіе пустяки! Посадятъ тебя подъ арестъ, осрамятъ мою сѣдую голову! Хотя послѣ и выпустятъ, а стыда вѣкъ не воротить. Послушай, Сеня, Богъ тебя знаетъ, что у тебя на умѣ. Если ты и вправду недобрый человекъ, бѣги поскорѣе, спасу тебя...

— Бѣги, дитя мое! вопила Аграфена Львовна.

— Увѣряю васъ, мнѣ нечего бояться.

— Вѣрю, Сеня, хочу вѣрить, а самому что-то не вѣрится: даромъ народъ говорить не станетъ. Глазъ народа — глазъ Божій; отчего на меня ничего не говорятъ подобного? Знать не хочу, Сеня, что у тебя на душѣ, а боюсь за тебя... И явился ты странно, Богъ тебя знаетъ съ какимъ человекомъ; и обычаи, и привычки у тебя все не наши, какія-то странныя, и все такъ неладно пошло у меня съ сосѣдами со дня твоего пріѣзда... Намъ съ тобою не жить... Бѣги, Сеня! Засудятъ тебя; чего добраго, что откроется, и мнѣ безчестно принесешь; да и что тебѣ у насъ дѣлать? Служить въ Гороховѣ ты не хочешь, жениться и жить съ нами тоже, да за тобою никто и дѣлушки не выдастъ... Ты не покоишь, а смущаешь мою старость...

— Пожалуй, я уѣду въ Петербургъ. Дайте денегъ... Признаться, и мнѣ у васъ наскучило.

— Сеня, Сеня! не грѣхъ тебѣ такъ говорить? рыдая, сказала Аграфена Львовна.

— Денегъ, братъ, я тебѣ на прогоны дать не могу; нѣтъ: на ярмаркѣ продалъ пудовъ сто муки, заплатилъ подати и всего осталось пятьдесятъ рублей; но я тебя отправлю на эти деньги. Сегодня утромъ прискакалъ изъ Петербурга въ городъ Подвишни знакомый мнѣ курьеръ; онъ часто ѣзжалъ, когда я былъ еще почмейстеромъ, и по старой пріязни свезетъ тебя въ Петербургъ. Подвишни отъ насъ пятьдесятъ верстъ; значить, курьеръ къ вечеру будетъ здѣсь обратно. Поѣзжай, Сеня, домой, возьми свои вещи; а я буду гулять около станціи, чтобъ не пропустить курьера; поѣзжай скорѣе въ нашей бричкѣ, да надѣнь мою шапку и шинель, чтобъ тебя не узнали.

Вечеромъ курьерская тройка остановилась у воротъ квартиры Ивана Яковлевича. Курьеръ, согласившійся за пятьдесятъ рублей довезти Сеню до Петербурга, въ росхмѣль сидѣлъ на повозкѣ и кричалъ:

— Гдѣ жъ вашъ молодецъ? подавайте его поскорѣе! время дорого...

— Прощай, Сеня! говорила, рыдая, Аграфена Львовна и надѣвала ему на шею серебряный крестикъ.

— Прощай, Сеня! началъ Иванъ Яковлевичъ: — мы съ тобою... ты... И не договорилъ за слезами.

Семень Ивановичъ вскочилъ въ повозку, свистя:

Мальбругъ въ походъ поѣхалъ...

Лошади рванули, колокольчикъ загремѣлъ и залился въ разные тоны, и вскорѣ изъ виду скрылась курьерская тройка.

Долго смотрѣли старики на пустую улицу, и тихо, безмолвно обнялись.

Статская совѣтница два мѣсяца рассказывала въ Гороховѣ и въ шести смежныхъ уѣздахъ, что Семена Ивановича схватили на ярмаркѣ и увезли Богъ-вѣсть куда съ фельдгеромъ.

ГЛАВА XIII.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ, ДАЖЕ ВЕЗЪ ЭПИГРАФ.

Недавно мнѣ случилось быть на вечерѣ у одного дѣловаго человека. Былъ вечеръ, какъ обыкновенно бываютъ вечера:

въ одной комнатѣ играли въ преферансъ, въ другой танцевали подъ фортепіано, въ третьей ничего не дѣлали; въ кабинетѣ хозяина курили. Все шло своимъ порядкомъ: юноши и старики любезничали, дамы кокетничали, дѣвушки старались не показывать никакого знака жизни... Я ушелъ въ кабинетъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Семенъ Ивановичъ, выпросилъ у какого-то прапорщика пахитоску, раскурилъ ее и развалился на пате.

— Весело вы провели время въ деревнѣ? спросилъ Семена Ивановича старичокъ-чиновникъ.

— Чрезвычайно-весело! Одно удовольствіе ѣзды чего стоитъ!

1841 г.

— Признаюсь, я не испыталъ этого удовольствія: дальше Павловска въ жизнь свою нигдѣ не бывалъ.

— О, вы много потеряли! Вояжъ обворожителенъ... разумѣется, вояжъ съ удобствомъ, съ комфортомъ...

— Такъ, такъ, я самъ думалъ... А житье провинціальное?

— Житье чудное! Знаете, такое дружество, радушіе... очень пріятно! Не хвастая вамъ скажу, я прожилъ въ уѣздѣ будто въ своемъ семействѣ... Тамъ балъ, здѣсь охота, въ другомъ мѣстѣ рыбная ловля—и это все безъ малѣйшаго этикета... Жалѣйте, если вы никогда не испытали этого!

— Истинно жалѣю! Счастливецъ вы, Семенъ Ивановичъ!...

П Е Р С Т Е Н Ь.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЫЛЬ.

I.

Если вы когда-нибудь прохаживались на Васильевскомъ острову по разнымъ линиямъ, отъ 5-й до 20-й включительно, между Большимъ и Среднимъ проспектомъ, то непременно замѣтили огромный каменный домъ, домъ, какъ слѣдуетъ быть порядочному дому: съ крышею, окнами и воротами. Пройдя ворота, вы увидите на дворѣ старый деревянный флигель; во флигелѣ двое дверей; идите налево, по крутой деревянной лѣстницѣ, подымитесь во второй этажъ и когда упретесь въ дверь, обитую войлокомъ, отворите ее, отворите смѣло; вы войдете въ маленькую, опрятную кухню; отдайте свою шинель кухаркѣ—если вы будете въ шинели—и пожалуйте въ слѣдующую комнату, тутъ останьтесь. Если бы вы были одарены страстью къ путешествію, какъ покойный Кукъ или Дюмонъ Дюрвиль, и тогда вы должны бы здѣсь остановиться: далѣе идти не куда; вся эта квартира состоитъ изъ кухни и другой комнаты въ родѣ гостиной, спальни, кабинета, будуара и проч. Не то, чтобы дверь, ведущая далѣе, была заколочена, а

просто даже двери нѣтъ—такъ уже состроена, такой архитекторъ былъ. Въ комнаткѣ, въ которую вы пожаловали, стоитъ столъ и четыре стула, въ углу кровать съ кисейными занавѣсками; на окнахъ герани и кактусы, подъ столомъ нѣсколько картонокъ; на столѣ лежатъ ножницы, игольникъ, узенькій серебряный наперстокъ, рекомендующій очень съ выгодной стороны пальчикъ своей хозяйки, разные обрѣзки батиста и тюля. На стѣнѣ виситъ небольшое зеркало; подъ нимъ стоитъ небольшой столикъ, подъ этимъ столикомъ фаянсовый рукомойникъ и на столикѣ помада Герке въ 50 копеекъ, мѣдный гребешокъ, щеточка и бутылочка одеколона—вотъ и все. Развѣ, при усиленномъ вниманіи и при самомъ подозрительномъ осмотрѣ, можетъ быть, вы замѣтите изъ-подъ кровати торчащій носокъ стараго башмака. Хозяйки квартиры теперь нѣтъ дома: она понесла работу въ модный магазинъ. Впрочемъ, все-равно, и заглазно я могу васъ познакомить съ нею. Здѣсь живетъ Амалія Карловна—другаго имени ей нѣтъ, просто Амалія Карловна—и только: такъ ее называютъ и дворникъ, и въ мелочной лавоч-

кѣ, и въ домѣ всѣ такъ ее называютъ, и здѣсь, и тамъ, и вотъ тутъ—словомъ, вездѣ она извѣстна подъ этимъ именемъ. Амалия Карловна, ревельская уроженка, наперекоръ всѣмъ радикальнымъ понятіямъ о нѣмцахъ, имѣла темные волосы, круглое, румяное личико, бѣлые, ровные зубки, была небольшого роста и превеселаго, добраго характера. Въ самой ранней юности (теперь ей 20 лѣтъ) она испытала какое-то несчастіе, послѣ чего Амалии Карловнѣ стало худое житіе въ Ревелѣ, и она отправилась въ городъ мелочныхъ лавочекъ и жареныхъ рябчиковъ, въ добрый городъ Петербургъ. Петербургъ, всегда умѣющій цѣнить хорошія качества, принялъ молоденькую нѣмку благосклонно; она скоро нашла себѣ постоянную работу въ модномъ магазинѣ, работала иногда на сторону и жила безбѣдно въ извѣстной вамъ квартиркѣ. Въ новый годъ и Свѣтлое Христово Воскресеніе давала по двугривенному на водку и брала въ лавочкѣ на наличныя деньги, чѣмъ составила себѣ прекрасную репутацію. Лѣтомъ, по воскресеньямъ, гуляла на Крестовскомъ, а зимою всякую субботу плясала до обморока въ клубѣ Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ, на Вознесенскомъ проспектѣ.

Вы, вѣроятно, бывали лѣтомъ на биржѣ. Да, да! вы именно не разъ бывали: кто изъ порядочныхъ людей не былъ тамъ? Избѣгая недоразумѣній, я долженъ вамъ сказать, что говорю не о той биржѣ, гдѣ ѣдятъ устрицы, то-есть не о лавкѣ Елисѣева съ братіею, а о прелестной таможенной пристани, гдѣ разгружаются корабли—это мѣсто я называю биржею, а лавки, гдѣ ѣдятъ устрицъ, пьютъ англійскій портеръ и проч.—биржевыми лавками. Если вы со мною не согласны, я не спорю и оставляю вамъ полную свободу называть вещи, какъ вамъ болѣе нравится, но я, говоря о пристани, скажу: биржа. Я знаю, что вы бывали на биржѣ и любовались прекраснымъ видомъ голубой Невы и широкой гранитной набережной, у которой толпятся сотни кораблей, въ разноцвѣтныхъ флагахъ; любовались шумомъ и тревогою торговой дѣятельности, и даже, глядя на все это, быть можетъ, написали и напечатали какое-нибудь нравственно-сатирическое разсужденіе о *златѣ*, какъ о пружинѣ, приводящей въ движеніе *презрѣнную толпу*. и въ тотъ же день отправились къ *случайному* чело-вѣку поклониться о *тепломъ мѣстѣ*. Я говорю: „можетъ быть“, оттого, что это бываетъ... Но отступленія въ сторону! Любуясь красивою биржею, вы не могли не замѣтить людей, перевозящихъ товары на широкихъ, низенькихъ тележкахъ съ ко-

раблей въ магазины людей, одѣтыхъ въ длинные темнозеленые сюртуки съ отложными воротниками свѣтлозеленаго бархата, людей, которыхъ, кромѣ Васильевскаго острова, нигдѣ не встрѣчаете, а на островѣ они слынутъ подъ именемъ артельщиковъ. Въ городѣ Петербургѣ Васильевскій островъ образуетъ особенный городъ, а въ городѣ Васильевскомъ острову артельщики составляютъ особенный свой міръ, имѣютъ свои правила, нравы и обычаи. Это сословіе очень оригинально; когда нибудь, на досугѣ, я вамъ разскажу о немъ много занимательнаго.

Живя на Васильевскомъ острову, недалеко отъ биржи, я каждое лѣто съ удовольствіемъ смотрѣлъ на артельщиковъ, когда они, передъ вечеромъ, веселою толпою выходили изъ рѣшетчатыхъ воротъ таможеннаго двора и, шутя и разговаривая, брели по домамъ. Давно это было, но я и теперь еще очень хорошо помню одного молодца, который съ нѣсколькими своими товарищами каждый вечеръ во все лѣто проходилъ мимо моихъ оконъ къ Тучкову мосту. Какъ теперь, гляжу на его открытое лицо, съ большими голубыми глазами; русыя кудри лежали равною скобкой подъ круглой пуховой шляпой; онъ былъ высокъ ростомъ, широкъ въ плечахъ, настоящій русскій парень, красавецъ, лѣтъ въ девятнадцать. Товарищи называли его Васька Ивановичъ.

II.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ въ городѣ Петербургѣ какъ-то случилась хорошая погода и стояла постоянно съ утра до вечера цѣлый день. Къ счастью, этотъ день былъ воскресенье. Департаменты закрыты, магазины тоже: гуляй—не хочу. Петербургская сторона оживилась; пестрыя толпы народа (выражаясь возвышеннымъ слогомъ одного почтеннаго историка) съ шумомъ и яростію наводнили всѣ возможные переулки и улицы, ведущіе къ Крестовскому острову. На Крестовскомъ гремѣлъ оркестръ тирольцевъ, пѣли пѣсенники какого-то армейскаго полка; ученая обезьяна ѣздила верхомъ; частный франтъ, раздушенный, распахнутый, развитой въ прахъ, показывалъ народу свое новое платье, бѣлыя перчатки и бѣлые зубы; шустера пили пиво, курили сигарки; цвѣтныя дамскія плава и шляпки мелькали въ рошѣ. Было очень весело! Но какой-то хитрый штукмейстеръ, изъ нѣмцевъ, обѣщалъ вечеромъ пустить на прудѣ у трактира огненнаго лебедя и пуншевую чашу изъ огня—и все это безъ гроша, такъ, единственно изъ добродушія, желая

потѣшить почтенную публику, ради прекрасной погоды. Какъ послѣ этого не веселиться?

Какой бы ни былъ веселый день, а все таки пройдетъ къ вечеру, говорятъ умные люди. Народъ шумѣлъ, гулялъ, суетился, а между тѣмъ солнце зашло и сумерки вечера налетѣли на Крестовскій островъ; бѣлый паръ поднялся отъ воды, на траву пала холодная роса; женщины стали прилежниѣ окутываться большими платками, мужчины начали застегивать куртки и фраки; много народу отправилось по домамъ, а еще больше собралось у пруда, около трактира, въ ожиданіи фейерверка.

Прудъ, на которомъ обѣщали показать огненного лебедя и таковую же чашу, совѣстно назвать прудомъ; онъ такъ-себѣ прудокъ или прудикъ, а по выраженію одного храбраго капитана—просто прудикшко. Это небольшое количество зеленой стоячей воды, обнесенное со всѣхъ четырехъ сторонъ землянымъ валомъ, поросшимъ травой, на которомъ помѣщался во время фейерверка цѣлый амфитеатръ головъ всякаго пола, возраста и званія. Будъ этотъ прудъ въ Херсонской губерніи, сколько бы завелось въ немъ лягушекъ самой отличной породы! а здѣсь только что на немъ штуки представляютъ. Справедливо сказано: что городъ—то норовъ.

Уже довольно стѣмнѣло; народъ густою толпой стоялъ на крутыхъ берегахъ прудика. Васька Ивановичъ былъ въ числѣ любопытныхъ и сталъ у самой воды; надъ нимъ возвышалась цѣлая пирамида людей. Ждутъ—а ничего не видно; вотъ, кто побойчѣе, поразвязнѣе, началъ хлопать точъ-въ-точъ въ райкѣ передъ поднятіемъ занавѣсы; остроты насчетъ фокусника сыпались со всѣхъ сторонъ; но показались *выновники торжества*: небольшой, худенькій человѣкъ, въ сѣрой курткѣ и кожаномъ картузѣ—и всѣ утихли, даже стало слышно, какъ земля, осыпаясь изъ-подъ ногъ зрителей, падала въ воду, и кто-то густымъ басомъ вполголоса сказалъ: *извините-сь!* Нѣмецъ принесъ подъ-мышкою двѣ дощечки, пустилъ ихъ на воду, привязалъ къ нимъ что-то, потомъ вынулъ изъ кармана сѣрную спичку, быстро дернулъ ею по рукаву своей куртки—спичка вспыхнула и погасла. Нѣмецъ не оплошалъ: выхватилъ другую—и эта погасла, третью, четвертую... десятую—не горятъ: спички отсырѣли, и нѣмецъ съ сердцемъ бросилъ въ прудъ всю коробочку.

— Штука первая! громко сказала вверху надъ Ваською Ивановичемъ какая-то усатая голова. Толпа захохотала.

— Не кричите такъ громко! проговорилъ нѣжный дамскій голосокъ.

Между-тѣмъ какой-то франтъ подаль штукмейстеру раскуренную сигару. Нѣмецъ расшаркался, обдулъ на сигарѣ золу и началъ прижигать что-то на дощечкѣ, спущенной на воду: по временамъ вспыхивалъ порошокъ и опять въ ту же минуту погасалъ.

— Знать, доброе зажиганье отсырѣло, сказала въ толпѣ рыжая борода съ просѣдью.

— Это жаль! крикнула надъ Ваською Ивановичемъ усатая голова: чортъ возьми, обыкновенную пуншевую чашу я видалъ часто, даже держалъ въ рукахъ назадъ съ полчаса, а огненную—нѣтъ, и не слыхивалъ... не будь напечатано, не повѣрилъ бы. У насъ въ Костромѣ...

— Ахъ, Боже мой, какъ вы толкаетесь! тихо проговорилъ опять знакомый, нѣжный голосокъ.

— Экія претензіи! Стой, коли стоишь, матушка.

— Ахъ! стоять нельзя: трава росистая, такъ и скользятъ ноги.

— Больно нѣжна, сосѣдушка!

— Мейнъ Готъ! я упаду!... ахъ!

— Держитесь за землю.

Между-тѣмъ, пуншевая чаша загорѣлась и поплыла по водѣ.

— Bravo! закричала усатая голова и, чтобъ лучше рассмотреть фейерверкъ, подалась впередъ.

— Охъ! охъ! ой, тише! раздалось въ толпѣ, и лавина народа поѣхала по мокрой травѣ съ берега въ прудъ.

Передовой этого *отряда* была дѣвушка въ соломенной шляпкѣ; она схватилась за Ваську Ивановича и, будучи толкаема своими *послѣдователями*, влекла его въ воду. Артельщикъ былъ силенъ и проворенъ; онъ быстро отступилъ въ сторону, чѣмъ спасъ дѣвушку отъ непріятнаго купанья и открылъ свободную дорогу въ прудъ массѣ народа, которая не земедила обрушиться въ воду.

Въ это время огненная чаша, толкнутая отъ противоположнаго берега ногою хитраго нѣмца, приблизилась, озаряя красноватымъ свѣтомъ картину паденія. Васька Ивановичъ посмотрѣлъ подъ шляпку спасенной дѣвушки и обомлѣлъ отъ радости: это была миленькая, хорошенькая брюнетка, съ розовыми щечками, съ веселою улыбкою—словомъ: Амалія Карловна.

— Ахъ, какъ я перепугалась! говорила Амалія Карловна.

— Да-съ, отвѣчалъ Васька Ивановичъ.

— Я схватилась за васъ и стою, какъ статуя, такъ смѣшно!

- Должно быть, сверху толкали?
- Ахъ! эта усатая голова весь народъ перетопить.
- Ничего-съ.
- Отчего вы меня такъ крѣпко держите?
- Чтoby не уронить въ прудъ.
- Покорно благодарю; вы, такіе добрые.
- Не стойте благодарности.
- Пустите меня, я пойду домой.
- А лебедя не желаете видѣть?
- И лебедь будетъ такой глупый, какъ чаша!

Васька Ивановичъ посмотрѣлъ на чашу, которая плыла отъ него въ двухъ шагахъ, и точно увѣрился, что она была—плоска. Экой хитрецъ въ сѣрой курткѣ! онъ взялъ обрубокъ деревяной доски въ аршинъ въ квадратѣ, поставилъ на доску обыкновенную пустую плоску, въ плоску пятикопеечный фонтанъ, зажегъ фонтанъ, пустил все это на воду—и вышла огненная пуншевая чаша!

— Ваша правда, замѣтилъ Васька Ивановичъ:—сходства съ чашею весьма-мало; если и лебедь пойдетъ по такой части, то не стоитъ глазъ терять и гораздо пріятнѣе выпить въ это время чашку чаю. Смѣю просить васъ объ этомъ?

- Много благодарна! Я пила уже кофе.
- Извините-съ. Куда же вы?
- Прощайте, пора домой.
- А куда, смѣю спросить, лежитъ ваша дорога?
- На Васильевскій островъ.
- Очень кстати-съ, я могу быть вашимъ проводникомъ.
- Сами дорогу знаемъ.
- Извините-съ. Я сказалъ не въ обиду, а отъ того, что мнѣ путь на островъ; было бы по дорогѣ; а въ такое время вамъ однѣмъ идти...

Амалия Карловна посмотрѣла въ лицо красиваго артельщика и сказала только: "пойдемъ скорѣе".

Оставя лебедя, они переѣхали Невку. Нѣсколько минутъ спустя, я видѣлъ: по мостовой, гремя, прыгали дрожки и на дрожкахъ сидѣлъ Васька Ивановичъ съ Амалией Карловной. А одинъ мой пріятель—который, страстно любя сельскую природу, постоянно лѣтомъ каждый вечеръ гуляетъ на проспектахъ Васильевского острова, напоминающихъ ему деревенскіе сады—увѣрялъ меня, и даже божился, что видѣлъ собственными глазами, какъ молодой артельщикъ привезъ Амалию Карловну къ ея квартирѣ, провелъ ее до двери, обитой войлокомъ, и, вѣжливо расшаркавшись, возвратился домой.

III.

Часто посѣщалъ Васька Ивановичъ Амалию Карловну; то принесетъ ей съ биржи свѣжихъ апельсиновъ, то гранатъ, то коробку винограду; посидитъ у ней, потолкуетъ съ нею и идетъ домой, всякій разъ болѣе и болѣе очарованный прелестями милой нѣмочки... „Будь я голландскій кашеваръ, если не женюсь на этой быстроглазой!“ бывало думалъ Васька.—„Чѣмъ она не жена? И хозяйка, и мастерица, а учтивства и обхожденія—батюшки мои! хоть кого научить. Дастъ Богъ, станетъ старику моему полегче, попрошу благословенія—и къ вѣнцу. Ужъ какъ мы любимъ другъ друга!..

Пока Васька Ивановичъ ходилъ да думалъ—и лѣто прошло; навигація почти прекратилась; насталъ ноябрь. Часовъ въ шесть вечера Васька завязалъ въ платокъ полсотни грецкихъ орѣховъ и пошелъ къ Амалии Карловнѣ; уже его рука нашла въ потемкахъ дверь, обитую войлокомъ, какъ рѣзкій смѣхъ Амалии Карловны и мужской голосъ поразили его. Въ недоумѣніи, онъ не зналъ, что и подумать. Въ замочную скважину свѣтился изъ комнаты огонекъ. Василий пригнулся къ скважинѣ и смотритъ. Изъ кухни отворена дверь въ комнату Амалии Карловны, а противъ двери сидитъ она сама, веселая, свѣтлая, какъ утренняя зорька, а подлѣ нея... полно, такъ ли?—именно такъ! шевелится цвѣтная выпушка, серебряный эполетъ и шпажная ручка!... Орѣхи посыпались по лѣстницѣ, а вслѣдъ за ними быстрое орѣха скатился бѣдный артельщикъ... Выбѣжавъ на улицу, онъ тихо шелъ домой; ни одно проклятіе, которыми осыпають въ подобныхъ случаяхъ прекрасный полъ отчаянные, разочарованные поэты, не вырвалось изъ груди его—нѣтъ, бѣдный Васька шелъ и горько плакалъ. Хорошо, что было темно, а то, можетъ быть, вы бы засмѣялись, смотря на плакавшаго Ваську.

Черезъ недѣлю послѣ этого Васька Ивановичъ шелъ по седьмой линіи подъ-ручку съ Амалией Карловной. Какъ ихъ свела судьба—я не скажу, по самой естественной причинѣ: потому что не знаю; дѣло въ томъ, что они шли и разговаривали.

— Видишь, какой ты смѣшной, Вася, говорила Амалия Карловна: только надѣлалъ пустой тревоги...

— А я, признаться сказать, хотѣлъ было броситься въ Неву—такъ стало жалко, такъ горько!... А это вашъ двоюродный братецъ? И онъ точно вамъ братецъ?

— Еще и не вѣрить! У меня въ Ревелѣ есть, слава Богу, хорошая родня: и купцы, и военные, и всякіе; вѣкъ не забуду, какъ

прошлое лето меня провожали из Ревеля: Ганцъ со скрипкою, Шухтъ съ кларнетомъ, а дядюшка Петеръ взялъ бась, сѣлъ на повозку, да такъ съ музыкою верстъ десять и ѣхали ха-ха-ха!...

— Должно быть весело. Отчего же вы мнѣ прежде не сказали, что у васъ есть братецъ.

— Ахъ, Боже мой! развѣ я могла о комъ говорить, когда ты былъ со мною? сказала Амалия Карловна и такъ нѣжно посмотрѣла своими черными глазками на Ваську Ивановича. что онъ остановился и хотѣлъ было обнять ее, но, уважая будущую свою супругу, оглянулся кругомъ: назадъ шли, ругаясь двѣ бабы, сирова ѣхалъ извозчикъ, слѣва три мальчика дразнили собаку, а впереди какой-то чиновникъ ловилъ по улицѣ свои бумаги, которыя, выбившись изъ подъ его тяжелой руки, кружились и дурачились съ вѣтромъ. „Нехорошо“, подумалъ Васька Ивановичъ: „вездѣ народъ“ и не обнялъ Амалию Карловну. Шаговъ десять они прошли молча.

— Жалко-съ, что я не зналъ, сказалъ Васька Ивановичъ: — да и кому въ голову придетъ!... Братецъ долженъ быть добрый человекъ...

— Такой добрый!... вотъ мнѣ и перстенецъ подарилъ на память! и Амалия Карловна, поднявъ руку къ лицу Васьки Ивановича, сверкнула передъ нимъ перстнемъ съ фальшивымъ алмазомъ.

— Ого!... сказалъ артельщикъ.

— Да, дорогой перстенецъ, настоящій алмазъ.

— Зачѣмъ вы взяли отъ брата такую цѣнную вещь?

— Зачѣмъ, что онъ мнѣ далъ; развѣ я дура какая—отказываться отъ хорошаго?

— Такъ-съ. Оно, конечно, вещь, да у меня такой обычай страхъ не по природѣ, какъ кто вамъ что-нибудь дастъ кромѣ меня.

— Что же, мнѣ и отъ брата ничего взять нельзя? Я бѣдный человекъ, вашими орѣхами сыта не буду. У меня и матушка въ Ревелѣ есть, и сестренка есть: надобно имъ помочь.

— Вотъ видите-съ, вы уже и осерчали; я вамъ давно сказалъ: что мое—то и ваше; зачѣмъ же вамъ вещь, которая мнѣ не нравится? Бросьте ее, или отошлите сестрицѣ, только не носите.

— А сама буду безъ перстня ходить?

— Бросьте только, я вамъ достану еще лучшій.

— А какъ солжешь?

— Ей-богу, не солгу! Миръ, что ли?

— Тогда миръ, когда прийдешь перстень. Смотри, тутъ алмазъ въ большую горошину,

и безъ перстня глазъ не кажи, не пушу въ квартиру.

— Полноте, Амалия Карловна! я и самъ не приду безъ перстня; пусть меня волкъ съѣстъ, когда приду.

— Смотри жъ, я сегодня отошлю перстень въ Ревель!

IV.

На маломъ проспектѣ Васильевского острова, туда, за десятою линіею, царствуетъ необыкновенная простота нравовъ и обычаевъ, простота патріархальная; тамъ люди встаютъ рано, рано обѣдаютъ и въ 6-ть часовъ вечера ложатся спать: послѣ этого времени огонь въ домѣ—любопытный анекдотъ, чрезвычайное происшествіе; всегда держите пари, что онъ освѣщаетъ или великую радость, или великую горе, и вы останетесь въ выигрышѣ.

Была темная ноябрьская ночь. На колокольнѣ ударило часъ. Малый проспектъ давнымъ-давно спалъ; вездѣ тихо и темно, только въ деревянномъ одноэтажномъ домѣ между 10-й и 15-й линіею ярко свѣтился огонь. Какой-то запоздалый гуляка, остановясь противъ освѣщенного окна, ворчалъ: „рано разошлись, дураки! Еще нигдѣ не спать! Вотъ порядочные люди... должно быть именины...“ махнулъ рукою и пошелъ далѣе.

Прохожій не отгадалъ: въ домишкѣ точно не спали; но тамъ не было именинника. Въ освѣщенной комнатѣ лежалъ больной старикъ; длинная сѣдая борода закрывала грудь его и на ней сложенные крестомъ руки; лицо старика было блѣдно, глаза закрыты, и если бъ по временамъ не было слышно тяжелого дыханія больного, его можно было принять за мертваго; близкая кончина положила уже на него печать свою.

Недалеко отъ кровати больного сидѣлъ Васька Ивановичъ; склонивъ голову на небольшую столикъ, уставленный аптекарскими стеклянками, онъ закрылъ глаза, но не спалъ: тревожныя мысли не давали ему покоя; то пугала его болѣзнь старика-отца, то непомѣрная цѣна алмазовъ; онъ былъ у десяти ювелировъ и всѣ будто сговорились за алмазъ съ добрую горошину просить то чetyреста, то пятьсотъ рублей, а у бѣднаго артельщика всего сто рублей въ карманѣ. „Даже одинъ поджарый плутъ“ думалъ Васька, „запросилъ съ меня 750 рублей. Какъ-будто на Гороховой улицѣ алмазы дороже, или не такіе, какъ у другихъ! Я хотѣлъ было поторговаться, онъ и дверь показалъ! А надобно достать Амалию Кар-

ловнѣ алмазный перстень... хоть я и не офицеръ... Безъ перстня она меня и на глаза не пустить... она такая строгая... и такъ третій день не видѣла. Грустно!"

Мало-по-малу понятія смѣшивались, путались въ головѣ Васьки. Вотъ онъ женится; у него куча гостей на свадьбѣ; крикъ, хохотъ, пѣсни, играетъ музыка, гости пляшутъ, старикъ-отецъ въ бѣломъ кафтанѣ скачетъ въ присядку, какъ молодой парень; вотъ и она нѣжная, румяная, веселая, лежитъ на роскошной постели и смотреть ему въ глаза своими чудесными глазками, страстно жметъ ему руку; она улыбается и между ея каралловыхъ губокъ блестятъ бѣлые, ровные, какъ жемчугъ, зубы... Васька хочетъ поцѣловать этотъ очаровательный ротикъ... онъ наклоняется къ постели...

— Вася! сказалъ старикъ глухимъ голосомъ. Съ легкою дремотою вмигъ разлетѣлись всѣ мечты Васьки, и онъ, вздохнувъ, сказалъ покорнымъ голосомъ:

— Что прикажете, батюшка?

— Ничего, сынъ мой! ты не спишь?

— Нѣтъ, батюшка.

— Хорошо... я хотѣлъ поговорить съ тобою... Что это, море шумитъ или вѣтеръ?...

— Ничего нѣтъ, все спокойно...

— Да, спокойно... „Господи, это у меня въ головѣ шумитъ... Господи! даруй мнѣ, рабу твоему, зрѣти прегрѣшенія моя...“ И долго старикъ шопотомъ молился.

— Садись подлѣ меня, Василій, сказалъ больной, окончивъ молитву:—я хочу говорить съ тобою... здѣсь, на кровати, вотъ такъ, дай мнѣ руку, сынъ мой... хорошо. Ты уже не ребенокъ и долженъ твердо выслушать меня: духъ бодръ и твердъ, па-че каменія многоцѣннаго!... Человѣкъ не вѣдаетъ ни дня, ни часа, ни минуты, еже представится въ горнякъ, но все предчувствіе кончины тяготитъ меня... я не переживу этой ночи. Вчера для меня зашло на вѣки здѣшнее солнце... Да, сынъ мой! будь честенъ... читай святыя книги—и будешь жить, и умрешь спокойно... Дай мнѣ пить. Спасибо! Не плачь. Вася! будь твердъ духомъ... Я пожилъ свое... долженъ же быть вонецъ! земля еси и въ землю отойдешь!... Полно же плакать!... поцѣлуй меня, Василій, я передамъ твой поцѣлуй твоей матери; она давно уже тамъ!... ждетъ меня... Что останется послѣ моей смерти—все твое, кромѣ этого перстня: онъ пойдетъ со мною въ могилу... Тридцать лѣтъ онъ не сходилъ съ руки моей... въ немъ дорогой камень адамантъ... Похорони меня съ нимъ; не корысти ради хочу этого... тамъ ничего не нужно... Сними со свѣчки, темно въ комнатѣ. Что же ты не снимаешь?

— Снялъ, батюшка, и еще зажечь одну. Плохо, братъ, еле тебя вижу!... гасну!... Вотъ видишь, давно, еще я не былъ женатъ, я спасъ отъ смерти добраго моего барина—онъ мнѣ далъ отпускную и надѣлъ на руку съ своей руки перстень. Бывалъ я въ бѣдѣ, а никогда не рѣшался продать перстня; даже не снималъ его съ руки, и похороните меня съ нимъ... Старикъ опять началъ молиться. Васька плакалъ.

— Василій!

— Я, батюшка.

— Что это звонять?

— Часы бьютъ на колокольнѣ.

— А сколько?

— Два часа.

— Поди сюда.

— Я здѣсь батюшка.

— Дай мнѣ твою голову... Ладно!... Благословляю тебя во имя...

Слова старика прервались, его руки сдвинулись съ головы Васьки. Больной умеръ. Тихо было въ комнатѣ, только изрѣдка раздавались тяжелыя всхлипыванія плакавшаго Васьки.

Сѣрое осеннее утро освѣтило Васильевскій островъ. Въ деревяномъ домикѣ, на Маломъ проспектѣ, между десятою и пятнадцатою линіями замѣтно было необыкновенное движеніе; люди входили и выходили изъ него, о чемъ-то толкуя; гробовой мастеръ прибѣжалъ крупной иноходью, а вышелъ изъ воротъ ровнымъ, мѣрнымъ шагомъ, улыбаясь и потирая руки. Въ извѣстной намъ комнатѣ лежалъ на столѣ отецъ Васьки Ивановича. Смерть мало измѣнила его: то же спокойное, блѣдное чело, та же густая сѣдая борода, тѣ же длинныя, сухіе пальцы на рукахъ, только ни на одномъ изъ нихъ не было алмазнаго перстня; разныя бабы плакали и причитывали надъ покойникомъ, хотя онъ ихъ живой и въ глаза не видывалъ. Васьки не было.

Блѣдный, встревоженный почти вбѣжалъ Васька Ивановичъ къ Амалии Карловнѣ; она только что встала и, въ ночномъ чепчикѣ, бѣлой юбочкѣ, варила кофе.

— Ахъ! сказала Амалия Карловна:—какъ вы смѣли!...

— Ничего-съ. Вотъ вамъ перстень съ алмазомъ получше офицерскаго:—сказалъ Васька и, брося перстень на рабочій столикъ, въ изнеможеніи опустился на стулъ.

— Ахъ, какой хорошенькій! и это настоящій алмазъ?

— Развѣ я надувало какой? А тотъ гдѣ? отдали братцу?

— Братецъ надувало; я пошла къ брильянтику и спрашиваю, такъ изъ любопытства, что стоитъ этотъ перстень, а онъ

засмѣялся да говорить: „двадцать копеекъ, это бронза да стеклышко“ — вотъ какой надувало!

— Пошутить, стало быть.

— Какое пошутить! Хороши шутки! А твой перстенецъ такой миленькій, какъ ты, Вася!

Амалия Карловна стала обнимать и цѣловать Ваську Ивановича.

Чтобъ не повторять общихъ мѣстъ, я не скажу: *сердце человеческое — вещь неразгаданная*. Вы сами это знаете и не удивитесь, что вдругъ ласки Амалии Карловны стали противны Васькѣ: или онъ понялъ, что обязанъ ими алмазу, а проданныя чувства, какъ всѣмъ извѣстно, отвратительнѣе влюбчиваго старика и философствующаго ребенка, или голосъ совѣсти сильно говорилъ въ душѣ Васьки противъ нарушения словъ умиравшаго отца, и онъ смотрѣлъ на Амалию Карловну какъ на причину, заставившую его преступить отцовское завѣщаніе; или... Богъ знаетъ отчего, только гадко ему стало веселое лицо ея, возмутительныя ея рѣчи и ласки; онъ вырвался изъ ея объятій и пошелъ къ двери. Ему жаль стало перстня: „возьму и положу его въ отцовскій гробъ“, подумалъ онъ и сказалъ:

— Амалия Карловна, отдайте мнѣ перстень.

— А это зачѣмъ?

— Такъ, я вамъ принесу другой, получше.

— Это будетъ другой офицеръ: тотъ хоть стеклянный далъ, а ты никакого.

— Право, принесу лучшій.

— Принесешь лучшій, тогда этотъ получишь! Вотъ какой! подарилъ да и назадъ... Да я не таковская: подарено, такъ подарено, *послѣ смерти нѣтъ покаянія*,

— Что? что?... что вы говорите? сказалъ, блѣднѣя, Васька.

— Ничего, я говорю пословицу

— Да кто вамъ сказалъ это?

— Что? пословицу? всѣ говорятъ...

— Прощайте.

— Что съ тобою? Куда ты?

— Домой. У меня батюшка ночью умеръ.

— Вотъ что! прощай. А когда мы будемъ вѣнчаться?

Послѣдній вопросъ какъ морозомъ обдалъ бѣднаго артельщика; онъ быстро шелъ домой. Любовь къ Амалии Карловнѣ почти превратилась въ ненависть; совѣсть громко обвиняла его; онъ сознавалъ глубокое презрѣніе къ своему поступку и началъ презирать себя самого; онъ даже нѣсколько минутъ стоялъ у двери, боясь войти въ комнату, гдѣ лежалъ нѣмой, но грозный обличитель его кражи; войдя въ комнату,

не смѣлъ взглянуть въ лицо покойному отцу и, склонясь у ногъ его, горько рыдалъ!..

V.

Старика, похоронили, а съ нимъ вмѣстѣ и спокойствіе Васьки Ивановича. Настала ночь. Чуть закроетъ Васька глаза — является къ нему отецъ и кротко спрашиваетъ: — Гдѣ мой перстень?

— Не знаю, батюшка!...

— Худо, Вася! не училъ я тебя этому художеству... Я говорилъ тебѣ: чтѣ отца твоего... А ты какъ чтѣшь слова его? Нарушаешь завѣтъ умирающаго... Мнѣ и въ гробѣ нѣтъ покоя!... Гдѣ мой перстень?

— Виновать, батюшка!...

— Знаю! ты его отдалъ... промѣнялъ отца на Богъ знаетъ кого!... Грѣхъ, Вася!...

Проснется Васька Ивановичъ — весь въ холодномъ поту, дрожитъ какъ въ лихорадкѣ, перекрестится, и чуть станетъ засыпать — опять старикъ передъ нимъ, грозитъ пальцемъ и говоритъ: „гдѣ мой перстень?“

Кое-какъ промаялся день Васька Ивановичъ; долго молился съ вечера и, немного успокоенный, легъ спать; не успѣлъ порядочно уснуть — опять вчерашнее явленіе, только страшнѣе; уже не кроткій отецъ явился къ Васькѣ, а строгій судья. „Отдай мой перстень, недостойный сынъ!“ говорилъ онъ. „Ты обманулъ меня, ты утаилъ мою драгоценность; мнѣ нѣтъ въ землѣ покоя... отдай мой перстень!...“

Проснулся Васька — сердце такъ и стучитъ въ груди, волосы на головѣ шевелятся, перекреститься страшно... Долго ворочался онъ съ боку на бокъ, едва къ свѣту вздремнулъ и снова передъ нимъ грозный отецъ смотритъ, сверкая глазами и говоритъ: „Василій, отдай мой перстень... Не отдашь, еще приду... бойся!“ И вдругъ исчезъ съ громомъ и свистомъ.

Вздрогнулъ Васька Ивановичъ; свистъ не умолкаетъ, и опять громъ; прислушивается на дворѣ страшная буря; вѣтеръ, шумя, свиститъ по улицѣ; въ крѣпости палятъ изъ пушекъ. „Знать, вода вышла изъ береговъ, будетъ наводненіе“, подумалъ Васька и вышелъ на улицу посмотреть, что дѣлается.

Время шло къ разсвѣту; на улицѣ шумѣлъ народъ, лавочники выносили изъ подваловъ и низкихъ лавочекъ свои товары, а вѣтеръ свирѣпѣлъ все болѣе и болѣе, открывалъ ставни и, сдирая доски на крышахъ, крутилъ ими въ воздухѣ; блѣдная луна, будто въ испугѣ, свѣтила дрожав-

шимъ свѣтомъ, а мимо нея безпрестанно мелькали быстро-бѣжавшія разорванныя облака; вода, показываясь изъ подземныхъ трубъ, разливалась по улицѣ.

Васька Ивановичъ сложилъ всѣ свои вещи на столахъ, остальные набросалъ на палаты и самъ улегся на нихъ, посматривая въ окно. Разсвѣло; насталъ день, а вѣтеръ не уменьшается; въ комнатѣ вода поднялась на аршинъ, а на улицѣ, словно рѣка, льется; безпрестанно мимо оконъ плывутъ разныя вещи; то столъ вверхъ ногами, то лодка, то деревянный крестъ съ Смоленскаго кладбища, гдѣ волны свирѣпо бушевали, какъ на морѣ, то барка съ сѣномъ, то сапогъ... Видалъ Васька Ивановичъ наводненія, но такого не видывалъ. Вотъ ужъ вода наравнѣ съ окнами, а все идетъ на прибыль... У кого душа нечиста, тотъ всегда робокъ. „Не придется ли вотъ тутъ и душу отдать?“ подумалъ Васька: „ужъ не покойникъ ли напросилъ такую бурю на мою головушку? Виноватъ я, грѣшный! Ухъ, какъ страшно! всю ночь мнѣ грезилось!...“ Вдругъ что-то стукнуло въ окно. Смотритъ Васька: пе-

редъ окномъ качается на водѣ крашенный гробъ: вода отнесла его въ сторону и опять съ размаху ударила въ окно; крышка сорвалась съ гроба, но рамы вылетѣли и, вмѣстѣ съ шумнымъ потокомъ воды, вплылъ гробъ въ комнату. „Ужъ не батюшка ли пришелъ за перстнемъ?“ блеснула мысль въ умѣ Васьки; онъ робко посмотрѣлъ въ гробъ и—лишился чувствъ. Такъ, точно въ гробу лежалъ отецъ Васьки, страшный, мрачный и, качаясь на водѣ, казалось, грозно кивалъ на него головою!...

Во время наводненія много плавали гробовъ, вырванныхъ изъ земли водою.

Наводненіе кончилось. Испорченное починили; разоренное построили, и скоро Петербургъ опять сталъ и шуменъ, и веселъ, и красивъ. Но долго еще, послѣ наводненія, нѣсколько лѣтъ сряду, въ больницѣ Всѣхъ Скорбящихъ ходилъ блѣдный молодой человекъ, въ отчаяніи ломалъ руки, рвалъ на себѣ волосы и раздиравшимъ душу голосомъ говорилъ посѣтителемъ: „Боже мой! онъ еще придетъ ко мнѣ за перстнемъ! спасите меня!...“

1841 г.



Дальній родственникъ.

РАЗСКАЗЪ.

Въ Московскомъ государствѣ,
читателю мой любезный, родство
зѣло соблюдается.

Записки Кошихина.

Съ родни вамъ!

Грибоѣдовъ. (Горе отъ ума).

Сегодня праздникъ. Войдемъ въ гостиную Антіоха Ивановича; вы ни чуть не уроните себя, посѣтивъ его гостиную. Антіохъ Ивановичъ имѣетъ звѣзду, ведетъ большую игру въ вистъ и преферансъ, посѣщаетъ англійскій клубъ и занимается вопросомъ о востокѣ. Онъ акціонеръ въ десяти спекуляціяхъ; ему *свои* многіе графы и князья; его жена до сихъ поръ еще очень хороша, хотъ уже двадцать лѣтъ замужемъ. Вы увидите въ гостиной Антіоха Ивановича много замѣчательныхъ лицъ; тамъ я вамъ покажу одно *недѣлимое*, котораго нѣтъ ни у Бюффона, ни у Кювье. Вы напрасно станете искать его въ цѣлой Россіи: оно водится въ одномъ Петербургѣ, городѣ чиновъ и службы, и болѣе вездѣ. Это недѣлимое—*дальній родственникъ*.

Посмотрите, вотъ онъ сидитъ въ углу на краешкѣ стула; ноги загнуты подъ стулъ, руки, держащія круглую шляпу, смиренно опущены на колѣни. Лицо его не выражаетъ глупости, но какъ-то неловко стоитъ на плечахъ; на немъ будто написано: я не въ своей тарелкѣ.

Всѣ въ гостиной сидятъ у стола—онъ одинъ въ углу; всѣ говорятъ между собою—онъ одинъ молчитъ: его никто не удостоиваетъ разговоромъ. Онъ одѣтъ всегда прилично, только по сапогамъ можно замѣтить въ немъ человѣка, недавно пріѣхавшаго изъ провинціи. Если Антіохъ Ивановичъ вдругъ, уставивъ глаза въ одно мѣсто и

погрузясь въ самого себя, начнетъ шарить вокругъ руками, онъ схватитъ табакерку, подастъ ее Антіоху Ивановичу и опять чинно сядетъ на свое мѣсто. Если Антіохъ Ивановичъ захочетъ показать гостямъ свою любимую болонку и закричитъ: „Ами! Амикушка! Амиченочекъ!“ онъ, какъ порядочное эхо, въ полголоса повторяетъ: „Амиченочекъ“, прибавитъ шопотомъ „Амичушечка“ и, протянувъ руку вбѣгающей собачкѣ, шевелитъ тремя пальцами, будто катая шарикъ. Несмотря на такія услуги, Антіохъ Ивановичъ на всѣ его поклоны едва киваетъ головою; его семья на него косится и дуется. Зачѣмъ же принимаютъ этого человѣка? Нельзя: онъ—дальній родственникъ.

Антіоха Ивановича Богъ благословилъ дѣтьми. Много ихъ—это еще не удивительно, но всѣ они отличнаго ума! Спросите хотъ самаго меньшаго сына Хромвиньку, о чемъ угодно—все знаетъ, а ему только девять лѣтъ! Спросите, наприимѣръ, кто это говоритъ съ папенькою?

— Его пр—во тайный совѣтникъ и Владиміра первой степени кавалеръ такой-то, скажетъ онъ, не запинаясь.

— А это, въ эполетахъ?

— Его пр—во генералъ-майоръ и кавалеръ такой-то.

— А это, что смотритъ въ потолокъ и грызетъ ногти?

— Его сіятельство камеръ-юнкеръ графъ такой-то.

— А тамъ въ углу, въ черномъ платьѣ?

— Это такъ-себѣ, дальній родственникъ! скажетъ ребенокъ, презрительно махнетъ ручонкою и побѣжитъ отъ васъ такъ мило, такъ невинно, что хочется расцѣловать этотъ живой адресъ-календарикъ.

Дитя умное, со способностями, скажете вы, но отецъ умѣлъ дать способностямъ должное направление... *Spes magna futuri*, всегда говорить, положи руку на голову Хромвиньки, домашній докторъ Антиоха Ивановича, Никита Прокофьевичъ Лавропезаринскій.

Пойдемъ въ столовую. Антиохъ Ивановичъ обѣдаетъ, и между именитыми и нужными людьми вы опять видите дальняго родственника. Смирно сидитъ онъ на концѣ стола, возлѣ гувернера; молча ѣстъ куриную ножку и не мѣшается въ общій разговоръ, который раздѣлился на двѣ половины: одни толковали о войнѣ Англіи съ Китаемъ, а другіе бранили русскихъ литераторовъ. Въ это время вошелъ въ комнату какой-то чиновникъ и, махая руками и ногами, извинялся, что опоздалъ къ обѣду. Его усадили за столъ, а дальній родственникъ исчезъ. Выгодный человѣкъ—дальній родственникъ!

Давно уже, очень давно, въ одной благорастворенной губерніи, въ лѣсоводномъ уѣздѣ, у дьячка Ивана Ивановича Иванова, было два сына, Антиохъ и Теофилактъ. Антиохъ имѣлъ хорошій, чоткій почеркъ и сметливую голову. Въ одну безсонную ночь голова начала шептать Антиоху: „ты дуракъ, что сидишь дома, имѣя талантъ четко писать; иные знатные господа лѣнны и не любятъ читать связного письма: ты для нихъ будешь кладъ—не человѣкъ; они тебя озолотятъ!“ И въ слѣдующее за этою ночью прекрасное утро Антиохъ уже шелъ пѣшкомъ на сѣверъ. Долго шелъ Антиохъ, избилъ сапоги и хотѣлъ остановиться въ Торопцѣ; но какъ тамъ не оказалось великихъ вельможъ, то, одохлавъ, отправился далѣе и благополучно прибылъ въ Петербургъ.

Въ Петербургѣ Антиохъ попалъ на службу къ барону Норменшу, женился на его воспитанницѣ и, мало-по-малу, постояннымъ стараніемъ вышелъ въ люди, то есть, получилъ чинъ и купилъ домъ въ одной изъ лучшихъ частей города.

Между тѣмъ и Теофилактъ не дремалъ: онъ въ земскомъ судѣ выслужилъ чинъ коллежскаго регистратора, женился на дебѣлой дѣвушкѣ, растолстѣлъ на удивленіе и сдѣлался отцомъ четырнадцати дѣтей. Черезъ городокъ, въ которомъ жилъ Теофилактъ, проѣзжали присяжные изъ губернскаго въ столицу—Петербургъ за гербовою бумагою. Теофилактъ зазвалъ присяжныхъ, угостилъ ихъ и, давъ пятьдесятъ рублей, отправилъ съ ними старшаго своего сына къ Антиоху Ивановичу, онъ-де молъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлать; малый учился въ семинаріи порядочно. Дѣти Ан-

тіоха Ивановича посмѣялись надъ фигурою и одеждою своего братца, а самъ Антиохъ Ивановичъ посердился, поворчалъ, однако далъ племяннику письмо, по которому его опредѣлили въ департаментъ на 300 рублей жалованья, и позволилъ ему являться къ себѣ по праздникамъ, только прилично одѣтому. И у Антиоха Ивановича въ гостиной появился дальній родственникъ.

Уже сумерки. Гости Антиоха Ивановича встали изъ-за стола. Погода переѣхалась: идетъ мелкій дождикъ. Пойдемъ домой. Мы ѣдемъ, а подѣ заборомъ плетется въ грязи бѣднякъ-пѣшеходъ; на поворотѣ коляски забрызгали его съ головы до ногъ, а онъ всѣмъ привѣтливо кланяется. Посмотрите, это нашъ знакомый—дальній родственникъ.

„Зачѣмъ мнѣ ходить къ Антиоху Ивановичу?“ говорилъ самъ съ собою дальній родственникъ: „у него обходятся со мною не очень ласково; хоть бы и сегодня: хочешь не хочешь, а выходи изъ-за стола! усадили въ другой комнатѣ и почти ничего ѣсть не дали. А нельзя не ходить: онъ человѣкъ важный. А проклятая грязь! туда же пристаешь къ сапогамъ!.. Да, важный человѣкъ! и у насъ въ канцеляріи даже имѣетъ вѣсъ. Очень пріятно, когда начальникъ отдѣленія спроситъ меня: „а что, мы давно видѣли Антиоха Ивановича?“—„Третьяго дня я имѣлъ честь обѣдать у его превосходительства“, отвѣчу я скромно, а вся канцелярія такъ и взглянетъ на меня, даже столоначальникъ весь тотъ день ко мнѣ очень милостивъ и вдвое меньше даетъ переписывать отпусковъ... Гадкая грязь! такъ и липнетъ!“

Между тѣмъ, онъ былъ уже у своей квартиры и медленно началъ подыматься во мракѣ по узкой лѣстницѣ, на 5-й этажъ. Передъ нимъ слышится шелестъ, потомъ, *ахъ!* потомъ что-то мягкое, живое упало къ ногамъ его. „Ахъ, Боже мой, я оступилась!“ прошептала нѣжный голосокъ у ногъ дальняго родственника. „Это дама“, подумалъ онъ, поднялъ незнакомку и подѣруку свелъ въ ея квартиру, которая была въ 4-мъ этажѣ по той же лѣстницѣ. Въ квартирѣ горѣла свѣча и дальній родственникъ замѣтилъ, что его спутница очень хорошенькая.

— Это ты, Тереза? спросилъ изъ другой комнаты женскій голосъ.

— Я, маменька, отвѣчала спутница, скидывая салопъ.

„Ее зовутъ Терезой“, подумалъ дальній родственникъ и началъ раскланиваться, поглядывая на милые черные глазки своей спутницы. Тутъ вышла маменька. Тереза рассказала ей о вѣжливости дальняго

родственников; его оставили напиться чаю, и онъ поздно возвратился домой, узнавъ, что мать Терезы полька, пріѣхала въ Петербургъ хлопотать о пенсіонѣ; что у Терезы очень хорошенькіе глазки, милая улыбка, каштановые локоны и обворожительный голосъ, и что она съ маменькой не перешеголяютъ въ богатствѣ его—бѣдняка.

Дальній родственникъ часто навѣщалъ своихъ новыхъ знакомыхъ, еще чаще нечаянно встрѣчался съ Терезой на лѣстницѣ и ровно черезъ двѣ недѣли со дня встрѣчи только и думалъ о Терезѣ, только и видѣлъ во снѣ одну Терезу. Дальній родственникъ влюбился.

Великую бурю поднялъ Антиохъ Ивановичъ, когда дальній родственникъ объявилъ ему свое желаніе жениться и просилъ благословенія. „Жениться“, говорилъ Антиохъ Ивановичъ: „въ твои лѣта, на дѣвущкѣ безъ состоянія—глупо! Ты долженъ быть полезнымъ гражданиномъ, а не умножать число нищихъ! Нѣтъ моего благословенія!“—„И моего также“, вопила жена Антиоха Ивановича: „благо бы хоть въ связяхъ была дѣвица, съ протекціею! а то ровно ни съ чѣмъ; дочь какого-то поручика! да она будетъ насъ компрометировать! Ну, какъ я ее покажу княгинѣ? да что скажетъ статская совѣтница Шлейкина!“ И пошло все въ этомъ вкусѣ.

Дальніе родственники влюбляются скоро и пламенно и терпѣть не могутъ медлить. Нашъ герой чрезъ недѣлю послѣ родственной бури игралъ свою свадьбу. Пришелъ экзекуторъ съ женою и тремя дочерьми, пришелъ помощникъ журналиста съ четырьмя племянниками, три человека товарищей-писцовъ да два студента, и подъ звуки какихъ-то трехъ музыкантовъ весело проплясали за полночь въ маленькой квартирѣ Терезиной матери. Въ антрактахъ танцовалъ учитель изъ близкаго пансіона, танцовалъ качучу и пѣлъ русскія пѣсни съ аккомпаниментомъ гитары; потомъ поужинали чѣмъ Богъ послалъ, и во время ужина танцевальный учитель, разъ десять поднося ко рту рюмку тенерифа, кричалъ: *горько!* и строилъ гримасы, и послѣ каждаго его возгласа дальній родственникъ, краснѣя, цѣловалъ свою Терезу, а гости хохотали и аплодировали. Потомъ гости разошлись. Потомъ прошла ночь и насталъ день. Часу въ двѣнадцатомъ этого дня по мостовой столичнаго города Петербурга прыгали извозицы дрожки, запряженные сѣрою лошадыю; на дрожжахъ сидѣла Тереза съ своимъ мужемъ. Дрожки прыгали-прыгали, наконецъ стали передъ домомъ Антиоха Ивановича. Сѣдоки соскочили съ дрожжекъ и чинно вошли въ домъ, но че-

резъ двѣ минуты вышли оттуда скорыми шагами, сѣли на дрожки и дрожки опять запрыгали по мостовой. Съ этого дня дальній родственникъ исчезъ изъ гостиной Антиоха Ивановича.

Между тѣмъ счастье улыбнулось дальнему родственнику. Нѣсколько дней послѣ свадьбы онъ выходитъ изъ церкви под руку съ женою, а на встрѣчу идетъ начальникъ, посмотрѣлъ очень ласково и говоритъ: „здравствуйте“.

— Покорнѣйше благодарю, ваше превосходительство, отвѣчалъ, низко кланаясь, дальній родственникъ.

— Это вѣрно ваша супруга?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

Начальникъ поклонился Терезѣ, вынулъ золотую табакерку, понюхалъ табакъ и, не закрывая табакерки, сказалъ дальнему родственнику: „неудобно ли?“

— Много чести, ваше превосходительство.

— Ничего, вы хорошій чиновникъ, я вами доволенъ. Поклонился и ушелъ.

На другой день послѣ этого разговора дальняго родственника перевели на высшій окладъ.

Недѣли чрезъ двѣ начальникъ приглашаетъ къ себѣ на вечеръ дальняго родственника съ женою. Дальній родственникъ ѣлъ мороженое, игралъ въ карты; Тереза танцевала, даже съ самымъ начальникомъ.

Еще чрезъ недѣлю дальній родственникъ получилъ штатное мѣсто.

Прошло пять лѣтъ со дня, какъ мы видѣли дальняго родственника въ гостиной Антиоха Ивановича. Гостиная была та же; важныя лица сидѣли и толковали о наградахъ. У подъѣзда остановилась щегольская карета; скоро въ гостиную вошелъ молодой человекъ съ прелестною дамою и ловко раскланялся. Антиохъ Ивановичъ обнялъ гостя и, взявъ за руку, подвелъ къ одному старичку со звѣздою.

— Позвольте вамъ представить, князь, моего роднаго племянника, Нила Теофилактовича Иванова: человекъ рѣдкій; служить секретаремъ при...

— Знаю, знаю! перебилъ князь:—это вы, кажется, купили дачу по сосѣдству со мною?

— Да, ваше сіятельство: женѣ захотѣлось имѣть эту игрушку—надо было ее потѣшить.

— Истинная игрушка, а не дача! что за фонтаны! сколько цвѣтовъ! а какія прекрасныя далія!

Очень трудно въ Нилѣ Теофилактовичѣ узнать прежняго нашего знакомаго, дальняго родственника. Теперь онъ въ ходу, богатъ, лѣзетъ въ знать. Того и гляди, въ углу его гостиной явится новый дальній родственникъ.

П Р У Д Ъ.

ПОВѢСТЬ.

Не купи деревню, а купи сосѣда.
Пословица.

Въ одномъ уѣздномъ городкѣ жилъ-былъ, въ давно-прошедшія времена, старый казначей. Много лѣтъ онъ принималъ и отпускалъ, кому слѣдуетъ, казенныя деньги, выдавалъ подорожныя, ходилъ съ присяжными въ подвалъ, гдѣ хранились казенныя суммы, и, наконецъ, умеръ, къ не описанной радости чиновника, давно мѣтившаго на его мѣсто.

Послѣ казначея осталась старуха — жена его, дочь — шестнадцатилѣтняя дѣвушка, да рублей на сорокъ-пять разнаго движимаго имущества.

На похоронахъ казначея неутѣшно плакали его жена и дочь; важно, какъ прилично подобному торжеству, шли за гробомъ уѣздные чиновники; встрѣчные, крестясь, снимали шапки; въ окна глядѣли любопытныя лица... Священникъ пропѣлъ вѣчную память, гробъ засыпали землею; казначейшу съ дочерью насильно увезли домой; чиновники хладнокровно разошлись; только еще нѣсколько минутъ стоялъ на опустѣломъ клѣтбищѣ высокій старый драбантъ, присяжный, печально глядя на свѣжую могилу своего бывшаго начальника. Наконецъ, и онъ тихо покачалъ головою, отеръ глаза рукавами своего форменнаго сюртука, тяжело вздохнулъ и, сказавъ: „счастливо оставаться, ваше благородіе“, побрелъ домой. Бѣднякъ, въ простотѣ души, ничего не могъ прибрать лучше этой официальной фразы. Во всякомъ случаѣ, она мнѣ нравится болѣе широкоувѣстельныхъ похвалъ, часто сплетаемыхъ надъ могилою богача.

Похороны были послѣднимъ отблескомъ земнаго величія для казначейши. Вокругъ новаго казначея начали вертѣться старые спутники, и дѣла уѣзднаго управленія пришли въ прежній порядокъ. Всѣ забыли старуху-казначейшу, да она почти была и рада этому: житье въ городѣ дорого, доходовъ нѣтъ никакихъ, а гости любятъ — Богъ ихъ прости — кромѣ ласковаго приѣма и чистаго воздуха, что-нибудь посущественнѣе... Подумала казначейша, поговорила

съ дочерью и переѣхала въ хуторокъ, который она получила въ приданое отъ покойницы матери.

Хуторокъ казначейши состоялъ изъ трехъ избъ: въ одной помѣщалась она съ дочерью, а въ двухъ другихъ двѣ семьи ея крестьянъ. Нѣсколько хлѣбовъ, колодець, передъ колодеземъ длинное корыто, да три вишневыхъ дерева за избой, гдѣ жила казначейша — вотъ всѣ украшенія хутора. Кругомъ чистая, безграничная степь... Земля казначейши прилежала къ пруду, а за прудомъ уже было другое владѣніе, одного помѣщика, отставнаго поручика — право не знаю ни его имени, ни фамиліи. Онъ прежде служилъ въ арміи, по смерти своихъ родителей вышелъ въ отставку, женился и жилъ въ хуторѣ верстахъ въ пяти отъ казначейши.

У поручика въ хуторѣ было 23 души крестьянъ, отчего онъ считалъ себя маленькимъ аристократомъ и въ пріятельскомъ кругу не иначе называлъ казначейшу, какъ мелкотравчатая баба. Поручикъ очень любилъ свое благородное званіе и въ жаркомъ спорѣ, или въ рѣчахъ, гдѣ развивалась вся сила его души, всегда клялся: „будь я проклятъ, анаема, какъ честный и благородный человѣкъ!“ или: „чортъ мою душу возьми, какъ честный и благородный человѣкъ!“ Причемъ всегда сильно махалъ руками. Жена его обыкновенно въ это время, крестясь, говорила: „Побереги себя, ангелъ мой, не накликай на свою душу нечистой силы!“

Въ такихъ дружескихъ изліяніяхъ души, поручикъ только скрѣплялъ свои рѣчи фразой: „какъ честный и благородный человѣкъ...“

Поручикъ всегда ѣздилъ въ старомодной коляскѣ, запряженной шестью тощими клячами — непременно шестью и непременно съ форейторомъ, который постоянно пищалъ и заливался: *пади!* хотя бы на дорогѣ никого не было, кромѣ степного коршуна. Коршунъ тяжело подымался съ дороги, отлеталъ шаговъ двадцать, садился на коня сына и глубокомысленно смотрѣлъ на коляску. Не знаю, что думалъ коршунъ, а незнакомые встрѣчные люди почитали

поручика великимъ бариномъ. И точно, самъ Наполеонъ съ вандомской колонны не смотритъ такъ важно, самонадѣянно, величаво, какъ смотрѣлъ поручикъ на свѣтъ Божій изъ коляски... Его круглое, красное лицо надувалось, какъ луна на вѣтеръ... Но я не живописецъ, при томъ же наружность для меня дѣло послѣднее въ чело-вѣкѣ... Скажу въ двухъ словахъ, что поручикъ былъ малъ и очень толстъ, отчего всѣ сосѣди называли его самоваромъ, ему не было иной клички въ уѣздѣ; вотъ причина, почему я не знаю ни его имени, ни фамиліи.

Впрочемъ, поручикъ зналъ свое прозваніе и очень сердился, даже въ разгово-рахъ старался избѣгать ненавистнаго слова: *Самоваръ*. „Эй! Гришка, оселъ!“ кричить, бывало, поручикъ на своего слугу:— поставь скорѣе машину для чаю, да не разговаривай, живо! не то тебя, какъ чест-ный и благородный чело-вѣкъ...“ и поско-рѣе отворачивался, боясь, чтобъ словоохот-ливый Гришка не спросилъ: „самоваръ по-ставить, что ли?“

Бывало, жена скажетъ поручику: „пой-демъ чай пить, ужъ самоваръ готовъ“.

— Создатель мой! отвѣчаетъ поручикъ:— какъ видно, что ты, матушка, и не жила, и не живешь съ порядочными людьми, а чортъ знаетъ съ кѣмъ! такъ и несетъ купечествомъ! Сказала бы, какъ честный и благородный чело-вѣкъ: „ну, чай готовъ“.

Очень не любилъ, какъ видно, поручикъ своего прозванія, хоть, нечего грѣха таить, былъ удивительно похожъ на само-варъ, такъ что еслибъ собрать въ одну залу всѣхъ помѣщиковъго уѣзда и спросить вась: который изъ нихъ само-варъ? вы бы, ни мало не думая, показали прямо на поручика.

Кромѣ самовара, у казначейши не было близкихъ сосѣдей.

П.

Скучно, однообразно текли дни казна-чейши въ степномъ хуторѣ; еще конецъ лѣта прошелъ кое-какъ, но потянулась осень, за нею зима съ морозами, мятежа-ми, короткими днями, долгими ночами... Вьюги замели дороги къ степному хутору, накидали кучи снѣгу вокругъ избъ; только виднѣлись черныя крыши, какъ островокъ на необозримомъ бѣломъ морѣ снѣга. Тамъ, надъ крышею, порою вѣется дымокъ—при-знакъ жизни; тамъ живутъ, и какъ одно-образно!.. Каждый день въ извѣстное вре-мя заскрипитъ дверь, въ комнату ввалится

облако морознаго воздуха, а за нимъ вта-щить баба вязанку тростника; возлѣ печи старуха-казначейша вяжетъ шерстяной чу-локъ; дочь поетъ пѣсню... Въ урочный часъ завизжитъ, застонетъ ключъ у колодца, мѣрными шагами пройдетъ подъ окномъ къ водопою корова, а за нею мелкою ры-сью двѣ овцы—и опять все стихнетъ, опять трещить въ печкѣ огонь, вязальныя спицы скрещиваются и сверкаютъ въ рукахъ ста-рухи, дочь поетъ ту же пѣсню, серебря-ные карманные часы покойнаго казначея чокаютъ на стѣнкѣ да по временамъ от-зывается въ темномъ углу сверчокъ... За-втра то же, послѣ завтра то же... Живутъ люди, тянутъ до гроба свою ношу, кото-рую называютъ жизнью...

Иногда дочери казначейши мечтались прошедшія удовольствія; она поетъ, а ме-жду тѣмъ въ воображеніи ея однѣ карти-ны смѣняются другими: вотъ ея старая городская квартира; покойный отецъ въ коричневомъ сюртукѣ принимаетъ гостей; гости сядутъ играть въ вистъ... Молодежь въ другой комнатѣ: и Катя, и Саша, и Маша, и учитель уѣзднаго училища, и кан-целяристы, и прапорщикъ гарнизонной ко-манды... играютъ въ фанты... смѣхъ... хо-хоть... Вотъ кто-то пожалъ ее за ручку... „Это не просто, это съ умысломъ, вѣдь я уже невѣста...“ Вдругъ ручки слезъ пре-рвали пѣсню.

— Опять слезы! ворчала казначейша.— Охъ-охъ-охъ!..

Больше этого ихъ жизнь не разнообра-зилась.

„Привычка—вторая натура“ очень умно говорятъ люди и повѣрятъ, если я скажу, что весною уже почти не скучали мои жители хутора. Ихъ жильѣ оживилось; вокругъ избы зацвѣли цвѣты, степь зазе-ленѣла, на огородѣ разрослись кусты кар-тофеля и высоко взбѣжали подсолнечники; тыквы обвили зеленую плетень и повисли на немъ прихотливыми фестонами; у са-мыхъ оконъ вились и цѣплялись на па-лочкахъ *крученые паничи*, шевеля своими разноцвѣтными колокольчиками; Богъ ее знаетъ, откуда прилетѣла какая-то птичка, свила гнѣздо на вишнѣ и поетъ надъ нимъ такъ пріятно цѣлый день...

Въ одинъ день старуха-казначейша, сидя на завалинѣ, кормила хлѣбными крош-ками выводокъ-цыплятъ; ея дочь поливала цвѣты; вдругъ зазвенѣлъ колокольчикъ, все ближе и ближе звенѣлъ онъ. Мать посмо-трѣла на дочь, дочь посмотрѣла на мать, и обѣ улыбнулись. Въ первый разъ онѣ слышали на хуторѣ звонъ колокольчика, такъ обыкновенный въ уѣздномъ городѣ,

и бессознательно улыбнулись ему, какъ старому знакомому.

— Кажется, къ намъ, сказала дочь.

— Кажется, къ намъ, сказала мать.

И обѣ побѣжали въ избу: мать надѣла на голову какую-то шапочку съ ушами, которую называла чепчикомъ; дочь накинула на себя клѣтчатый платочекъ...

Между тѣмъ тройка остановилась у избы и передъ изумленною казначейшею явился становой приставъ.

Теперь позвольте сдѣлать маленькое отступленіе.

III.

Съ похоронъ привезла домой казначейшу ея пріятельница, статская совѣтница, напоила ее теплымъ настоемъ мяты съ богородничною травой, утѣшала въ горѣ, говорила о покойникѣ и плакала вмѣстѣ съ казначейшею, а между тѣмъ завела съ нею разговоръ.

— Да, матушка, потеряли вы не мужа, а прямое сокровище.

Казначейша молча плакала.

— Сокровище, продолжала статская совѣтница. Рѣдкій былъ человекъ, не чета пьяницѣ Мазуркевичу, хоть и тотъ умеръ прошлый годъ, кажись, въ этомъ мѣсяцѣ.

Казначейша плакала.

— Слезами не поможете, только глаза будутъ красны. Будь на вашемъ мѣстѣ покойникъ, онъ не плакалъ бы: у него былъ твердый характеръ.

— И какой твердый! сказала казначейша, всхлипывая.

— Онъ былъ не какой-нибудь сорванецъ, какъ эти, что пріѣзжаютъ хвастать изъ Петербурга: скачетъ, пріѣдетъ, будто стриженный воробей, вертится, словно муха въ кипяткѣ, скалитъ зубы, глядишь—и пропалъ какъ вътеръ, да еще окажетъ какое-нибудь неуваженіе къ старшимъ... А покойникъ любилъ насъ крѣпко, стоялъ за насъ...

— Ваша правда: крѣпко стоялъ! прибавила казначейша, глотая слезы.

— Пусть надъ нимъ земля перомъ лежитъ: жилъ хорошо, благочестиво, такъ и похоронили. Легко сказать, весь городъ шелъ провожать: однихъ высокоблагородныхъ четверо!

— Разъ, два... три... кто же четвертый?

— А Пуцылобарыленковъ? высокоблагороднымъ сталъ, собака! ужъ третій день какъ присягнулъ... А вы ничего не знаете? какъ-же, и ходить не такъ, и говорить не такъ; этакъ: все въ рѣчи то икаетъ, то

сморкается... Давно ли, подумаешь, я знала его мальчишкой, кралъ ягоды у почтмейстера на шелковицѣ, а теперь, того и жди, въ генералы выльзетъ.

— Э, ваше превосходительство! не намъ съ нимъ чай пить, не всѣмъ быть въ такомъ почетѣ.

— Разумѣется, я только говорю, самолично сказала статская совѣтница, которую въ уѣздѣ, не знаю за что, называли генеральшею:—а я все-таки взяла бы да и съѣла проклятаго Пуцылобарыленкова.

— А онъ вамъ злое что сдѣлалъ?

— Охъ, не говорите! сдѣлалъ, не противъ меня—тутъ ему вотъ что получить (при этомъ статская совѣтница сложила какъ-то странно пальцы правой руки), а противъ людей, которыхъ я люблю. Это ножъ мнѣ въ сердце—такая моя натура! Сама себѣ не вѣрю; весь городъ идетъ, можно сказать, въ такой важной процессіи, всѣ идутъ, всѣ плачутъ, а онъ смѣется и говоритъ головѣ: „не вѣчно было жить старому хрычу“—это-бъ-то вашему покойному—понимаете?! „другому мѣсто очистишь“, а голова въ отвѣтъ: „Мы уже на ваше высокоблагородіе подумываемъ“, а онъ говоритъ: „Посмотримъ, можетъ, и мы будемъ; мѣсто покойное и въ губерніи у насъ не безъ пріятелей“, да и пошелъ мимо меня такъ гордо! даже мнѣ головою не кивнулъ. Очень нужны мнѣ его поклоны... противный человекъ!

— Богъ съ нимъ, пускай занимаетъ мѣсто моего покойника, я ему не помѣха, а за смѣхъ ему Богъ заплатитъ.

— О, вы уже и разсердились! Вамъ вредно, душечка, не сердитесь. Прощайте. Я на минуту сбѣгаю къ Александрѣ Ивановичу: она, говорятъ, свою дочь *посватала на Чудкова*.

Черезъ пять минутъ статская совѣтница была уже у Пуцылобарыленкова и съ ужасомъ рассказывала ему, что казначейша, вѣроятно, имѣла на него виды, хотѣла навязать свою глупую дочку, и видя неуспѣхъ, теперь ругаетъ его, смѣется надъ его высокоблагороднымъ рангомъ и говоритъ: *куда ему, дураку, чай пить на казначейскомъ мѣстѣ*. что онъ и такой, и сякой, и неумывака, и шалыганъ. „Даже мнѣ было слушать совѣстно“, окончательно сказала статская совѣтница: „такъ раскричалась на васъ эта старая дура, и о мужѣ не плачетъ, какъ слѣдовало, а ругается... Что ей мужъ? Дай Богъ только вернется драгунскій полкъ—сейчасъ замужъ пойдетъ... Заѣзжала я къ ней, когда ея покойникъ бывалъ въ казначействѣ.. Все знаю, да говорить не хочу... Такая гадкая! Ужъ я спорила, спорила за васъ, да и рукою

махнула... Ну, прощайте же, да не думайте объ этой дурѣ: она такъ-себѣ, съ вѣтру вретъ. Мнѣ надобно еще завернуть въ лавки размѣнять деньги. Вы ужь, какъ будете у насъ казначеемъ, позвольте присылать къ вамъ мѣнять на мелочь“.

Статская совѣтница уѣхала.

Грустно становится, когда встрѣтишь въ обществѣ подобное существо: невыразимую горестью и горечью наполняетъ оно душу; въ немъ виденъ падшій человѣкъ до послѣдней ступени нравственнаго паденія. Это зло, язва, порча общества. У статской совѣтницы была несчастная страсть сплетничать и чернить своего ближняго; она переѣзжала изъ дома въ домъ, собирала весь соръ, всѣ дразни, всѣ мелочи семейной жизни, давала всему еще свой неблагоприятный цвѣтъ и разглашала во всеуслышаніе, сказанную кѣмъ-нибудь глупость она примѣняла къ какому хотѣла лицу, производила его въ дураки и вмѣстѣ же съ нимъ сѣтовала объ этомъ. Она безъ всякой видимой причины, единственно по страсти ко злу, сѣяла раздоры въ семействахъ, вооружала дѣтей противъ родителей, разрывала супружескія связи, чернила честныхъ людей, роняла доброе имя дѣвушекъ. И все это безнаказанно!.. Мало этого: люди, и даже люди очень порядочные, стоящіе любви, принимали ее въ домъ! Одинъ говоритъ: „Какъ не принимать, не ласкать ее? вѣдь у меня дочь невѣста: пожалуй, обнесетъ, въ дѣвкахъ засидится!“ Другой говоритъ: „Э! батюшки, пусть вретъ на меня за глаза что хочетъ: я живу честно и никого не боюсь, за то люблю послушать ея сплетней—потѣшная баба! Какъ иная газета: все знаетъ!“ Третій говоритъ: „Знаю, что мерзкая женщина, а все-таки дамъ ей почоть, и приѣмъ, и первое мѣсто: мой сынъ служить въ губерніи; не угоди, чего добраго, ей, *они*, пожалуй, мальчика подъ судъ упрячетъ“. Четвертый то же, пятый то же... и всѣ ласкаютъ, обнимаютъ, сажаютъ въ гостиной страшное зло, хуже чумы и холеры, а бояться подойти къ человѣку въ кори или скарлатинѣ! Жаль мнѣ васъ, добрые, осторожные люди!

Сплетни не такъ бы скоро плодились, не такъ были бы долговѣчны, еслибъ люди были немного разсудительнѣе. Замѣчайте, и вы увидите, что всегда самой нелѣпой лжи повѣрить сразу человѣкъ, у котораго сердце перетягиваетъ голову. Подобный человѣкъ не разсудитъ, не сообразитъ, есть ли какое-нибудь достаточное основаніе для нелѣпости, которую ему сообщить кто-нибудь отъ нечего дѣлать, принимаетъ

за истину поэтической вымыселъ, вскипаетъ гнѣвомъ—и пошла потѣха!..

Будущій казначей Пуцылобарыленковъ очень хорошо зналъ статскую совѣтницу, но повѣрилъ клеветѣ ея отъ слова до слова. Легкость ли головы его, или внутреннее убѣжденіе было причиною—Богъ вѣдаетъ—только въ сердце Пуцылобарыленкова запали сѣмена злобы противъ казначейши. Эти плоды привезъ казначейшѣ на тройкѣ становой приставъ.

IV.

— Не понимаю я, Родіонъ Харитоновичъ, говорила казначейша становому:—какъ человѣкъ, съ вашимъ умомъ и образованіемъ, могъ повѣрить, чтобы мой мужъ, будучи казначеемъ, запустилъ на моемъ имѣніи такую страшную недоимку!..

— Помилуйте меня, сударыня, отвѣчалъ становой, набивая трубку:—тутъ человѣкъ, даже и умнѣ меня и образованнѣе, хоть самъ Наполеонъ будь, все бы требовалъ недоимки, когда въ бумагѣ написано вотъ: „состоитъ и прочее“. Развѣ у васъ есть квитанція?

— Отъ кого?

— Разумѣется отъ казначейства, за подписью вашего покойнаго.

— Смѣшно вы разсуждаете, Родіонъ Харитоновичъ! Мы не такъ, благодаря Бога, жили съ покойникомъ, чтобы давать другъ другу квитанціи. Я вотъ въ прошломъ году сама отправила подушныя къ чужому человѣку, къ новому человѣку, къ новому казначею, и съ того не взяла квитанціи, такъ вы, не бойсь, скажете, что я и прошлый годъ не платила?..

— Въ бумагѣ значится и за прошлый годъ.

— Прошу покорно! да Никита живой человѣкъ: онъ и возилъ въ городъ деньги и отдавалъ ихъ казначею.

— Межеть-быть, онъ ихъ пропилъ, а вамъ сказалъ, что отдалъ.

— Что вы, Родіонъ Харитоновичъ! пропилъ! да это честнѣйшій человѣкъ.

— Все-таки чиновнику, человѣку высокоблагородному, болѣе повѣрятъ. А вы заплатите и за прошлый годъ, или покажите квитанціи.

— Легко сказать квитанціи, когда, говорить Никита, его казначей взашей выгналъ, говоритъ: „убирайся по-добру-по-здорову, нѣтъ у меня писарей съ тобою переписываться“.

— Этому никто не повѣритъ: высокоблагородный человѣкъ никогда лгать не станетъ, а вашему же Никитѣ придется худо за ложь на благороднаго человѣка. Мужикъ скорѣе солжетъ—такъ у насъ ведется.

— Какая тутъ ложь?

— Выйдетъ ложь, должна быть ложь, вы увидите еще и сами приплатитесь. Теперь лучше уплатите недоимки, да впередъ берите квитанціи, не то приступлю къ продажѣ имущества. Вотъ предписаніе.

— Ахъ, Родіонъ Харитоновичъ! почти закричала казначейша и залилась слезами: —вы водили съ моимъ покойникомъ хлѣбъ-соль, неужели захотите обижать безпомощную вдову?..

— Видитъ Богъ, я не хочу обижать васъ, а требую по законамъ. Вотъ расчетъ изъ казначейства... заплатите: другого средства не остается...

— Да съ чего же платить мнѣ?

— Съ имѣнія: у васъ есть пажити, скотоводство, хлѣбопашество, овцеводство, можетъ быть, при стараніи, отличное садоводство; даже, если бы климатъ благоприятствовалъ, могло быть винодѣліе и шелководство.

Казначейша сама удивилась своему богатству и грустно покачала головою.

— Наконецъ, продолжалъ становой:—вы могли бы въ нашемъ прудѣ съ успѣхомъ заниматься рыбнымъ промысломъ и продавать предметы вашей ловли въ городѣ, который, какъ извѣстно, стоитъ на гниломъ болотѣ и, имѣя много благочестивыхъ постниковъ, терпитъ иногда непоимѣрную нужду въ свѣжей рыбѣ.

— Вы мнѣ наговорили много, Родіонъ Харитоновичъ, и все это на вербѣ груши; только послѣднее мнѣ могло бы доставить доходъ, хоть и небольшой, но и здѣсь есть препятствіе: мой сосѣдъ, Самоваръ, не позволяетъ мнѣ ловить рыбу: я раза два пыталась, посылала людей съ бреднемъ; одинъ разъ прогналъ, а другой разъ и бредень отнялъ. Что мнѣ съ нимъ дѣлать? онъ человѣкъ богатый, сильный, придется съ десяткомъ своихъ мужиковъ и управляется, какъ хочетъ...

— Но, вѣдь, берегъ пруда вашъ, а только другой его, и право ловить рыбу общее.

— Разумѣется общее.

— Чтѣ же вы его порядочно не припугнули въ судѣ?

— Куда мнѣ, Родіонъ Харитоновичъ! я бѣдная вдова, а онъ себѣ баринъ. Въ силу бредень выпросила; два раза Оедѣра ходила: въ первый прогналъ со двора, а во второй на выкупъ согласился, только гово-

рить: „на чтѣ твоей барыни бредень? вѣдь я въ прудѣ рыбы ловить не позволю, а другаго у васъ нѣтъ.“ Оедѣра, спасибо, догадалась и говоритъ: „вишни отъ воровьевъ будемъ закрывать.“—„Это другое дѣло, сказалъ Самоваръ, давай гривенникъ выкупу.“ Взялъ гривенникъ, а бредень, спасибо, отдалъ.

— Сами виноваты, сударыня, сами виноваты, вы очень добры, то-есть мягко-сердечны; надобно быть солиднѣе, то есть окрыситься на Самоваръ—и ваща бы взяла! На похилое дерево козы скачутъ, сказалъ какой-то мудрецъ... Вотъ вы похилое дерево, не въ примѣръ сказать, а вашъ сосѣдъ... вы сами понимаете. Да у васъ, какъ я вижу, не прудъ, а золотое дно! да я бѣ зажилъ на вашемъ мѣстѣ по королевски... право такъ!...

— Эхъ, Родіонъ Харитоновичъ, всегда чужое кажется лучше своего. Кромѣ небольшихъ карасей и пискарей въ прудѣ нѣтъ ничего; цѣлый день проболтаешься въ водѣ, а благо коли гривенъ на семь поймаетъ.

— Не то, сударыня! будь въ немъ однѣ противныя лягушки, все таки онъ золотой прудъ, то есть не самъ прудъ, а сосѣдъ-то у васъ, Самоваръ-то, золотой. Правду говорятъ мудрецы: не купи деревню, а купи сосѣда...

— Вы очень умный человѣкъ, Родіонъ Харитоновичъ: такъ говорите, что я ничего не понимаю.

— Да вотъ чтѣ! сказалъ воодушевленнымъ голосомъ становой, упершись руками подъ бока:—хотите ли, сегодня же мы въ прудѣ поймаетъ и всю вашу недоимку, и еще сотню другую цѣлковыхъ?... Чтѣ вы на меня такъ смотрите? Хотите услугу вамъ? Я помню хлѣбъ-соль покойника. Чтѣ же молчите?...

— Кто себѣ врагъ, батюшка, Родіонъ Харитоновичъ? услужите, если не шутите.

— Сударыня, человѣкъ въ моемъ санѣ—извините,—не долженъ шутить; я не канцеляристъ какой, благодаря Всевышняго Создателя, не спускаю бумажныхъ змѣевъ и говорю дѣло. Все будетъ хорошо, только слушайте меня и дѣлайте, какъ я скажу.

У.

Красиво, какъ площадь вороненой стали, лежалъ между зелеными берегами степной прудъ; косвенные лучи близкаго къ закату солнца разбѣгались по немъ золо-

тою рябью и освѣщали кусты тростника, возлѣ которыхъ весело плавали и ныряли молодыя дикія утки; на берегу пара куликовъ, стоя надъ водою, съ особенною любовью смотрѣли другъ на друга, и степная чайка, или пигилица, бодро поднявъ хохолокъ, суетливо бѣгала и ловила мошекъ. Вдругъ она по какому-то инстинкту взвилась, полетѣла въ степь, далеко описала на воздухѣ два-три круга и возвратилась, оглашая прудъ жалобнымъ, тревожнымъ воплемъ; утки быстро убрались въ тростникъ, кулики вытянули шею и съ удивленіемъ взглянули другъ на друга, будто говоря: *вотъ новость!*... Чайка быстро опустилась на берегъ, торопливо пробѣжала нѣсколько шаговъ и опять понеслась въ степь; скоро она вернулась, сопровождая чело­вѣкъ пять людей, летала надъ ихъ головами, кувыркалась въ воздухѣ и вопила до того, что становой сказалъ: „фу! ты, проклятая пернатая!... Не дай Богъ, если бъ у людей былъ такой голосъ.“

Кулики, увидя людей, кивнули головами, махнули крыльями и улетѣли, зашвыстѣвъ свою походную пѣсню.

Люди пришли къ берегу: это былъ становой, казначейша, два ея крестьянина, Никита и Ѳеодоръ, съ бреднемъ, да баба Ѳеодра, съ ведромъ для рыбы. Ловля началась.

Или кулики мимолетомъ свиснули поручику о нашествіи на прудъ иноземцевъ, или самъ поручикъ стерегъ прудъ, какъ золотое руно, и имѣлъ своихъ доноси­ковъ—я вѣрно не знаю, но не успѣли еще вытянуть на берегъ бредень, какъ явился поручикъ верхомъ, на головѣ картузъ съ красною околышкою, въ рукахъ нагайка, за нимъ чело­вѣкъ шесть мужиковъ съ колыями и топорами.

— Ага! попались! ты опять здѣсь, возмутительная баба! вотъ я тебя! кричалъ поручикъ съ другой стороны пруда, размахивая нагайкою.

Не обращая никакого вниманія на поручика, молча, люди казначейши вытянули на берегъ бредень; Ѳеодра, засучивъ рукава по локти, начала разгребать вытащенную тину и разныя водоросли, выбрасывая въ прудъ лягушекъ, жуковъ, пиявокъ, раковины—словомъ, все несѣдомое, и отбирая въ ведро карасей.

— Ого, сударыня! громко вскрикивалъ становой:—какая чуднѣйшая, жирнѣйшая рыба!... пятнадцать... сорокъ пять... богатые караси!... благословеніе Божіе!... цѣлая сотня и еще есть!...

— Пошолъ сюда скорѣе! мошенники! кричалъ поручикъ на отставшихъ въ степи

своихъ людей.—Дормидонъ, Парамонъ, Харитонъ! Антонъ Козоводъ, живо!...

Люди бѣжали рысью; поручикъ, отъ нетерпѣнья, тянулъ поводъ своей лошадки, которая мотала головою и проворно переступала на одномъ мѣстѣ передними ногами—толкла макъ, по выраженію становаго.

Наконецъ, поручикъ съ Антономъ Козоводомъ и прочими явился передъ казначейшею, точь въ точь римскій консулъ въ триумфѣ, окруженный ликторами—на лубочной картинкѣ.

— А, грабители! кричалъ поручикъ подбѣгая къ казначейшѣ.

— Протестуюсь, вскричала казначейша, съ чувствомъ достоинства разведя въ стороны обѣ руки.

Поручикъ взглянулъ на становаго и смѣшался. Онъ былъ изъ числа людей, умѣющихъ болѣе кричать, нежели дѣйствовать—дерзкихъ тамъ, гдѣ видятъ беззащитность, и отходящихъ подальше отъ всякаго сопротивленія—словомъ, былъ изъ числа людей, способныхъ осѣкаться, и, видя полицейскую власть, осѣкся, началъ октавою ниже доказывать довольно нелѣпо свои права, жаловаться на обиды, притѣсненія со стороны казначейши и тому подобное.

Становой презрительно посмотрѣлъ на казначейшу, будто говоря: „не успѣла выдержать дура! все дѣло испортила! и, сооривъ важную рожу, началъ увѣщевать поручика. Увѣщанія лились рѣкою и кончились слѣдующею фразою: „Во всякомъ случаѣ, какъ истинно благородный чело­вѣкъ и достойный сынъ отечества, вы бы могли завязать дѣло въ судъ, какъ лично избранному патриоту, сошедшему съ поля брани; но не слѣдовало вскипать гнѣвомъ противъ милостивой государыни, а довольло, умѣря свой жаръ...“ При этомъ словъ становой взялся двумя пальцами сверху за носъ, будто хотѣлъ отнять его и поставить или повѣсить на мѣсто.

Казначейша не спускала глазъ съ оратора, вдругъ вскрикнула при этомъ тѣлодвиженіи:

— Оставьте его, Родионъ Харитоновичъ! Пойдемъ домой, уже давно кипитъ самоваръ: не ровно отъ жару треснетъ.

Поручикъ задрожалъ отъ гнѣва.

— О, проклятая! завопилъ онъ:—я тебѣ покажу самоваръ! Была не была, а поступлю какъ честный, благородный чело­вѣкъ, протестуй хоть... и, выхвативъ у Антона Козовода изъ рукъ топоръ, началъ рубить бредень, осыпая казначейшу всѣми возможными бранными эпитетами женскаго рода.

Становой не могъ скрыть довольной

улыбки; казначейша еще разъ запротестовала, и они отправились на хуторъ пить чай.

Добрые полчаса Самоваръ казнилъ бредень, рубилъ его, рвалъ руками, топалъ ногами и дикимъ голосомъ закричалъ на людей, когда увидѣлъ, что казначейша скрылась изъ виду:

— Что вы стоите, гдѣ она, гдѣ эти дерзтиры—а? молчите? Привестъ мнѣ ее живую или мертвую!... Стоите, ротозѣи? упустили? Вотъ я васъ... и, сѣвъ на лошадку, онъ съ размаху хлопнулъ ее нагайкою, причемъ, кажется, немного задѣлъ Харитона или Дормидона...

Вечеромъ того же дня, въ уѣздный городъ въѣхала тройкою съ колокольничкомъ повозка становаго и на ней, вмѣстѣ со становымъ, сидѣла старая казначейша. Не будь казначейшѣ за шестьдесятъ, въ городѣ непременно сочинили бы по этому случаю славную сплетню; жена становаго имѣла бы случай порядочно наплакаться, накапризиться и наругаться.

На другой день сама казначейша, въ темномъ капотѣ и капорѣ, явилась въ судъ и лично подала прошеніе на сосѣда-поручика. Весь судъ удивился ясности, дѣльности, простотѣ и убѣдительности бумаги. Въ ней были описаны съ удивительнымъ краснорѣчіемъ набѣгъ и безчинные поступки Самовара, который изрубилъ рыболовные мрежи, попрекалъ титулярную соавѣтницу рожденіемъ, поведеніемъ и казнилъ ее неподобными словами. Въ заключеніе казначейша просила, въ опроверженіе брани поручика, сдѣлать повальный обыскъ о ея поведеніи, справиться въ метрическихъ книгахъ и взыскать съ поручика, какъ безчестье, равно и убытки, происшедшіе отъ изрубленія мрежей.

Ай да баба! сказалъ судья, когда вышла казначейша.

— Столица ума! подхватилъ секретарь, потирая руки.

Канцеляристы почтительно кланялись казначейшѣ, когда она сходила съ крыльца.

Недѣли двѣ спустя, въ городѣ никто не узнавалъ прежней скромной казначейши: она начала ходить, хлопотать, кланяться по своему дѣлу; каждый день ея темный капоръ и капотъ торчали въ переднихъ присутственныхъ мѣсть и раздавался ея рѣзкій голосъ, просившій правосудія; но дѣло ея стояло на точкѣ замерзанія: все еще забирали справки, пока самъ поручикъ не явился въ судъ и не ускорилъ рѣшенія; онъ горяча началъ въ присутствіи браниться — съ него взяли штрафъ, и уже на улицѣ ругнулъ поря-

дочно присутствовавшихъ. Дѣло казначейши закипѣло по этому случаю. „Самъ виновать“, говорилъ одинъ умный человекъ: „при своемъ чинѣ и прочей обстановкѣ въ обществѣ могъ бы стереть съ земли старуху, да погорячился!“

VI.

Большая комната въ трактирѣ уѣзднаго города; въ углу за столомъ сидятъ отставной капитанъ Гуръ Ивановичъ, и лицо безъ рѣчей, очень жалкаго вида.

Засѣдатель. Эй, малый!...

Почтмейстеръ. Подай алой!

Капитанъ. Или хотъ простой, болѣе нѣтъ такой.

Почтмейстеръ. Люблю! ей-богу люблю компанію! скинулись по слову—и хорошо! Вы, почтеннѣйшій Гуръ Ивановичъ, женитесь...

Мальчикъ. Чтѣ прикажете?

Засѣдатель. Подай, братъ, вина, какое тамъ у васъ есть получше, позабористѣе.

Мальчикъ. Алонское, лисабонское, сантуринское, португальское.

Засѣдатель. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! старье, братецъ! У васъ есть каменное новое: этакъ желтое съ краснымъ сливомъ.

Мальчикъ. Никакъ питейское?

Засѣдатель. Оно, оно, оно, братецъ!

Почтмейстеръ. Оно, оно!

Лицо везъ рѣчи киваетъ головою.

Въ комнату вбѣгаетъ уѣздный учитель физикоматематическихъ наукъ, въ мундирѣ, при шпагѣ.

Учитель. А, мое почтеніе, господа!...

Всѣ. Мое почтеніе! мое почтеніе, Пяогорь Ларіоновичъ! откуда? чтѣ такъ принарядились?...

Учитель. Покорно благодарю. Сейчасъ только съ ярмарки. (Беретъ стулъ и садится).

Засѣдатель. Въ лавкахъ пѣлая умора. Лупшъ Ивановичъ! Статской совѣтницѣ опять кто-то наговорилъ, что она списана и напечатана съ руками и ногами! Господи, чтѣ за штуки она выкидываетъ: ходить по лавкамъ, ругается, плюетъ—свѣта представленіе!...

Капитанъ. И умно дѣлаетъ. По моему, не оставайся въ долгу... Какой-нибудь, Господи прости, сочинитель, ни чина, ни фигуры не имѣетъ, а смотри, увидитъ какую глупость—и въ печать!... и что ему за дѣло?

Почтмейстеръ. Ваша правда, Гуръ

Ивановичъ, а тутъ еще дѣло тоньше: вотъ уже нѣсколько лѣтъ житья нѣтъ намъ отъ своихъ же сочинителей. Одинъ въ комедию насъ пустилъ, весь т. е. уѣздъ, даже, между прочимъ, и почтмейстеръ есть, во все не сходственно, но есть; а другой дурачкія повѣсти пишетъ и все выводитъ на свѣжую воду плутовъ, да дураковъ; оглядишься кругомъ, и нашелъ кого изъ своихъ друзей или добрыхъ пріятелей, съ которыми хлѣбъ-соль и компанію водишь. Вотъ и обидно, очень обидно!... Да еще оба уроженцы здѣшнихъ окрестностей! Признаться сказать, благодарятъ за воспитаніе! И какъ имъ въ умъ не придетъ, что вернутся же когда-нибудь сюда доживать вѣку, и горько имъ выйдетъ проклятая баламутня: мы стоимъ за себя... Съ ума сошли, да и только!..

Засѣдатель. Грѣшите на Бога, Пудъ Ивановичъ, съ чего бы они сошли, когда у нихъ ума и не бывало... Плюньте на нихъ.

Всѣ (*хохочутъ*). Ваша правда, Луппъ Ивановичъ.

Засѣдатель. Принесла васъ легкая съ вашими сочинителями, Пиеагоръ Ларіоновичъ! перебили нашъ пріятельскій разговоръ. (*Мальчику*). А ты до сихъ поръ тутъ зѣвашь, порослячья морда! двѣ бутылки питейскаго, живо!... О чемъ бишь мы говорили?

Капитанъ. О дѣвицѣ Тонкоструйкиной.

Засѣдатель. Не женитесь на этой, у нея хоть и есть кое-что, кромѣ сорокашести лѣтъ, да сантиментальная—чортъ ее побери! все ахи да охи, да всякіе вздохи—примѣты плохи!... будете, храбрый капитанъ и кавалеръ, съ нею резеду поливать... да ходить пастись на росу.

Капитанъ. Да я могу повернуть по-свойски, у меня по военному: ни пикни!..

Засѣдатель. Женитесь—перемѣнитесь! На что былъ дружка майоръ Кремешокъ-Ремешокъ, каменный человѣкъ! батальонъ передъ нимъ по стрункѣ ходилъ... женился, да теперь часто самъ себя на рѣкѣ носовые платки моетъ!

Почтмейстеръ. Люблю, говорить, хозяйственныя занятія.

Засѣдатель. Знаемъ мы эти занятія! А вотъ бы для Гура Ивановича сходная невѣста—дочь нашей старой казначейши: и молода, и бѣла, и пристанище для васъ будетъ, безбѣдный кусокъ хлѣба; одно только, можетъ-быть, образованіемъ поотсталая... знаете никакихъ этихъ не знаетъ французскихъ діалектовъ, ни разныхъ ком-

плиментовъ... знаете? а грамотѣ русской, кажется, обучена.

Капитанъ. Тѣмъ лучше; я, признаться, не люблю этихъ ученыхъ; по-моему, какъ я понимаю вещи, жена должна быть здоровая баба да уметь печь пироги—вотъ и вся недолга, а науки вотъ предоставимъ милостивому государю.

Учитель. Оно такъ; но позвольте, Гуръ Ивановичъ, при женитьбѣ должно быть сочувствіе, душевная симпатія, такъ сказать какое-то неясное влеченіе, море духовнаго блаженства, въ которомъ утопаетъ человѣкъ.

Почтмейстеръ. Эхъ, Пиеагоръ Ларіоновичъ! говорите такъ оттого, что сами неженаты. Я человѣкъ опытный, недалеко сказать, моя покойница, добрая была баба и грѣхъ сказать, чтобъ когда-нибудь такъ... примѣрнаго была кондута; но учена была—вотъ бѣда!... Чуть пришелъ полкъ въ городъ, ужъ у нея изъ рукъ не выходитъ *Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ*. Воля ваша, а непріятно.

Засѣдатель. А коли попадется съ французскимъ языкомъ, нашему брату, православному, сущее наказаніе; въ глаза продасть и выкупить, а ты еще будешь усмѣхаться, слушая курьезную болтовню. Вѣдь вы, Гуръ Ивановичъ, кажется, не говорите по-иностраннымъ.

Капитанъ. Немного по-молдавански: въ Кишиневѣ стоя, наострился.

Засѣдатель. А! пшти молдаванешти—знаю! Когда я служилъ, и мы тамъ ставили, весь почти полкъ говорилъ по-молдавански. Знаете, бывало, съ коконами... Прошло, чортъ возьми!... Ну, а казначейская дочка, что ваша покойница! здоровая, румяная, хлѣбъ съ солью, что называется! посмотришь на нее—аппетитно пообѣдаешь... Женитесь, Гуръ Ивановичъ! Умри моя Марья Ивановна, завтра бы самъ на ней женился.

Капитанъ. Я не прочь, Луппъ Ивановичъ; она, кажется, имѣетъ...

Засѣдатель. О, не беспокойтесь! пристанище вамъ будетъ славное. Я третьяго дня проѣзжалъ мимо ихъ хутора: домикъ чудесный съ колонками, крестьянъ избъ десятокъ наберется, много хлѣба, скота, птицы... заживете! И это въ два года такъ поправились ея матушка. Голова, я вамъ скажу, старуха. У!... губернаторская башка! Затѣяла процесъ съ сосѣдомъ—поручикомъ. Онъ, знаете, погорячился и выругалъ ее по-вашему, по-военному, да изрубилъ бредень. Ну-съ, она и повела дѣло, повела, повела, сударь мой, и выиграла. Бойкая баба, я вамъ говорю. Присудили ей

по старымъ законамъ пропасть безчестья и, въ заключеніе, поручикъ долженъ былъ лѣзть подъ столъ и закричать: *гавъ, гавъ, гавъ! это не я говорю, а собака лаетъ—такъ она, дескать, лаяла и на казначейшу, когда я изрубилъ бредень...* Поручикъ зафарафонтился. „Не полѣзу, говорить, подъ столъ, провались онъ въ преисподнюю. Я, бывало, въ полку и въ бильярдъ не игралъ на пролазъ; не полѣзу, какъ честный и благородный человекъ, не стану, говорить, лаять по собачьему....“ Заартачился, а тутъ, гдѣ ни возмись, становой, Родіонъ Харитоновичъ, видитъ, что плохо, поручикъ лѣзетъ въ огонь, и давай по дѣлу христіанскому сводить его на мировую съ казначейшею: бились, бились и помирились: становой за труды взялъ пару лошадей съ хомутами, а казначейша взяла почти всѣхъ людей, скотъ и движимость—и съ легкой руки разбогатѣла. У поручика осталась семья людей, кучеръ, форейторъ, коляска да шестерка лошадей. „Все пошло, сказалъ поручикъ, въ чортъ знаетъ какія руки, да чести я своей не посрамилъ: имѣніе дѣло наживное, а чести я не наживу“. Вотъ какъ!... Женитесь, батюшка, Гуръ Ивановичъ. За здоровье вашей будущей... (*Всѣ нютъ*).

Капитанъ. Покорно благодарю! Вы, признаться сказать, Лупшъ Ивановичъ, дали мнѣ порядочную загвоздку... воля ваша, я буду думать, право буду думать. У меня такой норовъ: какъ залѣзетъ что въ голову, не скоро выкуришь.

Засѣдатель. Думать долго нечего, отпразднуемъ ярмарку, да и за дѣло.

Учитель. Дѣло благое; но все мнѣ кажется безъ особеннаго влеченія рѣшиться трудно; можетъ быть, ваши чувства, вкусы и прочее не сойдутся.

Капитанъ. Сойдутся!... Она, говорить, дѣвка здоровая, ражая, имѣетъ кое-что—я и доволенъ; а она ко мнѣ привыкнетъ—не нахвалится, я это знаю изъ опыта. Бывало, принимаешь роту—такъ и дрожатъ солдатики, и офицеры между собою поговариваютъ: „каковъ-то будетъ новый начальникъ?“ Прошло съ полгода, глядишь, на ротномъ праздникѣ поютъ въ честь мнѣ пѣсни и качаютъ на рукахъ. Такъ я жена... (*мановится передъ зеркаломъ, выжиметъ и надуетъ щеки, исправляетъ застужь*).

Почмейстеръ. Справедливо.

Капитанъ. Я обзаведусь бѣговыми дрожками, расплюжу на стени молдаванскихъ барановъ съ широкими хвостами... Вотъ хвосты, господа, объяденіе! такъ и таутъ во рту; я васъ угощу—увидите! Эй! половой!...

Мальчикъ. Что прикажете?

Капитанъ. Слушать, а не разговаривать! Принеси намъ... погоди: разъ, два, три (*считаетъ товарищей*), четыре, пять... Принеси пять бутылокъ питейскаго.

Мальчикъ. Слушаю-съ. (*Уходитъ*).

VIII.

Долго еще сидѣли наши знакомые въ трактирѣ, пили вино, разговаривали откровенно, пріятельски, о невѣстахъ, объ исправникѣ, о собакахъ и прочее, и, прощаясь, дружески обнялись, перецѣловались и разошлись.

Дорогою они вотъ что думали:

Почтмейстеръ. Чортъ принесъ дурака засѣдателя, не удалось мнѣ сосватать Тонкоструйкину за этого армейщину: ей правда, подъ сорокъ, ну, да и ему не меньше: славная была бы пара! Да и я получилъ бы богатый кисетъ! „Сосватайте, горюитъ меня, Пудъ Ивановичъ, на славу кисетъ вышью“. Вотъ тебѣ и кисетъ! да еще я самъ и потакалъ, чтобъ не подать подозрѣнія! Дуракъ засѣдатель!...

Засѣдатель. Этотъ капитанъ, должно быть, порядочный кутила: его можно надуть на лихую свадьбу съ музыкой и прочимъ; а хочется попить на чужой счетъ! Скучно на свѣтѣ!... Этакъ, можетъ быть, и пуншъ горящій, и буженина, и донское будетъ... Пфу!...

Капитанъ. Просто счастье лѣзетъ на меня! Не надуетъ бы меня этотъ засѣдатель: что-то онъ больно хвалитъ невѣсту, а она ему не свой товаръ, не родная, чтобъ тутъ не было шашней. Да мнѣ что за дѣло? было бы пристанище. Я видѣлъ свѣтъ, и рукой махну!

Учитель. Гм! симпатія, сочувствіе, влеченіе, нѣжности, страсти—все хорошо на языкѣ, а на дѣлѣ нигдѣ не годится. Были бы деньги—все найдется. Иногда видишь дѣвушку прехорошенькую, преобразованную, знаешь, что она бѣдна, какъ бубень, и глядишь на нее просто такъ себѣ, какъ на все глядишь, какъ на чашку глядишь, на двери глядишь—и ничего. Другая и не такъ хороша, да тысячь пять приданаго на эту уже не такъ глядишь, чувствуешь какое-то влеченіе, все хочется заговорить съ нею ласково, пріятно... Третья еще хуже, да имѣетъ тысячь десять-инадцать капитала—о! этой уже видѣть нельзя безъ страсти, такъ и борщить тебя отъ головы до пятки, сами ноги подгибаются упасть передъ нею на колѣни, и языкъ шевелится сказать: „сударыня!... вашу руку

и сердце!...“ Охъ-охъ-охъ! какъ бы надуть капитана и пріятелей!...

Лицо безъ рѣчей. Господи Боже мой, какъ я весело провелъ сегодншній вечеръ! Что за умное общество! какіе обязательные, добрые люди!... вотъ прямое дружба! Завтра посижу вечеръ у исправника.

IX.

На другой день послѣ извѣстнаго намѣ трактирнаго засѣданія, казначейша съ дочерью стояла на крыльцѣ и тревожно смотрѣла въ степную даль.

— Кажется, это стрѣляютъ въ той сторонѣ, гдѣ прудъ, говорила казначейша.

— Кажется, тамъ, говорила дочь:— мнѣ страшно!... Что, какъ они выстрѣлятъ прямо сюда?

— Богъ съ тобою! А точно такъ, мнѣ помнится, стрѣляли, когда подступалъ французъ.

— Ахъ, маменька, посмотрите, вотъ за курганомъ... право, голова видна!

Изъ-за кургана точно показалась человѣчья голова въ блестящемъ картузѣ изъ лакированной кожи, нѣсколько минутъ молча, неподвижно смотрѣла она на домъ казначейши, потомъ изъ-за кургана поднялась рука, сняла съ головы картузъ и начала махать, призывая къ себѣ старую Федору, которая развѣшивала на веревкѣ мокрое бѣлье. Казначейша послала Федору узнать, что тамъ такое сидитъ и чего оно хочетъ. Скоро Федора явилась съ докладомъ.

— Сидитъ какой-то баринъ и проситъ продать ему хлѣба и молока; рано, говорить, вышелъ на охоту и ѣсть хочетъ.

— Экая ты безтолковая! Скажи, что у насъ молъ не постоянный дворъ, дара Божьяго не продаемъ, а барыня, дескать, проситъ пожаловать откушать хлѣба-соли.

Федора пошла и опять вернулась одна.

— Ну что?

— Очень радъ, говорить, и благодаренъ, да боится васъ разсердить: онъ, дескать, въ охотничьемъ платьѣ, а коли позволите, придетъ.

— Какъ это, въ чемъ онъ тамъ?

— Все есть, какъ слѣдуетъ по закону, и шапка, и сапоги, и прочее.

— Такъ вѣрно такое дырявое, что и смотреть нельзя?...

— Ни одной дырочки, такое все хорошее.

— Ну, такъ проси.

Федора на этотъ разъ вернулась въ сопровожденіи молодого человѣка, по одежѣ въ вовсе непохожаго на охотника; на немъ

былъ свѣтлозеленый шалоновый сюртукъ, розовый галстукъ, голубой жилетъ, бѣлая манишка, украшенная тремя стразовыми запонками, и шелковые клѣтчатые брюки; въ одной рукѣ онъ держалъ длинное ружье, въ другой убитаго нырка; за спиной болталась охотничья сума. Подойдя къ казначейшѣ, онъ выпустилъ изъ правой руки нырка и приподнял картузъ.

— Извините, сударыня, что, не имѣя чести знать васъ лично, я осмѣлился...

— Да не держите такъ на меня вашего ружья! сказала, отступая, казначейша,

— Не безпокойтесь, отвѣчалъ молодой человекъ, немного смѣшавшись:— у него спущенъ курокъ, и оно такъ же безопасно, какъ желѣзная кочерга; а я за особенную честь имѣю рекомендоваться...

— Пожалуйста, прошу покорно въ комнату, а ружье оставьте въ сѣняхъ.

Незнакомецъ оставилъ ружье и сумку въ сѣняхъ, вошелъ въ комнату и, расшаркиваясь, началъ:

— Честь имѣю рекомендоваться, я...

— Знаете, мнѣ сейчасъ пришло въ голову: вы оставили свое ружье въ сѣняхъ, а тамъ, у насъ, часто ходитъ пѣтухъ, такой неугомонный, боюсь, чтобъ онъ нечаянно какъ-нибудь не выстрѣлилъ.

— Оставьте его безъ вниманія, пускай себѣ онъ ходитъ, это ничего. А я честь имѣю рекомендоваться: нашего уѣзднаго города преподаватель физико-математическихъ наукъ, Пиеагоръ Ларіоновичъ Точка.

— Очень пріятно; то-есть, вы на службѣ въ нашемъ городѣ?

— Въ уѣздномъ училищѣ.

— Ага! учителемъ.

— Точно такъ, сударыня, физико-математическихъ наукъ.

— Какъ поживаетъ вашъ смотритель? знакомый мнѣ человекъ,

— Слава Богу! на-дняхъ сбрилъ усы.

— Сбрилъ усы?! скажите! какъ это?

— Просто сбрилъ, по предписанію начальства.

-- Вотъ видите!... А вы вотъ это на охотѣ.

-- Да, сударыня, люблю, признаться, пострѣлять дичь. Тамъ, если позволите предложить, плоды трудовъ моихъ... если не будетъ вамъ противно...

— Нырка, что ли? да отъ него рыбою несесть.

— Ничего, вымочить сутки въ квасу, и все пройдетъ.

— Я этого не знала. То-то ученый народъ!... Прошу садиться. А вы порядочно напугали насъ! Мы съ дочкою не могли придумать, кто это стрѣляетъ. Богъ знаетъ чего не думали... а это просто вы... скажи-

те! Васъ и въ будень отпускають за охотой.

— Это ничего не значить, сударыня; я часто отъ понедѣльника до понедѣльника хожу по болотамъ, а классы идутъ своимъ порядкомъ. У меня уже ребяташки знаютъ: не приду въ классъ, далѣе учать двадцать одну строчку, хоть цѣлый мѣсяцъ, а я приду и разомъ справлю.

— Какъ это прекрасно!

— Чрезвычайно хорошо. Разъ было смотритель разсердился, говорить: „у васъ безъ смысла кончается урокъ: *первый членъ сей пропорціи состоитъ изъ...* да на этомъ словѣ и станеть отвѣчающій, будто отрѣзано; что-то неладно“. — „Погодите, сказалъ я, слѣдующій урокъ начнется словами: *второго, умноженного на знаменателя* и т. д. вотъ и выйдетъ смыслъ“. — „Ну, развѣ такъ!“ сказалъ онъ, и съ тѣхъ поръ не мѣшается въ мою методу.

— Вамъ и книги въ руки, замѣтила казначейша:—на то люди ученые.

Разговоръ, какъ видите, дѣлался очень занимательнымъ, но былъ внезапно прерванъ: мимо окна мелькнуло нѣсколько головъ и нѣсколько поднятыхъ рукъ съ растворенными пальцами; на дворъ послышался странный крикъ и, вслѣдъ за этимъ, въ растворенное окно вскочила испуганная пестрая курица. Стоя на подоконникѣ, она робко смотрѣла на гостя и съ ужасомъ оглядывалась назадъ: между тѣмъ снаружи по подоконнику, точно огромный паукъ, тихо подвигались, ползли красные пальцы чьей-то невидимой руки.

— Кишь, кишь! сказала казначейша, махая носовымъ платкомъ: курица выпрыгнула изъ окна, красные пальцы исчезли.

— Экая проворная! прибавила казначейша.—У меня, знаете, куры такъ одичали въ степи, что трудно поймать ихъ для стола, словно дикія; весь дворъ съ ногъ свалится, пока поймутъ которую. Посмотрите.

Всѣ подошли къ окну. Пестрая курица, распутивъ крылья, мелко рысью бѣжала по двору, за нею старая Федора съ двумя дочерьми Харитиною и Христиною. Харитина быстро обогнала курицу и очутилась передъ нею носъ къ носу: курица бросилась вправо, тамъ уже стояла Христина, назадъ Федора; бѣдная птица вписала. Тогда Харитина, Христина и Федора, раздвинувъ руки, будто крылья, начали потихоньку сходиться и составили вокругъ непріятеля рождъ живой цѣли. Вотъ онъ уже близко, уже Федора глазами коршуна радостно смотритъ на свою жертву и протягиваетъ надъ нею костистыя красныя руки: но видно курицѣ очень не хотѣлось купать-

ся въ супѣ, и она, собравъ послѣднія силы, вскрикнула, порхнула изъ круга и побѣжала по двору, оставя хвостъ въ рукахъ Федоры. Оправаясь отъ изумленія, Харитина, Христина и Федора опять начали преслѣдовать бѣглянку, опять у амбара окружили ее, и опять она вырвалась, засыпавъ пескомъ глаза Харитины.

Федора плюнула и сказала:—Это, Господи прости, чортъ, а не курица. Лови ее, какъ хочешь!...

— Я сейчасъ улажу дѣло, сказалъ учитель.

Не успѣла казначейша опомниться, какъ онъ уже стоялъ на крыльцѣ съ ружьемъ въ рукахъ и кричалъ:

— Эй, старуха, посторонись! дѣвчонки раздайтесь, разступитесь направо, налѣво, какъ радіусы отъ центра...

— Перестаньте! что вы! говорила казначейша, дергая за полу учителя, но было уже поздно: грянулъ выстрѣлъ, и курица упала, захлопавъ по землѣ крыльями.

— Вотъ такъ съ нею короче! сказалъ самодовольно учитель, гордо продувая ружье. Теперь не беспокойтесь, сударыня, и супъ скорѣе поспѣетъ, и ружье для вашего спокойствія останется совершенно незаряженнымъ.

— Богъ съ вами, Пинагоръ Ларіоновичъ, какъ вы меня испугали!

— Прошу прощенія, сударыня! я сдѣлалъ единственно изъ состраданія. При этомъ учитель поцѣловалъ ручку казначейши.

— Ничего, ничего, уже прошло... такъ сердцемъ не поможешь...

— Какъ вы хорошо стрѣляете! робко сказала казначейская дочка.

— Помиауйте-съ... отвѣчалъ учитель.

X.

Учитель цѣлый день провелъ у казначейши и даже заночевать. Казначейша была рада гостю, который угождать ей и пріятною бесѣдою разгонялъ скуку одиночества. Даже, дожась спать, она подумала: „изъ этого чловѣка былъ бы хорошій зять“.

А казначейская дочь?

Любовь—элементъ женщины—истина старая, если угодно, истертая, но не менѣе справедливая. Иначе и быть не могло. Созданная быть матерью, этимъ безконечно-любящимъ существомъ, она отъ младенчества чувствуетъ, сознаетъ въ себѣ божественную силу любви: еще ребенокъ, она ходитъ и ласкаетъ любимую куклу, раздѣляетъ съ нею свою радость и печаль, цѣлуетъ ее и тихо зашныкаетъ, прижимая ее къ дѣтской груди: но лѣта идутъ, въ ре-

бенкъ развивается жизнь болѣе и болѣе. Посмотрите на эту кудрявую головку, какъ она рѣзко поетъ и играетъ по саду; эта дѣвушка уже не ребенокъ; она стройна, хоть еще не имѣетъ хорошаго торса, только розовыя шереховатыя руки остались у нея отъ дѣтства; ей уже не нравятся куклы: она понимаетъ ихъ бездушную холодность, безотвѣтность на ласки; она ищетъ живой привязанности; она не можетъ безъ нея существовать; у этой дѣвушки есть любимая собачка, которая такъ нѣжно смотритъ на нее, такъ понимаетъ ее; есть въ клѣткѣ птичка, которую цѣлуетъ дѣвушка, кормитъ сахаромъ—и бѣдная птичка радостно чирикаетъ, увидѣвъ свою благодѣтельницу, трепещетъ крылышками и рвется къ ней изъ клѣтки. Дѣвушка счастлива, она смѣется и играетъ для своей птички какой-нибудь веселый галопъ или шаловливый вальсъ. Еще года два-три, и вы не узнаете своей знакомки: разовьется ея тонкій станъ, по немъ красиво разбѣгутся, разыграются волнистыя линіи, глаза загорятся чудеснымъ блескомъ, душа полна томительно-прекраснаго чувства: это полный, пышный цвѣтокъ природы, который только ждетъ перваго луча солнца, чтобъ развернуться, роскошно расцвѣсть, сверкая и благоухая любовью. Часто бѣдный чижикъ бываетъ забытъ по цѣлымъ днямъ; часто веселая дѣвушка задумывается, слушая воркованье горлицы; часто руки ея, уже бѣлыя, атласистыя, машинально упадаютъ на клавиши, но не гремитъ подъ ними прежнее веселое алегго; аккорды тихіе, грустные смѣняются одинъ другимъ, тоскуютъ, стонутъ о чемъ-то, а между тѣмъ, Богъ знаетъ, какія мечтанія толпятся, роятся, фантастически мѣняются въ прекрасной головкѣ; высоко подымается и трепещетъ грудь, пламенная кровь налегаетъ на сердце, и безотчетная слеза навертывается на пушистыхъ рѣсницахъ... Бѣдное и прекрасное созданіе, какъ мнѣ жаль тебя! Ты вся проникнута святымъ чувствомъ любви, чиста и пылка, какъ вдохновеніе поэта... ты жаждешь любви, этого дара Провидѣнія! Поймутъ ли тебя люди? оцѣнятъ ли твои чувства? не насмѣются ли надъ ними?... Пойметъ ли тебя тотъ, на кого ты обратишь свои пламенные очи? и достоинъ ли онъ будетъ этого чистаго дѣвственнаго огня?... и много, много подобныхъ, нерадостныхъ вопросовъ толпятся въ головѣ моей, когда я гляжу на прелестную дѣвушку; въ первой порѣ юности, любви, на которую, сластолюбиво улыбаясь, смотреть свѣтъ-эгоистъ и хладнокровно разсчитываетъ...

Казначейская дочь была уже въ той порѣ, когда не утѣшаютъ дѣвушку ни кук-

лы, ни чижики, ни цвѣточки, когда дѣвушка, глядя на розу, пышно алѣющую на весеннемъ солнцѣ, невольно шепчетъ стихи Жуковского:

Ахъ! еслибъ мой милый былъ роза цвѣтокъ,
Его унесла бы я въ свой уголокъ,
Его посадила бъ къ себѣ на окно,
Съ нимъ сладкою жизнью жила бъ за одно

Ко мнѣ прилипая, молодые листы
Шептали бъ: я—милый, а милая—ты!...

Часто, съ неизъяснимымъ чувствомъ, смотрѣла казначейская дочка на пару голубей, сидѣвшихъ на кровлѣ, часто задумчиво слѣдила она въ степи веселаго жаворонка, когда онъ, подымаясь отъ земли все выше и выше, исчезалъ въ синевѣ. Только оттуда лилась его звонкая разсыпчатая пѣсня, и вдругъ она умолкала, и пѣвецъ быстро падалъ, будто съ небесъ на землю, къ своей подругѣ. Радостно приподнявъ трепещущія крылышки, встрѣчала его подруга и своимъ носикомъ поправляла ему на шеѣ перья, и глядѣла на него съ любовью.

Прекрасная, но страшная пора жизни дѣвушки; она полна тревожнаго чувства: ей хочется раздѣлить его съ кѣмъ-нибудь; часто первая встрѣча рѣшаетъ судьбу ея. Благо, если это будетъ *человѣкъ*.

Казначейская дочь полюбила Пиеагора Точку.

Все въ Пиеагорѣ Ларіоновичѣ плѣнило бѣдную дѣвушку: его романическій приходъ, его блестящій нарядъ, его рѣчи, изысканныя, кудрявыя, ученые рѣчи! даже его выстрѣлъ по курицѣ... Не смѣйтесь! всякая удача, какъ фактъ силы, твердости, мужества мужчины, всегда нравится женщинамъ. Это, мнѣ кажется, причина, почему женщины часто предпочитаютъ военныхъ статскимъ. За что послѣдніе, если они философы, ни мало не должны сердиться.

Казначейской дочкѣ не спалось всю ночь; ея кровь волновалась, ей было жарко, душно... Точка въ зеленомъ сюртукѣ такъ и мерещился ей передъ глазами... „Что если бы...“ подумала она и вдругъ отворотилась лицомъ къ стѣнѣ, несмотря, что было темно и въ комнатѣ никого не было! она чувствовала, какъ горѣло лицо ея; ей стало совѣстно самой себя. „А какъ онъ хорошъ!—думала она,—какъ смотреть... и до-сихъ-поръ раздается по мнѣ шорохъ его шалоноваго сюртука, когда, стоя у окна, онъ нечаянно задѣлъ мою руку полою—будто муравьи по мнѣ побѣжали... Я чуть не заплакала; сама не знаю отъ чего. А

какъ онъ сказалъ: *помилуйте-съ*, и какъ посмотрѣлъ на меня!... Очень пріятно! *помилуйте-съ! помилуйте-съ!* Нѣтъ не такъ, — *помилуйте-съ!*...”

— Съ кѣмъ ты разговариваешь? сказала за дверью старая казначейша.

Дѣвушка вздрогнула: ужъ было утро.

— Это я, маменька, Богу молюсь. Господи помилуй! Господи помилуй!

Она встала и очень тщательно одѣвалась передъ старымъ зеркаломъ въ полинялыхъ золоченыхъ рамахъ.

Уединеніе и жаворонки подготовили для Пиеагора Ларіоновича легкую побѣду.

Утромъ казначейша вышла, чуть-ли не въ амбаръ, хлопотать по хозяйству. Въ комнатѣ осталась дочь и учитель. Дочь краснѣла, хотѣла встать и выйти, и все оставалась на одномъ мѣстѣ. Учитель поправлялъ рукою волосы, наконецъ онъ всталъ и торжественно сказалъ:

— Прощайте, сударыня, я отправлюсь.

— Какъ, сейчасъ?!

— Сію минуту.

— Куда?

— Опять въ душный, пыльный городъ, за ограду приличій, въ темницу.

— Въ тюрьму? неужели?

— Въ душную тюрьму, сударыня.

— Ахъ, не ходите!...

— Вы не хотите этого? извольте. Теперь я убѣгу въ безплодные пустыни, гдѣ страшно воетъ вѣтеръ и рыкаютъ дикіе звѣри, туда, далеко-далеко, за вашъ хуторъ, за хуторъ Пантелеямона Семеновича.

— Ахъ, не ходите!

— Почему?

— Тамъ страшно.

— А вы жалѣете обо мнѣ? я вамъ жалокъ? я смѣшонъ? У!... Прощайте! иду!

— Куда вы?

— Куда? въ прудъ... въ этотъ самый прудъ, на которомъ я вчера застрѣлилъ нырка, самъ нырнул... Когда будете кушать птицу, вспомните меня.

— Останьтесь!...

— Неужели вы жалѣете обо мнѣ?

— Какъ же, я буду плакать, когда вы утаете.

— О, прелестное существо! Вы бы плакали, еслибъ я умеръ?

— Да.

— А еслибъ умеръ мой смотритель? вы бы тоже плакали?

— Нѣтъ.

— Отчего же? вѣдь онъ вамъ человѣкъ знакомый.

Дѣвушка покраснѣла.

— Неужели я такъ счастливъ, сударыня? неужели вы любите вашего покорнаго слугу, который сгораетъ къ вамъ страшнымъ пламенемъ, который у ногъ вашихъ просить пощады? Смотрите, вотъ я, весь я, тѣломъ и душою передъ вами на колѣняхъ! рѣшите мою участь! любите ли вы меня или нѣтъ? скажите мнѣ: да или нѣтъ—и я буду знать, жить или не жить мнѣ... скажите!...

— Да, только не говорите маменькѣ, сказала дѣвушка, убѣгая изъ комнаты.

— Я и сама здѣсь и все слышу, говорил казначейша, останавливая въ дверяхъ дочь.

Недѣли двѣ послѣ этого утра у казначейши было много гостей: самъ смотритель училища и Луппъ Ивановичъ, много-много, даже и капитанъ Гуръ Ивановичъ... Она праздновала свадьбу своей дочери съ Пиеагоромъ Точкою. Всѣ пили, ѣли и удивлялись необыкновенному счастью казначейши, что не только ей богатство пришло отъ пруда, но даже отъ пруда пришелъ и самъ зять. Уѣздные чиновники находили, что это остро и смѣялись; даже самъ капитанъ послѣ пятого пунша сказалъ Пиеагору Ларіоновичу: „Весело, братъ, у тебя, да и жена твоя лакомая-баба,—что въ ротъ, такъ спасибо! Надулъ меня, школяръ, а Богъ съ тобою!... Сударыня, а сударыня, послушайте меня: я говорю, продувная бестія вашъ мужъ, продувная!... не будь онъ, вамъ бы не уйти отъ моихъ рукъ“.

Какъ ни были веселы гости, а все-таки подъ конецъ устали, захотѣли спать и разѣхались; по-моему, тутъ и конецъ разсказу. А если кого интересуетъ казначейша, такъ я, пожалуй, прибавлю, что она еще лѣтъ пять жила послѣ свадьбы своей дочери, занималась постарому хозяйствомъ, ѣздилъ въ городъ въ крытой бричкѣ, ѣздила при встрѣчѣ съ новымъ казначеемъ, восхищалась своимъ ученымъ и разумнымъ зятемъ, отъ котораго нянчилась трехъ румяныхъ внучковъ—словомъ, была по-своему счастлива, и умерла, оставивъ по себѣ въ уѣздѣ память умной, очень-умной женщины. Пиеагоръ Ларіоновичъ на ея надгробный памятникъ самъ сочинилъ эпитафію:

Хвала сему!
Великому!
Уму!!

1942 г.



Искатель мѣста.

РАЗСКАЗЪ.

Въ октябрѣ прошлаго 1842 года была въ добромъ городѣ Петербургѣ погода не очень дурная, но и не отличная. Мороза не было; свѣжій, сырой вѣтеръ тянулъ, какъ по трубѣ, по Невскому проспекту отъ Адмиралтейства къ Знаменью и осыпалъ прохожихъ чѣмъ-то холоднымъ и неприятнымъ, особливо, когда это вещество попадало за галстухъ; пока летѣло оно, то очень походило на снѣгъ, а падая разсыпалось дождекомъ—словомъ, это былъ полуснѣгъ и полудождь: какъ я полагаю, хитрое изобрѣтеніе природы XIX вѣка.

Вѣдь есть же полумериность, полушампанское, полубархатъ, почему же не быть полуснѣгу? Оно, должно быть, и дешевле, не требуетъ для приготовленія столько морозу, какъ настоящій снѣгъ, а между тѣмъ очень хорошо: такъ же засыпаетъ глаза, такъ же холодитъ, даже чуть-ли не несноснѣе настоящаго.

Прохожіе, идущіе къ Знаменью, подымали съ затылка воротники шубъ и шинелей и, выглядывая будто изъ городской заставы на свѣтъ Божій, улыбались каждому фонарю, только немного хмурясь, когда враждебный вѣтеръ изъ Большой или Малой Конюшенной летѣлъ на встрѣчу своему родичу—невскому вѣтру, вырывалъ у него горсти двѣ полуснѣга и бросалъ имъ въ лицо. Но за то бѣдные путешественники, державшіе путь къ Адмиралтейству, вертѣлись какъ флюгера, строили ужасныя рожи, выдѣлывали отчаянныя эволюціи, сморкались, протирая глаза, и выплевывали безпрестанно полуснѣгъ, летѣвшій прямо къ нимъ въ ротъ.

Въ это время мнѣ довелось ѣхать по Невскому отъ Адмиралтейства, и—каюсь въ грѣхахъ—я съ удовольствіемъ смотрѣлъ

на увертки человѣчества, шедшаго противъ вѣтра по троттуару.

Тутъ страдали разные люди, похожіе и на изломанную флейту, и на раскрашенный бубень, и на утку въ салопѣ, и на аллебарду будочника подъ вуалью, и на фатотъ въ сапогахъ. Но болѣе всѣхъ занималъ меня человѣкъ высокаго роста, тонкій, стройный, въ модныхъ брюкахъ, въ круглой шляпѣ и въ лѣтнемъ самомъ коротенькомъ плащикѣ, изъ непромокаемой матеріи, матеріи очень хорошей, въ которой одно только неудобство, что она промокаетъ отъ самаго легкаго дождя.

Высокій человѣкъ очень ловко ухитрился уладить воротничокъ плаща около полей шляпы, и придерживалъ его обѣими руками такъ искусно и крѣпко, что со стороны можно было подумать, будто воротничокъ пришить, приклеенъ или придѣланъ къ шляпѣ какъ-нибудь, посредствомъ гальванопластики. За то вѣтеръ въ волю потѣшался надъ полами, подымалъ ихъ, свивалъ, развивалъ, фантастически закидывалъ на плечо или набрасывалъ на голову.

Издали я принялъ высокаго незнакомца за длинный черешневый чубукъ въ плащикѣ и шляпѣ—такъ онъ стройно двигался по троттуару; и представьте мое удивленіе! когда незнакомецъ началъ кланяться, поровнявшись со мною, вѣтеръ сорвалъ съ него шляпу, и я узналъ въ незнакомцѣ Ивана Ивановича.

— Куда вы, Иванъ Ивановичъ? спросилъ я.

— Да вотъ, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ:— все еще мѣсто отыскиваю. Сейчасъ былъ у...го начальника—не принимаетъ, занятъ дѣлами, сказалъ человѣкъ; завтра понавѣдаться часу въ первомъ; а теперь иду къ

его превосходительству N...; авось тут что узнаю. Прощайте, тороплюсь, знаете, иногда придется въ такое время, что...

Вѣтеръ не далъ кончить фразы, прикрывъ полою плаща ротъ Ивана Ивановича. Мнѣ послышались еще два три неясныя слова, будто сказанныя въ карманѣ, потомъ фырканье, очень похожее на фырканье кошки, брошенной въ ушатъ съ водою шалуномъ-школьникомъ, а потомъ я уже ничего не слышалъ, кромѣ брани извозчиковъ и нелѣпой пѣсни сбительщика на Аничкиномъ мосту.

Надобно было случиться, что я ѣхалъ къ начальнику, у котораго сейчасъ былъ Иванъ Ивановичъ; но я не искалъ мѣста, ни о чемъ не хотѣлъ просить его и былъ принятъ очень ласково.

Должно отдать справедливость, что многіе изъ начальниковъ бываютъ очень милые, пріятные въ обществѣ люди, такъ-что, не будучи знакомъ съ человѣкомъ, протолкуешь запросто съ нимъ гдѣ-нибудь цѣлый вечеръ и о преферансѣ, и о китайскихъ дѣлахъ, и о цѣнахъ на овесъ, и о желѣзной дорогѣ, ни мало не подозрѣвая, что онъ начальникъ; думаешь, что такъ-себѣ, нашъ братъ, простой человѣкъ; послѣ узнаешь—только сдвинешь плечами.

Наши провинціалы мнѣ не повѣрятъ, а это истина.

Иванъ Ивановичъ пріѣхалъ въ августѣ прошлаго года въ Петербургъ изъ провинціи, гдѣ былъ знакомъ съ пріятелемъ, или даже почти другомъ мужа моей внучатной сестры, и привезъ мнѣ отъ него письмо очень пріятное, котораго содержаніе уже не помню, хотя изъ него я составилъ себѣ очень выгодное понятіе о пріятелѣ мужа моей внучатной сестры, котораго никогда не видывалъ. Иванъ Ивановичъ въ чрезвычайно пестромъ и неуклюжемъ нарядѣ робко вручилъ мнѣ пріятное письмо, говорилъ, что пріѣхалъ искать мѣста въ Петербургѣ, съ благоговѣніемъ упоминалъ о разныхъ письмахъ, лежавшихъ у него въ карманѣ, къ великимъ людямъ бюрократнаго міра и очень удивился, когда я совѣтовалъ сжечь эти письма.

Черезъ недѣлю Иванъ Ивановичъ опять навѣстилъ меня. Въ продолженіи этой недѣли онъ уже успѣлъ состроить себѣ модные брюки, круглую шляпу и коротенькій плащъ изъ непромокаемой матеріи; успѣлъ развѣсть письма, сѣлъ у Излера разстегивчикъ и порцію мороженого, купилъ по случаю у проходившаго солдата за десять рублей бронзовый перстень съ ложнымъ алмазомъ и былъ въ восторгѣ отъ Петербурга.

Иванъ Ивановичъ, казалось, съ пестрымъ платьемъ скинулъ провинціальную робость и, какъ ребенокъ, съ чувствомъ, даже съ восхищеніемъ рассказывалъ мнѣ о своихъ надеждахъ по службѣ, о ласковомъ пріемѣ великихъ людей, которые даже пожимали ему руку и говорили: „будьте благонадежны“; объявилъ мнѣ, что на дняхъ поступить въ любое министерство, только затрудняется въ выборѣ... Часа два утѣшалъ онъ меня своимъ простодушіемъ, выкуривъ сигару, попросилъ стаканъ воды и, блѣдный, какъ полотно, вышелъ отъ меня.

Съ тѣхъ поръ я его не видалъ до послѣдней встрѣчи на Невскомъ, когда дулъ хорошій вѣтеръ и шелъ прекрасный полуснѣгъ.

У начальника въ кабинетѣ было очень тепло. Въ каминѣ горѣли каменные уголья, передъ каминомъ, на эластическихъ гамбсовскихъ креслахъ всѣхъ возможныхъ видовъ сидѣло человѣкъ пять гостей. Лампы подъ матовыми колпаками разливали пріятный, успокоительный свѣтъ; полъ былъ устланъ коврами мягкими, шелковистыми; на окнахъ цвѣли душистые цвѣты, у стѣны зеленый плющъ вился по лакированной рѣшоткѣ, кудрявыми завитками выбѣгалъ подъ потолокъ и спускался до полу волнистыми прядями; между ними проглядывали бѣлые, будто восковые, цвѣты гординіи флориты, наполняя комнату тонкимъ, упительнымъ, сладострастнымъ благоуханіемъ... Казалось, трудъ и забота были изгнаны изъ кабинета; нигдѣ вашъ взоръ не встрѣчалъ ни рабочаго стола, ни чернилъ, ни перьевъ, ни даже книгъ; кругомъ статуэтки, кипсеки, гравюры и разныя бездѣлушки изъ бронзы, мрамора и фарфора. Для полнаго украшенія комнаты недоставало одного—прекрасной женщины! Будь здѣсь она съ томными очами, съ чудною улыбкою, съ гармоническою рѣчью... будь здѣсь она, друзья мои, я бы не вышелъ изъ кабинета—такъ въ немъ было хорошо!

Я раскурилъ сигару, разлегшись въ креслѣ противъ пріятнаго каминна, вспомнилъ о бѣдномъ Иванѣ Ивановичѣ, брошенномъ судьбою на потѣху петербургскаго вѣтра, и, не откладывая въ даль, разсказалъ начальнику исторію моего знакомства.

Начальникъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и сказалъ: „Ага!“ Одинъ гость сказалъ: „ого!“, другой—„гм!“, а прочіе ничего не сказали, только посмотрѣли на меня—и за то спасибо!

— Вашъ разсказъ,—продолжалъ начальникъ:—напоминаетъ мнѣ очень смѣшное приключеніе, случившееся въ царствованіи

блаженной памяти императрицы Екатерины II-й...

Почти цѣлый вечеръ рассказывалъ начальникъ приключеніе, которое я вамъ сейчасъ перескажу, только—извините—я не могу сохранить формы рассказа, потому-что онъ былъ наполненъ эпизодами обо всемъ и выходками противъ новаго поколѣнія, къ которому я, а можетъ-быть и вы, принадлежите.

Въ истинѣ рассказа не ручаюсь, но онъ долженъ быть справедливъ: его мнѣ передалъ современникъ и человѣкъ, кажется, нелюбящій лгать. Впрочемъ, вы можете справиться сами: ступайте на Невскій проспектъ часу въ 4-мъ дня, и если увидите небольшого старика съ отличнымъ бобромъ на бекешѣ, подойдите къ нему и скажите: „ваше превосходительство!“ Если онъ спроситъ: „что вамъ угодно, государь мой?“ такъ это и есть тотъ самый начальникъ; тогда расспросите его, какъ знаете.

Давно, болѣе полувѣка назадъ, далеко отъ Петербурга, у большой дороги, стояла некрасивая рубленая изба, съ плоскою крышею, съ волоковыми окнами и однимъ стекломъ; изба, какъ всѣ избы на святой Руси. Изба принадлежала дьячку Осипу. Съ нея, коли хотите, начнется мой рассказъ.

Былъ зимній вечеръ; на дворѣ шумѣла вьюга; печально горѣла въ избѣ лучина, двѣ взрослые дѣвки пряли, двѣ поменьше, сидя на полу, ошипывали какое то старое крыло; старуха достала изъ печки горшокъ съ клецками, поставила его на столъ, сѣла на лавкѣ, печально подпершись руками, и несводила глазъ съ двери, будто кого-то поджидала. Не прошло и получаса, какъ захрустѣлъ подъ окномъ снѣгъ, заскрипѣли двери и въ избу вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Узкіе глаза и длинная коса по плечамъ дѣлали его очень похожимъ на китайца. Молча отряхнулъ онъ заснѣженный синій картузь, перекрестился и сѣлъ за столъ.

— Ну что, Осипъ? спросила старуха, не переменяя своего положенія.

— Ни что не беретъ, отвѣчалъ, вздохнувъ, Осипъ:—и кланялся, и просилъ, такъ и слушать не хочетъ. „Я, говоритъ, за свои деньги сыщу человѣка съ голосомъ; уже, говоритъ, и послалъ къ благочинному“.

— Вправду ли послалъ?

— Послалъ, говоритъ прикащикъ.

Молчаніе.

— А ты ему что?

— Все говорилъ, и про старую службу, и про все.

— А онъ что?

— Пой, говоритъ, такъ оставлю... Какъ же пѣть, когда голосъ Богъ взялъ—гдѣ я его возьму?...

Молчаніе.

— Вотъ бѣда! Хотъ бы намъ праздники тутъ прожить, сказала дьячиха.—Рождество будетъ чрезъ двѣ недѣли.

— И думать нечего! Къ празднику привезутъ другого дьячка, а насъ выпроводятъ на всѣ четыре стороны. Охъ-о-хо!...

— Тебѣ другое мѣсто дадутъ...

— Не ври, жена, куда я похужу?... Былъ голосъ, былъ голосъ и—се не бѣ. А тутъ вотъ еще Богъ послалъ дочекъ... худой товаръ дочки... ханаанскія жены дочки... Вотъ Андрюшка подростъ: отдалъ въ бурсу и спокоенъ—онъ одѣтъ, обутъ, дойдетъ разума, я и спокоенъ.

— Ну, ужъ не говори! была я въ этой бурсѣ; не пускалъ сторожъ, пятакъ дала, а таки вошла, а тамъ ихъ, моихъ сокольниковъ, словно гаду какого, всѣ въ пестрядинныхъ халатикахъ, всилу узнала Андрюшку.—Комната большая, нетопленная, только кулачками и грѣются. „Гдѣ жъ ты спишь?“ спросила я Андрюшку. „Вотъ матушка“, сказалъ онъ. Гляжу—голая скамейка. „Что ты стелешь?“—„Вотъ этотъ мѣшокъ“.—„А въ головы?“—„Вотъ этотъ мѣшокъ“.—„А укрываешься чѣмъ?“—„Этимъ мѣшкомъ“.—„Да вѣдь это все одинъ мѣшокъ?“—„Одинъ: я влѣзу въ мѣшокъ и сплю“. Вотъ какое ихъ житіе.

— Спасибо, что мѣшокъ есть да скамейка: тутъ скоро и того не будетъ.

Молча, грустное бѣдное семейство дьячка сѣло за ужинъ.

Я зналъ одного учителя пѣнія, который жилъ уроками и вдругъ осипъ; онъ затосковалъ, чуть не помѣшался, даже ночью, просыпаясь, вдругъ начиналъ вскрикивать на разные тоны, начиналъ пробовать голосъ. Многие, очень умные люди, смѣялись надъ этими пробами, но, согласитесь, что бѣднякъ былъ вовсе не смѣшонъ.

Съ Осипомъ случилась та же исторія: онъ весь свой вѣкъ славословилъ Господа на клиросѣ и не зналъ другой работы, думая, что доведется ему кончить такъ и вѣкъ—вышло иначе. Въ жаркій лѣтній день онъ напился воды со льдомъ; кажется, ничего пить воду,—сколькимъ это проходитъ; но бѣдному дьячку не прошло, горло ему сдавило, перехватило, звонкость и доброты гласіе гортани, какъ выражался онъ, исчезли и вмѣсто ихъ явился мерзкій гласъ въ родѣ шипѣнья, очень сходнаго съ шавканьемъ земляной утки. Бабы шептали надъ нимъ, поили всячиною—ничто не помогло; что день—рѣчь дьячка становилась хуже и

онъ въ душѣ увѣрился, будто Богъ испытываетъ его добродѣтель. Между-тѣмъ помѣщикъ сердился, не слыша обычнаго громаго пѣнія въ своей церкви, и рѣшительно положилъ изгнать дьячка, какъ человѣка неспособнаго.

Почаебно ужинало семейство дьячка, убитое общимъ горемъ. Если бъ они могли понять, что можно лечь спать не ужинавши, то вѣрно никто бы изъ нихъ не сѣлъ за столъ. Не слышно было разговоровъ, лѣниво двигались ложки; клецки ни кому не шли, какъ говорится, на душу.

Тускло свѣтила нагорѣвшая лучина; черный котъ, выгнувъ спину, терся у стола, и однообразно мурлыкалъ, и на дворѣ шумѣла вьюга сильнѣе и сильнѣе, дергала ставни, уныло завывала въ трубѣ и, порою, сыпала снѣгомъ въ окна...

— Ну ужъ погода! сказала дьячиха.

Да, разгулялась, отвѣчалъ Осипъ.

— Кто разгулялась?...

— Вѣстимо, погода.

— Полно, погода ли? погода сама по себѣ, а тутъ, наше мѣсто свято...

Что такое?

Слышь, какъ воетъ да стонетъ—по кожѣ морозъ идетъ, какъ послушаешь.

-- Бабы сказки! Вѣтеръ воетъ.

Вѣтеръ самъ по себѣ, а тутъ слушай... вишь, будто плачетъ да еще призванивается... слышь, не быть бы покойнику?

И старуха, значительно посмотрѣвъ вокругъ, перекрестилась.

А вразравду чудно: кажись, словно кто звонить... о!... слышь?... о!... нѣтъ, это показалось.

Въ это время довольно громко загремѣлъ колокольчикъ, будто нарочно кто заавонилъ подъ окномъ—и опять все утихло, только буря зашумѣла сильнѣе. Семейство дьячка переглянулось—ни на комъ не было лица отъ страха. И вдругъ съ громомъ и звономъ вылетѣло единственное окно, и изъ него, вмѣстѣ съ морознымъ паромъ и клубами сверкающихъ снѣжинокъ, выставилась страшная заснѣженная звѣриная голова: глаза ея злобно хлопали, дымъ клубился изъ ноздрей.

Какъ стало овецъ шарашнулось семейство дьячка въ темный уголъ, столъ полетѣлъ вверхъ ногами, котъ вскочилъ на печку; одинъ дьячокъ сидѣлъ неподвижно, машинально крестясь; его губы шевелились, не издавая никакого звука. Можетъ-быть, съ дьячкомъ было бы худо, еслибъ скоро не вошелъ въ избу человѣкъ, просясь на ночлегъ. Дьячекъ ошолчился. Провѣзжій обѣщалъ заплатить ему за окно, случайно разбитое лошадемъ, за ночлегъ, за безпокойство, за страхъ и прочее. Согласитесь,

что такой провѣзжій былъ человѣкъ не дурной. Провѣзжій былъ молодой офицеръ, съ русскимъ здоровымъ, добродушнымъ лицомъ, съ чистою русскою рѣчью. Онъ называлъ съ первыхъ словъ дьячиху матушкою, ея дочекъ красавицами, даже слегка подмигнулъ имъ; дьячиха улыбалась, дочки смѣялись перешептывались въ углу, дьячокъ, приглаживая косу, покашливалъ.

Вотъ товарищъ провѣзжаго былъ другой масти. Тоненькій, маленькій, поджаристый, подбородистый, съ черными щетинистыми волосами, подъ нижней губой клочекъ бороды, носъ крючкомъ, глаза какъ у суслика, ножки словно дудочки. Пришелъ съ какимъ-то гробикомъ, поставилъ его на лавкѣ, а самъ ну скакать по комнатѣ да дуть себѣ въ пальцы; заговорилъ къ офицеру—ни слова нѣтъ христіанскаго, будто птица говорить. „Подобія нѣтъ человѣческаго; вѣрно, нѣмецъ“, смекнулъ дьячекъ. „Ужъ не ты ли, соколикъ, эту мятель поднялъ! съ нами крестная сила,“ подумала дьячиха, косо потягивая на черный гробикъ, къ которому подходилъ незнакомецъ, поворачивалъ его съ любовью, осматривалъ со всѣхъ четырехъ сторонъ и, бережно поставивъ, опять принимался прыгать.

Разбитое окно было въ минуту заставлено, задѣлано; ящикъ внесъ въ избу дорожный погребецъ офицера. Офицеръ досталъ изъ него восковую свѣчку, которая пріятно замѣнила лучину, вынулъ стаканы, ромъ, чай, сахаръ и дорожный чайникъ, дьячиха согрѣла воды и скоро дьячекъ развеселился, сидя подлѣ своихъ гостей, и, прихлебывая горячій пуншъ, вступилъ въ разговоръ съ офицеромъ.

Офицеръ разсказалъ, что онъ, выѣхавъ съ послѣдней станціи, сбился съ дороги, но, къ счастью, долго плутая по полямъ, увидѣлъ вдали огонекъ, на который ѣхалъ до тѣхъ поръ, пока коренная не уперлась оглоблями въ избу и не вышибла головою окна.

— А, казалось, огонь горѣлъ Богъ знаетъ какъ далеко, прибавилъ офицеръ.

— Это бываетъ: въ мятель нечистая сила какъ будто снуетъ передъ глазами, замѣтилъ дьячекъ, не совсѣмъ хладнокровно посмотрѣвъ на офицерскаго товарища:—неровно такъ заведетъ, что и душу загубишь.

— Мнѣ то ничего, я человѣкъ привычный къ морозу; а вотъ я боялся за товарища; онъ иностранецъ, и въ первый разъ на вѣку довелось ему попробовать нашей вьюги.

— Я пожилъ на своемъ вѣку, ваше благородіе, довольно, и съ двухъ словъ узнать, что онъ нѣмецъ.

— Вотъ то-то, что вѣтъ, любезный; это итальянецъ.

— Итальянецъ!?... Вотъ ужъ первый разъ слышу и вижу такого человѣка.

Тутъ дьячекъ взялъ свѣчку, поднесъ ее къ самому лицу незнакомца, посмотрѣлъ на него и прибавилъ, покачивая головою:— Господи Боже мой, какихъ людей не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ!.. А позвольте спросить, ваше благородіе, гдѣ вы взяли этого человѣка?—Чай въ полонъ попался?

— Нѣтъ, онъ изъ своей стороны ѣдетъ къ намъ по охотѣ.

— Такъ, стало, дома ѣсть нечего.

— И не то, любезный.—Видишь, мой начальникъ услышалъ, что онъ хорошо играетъ на скрипкѣ, и послалъ меня въ Италію привести этого музыканта.

— Живаго или мертваго? по нашему!

— Нѣтъ, живаго! на что ему мертвый?..

— И то правда. Долго, небойсь, артачился.

— Немного.

— Вѣрно смышленъ; знаетъ, что противъ приказу не пойдешь. Такъ вы его изволили тащить прямо къ начальнику—въ губернію?

— Въ Петербургъ.

— Боже ты мой! въ Петербургъ! тамъ, гдѣ парица живетъ—тамъ и вашъ начальникъ?..

— Да, я служу въ гвардіи, при свѣтлѣйшемъ. Садись, любезный...

— Извините, ваше высокоблагородіе, я думалъ, то есть полагаю—вы изъ легкоконцевъ или охочекомонныхъ, а вы и парицу видаете... нѣтъ, ужъ я не сяду...

— Садись, братецъ, я тебѣ приказываю, если по просьбѣ не сядешь.

— Это дѣло иное... Позвольте мнѣ и дочкамъ поцѣловать ваши ручки...

Насилу могъ офицеръ отговориться отъ предлагаемой почести, усадилъ дьячка; и едва послѣ третьяго стакана пуншу опять бѣднякъ немного освоился съ петербургскимъ гостемъ. Офицеръ разсказалъ, что его начальникъ свѣтлѣйшій князь Потемкинъ, уроженецъ этой губерніи изъ села Домнова.

— А какъ зовутъ его милость? спросилъ дьячекъ.

— Григорій Александровичъ.

— Чудное дѣло! ну, коли правду сказать, вы не повѣрите, ваше высокоблагородіе... да вы не разсердитесь?

— За что?

— Да такъ, я вѣдь самъ съ молодую жила въ сельцѣ Домновѣ.

— За что же тутъ сердиться?..

в— Это не все, а былъ тамъ маленькій пострѣленокъ, извините, просто Гриша, такъ съ его звали, и я такъ звалъ, а коли прикинешь по отцу, ей-же, выходитъ Алек-

сандровичъ, а Гриша въ писаніи и въ тонкихъ рѣчахъ именуется Григоріемъ... извините...

— Отчего ты извиняешься?

— Такъ, ваше высокоблагородіе, бѣсъ гордыни—великій бѣсъ... Ужъ я подумалъ: не вашъ ли начальникъ нашъ домновскій Гришка? извините... и одинъ прохожій солдату что-то подобное разсказывалъ... Я не говорю, ничего не говорю, а въ головѣ подумалось, то-есть предположилось... Да и куда ему! вашъ Григорій Александровичъ Потемкинъ—свѣтлѣйшій, а нашъ Гриша былъ просто сынъ отставнаго гарнизоннаго капитана Александра Васильевича Потемкина... Училъ я Гришу уму разуму, то-есть азбукъ и простому складу поверхамъ, оно же и чтеніемъ именуется... да и терпѣлъ!...

— Шалунъ былъ Гриша?

— Не приведи Господи! сущее было наказаніе, шалунъ презнаменитый и таковой же лѣннвецъ... а грѣхъ сказать, коли, бывало, захочетъ, все выучить!... Вотъ мы съ нимъ стали только читать, и гортанъ у него была хорошая... „Пора, говорю, углубиться въ знаніе: изучить часословъ“.— „Пожалуй, сказалъ Александръ Васильевичъ“. Мы и принялись; Гриша будто пріохотился, все говоритъ: „выучу книжку и буду архіереемъ“, и начнетъ самъ по себѣ громко да звонко выкрикивать: *уже въ шестой часъ*... А тутъ и бѣда случилась!... извините.

— Ничего, братецъ! Какая бѣда?

— Пришелъ въ село цесарецъ съ лекарстами и сталъ продавать печатную книжку: „на дорогѣ, говоритъ, нашелъ“. Дарья Васильевна, матушка Гриши, накупила полезнаго зелья, а Александръ Васильевичъ купилъ книжку, чуть ли не гривну далъ: „сыннишка, говоритъ, растетъ, пригодится“. Призвалъ меня Александръ Васильевичъ и показалъ книжку; на книжкѣ стоитъ годъ 1594. Я говорю: „книжка старая“.— „То-то что старая“, сказалъ Александръ Васильевичъ: „должна быть разумная, старые люди были не чета теперешнимъ; оставь ты, Осипъ, часословъ, да примитесь съ Гришкою за эту книжку“.— „Да я, батюшка Александръ Васильевичъ, отъ рожденія не видывалъ этой книги и самъ ее не знаю“.— „Пустое“, сказалъ Александръ Васильевичъ: „ты человѣкъ грамотный; немного понатужись и всю ее проглотить... Вотъ у насъ, бывало, въ Углицкомъ пѣхотномъ полку пригонять партію рекрутъ, мужикъ въ мужика!... Спросишь: есть мастеровые?— всѣ молчатъ. Тутъ десятокъ въ сторону другой въ другую, третій въ третью и скажешь: вы портные, вы сапожники, вы столяры. Черезъ недѣлю, смотришь, все шьетъ

тачаетъ, строгають!... Да-съ, это немного по-мудренѣе, а шло хорошо. Принимайтесь-ка, говорятъ, за купленную книжку, дѣло пойдетъ на ладъ; я тебѣ, Осипъ, пожалуй накинѹ лишнюю полтину въ годъ". Дѣлать нечего, противъ воды не поплывешь, да и въ писаніи сказано: *блаженны смиренніи*. Книжка называлась: *Грамматика доброглаголивого славянословенскаго языка, совершеннаго искусства осьми частей слова. Ко наказанію многоименитому російскому роду*. Сущее было наказаніе съ противною книжкою, и писана она была вполовину не нашимъ языкомъ. Давай, говорю, Гриша учить эту чепуху въ угоду батюшкѣ. Надѹся Гриша—пошли страданія!... Извините, ваше высокоблагородіе... можетъ изволите гнѣваться?

— Нѣтъ, Осипъ, это любопытно; продолжай, пожалуйста. Такъ вы выучили грамматикѹ?

— Нѣтъ, самъ Богъ не попустилъ. Сначала, на первомъ листкѣ была картинка, а подъ картинкою стихи. Вы ихъ не знаете?

— Нѣтъ.

— Стихи то мы выучили:

Знаменіе тезоименитаго князя Льва градъ сей маєтъ;
Его-же имя по всей Европѣ російской родъ знаетъ;
Въ митрополіи кіево-галицкой пребываетъ;
Его-же вся окрестная обогащаетъ.

— А дальше... Левъ... Левъ... извините ваше высокоблагородіе, конца не помню, давно было, а стихи благозвучны. Ну, мы ихъ выучили, оглавленіе, и пошли въ глубь!... Зѣвали мы надъ буквами сугубыми, дремали надъ тонкими и сипливыми, всю зиму возились около стѣсняемыхъ женскихъ именъ и къ веснѣ дошли до глаголовъ. — Какъ теперь помню, было на Авдотіи Плющихи, присылаетъ за мною Александръ Васильевичъ: „что, говоритъ, Осипъ, ты деньги берешь, а учить не хочешь, сегодня и не пришелъ". — Праздникъ молъ сего дня, подумалъ я, да не сказалъ, а сѣлъ съ Гришею и стали разбирать о *первомъ супружествѣ глаголовъ тяжко ударительномъ*, бились, бились, не дѣзетъ ему въ голову супружество, закрылъ книгу и спрашиваетъ: „ты пришелъ, Осипъ, или пріѣхалъ на булашкѣ?" — „Пріѣхалъ на булашкѣ; теперь весеннее дѣло, теперь ходить мокро-вато, да и кобылка застоялась". — „А пойдемъ посмотримъ, да ты меня прокатаетъ". — „А твой батюшка будетъ ругаться". — „А ничего, сказалъ Гриша, онъ поѣхалъ къ сосѣду, не увидитъ, а я что за дуракъ въ праздникъ учиться". Правда, подумалъ я, и мы пошли. Моя кобылка у

амбара ѣла сѣно. „Садись въ сани, сказалъ Гриша, а я взуздаю булашку". Я сѣлъ въ сани, Гриша взялъ плетку, пошелъ къ булашкѣ, ворожилъ, ворожилъ, возлѣ головы, и говоритъ: „ну, вотъ готова, давай выведу за ворота". Вывелъ, подошелъ съ боку, да какъ перепоясалъ булашку плетью, какъ подхватить моя булашка! кобыла была ретивая; я хватъ за вожжи, потянулъ — онѣ и остались въ рукахъ. Смекнулъ я, что Гришка, потѣхи ради, развожжалъ кобылку. — Да ужъ поздно! Несетъ меня булашка, только санки подпрыгиваютъ; я сложилъ руки да читаю спѣшно: *помяни Господи царя Давида и всю кротость его*.

— *Хлѣбъ да мякина—самсоновъ силъ*, эта приговорка вѣрнѣе, отозвалась изъ устъ дьячиха.

— Молчи, жена! Извините, ваше высокоблагородіе, бабье дѣло, не знаетъ писанія, а мѣшается; мое воззваніе спасительно, а ея... извините!...

— Продолжай, Осипъ, ничего!

— Несетъ меня булашка, я знай отчитываюсь; нанесла на пригорочекъ, а подъ пригорочкомъ сосенка росла, этакъ обхватила въ два толщиною; санки забѣжали бочкомъ, да какъ хватятся о сосенку—я и свѣта не взвидѣлъ. Встаю; нѣтъ никого кругомъ, и кобылки нѣтъ, только сосенка стоитъ; въ головѣ будто пчелы гудятъ; подъ сосенкою кровь; вѣрьте Богу, три зуба сразу выпилъ, и до сегодня ихъ недосчитываюсь... Пришелъ къ Александру Васильевичу, а тамъ вавилоновскій шумъ... Досталось Гришѣ отъ батюшки... одинъ только онъ знаетъ, да Александръ Васильевичъ, да матушка Дарья Васильевна, да развѣ чело-вѣкъ два три домашнихъ—и только! Александръ Васильевичъ и меня хотѣлъ было бить, такъ руки расходились, однако бить не билъ, а выругалъ знаменито, до сихъ поръ помню; послѣ немного отошелъ и далъ мнѣ три алтына на вылечку зубовъ, да пудъ муки. „А больше ты не приходи, сказалъ, учить этого сорванца; я завтра же отвезу его въ семинарію; пусть тамъ изъ него дурь выколотятъ". Уже я вышелъ изъ двора: какъ выбѣжалъ Гриша, весь заплаканный и кричитъ: „Прощай, Осипъ, не тужи; буду архіереємъ, такъ сдѣлаю тебя діакономъ". Больше я и не видѣлъ Гриши; меня скоро перевели въ это село, вотъ тутъ все и живу, пока живетъ, а приходится худо!... Охъ!... извините... заболталась глупая голова, а вашему высокоблагородію чай давно спать хочется... знаете, къ слову пришлось: заговорилась, и свѣтъ ваша почитай вся сгорѣла и нѣмецъ уже спитъ.

Мятель къ свѣту утихла. Рано утромъ охнувшая почтовая тройка бодро стояла едь избою дьячка Осипа; по временамъ енная, встряхивая головою, перерывчиво мѣла колокольчикомъ; гости прощались дьячкомъ. Итальянецъ, окутанный въ шубы, едва переводилъ дыханіе и, держа въ рукахъ ящикъ со скрипкою, которую вчера дьячиха приняла за гробикъ, ча кланялся; адъютантъ насильно давалъ дьячку пятьдесятъ рублей.

Воля ваша, не возьму, ваше высокогородіе!... не за что... дѣло другое копеекъ пятнадцать за дрова, гривну, что ли, жно еще бы ни что, а этой суммы не му... это настоящій капиталъ, говоривсанію.

Да, возьми, братецъ. Вотъ чудакъ!

Не возьму. Неправедное достояніе прахъ и пепелъ... а это будетъ не праведное достояніе... все равно прахъ и пепелъ. Намнѣ прахъ и пепелъ?

Послушай, не я тебѣ даю, а свѣтлѣйшій Потемкинъ; знаешь ли, что тотъ са-Гришка, котораго ты училъ, самъ Потемкинъ, свѣтлѣйшій, мой начальникъ. Я скажу, что далъ тебѣ эти деньги, онъ ихъ возвратитъ, да еще и спасибо тебѣ...

Гриша свѣтлѣйшій?!... Ой ли?...

Что, или я лгать стану?

Нѣтъ, нѣтъ, ваше высокоблагородіе! меня сохрани... я не думаю... извольте получать деньги... Да захочетъ ли онъ и припомнить!

Стыдись, Осипъ! Свѣтлѣйшій добрый вѣкъ: вотъ я и теперь изъ за границы изъ его роднымъ разные подарки въ губернію; хоть мнѣ и не по дорогѣ, приказано, я и далъ крюку...

Ахъ, Боже ты мой милостивый! такъ этакой добрый?!...

Въ прошлую зиму подъ Очаковомъ при-было убило ядромъ губернатора Синельни-на, и свѣтлѣйшій его вдовѣ подарилъ вню въ нѣсколько сотъ душъ; да если казывать его добрыя дѣла, мало недѣ-Трошай, Осипъ. Я скажу свѣтлѣйшему, нашелъ тебя.

Скоро исчезла изъ виду почтовая киза, скоро затихъ за горою колоколь-зъ; но долго семейство дьячка съ нѣмою-стію смотрѣло на пятьдесятъ рублей, ценные проѣзжимъ офицеромъ на убо-толъ ихъ. Наконецъ, дьячекъ прервалъ-аніе:—Это капиталъ! ей-же, капиталъ! а! дѣти! молитесь Богу. Голенькій охъ, голенькимъ Богъ!—справедливо гласитъ ние!...

Великолѣпно провелъ зиму 1789 года великолѣпный князь Тавриды... Въ ожида-ніи его, нѣсколько ночей средѣ, говорятъ современники, горѣла иллюминація, и до-рога на двадцать верстъ отъ Петербурга пылала огнями. Сама Екатерина выѣхала на встрѣчу герою, побѣдителю Очакова, украшенному высокимъ орденомъ Георгія 1-й степени и, возвратясь на придворный балъ, сказала, что пріѣхала прямо отъ Потемкина. Нужно ли говорить, что послѣ этого придвор-ные наперерывъ старались угождать свѣтлѣй-шему; праздники, балы, гулянья, маскарады смѣняли другъ друга; вельможи, какъ будто для полученія преміи, состязались въ великолѣпіи и роскоши, угощая Потемкина. Въ честь ему гремѣла музыка, курились драгоценныя благоуханія и упоительная леть, лились рѣдкія вина, расточались изы-сканныя яства, сыпалось серебро и золото—а онъ, счастливецъ, часто дремалъ на пиршествахъ; непрерывныя торжества уто-мляютъ душу—свѣтлѣйшій былъ человѣкъ и не удивительно.

Въ Малороссіи есть преданіе, что одинъ великій счастливецъ горько плакалъ и на вопросъ: о чѣмъ вы плачете? отвѣчалъ: о томъ, что мнѣ нечего желать!... Утомитель-на была бы картина, въ которой вездѣ свѣтъ и блескъ и ни-какой тѣни, малень-кій образчикъ этого мы видимъ на китай-скихъ чайныхъ—и красно, и зелено, и пе-стро, а нестерпимо скучно.

Зима приходила къ концу, а баламъ конца не было. Въ одно утро, если можно назвать второй часъ по-полудни, свѣтлѣй-шій въ легкомъ шелковомъ шлафроктѣ ле-жалъ на диванѣ; подлѣ дивана стоялъ въ полномъ мундирѣ адъютантъ. Болѣе нико-го въ кабинетѣ не было.

— Ну, а что тамъ? зѣвая, спросилъ По-темкинъ.

— Приемная полна народу.

— Чего они хотятъ отъ меня?... мучите-ли, не дадутъ покою...

— Дожидаются счастья видѣть вашу свѣт-лость.

— Великое счастье!... А что, ловится ко-рюшка?...

— Я полагаю... думаю...

— Думать нечего, узнай, если не ловится и достать нельзя, такъ непременно прика-жи мнѣ подать блюдо корюшки къ обѣду.

— А если ловится?

— Ну, такъ на что мнѣ она!

— Слушаю, ваша свѣтлость.

— Да отправь этого итальянскаго графа-музыканта—онъ играетъ порядочно, да все одно и тоже, все на скрипкѣ... Если бы онъ игралъ на кларнетѣ, другое дѣло... а то

все на скрипкѣ... Стоило хвалить... изъ чего кричать... эти люди вѣчно врутъ...

— Сейчасъ прикажете отправить?...

— Непремѣнно сегодня, чтобъ я его больше не видѣлъ... Дай ему тысячу червонцевъ и пусть вывезутъ его за заставу съ фельдъегеремъ, а коли возьмется играть на кларнетѣ или на трубѣ, такъ оставить, я завтра послушаю.—А тѣхъ, что въ передней, распусти, скажи... что я никого не принимаю сего дня. Чего они хотятъ отъ меня... унижаютъ... отъ того что я выше; а чуть я пошатнусь—никто бы на меня и смотрѣть не сталъ...

Адъютантъ возвратился.

— Разошлись?

— Разошлись... съ такимъ прискорбіемъ; остался одинъ только графъ*... говорить, государственное дѣло.

— Знаю я... у него сегодня стерляжья уха, просить пріѣхать,—украсьте-де, ваша свѣтлость, столъ своимъ присутствіемъ. Какъ будто я ваза съ цвѣтами или огромная, рѣдкая рыба, могу украшать его столъ!...

— Прикажете сказать...

— Скажи, что я немного нездоровъ, а на уху... дѣлать нечего, пріѣду... пусть тѣшится... А вѣдь турки-то боятся насъ?... а?...

— Плохо имъ приходится, ваша свѣтлость; врядъ ли удержатся съ Стамбула.

— Просто не удержишь... Дастъ Богъ да поможетъ святой Григорій—мы будемъ въ Константинополь... А греки? что говорятъ греки?...

— Греки радуются, ждутъ избавленія... только и надѣются на васъ...

— Бѣдный народъ! мы показали Европѣ силу Россіи... Охъ, ужъ эти мнѣ европейцы! всѣхъ учить хотятъ... Помнишь, Лафайетъ прислалъ подъ Очаковъ инженера *des ponts et chaussées*, просто дорожнаго инженера, учить меня брать городъ!... а де Линь? а Нассау-Зигенъ? съ вѣчными совѣтами... Хотѣлось бы еще пожить съ востокомъ... хоть бы съ китайцемъ поговорить. Нѣтъ ли въ Петербургѣ китайца?

— Никакъ нѣтъ, ваша свѣтлость...

— Жаль, мнѣ бы нужно китайца, китайцы хорошіе люди, о нихъ говорятъ, что они глупы—добрый snack, умны должны быть... Поди, отправь графа, до поинчи китаецъ, не то я пропаду со скуки съ этимъ народомъ.— Коли хочешь найти умнаго чело­вѣка—ищи дурака; дураковъ больше на свѣтѣ, и люди, изъ зависти, всегда зовутъ дуракомъ умнаго... а дурака производятъ чуть не въ геніи—дуракъ имъ не опасенъ.

Потемкинъ задумался.

— Ваша свѣтлость! почтительно говорилъ возвратившійся адъютантъ...

— А, ты опять здѣсь?

— Сейчасъ, у подѣзда, я нашелъ чело­вѣка, который горячо спорилъ съ швейцаромъ вашей свѣтлости, не пускавшимъ его во дворецъ, и въ этомъ чело­вѣкѣ я узналъ...

— Ужъ не китаецъ ли?...

— По косѣ, по странному платью и по шапкѣ онъ очень похожъ на китаецъ, а по душѣ, въ сравненіи съ здѣшнимъ обществомъ, даже превзошелъ всѣхъ китаецъ.

— Кто же это?

— Дьячекъ села Домнова, Осипъ, о которомъ я вамъ имѣлъ счастье докладывать, возвратясь изъ вояжа...

— А помню! первый мой учитель. Зови его сюда.

Робко вошелъ дьячекъ въ кабинетъ и сталъ, вперивъ глаза на богатый коверъ у ногъ своихъ.

— Здравствуй, Осипъ! ты не узналъ меня?... сказалъ ласково Потемкинъ...

Дьячекъ выпрямился, выросъ, сѣмъ посмотрѣлъ въ глаза Потемкину, разгладилъ сѣдую косу, кашлянулъ, поднялъ руки, открылъ ротъ, будто хотѣлъ начать какую то торжественную пѣсню и—молчалъ.

— Подойди ко мнѣ, поцѣлуемся, старикъ!

— Пою... днесъ... ваша, ваша свѣтлость... торжествую... (махнулъ рукою) не то... здравствуй, Гриша!...

— И давно бы такъ! говорить свѣтлѣйшій, прижимая къ груди плачущаго старика... Никогда не зови меня иначе, какъ Гришею; слышишь, Осипъ.

— Слушаю, ваша... то-бишь! слушаю, Гриша!... Велій еси Господи и чудны дѣла твои!... Да какъ ты выросъ, похорошѣлъ!...

— Благодарю васъ, сказалъ, улыбаясь, Потемкинъ адъютанту:— вы мнѣ доставили большое удовольствіе; давно я не слышалъ подобныхъ, простыхъ рѣчей... давно никто не называлъ меня Гришею; это мнѣ напоминаетъ много, много!... Можете идти, а мы съ старикомъ потолкуемъ о нашей молодости.

Осипъ разсказалъ свѣтлѣйшему, какъ онъ, по отъѣздѣ офицера, пошелъ къ помѣщику, и объявилъ о своемъ *казусѣ*, какъ помѣщикъ обласкалъ его, просилъ остаться на прежнемъ мѣстѣ и прочее... Какъ Осипу взгрустнулось и захотѣлось повидѣть своего маленькаго шалуна Гришку—онъ оставилъ сорокъ рублей женѣ и дѣтямъ, а съ десятию пустился въ Петербургъ; сейчасъ же по приходѣ нашелъ домъ свѣтлѣйшаго, да вотъ насилу въ седьмой день могъ взойти въ него, хоть, казалось, двери и широки были, а еслибъ не знакомый офицеръ, то врядъ ли и въ семь мѣсяцевъ шелъ бы.

— Ну, Осипъ, я теперь хоть не архіерей, а сдержу слово. Гдѣ хочешь быть діакономъ, здѣсь или въ Доміоновѣ?

— Нигдѣ не хочу.

— Отчего?

— Рада бы душа въ рай, да грѣхи не пускаютъ.... Прежде могъ бы я быть діакономъ, была у меня гортань широко-гласная, а теперь прилеп языкъ къ гортани моей. Какой я буду діакономъ? какъ возвѣщу православнымъ молитву? Только себя опозорю! хотѣлъ-было я пропѣть канту сегодня въ честь моей радости, во славу свѣтлѣйшаго, а что вышло?—ни звука, ни голоса!... духъ бодръ, плоть немощна...

— Старъ ты, Осипъ, а я не хочу въ долгу оставаться; я прикажу адъютанту вездѣ возить тебя: смотри, гуляй да высматривай мѣсто; найдешь по себѣ, только скажи—я тебѣ его доставлю.

Черезъ недѣлю явился Осипъ къ свѣтлѣйшему.

— Ну что, Осипъ?

— Нашелъ мѣсто, Гриша, и жалованье, говорятъ, хорошее, и работы мало; мнѣ по силамъ, да и съ руки.

— Гдѣ это?

— А вотъ, были мы вчера съ офицеромъ въ одномъ собраніи, что театромъ именуется. Господи, какое веселіе!... Играютъ струны и органы, и бряцаютъ кимвалы доброго-гласные, пѣвцы поютъ, такъ и заливаются!... Я гляжу, всѣ музыканты играютъ, кто на чемъ гораздъ, а одинъ стоитъ посреди и знай только машетъ палочкою. Вотъ я бѣ желалъ этакъ махать; махать то я могу совпадетельно пѣснямъ, и силы хватить, палочка не тяжела съ виду, а я человѣкъ привычный, частенько рожь молачивалъ съ молоду—и теперь не устану.

— Правда,—сказалъ, улыбаясь, Потемкинъ, —мѣсто по тебѣ, да занятъ-то его не можешь.

— Вотъ тебѣ разъ!... отчего, Гриша?

— Видишь, ты нѣмецкаго языка не знаешь; хорошо, если стануть пѣть по русски, тебѣ на руку, а запоютъ по нѣмецки, что станешь дѣлать? махнешь куда не слѣдуетъ и осрамишься.

— Богъ съ нимъ, коли такъ; на старость не хочу опозорить сѣдины.

— Развѣ, на всякій случай, выучись по нѣмецки.

— Куда! скорѣе опухну съ тоски... Знать мнѣ придется такъ ѣхать въ деревню, я другого мѣста по себѣ не знаю; всѣ головоломныя такія!...

— Я тебя не отпущу такъ, Осипъ; я въ долгу передъ тобой. А вотъ сперва ты долженъ перемѣнить званіе, перестать быть ^{челомъ}челомъ, а потомъ не хочешь ли быть чѣ надъ моею конюшнею? Бу-

дешь съ семействомъ и сытъ, и одѣтъ, и жалованье хорошее получишь.

— Боже упаси!... Если найдешь кобылью голову и ту взнуздай, коли хочешь жить на бѣломъ свѣтѣ. Съ тѣхъ поръ какъ булалка меня обеззубила, я и на лошадахъ не ѣзжу, развѣ шагомъ, да и то чтобъ другой кто запрегъ и правилъ; а тутъ мнѣ посадятъ на шею пѣлую конюшню коней свирѣпыхъ, яко львы во гнѣвѣ... Богъ съ ними!...

— Ну, я тебя сдѣлаю смотрителемъ одной лошади.

— Ни половины!...

— Экой ты упрямый! послушай, ты будешь смотрителемъ лошади, которая ни ѣстъ, ни пьетъ, ни возить, ни лягается, даже не двигается.

— Да гдѣ же такая лошадь?

— У насъ есть. Видѣлъ ты на площади памятникъ Петру Великому?

— Видѣлъ.

— Вотъ къ этой лошади тебя назначаю смотрителемъ; въ моемъ домѣ тебѣ будетъ квартира и содержаніе, да сверхъ того ты получишь отъ меня жалованья въ годъ тысячу рублей. Твоя обязанность будетъ трудная, да безъ труда кто живетъ?...

— Правда, никто не живетъ безъ труда.

— Ежедневно ты долженъ будешь осматривать лошадь и записать о ея состояніи въ особую книгу, а къ новому году мнѣ представить книгу—и на слѣдующій годъ опять записывать.

— Да она, уповательно, все въ одномъ положеніи находится.

— Тогда и пиши каждый день: *по прежнему, по прежнему*, и только. Ну, старина, выписывай поскорѣе свою семью и живемъ весело.

— Слушаю, ваша свѣтлость!...

— Э! ты забылъ уговоръ.

— Какъ не повелѣчать благодѣтеля!...

Съ этого времени до самой смерти свѣтлѣйшаго, постоянно, каждый день сѣдой старичекъ приходилъ къ памятнику Петра Великаго, оглядывалъ его кругомъ и заботливо что-то записывалъ въ записную книгу... Не надобно говорить, что это былъ Осипъ.

Только что написалъ я этотъ разсказъ, ко мнѣ вбѣжалъ Иванъ Ивановичъ.

— Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ.

— Здравствуйте, здравствуйте!—отвѣчалъ онъ, запыхавшись:—поздравляю васъ съ новымъ годомъ.

— Благодарю; но напрасно вы это дѣлаете: я человѣкъ небольшой и притомъ че-

ловѣкъ вамъ не нужный, а сегодня извозчики очень дороги; трачтите напрасно, Иванъ Ивановичъ.

— Будто одинъ я? будто я первый и послѣдній!... притомъ я ѣду къ начальнику, по дорогѣ, вотъ я и заѣхалъ.

— Это дѣло. А знаете ли, что я въ тотъ вечеръ, какъ повстрѣчалъ васъ на Невскомъ, былъ у этого начальника.

— Неужели? и говорили объ мнѣ?...

— Какъ же, говорили.

— Это добрыйшій человѣкъ—начальникъ! ну, что онъ? какъ онъ... обо мнѣ?...

— Ничего.—Разсказалъ очень любопытное приключеніе о Потемкинѣ, которое я, вотъ какъ съумѣлъ, набросалъ на бумагу.

— И только?!

— А вамъ развѣ этого мало?... Ну что, какъ ваше мѣсто? скоро получите?

— Говорять, завтра. До свиданія.

— До свиданія, Иванъ Ивановичъ!

1 января 1843 г.



ЧАЙКОВСКИИ.

РОМАНЪ.

Часть первая.

I.

Знаете ли вы Пирятинъ?

— Пирятинъ, при рѣкѣ Удаѣ, уѣздный городъ Полтавской губерніи, подъ 50°, 4', 32" широты; въ немъ 5700 жителей, 5 церквей, 28 вѣтряныхъ мельницъ и 4 ярмарки: на оныя пріѣзжаютъ купцы съ краснымъ товаромъ изъ сосѣдственныхъ городовъ, а съ Дону привозятъ рыбу,—говорить, съ печатнаго, школьникъ.

— Пирятинъ знаменитъ преданностію къ престолу, говорить грамотный малоросъ.—Когда въ 1708 году Мазепа передался Карлу XII, пирятинцы, подъ начальствомъ храбрыхъ Свѣчекъ, отразили непріятеля и, несмотря на то, что Лохвица, Лубны, Прилуки и всѣ окрестные города были заняты шведами, и не далѣе ста верстъ, въ Ромнахъ, была главная квартира Карла—ни одинъ шведъ, ни измѣнникъ не былъ въ стѣнахъ Пирятина.

— Пирятинъ—прескверный городишко! сердито восклицаетъ *кто-то*, случайно проѣзжавшій этотъ городъ по тракту изъ Петербурга на Кавказъ:—въ Пирятинѣ всего одна каменная церковь, съ деревянными пристройками безъ всякой симметріи: ули-

цы широкія, пустыя, одинъ каменный домъ—почтовая контора, а прочіе совѣстно назвать домами; на станціи жиды и польсо скрипомъ, какъ сапоги франта двадцатыхъ годовъ; нѣтъ порядочнаго трактира!... Въ тамошнемъ лафитѣ плаваютъ сандаля изумительными кусками, почти бревнами; на бильярдѣ сидитъ курица...

Согласенъ, согласенъ со всѣми вами; даже съ господиномъ проѣзжающимъ; но знаете ли вы, что, нѣсколько сотъ лѣтъ назадъ, Пирятинъ былъ красивый, сильный, богатый сотенный, городъ въ нашемъ гетманствѣ? Широко и далеко раскидывался онъ по скату горы надъ Удаемъ; часто сверкали кресты церквей между его темными, зелеными садами; шумны были его базары; на нихъ громко гремѣли вольныя рѣчи, бряцали сабли и пестрѣли казацкія шанки и жупаны; польскіе купцы привозили туда тонкія сукна и бархаты; нѣжинскій грекъ выхвалялъ свои восточные товары: то сверкалъ на солнцѣ остріемъ кинжала, то поворачивалъ длинную винтовку, окованную серебромъ; между тѣмъ, въ сторонѣ заливалась скрипка, звенѣли цымбалы, и захожій запорожець выплясывалъ въ присядку отчаянный танецъ,

подымая вокругъ облако пыли; порою, какъ пламя, вырѣзывалась изъ пыли его красная куртка, порою выглядывало дьявольски страшное лицо, съ поднятыми вверхъ усами, съ чернымъ чубомъ, вѣявшимъ на бритой головѣ, и опять все исчезало въ вихрь танца.. Народъ хлопалъ; громкій хохотъ далеко раздавался по базару... Было весело!..

Даже самъ Удай, говорить преданіе, былъ прежде шире, глубже и многоводнѣе; на мѣстѣ плавней и болотъ, на которыхъ теперь уѣздные канцеляристы изволятъ стрѣлять куликовъ и водяныхъ курочекъ, тогда шумѣли и бѣжали быстрые волны; Удай, говорятъ, такъ былъ тогда широкъ лѣтомъ, какъ теперь весною во время половодья—а во время половодья красивъ старикъ Удай! Онъ воскресаетъ вмѣстѣ съ природой, молодится и кипитъ и хлещетъ волнами о берегъ, какъ разгульный казакъ—въ этомъ со мною согласится каждый пирятинецъ.

Быль, которую я вамъ расскажу, случилась въ Пирятинѣ—не то двѣсти, не то триста лѣтъ назадъ. Городъ былъ на правомъ берегу Удая подъ горою; на горѣ тянулись длинною цѣпью вѣтряныя мельницы и виднѣлись два небольшія земляныя укрѣпленія; тамъ день и ночь стояли сторожевые козаки; въ центрѣ города, у самаго берега рѣки, былъ замокъ—крѣпость, обведенная высокими валами; на валу стояли пушки, всегда готовые встрѣтить незваныхъ гостей; въ крѣпости хранились военные снаряды и была церковь, въ которой лежалъ войсковой скарбъ и казна; во время набѣговъ, сносили туда жители свои драгоценности.

На противоположномъ берегу Удая, въ дубовой рощѣ, стоялъ бѣлый каменный домъ, построенный на польскій манеръ; домъ принадлежалъ Лубенскому полковнику Ивану. Преданіе не говоритъ фамиліи полковника Ивана, а называетъ просто Ивановъ; и мы будемъ называть его Ивановъ. Не смотря на то, что Пирятинъ былъ сотенный городъ, полковникъ Иванъ очень любилъ его, и часто оставлялъ свои Лубны, проводилъ лѣто въ пирятинскомъ загородномъ домѣ съ молоденькой дочерью Мариной.

Въ одну весну, полковникъ пріѣхалъ въ Пирятинъ на печальную церемонію, на похороны замковскаго протоіерея, отца Іакова. Всѣ козаки любили почтеннаго покойнаго старика: не разъ онъ являлся среди ихъ съ крестомъ въ рукахъ на стѣны замка, и подъ стрѣлами крымцевъ и пулями поляковъ словами вѣры ободрялъ воиновъ, перевязывалъ раненныхъ, исповѣды-

валъ умиравшихъ... Всѣ плакали по отцѣ Іаковѣ и просили полковника назначить въ Пирятинъ священникомъ, на мѣсто покойнаго, сына его Алексѣя.

Сынъ отца Іакова учился въ Кіевѣ. Послали за нимъ гонца—и вотъ пріѣхалъ въ Пирятинъ Алексѣй-поповичъ, красавецъ-юноша лѣтъ двадцати.

— А! говорятъ догадливый читатель: красавецъ-юноша и молоденькая дочка полковника—стѣбитъ ихъ влюбить другъ въ друга и состроить романъ.—Я не выдумываю романа, ничего не строю, а рассказываю быль, какъ самъ слышалъ; но если вы догадались, спорить не стану. Точно, Алексѣй и дочь полковника Марина полюбили другъ друга страстно, какъ любятъ въ ихъ лѣта, пылко, какъ люди, выросшіе подъ строгою ферулой и готовые предаться всею полнотою души первому стремленію сердца... Чѣмъ вы крѣпче сожмете порохъ, тѣмъ сильнѣе будетъ взрывъ: вспомните, что они любили первую любовью, и позавидуйте имъ!

Многіе почтенные люди, при словѣ „любовь“, дѣлаютъ удивительную гримасу, будто попробуютъ ревеню или услышатъ про чуму или холеру. Для меня это непонятно. Ужъ не изъ зависти ли это, господа почтенные люди? Зачѣмъ скрывать, унижать, стыдиться самаго лучшаго, высокаго чувства? Хотѣлъ бы я знать, что способны облагородить, побудить человека къ самымъ великодушнымъ, безкорыстнымъ поступкамъ, какъ не любовь? А многіе ставятъ ее въ одну категорію съ бѣлой горячкой; многіе не посовѣстятся кричать въ обществѣ, что любятъ пуделя, ружье, лошадь, мороженое, и никакъ не признаются въ любви къ подобному себѣ человѣку другого пола.

Не наша ли испорченность этому причиною?

Нѣкоторые считаютъ преступленіемъ даже взглядъ, брошенный на женщину, исполненный тихаго, благоговѣйнаго чувства удивленія красотѣ ея!...

Что бы вы подумали объ обществѣ, въ которомъ каждый боится посмотреть на часы или шляпу своего пріятеля, чтобъ не сказали другіе: берегитесь, онъ хочетъ украсть ваши часы или шляпу?...

Время шло, а поповичъ Алексѣй и не думалъ о посвященіи; мысли его были далеко отъ строгаго сана: душа носилась въ чудномъ морѣ мечтаній любви; другой мысли, другому чувству не было мѣста; вездѣ она, волшебница, съ своими обаятельными чарами, съ томительными... тревогами и свѣтлыми надеждами... Иногда, бывало, сидитъ Алексѣй въ саду подъ черемухой и читаетъ Цицерона; напрасно

воображеніе хочет перенестись на многолюдный римскій форумъ, гдѣ такъ грозно, такъ самонадѣянно говоритъ великій ораторъ. Кругомъ тепло, свѣжо, столько нѣги въ весеннемъ воздухѣ; черемуха тихо помахиваетъ бѣлыми кистями своихъ душистыхъ цвѣтовъ; тысячи пчелъ и другихъ насѣкомыхъ садятся, перелетаютъ, жужжатъ между цвѣтами; за садомъ плещутся и ропшутъ тихія струи Удай, и рѣчной тростникъ нашептываетъ пріятную, успокоительную думу. Чудный аккордъ великой музыки природы! Тихо клонилаь книга изъ рукъ молодого студента, и на великолѣпное, громовое начало рѣчи Цицерона за XII Таблицъ: *Fremant omnes licet, dicam quod sensio!* (Пусть всѣ дрожатъ, я скажу, что чувствую!), онъ едва-едва слышно отвѣчалъ: *amor!*... и вслѣдъ за этимъ словомъ мечта его бросала шумный Римъ и неслаь къ Маринѣ. И вотъ она, чудно хорошая, явилась спокойною, опустивъ длинныя рѣсницы; сладостное, невыразимое чувство благоговѣнія обвѣваетъ робкаго юношу: цѣлый бы вѣкъ смотрѣлъ на нее!... Но вотъ она улыбулась, открыла очи—будто небо раздвинулось предъ Алексѣемъ... Какъ отъ солнца, изъ огненныхъ очей падали ему на сердце лучи жизни и восторга... Чудное видѣніе!... вдругъ оно скрылось; что-то легонько тронуло по лицу Алексѣя... Глядитъ: онъ весь осыпанъ цвѣтами; гвоздики, левкои, чернобривцы катятся съ него на землю: старика Цицерона прикрыла махровая пунцовая маковка; въ сторонѣ слышенъ тихій смѣхъ: изъ-за плетневаго забора лукаво глядитъ черноокая, чернокудрая головка молодой цыганочки, служанки Марины, кланяется и исчезаетъ, звонко напѣвая известную пѣсню:

Барвиночку зелененькій,
Стелся низенько,
А ты, милый, чернобривый,
Присунься близенько!...

Почти каждый вечеръ, когда затихалъ шумъ въ окрестностяхъ Пирятина и свѣтлый мѣсяцъ, выходя на темно-синее небо, глядѣлся въ Удай, тихо проплывала лодочка у самаго берега передъ домомъ полковника, и кто-то пѣлъ на ней пѣсни; голосъ пѣвца, томный, страстный, звучалъ, переливался, будилъ дальнее эхо и исчезалъ, постепенно замирая въ отдаленіи.

— Не дурно поетъ человекъ! скажете, бывало, полковникъ, покуривая на крыльцѣ трубку.

— Такъ себѣ! отвѣчаетъ Марина, вспыхнувъ до ушей, а между тѣмъ, прислонясь къ рѣзной колонкѣ крыльца, жадно слушаетъ знакомые звуки; слезы восторга

сверкаютъ въ глазахъ ея, и она завидуетъ мѣсяцу, который съ высоты можетъ глядѣть на пѣвца и ласкать его своими лучами.—Почему я не звѣздочка, думала Марина, если падучая звѣздочка катилась въ то время по небу:—я бы слетѣла къ нему съ высоты, горя и сверкая любовью; я бы рассыпалась передъ нимъ яркими искрами и освѣтила путь моему казаку ненаглядному; его очи засвѣтились бы моимъ огнемъ—и умереть было бы весело...

— Распѣлись пирятинцы нынѣшнюю весну; всѣхъ пѣсень не переслушаешь; пора спать! говорить, бывало, полковникъ.

Марина шла въ свою свѣтлицу, отворяла окно. Вдали чуть слышно отдавались звуки пѣсни; съ послѣдними отголосками ея сливалась жаркая молитва бѣдной двушки объ Алексѣѣ; пѣсни смолкали—но долго еще Марина стояла на колыняхъ передъ образомъ Богоматери, украшеннымъ цвѣточными вѣнками, и молилась, и плакала, сама не зная о чемъ.

II.

Судя по теперешнимъ образованнымъ, милымъ, снисходительнымъ полковникамъ, нельзя составить себѣ даже приблизительнаго понятія о полковникѣ малороссійскомъ временъ гетманщины. Въ немъ сосредоточивалась власть военная и гражданская цѣлой области; онъ былъ и военачальникъ, и судья, и правитель; онъ безответственно распоряжался въ своемъ полку. Правда, право жизни и смерти было закономъ предоставлено гетману; но нерѣдко полковники нарушали это право и даже казнили самовольно преступниковъ. Кто смѣлъ жаловаться на полковника?—Одѣтые въ серебро и золото, украшенные клейнодами, знаками своей власти, окруженные многочисленною вооруженною свитой, съ азиатскою пышностью являлись они передъ народомъ—и города, и села преклонялись, уважая ихъ военныя доблести и трепеща передъ ихъ властью. Въ народѣ, воинственномъ, полудикомъ, иначе и быть не могло.

Не такъ давно одинъ какой-то князь получилъ послѣ отца, вельможи екатерининскихъ временъ, наслѣдство въ отдаленной провинціи и пріѣхалъ туда жить. Мнѣ случилось, проѣздомъ черезъ эту провинцію, быть въ обществѣ помѣщиковъ, сосѣдей князя, и я спросилъ у нихъ, довольны ли они новымъ сосѣдомъ?

— Ничего, отвѣчалъ одинъ:—да еслибъ вы видѣли, что это за человекъ: маленький, невзрачный; у насъ въ полку послѣд-

ній съ лѣваго фланга былъ казистѣй: словно писарь какой; совѣстно назвать: ваше сіятельство!

— Никакой важности, — сказалъ другой: — я было явился къ нему, — такъ, знаете, съ почтеніемъ, и дворянскій мундиръ съ дуру натянулъ и медальку дворянскую привѣсилъ; думаю: вотъ тутъ-то явится въ орденѣхъ, въ лентахъ, и говоритъ еще, чего доброго, со мной не захочетъ. Самому смѣшно, какъ вспомню! Вышелъ онъ, милостивые государи, ко мнѣ, да и не вышелъ, а выбѣжалъ — глазамъ не вѣрю: въ сѣренькомъ скюртучикѣ, молодой мальчикъ, „радъ, говорить, что имѣю честь познакомиться“, и садитъ на диванъ, и руку жметъ, будто проситель какой; вѣрите, мнѣ за него было совѣстно... Нѣтъ, ужъ, думаю, вперед не поддѣнешь; коли случится, и самъ явлюсь въ скюртукъ; охота была мундиръ надѣвать... ей-богу!..

— Да стоитъ ли объ немъ говорить! перебилъ третій: — человекъ онъ безъ всякой политики, ѣздитъ по полямъ, да смотритъ на работы, съ утра до ночи разговариваетъ съ мужиками, какъ простой человекъ. Княжеское ли это дѣло?.. Видно, въ Петербургѣ былъ послѣдняя спица въ колесницѣ: житья не было, такъ и пріѣхалъ сюда. Даетъ же Богъ такимъ людямъ и богатство, и высокія степени!..

И много еще подобныхъ рѣчей говорили о молодомъ князѣ, человекѣ съ прекрасною душой и отличнымъ европейскимъ образованіемъ.

Согласитесь послѣ этого, что суровость, важность и недоступность малороссійскаго полковника XVI вѣка были разумною необходимостью.

Пышны, грозны, суровы были полковники, но грознѣе и суровѣе всѣхъ между ними былъ полковникъ лубенскій Иванъ. Въ молодости, онъ славился между козаками упрямствомъ характера и бѣшеною отвагой въ сраженіяхъ, что тогда считалось величайшею добродѣтелью и въ послѣдствіи доставило ему полковничье достоинство. Покойную жену свою онъ любилъ, и даже очень любилъ, но, считая неприличнымъ доброму казаку показывать какое-нибудь чувство, особенно къ женщинѣ, онъ обходился съ нею сурово, деспотически. „Баба — дрянь!“ часто говаривалъ полковникъ: „ни силы, ни характера! Будь на свѣтѣ однѣ бабы, давно бы ихъ всѣхъ перебили татары. На что былъ гетманъ Сагайдачный добрая голова! а промѣнялъ жену на трубку съ табакомъ, да еще сложилъ пѣсню:

Мини съ жинкой не возиться,
А тютюнъ да люлька
Козаку въ дорожн
Знадобиться!..

Въ крымскомъ походѣ, полковникъ Иванъ заболѣлъ лихорадкою. Ему не совѣтовали ѣсть рыбы, отъ-того, что лихорадка не любитъ рыбы. „Вотъ хорошо!“ говорилъ полковникъ: „стану я уважать бабьи капризы! Лихорадка — баба, а я, благодаря Богу, казакъ.“ И три года жестокая лихорадка колотила полковника, и три года постоянно онъ ѣлъ рыбу и раки, говоря: „посмотримъ, чья возьметъ?“ И точно: къ удивленію всего полка, на четвертый годъ лихорадка оставила упрямаго больного.

Не удивительно, что покойная полковница, несмотря на богатые парчевыя одежды, соболы корабрики и алмазные ожерелья, которыми щедро дарилъ ее мужъ, все скучала, грустила, сохла и въ молодости умерла, оставя маленькую дочь Марину.

Умирая, она горько плакала и просила мужа любить и тихо обходиться съ дочерью... „Ты никогда ни въ чемъ не вѣрилъ мнѣ“, говорила она: „мою болѣзнь ты называлъ капризами, мои горячія слезы водою, изъ которой никакой нѣмецъ не выгонитъ никапли водки... Ты смѣялся надъ моею слабостью, и — вотъ я умираю, рано умираю, оставляю дочь сиротою, все черезъ тебя. Да простить тебя Богъ! Ты дѣлалъ свое дѣло, ты былъ мой начальникъ по закону Божію; не твоя вина, что ты не понималъ меня. Не доведи жъ до этого дочери; будь ей отцомъ и матерью, слышишь, Иванъ?... Слаба женщина: часто одинъ взглядъ убиваетъ ее...“

Полковникъ былъ растроганъ: уже очистительная слеза раскаянія навернулась было на глазахъ его: но, вспомнивъ, что онъ казакъ, полковникъ пересилилъ себя, проглотилъ непрощенную гостью, вздохнулъ — и на похоронахъ жены жестоко напился пьянъ.

Со смерти жены, полковникъ сдѣлался еще угрюмѣе: тайная задумчивость примѣшалась въ его характеръ; онъ запивалъ внутреннее безпокойство виномъ и почти каждый день къ вечеру былъ въ такомъ состояніи, какъ-будто сейчасъ вернулся съ похоронъ покойницы жены. По утрамъ онъ часто ласкалъ Марину, но, приходя въ хмѣль, тотчасъ удалялъ ее, говоря: „Ступай себѣ, дочка, въ свою свѣтлицу; у меня пойдутъ свои казацкія дѣла: не пристало тебѣ ихъ слушать; ты такая, какъ твоя...“

царство ей небесное! Убирайся же; не бойсь, не расплачусь!...

Полковникъ посылалъ за кобзаремъ, и пилъ, и слушалъ его пѣсни, и бросалъ ему мелкія деньги, если пѣсня приходилась по нраву, или щелкалъ его пальцемъ по лбу, приговаривая: „врешь, Божій человекъ, не такъ! ты пьянъ и не выспался...“

А иногда онъ потѣшался съ Герцикомъ.

Герцикъ былъ у полковника что-то въ родѣ шута и пріятеля; его біографія немногоосложна. Когда-то казаки разграбили и выжгли какое-то польское мѣстечко. Что могло горѣть — сгорѣло, что могло убѣжать — разбѣжалось. Полковникъ Иванъ раскурилъ головню изъ пожара трубку, сѣлъ на боченокъ и началъ судить плѣнниковъ. Привели мальчика лѣтъ шестнадцати, съ быстрыми, сѣрыми глазами и плотно-выстриженной головой.

— Ты жидъ? спросилъ полковникъ.

— Нѣтъ, я нѣмецъ, отвѣчалъ мальчикъ.

— Врешь! ты говоришь какъ жидъ, смотришь какъ жидъ, а голову выстригъ, чтобъ обмануть меня. Хлопцы! допросите его, пока не признается, что онъ жидъ — да и повѣсите.

— Ей-богу, я нѣмецъ, заѣзжій нѣмецъ; я не воевалъ съ вами, я люблю васъ.

— Спасибо за любовь. Такъ повѣсьте его, не допрашивая.

Мальчикъ упалъ въ ноги полковнику, умолялъ о пощадѣ, обѣщалъ служить ему вѣрно до гроба и объявилъ, что онъ знаетъ всякія науки, даже дѣлаетъ часы.

— Посмотримъ, сказалъ полковникъ, вынимая изъ кармана часы въ видѣ большаго яйца: — вотъ эта штука третьяго дня стала — и ни съ мѣста; я и встряхивалъ ее, и дулъ въ середину — ничего не помогаетъ, а штука дорогая, ваша, нѣмецкая. Коли поправишь сейчасъ — жить тебѣ на свѣтѣ, а не поправишь — не сердись... Начинай!

Мальчикъ, дрожа отъ страха, присѣлъ на землю и съ ужасомъ открылъ часы. Но чѣмъ болѣе разсматривалъ ихъ внутренность, тѣмъ становился покойнѣе. Полковникъ не успѣлъ осудить десятка плѣнныхъ, какъ нѣмецъ, улыбаясь, подалъ ему часы.

— Хорошо, сказалъ полковникъ, съ удовольствіемъ прислушиваясь къ звонкому ходу маятника: — хорошо! А какъ зовутъ тебя?

— Герцикъ.

— Хлопцы, дайте Герцику кафтанъ и шапку: онъ поѣдетъ съ нами.

Съ тѣхъ поръ Герцикъ остался при особѣ полковника, увеселялъ его разными штуками, дѣлалъ транспаранты, шутки и огненные колеса, а главное — строилъ удивительные часы. Во всемъ лубенскомъ полку была извѣстна такъ называемая *ходячая картина*: на картинѣ была изображена мельница, настоящая вѣтреная мельница, въ какихъ православные мелютъ муку, только эта не молола муки, а переживала старыхъ бабъ на молодыхъ. Истина!... День и ночь шевелились на этой мельницѣ бумажныя крылья, и въ одну дверь входили старыя бабы, скверныя-пре-скверныя, любая — лекарство отъ лихорадки; а въ другія выходили изъ мельницы молодыя молодички и дѣвушки свѣжія, красненькія, чернобровыя, полногрудыя, съ такими ямочками на щечкахъ, что расплывать хочется... Какъ жаль, что теперь перемерли уже люди, видѣвшіе эту *ходячую картину*: они бы рассказали про нее лучше меня!

Да еще былъ у полковника Ивана вѣрный слуга Гадюка: вѣчно безъ шапки, босой, нечесанный, съ немытыми руками, съ нечеловѣческими ногтями на рукахъ. На войнѣ онъ всегда былъ за полковникомъ съ огромною палицею на плечѣ и съ флажкою въ рукахъ; въ мирное время спалъ, какъ животное, свернувшись въ клубокъ на полу, у порога полковничьей спальни, и готовилъ полковнику кушать.

Про силу Гадюки до сихъ поръ ходятъ преданія между простолюдинами въ Пирятинѣ. Одинъ только Гадюка могъ безнаказанно говорить полковнику горькія истины, противорѣчилъ ему и даже грубилъ, какъ равному. Какъ-то полковникъ напомнилъ ему, что онъ слуга и заставилъ его молчать. Гадюка потупилъ голову, сверкнулъ исподлобья глазами и замолчалъ; но ночью пошелъ на мельницу, снялъ огромный жерновъ камень, принесъ его и завалилъ дверь полковничьей спальни. Поутру полковникъ хотѣлъ выйти — нельзя, не пускаетъ камень.

— Это твои штуки? спросилъ изъ-за двери полковникъ.

— Мон, — хладнокровно отвѣчалъ Гадюка.

— Отвали камень.

— Ты, панъ, старше меня, сильнѣе меня: тебѣ это легче сдѣлать.

— Да я не могу.

— А мнѣ не хочется. — И, сказавъ это, Гадюка вышелъ изъ комнаты. Позвали человека десять казаковъ, и насилу они отодвинули отъ двери камень. Полковникъ вышелъ, посмотрѣлъ на камень, покачалъ

головой, улыбнулся и, позвав Гадюку, далъ ему большой стаканъ воды.

III.

— Гадюко! а Гадюко! Гадюко!...
— Чего, пане полковникъ?
— Чего? что ты неокликаешься? уши заложило, что ли?

— Развѣ заложить отъ твоего крику. Что такъ нужно?

— А что дѣлается на дворѣ?
— То, что и дѣлалось.
— Хорошо. Дожда нѣтъ?
— Откуда ему взяться?

— Не говори такъ; люди скажутъ: дурень Гадюка! Дождю есть откуда взяться: съ неба возьмется, коли захочетъ.

— Развѣ коли Богъ дастъ; а дождь что за вольница!...

— Правда, коли Богъ дастъ: ты правду сказалъ.

— Когда бы я сказалъ по твоему, люди сказали бы: дурень Гадюка!...

— Может и такъ. А долго я спалъ?...
— Почти полдня; легъ заразъ послѣ обѣда, а теперь уже вечеръ недалеко.

— О-го! пора полдничать! Вари полдникъ.

— Вари полдникъ! Проспалъ человекъ полдникъ, да и хочетъ полдничать; теперь скоро ужинать пора! ворчалъ Гадюка, выходя изъ панской спальни.

— Жаль! говорилъ самъ себѣ полковникъ:—развѣ ужинать придется попозже? Пропалъ день; всему виноватъ сотникъ...

Полковникъ очень любилъ *здоровый борщъ съ рыбою*. Для насъ, привыкшихъ къ легкимъ кушаньямъ французской кухни, *здоровый борщъ* покажется миеомъ, какъ Гостомысль, или голова медузы древнихъ; многіе не повѣрятъ существованію *здороваго борща*; но и теперь еще есть старики, которые помнятъ это кушанье, бывшее лакомство, утѣхою отчаянныхъ гулякъ-гастрономовъ, хваставшихъ своею желѣзною натурой. Этотъ борщъ началъ готовить Гадюка для полдника, тутъ же, въ спальнѣ полковника.

Онъ взялъ живого коропа (карпа) и безъ помощи ножа, собственными ногтями очистилъ его и снялъ шелуху, къ неопысанному удовольствію полковника, который, глядя на эту операцію, нѣсколько разъ повторялъ: „Славно, Гадюка! какъ волкъ управляется! добрые ногти! такъ его! по походному!...“ Очистивъ коропа, Гадюка положилъ его въ мѣдную нелуженную кастрюлю, влилъ туда бутылку крѣпкаго ук-

суса, прибавилъ горсть крупнаго перцу, соли, нѣсколько луковицъ и накрылъ кастрюлю плотно крышкою, потомъ принесъ канфорку, издѣліе хитраго нѣмца Герцика, зажегъ спиртъ и поставилъ на нее кастрюлю. Пока это снадобье шипѣло, кипѣло и варилось на столѣ передъ глазами полковника, Гадюка стоялъ молча у двери.

— Чудесный будетъ борщъ! сказалъ полковникъ, обоняя по временамъ паръ, вылетавшій тонкою струей изъ-подъ крышки.

— Лучшаго сварить не сѣмѣмъ.

— И не нужно!... довольно ли тамъ соли?

— А тебѣ, пане, хочется соленаго послѣ утренней попойки?

— Что за попойка! Такъ, злость прогналъ стаканомъ другимъ-третьимъ: проклятый сотникъ, не могу вспомнить!... Дай мнѣ стаканъ настойки. Вздумалъ у меня отнимать добро!...

— Господи твоя воля! что за времена стали! Прежде сотники кланялись добромъ полковникамъ, какъ слѣдуетъ по начальству...

— Не ты бы говорилъ, не я бы слушалъ... Пришелъ и кланяется, принесъ турецкій пистолетъ --ну, это хорошо, почему мнѣ не принести хорошей пистолетъ? Я взялъ пистолетъ и говорю съ сотникомъ, какъ съ человекомъ: „спасибо, что помнишь службу; мы тебя не забудемъ и пожалуемъ; достань и другой, коли случится, подъ пару этому.“ А онъ еще ниже кланяется, да и заговорилъ со мною, какъ съ жидомъ. „Ваша, говоритъ, земля вошла въ мою клиномъ; такъ я пришелъ просить: продайте мнѣ этотъ клинъ.“ Слышишь, Гадюка?

— Слышу, пане!...

— Я вижу, что сотникъ кругомъ дурень, взялъ его за воротникъ, вывелъ на крѣпостной валъ и спрашиваю: „А гдѣ солнце всходитъ?“—„Тамъ,“ отвѣчалъ сотникъ. „А заходитъ?“—„Вонъ тамъ,“ сказалъ онъ. —„Такъ знай же, пане сотникъ, что и всходитъ и заходитъ солнце на землѣ полковника, на моей землѣ, то есть, понимаешь? а ты, поганое насѣкомое, посягаешь на мою славу, хочешь оттягать у меня землю? хлопцы, нагаекъ!...“ Пришли хлопцы съ нагайками; сотникъ видитъ, что не шутки—повалился въ ноги: „я, говоритъ, и свою землю отдамъ, помилуйте!“ Мнѣ стало жалко дурня; я плюнулъ на него и пошелъ домой, да всилу запилъ злость. Такой дурень!...

— Дурень, пане! правду люди говорятъ: дураковъ не пашутъ, не сѣютъ, сами родятся.

— Сами!... А что борщъ?

— Готовъ.

— Фу! какая штука! во рту огнемъ палить, говорилъ полковникъ, пробуя ложкой изъ кастрюли борщъ:—казацкая пища! въ горлѣ будто вѣникомъ мететь; здоровый борщъ!... я думаю, лошадь не съѣстъ этого борщу?

— Я думаю, лопнетъ.

— Именно лопнетъ! Одинъ человекъ здоровѣетъ отъ него, отъ того онъ человекъ, всему начальникъ.

— И человекъ не всякій. Доброму казаку лыцарю (рыцарю) оно здорово, а нѣмецъ умретъ.

— Не возьметъ его нечистая! развѣ по- здоровѣетъ.

— Нѣтъ, не выдержитъ, пропадетъ нѣмецъ.

— Докажу, что не пропадетъ. Позови сюда Герцика. Посмотримъ, пропадетъ или нѣтъ.

— Послушай, говорилъ полковникъ Иванъ входившему Герцику,--у насъ за споромъ дѣло: я ѣмъ свой любимый борщъ и говорю, что онъ очень здоровъ, а Гадюка увѣряетъ, будто для меня только здоровъ, а ты, напримѣръ, пропадешь, коли его покушаешь. Бери ложку, ѣшь. Посмотримъ, кто правъ.

Герцикъ проглотилъ нѣсколько капель борщу, и лицо его судорожно искривилось, слезы градомъ пробѣжали по лицу.

— Что же ты не ѣшь? спросилъ полковникъ.

— Бьюсь объ-закладъ, съ третьей ложки онъ отдастъ Богу душу, хладнокровно за- мѣтилъ Гадюка.

— Я не могу; это не человѣчье кушанье, сказалъ Герцикъ.

— Что жъ я, собака, что ли?...

— Отъ этого и собака околѣетъ.

— Такъ я хуже собаки?

— Боже меня сохрани думать подобное! Это кушанье рыцарское, геройское, такое важное—а я что за важный человекъ... Я просто дрянъ.

— Не твое дѣло разсуждать; ѣшь, коли велятъ! говорилъ полковникъ, схвативъ лѣвою рукою за шею Герцика, а правую поднося ему ко рту ложку *здорового борщу*.

— Не могу, вельможный пане! умру!

— Это я и хочу знать—умрешь ты, или нѣтъ. Ышь!

— Послушайте, пане! у меня есть великая тайна, я сейчасъ только шелъ говорить ее вамъ; позвольте сказать, я вамъ добра желаю, все думаю, что бы такое полезное сдѣлать: вы мой спаситель... вы...

— Ышь, а послѣ расскажешь.

— Умру я отъ этого состава, и вы ни-

чего не узнаете, а тутъ и ваша честь, и все, и все...

— Ну, говори, вражій сынъ, только скорѣе...

Гердикъ вполголоса началъ что-то шептать полковнику, который, блѣднѣя, слушалъ его и закричалъ:

— Ежели ты врешь—смертью заплатишься!...

— Моя голова въ вашихъ рукахъ: къ чему мнѣ вратъ!

— Пойдемъ скорѣе, Гадюко, сказалъ полковникъ:—да возьми съ собой крѣпкую веревку. Веди, нѣмецъ!...

IV.

Та вже жъ тая слава
По всімъ свити стала,
Що дивчина козаченька
Серденькомъ назвала.

Малороссійская народная пѣсня.

Тихо садилось солнце, зажигая западный край неба; въ голубой вышинѣ пламенили два-три облака, переливаясь золотомъ и пурпуромъ; тѣни длиннѣли, вытягивались по землѣ; каждый пловучій листокъ на Удаѣ, стебель водяной травки или тростника, каждая волна и брызга горѣли, сквозились, просвѣчивали, таяли въ золотѣ. Въ пирятинской крѣпости (замкѣ) благовѣстили къ вечернѣ; чистый серебрястый звонъ колокола далеко звучалъ, разливался въ тепло, сухомъ воздухѣ и, переходя постепенно въ отголосокъ, почти неуловимый для слуха, замиралъ. пока другая волна звука не смѣняла его.

Въ это время, молодой человекъ, въ синей черкескѣ, быстро проплылъ по Удаю на легонькой лодочкѣ къ островку, лежавшему между замкомъ и полковничьимъ домомъ.

Кругомъ острова зеленою стѣною стоялъ высокий тростникъ; далѣе на мокромъ берегу росли курчавые кусты лозы; еще далѣе, на сушѣ, десятка два развѣсистыхъ плакучихъ вербъ; между ними калиновый и бузиновый кустарникъ, перевитый, перепутанный хмѣлемъ и верескомъ. Дико, глушь, только дрозды выводятъ тамъ дѣтей на высокихъ вербахъ, да въ лозѣ ползаютъ змѣи; но между кустами есть тамъ узенькая тропинка; чуть примѣтно вьется она у корней деревъ, хоть часто длинные плетни хмѣля, падая зелеными каскадами съ деревъ, кажется, рѣшительно заслоняютъ путь, но онѣ подорваны вни-

зу, легко раздвигаются и дают дорогу; дѣло другое въ стороны отъ тропинки: тамъ онѣ спутались такою крѣпкою стѣной, что ни пройти, ни пролѣзть.

Казакъ, подвѣзая къ островку, оглянулся кругомъ, взмахнулъ веслами, и ло дочка, шумя, спряталась въ тростникъ: только дрожавшія, стройныя верхушки его, раздвигаясь въ стороны, показывали слѣдъ, гдѣ плыла лодка. Казакъ привязалъ лодку къ лозовому кусту, выпрыгнулъ на берегъ и быстро пошелъ по тропинкѣ; тропинка оканчивалась у корня толстой вербы, которой вѣтви, перевитыя хмѣлемъ, склоняясь до земли, образовали кругомъ толстую, плотную стѣну, точно бесѣдку.

— Ея нѣтъ еще! прошепталъ казакъ, обойдя вокругъ вербы, прислонилъ къ дереву винтовку, сѣлъ на сломанный пенъ и заплѣлъ:

Выйди, дивчино, выйди, рыбчино,

За гай по коровы,

Нехай же я поднѣлюся

На ти чорни бровы!

Казакъ окончилъ пѣсню и сталъ при-слушиваться. Вдругъ онъ вздрогнулъ, быстро раздвинулъ вѣтви и радостно посмотрѣлъ на тропинку. Тамъ никого не было; только какая-то желтогрудая птичка прусердно теребила носомъ кисть незрѣлыхъ калиновыхъ ягодъ и шелестила листьями. „Глупая птица!“ проворчалъ казакъ: „даже клочки не имѣетъ, а шумить, будто что порядочное“. Вздохнулъ и опять заплѣлъ другую пѣсню:

Ой ты, дивчино, гордая та пышна!

Чомъ ты до мене зъ вечера не выйшла?

— Не правда, не правда!.. проговорила вполголоса молодая дѣвушка, рѣзво подбѣгая къ казаку:—я и не гордая, и не пышная, и люблю тебя, мой милый Алексѣй!

— Марина моя! говорилъ Алексѣй, обнимая дѣвушку:—я изсохъ, не видя тебя, легко сказать—три дня!

— А мнѣ, думаешь, легче?.. чего я не передумала въ эти три дня!.. Отецъ такой сердитый, все ворчитъ!.. изъ свѣтлицы не вырвусь, все смотритъ за мною... И чего ему отъ меня хочется?..

— А, можетъ, ты сама не хотѣла вырваться?.. Вотъ ты уже и плачешь, моя рыбочка!.. Перестань, не то—я заплачу; не пристало мужчинѣ плакать, а заплачу, не выдержу, глядя на тебя!..

— Я не плачу, говорила Марина, отирая слезы:—а такъ сердце заболѣло, что ты мнѣ не вѣришь, сами слезы побѣжали... Грѣхъ тебѣ, Алексѣй! Когда бъ не хотѣла, зачѣмъ бы пришла сегодня?.. Наша дѣвичья честь, что ваша свѣтлая сабля: дох-

ни—потускиѣтъ, а я играю честью... Въ глазахъ потемнѣетъ, какъ подумаю, что я дѣлаю?.. Увидь меня кто-нибудь, пропала я!.. „Вотъ“—скажутъ—„полковничья дочь“, и то, и другое, и прочее сплетутъ, что не только выговорить, и подумать страшно.

— Такъ ты боишься любить меня?

— Я?.. Алексѣй! ты ли это говоришь? чѣмъ страшнѣе, тѣмъ слаще мнѣ!.. Мой милый! ты не повѣришь, какъ дрожу я вся, когда одна-одинешенька прыгну въ лодочку и плыву къ острову!.. Спроси меня батюшка, увидай кто-нибудь изъ людей—пропала я!.. Ну, что жъ, я думаю, пропаду такъ пропаду, знаю, за кого пропаду... Пропаду не за нелюба; умѣло сердце полюбить, съумѣетъ и вытерпѣть; умѣла слушать твои рѣчи, съумѣю выслушать и брань, и проклятія; станутъ бить меня, вспомню твои объятія, и мнѣ будетъ весело... Я козачка, Алексѣй! умру, а буду любить тебя. Не жить цвѣтку безъ солнца, а ты мое солнце, ты моя жизнь, мой милый!..

— Вѣрю, вѣрю, моя ласточка, говорилъ Алексѣй, цѣлуя Марину, и долго молчали они, приклонясь другъ къ другу.

— А хорошо, еслибъ я была ласточкою, сказала, улыбаясь, Марина:—весело было бы мнѣ!.. только чтобъ и ты былъ ласточкою... Какъ бы мы летали высоко, высоко... сѣли бъ отдохнуть на облачко, посмотрѣли бы оттуда на землю, на сады, на села, на людей; я сказала бы: смотрите, люди, вотъ я, вотъ гдѣ; я люблю Алексѣя, и полетѣла бы отъ нихъ—пусть сердятся... Мы носились бы надъ Удаемъ, купались бы въ воздухѣ, обнимались бы крылышками и цѣлый день щебетали бы про любовь свою... Не-правда-ли?

— Богъ знаетъ, что приходитъ тебѣ въ голову!.. Слушаешь тебя—будто чудесный сонъ видишь.

— А знаешь, что мнѣ снилось!

— Что тебѣ снилось?

— Снилось... Страшно рассказывать... ну, да я прижмусь къ тебѣ покрѣпче—и не будетъ страшно. Видишь, эти дни я не видала тебя, сильно грустила по тебѣ, а вчера думала долго, долго...

— О комъ?

— Еще и спрашиваетъ!.. Думала долго и заснула; и кажется мнѣ, что мы съ тобой рыбы: ты такой хорошенькій окунь, весь въ серебрѣ, такъ и блестяшь; перья у тебя красныя, глаза черныя, такіе, какъ и теперь, и также хорошо смотреть—а я, кажется, плотва. Намъ было весело, очень-весело; мы плавали въ какомъ-то большомъ озерѣ; вода въ немъ чистая, свѣтлая, теплая, дно усыпано бѣлымъ пескомъ, по песку лежатъ раковины всѣхъ цвѣтовъ, слов-

но цвѣтки на полѣ; подлѣ береговъ растутъ травы, будто лѣса зеленѣютъ подъ водою, а рыбы кругомъ много, много: плещется, играетъ, бѣгаетъ въ запуски... Мелкая верховодка собралась въ хоробы и гуляетъ себѣ топями; караси играютъ въ дураки; ерши кувркаются черезъ голову; карпъ рассказываетъ сказки: пискари отхватываютъ въ присядку, точно писаря полковой канцелярш, а ракы, подмигивая усами, словно пирятинскій сотникъ, кроить изъ листочка какой-то нарядъ... всѣхъ чудесъ не припомню... Вотъ мы гуляли, гуляли съ тобою, рѣзвились, и поплыли отдохнуть къ берегу, въ траву: приплываемъ къ травѣ, а она часто срослась, перепуталась, какъ этотъ хмѣль: мы стали пробираться; чѣмъ далѣе, все темнѣй, темнѣй... Мнѣ стало страшно: что-то будетъ тамъ? подумала я, и—вдругъ передъ нами огромная голова сома, пасть раскрыта, оскалены зубы, усы страшно подняты; гляжу—это батюшка!.. Вотъ онъ, здѣсь! смотри... онъ... сомъ... ухъ! батюшка!..

И Марина, затрепетавъ, судорожно протянула дрожавшія руки къ вѣтвямъ вербы. Алексѣй взглянулъ: въ двухъ шагахъ грозно смотритъ на нихъ изъ вѣтвей лицо полковника...

V.

Что прошло, то будетъ мило.
А. Пушкинъ.

Кто изъ насъ не помнитъ своего дѣтства, чудеснаго возраста, когда видимый міръ впервые раскрывается передъ человекомъ, еще не пресыщеннымъ жизнью, еще не озабоченнымъ прозаическими отношеніями быта? Отроку міръ Божій—прекрасный храмъ, въ которомъ онъ пируетъ, увлеченный ежедневно новыми, разнообразными красотами природы: его радуетъ и первый весенній листокъ на деревѣ, и легкое облако, летящее по небу, и голубой цвѣтокъ, благоухающій въ свѣжей, росистой зелени, и пѣсня жаворонка въ чистомъ полѣ, и цвѣтная радуга на сизомъ грунѣ тучи, и рассказы старухи-няни о Змѣѣ Горынычѣ, чудной королевѣ-красавицѣ и злыхъ волшебникахъ: сердце върветъ во всѣ чудеса безусловно, не призывая на помощь холоднаго ума: впечатлѣнія живы, неизгладимы. И долго еще послѣ, когда человекъ, выведенный годами и обстоятельствами на грустное поле жизни, дѣлается труженикомъ, съ каждымъ днемъ разрушая свои мечты, разбивая лучшія надежды, онъ часто оборачивается на

прошедшее, и воспоминанія дѣтства, тихія, свѣтлыя, подобно легкимъ сновидѣніямъ, убаюкиваютъ его въ дни страданій, въ которыхъ онъ, гордый, дѣйствующій по собственному разуму, почти всегда самъ бываетъ причиною!

Помню и теперь рассказы добраго старика баштанника; ни одинъ романъ, ни одна повѣсть нашихъ знаменитостей не производятъ на меня теперь такого дѣйствія. Бывало, учитель разсердится на меня не въ шутку за мои вопросы, въ родѣ слѣдующихъ: какъ могъ домъ *такой-то* пресѣться? или *такой-то* войти въ славу?

— Не разсуждай, отвѣчалъ учитель.

— Да вѣдь дома не движутся: какъ же домъ вошелъ въ славу? вотъ здѣсь напишано.

— Будешь много знать, скоро состарѣешься. Учи заданную страничку: выростешь, самъ узнаешь.

Скажетъ громко, разсердится, позоветъ двухъ-трехъ горничныхъ и идетъ въ рошу ботанизировать—срывать цвѣточки.

Учитель постоянно занимался ботаникой, когда никого не бывало дома. Тутъ мнѣ была своя воля: чуть онъ въ рошу, я уже въ степи, сижу передъ будкой баштанника и слушаю его рассказы.

Старику было за сто лѣтъ—и чего не зналъ онъ, чего не рассказывалъ!.. и про шведовъ, и про татаръ, и про запорожцевъ... И солнце, бывало, зайдетъ, и яркія звѣздочки сверкнутъ кое-гдѣ на синемъ небѣ, и роса станетъ садиться на широкіе листья арбузовъ и дынь, а старикъ все рассказываетъ... Прибѣжишь домой—цѣлую ночь снятся рыжіе шведы на курчавыхъ лошадяхъ, поляки, закованные въ сталь отъ головы до пятокъ, татары, низенькіе, черные, плечистые, узкоглазые, стоятъ въ строю, уставили копья, какъ ёжъ иглы: вотъ скачутъ запорожцы красные, будто пламя, вѣютъ чубы, шумятъ бунчуки и значки: передъ ними Дорошенко, усы въ полъ-аршина, на плечѣ тяжелая булава. Ударили: трескъ, стонъ... Проснешься—и радъ, и жалко чудеснаго сна!..

Но болѣе всего остался у меня въ памяти рассказъ старика объ охотѣ—не о бекасной охотѣ, не объ охотѣ на зайцовъ или волковъ, нѣтъ, это была особенная охота: объ ней почти такъ рассказывалъ баштанникъ:

— Не веселыя теперь времена, право, не веселыя: какъ то стало и холоднѣе, и скучнѣе: вотъ съ очаковской зимы, какъ привезли москаль съ собою свѣтъ да морозы, и до сихъ поръ не выведется: знать полюбилось; да и солнце что-то свѣтитъ не по-прежнему: станетъ вечерѣть, хоть

шубу надѣвай. А потѣхи теперешнія, срамъ сказать: мячи да горѣлки—бабы потѣхи, нѣтъ характера, совсѣмъ нѣтъ!.. Въ старину, на моей еще памяти, какія бывали по-веснамі охоты... Дурни! скажетъ кто-нибудь: охотятся весною; дурни, и я скажу, а мы все-таки охотились и не были дурни. Охота охотѣ рознь.

Какъ люди, бывало, пообсѣются въ полѣ, совсѣмъ обсѣются, и гречихи посѣютъ, а косить еще рано, тутъ и пойдетъ гульня: парубки одѣнутся хорошенько, выйдутъ послѣ обѣда на выгонъ, лягутъ на зеленой травѣ на спину и, глядя на небо, курятъ люльки, да поютъ пѣсни; или, оборотясь кверху спиною, курятъ люльки и что-нибудь рассказываютъ, глядя на траву; такъ до вечера веселятся; вечеромъ, извѣстно, придутъ дѣвушки, и пойдетъ другое веселье.

Вотъ такъ иногда лежатъ парубки, да и говорятъ между собою, что довольно уже лежали, набрались силы, и не знаютъ, куда ее истратить; а тутъ, гдѣ ни возьмись, какой-нибудь изъ Запорожья характерникъ выростетъ передъ ними будто изъ земли, да и станетъ насмѣхаться: „вотъ, говорить, гдѣ лежатъ гречкосѣи; видно, ни одной казацкой души нѣту, а все кабаны кормленые“, и прочее все такое обидное...

— Да что жъ это за характерникъ, дѣдушка?

— Характерникъ бывалъ человѣкъ очень разумный и зналъ всякую всячину; его и пуля не брала, и сабля не рубила; у него на все было средство и способъ, на все хорошее слово и польза. Характерники знали всѣ броды, всѣ плавь по Днѣпру и другимъ рѣкамъ; характерникъ изъ воды выводилъ сухаго и изъ огня мокраго; у нихъ была лыпарская совѣсть и добродушіе; жиды и прочую мерзость били, грабили, жгли, а церкви не забывали. Вотъ что были характерники.

Хлопцы, бывало, разсердятся на характерника за насмѣшки, встанутъ и захотятъ его порядкомъ поколотить.

Тогда характерникъ скажетъ: „ладно, хлопцы; вотъ такъ! не говори казаку худого слова! Только стойте, намъ ссориться нечего; а вижу, что вы есте добрыя казацкія души, а я изъ Сѣчи характерникъ. Шутка шуткою, я за нее поставлю вамъ ведро водки, а вы все не правы: не пристало вамъ сидѣть, сложа руки, когда пора охотиться. Я сейчасъ отъ Днѣпра; онъ вамъ кланяется, почти уже въ берега вступилъ... Ждетъ гостей“...

— Вотъ рѣчь, такъ рѣчь! сейчасъ видно человѣка! скажутъ парубки.—Не трогайте его хлопцы: онъ хорошій человѣкъ; мы и

сами думали на охоту, да не было ватажка: тебя самъ Богъ прислалъ, батьку, веди насъ, куда знаешь.

— Называйте меня дядькомъ, для меня и этого довольно.

— Э, нѣтъ! не смотри, что мы осѣдые, а все-таки знаемъ казацкую поведенцію. Ты по лѣтамъ намъ дядько, а теперь еси нашъ начальникъ, такъ и батько; вотъ наши чубы, дери, сколько душѣ угодно; веди, батьку, куда хочешь.

— Ну, добре, дѣти; я вижу, вы народъ, знающій службу! Прежде всего я васъ поведу въ шинокъ, расплачусь ведромъ водки за свои прежнія рѣчи; у насъ и самъ кошевой поплатится, когда посмѣется надъ козакомъ.

Выпивъ въ шинку горѣлки, хлопцы съ характерникомъ ѣдутъ въ другое село, въ третье, въ четвертое, и—смотри, дня въ три наберется сотни двѣ охотниковъ; тогда ѣдутъ къ Днѣпру, днемъ прячутся въ плавняхъ и кустарникахъ, а ночью втихомолку по одному человѣку переплываютъ на коняхъ въ разныхъ мѣстахъ рѣчку, собираются въ кучи и глядишь—къ свѣту запылали ляхскія села! И тамъ днемъ кроются въ лѣсахъ, ночью съ крикомъ нападаютъ на деревни и мѣстечки, бьютъ не-пріятеля, грабятъ всякое добро и погреба, разгоняютъ тысячи народа, а коли почувтъ, что поляки собираютъ противъ нихъ войско, такъ домой въ разсыпную, переплывутъ Днѣпръ и дома. Тутъ пойдетъ гульня!.. И давно ли это было, подумаешь!..

Тутъ, бывало, старикъ набожно перекрестится и долго, долго думаетъ, понуривъ сѣдую голову...

Точно такая ватага охотниковъ расположилась ночевать въ лѣсу у Днѣпра, недалеко отъ деревни Домантова, чтобъ съ разсвѣтомъ въѣхать въ плавни, и тамъ, выкормя цѣлый день лошадей, на слѣдующую ночь отправиться въ набѣгъ за Днѣпръ. Казаки сидѣли въ кружкахъ и весело, разговаривая, ѣли походную кашу изъ деревяныхъ корытъ.

— Добрый вечеръ, паны-молодцы, сказалъ молодой человѣкъ, подходя къ одному кружку.

— Здорово, братику, отвѣчали казаки.

— Хлѣбъ да соль.

— Ъдимъ, да свой, а ты у порога стой, прибавилъ характерникъ.

Гдѣ тутъ у дьявола порогъ! давайте-ка и мнѣ, братцы, мѣсто, сказалъ пришедшій, вынимая изъ кармана деревянную ложку.

— Вотъ казакъ догадливый. Вечеряй, братику; садись возлѣ меня, почти вскрик-

нгуль характерникъ, очищая мѣсто пришецу.

За ужиномъ разговорились. Пришелецъ сказалъ характернику, что онъ изъ Пирятина Алексѣй-поповичъ, что его засталъ одинъ важный панъ съ своею дочкою, и Богъ-знаетъ чѣмъ бы это кончилось, еслибъ онъ, поповичъ, не бросился въ лодку и не уплылъ, а что теперь пошелъ по свѣту искать счастья.

— И ладно! замѣтилъ характерникъ:— ты казакъ хоть куда съ виду, а ученъ— еще лучше. Поѣдемъ теперь на охоту за Днѣпръ, а тамъ я, пожалуй, сведу тебя въ Сѣчь. У насъ житье привольное, и разумному человѣку почетъ, только не хвастай своимъ разумомъ. Года четыре назадъ, къ намъ присталъ въ бору подъ Кіевомъ нашъ братъ студентъ, а теперь, шутка сказать, онъ кошевымъ! Ну, да и голова! фу, голова!.. Въ Кіевѣ, видишь, поспорилъ съ начальствомъ за бабу, что-ли. Начальство посадило его до расправы въ комнату съ желѣзными рѣшотками: Грицка Богъ силою не обидѣлъ: хватилъ молодецъ рѣшотку—и осталась въ рукахъ; онъ вылъ въ окно да въ лѣсъ, и присталъ къ намъ: теперь не кается.

— Грицко? спросилъ удивленный поповичъ:—такой бѣлокурый?..

— Да, это нашъ теперешній кошевой, Грицко Зборовскій. Развѣ ты его знаешь?

— Нѣтъ: я зналъ въ Кіевѣ Грицка *Стрижку*: онъ также убѣжалъ года четыре назадъ изъ карпера, а Зборовскаго не знаю.

— Бѣхъ ты, молодая голова! онъ по нашему Зборовскій; у насъ долгъ велить давать всякому казаку фамилію, а у васъ онъ былъ *стрижка* или *нестрижка*, намъ нѣтъ дѣла! Привели молодца изъ бору, вотъ онъ и сталъ Зборовскимъ... Такой высокий, бѣлобрысый, на правой щекѣ бородавка.

— Коли такъ, то я его знаю. Большой былъ мнѣ пріятель Грицко: учивали мы съ нимъ вокабулы вмѣстѣ, и говорили о Святой вирши, и каникулами пѣли псалмы, ходя по дворамъ.

— Чего же лучше? Такъ послѣ охоты ѣдемъ въ Сѣчь?

— Ёдемъ.

ГЛАВА VI.

Считаю лишнимъ описывать подвиги охотниковъ за Днѣпромъ. Они прошли съ огнемъ и мечомъ лѣсами до рѣчки Выси, за которою уже начинались вольныя степи, принадлежащія теперь къ Херсонской гу-

берніи, раздѣлили добычу и поѣхали домой. а характерникъ съ Алексѣемъ-поповичемъ, переплывъ рѣку, углубились въ зеленоморе степей.

Порою изъ-подъ лошадиныхъ ногъ, свистя, вылетали степные стрепеты; порою, раздвигая кусты ракиты, проползали передъ ними огромный желтобрюхій змій, красиво изгибаясь и сверкая волнистыми линіями и, поднявъ голову надъ травомъ, злобно шипѣлъ вслѣдъ за ними; порою, трусливый заяцъ, испуганный лошадинымъ топотомъ, срывался изъ-подъ широкихъ листьевъ дикаго хрѣна и, будто мячикъ, укатывался въ зеленую даль; да иногда суслики, взобравшись на высокій курганъ, свистѣли, присѣвъ на корточкахъ. А наши путники все ѣхали да ѣхали на юго-востокъ: кругомъ были степи да небо; но характерникъ ѣхалъ какъ по битой дорогѣ, и черезъ нѣсколько дней они были близко Сѣчи.

Характерникъ остановился, слѣзъ съ лошади, протеръ ей ноздри, что посоветовалъ сдѣлать и Алексѣю, и отпустилъ ее пасти, привязавъ конецъ чумбура (длиннаго ременнаго повода) къ своему поясу: потомъ слѣзъ на траву, поджавъ ноги по-турецки, и сказалъ Алексѣю:

— Садись, братику.

Алексѣй слѣзъ.

— Ну, вотъ мы скоро будемъ въ Сѣчи, продолжалъ характерникъ, набивая и раскуривая трубку.

— А далеко ли она?

— Отсюда не видно, а подъѣдешь ближе, и шапкою докиннешь.

— Ты ужъ и разсердился, батьку?

— Я не сержусь. А какъ можно доброму казаку прямо допрашиваться чего-нибудь?.. Будто баба, у которой языкъ чешется, или жидъ нечистый!.. Ты еси еще дурень во козачествѣ, какъ я вижу. Казакъ все знаетъ, а чего и не знаетъ, никогда не спрашиваетъ, развѣ вывѣдываетъ политично. Ты сказалъ бы: „должно быть, къ вечеру доѣдемъ“, а я отвѣчалъ бы: „развѣ на птицѣ: дай Богъ завтра къ вечеру“. Вотъ ты и смекнулъ бы, какъ оно есть. Это разъ. А другое: не зови меня ни батькомъ, ни дядькомъ: на гетманщинѣ дѣло иное: тамъ я вамъ всѣмъ дядько, и вашему полковнику, да и на гетмана не очень смотрѣть стану: тамъ я запорожецъ. Вотъ что! На охотѣ я былъ вашъ ватажекъ, начальникъ, вы меня и звали батькомъ. А тутъ мы всѣ равны: я казакъ славнаго Запорожья, ты пристаешь въ наше товариство—мы равны. Называй меня, братику, просто Никита Прихвостень.

— Прихвостень?..

— Что? не нравится мое прозвище?.. Посмотримъ, какое еще тебѣ дадутъ! У насъ всѣ перемѣняютъ прозвище; да не въ прозвищѣ дѣло; не оно тебя скраситъ, а ты его скрась. Я простой человѣкъ, такъ-себѣ, прихвостень, а на войнѣ Прихвостень впереди всѣхъ, а прихвостню кланяются куренные и самъ кошевой говоритъ: „Прихвостень настоящий казакъ“. Это два. А третье: какъ бы ты прежде ни былъ друженъ съ нашимъ кошевымъ, не признавайся къ нему сразу, пока онъ самъ тебѣ не скажетъ, что тебя помнитъ. Было время, вы бурсаковали вмѣстѣ—хорошо: бурсаковали, такъ бурсаковали—и кончено. Теперь онъ великій начальникъ, ему не покажется, коли всякая дрянъ станетъ къ нему лѣзть въ пріатели; ты не дрянъ самъ-по-себѣ, да въ казачествѣ еще теленокъ. Понимаешь?

— Можеть и такъ.

— Такъ оно и есть. Теперь у меня къ тебѣ есть просьба. Любишь ли ты хмѣльное?

— Употребляю изъ политики, какъ слѣдуетъ человѣку, а не то, чтобъ великій былъ охотникъ.

— Такъ послѣ чарки, другой, десятой, не порываетъ ли тебя прогулять все, до-чиста, до нитки, не тянетъ ли даже душу заложить?..

— Такой оказіи не бывало.

— Ну, ладно! Спрячь, пожалуйста, вотъ эти пять дукатовъ, и не отдавай мнѣ, какъ бы я не просилъ, какъ бы ни приказывалъ, чтобы ни дѣлалъ—не отдавай до Сѣчи; а съ остальными я управлюсь.

— Пожалуй. А тѣ всѣ прокутишь?

— Прокучу!.. Да и на бѣса ли они мнѣ? въ Сѣчи все общее: что твое, то мое, такое уже братство; все общее, кромѣ коня и оружія: это уже связано съ душою, какъ чубукъ съ трубкою—его не разрознишь. Я бы и пяти дукатовъ не оставилъ, да знаешь, нужно поклониться куренному и кошевому; не будь этого, всѣ пустилъ бы на волю. Послѣ чарки у меня такъ вотъ и загорится въ глазахъ; хочется музыки, пѣсней, грому, распахнется казацкая душа, гуляй!.. А тутъ, вѣрно, за грѣхи мои, явится чертенокъ и сядетъ на носу... ей-богу, вотъ такъ-таки и сядетъ верхомъ, какъ на кобылу, и вижу, да не могу снять, такъ и ѣздитъ, такъ и вертится и шепчетъ: „давай, Никита, денегъ на водку“. Чуть замѣшкаешь, или въ торопяхъ не отыщешь скоро кармана, такъ ущипнетъ, проклятый, за кончикъ носа, что слезы градомъ побѣгутъ, а самъ оборотится ко мнѣ и языкъ показываетъ. Вотъ какая оказія!

Порой не выдержишь, дашь ему щелчка; кажись, пропаль, только на носу затуманится; прошелъ туманъ—опять сидитъ проклятая тварь и щиплетъ за носъ!..

— Гдѣ жъ будешь кутить, брате Никита?

— Опять спрашиваешь по-бабьи! Охъ, мнѣ эти бѣлоручки гетманцы!.. Козакъ не безъ доли. Садись, поѣдемъ.

Казакъ поѣхали крупною рысью. Скоро Никита началъ оглядываться по сторонамъ, приложилъ кулакъ къ правому глазу, долго всматривался въ даль и закрычалъ:

— Такъ и есть, вотъ близко. Берегъ, Алексѣю!

— Гдѣ?

— Развѣ ты не видишь впереди ничего?

— Ничего, кромѣ птицы.

— Вотъ эта птица, что летаетъ, и есть берегъ.

— Мало ли мы видѣли птицъ!

— Птица птицъ рознь: это ворона, вотъ что хорошо...

— Ворона птица такъ-себѣ.

— Оттого и хорошо, что такъ-себѣ, ворона—дуракъ; вольный кречетъ, словно казакъ, быстро летаетъ по дикой степи, а ворона—мужичье дѣло, трется около жилья; увидѣлъ ворону—и жилье близко... Скажи за мной...

Черезъ полчаса казаки прискакали на край крутого оврага; подлѣ его глубоко, чуть примѣтною тесемкою, вился по песчаному дну маленькій ручеекъ; по сторонамъ громоздились, торчали громадныя сѣрыя скалы; въ расщелинахъ лѣпился терновникъ, шиповникъ и выбѣгалъ прямыми зелеными побѣгами гордовый кустарникъ, очень извѣстный на югѣ по своимъ крѣпкимъ, бархатистымъ чубукамъ. Внизу молодая дѣвушка, сидя на камнѣ у берега ручья, мыла ноги.

— Вотъ и Варкина-Балка (Варваринъ оврагъ), сказалъ Никита:—тутъ ея и знаменникъ.

Дѣвушка быстро запрокинула назадъ голову, взглянула вверхъ, вскрикнула и исчезла.

— Экая проворная Татьяна! проворчалъ Никита:—это племянница Варки, веселая дѣвушка!

— А Варка кто?

— Варка вдова нашего казака, по смерти мужа держитъ шинокъ тутъ неподалеку отъ Сѣчи. Духу мужскаго нѣтъ здѣсь, все бабы—она да ея племянницы; а живетъ хорошо: всѣ деньги наши сиромы (безродные, холостяки) тутъ оставляютъ. Тутъ пьютъ, тутъ гуляютъ, тутъ... А вотъ она сама.

Въ это время, шагахъ въ двадцати, изъ-за скалы показалась женщина лѣтъ

сороки; волосы ея были убраны подъ казакскую шапочку-кабардинку; лицо и шея смуглая, загорѣлая; надъ темными сверкавшими глазами черною скобкою лежали густыя сросшіяся брови; за поясомъ у нея была пара пистолетовъ и татарскій ножъ, въ рукахъ турецкая винтовка. Уставя дуло винтовки противъ казаковъ, она грозно спросила: „по волѣ, или по неволѣ?“

— Вотъ такъ лучше! отвѣчалъ, захохотавъ, Никита:—извѣстно, по волѣ! И своихъ не узнала, Варка Ивановна...

— Тѣфу васъ къ чорту! сказала Варка, опуская винтовку.—Напугали меня. Думала нивѣсть кто, а такъ принарядился Никита Прихвостень! Откуда, коли по волѣ?

— Пшеницу пололи.

— Доброе дѣло! А куколя много?

— Есть небого! отвѣчалъ Никита, побрякивая въ карманѣ дукатами:—пока съ собою носимъ.

— Милости просимъ! Отваливайте же камень... А это нивитній (новичекъ)?

— Еще теленокъ, а будетъ волкомъ.

Казакки отвалили камень, и имъ представилась узкая тропинка, по которой съ трудомъ сошли они и свели лошадей. Лошадей спрятали подъ навѣсъ скалы, а сами отправились въ шинокъ.

Шинокъ былъ въ родѣ грота или землянки: онъ состоялъ изъ большой комнаты и двухъ маленькихъ по сторонамъ; маленькія были спальни хозяйки и трехъ ея племянницъ, а большая служила сборнымъ мѣстомъ для казачьихъ оргій. Вокругъ, подъ стѣнами, стояли лавки и столы, въ углу бочка вѣнника, на которой часто, сидя верхомъ, засыпалъ какой-нибудь характерникъ; надъ нею, въ нишѣ, стояли бутылки съ разными настойками, ковши, стаканы; на стѣнахъ висѣли сабли, ружья и пистолеты.

Угрюмый Никита вовсе перемѣнился, войдя въ этотъ чудный шинокъ, гдѣ уже ожидала ихъ Варка съ бутылкою и чаркою въ рукахъ; три дѣвушки, очень недурныя, сидя у окна, что-то шили.

Сонце низенько, вечеръ близенько,
Прійди до мене, мое серденько!

весело пропѣлъ Никита, принимая чарку; выпилъ, разгладилъ усы и, обратясь къ дѣвушкамъ, сказалъ:—Здравствуйте, мои перепелочки! Живы, здоровы? ждали въ гости доброго казака?

— Куда какъ ждали! закричали дѣвушки въ одинъ голосъ:—много васъ такихъ поганыхъ!

— Та-та-та, го-го-го, затрещали, сороки! А покажетъ поганый польское золото, не

такъ запоете... Ба! что за крестъ у васъ, на томъ берегу?

— То такъ, отвѣчала шинкарка:—третьего дня подгуляли хлопцы, немного поспорили, да одинъ и остался на мѣстѣ.

— Все по-прежнему, горячія головы! Кто-жъ остался?

— Старый хрѣнь, войсковый писарь, сказала, смѣясь, Татьяна:—сталъ меня цѣловать, дурень, при всѣхъ; я закричала; казаки заступились за меня, да Максимъ Шапка такъ какъ-то нечаянно хватилъ его саблею, что онъ уже и не всталъ съ мѣста.

— А попробую я поцѣловать тебя; посмотрю, убьетъ ли кто меня, сказалъ Никита, обвивая рукою шею Татьяны.

— Отвяжись! еще не выросли руки обнимать меня! право, закричу, сейчасъ закричу! вотъ, вотъ, вотъ закричу!

— А я тебѣ вотъ этимъ ротъ зажму, говорилъ Никита:—держи покрѣпче зубами!—И, давъ ей въ ротъ червонецъ, началъ цѣловать, приговаривая: „экая королевна!“—Что ты сидишь, братику Алексѣю, какъ о полудни сова на березѣ? Пей, гуляй—я плачу! Видишь, какъ весело! Пой пѣсню, подтягивай за мной:

Давай, Варко,
Еще чарку,
И поповичу подъ парку.
Выпьемъ—небу станетъ жарко!
Охъ, моя Татьяна,
Чернобрива, кохана!

У красавицы шинкарки,
У казацкой тетки Варки
Много водки, меда, пива,
И племянницы на-диво!
Охъ, моя Татьяна,
Чернобрива, кохана!

Бѣлогруда и красива
Татьяночка чернобрива,
И блестить межъ казаками,
Какъ дукать межъ пятаками!
Охъ, моя Татьяна,
Чернобрива, кохана!

— Вотъ вамъ и пѣсня, сейчасъ сразу сложили: такая моя натура казацкая—хитѣль въ голову, пѣсня изъ головы, а ничему не учился... Эхъ, братику Алексѣю! что-то было бы изъ меня, если бы учили, какъ вашего брата!

Къ вечеру, пріѣхали еще человѣка четыре казаковъ поминать, какъ они говорили, покойнаго писаря, и поднялась страшная кутерьма. Никита бросалъ злотыя и червонцы и, безпрестанно щелкая себя по носу, ворчалъ: „Ужъ тутъ! ужъ уѣлся проклятый! Вотъ Божіе наказаніе!“

— Если бы музыку, сказали казаки:—то то была бы потѣха!..

— Истинная была бы потѣха, прибавилъ Никита.

— У меня есть бандура; Супоня на прошлой недѣлѣ заложилъ за бутылку водки, говорила шинкарка.—Играйте, коли умѣете.

— Хорошо! хорошо! закричалъ Никита:— давай ее сюда!

— Давай ее сюда, закричали казаки.

Принесли бандуру.

— Хорошо! говорили казаки, посматривая другъ на друга: да кто жъ съиграетъ?

— Кто съиграетъ? эка штука! мало я видѣлъ играющихъ! Кто хочетъ, пусть и играетъ, только не я.

— И не я! и не я! и не я! отозвалось со всѣхъ сторонъ.

— Что бъ то вышло: есть въ кувшинѣ молоко, да голова не влѣзаетъ! сказалъ Никита.— Не умѣешь ли ты, Алексѣй? ты чelовѣкъ грамотный.

— На гусляхъ-то я немного маракую, а на бандурѣ никогда не пробовалъ, отвѣчалъ Алексѣй.

— Пустое! гусли, бандура, балалайка, свистѣлка—все играетъ! все веселитъ! ей-богу, оно все родня между собою! Играй!

Алексѣй положилъ бандуру на колѣни, какъ гусли, взялъ два-три аккорда, и вышла какая-то музыкальная чепуха въ родѣ казачка. Казаки пришли въ восторгъ и пустились въ пляску.

Никита съ пріятелями гуляли на-распашку, съѣли годовалаго поросенка, выпили неимоверное количество всякой всячины, и за полночь у Никиты не осталось ни гроша въ карманѣ. Шинкарка перестала давать водку и не хотѣла брать подъ залогъ ни оружія, ни коня.

— Да отчего же ты не берешь моего добра? моя сабля добрая, и конь добрый; отдамъ дешево. Бери, глупая баба!...

— Ты самъ глупъ, Никита; нельзя, такъ и не беру: кошевой не приказалъ.

— Правда, правда, говорили козаки:— только позволь пропить оружіе, черезъ недѣлю на всю Сѣчь останется одинъ пистолетъ.

— И однимъ пистолетомъ всѣхъ переколочу!... Такіе-то вы добрые товарищи, Богъ съ вами, тянете руку за бабою!... Вѣрно, моя такая несчастная доля,—жалобно говорилъ Никита.—Еще бы чарку другую, и довольно... А! постойте, постойте! я и забылъ! у тебя, Алексѣй, есть мои деньги?

— Есть пять дукатовъ.

— И хорошо; давай ихъ сюда!

— Не дамъ.

— Какъ ты смѣешь не давать ему его деньги? спросили козаки.

— Онъ самъ не велѣлъ: нужно, говорить, оставить на гостинецъ куренному.

— Да, да, правда, Алексѣй! нужно поклониться начальству, нужно... Вотъ пріятель; поди сюда, я тебя подѣлую.

— Вотъ еще, великая птица куренной! сказали казаки.

— И то правда, какъ подумаешь, продолжалъ Никита:—не велика птица, ей-богу! былъ простой казакъ, а теперь куренной; мы выбрали—и сталъ куренной, а былъ простой казакъ, какъ и я, и всѣ мы. Поживу—и меня выберутъ въ куренные. Выберете, хлопцы?

— Выберемъ, выберемъ! закричали казаки.

— Выберите его сейчасъ, сказала шинкарка.

— Хорошо, хорошо! сейчасъ. Да здравствуетъ нашъ куренной Никита Прихвостень! ура!...

Казаки бросили шапки кверху; Никита важно раскланялся, поблагодарилъ за честь, сѣлъ на лавку и, подбоченясь, сказалъ:— Ну, теперь, Алексѣй, отдавай грѣши своему начальству; оно тебѣ приказываетъ.

— Не отдамъ, хоть бы ты и въ-правду былъ начальникъ; проспись—тогда отдамъ.

— Э-ге! твердо сказано, характерно. Хлопцы, изъ него путь будетъ! А вы что тамъ смѣтаетесь, бабы? думаете не отдать? посмотримъ. Хлопцы, станьте подлѣ этого измѣнника; такъ, сабли вонъ!...

— Ну, что? теперь отдашь, братику? а?

— Не отдамъ.

— Не отдашь? протяжно сказалъ Никита.

— Чужіе, чужіе! закричала Татьяна, вбѣгая въ комнату:—слышь, скачутъ по степи!..

Одинъ казакъ прильнулъ ухомъ къ стѣнѣ и значительно сказалъ:

— Сильно скачутъ; вѣрно за кѣмъ погоня.

— Я развѣдаю, быстро проговорила шинкарка, схвативъ со стѣны ружье:—а вы молчите, гасите огонь.

Огонь погашенъ; въ темнотѣ зашелкали курки ружей и пистолетовъ, и пропенталъ одинъ казакъ:

— Скачутъ, сильно скачутъ; ужъ не крымцы ли? говорятъ, они собираются на гетманщину. И все стало тихо, какъ въ гробу. Чья-то мягкая рука сильно схватила за руку Алексѣя и кто-то пропенталъ ему на ухо:

— Ступай за мной, я спасу тебя.

— Кто ходитъ? спросилъ Никита.

— Это я, отвѣчала Татьяна:—сидите смирно; пойду провѣдаю, что дѣлается.

Она вышла и вывела за собой Алексѣя.

Ночь была тихая, безлунная; звѣзды ярко горѣли на чистомъ небѣ; чуть слышно ропталъ ручей, разбиваясь о встрѣчные камешки, да порою шелестила

меня, съпавшаяся изъ-подъ ногъ шинкарокъ, которая осторожно пробиралась между скалами вверхъ по тропинкѣ. Вдали на степи слышался глухой топотъ. Съ полверсты шель Алексѣй за Татьяною внизъ по ручью: потомъ она быстро вскочила на скалу и почти втащила туда за руку Алексѣя, раздвинула терновникъ, сѣла на камень, посадила возлѣ себя изумленного поповича и сказала:

— Не бойся, ничего не бойся; мнѣ жалко стало тебя, они бѣ тебя убили ни за что: вотъ я и выпустила въ степь казацкихъ коней: кони бѣгаютъ да и прибѣгутъ сюда, а нашимъ гулякамъ страху задача: они забыли о тебѣ съ перепугу. Сиди здѣсь: какъ уснутъ наши, мы убѣжимъ: твоего коня и еще другаго я нарочно оставила: я украду у Варки мѣшокъ дукатовъ, и мы славно заживемъ. Хочешь?

— Пожалуй, убѣжимъ, я тебѣ за это заплачу, а золота не крадь у тетки: грѣхъ красть.

— Какая она мнѣ тетка!... Твоей платы я не возьму: не вѣкъ же мнѣ свѣдѣвать за плату!... (Сиди смирно: послѣзавтра будемъ далеко, у васъ, на гетманщинѣ).

— Нѣтъ, я хочу въ Сѣчь.

— Зачѣмъ тебѣ въ Сѣчь?

— Видишь, Татьяна, я люблю дѣвушку, богатую, знатную, люблю и не могу назвать ее своею: такъ пусть же пропадетъ моя голова, коли позволила сердцу полюбить неровню. Поѣду въ Сѣчь, авось въ схваткѣ сложу голову подъ ножомъ татарина.

— И ты ее любишь?

— Очень люблю.

— И она хороша?

— Лучше всѣхъ на свѣтѣ! Я ее люблю больше всего, больше всей жизни. Если мнѣ доведется умереть за нее, я, поблагодарю Бога; мнѣ будетъ весело и умирасть.

— Я бы убила ее.

— За что?

— Такъ. Отчего она счастлива, отчего меня никогда никто не любилъ такъ? Ласкали меня какъ собаку, и какъ собаку отталкивали ногою, когда я наскучала имъ. Алексѣй, поцѣлуй меня, какъ сестру; хоть изъ милости... Я полюбила тебя съ первого взгляда: я смѣялась, шутила, пѣла передъ тобою—а ты былъ грустенъ, даже не улыбался, когда хохотали другіе: даже не смотрѣлъ на меня, и мнѣ стало совѣстно самой-себя: я была сердита: мнѣ казалось, готова была убить тебя, и не знаю, чего бы не дала, чтобъ спасти тебя отъ пьяныхъ казаковъ... Богъ съ тобою, люби друго! не думай обо мнѣ, только поцѣлуй

меня... Мнѣ ночью приснится твой образъ, твои стыдливыя очи, кроткія рѣчи, твой поцѣлуй, и мнѣ станетъ весело, весело... Поцѣлуй же меня! Посмотри, я плачу, ей-богу плачу!... Ну, вотъ такъ, спасибо! Сиди смирно, спи на здоровье: казаки проспятся—все забудутъ! они люди добрые... вы поѣдете вмѣстѣ...

И, жарко, судорожно обнявъ и поцѣловавъ Алексѣя, Татьяна исчезла въ кустахъ терновника.

Нѣсколько времени былъ слышенъ топотъ около балки, потомъ громкіе голоса казаковъ, ловившихъ лошадей, потомъ восклицаніе: „А-говъ, Алексѣй! гдѣ ты? а-говъ!...“ За тѣмъ какая-то пѣсня, зовъ разбитого стекла, еще какіе-то отголоски все тише и тише... и Алексѣй заснулъ.

Было уже около полудня, когда проснулся онъ: передъ нимъ стояла Татьяна.

— Я пришла будить тебя, говорила она: —и жалко было будить, такъ хорошо спалъ ты. Вставай скорѣе; Никита и казаки готовы ѣхать на Сѣчь.

— Ёхать такъ ёхать, отвѣчалъ Алексѣй.

Никита, увидѣвъ Алексѣя, очень обрадовался; казаки удивлялись, какъ онъ могъ пропасть изъ шинка, будто сквозь землю провалился, и предрекали изъ него въ будущемъ великаго характерника; но и Никита и всѣ вообще не могли представить, какъ могъ человѣкъ вытерпѣть, не отдавъ на попойку чужихъ денегъ, и даже чуть не попасть черезъ это въ весьма неприятную ссору.

— Странное дѣло для меня бабы, говорилъ Никита, выѣзжая изъ балки:—никто ихъ не пойметъ. Хочешь поцѣловать Татьяну—бьетъ по рукамъ, царапается какъ кошка; а выѣзжаешь—не выдержишь, въ слезы ударится!

Алексѣй оглянулся: стоитъ Татьяна надъ балкою, смотритъ имъ вслѣдъ и отираетъ глаза бѣлымъ платкомъ.

VII.

Обычай запорожскіе чудныя поступки хитры! и рѣчи, и вымыслы остры и больше на критику похожи.

Никита Коржъ.

Начало вечерѣтъ, когда передъ нашими путешественниками открылась крѣпость, обнесенная высокимъ землянымъ валомъ, съ глубокимъ рвомъ вокругъ и палисадомъ: валъ былъ уставленъ пушками, за валомъ раздавался говоръ, дымились трубы, блестялъ золотой крестъ церкви и тор-

чала высокая колокольня; изъ ея оконъ глядѣли пушки на всѣ четыре стороны.

— Вотъ и Сѣчь-мати! сказалъ Никита.

— И святая Покрова, прибавили казаки, сняли шапки, перекрестились и вѣхали въ городскія ворота. Казаки поѣхали по своимъ куренямъ, а Никита прямо къ кошевому представлять новобранца.

— А что, узналъ ты Зборовскаго? спрашивалъ Никита, идя отъ кошеваго къ куреню.

— Какъ не узнать! Онъ тотъ самый Стрижка, съ которымъ не разъ мы гуляли въ кievской бурсѣ. Я уже хотѣлъ признаться, да такая въ немъ важность!...

— Важная фигура, настоящій кошевой! всѣмъ говорить: „здорово, братику“, „будто простой казакъ, да какъ скажетъ: „братику“, словно тумакъ дать, только кланяешься—настоящій начальникъ.

— Я думалъ, онъ узнаетъ меня.

— Молчи, братику, онъ узналъ тебя; я это сейчасъ замѣтилъ; да себѣ на умѣ, вѣрно такъ надобно. Правду говорить пѣсня:

Только Богъ святой знаетъ,
Что кошевой думаетъ, гадаеть!...

А вотъ мы уже близко нашего Поповичевского куреня. Есть ли у тебя въ карманѣ копейка?

— Больше есть.

— Я не спрашиваю больше; а есть ли копейка?

— Найдется.

— Ну, такъ войдемъ въ курень; скоро стануть вечерять.

Курень была одна огромная комната въ родѣ большого рубленого сарая, безъ отдѣленій; могущая вмѣстить въ себѣ болѣе пяти или шести-сотъ человѣкъ; кругомъ, подъ стѣнами куреня до самыхъ дверей были поставлены чистые деревянные столы, вокругъ ихъ—скамьи; передній уголъ былъ установленъ иконами въ богатыхъ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ, украшенныхъ дорогими камнями; передъ иконами теплились лампы и висѣло большое серебряное церковное паникадило; нѣсколько десятковъ восковыхъ свѣчъ ярко горѣли въ немъ и, отражаясь на блестящихъ окладахъ образцовъ, освѣщали весь курень. Подъ образами, за столомъ, на первомъ мѣстѣ сидѣлъ куренной атаманъ.

Когда Никита съ Алексѣемъ вошли въ курень, казаки уже собрались къ ужину и топлою стояли среди комнаты, громко разговаривая, кто о чемъ попало. Всилу про-толкалися они къ атаману между казака-

ми, которые, неохотно подаваясь въ стороны отъ щедрыхъ толчковъ Никиты, продолжали разговаривать, даже не обращая вниманія на то, кто ихъ толкаетъ.

— Здорово, батьку! сказалъ Никита, кланяясь въ поясъ атаману; Алексѣй сдѣлалъ то же.

— Здоровы, паны молодцы. Чѣмъ Богъ обрадовалъ?

Вотъ кошевой прислалъ въ твой курень новаго казака.

— Радъ... Ты, братику вѣруешь во Христа?

— Вѣрую.

— А что тебѣ говорилъ кошевой?

— Поважать старшихъ, бить католиковъ и бусурмановъ.

— Добре!

— Говорилъ: стоять до смерти за общину и святую вѣру, ничего не имѣть своего, кромѣ оружія; не жениться.

— Добре, добре! И ты согласишь?

— Согласенъ, батьку.

— А еще что?

— А послѣ сказалъ: ты еси поповичъ, такъ и ступай въ Поповичевскій курень; тамъ и казаковъ теперь не достаетъ.

— Правда, нѣтъ у меня теперь и четырехъ сотенъ полныхъ: много осталось въ Крыму, царство имъ небесное!... А что былъ за курень съ мѣсяцъ назадъ, словно улей!... Ну, перекрестись же передъ образами и оставайся въ нашемъ товариствѣ.

Между тѣмъ куренные кухари (пова-ра) усталили столы деревянными корытами, съ горячею кашей, и такими же чанами съ виномъ и медомъ, на которыхъ висѣли деревянные ковши съ крючкообразными ручками,—эти ковши назывались въ Сѣчи „михайликами“—разносили хлѣбъ и рыбу, норовя, чтобъ она была обращена головою къ атаману; принесли на чистой, длинной доскѣ исполнскаго осетра, поставили его на стябло (возвышеніе) передъ атаманомъ и, сложивъ на груди руки, низко поклонились, говоря: „батьку, вечера на столъ!“

— Спасибо, молодцы, сказалъ атаманъ, всталъ, расправилъ сѣдые усы, выпрямился, выросъ, и громко началъ: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,“

— Амины! отгрянуло въ куренѣ, и все благоговѣнно замолкло.

Куренной внятно прочелъ короткую молитву, перекрестился и сѣлъ за столъ. Это было знакомъ къ ужину: въ минуту казаки усѣлись за столы, гдѣ кто попалъ; пошли по рукамъ михайлики, поднялись рѣчи, шумъ, смѣхъ.

— Да, у васъ на Сѣчи ѣдятъ чисто, опрятно; а какъ вкусно, хоть бы гетману! го-

ворилъ Алексѣй своему товарищу Никитѣ:
—одно только чудно...

— Знаю, отвѣчалъ Никита:— что мы ѣдимъ изъ корытъ? правда?

— Правда.

— Слушай-ка нашу поговорку: вы ѣдите съ блюда да худо, а мы изъ корыта до-сыта...

— Дурни жъ наши гетманцы: они пере-нимають у Запорожья только дурное, а на хорошее не смотря.

— Люблю за правду; видно, что будетъ казакъ. Выпьемъ еще по михайлику.

Къ концу ужина, кухари собрались въ кучку среди куреня; атаманъ всталъ, за нимъ всѣ казаки, прочиталъ молитву, поклонился образамъ, и всѣ казаки тоже; потомъ казаки поклонились атаману, раскла-нялись между собою и отвѣсили по покло-ну кухнямъ, говоря: „спасибо, братики, что накормили.“

— Это для чего? спросилъ Алексѣй Ни-киту.

— Такая поведенція, изъ политики. Они такіе же казаки, лыцари, какъ и прочіе: за что жъ они намъ служили? Вотъ мы ихъ и поважаемъ.

Послѣ ужина куренной подошелъ къ деревянному ящику, стоявшему на особомъ столѣ, бросилъ въ него копейку и вышелъ изъ куреня; казаки дѣлали то же.

— Бросай свою копейку, сказалъ Никита Алексѣю:—завтра на эти деньги кухари купить припасовъ и изготовить намъ обѣдъ и ужинъ.

„Чудные обычаи!“ думалъ Алексѣй, выходя изъ куреня. А вокругъ куреня уже гремѣли пѣсни, звенѣли бандуры; кто раз-сказывалъ страшную легенду, кто про уда-лой набѣгъ, кто отхватывалъ трепака... И молодая луна, серебрянымъ серпомъ вы-ходя изъ-за высокой колокольни, наводила нѣжный, дрожащій свѣтъ на эти разнооб-разныя группы.

VIII.

Проснувшись рано утромъ, Алексѣй поповичъ замѣтилъ въ куренѣ необыкно-венное движеніе: казаки на-скоро одѣва-лись, брали оружіе и торопливо выходили. Возлѣ церкви былъ слышенъ глухой громъ.

— Зовутъ на раду, сказалъ Никита:— пойдемъ!

— Пойдемъ, отвѣчалъ Алексѣй.—Зачѣмъ же насъ зовутъ?

— Прийдемъ, такъ услышимъ. Можетъ, походъ куда, или что другое, Богъ его знаетъ!

Площадь передъ церковью Покрова кипѣла народомъ: у столба, среди площади, стоялъ довбишъ (литавщикъ) и билъ въ литавры. Въ растворенныхъ церковныхъ дверяхъ виднѣлись священники и діаконъ въ полномъ облаченіи. Но вотъ зазвонили колокола, засверкали перначи, бунчуки, зашумѣли войсковыя знамена, приклоняясь до земли—явился кошевой атаманъ; свя-щенники вышли къ нему съ крестами, на-родъ привѣтствовалъ громкимъ „ура“. Ко-шевой былъ одѣтъ какъ простой князь: въ зеленой суконной черкескѣ съ откид-ными рукавами, въ красныхъ сапогахъ и небольшой круглой папчкѣ-кабардинкѣ, обшитой на-крестъ позументомъ; только бу-лава, осыпанная драгоценными камнями, да три алмазныя пуговицы на черкескѣ, величиною съ порядочную вишню, отлича-ли его отъ рядоваго запорожца, между тѣмъ, какъ бунчужные и другіе изъ его свиты были въ красныхъ кафтанахъ, изу-крашенныхъ серебромъ и золотомъ.

Кошевой приложился къ кресту, возо-шелъ на возвышенное мѣсто, нарочно для него приготовленное, и, обнаживъ свою бритую голову, поклонился народу.

— Здоровъ, батьку!... закричалъ народъ и утихъ. Литавры перестали бить, коло-кола замолкли.

— Я васъ созвалъ на раду, добрые мо-лодцы, запорожское товариство! Какъ вы присудите, такъ тому и быть.

— Рады слушать! закричали казаки.

— Вамъ извѣстно, молодцы, что Богъ взялъ у насъ войскового писаря. Такъ Бо-гу угодно; противъ его не поспоришь! Жилъ человѣкъ и умеръ, а мѣсто его все-гда живо: другой человѣкъ живетъ на немъ. Такъ и мы умремъ, и послѣ насъ будутъ жить!

— Правда, батьку! Разумно сказано! ото-звалось въ толпѣ.

— Вотъ и у насъ теперь осталось мѣсто войскового писаря: изберите, молодцы, до-стойнаго человѣка!

Кошевой спокойно сталъ, опершись на булаву, а межъ народомъ пошелъ говоръ; тысячи именъ, тысячи фамилій слышались въ разныхъ концахъ; не было согласія. Долго стоялъ кошевой, наконецъ поднялъ булаву, махнулъ—и говоръ прекратился.

— Вижу, сказалъ кошевой:—что дѣло трудное: Ивану хочется Петра, Петру Гриц-ка, а Грицкѣ Ивана, и кто правъ? Дѣло темное, въ чужью голову не влѣзешь: будь споръ о храбрости, о характерствѣ, сей-часъ бы рѣшили—это дѣло видимое; а письменность не по насъ...

— Правду, батьку!

— Хотите ли, молодцы, я вамъ предложу

писаря? Вчера пришелъ къ намъ въ наше товариство поповичъ изъ Пирытина; я съ нимъ говорилъ вчера и удивлялся его разуму. Самъ Богъ его прислалъ на мѣсто покойнаго; выберите его—и не будетъ ни по чьему, а будетъ по волѣ Господа.

Алексѣй слушалъ и не вѣрилъ ушамъ своимъ.

— Хитрая собака нашъ кошевой! шепталъ ему Никита, толкая въ бокъ.

Между тѣмъ, народъ заговорилъ:

— Да, онъ молодецъ, кричалъ одинъ казакъ:—не задумается надъ михайликомъ!

— А какой характерный! продолжалъ другой.

— Какъ играетъ на гусяхъ и на бандурѣ! подхватилъ третій.—Заморилъ насъ танцами у Варки въ шинкѣ.

— Лучше этотъ, хотя я его и не знаю, нежели пройдоха Стусъ! кричалъ четвертый.

Говоръ часъ отъ часу дѣлался сильнѣе, одобрительнѣе—и вдругъ разомъ полетѣли вверхъ шапки: Алексѣй поповичъ былъ избранъ въ войсковые писаря. Тутъ же, на площади, надѣли на него почетную одежду, привѣсили къ боку саблю, а къ поясу войсковую чернильницу, и, вмѣстѣ съ куренными атаманами и прочею знатью, повели на завтракъ къ кошевому. Простому народу выставили на площади жареныхъ быковъ и бочку водки.

Послѣ завтрака всѣ разошлись. Кошевой оставилъ писаря для занятій по дѣламъ войска. Когда они остались одни, долго кошевой смотрѣлъ на Алексѣя и сказалъ:—Алексѣй, развѣ ты не узнаешь меня?

— Давно узналъ, да не зналъ, какъ признаться къ тебѣ.

— Ну, обнимемся, старый товарищ! Вотъ гдѣ мы сошлись съ тобой!... Помнишь Кіевъ? Быстроглазую Сашу?—а?

— Помню, Грицко! а какъ зулилось начальство, когда узнало о твоёмъ побѣгѣ!

— Не-уже-ли?... я думаю...

— Сказали, что ты знакомъ съ нечистою силою, а безъ нея не выломалъ бы рѣшетки. И въ голову не пришло, что я подпилилъ ее...

— Вѣкъ не забуду твоей услуги. А Саша что?

— Три дня плакала, на четвертый утѣшилась, а на пятый вышла за того магістра, что посадилъ тебя въ карцеръ.

— Вишь гадкая! да я объ ней больше не думаю... Расскажи мнѣ лучше, какъ ты сюда попалъ?

Алексѣй началъ говорить.

— Вотъ нашъ кошевой трудящій человекъ,—говорили за ужиномъ по куренямъ

казаки:—съ утра до самаго вечера занимался съ новымъ писаремъ войсковыми дѣлами: писарь у него и обѣдалъ.

А у кошевого во весь этотъ день о войсковыхъ дѣлахъ и помина не было. Алексѣй рассказывалъ свои приключенія, какъ онъ попалъ въ Сѣчь и т. п., и рѣшительно объявилъ сильное желаніе умереть. Кошевой утѣшалъ его, общалъ при случаѣ хлопотать у полковника Ивана, а между прочимъ сказалъ, что скоро будетъ случай ему отличиться, и, заслужа известность храбраго рыцаря, лично просить руки дочери полковника, „потому что (прибавилъ онъ) чрезъ нѣсколько дней мы отправимся моремъ жечь крымскія берега: наши лазутчики извѣстили, что ханъ хочетъ напасть на Украину—чуть узнаемъ, что татары вышли въ походъ, мы на чайки и, словно снѣгъ на головы, нападёмъ на ихъ города и села. А до тѣхъ поръ ты займи палатку войскаго писаря: она воть рядомъ съ моимъ кошомъ; тебѣ теперь, какъ старшинѣ, не пристало жить въ куренѣ: да при людяхъ не показывай вида, что мы старые пріятели: запорожцы очень подозрительны—и тогда я мало могу сдѣлать тебѣ полезнаго, не рискуя потерять свою власть. Ну, прощай, Алексѣй!

— Прощай, Грицко!

Старые пріятели обнялись и разстались.

IX.

Веди меня пустынный житель,
Святый анахоретъ...

В. Жуковскій.

Никто въ Пирытинѣ не догадывался, куда исчезъ Алексѣй-поповичъ. Утромъ нашли на берегу Удая пустую лодку; въ ней лежала шапка Алексѣя, и всѣ положили, что онъ утонулъ. Донесли объ этомъ полковнику Ивану.

— Коли утонулъ, такъ ищите себѣ другаго попа, хладнокровно отвѣчалъ полковникъ, а самъ къ вечеру со всѣмъ своимъ дворомъ уѣхалъ въ Лубны.

Недѣли двѣ послѣ возврата полковника въ Лубны, пріѣхалъ туда старый запорожецъ Касьянъ. Онъ уже не жилъ въ Сѣчи, а сидѣлъ гдѣ-то въ степи зимовникомъ, по старой привычкѣ занимался охотою на Великомъ-Лугу, и привозилъ по временамъ въ Гетманщину шкуры видныхъ (выдра loutre) на такъ-называемыя кабардинскія шапки, которыя были въ великой модѣ на Запорожьѣ, и, изъ подражаній,

очень уважали на Гетманщинѣ. Распродавъ свой товаръ и купивъ кое-что въ Лубнахъ для домашняго обихода, Касьянъ возвращался домой.

Запорожцы никогда не ѣздили ни въ какомъ экипажѣ; но везти разныя громадныя вещи верхомъ было Касьяну неловко. Касьянъ купилъ въ Лубнахъ *бѣду*, то есть повозку на двухъ колесахъ, запрягъ въ оглобли осѣдланную лошадь и поѣхалъ, проклиная при каждомъ толчкѣ глупую ѣзду въ повозкахъ.

— Наказалъ меня Богъ проклятыми оглоблями, ворчалъ Касьянъ:—давятъ коня въ бока, да еще и развязываются. Ну, бурый, ну, старикъ! наказала и тебя лихая година! были мы съ тобой, бурый, молоды... Ой-ой! скверная трясука, словно кулакомъ въ бокъхватила. Ну, бурый! Днѣпро не далеко, напою... Такъ ли, бывало, ѣдешь въ старину! Опять развязалось! тѣфу ты, наказаніе! сущая бабья ѣзда: молоко бы только возить... Стой, бурый!

Касьянъ привязалъ оглоблю къ хому, для крѣпости затянулъ зубами узелъ, и проворчалъ: „Чего лучше? настоящій калмыцкій узелъ; послѣ этого развѣ калача ей захочется, проклятой оглоблѣ!“ сѣлъ на бѣду, весело махнулъ кнѹтомъ и заѣхалъ:

Славно жить на кошу:
Я земли не пашу,
Я травы не кошу,
А парчу все ношу,
Сыплю золотомъ!...
Тра-ла-ла! тра-ла-ла!

— Эхъ, бурый, выноси! Днѣпръ недалеко.

На войнѣ не шучу
А на смерть колочу,
Безъ войны я кучу,
Да кучу, какъ хочу,
Въ свою голову!..
Тра-ла-ла! тра-ла-ла!

— Здоровъ, дядьку! зазвучалъ чистый, пріятный голосъ за повозкою.

— Тѣфу ты, нечистая сила, какъ подкрался!.. Здоровъ, хлопче!

— Я не подкрался, дядюшка, а скакалъ верхомъ; вольно жъ тебѣ было не слышать.

— Тутъ не до того, чтобъ прислушиваться; проклятыя оглобли такъ и разлазятся, словно живые раки изъ горшка; такъ умаешься, такъ умаешься...

— Что запоешь пѣсню.

— О-го, какой вострый! и пѣсню запоешь; такъ что жъ? тутъ степь, а въ степи воля: пою, коли хочется...

— Не сердись, дядюшка Касьянъ, я пошутить только. Коли хочешь, и я съ тобой спою.

— А ты почему знаешь, что я Касьянъ?.. можетъ быть, я Демьянъ или Митрофанъ...

— Какъ не знать! тебя всѣ Лубны знаютъ: у тебя мой двоюродный дядюшка купилъ себѣ шкуру.

— А зась ему, твоему дядюшкѣ, ходить въ моей шкурѣ: пусть свою носитъ.

— Э, дядюшка Касьянъ, будто я сказалъ твою шкуру! извѣстно, купилъ звѣриную шкуру того звѣря, что на плавняхъ раки ѣсть; вотъ у меня изъ него шапочка.

— Хорошъ казакъ, не знаетъ, какую шапку носить.

— Не до того было прежде; прежде, дядюшка, все учился, и сабли въ руки не бралъ. Послушай, дядюшка Касьянъ, ты домой ѣдешь?

— Домой въ зимовникъ.

— А Сѣчь далеко отъ тебя?

— Далеченько.

— Послушай, дядюшка: возьми меня съ собою въ зимовникъ.

— На что ты мнѣ?

— Погоди, дядюшка Касьянъ; а изъ зимовки проводи меня до Сѣчи.

— Тебя? до Сѣчи? Да куры станутъ смѣяться, коли я приведу въ Сѣчь мальчишку, школяра! Вѣрно высѣчь хочетъ дьячекъ, такъ ты удралъ изъ школы и не знаешь куда дѣваться.

— Нѣтъ, отвѣчалъ казакъ, потупивъ полныя слезъ глаза:—не бранись, дядюшка, доведи меня до Сѣчи: дамъ тебѣ два дуката, у меня больше нѣтъ; я ухожу отъ бѣды неминуемой, отъ смерти... возьми меня, дядюшка; не то брошусь при тебѣ въ Днѣпръ—на твоей душѣ грѣхъ останется.

— Пожалуй, пожалуй... Да кто ты самъ?

— Ахъ, спасибо тебѣ, дядюшка!.. Я... не выдай меня дядюшка!.. я Алексѣй-поповичъ изъ Пирятина.

— Съ нами крестная сила!.. Тотъ самый, который утонулъ, говорятъ?

— Тотъ самый.

— И ты живъ?

— Живъ.

— Что жъ за охота тебѣ прятаться безъ причины?

— Слушай, дядюшка: я тебѣ признаюсь. Видишь, я любилъ, очень любилъ дочку полковника Ивана...

— Фи, фи, фи! просвистѣлъ Касьянъ:—ну?

— А полковникъ и засталъ меня...

— Вотъ оно что!

— Я убѣжалъ и все прятался въ гростникахъ, да пробирался въ Сѣчь, пока тебя не увидѣлъ. Свези, дядюшка!

— Сказаль сvezу, такъ сvezу. Поѣзжай за мною... Откуда жъ ты взяль такое доброе платье и коня?

— Платье мое, дядюшка; а коня, грѣшнѣй челоуѣкъ, укралъ. Не сердись...

— Вотъ еще! Кто не король чего-нибудь на вѣку...

Переѣзжая Днѣпръ, Касьянъ думалъ: чѣмъ больше живу, тѣмъ больше увѣряюсь, что глупѣе бабы нѣтъ ничего на свѣтѣ. Какъ можно полковницкой дочкѣ вѣряться въ такого мальчишку, въ школяра? Былъ бы челоуѣкъ, здоровая, дебелая душа—куда бы ни шло, а то Богъ-знаетъ что! Извѣстно, баба!..

— Что ты ворчишь, дядюшка?

— А такъ, вспомнилъ бабъ...

— Да и разсердился?

— Да и разсердился.

— Отчего?

— Не вѣмъ рассказывать! Состарѣлся, присмотрѣлся, живу долго на свѣтѣ—умирать пора!

X.

Во времена Запорожья, Великій-Лугъ (то-есть болотистые острова и низменные мѣста днѣпровскаго берега) былъ покрытъ дремучимъ лѣсомъ; изъ этого лѣса казаки строили себѣ большія одномачтовыя гребныя лодки, вмѣщавшія въ себѣ до сотни челоуѣкъ, и, къ удивленію мореходцевъ, безопасно переплывали на нихъ Черное море, являлись неожиданно даже въ Малой-Азій, грабили, разоряли города и безопасно возвращались въ Сѣчь. Эти лодки были узки, длинны, легки на ходу и назывались чайками, вѣроятно по своей быстротѣ, и потому, что по наружнымъ краямъ съ обѣихъ сторонъ онѣ были обшиты смоленымъ тростниковымъ фашиникомъ, который давалъ имъ видъ птицы со сложенными крыльями и препятствовалъ лодкѣ тонуть, хотя бы она и наполнилась водою.

Свѣжій вѣтеръ быстро гналъ по Черному морю нѣсколько сотъ казачьихъ чоекъ; впереди всѣхъ вырѣзывалась лодка атамана, съ небольшимъ крестикомъ на мачтѣ. Вѣтеръ дулъ ровный, округлая тяжелые паруса изъ циновокъ, кое-гдѣ заплатами бархатомъ и турецкими шалами. Казаки, поднявъ весла, отдыхали, курили трубки. Было жарко; полуденное солнце жгло, вѣтеръ дышалъ зноемъ будто изъ раскаленной печи. Кошевой и нѣсколько челоуѣкъ куренныхъ, разстегнувъ воротники рубашекъ, полудремали, мѣшиваясь къ однообразному ропоту

и плеску морской волны; войсковою писарь, лежа, перелистывалъ какую-то церковную книгу; кормчій, старый казакъ, сидѣлъ на кормѣ, поджавъ ноги, и, не спуская глазъ съ пѣнистой струи бѣжавшей за кормою, пѣлъ заунывную пѣсню:

Гдѣ ты ходишь, гдѣ ты бродишь,
Казацкая доля?
Придавила казаченька
Горькая неволя!
О-охъ! охъ, о-хо!
Горькая неволя!

Нѣтъ ни племени, ни роду!
Тяжко жить на свѣтѣ:
Ну, хоть просто съ моста въ воду.
Доля моя, гдѣ ты!
О-охъ! охъ, о-хо!
Доля моя, гдѣ ты?

Отозвалась моя доля
По тотъ бокъ Лимана:
„Терпи, казакъ, я ласкаю
Богатаго пана“.
О-охъ! охъ, о-хо!
Богатаго пана!

Вдругъ лодка дрогнула, накренилась, парусъ заплескалъ по водѣ, поднялся, встрепенулся, будто живое существо, и обрызгалъ всю лодку.

— О-го! сказалъ кошевой, быстро вскакивая на ноги:— долой парусъ, спускай мачты.

Въ минуту упалъ парусъ, и мачта тихо легла въ длину атаманской чайки; другія сдѣлали то же. Гребцы принялись за весла. На кормѣ старый казакъ сидѣлъ попрежнему спокойно, неподвижно, и напѣвалъ:

Доля моя, гдѣ ты?

— Вишь, какъ разыгралась погода, закричалъ кошевой:— молодецкая погода, потѣшная погода! А ты, старый хрѣнь, тянешь бабскую пѣсню; накликаешь бѣду на свою голову, что ли? Ну-те, хлопцы, хоромъ, да повеселѣе!—и работать лучше съ пѣснями. Гребцы переглянулись, прилегли на весла и заплѣли въ тактъ:

Съ понизовья вѣтеръ вѣетъ.
Повѣваетъ;
Вѣтеръ лодочки лелѣетъ
И качаетъ.

Гей, хлопцы, живо, живо!
Въ Сѣчи водка, въ Сѣчи пиво...
Будемъ отдыхать,
Будемъ отдыхать.

Дружно въ весла! чайкой чайку
Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайку
Запѣвайте.

Ты, хвосты, пойте пѣсни,
Словесъ птицы въ поднебесьи
Вольныя поють,
Вольныя поють!

Базаръ, лодки пошли на веслахъ еще быстрее: онѣ будто понимали пѣсню, валились какъ птицы, смѣло прыдали по волнамъ. А вѣтеръ все крѣпчалъ; сильнѣе и сильнѣе колыхались волны, крупнѣе и крупнѣе накатывались валы, сшибались, разбивались другъ о друга, обдавая мореходцевъ брызгами и пѣною. Черное море, всегда готовое пошумѣть, разыгралось не на шутку. Оно кипѣло, стонало, клокотало; надъ водою поднялся туманъ отъ мелкихъ брызгъ: на небѣ не было ни облачка, солнце вло по небу, странное, зловѣщее, безъ лучей, будто красный шаръ. Казачью флотилію разметало въ разныя стороны; чайки потеряли другъ друга изъ виду.

На атаманской чайкѣ гребцы выбились изъ силъ, положили весла; ее качало, брѣдало по волнамъ какъ мячикъ; старшины и казаки собрались вокругъ кошевого.

— Чудная погода, кошевой батьку! говорить одинъ куренной:—видимое наказаніе Божіе! Была бы туча, буря, громъ, дождь, молнія и прочее—оно бы ничего; а то дуетъ, Богъ-знаетъ откуда и зачѣмъ?.. Видимое наказаніе!

— Не придумаю, чѣмъ прогнѣвили Бога, отвѣчалъ кошевой:—въ церковь мы ходили, возвращаемся съ рыцарскаго подвига; много истребили бусурманскихъ головъ, чтобъ христіанамъ было жить на свѣтѣ шире. Крымъ долго насъ не забудетъ.

— Такъ; а зачѣмъ же оно дуетъ такъ страшно, и чего ему хочется?

— Я знаю, чего ему хочется, перебилъ куренній:—ему хочется грѣшной головы; пока не кинемъ въ море эту голову, вѣтеръ не утихнетъ. Помню, давно, еще при Степанѣ Баторинѣ, было на насъ такое пошущеніе: кинули въ воду грѣшника—какъ сто бабъ пошентало: разомъ утихло!

— Что жъ! одному не штука умереть для славы и добра всему товариству, закричали казаки, падая на колѣни:—слушай, кошевой батьку, нашу исповѣдь; чьи грѣхи больше, того и кидай въ море.

— Погодите, сказалъ войсковой писарь Алексѣй поповичъ:—завяжите мнѣ, братцы, глаза черною китайкою, привѣсьте къ шеѣ камень и бросьте въ море. Я грѣшникъ: пусть я одинъ погибну за все славное казачье воинство.

— Какъ? заговорили кошевой и казаки:—ты святое писъмо читаешь, народъ научаешь на добро; неужели ты грѣшишь насъ?

— Я лучше себя знаю, братцы-товарищи;

тяжки мои грѣхи: я ушелъ изъ дому, какъ воръ, не простился съ отцовскою могилою, бросилъ безпомощную старуху-матушку.. Слышите? Это не вѣтеръ воетъ: это она плачетъ о недостойномъ сынѣ!... Не море клокочетъ—гремятъ ея проклятія на мою грѣшную голову. Не буря подымаетъ тяжелыя волны—это вздохи матери колеблютъ море!... И мало ли еще грѣховъ на мнѣ!.. Берите, братцы, камень и бросайте меня съ нимъ.

Алексѣй-поповичъ надѣлъ бѣлую рубашу, сталъ на колѣни и, раскрывъ церковную книгу, началъ молиться. А между-тѣмъ вѣтеръ сталъ утихать. Казаки переглянулись и закричали: „читай, Алексѣю! читай! твои молитвы спасаютъ насъ“. Скоро вѣтеръ совершенно стихъ; заходящее солнце свѣтло и радостно глянуло на море; волны улеглись; чайки, какъ птицы, слетѣлись со всѣхъ сторонъ по сигналу къ лодкѣ кошевого, и на ночь пристали отдохнуть къ небольшому островку, недалеко отъ Лимана. Сосчитали лодки, людей—и, къ изумленію всѣхъ, не было никакой потери. Тогда съ криками радости подняли казаки на рукахъ Алексѣя, называя его спасителемъ, а послѣ ужина, за чаркою водки, тутъ же сложили про него пѣсню, которая и до сихъ-поръ живетъ въ устахъ украинскихъ кобзарей и бандуристовъ:

На Черному мори, на билому камни,
Ясенькій соколъ жалобно квилить,
проквилить, и проч.

Эта дума даже напечатана между украинскими народными пѣснями, изданными въ 1834 году Михаиломъ Максимовичемъ.

Я вамъ переведу ее, если хотите.

„На Черномъ морѣ, на бѣломъ камнѣ, ясный соколъ жалобно стонетъ. Смутонъ соколъ, пристально смотритъ на Черное море. Не добро начинается на морѣ. На небѣ звѣзды потускнѣли, полмѣсяца затянуло тучами, а низовый вѣтеръ бурно шумитъ; а на морѣ поднимаются супротивныя волны, разбиваютъ суда казачьи на три части.

„Одну часть повесли волны въ Агарскую землю, другую пожрало дунайское устье. А третья гдѣ?—тонетъ въ Черномъ морѣ.

„При третьей части былъ Грицько Зборовскій, атаманъ запорожскій: онъ по судну ходитъ и говоритъ: „Кто-то нежъ нами, паны, великій грѣшникъ: не даромъ злая погода такъ насъ гонитъ, налегаетъ на насъ. Исповѣдуйтесь, паны, милосердному Богу, Черному морю да изѣ, вашему кошевому, и бросайтесь въ море, не губите казачка-наго войска“.

„Казаки это слышали, но всё молчали; никто за собою не зналъ грѣха.

„Тогда отозвался войсковой писарь, реестровый казакъ Алексѣй-поповичъ пирятинскій: „Хорошо вы, братцы, сдѣлаете, когда возьмете меня, завяжете глаза, прицѣпите къ шеѣ камень и бросите въ море; пусть я одинъ погибну, а казацкое войско не допущу до бѣды“.

„Услыша это, казаки сказали Алексѣю: „Ты святое письмо въ руки берешь, читаешь, насъ на добрыя дѣла наставляешь; какъ же ты имѣешь болѣе грѣховъ?“

„Хоть я и читаю святое писаніе и васъ наставляю, а самъ не хорошо дѣлаю. „Когда я изъ Пирятина выѣзжалъ, не прощался съ отцомъ и матерью, гнѣвался на старшаго брата, добрыхъ людей лишилъ хлѣба-соли, дѣтей и старыхъ вдовъ толкалъ стрелами въ груди; гуляя по улицамъ, проѣзжалъ мимо Божіей церкви, не снималъ шапки, не крестился—за это и гибну теперь! Не волна встаетъ по морю, это родительская молитва караетъ... Если бъ меня не утопила буря и молитва сохранила, умѣлъ бы я уважать отца и матушку, старшаго брата почиталъ бы какъ отца, а сестру, какъ матушку“.

„Началъ Алексѣй-поповичъ исповѣдывать свои грѣхи, начала утихать буря; волны, словно руками, потихоньку подымали казацкія суда и приносили къ Тентереву острову.

„Тогда начали казаки удивляться, что въ Черномъ морѣ подъ бурей совсѣмъ потопали, а ни одного человѣка не потеряли.

„Тогда Алексѣй-поповичъ вышелъ изъ судна, взявъ въ руки святое письмо и сталъ научать народъ:

„Надобно, паны, людей уважать, почитать отца и матушку; кто это дѣлаетъ, тотъ всегда счастливъ; смертельный мечъ того обминаетъ; родительская молитва вынимаетъ человѣка изъ дна морскаго, отъ грѣховъ душу искупляетъ и помогаетъ на сушѣ и на морѣ...“

XI.

На другой день, къ вечеру, вся Сѣчь встрѣчала кошевого и казачью флотилію; при радостныхъ крикахъ раздѣлили награбленное серебро и золото; быстро ходили по рукамъ *михайлики* за здоровье кошевого и войскового писаря; по всѣмъ куренямъ слышна была новая пѣсня:

На Черному мори, на билому камни,
Ясненькій сокилъ жалобно квилить, про-
квилеяе.

И гдѣ ни проходилъ Алексѣй, летѣливерху шапки и раздавались радостные клики. Къ ужину позвалъ Алексѣя кошевой.

— На ловца и звѣрь бѣжитъ, сказалъ онъ входившему Алексѣю:—про волка помолвка, а онъ и тутъ! Вотъ лубенскій полковникъ, Иванъ, просить нашей помощи. Крымцы узнали, что половина его полка ушла по гетманскому приказу къ ляхской границѣ, и хотятъ напасть на Лубны. Теперь полковникъ и просить насъ, какъ добрыхъ соседей, помочь ему, коли что случится нехорошее. Такъ напиши ему, что я радъ съ товариствомъ помогать ему, нашему собрату, единовѣрцу, какъ Богъ повелѣлъ—только коли онъ отдастъ свою дочь за войскового писаря войска запорожскаго, Алексѣя-поповича. Напиши такъ поскорѣе; я подпишу, и отдай этому посланцу—надобно торопиться.

Теперь только взглянулъ пристально Алексѣй на полковничьяго гонца и радостно закричалъ:

— Ты ли, Герцикъ?

— Я, пане войсковой писарь, отвѣчалъ гонецъ, низко кланаясь.

— А ты его знаешь, Алексѣю? спросилъ кошевой.

— Знаю, батьку; это искусный человѣкъ. Здоровъ ли полковникъ?

— Здоровъ, и полковникъ здоровъ, и его дочка Марина, и всѣ здоровы...

— Думалъ-ли ты меня здѣсь увидѣть?

— Никакъ не думалъ; всѣ полагали, что вы утонули, ловя рыбу, и плакали по васъ, а вы здѣсь... великимъ паномъ. Силенъ Господь въ Сіонѣ!..

Ужинали у кошевого очень-весело. Каждый на это имѣлъ свои причины. Послѣ ужина кошевой отдалъ письмо полковничьяму гонцу, приказавъ ему торопиться. Алексѣй зазвалъ Герцика на минуту въ свою палатку. На дорогѣ ихъ встрѣтилъ Никита Прихвостень; онъ былъ навеселѣ и уже щелкалъ себя по носу, приговаривая: „Да убирайся, проклятая гадина, съ добраго носа! Вотъ наказаніе Божіе!.. Да тутъ и сидѣть не спокойно. Казакій носъ—вольный носъ; лети-себѣ лучше вотъ къ тому пану, старому шляхтичу, забылъ его прозвище... досадно, забылъ! да тебя не учить стать, злая личина, и самъ знаешь... Вотъ у него носъ уже осѣдланый золотымъ сѣдломъ со стеклышками; сидѣть будетъ хорошо, покойно. Ступай же... А! и нашъ войсковой писарь!.. Говорилъ вражьи дѣтямъ, что будетъ толкъ изъ Алексѣя-поповича, будетъ—и вышелъ... И бьетъ врага какъ мухъ, и на гусляхъ играетъ, и Богу молится за наше товариство!.. И пѣсня есть, ей-богу, есть... Вотъ она, пѣсня:

На билому морю, на соколиному морю,
Черный камень, квилить, проквиляе.

Тутъ что-то не такъ. одно слово не такъ поставлено, а завтра выучу, и будетъ хорошо; сегодня некогда!... Куда жъ ты идешь, пане писарь?

— Спать пора, братъ Никита, и ты ложись спать.

— Куда тебѣ спать, тутъ такая комедія! Послушай: прихожу въ курень и сѣлъ ужинать; подлѣ меня новичокъ, просто дрянъ, ребенокъ, сидитъ и ничего не ѣстъ; я ему михайлика—не пьетъ, говоритъ: „нездоровится, дядюшка“.

— Какой я тебѣ у дьявола лядюшка? зо-ви меня, братъ, Никита. А тебя какъ звать?

— Я, говоритъ, Алексѣй-поповичъ.

— А можетъ еще и пирятинскій? гово-рю я.

— Именно пирятинскій!

— Вотъ тутъ я и покатился отъ смѣху. Какой ты, говорю, Алексѣй пирятинскій... Богъ съ тобой уморилъ меня смѣхомъ! Есть у насъ Алексѣй-поповичъ пирятинскій, не тебѣ чета: хоть и молодъ, да дебелая ду-ша, и отъ михайлика не отказывается, и прочее... А ты что за казакъ! молодо, зе-лено, еще не сложился; хоть и порядочно-го роста, да прямъ и тонокъ, словно тро-стинка...

— Я вотъ съ недѣлю живу въ куренѣ, сказалъ онъ, отъ всѣхъ слышу, что есть другой Алексѣй-поповичъ пирятинскій, и хотѣлъ бы посмотреть на него.

— И видишь, сказалъ я:—онъ теперь при-ѣхалъ вмѣстѣ со мною. Я бы тебѣ его сей-часъ показалъ, да онъ у кошеваго.

— Покажи мнѣ, когда выйдетъ.

— Ладно, сказалъ я—и вотъ тутъ уже давно брожу, да напѣваю новую пѣсню.

— Странно, если это тебѣ не снилось, отвѣчалъ войсковой писарь:— въ Пиря-тинѣ, сколько помню, не было другаго Але-ксѣя-поповича.

— А явился, ей-богу, явился! вотъ я те-бѣ его покажу.

— Пускай завтра.

— Нѣтъ, не завтра, сегодня покажу. Ни-кита Прихвостень справедливый казакъ, не станетъ снова рассказывать; выпить-вып-еть при случаѣ, а лгать не станетъ. При-веду, сейчасъ приведу пирятинца, докажу правду.

Охъ! по соколиному камню, по черному
камню,
Билое море квилить, проквиляе.

И Никита ушелъ къ Поповичевскому куреню, напѣвая новую пѣсню. А Алексѣй-

поповичъ вошелъ въ свою войсковую па-латку, разспросилъ Герцика, надавалъ ему пропастъ порученій и въ Лубны, и въ Пи-рятинъ, снабдилъ на дорогу нѣсколькими дукатами и подарилъ дорогой турецкій кин-жалъ, осыпанный алмазами, говоря: „Я самъ, своеручно убилъ пашу и снялъ съ него этотъ кинжалъ; пусть онъ будетъ за-логомъ нашей дружбы“.

Герцикъ со слезами обнялъ Алексѣя, обѣщалъ выполнить всѣ порученія, тотчасъ дать знать обо всемъ въ Сѣчь, и вышелъ.

Еще тихо колебалась, еще не успѣла успокоиться опущенная пола войлочной па-латки войсковаго писаря, какъ опять подня-лась—и робко вошелъ молодой, стройный казакъ; изъ-за него выглядывала голова Никиты.

— Вотъ тебѣ землякъ! говорилъ Никита!—толкуйте съ нимъ про Пирятинъ, а мнѣ некогда, меня зовутъ. Прощайте! Ни-кита вретъ, Никитѣ снится! Никита такъ-себѣ; дурень Никита! А Никита все свое... Последнія слова едва слышно уже отдава-лись за палаткой.

VII.

По-пидъ гасмъ, мовъ ласочка,
Крадетця Оксана.

Забувъ; побигъ; обнялися.
„Сердце!“ та й замлила.

Т. Шевченко.

Скромно стоялъ у дверей молодой ка-закъ, опустивъ глаза, судорожно поворачивая въ рукахъ красивую кабардинскую ша-почку. Алексѣй взглянулъ на него, протеръ глаза и почти шопотомъ сказалъ:

Боже мой! или я рехнулся, или это Марина!...

Двѣ крупныя слезы покатались по ще-камъ молодаго казака; онъ быстро поднялъ рѣсницы, выпустилъ изъ рукъ шапочку и уже лежалъ на груди Алексѣя, тихо по-вторяя:

— Я, мой милый! я, мой ненаглядный Алексѣй!

И долго они ничего не говорили, гля-дѣли другъ на друга, смѣялись, плакали и, сливаясь горячими устами въ одинъ беско-нечный поцѣлуй, уносились далеко отъ земли.

За всѣ печали, заботы и страданія, за всю тяжесть нашей земной жизни, великій Творецъ щедро награждалъ человека, давъ ему молодость и—любовь...

— Какъ же ты попала сюда, моя горла-ца? спрашивалъ Алексѣй:—какъ ты оста-

вила отпа и прошла пустыя вольныя степи?

— Помнишь ты страшный вечеръ, когда отецъ подстерегъ насъ на островѣ?... Я сказала тебѣ: бѣги скорѣе, бѣги въ Сѣчь, я тебѣ приказываю! И ты убѣжала, поцѣловавъ меня; а изъ-за дерева вышелъ отецъ, грозно посмотрѣлъ на меня, поднялъ надо мною сжатую руку — и остановился, будто неживой; послѣ ударилъ себя кулакомъ по лбу и тихо, грустно сказалъ: „не гляди на меня такъ страшно! ты похожа на мою покойницу... поѣдемъ домой!“ отвернулся и пошелъ; я за нимъ иду и ногъ не слышу. Пришли къ берегу, тамъ стоитъ лодка; въ лодкѣ Гадюка и Герцикъ. Батюшка сказалъ имъ весело: „Я пошелъ гулять по острову и дочь нашла; она тутъ же гуляла“. Мы сѣли и пріѣхали домой.

— А ты не видала здѣсь Герцика? съ безпокойствомъ спросилъ Алексѣй.

— Какъ же! онъ съ нами встрѣчался у самой твоей палатки, да не узналъ меня, только сказалъ Никитѣ: „проведи меня, добрый человекъ, къ Полтавскому куреню...“

— А ты его сразу узнала?

— Еще бы! ночь лунная, какъ день... О чемъ ты загрустилъ?...

— Ничего. Тебѣ надобно бѣжать скорѣе изъ Сѣчи. Если узнаютъ, что ты здѣсь, будетъ худо, мы можемъ поплатиться жизнью.

Лишь бы вмѣстѣ, я согласна умереть.

— Къ чему умирать, когда мы будемъ жить вмѣстѣ счастливо, спокойно? Нашъ кошевой писалъ сегодня къ твоему отцу: онъ для меня тебя сваталъ, а кошевой нуженъ отцу твоему. Какъ ты думаешь: благословить насъ отецъ?

— Богъ его знаетъ, его не разгадаешь! Разъ онъ пришелъ ко мнѣ утромъ, а я плакала. „Знаю, сказалъ онъ: о чемъ ты, дура, плачешь. Еслибъ мнѣ поймать этого Алексѣя...“ — „Такъ что бы?“ спросила я. — „Чему обрадовалась? тебѣ на что? ужъ я знаю бы, что съ нимъ сдѣлать!“ — Я пуще заплакала и пошла въ садъ; смотрю — солнце такъ свѣтитъ тепло, а мои цвѣты цвѣтутъ и наклоняются другъ къ другу; на нихъ ползаютъ, вокругъ летаютъ мушки, жучки, пчелы, всѣ вмѣстѣ, всѣ роємъ, а я одна на свѣтѣ, подумала я, какъ тотъ подсолнечникъ, что стоитъ одиноко надъ дорожкой, но и ему есть дѣло, есть радость: онъ любить солнце, и куда пойдетъ оно, свѣтлое, подсолнечникъ поворачиваетъ за нимъ свою лучистую цвѣтную головку. И стало мнѣ совѣстно... Бездушный цвѣтокъ поворачивается къ солнцу; будь у него сила, онъ оторвался бы отъ корня и полетѣлъ бы къ нему — а я? мое сердце, моя радость далеко; знаю, гдѣ онъ, и сижу будто связанная!... досажусь, что просвѣщаютъ

меня за нелюба... страшно!... Къ вечеру моя цыганочка продала всѣ мои дорогія серьги и дукатовыя ожерелья, и въ ту же ночь я убѣжала изъ отцовскаго дому, пристала дорогою къ запорожцу Касьяну, отдохнула у него день на зимовникѣ, а послѣ онъ, спасибо, провелъ меня до самой Сѣчи... Ну, полно, полно, перестань, ты меня зацѣлуешь!...

— Ахъ ты, моя ненаглядная Марина! И для меня ты бросила домъ, отца, родину? для меня рѣшилась ѣхать верхомъ, по дикой сторонѣ, надѣла казачье платье, обрѣзала свои длинныя, темныя косы? (*)

— На что онѣ были мнѣ?... развѣ удавиться было ими?... Я съ радостію взяла ножницы и обрѣзала ихъ. Но когда онѣ упали передо мною на столъ, темныя, длинныя, волнистыя — словно что оторвалось отъ моего сердца; не стану скрывать, я заплакала. Косы, мои косы! подумала я: сколько лѣтъ я свивала и развивала васъ, сколько лѣтъ я гордилась вами передъ подругами, когда вы, какъ черныя змѣи, красиво обвились, переплетались вокругъ головы моей и красный макъ порою горѣлъ надъ вами, словно пламя! Сколько разъ вы жарко размечивались по изголовью моей дѣвичьей постели, когда чудный сонъ о немъ волновалъ мою кровь, и сколько разъ черною тучею закрывали мое лицо отъ свѣтлаго утра, отъ божьяго солнца, когда я, пробудясь, краснѣла, вспоминая сонъ свой!.. Думала я въ гробъ лечь съ вами, темныя мои косы, съ вами, подруги моей одинокой радости и печали... И вотъ я подняла на васъ руку, подняла руку на самое себя!... Падайте, слезы, крупнымъ дождемъ на мои косы; не приростутъ онѣ, не пристанетъ скошенная трава къ своему корню, не цвѣсти сорванному цвѣтку... Такъ я думала — не сердись, мой милый... но это было не долго: я вспомнила, для кого лишилась своей красоты — и перестала плакать, даже сама сплела обрѣзанныя косы, спрятала на груди своей и принесла тебѣ въ подарокъ. На, возьми ихъ, онѣ твои!...

Алексѣй прижалъ ихъ къ сердцу, обнялъ и расцѣловалъ Марину. — Алексѣй и Марина плакали.

— Скажи мнѣ, спросилъ Алексѣй послѣ долгаго молчанія: — зачѣмъ ты назвалась Алексѣемъ?

(*) И до сихъ поръ въ Малороссіи считается величайшимъ безчестіемъ отрѣзать дѣвущкѣ косу. Ни за какую плату дѣвушка не согласится добровольно лишиться этого украшенія. „Коса вырастетъ, а позору не вернешь“ обыкновенно отвѣчаетъ она на предложенія парикмахера или другаго афериста, покупающаго волосы.

— Отъ-того, что мнѣ нравится это имя... Отъ вы казаки, казаки! думаете, что у бабъ и ума нѣтъ; а пойдетъ на хитрости—пятнадцатилѣтняя дѣвчонка проведетъ старика. Видишь, я назвалась Алексѣемъ, пирятинскимъ поповичемъ, нарочно, чтобъ сыскать тебя скорѣе. Я знала, что ты долженъ быть на Сѣчи; я и не знала даже вѣрно этого, но мое сердце вѣщевало, что ты здѣсь. А какъ сыскать тебя? Стану спрашивать—можетъ, догадаются, да и спрашивать какъ? а, можетъ, ты еще и не въ Сѣчи?.. Я и подумала: назовусь сама Алексѣемъ: коли кто тебя не знаетъ, тотъ ничего не скажетъ, а другой, можетъ, скажетъ: знаю и я одного Алексѣя-поповича пирятинскаго, видѣлъ его вотъ тамъ и тамъ, или что подобное. Это мнѣ и на руку...

— Вишь какая хитрая!

— Придется хитрить, когда силы нѣтъ.— Чуть я сказала въ куренѣ свое имя, такъ всѣ и закричали: „Вотъ штука! есть у насъ еще одинъ Алексѣй-поповичъ да еще и пирятинскій; вотъ комедія! да его теперь нѣтъ, поѣхалъ на крымцовъ; да что за молодецъ! да онъ у насъ войсковымъ писаремъ!“ И я все узнала, не спрашивая о тебѣ, мой ясный соколъ... Не грусти же такъ! Или ты разлюбилъ меня?..

— Меня Богъ покараетъ, коли разлюблю тебя! Отъ того я и задумался, что люблю тебя, что мнѣ жалко тебя. Мои товарищи не злы, но суровы и неумолимы, когда кто нарушаетъ ихъ законъ. Бѣда, если тебя узнаютъ! У меня сердце замираетъ, какъ подумаю... Я боюсь, чтобъ этотъ Герцикъ...

— Что за нужда Герцику мѣшаться въ ваши войсковыя дѣла? Вѣдь онъ не запорожецъ, а твой пріятель; да онъ и не узналъ меня!..

— Послѣднему-то я не вѣрю: у него глаза, какъ у кошки; скажи развѣ, что ему гораздо выгоднѣе не измѣнять намъ...

— Разумѣется!.. Оставь свои черныя думы, посмотри на меня веселѣе, поцѣлуй меня!..

— Радъ бы оставить, сами лѣзутъ въ голову. Опять думаю: вѣдь Герцикъ знаетъ, что ты убѣжала?

— Онъ остался въ Лубнахъ, въ нашемъ домѣ, такъ вѣрно знаетъ.

— Отчего же онъ мнѣ не сказалъ? Какъ подумаю, тутъ есть не доброе...

— Ничего!.. Вотъ ты мнѣ дай добраго коня, я поѣду прямо на зимовникъ Касяна и тамъ подожду тебя; батюшка вѣрно согласится на нашу свадьбу; не согласится—Богъ съ нимъ, займемъ кусокъ степи, сдѣлаемъ землянку и заживемъ.

Тутъ пошли толки, планы о будущемъ, увѣренія въ любви, клятвы—словомъ, по-

шли рѣчи длинныя, длинныя и очень безтолковыя для всякаго третьяго въ мірѣ, исключая самыхъ двухъ любящихся. Наконецъ, Алексѣй вдругъ будто вздрогнулъ и торопливо сказалъ:

— Пора намъ ѣхать; ночь коротка; чуешь, какъ стало свѣжо въ палаткѣ, скоро станетъ разсвѣтать. Мнѣ нельзя отлучиться, я тебѣ дамъ въ проводники Никиту: онъ человѣкъ добрый, любитъ меня и мнѣ не измѣнитъ; боюсь только, что онъ пьянъ... Ну, пойдемъ! Боже мой! слышишь, кто-то разговариваетъ за палаткой?

Марина молча кивнула головою.

— Да, разговариваютъ: не бойся, это за-поздалые гуляки, я сейчасъ прогоню ихъ...

Алексѣй быстро распахнулъ полы палатки и остановился; на дворѣ ужъ совсѣмъ разсвѣло; передъ палаткою стоитъ толпа казаковъ.

— Что вамъ надобно? спросилъ Алексѣй.

— Власть твоя, панъ писарь, отвѣчали казаки:—а такъ дѣлать не годится. Не долго простоять наша Сѣчь, когда начальство само станетъ ругаться надъ нашими законами; когда...

— Убирайтесь, братцы, спать!.. вы со вчерашняго похмѣлья...

— Дай Господи, чтобъ это было съ похмѣлья! Вотъ я сорокъ лѣтъ живу на Сѣчи, а никогда съ похмѣлья не грезилось такое, какъ на яву совершается, говорилъ сѣдой казакъ:—какъ можно прятать въ Сѣчи женщину? Отъ женщины и въ раю человѣку житья не было; а пусти ее въ Сѣчь...

— Жаль, что изъ моего куреня вышелъ такой грѣшникъ! сказалъ куренной атаманъ:—испоконвѣку не было на Поповичевскомъ куренѣ такого пятна.

— Вишь, какое беззаконіе! говорили многіе голоса громче и громче:—вотъ оно нечистое искушеніе! вотъ сидитъ она. Возьмемъ ее, хлопцы, да прямо къ кошевому.

— Вы врете! сказалъ Алексѣй: ступайте по куренямъ, а то вамъ худо будетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! кричали казаки:—лыцари не врутъ; можетъ, врутъ письменные, въ школѣ выучились; еще до разсвѣта намъ сказали, что у писаря въ палаткѣ женщина, мы и собрались сюда и слышали ваши рѣчи, и ваши поцѣлуи—все слышали, и попа призывали...

— Такъ есть же, коли такъ, у меня въ палаткѣ женщина: она моя невѣста, не хотѣлъ я оскорблять товариства и нарушать законы Сѣчи; черезъ часъ ее уже здѣсь бы не было, а теперь ваша рука не коснется ея чистой, непорочною; развѣ трупъ ея и мой вы получите...

Алексѣй обнажилъ саблю,

— Стой, сынъ мой! закричалъ голосъ свя-

щенника, выходившаго изъ толпы: — въ беззаконіяхъ зачать еси и во грѣхахъ рожденъ ты, яко человекъ; не прибавляй новой тяжести на совѣсть. Прочь оружіе! Смирись, грѣшникъ, передъ крестомъ и распятымъ на немъ.

Священникъ поднялъ крестъ; казаки сняли шапки; Алексѣй бросилъ саблю и сталъ на колѣни.

— Такъ, сынъ мой, покорись Богу и законамъ; бери свою невѣсту и пойдемъ на судъ кошевого и всего товариства. Не троньте его, братья, онъ самъ пойдетъ.

— Пойдемъ,—твердо сказала Марина, выходя изъ палатки:—пойдемъ, мой милый; наша любовь чиста, Богъ видитъ ее и спасетъ насъ.

И, окруженные казаками, Алексѣй и Марина пошли за священникомъ къ ставкѣ кошевого.

Строго принявъ кошевой вѣсть о преступленіи войскового писаря, сейчасъ же собралъ раду (совѣтъ), и, нѣсколько часовъ спустя, Алексѣй и Марина были осуждены на смертную казнь. Изъ уваженія къ заслугамъ писаря сдѣлали ему снисхожденіе: позволили умереть вмѣстѣ съ Мариною. Въ свѣчи не нашлось казака, который бы рѣшился казнить женщину.

— Нѣтъ ли гдѣ татарина? спросилъ кошевой.

— Извѣстно, мы не беремъ въ плѣнъ этой сволочи, отвѣчали ему—а сотникъ Буланый, который теперь живетъ зимовникомъ, весною поймалъ на охотѣ отсталого татарина и засадилъ его молотъ въ жерновахъ кукурузу (маисъ), такъ развѣ привести этого татарина, коли онъ не замолелъ уже до смерти.

Послали за татаринкомъ, казнь отсрочили до завтра, а преступниковъ посадили подъ караулъ въ рубленую избу съ желѣзными рѣшетками на окнахъ.

ГЛАВА VIII.

Оттакий-то Перебендя,
Старый та хымерный!
Заспиваетъ весильной,
А на журбу зверне.

Т. Шевченко.

У Запорожцевъ былъ обычай доставлять преступникамъ передъ казнью всевозможныя удовольствія. Вкусныя кушанья и дорогіе напитки были принесены къ обѣду Алексѣю и Маринѣ; но они не тронули ихъ и грустно сидѣли, по временамъ взглядывая другъ на друга и, съ какою-то бѣ-

шеною радостію улыбаясь, сжимали другъ друга въ объятіяхъ. Но вотъ уже солнце клонится къ западу; въ воздухѣ стало прохладнѣе; толпы казаковъ, шумно разговаривая, бродили между куренями; вдаль наигрывала бандура плясовую пѣсню, слышался топотъ разгульнаго трепака, неслись неясныя слова пѣсни:

Отъ Полтавы до Прилуки
Заломала закаблуки!
Ой лихо! закаблуки!
Дамъ лиха закаблукамъ!

и усиленный трепакъ заглушалъ окончательныя слова. Съ другой стороны слышались торжественныя, протяжныя аккорды, и чистый мужественный голосъ пѣлъ:

На Черному мори, на билому камни,
Ясенькій сокиль жалобно квилить про-
квилеас.

Народъ кругомъ слушалъ пѣсню о храбромъ войсковомъ писарѣ—а самъ писарь, приговоренный къ смерти, задумчиво стоялъ у рѣшетки и, слушая хвалебную пѣсню, грустно глядѣлъ на солнце, идущее къ западу. Рѣзвая ласточка высоко рѣяла въ воздухѣ; весело щебетала и, спускаясь къ землѣ, вилась около тюрьмы; недалеко передъ окномъ на старой крышѣ вытягивался одинокій тощій стебель какой-то травки; онъ сквозился, блестя отъ косвенныхъ лучей солнца и, колеблемый вечернимъ вѣтеркомъ, тихо наклонялся къ тюрьмѣ, будто прощаясь съ заключенными. На глазахъ Алексѣя показались слезы.

— О, не гляди такъ грусно, мой милый! говорила Марина, ломая свои бѣлыя руки:—твоя тоска разрываетъ мое сердце! Я, неразумная, довела тебя до смерти... знаю, что ты думаешь.

— Полно, Марина! перестань кручиниться; не знаешь ты моихъ тяжкихъ думъ.

— Знаю, знаю! Прощай, ты думаешь, ясное солнце; завтра не я уже стану глядѣть на тебя! Завтра въ это время веселая ласточка станетъ лѣтъ и летать, какъ и сегодня, и спокойно уснетъ вечеромъ въ своемъ гнѣздышкѣ, да и эта хилая травка завтра будетъ еще колебаться на Божьемъ свѣтѣ, и какой-нибудь залетный жучекъ посѣтитъ ее одинокую, а меня уже не будетъ! Не станетъ молодого удалца; будетъ меньше на свѣтѣ однимъ добрымъ козакомъ, и напрасно вороной конь станетъ ждать къ себѣ хозяина—не придетъ больше хозяинъ! Другой господинъ сядетъ на коня! Закроются, ты думаешь, мои свѣтлыя очи! Сорветъ хищный воронъ чубъ съ моей буйной головы и совьетъ изъ него гнѣз-

до для своихъ дѣтей! Рыданія прервали слова Марины.

— Богъ съ тобой, моя ласточка! Что за черныя мысли пришли къ тебѣ? Видитъ Богъ, я не думалъ этого.

— Знаю, ты думалъ, къ чему довела любовь наша? что изъ нея вышло, кромѣ печали и несчастія?... Алексѣй, мой ненаглядный соколъ! Развѣ я хотѣла этого? Я несла къ тебѣ мою чистую любовь, мое непорочное сердце, а принесла—смерть!... Завтра мы умремъ, такъ возьми сегодня мою чистую любовь... Послушай, шопотомъ продолжала Марина, робко озираясь:—скоро будетъ ночь; проживемъ ее какъ никогда не жили, а завтра посмѣемся надъ людьми; они хотятъ казнить любовниковъ, имъ завидна чистая любовь наша—пускай казнятъ супруговъ... Будемъ знать, за что умремъ!

И Марина спрятала пылающее лицо свое на груди Алексѣя.

— Ну, о чемъ же ты еще грустишь мой милый? сказала Марина, съ тихимъ упрекомъ глядя въ очи Алексѣю.

— Не о себѣ грущу я: я вспомнилъ Пирятинъ, мою старуху матушку; можетъ быть въ это самое время она узнала отъ Герпика о моемъ почетѣ, помолодѣла, думая скоро увидѣть меня... И, можетъ быть, она глядитъ, тамъ далеко, въ Пирятинъ, на это самое солнце и проситъ Бога, чтобъ спряталось оно скорѣе за гору, выводило скорѣе другой день, и чтобъ и тотъ проходилъ скорѣе, и пришло радостное время нашего свиданія. И теперь, когда я, глядя на солнце, прощаюсь съ нимъ, можетъ быть, она въ замковской церкви, передъ образомъ Богоматери, стоитъ на колѣняхъ, радостно плачетъ и благодаритъ Ее... Чуетъ ли твое сердце, добрая матушка, что ты не увидишь болѣе сына, что онъ, убѣгая, какъ воръ, изъ Пирятина, не простяся съ тобою, на вѣки покинулъ тебя, оставилъ безпомощную на старости, и завтра умереть позорно? Вотъ что думалъ я, моя милая. А смерти я не боюсь, за гробомъ жизнь вѣчная! Тамъ не плачутъ, не вздыхаютъ.

— Тамъ мы не разлучимся съ тобою! весело сказала Марина:—мы станемъ жить вѣчно, вѣчно! не правда ли? Наши души будутъ летать на свѣтломъ облачкѣ, сядутъ на море и проплывутъ съ волны на волну далеко-далеко, и никто имъ не скажетъ: куда вы? зачѣмъ вы? Мы будемъ вольнѣе птицъ небесныхъ, весело слетимъ на могилу, гдѣ будутъ поконты наши кости; я разроствусь надъ твоею могилою кустомъ калины, пушчу корни глубоко и обовью ими тебя, словно руками, раскину вѣтви широко, чтобъ твой прахъ не топтали люди, не пекло солнце; темною ночью вспомню

нашу здѣшнюю жизнь, наше горе—и тихо заплачу; но чуть взойдетъ солнце, сотру слезы,—пусть никто не видитъ ихъ,—весело зашевелю, засмѣюсь дробными листочками и душистыми цвѣточками; молодой казакъ сорветъ вѣтку моихъ цвѣтовъ, подаритъ ихъ своей коханкѣ; коханка вpletетъ мой цвѣтокъ себѣ между косы—и पुще полюбитъ козака; я съумѣю навѣять, нашептатъ ей чары любви—я любила на свѣтѣ... любила тебя, мой чернобровый казакъ, тебя, моя радость.

— О-го! какіе веселенькіе! сказалъ, входя, Никита.

— А о чемъ же намъ печалиться? спросила Марина.

— Развѣ васъ простили?

— Нѣтъ; а мы здѣсь вмѣстѣ, и умремъ вмѣстѣ, и будемъ всегда вмѣстѣ...

Никита покачалъ головой.

— Какъ намъ не радоваться, братъ Никита! сказалъ Алексѣй:—попали въ бѣду, а тутъ такъ всѣ насъ любятъ, всѣ навѣщаютъ, приходятъ утѣшать...

— Гм! Вотъ оно что! хитро сказано! чистый московскій обинякъ. На что людямъ мѣшать? Вамъ, я думаю, веселѣе безъ третьяго... А то досадно, что Алексѣй дурно думаетъ о Никитѣ, а Никита вотъ и теперь пообщалъ караульнымъ сорокъ михайликовъ вина, да меду сколько въ горло влѣзаетъ, чтобъ пустили увидѣть васъ, пару глупыхъ Алексѣевъ... Господи, прости, что бабу нарекаю мужскимъ именемъ!... На Никиту сердятся, а Никита цѣлый день поилъ стариковъ, говорилъ съ попомъ да съ письменными людьми, какимъ бы побытомъ и средствіемъ спасти пана писаря. Богъ вамъ, судья, братику!

— Ну, что жъ они говорили? спросила Марина.

— У! быстра, цикава! довела до бѣды добраго казака да и не кается! Что говорили. Вотъ уже и плакать собирается!

— Оставь ее, Никита; грѣхъ обижать женщину. Что? видно, нѣтъ надежды?

— Да я только такъ, я знаю ихъ натуру; съ тобою другая рѣчь пойдетъ. Говорить-то они говорили много, а толку мало; все равно, что кашу варить изъ топора: хотъ полдня кипятъ и шумитъ, и пѣнится; сними съ огня котелокъ, хлебни ложкою—чистая вода, а топоръ самъ-по-себѣ остался... Поилъ я до обѣда стариковъ характерниковъ; нечего сказать, старосвѣтскіе люди, стародавнія головы, дебелия души, а къ обѣду сдались—лоскомъ легли: я тогда за совѣтомъ къ одному, къ другому: молчать, хотъ бы тебѣ слово, ни пару изъ устъ, лежать, какъ осетры! Самъ виноватъ, подумалъ я, передать матеріалу. Послѣ обѣда

собралъ съ десятокъ письменныхъ душъ, поставилъ передъ ними цѣлое ведро горѣлки и говорю: вы, братцы, народъ разумный, не чета намъ, дуракамъ, вы часто въ письмо глядите и знаете, что тамъ до чего поставлено и что за чѣмъ руку тянетъ, дайте совѣтъ и помощь въ такомъ дѣлѣ, какъ оно будетъ?

— А будетъ такъ, какъ Богъ дастъ, отвѣчали они.

— Разумно сказано! сейчасъ видно птицу по полету, прибавилъ я.

— О! мы, брате, живемъ на этомъ; отъ насъ все узнаешь, вотъ только хватимъ по михайлику.

Выпили по два, по три михайлика, а все молчатъ; гляжу: пьютъ уже по десятому, я вспомнилъ сердечныхъ характерниковъ, что до сихъ поръ храпятъ подъ валомъ, и сказалъ: а что жъ, панове, какъ ваша будетъ рада (совѣтъ)?

— Вотъ что я тебѣ скажу, Никита, началъ одинъ,—а что я скажу, тому такъ и быть; вся свѣчъ знаетъ, что я самый разумный человекъ.

— Не знаю, братику, гдѣ онъ такого разума набрался? развѣ въ шинкѣ у Варки, перебилъ другой:—я не скажу о себѣ, а Болиголовъ его за поясъ заткнетъ.

— Убирайся ты съ своею Болиголовою подальше, куда и куриный голосъ не заходитъ; вотъ я расскажу... сказалъ третій.

— А чтобъ ты кашлялъ черепками, стекломъ да панскими будинками (хоромами)! закричалъ другой.—Да какъ подняли межъ собою письменныя души споръ, крики, брань, что твои торговки на базарѣ въ гетманщинѣ, только и слышно: я! я! я! я! Не успѣлъ оглядѣться да разслушаться, а они уже другъ друга за чубы; перессорились, передрались, словно пѣтухи весною, и пошли до куреня позываться (судиться); попала только моя горѣлка!... А вотъ уже вечерѣетъ, я и пошелъ до панъ-отца (священника). Панъ-отецъ меня выслушалъ и говорить:

— Дѣло, брате, важное: не выскочить Алексѣю отъ смерти.

— Будто, батьку, никакъ невозможно спасти? спросилъ я.

— Нельзя, сказалъ панъ-отецъ:—таковъ законъ на Сѣчи. Правда, коли найдется женщина, которая захотѣла бы изъ-подъ топора или петли прямо вести преступника въ церковь и перевѣнчаться съ нимъ, то его простятъ; да кто захочетъ опозорить себя? да и гдѣ возьмется на Сѣчи женщина? Люди въ старину нарочно сдѣлали такой законъ: знали, что женщинѣ неоткуда встаться.

— Вотъ и все тутъ, брате Алексѣю! Плохо!

— Плохо, Никита! Видно на то воля Божія! А все-таки тебѣ спасибо, Богъ тебѣ заплатитъ за твое стараніе.

— Да я выйду за Алексѣя, почти закричала Марина:—я скажу передъ народомъ, что...

— О-ва! опять свое. Что ты скажешь? ну что? Сама заварила кашу да хочешь и расхлебать... Не до поросятъ свиньѣ, когда ее смалать (палать)... Молчала бъ лучше, да Богу молилась... Прощай, Алексѣй!

— Куда ты?

— Такъ, скучно, брате, хоть въ воду броситься, скучно! цѣлый день поилъ дураковъ, а самъ ни капли въ ротъ не бралъ; кутну съ досады...

— Не ходи, Никита, потолкуй съ нами.

— Съ вами теперь толковать, что воду толочь: только устанешь; и вамъ веселѣе вдвоемъ; наговоритесь, пока есть время.

— Куда жъ ты?

— Поѣду съ горя къ Варкѣ въ шинокъ!...

— Что жъ тебѣ за горе?

— Грѣхъ спрашивать, брате Алексѣю! Развѣ мнѣ не жалко тебя? Чортъ васъ знаетъ, за что я полюбилъ васъ, самъ не доберу толку! Еще тебя куда ни шло, ты человекъ съ характеромъ, а то и ее полюбилъ... кто-нибудь подслушаетъ, смѣяться станетъ, а ей-богу полюбилъ! Будь она козакъ, я плюнулъ бы на нее, она дрянъ-казакъ, нѣженка, а для бабы — молодецъ баба, характерная баба! вотъ что!... Какъ вспомню про васъ, про обоихъ, тошно станетъ, словно не ѣлъ трое сутокъ... Прощайте! Тяжело на душѣ; развѣ успокоюсь какъ... какъ похороню васъ... Никита махнулъ рукой и вышелъ.

XIV.

Только Богъ святой знает,
Що Хмельницкій думаетъ, гадаетъ.

Малороссійская народная дума.

Встало утро, тихое, свѣтлое, радостное; на востокѣ показалось солнце, и навстрѣчу ему поднялись жаворонки съ широкой степи, взвились высоко подъ чистое небо, запѣли звонкую привѣтственную пѣсню; въ садахъ отозвалась кукушка, засвистала иволга; бѣлый аистъ, дремавшій надъ гнѣздомъ на кровлѣ хаты, закинулъ на спину голову и, громко щелкая носомъ, медленно приподнялъ ее и опустилъ до самаго гнѣзда, будто привѣтствуя этимъ наступающій день; потомъ распустилъ свои широкія бѣлыя

крылья, приподнял ихъ кверху, словно руки, и плавно отделился отъ крыши вольными кругами, подымаясь все выше и выше, съ любовію поглядывая на землю, на дѣтей своихъ, протянувшихъ къ нему изъ гнѣзда шеи. Былъ веселъ Божій міръ, а въ Сѣчи не радостно встрѣчали свѣтлое утро; смутно, угрюмо сходилъ народъ на площадь: на площади прохаживался рябой узкоглазый татаринъ, въ красной рубахѣ съ короткими рукавами, въ красной шапкѣ; лицо татарина было блѣдно, измучено, но жилистыя руки легко поворачивали, играли топоромъ. По-временамъ, татаринъ дышалъ на свѣтлое, острое его лезвие и внимательно смотрѣлъ, какъ сбѣгало съ него легкое облачко, навѣянное дыханіемъ, или осторожно трогалъ пальцемъ остріе, при чемъ злая, мгновенная, неувимая улыбка быстро мелькала на узкихъ, плотно сжатыхъ губахъ мусульманина. Казаки съ презрѣніемъ отворачивались отъ татарина, даже скидывали и бросали на землю жупаны, до которыхъ онъ случайно дотрогивался.

Передъ тюрьмою вилась и щебетала вчерашняя ласточка; какъ и вчера, тихо колебалась на крышкѣ одинокая травка; въ тюрьмѣ Алексѣй и Марина стояли на колѣняхъ передъ иконою и молча слушали наставленія священника. Но вотъ послышался на площади глухой громъ литавръ.

— Пора, дѣти! кротко сказалъ священникъ: — готовы ли вы?

Заключенные взглянули другъ на друга, потомъ на образъ, перекрестились, крѣпко обнялись, и тихо вышли изъ тюрьмы за священникомъ; четыре вооруженные казака шли за ними. Кругомъ безчувственно глядѣли суровыя лица запорожцевъ; порою съ сожалѣніемъ кивалъ въ толпѣ черный чубъ, порою скатывалась по сѣдымъ усамъ старика блестящая слеза; но старикъ сейчасъ же спѣшилъ сказать: „Экіе овода! хватилъ за ухо, словно собака; даже слезы потеклись“.

Передъ церковью Покрова, Алексѣй и Марина упали ницъ, молясь со слезами, потомъ встали, отерли слезы и бодро, смѣло подошли къ подмосткамъ, на которыхъ стоялъ страшный татаринъ, съ топоромъ въ рукахъ, въ красной рубахѣ.

— Христіанскія души! замѣчали въ толпѣ.

— Характерныя души! говорили другіе.

Площадь была биткомъ набита народомъ; некуда было яблоку упасть, какъ говорилъ Никита. Противъ подмостокъ, гдѣ былъ палачъ-татаринъ, стоялъ на возвышеніи кошевой, окруженный старшинами; въ толпѣ народа, у самыхъ подмостокъ, былъ Никита. Глядя на Никиту, можно было подумать, что онъ для бодрости въ та-

комъ печальномъ случаѣ съ-позаранку былъ пьянъ. Онъ стоялъ какъ-то странно, переминаясь съ ноги на ногу, точно школьникъ, поставленный челоуколюбивымъ педагогомъ на горохъ на колѣни; его глаза страшно сверкали и хлопали, онъ по-временамъ, наклоняясь къ своему товарищу, закутанному въ кобенякъ (плащъ съ капюшономъ), таинственно шептался, громко кашлялъ и самодовольно опускалъ руки въ безконечные карманы своихъ широкихъ шароваръ.

Осужденные, подошедъ къ подмосткамъ, низко поклонились кошевому и всему народу. Передъ ними была маленькая площадка. Въ это время Никита значительно посмотрѣлъ на своего товарища, закутаннаго въ кобенякъ, мигнулъ ему усомъ и наконецъ толкнулъ локтемъ подъ бокъ; товарищъ стоялъ, какъ статуя.

— Вотъ, братцы... началъ было Никита, но вдругъ замолкъ: его молчаливый товарищъ ровнымъ шагомъ выступилъ на площадку, поклонился народу, снялъ шапку и спустилъ съ плечъ кобенякъ. Народъ съ ужасомъ подался въ стороны: на площадкѣ стояла женщина.

— Урожай на бабъ въ это лѣто! замѣтилъ кто-то въ толпѣ.

Блѣдная, дрожащая стояла эта женщина, распустивъ по плечамъ длинныя каштановыя косы, тихо повела глазами надъ площадью и остановилась на Алексѣѣ. Вмигъ щеки ея вспыхнули, глаза заблистали, руки вытянулись и твердымъ голосомъ сказала она: „Волею или неволею я возьму у смерти Алексѣя-поповича; пускай на меня падутъ грѣхи его, я отвѣчу за нихъ Богу. Алексѣй! обними меня, жену твою“.

— Ай да Татьяна! сказалъ въ толпѣ молодой казакъ. — И все утихло.

Въ какой-то торжественной красотѣ стояла передъ Алексѣемъ Татьяна, сознавъ въ душѣ всю цѣну своей заслуги передъ любимымъ челоукомъ; ея глаза блестѣли, щеки горѣли, полная, круглая грудь высоко подымалась.

Алексѣй молчалъ; толпа притаяла дыханіе.

— Хочешь ли ты, вмѣсто плахи, обручиться со мною? спросила Татьяна; но уже голосъ ея дрожалъ; прежняя блѣдность быстро стоняла съ лица румянецъ.

Алексѣй поглядѣлъ на Татьяну, подалъ Маринѣ руку — и твердо вошелъ на подмостки. Никита плюнулъ и махнулъ объими руками; Татьяна, шатаясь, упала на землю.

— Молодецъ! отказался! раздалось въ толпѣ: — характерно, чортъ возьми! и поганая Татьяна хотѣла его взять мужемъ! хо-

тѣла извести добрую душу! вонъ ее, скверную бабу! гоните ее палками, коли не хотите прогуляться между небомъ и землею...

И съ насмѣшками и толчками толпа передавала съ рукъ на руки Татьяну. На площади поднялся шумъ и говоръ. Ужъ не видно стало Татьяны, а толпа все еще волновалась и только замолкла, когда кошевой взмахнулъ булавою.

— Тихе! раздалось въ толпѣ:—кошевой просить слова.

— Войсковой писарь Алексѣй-поповичъ нарушилъ законы нашего товариства, сказалъ кошевой:—это вамъ вѣдомо?

— Вѣдомо, вѣдомо!

— Старшины войсковые и рада присудила его—Алексѣя съ его искусителемъ, Мариною, лишитъ живота, хотъ Алексѣй и вѣрно служилъ войску и ни въ какія художества не мѣшался—да законъ велитъ.

Народъ молчалъ.

— Что же вы паны товариство, согласны?

— Дѣлать нечего, коли законъ велитъ, угрюмо отвѣчали козаки.

— Хорошо, хлопцы! знаменитые лыцари вы есте! законъ прежде всего, а тамъ уже прочее... Зачѣмъ же мы до сихъ поръ незаконно поступали съ нашимъ войсковымъ писаремъ? даже самъ я, каюсь въ грѣхъ своемъ, и я поступилъ незаконно.

— Не знаетъ, батьку.

— А я такъ знаю. Не слѣдуетъ ли всякому человѣку нашего товариства давать благородное лыцарское прозвище?

— Слѣдуетъ, слѣдуетъ! какъ же безъ этого?...

— Сами говорите; а какое достойное лыцарское прозвище дали вы своему собрату Алексѣю-поповичу?

— Какое?... какое?... извѣстно какое—поповичъ.

— Вѣдь съ этимъ прозвищемъ пріѣхалъ онъ изъ Гетманщины; да это не прозвище: мало ли у насъ есть поповичей, всѣ они титулуются по лыцарски; вотъ передъ нами Лапотъ, вотъ Чубарый.

— Вотъ и я, Максимъ-поповичъ изъ Чигирина, отозвался одинъ казакъ:—а зовутъ меня Недоѣдкомъ, и за то спасибо.

— Тшш!...

— Не шикайте, братцы! продолжалъ кошевой:—не перебивайте хорошей рѣчи вольнаго казака; казакъ воленъ говорить толковыя рѣчи. Такъ вотъ вамъ и Недоѣдокъ, вотъ Брехунъ, вотъ Бродяга, а всѣ они суть поповичи! И какъ любо имъ носить добрыя имена, и посмотрите, какъ весело глядитъ на нихъ солнце, оттого, что они законно живутъ на свѣтѣ.

— Правда, правда.

— Сами знаете, братцы, что правда; вы

народъ разумный—а промахнулись, не дали имени храброму казаку; за то, можетъ быть, Богъ караетъ его и насъ вмѣстѣ, отнимая у Сѣчи характернаго человѣка.

— А можетъ и такъ?... сказалъ кто-то въ толпѣ.

— Именно такъ, дѣло ясное! почти вскрикнулъ Никита и за нимъ нѣсколько голосовъ.

— За что жъ мы обидѣли христіанскую душу, продолжалъ кошевой:—не дали запорожскаго имени лыцарю-товарищу? безъ имени овца—баранъ, говорятъ мудрецы...

— Баранъ, батьку, баранъ!...

— Какъ же явится на тотъ свѣтъ добрый казакъ безъ законнаго прозвища? Грѣхъ намъ всѣмъ, великій грѣхъ! Готовились къ набѣгу на Крымъ и забыли законъ исполнить.

— Виноваты, батьку! что жъ намъ дѣлать?

— Дадимъ ему хотъ теперь доброе имя, снимемъ грѣхъ съ души.

— Добре, батьку! добре—дѣльно сказано! Какое же ему имя дать?

— Вотъ послушайте, братцы, моей рады (совѣта). Вамъ извѣстно, что Алексѣй-поповичъ самъ хотѣлъ умереть за наше войско, просилъ, чтобъ его бросили въ море, лишь бы спасти наши чайки, а съ чайками, извѣстно, и наши головы—исповѣдывалъ передъ Богомъ, моремъ и нами, старшинами-товарищами, свои грѣхи и умилиствовалъ Бога своими молитвами и тѣмъ спасъ всѣ наши чайки. Многимъ изъ насъ не стоять бы на площади, не думать бы о Сѣчи и о михайликахъ безъ заступленія Алексѣя.

— По вѣкъ не забудемъ этого! громко закричали казаки.

— И хорошо дѣлаете. Такъ не назвать ли Алексѣя-поповича, въ память избавленія чаекъ, Чайковскимъ? Какъ вы думаете?

— Ты намъ, батько, голова; какъ ты думаешь, такъ и мы думаемъ: быть ему Чайковскимъ!

Громкое „ура!“ отозвалось на площади; шапки полетѣли кверху...

— Итакъ, продолжалъ кошевой, поднимая булаву, отъ чего народные крики утихли:—отнынѣ впредь никто не смѣетъ подъ смертною казнію иначе называть бывшаго Алексѣя-поповича, какъ Алексѣемъ Чайковскимъ. Слышите, храбрые лыцари?

— Чуемъ, батьку! никто не смѣетъ!...

— Теперь, на прощанье не спѣтъ ли намъ, братцы, Алексѣю Чайковскому пѣсню про Алексѣя-поповича? Пускай человѣкъ въ послѣдній разъ услышитъ нашъ казацкій, лыцарскій напѣвъ про свои добрыя дѣла для нашего воинства! Хорошо, братцы?

— Добра, добра, братцы казаки! — начинал говорить.

И начал: соборъ чистымъ, ровнымъ — такъ и говорить!

— И Черному морю, на билому камни, Черноморскій народъ жалобно квилить, проквилить.

Многие изъ оружающихъ принимали участие въ пѣснѣ, и подъ конецъ вся площадь зашумѣла въ одинъ звучный, дикій, но страстный хоръ. Пѣсня видимо разжаловала сапожниковъ...

— Жалко, жалко, жалко! — сказалъ будто сапожникъ кошевой, когда казаки окончили пѣсню и стояли въ какомъ-то раздумьи.

— Жалко, жалко! со всѣхъ сторонъ отошавъ къ народѣ: — жалко, а дѣлать нечего. Бѣда законно...

— Иже, хлопцы, я прошу у васъ одной вещи: войсковой писарь Алексѣй Чайковский хочетъ жениться на дочери дубенскаго полковника Ивана. Полковникъ Иванъ сдурѣлъ на старости и было призадумался, да его дочка лучше знаетъ, что такое запорожскій лимарь, бросила отца и пришла въ Сѣчъ просить у товариства благословенія!.. Согласны вы на это?

Казаки въ недоумѣніи молчали.

— Знаю, братцы, продолжалъ кошевой: — вамъ жалко лишиться такой характерной души, какъ Алексѣй Чайковский, но надобно ему заплатить за услугу. Онъ общается всегда помогать намъ на войнѣ и дѣтей своихъ пришлетъ служить на славное заporожье.

Казаки любили Алексѣя и уважали за личную храбрость и непреклонный характеръ, а потому съ радостію согласились на его свадьбу.

— Ай да собака нашъ кошевой! кричалъ Никита, размахисто толкая товарищей: — выкинулъ штуку!

— Штука! говорилъ народъ: — и справедливо, и законно, и весело!...

— А для чего жъ я привезъ татарина? спросилъ угрюмо сѣдой казакъ.

— Чтобъ казнить Алексѣя-поповича, отвѣчалъ строго кошевой: — найди его и прикажи казнить.

— Да, найди его, Дмитро, кричали старику казаки: — и пускай его казнять! — Вотъ штука!.. ей-богу, штука!

— Смерть Алексѣю-поповичу и многая гдѣ Алексѣю Чайковскому! гремѣла толпа, лютая подмостки и торжественно уводя Алексѣя и Марину къ церкви Покрова.

— Бейте для потѣхи поганого татарина!

Подмостки рухнули, и долго еще было видно между досками тѣло татарина, одѣ-

тое въ красную рубаху, когда народъ отошелъ и окружилъ церковь, въ которой вѣчали Алексѣя Чайковскаго съ Мариною.

Послѣ вѣнца сейчасъ же выпроводили новобрачныхъ за ворота Сѣчи и тамъ старшины простились съ Чайковскими: кошевой подарилъ ему пару добрыхъ коней и порядочный мѣшокъ дукатовъ, совѣтовалъ ѣхать на зимовникъ стараго Касьяна и тамъ жать вѣстей отъ полковника, обѣщался пріѣхать къ нимъ на свадьбу въ Гетманщину и быть посаженнымъ отцомъ.

Случалось ли вамъ видѣть страшный сонъ? Не то будто вы проиграли пушку въ преферансъ, или васъ оклеветали ближній, или вамъ подали холоднаго супу, или смазливенькое личико, давши вамъ слово танцевать, отказалось и пошло съ мягкими бархатными усиками, а вы для *vis-a-vis* полчаса гуляли по залѣ съ какимъ-то привидѣніемъ. Или будто вы въ театрѣ, гдѣ играютъ нестерпимую негѣлицу: передъ вами на сценѣ русскій мужикъ, бородачъ, широкогрудый перелазитъ на *россійскій діалектъ de officiis* Цицерона и машетъ руками и горячится, какъ встарину самъ *онимъ* пресловутый витія передъ романскими *народишко*мъ, а его жена въ кофшникѣ, въ сарафанѣ и французскихъ башмакахъ, попивая православный квасокъ, рѣшаетъ вопросъ о Востока лучше заморскихъ газетъ и парламентовъ... Вы хотите бѣжать, но двери заперты, никого не пускаютъ, а между тѣмъ авторъ пьесы самодовольно глядитъ на васъ изъ ложи и улыбаясь будто говорить: „что, пріятель, попался? знай нашихъ!“ Согласенъ, это страшныя видѣнія, невыносимые сны — но не о такомъ говорю я: нѣтъ, случалось ли вамъ видѣть сонъ тяжкій, сокрушительный, убивающій вашъ духъ въ самомъ существѣ его, сжимающій ваше сердце, открывающій передъ вами одно отчаяніе и безнадежность?... Испытали ли вы радость при пробужденіи отъ такого сна?... Неправда ли, что эта радость не имѣетъ ничего общаго съ другими нашими радостями? Передъ нею блѣдны и безцвѣтны, какъ горящіе свѣчи передъ солнцемъ, лучшія минуты, украшающія вашу жизнь, и первыя эполеты, и гармоническое „люблю“, сказанное вамъ когда-то очень-благовоспитанною барышней, сказанное, можетъ быть, потому, что ей очень хотѣлось сказать кому-нибудь это слово, и рукопожатіе вашего начальника, и приглашеніе на обѣдъ къ значительному лицу, и всѣ прочія блага земли, которыя въ свое время сильно заставляли трепетать ваше сердце, неправда ли?

Если вы можете представить эту восхитительную, свѣтлую, спокойную радость,

это успокоительное сознание, что прошедшее—мечта, пустой сонъ, тогда вы приблизительно поймете состояние Алексѣя и Марины—я не берусь его описывать; есть минуты въ жизни, есть чувства, ощущенія, которыя не подлежатъ никакому опи-

санію, хотя они доступны почти всякому. Кто изъ насъ не понимаетъ вполнѣ красоты и величія солнца, и кто изъ ирославленныхъ живописцевъ изобразилъ его, хотя многіе изображали, изображаютъ, и будутъ изображать?

Часть вторая.

Тамъ родылась, гарцовала
Козацкая воля,
Тамъ шляхтою, татарами
Засивала поле,
Засивала трупомъ поле,
Поки не остыло...
Лягла спочить... а тимъ часомъ
Выросла могила.

Т. Шевченко.

I.

J'ai vécu pour t'aimer, et je meurs en t'aimant.
Je les ai tous perdus... je n'ai plus qu'à mourir.
Gilbert.

Когда уѣхалъ кошевой и старшины, Алексѣй съ Мариною, упавъ на колѣни, помолились Богу, обнялись и поѣхали на зимовникъ стараго Касьяна. И вотъ они одни въ чистой степи; Сѣчь уже скрылась изъ виду; кругомъ зеленая пустыня—только земля да небо: по землѣ серебристою волною, словно море, лоснится ковыль, когда вѣтеръ слегка его заволнуетъ; на небѣ горитъ одинокое солнце. Тихо, пусто... но нашимъ путешественникамъ степь не казалась пустынею: ихъ души были полны внутреннею жизнію, сердца близко бились другъ подлѣ друга; имъ улыбался Божій міръ, и они улыбались, глядя на него и, останавливая другъ на другѣ взоры, пожимали руки, какъ-бы стараясь увѣриться, не сонъ ли это? Счастье было слишкомъ велико, слишкомъ неожиданно..

На далекомъ горизонтѣ показалась черная точка; она, казалось, не росла, не уменьшалась, не двигалась въ стороны.

— Ужъ не ворогъ (врагъ) ли это? сказалъ Алексѣй:—только быть не можетъ.

— Кустъ или камень, отвѣчала Марина.

— Сколько я помню, здѣсь неоткуда взяться ни кусту, ни камню. Впрочемъ, посмотримъ, прибавилъ Алексѣй, остановилъ коня, поднесъ къ глазамъ нагайку и, прищуря лѣвый глазъ, долго смотрѣлъ вдаль правымъ черезъ нагайку.

— А что? спросила Марина, когда Алексѣй, опуская нагайку, сомнительно пожалъ плечами.

— Не приберу толку что, а что-то живое; какъ ни прицѣлюсь вѣрно нагайкою—сходить немного въ стороны съ нагайки. Отчего жъ оно ни ѣдетъ къ намъ, ни уходитъ отъ насъ?

— Можетъ-быть, орелъ теребитъ зайца.

— Похоже на это; пріѣдемъ ближе, увидимъ.

Чѣмъ болѣе подъѣзжали они къ незнакомому предмету, тѣмъ болѣе точка увеличивалась, яснѣе обозначались формы предмета, и скоро легко можно было различить стоящую лошадь и возлѣ нея въ тылъ человѣка, припавшаго надъ чѣмъ-то на колѣни. Человѣкъ былъ въ однихъ шароварахъ и рубахѣ; куртка и черкеска лежали въ сторонѣ, брошенные на траву; засучивъ рукава по локоть, казалось, онъ что-то связывалъ или развязывалъ и такъ былъ занятъ, что не слышалъ, когда его лошадь, завидя стороннихъ, чутко выпрямила уши, вытянула шею и заржала въ полголоса; онъ тогда только обернулъ свою голову, когда Алексѣй былъ отъ него въ двухъ шагахъ.

— Никита! закричалъ Алексѣй.

— Да, Никита! Хорошо тебѣ горланить! Посмотри, вотъ твоя работа. При этомъ

онъ всталъ, держа въ рукахъ окровавленный ножъ, и показалъ имъ на лежавшую мертвую женщину.

— Бѣдная Татьяна! неужели ты ее зарѣзалъ Никита?

— По рѣчамъ видно гетьманца! прямой запорожець не скажетъ этого. Никита турка рѣжетъ, татарина рѣжетъ, жида рѣжетъ и всякую нехристь, а бабъ не станеть рѣзать; ты убилъ ее своими быстрыми очами, да черными бровями, да сладкою рѣчью!... Дура была покойница—и все тутъ... А подумаешь и я дуракъ.

— Богъ съ тобою!...

— Богъ со мною, всегда со мною, отъ того, что я христіанскій лыцарь, а все таки моя правда: глупо я сдѣлалъ, что поѣхалъ къ Варкѣ въ шинокъ; думалъ-то разумно, а вышло глупо—думалъ тебя спасти, Алексѣй, а погубилъ добрую бабу!... Я, видишь, какъ слышалъ отъ пана-отца (священника), что есть способъ тебя выводить отъ смерти, и поѣхалъ нарочно къ Варкѣ въ шинокъ, отвелъ въ сторону Татьяну и рассказалъ ей, въ какой ты оказіи находишься; гляжу, она поблѣднѣла, бѣдная, какъ полотно: вѣрно душою почувала близкій конецъ. Я вижу, что разжалобилъ Татьяну и сталъ просить ее: спаси, дескать, войскового писаря, коли меня любишь; черезъ тебя, говорю, пропалъ старый писарь—пусть же черезъ тебя молодой поживетъ на свѣтѣ. Какъ кинется она мнѣ на шею, какъ стала цѣловать меня, и говорить: я тебя теперь такъ люблю, Никита, какъ никогда не любила; ты мой и такой и такой; я пойду на Сѣчь, вырву Алексѣя изъ рукъ смерти, ей-богу, вырву!... и опять кинулась цѣловать, мнѣ даже стало какъ-то немного неспокойно, что дѣвка такъ меня любитъ, а будетъ твоею женою... Я кутилъ всю ночь, прикинулся пьянымъ, оставилъ въ шинкѣ все крымское золото, а сползъ съ ногъ и своего товарища Бурульку, и Варку, и ея племянницъ, и послѣ полуночи поѣхалъ домой; я подождалъ немного въ долині, недалеко отъ балки (оврага), Татьяны; она скоро пріѣхала ко мнѣ на Бурулькиной лошади и въ его кобеньякъ; мы поскакали и къ утру были на площади у подмостковъ, гдѣ гулялъ невѣрный татаринъ, нахвалиаясь на твою крещеную голову. Чтѣ было послѣ, ты самъ знаешь. Эхъ, бѣдняжка! вишь какъ ее вытянуло! Жаль!... Веселая была Татьяна!

— Зачѣмъ же теперь ты здѣсь? чтѣ ты дѣлалъ съ нею?

— А что жъ? развѣ грѣхъ помочь христіанской душѣ? Покойница хотѣла была баба, да все-таки христіанка. Видитъ Богъ,

какъ жалко мнѣ стало, когда погнали ее хлопцы вонъ изъ Сѣчи, хотѣ я и смѣялся надъ нею съ другими и тюкалъ изъ политики какъ, на бѣшеную собаку. Хорошо еще, что на Сѣчи было много знакомыхъ покойницъ между молодыми казаками, тѣ ее кое-какъ защитили: окружаютъ, будто толкаютъ, а сами все дальше, да дальше выводятъ изъ Сѣчи, а то старики уколотили бы ее въ смерть. Сначала бѣдная Татьяна шла, пошатываясь, спотыкалась немного, отдувалась на стороны, ворочая головою, будто человѣкъ, только что вынырнувшій изъ воды, а потомъ ничего, ободлась, попривыкла; кого и сама толкнетъ, кого ругнетъ, кому языкъ покажетъ, такъ что всѣхъ развеселила. Вывели мы ее за ворота Сѣчи и сказали: „Убирайся теперь на всѣ четыре стороны, теперь твоя воля“.

— Вотъ вамъ за труды, сказала Татьяна, и плюнула намъ почти въ глаза и побѣжала въ степь.

Изъ политики нельзя никому было провожать ее, да притомъ всѣ торопились на площадь, узнать, чтѣ тамъ дѣлается. А когда я увидѣлъ, что дѣло пошло хорошо и тебя повели вѣнчать съ Мариною, то я подумалъ: теперь Чайковскому и чортъ не братъ; развѣ одна съ нимъ бѣда будетъ—что баба повиснетъ на шеѣ; а теперь, пока народъ шумитъ и толпится возлѣ церкви, меня никто не замѣтитъ, поѣду, провѣдаю Татьяну; сѣлъ на коня, махнулъ по свѣжему слѣду, какъ собака за зайцемъ—и нашелъ ее здѣсь...

— Мертвую?

— Какъ бы не мертвую! живехонькою! Лучше бы мертвую засталъ, а то сидитъ на травѣ, задумалась и смотритъ на мѣдный дукатъ, что висѣлъ у ней на шеѣ вмѣстѣ съ крестикомъ.

— Здравствуй, Татьяна! сказалъ я:—ждала меня?

— Здравствуй, Никита, отвѣчала она:—и не думала ждать!

— Вотъ тебѣ и развѣ! зачѣмъ ты сидишь тутъ, дурная баба!

— Бѣжала, Никита, говоритъ она:—устала, очень устала, ноги подкосились, сѣла отдохнуть. А ты зачѣмъ тутъ ѣдишь, дурной казакъ?

— Вольному казаку никто не запретитъ ѣздить, гдѣ ему хочется. Я пріѣхалъ тебя провѣдать, моя уточка; нашъ Алексѣй живъ, здоровъ и тебѣ кланяется.

— Не-уже-ли? закричала она:—вы отняли его у кошевого? Ай да молодцы запорожцы! Расскажи же поскорѣе, какъ это было.

И гдѣ взялась сила у покойницъ! прежде ни жива—ни мертва сидѣла, а то бойко вскочила на ноги, охватила за по-

вода коня и кричитъ: „разсказывай!“ Я разсказалъ ей все какъ было; оставилъ, говорю, ихъ въ церкви... Гляжу: выпустила Татьяна изъ рукъ поводъ, поблѣднѣла, опустила руки, вытянулась и смотритъ на меня такъ страшно, будто съѣсть хочетъ, а сама смѣется...

— Что съ тобою? спросилъ я.

— А! старый дурень, сказала она:—ты мнѣ такія вѣсти носишь?... Мой милый, мой Алексѣй вѣнчается съ другою... а ты зачѣмъ здѣсь? Слушай пѣсню:

Ты думаешь, дурню,
Что я тебя люблю;
А я тебя, дурню,
Словами голублю!

Понимаешь, Никита?... Я думала, онъ умеръ... Жаль было, душа болѣла, только и радовалась, что ни ей, ни мнѣ не достался! А теперь... у!... свадьба!... свѣчи, гробъ!... Слышишь!... поютъ...

Жукъ гузе,
Свадьба буде...

Слышишь?... пойдѣмъ!...

Тутъ она залилась слезами, а я догадался, что кругомъ дуракъ; что она тебя, Алексѣй, любила, а меня голубила словами, и, право, горько стало, не отъ того, прахъ ее возьми, чтобъ я любилъ ее, какъ тамъ паны любятъ въ Польшѣ, а съ досады, что баба, да еще молодая, проводила меня. Ляхъ не проводилъ, татаринъ не проводилъ, а провела баба!... Приснитъ, такъ перекрестилъ... Немного поплакавъ, Татьяна говорила со мною, да я ничего уже не понималъ: то кланялась тебѣ, то пѣловала крестикъ и мѣдный дукать на шеѣ, но, глядя на дукать, вспоминала свою матушку, просила у нея благословенія, потомъ запѣла свадебную пѣсню... затянула высоко-высоко, я ужъ было и заслушался; вдругъ остановилась, будто кто ей ротъ зажалъ рукою, и повалилась на землю; я къ ней—не дышетъ, глаза открыты и не двигаются. Что будешь дѣлать?... вспомнилъ я, что въ прошломъ году въ походѣ почти такая притча случилась съ моимъ гнѣдомъ, совсѣмъ издыхалъ конь и ноги откидалъ; присовѣтовали люди пустить степную кровь—онъ и ожилъ. Не было со мною ланцета, я взялъ ножъ и кинулъ Татьянѣ степную кровь: какъ пошла кровь порядочно, гляжу вздохнула Татьяна, повела глазами, посмотрѣла на меня и шепчетъ: „прощай, Никита, кланяйся Алексѣю... Да сними съ моей шеи и отдай ему этотъ мѣдный дукать; въ немъ, говорятъ, много силы, онъ...“ да и не до-

говорила... Богу душу отдала. Я уже и тру ее суконкою и водки лью въ ротъ, ничто не помогаетъ, холодна какъ ледъ. Вотъ что!

— Бѣдная Татьяна! сказалъ Алексѣй:—царство ей небесное; добрая была душа! Что же ты, Никита, станешь дѣлать?

— Вырою саблю яму, прочитаю молитву, да и похороню небогу (сердечную).

— И я помогу тебѣ...

— А куда вы ѣдете? спросилъ Никита.

— На зимовникъ Касьяна.

— Вотъ же что я тебѣ скажу: поѣзжай ты съ женою своею дорогою; дорога тебѣ еще далекая: дай Богъ за-свѣтло добратъся, не заморивши коней; а какъ со мною еще простоишь часъ, другой, то прійдется заночевать въ полѣ; казаку-то въ полѣ ночевать—здоровья набираться, да ты не одинъ, съ тобою такая птица, что подъ часъ и росы боится. Поѣзжай, брате Алексѣю, пусть я одинъ похороню Татьяну, у тебя есть теперь о чемъ заботиться... Прощай, Алексѣй! да возьми дукать, что тебѣ отказала Татьяна.

— Богъ съ нимъ! Что она мнѣ была? ровно ничего. Зачѣмъ же я возьму дукать?

— Отдай его мнѣ, Никита, сказала Марина:—она мнѣ родная, она любила моего Алексѣя, я буду носить ея подарокъ... Ты мнѣ отдашь его, Алексѣй?

— Бери, коли тебѣ хочется, мое золото, говорилъ Алексѣй, надѣвая на шею Марины снурокъ съ мѣдною татарскою или турецкою монетою и глядя ей въ очи, полныя слезъ.

— Вишь, какія горлицы! почти закричалъ Никита:—не пристало вамъ быть подлѣ мертваго, убирайтесь отсюда!... Прощайте! Да хранитъ васъ Богъ и покроетъ отъ напастей святая наша *Покрова!*

Алексѣй и Марина простились съ Никитой и быстро поскакали по степи, будто убѣгая страшнаго зрѣлища смерти. Никита вынулъ изъ ноженъ саблю, перекрестился и началъ рыть могилу, напѣвая вполголоса:

Вѣтеръ востъ, трава шумитъ.
Въ степи лежитъ казакъ убитъ;
Не для него вѣтеръ вѣетъ,
Не для него солнце грѣетъ;
На голову, покрытую
Зеленою ракитою,
Ужъ сѣлъ воронъ, шумно кричетъ,
А вѣрный конь у ногъ плачетъ.
„Не кушанье, не медъ готовъ
„Мнѣ, матушка, а домикъ новъ:
„Въ немъ три доски сосновые,
„Четвертая кленовая!...“

II.

Ой, гопъ! по вечерам
Закрывайте, диты, двери,
А ты, стара, не журись,
Та до мене прихились.

Т. Шевченко.

А дѣвушкѣ въ семнадцать лѣтъ
Какая шапка не пристанетъ!

А. Пушкинъ.

И теперь, проѣзжая херсонскія степи, вы часто можете видѣть подобіе запорожскихъ зимовниковъ, или хуторовъ, на которыхъ жили женатыя запорожцы. Та же ограда изъ камня, довольно неровная, потому что круглые валуны булыжника всегда неохотно ложатся другъ подлѣ друга и оставляютъ между собой отверстія, которыя теперь иногда замазываютъ поселяне глиною: въ старину они служили вмѣсто амбразуръ; изъ нихъ житель зимовника часто высматривалъ на степи друга и недруга и, въ случаѣ надобности, посылалъ недругу мѣткую пулю; и теперь подобная ограда часто украшается сверху густымъ вѣнкомъ изъ сухихъ вѣтвей колючаго степнаго терновника, что въ старину было непремѣннымъ условіемъ; и теперь многія избы сложены изъ камней, покрыты соломой или грубыми стволами степнаго бурьяна. Словомъ, кто видѣлъ полудикій херсонскій хуторокъ, тотъ можетъ имѣть понятіе о наружности зимовниковъ запорожцевъ; только тѣ часто бывали обширнѣе и въ своей каменной оградѣ заключали или могли заключать все хозяйство, даже скирды хлѣба и стада.

Ужъ былъ вечеръ, когда Чайковскій съ своей женою пріѣхали на зимовникъ Касьяна и остановились у воротъ. Казалось, нѣтъ въ немъ ни одной живой души. Словно крутая батарея стоялъ зимовникъ, обведенный высокою каменною стѣною, часто утыканною сверху терновникомъ; только собаки, почуя чужихъ, заливались за оградой.

— Отвори, дядюшка Касьянъ! закричала Марина.

— Молчи, сказалъ Алексѣй:—кто такъ говорить, да еще съ запорожцемъ! Бѣду накличешь, слышь?

Точно, кто-то подошелъ изнутри къ оградѣ; стая воробьевъ, дремавшихъ на терновникѣ, вспорхнула; тихо шелкнулъ ружейный курокъ...

— Пугу, пугу! закричалъ Алексѣй, приложивъ воронкою ко рту кулакъ.

— Пугу? вопросительно пропѣлъ таинственный, невидимый голосъ за оградой.

— Казакъ съ луку, отвѣчалъ Алексѣй.

— И давно бы такъ! сказалъ голосъ.— Хлопцы, отворяйте ворота, а коней повѣшайте тамъ, гдѣ и наши (привяжите къ яслямъ). Милости просимъ до хаты.

— Ваши головы, пане атамане и товариство, говорилъ Алексѣй, входя съ Мариною въ хату.

— И мы ваши головы, ваши головы!... прошу сидаты, отвѣчалъ хозяинъ:— Откуда Богъ несетъ? Хлопцы дайте меду!... Съ дороги не худо выпить...

— А ты и не узналъ меня, дядюшка Касьянъ? сказала хозяйнѣ Маринѣ.

— Такъ и есть! онъ! пари держу, что ты кричалъ у воротъ какъ баба. Отъ тебя только и можетъ это статья.

— Отгадавъ, дядюшка.

— Благодарю Бога, что съ тобой разумный товарищъ и знаетъ всѣ наши поведенія, а то недалеко было бы тебѣ попробовать пули.

— За что?

— Еще и за что? Пожилъ на Сѣчи хоть немного, а ума ни крошки не набрался! Всякаго народу бродить по степи; коли кто не откликнется по нашему, такъ и не нашъ, а коли ночью ходитъ, такъ и не пріятель; бей его, пока онъ тебя не убилъ. Благодарю своего товарища...

— Онъ мнѣ не товарищъ, а мужъ, дядюшка Касьянъ.

Старый Касьянъ молча уставилъ глаза на Марину, какъ бы не понимая, что должно ему дѣлать, смѣяться или сердиться за такую нелѣпую шутку, и пришелъ въ ужасъ, когда Чайковскій растолковалъ ему, въ чемъ дѣло.

— Ахъ, ты, окаанная! сурово говорилъ Касьянъ:—такъ ты провела мою сѣдую чуприну (чубъ) какъ теленка?... Счастье ваше, что вы у меня въ хатѣ и отдали мнѣ свои головы, а то я вѣдь сердитъ, очень сердитъ... Вѣрно, всѣ вы созданы для обмана... Какъ умерла покойница жена, вотъ и подумалъ: все кончено; отдохай, Касьянъ, на старости: ужъ никто тебя больше не станетъ обманывать—а тутъ нашлась другая... и не зналъ, и не вѣдалъ, привязалась Богъ-вѣсть откуда на дорогѣ и въ круглые дураки записала... срамъ подумать. Господи много-милостивый,—продолжалъ грустно Касьянъ, набожно смотря на образа:—прости мнѣ старому дурню, мое согрѣшеніе... За два дуката провелъ-было я въ родную Сѣчь страшнаго не пріятеля, хуже ляха и татарина, злѣе турецкой чумы и крымской лихорадки... провелъ-было окаанную бабу!... Не зналъ я, Господи, что оно такое, ей-богу, не зналъ... вотъ тебѣ крестъ!... Касьянъ перекрестился.

Послѣ молитвы Касьянъ успокоился. Марина начала у него просить прощенія.

— Богъ съ тобою, я на тебя не сержусь; на себя сержусь я, что оплошалъ... Ну, да было что было, вѣрно такъ Богу угодно, прошло—я я забуду... Теперь мое дѣло уважать тебя: ты еси жена славнаго запорожца Чайковского; нашъ кошевой васъ поважаешь, и не забылъ меня—старика: отправилъ ко мнѣ въ гости; спасибо ему, живите у меня, пока не соскучитесь. Вотъ вамъ мое слово.

Алексѣй и Марина бросились обнимать Касьяна.

— Полно, полно, дѣти! вы задушите старика, говорилъ Касьянъ, отирая слезы:—вы добрый народъ, Богъ васъ возьми!... Были и у меня дѣти, была жена... Нѣтъ дѣтей, нѣтъ сыновей: одинъ утонулъ подъ Азовомъ, другаго сожгли ляхи, а третьяго конь убилъ, свой конь... добрый былъ конь, а убилъ сына!... ни за что, ни про что пропалъ человекъ!... Вотъ пятой годъ жена умерла... и я одинъ доживаю вѣкъ съ хлопцами... Спасибо вамъ, что пріѣхали.

— Да ты, кажется, Касьянъ не любилъ жены? спросила Марина.

— Кто тебѣ сказалъ? Можетъ не любилъ, а можетъ и любилъ. Не все правда, что говорится, не все золото, что блеститъ... Не любилъ! А какой же нечистый заставилъ бы меня жениться?... Я не панъ какой, меня никто не присилуетъ противъ воли!... А, много говорить, да нечего слушать, сказалъ весело Касьянъ, махнувъ рукою:—вы, я чай, голодны съ дороги. Гей! кухарь, изготви намъ *вечерю*; у меня гости, я помолодѣлъ двадцатью годами, ей-богу!... Вари до молока тетерю, да мамалыгу до масла, а хлопцы пускай заварятъ знаменитую варенуху! Извините, паны; вы, гетьманцы, привыкли къ вареникамъ, галушкамъ, панцушкамъ, буханцамъ и всякимъ лакомствамъ, а наши степныя запорожскія кушанья просты,

— Мы и сами, батьку, запорожцы, сказали Чайковский.

— Добре, добре! вотъ спасибо за правду. Зови меня, сынку, батькомъ; давно я не слышалъ этого имени... ей-богу, давно, мои дѣти!

Теперь многіе, даже изъ моихъ земляковъ, очень хорошо знаютъ и страбурскій пирогъ, и лимбургскій сыръ, и пьемонтскіе трюфели, и много другихъ тому подобныхъ вещей, правда очень приятныхъ—и, пари держу, станутъ въ тупикъ при словахъ „тетеря“, „мамалыга“, „варенуха.“ Это старинно! скажутъ мнѣ въ от-

соч. гревенки.

вѣтъ. Согласенъ; но мы знаемъ малѣйшія привычки древнихъ грековъ и римлянъ, знаемъ, что послѣдніе любили жарить ветчину съ медомъ и финиками, или что, пресытаясь вкуснымъ столомъ, они, *pour la bonne bouche*, кушали иногда живыхъ рыбокъ. Зачѣмъ же презирать родную старину? Впрочемъ, я не обременю васъ подробностями и скажу въ короткихъ словахъ, что „тетеря“ была родъ жидкой каши изъ ржаной муки, на водѣ, молокѣ, или на чемъ кто любилъ; „мамалыга“—родъ пуддинга, изъ мансовой муки: ее ѣдятъ пока горяча съ свѣжимъ коровьимъ масломъ и разрѣзываютъ ниткою; а „варенуха“—вареное вино съ сухими плодами и пряными кореньями, нѣчто въ родѣ глинтвейна..

За ужиномъ, старикъ Касьянъ расселился и общалъ, если чрезъ недѣлю не будетъ никакихъ вѣстей изъ Сѣчи, самъ сѣздить въ Лубны къ полковнику Ивану, и во что бы ни стало добиться отъ него отвѣта.—А теперь, выпьемъ еще по чаркѣ варенухи, продолжалъ Касьянъ:—да съ дороги, можетъ, кому и спать пора. При этомъ онъ мигнулъ на Марину сѣдымъ усомъ, прищуря лѣвый глазъ. Марина покраснѣла.

— Вамъ никто не помѣшаетъ спать, говорилъ Касьянъ:—я вамъ отведу свѣтелку моей покойницы; теперь хоть и съ Богомъ, почивайте, дѣти, на здоровье. Да нѣтъ, походите...

Касьянъ вышелъ и скоро возвратился, держа въ рукахъ желѣзный ключъ, и, отдавая его Маринѣ, сказалъ:—Вотъ это ключъ отъ скрыни (сундука), которая стоитъ въ вашей свѣтелкѣ: отопрѣ ее, и наряжайся, какъ знаешь: тамъ лежатъ наряды моей покойной жены, у нея были добрые наряды и парчи много, и всякой всячины—не стыдно надѣтъ полковничьей дочери.

— Не нужно, батьку; къ чему ей? говорилъ Алексѣй.

— Я и такъ привыкла, мнѣ и такъ хорошо, сказала Марина.

— Молчите, дѣти! вскрикнулъ Касьянъ:—въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ; за мою хлѣбъ-соль да еще станете спорить со мною!... Развѣ мнѣ будетъ весело смотрѣть, что у меня въ гостяхъ жена войскового нашего писаря ходитъ не въ своей шкурѣ, переряженная, словно пьяный гость на свадьбѣ? развѣ пристало христіанкѣ ходить въ человѣческомъ (мужскомъ) платьѣ, какъ поганой татаркѣ, когда Богъ далъ ей особое платье,

зимовникъ плетью? Нѣтъ, дочко, распоряжайся всѣмъ, что найдешь въ сундукѣ; оно твое. На что оно мнѣ? не сдурью подь стидотъ. Не стану носить вашихъ юбокъ! Бѣе рыве. Пропалеть, моль съѣсть... И не думайте мнѣ перечить: завтра чтобъ я не встала въ твоей женѣ, Алексѣй, казачкаго убавитъ въ тебѣ зимовника споню! Ну, прощай и завтра!

На утро Марена чудно была хороша изъ новыхъ нарядовъ: плахта и запаска ярки, цитить, перехваченныя по талии красными шелковыми поясомъ, прелестно обвивавши ее стройный станъ; подъ тонкимъ шелкомъ вышитой шелкомъ рубашкою, ильба, груда, волновалась крутая грудь; въ талии былъ надѣтъ черный бархатный корсетъ (подъ шапочки). На плечи накинута Марена легкой кунтушь изъ зеленого шелка, обшитый золотымъ позументомъ, блестѣвшая въ металлическое зеркало, пробитое спутри на крышкѣ суджана, и освѣщала отъ удовольствія.

Какая пышная пани! сказала Алексѣй, радко обнимая и цѣлуя свою жену.

Ид-бугъ такъ! вотъ такъ! говорилъ Касьянъ, входя въ свѣтлицу.—Господи, какая красавица! И казачкомъ ты была прехорошенькая; а казачкою вдвое похорощѣла...

III.

Не спи, казакъ, во тмѣ ночной:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой!...

А. Пушкинъ.

Ждали недѣлю—нѣтъ вѣстей; прождали еще два дня, и Касьянъ поѣхалъ въ Лубны; выбралъ добраго коня и легкое вооруженіе, то есть саблю, да пару пистолетовъ, въ гаманъ (кисеть) насыпалъ мелкоизрѣзанныхъ корешковъ роменскаго тююну (табаку), положилъ кусокъ стали, новый кремень и сухаго трута, привязалъ за сѣдломъ небольшой мѣшочекъ поджаренаго въ маслѣ пшена и поѣхалъ. Сборъ запорожца не долги.

Теперь вы спокойно ѣдете запорожскими степями, по гладкимъ широкимъ дорогамъ, которыя, въ сухую погоду, лучше и покойнѣе всѣхъ шоссе въ мірѣ; васъ беспокоятъ развѣ суслики, шныряющіе безпрестанно поперекъ дороги, или великаны-овода, которые, наскучивъ сновать на жару надъ лошадьми, залетаютъ подъ тѣнь коляски и, монотонно жужжа, садятся вамъ на нось. А въ прежнія времена не то было: эти степи, никому непринадлежавшія,

служили ареною безпрестанныхъ боевыхъ схватокъ; тутъ наѣздили, молодецествовали полудикіе народы: въ каждой оврагѣ надобно было опасаться засады, въ каждомъ кустѣ ракиты можно было похорѣвать скрытаго врага, который, какъ змѣя, ползая между травой, смотритъ на васъ зоркими очами и въ тишинѣ натягиваетъ мѣткій лукъ, или ведетъ за вами вѣрное дуло винтовки, выжидая удобной минуты спустить курокъ.

Первый день Касьянъ ѣхалъ довольно весело, беззаботно, напѣвалъ подь-нось пісенки, разговаривалъ съ конемъ, иногда срывалъ молодые побѣги катрану (длинно хрѣна), очень спокойно опускалъ поводья, аккуратно сдиравъ кожу съ побѣга и ѣлъ, приговаривая: „хорошій катранъ: не дуракъ лошади, что такъ его любить“. Къ ночи, Касьянъ, какъ опытный казакъ, принялъ свои мѣры: вѣхалъ въ глубокую долину, ослабилъ немного подпруги и пустилъ коня пастись, но привязалъ напередѣ конецъ длиннаго ременнаго повода (чумбура) къ своей рукѣ, раскинулъ на травѣ бурку изъ овечьей шерсти, изъ предосторожности, чтобъ не подползла какая гадина, особливо тарантулъ, который по инстинкту боится овечьей шерсти, даже овечьяго запаха, будто зная, что овцы очень любятъ кушать его собратій, и тихо вздремнулъ, даже не курая трубки, чтобъ дымомъ не наклепать бѣды на свою голову. Передъ свѣтомъ, Касьянъ былъ уже на конѣ; но на этотъ разъ что-то его беспокоило: часто онъ озирался, часто всматривался въ даль, часто, остановясь противъ вѣтра, расширялъ ноздри, нюхалъ воздухъ и пристально посматривалъ на росистую траву; видно было, что его душа чуяла недоброе. А кругомъ все было чисто, тихо; весело восходило солнышко; добрый конь схватывалъ мимоходомъ цвѣтистыя верхушки травъ и прыскалъ, когда роса попадала ему въ ноздри.

Касьянъ увидѣлъ въ сторонѣ измятую траву, слѣзъ съ лошади, долго разсматривалъ траву, ворча: „такъ и есть, я такъ и думалъ“; потомъ припалъ ухомъ къ землѣ, послушалъ немного, сѣлъ на лошадь и, поворота ее круто на-лѣво, помчался какъ стрѣла. Проскакавъ нѣсколько верстъ, Касьянъ опять поѣхалъ по первому направленію довольно спокойно и около полудня только своротилъ направо и снова началъ безпокойно оглядываться по сторонамъ. Уже вечерѣло; до Днѣпра оставалось недалеко, доброй ѣзды до ночи не больше, когда Касьянъ, ѣхавшій крупною рысью, вдругъ остановился, будто окаменѣлъ на мѣстѣ, прилегъ на шею коня и вниматель-

но смотрѣлъ на далекій, чуть-видимый вдаль курганъ.— „Они!“ сказалъ Касьянъ, слѣзая съ коня и ведя его въ поводу: „они, проклятые крымцы! наши никогда по три человѣка не взѣзжаютъ на курганъ; у насъ одинъ видитъ за троихъ; да теперь и гетманцамъ заказано кучкою взѣзжать для дозора... Какъ бы поспѣть во время!“ Спустился въ длинный, глубокій оврагъ, можетъ быть бывшій когда-нибудь русломъ рѣчки, впадавшей въ Днѣпръ, Касьянъ поѣхалъ вдоль оврага ровнымъ шагомъ; но, сдѣлавъ нѣсколько верстъ, изъ предосторожности слѣзъ съ коня, вышелъ, пригнувшись изъ оврага, и, увидя невдалекѣ курганъ, поползъ къ нему, чтобъ съ высоты высмотрѣть непріятеля. Курганъ былъ покрытъ густою, высокою травою; на вершинѣ его стояли нѣсколько низенькихъ кустовъ ракиты. Какъ пресмыкающее ползъ между травою Касьянъ, бережно разводилъ въ стороны руки, хватался ими за траву или упирался въ землю и, тихо шевеля всѣмъ тѣломъ, будто раскачивая лодку, подымался выше. Наконецъ, онъ всползъ на самый верхъ кургана; оставалось только раздвинуть кустъ и осмотрѣть окрестность; уже Касьянъ поднялъ руки—и остановился, затаилъ дыханіе: за кустомъ послышался шорохъ, зашевелилась трава и волнисто вытягиваясь, выползла изъ-подъ ракиты страшная змѣя; увидя человѣка, она быстро подала назадъ свою голову, завилась въ нѣсколько колецъ, сердито сверкнула глазами и, раскрывъ страшную пасть, протяжно зашипѣла; но, вѣроятно, боясь поднятыхъ рукъ Касьяна, сильно отпрянула въ сторону и заскользила, извиваясь, внизъ по кургану. Когда скрылась незваная гостья, Касьянъ протянулъ къ ракитѣ руки; но едва коснулся вѣтвей, онъ, будто по волшебному мановенію, сами раздвинулись, и между ними явилась голова татарина; ея узкіе глаза на разстояніи нѣсколькихъ вершковъ прямо уставились противъ глазъ Касьяна. Татаринъ, въ свою очередь, видно замѣтившій издали коннаго Касьяна, опасался засады и тоже ползъ на курганъ высматривать непріятеля.

Нѣсколько мгновеній враги были неподвижны, какъ-бы обдумывая, что начать имъ; потомъ страшно обмѣнялись взорами, проникнутыми глубокою ненавистію; лица ихъ судорожно искривились, и вдругъ, будто по командѣ, разомъ и Касьянъ и татаринъ схватили другъ друга за горло; молча, не приподымаясь отъ земли, изъ опасенія открыться врагамъ, сжали они другъ друга жилистыми руками; но татаринъ былъ если не слабѣе, то легче Касьяна, отъ того послѣдній, осунувшись внизъ, увлекъ за

собою татарина, и они клубомъ скатились съ кургана. Жестока была борьба ихъ; безъ звука, безъ стона, они жали другъ друга объятіями смерти, грызлися зубами, какъ свирѣпыя звѣри; заходящее солнце по-временамъ освѣщало то гладко-выбритую голову татарина, то чубатую запорожца: онъ попеременно подымался вверхъ каждый разъ страшнѣе, ужаснѣе, облитыя кровью, обрызганныя пѣною. Наконецъ, Касьяну удалось достать изъ-за сапога широкій ножъ: это положило конецъ борьбѣ.

„Сейчасъ смеркнется“ думалъ Касьянъ, отходя отъ зарѣзаннаго татарина и спускаясь въ оврагъ: „враги конные раньше меня будутъ у Днѣпра, хоть я и конемъ поѣду, да конь будетъ еще стучать копытами по степи и меня выдастъ... плохо! Надобно заставить ихъ прогуляться въ другую сторону“.

Потомъ на-скоро, изъ своего кобеньяка (плаща) и травы сдѣлавъ онъ куклу, привязавъ ее на сѣдло, наклоня къ лукѣ, и сорвавъ какое-то крѣпкое колючее растеніе, положилъ подъ сѣдло прямо на голую спину лошади, проворно подтянулъ подпруги и въ то же время ударилъ ее нагайкой, примолвя: „прощай, добрый конь! врядъ ли увидимся“. Горячій конь прынулъ и, чуя боль на спинѣ отъ колючей вѣтки, помчался, какъ птица, въ степь, по дорогѣ къ своему зимовнику. Долго скакалъ одиноко быстрый конь все шибче и шибче, безпрестанно понукаемый колючкою, и уже сталъ теряться въ горизонтѣ, какъ слѣва мелькнуло ему на перерѣзъ что-то какъ муха, потомъ еще, еще—и цѣлая стая крымцевъ вытянулась въ погоню, словно борзые собаки за зайцемъ. Увидя это, Касьянъ улыбнулся, махнулъ рукою и, спустясь въ оврагъ, быстрымъ шагомъ пошелъ, почти побѣжалъ къ Днѣпру.

Была уже глубокая ночь, когда Касьянъ, измученный быстрою ходьбой, пришелъ къ Днѣпру, напился, освѣжилъ лицо и голову студеною водою и тихо пошелъ по берегу, чтобъ немного отдохнуть и, выбравъ удобное мѣсто противъ *фигуры*, переплыть рѣку. Все было тихо; ночь безлунная, но звѣздная; за рѣкою, на широкихъ лугахъ, переключались коростели; порою сонная рыба, поворачиваясь, всплескивала хвостомъ воду, да лягушки, испуганные шагами Касьяна, прыгая съ обрывистаго берега въ рѣку, нарушали общее молчаніе. Когда все стихло, одинъ только Днѣпръ плескался своими вѣчными волнами. Въ воздухѣ разливалось благоуханіе отъ душистыхъ травъ, съ которыхъ крупнымъ дождемъ валилась роса на Касьяна, когда онъ раздвигалъ, разрывалъ ихъ, идя

по берегу: но вотъ на противоположномъ берегу затемнѣло что-то, будто колокольная. „Фигура!“ сказалъ Касьянъ и поплылъ на ту сторону.

На границѣ гетманщины, вдоль по лѣвому берегу Днѣпра, начиная отъ устья Орели до Конки-рѣки (Конскія-Воды), построены были около самой воды заѣзжіе дворы, называемые радутами: дворы были обнесены крѣпкимъ частоколомъ; внутри находилось просторное зданіе для людей, крытое соломою или тростникомъ и конюшни; въ каждомъ радутѣ помѣщалось пятьдесятъ человекъ гетманскихъ казаковъ съ эсауломъ, которые составляли пограничную стражу и ежегодно смѣнялись. Радуты всегда строились такъ, чтобъ изъ одного было видно другой, и были одинъ отъ другаго, судя по мѣстоположенію, верстахъ въ двадцати, десяти и даже менѣе. Около каждаго радута, не ближе четверти версты, иногда немного и далѣе, въ осторожность отъ огня, были *фигуры*, сложенные въ видѣ башенъ или колоколенъ изъ смоляныхъ бочекъ: для этого поливали землю смолою и ставили перпендикулярно шесть смоляныхъ бочекъ, которыя имѣли только нижнее дно: бочки ставили плотно одну около другой и связывали крѣпко смолеными веревками, наблюдая, чтобъ внутри образовалась правильная круглая пустота въ родѣ чана: на этотъ кругъ ставили другой такой же точно, только изъ пяти бочекъ, сверху третій кругъ изъ трехъ бочекъ, на этотъ прибавляли еще двѣ, а на самый верхъ ставили, какъ трубу на самоваръ, одну пустую бочку, не имѣвшую ни нижняго, ни верхняго дна. Въ этой бочкѣ была сдѣлана перекладина изъ желѣзнаго прута, а черезъ перекладину былъ перекинутъ канатъ, котораго оба конца спускались до земли: къ одному изъ концовъ привязывался большой пукъ мочалки, вываренной въ селитрѣ и напитанной горючими веществами. У *фигуры* находилось безсмысленно два или три человека часовыхъ.

Если вы проводили когда-нибудь безсонныя ночи не за картами, не за бокаломъ, не въ шумныхъ танцахъ, гдѣ оглушающій громъ оркестра или женщины, то свербающія, жгучія какъ солнце, то отрадныя, томныя какъ свѣтъ луны, заставляють противоестественно биться ваше сердце и забывать весь міръ, кромѣ одного бурнаго чувства наслажденія: — если вы проводили безсонныя ночи въ уединеніи, лицомъ къ лицу съ природою, то вѣрно замѣтили, вѣрно помните чудесный предразсвѣтный часъ, когда, будто чужъ близкій конецъ свой, ночь усиливаетъ обаяніе, ста-

новится еще темнѣе; все въ природѣ затихаетъ: ни звука, ни шороха, даже вода льется вяло, словно въ дремотѣ: на всѣхъ тварей налегаетъ неодолимый сонъ, ночныя птицы не летаютъ въ это время, лошади перестаютъ ѣсть, дремлютъ, опустивъ голову, или даже ложатся.

Въ такой предразсвѣтный часъ вышелъ Касьянъ на берегъ, около фигуръ. Кругомъ была гробовая тишина: боростенъ не перекикались, лягушки не прыгали въ воду, рыба не плескалась. Мрачно черны, высилась на темномъ небѣ фигура: два казака спали подъ фигурою: недалеко три лошади лежали, словно убитыя, откинувъ ноги, вытянувъ шею; сторожевой казакъ въ четвероугольной гетманской шапкѣ, опершись на мушкетъ (ружье), вздремнулъ и — не замѣтилъ Касьяна.

— Добри-вечоръ! крикнулъ Касьянъ, подходя къ часовому.

Часовой вздрогнулъ, подался назадъ и выстрѣлилъ по Касьяну. Выстрѣлъ отпрыгнулъ рѣкою, далекое эхо наперехватъ стало повторять его по рошамъ и заливамъ, дымъ покрылъ Касьяна: лошади вскочили на ноги, казаки изъ-подъ фигуры прибижали къ товарищу.

— Да полно вамъ дурачиться, говорилъ Касьянъ, подходя къ казакамъ: — не узнаю стараго Касьяна!.. а еще казаки! Здоровъ ли Семень Михайловичъ? вашъ эсаулъ Семень Михайловичъ Дижка?.. что же вы оглохли?

— Да это въ самомъ дѣлѣ дядько Касьянъ, говорили казаки.

— А то жъ какой чортъ? ну те-ка, новорачивайтесь: нѣтъ ли у васъ табаку понохатъ?

— Есть, отвѣчать одинъ: — да и напугалъ ты насъ!

— Добрый табакъ, будто свѣчкою въ носу палить, говорилъ Касьянъ: — а ты, брате часовой, просто дрянъ, не стоишь десятой доли щепотки этого табаку: ей-богу, не стоишь: смѣшно сказать, дремлетъ въ часахъ надъ мушкетомъ, будто баба надъ пряжею, да еще стрѣлять не умѣетъ: стрѣлялъ по мнѣ въ пяти шагахъ и тутъ повислъ, только верхъ шапки распоролъ пуглемъ... На, посмотри мою шапку, коли не вѣришь.

Во время этого разговора, прискакалъ изъ радута съ нѣсколькими казаками эсаулъ.

— Что здѣсь за шумъ? строго спросилъ эсаулъ.

— Ничего, пане эсаулъ, отвѣчалъ одинъ казакъ: — запорожецъ съ той стороны, а часовой обозначилъ да и выстрѣлилъ.

— Добре сдѣлалъ, хоть бы и не обознался; пускай нечистый не носить въ такую пору; что такой за казакъ? зачѣмъ онъ?

— Не сердись, Семень Михайловичъ! я человѣкъ вамъ знакомый: уже два раза въ это лѣто гостилъ у васъ на радутѣ—развѣ не узнали Касьяна?

— Здорово, старикъ! Что же ты плаваешь по ночамъ, словно русалка?

— Хотѣлось попробовать, какъ стрѣляютъ гетьманцы; да не бойко стрѣляютъ, въ пяти шагахъ промахнулись.

— Полно шутить.

— Сперва шутки, а тамъ будетъ и дѣло. Доставай-ка огниво, да зажигай фигуру: крымцы за рѣкою.

— Ты видѣлъ?

— Не только видѣлъ, и силы пробовалъ, и коня черезъ нихъ лишился. Засвѣтишь огонь, увидишь, какъ меня испарали, словно кошки... насилу добрался до радута, чтобъ дать вѣсть.

Эсаулъ вырубилъ огня, положилъ труть въ горсть сѣна, размахалъ его своими руками, и когда сѣно вспыхнуло, поджегъ мочалку, привязанную къ веревкѣ и потянулъ веревку за другой конецъ: огненнымъ снопомъ поднялась горящая мочалка вверхъ, толкаясь о бочки и, осыпая фигуру искрами, вошла въ пустую бочку на самомъ верху *фигуры*; въ минуту верхняя бочка запылала, какъ изъ трубы высокимъ столбомъ поднялось изъ нея яркое пламя и быстро загорѣлась вся *фигура*, великолѣпно отражаясь въ темныхъ водахъ Днѣпра. Черезъ нѣсколько минутъ недалеко влѣво загорѣлась другая *фигура*, вправо третья, за ней еще, и еще, и весь Днѣпръ освѣтился зловѣщими огнями. Стаями поднялись испуганныя птицы съ заливовъ и тростниковъ, наполняя воздухъ криками; стада дикихъ коней, дремавшія у Днѣпра, шарахнулись въ степь, пробуждая далекую окрестность звонкимъ топотомъ. Не одинъ поселанинъ, застигнутый въ лѣсу или въ полѣ на ночлегѣ страшными *фигурами*, торопливо спѣшилъ домой спасать старуху-мать или молодую хозяйку, или малыхъ дѣтей отъ смерти, или позорнаго плѣна татарскаго; не одна мать, съ ужасомъ поглядывая на зловѣщій пожаръ, робко прижимала къ груди ребенка и босыми ногами, въ одной сорочкѣ, по жгучей крапивѣ, по колючему терновнику—пробиралась въ непроходимую чащу лѣса, не одна дѣвушка со страхомъ вспомнила о своей красотѣ, о своей молодости, трепеща сластолюбиваго татарина... Въ ночь, когда горѣли *фигуры*, покойно спалъ развѣ базчувственнопьяный человѣкъ.

Выпивъ чарку водки изъ рукъ эсаула, Касьянъ взялъ въ радутѣ добраго коня и поскакалъ въ Лубны, завтракая дорогою кускомъ чернаго хлѣба. Назадъ полнеба было залито пожарнымъ заревомъ *фигуръ* и по временамъ слышались выстрѣлы. Впереди разстилалась степь; но уже не мертвою пустыней лежала степь: то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ раздавались безпрестанные оклики; взошло солнце и освѣтило тревожную картину: у дороги, чумаки, построивъ изъ тяжелыхъ воевъ каре, выглядывали изъ него какъ изъ крѣпости, сверкая стволами мушкетовъ и винтовокъ, безъ которыхъ тогда никто не отлучался изъ дому; поселяне быстро угоняли изъ степи въ села стада воловъ и табуны коней; заставляли вѣздъ въ деревни рогатками, прятали въ землю всякое добро и хлѣбъ, завязывали въ кожаные мѣшки, заколачивали въ боченки деньги, и опускали ихъ въ глубокіе колодцы, въ пруды и на дно рѣчекъ; съ мостовъ снимали доски и заводили лодки въ непроходимые тростники.

— Далеко ли? спрашивали люди Касьяна, когда онъ вѣзжалъ въ село, покрытый пылью и потомъ.

— Вотъ, вотъ за горою, отвѣчалъ Касьянъ.

— А куда Богъ несетъ?

— Въ Лубны къ полковнику. Перемените-ка мнѣ коня, скачу по вашему дѣлу.

— Бери хоть всѣхъ, дядьку.

Такъ, переменя коней, Касьянъ, можно сказать, летѣлъ день и ночь въ Лубны. Тревога и удалъ поѣздки помолодили Касьяна; онъ не чувствовалъ усталости, онъ не слышалъ на себѣ восьми десятковъ лѣтъ и, подвѣзжая къ Лубнамъ, пѣлъ веселыя пѣсни.

IV.

Одарка мычки не допряла,
Ажъ ось Харько у хату вбигъ.
Пидь лаву кынувъ свѣй батигъ:
„Впьять татарва на насъ напала!“
Винъ з’опалу сказавъ.

С. Писаревскій.

— Гадюко! Гадюко!

— Чего, пане полковникъ.

— Скучно, Гадюко, очень скучно! не знаю отчего...

— Можеть, обѣлся, пане.

— Умный человѣкъ, а говорить глупости. Обѣлся! Какого я дьявола обѣлся? Ну, скажи на милость, чего бъ я обѣлся?

чего бы жаловаться обидясь, когда еще не обидели, а только заставляли?

— Чему жъ бы тебѣ и скучать, пане? Житье хорошее, достатки твои все законны, рыцарскіе: чего жъ бы скучать?

— Въ томъ-то и дѣло! Я тебя спрашиваю, а ты меня спрашиваешь. Это глупо.

— Божаря позвать разити?

— Божаря Босин люди, да изъ ума выжили — не одной пѣсни порядочной не знаютъ.

— Выкричался.

— Какъ выкричался?

— Вотъ, примѣрно, взять бутылку и стать изъ нее наливать въ стаканы вино или что другое: до времени изъ бутылки все льется вино, а выпилось, уже и не льется, хоть сожми бутылку обѣими руками: тогда разумный человѣкъ принимается за друга. Такъ и божари пѣли пѣсни, кричали, а теперь уже выкричали всё и пѣть нечего.

— А что ты думаешь? вѣдь оно такъ.

— Не нашему глупому разуму разсуждать, а можетъ и такъ.

— Такъ, такъ, Гадюко! а все-таки мнѣ скучно. Вѣрнѣе ли, чарка неидетъ въ душу: взявъ чарку въ ротъ сегодня, чуть не выпилуешь, изъ политики только проглотить... Хоть домъ подпалить отъ нечего дѣлать.

— Эту потѣху можно побережъ на дальше, а теперь не послушалъ бы, пане, сказки?

— Пожалуй, только рыцарскую сказку я готовъ слушать. Жаль, Герцикъ пошелъ на охоту: онъ много знаетъ сказокъ... жаль!

— Я знаю сказку, коли станешь слушать — разскажу...

— Что жъ ты давно не говоришь? говори! Хорошая у тебя сказка?

— Оно сказка — не сказка, а былъ; я не москаль, самъ своего товару хвалить не стану: одно знаю, что Герцику не разсказывать этой были.

— Не говори, Гадюко! Герцикъ очень разуменъ; у него сидитъ въ носу муха, большая муха...

— Можетъ и не одна, угрюмо замѣтилъ Гадюка.

— Полно ворчать! сказалъ полковникъ Иванъ: — прикажи часовому, чтобъ сталъ у моей двери и никого не пускалъ: хоть бы кто пришелъ судиться или съ жалобой — всёъ одно: полковникъ, молъ, занятъ дѣлами, бумаги подписываетъ. Да придвинь ко мнѣ вотъ эту бутылъ съ наливкою и чарку, авось подѣ сказку перестанетъ упрямяться да и пойдетъ тихомолкомъ въ горло. Ну, начинай!

— Жаль-было, началъ Гадюка снимать тономъ: — одинъ рыцаричекъ, а бы и твоя милость, и сталъ скучно полковнику, нигдѣ нѣста не накурѣтъ, ходитъ изъ комнаты въ комнату. Хоть бы кто неидеть ему на думу, чарка не лѣ въ горло, какъ бы...

— Что, какъ бы? спросилъ рыцаричекъ, ставя на столъ опорожнившую чарку.

— Хотѣлъ сказать, какъ бы и твоей лости, да вижу, что чарка, благодаря Блѣзутъ къ тебѣ въ ротъ, словно вечер воробы поль крыши.

— А тебѣ завидно, собачій сынъ! выпей чарку, да говори кошениль, что у тебя слова не летѣли какъ воробы поль крыши.

— Хорошо сказано, продолжалъ Гадюка выпивая чарку: — теперь пойдутъ словно молодые утки выплывають тростника рядкомъ за маткою. Вотъ случилось полковнику и сталъ онъ отъ себя разсматривать новое ружье, что купилъ недавно за *такъ громъ* (отнять) у както не то дяха, не то нѣмца.

— Молодецъ былъ полковникъ!

— Видно молодецъ. Долго смотрѣлъ на ружье: на ружье была хорошая опра серебряная: по серебру будто перомъ и ведены люди и звѣри, и казаки: головки винтовъ кораловыя, а прицѣльная нитъ на стволѣ золотая.

— Не въ оправѣ дѣло. А хорошо бы оно?

— Не знаю: говорить, упало разстѣны, съ гвоздя сорвалось что ли, прямо на бутылъ съ наливкою: бутылъ съ десять стояло внизу на полу — всёъ езу перебилло.

— Хитро! А дурачкія рѣчи, Гадюко!

— Статься можетъ; не моя вина, за что купилъ, за то и продаю. Вотъ, посмотрѣ полковникъ на ружье да и захотѣлъ е попробовать отъ скуки; собралъ сотню и лодцовъ, сѣлъ на коня, и молодцы сѣли поѣхали въ Польшу погулять.

— Хорошо, Гадюко, добрая сказка.

— Не сказка, а былъ.

— Одинъ чортъ, что сказка, что былъ.

— Одинъ, пане, да не одной масти. Воѣдутъ они въ Польшу густымъ лѣсомъ, въ лѣсу пахнетъ лукомъ не лукомъ, чеснокомъ не чеснокомъ, не хорошо пахнетъ. „Гелхонцы“, сказалъ полковникъ: „чуе ли въ пахъ нѣтъ невѣрной кости?“ — „Чуемъ“, о вѣчали молодцы: „жидомъ пахнетъ“. После ли разѣзды: разѣзды вернулася и говоритъ „Съ верету отсюда надѣ рѣкою стои мѣстечко“. — „Много народа? большое мѣстечко?“ спросилъ полковникъ. „Я лавы на дерево“, отвѣчалъ одинъ разѣздинъ

казака, „и все высмотрѣлъ: мѣстечко большое и площадь есть, и костелъ, и лавки, а народу не замѣтилъ—все жида, словно въ муравейникѣ; жидъ на жидѣ да жидомъ погоняетъ“. Послѣ этого казаки слѣзали съ лошадей, притаились въ глубокомъ оврагѣ и выжидали вечера, чтобъ ударить на мѣстечко.

— Молодцы!.. Ужъ не про Хвилона ли миргородскаго эта былъ?

— Можетъ про Хвилона, можетъ и нѣтъ; разъ сказалъ я: за что купилъ, за то и продаю.

— Хорошо, говори, да подай мнѣ другую бутылъ; эта пуста, какъ наши кобзари: ничего нѣтъ новаго! Добрая сказка! самого забираетъ въ лѣсъ, душѣ весело! Ну?

— Насталъ вечеръ, продолжалъ Гадюка: —а это было въ пятницу противъ субботы. Пораньше собрались жида домой, заперли лавки, пересчитали барыши впотъмахъ, чтобъ никто не видѣлъ, и тогда уже зажгли свѣчи; у самого бѣднаго горѣло свѣчъ двадцать—шутка ли?

— Неужели ты, Гадюко, вѣришь, что есть бѣдные жида? Откуда же взялась пословица: много денегъ какъ у жида.

— Нѣтъ, у всякаго жида много серебра и золота, а все-таки у одного меньше, у другого больше: вотъ послѣдній и будетъ богаче.

— Такъ. Ну-ну? А казаки гдѣ?

— Дойдетъ и до казаковъ. Зажгли жида свѣчи— и въ мѣстечкѣ стало свѣтатъ, будто въ праздникъ какой, а это было въ постный день въ пятницу!..

— Слыхано ли!.. Нечестивые!

— Кромѣ того, что начинался шабашъ, у жидовъ было и другое веселье: въ тотъ день они держались и старъ, и малъ за райское яблоко.

— Вретъ твоя былъ, Гадюко! гдѣ бы они достали райское яблоко?

— Оно не райское: куда имъ до рая! а такъ называется. Приѣдетъ какой-нибудь жидъ въ городъ, простой жидъ, какъ и всѣ—въ ермолкѣ, въ пейсикахъ, и называется не жидомъ, а хосетомъ,—это-то у нихъ старшой—вотъ назоветъ себя хосетомъ; приѣхалъ, говоритъ, изъ Іерусалима, привезъ старья жидовскія деньги и райское яблоко. Идетъ къ нему каждый жидъ, даетъ деньги, подержится за яблоко и третъ себѣ руками лобъ: это, говорятъ, здорово; а женщины покупаютъ у хосета старья деньги, словно полушки изъ желтой мѣди съ дырочками, даютъ за полушку червонецъ и вѣшаютъ дѣтямъ на шею, чтобъ лихорадка не пристала, что ли!

— Вотъ дурни!

— Извѣстно. Вотъ въ этотъ вечеръ пришелъ въ свою поганую хату жидъ Борохъ, а у него лобъ красный-красный—натеръ, говоритъ, яблокомъ—пришелъ и сынъ, не то ребенокъ, не то человѣкъ, а такъ подлѣтокъ. Старуха, Рохля, жена Бороха, тоже была у хосета, купила старую полушку и нацѣпила ее на шею трехлѣтней дочкѣ; дочка бѣгала вокругъ стола, пѣла, кричала, а Борохъ съ женою и сыномъ ужинали гугель, по нашему лапшу, съ шафраномъ, да рыбу съ перцемъ, да рѣдкую вареную въ меду, а закусывали макою, лепешками безъ всего на одной водѣ, даже безъ соли.

— Фу! на нихъ пропасть! скверно ѣдятъ!

— Отъ-того они жида. Ёдятъ они—а въ окно какъ засвѣтитъ разомъ, словно солнце взошло: пустили казаки *краснаго пѣтуха*, зажгли мѣстечко. Выстрѣлъ другой, крикъ, шумъ, рѣзня, звенятъ окна...

— Славно, Гадюко! такъ ихъ!

— Жидовскій подростокъ выскочилъ изъ хаты, за нимъ старый Борохъ... только Борохъ не выскочилъ, упалъ назадъ въ хату съ разбитою головою къ ногамъ Рохли, а въ дверяхъ показался казакъ: сабля на голо, шапка на правомъ ухѣ, усы кверху. Рохля упала на колѣни, схатила на руки маленькую дочку и стала просить и плакать: „убей, говоритъ, меня, а не бей дочки, я все расскажу“. Выслушалъ казакъ, гдѣ золото, набилъ полные карманы золотомъ, взялъ на руки жидовочку, а Рохлю такъ задѣлъ, выходя, саблею, что она тутъ же и растянулась.

— На что жъ казаку маленькая жидовочка?

— У полковника между охочими казаками было человѣкъ пять запорожцевъ: дорогою пристали до компаніи, а запорожцамъ за дѣтей хорошо платятъ осѣдлые, что живутъ на зимовникахъ; вотъ запорожецъ и взялъ дитя и продалъ за деньги, и слово лыцарское сдержалъ, не убилъ дитяти: ему же лучше.

— Лучше! Ну?..

— Вотъ казаки разграбили мѣстечко, потѣшились и вернулись домой, и давай гулять на чужія деньги; а сколько парчей навезли, а сколько бархату, а суконъ, а позументовъ!

— Молодцы! ей-богу, молодцы!.. и все тутъ? и конецъ?

— Конецъ-то конецъ, да еще есть маленькій хвостикъ.

Говори и хвостикъ. Что тамъ за хвостикъ? У хорошаго барана хвостъ лучше другой цѣлой овцы. Недалеко, въ Молдавіи, по пуду хвосты вѣсятъ, да какіе жир-

ные... даже мнѣ ѣсть захотѣлось, какъ вспомнилъ... Говори, говори!

— Казаки уѣхали, а Рохлю не взялъ нечистый: полежала до свѣта, а свѣтомъ и очунилась, ожила.

— Ожила?

— Ожила; онѣ вѣдь словно кошки: умереть, совсѣмъ умереть, перетяни на другое мѣсто—оживаетъ! Такая натура. Собрались жиды, которые уцѣлѣли, поплакали надъ пожарищемъ, да и стали попрекать Рохлю: „Ты“, говорятъ: „продала казакамъ дѣтей; сынъ побѣхалъ съ ними: старый Иоська изъ-подъ моста видѣлъ; и одѣтъ, говорить, въ казацкое платье, а дочь увезъ казакъ на лошади: это не одинъ Иоська видѣлъ; да и домъ твой не сожгли казаки, да и самую тебя не убили“. Пошла Рохля къ хосету, словно помѣшанная, и воетъ, и плачетъ, и шатается, а хосеть уцѣлѣлъ гдѣ-то между бревнами; долго говорила съ нимъ, да къ вечеру и пропала.

— А-га! околѣла?

— Нѣтъ, безъ вѣсти пропала, изъ мѣстечка пропала, исчезла, будто ее кто языкомъ слизалъ. Скоро послѣ этого появилась за Днѣпромъ ворожея, знахарка, очень похожая на Рохлю, и стала шептать православнымъ людямъ, и лечитъ православныхъ, и кому ни пошепчетъ, кого ни напоитъ зельями всѣ умираютъ, никто не выскочить, лоскомъ ложатся, словно тараканы отъ мороза въ московской избѣ. И много уже лѣтъ ходитъ она, изводитъ честной народъ, приходитъ ночью на каждую свѣжую могилу и хохочетъ, окаянная, и веселыя пѣсни поетъ.

— Ухъ! сила крестная съ нами! что жъ ее не изведутъ-то?

— Попробуйте, пане. Гдѣ видано спорить съ нечистою силою!.. А вотъ сынъ ея прикинулся христіаниномъ, зажилъ межъ казаками, какъ нашъ Герцикъ.

— Не мѣшай Герцика! Я тебѣ разъ сказалъ, не говори худо о Гердикѣ: я знаю, всѣ не любятъ Герцика отъ того, что онъ мнѣ вѣрно служить, что я ему отецъ и мать, и родина, а это другимъ не нравится: другіе рады продать полковника за дюльку тютюну (трубку табаку), за чарку водки—вотъ что я разъ сказалъ и не отступлюсь отъ слова, пускай на меня грянетъ громъ, и сто тысячъ боченковъ чертей расщиплютъ мою душу, какъ баба съ курицы перья, если отступлюсь... Я сказалъ—и будетъ такъ! мое слово крѣпко...

Полковникъ запилъ послѣднюю фразу чаркою настойки и быстро началъ ходить по комнатѣ. Гадюка замолчала, стоя у порога, и угрюмо смотрѣлъ сподлобья на полковника.

— Ну, что жъ? говорилъ полковникъ, даясь на кровать.

— Было изъ-за чего сердиться, сказалъ Гадюка.

— Я не сердился, я только сказалъ, я человекъ характерный—и все тутъ.

— И безъ того всѣ это знаютъ.

— И хорошо дѣлаютъ. Ну, что жъ?

— Ничего. Моя была хоть и конча. Известно, можетъ и выдумка, а можетъ правды зерно есть...

— Разумѣется, сказка! Гдѣ же сынъ?

— Живетъ между казаками, морочитъ брыхъ людей; это еще бы ничего, а то ворять...

Но сказка Гадюки не кончилась: двѣ свѣтлицы съ шумомъ распахнулись, часовой казакъ грянулся на полъ, ставъ четверенькахъ передъ кроватью полковника; за нимъ въ дверяхъ стоялъ вооруженный сѣдой запорожецъ.

— Вотъ тебѣ, дурень, на орѣхи! говоръ запорожецъ, поглядывая на часового, и рый карабкался по полу, сямся встать. Выдумалъ, дурень, непускать запорожца пану полковнику. Здоровъ, пане!

— А ты какъ смѣлъ входить, когда приказано?

— А какъ смѣетъ ходить вѣтеръ по полю? не бойсь, спрашивается у гетмана. А запорожецъ родной братъ вѣтру; я и кошевому хожу, коли дѣло есть, не сшиваясь: я не баба, не приѣду болтаться сосѣдкахъ. Дѣло есть, нужное дѣло—и все.

— Посмотримъ, какое тамъ дѣло! посмотримъ, Гадюка.

— Два дѣла есть у меня, сказалъ Касьянъ. —Первое—вели скорѣе запереть ворота, вооружай людей—татары идутъ...

— Гдѣ они тамъ у дьявола?

— До сихъ поръ чай уже грабятъ татари. Вчера ночью они должны перебраться черезъ Днѣпръ.

— Не велика важность! сказалъ полковникъ, вопросительно посмотрѣвъ на Гадюку:—не выдали мы этой драки...

— Хорошо сказано, отвѣчалъ Касьянъ: такъ зачѣмъ же ты просилъ помощи у порожскаго товариства и зачѣмъ я, дуракъ, скакалъ сюда почитая отъ самой Сѣчи, перебитыхъ коней, по приказу конюшего Зборовскаго?

— А ты чего тутъ стоишь? закричалъ полковникъ на часового:—ворона! Ступай на дворъ и вели трубить тревогу.

Казакъ вышелъ.

— Ну, коли ты отъ Зборовскаго и знаешь наши нужды, то спасибо тебѣ за вѣсть, хотя она и не очень пріятна. Да не оставь насъ, погости: при оборонѣ горо-

одинъ, говорятъ, запорожецъ въ дѣлѣ стоить десяти простыхъ человѣкъ.

— Дѣло извѣстное! отвѣчалъ Касьянъ.— Теперь другое: кланяется тебѣ твоя дочь.

— Дочь? а она жива?

— Жива и здорова, и...

— Ну, пойдѣ сюда, обними меня, братику! Слава Богу, что жива она; а о ея бабскихъ дѣлахъ расскажешь послѣ: теперь надобно Лубны спасать; слышишь, трубятъ тревогу!...

— Это по-нашему, по-запорожски, лыцарскія рѣчи, пане полковникъ!

— А ты какъ думалъ, брате?... самодовольно отвѣчалъ полковникъ:—и у насъ души запорожскія!

И они вышли на широкій дворъ, гдѣ на возвышеніи стоялъ трубачъ и трубилъ тревогу; народъ стекался отовсюду на дворъ.

Часто въ Малороссіи, проѣзжая степи весною, вы услышите пронзительный, отчаянный вопль: *Татары йдутъ!* осмотритесь и никого не увидите, кромѣ двухъ трехъ мальчиковъ, пасущихъ скотъ, вовсе не похожихъ на татаръ; но въ этомъ воплѣ такъ много грусти, отчаянія, безнадёжности, что онъ вѣрно надолго останется у васъ въ памяти. Это послѣдніе отголоски тяжкихъ, страшныхъ воплей, оглашавшихъ нѣкогда села Малороссіи; это крикъ, переданный отъ дѣда внуку, отъ отца или матери сыну; это вопль, потерявшій уже все свое значеніе, перешедшій въ игру, въ дѣтскую забаву, но сохранившій въ своей музыкальной сторонѣ еще много правды; сердце ноетъ, замираетъ, слушая его: это новая, краснорѣчивая строка изъ исторіи бѣдной стороны... Хотите знать, для чего кричатъ мальчики: „татары йдутъ?“

Всѣмъ извѣстно, что муравей насѣкомое общежительное и трудолюбивое, объ этомъ даже когда-то было напечатано въ новѣйшихъ російскихъ прописяхъ; извѣстно также, что многіе, узнавъ изъ новѣйшихъ російскихъ прописей о трудолюбіи муравья, остались этимъ очень довольны и даже при случаѣ говорятъ своимъ дѣтямъ: „будь трудолюбивъ, какъ муравей, и тебѣ дадутъ бонбошку, а современемъ сдѣлаешься значительнымъ человѣкомъ“ — а весьма немногіе старались наблюдать жизнь этого умнаго насѣкомаго, хотя она, право, занимательнѣе, разнообразнѣе, поучительнѣе жизни весьма многихъ?... какъ бы выразиться понѣжнѣе?... многихъ... очень-вкусно объѣдающихся и просиживающихъ ночи за преферансомъ. Но не пугайтесь! я не стану читать вамъ лекціи инсектологіи: мнѣ бы только очень хотѣлось, чтобы вы въ тихое, прекрасное весеннее утро посмотрѣли на муравейникъ, когда это маленькое цар-

ство покроется бѣлыми личинками (подушками, какъ говорятъ въ Малороссіи). Муравьи инстинктивно чувствуютъ необходимость держать свои личинки, надежду на будущія силы муравейника, въ сухости, и вотъ бережно выносятъ они изъ своихъ темныхъ подземныхъ корридоровъ бѣленькія подушечки, раскладываютъ ихъ рядами противъ солнца и удаляются на работы, оставя возлѣ каждой подушечки двухъ часовыхъ, которые тихо сидятъ, будто не живые, сторожа свое сокровище; малѣйшій шумъ, легкая тѣнь отъ перелетнаго облачка — и они тревожно хватаются за личинки. Девевенскіе мальчики знаютъ эту заботливость муравьевъ, и, пася скотъ, иногда цѣлый день отъ скуки перебѣгаютъ отъ муравейника къ другому и пугаютъ *комашекъ*; для этого они подбѣгаютъ къ муравейнику, наклоняются надъ нимъ и громко въ одинъ голосъ кричатъ:

Комашки, комашки,
Ховайте подушки—
Татары йдутъ!

(Муравьи, прячьте личинки—татары идутъ.)

Первые два стиха говорятъ какимъ-то бѣлымъ речитативомъ, а третій поютъ громко, пронзительно. И, Боже мой! какая суматоха подымется въ муравейникѣ отъ этого крика; въ секунду все черное поколѣние высыпаетъ наружу, караульные схватываютъ личинки, шумъ, бѣготня — и личинокъ будто не бывало: только нѣкоторые муравьи бросаются изъ конца въ конецъ муравейника, какъ-бы стараясь узнать причину суматохи, другіе таскаютъ соломенки и этими бревнами заваливаютъ входы въ свои подземелья...

Вотъ причина крика „татары йдутъ!“, если вы когда-нибудь его услышите теперь на степяхъ Малороссіи.

А въ старину такое явленіе представляло почти каждое село отъ зловѣщаго крика *татары йдутъ*, и Лубны очень были похожи на перепуганный муравейникъ. Вѣсть о близкомъ набѣгѣ татаръ быстро разнеслась по городу: кто чистилъ оружіе, кто дѣлалъ патроны, кто натачивалъ саблю, кто сносилъ добро въ церковь. А въ церквяхъ священники въ полномъ облаченіи служили молебны; толпы женщинъ, упавъ на колѣни на церковный помостъ, громко молились и плакали; порою заходилъ туда казакъ, клалъ земной поклонъ, ставилъ свѣчку передъ образомъ Спасителя и поспѣшно выходилъ заняться своими работами. Гонцы скакали въ окрестныя села; изъ селъ шли толпы народа защищать и прятаться въ крѣпость, шли женщины, неся

на рукахъ грудныхъ дѣтей; гнали скоть; громко шумѣлъ народъ, бабы кричали, дѣти плакали, скоть уныло реваѣ, безсмысленно посматривая на незнакомые улицы и дома. На Касьяна смотрѣлъ народъ съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ, какъ на запорожца, да еще бывшаго вчера въ схваткѣ съ крымцами. Полковникъ на конѣ безпрестанно скакалъ по улицамъ; за нимъ Герцикъ и Касьянъ. На валу зарядили пушки; поставили сторожевыхъ; гармаши (пушкари) сидѣли на лафетахъ; къ воротамъ навезли бревенъ и камней, чтобъ на ночь завалить ихъ; на валу въ особенныхъ земляныхъ печахъ поставили котлы, наполнили ихъ смолою и постнымъ масломъ, подложили подъ нихъ дровъ и сухаго тростника, чтобъ въ случаѣ нужды мигомъ вскипятить ихъ и обдавать съ валу крымцевъ. Къ вечеру все было готово: завалили ворота крѣпости, разложили на валу сторожевые огни, и полковникъ, измученный дневными трудами, пошелъ на минуту отдохнуть, приказавъ Герцику не спать до полуночи, а съ полуночи разбудить себя. Герцикъ увелъ Касьяна въ свою комнату, хоть сырую, мрачную, и съ желѣзными рѣшетками, но ярко освѣщенную огнемъ, пылавшимъ въ печкѣ: тамъ жарилась баранина и въ кувшинѣ варилась вкусная варенуха. Пріятно было старому Касьяну отдохнуть и поѣсть, и покрѣпить силы варенухой послѣ тяжелой ѣзды, добровольнаго поста, двухъ бессонныхъ ночей и двухъ дней, проведенныхъ въ тревогѣ. Касьянъ, хоть былъ запорожецъ и лѣтъ двадцать-тридцать назадъ проплясалъ бы еще и эту ночь, однако лѣта взяли свое: послѣ куска жирной баранины и нѣсколькихъ чарокъ теплой варенухи, на него нашла лѣнь, истома, рука въ плечѣ заболѣла, ноги стали будто не свои, глаза поминутно слипались, и наконецъ онъ, склонясь на лавку, захрипѣлъ молодецкимъ сномъ.

V.

„Бачъ чортяка! бачъ паллюка,
„Якъ умудрався!
„Се вже бачъ нинієцька штука!“
Твардовскій озвався.

Гулакъ-Артемовскій.

Зажурилася Хмельницькаго сидая голова,
Що при йому ни сотыкивъ, ни полков-
ныкивъ нема.

Часть приходити умирати,
Никому порази дати.

Народная малороссійская дума.

Разсвѣтало. Проснулся Касьянъ, потянулся, зѣвнулъ и, посмотря на окно, проворчалъ; „Старъ сталъ Касьянъ! незамѣтно проспалъ до утра“. Въ разбитое окно, черезъ рѣшотку, вѣяло утреннею свѣжестью; гдѣ-то недалеко слышенъ былъ шорохъ, будто отъ ходящаго человека. Касьянъ подошелъ къ окну; за окномъ узкій дворикъ, огороженный высокой стѣной; на дворикѣ никого не было; только воробей, сидя на вѣткѣ какого-то сухаго кустика, надувался, ерошилъ свои перья и встряхивался. За дверью опять послышались шаги. Касьянъ бѣгло взглянулъ по комнатѣ—нѣтъ его оружія; подошелъ къ двери—дверь заперта. Протяжно свистнулъ онъ и отошелъ.

— Штука! ворчалъ Касьянъ, ходя по небольшой комнатѣ:—нѣмецкая штука! Хитро, чтобъ ему первую галушкой подавиться! Да и не хорошо какъ! не приведи Господи, не хорошо! Гдѣ это видано: зазвать гостя, угостить, обобрать оружіе, да и запереть въ клѣтку? Не хорошо! Что, я имъ дроздъ какой, что ли? перепелъ, что ли? Зачѣмъ меня держать въ клѣткѣ?... Дурень я, не догадался вчера, когда пришелъ въ эту гадушую тюрьму, разбить-было нѣмецкому казку голову, приговаривая: „не води угощать въ тюрьму вольнаго запорожца!“ Такъ нѣтъ, поддался, старый дуракъ! Самъ вошелъ, съдой баранъ, въ загорожу. Не даромъ этотъ перевертень (*) такъ подбивался, подѣзжалъ ко мнѣ, словно парубокъ къ славной дѣвкѣ, и о Чайковскомъ разспрашивалъ, и о Маринѣ, и пилъ ихъ здоровье, будто они ему родня какая!... Не догадался, просто не догадался! Что я ему за пріятель? Правду говорятъ: коли человекъ больно тебя ни съ того ни съ сего ласкаетъ, берегись: или онъ обманулъ, или обмануть хочетъ...

За дверью опять послышались шаги. Касьянъ подошелъ къ двери и сильно ее дернулъ—нѣтъ отвѣта: только снаружи загремѣлъ, застучалъ тяжелый замокъ.

— Эй, ты! слушай, ты! откликнись! Коли ходишь, такъ и говорить умѣешь. Кто тамъ? Молчаніе.

— Ну, что жъ ты не отвѣчаешь? продолжалъ Касьянъ:—языка нѣтъ? Вѣрно не человекъ ходитъ: это корова ходитъ.

— Врешь, не корова, а казакъ, отвѣчалъ за дверью голосъ, обиженный неприличнымъ сравненіемъ.

— Въ силу-то отозвался! Скажи мнѣ на милость, что за комедію со мною играютъ?

(*) Слово, выражающее въ Малороссіи идею *ремесла*.

Зачѣмъ меня заперли сюда? Вѣрно боялись, чтобъ я, въ хмѣлю, не разорилъ вашего города?—а?

Молчаніе.

— Да что же ты не говоришь? Отозвался было, какъ человѣкъ—и замолчалъ, словно рыба!

Молчаніе.

Касьянъ махнулъ рукою и началъ ходить по комнатѣ; подошелъ къ окну; тамъ опять только воробей весело прыгалъ по сухимъ вѣточкамъ чахлаго кустика и, поворачивая кверху голову, отрывисто перекликался съ товарищемъ, который отзывался гдѣ-то на кровлѣ. Касьянъ плюнулъ—воробей улетѣлъ; все стало тихо...

— Жидовская птица! сказалъ Касьянъ, отходя къ своей постели, сѣлъ и задумался.

Богъ знаетъ, что думалъ Касьянъ; но вѣрно не очень-веселое, потому-что, мурлыкая-себѣ вполголоса, мало-по-малу перешелъ въ пѣсню и запѣлъ известную въ Малороссіи трогательную думу о побѣгѣ трехъ братьевъ изъ Азова:

Изъ города изъ Азова не великіе туманы
подымались:

Три казака, родныхъ брата, изъ тяжелыхъ
неволи убирались.

Двое конныхъ, третій пѣшій вслѣдъ за
братьями спѣшитъ;

По кореньямъ, по камнямъ меньшій
братъ босой бѣжитъ;

Ноги бѣлыя о камни посѣкаетъ,
Кровью теплою слѣдочки заливаетъ,

Конныхъ братьевъ догоняетъ

И словами промолвляетъ:

„Станьте, братцы, быстрыхъ коней
попасите

„И меня, меньшаго брата, обождите“.

Съ первыхъ стиховъ замѣтилъ Касьянъ, что невидимый голосъ за дверью подтягиваетъ ему; Касьянъ запѣлъ громче, началъ выводить голосомъ трудные переходы—голосъ вторилъ ему вѣрно. Касьянъ не выдержалъ и, не кончивъ пѣсни, закричалъ: „Славно, братъ! ей-богу, славно! И голосъ у тебя хорошій... Ты до конца знаешь эту пѣсню?“

Голосъ умолкъ.

— Странный человѣкъ! продолжалъ Касьянъ:—поетъ хорошо, а говорить не хочетъ.

— Говорить не хочетъ! сказалъ самъ себѣ казакъ вполголоса:—радъ бы говорить, да когда не велѣно!

— А! вотъ что! Говорить не велѣно, такъ пѣть вѣрно можно, коли поешь. Ну, пой мнѣ, я начну.

И Касьянъ запѣлъ:

Ой на горѣ яворъ зелененькій...

Скажи ты мнѣ всю правду, козакъ молоденькій:

За что меня невиннаго въ тюрьму за-
садили?

Желѣзнымъ запоромъ тюрьму затворили?

— Ну, что жъ ты не поешь? сказалъ Касьянъ,

Видно, часовому понравился разговоръ въ новомъ вкусѣ: за дверью послышался тихій смѣхъ, прерываемый словами: „сказано, запорожецъ! вотъ притча!“; потомъ смѣхъ немного успокоился, и часовой запѣлъ на тотъ же голосъ:

За что тебя посадили, я того не знаю;
Я такъ-себѣ человѣкъ, моя хата съ краю.

Касьянъ.

Да какому жъ я обязанъ собакину сыну,
Что не въ полѣ, а въ тюрьмѣ, можетъ
быть загину?

Казакъ.

Ой, спитъ казакъ пидъ горою; сабля съ
боку

И мушкетъ, и конь пасется недалеко.

Пришли люди темной ночью полегоньку,
Обобрали козаченька потихоньку.

Такъ панъ велѣлъ, старшой велѣлъ, го-
ворили,

И козаченька въ темницу затворили;
А темницу замкомъ заперъ панскій чу-
ра *).

На немъ платье казацкое, а натура...

А натура не казацкая, не...

— А въ солому!... Вишь какъ воетъ! закричалъ за дверьми строгій голосъ.—Что ты на улицу вышелъ?... на вечерницахъ?

— Мнѣ говорить запрещали, а пѣть не запрещали, такъ я и пою со скуки...

— Молчи! Пѣть не запрещали!... Разговорился; я тебя проучу... Онъ спитъ?... не слышно?...

— Нѣтъ, не спитъ, уже и пѣлъ пѣсни.

— То-то, ты своими криками да воешь хоть мертвого разбудишь... Не далъ гостю успокоиться...

Послѣ этого загремѣли замки, заскрипѣла дверь, и послышались шаги подъ окномъ Касьяна; скоро онъ увидѣлъ между рѣшеткою лицо Гердика.

— Здравствуй, дядюшка! здравствуй, старикъ! говорилъ Гердикъ, улыбаясь.

Касьянъ молчалъ.

— Не сердись, храбрый запорожецъ, не сердись, лыцарь: не моя вина; видитъ Богъ, какъ я люблю тебя; уже за одно то люблю,

*) Любимецъ, оруженосецъ.

то ты дашь пристанище моему бѣдному другу Алексѣю! Что-то онъ теперь дѣлаетъ...

Чего тебѣ хочется? Отвяжись отъ меня! грубо сказалъ Касьянъ.

Чего мнѣ хочется? Ай, Боже жъ мой! Ничего мнѣ не хочется; я всѣмъ доволенъ, по милости полковника. Славный человѣкъ полковникъ, только хитрый, подозрительный. Цѣлый день вчера все отведетъ меня въ сторону да и говоритъ: „Боюсь я, Герцикъ, этого запорожца; кто знаетъ, можетъ онъ посланъ кримицами, да имъ и ворота отпереть“. „Богъ съ нами, пане мой!“ говорилъ я: „такой ли это человѣкъ; да онъ и нашу дочку поберегъ у себя; да онъ и смотреть не такъ“. „Нѣтъ“, говоритъ полковникъ: „мнѣ не вѣрится, чтобъ и моя дочка была жива“. И все такое неподобное... даже хотѣлъ пытать тебя...

Меня? громко сказалъ Касьянъ... Пытать запорожца.

То-то и есть; а дѣлать нечего: сила олому ломить!... Въ-сиду я упрямилъ, чтобъ тебя посадили въ тюрьму.

— Богъ за это спасибо! Видно, что добрый человѣкъ.

Именно добрый. Не пугайся, Касьянъ, тебѣ будетъ хорошо: ты будешь и сытъ, и пьянъ; а когда прогонимъ татаръ, и полковникъ увидитъ, что ты правъ, что у тебя нѣтъ съ ними ничего, вотъ мы и поведемъ всѣхъ къ тебѣ на зимовникъ. Полковникъ простилъ дочку: она придетъ сюда съ мужемъ, и пойдутъ пиры да веселье! Ой, ой, ой! что за пиры будутъ!... Не скучай, Касьянъ! Не сердись на меня, я тебѣ добра желаю: да какъ выпустятъ, не говори полковнику, что я былъ у тебя! онъ очень подозрительный человѣкъ, и мнѣ худо будетъ! Прощай, Касьянъ! Не сердись на меня, не скучай! — и есть, и пить приступи тебѣ вволю; отдыхай послѣ дороги.

— А моя сабля гдѣ?

Сабля у полковника, виситъ на стѣнкѣ подъ образами! въ почетъ твоей сабли, доброй сабли! Неужли ли мнѣ пошлать твоей саблей съ татарами? Съ лыцарскою саблею и самъ станешь словно лыцарь.

— И не думай!... закричалъ Касьянъ: — до-сихъ поръ вѣрно служилъ моя сабля, крестилъ полки кавказскихъ, не выжигивалъ, не артушывалъ; до-сихъ поръ чуждыя руки не трогала ее — и не трогаетъ! Гдѣ же, какъ же послать ее въ твои руки? Ты можешь быть и добрый человекъ! Но ты знаешь, что у тебя на утѣ, тамъ же твой мой сабля, не обмань старика, да еще закроуевай, въ охотѣхъ до-сихъ...

Садись, мой Кася, Божу моему до-хотѣ, до-хотѣ, до-хотѣ, Герцикъ! Прощай!

дядюшка, не сердись; я полковнику передамъ твою волю: добрый казакъ любитъ саблю какъ жену, больше жены, сто разъ больше, тысячу разъ... сто тысячъ...

А между тѣмъ, при первыхъ лучахъ солнца, сторожевые казаки съ крѣпостного вала примѣтили вдаль большіе клубы пыли, и вскорѣ показались на степи легкіе отряды татаръ. Вооруженные казаки высыпали на валъ, гармаши (пушкарі) стали у пушекъ; извѣстные, опытные стрѣлки, зарядивъ гаковницы (длинныя крѣпостныя ружья), навели ихъ въ поле и, припавъ за щитками, выжидали непріятеля. Татары наѣздили, гарцовали, подсакивали къ крѣпости, изрѣдка пуская стрѣлы, которыя, не долетая къ цѣли, вонзались въ землю. Казаки не стрѣляли. Нѣсколько разъ казаки просились у полковника изъ крѣпости погулять за валомъ и перевѣдаться съ татарами; но полковникъ угрюмо отвѣчалъ имъ: „не пора!“ или „не спѣшите прежде отца въ пекло (адъ)“ — и съ нетерпѣніемъ поглядывалъ на сѣверъ. Еще вчера, сейчасъ по пріѣздѣ Касьяна, полковникъ Иванъ послалъ гонца къ полковнику прилучшему просить помощи и приказъ пирятинской сотнѣ немедля явиться подъ Лубны; гонецъ не являлся, помощи не было, пирятинцы не шли. Татарскіе наѣзники стали смѣяться, начали ближе подѣзжать къ валу, но грянула съ крѣпости гаковница, другая, третья, и они разсѣялись, оставя на мѣстѣ двухъ человѣкъ да коня: одинъ лежалъ ничкомъ, будто спалъ; другой, лежа кверху лицомъ, махалъ руками почти до полудня, словно в треназ мельница, а раненый конь все силится подняться, становился на переднія ноги и, сидя на заднихъ, какъ собака, судорожно вытягивалъ длинную шею, глядя на крѣпость, такъ-что страшно было смотрѣть на него: потомъ, шатаясь, падалъ и опять становился на переднія ноги...

Насталъ полдень тихій, знойный. Татары, выѣхавъ изъ подъ выстрѣловъ крѣпостныхъ орудій, стояли густыми толпами; надъ чистымъ полемъ плавали въ небѣ большіе воршунъ; распустивъ широкія крылья, вытянувъ ноги, вооруженныя острыми когтями, медленно спускались онъ на землю, и торопливо откидываясь въ сторону, будто нехотѣ подыматься вверхъ. Когда раненый татаринъ быстро вымахивалъ руками, по полю трогали бѣжали казакъ-то нестроей обманъ, оступивъ впередъ, вѣлся голую и выгнутую спину, уставая, останавливаясь, она вертелъ тропалъ, кружилъ, вонзалъ ноги, закинулъ и подкинулъ голову, бросивъ впередъ и вѣлся назадъ. Полковникъ, стоя на переднемъ валу, поглядывалъ на сѣверъ — на сѣверъ нехотѣ не бѣжалъ —

только чистая степь, раскаленная полуденным солнцем, да по степи, словно бѣгущія стада бѣлыхъ овецъ, мелькалъ порою жаркій паръ на далекомъ горизонтѣ.

Герцикъ совѣтовалъ полковнику сдѣлать вылазку; полковникъ не соглашался, ожидая скорой помощи.

— На что вамъ, къ чему вамъ помощь, когда вы сами великій лыцарь? говорилъ Герцикъ.—Прійдетъ помощь, вы разобьете татаръ, и всѣ скажутъ: не самъ разбилъ полковникъ Иванъ, люди помогали; еще, пожалуй, започють пѣсню, бабскую пѣсню:

Ой не сама пряла,
Кума помогала;
Дала кумѣ миску пшена
И два куска сала.

Бабская пѣсня, а започють ее на вашъ счетъ--и вамъ будетъ совѣстно, и придрааться будетъ не за что.

— А хотѣлъ бы я послушать, кто започеть?

— Языкъ безъ костей! любая баба започеть—что вы ей скажете? Эту пѣсню давно поютъ; не стать вамъ, пане, запрещать ее! Запретите, еще хуже, неподобное скажутъ про васъ, про храбраго лыцаря; и въ Прилукакъ, и въ Миргородѣ будутъ пѣть пѣсню, коли въ вашемъ полку побойтятся... Я васъ люблю, пане мой, очень люблю... вотъ откуда берутся слова мои...

— Знаю, друже мой, знаю, братику Герцикъ, спасибо тебѣ; дастъ Богъ утихнеть жаръ, я съ ними перевѣдаюсь, я докажу, что самъ побью эту погань, безъ прилуцкихъ дегтярей... хоть осторожность не мѣшаетъ... А что запорожець?

— Сидить подь карауломъ.

— И слава Богу! Ты надоумилъ меня припрятать эту старую лисицу. Спасибо, брате; мнѣ и въ голову не пришло сначала, что это шпигъ (лазутчикъ) отъ татаръ; надѣлали бы кисло во рту, еслибъ оставили его на волѣ...

— Извѣстно!... Вы сами, пане, прежде объ этомъ думали, да не хотѣли обижать лыцаря; вы сейчасъ и приказали, что думали...

— Экая голова у тебя, Герцикъ! сказалъ самодовольный полковникъ:—мысли мои даже знаетъ...

— Я дрянъ противъ васъ, пане мой, а Господь умудряетъ слѣпцовъ... И какую истиню выдумалъ этотъ старикъ: будто покойница Марина—царство ей небесное—воскресла!

— Чудно и мнѣ показалось это, да долгъ лыцарскій не велѣлъ разспрашивать о бабѣ... А что если она жива?

— О, Боже жъ мой! развѣ, пане, мертвые воскресаютъ? Самъ видѣлъ, какъ она взошла на подмостки, самъ видѣлъ... да я уже говорилъ вамъ... въ-силу ушелъ изъ Сѣчи, и меня казнили бѣ, еслибъ нашли, такъ разлютовались эти невѣры!

— Не говори такъ, Герцикъ, грустно сказалъ полковникъ:—они христіанскіе лыцари, а хитры бываютъ и люты, словно волки... Не думалъ я пережить моей Марины; не сдержалъ слова покойницѣ женѣ...

— Что съ воза упало, то пропало, пане мой. Что жъ, еслибъ и осталась въ живыхъ Марина?

— Видитъ Богъ, я бы отдалъ ее за Алексѣя. Я и тогда хотѣлъ это сдѣлать... да... Богъ его знаетъ... какъ... Ну, да что говорить объ этомъ!... Выспрашивалъ ты вчера запорожца о моей дочкѣ?

— Цѣлый вечеръ... да вреть небылицы, старая лиса! Такъ, говорить, пришли, да и живутъ у меня—видимо путается въ рѣчахъ; онъ, живя на зимовникѣ, вѣрно не зналъ того, что вы знаете изъ письма кошевого и моихъ словъ... а выдумалъ сказку, для большаго почету: думалъ, что вы баба—отъ того, что они всѣхъ насъ гетманцевъ считаютъ бабами—и расплатетесь при вѣсточкѣ о дочкѣ и дадите ему волю дѣлать что захочетъ для крымцевъ. Вѣрно получилъ отъ хана не одинъ дукать...

— Такъ, такъ! Постой, собака! управлюсь я съ татарами, я научу его, какъ шутить съ полковникомъ Иваномъ. Что жъ онъ теперь? Ты его видѣлъ сегодня?

— Видѣлъ. Сильно загрузилъ, бьется объ рѣшетки, даже плачетъ...

— Пускай плачетъ, пускай плачетъ, отъ злости плачетъ! Понюхалъ пирога да не удалось попробовать... А не худо бы и намъ перекусить, Герцикъ.

Начало вечерѣть. Татары небольшими кучками стали развѣзжать по полю передъ крѣпостью; одна изъ нихъ, побольше, подвѣхала довольно близко и окружила трупы товарищей; нѣкоторые слѣзали съ коней; казалось, хотѣли поднять и увезти мертвые тѣла. Гарманъ прилежъ къ пушкѣ, приложилъ фитиль—и съ крѣпостнаго вала грянулъ выстрѣлъ: ядро попало прямо въ кучу; какъ живое серебро, разбрызнулись татары въ стороны, оставя на мѣстѣ еще нѣсколькихъ товарищей и двѣ длинныя пики, воткнутыя въ землю; на пикахъ торчали только что отрубленные казачьи головы; кровь струилась по длиннымъ древкамъ; вечерній вѣтерокъ покачивалъ ихъ въ стороны и вѣялъ черными чубами...

— На коней, хлопцы! сказалъ полковникъ, заскрежетавъ отъ злости зубами:—вотъ я имъ! А гдѣ Гадюка?

— Готовить ужинъ для пана, отвѣчалъ Герцикъ: — да позвольте, я поѣду за вами. На что вамъ Гадиюка? Ждать долго...

— Пожалуй! Что это у тебя за перышко на шапкѣ?

— Заговоръ (талисманъ) отъ пули и стрѣлы и всякаго оружія, отвѣчалъ Герцикъ, выѣзжая рядомъ съ полковникомъ изъ крѣпостныхъ воротъ.

Быстро понеслись казаки въ разсыпную на крымцевъ, и въ минуту по всему полю завязалась жаркая схватка. Человѣкъ десять татаръ скакали прямо на полковника. Полковникъ съ Герцикомъ скакалъ на нихъ. Шагахъ въ двадцати отъ крымцевъ, полковникъ выхватилъ изъ кобуры пистолетъ, спустилъ курокъ — вспышка: другой пистолетъ тоже не выстрѣлилъ; бросилъ и этотъ на землю, полковникъ поднялъ руку, вооруженную тяжелой кривою саблей, сверкавшею въ воздухѣ, какъ свѣтлый рогъ молодого мѣсяца, но въ ту минуту двѣ стрѣлы впились ему въ грудь; полковникъ зашатался на сѣдлѣ, опустилъ поднятую саблю, а татары, схвата за поводья его лошадь и лошадь Герцика, поскакали въ степь. Казаки бросились выручать своего начальника: но ихъ было мало, а крымцы крибовались съ каждою минутой, били казаконъ и тѣснили къ крѣпости. Вдругъ страшный вопль огласилъ поле: изъ крѣпости скакалъ чудный вонь, на несѣдланной и невзнузданной дикой лошади: быстро летѣлъ онъ, схватилъ ее за гриву и поворачивая жилистою рукою во все стороны, словно поводями: голова безъ шапки, не стриженная, не бритая, нечесаная, ноги обнажены до коленъ, руки до локтей, въ правой рукѣ поднять тяжелый топоръ.

— Гдѣ вы дѣли, собаки, моего пана? страшно кричалъ онъ, ринувшись въ толпу татаръ. — Пана мой, пана мой! здѣсь я, здѣсь Гадиюка! кричалъ онъ, бисто опускался направо и налево тяжелый топоръ, отъ котораго, какъ снопы отъ бури, валялись татары. Отбѣвъ раненаго полковника, Гадиюка перебросилъ его поперекъ коня и поначался въ крѣпость: но вслѣдъ за нимъ поскакали и Герцикъ, и казаки, тѣснимые со всехъ сторонъ множествомъ крымцевъ. Уже были они у крѣпостныхъ воротъ, неся на плечахъ своихъ непріятелей, какъ съ громомъ ударила въ бокъ пиратинская сотня: крымцы испугались засады, сробѣли свѣжаго войска, и, преслѣдуемые въ свою очередь казакими, ускорили въ степь, присоединяясь къ своимъ обозамъ. Пиратинцы, распустивъ сотенные знамена, вошли въ крѣпость, привѣтствуемые народомъ. Вѣсто раненаго полковника, принялъ надъ крѣпостью начальство пиратинскій сотникъ.

Настала ночь. На далекой стѣнѣ, словно звѣздочки, засвѣтились сторожевые огоньки татаръ; на крѣпостномъ валу казаки удвоили стражу.

Въ своей опочивальнѣ, на широкой кровати, покрытой до полу азіатскимъ ковромъ, лежалъ полковникъ Иванъ, сильно страдающій отъ ранъ. Казакъ знахарь (лекаръ) осмотрѣлъ раны, перевязалъ ихъ и покачалъ головою.

— Что? спросилъ слабымъ голосомъ полковникъ.

— Ничего, пане полковникъ! отвѣчалъ знахарь.

— Нѣтъ надежды? — а?

— Богу все возможно...

— Оставь это... я не баба. А по твоему какъ?... что?

— По-моему, плохо.

Полковникъ покачалъ головою и тихо спросилъ:

— А Гадиюка гдѣ?

— Лежитъ раненый, отвѣчалъ Герцикъ.

— Худо! Останься со мною, Герцикъ: а вы все...

Тутъ полковникъ махнулъ рукою — всѣ вышли. Герцикъ заперъ дверь и подошелъ къ полковнику.

— Слушай, Герцикъ, говорилъ полковникъ: — разспроси этого запорожца о маѣ Маринѣ... мнѣ... мнѣ все кажется, что жива она... Казаки не поймутъ меня, подумаютъ, я безъ характера... а ты любишь меня, слушай: если это правда... если она... И полковникъ началъ шопотомъ говорить Герцику.

Наклоняясь надъ полковникомъ, Герцикъ долго слушалъ, вперивъ свои быстрые очи на умиравшаго, и страшно улыбнулся. Когда умолкъ полковникъ, онъ съ дикою радостію прошелся по комнатѣ, подошелъ къ кровати, наклонился къ лицу полковника, внимательно прислушивался и сказалъ: „Хорошо, пане, вамъ непріятель свѣтъ, я васъ поворачу къ стѣнкѣ“. Потомъ поворотилъ полковника лицомъ къ стѣнѣ, покрылъ его синимъ походнымъ плащомъ, и, отойдя изъ средину комнаты, кашлянулъ и сказалъ довольно громко:

— Теперь хорошо, пане? — а?

— Хорошо, отвѣчалъ полковникъ слабымъ шопотомъ.

— Хорошо, хорошо! сказалъ Герцикъ: — теперь я пойду исполню вашу волю, пане мой — слышите?

— Слышу.

Герцикъ вышелъ.

— А что? а что? спрашивали Герцика старшины, бывшіе въ другой комнатѣ.

— Ангельская душа! отвѣчалъ Герцикъ.

со слезами на глазах:—онъ чуетъ свой близкій конецъ, и обо всѣхъ помнить.

— Неужели?

— Да; говорить, если я умру, Герцикъ, скажи, чтобъ отдали пирятинскому сотнику моего черкесскаго коня Сивку...

— Добрый конь! говорили старшины.

— Мнѣ съ нимъ и не управиться! сказалъ сотникъ.

— Хорунжему Подметкѣ, продолжалъ Герцикъ:— мое старое ружье.

— Знаетъ, что я охотникъ; добрая душа!

— Эсаулу Нелейводу-Присядковскому — серебряную чарку.

— Упьюсь изъ этой чарки, сказалъ Нелейвода-Присядковский:—ей-богу, упьюсь!

— Эсауламъ Гопаку и Тропаку по парѣ красныхъ сапоговъ съ серебряными подковами...

— Спасибо, спасибо! говорили Гопакъ и Тропакъ:—спасибо; дай Богъ ему...

— Здоровья?.. лукаво спросилъ Герцикъ. Что жъ вы не кончаете?

— Извѣстно, здоровья! торопливо отвѣчали эсаулы:—мы отъ горя не договорили... Богъ съ ними! и съ подарками, лишь бы здоровъ былъ нашъ добрый начальникъ!

— Да, да, правда! добрый начальникъ! хорошій человекъ! дай Богъ ему всего, что мы ему желаемъ, повторили хоромъ остальные. — А тебѣ что, Герцикъ?

— Пока ничего; развѣ что вамъ скажетъ; велѣлъ васъ позвать. А ты, Потапъ, сказалъ Герцикъ, обращаясь къ часовому:—сходи сейчасъ въ тюрьму, узнай о здоровьи запорожца Касьяна: полковникъ, молъ, велѣлъ; а оттуда забѣги къ священнику, попроси его сюда съ дарами: полковникъ, молъ, проситъ. Слышишь?

— Слышу, отвѣчалъ казакъ, выходя за двери.

— Христіанская душа! благословенная душа! тихо говорили старшины, входя въ полковничью опочивальню.

— Оно? шопотомъ спросилъ Подметка, указывая глазами и бровями на ружье, висѣвшее надъ кроватью полковника.

Герцикъ утвердительно кивнулъ головою.

Полковникъ лежалъ, оборотясь лицомъ къ стѣнѣ, и тяжело вздохнулъ, когда вошли старшины и стали почтительно у двери.

— Старшины пришли, сказалъ въ-полголоса Герцикъ, наклоняясь къ полковнику.

— Добре! тихо отвѣчалъ полковникъ, и что-то началъ говорить въ-полголоса.

— Полковникъ, уѣзжая на сраженіе сегодня, написалъ свою волю и запечаталъ ее войсковою печатью, а теперь проситъ на случай чего-нибудь нехорошаго, чего Боже сохрани,—говорилъ Герцикъ: проситъ всѣхъ

старшинъ взять эту волю и исполнить ее на случай смерти пана полковника.

— Рады стараться, отвѣчали въ одинъ голосъ старшины, низко кланаясь.

— Спасибо! шопотомъ отвѣчалъ полковникъ, все еще отворотясь спиною къ своимъ подчиненнымъ.

— Гдѣ же бумага, пане мой любезный? спросилъ Герцикъ.

— За образами... Охъ!...

— Поищите, пане сотникъ, сказалъ Герцикъ.

Сотникъ приблизился къ образамъ, ударилъ земной поклонъ и, перекрестясь, вынулъ изъ-за образа пакетъ, запечатанный полковничьею печатью. Герцикъ взялъ изъ рукъ сотника пакетъ, подошелъ къ полковнику и спросилъ, поднесъ бумагу къ самому лицу полковника:

— Это твоя воля, пане?

— Она... охъ... душно!...

— Душно, пане? не открыты ли окна?

— Добре...

Гопакъ и Тропакъ бросились и открыли окно, говоря: Уже мы, пане полковникъ, открыли.

— Добре... и полковникъ опять началъ тихо говорить; Герцикъ, наклонясь, слушалъ его со вниманіемъ и потомъ сказалъ старшинамъ:

— Полковникъ хочетъ успокоиться и наединѣ помолиться Богу о грѣхахъ. Выйдемъ, паны.

— Какіе у него грѣхи? чистая душа! добрая душа! говорили старшины, выходя изъ комнаты; впереди шелъ, важно неся запечатанный пакетъ, пирятинскій сотникъ, гордясь довѣренностью полковника.

Черезъ четверть часа явился священникъ, вошелъ въ опочивальню и опять возвратился, говоря:

— Молитесь, братіе! онъ умеръ!

— Умеръ?! вскричали старшины.

— Умеръ! сказалъ священникъ: — умеръ нераскаянный! въ грѣхахъ умеръ человекъ! Молитесь...

— Царство ему небесное! крестясь, печально говорили всѣ присутствовавшіе. Но, Богъ знаетъ, почему, присмотрясь хорошенько, можно было замѣтить, что на всѣхъ печальныхъ лицахъ, не исключая даже Герцика, мелькала какая-то скрытая радость.

— Добрый былъ панъ! сказалъ Герцикъ.

— Добрый былъ начальникъ, прибавилъ сотникъ.

— Правда, правда, почти радостно подтвердили всѣ.

— А какой-то будетъ новый?... замѣтилъ одинъ эсаулъ.

— Богъ знаетъ; что Богъ дастъ, то и будетъ, говорили старшины. И на этотъ разъ

ихъ лица дѣйствительно омрачило горькое раздумье.

Чудна игра фizioномiи чelовѣка, невольно подумаешь иногда. Душа словно вода: никогда не бываетъ спокойна—вѣчно мѣняется...

VI.

Пришовъ ни за чимъ, пишовъ ни съ чимъ, Шкода й пытать, тильки ноги болять.

Малор. народная поговорка.

Въ полночь протяжный звонъ соборнаго колокола извѣстилъ лубенцевъ о смерти ихъ полковника; другія колокольни отвѣчали этому звону, и скоро весь городъ загремѣлъ колоколами; народъ проснулся и толпами всю ночь до самаго свѣта приходилъ смотрѣть на усопшаго полковника, который лежалъ среди комнаты на длинномъ дубовомъ столѣ, одѣтый въ богатую парчевую одежду; кругомъ стола въ тяжелыхъ подсвѣчникахъ горѣли свѣчи; въ головахъ икона и надъ нею сложенный крестообразно перначъ и булава. Входя въ комнату, казаки крестились, молясь о душѣ усопшаго, а выходя на дворъ громко проклинали крымцевъ, собирая охотниковъ сдѣлать вылазку на разсвѣтъ и дорого отплатить невѣрнымъ за своего полковника; но вылазка не состоялась, къ великой печали охотниковъ.

Крымцы знали черезъ своихъ лазутчиковъ, что въ миргородскій полкъ посланы гонцы за помощью, и, услыша въ городѣ колокольный звонъ и тревогу, вообразили, что идетъ отдаленная помощь, и, вообще любя болѣе нечаянные набѣги и разбой, нежели правильную войну и сраженіе, ночью убрались по-тихоньку, оставя зажженные сторожевые огни; такъ всѣ думали въ Лубнахъ—а можетъ быть были и другія причины. На разсвѣтъ казаки съ валу не замѣтили крымцевъ, послали разъѣзды—разъѣзды никого не нашли, будто невѣрные провалились сквозь землю, будто ихъ свѣяло, унесло вѣтромъ.

Цѣлую ночь не спалъ Касьянъ, думая о причинѣ необыкновеннаго звона, и разспрашивалъ часового, и соблазнялъ его пѣніемъ; часовой, къ великой досадѣ Касьяна, упорно молчалъ. Утромъ загремѣли замки, завизжали на ржавыхъ петляхъ двери, и въ тюрьму вошелъ Герцикъ.

— Поздравляю тебя, другъ мой Касьянъ, поздравляю! весело говорилъ Герцикъ, обнимая Касьяна.

— Съ чѣмъ? не собрались ли повѣсить меня?.. угрюмо спросилъ Касьянъ, отталкивая Герцика.

— Боже мой! что за чelовѣкъ! настоящій воинъ, настоящій запорожецъ! характерный чelовѣкъ! крымцы ушли, теперь ты свободенъ.

— Молодцы! ай да гетманцы! вы ихъ прогнали?

— Да, мы ихъ порядочно поколотили вчера, а они ночью и ушли; вѣрно испугались колоколовъ: думали что недоброе противъ ихъ замышляемъ.

— Вотъ оно что! есть чѣмъ хвастать. Такъ вы звономъ прогоняли татаръ, словно налетную саранчу? бабы!

— Нѣтъ, Касьянъ, мы звонили по другой причинѣ; развѣ ты не знаешь нашей печали?

— Откуда бы я зналъ?

— Ты не знаешь! О, Боже мой! Плачь, Касьянъ! Полковникъ умеръ! Крымцы его убили...

— Вотъ оно что?.. Царство ему небесное, а плакать мнѣ не о чемъ.

— Какъ хочешь, Касьянъ; это твое дѣло; ты умный чelовѣкъ. Пойдемъ же на раду; вотъ твое оружіе: я поберегу его изъ любви къ тебѣ; пойдемъ на раду, уже собралась она. Одинъ Богъ знаетъ, я такъ полюбилъ тебя, Касьянъ!

— Что мнѣ дѣлать на вашей радѣ?

— Тамъ все старшины, да запорожецъ самъ не простой чelовѣкъ: и между старшинами тебѣ дадутъ почетъ; тамъ будутъ читать послѣднюю волю полковника: можетъ онъ что такое и о дочкѣ написать, и о моемъ пріятелѣ Алексѣѣ. Пойдемъ; тебѣ не худо знать: поѣдешь, имъ передашь радость.

— Это дѣло; пожалуй, пойдемъ.

Собралась рада. Сотникъ и старшины присягнули, что передъ смертію полковникъ вручилъ имъ это самое завѣщаніе и просилъ исполнить послѣднюю свою волю; послѣ этого священникъ распечаталъ и громко прочелъ завѣщаніе:

„Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Я, не имѣя родныхъ, въ случаѣ „моей смерти, завѣщаю въ лубенскую соборную церковь сто червонныхъ, да въ „пирятинскую замковую пятьдесятъ, а остальное все мое имѣніе движимое и недвижимое отдаю въ вѣчность и безпозвротность пріемышу моему Герцику за „полезныя моей особѣ службы, съ тѣмъ, „чтобы онъ кормилъ до смерти Гадюку и наливаль для него ежегодно бочку наливки изъ

„сливъ, купленныхъ по вольнымъ пѣнамъ
въ мѣстечкѣ Чернухахъ.

Року NN. Мѣсяца и числа NN.

Славнаго войска запорожскаго полка
лубенскаго полковникъ NN“...

Священникъ сложилъ бумагу и поклонился Герцику; всѣ старшины тоже стали ему кланяться и поздравлять съ наслѣдствомъ; даже самые злые недоброжелатели Герцика пріятно разглаживали усы и осклаблялись передъ нимъ.

— А о конѣ ничего не сказано? спросилъ сотникъ.

— И о ружьѣ?.. и о сапогахъ?.. говорили старшины.

— Что сказано, то свято, смиренно отвѣчалъ Герцикъ:—я не отопрусь; сказалъ покойникъ—берите; хоть оно и мнѣ принадлежитъ, а берите, я не хочу перечить...

— Честный человекъ этотъ Герцикъ! говорили старшины между собою.

— Нѣтъ! сказалъ Герцикъ твердымъ голосомъ:—не хочу я наслѣдства. У полковника осталась дочь: она наслѣдница; вотъ вамъ честный запорожецъ; онъ пріѣхалъ съ поклономъ отъ нея; ей слѣдуетъ, а не мнѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ! закричали сотникъ и старшины:-- имени ея нѣтъ въ духовной; онъ ея изрекся: она ушла отъ него...

— Можетъ-быть, покойный не зналъ, жива ли она, замѣтилъ Герцикъ.

— Вотъ дурень! ворчалъ онъ, обратясь къ товарищамъ, сотникъ, которому, какъ видно, очень хотѣлось сиваго коня.

— Говорилъ ты, добрый человекъ, покойному полковнику, что его дочь жива, и точно это правда? спросилъ Касьяна священникъ.

— Говорилъ, сейчасъ какъ пріѣхалъ, говорилъ полковнику; а его дочка и теперь у меня живетъ на зимовникъ...

— А это завѣщаніе писано вчера, сказалъ священникъ:—значить, онъ съ умысломъ умолчалъ о дочери, хоть и зналъ, что жива она; значить, онъ устранилъ ее отъ последней своей воли, и ты, Герцикъ, не смѣешь отказываться отъ исполненія воли умирающаго, долженъ принять всѣ его земныя блага, и стараться о пріобрѣтеніи таковыхъ же на небѣ

— Не смѣю вамъ перечить, отвѣчалъ Герцикъ, смиренно кланаясь.

Старшины получили подарки, назначенные имъ по словесному приказанію полковника. Полковника похоронили при громѣ пушекъ, звукъ трубъ и мелкаго ружейнаго огня, и къ вечеру вся знать пировала у новаго своего товарища по богатству, у Герцика. За ужиномъ сперва пили печаль-

соч. ГРЕБЕНКИ.

ные кубки за упокой души покойнаго и пѣли вѣчную память; потомъ начали пить здоровье Герцика, потомъ сотника и старшинъ, закричали „ура“, запѣли многія лѣта и передъ свѣтомъ разошлись очень довольные собою.

Когда разошлись гости, Герцикъ пришелъ въ полковничью опочивальню—она теперь сдѣлалась его комнатою—весело прошелъ по ней нѣсколько разъ, потирая руки, странно улыбаясь, и сѣлъ на кровать, на которой въ прошлую ночь лежалъ умиравшій полковникъ. Герцикъ задумался и вдругъ вздрогнулъ, быстро вскочилъ на ноги и, поднявъ коверъ, тревожно посмотрѣлъ подъ кровать: тамъ ничего не было.—„Дуракъ!“ прошепталъ Герцикъ, сѣлъ и опять задумался. Лицо его сдѣлалось страшно, болѣзненная дрожь пробѣгала по немъ, порою губы его судорожно искривлялись—Богъ вѣдаетъ, отъ злой улыбки или тяжелой боли сердечнаго страданія.

Уже было утро, а Герцикъ все еще сидѣлъ на кровати, задумчивый, печальный, опустил голову на руки, упертыя въ колѣни, и только тогда поднималъ ее, когда скрипнула дверь, и на порогѣ показался Касьянъ. Видно было по одеждѣ, что запорожецъ собирался въ дорогу.

— Ты, Касьянъ? спросилъ Герцикъ.

— Уже никто другой, отвѣчалъ запорожецъ:—прощай; я сейчасъ ѣду.

— Куда?

— Къ себѣ на зимовникъ. Тутъ мнѣ нечего дѣлать.

— Погоди, Касьянъ; погуляй съ нами.

— Спасибо. Не весело мнѣ, да и тебѣ, какъ видно, не очень весело.

— Правда твоя, Касьянъ; сейчасъ видно умнаго человека; не весело мнѣ; я лишился благодѣтеля, а тутъ еще покойникъ обидѣлъ бѣдную свою дочку; видитъ Богъ, Касьянъ, какъ мнѣ жаль ея и ея мужа! Ты самъ слышалъ, какъ я отказывался... что жъ дѣлать? рада присудила: нельзя, говорятъ, перемѣнить завѣщанія; воля покойника, говорятъ, свята.

— Не солгу, слышалъ.

— Ну, вотъ видишь, самъ не знаю, чего бъ я не далъ, чтобъ перемѣнить это... Видитъ Богъ, Касьянъ, я добрый человекъ; мнѣ Алексѣй Чайковскій большой пріятель; вотъ посмотри кинжалъ—это его подарокъ; скажи ему, что виситъ у меня, видишь, гдѣ? на почетномъ мѣстѣ. А Марина всегда была такая ласковая, всегда меня отпрашивала, какъ, бывало, покойникъ—чтобъ надъ нимъ земля перомъ лежала—захочетъ меня, бывало, потузить за что-нибудь...

— Спасибо и за доброе слово. Прощай.

28

— Нѣтъ, погоди, Касьянъ; скажи Маринѣ, что я всегда буду ее помнить и все имѣніе полковника буду считать ея имѣніемъ; я буду просто ея арендаръ; все ей доставлю: пусть ни въ чемъ не нуждается, ѣсть и пьеть изъ серебра, ходитъ въ бархатъ, слышишь?..

— Слышу.

— А на первый разъ возьми вотъ этотъ мѣшокъ дукатовъ, кланяйся отъ меня, и ея мужу кланяйся, скажи, что я съ нимъ скоро увижусь... Вотъ только управлюсь съ дѣлами, сейчасъ приѣду къ вамъ на зимовникъ. Погуляемъ вмѣстѣ, забудемъ горе...

— Изъ хорошихъ устъ хорошее и слово, отвѣчалъ Касьянъ, укладывая мѣшокъ въ карманъ безконечныхъ своихъ шароваръ.

— Теперь прощай, братику, прощай, Касьянъ; вѣришь ли, я и тебя люблю не меньше Алексѣя; что для него, то и для тебя готовъ сдѣлать. А какъ же мнѣ найти твой зимовникъ?

Касьянъ рассказалъ дорогу, поклонился и вышелъ. Скоро вздохнулъ онъ свободно на широкой родной степи. Вѣтеръ вѣялъ, трава шумѣла, добрый конь скакалъ; Касьянъ пѣлъ пѣсню, подбѣгая къ своему зимовнику.

VII.

„Ой полеты, галко,
„Де мій ридный батько—
„Нехай мене одвидас, колы мене жалко!“
Летить галка, криче,
А дивчина плаче:
„Нема въ мене риденького! тилько ты, козаче!“

Малороссійская народная пѣсня.

Гости пьютъ и ѣдятъ,
Рѣчи гуторятъ;
Про хлѣба, про покось,
Про старинушку.

А. Кольцовъ.

— Что вамъ сказать, мои дѣти? говорилъ Касьянъ Чайковскому и женѣ его, сидя за столомъ въ своемъ зимовникѣ. — На Гетманщинѣ, какъ я замѣтилъ, такъ все перепуталось, перемѣшалось, словно волосы въ войлокъ: порядку нѣтъ; одно только мнѣ чудно, хоть и вѣрно, что Герцикъ смотритъ великимъ мошенникомъ: такъ и просится на веревку, а дѣлаетъ хорошо, ей-богу, хорошо; что ни говори, у него душа лучше рожки.

— Ты, батьку, чудно говоришь, говоришь обиняками; тутъ что-то есть.

— Ничего нѣтъ.

— А батюшка что, полковникъ? спросила Марина.

— Ничего. Извѣстно: умеръ, похоронили, и все тутъ; всѣмъ придется умирать... Вотъ ты уже и плачешь, доню! Нехорошо...

Но Марина его не слушала; громкія рыданія, прерываемыя восклицаніями: *я этому причиною, на мою голову падетъ смерть его*, и подобныя въ этомъ родѣ задушали Марину.

— Вотъ, говори бабамъ правду! замѣтилъ Касьянъ: — онѣ изъ мухи коня сдѣлаютъ; и давай плакать... Татары его убили, а не ты; онъ не очень о тебѣ беспокоился...

Когда немного утихли рыданія Марины, Касьянъ рассказалъ всю исторію своей поѣздки, которая намъ уже извѣстна, и заключилъ ее словами: — Вотъ, я приѣхалъ къ вамъ ни съ чѣмъ, кромѣ этого мѣшка дукатовъ... Что ни говорили, а Герцикъ добрый человекъ.

— Такъ онъ не проклялъ меня?

— Вотъ дурная баба! За что бы онъ проклялъ тебя? Да коли бъ и проклялъ, я не скрѣлъ бы...

— Ну, я рада! камень свалился съ души моей отъ словъ твоихъ, Касьянъ. Меня не проклялъ отецъ... Благодарю тебя, Господи! Теперь я ничего не боюсь, я еще не одна на свѣтѣ... И Марина, обнявъ Чайковскаго, прильнула къ груди его и тихо плакала.

— И давно бы такъ!.. Богъ-знаетъ объ чемъ плачешь!.. прибавилъ Касьянъ. — Вы останетесь у меня жить; деньги у васъ есть и еще будутъ; зовите меня батькомъ, а умру—вашъ зимовникъ и все ваше: для васъ станеть; будутъ дѣти, сыновья—посылайте служить на Сѣчь; послужать, узнаютъ политику и характерство, — будутъ людьми. Вотъ и все тутъ. Полно, дѣти, плакать!

Спокойно зажилъ Чайковскій на зимовникѣ; днемъ ходилъ на охоту, вечеромъ слушалъ рассказы Касьяна о подвигахъ запорожцевъ въ давно-минувшія времена, и когда на какой-нибудь подвигъ была сложена пѣсня—а это было сплошь и рядомъ—то всѣ пѣли эту пѣсню, и Касьянъ пояснялъ имъ нѣкоторыя аллегоріи, безъ чего вы найдете мало пѣсенъ въ Малороссіи, что и подало поводъ многимъ умнымъ людямъ, непонимавшимъ ихъ, упрекать бѣдныя созданія народной поэзіи въ бессмыслицу.

Недѣли двѣ спустя, въ одно утро, старый Касьянъ очень-прилежно вырѣзывалъ изъ куска сухаго липоваго дерева столовую ложку; Марина, сидя у окна, вышивала цвѣтнымъ шелкомъ хустку (носовой платокъ) для мужа; Чайковскій, собираясь на охоту, посадилъ на руку ученаго ястреба и привязывалъ къ его лапѣ погребушку.

Вдругъ раздался конскій топотъ; нѣсколько казаковъ остановились у воротъ зимовника и спрашивали хлопца, ходившаго по двору: *это зимовникъ Касьяна?*

Касьянъ вышелъ и скоро возвратился, ведя гостя, одѣтаго въ богатый нарядъ.

— Алексѣй, другъ мой! закричалъ гость, бросаясь обнимать Чайковского.

— Неужели ты, Герцикъ? сказалъ Алексѣй. — Я въ-силу узналъ тебя... паномъ сталъ...

— Охъ, тяжело мнѣ это панство! Не говори объ немъ, братику! Касьянъ свидѣтель, какъ это случилось... Сердце у меня такъ и рвалось къ тебѣ... Какъ посмотрю на твой кинжалъ, да вспомню наше прощанье — помнишь, на Сѣчи — вотъ такъ сердце и рвется, такъ и шепчетъ: „есть у тебя другъ, ты забылъ его...“ Видитъ Богъ, правда!

— Постой, Герцикъ, я человекъ прямой; скажи мнѣ, ты зналъ, когда былъ на Сѣчи, что полковничья дочка, теперешняя моя жена, ушла?

— Ахъ, Богъ мой, и пани Марина здѣсь! Я отъ радости не замѣтилъ! Да какъ вы похорошѣли, пани; позвольте поцѣловать васъ...

— Ай, Герцикъ! ты сильно цѣлуешь, вскричала Марина, вырываясь отъ Гердика.

— Отъ радости себя не помню... Да; ты спрашивалъ, Алексѣй, зналъ ли я? Разумѣется, зналъ.

— Отчего жъ ты мнѣ не сказалъ?

— Э, братику! не такъ легко сказать печаль, какъ радость. Ты былъ такой веселый, что мнѣ было жалъ тебя печалить; да и мы сами не знали, гдѣ дочка полковника — пропала, и только. А сбѣжала ли она, утонула, или ее кто извелъ со свѣта — никто не зналъ. Какъ же мнѣ было сказать тебѣ!.. посуди самъ... Виновать, пожалѣлъ тебя; а видишь, все вышло къ лучшему. Чему быть, тому не миновать.

— И то правда, отвѣчалъ Алексѣй.

— Теперь, дядюшка Касьянъ, я попрошу твоей ласки, сказалъ Герцикъ: — не оставить моихъ казаковъ; со мною ихъ человекъ шесть; знаешь, взялъ для безопасности въ вашихъ степяхъ...

— Пустое! отвѣчалъ Касьянъ: — какъ Богъ дастъ, и одинъ человекъ пройдетъ: вотъ я всегда одинъ ѣзжу; а не дастъ — и десятокъ не спасетъ... А твоими и конямъ, и хлопцамъ будетъ мѣсто; у меня своихъ хлопцевъ человекъ десятка три, четыре живетъ на зимовникѣ, такъ шестерыхъ и не замѣтятъ.

— О-го! а я думалъ, одинъ живешь...

— Одинъ не долго бы прожилъ...

День прошелъ очень пріятно. Герцикъ привезъ много гостинцевъ для Касьяна, Чайковского, а особливо для Марины; говорилъ, что никогда не забудетъ благодѣяній отца, что мать Чайковского здорова и уже знаетъ о женитьбѣ ~~своей~~, и что даже онъ постарается привезти ее зимою на зимовникъ, и тому подобными рѣчами расположилъ ихъ всѣхъ въ свою пользу; даже и Чайковскій началъ подумывать: „да, въ самомъ дѣлѣ Касьянъ правъ: Герцикъ добрый малый“. Одна только Марина инстинктивно ненавидѣла его и не хотѣла принимать подарковъ.

Касьянъ угощалъ на славу, и за ужиномъ, послѣ порядочнаго чаркованья, гость сдѣлался совершенно своимъ. Начали разсуждать, какъ провести завтрашній день.

— Я предлагаю вамъ съѣздить на охоту, сказалъ Касьянъ: — здѣсь очень много дичи, а я займусь самъ съ кухаремъ, да пригтовлю вамъ такой столъ, что и гетману не имѣтъ подобнаго. Я самъ, ей-богу, самъ — не смотрите, что старъ — а вотъ такъ засучу рукава по локти, вотъ какъ, видите, и пошелъ стряпать... Вы не шутите со мною!

— Прекрасно, дядюшка Касьянъ! подхватилъ Герцикъ: — мы поѣдемъ съ Алексѣемъ на охоту... у меня же есть чудесное ружье...

— И у меня тоже, прибавилъ Алексѣй: — и дичь, я знаю, гдѣ водится.

— Стой! закричалъ Касьянъ: — видать сейчасъ, что оба гетьманцы. Хлопать пойдутъ по степи; одну штуку убьютъ, а десять разгонять... То ли дѣло съ ястребами! у меня и ястреба есть.

— Что за охота съ ястребомъ? То ли дѣло ружье! сказалъ Герцикъ. — Я и не умѣю охотиться съ ястребомъ, а поѣду съ ружьемъ... Правда, Алексѣй? Поѣдемъ съ ружьями.

— Эхъ, вы, дурныя головы! что ваше ружье? выстрѣломъ убилъ и конечно, да разогналъ, распугалъ десятокъ. А какъ спустишь ястреба, какъ взвощется онъ, какъ бросится съ налету на птицу — шумитъ воздухъ, крѣпкія перья будто струны звенятъ на крыльяхъ... да, звенятъ, прислушайся, коли *есть* уши; не даромъ сложена пѣсня:

Конь бѣжитъ — земля дрожитъ,
Соколъ летитъ — перо звенитъ.

Ей-богу, чудо какъ весело! Нѣтъ, съ ястребами поѣзжайте на охоту; я самъ бы поѣхалъ, да дѣла много дома; а вы молодой народъ: погарцуете — и пообѣдаете вкуснѣе.

Герцикъ еще противорѣчилъ Касьяну, но старикъ и слышать не хотѣлъ; итакъ, рѣшено завтра утромъ рано ѣхать на ястребиную охоту.

Было любо смотрѣть на Герцика и Чайковского, когда они утромъ выѣхали вдвоемъ на охоту. Марина еще спала; старый Касьянъ въ нагольномъ тулупѣ проводилъ ихъ за ворота, повторяя разные охотничьи наставленія. Весело ѣхали они рядомъ рука-объ-руку, какъ родные братья, смѣялись, разговаривали, вспоминали прошедшее... Когда зимовникъ скрылся совершенно изъ виду, Герцикъ пустил своего ястреба на стрепета: ястребъ сразу убилъ неповоротливаго соперника, стрепеть упалъ на песчаную поляну, поросшую мелкимъ бурьяномъ; охотники подсаkali къ дичи, слѣзли съ лошадей.

— Славная штука! говорилъ Чайковский, подкидывая на одной рукѣ стрепета.

— Это ли охота! отвѣчалъ Герцикъ:— стрепета ловить — просто брать мясо руками.

— Правда; вотъ если бъ журавль, натѣшились бы.

— Да, посмотри, не журавль ли это?

— Гдѣ?

— Вонъ высоко-высоко, будто черная точка въ небѣ, прямо надъ твоею головой.

Чайковский поднялъ голову, пристально глядя въ синее небо. Герцикъ, не сводя глазъ съ Алексѣя, быстро присѣлъ, опустил до земли руку, захватилъ горсть песка и — жалобно вскрикнулъ. Алексѣй испугался, когда посмотрѣлъ на него: страшно крича, блѣдный отъ страха, Герцикъ махалъ по воздуху правою рукою; около руки, какъ тонкая плетка, вилась темно-сѣрая змѣя.

— Алексѣй, спаси меня! Злая гадина впиалась мнѣ въ большой палецъ, кричалъ Герцикъ: — и не оставляетъ меня, огнемъ жжетъ, проклятая.

Наконецъ убили змѣю; Герцикъ былъ блѣденъ, желтъ; холодный потъ крупными каплями блестѣлъ на лбу его; укушенный палецъ покраснѣлся, распухъ.

— Пропалъ я! шепталъ Герцикъ: — наказание Божіе... видимое наказаніе.

— Пустое! говорилъ Чайковский: — мало ли змѣи кусаютъ, да не всѣ укушенные умираютъ: притомъ же эта змѣя была маленькая, тоненькая — дрянъ.

— Это и страшно, что она маленькая да тоненькая; это и есть самая злая порода; не всякій знахарь отшепчетъ ее!.. Богъ наказалъ меня!..

— Перестань, не гнѣви Бога; ты сдѣлалъ доброе дѣло: утѣшилъ насъ, помогъ намъ, за что тебя наказывать?

Герцикъ молча покачалъ головою.

— Я ума не приложу, какъ она тебя укусила?

— Богъ наказалъ! я хотѣлъ...

— Что хотѣлъ?

— Хотѣлъ... сорвать былинку, а она, скверная змѣя, вѣрно лежала подъ кустикомъ и схватила за палецъ. Ой! Господи, какъ болить! морозъ за кожей ходитъ. Поѣдемъ, братъ, поскорѣе домой.

Печально пріѣхали на зимовникъ наши охотники. Чайковский велъ въ поводу лошадь Герцика, который едва сидѣлъ на сѣдлѣ: такъ его корчила страшная боль; рука раздулась, распухла, словно обрубокъ; на ней, будто ростки, торчали пальцы; отъ укушеннаго мѣста, какъ лучи, шли во всѣ стороны багровыя линіи.

Касьянъ распоролъ рукавъ кафтана и рубахи, потому что ихъ снять уже было невозможно, посмотрѣлъ на руку и хладнокровно сказалъ: — Ничего, пройдетъ. Меня на вѣку три раза кусали змѣи, да все знахари отшептывали; только ничего не кладите на рану, пока пріѣдетъ знахарь; я пошлю сейчасъ за нимъ хлопца — онъ недалеко живетъ.

VIII.

У вивторокъ зилъя варила,
А у середу Грия отруила.

Малорос. народная пѣсня.

Я не таковъ: нѣтъ, я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь,
Или хоть мщеніемъ наслажусь.

А. Пушкинъ.

Хлопецъ не засталъ знахаря дома и рысдой поплелся назадъ.

День былъ къ вечеру. Ъдѣтъ хлопецъ, а на встрѣчу идетъ, Богъ ее знаетъ откуда, цыганка, въ синей исподницѣ, въ красной, изорванной юбкѣ, старая, скверная, лицо какъ ржавый котелокъ, волосы сѣдые висятъ клочками изъ подъ какой-то грязной тряпки, намотанной на голову; носъ крючкомъ къ бородѣ, борода крючкомъ къ носу, а глаза такъ и свѣтятся. Хлопецъ перекрестился и, боязливо снявъ шапку, сказалъ:

— Здравствуй, тетушка!

— Здорово, небожъ! отвѣчала она шепелявя: — куда Богъ несетъ?

— Домой.

— А откуда?

— Ъзидилъ за знахаремъ; дома не засталъ.

— А на что вамъ знахарь?

— Казака укусила гадюка (змѣя).

— Охъ, Боже мой! и давно укусила?

— Не знаю когда, должно быть сегодня: вчера онъ былъ еще некусанный, и поутру

сегодня поѣхалъ на охоту, кажись, некусанный, а о полудни вернулся уже укушенный.

— Ну, благодари Бога, что повстрѣчалъ меня! Веди меня скорѣе; я помогу ему, я знаю заговаривать и кровь, и змѣю, и лихорадку, и всякія напасти; веди меня.

— Спасибо вамъ, тетушка, отвѣчалъ, почесываясь въ затылкѣ, хлопецъ, которому очень не хотѣлось быть вмѣстѣ со страшною цыганкою:—да меня не за вами послали; боюсь, какъ разсердится.

— Дурень! Развѣ не все равно, кто ни вылечитъ казака? Еще спасибо скажетъ тебѣ хозяинъ; а умереть человѣкъ, на твоей душѣ грѣхъ будетъ.

„Правду говорить бѣсова баба“, подумалъ хлопецъ: „да страшно! Если она, вѣдьма, зайдетъ сзади, вскочитъ на коня и послѣ и мнѣ на плечи и станетъ ѣздить на мнѣ куда захочетъ...“

— Что же ты молчишь?

— Пожалуй, тетушка; только, будьте ласковы, найдите со мною рядомъ, а ступайте впередъ; я буду рассказывать дорогу, а то мой конь не любитъ бабьяго духу.

Цыганка пошла впередъ; хлопецъ поѣхалъ за нею шагомъ на благородномъ разстояніи.

Солнце зашло, и полная луна взошла на чистое небо, когда хлопецъ и цыганка прибыли на зимовникъ.

Въ темной комнатѣ стоналъ Герцикъ; его рука распухла до плеча и будто покрылась лакомъ; но опухоль не шла далѣе. Видно, ядъ потерялъ свою силу. Въ сосѣдней комнатѣ сидѣли, при свѣтѣ каганца (плошка изъ толстой свѣтильни и бараньяго жира), Касьянъ и Чайковскій съ женою, разсуждая, куда пропасть хлопецъ. Наконецъ, онъ явился.

— Гдѣ ты пропадалъ, вражій сынъ? закричалъ Касьянъ:—человѣкъ умираетъ, а ты вѣрно спалъ въ степи? Гдѣ знахарь?

— Знахаря нѣтъ дома; сказали: поѣхалъ въ Паланку (родъ городка осѣдлыхъ запорожцевъ) лечить кукую-то панну; говорить, что-то съѣла что-ли, такъ въ животѣ не благополучно; а вернется послѣзавтра; сказали, прійдетъ.

— На чорта онъ мнѣ послѣзавтра, дурень? Гдѣ же ты пропадалъ?

— Я нигдѣ не пропадалъ, а все ѣхалъ ходою, проводилъ сюда какую-то знахарку, что ли, цыганку, что ли, я не разберу ея толкомъ; старъ человѣкъ, тихо ходитъ, а говорить: „вылечу отъ гадюки“. Вотъ мы и опоздали.

— Гдѣ же твоя знахарка?

— Тутъ за дверью, за дверью, только не испугайтесь. Пожалуйте сюда, тетушка!

Хлопецъ, толкнувъ ногою, отворилъ дверь и быстро отошелъ въ сторону. Цыганка вошла.

— У васъ есть недужій (больной), говорила она—змѣя укусила его; злая змѣя въ это лѣто, очень-злая трудно заговаривать ихъ, а я знаю заговорку, заговорю змѣю, хоть водяную, хоть степовую...

— Это степовая, сказалъ Чайковскій.

— А ты почему знаешь? ты знахарь? Такъ заговори, коли знахарь.

— Я не знахарь. Богъ не далъ мнѣ мудрости, а змѣя укусила на степи, такъ должна быть степовая.

— Не мѣшайся не въ свое дѣло; ученаго учить—портить.

— Правда, тетушка, сказалъ Касьянъ:—идите скорѣе къ больному, время не терпитъ.

Цыганка сбросила съ головы тряпку, встряхнула головою, и длинные сѣдые волосы совершенно закрыли лицо ея; потомъ подошла къ Герцику, освѣтила ему руку, взглянула на лицо и остановилась.

— Что, бабушка, можно отпептать? спросилъ Герцикъ жалобнымъ голосомъ.

— Можно, лишь бы угодно было Богу. Я, кажется, гдѣ-то видѣла тебя? Не ворожила я тебѣ когда-нибудь?

— Нѣтъ, бабушка, никогда не ворожила; въ первый разъ тебя вижу.

— Ну, хорошо; идите себѣ, вынесите и свѣтло.

Всѣ вышли въ другую комнату; скоро послышалась заговорка цыганки:

„Помолюся Господу Богу и всѣмъ святымъ его! Десь-не-десь, на Лукоморѣ стоитъ яблоня сухая; на тую яблоню муха налетаетъ, листъ обвиваетъ, черва нападаетъ, корень источаетъ, яблоню стубляетъ... и на человѣка, раба Божьяго, есть напасть злая, болѣсть и хворобы и всякія наробы, и гады заклятые; ты у меня, подтинница, веретинница, не крутись, не вертись; я тебя знаю, отъ сестеръ различаю: есть веретинница луговая, лѣсовая, гноевая, земляная и веретинница водяная. Я тебя словомъ сильнымъ изгоняю, заклинаю; убирайся къ сестрамъ посестричкамъ, малымъ невеличкамъ, гдѣ топоръ не стучитъ, гдѣ люди не ходятъ, гдѣ коровы не бродятъ, куда пѣтушинный голосъ не залетаетъ; не палить, не сушить тебѣ бѣлаго лица, желтыя кости, горячія крови раба Божія!... Тфу! сгинь!... сгинь, говорю!“

Три раза прочитала цыганка заговорку и вышла въ другую комнату, гдѣ на нее съ благовѣніемъ смотрѣли Касьянъ и Чайковскій съ женою.

— А что? спросилъ Чайковскій

— Трудная змѣя, не простая змѣя! да и запустили рану; много времени прошло... посмотримъ, что будетъ.

Черезъ нѣсколько времени пошли къ больному. Рука была все въ одномъ состояніи.

— Каково тебѣ? спросилъ Касьянъ.

— Немного стало будто легче.

— Худая примѣта! сказала цыганка:— послѣ этой заговорки должно быть немного труднѣе: ядъ испугается и начнетъ метаться, а то онъ спокоенъ: злая змѣя укусила тебя!... Опасно, очень опасно; заговоръ не беретъ, надо лечить, вотъ приложимъ на рану этотъ корень: онъ послѣднее средство.

Цыганка достала изъ кармана своей юбки корешокъ темнаго цвѣта, разрѣзала его, помочила водою, приложила на рану и крѣпко обвязала кругомъ тряпкою.

— Это поможетъ? спросилъ Чайковскій

— Поможетъ. Какая бы ни была змѣя, отъ всякой поможетъ, развѣ укусить змѣиха, у которой убили дѣтей: отъ этой ничто не поможетъ, ничто не спасетъ, говорила цыганка, странно улыбаясь.

Не успѣла цыганка закончить своихъ рѣчей, какъ Герцикъ страшно застоналъ, заметался на постели.

— А что? спросила цыганка.

— Жжетъ, словно огнемъ; жилы тянетъ..

— А-га! испугался ядъ. Терпи казакъ, атаманъ будешь.

Но Герцику не вмошь было терпѣть: онъ метался, кричалъ, ревѣлъ нечеловѣческимъ голосомъ и сорвалъ перевязку. Съ ужасомъ всѣ увидѣли страшную перемѣну: рука посинѣла, опухоль быстро подвигалась къ шеѣ; укушенный палецъ почернѣлъ.

— Жаль мнѣ тебя, добрый казакъ! говорила цыганка, смотря прямо въ глаза Герцика:— ты умрешь, непременно умрешь, никакія силы не спасутъ тебя, и умрешь скоро: опухоль охватитъ горло и задушитъ. Пошли за попомъ, приготовься къ смерти; тебя укусила змѣиха, у которой отняли дѣтей; ядъ ея неизлѣчимъ... неизлечимъ ея ядъ... Слышишь? Не увидишь ты болѣе солнца; въ эту ночь закроются на вѣки глаза твои.

И, страшно улыбаясь, глядѣла она въ очи Герцику, будто съ наслажденіемъ читая въ нихъ всю глубину мученій безнадѣжнаго состоянія.

— Одойди отъ меня, простоналъ Герцикъ.

Цыганка тихо вышла изъ комнаты, изъ другой, и скрылась.

„Чужая бѣда людямъ смѣхъ“, говоритъ народная поговорка и, къ несчастію, она, какъ и всѣ поговорки, очень справедлива. Въ природѣ чловѣка есть много зла;

всѣ четвероногія и четверорукія, говоря въ смыслѣ животномъ, отдавая преимущество своему двурукому собрату въ умѣ и способностяхъ, должны уступить ему и въ жестокости. Стоитъ сравнить дикаго, который съ радостнымъ смѣхомъ и неистовыми прыжками рѣжетъ на части живаго чловѣка и съ наслажденіемъ ѣстъ его еще трепещущее тѣло, стоитъ сравнить съ христіаниномъ, который любитъ и враговъ своихъ, чтобъ убѣдиться въ святости и божественности религіи и великой силѣ воли чловѣка духовнаго, такъ побѣдившаго, уничтожившаго животнаго чловѣка... Но есть люди, даже въ образованномъ обществѣ, люди-ненавистники, странныя натуры, которымъ несчастье ближняго доставляетъ душевное наслажденіе; они безъ всякой видимой причины готовы дѣлать зло, гдѣ только можно, готовы повредить вамъ не изъ желанія поважничать, не изъ корыстолюбія, не изъ личныхъ отношеній—нѣтъ, а просто безотчетно, для собственнаго своего удовольствія готовы замазать ваше доброе имя, уничтожить вашу службу, испортить всю вашу будущность, чтобъ послѣ въ тишинѣ кабинета сказать самому себѣ самодовольно: „А! онъ страдаетъ! онъ терпитъ. Это мое дѣло!“ Но если чловѣкомъ овладѣваетъ страсть, особливо мщеніе, тогда тигры и гремучія змѣи передъ нимъ—кроткіе барашки; онъ способенъ удивить самое воображеніе.

Старая цыганка вышла изъ хаты, и, подойдя къ окну, сѣла на корточкахъ на завалинѣ, смотря съ наслажденіемъ въ окно на муки умиравшаго Герцика. По временамъ улыбалась она, тихо смѣялась, закрывая рукою ротъ и шептала: „Это ядъ змѣихи, у которой отняли дѣтей. А что? любо? тянетъ жилы твои? ломитъ кости? палить, сушить казацкую поганую кровь?.. Не помню, гдѣ я его видѣла, какъ онъ ушелъ отъ моихъ рукъ; еще ни одинъ не уходилъ... ни одинъ...“

— Охъ! тяжело! стоналъ Герцикъ:—жарко, душно! дайте воды... умру я. Неужели нѣтъ никакого спасенія?.. И онъ страшно озираясь, медленно поводилъ уродливою больною рукою, а здоровою рвалъ на себѣ волосы...

Касьянъ и Чайковскій печально стояли у постели больного. Марина подала ему ковшъ холодной воды. Слезы струились по лицу Марины и падали въ ковшъ.

— И ты плачешь обо мнѣ, Марина?.. О, Боже мой!.. Не даромъ я умираю... Дай воду. У! какъ свѣжа она!.. Легче, право, легче... Марина, для меня принесла воду, Марина.

— Для тебя, Герцикъ.

— Для меня?!.. Какъ бы хотѣлось мнѣ заплакать!.. Да слезы высохли, искры сыплются изъ глазъ вмѣсто слезъ. Что, Касьянъ, умру я? скажи правду?

— Пошлю я за священникомъ, Герцикъ: опухоль у самого горла; знахарка правду сказала.

— Чортова колдунья! Она извела меня со свѣта. Какъ приложила корешокъ, будто огня въ меня налила. Охъ!.. дайте мнѣ ее, я задую ее одною рукой!

— Полю, Герцикъ, гнѣвить Бога не хорошими рѣчами! сказалъ Чайковский:—Богъ все знаетъ, все видитъ, самъ накажетъ грѣшника! лучше подумай о покаяніи... Время дорого; ты не баба, приготовься...

— А я пошлю за попомъ, прибавилъ Касьянъ.

— Нѣтъ, закричалъ Герцикъ:—я не могу видѣть попа. Правду сказалъ ты: Богъ накажетъ грѣшника... накажетъ!.. Я вамъ исповѣдую грѣхи свои: перестанетъ Марина плакать обо мнѣ, вы отступите отъ меня... Я грѣшникъ, страшный грѣшникъ... Позовите сюда моихъ казаковъ, позовите своихъ людей, пускай всѣ слушаютъ. Охъ! воды, воды!..

Полная свѣтлица набралась народа. Всѣ окружили Герцикову постель и молча стояли. Герцикъ посматрѣлъ кругомъ, закрывъ глаза лѣвою рукою, какъ бы собираясь съ мыслями, спросилъ воды, и началъ исповѣдь:

— Не гляди на меня, Марина, такими кроткими глазами; я не стою этого; я причина всѣхъ вашихъ бѣдъ: я привелъ полковника на островъ, потому что я любилъ тебя; мнѣ было завидно, что ты любишь другого... Много безсонныхъ ночей провелъ я, думая о тебѣ, проклиная свое рожденіе. Ты знаешь, кто я былъ, а ты была дочь моего полковника; я былъ рабъ твоего отца и твой; мнѣ было любо унижаться передъ тобою, и ни одного взгляда, ни одного привѣта отъ тебя не было мнѣ... Я проклиналъ твой образъ, когда онъ являлся мнѣ во снѣ, и любилъ тебя еще болѣе. Могъ ли я терпѣть любовь твою къ Алексѣю?.. а у меня глазъ очень зорокъ: я все видѣлъ и поклялся извести Алексѣя, сдѣлаться богатымъ и, во что бы то ни стало, быть твоимъ мужемъ. Мнѣ стало жить веселѣе, у меня была цѣль, для чего жилъ я... Жарко... воды!

Марина подала ему воду.

— Добрая душа! Какъ бы мнѣ хотѣлось теперъ заплакать!.. Вышло не такъ, какъ я думалъ. Алексѣй ушелъ, ты ушла, никто и слѣда вашего не зналъ... Я овладѣлъ довѣренностью полковника, я сталъ другомъ ему въ его одиночествѣ. Между тѣмъ, по-

шли въ народѣ толки о татарахъ, будто хотятъ напасть на насъ; я вызвался ѣхать на Сѣчь, и тамъ, узнавъ тебя, предать васъ въ руки запорожцевъ. Не мнѣ, такъ и не ему! думалъ я, выѣзжая изъ Сѣчи, и поѣхалъ не въ Лубны, а въ Крымъ, гдѣ сговорился отдать Лубны крымцамъ, а возвратясь, донесъ полковнику, что все благополучно, и что васъ казнили на Сѣчи. Полковникъ не велѣлъ никому этого рассказывать; я и замолчалъ, поджидая гостей. Одинъ жидъ, котораго хотѣли поляки повѣсить за поддѣлку монеты, ушелъ въ Лубны и ходилъ въ казачьемъ платьѣ, называя себя казакомъ, а онъ былъ Гершко, мѣдникъ изъ Львова; я познакомился съ Гершкою и посылалъ его шпиономъ, куда было нужно. Въ одинъ день, рано утромъ, Гершко сказалъ мнѣ, что въ оврагѣ будутъ крымцы. Я поѣхалъ будто на охоту и видѣлся съ ними и продалъ имъ полковника; но, пріѣхавши, узнаю, что у полковника запорожецъ и полковникъ знаетъ уже о крымцахъ, и что дочка полковника жива. Съ первыхъ словъ, я хотѣлъ извести тебя, Касьянъ; но когда узналъ, что у тебя живетъ Марина, я повелъ дѣло иначе—ты знаешь какъ. Полковника, по условію, я выставилъ крымцамъ: по перышку на шапкѣ они узнали меня и его; но Гадюка освободилъ его полумертваго; пирятинцы не пустили татаръ ворваться въ городъ... Я опять повелъ дѣло иначе. Подъ кровать умиравшаго полковника посадилъ Гершко, и когда умеръ полковникъ, Гершко разговаривалъ съ старшинами вмѣсто полковника и приказалъ старшинамъ выполнить завѣщаніе, которое я самъ написалъ подъ руку полковника. Гершко ушелъ въ отпертое окно; я не знаю, гдѣ онъ — найдите его, онъ вамъ лучше расскажетъ. И вотъ я сталъ богатъ, очень богатъ; но ты, Марина, была жива, тебя обнималъ другой, а не я—обнималъ злѣйшій мой врагъ, отъ-того, что ты любила его. Это мнѣ не давало спать покойно. И я поѣхалъ сюда въ зимовникъ и взялъ съ собою лучшихъ казаковъ... Винюсъ передъ вами, хлопцы, хотѣлъ употребить васъ на нечистое дѣло и силою взять Марину... Но много людей у тебя, Касьянъ, на зимовникѣ, каждую ночь ходятъ вооруженные сторожа, и я переѣхалъ дѣло: хотѣлъ на охотѣ застрѣлить Алексѣя, сказать, что онъ самъ застрѣлился—и тутъ не удалось; ты, Касьянъ, выпроводилъ насъ съ ястребами, только и было у насъ по кинжалу за поясомъ. Хотѣлось мнѣ, очень хотѣлось отправить тебя, Алексѣй, на тотъ свѣтъ твоимъ же кинжаломъ, да не мое дѣло владѣть холоднымъ оружіемъ, особливо противъ людей сильнѣе меня, здоровѣе меня..

Вотъ я показаль тебѣ журавля въ небѣ, хоть его совсѣмъ тамъ и не было; думаю, ты подымеешь глаза, а я засыплю тебѣ пескомъ глаза, и пока ты будешь слѣпъ, заколю тебя: въ одинъ разъ не удастся, десять разъ ударю кинжаломъ, и ты не будешь видѣть меня, не будешь знать, съ которой стороны падеть ударъ... Ты поднѣяль глаза, я захватилъ горсть песку, да вмѣстѣ схватилъ и смерть свою. Богъ послалъ страшную змѣю: отъ Его руки умираю теперь... Охъ, воды! Боже мой! и вы даёте мнѣ воду, и вы помогаете страшному грѣшнику?.. А какъ полковникъ любилъ тебя, Марина! какъ мнѣ говорилъ много о тебѣ передъ смертью: я все затаилъ, грѣшный человѣкъ... Простите меня!

— Богъ наказаль, Богъ и проститъ тебя, сказалъ Алексѣй:—а мы простили...

— И ты, Марина, не сердись на меня? Охъ, душить!... И ты простила?

— Богъ тебя проститъ, Герцикъ...

— О, Боже мой!... Чайковский! Алексѣй, я умру скоро, не откажи въ просьбѣ, позволь Маринѣ проститься со мною... Пускай! твой поцѣлуй, будто крыло ангела, освѣтитъ меня предъ смертію...

Марина подошла къ нему, подумала и тихо наклонилась къ лицу Герцика. Въ тишинѣ только зашумѣли, опускаясь, металлические кресты и дукаты, висѣвшіе на шеѣ Марины.

— Отойди!... страшно закричалъ Герцикъ: —отойди! я укушу тебя... Зачѣмъ ты такъ хороша?... Боже мой... Да... это что?... Охъ, душить! Точно... это она, святая монета... тихо говорилъ Герцикъ, будто припоминая сонъ:—да зачѣмъ ты носишь нашу монету?

— Какую вашу?

— Иерусалимскую монету! Вотъ она у тебя виситъ на шеѣ, рядомъ съ крестомъ; она мнѣ сверкнула въ глаза страшнымъ воспоминаніемъ; такую монету моя мать надѣла на шею маленькой сестрѣ моей давно-давно. Эта монета отъ святаго человѣка, эта монета изъ храма Соломона... Надѣла на шею, а казаки взяли сестру мою... Что вы такъ смотрите? что глядите! Я еврей...

Съ ужасомъ всѣ отступили отъ Герцика.

— Бойтесь меня? Теперь нечего бояться! Я какъ теперь помню сестру: черныя очи, на правой щекѣ красная родимочка... Хороша была сестра моя... Куда вы?...

— Иосель, Иосель, сынъ мой! кричала старая цыганка, вбѣгая въ свѣтлицу и бросаясь на грудь Герцика.—Будь проклятъ часъ, когда ты надѣлъ казачье платье! Я не узнала тебя... Горе мнѣ! не узнала род-

наго дѣтища, сама убила тебя, положила ядъ на рану, не змѣйный ядъ, свой ядъ; много имъ отправила я на тотъ свѣтъ враговъ нашихъ, злыхъ казаковъ; я мстила за васъ, мои дѣти; мнѣ было любо, когда умиралъ казакъ; я думала: вотъ новый выкупъ за дѣтей моихъ!... И сама тебя отравила! Горе мнѣ! ты умрешь, Иосель—силенъ ядъ! Горе мнѣ! горе!

И старуха упала на полъ, ломая руки, судорожно теребя костистыми пальцами сѣдые пряди волосъ своихъ.

— Что вы смотрите? Смѣйтесь, враги мои! Не я убила сына, вы убили его. Слушайте, какъ хрипитъ онъ! А гдѣ дочь моя, гдѣ моя Текля?... Вы убили ее, вы взяли нашу монету... Вотъ она, вотъ она! кричала цыганка, схвативъ мѣдный дукать, подаренный Татьяною, который висѣлъ на шеѣ Марины:—вотъ благословеніе хосета. Еще видны на немъ слѣды зубовъ моихъ: я заломила край дуката своими зубами, прощаясь съ дочерью. Нѣтъ уже зубовъ твоихъ! растеряла я ихъ по вашимъ степенямъ; но я полила ихъ нашею кровью, и выросутъ изъ нихъ на вашу голову страшныя змѣи. Гдѣ дочь моя?

— Она умерла, отвѣчалъ Чайковский.

— Умерла! Богъ мой! Слышишь, Иосель, сынъ мой? Она умерла, умерла, сестра твоя! слышишь?

Но Герцикъ лежалъ уже мертвый.

— Что же ты не отвѣчаешь, сынъ мой? Не гляди такъ страшно на меня! Я убійца твоя, но я не желала тебѣ зла. Посмотри! И, быстро разорвавъ на груди рубаху, достала цыганка старый кошелекъ и высыпала на мертваго горсть мелкихъ монетъ. —На, вотъ они; я для васъ собирала, питалась по цѣлымъ днямъ травами, жила какъ собака, ночевала подъ заборами и собирала деньги, чтобъ отдать вамъ, мои дѣти. Я мстила за васъ и жила для васъ! Да скажи жъ хоть одно слово! не гляди на меня такъ страшно, Иосель! И старуха сильно дергала за руку трупъ; трупъ безсмысленно кивалъ головою.

— Онъ умеръ, сказалъ Касьянъ.

— Умеръ,—тихо проговорила цыганка:—умеръ? И она умерла, и онъ умеръ?... Умеръ?... Умеръ, ха-ха-ха! Еще одинъ умеръ! двухъ-сотый умеръ! Хорошо, Рохла, хорошо!... У, гу, гу, гу!... зацѣла старуха, поднявъ кверху руки и, ходя по комнатѣ, поводила на всѣхъ безумными глазами.

Казаки со страхомъ жались по угламъ.

— Убирайся, нечистая сила, откуда пришла! сказалъ Касьянъ, широко растворяя двери:—не намъ тебя судить; Божій судъ надъ тобою.

„У, гу, гу, гу!“ пѣла старуха, и хотала безумно, и, подпрыгивая, тихо пошла по степи, озаренной луною. Страшно краснѣла при лунѣ яркая одежда колдуньи и сверкали сѣдые волосы, разметанныя по плечамъ. Но вотъ уже ее стало не видно: только изрѣдка долетало протяжное гу, гу! и печально завывали на зимовникѣ собаки, отвѣчая на эти отголоски.

IX.

„Добре, добре! ну, до танцивъ,
„До танцивъ, кобзарю!“

Т. Шевченко.

— Грому, грому, хлопцы! кричалъ запорожець, неистово выплясывая посреди свѣтлицы отчаяннаго казачка.

Музыка гремѣла, стонала; казалось трубы готовы были разлетѣться отъ ярыхъ звуковъ, литавры и барабаны полопаться отъ усиленныхъ ударовъ; другихъ инструментовъ не было слышно. А запорожець кричалъ: „грому, грому!... грому, собачьи дѣти!“ Никита разгулялся и кружился быстрымъ вихремъ по комнатамъ, то вскинувъ кверху руки, выросталъ краснымъ столбомъ подъ потолокъ, то со свистомъ и щелкомъ растилался по землѣ, словно пламя, гонимое сверху вѣтромъ. Кругомъ плясуна толпились хорошенькія личики дѣвушекъ, и синіе жупаны гетманцевъ, и зеленныя черкески запорожскаго товариства.

— Давно такъ бы топцовали, еслибъ слушали Гадюку! сказалъ Гадюка Касьяну, стоявшему подлѣ него,—и онъ самъ танцевалъ бы.

— Кто? спросилъ Касьянъ.

— Извѣстно, покойный полковникъ! Душа у меня не лежала къ Герцику; я узналъ кое-что отъ прохожаго кобзаря изъ Польши, и сталъ-было обнякомъ рассказывать полковнику, да ты пріѣхалъ и помѣшалъ.

— Вотъ что! Что жъ ты ему прямо не сказалъ?

— Не такой былъ покойникъ; у него коли, было, хочешь, чтобъ спалъ, такъ говори: не спи—онъ нарочно и ляжетъ, чтобъ показать характерство. Такая была упрямая душа! Я уже сталъ-было ему говорить околицею, да не удалось досказать. Такъ и умеръ не дослушавши... Жаль!.. Тряхнемъ, Касьянъ, стариною?

— Тряхнемъ!

И оба, выскочивъ изъ толпы къ Никитѣ, начали выписывать ногами невообразимые вензеля.

Третій день уже длился пиръ въ Пирятинѣ—такой пиръ, какого и старики не помнили и потомки впоследствии никогда не видѣли, а намъ тѣмъ болѣе не увидѣть. Третій день уже пировали у пирятинскаго сотника Чайковскаго неслыханные гости запорожцы съ своимъ кошевымъ Зборовскимъ. Шуму, крику, потѣхамъ конца не было. То на раскрашенныхъ лошадяхъ ѣздили по городу разныя машкары (маски), кто жидомъ, кто дыганомъ, кто нѣмцемъ; нѣкоторые, даже не боясь грѣха, наряжались чортомъ, совершеннымъ чортомъ, настоящимъ чортомъ и съ хвостомъ, и съ рогами: то, выходя на базаръ, запорожцы садились въ чаны съ дегтемъ (смолою), и представляли, какъ души грѣшниковъ кипятъ въ аду, а послѣ, выскочивъ, всѣ мокрые, бросались въ пылъ, въ песокъ и валялись по землѣ, потѣшая народъ.

— Да откуда набралось у васъ этого народа? спрашивалъ захожій прилучанинъ своего пріятеля пирятинца.

— Развѣ ты не знаешь, что сынъ нашего покойнаго протопопа жилъ на Сѣчи, женился на дочери лубенскаго полковника и сталъ богатъ? Тутъ пѣлая исторія. На той недѣлѣ казнили жидъ Гершка: онъ имъ много дѣлалъ зла, я расскажу тебѣ послѣ. А какъ нашего сотника выбрали въ Лубны полковникомъ на мѣсто покойнаго Ивана, вотъ мы и сдѣлали Чайковскаго своимъ сотникомъ. А тутъ подѣхали гости, старые пріятели Чайковскаго изъ Сѣчи, и заварили кашу. Вѣришь, братику, третій день жонки обѣдать не варятъ: все смотрятъ на чудеса; хорошо, что хоть у сотника на дворѣ всего вдоволь: ѣшь, пей и танцуй, коли вздумаешь. Не хочешь ли перекусить? Пойдемъ.

— Кто отказывается отъ хлѣба-соли...

— Славный завтракъ! говорилъ прилучанинъ своему пріятелю, убирая за обѣ щеки жареную баранину.

— Нашъ сотникъ богатъ; и еще недавно купилъ себѣ землю въ Домановѣ надъ Днѣпромъ, знаешь — то самое мѣсто, гдѣ онъ присталъ къ запорожцамъ.

— Купилъ?

— Купилъ. Эхъ, жаль, что теперь не лѣто! Оно хоть и не холодно, вторые Параски (14 октября), да все уже осень; паны сидятъ въ комнатахъ: знаешь, нѣжные—а то бы ты увидѣлъ столько панства, что еслибъ каждый снился въ ночь по разу, то руки устали бы отъ крестовъ... Здѣсь и лубенскій полковникъ, и сотники, и эсаулы, и хорунжіе, и всякое панство...

Тутъ распахнулись двери изъ панскаго дома; выскочилъ Никита, а за нимъ толпа запорожцевъ и музыкантовъ, и всѣ съ

пѣніемъ, съ пляскою пустились къ погребу Чайковского. Въ минуту были выкачаны нѣсколько десятковъ бочекъ и боченковъ съ наливками и медами и внесены въ домъ.

— Комедію замышляютъ запорожцы, говорили одни.

— Посмотримъ, что изъ этого выйдетъ? говорили другіе между народомъ, стоявшимъ толпою ни широкомъ дворѣ.

Запорожцы внесли бочки въ комнаты, затворили двери; немного погоды послышался стукъ молотковъ, потомъ со звономъ вылетѣли окна и вслѣдъ за ними посыпались въ народъ обручи, донники и клепки разбитыхъ бочекъ, а вслѣдъ за клепками ливилось въ окнѣ лицо Никиты и громко сказало народу: Люди добрые, хотите знать, отъ чего говорится: „пьяному море по колѣно?“

— Хотимъ! отвѣчалъ народъ:—какъ не хотѣть!

— Такъ посмотрите сюда, въ окно.

Кто не глянетъ въ окно—только всплещетъ руками. Запорожцы заколотили двери въ свѣтлицѣ, выпустили изъ бочекъ настойку и ходятъ по колѣни въ дорогихъ напиткахъ и, наклонясь, пьютъ ихъ, какъ лошади воду.

„Но всакому веселью бываетъ конецъ“ сказалъ, должно полагать, какой-нибудь большой философъ: такъ и пирамъ Чайковского пришелъ конецъ. Поживя недѣлю, кошевой собрался ѣхать.

Было чистое, свѣжее, осеннее утро, когда запорожцы, выпивъ по чаркѣ на дороге и по другой на коняхъ, выѣхали за городъ. Алексѣй съ женою и старшинами провожалъ ихъ. Съ полверсты отъ города, въ степи, стоялъ курганъ; на курганѣ горѣлъ большой огонь и толпились люди.

— Кошевой батьку! сказалъ Чайковскій съ комическою важностію, подѣзжая къ Зборовскому; на курганѣ видны люди, кучею стоятъ: должно быть татары или турки; позволь языка достать.

— Съ Богомъ, братику, отвѣчалъ кошевой.

— Зимовникъ, батьку, отвѣчалъ Чайковскій, возвращаясь отъ кургана;—зимовникъ стараго Касьяна; должно быть тутъ и Сѣчь недалеко. Просить хозяинъ до хаты.

— Добре! Ваши головы, кричалъ кошевой, подѣзжая къ кургану.

— Ваши головы, ваши головы! отвѣчали Касьянъ и казаки, принимая гостей.

Здѣсь устроена была на скорую руку походная кухня. Сѣли завтракать, начали пить здоровье и кошевого, и Чайковского, и старшинъ, и даже всѣхъ казаковъ поочередно; опять явилась музыка, пошли танцы и только передъ вечеромъ выѣхали въ походъ запорожцы. Ярko горѣли ихъ

шитые красные жупаны, сливаясь съ горизонтомъ въ лучахъ заходящаго солнца. Чайковскій съ женою грустно слѣдилъ за ними... И вотъ уже красною полоскою мелькали они на далекой степи; вдругъ что-то отдѣлилось отъ нихъ, росло, росло, близилось—и у кургана явился Никита.

— Что тебѣ надо, Никита? Здравствуй. Никита! сказалъ Чайковскій.

— Я думала, что и до смерти не увижу тебя, Никита! радостно закричала жена Чайковского.

— Дѣло есть.

— Какое дѣло?

— Пойдите сюда, важное дѣло, тайное дѣло. Кромѣ васъ, никому сказать нельзя.

— Ну, что? спросилъ Чайковскій, отойдя съ женою въ сторону отъ кургана шаговъ на сто.

— Ничего. Я обманулъ кошевого, сказалъ, что забылъ тутъ свою люльку (трубку), да и вернулся.

— Зачѣмъ?

— Вотъ видите... Хорошо, что вы отошли отъ кургана, насъ никто не услышитъ—тамъ Касьянъ, старый характерникъ, тамъ и прочіе казаки... еще смѣяться стали бы надо мною... Видите... Жалко мнѣ кидать васъ, добрые люди, ей-богу, жалко. Какъ выѣхали въ степь, будто камень проглотилъ я, тяжело стало, въ глазахъ туманъ равостлался; еще уѣзжая отъ васъ, видѣлъ на носу чорта, а то и чорта не видно стало—а тутъ подо мною конь споткнулся: худая примѣта, скоро умереть доведется,—подумалъ я; обманулъ кошевого и вернулся. Теперь прощайте! прощайте, братцы! обнимите меня... Видите, я плачу, не кому обнимать меня, ей-богу, некому. Прощайте! Вотъ такъ! Спасибо!

Никита махнулъ рукою, склонился на сѣдло и усакалъ изъ виду.

Х.

ЭПИЛОГЪ.

Въ 182* году далеко за Кавказомъ, у персидской границы, лѣтнее полуденное солнце жарко накаляло песчанную равнину. На равнинѣ стоялъ бѣлый городокъ изъ солдатскихъ палатокъ; тамъ кочевалъ ...іѣ пѣхотный полкъ. — Ни тучи на небѣ, ни вѣтра на равнинѣ, а солнце такъ и обдастъ жаромъ желтыя окрестности. Въ лагерѣ тишина, странная тишина; кое-гдѣ ходитъ какъ маятникъ часовой: безъ этого можно бы подумать, что вымеръ народъ въ лагерѣ и нѣтъ живой души. Въ сторонѣ стояла

одинокая палатка—не начальническа палатка, не почетная палатка, простая, обыкновенная; у входа ея сидѣлъ молодой человекъ въ пестрыхъ шароварахъ, въ солдатской фуражкѣ и тихо плакалъ, склоняясь головой почти до колѣнъ.

— Васька! а Васька! слышался слабый голосъ изъ палатки.

— Сейчасъ, баринъ, отвѣчалъ, вскочивъ на ноги, молодой человекъ и торопливо утеръ слезы.

— Васька! Я, должно быть, выздоровѣю, право, выздоровѣю, говорилъ вошедшему человеку молодой офицеръ.

— Выздоровѣете, баринъ; я это давно говорилъ.

— Нѣтъ, Васька, чума не такая болѣзнь; никто еще отъ нея не выздоровѣлъ... А мнѣ представилось сейчасъ, что я дома, въ Пирятинѣ; на небо нашли тучи, идетъ дождикъ, такой прохладный! вода съ кровельнаго жолоба лется на камень... Помнишь камень, что лежитъ передъ крыльцомъ?

— Помню, баринъ.

— Лется вода, свѣжая вода, а брызги такъ и летятъ кругомъ, и шепчетъ кто-то мнѣ: „Напейся этой воды: ты выздоровѣешь: чума боится этой воды“. Дай мнѣ хоть каплю, Васька!

Васька принесъ воды.

— Скъверная, теплая вода! сказалъ офицеръ: — дай мнѣ той воды... Вѣрно мнѣ придется умереть... Смотри, Васька, послѣ моей смерти, когда придешь въ Пирятинъ, напейся воды изъ жолоба... Пойди, принеси мнѣ свѣжей воды.

Васька принесъ другой воды, но уже не засталъ своего барина: умеръ послѣдній потокомъ Алексѣя Чайковского.

Въ газетахъ было напечатано: „Исключается изъ списковъ умершій прапорщикъ „...го пѣхотнаго полка Савонъ Чайковский“.

Еще въ дѣтствѣ я посѣщалъ пирятинскую замковскую церковь, и теперь очень хорошо помню ея странную, древнюю живопись. Подъ иконами вездѣ были нарисованы воинскіе клейноды: булавы, бунчуки, перначи, стрѣлы и копья; дубовыя стѣны были изрѣзаны разными надписями; каждая икона имѣла свою примѣчательную исторію. Тогда былъ еще цѣлъ домъ Чайковскихъ, странной архитектуры, съ высокою крышею, съ узкими окнами; передъ крыльцомъ лежалъ большой жерновой камень. Вѣрно давно лежалъ онъ тамъ: вода, падавшая съ крыши, вымыла на немъ глубокия ямы. За садомъ росъ большой тѣнистый садъ (теперь на этомъ мѣстѣ, кажется, широкая пустая улица); передъ домомъ, словно лугъ, разстился зеленый дворъ съ рѣ-

ными дубовыми воротами, выходящими на улицу.

Въ послѣднюю турецкую кампанію, этотъ запустѣлый домъ и дворъ снова было оживились: въ домѣ громко говорили, еще громче смѣялись. Казаки въ синихъ кафтаныхъ, въ шапкахъ съ красными верхами ходили по двору; у коновязи безсмѣнно стояло нѣсколько десятковъ лошадей: здѣсь была квартира комиссара (капитана-исправника).

Въ маѣ 1841 года, я подѣзжалъ къ Пирятину. Мой ящикъ былъ удивительный человекъ: дай ему побольше денегъ и пусти въ Петербургъ—онъ бы сдѣлалъ величайшимъ онагромъ. Съ бритой бородой, съ длинными запорожскими усами, онъ былъ остриженъ въ плотную, по-солдатски; въ лѣвомъ ухѣ у него висѣла огромная мѣдная серьга, признакъ франтовства многихъ удалыхъ ефрейторовъ: при широчайшихъ казацкихъ шароварахъ, онъ былъ одѣтъ въ русскій армякъ, носилъ московскую красную рубаху съ косымъ воротникомъ и на головѣ имѣлъ безобразнѣйшую въ мірѣ круглую шляпу съ высокою, узкою тульею, перевязанною пополамъ покромкою отъ голубаго ситца; на покромкѣ можно было прочесть слова: *Ивана Лаптьева вмосквѣ*; за покромкой наткано множество павлиньихъ перьевъ, словомъ, шляпа, какую носятъ въ Малороссіи русскіе купцы, торгующіе скотомъ. Добрые кони, не во гнѣвъ русскимъ ящикамъ, быстро мчались; но ящикъ безпрестанно поводилъ надъ ними кнутомъ, приговаривая: „Ой-вы, соколики! матери вашей лыхо! ей дѣти! Съ горки на горку! (выговаривая: shorku na horkou), дастъ баринъ на водку!“ Потомъ запѣлъ пѣсню:

Ой, на горѣ, на зеленой, дорожка лежала;
Туда наша сударыня некрутъ (рекрутъ)
выряжала.

Влѣво отъ дороги, за Удаемъ, ходили тучи и по временамъ гремѣлъ громъ. Вдругъ, будто выстрѣлъ, раздался ударъ въ сторону къ Пирятину и поднялся столбомъ густой дымъ. Ящикъ привсталъ на козлахъ, перекрестясь, сказалъ: „ей-же-богу, замковская церковь горитъ!“ и ударилъ по лошадамъ.

Мы были верстахъ въ шести отъ города, скакали шибко; но когда прѣехали, застали однѣ только развалины церкви. „Громъ разбилъ нашу церковь!“ печально говорилъ народъ. Нѣсколько старушекъ неутѣшно плакали надъ дымящимися развалинами церкви, въ которой крестились и вѣнчались ихъ предки, сами онѣ крещены, вѣнчаны и молились до глубокой старости.

Между тѣмъ, тучи разошлись, легкій дождикъ спрыснулъ городъ, прибилъ пыль, оживилъ сады, и солнце весело глядѣло на землю.

Перемѣнивъ лошадей, я поѣхалъ далѣе не почтовымъ трактомъ. Подъ горою, при самомъ выѣздѣ, влѣво, зеленѣлъ огромный пустырь; на немъ поросъ высокій бурьянъ и крапива, и желтѣли кучи развалинъ—едва я узналъ въ этомъ пустырь бывшій домъ дворъ Чайковского! Слепой кобзарь, сидя на дорогѣ у самаго пустыря, пѣлъ заунывнымъ голосомъ:

На черному мори, на билому камни,
Ясненькій сокиль жалобно квилить, про-
квилеяе;

Смутно себе має, на Чорнеє море поглядає,
Що на Чорному мори не добре ся починає...

Кобзарь не подозрѣвалъ, какъ была кстати, къ мѣсту, его древняя легенда, но пѣлъ ее съ чувствомъ; голосъ его дрожалъ, струны дрожали, замирали въ диссонансахъ, которые мало-по-малу переходили въ стройный аккордъ, жалобный, вопіющій, страдальческій. А люди шли мимо, не обращая вниманія ни на старика, ни на его пѣсню.

1843.



Первый концертъ Рубини.

РАЗСКАЗЪ.

Въ четвергъ, то-есть четвертаго числа этого мѣсяца, грустно я сидѣлъ въ кабинетѣ у камина; неумолимый докторъ съ варварскимъ хладнокровіемъ запретилъ мнѣ выѣзжать и выходить на свѣтъ Божій цѣлую недѣлю. А въ эту недѣлю, какъ нарочно, шелъ первый концертъ Рубини. Давно, по отзывамъ иностранныхъ журналовъ, мы составили себѣ самое блестящее понятіе объ этомъ колоссальномъ европейскомъ пѣвцѣ; рассказы путешественниковъ, восхищенныхъ, очарованныхъ, околдованныхъ его голосомъ, еще болѣе разжигали наше любопытство. Наконецъ мы дождались его: Рубини здѣсь, Рубини поетъ сегодня — и ничтожный кашель, которому, правда, докторъ надавалъ множество самыхъ отчаянныхъ латинскихъ прозваній, удерживаетъ меня дома; я сижу какъ школьникъ, наказанный строгимъ педагогомъ. Это невыносимо.

Знаете ли вы, какъ въ старину, въ провинціи, знакомились съ помѣщиками армейскіе офицеры? Положимъ помѣщикъ, а особливо у котораго есть дочери, пригласилъ къ себѣ поручика; поручикъ приво-
дилъ своего капитана, капитанъ рекомендовался и рекомендовалъ двухъ подпоручиковъ, очень милыхъ и образованныхъ

молодыхъ людей, каждый подпоручикъ приводилъ по два прапорщика и—вдругъ, неожиданно помѣщикъ былъ окруженъ многочисленнымъ веселымъ обществомъ.

Точно такимъ образомъ приходитъ и бѣда къ человѣку: одна неприятность ведетъ за собою другую, другая третью. Таковъ порядокъ вещей на нашей планетѣ.

Ударилъ девять часовъ. „Теперь мои пріятель, знакомые и незнакомые слушаютъ Рубини“, подумалъ я „теперь, можетъ-быть, обширная зала Дворянскаго Собранія полна восторженныхъ рукоплесканій или невыразимой тишины, среди которой, какъ чарующій духъ, носится обаятельный голосъ несравненнаго пѣвца, а тутъ... и какинъ гадко горитъ, и сигара не курится... несчастье да и только!..“ Подобныя, очень разумныя, какъ изволите видѣть, размышленія прервалъ громкій звонокъ.

Бѣдный колокольчикъ звенѣлъ, дребезжалъ, стоналъ въ передней и, казалось, готовъ былъ разлетѣться въ дребезги. Видно, нетерпѣливая рука его дергала.

Еще дрожали, замирая, сердитые звуки звонка, какъ въ кабинетъ вбѣжалъ молодой художникъ Облачковъ.

Теперь позвольте сказать нѣсколько словъ о художникѣ Облачковѣ



Если случалось вамъ видѣть молодаго человѣка въ статскомъ платьѣ, въ усахъ, съ эспаньолою, человѣка съ немного раз-машистыми, немного военными манерами, который, изъ любви къ изящному, старательно заглядываетъ подъ всѣ встрѣчныя розовыя, бѣлыя, зеленныя и даже черныя шляпки и, въ то же время, съ любовью, съ наслажденіемъ останавливается передъ старухою нищею въ лохмотьяхъ, вглядывается въ неправильныя черты ея лица, отдаетъ ей послѣднюю полтину серебра изъ своего кармана, а самъ идетъ къ знакомымъ искать обѣда—смѣло вѣрите, что вы знаете художника Облачкова.

Облачковъ часто бываетъ одѣтъ изысканно, словно картинка изъ моднаго журнала, хотя всегда въ его нарядѣ есть какія нибудь отмѣтки: или измятая шляпа, или широкія перчатки, или сапоги будто чужіе, или что нибудь подобное. Прическу перемѣняетъ онъ съ каждымъ днемъ: то распустилъ волосы по плечамъ, точно львиную гриву, то зачесетъ за уши будто нѣмецкій пасторъ, то пригладитъ ихъ будто лихачъ-извозчикъ или завьетъ въ тысячу мелкихъ кудрей, такъ, что не приберешь никакого благовоспитаннаго сравненія.

Облачковъ часто гуляетъ по Васильевскому острову, заложивъ руки въ карманы, и напѣвая какую нибудь арію немного выше, нежели въ полголоса, дружески раскланивается съ людьми, ѣдущими въ каретахъ, и съ прачками, идущими по тротуару, и многимъ встрѣчнымъ офицерамъ говорить — *ты*.

Деньги у Облачкова какъ-то не держатся; если, случайно, залѣзутъ въ его карманъ, то онъ немедленно беретъ мѣста въ первыхъ рядахъ креселъ во всѣхъ театрахъ въ одинъ день, покупаетъ кальянъ, химическіе кофейники, бархатныя шапочки, имъ раздастъ ихъ въ долгъ товарищамъ, и такимъ образомъ очень скоро избавляется отъ этой тяжести; а послѣ проситъ у пріятеля *горсть Жукова*, беретъ въ долгъ въ мелочной лавочкѣ на десять копѣекъ жженого кофе, варитъ его на одеколонѣ, пробуетъ кальянъ и, надѣвъ бархатную шапочку, посвистывая, ходитъ въ нетопленной квартирѣ, мечтая о славѣ, о Римѣ, о хорошей магазинницѣ, живущей напротивъ.

Трудно рѣшить, Облачковъ ли болѣе долженъ своимъ пріятелямъ или пріятели Облачкову?

Пріятели очень рѣдко отдаютъ ему должныя деньги; Облачковъ рѣшительно никогда не платитъ долговъ.

Облачкова очень трудно застать на квартирѣ, хотя онъ и ночуетъ дома раза два въ недѣлю; впрочемъ, тамъ постоянно

стоитъ, кажется, кровать, столъ, а на столѣ маленькій бюстъ Наполеона, на окнѣ лежитъ трубка, дамская головная шпилька и лорнетка безъ ушка; на полу въ пыли валяется англійскій кипсекъ въ богатомъ бархатномъ переплетѣ, нѣсколько разрозненныхъ книгъ, взятыхъ для прочта у знакомыхъ, и полдесятка начатыхъ картинъ, между-которыми угрюмо выглядываетъ портретъ дворника.

Но обратимся къ разсказу.

— Боже мой! какой морозъ! кричалъ Облачковъ, бѣгая по комнатамъ.

— Здравствуйте, м-г Облачковъ.

— А! здравствуйте! Просто, души не слышу...

Тутъ Облачковъ протянулъ ноги почти въ самое пламя камина, потомъ руки — и заболталъ ими какъ чортъ у Гоголя, схватившій мѣсяцъ голыми руками.

Облачковъ былъ завитъ, раздушенъ, распомаженъ, одѣтъ почти безъ роковой отмѣтки, кромѣ чудовищной булавки, сидѣвшей на галстухѣ: въ булавкѣ блестяло граненое стекло, величиною съ гривенникъ.

— У васъ прекрасная булавка, сказалъ я.

— Всѣ это говорятъ. Неслыханное дѣло: въ январѣ дожди, а къ веснѣ и прибрало въ руки... да такъ проморозило!

— Это брилліантъ?

— Брилліантъ.

— Въ магазинѣ купилъ?

— У ювелира, далъ сто рублей.

— Ого!... славная вещь!

— Вы не вѣрите?

— Вѣрю.

— Нѣтъ, не вѣрите; я знаю, это Красоткинъ уже все разболталъ, я по глазамъ вижу. Коли знаете, скажу.

— Что?—въ гостиномъ купили?

— Нѣтъ, не въ гостиномъ, а тутъ, возлѣ гостиного, по зеркальной линіи есть лавочка, тамъ можно купить *по случаю* очень дешево разныя рѣдкія вещи, и я заплатилъ...

— Ну, Богъ съ нею, чай не дороже четвертака. Скажите, куда вы ѣздили или ѣдете, что такъ нарядились.

— Нѣтъ, ей-богу дороже, далъ полтинникъ. Вѣдь горитъ, какъ настоящій алмазъ. А я никуда не ѣду, я одѣтъ такъ, запросто.

— Полно скрываться, я васъ давно знаю, м-г Облачковъ—разскажите-ка?

Облачковъ въ раздумьи прошелся по комнатамъ, остановился, махнулъ рукою:

— Такъ и быть разскажу; все равно, придется же кому-нибудь разсказать, безъ этого нельзя; такъ слушайте, только прикажите дать мнѣ чаю.

Принесли чай. Облачковъ раскурилъ сигару, усѣлся противъ камина и, по временамъ вздрагивая, началъ:

— Я сейчас, совместно сказать, приехал изъ концерта Рубини.

— Изъ концерта? такъ онъ уже кончился?

— Не кончился! здѣсь цѣлая исторія. Я вамъ расскажу ее сначала. Въ понедѣльникъ я былъ у генерала Н. Н.; оканчивалъ съ него портретъ. Работа шла хорошо, я положилъ на лбу блики, присмотрѣлся: очень хорошо, я и сталъ затѣнять подъ носомъ; затѣняя и думаю про „Аскольдову Могилу“, вспомнилъ „Ужъ какъ вѣтъ вѣтерокъ“—и началъ его напѣвать понемногу, отъ удовольствія, что тѣнь хорошо ложится. Вѣрите ли, такая вышла тѣнь, какъ у Доминикино, въ „Причащеніи Іеронима“. Мало-по-малу я и не опомнился, какъ затянулъ пѣсню во весь ротъ.

— Вы хорошо поете, сказалъ генералъ.

— Самоучкою, mon general!

— А слышали „Руслана“?

— Слышалъ, но мнѣ больше нравится „Аскольдова Могила“, особенно Торопка чертовски хороша: настоящая русская душа, такъ съ баладакою отхватываетъ, даже поджилки дрожать, когда смотришь, будто что за ноги дергаешь—самъ бы пошелъ. Вотъ опера.

— Я съ вами согласенъ, отвѣчалъ генералъ, и началъ судить со мною о музыкѣ, да, я вамъ скажу, такъ хорошо, какъ я и не ожидалъ отъ человѣка, занятого службою. Тутъ отъ насъ всѣмъ порядочно досталось.

— Завтра идетъ первый концертъ Рубини, между-прочимъ, сказалъ генералъ:— вы вѣдь любитель, вѣрно будете.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я;—къ несчастію, моя тетушка лежитъ почти при смерти: долженъ буду просидѣть у нея.

— Жаль, а у меня остается лишній билетъ, я хотѣлъ его предложить вамъ.

— Впрочемъ, пожалуйста, ваше превосходительство: можетъ, тетушкѣ будетъ легче, или я какъ-нибудь распорядюсь съ нею. (Разумѣется, я вралъ о болѣзни тетушки. Богъ не наказалъ меня тетушками. Просто, у меня въ карманѣ было всего пять рублей, а признаться въ этомъ не хотѣлось).

— Хорошо, сказалъ генералъ:—возьмите билетъ, покажите; я увѣренъ, что вашей тетушкѣ завтра будетъ легче; да, кстати, приѣзжайте къ намъ въ среду, расскажете, что вамъ понравилось, да и портретъ окончательно окончите.

— Онъ совершенно готовъ.

— Это правда; но фizioномія вообще какъ-то слишкомъ моложава и мало-значительна: надо придать болѣе важности или даже суровости, это, знаете, идетъ. Понимаете?

— Понимаю.

Во вторникъ я цѣлый день мечталъ о концертѣ и въ семь часовъ былъ уже у подѣзда дворянскаго собранія. Экипажей почти нѣтъ. „Хорошо, подумалъ я, займемъ получше мѣсто и будемъ сидѣть да слушать; хоть какая ни приди дама—не уступлю, за свой грошъ вездѣ хороша!.. Станутъ ворчать—прикинусь глухимъ и баста!“ Впрочемъ, нашему брату и должно сидѣть поближе, замѣчать выраженіе лицъ, позавось послѣ концерта *набросаемъ* на бумгу самого Рубини карандашемъ или *тердесенью*...

Отдавъ шинель какому-то сторожу и заплативъ за это 30 коп. серебромъ, я вѣшалъ на лѣстницу. Народу мало, никакой давки, ни тѣсноты, у двери стоитъ лакей. Я посмотрѣлъ на него, онъ посмотрѣлъ на меня.

— А куда тутъ? спросилъ я.

— А куда вамъ надобно? спросилъ онъ.

— Въ концертъ, братецъ! Вотъ заплатилъ пятьдесятъ рублей, такъ хочется занять мѣсто получше.

— Концерта не будетъ.

— Какъ не будетъ.

— Такъ не будетъ.

— Какъ же мой билетъ?

— Не знаю.

— Экой грубиянъ!

— Я не грубиянъ; а концерта все-таки не будетъ, по болѣзни велѣно отказывать.

„И за что я заплатилъ за шинель рубль пять копеекъ?“ думалъ я, грустно сходя съ лѣстницы. Не смѣйтесь; у кого въ карманѣ одинъ цѣлковый, тому тяжело заплатить рубль Богъ знаетъ за что: за двѣ минуты почта старой шинели.

На другой день генералъ очень смѣлся надъ моей *ошибкою*, хотя я, съ своей стороны, тутъ никакой ошибки не вижу. Я былъ не въ духѣ и очень сердито поправилъ его фizioномію: лицо стало такое страшное, что я самъ оробѣлъ и боялся дотронуться до него кистью.

— Браво! закричалъ генералъ:—брависсимо! Вотъ теперь мужчина, серьезный мужчина! Благодарю!.. Я, кажется, вамъ ничего не долженъ?

— Ничего. Я взялъ плату еще за мѣсяцъ до работы.

— Помню, помню!.. Ну, спасибо! А знаете что... Завтра будетъ концертъ, въ афишѣ уже объявлено; и чтобъ не платить въ другой разъ за шинель, вы приѣзжайте къ намъ, пойдемъ вмѣстѣ: мой человѣкъ, Мятка, подержитъ и вашу шинель. Да будьте у насъ къ семи часамъ—мы выйдемъ пораньше: я страхъ не люблю сидѣть у дверей.

Это было вчера. Сегодня я съ утра началъ собираться къ концерту; согласитесь,

гать съ генераломъ не все одно, что гать самому. Вотъ, я отыскалъ бѣлыя атки, только разъ надѣванный въ промасленицу; академическій сторожъ, ивентникъ, не оставилъ ни одной пыги на моемъ платьѣ и вычистилъ сакакъ зеркало; знакомый столоначальдалъ мнѣ, чтобы съѣздить въ концертъ, иный бекешъ; знаете, моя шинель—хоть окрасная шинель, да все шинель, не модно, а въ бекешѣ опрятнѣе сидѣть аретъ и, выходя изъ экипажа, ловче гь руку и поддерживать даму. Словомъ, зтовился, какъ слѣдуетъ, сложилъ плаи въ пять часовъ пошелъ въ рисоый классъ, не вытерпѣлъ: *на натуру* явлена чудесная группа! Подумалъ: до и набросаю абрисъ, приду домой, певнусь, и къ семи буду у генерала.

Ударило шесть. Я уже началъ убирать рисунокъ въ папку, смотрю,—возлѣ стоить профессоръ и говорить:—Хо!

Я поклонился, онъ взялъ въ руки кашъ.

Вотъ тутъ, говоритъ:—у васъ очень шо, только одно ребро выше, не много э, на волосъ, видите, вотъ такъ.

„Ребро опущено, авось уйдетъ“, полъ я.

Да этотъ слѣдокъ надо сдѣлать поше, продолжалъ профессоръ, сядь на лѣсто, и началъ хлопотать около слѣдка. А между тѣмъ время пло, меня бровъ потъ при мысли, что я опоздаю. Яая черта профессорскаго карандаша ла меня по сердцу. Было половина седь, когда профессоръ положилъ каранда, говоря:

Вотъ теперь такъ, теперь будетъ изо.

Я вздохнулъ свободнѣе.

Да вотъ еще, у васъ поворотъ головы нутъ, опять началъ профессоръ, приаясь за карандашъ:—это не естественнадо вольнѣе.

И только когда ударило семь часовъ, оставилъ меня. Я стремглавъ бросился и; въ-торопяхъ два раза надѣвалъ жи. на изнанку, искололъ себѣ руки заливая галстухъ, и выбѣжалъ на улицу, гою натягивая перчатки. Сядь на изика, я вспомнилъ, что забылъ дома би. и побѣжалъ назадъ; наконецъ, измужий, усталый, прѣзжаю къ генералу.

Дома баринъ?

Никакъ-съ нѣтъ, *уѣхавши*, въ концертъ. Давно?

Давно-съ; они извоили васъ поджидо, до половины восьмага.

А теперь который?

— Девятый.

Генералъ живетъ недалеко отъ дома Дворянскаго Собранія; черезъ пять минутъ я былъ уже въ сѣняхъ. Разныхъ ливрейныхъ лакеевъ биткомъ набито. Какъ тутъ отыскать генеральскаго Митьку? Я сталъ всматриваться: кажется, онъ прошелъ по лѣстницѣ; я закричалъ: „Митька! Митька!... человекъ генерала Н. Н.“ Ушелъ и не оглянулся. Придется опять заплатить за бекешъ, а дѣлать нечего, время дорого, гдѣ искать Митьку. Я подошелъ къ прилавку, за которымъ принимали шубы, снялъ бекешъ и, положи перчатки на прилавокъ, началъ доставать изъ кошелька 30 копѣекъ серебра, вдругъ, откуда ни возьмись, ливрейный дуракъ и спрашиваетъ:

— Вамъ угодно человекъ генерала Н. Н.?

— Мнѣ, братецъ.

— Что прикажете?

— Ты не Митька?

— Никакъ нѣтъ-съ, я Егоръ, а Митька пошелъ къ каретѣ.

— Ну, все равно; возми, братецъ, этотъ бекешъ и поддержи его вмѣстѣ съ генеральскими одеждами.

Лакей взялъ бекешъ, а я, вынувъ изъ кармана билетъ, побѣжалъ въ залу; у входа я посмотрѣлъ на билетъ и увидѣлъ, что держу его голыми руками: перчатки остались на прилавкѣ; къ счастью, никто не взялъ перчатокъ, и я, надѣвъ ихъ, пошелъ. У входа въ залу стоитъ человекъ и отбираетъ билеты, а тамъ, за дверью, раздается музыка. Я протянулъ къ фрачнику руку съ билетомъ.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ меня полунѣмецкимъ выговоромъ, всматриваясь въ мое лицо.

— Развѣ не видите, отвѣчалъ я.

— Извините, отвѣчалъ онъ, вѣжливо, пожимая протянутую къ нему руку:—вы съ острова?

— Съ острова, съ острова, отвѣчалъ я, удивляясь неумѣстной вѣжливости нѣмца, и взялся за ручку двери.

— Нельзя, Адамъ Ивановичъ.

— Кой чортъ! Я Макаръ Макаровичъ!

— Все равно; нельзя безъ билета.

Точно, моя рука была сжата, а билета въ ней не было: надѣвая перчатки, второпяхъ я оставилъ билетъ.

На этотъ разъ на прилавкѣ ничего не было, кромѣ резиновой калоши, которую какой-то старичокъ убѣдительно просилъ спрятать. Представьте мое бѣшенство! Я былъ очень похожъ на пери, которая, блуждая у воротъ рая, не можетъ въ него попасть. Пришлось ѣхать домой.

— Гей! Митька, гдѣ мой бекешъ? мнѣ что-то нездоровится; домой поѣду.

— Немогу знать, отвѣчалъ Митька.

— Какъ же! я даль поддержать вашему Егору.

— И въ домѣ у насъ нѣтъ Егора; правда, былъ Егоръ, старый кучеръ, да третьяго года о Святой скончался.

— Егоръ, что съ тобою пріѣхалъ за каретою...

— За каретою я одинъ пріѣхалъ.

Видимо, что бекешъ украли. Я началъ горячиться, кричать. Какой-то франтъ, проходя мимо, осмотрѣлъ меня въ лорнетку съ головы до ногъ. Мнѣ посоветовали не дѣлать шуму, и я, какъ видите, въ одномъ фракѣ, да въ бѣлыхъ перчаткахъ, долженъ былъ ѣхать на островъ.

А тутъ, какъ на зло, погода какая-то январская, такъ и пробираетъ; я пріѣхалъ домой, хватъ за карманъ расплатился съ извозникомъ — кошелекъ нѣтъ: Богъ его знаетъ, или я выронилъ его, или куда онъ дѣвался!... Квартира заперта, хозяйки дома нѣтъ; она и права: я самъ сказалъ, что цѣлый вечеръ дома не буду. А извозникъ не отстаётъ: „давай, баринъ деньги“. Я вспомнилъ, что, ѣдучи мимо насъ, видѣлъ въ вашихъ окнахъ огонь — и поѣхалъ. Вы, слава Богу, дома, да еще у васъ топится каминъ... Вашего человѣка я просилъ расплатиться съ извозникомъ. — Вотъ и конецъ моему концерту!

Тутъ Облачковъ какъ-то странно захоталъ; видно было, что ему вовсе не было смѣшно, и въ его хохотѣ отзывалось что-то страшное. Потомъ онъ немного задумался, вздрогнулъ и, обратясь ко мнѣ, сказалъ:

— Вотъ и конецъ моему концерту! Опишите его.

— А вамъ хочется?

— Нѣтъ, не нужно; надо-мною стануть смѣяться, ну, да это ничего; можетъ, обо мнѣ стануть жалѣть — это досадно... Послѣ моей смерти опишите.

— Въ такомъ случаѣ, врядъ ли девятнадцатое столѣтіе узнаетъ о вашемъ походе, да и не мнѣ придется описывать его.

— Не говорите, я чувствую, мнѣ не пройдетъ даромъ концертъ Рубини, не пройдетъ...

— Я согласенъ: вы будете чихать съ недѣлю.

— Дай Богъ! сказалъ Облачковъ такимъ голосомъ, будто желалъ величайшаго блага. Я невольно улыбнулся.

— Не смѣйтесь, продолжалъ онъ: — теперь я припоминаю музыку, которую я слы-

шалъ за дверью, когда говорилъ съ нѣмцомъ: она точь-въ-точь была погребальный маршъ...

Облачковъ ушелъ отъ меня поздно, взявъ мою шубу. Назавтра я послалъ къ нему за шубой и велѣлъ спросить о здоровьи. Облачковъ отдалъ шубу и приказалъ сказать мнѣ, что онъ боленъ.

Дня черезъ два я навѣстилъ его и засталъ въ постели. Какой-то товарищъ Облачкова, куря зеленоватую сигару, давалъ ему черезъ чашъ по ложкѣ микстуры слизисто-грязнаго цвѣта.

Больной узналъ меня, хотя былъ въ горячкѣ, и тихо прошепталъ:

— Здравствуйте! Не говорилъ ли я вамъ — а?... А въ Римѣ, говорятъ, такъ много хорошаго... Не видать мнѣ его... Тутъ онъ покачалъ головою и отеръ глаза рукою.

— Андрюша!

— Что, Макарь, отвѣчалъ пріятель.

— *Натура* до-сихъ-поръ та же?

— Та самая...

— Посмотри. какой у нея поворотъ головы! славный поворотъ!... Хорошая натура... Послушай, Андрюша, выполни мою просьбу: не брей усовъ, тебѣ лучше въ усахъ.

— Экія глупости тебѣ лѣзутъ въ голову! стоило о чемъ просить!

— Нѣтъ, я не объ этомъ хотѣлъ... они на глаза попались... А ты скажи ей, моей матушкѣ, пусть не плачетъ... она такая добрая...

— Скажу, скажу.

— Она мнѣ пѣвала пѣсни надъ озеромъ... далеко... Видишь это озеро, синее?... Ну, вотъ пошли ей портретъ Максима, дворника... больше ничего нѣтъ конченаго. Пусть бережетъ на память... да отдай ей кальянь — она подаритъ городничему... надобно ей жить въ городѣ — все лучше, когда городничій съ ней въ хорошихъ отношеніяхъ...

Пришелъ докторъ, перебилъ рѣчь Облачкова, пощупалъ пульсъ и прописалъ какую-то очень-красивую, свѣтло-синюю микстуру, черезъ чашъ по двѣ ложки.

Сегодня ровно двѣ недѣли отъ перваго концерта Рубини, а третьяго дня уже товарищи схоронили бѣднаго Облачкова. Давно ли, подумаешь, онъ, молодой, здоровый, вѣтренный, сидѣлъ здѣсь, у этого каминя, въ этомъ самомъ кабинетѣ, гдѣ я пишу теперь, сидѣлъ и рассказывалъ свои концертныя находженія!...

18 марта 1843 г.



Маскарадный случай.

РАЗСКАЗЪ.

Ну, люди въ здѣшней сторонѣ:
Она къ нему, а онъ ко мнѣ!..
А. Грибоѣдовъ.

I.

Кто изъ жителей Петербурга не знаетъ уединенной широкой аллеи на Крестовскомъ островѣ, прорубленной сквозь дремучій еловый лѣсъ?—Сверните два шага въ сторону съ аллеи, и вы очутитесь въ густой, темнозеленой чащѣ; сначала слышно, что подъ ногами шелеститъ болотная трава, и видно кое-гдѣ блестятъ желтенькіе цвѣточки, но далѣе вы пойдете будто по роскошному персидскому коврау: густой мохъ застилаетъ всю землю, лѣпится по корнямъ, по старымъ пнямъ елей и, взбираясь на сучья, виситъ съ нихъ блѣдными космами; иногда онъ покажется испуганнымъ глазамъ сѣдою бородою лѣснаго духа, иногда кудрями русалки, вышедшей изъ рѣки погулять, покачаться на зеленыхъ вѣтвяхъ... Кругомъ тихо, мрачно, дико... только вдали нестройный говоръ, шумъ, стукъ, сливаясь въ одинъ аккордъ, подобный рокоту моря, напоминаетъ вамъ о близости многолюднаго, суетливаго города. Впрочемъ, за лѣсомъ должны жить на дачахъ люди, потому-что, идя далѣе и далѣе, вы иногда услышите лай собачки, крикъ дѣтей и брань дворниковъ, а иногда увидите подъ елью читающую дѣвушку, въ модномъ платьѣ, въ фартукѣ и соломенной шляпкѣ,—точь въ точь картинка изъ англійскаго кипсека.

Въ продолженіи почти всего лѣта 184* года каждый день передъ вечеромъ являлась въ густой аллеѣ красивая, легкая колясочка, запряженная парой сѣрыхъ лошадей; быстро мчалась она и вдругъ, Богъ знаетъ зачѣмъ, на половинѣ аллеи останавли-

валась; человѣкъ высокаго роста, закутанный въ синюю альмавиву, выпригивалъ изъ коляски и уходилъ въ лѣсъ, а кучеръ, дюжій мужикъ съ окладистой бородою, разлегшись въ козлахъ, потихоньку насвистывалъ безконечную пѣсенку, и на вопросъ какого-нибудь гуляки: „чья коляска?“—нехотя отвѣчалъ: „Ивана Ивановича“.

— Какого Ивана Ивановича?

— Съ Гороховой.

— А! знаю,—говорилъ гуляка и уходилъ далѣе.

На вопросъ другого любопытнаго кучеръ отвѣчалъ тоже: „Ивана Ивановича“.

— Какого?

— Съ Литейной.

И другой уходилъ съ видомъ человѣка, совершенно удовлетвореннаго на вопросъ, сдѣланный отъ нечего дѣлать. На третій вопросъ кучеръ обыкновенно ничего не отвѣчалъ, притворяясь глухимъ. Впрочемъ, это случалось очень рѣдко; въ будни гуляющихъ было мало въ пустынной аллеѣ, а въ праздникъ, когда Крестовскій кипитъ народомъ и дымится отъ сигаръ, колясочка не являлась.

Позднимъ вечеромъ колясочка быстро удалялась изъ аллеи; въ ней сидѣлъ человѣкъ, закутанный въ синюю альмавиву.

Крестовскіе дачники разное толковали объ этой колясочкѣ: одни говорили, что докторъ Иванъ Ивановичъ ѣздитъ сюда собирать полезныя травы; другіе спорили, что не докторъ, а поэтъ Иванъ Ивановичъ пишетъ въ лѣсу поэму и даже возитъ туда съ собою стеклянную гармонику, а третьи утверждали, что это англичанинъ и

кучеръ у него англичанинъ, съ поддѣльною русскою бородой, и ни слова не говоритъ по-русски, а ѣздитъ онъ, англичанинъ, въ лѣсъ забавляться, отдавая на сѣдѣніе комарамъ голыя свои руки, и что безъ этого сильнаго ощущенія не можетъ порядочно поужинать.

Одинъ мой знакомый, заклѣтой натуралистъ, искалъ въ это лѣто, въ окрестностяхъ Петербурга, какого-то жучка съ краснымъ хвостикомъ; по всѣмъ примѣтамъ и по описаніямъ жучекъ долженъ былъ находиться гдѣ-то близко, но никакъ не давался въ руки. Исходивъ всю Тентелеву деревню, Екатерингофъ, Рыбацкую, всѣ три Парголова, Выборгскую и Петербургскую стороны, въ концѣ августа неутомимый естествоиспытатель забрался на Крестовскій и прямо углубился въ лѣсъ.

Въ лѣсу было тихо. Труженикъ науки, неслышными шагами ступая по мху, прислушивался къ каждому шороху, къ каждому легкому звуку, обращая кругомъ пытливые взоры. Онъ поймалъ двухъ-трехъ жуковъ и бросилъ ихъ съ презрѣніемъ: одинъ былъ пестрый, весьма обыкновенный, а другіе, хотя черные, да безъ красныхъ хвостиковъ. Недалеко сѣрый дятель стучалъ въ дерево.

„Это хорошо“, подумалъ натуралистъ: „дятель стучитъ въ дерево, выгоняя изъ-подъ коры насѣкомыхъ, чтобъ послѣ пожирать ихъ; авось выгонитъ искомаго жука“. И, подойдя къ дереву, онъ сталъ смотрѣть на дятла, который, прильнувъ къ стволу старой ели, усердно долбилъ ее носомъ.

Дятель остановился на минуту, повернулъ внизъ головку, посмотрѣлъ однимъ глазомъ на стоящаго подъ деревомъ чловека и—опять принялся за работу.

Изъ трещинъ коры выползали разные жуки и личинки и суетливо спускались внизъ... Вдругъ глаза натуралиста засверкали, онъ притаилъ дыханіе, и, протянувъ руки къ ели, стоялъ неподвижно: съ вершины ея по шероховатой корѣ спускался жучекъ съ краснымъ хвостикомъ.

— Вотъ онъ, вотъ предметъ моей скитальческой жизни, вотъ искомый субъектъ! сюда, другъ мой, сюда! шепталъ натуралистъ, поднимаясь отъ нетерпѣнія на цыпочки, и въ жару наступилъ на сухую вѣтку, лежавшую у корня; сукъ треснулъ, испуганный дятель слетѣлъ, а жучекъ, не слыша враждебнаго стука, остановился и сталъ, какъ вкопанный, на вершокъ, не болѣе, отъ жадныхъ рукъ натуралиста, который отчаянно шепталъ: „сюда, душечка, сюда!“ Но жучекъ стоялъ въ раздумьи, поводя усиками въ разныя стороны, потомъ

повернулся и побѣжалъ вверхъ шибкою иноходью, кивая краснымъ хвостикомъ.

— О! небывать же этому! ты не уйдешь отъ меня!.. проворчалъ натуралистъ, влѣзая, какъ ловкій матросъ, на дерево.—Я тебѣ не дятель какой!..

Жучекъ бѣжалъ все выше, все быстрѣе лѣзъ натуралистъ, и, наконецъ, почти у самой вершины ели схватилъ за хвостикъ своего *дружка и душечку*, сѣлъ верхомъ на сукъ, отеръ съ лица потъ, рассмотрѣлъ всѣ признаки жука, распѣловалъ его и припилилъ булавкою къ подкладкѣ своей фуражки. Уже онъ, *говоря высокими словами*, обремененный трофеями своей побѣды, собрался торжественно спуститься съ дерева, какъ внизу послышался странный разговоръ. Тамъ стоялъ чловекъ не очень молодой, хотя и не старій, высокій, бѣлокурый, въ синей альмавивѣ; возлѣ него стройная молодая дѣвушка, въ соломенной шляпкѣ.

И скоро ты ѣдешь, Фридрихъ? спрашивала дѣвушка.

— Сейчасъ, мой ангелъ, сейчасъ... Видитъ Богъ, какъ мнѣ нехочется ѣхать, да пишуть—отецъ крѣпко боленъ: надобно торопиться.

— Можетъ быть, онъ... Да нѣтъ... ты баронъ, а я простая дѣвушка...

— Ты думаешь, согласишься на мою женитьбу? Можетъ быть (молись Лотхенъ), умирая, онъ позабудетъ свою спѣсь.

— Не говори такъ худо о батюшкѣ... Одного только прошу: не измѣни мнѣ; я для тебя все потеряла... ты знаешь...

— Фи! Лотхенъ, что за идеи!..

— Мнѣ кажется, ты женишься на родинѣ... Что тогда будетъ со мною?... я нездорова... Боже мой!..

— Я сказалъ тебѣ: или ты, или никто не будетъ моею женою—я не перемѣню баронскаго слова. Прощай, увидимся!

Баронъ обнялъ дѣвушку—и быстро исчезъ между кустами. Съ вершины ели натуралистъ видѣлъ, какъ онъ бросился въ колясочку, и пара сѣрыхъ умчала его изъ аллеи.

Дѣвушка прислушивалась къ стуку уѣзжавшаго экипажа, слезы падали съ ея розовыхъ щечекъ на мохъ, и когда послѣдній звукъ исчезъ въ отдаленіи, бѣдная Лотхенъ тихо сказала: „я вѣрила чловеку, а не баронскому слову!“ вздохнула, покачала головой и печально ушла въ лѣсъ.

— Вотъ оно что!.. сказалъ натуралистъ, спустясь на землю; потомъ снялъ фуражку и припилилъ покрѣпче бѣднаго жука, приговаривая:—ты здѣсь, мой дружокъ,

здѣсь, моя душка! да и побѣгалъ я за тобой, мое сокровище!

При этомъ поневолѣ вспомнишь стихи:

Люди губятъ все, что любить,—
Такъ ведется у людей!..

1-го сентября шелъ по улицѣ къ своему пріятелю натуралисту знакомый намъ натуралистъ; онъ шелъ похвастать своею охотой, и несъ въ рукахъ маленькій квадратъ картонной бумаги, на которомъ былъ припиленъ жучекъ съ краснымъ хвостикомъ.

— Куда лѣзешь съ тараканомъ? погоди! заревѣлъ надъ натуралистомъ громкій голосъ.

Натуралистъ поднялъ голову: онъ былъ у церковнаго подъѣзда; передъ нимъ стоялъ городской; улица заставлена экипажами, на паперти толпились модныя платья, блестящіе аксельбанты, бѣлые султаны; женихъ подводилъ къ каретѣ красавицу, свою невѣсту... Лицо жениха очень знакомо.

— Кто вѣнчается? спросилъ натуралистъ у ливрейнаго лакея.

— Баронъ, сказала лакей, становясь на запятки и договаривая фамилію такъ, что ничего нельзя было слышать.

Карета уѣхала, а натуралистъ пошелъ своею дорогой, повторяя: „Баронъ?... да, я его видѣлъ въ лѣсу подъ деревомъ, на Крестовскомъ, гдѣ поймалъ тебя, мое сокровище!.. А ты еще живъ, еще движешься!.. шутка ли, другія сутки! это надобно записать“.

II.

Баронъ положилъ въ сторону проектъ о желѣзной дорогѣ, прикрылъ его листкомъ нѣмецкой газеты и, выдвинувъ изъ бюро ящикъ, началъ перелистывать и считать золотыя пай, то есть акціи компаніи на промывку золотого песка въ Сибири. Пересчитавъ акціи, баронъ улыбнулся, всталъ съ креселъ, закурилъ сигару и мѣрными шагами началъ ходить въ длину кабинета. Баронъ, видимо, скучалъ, не зналъ, что дѣлать; у окна онъ остановился, глаза на людей, идущихъ и ѣдущихъ по улицѣ. Вдругъ онъ пріосанился, закинулъ за спину руки, стиснулъ зубами сигару такъ, что горящій конецъ ея поднялся почти къ лѣвому глазу, и проворчалъ: „странно!“

Прямо противъ окна барона, на противоположной сторонѣ улицы, стоялъ молодой человѣкъ въ бекешѣ; небольшіе черные усики пріятно отбѣняли свѣжее лицо

молодого человѣка. Онъ стоялъ неподвижно на троттуарѣ, казалось, не замѣчалъ чистыхъ толчковъ прохожихъ, и не спускалъ глазъ съ зеркальных коней баронскаго бельэтажа.

Сигара сильно дымилась въ устахъ барона, а между тѣмъ онъ думалъ: „Хотѣлъ бы я знать, зачѣмъ третье утро этотъ дуракъ смотритъ на мои окна? Чего ему хочется?... Архитекторъ онъ, что ли? быть не можетъ! хорошій архитекторъ въ четверть часа замѣтитъ въ строеніи что ему надобно, и пойдетъ своею дорогой, а худой архитекторъ не станетъ разсматривать чужого дома: ему все равно, что благородный домъ, что ничтожный!... Волокита онъ? за кѣмъ ему волочиться? подо мною живетъ почтенный человѣкъ, нотариусъ, мужской портной, да ювелиръ: рѣшительно не за кѣмъ волочиться!.. Да и что за манера рано утромъ, часовъ въ 11, уже быть одѣту и стоять на улицѣ? Терпѣть не могу этого празднаго народа!.. ай!“

Баронъ быстро выхватилъ изъ рта сигару, которая, догорѣвъ почти до конца, обожгла его и прервала глубокомысленныя размышленія.

— Казалось, настоящая *регалія Сильва и компанія*, говорилъ баронъ, разсматривая конецъ сигарки, а быстро догорѣла: должно быть, бременская контрфакція; скоро на свѣтъ порядочныхъ сигаръ не будетъ!... Экой чудакъ, все смотритъ! онъ дождется, что прикажу людямъ надѣлать ему кучу непріятностей... И зима у насъ такая странная: больше недѣли термометръ на нуль стоитъ, а половина января!.. въ прежнее время теперь бывало 20 градусовъ мороза, вѣтеръ, вьюга!.. очень хорошо! хоть какое горячее любопытство остынетъ!..

Говоря эти рѣчи, баронъ сердился болѣе и болѣе, загасилъ кончикъ сигары, открылъ форточку и бросилъ его на улицу по направленію къ франтику съ усами. Сигара упала тутъ же, подъ окномъ на идущую старуху, охтенку; охтенка на-ходу подняла голову и ругнула барона; баронъ захлопнулъ форточку; человѣкъ съ усами быстро удалился.

— Насилу исчезъ! проворчалъ баронъ, отходя отъ окна.

Вошелъ слуга и принесъ афишку и письмъ съ городской почты. Баронъ прочелъ письмо, протеръ глаза, еще разъ прочелъ и долго глядѣлъ на него, будто размышляя о чемъ-то важномъ, потомъ взглянулъ на афишку, ударилъ себя ладонью по лбу и сказалъ: „точно, сегодня маскарадъ!“ и началъ опять ходить по комнатѣ крупными шагами.

— Вѣрь послѣ этого женщинамъ! говорилъ баронъ самъ себѣ:—скромна, какъ овечка, кажется воды не замутишь, краснѣетъ, когда посмотритъ на шлафрокъ—и вотъ какія штуки!... О, вы у меня поплатитесь, мадамъ баронесса!... Я настою на своемъ... да!... стыдъ, срамъ!... Нѣтъ, я не позволю запятнать моего чистаго баронскаго герба! Мои предки—рыцари, содрогнутся въ гробахъ отъ позора, я не допущу до этого! не будь я баронъ фонъ *... если не сдѣлаю, какъ захочу... О женщины, женщины! сколько въ васъ коварства, злобы... и тѣмъ опаснѣе, что это все прикрито притворною нѣжностью, стыдливостью, охами да вздохами. Мужчина дуракъ и уши развѣситъ... Я не таковъ! Теперь я все понимаю! Вотъ причина, почему баронесса такъ хотѣлось всю зиму быть на маскарадѣ!... да, наконецъ... Богъ мой! и я, дуракъ, до сихъ поръ не догадался... Теперь я знаю, что это за фантикъ, знаю, какой магнитъ влечетъ его къ моимъ окнамъ, все знаю!... Спасибо, добрый, неизвѣстный другъ! сто разъ спасибо тебѣ!... потомки барона фонъ *..., съ гордостію глядя на чистый, безукоризненный гербъ свой, скажутъ тебѣ спасибо... Баронъ схватилъ письмо и опять началъ его перечитывать.

Письмо было вотъ какое:

„Любезный баронъ!

„Во-первыхъ—честь для человѣка, а во-вторыхъ—жизнь; часто послѣднею искупается первая. Скрѣпитесь и читайте. Вашей чести грозитъ бѣда. Нечаянно узналъ я, что сегодня въ маскарадѣ ваша супруга назначила свиданіе человѣку, къ которому она была равнодушна еще до замужества.—Она будетъ одѣта арлекиномъ, съ красной розой на шапкѣ, и ровно въ часъ будетъ ждать его у третьей колонны отъ праваго угла. Онъ явится въ рыцарскомъ костюмѣ, съ розой на племѣ. Дѣйствуйте, какъ знаете, баронъ. Моя совѣсть чиста: я сдѣлалъ, что должно благородному мужу человѣку.

Вашъ курляндскій другъ“.

Баронъ еще немного походилъ, посердился, потомъ задумался, потомъ сказалъ: „это будетъ хорошо“, и сталъ немного покойнѣе. Вынулъ изъ сафьяннаго футляра приборъ съ содовыми порошками и длинную костяную ложечку, разболталъ порошки въ водѣ и выпилъ пшпучую жидкость, которая, кажется, совершенно охладилла баронскій гнѣвъ, оттого что онъ очень спокойно послѣ этого вошелъ въ бу-

дуаръ къ женѣ, держа въ рукахъ афишку.

Хорошенькая баронесса, въ утреннемъ розовомъ костюмѣ, весело встрѣтила мужа; ея свѣтлые, пушистые локоны небрежно разбѣгались по бѣленькой шейкѣ. Баронъ равнодушно поцѣловалъ жену.

— Что это? что новаго? спросила баронесса.

— Афишка; я принесъ тебѣ, не хочешь ли ѣхать въ маскарадъ, отвѣчалъ баронъ.

— Сегодня маскарадъ! Ахъ, это мило. Мы поѣдемъ?

— Поѣзжай, если хочешь.

— А ты?

— Не поѣду.

— Да?

— Да.

— Отчего-жъ ты не поѣдешь?

— У меня много дѣла, я не могу.

— Какъ же я одна поѣду?

— Это очень легко—сѣсть и поѣхать.

— Да какъ же это? я и боюсь, и скучно будетъ мнѣ.

— Напротивъ; тебѣ легче будетъ мистифицировать.

— Нѣтъ, я не хочу; если ты не поѣдешь, и я не поѣду.

— Гм! сказалъ баронъ, сердито сдвигая брови.

— Ты сегодня не въ духѣ, что съ тобою?

— Ничего, такъ, непріятныя дѣла.

— Вѣрно по золотымъ промысламъ?

— По золотымъ промысламъ. Прощай!

— Куда же ты?

— Поѣду къ Н., а отъ него къ Н. Н. обѣдать, а у Н. Н. Н. буду цѣлый вечеръ и, можетъ-быть, всю ночь проработаю.

— Ахъ, какая скука!

— Поѣзжай въ маскарадъ.

— Нѣтъ, не поѣду!

„Вотъ бездна лицемерія!... прошу разгадать этихъ женщинъ!“ говорилъ баронъ, выходя изъ дому: „хоть бы глазомъ мигнула, хоть бы смутилась немного—ничего! Я думаю, душа пляшетъ отъ радости, что я ѣду и оставляю ее одну для маскарадныхъ продѣлокъ, а еще хмурится, будто недовольна! Какъ былъ бы я глупъ безъ благотѣтельнаго письма неизвѣстнаго друга!.. Теперь я смотрю другими глазами, будто завѣса открылась предо мною. О, женщины, женщины!...“ Такъ разсуждая, вошелъ баронъ въ магазинъ костюмовъ, недалеко отъ полицейскаго моста, и спросилъ себѣ рыцарскій костюмъ.

Баронъ весь день былъ, какъ говорится, не въ своей тарелкѣ: взявъ въ гостинницѣ Парижъ нумеръ, приказалъ припести туда рыцарское платье, заперъ нумеръ и ушелъ гулять по Невскому, не смотря на маленькій дождикъ, слякоть,

гололедицу и небольшую изморозь; съѣлъ у Доминика порцію бивштексу такъ разсѣянно, что даже забылъ положить въ него анчоуснаго масла, къ великому изумленію бывшаго тутъ какого-то подпоручика. И хотя, по увѣренію самого хозяина, къ завтраку барона былъ поданъ самый лучшій лафитъ, однако баронъ насилу могъ выпить два стакана, и то пилъ какъ-то странно, усиленными, форсированными глотками, какъ дѣти пьютъ гадкую микстуру. Весь вечеръ баронъ провелъ въ нумерѣ, надѣвая рыцарское платье: наспиливаль на шлемъ розу, затягивался въ латы, прикрѣплялъ наплечники, налокотники, пригонялъ наколѣнники, прицѣплялъ аршинныя шпоры и, наконецъ, надѣвъ шлемъ съ опущеннымъ забраломъ, гордо сталъ передъ зеркаломъ, любуясь своею фигурой. Баронъ былъ точь-въ-точь рыцарь печальнаго образа; казалось, старинный портретъ одного изъ предковъ барона вышелъ изъ своихъ тяжелыхъ дубовыхъ рамъ и сталъ посреди комнаты.

III.

Огромная маскарадная зала была ярко освѣщена; стройный оркестръ игралъ вальсъ, чудный, упоительный; разноцвѣтная, разноязычная толпа, пара за парой, двигалась по залѣ, переходила между колоннами и вилась по лѣстницамъ, когда вошелъ баронъ, одѣтый въ рыцарскіе доспѣхи. Красная роза, величиною и цвѣтомъ съ добрую махровую маковку, красовалась на его картонномъ шлемѣ.

У самаго входа, четыре дамы, въ черныхъ, островерхихъ капюдинахъ, сидя на диванѣ, обтянутомъ алымъ сукномъ, о чемъ-то горячо разговаривали, измѣняя свой натуральный голосъ въ невыносимый пискъ. Баронъ бѣгло взглянулъ на нихъ, подумалъ: похожи на молодыхъ галокъ! и пошелъ далѣе, гремя жестяными латами и задѣвая шпорами проходящихъ.

У человѣка недовольнаго, огорченнаго всегда злыя сравненія.

Баронъ обошелъ залу, враждебно посмотрѣлъ на третью колонну и сѣлъ недалеко отъ нея на красный диванчикъ. Было половина перваго. Баронъ скучалъ.

Барону было отъ чего скучать; всякое ожиданіе скучно. Да и кромѣ того, сознайтесь, надо быть слишкомъ самолюбивымъ, чтобъ находить удовольствіе въ нашихъ маскарадахъ, гдѣ мужчины, ходя безъ масокъ, становятся открытою цѣлью для всѣхъ возможныхъ мистификацій со

стороны женщинъ, скрытыхъ подъ масками. Зачѣмъ бы, кажется, отдавать добровольно свою личность на посмѣяніе?... Помоему, чтобъ веселиться въ маскарадѣ, должно имѣть или особенную причину, о которой я умалчиваю, или быть слишкомъ красивымъ, слишкомъ богатымъ, или даже иногда слишкомъ умнымъ, а самое лучшее глупымъ. Дуракъ, улыбаясь, входитъ въ маскарадъ, дуракъ воображаетъ, что за нимъ всѣ волочатся, дуракъ перетолковываетъ въ свою пользу каждую мимолетную фразу проходящей маски, сказанную можетъ-быть въ похвалу акробату Сулье или рязановскому мороженному, наконецъ, дурака всѣ мистифируютъ, всѣ потѣшаются надъ нимъ, всѣ спѣшатъ поговорить съ нимъ, чтобы послѣ цѣлую недѣлю рассказывать его отвѣты, а онъ, на притворныя нѣжности и вздохи, отъ души любезничаетъ, вдыхаетъ... счастливецъ!

Баронъ сидѣлъ очень спокойно и скучалъ, какъ можетъ скучать человѣкъ, наряженный въ жестяное платье. Передъ нимъ мелькали мундиры и фраки, очень озабоченные, очень занятые разговоромъ. Его никто не мистифицировалъ, никто не говорилъ съ нимъ можетъ-быть оттого, что опущенное забрало шлема скрывало баронское лицо, а что за охота мистифицировать Богъ знаетъ какое лицо. Наконецъ, розовый капюдинъ сѣлъ подлѣ барона, долго смотрѣлъ и сказалъ:

— Я тебя знаю, прекрасная маска.

— Нѣтъ, не знаешь, отвѣчалъ баронъ.

— Знаю.

— Быть не можетъ.

— А помнишь ты Черную рѣчку?

— Помню.

— А Коко?

— Какого Коко?

— Коко, лошадку Коко.

— Не знаю.

— Вотъ мило! Ты объѣзжалъ его для меня.

— Кто же я?

— Разумѣется, береиторъ.

Розовый капюдинъ захохоталъ и исчезъ.

„Этого еще не доставало“, подумалъ баронъ: „глупая маска!“

Немного спустя, шла мимо барона шотландка, вдругъ остановилась передъ нимъ, пристально посмотрѣла и, протягивая руку, сказала:—Здравствуй, маска!

— Я тебя не знаю, отвѣчалъ баронъ, неохотно подавая руку.

— Знаешь, и очень знаешь, *красная роза*.

Баронъ вздрогнулъ.

— Ты ожидаешь? спросила маска.

— Кого?

— Я знаю кого; и ожидаешь не напрасно.

— Вздоръ! Отчего ты меня узнала?

— Ты перемѣнилъ платье, измѣнилъ голосъ, но вѣрно забыть, que le regard fait souvent plus que la parole... Я узнала тебя по глазамъ.

— Право?

— Le regard, продолжала маска, не слушая барона: — exprime souvent ce qu'on ne saurait jamais dire... значительно повела глазами по залу и остановила ихъ на одномъ мѣстѣ.

Баронъ взглянулъ въ ту сторону—и побѣжалъ. У третьей колонны стоялъ арлекинъ съ розою на шапкѣ.

— N'est ce pas? значительно спросила шотландка.

Но баронъ уже шелъ по залу подъ руку съ арлекиномъ. Баронъ любезничалъ на пропалую, арлекинъ тоже. И оба, кажется, совершенно довольные другъ другомъ, вышли изъ залы.

Рыцарь съ арлекиномъ сѣли въ карету; дверцы захлопнулись, карета быстро покатила по петербургскимъ улицамъ. Баронъ, вѣжливый, снисходительный, увлекательный своею любезностію, вдругъ сталъ молчаливъ и сидѣлъ мрачно, прижавшись въ уголъ кареты.

— Куда мы ѣдемъ, милый рыцарь? спросила маска.

— Куда нужно, прекрасная маска! отвѣчалъ баронъ.

— Ужъ не обманулись ли мы?

— Если и обманулись, то послѣдствія будутъ очень пріятны.

— Я начинаю бояться.

— Бояться нечего.

— Гдѣ же я проведу ночь?

— Тамъ, гдѣ не думали.

— Ахъ!

— Ничего. Я вамъ готовлю сюрпризъ.

— Пріятный?

— Это зависитъ отъ васъ: какъ угодно будетъ принять его.

— Я люблю сюрпризы.

— А я не всегда.

— Однако, зачѣмъ я стану почевать у васъ?

— Можете остаться и долѣе.

— Это невозможно.

— Можеть-быть и возможно.

— Да это невыносимо, рыцарь!

— Завтра, надѣюсь, не то скажете.

— Да намъ надо объясниться.

Карета остановилась.

— Еще успеете, отвѣчалъ баронъ, выводя подъ руку изъ кареты арлекина.

— Богъ мой! да это домъ барона, сказалъ арлекинъ

— Вамъ онъ знакомъ, вѣроятно?

— Немного...

— Тѣмъ лучше.

И баронъ тащилъ арлекина подъ руку по широкой лѣстницѣ.

— Но къ чему это? сказалъ арлекинъ: — пусти меня, рыцарь.

— Нѣтъ! отвѣчалъ рыцарь:—вы любите сюрпризы; я вамъ приготовилъ чудеснѣйшій сюрпризъ, смѣю васъ увѣрить...

Между тѣмъ они шли по анфиладѣ прекрасно-меблированныхъ комнатъ, едва освѣщенныхъ лампою подъ матовымъ колпакомъ, наконецъ вошли въ комнату, совершенно темную; блѣдный лучъ луны едва пробивался сквозь цвѣтные занавѣсы; ноги тонули въ мягкомъ коврѣ; тропическіе цвѣты разливали вокругъ тонкій аромат.

— Что со мною будетъ? шепталъ арлекинъ.

— То, чего вы не ожидаете. При этомъ баронъ отворилъ дверь въ слѣдующую комнату и довольно невѣжливо втолкнулъ туда арлекина, примолвя:—Вотъ ваша комната; я—самъ баронъ.

— Ахъ!

— Безъ аховъ, пожалуйста, безъ аховъ!

— Что мнѣ дѣлать?

— Все, что вамъ угодно, говорилъ баронъ, запирая комнату на замокъ,—а завтра вы мнѣ дадите подробный отчетъ въ въ вашихъ поступкахъ.

Держа въ рукахъ ключъ отъ спальни заключенной жены своей, баронъ гордо прошелъ по всѣмъ комнатамъ въ кабинетъ, снялъ шлемъ, сбросилъ латы и рыцарскіе доспѣхи, надѣлъ шелковый шлафрокъ, раскурилъ сигару и самодовольно разлегся въ мягкихъ креслахъ; улыбка самая торжественная пролетала нѣсколько разъ по его лицу.—„Да“, думалъ онъ, „по-крайней-мѣрѣ я не далъ совершенно погибнуть моей женѣ. Тотъ человѣкъ еще не умеръ, который занесъ ногу надъ пропастью, но не упалъ въ нее: онъ еще живетъ, и долго будетъ жить, если отведутъ его подальше отъ рокового мѣста... Это будетъ наше дѣло—теперь пусть баронесса пострадаетъ, помучится эту ночь, за то впереди надежда; она пойметъ всю разницу между мною, человѣкомъ основательнымъ, и какимъ-нибудь вѣтрогономъ, а ихъ здѣсь пропасть... Завтра покается во всемъ, мы помиримся... и потомъ—поскорѣе въ деревню... Тамъ чистый воздухъ, поля, лѣса и прочее выгоняетъ изъ головы шальные идеи, она будетъ добрая хозяйка. Богъ насъ благословитъ дѣтьми, и подѣ старости мы не разъ посмѣемся сегодняшней продѣлкѣ. Спасибо доброму человѣку. Не имѣй ста рублей, а сто друзей.—говоритъ русская пословица.

это правда: извѣстилъ во время—и концы въ воду!—Не придумаю, кто бы это такой?.. должно быть, баронъ Фортель; мы съ нимъ всегда живемъ душа въ душу... бывало на мызѣ... Эхъ! славное было время!.. ему былъ шестнадцатый, а мнѣ семнадцатый годъ... у него была кухня Каролина... Эхъ!... Впрочемъ, сегодняшняя шотландка была очень недурна: чудесный торсъ и прелестныя ножки. Кто бы она такая? Она меня знаетъ, это видно. Непремѣнно поѣду въ слѣдующій маскарадъ... Шотландская коротенькая юбочка очень идетъ къ тѣмъ, у кого стройныя ножки... А теперь такая дурацкая мода!...

Баронъ легъ спать въ самомъ пріятномъ расположеніи, но долго не могъ заснуть. Лежа, онъ смотрѣлъ на окно: тамъ стоялъ шлемъ; луна отражалась на его мисурномъ забралѣ.

„Да“, думалъ баронъ, „ты блестяшь, благородное украшеніе моихъ предковъ, ты всегда прикрывалъ честь и храбрость; ты даже сегодня отвелъ грозную тучу, готовую было помрачить мой гербъ“.

Потомъ баронъ началъ сочинять рѣчь, которую хотѣлъ сказать завтра преступной женѣ своей, придумалъ, для большаго эффекта, сказать ее въ длинной комнатѣ, гдѣ были развѣшаны фамиліные портреты, и сказать рано утромъ, пока люди будутъ спать, чтобъ не дѣлать огласки; потомъ занялся вопросомъ: какъ ему одѣться въ такомъ единственномъ случаѣ? въ халатѣ—неловко, во фракѣ—еще хуже! въ пальто или латы?... Въ латахъ очень было-бы эффектно, да не будетъ ли смѣшно? латы маскарадна, притомъ же будутъ слишкомъ напоминать сегодняшнее приключеніе; надо пощадить женскую чувствительность... Итакъ, рѣшено: въ пальто. Разрѣшивъ окончательно этотъ важный вопросъ, баронъ снова прибиралъ громкія, поэтическія фразы для рѣчи: фразы являлись и исчезали въ его воображеніи, одна другой пышнѣе, кудреватѣе, замысловатѣе; къ фразамъ явились какіе-то неопредѣленные образы: видѣніе разсыпалось въ фразу, фраза свивалась въ видѣніе—и шотландка, и ливонцы, и платье арлекина, и Крестовскій островъ, и Палестина, и соломенные шляпки, и панцири, и предки, и потомки—все слилось воедино, спуталось, закружилось... баронъ уснулъ.

IV.

Часу въ шестомъ утра проснулся баронъ; мысль о возвращеніи жены на путь

истинный, объ эффектѣ, какой произведетъ его рѣчь, и о многомъ подобномъ не дала ему покоя. На дворѣ еще было темно. Баронъ зажегъ свѣчку, надѣлъ наскоро полосатые брюки и пальто изъ сѣраго трико, повязалъ шею голубымъ шелковымъ платочкомъ и вышелъ съ ключомъ въ одной рукѣ, а въ другой со свѣчою. Засвѣтивъ шандаль передъ портретами предковъ, онъ тихо отворилъ дверь жениной спальни.

— Помилуйте, баронъ, къ чему это поведетъ? сказалъ ему навстрѣчу незнакомый голосъ.

Баронъ протянулъ руку со свѣчою впередъ: передъ нимъ стоялъ молодой человекъ съ усиками; на полу валялась пестрая шапка арлекина.

— Зачѣмъ вы здѣсь? спросилъ изумленный баронъ.

— Я у васъ хочу спросить объ этомъ. Вы, въ маскѣ моего пріятеля, съ которымъ мы сговорились вмѣстѣ ужинать, увезли меня, хотѣли сдѣлать какой-то сюрпризъ и, не слушая моихъ оправданій, заперли въ этой комнатѣ. Впрочемъ, я вамъ очень благодаренъ: у васъ прекрасные диваны, и я провелъ ночь очень пріятно. Довольны вы моимъ отчетомъ? Надѣюсь, мнѣ можно теперь удалиться.

Молча, баронъ указалъ молодому человеку двери и тихо пошелъ за нимъ, освѣщая дорогу; на лѣстницѣ онъ схватилъ его за руку и отрывисто спросилъ:

— Клянитесь мнѣ сказать всю правду?

— Съ удовольствіемъ, баронъ.

— Вы ничего не видали?

— Гдѣ?

— Въ комнатѣ, гдѣ ночевали.

— Клянусь, баронъ, ничего.

— Рѣшительно ничего?

— Рѣшительно.

— Идите.

— Прощайте, баронъ, кричалъ франтъ за дверью на улицѣ; я ничего не видѣлъ, въ комнатѣ была дьявольская темнота...

Но баронъ не слышалъ послѣднихъ словъ: онъ, встревоженный, задумчивый, шелъ изъ комнаты въ другую и очутился у постели баронессы.

Спокойно спала баронесса, раскинувшись на мягкой постели; свѣтлые локоны разсыпались по изголовью и мелкими струями сбѣгали вокругъ шеи на бѣлую грудь; полныя щеки горѣли румянцемъ, легкая улыбка удовольствія раскрывала немного коралловый ротикъ и показывала рядъ жемчужныхъ зубовъ. Но вотъ баронесса открыла свои полныя нѣги лазурныя очи, взглянула на мужа и быстро опустила рѣсницы, говоря:

— Несносный свѣтъ! смотрѣть нельзя...
Что тебѣ вздумалось встать такъ рано?

— Дѣла много...

— Ты когда-нибудь съ ума сойдешь отъ дѣла. Что это за пестрая шапка валяется на коврѣ?

— Это моя... маскарадная...

— Такъ это ты вчера пріѣхалъ такъ поздно изъ маскарада?

— А развѣ ты слышала?

— Ахъ, какой странный вопросъ! сказала, вспыхнувъ, баронесса, и нѣжно поцѣловала мужа.

Тяжело вздохнувъ, баронъ пошелъ изъ комнаты

— Что съ тобою? спросила баронесса.

— Ничего, спи спокойно.

— О, я долго буду спать!—*adieu!*

„Я смѣшонъ, я глупъ!“ ворчалъ баронъ, проходя въ свой кабинетъ. Портреты предковъ, казалось, злобно улыбались ему изъ своихъ рамъ; въ кабинетѣ насмѣшливо смотрѣли на него глазныя отверстія на забралѣ маскараднаго шлема.

Настало утро. Франтъ съ усиками не являлся на улицѣ противъ дома барона, но тѣмъ не менѣе мучился баронъ; ни одна душа въ баснословномъ аду не терзалась, какъ баронъ въ продолженіи этого дня. Знала ли жена о маскарадной продѣлкѣ, или нѣтъ, вотъ вопросъ, который тяжелой ношей легъ на его душу. Говорятъ, нѣтъ ничего невыносимѣе для чело-
вѣка, какъ сомнѣніе.

Въ половинѣ октября того же года былъ у барона великолѣпный обѣдъ по случаю рожденія наслѣдника его имени. Гости поздравляли барона съ сыномъ, въ

честь ему пѣнились бокалы, ему предрекали всѣ возможные блага. Люди за сытнымъ столомъ очень тароваты на добрыя желанья. Поведеніе барона было очень странно: онъ то съ гордостью принималъ поздравленія и, самодовольно улыбаясь, благодарилъ гостей, то вдругъ дѣлался мраченъ, угрюмъ и быстро оставлялъ налитой бокалъ, будто какую отраву.

Послѣ обѣда гости разѣхались. Барону подали съ городской почты письмо.

„Прощайте, баронъ! сегодня я уѣзжаю на пароходѣ за границу съ моимъ мужемъ. Не обвиняйте меня въ вѣтренности: я вышла замужъ спустя полгода послѣ вашей свадьбы и вышла не по любви, а изъ благодарности. Мой мужъ отомстилъ вамъ за меня и этою только цѣною пріобрѣлъ мою руку. Теперь намъ не въ чемъ упрекнуть другъ друга. Мой мужъ очень недуренъ, съ прекрасными черными кудрями и усиками; онъ итальянецъ, торгующій гипсовыми статуэтками. Вѣроятно, вы незнакомы съ подобными людьми. Впрочемъ, вы его видали часто на улицѣ передъ вашимъ окошкомъ и даже однажды, въ январѣ этого года, онъ ночевалъ въ вашемъ домѣ. Прощайте, баронъ! Женщина умѣетъ любить и умѣетъ мстить по-своему. Л.

„Итальянецъ! лазарони!“ прошепталъ баронъ, судорожно сжимая въ рукѣ письмо. „О, еслибъ я зналъ, что и жена здѣсь виновата!...“ Потомъ неровнымъ шагомъ прошелся по комнатѣ, бросился въ кресло, закрылъ лицо руками, и горячія слезы, можетъ быть впервые, заструились по щекамъ барона.

1843 г.



Д О К Т О Р Ъ.

Р О М А Н Ъ.

Часть первая.

Хотя корень ученія горекъ, но плоды
оного сладки суть.

Новѣйшія Россійскія прописи.

Le ton fait la musique.

П о с л о в и ц а.

I.

„Не даетъ мнѣ Богъ сына, а умѣлъ бы я воспитать его“, часто говорилъ Тарасъ Ивановичъ.

И далъ Богъ Тарасу Ивановичу сына. И началось воспитаніе.

Но кто былъ Тарасъ Ивановичъ? — Тарасъ Ивановичъ былъ помѣщикъ одной изъ русскихъ губерній, очень краснорѣчиво описанныхъ въ разныхъ Россійскихъ географіяхъ. Онъ смолоду былъ бѣденъ, но красивъ, удалъ и любезенъ, приглашался богатой невѣстѣ, увезъ ее и женился. Молодая жена Тараса Ивановича была ревнива: она не хотѣла раздѣлять своей власти ни съ кѣмъ, хотѣла, чтобъ мужъ принадлежалъ ей безраздѣльно. Спустя годъ, жена родила ему дочь Лизу, а сама умерла — кто говоритъ отъ простуды, кто — отъ разстройства нервовъ, иные — будто отъ скуки, что мужъ не имѣлъ права носить шитаго ментика, а во фракъ былъ неловокъ; другіе увѣряютъ, что покойницу свело въ гробъ имя Тарасъ, что, будучи дѣвушкой, въ пылу любви, она не замѣтила этого варварскаго имени; ей нравился ея идеалъ съ блестящими эполетами, съ гордой поступью, съ красными усиками; но когда она стала дамой, когда первый чадъ любви прошолъ, когда приглядѣлась

къ идеалу, тогда имя *Тарасъ* выросло передъ ея глазами мрачнымъ пугаломъ. — „Боже мой!“ часто, говорятъ, повторяла она: „какія есть прекрасныя имена: Юлій, Альфредъ, Станиславъ, Аполлонъ... а у меня мужъ Тарасъ!.. Никакъ его нѣжно не передѣлаешь! Таря, Таринька, Таруша!.. Какая гадость!“ И жена Тараса Ивановича не шутя плакала.

Оставя въ покоѣ общія мѣста, т. е. простуду и нервы, я отъ души вѣрю послѣднимъ двумъ причинамъ смерти жены добраго Тараса Ивановича, основываясь на изустныхъ сказаніяхъ ея современниковъ и на критическомъ изученіи *красной* лѣтописи. Современники говорятъ, что, спустя два мѣсяца послѣ пріѣзда въ деревню Тараса Ивановича Севрюгина, т. е. ровно полгода спустя послѣ его брака, онъ часто съ озабоченнымъ, почти даже разстроеннымъ видомъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ, запирался и проводилъ многіе часы въ писаніи... чего? — неизвѣстно. Тщетно любознательные современники разспрашивали объ этомъ камердинера Тараса Ивановича; камердинеръ всегда отвѣчалъ одно: „не можемъ знать; писаньемъ забавляются, все въ какую-то красную книжку записываютъ“.

Часто любознательный сосѣдъ открывалъ зоркимъ взглядомъ подъ кучей бу-

магъ, въ кабинетѣ Тараса Ивановича, красивый корешокъ переплета книги и небрежно спрашивалъ:

— А что это у васъ, почтеннѣйшій Тарасъ Ивановичъ, за красная книга?

— Такъ себѣ, домашнія записки, отвѣчалъ всегда Тарасъ Ивановичъ, прикрывая книгу какимъ-нибудь письмомъ или вѣдомостью о мериносахъ.

— Позвольте полюбопытствовать! говорилъ сосѣдъ, протягивая руку къ красному переплету.

— Не стѣбитъ. почтеннѣйшій; это такъ, вздоръ, расчеты, коммиссіи,—все такое... и, быстро схвативъ красную книгу, Тарасъ Ивановичъ запиралъ въ ящикъ.

Красная книга была загадкой для всѣхъ до смерти Тараса Ивановича; по смерти его она переходила изъ рукъ въ руки, а теперь находится у одного страстнаго антикварія и библіофила, гдѣ мнѣ удалось ее видѣть.

Книга исписана по-русски съ примѣсю іероглифовъ въ родѣ египетскихъ. — Буквы писаны вообще бойко, твердымъ почеркомъ, а іероглифы нарисованы или, лучше-сказать, нацарапаны довольно робкою рукой. Но обратимся къ книгѣ. Съ начала первой страницы было написано нѣсколько чисто-русскихъ фразъ, чрезвычайно загадочныхъ, несмотря на всю ихъ народность, загадочныхъ потому, что онѣ поставлены безъ всякаго смысла и могли примѣняться къ чему угодно; послѣ слѣдовали довольно младенческія изображенія какихъ-то инструментовъ по части музыки и торговли, перемѣшанные съ разными слогами, неимѣющими никакого значенія, хотя были поставлены въ строчку съ іероглифами; порой четко рисовалась на страницѣ прежняя фраза, и опять загадочная строчка въ родѣ слѣдующей:

Бѣ (нарисована *гитара*) *сѣ* (нарисованъ *безменъ*) *тика*.

Если это читать просто какъ шараду, т. е. „бѣги Тарасъ безъ ментика“, то весьма понятно, въ какомъ состояніи бѣдный Тарасъ Ивановичъ убѣгалъ въ кабинетъ и составлялъ шарады. Душа читателя просвѣтляется новымъ свѣтомъ, показывающимъ отношенія между супругами; точно очень легко примѣнять къ дѣлу и ввести въ смыслъ всѣ отрывистыя фразы рукописи и весьма легко со мной согласиться, что смерть супруги произошла именно отъ послѣднихъ двухъ причинъ.

Скоро послѣ смерти жены Тарасъ Ивановичъ опять женился на бѣдной дочкѣ своего сосѣда, женился, по словамъ его, для того, чтобъ имѣть сына; пять лѣтъ жилъ онъ съ женой, строилъ планы о во-

спитаніи наслѣдника своего имени, а сына все не было.

— Не даетъ вамъ Богъ дѣточекъ, говорили сосѣди.

— Что прикажете дѣлать? не даетъ! нѣтъ, какъ нѣтъ!.. Вѣрно прогнѣвалъ Господа!

— Ну, да вы счастливы дочкой: она у васъ такая сдобная.

— Дѣвченка не что, будетъ, съ позволенія сказать, кусочекъ!.. а сынишка все-таки хочется; знаете, собственный сынишка—вещь! а дочка выйдетъ замужъ, и фамилію даже перемѣнитъ!... Сынишка—дѣло десятое, я бы умѣлъ сдѣлать его человекомъ; я бы умѣлъ воспитать его...

— Лихой былъ бы кавалеристъ! правда, Тарасъ Ивановичъ?

— Это еще Богъ знаетъ... Оно, конечно, пріятно видѣть своего наслѣдника въ благородной одеждѣ какъ бы сказать... я бы его не пустилъ по этой дорогѣ.

— Что вы?

— Право, такъ; я бы изъ него сдѣлалъ ученаго, а ученый—онъ себѣ и смиренный, и говоритъ по тихоньку, да все идетъ своей дорогой, и оклады хорошіе получаетъ, и рассказываетъ все занимательное; съ разу, можетъ статься, его и не очень полюбить, а послѣ привяжутся... право, привяжутся... Не даетъ мнѣ Богъ сына! а умѣлъ бы я воспитать его...

Наконецъ, далъ Богъ сына Тарасу Ивановичу.

Двое сутокъ спокойно прожилъ въ этомъ мірѣ сынъ Тараса Ивановича, а на третьи началось воспитаніе. Тарасъ Ивановичъ окатилъ новорожденнаго холодною водой—ребенокъ запищалъ, захлебнулся и умолкъ. Вся родня кинулась къ нему: терли его фланелью, отогрѣвали, дергали, теребили и кое-какъ привели въ чувство. Думали, что умеръ онъ, а вышло напротивъ: ребенокъ остался живъ, хотя съ нѣдѣлю уѣздный докторъ отчаявался въ его жизни и каждый день говорилъ Тарасу Ивановичу:

— Я знаю, вы человекъ не романтический: лучше приготовьтесь къ удару, скрѣпите родительское сердце...

— Ахъ, почтеннѣйшій, отвѣчалъ Тарасъ Ивановичъ:—видитъ Богъ, какъ болятъ оно!...

— Это и худо; въ исторіи много есть прекрасныхъ примѣровъ; недалеко сказать, вотъ, въ Римѣ, Брутъ самъ казнилъ своего сына...

— Что же изъ этого?...

— То, Тарасъ Ивановичъ, что вы должны великодушно перенести потерю: вашъ сынъ... какъ бы вамъ сказать поделикат-

нѣе... не выскочить, то есть не увернется отъ смерти.

— Полно, правда ли, почтеннѣйшій?

— Извините, Тарасъ Ивановичъ, отвѣчалъ докторъ голосомъ обиженнаго: я—учился, я имѣю дипломы, во мнѣ и профессоръ никогда не сомнѣвался. Къ чему же намъ наука? я не даромъ въ двадцать лѣтъ получилъ лысину и, въ доказательство, я вамъ теперь безъ обвиняковъ объявляю, что вашъ младенецъ чрезъ четверть часа умретъ—вотъ вамъ моя рука, что умереть.

Прошла четверть часа, за ней еще не одна четверть, а маленькій Севрюгинъ не умираетъ; прошла недѣля, другая, и онъ совершенно выздоравливаетъ, только на всю жизнь у него осталось въ глазахъ какое-то странное выраженіе испуга.

II.

Этотъ плутишка, этотъ разбойникъ—весь въ меня.

Родительскія нѣжности.

Тарасъ Ивановичъ любилъ сына, какъ самого себя: въ немъ онъ видѣлъ продолженіе своего имени, своихъ качествъ, своего ума, и часто говаривалъ: „Сынѣшка мой—весь я. Не учили меня уму-разуму, а я не то былъ бы, что теперь!... Хорошо, хоть мой опытъ будетъ ему наукой!“

Севрюгинъ былъ очень добръ со всѣми, но съ сыномъ обходился чрезвычайно строго; этимъ, по его мнѣнію, выражалась любовь. *Я люблю сына и не щаю на немъ лозы*, думалъ онъ, наказывая сына, и заглашалъ въ душѣ жалость къ ребенку.

— Ахъ, Боже мой, Тарасъ Ивановичъ! не грѣхъ ли тебѣ такъ мучить ребенка? Ты его не-навидишь! Скажи мнѣ, за что ты ненавидишь его? говорила жена.

— Полно, матушка! отвѣчалъ мужъ:—вы, женщины, всегда готовы плакать изъ-за пустяковъ. Я люблю его больше себя, да нельзя же его пустить самовольничать; не сдѣлать же изъ него какого-нибудь шалыгана! Надобно, чтобъ помнилъ мальчикъ науку. На, посмотри, что написано: *Хотя корень ученія горекъ, но плоды его сладки суть*. Понимаешь? Вѣдь это напечатано; это не мы съ тобой выдумали; это вотъ, посмотри, напечатано Василиемъ Логиновымъ въ Москвѣ, въ столицѣ. Мы съ тобой не Логиновы! Не даромъ говорятъ пословица: деревенскій ребенокъ, что городской теленокъ. А Москва еще столичный городъ! Нѣтъ, ты ужъ оставь меня дѣйствовать, какъ я самъ знаю: будетъ у васъ не сынъ—золото, чистое золото, аравійское золото, какъ говорятся.

— Ты умнѣе меня: но зачѣмъ же такъ жестоко наказывать Ваню? (Сына называли Иваномъ въ честь дѣдушки). Можно какъ-нибудь иначе.

— Эхъ, матушка! знала бы ты свое соленье да варенье. Я не мѣшаюсь, какъ вы тамъ съ Лизой вышиваете голубковъ да составляете пипучку; а ты ко мнѣ не мѣшайся. „За битаго двухъ не битыхъ даютъ, да и тутъ не берутъ“, говаривали наши дѣды. Нѣтъ, жена, строгость мѣра спасительная: я это на себѣ испыталъ. Когда мнѣ было лѣтъ семь-восемь, я страшно любилъ пошалить. Вотъ, какъ теперь помню, въ воскресенье матушка надѣла на меня чистое бѣлье и отпустила погулять по саду. Я заманилъ въ садъ козла, сѣлъ на него верхомъ и ну кататься; козелъ не влюбилъ этого, сталъ на дыбы и сбросилъ меня въ грязь. Дѣло, кажется, простое, а какъ наказала меня покойница,—царство ей небесное!... У!... даже до сихъ поръ не могу смотрѣть на козла безъ отвращенія; и очень благодаренъ. Обходись со мной такъ почаще, я бы не то былъ, что теперь. Ты, вѣдь, знаешь іезуитовъ?

— Какое мнѣ до нихъ дѣло?

— Нѣтъ, матушка, это народъ умный, дьявольски умный: и совѣтъ дать—дадутъ, и полечить—полечатъ, и на иностранныхъ языкахъ вотъ такъ и рѣжутъ, какъ мы съ тобой по русски. Я присмотрѣлся на нихъ, какъ стоялъ съ полкомъ въ Польшѣ. Чужихъ дѣтей, а какъ воспитываютъ! разъ я былъ у отца Гонорія: нужно было кое-какіе рецептики взять; онъ мнѣ далъ рецептики да и говоритъ: —Теперь вамъ нельзя пить ни водки, ни вина, ни даже пива.

— Что же я стану пить? спросилъ я.

— Можно, говоритъ, пить всякое молоко. Я, говоритъ, и самъ вотъ съ мѣсяцъ нездоровъ и все пью молоко. Хотите, разопьемъ вмѣстѣ кувшинчикъ?

— Пожалуй, сказалъ я.

Онъ позвалъ небольшого мальчишку, своего ученика, высѣкъ его, далъ гривну мѣди и приказалъ сбѣгать на рынокъ купить кувшинъ молока. „Я“, говоритъ, „высѣкъ тебя, другъ мой, для того, чтобы ты не шалилъ дорогой и не разбилъ кувшина; а если разобьешь, то еще высѣку.“

И надобно было посмотрѣть, какъ этотъ мальчишка скоро воротился и какъ бережно принесъ молоко: ни капли не пролилъ!

— Вотъ, сказалъ мнѣ отецъ Гонорій, какъ должно обращаться съ юношествомъ. Будутъ у васъ дѣтки, такъ обходитесь съ ними—не нарадуетесь подъ старость.

Жена Тараса Ивановича послѣ такого разговора обыкновенно уходила въ спальню, обнимала сына, горячо цѣловала его и потихоньку плакала.

Впрочемъ, не думайте, чтобъ Тарасъ Ивановичъ былъ звѣрь; напротивъ, онъ былъ добрый человекъ, даже былъ способенъ, какъ мы выше видѣли, убѣгать въ кабинетъ и писать шарady: но онъ имѣлъ свое убѣжденіе, которому слѣпо слѣдовалъ, какъ правотѣрный алкорану; россійскія прописи, іезуиты развили, укрѣпили это убѣжденіе, а обсуживать его онъ и не смѣлъ, и не могъ, и не хотѣлъ. Бываютъ обстоятельства, при которыхъ человекъ очень тяжело разсуждать.

Надобно было видѣть, съ какою любовью смотрѣлъ Тарасъ Ивановичъ на своего сына: какъ просвѣтлялось лицо его, глядя на умное, хотя робкое и слабое лицо Вани: но чуть Ваня встрѣчался глазами съ отцомъ, тотчасъ послѣдній принималъ строгое выраженіе и начиналъ журить его. Ребенокъ робко опускалъ рѣсницы: на нихъ дрожали слезы.

— Чтѣ капризился, говорилъ отецъ:— о чемъ хнычешь? Посмотри на другихъ дѣтей: все какія веселенькія, рѣзвыя, а ты волкомъ глядишь на отца. Экая дрянь!

Иногда Тарасъ Ивановичъ тихонько подходилъ къ постели своего сына и долго смотрѣлъ на беззаботный сонъ ребенка, какъ вольно раскинулись его нѣжныя ручонки; свѣтлыя кудри небрежно разметались на подушкѣ; молодая кровь играла на щекахъ: уста улыбались...

— Посмотри, жена, шопотомъ говорилъ Тарасъ Ивановичъ:— какой красавчикъ нашъ Ваня; вѣдь это нашъ собственный сынишка, а?—

И, тихо наклонясь, онъ цѣловалъ сына; но бѣда, если мальчикъ въ это время открывалъ глаза: вѣрный своему направленію, Тарасъ Ивановичъ грубо говорилъ: Чтѣ ты такъ рано улегся? не могъ бы чтѣмъ-нибудь позаняться?

Мальчикъ, вздрогнувъ, подымался съ постели.

— Ну, спи, коли улегся, продолжалъ отецъ, уходя изъ комнаты:— да впередъ, чтобъ этого не было.

И мальчикъ снова засыпалъ, свернувшись клубкомъ, какъ постельная собачка, и не разъ въ ночь вздрагивалъ и плотнѣе кутался въ одѣяло, будто спасаясь отъ какого-то кошмара.

Иногда, бывало, природная рѣзвость мальчика возьметъ верхъ надъ робостью: онъ разыграется, разсмѣется, побѣжитъ по лугу за красною бабочкой.

— Это чтѣ? вдругъ загремитъ голосъ родителя:— чему такъ обрадовался? Радъ, что глупъ? бѣгаешь, какъ мужицкій мальчишка, гоняешься чертъ знаетъ за чтѣмъ, какъ борзая собака! Вотъ я тебя! Не занялся бы чтеніемъ—а?

Чтеніе была одна пристань, куда могъ укрыться молодой Севрюгинъ отъ семейныхъ бурь и вѣчнаго ворчанья своего отца. Книга, какая бы ни была, защищала Ваню, какъ добрый бастионъ, отъ родительскихъ выстрѣловъ, и Ваня полюбилъ своихъ благодѣтелей—защитниковъ, полюбилъ книги; изъ нихъ онъ составилъ для себя особенный міръ; къ нимъ онъ удалялся изъ семейнаго круга, гдѣ встрѣчалъ безпрестанные выговоры, словно въ кружокъ, веселыхъ, невзыскательныхъ товарищей, мечталъ надъ ними, плакалъ, а иногда и смѣялся.

Ваня прочиталъ и почти выучилъ всѣ книги, какія были въ старинной домашней бібліотекѣ, хотя бібліотека была довольно не пестра и обширна; здѣсь были и газеты семисотыхъ годовъ въ синемъ переплетѣ, былъ „Мальчикъ у Ручья“, „Видѣнія въ Пиренейскомъ Замкѣ“, „Мѣщанинъ во Дворянствѣ“, комедія съ балетомъ господина Мольера, „Жизнь Олаудака Экіано“, имъ самимъ писанная, „Сѣятель Благочестія къ Пользѣ Живота“, „Безразсудные Обѣты“, госпожи Жанлисъ, „Золотое Сочиненіе Самуила, Раввина Іудейскаго“, „Тамира и Селимъ“, трагедія Ломоносова, „Исторія Ролена“, переведенная черезъ Василія Тредьяковскаго, „Знатная Корсиканка“, переведенная титулярнымъ совѣтникомъ Навроцкимъ; даже были стихи въ богатомъ сафьянномъ переплетѣ, напечатанные in folio, въ слѣдующемъ родѣ:

Греми вездѣ россійска слава,
И вознесся превыше звѣздъ,
Туды, гдѣ Божія держава
Пространностью владѣть мѣсть, и проч.

Все это читалъ Ваня; многого не понималъ, многое понималъ темно, другое превратно, о многомъ догадывался, но все читалъ, читалъ прилежно, а Ванѣ было только восемь лѣтъ. Отцу было вовсе не любопытно, чтѣ читалъ его сынъ; онъ былъ радъ, что Ваня не бѣгаетъ, какъ мужикъ, по саду, по полямъ и не играетъ въ не благородныя игры. Такъ шло образцовое воспитаніе сына Тараса Ивановича. Ребенокъ былъ слабъ, задумчивъ, робокъ и мечтателенъ; кромѣ русской грамоты и прочитанныхъ былей и небылицъ, онъ ни о чемъ не имѣлъ понятія. Въ это время случилось въ его жизни маленькое измѣненіе.

III.

Кто долго жилъ въ глуши печальной,
Друзья, тотъ вѣрно знаетъ самъ,
Какъ сильно колокольчикъ дальній
Порой волнуешь сердце намъ.

А. Пушкинъ.

Въ одно прекрасное утро Тарасъ Ивановичъ пришелъ къ женѣ своей, держа въ рукахъ распечатанное письмо, поцѣловалъ жену и потрепалъ ее письмомъ по носу.

— Это что? спросила жена.

— Новости, душенька, пріятныя новости!

— Садись-ка да пей чай.

— Сяду и буду пить чай; а все-таки ты не узнаешь новости. А хочется узнать?

— Какія тамъ у тебя могутъ быть новости? говорила супруга Тараса Ивановича съ притворнымъ равнодушіемъ, вытирая ушко большой фарфоровой чашки. Такъ, просто пустяки.

— Положимъ, пустяки... Сегодня чай очень ароматный; должно быть, ты прибавила что-нибудь въ чайникъ.

— Мнѣ то знать, если и прибавила; это моя тайна.

— Скажи же мнѣ, душоночкѣ... право, штука хорошая.

— У васъ есть свои тайны, у меня свои.

— О-го! вотъ она куда глядитъ! И безъ тебя знаю: здѣсь или розовой пупочекъ, или листочекъ лимонный — не правда ли?

— Неправда!

— Нѣтъ, правда.

— Нѣтъ, неправда. Коли на то пошло, такъ будетъ тебѣ стыдно. Я положила, для пробы, вѣточку розмарина! Вотъ видишь? А письмо отъ кого?

— Видишь, я на половину отгадалъ: если не роза, такъ розмаринъ. А письмо отъ моей любовницы — да!

— Вѣчно глупости! сказала супруга Тараса Ивановича, презрительно отдувая нижнюю губу.

— Нѣтъ, правда. Эта любовница въ сапогахъ, въ сѣрыхъ — да; я думаю въ сѣрыхъ: теперь лѣто, въ сѣрыхъ брюкахъ и, пожалуй, въ сюртукѣ или во фракѣ, какъ придется.

— А! знаю: секретарь Лепетаенковъ.

— Нѣтъ.

— Ну, такъ Гулякинъ.

— Станетъ онъ ходить во фракѣ! отставной майоръ, съ мундиромъ!

— Такъ кто же?

— А вотъ кто: пріѣхалъ изъ Москвы нашъ сосѣдъ, мой старинный пріятель, Евграфъ Петровичъ Волдыревъ, съ дѣточками; и сегодня, нишеть: „пріѣду къ тебѣ обѣдать, коли дома будешь“. На, читай. Вотъ что называется по пріятельски.

— Евграфъ Петровичъ! Покажи сюда! Да, онъ. Скажи, пожалуй, пріѣхали! а цѣлые три года прожилъ въ Москвѣ! Вотъ-то, я думаю, понавезъ всего столичнаго. А у жены-то, я думаю, модъ, скроекъ, выкроекъ, узоровъ!... Ахъ, какъ я рада!

— Вотъ вѣчно вы, женщины, хоть домъ гори, покажи вамъ только съ чего-нибудь выкройку — побѣжите за ней, все забудете. Ты постарайся хорошенько распорядиться, чтобы принять московскаго гостя. Я, вѣдь, сказалъ фореитору: „Кланяйся барину, благодарю за честь, и скажи, молъ, что ждемъ къ обѣду съ фамиліей, а обѣдаемъ, дескать, по деревенскому, въ первомъ часу“ — Такъ ты подумай объ обѣдѣ, это — твое дѣло.

— Ахъ, Боже мой! теперь ужъ восемь часовъ; что если поваръ пьянъ? Вчера онъ справлялъ крестины. Душа моя чувствуетъ, что пьянъ.

— Ничего: я сейчасъ прикажу окатить его раза три холодной водой — освѣжится и справится. Да кстати, я, душка, велю подать жирнаго каплуна подъ лимоннымъ сокомъ. Въ столицахъ это рѣдкость: тамъ, говорятъ, и люди, и птицы все такіе поджарые, сухопарые, а жирны только собаки да лошади...

— Ахъ, маменька! кричалъ Ваня, вбѣжавъ въ комнату и бросаясь на шею матери: — какъ это весело! тамъ, въ Индіи, есть пчелиный царь: куда онъ идетъ — и пчелы за нимъ летятъ.

— Тебѣ снилось, душенька.

— Нѣтъ, я сейчасъ читалъ въ „Путешественникъ Всемирномъ“, тамъ еще пушка...

— Тыфу! глупый мальчикъ! закричалъ Тарасъ Ивановичъ: — чему радуешься? Наказалъ меня Богъ этимъ дуракомъ! никакого приличія не знаетъ: бѣжитъ, сломя голову; никакой солидности нѣтъ!

Только при этихъ грозныхъ словахъ замѣтилъ Ваня своего отца, покраснѣлъ, задрожалъ и сталъ молча, опустья руки.

— Ну, что стоишь, не можешь подойти къ отцу, пожелать ему добраго дня — а? О какой пушкѣ говорилъ ты?

— О пушкѣ... робко говорилъ ребенокъ, глотая слезы: — въ которую запрягали много... слоновъ... и... клали... много по... роху...

— Глупость, братецъ! А вотъ ты смотри, веди себя хорошенько: сегодня будутъ гости, двое московскихъ дѣтей, одинъ постарше тебя, а другой тебѣ ровестникъ; дѣти эдукованныя не по нашему, съ ними какъ можно вѣжливѣе, — слышишь? да не врать чепухи, лучше смолчать, коли что не по тебѣ, да и не играть въ молчанку — слышишь?

— Слушаю съ.

— А ты, жена, смотри, Лизу-то нашу принаряди и приумой, и разукрась ее, чѣмъ знаешь, и локончиками, и кисейкой, и перстеньками, и духами, и помадкой; вѣдь она у меня не безприданница, барышня, въ полномъ смыслѣ: и бѣла, и румяна, и съ состояніемъ; а сосѣди люди богатые: знаешь, чего добраго, мы же, вѣдь, шутя помолвили ее со старшимъ сыночкомъ Евграфа Петровича, съ Оедькой; онъ теперь долженъ быть молодецъ. Не ударимъ лицомъ въ грязь, что ваши московскіе!

Евграфъ Петровичъ жилъ верстахъ въ десяти отъ деревни Тараса Ивановича Севрюгина и былъ съ нимъ очень друженъ. Они переженились почти въ одно время; и когда у Евграфа Петровича родился первый сынъ, а у Тараса Ивановича дочь, то они, въ шутку, отъ нечего дѣлать, сосватали своихъ дѣтей, и очень утѣшались, когда малютки, едва начиная лепетать, уже называли другъ друга женихомъ и невестой.

— А, Тарасъ Ивановичъ! посмотри-ка, какъ мой пострѣлъ подкачивается къ твоей дочкѣ, говаривалъ Евграфъ Петровичъ.

— А моя то сударыня какъ важничаетъ, замѣчалъ Тарасъ Ивановичъ:—вся въ покойницу жену.

— Важничать-то важничаетъ, да все-таки посматриваетъ на парня.

— Еще бы! Такова у нихъ, сосѣдъ, натура!

— Слушай, Оедька, поди сюда, стань передъ барышней... Что жъ ты упираешься? вѣдь, Лизавета Тарасовна твоя невеста... Ну, вотъ такъ. Пой за мной:

Пожалуйте, сударыня,
Сядьте со мной рядомъ;
Пожалуйте, сударыня,
Удостоите взглядомъ.

— Пой за мной, Лиза, говорилъ Тарасъ Ивановичъ, и начиналъ:

Прочь, прочь, отойди,
Какой неспокойный!
Прочь, прочь, отойди,
Любви недостойный!..

— Эге! да ты, сосѣдъ, этакъ разсоришь нашихъ пылать, замѣчалъ Евграфъ Петровичъ.

— Ничего, шутка шуткой, а дѣло дѣломъ. Ну, поцѣлуйтесь, пострѣленки, такъ, покрѣпче! Bravo!..

Такъ потѣшались добрые люди своими дѣтками.

Года три назадъ, уѣхалъ Евграфъ Петровичъ въ подмосковную деревню, которую онъ получилъ въ наслѣдство; изъ деревни завернулъ въ Москву, Москва ему понравилась; онъ выписалъ туда по первозимкѣ жену и обоихъ сыновей, старшаго, Теодора, меньшаго, Леонтія, да еще повара, да еще кого-то, да цѣлый обозъ дворни и зажилъ припѣваючи. Къ женѣ Евграфа Петровича ѣздили модистки, и сама она ѣздила на всѣ гулянья и на Кузнецкій Мостъ. Къ его сыновьямъ ходили по часамъ разные учителя, и сами сыновья, переименованные гувернеромъ въ Теодора и Леонарда, ходили гулять по бульварамъ. Къ Евграфу Петровичу ѣздила куча пріятелей, а Евграфъ Петровичъ рыскалъ всюду съ утра до ночи. Поживъ два года въ Москвѣ, Евграфъ Петровичъ заложилъ свои подмосковныя триста душъ, черезъ годъ увидѣлъ, что, живя въ Москвѣ, проценты плохо выплачивать, и уѣхалъ, для поправки обстоятельствъ, въ свою далекую деревню; а возвратясь на родину, тотчасъ вспомнилъ стараго пріятеля Тараса, о которомъ почти было забылъ въ столичномъ шумѣ.

IV.

Неописанная пріятность увидѣть друга послѣ долгаго отсутствія!..

Замѣчаніе одного философа.

Ударилъ часъ въ столовой на старинныхъ часахъ Тараса Ивановича.

— Ужъ эти мнѣ столичные! началъ было Тарасъ Ивановичъ, но стукъ экипажа прервалъ его фразу.

У крыльца остановилась щегольская карета лимоннаго цвѣта, запряженная шестеркой вороныхъ лошадей; съ запятокъ соскочили два лакея въ цвѣтныхъ ливреяхъ, обвѣшанныхъ до безобразія снурками, кистями и аксельбантами, и начали выгружать карету: прежде всего явился самъ Евграфъ Петровичъ, во фракѣ темно-вишневаго цвѣта съ бронзовыми пуговицами и въ сѣрой шляпѣ; за нимъ его супруга, толстая барыня, въ лентахъ, въ перьяхъ, въ цвѣтахъ; за ней старшій сынъ, Теодоръ, мальчикъ лѣтъ тринадцати, въ щегольской курточкѣ съ воротниками à l'enfant, въ фуражкѣ съ золотой кисточкой, тощій, высокій не по лѣтамъ и старообразный лицомъ, съ надменной физиономіей, со вздернутымъ носомъ, съ улыбкой презрѣнія ко всему окружавшему; наконецъ, меньшей, Леонардъ, здоровый, краснощокій мальчи-

шка, лѣтъ десяти, въ кучерскомъ голубомъ кафтанѣ и въ кучерской шляпѣ.

Тарасъ Ивановичъ немножко смѣшался, какъ посравнилъ свой старый мундирный сюртукъ съ нарядами своихъ гостей, но скорѣй оправился, перецѣловалъ пріѣхавшихъ и ввелъ ихъ въ гостиную, гдѣ ожидали его жена и дочь Лиза, вся обвѣшанная жемчугомъ и дорогими камнями покойницы-матушки. Ваня стоялъ въ углу, въ скромномъ нанковомъ платьѣ, и боялся приблизиться къ маленькимъ гостямъ. У нихъ были такія нарядныя платья, а у него простое, сѣренькое; у нихъ вились до плечъ мягкія, шелковистыя кудри — онъ былъ выстриженъ въ плотную, по-солдатски; они были развязны — онъ робокъ; они были въ гостяхъ какъ дома — онъ дома словно въ гостяхъ.

— Ну, слава Богу! слава Богу! говорилъ Тарасъ Ивановичъ, усаживая гостей: — наконецъ таки вы пріѣхали. Мы съ женой, бывало, ума не приложимъ: куда, дескать, запропастился Евграфъ Петровичъ? да таки со всей фамиліей! Дочка растеть, говорю, жениха увезъ...

— Признаться, и мы такъ скучали по васъ; а мой Теодоръ просто стосковался... Да какъ Лизавета Тарасовна выросла, какъ похорошѣла! Узнаете ли вы меня, сударыня? Вотъ, я вамъ привезъ жениха. Теодоръ, обними свою невѣсту!

Лиза покраснѣла; Теодоръ Евграфовичъ безъ церемоніи поцѣловалъ ее.

— А это твой Ваничка? продолжалъ Евграфъ Петровичъ.

— Да. Растеть, не знаю, на печаль или на радость...

— Э, полно! вѣрно на радость... Подойди ко мнѣ, Ваничка, познакомимся. Вотъ я тебѣ привезъ товарища. Ты знаешь Леонарда, помнишь его?

— Знаю, отвѣчалъ ободренный мальчикъ: — онъ очень золъ и питается мясомъ.

— Кто тебѣ сказалъ это?

— Я знаю, я читалъ; онъ очень похожъ на кошку.

— Что ты врешь глупости? закричалъ на сына Тарасъ Ивановичъ. Молчать! Извините его, онъ вретъ такія глупости!

— Это видно, съ ужимкой отвѣчала жена Евграфа Петровича.

Двѣ слезы покатались по щекамъ Вани; онъ убѣжалъ изъ комнаты и чрезъ нѣсколько минутъ возвратился, неся въ рукахъ книгу — первую часть „Естественной Исторіи“ Рейнольскаго, и, показывая пальцемъ на картинку, сказалъ сквозь слезы Евграфу Петровичу: „Вотъ, посмотрите! вотъ, посмотрите! вотъ леопардъ: онъ очень похожъ на кошку, а вы мнѣ не вѣрили“.

Евграфъ Петровичъ захохоталъ, и всѣ захохотали.

— Ты не понялъ меня, Ваничка, говорилъ Евграфъ Петровичъ, едва отдыхая отъ смѣха: — я говорилъ о сынѣ моемъ, Леонардушкѣ.

— А онъ развѣ не Левушка?

— И Левушка, все-равно!..

— Извини его, Евграфъ Петровичъ, сказалъ Тарасъ Ивановичъ: — онъ такой у меня дуракъ.

— Нѣтъ, ничего; а видно книги читаетъ — это хорошо; сюда прибавить свѣтское обращеніе — и выйдетъ очень хорошо!.. Вотъ мои, если ихъ раскусить хорошенъко, такъ просто изумленіе!

Послѣ обѣда мужчины ушли въ кабинетъ курить и разговаривать на-распашку, т.-е., безъ сюртуковъ; дамы усѣлись въ гостиную и, заѣдая вареньемъ, сообщали одна другой разныя исторіи, которыхъ намъ ни выдумать, ни вообразить; а дѣти ушли въ садъ: тамъ Теодоръ, по праву жениха, совершенно завладѣлъ Лизой, прогнавъ брата и Ваню прочь, говоря, что они дѣти и должны знать себя, и, взявъ подъ руку Лизу, удалился въ густую аллею, гдѣ сообщалъ ей, какой фракъ ему сошьютъ чрезъ годъ, какія у него скоро будутъ лошади, сколько у него будетъ душъ, когда умретъ папенька, и какъ ему будетъ весело, когда онъ будетъ жить вмѣстѣ съ Лизой, и Лиза отвѣчала:

— Ахъ, какъ будетъ весело! А скоро это?..

За чаемъ рѣчь зашла о Москвѣ, о балахъ, о гуляньяхъ, о гостиницѣ, о ресторанахъ и пансіонахъ. Евграфъ Петровичъ обо всемъ говорилъ обстоятельно; но болѣе всего поразилъ сердце Тараса Ивановича, радѣющее о воспитаніи сына, разсказами о блестящихъ экзаменахъ въ пансіонахъ, гдѣ только-что не хватаютъ звѣздъ съ неба передъ почтеннѣйшей публикой.

— Ну-ка, сосѣдъ, а попробуй моего сынишку, пощупай его, этакъ, со всѣхъ сторонъ? ты, вѣдь, тамъ наострился.

Евграфъ Петровичъ какъ ни отговаривался, но долженъ былъ уступить просьбамъ Севрюгина и спросилъ Ваничку:

— Ну, а скажите намъ, что есть глаголь? Ваничка молчалъ.

— Не знаетъ, каналья! Какъ вы, глаголь, что ли, говорили? сказалъ Тарасъ Ивановичъ.

— Отчего же нѣтъ? Вѣрно знаетъ, да робѣетъ немного. Вѣдь вы знаете?

— Знаю, тихо отвѣчалъ Ваня.

— Такъ скажите.

Глаголь времянь—металла звонъ,
Твой страшный гласъ меня смущаетъ...

началъ робко говорить Ваня. Тарасъ Ивановичъ за каждымъ слогомъ съ улыбкой одобрительно покачивалъ головой.

— Нѣтъ, кажется, не то, сказалъ Евграфъ Петровичъ.— Что есть глаголь, Теодоръ?

— Глаголь есть часть рѣчи.. рѣзко отвѣчалъ Теодоръ, самодовольно улыбаясь.

— Точно такъ. Я вамъ скажу, Теодоръ — голова!

— Ну, спроси-ка еще изъ другой какой науки.

— Хорошо. А разрѣшите мнѣ вотъ эту задачу: летѣло стадо гусей...

— Это по вашей части, замѣтилъ Тарасъ Ивановичъ, мигая на жену.

— Да. Летѣло стадо гусей, продолжалъ Евграфъ Петровичъ: и повстрѣчался имъ одинъ гусь, и говоритъ: „здравствуйте, сто гусей!“ а они ему: „Нѣтъ, врешь, насъ не сто гусей, а еслибъ насъ еще столько, да полъ столько, да четверть столько, да ты одинъ, тогда бы насъ было сто гусей“. Вотъ, видите: сколько ихъ летѣло?

Ваня стоялъ рѣшительно-уничтоженный этой мудрой задачей, взятой цѣликомъ изъ „Арнеметики“ штык-юнкера Войцеховскаго. Самъ Тарасъ Ивановичъ не зналъ, какъ понимать эту загадку: проявленіемъ ли глубокой мудрости, или московской шуткой своего сосѣда, и нерѣшительно поглядывалъ то на сосѣда, то на сына. Между тѣмъ. Евграфъ Петровичъ съ торжествомъ замѣтилъ общее смущеніе и небрежно спросилъ:

— Теодоръ, а сколько, ты думаешь, было гусей?

— Тридцать шесть, торжественно отвѣчалъ Теодоръ.

— Неужели? спросилъ Тарасъ Ивановичъ.

— Да такъ: ужъ это вѣрно; мой Теодоръ не совретъ.

— А подайте сюда счеты!

Принесли счеты; нѣсколько минутъ Тарасъ Ивановичъ стучалъ косточками приговаривая: „полстолько, то-есть, шестнадцать...нѣтъ, восемнадцать, да четверть, то-есть, девять“ и т. д.: наконецъ, бросилъ счеты и закричалъ: „Тыфу, ты, пропасть! вѣдь такъ, право такъ. Господи, подумаешь, какъ умудряется народъ, этакой можно сказать ребенокъ, а нашего брата, старика, научить всячинѣ!.. Благословилъ васъ Богъ сыномъ!“

— У меня и Леонардъ не ударить лбомъ въ грязь. Ну-ка, Леонардъ, разскажи-ка намъ про муравья.

Леонардъ проговорилъ скороговоркою извѣстную басню:

Попрыгунья стрекоза
Лѣто цѣлое пропѣла...

— Хорошо, хорошо, говорилъ Евграфъ Петровичъ, повторяя послѣдніе стихи:

Ты все пѣла—это дѣло.
Ну, теперь же попляши!

— Гдѣ жъ тутъ правоученіе—а?
Леонардъ молчалъ.

— Помнишь, продолжалъ отецъ:—вотъ тебѣ толковалъ учитель-нѣмецъ, Гибмиръ, что это значитъ?

— А, да, отвѣчалъ Леонардъ:—это значить, что если кто проводить время въ праздности, такъ мы не должны ему помогать, когда онъ будетъ въ нуждѣ...

— Да, да, хорошо.

— А вѣдь, именно такъ, сказалъ Тарасъ Ивановичъ изумленнымъ голосомъ:—мнѣ и въ голову это не пришло:

Ты все пѣла—это дѣло,
Такъ попляши же теперь!.

Ха-ха-ха! то-есть, не угодно ли поголодать теперь, то-есть, вотъ вамъ дверь, милостивый государь, коли сами не умѣли ничего собрать себѣ. У насъ, дескать, есть, да для себя. Впередъ было думать!.. Какъ говорится: есть квасъ, да не для васъ!.. Истинное правоученіе! Какъ это умные люди изъ всего извлекутъ пользу: кажется, пустые стишонки, а раскуси ихъ—смыслъ есть!

— Да, замѣтилъ Евграфъ Петровичъ: теперь все такъ: научаютъ съ пріятностью.

Разговоръ въ этомъ вкусѣ продолжался довольно долго, пока не подали кареты. Сосѣди раскланялись, расцѣловались и уѣхали. Прощаясь, Евграфъ Петровичъ потрепалъ по щекѣ Ваню и сказалъ ему: „Ты сердись на меня за маленькое испытаніе? Не сердись: въ большемъ свѣтѣ это необходимо. Тарасъ Ивановичъ, я тебѣ совѣтую по-пріятельски не шадить денегъ, достать учителя для сына; онъ мальчикъ со способностями. Я сразу вижу—повѣрь мнѣ!“

V.

Дѣти: Ахъ, папенька! гости! гости!..
Отецъ: Овдѣка! кого тамъ велекая несетъ?

Да подай мнѣ новый сюртукъ.

Изъ семейнаго разговора.

По моему мнѣнію, какъ бы ни были пріятны гости—я говорю собственно о такъ

называемых *гостях*—какъ бы ни радъ былъ имъ хозяинъ, но, по отъѣздѣ ихъ, онъ все-таки чувствуетъ какое-то удовольствіе. Забудьте—и вы убѣдитесь въ этомъ. Или человѣкъ по натурѣ своей, показываясь передъ гостей, надѣваетъ маску, которая бываетъ иногда довольно-тяжела, и по отъѣздѣ гостей похожъ на актера, вышедшаго послѣ трудной роли за кулисы вдохнуть свободно; или физическія силы, ослабѣвая отъ безпрестанной сторожи, на которой находится человѣкъ, хотящій быть любезнымъ хозяиномъ, рады отдохнуть—та ли, другая ли причина, во всякомъ случаѣ хозяинъ радъ отъѣзду гостей. Не забывайте, что я говорю только собственно о *гостях*.

Вѣрно, вамъ случалось бывать въ *гостях* по случаю именинъ, крестинъ и т. п.; о свадьбахъ и толковать нечего—въ обществѣ средней руки, гдѣ былъ приглашенъ, такъ, для почета, какой-нибудь дальній родственникъ или благодѣтель, генералъ или статскій совѣтникъ, и вы вѣрно замѣтили, какъ это важное лицо, откушавъ чашку чая, спѣшитъ убраться домой, будто боясь, что слишкомъ долго находилось въ атмосферѣ гораздо ниже своего достоинства, и какъ хозяинъ, выпроводивъ гостя, съ низкими поклонами и благодарностями, за дверь, возвращался, радостно улыбаясь, и говорилъ обществу: „Ну, господа! уѣхали, слава Богу! теперь можемъ повеселиться“. И все общество, само не зная отчего, вздыхало свободнѣе, и на слова и улыбку хозяина отвѣчало пріятной улыбкой. Не отъ того ли это, что оно сбрасывало маску, выражавшую глубочайшее почтеніе и таковую же преданность? Общество веселилось, пѣло, играло въ карты, плясало, любезничало, дурачилось, и разошлось далеко за полночь, думая, что до-нельзя веселитъ радушнаго хозяина, а онъ, смѣю васъ увѣрить, съ досадой говорилъ женѣ, выпроводивъ послѣдняго гостя: „насилу разошлись! просто меня изъ силъ выбили“.

— Да, отвѣчала, зѣвая, жена: — давно спать пора; у меня такъ глаза и слипаются, а они все сидятъ!

— Теперь отдохнемъ на свободѣ, говорилъ весело мужъ, входя съ женою въ спальню.

И супруги, вдругъ, Богъ-знаетъ отчего, стали веселы. Тутъ, изволите видѣть, они еще сняли одну маску—маску милыхъ, обязательныхъ хозяевъ.

Если вы наблюдали подобное свойство человѣческаго рода, то ни мало не удивитесь и не осудите Тараса Ивановича, узнавъ, что онъ весело вошелъ, по отъѣздѣ гостей, въ гостиную, и почти торжественно сказалъ: „Ну, жена, отдежурили! А хо-

соч. Е. П. ГРЕБЕНКИ.

рошій человѣкъ Евграфъ Петровичъ!.. Какъ меня давить этотъ галстухъ!

— Да, отвѣчала жена, снимая съ головы цвѣточную наколку:—я совсѣмъ замучилась...

Здѣсь позвольте сдѣлать еще маленькое отступленіе.

У меня былъ знакомый домъ, очень странный; въ домѣ жила хозяйка вдова, Ѳедосья Ѳедоровна—олицетворенная филантропія, добрѣйшая душа, по мнѣнію всего околота; у Ѳедосьи Ѳедоровны были четыре дочери-невѣсты. Во всемъ этомъ ничего нѣтъ страннаго; а вотъ что было для меня предметомъ удивленія и всегдашней загадкой: вся дворня Ѳедосьи Ѳедоровны встрѣчала меня съ какой-то особенной душевной радостью, такъ что это меня часто озадачивало. Я не дѣловой человѣкъ, нужный всѣмъ и каждому; не богачъ, бросающій деньги на всѣ четыре стороны; не женихъ, не представляю шутку, не... ну, не другъ Ѳедосьи Ѳедоровны—словомъ, человѣкъ не веселый; а между тѣмъ, вся коллекція въ домѣ Ѳедосьи Ѳедоровны заспанных Ванекъ, Ѳомокъ, Петрушекъ и т. д. встрѣчала меня съ пренеижкими поклонами; всѣ эти лица ухмылялись и осклаблялись на меня отъ истинной, непритворной радости. А иногда, если я не бывалъ въ домѣ недѣли двѣ-три, какой-нибудь лакей, перегибаясь передо мной, говорилъ: „что васъ, сударь, такъ давно не видать? барыня изволила скучать по васъ“. Непонятно!.. И всѣ эти Петрушки и Ѳомки очень грустно провожали меня, когда я уѣзжалъ домой, лѣниво подавали шинель и медленно, съ какой-то печалью на лицѣ, отворяли мнѣ двери. Еще непонятнѣе!.. Не правда ли, что въ домѣ Ѳедосьи Ѳедоровны это была большая странность? Мы привыкли вообще встрѣчать въ передней при входѣ недовольныя ливрейныя лица и радостныя физиономіи при выходѣ—что и понятно: всякій гость прибавляетъ хлопотъ для слугъ. Но здѣсь было на оборотъ.

Я передалъ свое замѣчаніе объ этой странности двумъ-тремъ пріятелямъ, тоже посѣщавшимъ домъ Ѳедосьи Ѳедоровны; они отвѣчали, что и ихъ точно такъ же встрѣчаютъ и провожаютъ слуги въ этомъ домѣ. Мы начали доискиваться причины и—кто бы подумалъ? узнали, что Ѳедосья Ѳедоровна при гостяхъ тише воды, ниже травы, но безъ гостей—бичъ своихъ домашнихъ; что, будучи одна, она, какъ духъ-разрушитель, путешествуетъ изъ комнаты въ комнату, придирается за всякіе пустяки къ своимъ слугамъ и служанкамъ, ругается съ ними, не даетъ имъ покоя и даже—извините за выраженіе—бьетъ ихъ собствен-

ными руками; но при первом звонкѣ все утихаетъ: хозяйка небрежно садится на мягкій диванъ, морщины гнѣва сбѣгаютъ съ лица ея, руки вооружаются какою-нибудь красивой книжечкой; голосъ дѣлается мягкимъ, пріятнымъ, и она очень нѣжно говоритъ: „подай мнѣ, милый, стаканъ воды съ сахаромъ“, говорить тому самому Петрушкѣ, на котораго за четверть часа прежде расточала весь запасъ своей злобы, ругательства и проч. Эта комедія игралась, пока гость былъ въ домѣ; но чуть онъ выходилъ за порогъ, прежняя трагедія воскресала со всѣми неприятными подробностями.

Почти въ такомъ положеніи, какъ дворянъ Федосья Федоровна, существовалъ въ роуинтельскомъ домѣ сынъ Тараса Ивановича, и весьма понятно, отчего бѣдный Ваня жался въ уголокъ гостиной, боясь выйти и остерегаясь быть замѣченнымъ, отчего онъ робко поглядывалъ на отца, сиваваго галстухъ, и при первомъ словѣ готовъ былъ сознаться, что онъ, т. е. Ваня, виноватъ, хоть и не чувствовалъ за собой никакой вины.

— А! ты здѣсь еще! закричалъ Тарасъ Ивановичъ, глядя на своего сына:—что дрожишь, какъ заяцъ?

— Да оставь его! сказала жена Тараса Ивановича.

— Какъ оставь, матушка! Ради Бога, не вѣдайся! Хочешь вскормить болвана, какъ женщина Окуневская... Поди сюда, Лиза, Лизокъ! покушай: вотъ осталось варенье; вотъ такъ, душа моя, на здоровье! А что, понравился тебѣ женихъ—а?

— Понравился, папа: только...

— Что только?

Только у него усы въѣтъ.

Ничего, вырастутъ. А тебѣ, не бойсь, ~~милый~~ ^{милый} бы, чтобъ у него были усы, какъ у меня?

Нѣтъ, папа, какъ у того офицера, что ~~былъ~~ ^{был} къ намъ зимою.

Зимой! Да ты, Лизокъ, ужъ и приволакиваешься за офицерами! Слышь, жена? ~~раньше-то~~ ^{раньше-то} замѣтила у Фофонтонова! Экое ~~женское~~ ^{женское} ~~отродье!~~ ^{отродье!} чуть изъ колыбели—ужъ и ~~замѣтила~~ ^{замѣтила} и то, и другое, и третье... Да, Лизокъ, братъ у твоего жениха такіе же усы, какъ у хрипененькаго офицера.

Какъ и радъ! Такъ скоро мы женимся, мамъ!

Поди, другъ мой.

Какъ это скучно!

Для чего же тебѣ торопиться? И ты подрастешь, и у него усы вырастутъ...

Мнѣ бы хотѣлось скорѣе; онъ мнѣ обѣщалъ много-много нарядовъ...

— Вся въ покойницу!.. А ты, Ванька, что тамъ стоишь, словно чужой? что не ѣшь варенья?

— Не хочу.

— Врешь вѣдь, бестія! Знаю, что хочешь, а такъ, капризничаетъ, ломается, скверное зелье!

— Право, не хочу, продолжалъ съвозъ слезы ребенокъ:—пускай она кушаетъ.

— Кто она? о комъ ты говоришь?

— О сестрицѣ.

— Ахъ, ты, мерзкій оборванецъ! не могъ бы сказать повѣжливѣе: она? Да знаешь ли ты, что ты ея подметки не стоишь? Она и умна, и хороша, и богата—понимаешь ли: богата! а ты нищій—слышь? просто нищій, да еще глупъ, да еще и грубіанъ. Ты мнѣ наказаніе, ты мнѣ позоръ! Я, вѣдь, не забылъ, какъ ты вздумалъ сегодня называть благородныхъ дѣтей кошками или тиграми, или чортъ тебя знаетъ какими звѣрями... Надъ другими насмѣхаешься, а самъ что знаешь? ровно ничего! Стыдъ, срамъ было мнѣ сегодня: чужія дѣти, что ни спросишь—такъ трарарара... и отрѣжутъ, а ты все глазами хлопаешь да молчишь. Нѣтъ, я тебѣ укорочу поводья! Завтра же посылаю за учителемъ, да выберу... самъ знаю какого: разскаго, въ саженъ ростомъ, чернаго, какъ смоль, вотъ съ такими глазами—ты у него не пикнешь!

VI.

Перстъ указательный, всѣ признаки ученья, Какъ наши робкіе тревожили умы...

Гребенцовъ.

Съ этого дня Тарасъ Ивановичъ началъ пугать своего сына учителемъ, а самъ написалъ въ губернской городъ къ знакому чиновнику, служившему въ какомъ-то комитетѣ, кажется, шелководства, преуменьшительное письмо, съ просьбой выслать надежнаго учителя, который былъ бы очень уменъ, не любилъ засматриваться на прекрасный полъ и зелено вино, за что обѣщалъ на свадьбѣ шелковаго чиновника проплатить казачка.

Хотя означенному чиновнику было подлѣ шестьдесятъ лѣтъ, хотя онъ не располагалъ жениться и твердо былъ увѣренъ, что Тарасъ Ивановичъ казачка танцовать не станетъ, и что это съ его стороны была только пріятная шутка, любезность, однако позаботился о высылкѣ воспитателя, тѣмъ болѣе, что это не представляло большихъ

затруднений: въ губернской семинаріи только-что кончились экзамены; семинаристы разъѣзжались на каникулы по первое сентября и многіе изъ нихъ, дѣти бѣдныхъ родителей, считали за особенное счастье заняться лѣто уроками и что-нибудь приобрести.

Вѣрно кто-нибудь изъ васъ встрѣтилъ лѣтомъ 18.. года по ...ской дорогѣ ѣдущую повозку: въ корню пѣгій конь, на пристяжкѣ сѣренькая кобылка-двулѣтокъ; на козлахъ человекъ въ тиковомъ балахонѣ; изъ-подъ шляпы торчитъ и киваетъ небольшая коса, въ рукахъ длинный прутъ; повозка нагружена сундучками и мѣшками; между ними торчитъ перепелиная сѣтка и клѣтка съ дроздомъ. На этомъ холмѣ, неспостижимо какъ, уместились чепырѣ мальчика въ картузахъ; вѣрно, вы замѣтили идущаго рядомъ съ повозкой человека въ желтыхъ нанковыхъ штанахъ и пестромъ жилетѣ; козырекъ зеленого картуза, пара черныхъ густыхъ бакенбардъ и большая, оплетенная проволокой трубка съ крышккой рѣшительно скрывали лицо его; онъ шелъ, закинувъ на спину руки, и дымилъ, какъ паровая винокурня. Это былъ учитель, путешествовавшій въ домъ Тараса Ивановича.

Въ одинъ прекрасный вечеръ Тарасъ Ивановичъ сидѣлъ съ женой въ комнатѣ, курилъ трубку и разговаривалъ или, лучше сказать, ругалъ губернскаго чиновника шелководства.

— Да ты слишкомъ строгъ къ Евтихію Евпсихіевичу: онъ занятъ, у него много дѣла, говорила жена.

— Э, матушка! онъ только кричитъ о своихъ трудахъ и ничего не дѣлаетъ, а дураки—не съ тобой сравнить,—и вѣрятъ. Ну, посуди сама, какая ему работа? Ни одного червяка не выплодилъ, а жалованье беретъ, дармоѣдъ, просто дармоѣдъ...

— А можетъ-быть и...

— Какое можетъ-быть! Вѣдь ни одного дерева нѣтъ шелководнаго: все, говорятъ, вымерзаетъ; развѣ теплицы сдѣлаютъ... да куда имъ! Вотъ, проѣзжалъ совѣтникъ—не наплачется: всѣ, говоритъ, черви, всѣ муравьиныя яйца побито холодомъ; соловья нечѣмъ кормить,—просто бѣда; какіе же тутъ будутъ шелковичные черви? Они, братъ, себѣ на умѣ; ихъ не проведешь! А Евтихій просто зазнался, думаетъ... Слушай, никакъ пришелъ кто-то?

— Кажется.

Точно слышно было: въ прихожей кто-то вытиралъ объ полъ сапоги, робко откашливался и потихоньку сморкался.

— Кто тамъ? спросилъ Тарасъ Ивановичъ.

— Кто тамъ? спросила жена его.

Молчаніе.

— Да какой тамъ чортъ? Ну, пойдѣ сюда! грозно продолжалъ Тарасъ Ивановичъ.

Дверь осторожно начала отворяться и въ комнату показался запыленный сапогъ, а за нимъ желтая нога; потомъ явилась рука, безъ перчатки, держащая запечатанное письмо, вслѣдъ за нею—нось, опущенный черными бакенбардами.

— Опять чортъ принесъ просителя! сказалъ въ полголоса Тарасъ Ивановичъ жене.—Ну, входи, братецъ!

При этомъ словѣ, незнакомецъ явился весь, какъ онъ былъ: въ желтыхъ штанахъ, въ пестрой жилеткѣ, въ синемъ, почти голубомъ сюртукѣ; ростъ незнакомца былъ невеликъ, за то бакенбарды очень велики и черны, голова черна; плохо выбритое загорѣлое лицо тоже не отличалось бѣлизной—словомъ, явился учитель, котораго мы видѣли въ путешествіи около повозки, робко сталъ у двери и, кланяясь, вытянулъ руку съ письмомъ.

— Изъ грековъ, братъ, что ли? спросилъ Тарасъ Ивановичъ, опуская руку въ карманъ за кошелькомъ.

Тарасъ Ивановичъ имѣлъ полное право сдѣлать подобный вопросъ, потому что въ это время часто тревожили греческіе паликары, которые, вышедъ изъ Греціи во время турецкой войны, нѣсколько лѣтъ бродили по нашимъ южнымъ губерніямъ, собирая подаданіе, кто на войско, кто на монастыри.

— По-гречески прошелъ только этимологию и синтаксисъ и немного занимался переводами, говорилъ прищелецъ, почтительно подавая письмо, а болѣе...

— Ну, письмо твое читать не стану; Богъ съ нимъ! всѣ они на одну масть. Что же болѣе?..

— Болѣе по-латыни, т. е. „Корнелія Непота“, напримѣръ, „Цицерона“ de officiis и прочее, т. е. извольте потрудиться прочитать: Евтихій Евпсихіевичъ все побробоно изволили описать...

Тутъ учитель остановился, вздохнулъ, вынулъ изъ кармана синій носовой платокъ съ бѣлыми мушками и отеръ со лба крупный потъ.

— Такъ вы отъ почтеннѣйшаго Евпсихіевича! закричалъ Тарасъ Ивановичъ.—Что же вы давно не сказали? смѣю спросить, вѣрно имѣю честь видѣть рекомендованнаго учителя?

(Тарасъ Ивановичъ въ разговорѣ съ учеными людьми любилъ немного притуманивать свои рѣчи).

— Имѣя пламенное желаніе къ образованію російскаго юношества, имѣю счастье рекомендовать къ вашимъ услугамъ...

— Покорнѣйше благодарю. Позвольте безпокоить: имя, отчество?

— Философъ Иванъ Павловъ сынъ Звонкъ-Делигенскій.

— Садитесь, сдѣлайте одолженіе.

Философъ присѣлъ на кончикъ стула и началъ сморкаться. Тарасъ Ивановичъ прочиталъ письмо и повелъ съ гостемъ бесѣду очень разумную о разныхъ нравственныхъ предметахъ; но какъ онъ ни натягивалъ свои мысли, какъ ни путалъ слова, стараясь придать своимъ рѣчамъ ученый колоритъ, философъ такъ и ставилъ его въ тупикъ. Тарасъ Ивановичъ самъ почувствовалъ, что даже поглупѣлъ немного, поговоривъ полчаса съ такимъ ученымъ человекомъ, съ жаромъ схватилъ его руку, предложилъ ему остаться хоть на десять лѣтъ въ домѣ, образовать Ваню и быть совершенно своимъ.

— Да, милостивый государь, признаюсь откровенно, мнѣ давно хотѣлось имѣть философа въ домѣ; вы, господа ученые, прямо ходячіе шкапы съ книгами, говорилъ Тарасъ Ивановичъ:—нужно что—васъ за бокъ, и дѣло въ шляпѣ: сейчасъ и справка. Нѣмцы и французы, признательно сказать, народъ хорошій, и по хозяйству что-нибудь придумаютъ, и на конюшнѣ присмотрятъ, да, знаете, нѣтъ глубокой учености, и главное, нравственность!.. бѣда!.. Вотъ у нашего сосѣда нѣмецъ еще и туда и сюда, только и порока, что къ ужину никогда не являеться: такъ бываетъ вечеромъ хмѣленъ; а французъ—бѣдовый человекъ! гдѣ ни увидѣлъ женскій фартучекъ, ужъ онъ и тамъ, ужъ ему боярскія дѣти плевое дѣло, онъ ихъ и знать не хочетъ, онъ ужъ тамъ и пріютился во мѣхъ фартучка, и щебечетъ, и прыгаетъ, словно воробей!.. Этакій перепелъ!.. смотрѣть на него гадко. Понимаете?

— Дѣло удобопонятное... и если хорошенько углубиться, т. е. вникнуть въ сущность...

— Да, да, да! вотъ эта-то сущность, какъ вы говорите, и главное, именно такъ! Я, вѣдь, знаете, человекъ неученый; понимать понимаю, да по-вашему не умѣю выразить, а вотъ сущности-то мнѣ и надобно.

Пока бесѣда текла такимъ образомъ, подали чай, и Тарасъ Ивановичъ приказалъ позвать сына, а сынъ давно ужъ стоялъ за дверью, съ ужасомъ и глубокимъ почтеніемъ разсматривая въ щелку страшнаго чернаго учителя, говорящаго непонятнымъ языкомъ. Ваня вошелъ въ комнату въ сопровожденіи своей маменьки и робко остановился.

— Ну, что же ты стоишь? сказалъ Тарасъ Ивановичъ:—поклонись своему будущему наставнику и благодѣтелю.

Мальчикъ остановилъ лѣвую ногу въ сторону, шаркнулъ къ ней правой и поклонился, потомъ оставилъ правую, шаркнулъ лѣвой и опять поклонился. Тарасъ Ивановичъ при каждомъ поклонѣ безмолвно кивалъ головой и тихо ударялъ ладонью по своему колѣну. Видно было, что церемонные поклоны были если не изобрѣтены, то по крайней мѣрѣ переданы сыну Тарасомъ Ивановичемъ.

Тарасъ Ивановичъ подлилъ въ чай философу немного рому: философъ сталъ развязнѣе, даже началъ смотрѣть прямо въ лицо женѣ Тараса Ивановича, чего до сихъ поръ сдѣлать никакъ не рѣшался, и общалъ по воскреснымъ днямъ ловить съ Ваней рыбу на удочку, а между прочимъ совѣтовалъ ему учиться латинскому языку.

— На немъ, кажется, нигдѣ не говорятъ? замѣтила жена Тараса Ивановича.

— Не говорятъ теперь невѣжи, т. е. непросвѣщенные, а всѣ великіе люди говорить и говорили; напримѣръ, Цицеронъ, и всѣ говорили. Люди основательно-ученые и теперь иначе не говорятъ; въ немъ сладость неописанная.

— Ну да, замѣтилъ Тарасъ Ивановичъ:—я хочу, чтобъ Ваня былъ очень ученъ; учите его этому языку, не смотрите, если ему не понравится, не поглажайте—за уши да и въ уголы!.. Еще лучше, если труднѣе: на вѣкъ въ памяти останется...

— Напротивъ, это языкъ самый веселый: напримѣръ, вотъ возьмемъ примѣромъ *pater*, т. е. отецъ.

— Это значитъ: отецъ? спросилъ Тарасъ Ивановичъ.

— Да, отецъ; такъ и въ грамматикѣ написано, и въ лексиконѣ Кронеберга.

— Видишь что! а я часто въ Польшѣ слышалъ: ксендзовъ зовутъ патеръ да патеръ, и думалъ, что это кличка, а это по нашему, т. е. *батюшка*!

— Справедливо изволили замѣтить. Вотъ видите, *pater* будетъ просто номинативусъ сингулярисъ, а множественное, т. е. плюралисъ, будетъ номинативусъ же *patres*.—Позвольте, теперь *calcar*, т. е. шпора, будетъ плюралисъ номинативусъ же не *calcates*—нѣтъ, а будетъ *calcaria*; а какъ вы полагаете, отчего?

— Богъ васъ знаетъ!

— Нѣтъ, и я знаю, и Ваня вашъ будетъ знать; это, напримѣръ, отъ того, что *calcaria* будетъ средняго рода, т. е. неутрумъ! Видите, какъ оно просто, а между-тѣмъ весело. А скажи кто иначе—и ошибка будетъ... Удивительное разнообразіе!.. противъ него нѣтъ языка, развѣ русскій... и то не русскій, а славянскій, т. е. словенскій.

— Да, ужъ, батюшка, русскій—молодецъ—языкъ: спѣтъ ли на немъ что—споешь на славу, похвалить ли—въ смерть захвалишь, поругать ли—такъ разругаешь, что самому станетъ весело, ни показовски такъ не одолжишь. Я съ удовольствіемъ замѣтилъ, что даже иностранцы часто ругаются по-нашему.

Послѣ этого философъ, въ утѣху и назиданіе своихъ слушателей, просклонялъ по третьему склоненію Jupiter въ примѣръ самаго великаго отклоненія отъ правилъ и почти совершеннаго измѣненія звуковъ бѣднаго Юпитера въ козвенныхъ падежахъ, и проспрягалъ какой-то отложительный залогъ глагола; всѣмъ въцѣломъ его краснорѣчія была выходка противъ мельниковъ вообще и мельника Тараса Ивановича въ особенности, по случаю какой-то песчинки, попавшей на зубъ Тарасу Ивановичу въ хлѣбъ. Тарасъ Ивановичъ, разумѣется, ругнулъ булочницу и весь ея причетъ; жена заступилась за булочницу и начала обвинять мельника, который худо мелетъ муку, худо смотритъ за камнями, а потому и песокъ иногда попадаетъ въ хлѣбъ. Философъ, видя, что его спряженій никто не слушаетъ, и что мельникъ сдѣлался современнымъ вопросомъ для всего семейства, хватилъ противъ виновнаго громовую рѣчь, даже, въ пылу краснорѣчія, всталъ со стула, началъ махать руками и доказывать преступленіе *a posteriori* и *a posteriori*, опутывать преступнаго софизмами и поражать рогатыми силлогизмами. Кажется, онъ воображалъ себя въ то время Цицерономъ, а мельника Катилиною.

Не смѣйтесь, господа! философъ былъ добрый человѣкъ, очень добрый, даже весьма неглупый, но необразованный или, лучше сказать, странно образованный. Вышедъ изъ низкаго состоянія, ставившаго его въ-уровень съ крестьяниномъ, а по бѣдности родителей даже и ниже, онъ не видалъ и не могъ видѣть свѣта, хотя чувствовалъ, что есть общество выше сельскаго старосты съ причетниками: такъ онъ попалъ въ школу, гдѣ узналъ свѣтъ изъ Цицерона и другихъ латинскихъ писателей; вотъ почему бѣдный философъ или вдавался въ школьныя мелочи, дразги, или заговаривалъ о мукѣ и пирогахъ высоко, надуту, напыщенно, словно древнѣйшій витія на форумѣ, или, изобличая кота въ кражѣ жареной курицы, хваталъ его за уши, или хвостъ, и опутывалъ тонкими сѣтями діалектики извѣстныхъ мудрецовъ, краснобаевъ добраго стараго времени. Видите, не философъ виновать, а кто?—Богъ его знаетъ! Судба, коли хотите.

VII.

Да, таковъ ужъ неизъяснимый законъ судьбы: умный человѣкъ или пьяница, или рожу такую строить, что хоть святыхъ выноси.

Н. Гоголь.

— Нѣтъ, матушка, шутишь! этому не бывать, чтобъ я выгналъ Ивана Павловича, ни за что! говорилъ женѣ Тарасъ Ивановичъ:—это человѣкъ полезнѣйшій!

— Кто тебѣ говоритъ его выгнать? возражала жена:—я только предостерегаю тебя, совѣтую, пока дѣло не зашло далеко.

— Ужъ этого я не понимаю; по-моему, или въ зашей кого, или въ объятія; у меня середины нѣтъ; это уже по вашей части: говорить одно, а думать другое, и ругать, и хвалить вмѣстѣ, и надувать человѣка, и строить ему глазки; а по-моему все пустяки! Иванъ Павлычъ живетъ у насъ три года, всѣ его знаютъ, уважаютъ, какъ человѣка ученаго; онъ для Вани второй отецъ... и, вѣрно, не станетъ волочиться за Лизой. Онъ знаетъ свои сани.

— Ахъ, Тарасъ Ивановичъ! никто не можетъ управлять своими чувствами.

— Такъ и есть! заговорила какъ покойница! та, бывало, потузить кого-нибудь—и расплачется. „Я, говорить, несчастная, не могу управлять чувствами“. Всѣ вы на одинъ покрой, какъ я вижу...

— Вѣрь не вѣрь, мнѣ все-равно, а и Лиза на него, замѣчай, какъ посматриваетъ.

— Вотъ ужъ это чистые пустяки! Ты на Лизу смотришь, какъ мачиха... Лиза еще ребенокъ...

— Хорошъ ребенокъ шестнадцати лѣтъ! Тутъ ужъ позволю: мнѣ лучше тебя знать нашу натуру; да въ шестнадцать лѣтъ у добрыхъ людей дѣти уже тѣшатъ собственнаго ребенка... Да недалеко сказать: я родилась, а моей покойницѣ-матушкѣ не было полныхъ шестнадцати лѣтъ. Лиза—ребенокъ, а посмотри, какъ у ней глазки бѣгаютъ...

— Положимъ и такъ; да неужели ты думаешь, что Лиза, богатая невѣста, вздумаетъ влюбиться въ какого-нибудь бездомнаго, безпріютнаго голяка, нищаго, съ позволенія сказать? Хотя Иванъ Павлычъ и очень ученый человѣкъ, да все-таки нишій; да и что за рожа у него—головня осиновая: станетъ ли барышня волочиться за нимъ? Другое дѣло—былъ бы офицеръ, молодецъ.

— Замѣчай—увидишь.

— Эка бѣда, если она ему порой построитъ глазки! Сама сказала, что дитя на порѣ; играетъ молодая кровь: вотъ она и

дурачится, практикуется—ребенокъ, больше ничего...

— Вотъ еще новости! А знаешь ты по-ловицу: „полюбится сатана пуще яснаго сокола?“ Ну, а какъ она влюбится такъ, что ихъ послѣ и водой не разольютъ, что ты станешь дѣлать? что будутъ говорить о насъ?..

— Ну, оно конечно, началъ говорить Тарасъ Ивановичъ, задумчиво ходя по комнатѣ:—вы, женщины, знаете свою натуру лучше насъ... только мнѣ кажется, это дѣло можно уладить... Конечно. Иванъ Павлычъ самъ человекъ молодой и, отъ скуки, чего добраго, сдѣлаетъ: надобно его занять... Знаешь, что я думаю? мы возьмемъ для нашей Лизы какую-нибудь гувернантку, или компаньйонку, чтобы было дешевле, только хорошенькую...

— Это что за новости?

— Вотъ ужъ и вспыхнула! Экой ревнивый народъ! Я говорю не въ свою пользу: по мнѣ чортъ съ нею: ты прежде выслушай. Когда будетъ у насъ компаньйонка, мы и постараемся влюбить въ нее Ивана Павлыча: человекъ займется, и мы успокоимся.

— Прекрасно! Чѣмъ же это кончится?

— Ничѣмъ. Если они полюбятъ другъ друга, можно ихъ будетъ женить; пара выйдетъ хорошая: она—бѣдная дѣвушка и онъ бѣднякъ, нечѣмъ будетъ упрекнуть другъ друга, заживутъ припѣваячи.

— Пускай будетъ и по-твоему, только ужъ компаньйонку я сама принцу: а до поры до времени я бы думала перевести учителя куда-нибудь изъ дома подальше.

— Куда же, напримѣръ?..

— Да вотъ, у насъ въ саду при банѣ есть двѣ пустыя комнаты: тамъ сушатъ травы для настоекъ да прячутъ на зиму луковицы: я бы приказала ихъ вычистить, выбѣлить и перевела бы туда Ивана Павлыча, пусть тамъ живетъ. Ваня можетъ ходить къ нему учиться, а Иванъ Павлычъ только станетъ приходить къ обѣду, къ чаю да къ ужину: здѣсь, при нашихъ глазахъ, онъ не посмѣетъ куры строить, и Лиза не станетъ къ нему бѣгать, какъ теперь: то перышко почините, то то, то другое...

— Умная у тебя голова, матушка! Что дѣло, то дѣло. Сегодня же прикажу перевести учителя въ баню. Тамъ и заниматься имъ съ Ваней будетъ сподручнѣе: никто не помѣшаетъ. Право, хорошо! Спасибо за совѣтъ. Какъ это мнѣ давно не пришло въ голову?

Дня черезъ два въ комнатѣ при банѣ уже стояла кровать Ивана Павловича, столъ, четыре стула, обитые черной кожей; на столѣ куча книгъ, письменный приборъ и нѣсколько тетрадей; подъ столомъ бутылка

ваксы и бутылка чернилъ: на одномъ окнѣ трубка и табакъ въ чайномъ блюдечкѣ, на другомъ горшокъ мелансы. За столомъ сидѣлъ Ваня, глядѣлъ въ какую-то книгу съ краснымъ обрѣзомъ и громко читалъ: „Смерть и жизнь, бытіе и ничтожество — вотъ что предложить разрѣшить мнѣ прежде, чѣмъ я переступлю порогъ вѣчности, сказалъ Кэтонъ. Роковое...“ и т. д.

Иванъ Павловичъ лежалъ на кровати къ потолку лицомъ и, зажимаясь, шепталъ:

Внезапно постучался
У двери Купидонъ.
Пріятный перервался
Въ началѣ самомъ сонъ.
„Кто такъ стучится смѣло?“
Со гнѣвомъ я сказалъ.
— Согрѣй обмерзало тѣло
Сквозь дверь онъ отвѣчалъ... и проч.

Потомъ вздыхалъ, потягивался во всю длину кровати и, будто пересиливая себя, открывалъ глаза, уставляя ихъ неподвижно въ потолокъ и напѣвалъ въ-полголоса густымъ басомъ:

Громъ побѣды раздавайся,
Веселися, храбрый Россъ!
Звучной славой раздавайся:
Магомета ты потрѣсь!..

Учитель и ученикъ занимались въ банѣ, какъ вы видите. Жена Тараса Ивановича не очень торопилась отыскать компаньйонку. Такъ шли дни за днями.

Былъ жаркій лѣтній день. Учитель и ученикъ, послѣ сытнаго деревенскаго обѣда, ушли въ баню заниматься; учитель легъ на кровать, ученикъ сѣлъ за столъ и раскрылъ книгу. Но скажите, можно ли порядочно учиться тотчасъ послѣ обѣда, да еще и въ жаркій день? Въ эту пору на самаго ретиваго человека находить лѣнь. Ваня зѣвалъ надъ книгой, учитель зѣвалъ на кровати. Можетъ-быть, они и заснули бы, но лѣтнія бичи, тираны человечества, просто говоря, мухи, лишили *нашихъ героев* и этого удовольствія. Безотвязныя мухи, словно друзья, не давали имъ покоя: то садились на носъ, то самовольно лѣзли на шею, то непріязненно жужжали въ уши всякую всячину.

— А знаете что, Иванъ Павлычъ? сказалъ Ваня.

— А что? спросилъ учитель.

— Сколько у насъ, говорилъ Филька форейторъ, на коноплянникѣ голубей!

— Ой-ли?

— Право; говорить, какъ подымутся, словно туча летить.

— Ну-съ? сказалъ учитель, съ участіемъ приподнимаясь на кровати.

— Ничего; бьютъ, говорить, коноплю.

— О, они мошенники! да, впрочемъ, это ваши голуби.

— Какое наши! у насъ мало, и всѣ съ хохлами; а это, говорилъ Филька, все простые, изъ сосѣднаго села; и папенька сердится на нихъ, да не знаетъ, что дѣлать.

— А вы что думаете?

— Я думаю, еслибъ вы пустили на нихъ, знаете, въ кучу, зарядъ-другой, папенька были бы довольны.

— И я это думалъ, сказалъ учитель, вставая съ кровати:—да какъ же оставить занятія? развѣ уже вечеромъ...

— Вечеромъ ихъ не будетъ: они наѣдятся и улетятъ.

— Правда ваша. Да если папенька увидитъ...

— Теперь папенька спать послѣ обѣда. Мы пройдемъ садомъ и вернемся, пока встанутъ.

— И вы хотите идти со мной?

— А почему нѣтъ? Что я стану здѣсь дѣлать? Въ такой добрый, Иванъ Павлычъ, я вамъ не помѣшаю, только пройдуся немного: вѣдь это здорово, вы говорили.

— Именно. Одинъ философъ сказалъ:

Послѣ ужина ты стой,
Иль пятьсотъ шаговъ удвой.

А что говорится объ ужинѣ, то несомнѣнно относится и къ обѣду, потому что ужинъ тотъ же обѣдъ, только для различія называется ужиномъ.

Ваня запрыгалъ по комнатѣ. Учитель принесъ изъ сѣней длинное ружье и началъ его заряжать.

Выбравшись изъ сада, педагогъ и воспитанникъ прошли мимо чернаго двора подъ досчатымъ заборомъ, немного пригнувшись, для безопасности, и очутились въ полѣ. Скоро показался желанный конопляникъ: половина его уже была выдергана и представляла гладкое поле, на которомъ высились пирамидальныя кучи сложенной конопки; между ними бродило, суетилось, перелетывало большое стадо голубей. Другая половина конопляника была еще нетронута и зеленые стебли конопки стояли на корнѣ частымъ лѣсомъ выше роста человѣческаго.

Долго подкрадывался Иванъ Павловичъ къ своимъ летучимъ неприятелямъ, то изъ-за одной, то изъ-за другой кучи—все не было удачи: голуби не подпускали близко, а учитель хотя и зналъ по-латыни и по-гречески, но былъ не изъ числа отчаянныхъ стрѣлковъ и не рѣшался выстрѣлить или, какъ онъ выражался, лишиться заряда иначе, какъ почти приставить дуло въ упоръ неприятелю. Между-тѣмъ солнце жгло его безъ милосердія, потъ катился крупными каплями со лба, и педагогъ отретировался на другую сторону конопляника,

отдохнулъ, присѣвъ на дорогѣ подъ тѣнью еще растущей конопки, и началъ раздѣваться.

— Вамъ жарко, Иванъ Павлычъ? спросилъ Ваня.

— Жарко-то жарко, да и платье-то у меня новое; какъ-разъ останутся зеленыя пятна.

— Что же вы хотите дѣлать?

— Наказать этихъ зловредныхъ филистимлянъ; я ихъ такъ не оставлю; я подползу коноплями прямо къ нимъ носъ къ носу, и тогда увидите, что будетъ—настоящая баталія...

Говоря это, учитель раздѣлся и въ одномъ только картузѣ и сапогахъ уползъ въ частыя конопки. Ваня положилъ себѣ въ голову платье своего наставника и спокойно улегся на зеленой травкѣ, въ тѣни той же конопки.

Надобно было случиться, что Тарасъ Ивановичъ въ тотъ день, вопреки своему обычаю, не уснулъ послѣ обѣда: ему не далъ спать гость, сосѣдъ по деревнѣ, Автоматъ Человѣковичъ. Тарасъ Ивановичъ, радъ не радъ, а по деревенскому обычаю долженъ былъ оставить пріятныя мечты о снѣ и занимать гостя. Гость былъ несловохотенъ; Тарасъ Ивановичъ зѣвалъ; бесѣда не вязалась.

— Прекрасная погода, говорилъ Тарасъ Ивановичъ.

— Пріятная погода, отвѣчалъ Автоматъ. Молчаніе.

— Пече... а... у!... печетъ немного.

— Таки припекаетъ.

Молчаніе.

— Что Марта Ивановна?

— Ничего, слава Богу!

— Слава Богу... а... у!..

Молчаніе.

— А... у!.. въ жары такъ вотъ ко сну и клонить.

— Особенно въ жары.

Наконецъ, чтобъ какъ-нибудь занять гостя и самому разбить сонъ, Тарасъ Ивановичъ приказалъ заложить линейку и предложилъ Автомату поѣхать погулять въ поле.

Ваня, ничего не подозревая, лежалъ преспокойно у дороги въ тѣни, какъ вдругъ послышался стукъ экипажа и изъ-за угла показалась знакомая линейка; въ линейкѣ сидѣли Тарасъ Ивановичъ и Автоматъ. Первымъ движеніемъ Вани было броситься въ конопки, но страхъ такъ овладѣлъ имъ, что онъ не могъ пошевелить ни рукой, ни ногой: будто невыносимая тяжесть легла на его грудь, и онъ лежалъ, казалось, спокойно, какъ и прежде, не заботясь о приближеніи бури.

— Стой! закричалъ Тарасъ Ивановичъ ку-черу, когда линейка поровнялась съ Ваней. Линейка остановилась.

— Ба! ты что тутъ дѣлаешь—а? зачѣмъ здѣсь?

Но я увольняю васъ отъ слушанія различныхъ родительскихъ нѣжностей; скажу только, что кое-какъ Ваня объяснилъ своему отцу, какъ и зачѣмъ онъ попалъ сюда и гдѣ сидитъ Иванъ Павловичъ. Тарасъ Ивановичъ посадилъ на линейку сына, велѣлъ ему взять учительское платье и поѣхалъ домой.

Предоставляю вамъ судить объ испугѣ и удивленіи бѣднаго педагога, когда онъ, возвратясь, не нашелъ на мѣстѣ ни своего ученика, ни платья. Въ его головѣ сейчасъ возникли всѣ вздорныя басни о ворахъ и разбойникахъ, о жидлахъ и пыганахъ, похищающихъ ребятъ, и т. п.; потомъ онъ вспомнилъ неровный характеръ Тараса Ивановича, вспомнилъ его любимую поговорку: *за битаго двухъ небитыхъ дають, да и тутъ не берутъ*, и, въ отчаяніи, готовъ былъ наложить на себя руку... правда, даже наложилъ, только затѣмъ, чтобъ почесаться. Потомъ задалъ себѣ вопросъ: какъ быть? и рѣшился просидѣть въ конопляхъ до вечера, потому-что деревня Тараса Ивановича лежала не на островахъ Тихаго-Океана, а самъ онъ, учитель, очень былъ похожъ на отантискаго франта при дворѣ Тамео-Мео.—„Ночью же, думалъ онъ, всѣ лошади вороныя: хоть кто и встрѣтитъ, не очень станетъ присматриваться; проберусь кое-какъ черезъ садъ, надѣну въ банѣ другое платье—и все будетъ хорошо. Но если пропадѣ Ваня?“ Тутъ опять онъ крѣпко задумывался.

Между тѣмъ мухи, мошки, муравьи, комары и инныя разныя насѣкомыя сильно тревожили Ивана Павловича. Нѣсколько разъ онъ рѣшался выйти изъ своего убѣжища, осторожно разводилъ въ стороны вѣтви, просовывалъ голову и быстро прятался въ коноплю: кругомъ на поляхъ, какъ нарочно, ходила куча народа всѣхъ половъ и возрастовъ. Возвратясь вечеромъ домой, онъ напoлзъ у своей комнаты лакея, который сказалъ ему, что баринъ давно его спрашиваетъ и гнѣвается. Отъ лакея узналъ учитель, что Ваня живъ и здоровъ, что его привезъ съ поля Тарасъ Ивановичъ, и проч.

Эти подробности поразили Ивана Павловича стыдомъ и страхомъ. Онъ велѣлъ сказать, что нездоровъ, не можетъ придти, отказался отъ ужина и легъ спать.

На утро, къ величайшему удивленію всего двора, не оказалось на-лицо учителя; онъ исчезъ ночью неизвѣстно куда; исчезъ со всѣми своими пожитками, заключавши-

мися въ небольшомъ чемоданѣ. При первомъ извѣстіи о побѣгѣ учителя, жена Тараса Ивановича кинулась въ комнату Лизы, но Лиза была дома—и она успокоилась.

Учитель не былъ крѣпостной Тараса Ивановича, ничего не унесъ, такъ за нимъ и погони не было: только Тарасъ Ивановичъ цѣлый день ворчалъ: „Видишь, жена, не умѣла удержать человѣка, вотъ и плыи теперь съ нашимъ болваномъ! Выростеть дуракомъ! Чтобъ было найти компаньонку, такъ нѣтъ: все погоди, послѣ, да послѣ. Охъ, вы мнѣ, бабы!“

Черезъ нѣсколько дней Тарасъ Ивановичъ получилъ изъ ближняго города отъ Ивана Павловича почтительное письмо, въ которомъ онъ благодарилъ его за всѣ благодѣянія и извинялся, что оставилъ его домъ, гдѣ ему по многимъ причинамъ нельзя было оставаться; просилъ, чтобъ прислали для Вани хорошаго учителя, рассыпаясь въ похвалахъ и вѣжливостяхъ и объясняя, что ѣдетъ далеко искать своего счастья.

— Хорошо, хорошо, говорилъ Тарасъ Ивановичъ, читая письмо:—умный человѣкъ. Вотъ только приписка мнѣ не нравится; оно кому другому ничего, а ученому неловко!

Приписка была слѣдующая: „P. S. Еще извѣщаю васъ, мой благодѣтель, съ теплотомъ сердца, что, для прикрытія наготы своей, взялъ я на вашъ счетъ у здѣшнихъ купцовъ сукна и прочаго матеріала, всего на двѣсти рублей ассигнаціями, которые считаю священнымъ долгомъ и по-стараясь вамъ выплатить при первой возможности“.

VIII.

Что за коммиссія, Создатель,
Быть взрослой дочери отцомъ!

Грибоздовъ.

По отѣздѣ Ивана Павловича, Тарасъ Ивановичъ ощутилъ въ сердцѣ своемъ пустоту: ему не съ кѣмъ стало толковать о разныхъ ученыхъ предметахъ, которые онъ понималъ неслишкомъ глубоко, даже почти вовсе не понималъ, но любилъ толковать о нихъ въ зимніе вечера отъ нечего дѣлать. Подобныхъ примѣровъ множество на свѣтѣ. Не съ кѣмъ стало Тарасу Ивановичу играть въ пикетъ и безнаказанно обсчитывать, что ему очень нравилось. Загрустилъ Тарасъ Ивановичъ и послалъ отыскивать другаго учителя; другой учитель не пришелся по нраву и чрезъ мѣсяцъ выѣхалъ; достали третьяго; этотъ чрезъ пол-

года уѣхалъ. Такъ прошло еще нѣсколько лѣтъ, у Вани перебивало съ полдюжины наставниковъ, а все дѣло воспитанія не кленлось.

Между тѣмъ другія заботы заняли Тараса Ивановича: его Лиза сдѣлалась отъявленной невѣстой; голодная стая жениховъ осаждала домъ Тараса Ивановича, къ невыразимой печали его супруги. Надобно было сдѣлаться стоглазымъ Аргусомъ, чтобъ уберечь избалованную взрослую дѣвушку, очень хорошо понимавшую, что она и хороша, и богата; раза два чуть-было она не сбѣжала изъ дома то съ ремонтеромъ, то съ какимъ-то прапорщикомъ, а желанный женихъ Ѳеодоръ Евграфовичъ все еще не ѣхалъ: оканчивалъ гдѣ-то, въ Москвѣ, въ пансіонѣ свое воспитаніе. Часто Тарасъ Ивановичъ съ горестью замѣчалъ, какъ кокетничала его дочка съ окружавшею ее молодежью, какъ она стрѣляла направо и налево своими блестящими глазками, изумляясь, слыша, какъ она, нѣжничая съ драгунскимъ капитаномъ, видимо теряла многія буквы *россійскаго алфавита*: сначала измѣняла букву *р* въ какую-то попугайную трель, а потомъ эту трель умягчила до какого-то придыханія въ родѣ французскаго *h*, и вмѣсто „братъ“ начала говорить „бгать“ (*bhat*); вскорѣ такая же участь постигла букву *л*: вмѣсто *былъ* Елизавета Тарасевна произносила „бгы“, и такъ далѣе... Тарасъ Ивановичъ пожималъ плечами и уходилъ въ кабинетъ, какъ во время оно, но только не писалъ шарадъ, а курилъ трубку и теръ себѣ лобъ до-красна, или, призывая сына, бранилъ его за какія-то вещи, которыхъ Ваня и самъ еще не понималъ хорошенько.

— Я знаю тебя и вижу по глазамъ твои штуки; худо будетъ, если я прикажу горничнымъ бить тебя башмаками; а будутъ бить, я настою на своемъ.

Этимъ обыкновенно оканчивались родительскія наставленія.

Иванъ Тарасовичъ былъ уже мальчикъ семнадцати лѣтъ; онъ былъ высокъ не по лѣтамъ, но немного наклонялся впередъ, какъ-бы отъ ига, которое несъ съ младенчества. Поступь его была робкая, глаза блестяли умомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ прокрадывалось выраженіе испуга и недоумчивости; блѣдное лицо отгнѣнялось черными кудрями, которыя иногда Тарасъ Ивановичъ приказывалъ ему отращивать, приговаривая: „что ты стрижешься по-солдатски? хочешь въ юнкера, на волю?“ а иногда собственноручно обрѣзывалъ, приговаривая: „не позволю я тебѣ сдѣлаться бездушнымъ франтомъ! Что ты каждый день приглаживаешься, причесываешься, да прихораши-

ваешься? Жениться собираешься, что ли? какая дура пойдетъ за тебя, за урода, дурака? Долой эти кудри! старайся, чтобъ у тебя голова была внутри красива, а не снаружи!“ Ивану Тарасьевичу было грустно жить на свѣтѣ; онъ часто удалялся въ комнату и, начитавшись всякихъ книгъ, началъ писать, по примѣру многихъ печатныхъ *героевъ*, свой дневникъ.

Я усталъ рассказывать; займемся этимъ журналомъ, или дневникомъ молодого человека: авось, онъ объяснитъ намъ дальнѣйшія происшествія и избавитъ мою лѣнь отъ рассказа.

ДНЕВНИКЪ ИВАНА ТАРАСОВИЧА (ЕВРЮГНА.

18... января 1.

Наконецъ пріѣхалъ давно-ожидаемый для сестрицы женихъ: авось папенька станетъ добрее. Ѳеодоръ Евграфовичъ настоящій франтъ: сукно блеститъ какъ атласъ... Вѣрно его любитъ отецъ! а все мнѣ не нравится будущій братецъ Теодоръ, какъ называетъ его сестрица; у него что-то есть неприятное: все подымаетъ вверхъ носъ и надуваетъ губы, какъ нашъ Валетъ, когда услышитъ въ травѣ перепелку. Впрочемъ, папенька принялъ его странно; мнѣ это было пріятно сначала, а потомъ стало жалко. Ѳеодоръ Евграфовичъ вошелъ въ комнату, странно волоча ноги и шаркая по полу.

— Что, почтеннѣйшій, у васъ ноги болятъ? спросилъ папенька.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ.

— Отчего же вы такъ волочите ноги, словно онѣ у васъ перебиты?

— Это мода, отвѣчалъ онъ, покраснѣвъ до ушей:— всѣ такъ ходятъ въ Москвѣ.

— Вотъ-что! сказалъ папенька.—Мы люди простые; оставьте эту моду для Москвы, а то подумаютъ, что у васъ подагра.

Лиза рассердилась за это на папеньку. Она говоритъ, что папенька человекъ стараго вѣка, что ничего хорошаго не знаетъ, что выжилъ изъ ума. А мнѣ кажется, онъ, хоть и сердитъ, а добрый человекъ.

Января 3.

Опять сегодня былъ Ѳеодоръ Евграфовичъ, съ отцомъ своимъ, съ матерью, съ гувернеромъ. Не знаю, для кого гувернеръ?.. Были у насъ еще гости; время шло довольно весело. Папенька долго о чемъ-то трактовалъ, запершись въ кабинетъ, съ Евгра-

фомъ Петровичемъ; Оедоръ Евграфовичъ такъ странно смотритъ на сестру мою, что мнѣ хочется наступить ему на ногу, а потомъ все болтаетъ по-французски съ гувернеромъ и хохочетъ во все горло; сосѣди этимъ обижаются; Автоматъ Человѣковичъ прозвалъ Оедора Евграфовича—Парлеву. Я пытался раза три заговаривать съ нимъ и начиналъ, кажется, вѣжливо, да онъ сухо скажетъ „да“, или „нѣтъ“, или притворится, что не слышитъ, отвернется и пойдетъ далѣе. Отчего бы это? Всѣ сосѣди не влюбились Оедора Евграфовича, всѣ называютъ его за-глаза: Парлеву, хоть въ глаза ему очень-пріятно улыбаются и говорятъ съ нимъ очень-ласково, даже съ почтеніемъ. Впрочемъ, всѣ находятъ его умнымъ человѣкомъ оттого, что онъ говоритъ по-французски (*), а онъ, сколько я понимаю, говорить пошлости.

„Пропали за тебя деньги“ сказалъ мнѣ отецъ, когда разѣхались гости: „можно бы десять работниковъ купить, какъ сосчитать что я переплатилъ дармоѣдамъ-учителямъ, да на сколько они у меня съѣли харчей, переломали стульевъ да выкурили турецкаго табаку, а все нѣтъ проку: ты все дуракъ! двухъ словъ по иностранному сказать не умѣешь“. Плюнулъ и пошелъ спать.

Господи! да я чѣмъ тутъ виноватъ?—Зналъ ли я, что Иванъ Павловичъ и всѣ его преемники учили меня по-французски латинскимъ выговоромъ? Теперь только, какъ прислушаюсь, то замѣчаю, что я хоть могу переводить, хоть и знаю грамматику, а даже читать не умѣю: съ Иваномъ Павловичемъ мы читали: и дочь *филь*, и сынъ *филь*!

— Какъ васъ называть по-французски? разъ я спросилъ Ивана Павловича.

— Жанъ де-Павль, отвѣчалъ онъ.

Я его и сталъ называть то Иванъ Павловичъ, то Жанъ де-Павль, какъ когда приходилось лучше... и все казалось хорошо; а теперь я и самъ вижу, что это какъ-то неловко. Да кто же этому виноватъ?.. Грустно.

Наконецъ, сегодня помолвили сестру Лизу: Оедоръ Евграфовичъ объявленъ женихомъ. Были гости, много пили вина за здравіе всѣхъ: Автоматъ Человѣковичъ выпилъ и за мое здравіе. Мнѣ было очень-совѣстно.

— Онъ еще ребенокъ, сказалъ папенька:—ему еще рано до этой чести.

— Ничего-съ, отвѣчалъ Автоматъ, ставя на столъ пустой бокалъ.

— Ему лишь бы выпить, замѣтилъ Оедоръ Евграфовичъ и громко захохоталъ.

(*) Прошу не забыть, что этотъ дневникъ писался очень давно.

Всѣ захохотали и встали изъ-за стола „Ровно братецъ мнѣ не по-нутру этотъ Парлеву“ сказалъ отрывисто Автоматъ, подойдя ко мнѣ послѣ обѣда.—И мнѣ такъ, подумалъ я, но не сказалъ ничего: онъ скоро будетъ моимъ братцомъ; мнѣ надобно полюбить его.

Оедоръ Евграфовичъ безпрестанно цѣлуетъ Лизу; мнѣ даже совѣстно! Я всегда отворачиваюсь, когда замѣчу, что онъ хочетъ поцѣловать ее; въ это время у него дѣлаются какіе-то странные глаза. А Лиза, кажется, очень рада, что стала невѣстой: я нечаянно зашелъ въ ея спальню, а она одна прыгаетъ передъ зеркаломъ и хохочетъ какъ сумасшедшая.

— Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ весело! сказала она и опять принялась прыгать по комнатамъ.

— Отчего? спросилъ я.

— Ахъ, какой глупый! я, вѣдь, невѣста! буду жить своимъ домомъ, давать балы,—предестъ! Не правда ли, мой Теодоръ хорошенькій?

— Вы говорите о Оедорѣ Евграфовичѣ?

— Фи, какой лакейскій тонъ! сказала она—и видно...

— Что видно?

— Ничего; прошу, милостивый государь, впередъ называть моего Оедора Теодоромъ. Слышите? Теперь можете идти.

Мнѣ стало досадно, и я, не знаю почему, присѣлъ тутъ же на стулъ.

— Такъ-то вы меня слушаете? Убирайся сейчасъ; я хочу остаться одна! Будто дама не можетъ остаться одна, когда ей хочется? Вотъ прекрасно! почти закричала Лиза, топая ножками:—вотъ я несчастная: у отца въ домѣ мнѣ нѣтъ покоя! всѣ 'противъ меня! Ахъ, когда бъ скорѣе выбраться, и не плюну въ этотъ проклятый домъ; хоть онъ и мой домъ, сожгу его... непременно сожгу...

Лиза расплакалась, я испугался не на шутку и убажалъ въ залу.

Гости толпились у картонныхъ столовъ—кто игралъ, кто зѣвалъ на играющихъ.

— А гдѣ Лизетъ? спросилъ Оедоръ Евграфовичъ, выходя изъ гостиной въ залу.

— Вѣрно въ своей комнатѣ, отвѣчалъ папенька.

— Гдѣ это? Я пойду къ ней.

— Нѣтъ, не ходите; она у меня такая богомольная, вѣрно молится, неравно помѣшаете: знаете, сегодня для нея такой день, или эпоха...

— Быть не можетъ! замѣтилъ Оедоръ Евграфовичъ, закуривая папиросу.

Я крѣпко струсилъ: но минутъ чрезъ пять вошла Лиза, и у меня отлегло на сердце. Она была весела, такъ добродушно

улыбалась своему жениху, такъ привѣтливо разговаривала, такъ непринужденно хохотала, — ни тѣни неудовольствія на лицѣ... я даже изумился. Я бы очень любилъ ее, еслибъ она всегда была такая; а то какъ разсердится, станетъ такая противная, гадкая, что нельзя смотрѣть безъ отвращенія. Мужчина, если сердится, кричитъ во все горло — еще ничего, а женщина или смѣшна, или гадка. Отчего это? Мнѣ кажется, женщины должны быть всѣ предобрыя, прехорошенькія, гораздо выше насъ. Вотъ какъ Юлія въ „Подземельи Мадзини“, или Фани въ романѣ Лафонтена „Природа и Любовь“. Славный романъ! я не разъ плакалъ, читая его...

Января 8.

Сегодня узналъ, что чрезъ двѣ недѣли свадьба: у насъ весь домъ въ движеніи, всѣ бѣгаютъ, суетятся; дворовыя дѣвки собрались въ дѣвичью, шьютъ бѣлье, поюгъ пѣсни, да такія унылыя! Я долго слушалъ подъ дверью и заплакалъ, самъ не знаю отчего. Вдругъ идетъ папенька, я, въ испугѣ, отскочилъ отъ двери и ждалъ, что онъ начнетъ ругать меня и попрекать не знаю за что, то Машкой, то Сонькой, то Богъ-знаетъ кѣмъ, а вышло напротивъ: онъ подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за руку и ласково спросилъ: „О чемъ ты плачешь, Ваня?“ — „Такъ, мнѣ грустно“, отвѣчалъ я. — „И мнѣ грустно“ сказалъ онъ, пожалъ мнѣ руку и ушелъ. Мнѣ даже показалось, будто онъ, обернувшись, отеръ глаза рукой. Непонятно! обѣдъ шелъ довольно-скучно; папенька и маменька все говорили о покупкахъ для свадьбы, сестра сидѣла, надувши губы. Когда подали пирожное, папенька спросилъ: Ты все еще сердилъ, Лиза?

— Какъ я смѣю сердиться! отвѣчала она, смотря въ тарелку.

— Однако у тебя такое печальное лицо.

— Мнѣ не отчего быть печальною: вы такой добрый, все для меня дѣлаете.

— Согласись, гдѣ мнѣ взять теперь соболій салопъ? Хоть и деньги есть, купить негдѣ.

— Прежде надо было объ этомъ подумать.

— Да ты, душа моя, никогда не вспоминала о немъ; тебѣ вчера натолковалъ женихъ, что теперь въ Москвѣ такая мода — ты съ утра и заартачилась.

— Прошу моего жениха не трогать.

— Охъ, какая быстрая! Ну, полно же, перестань! Сегодня пошлю Стенку въ губернскій городъ; хоть переплатить сотню другую, а достанетъ.

Лиза немного повеселѣла, а какъ послѣ обѣда пріѣхалъ женихъ, опять принялась хохотать. Господи, какъ они цѣлуются!.. и при папенькѣ, и при маменькѣ иногда: но чуть они изъ комнаты — вотъ такъ и не отстаютъ другъ отъ друга. — Я всегда тоже выхожу: какъ-то неловко; а если какъ-нибудь замѣшкаюсь, то Лиза сейчасъ скажетъ: „Ваня, поди, принеси стаканъ воды“, или: „тамъ у меня, въ комнатѣ, поищи платка“, лишь бы меня выжить.

Января 9-го.

Меня хотѣли сдѣлать шаферомъ да говорятъ нельзя: у меня нѣтъ фрака. Я просилъ фрака у папеньки; онъ отвѣчалъ: „пустяки, и въ сюртукѣ можно: это не служба; фракъ не мундиръ, а просто прихоть. Какъ приучишься съ этихъ лѣтъ до прихотей, послѣ будетъ поздно отвыкать“. Федоръ Евграфовичъ и слышать не хочетъ, чтобы былъ шаферъ въ сюртукѣ, и нашель другого. Да и лучше! Признаюсь, я боялся этого: тамъ все будутъ такіе ловкіе, умные, красивые люди, а я что? — дрянъ, какъ папенька говоритъ, ни съ кожи, ни съ рожи! А все-таки хотѣлось бы фрака: будутъ гости, будутъ танцы; меня, вѣрно, папенька заставитъ танцевать — срамъ! Всѣ будутъ одѣты прилично, а я одинъ, какъ лакей... И Маменька, и Дашенька будутъ, и вѣрно станутъ надо мной смѣяться; онѣ такія гадкія, — все скалятъ зубы, — а хорошенькія. Я и досажую, какъ онѣ пріѣзжаютъ къ намъ, гордые насмѣшницы, и радъ, какъ вижу ихъ. Пріѣдутъ — досадно, уѣдутъ — жаль.

Февраля 1-го.

Насилу кончилась эта несносная свадьба! Господи! сколько шума, крика! сколько веселья! А я поскучалъ вдоволь, даже плакалъ раза два, а все причиною сюртука, да и я таки самъ Богъ-знаетъ на что похожъ. Гостей была куча. Еще наканунѣ папенька мнѣ сказалъ: „Смотри мнѣ въ оба! будь вѣжливъ, предупредителенъ, внимателенъ, а главное, знай свое стойло, не забудь, ты здѣсь меньше всѣхъ — слышишь? Будь у меня тише воды, ниже травы!“ Вотъ я и терся все у дверей, въ своемъ синемъ сюртукѣ. Разъ два пріѣзжіе офицеры приводили меня въ краску; одинъ закричалъ мнѣ прямо въ лицо: „человѣкъ, подай трубку!“ Я приказалъ Филькѣ дать ему трубку и опять сталъ у дверей; смотрю, идетъ другой и прямо ко мнѣ: „принеси, братецъ, воды съ виномъ“. Я ни съ мѣста. Какъ сверкнетъ онъ на меня гла-

зани, какъ подыметъ усы, какъ гаркнетъ почти надъ ухомъ: „слышь, болванъ? тебѣ говорить!“ а тутъ, на бѣду, идетъ мимо Машенька—я и свѣта не взвидѣлъ... Былъ прїѣзжій на праздникъ гимназистъ, сынъ нашего судьи, удивительный танцоръ—такъ и летаетъ, и пишетъ ногами, такъ и хочеть съ дѣвушками. И то правда: у него мундиръ такой блестящій, самъ прїѣхалъ изъ губерніи, ловкій человекъ, видѣлъ свѣтъ!.. Я ушелъ въ буфетъ.

— А ты вѣчно отъ людей прячешься! сказалъ папенька, входя въ буфетъ. — Посмотри, гимназистъ—тебѣ ровесникъ,—какой развязный: все пляшетъ, всѣхъ занимаетъ собой, а ты хлопаешь глазами, какъ сова, да прячешься по буфетамъ! Все съ лакеями! Уродъ!

И онъ насильно повелъ меня танцовать. Всѣ дамы были ангажированы; папенька нашелъ въ третьей комнатѣ какую-то гувернантку, дѣвушку лѣтъ сорока-пяти, желтую, худую, и поставилъ меня съ ней въ кадрили. Не успѣлъ я стать на мѣсто, какъ услышалъ за собой чей-то голосъ: „Зачѣмъ этотъ молодецъ лѣзетъ танцовать въ спортукъ? онъ полами выбьетъ дамамъ глаза“. Противъ меня стояла Машенька и, смѣясь съ кавалеромъ, глазами показывала на мою даму или на меня—не знаю. Я смѣшался, перепуталъ фигуру: гувернантка сдѣлала мнѣ выговоръ... я вздохнулъ свободнѣе, когда кончилась кадрили. И еще, говорятъ, люди танцуютъ для удовольствія!..

Папенькѣ же прошла даромъ свадьба. На другой день былъ балъ у Евграфа Петровича: мы туда ѣздили и тамъ танцовали почти до свѣта: ночью подымалась ямалъ и на обратномъ пути папенька простудился. У него разболѣлась голова, слышно, говоритъ, грудь, и когда дохнетъ, то немного вылетъ бока. На ночь его налили бузиномъ: къ утру стало легче; мы пили чай вѣтскі, а къ вечеру опять хуже. Сегодня третій день, какъ онъ слегъ въ постель. Завтра у насъ обѣдъ и вечеромъ танцы. Сегодня сестра Лиза прислала записку, что завтра прїѣдетъ съ московскими гостями къ намъ она, мамочка, скоро уѣзжаютъ. Бабошкинъ и Готрохинъ съѣзжать въ Москву къ наслѣдницѣ: „а если мамъ, папенька“ пишетъ, „не легче, то лечите въ кабинетѣ, мы васъ не обеспокоимъ“. Папенька послалъ пригласить сестеръ.

Февраля 2-го.

Наконецъ, разболѣлась мамочка! Папенька все хуже; онъ стоялъ цѣлый вечеръ, а въ залѣ танцовали; я у мамы читалъ ему вслухъ книгу. Машенька безпрестанно

приходила къ намъ, но папенька все отсылалъ ее, говоря: „ступай туда, занимай гостей, это твое дѣло“. Разъ два прїѣзжала сестра, спрашивала: „что, мамъ лучше?“—„Лучше,“ отвѣчалъ отецъ.

— Ну, выздоравливайте; мнѣ некогда: я ангажирована,—и опять исчезала. Уѣзжая, она уже явилась въ бархатной шляпкѣ и въ тепломъ капотѣ, совѣтовала послать завтра за докторомъ и извинялась, что ей мужъ не пришелъ проститься: не хочется, дескать, беспокоить больного.

Февраля 5-го.

Отецъ всю ночь простоналъ; мы съ маменькой не отходили отъ его постели. На утро маменька хотѣла послать за докторомъ.

— За дѣмъ же ты пошлешь? спросилъ отецъ.

— За нашимъ уѣзднымъ, за Карломъ Карловичемъ Браксъ.

— Нѣтъ, я не хочу этого: этотъ, Богъ его знаетъ, выкрестъ ли онъ изъ жиновъ, или фармазонъ какой заграничный, или что такое, а не хорошій человекъ.

— Что же въ немъ нехорошаго? спросила маменька.

— Ты знаешь, онъ чуть было не отправилъ на тотъ свѣтъ Максима-старосту. Это было въ первый годъ женитьбы моей на покойницѣ. Максима укусила собака: онъ былъ въ городѣ и пошелъ къ Браксу. „Вотъ, сказалъ, укусила меня собака; люди баюютъ: бѣшеная: дайте лекарства“. Лекаръ прописалъ что-то: Максимъ ему поклонилъ, да и въ аптеку. Аптекарь еще у насъ былъ христіанская душа, прочиталъ рецентъ и говорить: „Пойди, братецъ, къ доктору, скажи, вѣрно онъ ошибся: здѣсь такое лекарство написано, что ты умирешь къ вечеру“. Максимъ сказалъ это лекарю, а тотъ какъ закричитъ на него: „Убирайся вонъ! я не ошибся: ты не къ вечеру, а сразу умирешь, какъ выньешь; все-равно тебѣ не жить: не сегодня, завтра вѣдѣшься, такъ еще людей перевертывай!“ Максимъ разсказалъ мнѣ это, я ему велѣлъ бросить рецентъ—и концы въ воду. Собака была не бѣшеная, а Максимъ, вы знаете, какой здоровый до сихъ поръ. Нѣтъ, Браксъ не по мнѣ: никогда не забуду, какъ онъ пророчилъ Ванѣ смерть: вотъ, говорилъ, умрешь черезъ четверть часа, а вышло пустяки: ребенокъ живъ до сихъ поръ: только цуцалъ, дуракъ!.. Ты не понимай этого, ты была очень больна, да я Ваня вѣдь ли понимаю.

— Ну, такъ я пойду на этотъ, знаешь, возманивъ... какъ онъ? Машенька, что ли?..

— Охъ! и этотъ мнѣ не приглянулся: все прыскается духами да руки моетъ десять разъ въ день, говоритъ съ разстановкой, какъ усталая женщина...

— Ты капризничаешь, Тарасъ Ивановичъ. За кѣмъ же я пошлю?.. Вѣдь больше нѣтъ никого.

— Ну, коли такъ, то посылай ужъ за вольнымъ.

Послали за докторомъ. Ужъ вечерѣетъ, а доктора все нѣтъ. Папенькѣ будто немного легче; онъ, кажется, вздремнулъ... и я прилягу, отдохну.

Ночь.

Мнѣ что-то страшно; папенькѣ хуже. Морозополы пріѣхалъ поздно вечеромъ, извинялся, что бралъ ванну отъ веснушекъ, которыя къ веснѣ показываются у него на лицѣ, и потому не могъ раньше выѣхать; потомъ посмотрѣлъ на языкъ больного, пощупалъ пульсъ, подавилъ грудь и, покачивъ головой, сказалъ: „Плохо, Тарасъ Ивановичъ; у васъ воспаленіе. Если вамъ не бросить немедленно крови, вы будете въ опасности.“

— Такъ бросайте! сказалъ папенька, нетерпѣливо протягивая руку къ доктору:— бросайте! Чего же вы стоите?

— Это не мое дѣло. Нѣтъ ли у васъ фельдшера?

— Нѣтъ, отвѣчалъ папенька.

— Жаль, очень жаль! А я своего отправилъ на ярмарку покупать пристяжныхъ лошадей... Ну, такъ пошлите въ городъ: Бракъ отпустилъ казеннаго.

— Развѣ вы сами не умѣете? спросилъ папенька.

— Помилуйте! да я забылъ взять инструменты.

— За инструментами пошлемъ къ вамъ, перебила маменька:—это все ближе, нежели въ городъ; городъ отъ насъ въ двадцати верстахъ.

— Нѣтъ, это невозможно. Вотъ видите... я очень сострадателенъ и не могу смотрѣть на кровь: мнѣ дѣлается дурно... и я въ это время не ручаюсь за вѣрность руки.

Послали въ городъ за фельдшеромъ. Докторъ заварилъ въ кострюлѣ алтейнаго корня, прибавивъ туда селитры, приказалъ принимать эту микстуру чрезъ чай по ложкѣ, и, взявъ отъ маменьки за пріѣздъ бѣлую ассигнацію, уѣхалъ. Уѣзжая, онъ приказалъ выпустить папенькѣ двѣ глубокія тарелки крови.

Февраля 4-го. Утро.

На разсвѣтѣ пріѣхалъ посланный изъ города.

— Ну что? спросилъ я.

— Нѣту, отвѣчалъ посланный.

— Отчего? Какъ это можно?

— Я просилъ лекаря; вотъ такъ, молъ, и такъ у насъ случилось, такъ, молъ, просили отпустить.

— А у кого твой баринъ лечится? сказалъ лекарь.

— Я и говорю, у Морозова, что ли. „Ну, такъ, сказалъ, пускай онъ даетъ своего фершела, а у меня, молъ, для всякаго нѣту“. Вотъ я и поѣхалъ.

И это люди?! Послали въ другой городъ за фельдшеромъ, верстъ за сорокъ. У меня голова кружится, какъ подумаю, если и тамъ не найдутъ? А папенькѣ все хуже и хуже; микстура не помогаетъ. У насъ три повара, два писаря, два огородника, два садовника: отчего же нѣтъ ни одного фельдшера? а какъ бы дорого я заплатилъ за него!

Ночь

Сейчасъ пріѣхалъ фельдшеръ. Кровь не пошла. Это, говорятъ, очень худая примѣта. Маменька плачетъ. Послали за сестрой. Что-то будетъ? Боже мой! неужели это можетъ кончиться худо?.. Я не вѣрю, а сердце такъ вотъ и замираетъ. Господи! какъ страдаетъ бѣдный папенька!

Февраля 5-го. Утро.

Не легче папенькѣ! Пріѣзжала сестра съ мужемъ, посидѣла часа два, посоветовала приставить къ груди пиявки и уѣхала. Имъ, говорятъ, нельзя долго оставаться: у нихъ сегодня обѣдаетъ важный гость—прокуроръ; а завтра понавѣдаются. Папенька заплакалъ, когда уѣхала сестра, и обнялъ меня.—Какой онъ сталъ добрый! теперь я узналъ, какъ онъ любитъ меня... Чего бы я не далъ, чтобъ облегчить его страданія!..

12 часовъ ночи.

Его уже нѣтъ... Папенька умеръ...

Февраля 10-го.

Какъ я давно не писалъ моего дневника! Папеньку похоронили. Грѣхъ признаться самому себѣ, а мнѣ жаль, что папенька передъ смертью такъ былъ ласковъ со мною; теперь мнѣ жаль его, очень жаль; а то, можетъ быть—Господи, прости меня!—мнѣ было бы легче. Сестра уже застала папеньку на столѣ и упала въ обморокъ. Странное дѣло—обморокъ! Я первый разъ въ

жизни его видѣлъ: лежить женщина совсѣмъ неживая, кажется, сама умерла, а между тѣмъ все показываетъ рукой себя на грудь; значитъ, она что-нибудь да чувствуетъ. Мы стояли, не зная чего ей хочется; она показывала нѣсколько разъ, а послѣ простонала: *вотъ тутъ!* Ея мужъ бросился, вынулъ у нея изъ-за корсета стекляночку со спиртомъ и поднесъ ее къ носу: сестра вздохнула, открыла глаза, очнулась и принялась плакать. На похоронахъ много было гостей; всѣ вздыхали, плакали, а потомъ сѣли обѣдать. Говорятъ, печаль отнимаетъ аппетитъ,—это ложь: гости кушали очень хорошо. Правда, мы съ маменькой ничего не ѣли... послѣ похоронъ я нѣсколько дней ходилъ, какъ шальной; все мнѣ чудились глухіе удары молотка, которымъ заколачивали гробъ, въ ушахъ отдавалось: *о святыхъ упокой!*.. ночью было страшно спать... Теперь немного проходить...

Февраля 11.

Въ самый день смерти папеньки привезли съ почты на его имя письмо. Какъ жаль, что папенька умеръ, не прочитавъ его! да до того ли было тогда!.. мы всѣ бѣгали, суетились, не помня себя. Сегодня я только вспомнилъ о немъ и прочелъ. Бѣдный Иванъ Павловичъ! онъ прислалъ папенькѣ 200 рублей, извиняется, что такъ долго не отдавалъ, оттого, что не было у самого, а теперь пишетъ: „я уже вышелъ въ полкъ лекаремъ и изъ перваго жалованья посылаю вамъ“. А покойникъ все считалъ его обманщикомъ: мнѣ всегда было жалко это слушать... Умирая, отецъ говорилъ мнѣ: — Не довѣрай людямъ, Ваня, никому не вѣрь: всѣ обманываютъ: такой уже не хорошій родъ человеческій; самый умный, самый добродѣтельный, самый ученый человекъ, хотъ на всѣхъ языкахъ говорить, а все нарвится надуть своего ближняго—повѣрь мнѣ. А что, сестра не пріѣхала?

Нѣтъ еще, отвѣчалъ я.

— Плохо!.. что она такъ мѣшкаетъ?.. Повѣрь мнѣ, я тебѣ живой примѣръ: когда я проводилъ кого, всѣ говорили: молодецъ Тарасъ Ивановичъ, съ нимъ держи ухо востро... А какъ позволилъ себя надуть, всѣ заговорили, если ты не слыхалъ, то вѣрно услышишь, что дуракъ Тарасъ Ивановичъ... Да, повѣрь мнѣ: всѣ—дураки люди, которые позволяютъ себя надуть, а сами никого не трогаютъ... Еще нѣтъ Лизы?

— Нѣтъ.

— Вотъ не дожидусь ея!.. Иванъ Павлычъ, напримѣръ, какой былъ ученый человекъ, а все таки подъ конецъ надуть меня, и

теперь, я думаю, хвалится. Ну, да Богъ съ нимъ! я говорю только для примѣра... И женщинамъ также не вѣрь: и онѣ люди... какъ ни думаю, а придется назвать ихъ людьми—этимъ еще больше не довѣрай, я знаю по опыту; изъ-за какой-нибудь дрянн, изъ-за ленточки или бронзовой булавки, онѣ станутъ ласкаться къ тебѣ, станутъ въ глаза хвалить, станутъ, съ позволенія сказать, передъ тобою подличать и клястись въ вѣчной любви, и изъ-за пустяка же, оттого, что ты приморозилъ кончикъ уха, или съѣлъ съ косточками бекаса, вдругъ разлюбятъ тебя, обнесутъ, оклевещутъ, нажалуются на тебя цѣлому свѣту... скажутъ, что ты чудовище, отравятъ тебѣ жизнь, отравятъ тѣло и душу... въ гробъ вгонятъ, а послѣ зарыдають надъ твоимъ гробомъ, упадутъ въ обморокъ... и весь свѣтъ скажетъ: „какая добрая женщина!“ и осудятъ тебя въ гробу, осудятъ беззащитнаго, бездыханнаго—повѣрь мнѣ!..“

И я слушалъ отца, и не смѣлъ сказать ни слова въ защиту добраго Ивана Павловича, а письмо его было у меня въ карманѣ, лежало на сердцѣ моемъ. Мнѣ тяжело, что папенька умеръ, не прочитавъ его: онъ бы умеръ, мнѣ кажется, спокойнѣе. Мнѣ кажется, страшно умереть съ такими вѣрованіями... Стоитъ ли жить, если люди, окружающіе тебя—все злодѣи, если я долженъ быть цѣлую жизнь на сторожѣ?.. Нѣтъ, этого быть не можетъ. Папенька заблуждался: это письмо служить доказательствомъ. Ждали, Котень, Лафонтенъ и прочіе писатели знали жизнь: отчего же у нихъ въ романахъ такъ много людей *добродѣтельныхъ*, особенно женщинъ... Такъ и должно быть: подъ прекрасною наружностью непрѣмѣнно должна быть чудесная душа!..

Февраля 12-го.

Сестра, ея мужъ и все семейство Ея-графа Петровича за что-то сердиты на маменьку—не понимаю за что, а видимо дуются. Грѣхъ имъ: маменька такая добрая! Автоматъ Человѣковичъ сегодня заѣзжалъ къ намъ, выпилъ два стакана пуншу и все молчалъ, а за третьимъ заговорилъ: „Ровно, братецъ“ сказалъ онъ мнѣ: „напрасно ты выдалъ сестру за этого Парлеву“. (Автоматъ, если хочетъ заговорить съ маменькой, всегда заговариваетъ со мной: прямо къ ней сначала онъ никогда не относится).

— Отчего же это вы думаете? спросила его маменька.

— Такъ, сударыня: онъ, вѣдь, просто, хотъ и хорошей породы, а ровно дрянъ. Не ухвалилъ я его, снѣжу вамъ доложить!..

онъ только насмѣхается надъ нашимъ братомъ да болтаетъ по-птичьему, а чина на немъ ровно никакого нѣтъ, ровно никакого!..

— Ничего, послужить—дослужится; а вѣдь Лизѣ лучшей партіи было не дожидаться: и образованъ, и богатъ Ѳеодоръ Евграфовичъ...

— О первомъ не поспорю, это нашему брату горячо, обожжешься; а за богатство вѣрно знаю, что у него, у этого Ѳедьки, ровно ничего нѣтъ.

— Разумѣется, самъ онъ не владѣетъ, но у отца около тысячи душъ, а ихъ всего два брата...

— Такъ, точно такъ, да старикъ-то заматался поуши, ничего нѣтъ, все въ долгу; на него есть бумаги, нехорошія бумаги...

— Оставьте! Это вѣрно сплетни!.. Откуда вамъ знать?

— Нѣтъ, правда. Еслибъ Александра Тумановна говорила, я бы и рукой махнулъ, а то бумаги есть настоящія, я самъ читалъ, читалъ по должности, въ земскомъ судѣ и далѣе...

— По какой должности.

— А развѣ вы не знаете? я, вѣдь, уже другая недѣля, какъ служу становымъ...

— Я не знала. Что же вы не похвалились?

— Не чѣмъ-съ. Я думалъ, сами замѣтите; ровно двѣ недѣли служу. Самъ предводитель просилъ. „Ступайте, говорить, любезнѣйшій Автоматъ, поддержите службу; у васъ, говорить, и умѣнья хватить, и сила есть, и печень здоровая...“ много наговорилъ мнѣ хорошаго. Я и согласился.

— Поздравляю васъ. Такъ у Евграфа Петровича много долговъ?

— Настоящее, большое количество, и запрещеніе, взысканія, и Богъ-знаетъ чего не наслали изъ Москвы, вотъ этакая куча!.. Даже одинъ натурой пріѣхалъ, т. е. лично; я вчера его видѣлъ въ городѣ: купецъ, невелика штука, борода въ аршинъ, кафтанъ синій; плохо будетъ!..

Послѣ этого разговора маменька крѣпко задумалась...

Февраля 13-го.

Сегодня мы не обѣдали; утромъ не стало повара: говорятъ, пріѣзжали отъ Ѳедора Евграфовича и взяли; молодая барыня, говоритъ, приказала ему пріѣхать къ себѣ. Я было разсердился, да маменька сказала: не безпокойся, Ваня, это вредно здоровью; поваръ Лизинъ, она и взяла его. Оно такъ, однако... однако... это какъ-то неумовно!..

Марта 22-го.

Вчера былъ день рожденія папеньки; мы его провели печально, хоть сосѣди, по старой памяти, и съѣхались къ намъ, обѣдали и цѣлый день провели. Маменька проплакала весь день, особливо ее оскорбилъ Евграфъ Петровичъ: онъ передъ закускою налилъ себѣ рюмку водки, сказалъ „царство небесное покойнику“ и выпилъ, не только ничего не пожелавъ маменькѣ, но даже не поклонясь ей; она стояла передъ нимъ въ двухъ шагахъ. При этомъ, гости переглянулись и посмотрѣли на маменьку—она поблѣднѣла.

— Вотъ до какой чести дожили! сказала маменькѣ Александра Тумановна: — васъ уже и не замѣчаютъ!..

Маменька ушла въ спальню, прилегла немного, приняла какихъ-то капель и, отдохнувъ минутъ пять, вышла къ обѣду.

Марта 24-го.

Былъ какой-то толстый мужикъ: ходилъ у насъ по двору; я встрѣтился съ нимъ—онъ мнѣ не поклонился, прошелъ мимо и началъ говорить съ кучеромъ; кучеръ стоялъ передъ нимъ безъ шапки и все кланялся.

— Кто это? спросилъ я у ключника.

— Это Бульдогъ Иванычъ, пріѣзжалъ разспрашивать, какъ у насъ идетъ хозяйство.

— А ему какая надобность?

— Какъ же-съ, Бульдогъ Иванычъ прикащикъ Евграфа Петровича... Такъ ихъ прислали барыня Елизавета Тарасовна...

Марта 25-го.

Маменька очень печальна. Ей передали посѣщеніе Бульдога; вся дворня съ какою-то злобною радостью говоритъ объ этомъ. Что мы сдѣлали этимъ людямъ? Къ обѣду пріѣхалъ какой-то лысый старичокъ, въ сѣромъ сюртукѣ, съ черными костяными пуговицами; долго ходилъ онъ по деревнѣ, по двору, по саду, потомъ пришелъ въ домъ, рекомендовался, что онъ будущій арендаторъ, говорилъ, что Елизавета Тарасовна уѣзжаетъ въ Москву съ мужемъ пользоваться весной искусственными минеральными водами, а свое имѣніе отдаетъ на аренду. Маменька говоритъ, что мы должны выѣхать. Поѣду завтра къ Ѳеодору Евграфовичу.

Марта 26-го.

Никогда больше не поѣду къ этимъ гордымъ людямъ; однако позволили пожить

здѣсь до окончанія дѣла. Еслибъ не было холодно, я бы лучше согласился ночевать подъ открытымъ небомъ, нежели просить у нихъ чего-нибудь. Бѣдная матушка! Я ничего не говорилъ ей, даже боюсь написать, что отъ нихъ слышалъ. Но Богъ слышалъ всѣ ихъ рѣчи, видѣлъ всѣ ихъ взгляды—Онъ заплатитъ имъ!..

Апрѣля 2-го.

Вчера пріѣзжалъ отъ Лизы форрейторъ и сказалъ: „барыня приказали кланяться и велѣли извѣстить васъ, что они молятъ не ѣдутъ въ Москву и арендатора не будетъ, а вы-молятъ живите хоть цѣлый годъ, пока не устроитесь“. А сегодня опять былъ арендаторъ и сказалъ, что это была шутка для 1-го апрѣля: Елизавета Тарасовна пошутить изволила.

Апрѣля 3-го.

Говорятъ, семейство Евграфа Петровича скоро уѣдетъ; насъ безпрестанно пошщаютъ то арендаторъ, который обходитъ здѣсь какъ хозяинъ, то какой-то человекъ, въ зеленомъ нанковомъ сюртукѣ, привозитъ маменькѣ письма и бумаги, и отвозитъ. Я спрашивалъ о немъ маменьку: она отвѣчала: „не безпокойся, это чиповникъ изъ суда. Я кончаю кое-какіе счета съ Лизой, такъ онъ ходатайствуетъ...“ Лакеи почти насъ не слушаютъ; когда маменька прикажетъ подать себѣ стаканъ воды, я всегда самъ бѣгу подать ей: боюсь, чтобъ какой-нибудь боляванъ не оскорбилъ ее непослушаніемъ.

Апрѣля 17-го.

Наконецъ все, слава Богу, кончено. Мы избавились отъ этой несносной жизни. Вчера маменька ѣздила въ судъ, подписала какія-то бумаги, получила тысячу рублей деньгами отъ Лизы и на двѣ тысячи векселя. Мы переѣдемъ жить въ городъ. Сегодня уѣзжаетъ все семейство Евграфа Петровича въ Москву. У насъ былъ Автоматъ и говорилъ маменькѣ, что ей больше можно бы получить, да Евграфъ Петровичъ человекъ сильный, спасибо и за это; потомъ онъ совѣтовалъ мнѣ служить въ земскомъ судѣ и обѣщалъ протекцію. Арендатора онъ упросилъ позволить намъ пожить съ недѣлку, пока для насъ найдетъ квартиру. Арендаторъ очень боится Автомата. Маменька со слезами благодарила Автомата за его старанія.

— Позвольте, отвѣчалъ Автоматъ: — это ровно ничего: покойникъ былъ хорошій

человѣкъ; я помню хлѣбъ-соль... стаканъ пуншу... было весело...

Апрѣля 25-го, ночь.

У насъ въ городѣ нанята квартира. Слава Богу! Завтра мы бросимъ эти стѣны: онѣ давятъ меня!.. Но отчего же мнѣ такъ грустно оставить ихъ?.. Я сегодня весь день ходилъ и прощался съ мѣстами, знакомыми мнѣ съ дѣтства; видѣлъ заборъ, подъ которымъ съ Иваномъ Павловичемъ кралісь на охоту; былъ и въ банѣ: она опять завалена сухими травами; нѣтъ въ ней ни кровати Ивана Павловича, ни стульевъ; только остался столъ; на немъ, вмѣсто книгъ, лежалъ лапотъ; окна затканы паутиной. Я выдвинулъ изъ стола ящикъ: въ ящикѣ лежало перо; его бородки обрѣзаны прихотливыми зубчиками, на концѣ нацарапано булавкой: „принадлежитъ Ивану Севрюгину“. Я спряталъ это перо, какъ воспоминаніе дѣтства. Давно ли это было, а ужъ его не воротить, ужъ о немъ есть только воспоминаніе!.. Въ саду, по-старому зеленеетъ крыжовникъ, въ который я прятался, бывало, отъ разсерженнаго батюшки. Назадъ тому пять лѣтъ, я привилъ вишневое дерево; сегодня былъ у него и съ нимъ прощался; очень выросло, гораздо выше меня, и душисто цвѣтетъ, будто снѣгомъ покрытое бѣлѣтъ... оно стоитъ, такое веселое! Я заплакалъ, глядя на него... Былъ на могилѣ батюшки; постоянные мною цвѣты уже взошли, и она не такъ страшно чернѣетъ... Просилъ у арендатора не скашивать цвѣтовъ съ могилы.

„Съ большимъ удовольствіемъ“, отвѣчалъ онъ: „это мнѣ ничего не стоитъ: почему же! У насъ, на Воляни, часто украшаютъ могильные кресты вѣнками. Если вы захотите, пріѣзжайте, я вамъ всегда позволю нарвать на дугу цвѣтовъ и повѣсить ихъ на могилѣ: это пустое, ничего не стоитъ...“

Кажется, рѣчи арендатора были очень обязательны; но отъ нихъ у меня сжалось сердце—мнѣ стало холодно.

Вечеромъ я усердно помолился Богу, осмотрѣлъ свою комнатку, простился съ каждымъ уголкомъ, знакомымъ мнѣ съ дѣтства. Въ послѣдній разъ, можетъ быть, до гроба, я въ этомъ мѣстѣ, гдѣ выросъ, гдѣ для меня было хоть, правду сказать, больше печали, нежели радости, но и печаль эта имѣла свою прелесть. Сегодня ночь свѣтлая; полная луна глядится въ мое растворенное окно... въ саду поетъ соловей... я долго слушалъ его, долго смотрѣлъ на небо, долго прислушивался къ знакомому

шороху деревьевъ, къ лепетанью осино-
новыхъ листьевъ, къ легкому шуму крыль-
евъ ночной бабочки, и не могъ уснуть...
Къ чему спать! Поживу лучше, побод-
рствую еще нѣсколько часовъ подъ роди-
тельскимъ кровомъ... Завтра—прости, все-
му скажу прости! Отчего это человѣкъ лю-
бить свою родину?..

Апрѣля 25-го.

Вотъ мы уже и городскіе жители. Ма-
менька наняла, или, лучше сказать, Авто-
матъ Человѣковичъ нанялъ для маменьки
одноэтажный домикъ въ три комнаты съ
кухней, съ маленькимъ стариннымъ пали-
садникомъ передъ четырьмя окнами, выхо-
дящими на улицу. Улица широкая, какъ
поле: противъ насъ заборъ... на улицѣ пыль
по колѣно. Насъ всего четверо: я съ ма-
менькой, старуха — моя няня, да дѣвка
лѣтъ за сорокъ — единственное приданое
моей матушки. Проходящіе съ любопы-
тствомъ заглядываютъ къ намъ въ окна, а
послѣ отправляются на дворъ, къ хозяйкѣ
нашей квартиры, и спрашиваютъ: кто пе-
реѣхалъ, зачѣмъ, кто у насъ готовитъ ку-
шать и сколько мы издерживаемъ на столъ,
и ѣдимъ ли по постамъ скромное, и т. п.
Вечеромъ, иногда, гуляютъ мимо нашихъ
оконъ женщины въ большихъ красныхъ
платкахъ, мужчины въ сибиркахъ и скрту-
кахъ; ходитъ одинъ франтъ, въ бѣломъ
картузѣ съ тоненькой тросточкой, и ѣздитъ
на дрожкахъ сѣдой старикъ; ему всѣ кла-
няются: онъ, говорятъ, городничій.

Апрѣля 26-го.

Пошелъ проходиться. Въ концѣ улицы
будка; у будки отставной солдатъ въ крас-
номъ жилетѣ съ желѣзнымъ прутомъ въ
рукахъ; за будкою пыльная дорога и поле.

Апрѣля 27-го.

Сегодня я было крѣпко испугался: ду-
малъ, придется опять кочевать, опять ис-
кать квартиры. Рано утромъ я проснулся
отъ крика и плача: смотрю — передъ окномъ
стоитъ высокій шестъ, на шестѣ завязанъ
пукъ соломы; отъ шеста быстро удаляется
длинный, сухопарый человѣкъ въ круглой
шляпѣ, а за нимъ два десятника. У шеста
стоитъ хозяйка, старуха-мѣщанка, и горь-
ко плачетъ.

— Что съ тобою, матушка? спросилъ я.

— Вишь-ты, домъ ломать хотятъ: завидно
стало, что жильцовъ пустила, вотъ и вѣху
поставили, а погода, говорятъ, придемъ,

ломать станемъ—улица будетъ. Какая тутъ
улица, булдыханъ проклятый, оглобля бе-
резовая этакая! мало ему мѣста, журавлю
безперому. Не бойся, не сунется къ дру-
гимъ инымъ прочимъ, а бѣдная вдова
терпи...

Скоро вернулся одинъ изъ десяти-
ковъ и долго говорилъ съ хозяйкой; потомъ
она одѣлась по-праздничному и пошла къ
землемѣру, къ обѣду вернулась и весело
говорила: „Землемѣръ такой добрый, пос-
мотрѣлъ въ бумагу, увидѣлъ, что ошибся,
мой соколикъ, и приказалъ снять вѣху“. Ввече-
ру сняли вѣху. Былъ Автоматъ. Завтра
я подаю прошеніе въ земскій судъ и по-
ступаю на службу. Какъ-нибудь да стану
поддерживать маменьку.

Мая 1-го.

Итакъ, я уже канцелярскій чиновникъ,
или служитель, какъ говоритъ нашъ секре-
таръ. Просителей куча каждый день. Стран-
ный взглядъ на вещи у нашего секретаря;
онъ часто говоритъ просителю: „ваша пра-
ва, по вашему совершенно такъ; но и по-
моему будетъ правда“. Какъ же это? и такъ
правда, и иначе правда?.. Меня заставили
написать форменную бумагу; я навралъ ужа-
сно; секретаръ разсердился и приказалъ
мнѣ переписывать, пока не уразумѣю. Я пе-
реписываю.

Мая 4-го.

И къ-чему мнѣ моя латынь, и Цице-
ронъ, и Горацій, которыми меня мучилъ
Иванъ Павловичъ, и къ-чему всѣ эти гре-
ческія спряженія?—Люди едва-грамотные,
съ хорошимъ почеркомъ, гораздо-больше
уважаются, и я сознаю себя между ними
самымъ послѣднимъ человѣкомъ. Правду
говорилъ покойникъ батюшка, что я ни къ
чему негоденъ. Мнѣ совѣстно передъ Авто-
матомъ Человѣковичемъ: онъ опредѣлитъ
меня, а я ничего не знаю. Тяжело жить
изъ милости!

Мая 6-го.

Сегодня баба всучила мнѣ въ руку
двугривенный: я бросилъ его на полъ и
чуть не заплакалъ. Мои товарищи смѣялись;
сторожъ поднялъ двугривенный. Баба ушла.
Кто-то сказалъ: „напрасно бросаете деньги!“

Мая 8-го.

Сегодня то же, что и вчера, завтра
то же, что и сегодня. Скучная жизнь... не-

чего записывать. Брошу вести свой журнал... только трата времени.

IX.

Голенькій: охъ! за голенькимъ Богъ.

Народная пословица.

Быль августъ мѣсяцъ. Иванъ Тарасовичъ, идя „на должность“, замѣтилъ необычайное движеніе въ городѣ; мимо него проѣхалъ на дрожкахъ городничій въ полномъ парадѣ; на дорогѣ ему встрѣтилось нѣсколько человѣкъ солдатъ съ ранцами за плечами, въ окнахъ городскихъ домовъ выглядывали безпрестанно разряженные головки дѣвушекъ. „Что бы это значило?“ подумалъ Иванъ Тарасовичъ, когда услышалъ музыку и пѣсни. Въ городъ входилъ на постой пѣхотный батальонъ. Стройно выступали пестрые ряды солдатъ; впереди ѣхалъ начальникъ, по сторонамъ шли офицеры. Весело входили солдаты на постоянные квартиры. Удалой запѣвало высокимъ теноромъ затягиваль:

У воробушка головушка болѣла,
Ахъ болѣла, охъ болѣла, ахъ болѣла!

А хоръ подтягиваль:

Шилды, будылды,
На чики чикалды.
Чики чикаволды шилды
Бухъ, бухъ, бухъ!..

Въ хорѣ звенѣли тарелки, и слова: „бухъ, бухъ“ сопровождались сильными ударами бубна.

За батальономъ тянулись экипажи, кибитки, съ сидѣвшими въ нихъ женщинами и собаками, огромныя зеленныя фуры; подлѣ фуры ѣхалъ человѣкъ въ треугольной шляпѣ, въ сюртукѣ съ красными выпушками, съ необъятными черными бакенбардами. Ивану Тарасовичу показалось знакомымъ лицо съ бакенбардами. Лицо съ бакенбардами, поровнявшись, пристально посмотрѣло на Ивана Тарасовича и вдругъ закричало:—Иванъ Тарасовичъ! вы ли?

— Я, Иванъ Павловичъ, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ, который въ незнакомцѣ узналъ своего прежняго учителя.

Лекарь соскочилъ съ коня и бросился обнимать Ивана Тарасовича, приговаривая:—Такъ и есть, говорите послѣ этого, что сердце не вѣщунъ!.. Именно, вѣзжая въ вашъ городъ, я думалъ о васъ, о ва-

шемъ батюшкѣ. Ну, что онъ?.. сердится на меня—а? говорите же! Да у васъ слезы на глазахъ! неужели что случилось?..

— Папенька скончался...

— Царство ему небесное!.. Не горюйте: законъ судебъ. Вотъ мы поѣдемъ къ вамъ въ деревню, отдохнемъ, поохотимся вмѣстѣ—не правда ли?

— Я здѣсь живу.

— Какъ, въ городѣ?

— Да, въ городѣ, служу...

— Да гдѣ же вы живете? одни, или съ матушкой, съ сестрицей?

— Сестрица вышла замужъ.

— Въ добрый часъ! гм!

— А я живу съ матушкой.

— Гдѣ же? скажите! Я вотъ только уложу свой лазаретъ и сейчасъ явлюсь къ вамъ...

— На Пустопорожней улицѣ домъ мѣщанки Круглоротовой.

— Буду, непременно буду. До свиданія!

И Иванъ Павловичъ пустился по пыльной улицѣ крупной рысью догонять свой лазаретъ, а Иванъ Тарасовичъ пошелъ домой сказать маменькѣ радостную вѣсть.

Послѣ очень скромнаго обѣда Иванъ Тарасовичъ разсказалъ Ивану Павловичу свою жизнь. Иванъ Павловичъ склонилъ голову на руку, почти весь спрятался въ свои густыя бакенбарды и задумался.

— Ничего! сказалъ онъ, какъ бы опомнившись отъ сна: въ эту минуту черезъ мою голову много прошло годовъ, я вспоминалъ свою судьбу. Ничего; въ тотъ день, какъ я оставилъ вашъ домъ, я былъ въ тысячу разъ бѣднѣе и несчастнѣе васъ; у васъ есть матушка, есть человѣкъ, который сочувствуетъ вамъ, это—я, а у меня была кругомъ пустыня: я былъ сирота, круглый сирота, былъ осмѣянъ, влюбленъ... да; не смѣйтесь! я любилъ вашу сестру—теперь не грѣхъ въ этомъ признаться; я не могъ долѣе оставаться въ домѣ, гдѣ могла смѣяться надо мною она, и мои планы, моя будущность должны были погибнуть... Деньги, собранныя мной на прогоны ѣхать въ Петербургъ учиться въ академіи, я долженъ былъ употребить на платье, а потомъ что?.. И я одѣлся въ чужое платье и поѣхалъ искать счастья. А теперь, вы видите, Богъ благословилъ меня: я расплатился съ долгомъ и могу жить, слава Богу и государю. И ни въ чемъ не нуждаюсь. Примите мой совѣтъ, Иванъ Тарасовичъ.

— Какой?

— Бросьте вы эту службу. она вамъ не къ лицу и ничего не дастъ вамъ; поѣзжайте въ Петербургъ, вступите въ академію и современемъ будемъ вмѣстѣ подвигаться

на поприщѣ спасенія страждущаго человѣчества.

— Да могу ли я?...

— Можете! Я много виноватъ передъ вами; я училъ васъ по-французски, математикѣ и другимъ наукамъ, которымъ самъ отъ-роду не учился и знаю ихъ не лучше васъ—виноватъ, каюсь въ этомъ: на это была воля вашего батюшки, а мнѣ нужны были деньги; я обманывалъ и его, и васъ—и считаю себя въ долгу передъ вами; но русскій языкъ, словесность, исторію и другія вещи, которыя я зналъ—вы знаете; латинскій языкъ вы знаете, могу сказать, превосходно, и смѣло держите экзаменъ: вы будете эминентомъ—я знаю васъ. Побѣждайте же поскорѣе, теперь время пріема, я вамъ дамъ письмо къ моимъ бывшимъ профессорамъ; они люди добрые и примутъ васъ хорошо. О матушкѣ вашей не заботьтесь: нашъ полкъ простоятъ здѣсь нѣсколько лѣтъ; можетъ-быть, пока вы выйдете изъ академіи, я буду стараться, какъ могу, быть полезнымъ вашей матушкѣ. Я виноватъ передъ вами, Иванъ Тарасовичъ; позвольте жѣ мнѣ хоть добрымъ совѣтомъ исправить свой обманъ. Если вамъ нужны деньги, я вамъ могу занять сто рублей. Побѣждайте какъ-нибудь, только скорѣе; время дорого, его ничѣмъ не купишь. Ну, что же, рѣшаетесь? давайте вашу руку!

— Извольте.

— Вотъ дѣло! говорилъ Иванъ Павловичъ, обнимая Ивана Тарасовича:—поздравляю будущаго собрата.

Ваня бросился на шею матери и залился слезами.

Черезъ нѣсколько дней, борзая тройка унесла Ивана Тарасовича далеко-далеко.. И цѣлую недѣлю говорили въ городѣ, какъ сдурѣлъ молодой Севрюгинъ, оставилъ службу, мѣсто и поѣхалъ учиться, да еще куда—въ Петербургъ!!!!...

— Онъ думаетъ, что тамъ нѣтъ такихъ, какъ онъ, говорила на перекресткѣ Александра Тумановна:—много тамъ и безъ него людей!.. Есть, говорятъ, и почище его, и поумнѣе, и побогаче, да сидятъ по трое сутокъ не ѣвши.

— Неужели? спрашивалъ секретарь.

— А тоже что. Вотъ я знаю одного мо-
локососа, еслибъ не я, опухъ бы отъ го-
лода...

— Какъ такъ?..

— Да такъ, ѣсть нечего; вотъ онъ и опишетъ меня, какъ я и хожу, и говорю, и танцую; разумѣется, это интересно: тамъ же не видѣли еще меня, вотъ ему и дадутъ рублей пятнадцать, двадцать—онъ и живетъ.

— Разумѣется, вы у насъ голова! отвѣчалъ секретарь, низко кланяясь:—мое почтеніе.

— Прощайте!

Распрощаемся и мы съ Иваномъ Тарасовичемъ, на долго, лѣтъ на десять. Десять лѣтъ!—сказать легко, пожалуй и пережить кому не трудно, а иному это цѣлая вѣчность!.. Десять лѣтъ! сколько въ этотъ періодъ времени умретъ добрыхъ людей! сколько отцѣплетъ красавицъ! сколько настроятъ людикозней, измѣнятъ, предательствъ! сколько утечетъ воды изъ рѣкъ въ широкое море! сколько зубовъ выпадетъ у многого человѣка! сколько посѣдетъ волосковъ въ роскошной косѣ у иной женщины! сколько умныхъ поглупѣетъ, а можетъ-быть, хоть одинъ дуракъ поумнѣетъ!.. Много времени въ десяти годахъ!.. Пускай себѣ ѣдетъ въ Петербургъ Иванъ Тарасовичъ, пусть онъ робко спрашиваетъ на станціяхъ лошадей и пусть тамъ, пользуясь этимъ, держитъ его по трое сутокъ, чтобъ продать въ три дорога три дрянные обѣда; пусть онъ поступаетъ въ академію, учится отлично, къ удовольствію начальства и зависти товарищей, выходитъ съ честью изъ академіи, пользуется извѣстностью, слѣдовательно и большою практикой, и еще разъ, слѣдовательно, большими доходами; пусть онъ себѣ живетъ въ бель-этажѣ или на чердакѣ, пусть франтитъ или ходитъ оригиналомъ—словомъ, пусть дѣлаетъ, что хочетъ въ продолженіи десяти лѣтъ, я говорить о немъ не стану... Я его отпустилъ на цѣлыя десять лѣтъ въ отпускъ по домашнимъ обстоятельствамъ. А какія его обстоятельства? встрѣтимъ ли мы его въ богатой каретѣ, или пѣшкомъ на тротуарѣ въ изорванныхъ сапогахъ? въ райкѣ Александринскаго Театра или въ ложѣ итальянской оперы?—это еще тайна, которую вы узнаете не раньше будущаго мѣсяца *), изъ второй части.

*) Первая часть „Доктора“ была напечатана въ мартовской, а вторая часть въ апрѣльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ на 1844 годъ.

Часть вторая.

Хотя корень учения горекъ, но плоды
оного сладки суть.

Новѣйшія російскія прописи.

Le ton fait la musique.

Пословица.

I.

Vois jusqu'où m'a conduit la soif des voluptés,
Pleure moi, plains mes maux que j'ai trop mérités,
Et tremble de marcher sur les pas d'un coupable.

Gilbert.

Быль августъ. Петербургская природа смотрѣла сентябремъ; листья падали съ деревьевъ; дачники переселялись въ городъ; красивые картонные домики на Черной-Рѣчкѣ пустыли; по улицамъ Петербурга весь день тянулись возы, нагруженные пожитками кочующаго народа: тутъ была и разная мебель, и разная посуда, и цвѣты, которые, при каждомъ толчекѣ повозки, кланялись во всѣ стороны, будто прощаясь съ лѣтомъ, и клѣтка съ чирикавшимъ чижиномъ, или съ сѣрымъ попугаемъ, говорившимъ всякому встрѣчному: *дуракъ*, хоть будь этотъ человекъ примѣрной важности, или будочникъ, или просто фонарный столбъ; иногда за возомъ шла старуха-кухарка, бережно неся подъ-мышкой отломанную ножку отъ стараго березоваго стула, за которую, т. е. ножку, развѣ аптекарь взялъ бы съ васъ гривну мѣди, и то собственно за сигнатурку, веревочку, печать и цвѣтную бумажку; а старуха несла ее до города верстъ пять, въ твердой увѣренности, что дѣлаетъ полезное дѣло. Порой, отчаянный франтъ, рискуя получить лихорадку, шелъ по улицѣ въ лѣтнемъ пальто; порой шелъ простой человекъ въ полушубкѣ. Но эта живая картина мало-по-малу темнѣла, путалась, сливалась въ неопредѣленные образы—солнце зашло; тучи тянулись по горизонту; городъ принялъ сѣренькій цвѣтъ; благословенный выборг-

скій вѣтерокъ подувалъ будто изъ ледника; къ счастью запачканные люди въ рожденныхъ плащахъ начали зажигать фонари; изъ лавочекъ блеснулъ свѣтъ, въ окнахъ домовъ показались огни—и снова повеселѣлъ Петербургъ.

Далеко за Лиговкой, въ каменномъ домѣ на Невскомъ Проспектѣ, ярко было освѣщено нѣсколько оконъ второго этажа, завѣшенныхъ малиновыми занавѣсками съ золотою бахромой и кистями; какой-то рѣдкій цвѣтокъ приподнялъ вѣткой одинъ край занавѣски и за нею видна была стѣна, обитая цвѣтными обоями; по обоямъ тянулся узенькою полоской золотой карнизъ; надъ нимъ виднѣлась часть потолка, расписаннаго въ помпейскомъ вкусѣ. На троттуарѣ, у воротъ этого дома стоялъ дворникъ; немного подальше, на улицѣ, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, въ лаптяхъ, въ сѣромъ зипунѣ, безъ шапки, глядѣлъ на освѣщенные окна.

— Что тамъ глядишь, Петруха? чего не видалъ? говорилъ дворникъ мальчику.

— Погоди, дядя! отвѣчалъ мальчикъ.

— Стой, стой на улицѣ: того и гляди какой ни-на-есть экипажъ въ другой разъ такъ тебя прихватитъ, что своихъ не узнаешь!

— Не бойсь, дядя; вонъ какъ тамъ свѣтло!.. Знать, генералъ какой живетъ—а? дядя—а?

— Экъ ты, деревенскій пѣтухъ! все тебѣ генералы!

— А красно-то красно! а зелено-то зелено! а блестя-то блестя, словно въ печкѣ горитъ! Правду баяла тетка Маланья, ономнѣя ходивши въ Питеръ съ кавалеромъ: тамъ, сказывала, въ мелочной лавочкѣ глаза разбѣгутся; что твоя душенька захочетъ—все есть!.. Тамъ лавочка, дядя—а?

— Больно глупъ ты, Петруха! Какая лавочка! извѣстно баринъ живетъ...

— Баринъ?! вишь ты! Знать, у него по сидѣлки барскія, а—дядя? посидѣлки?

— Какія посидѣлки! дохтуръ живетъ.

— Дохтуръ?.. что это изъ нѣмцовъ, што-ли?

— Православный...

— Гдѣ, батюшка, докторъ? спросила дворника женщина въ черномъ подозрительномъ салопѣ.

— По парадной лѣстницѣ, во второй этажъ, правая дверь.

— Спасибо.

— Не за что-съ!

— Дядя! а дядя! спросилъ мальчикъ, когда женщина ушла на лѣстницу:—что это за барыня!

— Какая барыня! шваль какая ни-на-есть, попрошайка... Знаютъ, что добрый человекъ дохтуръ: вотъ такъ къ нему и лѣзутъ, а нѣтъ дворнику перекинуть за труды!

— Ой-ли? Вишь, а я смекалъ, барыня; какая пышная—такъ и шумитъ хвостомъ!

Между тѣмъ, женщина торопливо поднялась по освѣщенной лѣстницѣ во второй этажъ, остановилась у двери, на которой была прибита полированная мѣдная дощечка съ красивою надписью: „...ой докторъ Иванъ Тарасовичъ Севрюгинъ“, и робко дернула за ручку колокольчика.

Въ это время Иванъ Тарасовичъ Севрюгинъ... Но позвольте!

Предсказаніе Ивана Павловича сбылось: молодой Севрюгинъ, поступивъ въ академію, былъ робокъ, застѣнчивъ по-прежнему; часто онъ хотѣлъ пересилить себя и вмѣшаться въ игры, шутки и рассказы своихъ товарищей, но его приемы смѣшили всѣхъ; его шутки и остроты никогда не выходили, и развѣ будучи сказаны по-нѣмецки, могли бы утѣшить какого-нибудь добраго австрійца; онъ почти съ отчаяніемъ повторялъ: „Правду говорилъ покойный батюшка, что я ни къ чему не годенъ, просто дрянъ! Ни статъ, ни сѣсть, ни слова сказать не умѣю“, и обращался со всѣмъ жаромъ къ своей наукѣ. Слѣдствіемъ подобнаго прилежанія было, что Севрюгинъ вышелъ изъ академіи однимъ изъ первыхъ докторовъ и получилъ сразу въ Петербургѣ довольно важное мѣсто въ

штатской службѣ. Занимаясь практикой, онъ былъ очень остороженъ и аккуратенъ, входилъ во всѣ подробности больного, разспрашивалъ его обстоятельно, и тогда уже прописывалъ рецептъ, а, прописывая рецептъ, никогда въ то же время не рассказывалъ, какъ одинъ молодой человекъ и одна дѣвушка убѣжали и перевѣнчались, или какъ одинъ человекъ игралъ восемь въ червяхъ и остался безъ четырехъ, и т. п. Отъ этого вся Рождественская и Каретная части вѣровали въ Севрюгина и безпрестанно звали его къ больнымъ, оттого у Севрюгина была прехорошенькая квартира, и кумушки Рождественской и Каретной частей, говоря о Севрюгинѣ, воскликали:

— Вотъ, мать моя женихъ!... и уменъ, и смиренъ, и тысячь сотня въ ломбардѣ лежить!..

Правда, Иванъ Тарасовичъ не лечилъ аристократіи. Онъ не болталъ по-французски, неловко шаркалъ и съ перваго дебюта оборвался на этомъ скользкомъ поприщѣ. Дѣло было вотъ какъ: одна дама, богатая, тонкая, изнѣженная дама—не то графиня, не то княгиня—была на вечерѣ, покушала чрезъ мѣру какихъ-то *употѣлныхъ* бомбошекъ и назавтра послала за докторомъ. Домовымъ докторомъ княгиня еще не обзавелась, и дворецкій, по совету своего пріятеля, купца въ миліонныхъ лавкахъ, привезъ къ ея сіятельству Севрюгина.

— Ah, monsieur le docteur, j'ai reçu... сказала дама Севрюгину и рассказала ему свою болѣзнь по французски.

— Это пустое, отвѣчалъ Севрюгинъ по-русски, прописалъ приѣмъ магнезіи и уѣхалъ.

Послали въ аптеку, а къ дамѣ пріѣхала ея кузина.

— Ахъ, ma chère! сказала дама своей кузинѣ:—какъ жаль, что ты опоздала пятью минутами; что за уродъ былъ у меня!.. до сихъ поръ не могу придти въ себя отъ смѣха...

— Кто такой?.. Ужъ не этотъ ли, поэтъ, онъ русскій, что-ли?..

— Фи! нѣтъ, вдесятеро хуже... докторъ, ma chère!

— Докторъ? зачѣмъ?..

— Видишь, я больна, очень больна, не шутя больна... а онъ—представь себѣ, узенькій бокалъ во фракѣ...

— Нельзя ли послать за нимъ? я бы его помистифицировала.

— Нѣтъ, онъ больше не увидитъ моего дома! Представь, я ему говорю серьезно, а онъ отвѣчаетъ мнѣ: *пустое!* такъ просто, по-русски: *пустое!* точно кучеръ!...

— Ахъ онъ грубиянъ!..

Принесли лекарство, и княгиня съ ужасомъ прочла на коробочкѣ: цѣна 40 копѣекъ серебромъ.

— Посмотри, та chère, закричала она кузинѣ: сорокъ копѣекъ! онъ мнѣ прописалъ какого-то яда: сорокъ копеекъ!

— Сорокъ копѣекъ! и кузина принялась хохотать.

— Да моей болонкѣ, моему Саго, порядочный собачій докторъ прописалъ пилюлю въ двадцать пять рублей, а этотъ!..

— Да это магнезія! чистая магнезія! кричала, въ свою очередь, кузина. — Ахъ, онъ негодный! онъ тебя хотѣлъ лечить магнезіей!..

— Неужели?!.. И откуда мой дворецкій притащилъ подобнаго уroda?

Дама позвонила.

— Онъ какой-то... Сев... рю... гинъ, Севрюгинъ! какое имя! Севрюгинъ, это, кажется, рыба. — Кузина опять захохотала.

Обѣ пріятельницы начали припоминать имена рыбъ по-русски: нашли осетра, стерлядь, добрались до севрюги — и опять захохотали.

Этому сильному смѣху, кажется, объясанъ дворецкій, что его называли только невѣжей и отправили сейчасъ съ адресомъ за докторомъ кузины.

Съ ужасомъ выслушалъ новый докторъ о поступкѣ Севрюгина, посоветовалъ выбросить магнезію за окошко и прописалъ свое лекарство. Оно, изволите, видѣть, состояло изъ жемчужнаго порошка; за пріемъ взяли рублей двѣсти — пышная дама къ вечеру выздоровѣла. Докторъ кузины сдѣлался ея домашнимъ докторомъ, а о Севрюгинѣ она рассказывала цѣлые два вечера, какъ о величайшемъ невѣждѣ, который чуть-чуть было не отправилъ ее на тотъ свѣтъ.

Но обитатели залиговскія, особенно богатые купцы, торгующіе хлѣбомъ на пристаняхъ подъ Смольнымъ и Невскимъ, какъ говорится, на рукахъ носили Севрюгина; ихъ простые, неиспорченныя натуры оживали отъ его рецептовъ; притомъ, онъ былъ съ ними обходителенъ и вѣжливъ; всякому говорилъ „вы“, и... но вы знаете, что кумушки считали у Севрюгина до ста тысячъ капитала.

Теперь обратимся къ рассказу.

Когда женщина въ салонѣ позвонила у двери Ивана Тарасовича, онъ спокойно окутавшись въ широкій шелковый стеганный халатъ, сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ передъ пылавшимъ каминомъ, который въ концѣ августа въ добромъ городѣ Петербургѣ, право, можно считать разумною необходимостью. Иванъ Тарасовичъ пилъ

чай, курилъ сигарку и разсматривалъ какую-то анатомическую гравюру.

— Кто тамъ? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Старуха какая-то, отвѣчалъ слуга: — васъ спрашиваетъ.

— Проси.

Старуха вошла и рассказала, что у нея есть жилища, славная дѣвушка, добрая, предобрая, и красавица такая; что эта жилища другой день какъ заболѣла и просить его пожаловать полечить.

— Что-жъ вы раньше не пришли?

— Да такъ, батюшка, сами то тѣмъ, то другимъ перемогались — нѣтъ легче! ужъ я и божьяго масла, и нашатырнаго спирта доставала, всѣмъ ее терла, и пить давала — нѣтъ легче...

— Что-жъ съ нею?

— А Богъ ее знаетъ, болѣзнь должно быть; все пить просигъ, да колетъ, говорить, словно веретеномъ.

— Въ грудь или въ голову?

— Про то не вѣдаю, батюшка.

— Коли такъ, поѣдемъ.

Докторъ допилъ чай, одѣлся, взялъ перваго извозчика и скоро очутился на Пескахъ, въ Матрѣшкиной улицѣ, передъ низенькимъ одноэтажнымъ деревяннымъ домомъ. У этого дома было два подъѣзда; надъ дверью одного была какая-то вывѣска; нѣсколько разбитыхъ заклеенныхъ оконъ въ рядъ отъ этой двери были освѣщены изнутри довольно ярко; тамъ раздавался веселый громкій говоръ, порой пѣсня, порой звонъ стекла. Надъ дверью другого подъѣзда не было вывѣски, и въ сосѣднихъ съ нимъ окнахъ чуть мерцалъ свѣтъ.

— Тутъ, родимый, сказала женщина въ салонѣ, когда поровнялись съ дверью безъ вывѣски, и, отворивъ дверь, прибавила: — милости просимъ, мы люди хоть такъ себѣ, а все-таки чиновные.

Въ передней, она же была и кухня, взяла у доктора шинель заспанная кухарка, и онъ вошелъ вслѣдъ за салопницей въ слѣдующую комнату по шаткому скрипучему полу. Тамъ, на столѣ, стояла нагорѣвшая сальная свѣчка, называемая пятерикомъ; молодой человекъ, лежа на постели, протянулъ къ свѣчкѣ длинный чубукъ и раскуривалъ трубку. Какой-то старичокъ въ полосатомъ халатѣ писалъ бумаги; еще одинъ человекъ, среднихъ лѣтъ, завивался передъ маленькимъ зеркаломъ, а четвертый вырѣзывалъ воротнички или нарукавники изъ листа бѣлой казенной бумаги.

Иванъ Тарасовичъ вѣжливо раскланялся съ обществомъ; незнакомцы отвѣчали ему тѣмъ же.

— Это мои жильцы, замѣтила салопница: — занимаютъ у меня углы; все народъ хороший, благородный.

И точно, въ комнатѣ стояло четыре кровати, отгороженные, каждая особо, бумажными ширмами, такъ что любой жилецъ, спрятавшись за ширму, могъ воображать, будто онъ дома самъ въ своей комнатѣ. Подобнаго рода помѣщеніе очень нетрудно сыскать на Пескахъ, на Петербургской, въ Гавани и въ другихъ отдаленныхъ частяхъ города, и даже иногда въ самыхъ многочисленныхъ центральныхъ улицахъ вы увидите у воротъ дощечку съ надписью: *здесь одающа углы съ просить удѣворника*. Это значитъ, что какой-нибудь аферистъ или бѣдная, но благородная вдова наняла квартиру въ двѣ комнаты съ кухней, сама живетъ на кухнѣ, а въ остальные комнаты, разгородивъ ихъ двухъ-съ-полтинными ширмами изъ обоевъ, пускаетъ жильцовъ съ платою рублей по десяти за мѣсяцъ въ передній уголъ, а подальше, къ дверямъ, цѣна доходить до цѣковаго. Иногда подобные углы занимаетъ семейство бѣлошвейекъ, иногда партія людей, которые изъ скуднаго жалованья должны быть каждый день сыты и прилично одѣваться, чтобъ не навлечь на себя подозрѣнія въ худомъ поведеніи и скрыть свою отчаянную бѣдность, потому-что, признавшись въ своей безпомощной бѣдности, они рискуютъ сдѣлаться домашними ѣзжалыми животными у людей постарше себя и умереть отъ чахотки, если не захотятъ испытать участи Уголино, описанной Дантомъ.

Пройдя мимо жильцовъ, салопница толкнула ногой дверь, ведущую въ другую комнату; дверь жалобно взвизгнула и съ басистымъ хрипомъ, очень похожимъ на трель контрафалота, отворилась. Докторъ очутился въ небольшой узенькой комнатѣ объ одномъ окошкѣ. Изъ этой комнаты вела еще дверь въ сосѣднюю комнату, но она не отворялась и была заклеена по всѣмъ щелямъ газетной бумагой, что, впрочемъ, ни мало не мѣшало слышать не только клики, но даже ровный разговоръ сосѣдей.

— Ахъ, ты!... крикнулъ кто-то за глухой дверью, когда докторъ входилъ въ комнату.

— Не беспокойтесь, батюшка, сказала салопница, стараясь заглушить нескромное восклицаніе: — это не къ вамъ рѣчь. Знаете, у насъ тамъ питейное заведеніе, всякаго народу бываетъ.

— Кабакъ, что-ли?

— Оно, когда хотите, мужицкій народъ и кабакомъ называется, да это ничего, когда нѣтъ, слава Богу. Я и щелки заклеила:

сама люблю покой, да и жильцамъ хочу, чтобъ хорошо было. Я не какая-нибудь иная прочая...

Во время этой рѣчи Иванъ Тарасовичъ окинулъ глазами маленькую комнату: ея стѣны были увѣшаны салопами, платьями и всякой полотняной ветошью, идущею въ нарядъ женщинъ. Междуэтой драпировкой выглядывалъ презлой портретъ какого-то героя; на лежанкѣ горѣлъ ночникъ, стоялъ самоваръ, подносъ съ чашками, кофейникъ, безносый чайникъ, бутылка, заткнутая бумажкой, и сидѣлъ пестрый котъ; у лежанки стояла кровать; далѣе, подъ стѣнной, стулъ на точеныхъ толстыхъ ножкахъ, за нимъ столъ, за столомъ еще жиденькій стулъ съ плетушкой; далѣе, у самаго окна, другая кровать; на ней лежала больная; на окнѣ стояла чашка безъ ушка, накрытая бубновымъ валетомъ. Полъ грязный; воздухъ тяжелый.

Салопница поднесла ночникъ къ постели больной — и докторъ остолебенѣлъ отъ удивленія: на кровати лежала дѣвушка лѣтъ восемнадцати, красавица въ полномъ смыслѣ слова; тонкія, правильныя черты ея лица, истомленные страданіемъ, все еще были прекрасны; это лицо осыпали густыя темнорусыя кудри; маленькая ослѣпительно бѣлизны ручка, обнаженная по локоть, небрежно свѣсилась съ кровати; короткое одѣяло открывало нескромно двѣ ступни ножекъ, бѣленькихъ, крошечныхъ, словно изваянныхъ сладострастнымъ рѣзцомъ Кановы. Больная открыла глаза и умолявшимъ голосомъ прошептала: „помогите докторъ!...“ И что это были за глаза!... большіе, томные, чисто голубые, какъ небо на картинахъ южной природы. Иванъ Тарасовичъ молча глядѣлъ въ эти прекрасныя глаза; казалось, всѣ силы души его оставили; онъ стоялъ подъ влияніемъ какой-то магнетической силы, не смѣя пошевелиться, подумать о чемъ-либо, чтобъ не нарушить невѣдомаго ему доселѣ сладостнаго ощущенія, которое наполнило все существо его.

— Спасите меня!... прошептала больная.

— Хорошо, хорошо, лепеталъ Иванъ Тарасовичъ, еще не понимая хорошенько, что говорилъ онъ; но вдругъ мысль объ опасности беззащитной больной поразила его. Онъ ударилъ рукой по лбу, назвалъ себя чуть-ли не дуракомъ и принялся расспрашивать больную о ея болѣзни.

Хотя на этотъ разъ Иванъ Тарасовичъ, вопреки своей аккуратности, расспрашивалъ довольно странно, часто объ одномъ и томъ же по три, по четыре раза, и, очень понимая отвѣты больной, заставлялъ повторять ихъ по нѣскольку

разъ, чтобъ слышать звуки голоса, такъ сладко потрясавшаго его душу, однако понялъ, что дѣвушка больна сильнымъ воспаленіемъ, пустилъ ей кровь, прописалъ лекарство и безотчетно усѣлся у постели больной, наблюдая за его дѣйствіемъ.

Время шло; за дверью утихалъ ропотъ рѣчей, меньше брякали стаканы и бутылки; больная начала дремать. Съ улыбкой смотрѣлъ на нее Иванъ Тарасовичъ. Вдругъ за дверью чей-то голосъ—не то пѣлъ, не то говорилъ, а лучше сказать громко произнесъ речитативомъ хриплаго баса:

Какъ у дяди у Петра,
Да поймали осетра!

И нѣсколько дикихъ, дребезжавшихъ голосовъ неистово гаркнуло хоромъ:

Ахъ, дербень, дербень, Калуга!
Дербень, Ладога моя!...

Больная вздрогнула, открыла глаза; между тѣмъ опять прежній голосъ полуговорилъ, полупѣлъ то же самое...

И опять хоръ затянулъ прежній припѣвъ.

— Боже мой, это невыносимо! сказалъ Иванъ Тарасовичъ:—вамъ не даютъ покоя! вотъ я ихъ уйму!

— Богъ съ ними, отвѣчала больная, добродушно улыбаясь:—не трогайте ихъ: мнѣ лучше, я усну.

— Вамъ лучше? неужели? вамъ лучше?

— Да, я усну; и вамъ, я думаю, пора спать.

Докторъ посмотрѣлъ на часы: была полночь.

— Ну, прощайте, сказалъ онъ:—принимайте лекарство, а я васъ навѣщу завтра.

Больная слабо пожала Ивану Тарасовицу руку, и онъ уѣхалъ, думая дорогой: „Что за ангелъ эта дѣвушка! Какъ я засидѣлся!“ Любопытно бы знать, что онъ думалъ во всю ночь; по словамъ слуги его, онъ не спалъ и до свѣта ходилъ по кабинету. Но чужія мысли—темный лѣсъ!..

II.

Мой братъ двоюродный Буяновъ,
Въ пуху, въ картузѣ съ козырькомъ.
А. Пушкинъ.

На завтра больной было лучше. Иванъ Тарасовичъ засталъ у нея молодую даму, очень порядочно одѣтую, и толстаго высокаго мужчину съ огромными усами, одѣтаго въ шаровары, коротенькій сюртукъ и пестрый жилетъ; на шеѣ широкій галстухъ,

въ одной рукѣ картузъ, въ другой красный фуляръ.

— Ахъ, господинъ докторъ! Какъ я счастлива, что могу лично изъявить вамъ мою благодарность, сказала навстрѣчу Ивану Тарасовичу незнакомая дама.

— И я также, и я также, милостивый государь мой! говорилъ усатый мужчина.

— За что? спросилъ Иванъ Тарасовичъ, немного смѣшавшись.

— Вы спаситель, вы благодѣтель моей близкой родственницы, продолжала дама.

— Да, да, ужъ вы не отговаривайтесь, благодѣтель! продолжалъ усатый мужчина.

— Такъ это ваша... началъ было Иванъ Тарасовичъ.

— Да, перебила дама:—эта больная мнѣ очень близкая родственница; она пріѣхала ко мнѣ въ Петербургъ, занемогла еще дорогой, потеряла мой адресъ и была въ самомъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, чтобъ вышло, еслибъ хозяйка этой квартиры—добрѣйшая женщина—не взяла ее къ себѣ, не пріютила ее беззащитную и не отыскала доктора, извѣстнаго рѣдкими качествами своей души, то-есть васъ, Иванъ Тарасовичъ.

— А я вотъ ея мужъ, моей Марьи Ивановны, прибавилъ усачъ, показывая рукой на даму.—Теперь понимаете?

— Понимаю, и очень благодаренъ за хорошее мнѣніе. Но откуда вы знаете мое имя?

— Помилуйте! возразила дама:—васъ весь городъ знаетъ, если не лично, то по вашимъ добрымъ дѣламъ. Кто не знаетъ благодѣтельнаго Ивана Тарасовича Севрюгина?

Иванъ Тарасовичъ немного покраснѣлъ и взглянулъ украдкой на больную: она смотрѣла на него съ такою любовью!.. Глаза ихъ встрѣтились, Севрюгинъ еще болѣе покраснѣлъ, сдѣлалъ больной два-три вопроса, торопливо подписалъ лекарство, раскланялся и уѣхалъ.

Весь день Иванъ Тарасовичъ думалъ о своей странной больной. „Они, мнѣ кажется, врутъ чепуху, притворяются, что-то скрываютъ“ думалъ онъ: „бѣдная дѣвушка больна, безъ присмотра, безъ помощи; лежитъ въ нищенскомъ углу, а ея родственники, повидимому, народъ не бѣдный? Можетъ быть они не любятъ ея. Мало ли есть какихъ родственниковъ! Такъ зачѣмъ они навѣщаютъ ее? зачѣмъ благодарятъ меня съ такой заботливостью?... Нѣтъ, опять какой-то бѣсъ сомнѣнія овладѣваетъ мною; прочъ его! Правду говорить, что самая неправдоподобная исторія есть истинная: не должно торопиться осуждать человека, хотя противъ него и много вѣроятностей. Иванъ Павловичъ то-

жу прихоть. Добрый Иванъ Павлович! Я ему всѣмъ обязанъ: онъ даже закрылъ глаза моей покойницѣ матушкѣ... Вотъ уже пять лѣтъ, какъ я лишился ея: добрая женщина не перенесла своего несчастія! И я остался одинъ, одинъ на бѣломъ свѣтѣ!... Къ чему мнѣ мои деньги? къ чему моя извѣстность, когда не съ кѣмъ разделить радости? А какъ бы полюбилъ я, какъ бы обожаю существо, которое любило бы меня. Я угаживалъ бы ея мысли, чувства, малѣйшія прихоти; я былъ бы рабомъ ея - и гордился бы этимъ!... Но кто меня полюбилъ? меня, неуча, неловкаго, безобразнаго!... Правду говаривалъ покойный отецъ... Я нигдѣ негоденъ... Посмотришь кругомъ—всѣ молодые люди такъ развязны, такъ любезны; хоть иногда говорятъ и глупости, однако говорятъ мило, ихъ слушаютъ, они вездѣ выигрываютъ, а я? что я такое? Порой душа полна чувствомъ, въ головѣ бродятъ прекрасныя мысли—начнешь говорить, выходитъ Богъ знаетъ что! Захочешь поправиться, собьешься и—замолчишь... Скучно жить одному, право, скучно... Еслибъ... что за глупости лѣзутъ мнѣ въ голову!

Такъ разсуждалъ цѣлый день Иванъ Тарасовичъ, а къ вечеру опять навѣстилъ больную.

Прошло нѣсколько недѣль; больная оправилась, докторъ навѣщалъ ее часто, часто сталкивался съ усатымъ родичемъ, и въ послѣдній прїѣздъ на вопросъ его: „Ну что, каково Алѣнушкѣ?“ долженъ былъ отвѣчать, скрѣпя сердце, что она совершенно здорова.

— Ну, такъ завтра переѣдетъ къ намъ. Спасибо вамъ, Иванъ Тарасовичъ; позвольте предложить вамъ... извините, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады,—и усачъ сунулъ въ руку доктора пятидесяти-рублевую ассигнацію.

Иванъ Тарасовичъ не хотѣлъ брать денегъ.

— Помните, говорилъ усачъ:—какой дуракъ отказывается отъ денегъ?! Вы докторъ; это ваше ремесло, вашъ хлѣбъ, съ позволенія сказать, а Алѣнушка дѣвушка не совсѣмъ бѣдная, можетъ заплатить.

— Но... началъ Иванъ Тарасовичъ.

— Вы хотите меня обидѣть, перебила, со слезами на глазахъ, Алѣнушка.

Иванъ Тарасовичъ крѣпко сжалъ въ рукѣ ассигнацію, покраснѣлъ и расклавился.

— Не забывайте насъ, говорила ему въ слѣдъ бывшая его пациентка.

— Навѣстите, навѣстите! прибавилъ усачъ:—мы вамъ очень рады, и я къ вамъ когда-нибудь заѣду; да заѣжайте вы лучше: у меня есть собака съ пребольшею боро-

давкой на носу, авось срѣжете! право!... Я живу въ Семіононой улицѣ, домъ Зализаева.

„А я, дуракъ, еще думалъ...“ ворчалъ себѣ Иванъ Тарасовичъ. „Вотъ и конецъ комедіи! меня призвали, какъ ремесленника, заплатили—и счета кончены; еще этотъ оселъ намекалъ о собакахъ съ бородавкой!... Тутъ именно неладно; мнѣ очень подозрительнѣе усачъ: онъ такъ вольно обращается съ нею, будто съ дочерью. Да какой онъ ей родственникъ! Можетъ быть такой-же, какъ и я!... Только быть не можетъ: она неспособна!... А какъ она мило сказала: *не забывайте насъ!* Нѣтъ, нѣтъ, не забуду, никогда не забуду и умирая вспомню твой гармоническій голосъ, твои небесныя глаза, твою томную улыбку!... Никогда не забуду!... А если это кокетство?.. быть не можетъ! А если это сказано изъ состраданія!... если она замѣтила мою глупую страсть и бросила мнѣ слово утѣшенія изъ милости, какъ мѣдный грошъ попросайкѣ?—Это вѣрнѣе всего. Такъ забуду жъ ее, не хочу знать ее, мнѣ не нужно милостыни. Кончена комедія!“

„Начинается комедія. Сюда, сюда, честные господа, посмотрите-ка туда; вотъ темное царство, многое множество людей, полтора человѣка съ половиной!... Эй, скорѣй, по грошу съ глаза! вотъ начинается комедія!...“

Иванъ Тарасовичъ очнулся; онъ былъ у своей квартиры; здѣсь, у подѣзда, стоялъ оборванный черноглазый мальчикъ съ походной панорамой, вокругъ него толпилась разная халатная сволочь: онъ хладнокровно, положила руку на ящикъ, отчетливой скороговоркой выхвалялъ свои картины и лукаво посматривалъ на народъ. Иванъ Тарасовичъ вздрогнулъ, когда встрѣтился глазами съ хитрымъ, насмѣшливымъ взглядомъ черноокаго мальчика, и быстро, почти бѣгомъ, бросился вверхъ по лѣстницѣ: за нимъ, словно насмѣшка, летѣли слова: „комедія начинается!“

III.

Oh! c'est un spectacle enchanteur que celui-ci!..

Ch. Nodier.

Охъ, што-то за госпи ѣдутъ!..

Подкувками вогонъ крешуць,

А хустками раздымаюць!

Выйди доню погляди,

А што они привезли?

—Привезли перину синюю.

А звѣнчали Марыску сілю!..

Народная бѣлорусская пѣсня.

Иванъ Тарасовичъ рѣшился забыть свою прекрасную пациентку и каждый день

думалъ съ утра до вечера. „У нея чудные глазки, да что мнѣ въ нихъ? а улыбается какъ! Да Богъ съ нею, я не хочу ее знать...“ Кажется, съ подобными мыслями и легко бы забыть человѣка; но судьба какъ-то вмѣшалась непрощеная въ это дѣло и дѣйствовала наперекоръ Ивану Тарасовичу: то онъ гдѣ-нибудь встрѣчалъ темнорусыя кудри, и услужливое воображеніе безъ его вѣдома сейчасъ-же спѣшило сравнить ихъ съ кудрями Аленушки, чтобъ, разумѣется, дать предпочтеніе кудрямъ послѣдней; то гдѣ-нибудь удавалось ему услышать голосъ, напоминавшій рѣчи Аленушки, то вдругъ, прописывая больному противувоспалительную микстуру, онъ вспоминалъ, что такую точно микстуру онъ прописывалъ Аленушкѣ, вспоминалъ ея страданія, ея взглядъ и — задумывался надъ рецептомъ. Иногда, возвратясь домой поздно вечеромъ, усталый, измученный дневными заботами, съ большимъ расположеніемъ къ пріятному отдыху, онъ былъ встрѣчаемъ словами своего лакея: „Какой-то господинъ васъ спрашивалъ.“

— Какой?

— Незнакомый, съ усами.

— Высокаго роста?

— Высокаго, такой здоровенный...

— Ну, знаю, говорилъ Иванъ Тарасовичъ и, ложась въ постель, долго думалъ: „это онъ. Чего ему отъ меня хочется? Вотъ ужъ третій разъ пріѣзжаетъ!.. А желательно бы знать, у него ли Аленушка?..“ Послѣ такого вопроса не спалось бѣдному доктору: онъ ворочался съ боку на бокъ; о снѣ и помина не было.

Пришла осень глубокая, грязная, ненастная. Вечеромъ сидѣлъ Иванъ Тарасовичъ у своего каминна и читалъ книгу. Вдругъ зазвенѣлъ звонокъ такъ сильно, будто кто хотѣлъ оборвать его, и въ комнату ввалился усталый родственникъ.

— Насилу-то я васъ поймалъ, батюшка! кричалъ онъ, входя въ комнату.

— Очень радъ, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Радъ не радъ, а я радъ. Будь я анаеема, если не четвертый разъ заѣзжаю: полюбилъ человѣка, да и только!... Что прикажешь дѣлать!

— Покорно васъ благодарю.

— Не за что. А тутъ жена спрашиваетъ: „что дѣлается съ Иваномъ Тарасовичемъ?“ сестра тоже...

— Какая сестра?

— Сестра, братецъ, Алена Ивановна. Развѣ забыли больную-то Аленушку? А она помнитъ; все говорить: „Иванъ Тарасовичъ просто, говорить, мой спаситель“.

— Такъ она ваша сестрица?

— Какъ-же, то есть, сестра моей жены—это все равно для меня родня—дѣло важное, чортъ возьми!.. Кровь не вода, свой своему поневолѣ другъ, говорится.

Усачъ захохоталъ. Иванъ Тарасовичъ вздохнулъ свободнѣе, самъ не зная отчего.

— Славный каминъ у тебя, Иванъ Тарасовичъ, право, славный; а чаю можно попросить стаканчикъ? Знаешь, этакъ съ холода.

— Съ удовольствіемъ. А на дворѣ холодно?

— Морозить стало.

— Слава Богу!

— Именно слава Богу: надоѣла эта грязь пуще пареной рѣпы! И снизу грязь, и сверху грязь, и съ боковъ грязь; думалъ: скоро лягушкой сдѣлаюсь!.. То-ли дѣло зима, да санная дорожка! просто, братецъ, разлюли!.. Человѣкъ, дай трубку!

— Не угодно ли сигару? у меня трубки нѣтъ.

— Слуга покорный! Дались мнѣ ваши сигары! Голова отъ нихъ идетъ кругомъ да и жена моя не жалуется...

— У меня сигары хорошія.

— Все равно, все дрянъ!.. Человѣкъ! вотъ тебѣ гривенникъ, сбѣгай въ лавочку, принеси полчетвертки Жукова; а трубка вѣрно у тебя есть? Коли нѣтъ, попроси у сосѣдей; я не съѣмъ, право, не съѣмъ!

— Какъ это можно! помилуйте, вы меня обижаете. Я сейчасъ пошлю за табакомъ.

— Для меня лучше, пожалуй; честь предложена, а отъ убытка Богъ избавилъ, говорилъ усачъ: — только проворнѣй сбѣгай! слышь? Такъ-то надо проучивать вашего брата, и принялся хохотать.

Принесли табакъ и трубку. Усачъ пилъ чай, хохоталъ, выколачивалъ объ полъ трубку и, уѣзжая далеко за полночь, вялъ съ Ивана Тарасовича слово навѣстить его.

„Экой медвѣды!“ думалъ Севрюгинъ, выпроводивъ гостя. „Впрочемъ, онъ, можетъ быть, и добрый человѣкъ. Мнѣ не нравится его фамиллярность, его размашистыя манеры, да, можетъ быть, онъ и не виноватъ въ этомъ; можетъ быть, это принадлежность общества, въ которомъ онъ провелъ свою молодость... Надо отдать ему визитъ; неловко не отдавать визита... что подумаетъ его жена, сестра? Хотя мнѣ и мало нужды до ихъ мнѣнія, однако онѣ женщины, немного неловко, невѣжливо. Поѣду, непременно поѣду!“

Прошло два дня, холодные два дня съ вѣтромъ, со снѣгомъ, съ мятелью. Иванъ Тарасовичъ не отдалъ визита усачу: ему и хотѣлось сдѣлать этотъ визитъ, и боялся онъ чего-то, боялся не усача, не

[illegible]

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research questions or hypotheses?
 3. What is the study design?
 4. What are the variables?
 5. What are the limitations of the study?

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

FOR THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 WASHINGTON, D. C. 20530
 MAY 19 1964
 MR. JAMES EARL RAY
 3661 WILSON AVENUE
 CHICAGO, ILLINOIS 60649

[illegible]

~~RECEIVED THE FOLLOWING INFORMATION FROM THE
BUREAU OF INVESTIGATION ON JANUARY 10, 1967:
ON JANUARY 10, 1967, THE BUREAU OF INVESTIGATION
WAS ADVISED THAT THE FOLLOWING INFORMATION WAS
OBTAINED FROM THE BUREAU OF INVESTIGATION:~~

[illegible]

1. NAME _____
 2. ADDRESS _____
 3. CITY _____
 4. STATE _____
 5. ZIP _____
 6. PHONE _____
 7. DATE _____
 8. SIGNATURE _____
 9. PRINT NAME _____
 10. PRINT ADDRESS _____
 11. PRINT CITY _____
 12. PRINT STATE _____
 13. PRINT ZIP _____
 14. PRINT PHONE _____
 15. PRINT DATE _____
 16. PRINT SIGNATURE _____
 17. PRINT NAME _____
 18. PRINT ADDRESS _____
 19. PRINT CITY _____
 20. PRINT STATE _____
 21. PRINT ZIP _____
 22. PRINT PHONE _____
 23. PRINT DATE _____
 24. PRINT SIGNATURE _____
 25. PRINT NAME _____
 26. PRINT ADDRESS _____
 27. PRINT CITY _____
 28. PRINT STATE _____
 29. PRINT ZIP _____
 30. PRINT PHONE _____
 31. PRINT DATE _____
 32. PRINT SIGNATURE _____
 33. PRINT NAME _____
 34. PRINT ADDRESS _____
 35. PRINT CITY _____
 36. PRINT STATE _____
 37. PRINT ZIP _____
 38. PRINT PHONE _____
 39. PRINT DATE _____
 40. PRINT SIGNATURE _____
 41. PRINT NAME _____
 42. PRINT ADDRESS _____
 43. PRINT CITY _____
 44. PRINT STATE _____
 45. PRINT ZIP _____
 46. PRINT PHONE _____
 47. PRINT DATE _____
 48. PRINT SIGNATURE _____
 49. PRINT NAME _____
 50. PRINT ADDRESS _____
 51. PRINT CITY _____
 52. PRINT STATE _____
 53. PRINT ZIP _____
 54. PRINT PHONE _____
 55. PRINT DATE _____
 56. PRINT SIGNATURE _____
 57. PRINT NAME _____
 58. PRINT ADDRESS _____
 59. PRINT CITY _____
 60. PRINT STATE _____
 61. PRINT ZIP _____
 62. PRINT PHONE _____
 63. PRINT DATE _____
 64. PRINT SIGNATURE _____
 65. PRINT NAME _____
 66. PRINT ADDRESS _____
 67. PRINT CITY _____
 68. PRINT STATE _____
 69. PRINT ZIP _____
 70. PRINT PHONE _____
 71. PRINT DATE _____
 72. PRINT SIGNATURE _____
 73. PRINT NAME _____
 74. PRINT ADDRESS _____
 75. PRINT CITY _____
 76. PRINT STATE _____
 77. PRINT ZIP _____
 78. PRINT PHONE _____
 79. PRINT DATE _____
 80. PRINT SIGNATURE _____
 81. PRINT NAME _____
 82. PRINT ADDRESS _____
 83. PRINT CITY _____
 84. PRINT STATE _____
 85. PRINT ZIP _____
 86. PRINT PHONE _____
 87. PRINT DATE _____
 88. PRINT SIGNATURE _____
 89. PRINT NAME _____
 90. PRINT ADDRESS _____
 91. PRINT CITY _____
 92. PRINT STATE _____
 93. PRINT ZIP _____
 94. PRINT PHONE _____
 95. PRINT DATE _____
 96. PRINT SIGNATURE _____
 97. PRINT NAME _____
 98. PRINT ADDRESS _____
 99. PRINT CITY _____
 100. PRINT STATE _____
 101. PRINT ZIP _____
 102. PRINT PHONE _____
 103. PRINT DATE _____
 104. PRINT SIGNATURE _____
 105. PRINT NAME _____
 106. PRINT ADDRESS _____
 107. PRINT CITY _____
 108. PRINT STATE _____
 109. PRINT ZIP _____
 110. PRINT PHONE _____
 111. PRINT DATE _____
 112. PRINT SIGNATURE _____
 113. PRINT NAME _____
 114. PRINT ADDRESS _____
 115. PRINT CITY _____
 116. PRINT STATE _____
 117. PRINT ZIP _____
 118. PRINT PHONE _____
 119. PRINT DATE _____
 120. PRINT SIGNATURE _____
 121. PRINT NAME _____
 122. PRINT ADDRESS _____
 123. PRINT CITY _____
 124. PRINT STATE _____
 125. PRINT ZIP _____
 126. PRINT PHONE _____
 127. PRINT DATE _____
 128. PRINT SIGNATURE _____
 129. PRINT NAME _____
 130. PRINT ADDRESS _____
 131. PRINT CITY _____
 132. PRINT STATE _____
 133. PRINT ZIP _____
 134. PRINT PHONE _____
 135. PRINT DATE _____
 136. PRINT SIGNATURE _____
 137. PRINT NAME _____
 138. PRINT ADDRESS _____
 139. PRINT CITY _____
 140. PRINT STATE _____
 141. PRINT ZIP _____
 142. PRINT PHONE _____
 143. PRINT DATE _____
 144. PRINT SIGNATURE _____
 145. PRINT NAME _____
 146. PRINT ADDRESS _____
 147. PRINT CITY _____
 148. PRINT STATE _____
 149. PRINT ZIP _____
 150. PRINT PHONE _____
 151. PRINT DATE _____
 152. PRINT SIGNATURE _____
 153. PRINT NAME _____
 154. PRINT ADDRESS _____
 155. PRINT CITY _____
 156. PRINT STATE _____
 157. PRINT ZIP _____
 158. PRINT PHONE _____
 159. PRINT DATE _____
 160. PRINT SIGNATURE _____
 161. PRINT NAME _____
 162. PRINT ADDRESS _____
 163. PRINT CITY _____
 164. PRINT STATE _____
 165. PRINT ZIP _____
 166. PRINT PHONE _____
 167. PRINT DATE _____
 168. PRINT SIGNATURE _____
 169. PRINT NAME _____
 170. PRINT ADDRESS _____
 171. PRINT CITY _____
 172. PRINT STATE _____
 173. PRINT ZIP _____
 174. PRINT PHONE _____
 175. PRINT DATE _____
 176. PRINT SIGNATURE _____
 177. PRINT NAME _____
 178. PRINT ADDRESS _____
 179. PRINT CITY _____
 180. PRINT STATE _____
 181. PRINT ZIP _____
 182. PRINT PHONE _____
 183. PRINT DATE _____
 184. PRINT SIGNATURE _____
 185. PRINT NAME _____
 186. PRINT ADDRESS _____
 187. PRINT CITY _____
 188. PRINT STATE _____
 189. PRINT ZIP _____
 190. PRINT PHONE _____
 191. PRINT DATE _____
 192. PRINT SIGNATURE _____
 193. PRINT NAME _____
 194. PRINT ADDRESS _____
 195. PRINT CITY _____
 196. PRINT STATE _____
 197. PRINT ZIP _____
 198. PRINT PHONE _____
 199. PRINT DATE _____
 200. PRINT SIGNATURE _____
 201. PRINT NAME _____
 202. PRINT ADDRESS _____
 203. PRINT CITY _____
 204. PRINT STATE _____
 205. PRINT ZIP _____
 206. PRINT PHONE _____
 207. PRINT DATE _____
 208. PRINT SIGNATURE _____
 209. PRINT NAME _____
 210. PRINT ADDRESS _____
 211. PRINT CITY _____
 212. PRINT STATE _____
 213. PRINT ZIP _____
 214. PRINT PHONE _____
 215. PRINT DATE _____
 216. PRINT SIGNATURE _____
 217. PRINT NAME _____
 218. PRINT ADDRESS _____
 219. PRINT CITY _____
 220. PRINT STATE _____

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

2. The second step is to analyze the problem. This involves identifying the causes of the problem and determining the impact of the problem on the company.

3. The third step is to develop a solution. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be required.

4. The fourth step is to implement the solution. This involves putting the solution into action and monitoring the progress of the implementation.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the solution and determining whether the problem has been resolved.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

2. The second step is to analyze the problem. This involves breaking down the problem into smaller, more manageable parts.

3. The third step is to develop a plan. This involves determining the steps that need to be taken to solve the problem.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the solution and making any necessary adjustments.

[illegible]

THESE ARE THE RESULTS OF A RECENT SURVEY OF THE
COUNTRY'S ECONOMIC SITUATION. THE SURVEY WAS
CONDUCTED BY THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
AND THE RESULTS WERE PUBLISHED IN A REPORT
TITLED "THE ECONOMIC SITUATION IN THE UNITED STATES
IN 1964". THE REPORT WAS PREPARED BY THE
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH AND THE
RESULTS WERE PUBLISHED IN A REPORT
TITLED "THE ECONOMIC SITUATION IN THE UNITED STATES
IN 1964".

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

FO-THAT LIBRARY (LAW OFFICE) OFFICE
FIRST FLOOR, ROOM 11, WASHINGTON, D.C.
FOURTH FLOOR, FIRST FLOOR, WASHINGTON, D.C.
FOURTH FLOOR, FIRST FLOOR, WASHINGTON, D.C.
FOURTH FLOOR, FIRST FLOOR, WASHINGTON, D.C.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

RECEIVED: 1987-01-27

Алена Ивановна слегка закусилла нижнюю губу, будто удерживая смѣхъ, покачала головой и сказала:

— Я не могу васъ проклинать: вы мой спаситель, ваше имя навсегда останется въ моемъ сердцѣ; но имѣю полное право сердиться: зачѣмъ вамъ обижать бѣдную дѣвушку? зачѣмъ преслѣдовать меня?

— Ваша странная одежда...

— Чѣмъ же эта одежда странна? развѣ вы не знаете, что я бѣдна?

— Нѣтъ, я не хотѣлъ сказать... такой нарядъ, ранняя пора... такая скрытность...

— Перестаньте, это не достойно благороднаго человѣка... Ваши подозрѣнія, ваши предположенія... унижаютъ васъ... Прощайте!.. Идите своей дорогой, не гоняйтесь за дѣвушками: это гадко; я лучше о васъ думала.

Алена Ивановна ушла.

— Я, право, не такъ виноватъ... Послушайте!.. Не слушаетъ!.. Экая досада!.. Богъ съ ней!.. Иванъ Тарасовичъ поворотился и пошелъ къ больному.

Весь день прошелъ не хорошо для Ивана Тарасовича; всѣ его больные, казалось ему, чувствовали себя гораздо хуже въ этотъ день, больше прежняго кашляли, сильнѣе сморкались, неправильно принимали лекарства; даже онъ былъ крѣпко увѣренъ, что одинъ старичокъ надулъ его: вылилъ въ печку лекарство и просилъ новаго, послаще и подушистѣе.

— Меньше было кутить! сказалъ докторъ съ досадою: — сладко было жуировать, попейте неприятнаго!... помните изреченіе: отъ горькаго изыдетъ сладкое...

— Изреченіе это я знаю, да оно тутъ не приходится, замѣтилъ старичокъ обиженнымъ голосомъ.

— Приходится, не приходится—все-равно, торопливо сказалъ Иванъ Тарасовичъ, взявъ шляпу и почти убѣжалъ отъ старика, тщетно кричавшему ему въ слѣдъ: „да чѣмъ же мнѣ волоса мазать—а? Этакъ я, пожалуй, совсѣмъ облысѣю!..“

Иванъ Тарасовичъ навѣстилъ больныхъ, не былъ у усаца и, пріѣхавъ домой, не могъ ничего ѣсть за обѣдомъ: душа его была взволнована, въ головѣ шумѣло; онъ раскурилъ сигару — сигара не курилась; бросилъ сигару, досталъ свой дневникъ и началъ писать:

„Я несчастенъ!.. да, несчастенъ, а почему? отчего несчастенъ я—не могу объяснить себѣ. Все въ моей жизни какъ-то не клеится; можетъ-быть, судьба и ласкаетъ меня, можетъ-быть, и хочетъ что-нибудь сдѣлать для меня, да я ее не понимаю, я... правду говорилъ мой покойный батюшка, я просто дрянй! И что я такое?

и что она?.. Богъ ее знаетъ... Загадка, тайна!.. во всякомъ случаѣ, тайна нехорошая. Благодарю судьбу, что она открыла мнѣ глаза... Да, дѣвушка, которая, ни-свѣтъ-ни-заря, бѣгаетъ по улицамъ одна-одинешенька, и еще прячется отъ своихъ знакомыхъ, дѣвушка недурная собой, даже можно сказать, очень-хорошенькая, прелестная дѣвушка!.. Мнѣ не нравится! Что о ней подумать?.. Или очень-гадко, или ничего; но нельзя же ничего не думать о такой дѣвушкѣ, нельзя забыть этотъ алмазъ, втоптаннй въ грязь обстоятельствами. Можетъ-быть, ея душа бѣлѣе утренняго снѣга, по которому бѣжала она сегодня; можетъ-быть, она чище луча, который такъ мило игралъ сегодня на ея прекрасномъ лицѣ, когда она говорила со мной!.. можетъ-быть, бѣдность, нужда, лишенія заставляютъ ее рано выходить изъ дома и доставать себѣ работу? Мало ли есть подобныхъ примѣровъ! Ея родственники люди достаточные да всякій ли родственникъ исполняетъ свои обязанности? Да, наконецъ, есть ли это еще обязанности, и мало ли бываетъ нуждъ у людей сострадательныхъ, въ которыхъ они не станутъ признаваться никому, даже человѣку близкому? Утѣшить ли, на примѣръ, меня, если я займу пять рублей съ тѣмъ, чтобъ никогда не отдать, и подарю ихъ бѣдному?

„Я почти увѣренъ, что напрасно оскорбилъ подозрѣніемъ Елену Ивановну. Можетъ ли это скромное, прекрасное, добродушное созданіе даже подумать о порокахъ?.. Нѣтъ, прочь подозрительность! Я обидѣлъ ее—и долженъ терпѣть. Я виноватъ, очень виноватъ; я, кажется, не вынесу ея взгляда, если когда-нибудь встрѣчусь съ ней... Все кончено!.. нога моя не будетъ у ея брата... Вѣрно не судьба моя!.. Что она теперь обо мнѣ думаетъ? или что я способенъ подозрѣвать ее, или я способенъ бѣгать за всякимъ встрѣчнымъ салопомъ!.. Во всякомъ случаѣ, я черенъ въ глазахъ этого чистаго, свѣтлаго существа!.. Боже мой, до чего меня довела судьба!.. или случай, или я самъ—не понимаю, что такое!.. Ничего я не желаю, какъ только встрѣтиться еще разъ съ нею, не для того, чтобы засмотрѣться въ ея спокойныя лазурныя очи, не для того, чтобъ успокоить свой взоръ на тонкихъ, правильныхъ, благородныхъ чертахъ лица ея, чтобы упиться гармоническою рѣчью—нѣтъ; я хотѣлъ бы упасть къ ногамъ ея, хотѣлъ бы исповѣдать ей свою душу, вымолить ея прощеніе... Одна мысль, что она не понимаетъ меня, можетъ-быть, обвиняетъ меня, одна эта мысль отравляетъ всѣ мои минуты!.. а можетъ-быть—что уни-

зительнѣе всего—она теперь смѣется надо мною?.. Нѣтъ, она далека отъ холодной насмѣшки!.. Хотѣлъ бы... но это невозможно, наши отношенія прерваны на вѣки:

Мнѣ до нея, какъ до звѣзды
Небесной, далеко!

„Эти строчки — не помню какого поэта—будутъ моимъ девизомъ отнынѣ навсегда. Все кончено. Боже мой! какъ я несчастенъ!..“

Эту страницу въ своемъ дневникѣ Иванъ Тарасовичъ написалъ не сразу. Онъ часто вставалъ, ходилъ по кабинету, приписывалъ нѣсколько строчекъ, опять ходилъ, и такъ далѣе... Можетъ — быть, онъ написалъ бы и больше, но сумерки становились темнѣе и темнѣе, и наконецъ лишили его возможности писать. Насталъ вечеръ. Свѣчей зажигать не хотѣлось Ивану Тарасовичу: въ темнотѣ, видите, мечтаешься лучше, и онъ, чего не дописалъ, договаривалъ, лежа на мягкой кушеткѣ. А что онъ договаривалъ?—Богъ-знаетъ!

Иванъ Тарасовичъ лежалъ на кушеткѣ до-тѣхъ-поръ, пока не явился въ кабинетъ, со свѣчей въ рукахъ, его камердинеръ и подаль ему записочку.

„Докторъ И. Севрюгинъ, Невскій Проспектъ, домъ NN...“ прочиталъ Иванъ Тарасовичъ на запискѣ и спросилъ у слуги: „откуда это?“

— Дворникъ принесъ; говоритъ, приѣхалъ возокъ,—просятъ вотъ этого доктора, что въ бумажкѣ написанъ; знать, говоритъ, твоего барина. А ему кучеръ отдалъ съ возка.

Иванъ Тарасовичъ сѣлъ въ возокъ, кучеръ захлопнулъ дверцы, влѣзъ на козлы, махнулъ кнутомъ, пара клячъ рванула съ мѣста, возокъ сильно качнулся и тихо поползъ, переваливаясь на рессорахъ. Теперь только замѣтилъ докторъ, что въ темномъ углу возка сидитъ кто-то.

— Куда и съ кѣмъ я имѣю честь ѣхать? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Къ больной; я буду вашимъ проводникомъ... робко, въ полголоса, отвѣчалъ изъ угла женскій голосъ.

Иванъ Тарасовичъ отодвинулся, сколько можно, въ противоположный уголъ возка.

— Позвольте узнать... извините, началъ Иванъ Тарасовичъ:—такое поразительное сходство голоса...

— Полно, Иванъ Тарасовичъ, вы сегодня другой разъ хотите меня допрашивать... перебила дама.

— Такъ я не ошибаюсь? Боже мой! неужели вы—Алена Ивановна?

— Что же тутъ удивительнаго?

— Ничего, ничего... проборматалъ Иванъ Тарасовичъ и подумалъ: „я тутъ ничего не понимаю!..“

Возокъ ѣхалъ. Алена Ивановна притаилась въ углу возка. Иванъ Тарасовичъ, казалось, вросъ въ другой уголъ Оба молчали.

— Охъ!

— О чемъ вы вздыхаете? спросила Алена Ивановна.

— Ничего, такъ...

— Быть не можетъ! у васъ что-то есть на душѣ—правда? что жъ вы молчите?

— Если ужъ вамъ хочется знать, то есть... вы сердиты на меня?

— Да; но вы можете легко помириться со мной: у меня есть подруга по воспитанію, дѣвушка очень милая, умная, дочь богатаго человѣка, но скупого и жестокаго, который ее ненавидитъ. Вы представить не можете, какъ жалко ея положеніе...

— Извините, очень могу... я самъ это... жалко, жалко!

— Теперь моя бѣдная подруга заболѣла, отчаянно заболѣла, а отецъ ея не только не хочетъ послать за докторомъ, даже отказывается ей въ самыхъ простыхъ домашнихъ пособіяхъ, жалѣетъ ей ложки малиноваго сиропа, не велитъ принимать ея знакомыхъ, чтобъ они не узнали всей тяжести несчастія бѣдной больной, такъ что я сегодня, изъ состраданія, навѣстила страдальцу рано утромъ, пока спалъ ея тиранъ-отецъ; для этого я должна была переодѣться, вытерпѣть кучу непріятностей...

— Не говорите... не говорите!.. перебилъ докторъ: — простите меня! Я дуракъ, я всему причиной... и я смѣлъ думать, я смѣлъ оскорбить... васъ... И, оставя уголъ, онъ немного придвинулся къ Аленѣ Ивановнѣ.

Алена Ивановна наклонилась къ доктору и подала ему свою ручку, говоря:—Перестаньте, мы съ вами помиримся, я это вижу!..

— Нѣтъ, не перестану, продолжалъ докторъ, сжимая въ рукахъ нѣжную, атласистую ручку дѣвушки:—никогда не прощу себѣ, если я навелъ хоть тѣнь печали на васъ, на это чистое, свѣтлое существо, за которое я готовъ пожертвовать всѣмъ...

— Полно, докторъ; ужъ не признаетесь ли вы въ любви?..

Докторъ опустилъ руку дѣвушки, прислонился въ уголъ и замолчалъ. „Смѣется надо мною!“ думалъ онъ: „да! ей легко; а мнѣ?.. и къ-чему такой вопросъ? Нѣтъ она меня не любитъ, иначе она не говорила бы этого; она любитъ другаго—это вѣрно,

а я, бѣдный, что я для нея?—ничего, ровно ничего!.. Никогда она не узнаетъ моей тайны“.

— Чтожь вы замолчали? говорите!

— Говорить нечего...

— Напрасно. Мы, женщины, сочувствуемъ всегда страданіямъ ближняго.

„Не надуешь“ подумалъ Иванъ Тарасовичъ; „ты говоришь, чтобъ выпытать у меня признаніе и послѣ смѣяться надо мной—стара штука!“ и отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ:—Я спокоенъ совершенно, мнѣ нечего говорить.

— Тѣмъ для васъ лучше.

„Тѣмъ для васъ лучше!“ повторилъ про-себя Иванъ Тарасовичъ; „спасибо хоть за сожалѣніе...“ и прибавилъ громко:—Что же ваша подруга?

— Ахъ, да! моя подруга несчастна: я ее заставляла почти безъ памяти... какъ она страдаетъ, бѣдняжка!.. Я ей общала привезти доктора; узнавъ, что ее отецъ уѣхалъ на званый вечеръ и возвратится не ранѣе двухъ-трехъ часовъ за полночь, я рѣшилась нанять возокъ и просить вашей помощи, добрый Иванъ Тарасовичъ! Помогите ей—и мы помиримся.

— Всѣ мои познанія, всѣ мои силы употреблю, чтобъ сдѣлать вамъ пріятное—будьте увѣрены! сказалъ докторъ, и подумалъ: „Боже мой! что за чистое существо, что за любовь къ человѣчеству у Алены Ивановны!.. Дѣвушка образованная, умная, прелестная дѣвушка подвергаетъ себя всякимъ опасностямъ, даже рискуетъ наклевать черную клевету на свое имя—изъ-за чего? чтобъ помочь своей подругѣ, угнетенной родительскою властью!.. Да она феноменъ!.. Вѣрь послѣ этого резонерамъ, пустымъ фразерамъ, которые кричатъ: „нѣтъ добродѣтели! нѣтъ добродѣтели!..“ Хотѣлъ бы я знать, какъ бы они назвали Алену Ивановну?..“

Возокъ ѣхалъ, покачиваясь. Пассажиры молча сидѣли по угламъ.

— А далеко живетъ ваша пріятельница? спросилъ докторъ.

— Вамъ уже наскучило ѣхать? Когда пріѣдемъ къ дому, я велю остановиться.

— Нѣтъ, помилуйте! Могло ли мнѣ наскучить ваше общество!..

— Я думала, вы вздремнули.

— Возможно ли?.. вы меня обижаете... А я, извините, я такъ не ловокъ, не мастеръ говорить... видите, я рѣдко бываю въ дамскомъ обществѣ.

— Это замѣтно.

— Чѣмъ же больна ваша пріятельница?

— Она больна, какъ хотите, простудой и еще... ну, да съ вами я стану говорить откровенно: она больна душой.

— Плохо! душевные болѣзни гораздо упорнѣе физическихъ, тѣмъ болѣе, что мы не имѣемъ никакихъ средствъ противъ нихъ; а если и нашлось бы какое средство, то оно почти всегда бываетъ не въ нашей волѣ...

— Совершенная правда! сказала, вздохнувъ, Алена Ивановна.

— Какая же причина ея душевной болѣзни?

— Причина, которую вы, холодные мужчины, кажется, не понимаете, которая создана для мученія слабыхъ, чувствительныхъ отъ природы женщинъ; которая томить, сокрушаетъ, сушитъ бѣдное сердце страдальцы, словомъ—любовь.

— Ваша подруга влюблена?

— Да, и безнадежно... Ахъ, еслибъ вы поняли ея страданія, еслибъ поняли отчаянное состояніе души бѣдной дѣвушки... но вы не поймете, я думаю. Вы никогда не были влюблены?

Два противоположныя чувства боролись въ груди доктора: ему то хотѣлось тутъ же, въ возкѣ, броситься на колѣни передъ Аленой Ивановной и, по всѣмъ правиламъ старинныхъ романовъ признаться въ любви, то вдругъ его обдавало холодомъ мысль: „если она насмѣется надъ моею любовью, если отринетъ ее? если я сдѣлаюсь смѣшонъ въ глазахъ этого прекраснаго существа? Да и чѣмъ я могу прельстить дѣвушку?“ Послѣ такихъ мыслей, онъ, помолчавъ немного, отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ:—Нѣтъ, никогда!..

— Я такъ и думала. Вы всѣ, мужчины, эгоисты; у васъ, вмѣсто сердца, долженъ быть въ груди камень...

— А неужели женщины?..

— Всѣ, всѣ согрѣты прекраснымъ огнемъ любви; въ этомъ и состоитъ превосходство нашей натуры: всѣ женщины любятъ и любятъ пламенно...

— Неужели и вы?

— На подобный вопросъ женщины не всегда отвѣчаютъ; но вамъ, какъ моему спасителю, скажу: да... Пожалуйте обо мнѣ, я влюблена и безнадежно...

„Такъ и есть!“ думалъ докторъ, прижимаясь покрѣпче въ свой уголъ; „а я, дуракъ, мечталъ! Вѣрно у нея есть уже на примѣтъ какой-нибудь красавчикъ, перетянутый, румяный, съ усиками: она по немъ ввыхаетъ, о немъ думаетъ—а я мечталъ... Заблуждался, хоть на секунду, да все заблуждался, забывалъ, кто я и каковъ я!.. Слава Богу, что я не сглупилъ, не высказалъ ей своей любви; хорошо бы я былъ!..“ Ему стало холодно, тяжело, неловко...

— Что вы молчите?

— Думаю, Алена Ивановна, какъ мы далеко ѣдемъ.

— Ваша правда, сказала дѣвушка, опустила окно возка, выглянула и вскрикнула:—Ахъ Боже мой! да мы давно миновали квартиру больной; передъ нами, кажется, Нарвская застава.

Возокъ поѣхалъ обратно. И Алена Ивановна и Иванъ Тарасовичъ молчали. Наконецъ, у какого-то каменнаго дома Алена Ивановна приказала остановиться, опустила окно, подозвала дворника, стоявшаго у воротъ, и спросила: „Дома ли Петръ Петровичъ?“

— Дома съ

— Какъ, возвратился?

— Съ часть-мѣста, какъ пріѣхавши.

— Извозникъ, пошелъ дальше! сказала Алена Ивановна, подымая окно, и потомъ прибавила: — Ахъ Боже мой! вѣдь отецъ моей пріятельницы уже дома. Что мы теперь будемъ дѣлать, Иванъ Тарасовичъ?..

— Не знаю. Куда жъ мы теперь поѣдемъ?

— И я не знаю; мнѣ теперь нужно поторопиться домой: я давно изъ дома; сестра и братецъ станутъ беспокоиться...

— Такъ позвольте, я выйду и поѣду на извозникѣ.

— Нѣтъ, ужъ я васъ довезу; мнѣ такъ совѣстно! Кто же зналъ, что этотъ уродъ пріѣдетъ такъ рано?..

— Напрасно беспокоитесь. Вѣрно несудьба мнѣ помочь этой дѣвицѣ, а домой я скорѣе доѣду на извозникѣ; вашъ возокъ ѣдетъ довольно-медленно.

— А мнѣ кажется, что вы ей поможете, не сегодня, такъ когда нибудь: у меня есть предчувствіе...

— Такъ прощайте, Алена Ивановна! Позвольте, я здѣсь выйду изъ возка...

— Какъ вамъ угодно.

— Прощайте. Извините меня, я такъ неловокъ въ дамскомъ обществѣ...

— Я не спорю съ этимъ. До свиданія. Заѣзжайте къ моему брату: онъ такъ васъ любитъ!.. Да не говорите, что мы ѣздили къ больной.

— За кого вы меня принимаете? А къ вамъ я заѣду непременно.

— Увидимъ!

Возокъ уѣхалъ. Иванъ Тарасовичъ взялъ за двугривенный извозника и тоже потащился домой.

IV.

Cette demoiselle âgée de 18 ans environ, et parfaitement belle comme vous voyez, a été trouvée, il y a quinze ou seize mois, dans les forêts de la Lithuanie. Elle vivait comme les animaux.

Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, messieurs et dames, vous verrez cette demoiselle . . .

Роммieg.

Ивану Тарасовичу вовсе не хотѣлось ѣхать къ усащѣ, но онъ поѣхалъ на другой же день послѣ странной прогулки по городу въ возкѣ; онъ считалъ необходимою побывать у родныхъ Алены Ивановны для того, чтобъ они не подумали, будто онъ влюбленъ въ нее и не хочетъ ее видѣть!—мысль довольно-дикая, но ее создалъ Иванъ Тарасовичъ, увѣривъ себя въ непреложности этой мысли, и вечеромъ довольно-отважно дернулъ колокольчикъ у двери одного дома въ Семіоконной улицѣ, за которою дверью скрывался усащъ, его жена и ея сестрица.

— Спасибо, братъ, спасибо! Вотъ, что называется, разодолжилъ! кричалъ усащъ, крѣпко обнимая Ивана Тарасовича:—а мы только-что усѣлись за чай. Пойдемъ! Жена! вотъ тебѣ Иванъ Тарасовичъ! Съ этимъ словомъ онъ почти втолкнулъ доктора въ другую комнату.

Тамъ, на диванѣ, сидѣла Марья Ивановна; передъ ней стоялъ столъ, на столѣ двѣ свѣчки, самоваръ, чашки и всѣ принадлежности чайнаго прибора.

— Насилу-то вы насъ навѣстили! сказала очень привѣтливо Марья Ивановна и просила гостя садиться поближе къ столу, безъ церемоніи.

Иванъ Тарасовичъ сѣлъ, окинулъ глазами комнату—въ комнатѣ никого не было. „Слава Богу“ подумалъ онъ, „ея нѣтъ“, а между-тѣмъ ему стало отчего-то скучно. Немного погодя, скрипнула дверь; онъ боязливо посмотрѣлъ на дверь: изъ - за нея выбѣжала красивая болонка, вспрыгнула на диванъ и стала ласкаться около хозяйки.

„Тише, тише, Жюли!“ сказала Марья Ивановна. „Пошла лежать!“—А мы такъ по васъ соскучились, Иванъ Тарасовичъ!.. и мужъ мой, и я, а больше всѣхъ бѣдная Жюли!..

Иванъ Тарасовичъ посмотрѣлъ въ оба глаза на болонку и спросилъ:—Кто такой?

— А вы и забыли? прекрасно! Жюли—сестра моя, Юлія Ивановна, которую вы забывали отъ смерти.

— Я думалъ, онѣ Алена Ивановна?

— Ха-ха-ха!.. Какая она Алена Ивановна! Это тебя надували! она всегда была Юліей.

— Полно тебѣ, Фоня, перестань! ты вѣчно выражаешься топорно! Что у тебя за манера! сказала мужу Марья Ивановна...

— Перестану, перестану, не горячись: кровь испортится.

— Не слушайте его, Иванъ Тарасычъ. Я вамъ расскажу все дѣло. Вы знаете, какъ моя сестра, прїѣхавъ, заболѣла и должна была по-необходимости жить въ бѣдномъ углу, пока мы не отыскали ея. Вотъ она, чтобъ не марать своего имени и фамилія, живя въ такомъ низкомъ обществѣ, назвалась Аленой Ивановной, между-тѣмъ ея имя Юлія, и фамилія наша не Ивановы, а Елечкины, фамилія, извѣстная во всей губерніи...

— Ну, довольнѣе, жена, давай - ка чаю! баснями соловья не кормить. Ты ее, Иванъ Тарасычъ, и до завтра не переслушаешь...

— А гдѣ нашъ Юлюкъ? спросилъ усачъ, прихлебывая горячій чай изъ необъятнаго стакана.

— Ахъ, Боже мой, Фоня! какія ты странныя имена даешь!.. Юлія, ты знаешь, все какъ-то недомагаешь!.. И Марья Ивановна вздохнула.

— Пустяки! Позвать ее! Я знаю, ей пріятно будетъ наше общество.

Иванъ Тарасовичъ сидѣлъ какъ на иголкахъ.

Вошла Юлія Ивановна, блѣдная, истомленная.

— Что съ вами? не больны ли вы? спросилъ съ участіемъ Иванъ Тарасовичъ.

— Нѣтъ, это пройдетъ, отвѣчала она, печально улыбаясь.

Появленіе Юліи Ивановны сбило съ такта все маленькое общество: усачъ пересталъ кричать, Марья Ивановна вздыхала, значительно поглядывала на сестру; Иванъ Тарасовичъ добивался вкосу въ чай: то прибавлялъ сахару, то воды, то опять сахару, и все выходило какое-то пренепріятное питье. Наконецъ, Юлія Ивановна вышла. Докторъ вздохнулъ свободно и замѣтилъ въ полголоса:

— Какъ ваша сестрица переѣбилась! Не больна ли она?..

— Ахъ, молчите! отвѣчала, вздыхая, Марья Ивановна:—очень больна, и я думаю неизлечимо... бѣдная!

— Что съ нею?

— Я вамъ скажу правду. Вы человѣкъ благородный и ужъ разъ спасли ей жизнь: вамъ можно открыть эту тайну. Бѣдная Юлія влюблена, да, отчаянно влюблена и, кажется, безнадежно! Жалко мнѣ сестры! Что это за душа!.. неземное созданіе!.. и

какъ она безпредѣльно, пламенно любить! я даже завидую этому человѣку...

Иванъ Тарасовичъ какъ-то глупо кашлянулъ и сказалъ:

— Неужели?

— Да, мой добрѣйшій Иванъ Тарасычъ!.. Можетъ-быть, я лишусь этого ангела: она сгоритъ тихо, какъ свѣчка, и погаснетъ...

Тутъ Марья Ивановна отерла слезу.

— Но развѣ этому нельзя помочь? Неужели найдется человѣкъ, который бы могъ не оцѣнить подобной любви такой совершенной дѣвушки, какъ ваша сестра?

— Можетъ-быть, и найдется! Человѣкъ, котораго обожаютъ моя сестра, почти знаетъ, или долженъ бы знать объ этомъ; но онъ не хочетъ, или не можетъ понять ея.

— Быть не можетъ! Желалъ бы я увидѣть, кто это отталкиваетъ отъ себя счастье всей своей жизни. Кто онъ, скажите!

— Не много ли будетъ, Иванъ Тарасычъ? Не разсердитесь ли вы?

— За что? помилуйте!

— Ну, такъ знайте, что она любитъ — васъ!..

— Меня?!.. Это слишкомъ, Марья Ивановна! Я не вѣрю своему счастью. Не шутите такъ!..

— Да, да, братъ, правда, тебя любитъ! вотъ какъ любитъ!.. говорилъ серьезно усачъ, печально покачивая головою.

— Вы еще не знаете, Иванъ Тарасычъ, что съ того дня, какъ вы вылечили Юлію и оставили ее, она потеряла душевный покой: она думала о васъ, страдала по васъ, каждый день утромъ она, одѣтая въ простой салопъ, чтобъ не быть узнанной, ходила по вашей улицѣ мимо вашего дома, съ одною цѣлю: хотѣла издали посмотрѣть на васъ, когда вы будите выѣзжать къ больнымъ, и послать вамъ мысленно благословеніе...

— Неужели?... такъ это...

— Погодите: я вамъ открою всю душу моей бѣдной Юліи... Ни наши просьбы, ни угрозы ни могли остановить ея отъ этихъ путешествій... Вчера она, бѣдная, весь день проплакала, говорила, что вы ее замѣтили, что на нея сердитесь; что она унижена въ глазахъ вашихъ и должна непременно оправдаться. Вечеромъ она уѣхала къ одной своей знакомой, и когда возвратилась оттуда, вся въ слезахъ, простонала цѣлую ночь, и на всѣ мои утѣшенія, на всѣ ласки только одно отвѣчала: „дайте мнѣ умереть! онъ меня не любитъ“. Гдѣ вы съ нею видѣлись, или она отъ кого это стороной узнала—я рѣшительно не знаю, только въ одну ночь Юлія постарѣладесятью годами; такихъ двѣ-три недѣли—и

я буду рыдать надъ ея трупомъ! Я кончила. Что вы скажете, Иванъ Тарасычъ?

— Марья Ивановна, я не вѣрю ушамъ своимъ; неужели это не сонъ?

— Нѣтъ, не сонъ, кой чортъ сонъ! ущипни себя, увидишь, что не сонъ, замѣтилъ усачъ Фоя.

— Кънесчасью, не сонъ, сказала Марья Ивановна.

— Къ счастью, къ-счастью, Марья Ивановна! Я никогда не ожидалъ подобнаго счастья! Да знаете, коли на то пошло, сколько я ночей не спалъ, думая о Юліи Ивановнѣ!

— Неужели?

— Клянусь вамъ!..

— Такъ, видно, здѣсь рука Божія, сказала торжественно Марья Ивановна—Юлія! Юлія! поди сюда...

— Что вамъ угодно?

— Обними скорѣе твоего жениха—Ивана Тарасыча.

— Шампанскаго! закричалъ Фоя.

Пробка хлопнула, всѣ стали поздравлять другъ друга. „Съ чѣмъ?“—они говорили:— „со счастьемъ“.

Иванъ Тарасовичъ просилъ не откладывать свадьбу; его нареченный братецъ и сестрица находили это очень благоразумнымъ и, съ своей стороны, торопили доктора. Докторъ объявилъ, что онъ хочетъ взять жену въ лицѣ Юліи Ивановны, а не тряпки, которая называется приданымъ. Усачъ и его жена назвали Севрюгина благороднѣйшимъ существомъ и взяли тысячу рублей серебромъ для покупки бѣлья; брильянты онъ хотѣлъ самъ купить. Черезъ два дня Марья Ивановна объявила, что денегъ не хватило, и взяла еще тысячу.

Иванъ Тарасовичъ ходилъ, не чуя подъ собой земли; лицо его было торжественно, озарялось какимъ-то особеннымъ блескомъ счастья...

— Что съ вами? часто спрашивали его знакомые.

— Ничего, отвѣчалъ онъ; а что такое?

— Ничего, говорили пріятели:—вы такъ смотрите весело, ужъ не именинникъ ли вы?

— Нѣтъ, право, нѣтъ; я лѣтомъ именинникъ, 24 іюня.

— Ну, такъ не женитесь ли вы?

— Вотъ еще выдумали! Есть мнѣ время жениться!

— Полноте, признайтесь, женитесь? Ужъ не даромъ съ вами такая перемѣна.

— Не въ чемъ признаваться, господа. Еслибъ женился, такъ это дѣло законное, незапрещенное, сказалъ бы прямо: *женюсь*,

соч. в. п. гребенни.

безъ всякаго признанія, а то нѣтъ... говорилъ Иванъ Тарасовичъ, и очень былъ радъ, когда пріятели оставляли его въ покоѣ. Онъ считалъ свою женитьбу на Юліи Ивановнѣ такимъ счастьемъ, какое трудно и во снѣ увидѣть, и боялся, чтобы кто-нибудь не разстроилъ его свадьбы. „Люди есть гадкіе на свѣтѣ“, думалъ Иванъ Тарасовичъ: „имъ чужое счастье въ глаза лѣзетъ, они порой, какъ собаки на снѣгъ: и сами не ѣдятъ, и другому не даютъ. А какъ обвѣнчаюсь, тутъ ужъ не отобьютъ!“

Вслѣдствіе такихъ разсужденій, никто не зналъ о скорой свадьбѣ доктора Севрюгина, пока, наканунѣ *одного прекраснаго дня*, довольно-поздно вечеромъ не получили многіе изъ знакомыхъ доктора и его невѣсты печатной записки на атласистомъ листкѣ съ золотыми тисненными амурами и рогами изобилія, записки слѣдующаго содержанія: „Отставной штабс-капитанъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ и супруга его Марья Ивановна, въ радости сердца извѣщая о бракосочетаніи своей сестрицы Юліи Ивановны Елечкиной съмъ докторомъ Иваномъ Тарасовичемъ Севрюгинымъ, покорнѣйше просятъ пожаловать къ вѣнцу къ шести часамъ въю церковь, а оттуда на ихъ квартиру, въ Семіоконой улицѣ въ домѣ, на правой рукѣ, сапожника Бурмейстера“.

Вѣнчали Ивана Тарасовича довольно торжественно: церковь была освѣщена великолѣпно, пѣвчіе пѣли прекрасно, народу полна церковь. Много было, разумеется, бабъ и всякой праздной сволочи, но было много и штатскихъ, и офицеровъ, даже присутствовало нѣсколько лицъ, украшенныхъ сѣдинами и весьма-почтенными отличіями... Чего бы, кажется, больше? Передъ глазами такой почетъ, рядомъ боко-обокъ прелестная, молодая жена, только бы улыбаться Ивану Тарасовичу, а онъ тутъ же, подъ вѣнцомъ, уже началъ хмуриться: вдругъ на него налетѣла со всѣхъ сторонъ куча маленькихъ неприятностей, которыя, собираясь мало-по-малу на горизонтъ жизни, иногда составляютъ страшную, разрушительную громовую тучу: то ему казалось, будто шаферъ Юліи Ивановны, молоденькій офицеръ, въ серебряныхъ эполетахъ, что-то шепчетъ ей и лукаво улыбается; то какая-то голова въ очкахъ довольно-фамильярно киваетъ имъ. Кажется, голова незнакомая, — значитъ, она женѣ киваетъ, думалъ Иванъ Тарасовичъ и косился на голову въ очкахъ; то слѣва шушукали бабы: „быть ей старшей въ дому. слава Богу, она, голубушка, первая стала на коверъ“. То справа какіе-то молодые вѣтрогоны толковали въ-полголоса:

— А какъ, mon cher, объ этомъ думаешь? говорилъ одинъ голосъ.

— Я думаю вотъ такъ... говорилъ другой.

— А я вотъ этакъ... прибавилъ третій.

„Что за охота мѣшаться людямъ въ чужія дѣла?“ думалъ Иванъ Тарасовичъ, но сердце его сжималось отъ досады: „какое дѣло этимъ вѣтрогонамъ до моей жены?“

— А хороша! красавица! сказалъ кто-то сзади.

— Она ему поправить прическу, отвѣчалъ кто-то такимъ рѣшительнымъ хладнокровнымъ голосомъ, что Иванъ Тарасовичъ оглянулся.

За нимъ стояла цѣлая стѣна лицъ, бакенбардъ, воротниковъ, усовъ, лорнетокъ, эполетъ,—и это все жило, шевелилось, мигало глазами; ему показалась эта толпа стоглавымъ чудовищемъ, баснословной гидрой, готовой схватить его вмѣстѣ съ женой, обезобразить и растерзать, изувѣчить и съ хохотомъ выбросить для позора на улицу... Страшно стало Ивану Тарасовичу: лихорадочная дрожь пробѣгала по его тѣлу. И онъ печально, съ отвращеніемъ, почти съ ужасомъ принималъ поздравленія отъ улыбавшихся разряженныхъ гостей своихъ.

Даже дома, на свадебномъ вечерѣ, не могъ развеселиться Иванъ Тарасовичъ.

— Полно вамъ скучать! нѣсколько разъ говорилъ ему толстый помѣщикъ Рѣпкинъ, сосѣдъ по деревнѣ матушки Юліи Ивановны. — Вотъ я нарочно остался на сегодня, чтобъ передать старухѣ радость, а то мнѣ некогда: завтра чуть свѣтъ укачу.

— Я не скучаю.

— И прекрасно: послѣ смерти нѣтъ покаянія! Вспомните, что сдѣлали доброе, христіанское дѣло — и вамъ станетъ весело.

„Онъ вѣрно съ ума сошелъ, или выпилъ лишнее“ думалъ Иванъ Тарасовичъ, пожимая плечами.

Гости пили, ѣли, танцовали и понемногу начали разѣзжаться. Чѣмъ менѣе оставалось въ залѣ гостей, тѣмъ веселѣе становился Иванъ Тарасовичъ, а Юлія Ивановна дѣлалась скучнѣе, задумчивѣе: порой она опускала глаза и краснѣла до ушей, порой вздрагивала и блѣднѣла. „Бѣдное существо!“ думалъ Иванъ Тарасовичъ: „какъ она счастлива!“ и горячо цѣловалъ бѣдую, нѣжную ручку своей жены...

Наконецъ, гости разѣхались. Иванъ Тарасовичъ увезъ молодую жену къ себѣ; его провожали нѣсколько человѣкъ родственниковъ. Передъ его квартирою стояли два-три экипажа, въ квартирѣ горѣли ог-

ни, хлопали пробки, шумѣлъ и пѣлъ уса-тый братецъ; но братецъ скоро затихъ, экипажи исчезли, огни погасли въ окнахъ, и темная ночь все скрыла своимъ таинственнымъ, непроницаемымъ покровомъ: и пышныя зданія, и бѣдныя домики, и богачей, и нищихъ, и счастливыхъ, и бѣд-виковъ, и квартиру Ивана Тарасовича, и его самого съ молодой, хорошенькой супругой. Кто засыпалъ, упоенный восторгомъ, кто—убитый горемъ, а время шло надъ міромъ своими мѣрными, быстрыми шагами, принося и унося съ собой и горе, и радости; черныя тучи, какъ полы его исполн-инской мантии, развивались, клубились, неслись въ темной вышинѣ надъ Петербургомъ и исчезали во мракѣ...

Вѣроятно, очень — сильно разстроили Ивана Тарасовича вчерашніе безтолковые толки: иначе я не знаю, чему приписать печальный, мрачный видъ доктора, съ которымъ онъ вошелъ въ кабинетъ на другой день свадьбы. На Иванѣ Тарасовичѣ былъ надѣтъ новый, красный шелковый халатъ съ пышными кистями; но его лицо вовсе не гармонировало съ веселымъ, наряднымъ халатомъ. Иванъ Тарасовичъ мрачно вошелъ въ кабинетъ, заперъ дверь и началъ ходить по комнатѣ быстро, неровными шагами, будто убѣгая отъ какого-то невидимаго врага, потомъ сѣлъ въ кресло, взглянулъ на свой халатъ, горько улыбнулся, покачивая головой, и прошепталъ: „комедія! маскарадъ!..“ закрылъ глаза руками и — заплакалъ.

„Стыдно мнѣ плакать“, вдругъ сказалъ онъ: „я не баба, я мужчина, я покажу себя!..“ всталъ съ кресла и опять началъ ходить. На его глазахъ еще блеснула слеза, но въ нихъ видно было выраженіе твердости и силы.

„Да, я мужчина“ повторялъ Иванъ Тарасовичъ: „и покажу, кто я. Я не ма-ріонетка, пляшущая по желанію комедіанта, я не шарманка, которая все играетъ, когда ее вертять другіе, я человѣкъ!... я!.. А если?.. зачѣмъ торопиться? сколько разъ я терпѣлъ отъ того, что торопились меня наказывать. И, Боже мой, какъ ужасно, какъ не выносимо, какъ оскорбительно незаслуженное наказаніе, какъ тяжело падаетъ на душу всякій невинный упрекъ: онъ жжетъ, словно раскаленное желѣзо!... Да если... О, судьба! ты вѣчно преслѣдуешь меня, смѣешься надо мной, подносишь мнѣ букетъ благоуханныхъ цвѣтовъ, въ которомъ таится змѣя, вѣчно ставишь меня въ положеніе сказочнаго героя, передъ которымъ двѣ дороги: одна къ живой водѣ, другая къ мертвой, и некому сказать куда идти ему?.. Ты вѣчно засти-

лаешь дни мои самымъ страшнымъ, невыносимымъ чувствомъ—сомнѣніемъ, и смѣешься, когда я изнемогаю въ борьбѣ съ нимъ! Такъ управляй же мною, судьба моя! веди меня, куда хочешь—я рабъ твой! я раскрою пятую книгу, которая попадетъ мнѣ съ правой стороны на пятой полкѣ, раскрою ее, и, на чемъ бы ни развернулась она, буду считать это голосомъ судьбы...”

Иванъ Тарасовичъ подошелъ къ шкапу съ книгами, взялъ пятую книгу на пятой полкѣ; это была: „Les Chants du Crépuscule“ Виктора Гюго.

„Очень-кстати,—говорилъ Иванъ Тарасовичъ:—очень-кстати; ни что не можетъ быть теперь ближе къ моему состоянію, какъ названіе этой книги; да, глубокіе сумерки въ душѣ моей!.. Что будетъ далѣе“.

Онъ раскрылъ книгу и началъ читать.

Oh, n'insultez jamais une femme qui tombe!
Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme
succombe!
Qui sait combien de jourj sa faim a combattu!
Quand le vent du malheur ébranlait leur vertu,
Qui de nous n'a pas vu de ces femmes brisées
S'y cramponner longtemps de leurs mains épuisées!
Comm-e au bout d'une branche on voit étinceler
Une goutte de pluie où le ciel vient briller,
Qu'on secoue avec l'arbre et qui tremble et qui lutte,
Perle avant du tomber et fange après la chute!

La faute en est à nous: à toi, riche, à ton or!
Cette fange d'ailleurs contient l'eau pure encor.
Pour que la goutte d'eau sort de la poussière,
Et redevienne perle en sa splendeur première,
Il suffit, c'est ainsi que tout remonte au jour,
D'un rayon du soleil ou d'un rayon d'amour!

„Правда, правда!“ ворчалъ Иванъ Тарасовичъ, перечитывая въ десятый разъ стихотвореніе: „не надо торопиться обвинять... Кто знаетъ, да и зачѣмъ знать всѣ несчастія жизни? Лучше оставить... Кто старое вспоминаетъ, тому глазъ вонъ, говоритъ наша пословица.—Конечно! все забыто рѣшительно все. Я такъ люблю мою Юлію! она такъ чистосердечна, такъ простодушна, хороша!.. Поэтъ требуетъ только одного луча любви, un rayon d'amour! я сожгу ее моею любовью!... Да, я буду счастливъ!.. Спасибо поэту!.. Какъ не видѣть въ этомъ руки судьбы?“

Иванъ Тарасовичъ словно переродился, положилъ книгу, махнулъ рукой, закурилъ самую лучшую сигару и весело вошелъ къ женѣ въ спальню. Юлія Ивановна еще спала, или прикидывалась спящею—это, говорятъ, бываетъ. Утренній свѣтъ, пробиваясь сквозь малиновые занавѣски, обливалъ ее волшебнымъ розовымъ полусвѣтомъ; ея полная грудь такъ роскошно колебалась, ея коралловые полураскрытыя губки казались Ивану Тарасовичу расцвѣтающимъ розаномъ... онъ не выдержалъ—и поцѣловалъ жену. Юлія Ивановна открыла глаза посмотрѣла на мужа: въ нихъ было выраженіе самое странное, неопредѣленное, казалось, она хотѣла и боялась прочесть что-то въ душѣ своего мужа, но, увидя его ласковую улыбку, сама улыбнулась невинно, восхитительно; лицо ея вспыхнуло, глаза подернулись томной, сверкавшей влагой; она обвила полной ручкой шею мужа, тихо привлекла его на грудь свою и едва-слышно прошептала: „О, мой милый Ваня! какъ я люблю тебя!...“

Иванъ Тарасовичъ не взвидѣлъ свѣта.

Въ это время у подъѣзда квартиры Ивана Тарасовича остановился возокъ. Марья Ивановна не вышла, а выпрыгнула изъ него, взбѣжала по лѣстницѣ и довольно-робко вошла въ комнаты.

— Сестрица! Марья Ивановна! что съ вами? Что вы, ни свѣтъ ни заря, пріѣхали? Здоровы ли всѣ у васъ? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Слава Богу, робко отвѣчала Марья Ивановна:—я пріѣхала съ визитомъ; мнѣ снился такой страшный сонъ, я перепугалась и поспѣхъ къ вамъ. Какъ у васъ?

— Напрасно беспокоились, замѣтила Юлія Ивановна, значительно глядя на сестру:—мы и веселы, и счастливы совершенно!

— Какъ я рада! какъ я рада!

И Марья Ивановна бросилась цѣловать зятя и сестру съ непритворной радостью, смѣялась, рассказывала анекдоты изъ своей свадьбы, хохотала, какъ помѣшанная, и уѣхала, не согласясь даже остаться пить чай.

— Меня мой Фоя ждетъ, сказала она, —я ему рассказала сонъ, и онъ, бѣдненькій, самъ не свой! Знаю, что все теперь глядитъ въ окно да меня поджидаетъ.

Но оставимъ нашихъ счастливцевъ. Гораздо легче описывать горе, нежели радость человѣка. Для выраженія счастья какъ-то мало словъ, мало красокъ, мало звуковъ, полагаю я, оттого, что мало счастья на землѣ, что мы къ нему не привыкли, не освоились съ нимъ, что оно, какъ рѣдкій мимолетный гость, на мгновение показывается на землѣ...

Иванъ Тарасовичъ дѣлаетъ съ женой визиты, даритъ ее обновками, мѣняетъ ломбардные билеты на звонкую монету, цѣлуетъ жену, не посмотритъ на нее... онъ счастливъ, недѣлю, другую, третью!.. Я даже не вѣрю такому продолжительному счастью... Иванъ Тарасовичъ, живите, живите всей душою, всѣми силами, всѣми помыслами; упивайтесь обворожительнымъ чадомъ, угаромъ жизни, пока онъ не прощелъ! Вспомните стихи Пушкина:

Часть наслажденья
Лови, лови!
Младья лѣта
Отдай любви!...

и торопитесь вполне *прожить* свѣтлые дни: они такъ рѣдко даются намъ Провидѣнiемъ; послѣ одного только воспоминаiнiе о нихъ станетъ украшать длинные, невыносимые часы черной невзгоды, такъ часто пятнающiе туманный колоритъ нашей жизни.

V.

И пошелъ младенецъ-пламя
Вольнымъ юношей гулять!
В. Бенедиктовъ.

Былъ постъ. Прошло шесть недѣль со дня свадьбы Ивана Тарасовича. Его семейство увеличилось новымъ лицомъ: у него жила меньшая сестра Юлія Ивановна, m-lle Эмилія, только-что вылученная на первой недѣлѣ поста изъ какого-то пансіона. Ударило девять часовъ утра; дамы сидѣли за чайнымъ столикомъ.

— Ахъ, та chère, говорила, зѣвая, Эмилія:—какая скука! какъ можно такъ рано вставать—это ужасно! Мой другъ, m-lle Потапова, говорила, что она встаетъ въ первомъ часу,—и всѣ у нихъ такъ встаютъ: вотъ люди comme il faut! А мы! сказать совѣстно...

— Не моя вина, отвѣчала со вздохомъ Юлія Ивановна.

— Фи! какой гадкій твой Жанъ: онъ тебя не любитъ... Я бы ему!.. На что у насъ классная дама была строгая, а я и ее проучивала. Ты увидишь, какъ я заживу, дай мнѣ только выйти замужъ!

— Пустое, Эмилія, мужчины всѣ звѣри, всѣ тираны, не цѣнятъ насъ. Сначала мы для нихъ божество, а потомъ...

— А потомъ?

— А потомъ... они и глядѣтъ на насъ не хотятъ.

— Быть не можетъ! Я не вѣрю; это тебѣ попался такой гадкій, а ты и на всѣхъ.

Въ это время, вошелъ въ комнату Иванъ Тарасовичъ; онъ былъ уже одѣтъ совершенно; только отъ утренняго наряда на головѣ у него осталась красная шапочка.

— А я вотъ уже готовъ, тороплюсь на визиты. Дай-ка мнѣ поскорѣе, Юлія Ивановна, чаю. И онъ поцѣловалъ жену, которая довольно неохотно подставила ему щеку. — Здравствуйте, сестрица, продолжалъ онъ.

— Ахъ!.. вскрикнула Эмилія, закрывая лицо руками.

— Что съ вами, сестрица?

— Что съ тобой, Эмилія?

— Ахъ, я несчастная... говорила, рыдая, Эмилія.

— Что съ нею, Юлія?

— Не знаю; ужъ вѣрно ты что-нибудь...

— Вѣчно я! сказалъ Иванъ Тарасовичъ, пожимая плечами, налилъ себѣ стаканъ чаю и началъ пить.

— Разумѣется, ты не умѣешь деликатно обращаться съ женщинами. Она дѣвушка молодая, прекрасно воспитанная: долго ли оскорбить ея чувствительность? Эмилія! другъ мой! что тебя огорчило?

— Ахъ, я несчастная! говорила Эмилія, глотая слезы:—посмотри, фи, мужчина и въ колпакѣ: онъ не уважаетъ меня!.. я знаю, это насмѣшка... хоть бы извинился...

— Извините, извините, сестрица; я и забылъ про эту феску, сказалъ Иванъ Тарасовичъ, громко разсмѣявшись.

Эмилія пуще расплакалась и убѣжала.

— Ваша сестрица имѣетъ пропасть причудъ или капризовъ, Богъ ее знаетъ,—замѣтилъ Иванъ Тарасовичъ.

Юлія Ивановна надула губки и молчала.

— Ты опять, кажется, не въ духѣ?

— Ничего, пройдетъ. Я не выспалась...

— Кто жъ тебя неволитъ вставать? Спи сколько угодно.

— Зачѣмъ же я буду спать, когда ты встаетъ? Я уже не могу спать; все-равно я не усну, когда ты встанешь.

— Нельзя же мнѣ, другъ мой, спать до полудня. Я и то уже отказался отъ многихъ больныхъ, которыхъ навѣщалъ рано утромъ, именно для тебя отказалъ, а вѣдь рассчитать для меня... Бывало, я встаю въ семь часовъ и отправляюсь на визиты; у меня больше пациенты — народъ трудолюбивый; привыкли вставать рано...

— Вотъ еще прекрасно! Такъ вы раскаиваетесь, что женились на мнѣ? вамъ уже наскучило? вы уже скучаете о прежней холостой жизни... Вы готовы промѣнять жену на больного мужика—прекрасно!..

— Не понимаю, что съ тобой сдѣлалось! Вотъ уже другая недѣля—я тебѣ ничѣмъ не ужогу.

— Надо быть вѣжливе, снисходительнѣе. Поучитесь у Аѳанася Аѳанасьича: вотъ примѣрный мужъ. Какъ моя сестрица счастлива! вотъ человѣкъ!

— Дался тебѣ этотъ Фона! Ты какъ по-бываешь у сестры, такъ цѣлыя сутки тебя узнать нельзя...

— Прошу не смѣяться надъ братцомъ: онъ рѣдкій человѣкъ. Въ чемъ вы его подозреваете? Ужъ и подозрѣнія! Вотъ я ему пожалуюсь, пусть онъ васъ спроситъ *по-своему*, что вы о немъ думаете? Чему онъ меня учитъ?..

— Богъ съ тобой, Юлія Ивановна! сказалъ немного испуганнымъ голосомъ Иванъ Тарасовичъ. — Къ-чему заводить неприятности? къ чему выносить ссоръ изъ избы? Ты скажи, что тебѣ надобно—я и сдѣлаю; но этотъ братецъ — ты его знаешь, какой у него голосъ: раскричится, заоретъ и выйдетъ исторія, какъ четвертаго-дня.

— Прошу меня не учить!

— Я знаю, вы давно учены, сказалъ сердито Иванъ Тарасовичъ: — я слишкомъ добръ для васъ. Больно мнѣ не по-душѣ вашъ братецъ, чтобъ его...

— Что-о-о? сказала дрожащимъ голосомъ Юлія Ивановна: — и вы смѣете? Ничтожный человѣкъ!..

Юлія Ивановна какъ-то неосторожно махнула рукой, чайная чашка выскочила изъ ея нѣжныхъ пальчиковъ, ударилась объ Ивана Тарасовича и, соскочивъ на полъ, разбилась въдребезги.

Иванъ Тарасовичъ убѣжалъ въ кабинетъ, по примѣру своего родителя, но только не писалъ шарадъ, — теперь ужъ ими не занимаются, это не въ духѣ времени, — а примочилъ себѣ лобъ одеколономъ и уѣхалъ, блѣдный, встревоженный.

Часу въ пятомъ пріѣхалъ домой Иванъ Тарасовичъ и прошелъ прямо къ себѣ въ кабинетъ, думая: „Постой, жена! я проучу тебя, не выйду изъ комнаты, право не выйду, пока сама не придешь ко мнѣ съ повинною головою; я глава семейства, я мужъ, я старшій въ домѣ!..“ Прошло полчаса — никто не являлся, а между — тѣмъ желудокъ сильно докладывалъ о времени обѣда.

— Человѣкъ! закричалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Что прикажете?

— Скоро ли подадутъ кушать?

Лакей смотрѣлъ на него какимъ-то вопросительнымъ знакомъ.

— Скоро ли кушать? я тебя спрашиваю.

— Да для васъ ничего не готовили.

— Какъ не готовили?

— Такъ, не готовили, ничего не готовили.

— А барыня что?

— Барыня уѣхала съ утра, не велѣла себя дожидать сегодня и ничего не приказывала.

— Куда уѣхала?

— Къ братцу, къ Аѳанасью Аѳанасьичу.

— Туда и дорога!.. А Эмилиа Ивановна?

— Тоже съ ними уѣхавши.

— На, возьми деньги, сбѣгай въ трактиръ, принеси обѣдъ, да живѣе!

— Слушаю-съ. Въ Веселые-Острова сходить прикажите?

— Хоть къ чорту, только скорѣе!

— Слушаю-съ!

„Нѣтъ, матушка“ думалъ Иванъ Тарасовичъ, уничтожая втихомолку трактирные котлеты подъ зеленымъ горохомъ: „нѣтъ, матушка, коли закапризилась, такъ и терпи; живи хоть годъ у сестры — ни разу не пріѣду, за порогъ къ ней не переступлю: не бойсь, соскучишься! Я тебѣ нужный человѣкъ, я мужъ. Пусть братецъ хоть на рукахъ тебя носитъ, а все онъ не мужъ; мужъ совсѣмъ другое дѣло... пріѣдешь!..“

Иванъ Тарасовичъ выдержалъ характеръ, Юлія Ивановна и подавно; такъ прошло недѣли съ двѣ. Приблизилась Святая. Раза три пріѣзжалъ и приходилъ къ Ивану Тарасовичу усатый Фона—его не приняли, сказали: дома нѣтъ барина.

— Гдѣ его чортъ носитъ? спрашивалъ усачъ.

— По городу, отвѣчалъ слуга: — а гдѣ именно—не могу знать.

Послѣ такого отвѣта усачъ плевалъ довольно-громко и уходилъ; лакей глядѣлъ ему въ слѣдъ съ торжественной улыбкой. Юлія Ивановна все еще не пріѣзжала.

Иванъ Тарасовичъ началъ беспокоиться.

— Что вашей супруги у васъ не видно? спрашивали часто у Ивана Тарасовича пріатели.

— Не такъ-то здорова, такъ у сестры лечится; тамъ, знаете, просторнѣе, да и сестра дома опытная: лучше присмотритъ...

— Вотъ что! говоритъ одинъ: — а я ее вчера видѣлъ: она гуляла на Невскомъ подъ ручку съ своимъ родственникомъ...

— Да, я ей прописалъ прогулки: знаете это бываетъ иногда необходимо для больного... я же занятъ, такъ и просилъ ея брата иногда, этакъ, замѣнять меня.

— Во время прогулокъ? спросилъ второй.

— Да, да, разумѣется.

— А у вашей Юліи Ивановны, должно быть, отъ болѣзни, — замѣтилъ третій — прекрасный аппетитъ.

— Вы почему знаете?

— Сегодня я видѣлъ: она очень исправно кушала разстегайчики съ братцомъ въ кондиторской у Излера.

— Быть-можетъ, вамъ показалось. Моя Юлія скорѣе умретъ, чѣмъ пойдетъ въ кондиторскую.

— Можетъ, я ошибся.

— Именно; это вѣрно Аѳанасій Аѳанасьичъ былъ съ своей женой; она родная сестра моей Юліи: у нихъ одно лицо: весьма легко ошибиться.

— Скажите! какая странная игра природы! говорили пріятель.

— Да, престранная, хоть этому много примѣровъ, — отвѣчалъ докторъ и въ душѣ проклиналъ болтливыхъ пріятелей, которые, приходя къ нему, чтобы провести пріятно время, дразнили его, мучили, возмущали спокойствіе души и будили черныя подзвѣнія.

Станный человѣкъ Иванъ Тарасовичъ! развѣ пріятель дѣйствуютъ иначе?

Думалъ, думалъ Иванъ Тарасовичъ и кончилъ тѣмъ, что рѣшился помириться съ женой. Ему было скучно одному: въ квартирѣ всякая бездѣлушка напоминала Юлію Ивановну; притомъ же шли праздники, и всѣ порядочные люди проводятъ ихъ такъ весело вмѣстѣ съ женами, съ семействомъ. „Что жъ я за уродъ?.. ворчалъ про себя Иванъ Тарасовичъ: — коли она ѣздитъ, катается, прогуливается, ѣстъ разстегайчики въ публичныхъ мѣстахъ и вовсе обо мнѣ не думаетъ, такъ и я о ней не хочу думать, а все-таки помирюсь съ ней, хоть на зло ей, коли она меня не любитъ... Кажется, я убилъ на нее столько тысячъ, что имѣю право провести съ нею праздники, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку... и пообѣдать въ халатѣ, и отдохнуть, и поболтать у себя передъ каминомъ съ пріятелями. Я не мальчишка, не стану бѣгать въ публичныя мѣста за разстегайчиками!..“

Рано утромъ въ первый день Святой Иванъ Тарасовичъ, поздравивъ своихъ начальниковъ, поѣхалъ къ усатому родичу. На обычное *Христосъ воскресъ!* ему всѣ отвѣчали *воистину*, перецѣловавшись съ нимъ какъ добрые родственники, кромѣ одной Эмилии, кричавшей, что это мужицкая привычка. Усачъ оставилъ Ивана Тарасовича обѣдать,

— Не пора ли намъ, Юлія, домой? сказалъ послѣ обѣда Иванъ Тарасовичъ...

— Пожалуй, какъ хочешь, отвѣчала она простодушно.

Иванъ Тарасовичъ расцѣловалъ ее, на-

звалъ тысячью именами самыми пріятными и уѣхалъ вполне счастливый. О размовкѣ и поминѣ не было, будто Юлія Ивановна отлучалась изъ дома на полчаса!

Назавтра явилась Эмилиа — и зажили попрежнему.

О всякомъ, даже довольно-пустомъ предметѣ, можно толковать съ разныхъ сторонъ, тѣмъ болѣе о жизни супружеской, какъ о весьма важномъ вопросѣ для человѣчества. Люди настроили множество теорій; оно такъ и быть должно; но между всѣми этими теоріями самыя важныя двѣ: одна утверждаетъ, что самая счастливая супружеская жизнь заключается въ тихости характеровъ супруговъ, въ ихъ взаимномъ угожденіи, въ безпрекословномъ повиновеніи. Такъ, наприкладъ, если мужъ скажетъ: „не пообѣдать ли намъ?“ жена отвѣчаетъ: „пообѣдаемъ“; „не закрыть ли ставни?“ — „закроемъ“. Или жена скажетъ: „купи себѣ голубую шапку“, мужъ отвѣчаетъ: „ладно!“ — „не пора ли спать?“ — „пожалуй!“ и такъ далѣе. Другая теорія называетъ подобную жизнь прозябаніемъ, говоритъ, что люди, живя такъ, оглупѣютъ; что имъ надобно столкновение идей; что даже иногда нехудо выдержать супружескій шквалъ, чтобы послѣ сильнѣе почувствовать всю прелесть тихой пристани; что и въ природѣ послѣ бури и грома все освѣщается, дѣлается красивѣе. Чтобы похвалить какую бы ни было теорію, прежде нужно испытать ее въ примѣненіи къ практикѣ, и потому я умоляю: я въ этомъ дѣлѣ темный человѣкъ, но Юлія Ивановна, кажется, предпочитала послѣднюю теорію и, при удобномъ случаѣ, выполняла ее практически со всею любовью къ предмету. Была ли права Юлія Ивановна — объ этомъ предоставляю судить людямъ опытнымъ.

Святая недѣля прошла довольно хорошо. Въ Ѳомины-понедѣльникъ Юлія Ивановна была очень-ласкова къ своему мужу, обняла его, наклонилась къ самому уху и, покраснѣвъ, что-то шепнула.

— Неужели?! вскрикнулъ Иванъ Тарасовичъ.

— Право; я ужъ знаю.

— Отчего же ты знаешь? Можетъ-быть, это пустяки: ты женщина неопытная...

— Мнѣ сестра сказала, отвѣчала Юлія Ивановна, покраснѣвъ до ушей.

— Ну, полно, полно! отчего тутъ краснѣть? Ты должна гордиться... И докторъ началъ цѣловать жену, приговаривая: — мое золото, Юлія! мой брильянтъ. А какъ мы назовемъ его — а?

— Полно, перестань...

— Если будетъ у насъ дочь, то непре-

мѣнно назову ее Юліей, а если сынъ—Тарасомъ.

— Тарасомъ! вскрикнула Юлія съ ужасомъ.

— Въ честь моего отца, робко отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ, ожидая новой семейной бури.

Но, къ удивленію, бури не было. Юлія Ивановна вдругъ будто что-то вспомнила, остановилась и тихимъ, хоть печальнымъ голосомъ сказала:

— Какъ хочешь—воля твоя; имя немного грубовато, да не имя красить человѣка, а человѣкъ имя, тѣмъ болѣе, если это въ память твоего батюшки...

Иванъ Тарасовичъ не вѣрилъ ушамъ своимъ; ему казалось, что онъ только вчера женился—такъ тихо и ласково говорила жена его. Онъ обнялъ ее и даже немного прослезился. Послѣ, цѣлый день только и толковали о будущемъ ребенкѣ, а къ вечеру Юлія Ивановна вдругъ попросила у мужа двадцать тысячъ для того, дескать, что ежели я умру, то запишу эти деньги своему ребенку. Напрасно мужъ увѣрялъ ее, что это прихоть, капризъ; что ребенокъ, по его мнѣнію, принадлежитъ столько же и ему, какъ ей; она увѣряла, что, по смерти ея, Иванъ Тарасовичъ женится на другой и забудетъ ея ребенка. Слово-за-словомъ, поднялась порядочная буря. Ивана Тарасовича назвали тираномъ, гадкимъ скупцомъ, который деньги предпочитаетъ роднымъ дѣтямъ, который лучше желаетъ увидѣть жену мертвою, нежели разстаться съ голубенькой депозиткой...

Дѣйствуя тихо, скромно, можетъ быть и успѣла бы Юлія Ивановна; но теперь мужъ ея заупрямился, поскорѣе ушелъ въ кабинетъ, заперъ дверь и улегся спать.

А Юлія Ивановна, пришедъ въ свою спальню, тоже заперла дверь и написала записку:

„Милый Фоя!

„По твоему желанію я сегодня напала на своего пирюльника и, наступя на „горло, требовала денегъ; но представь себѣ, онъ смѣетъ упрямитесь! А тебѣ нужны деньги, бѣдненькій! Впрочемъ, надежда еще не ушла: я завтра подыму такой „содомъ, что онъ или оглохнетъ, или дастъ „двадцать тысячъ. Я и Эмилию заставлю „кричать. Да нельзя ли меньше? Неужели „ты проигралъ такъ много? Можетъ быть, „меньшую сумму онъ скорѣй бы далъ, „а то я еще навѣрное не знаю, есть ли у „него столько: мы, кажется, ошиблись, думая, что онъ очень богатъ. А если не „дать, право, брошу его, опять приѣду къ „тебѣ. Ты не повѣришь, какъ мнѣ здѣсь

„противно! Тебя не видать, мой милашка!.. „Зачѣмъ ты уговорилъ меня выйти за не- „го? Грѣхъ тебѣ! До свиданія! Цѣлую безъ „счета! „Вся твоя Юлія.“

Потру, за чаемъ, возобновилась вчерашняя буря. Эмилиа рыдала очень громко и просила не убивать сестры. Юлія Ивановна и кляла, и ругала, и плакала, и топала своими хорошенькими ножками, и грозила уѣхать.

— Уѣзжай! сказалъ Иванъ Тарасовичъ, замѣтивъ, что супруга, довольно непріязненно сжимала въ рукахъ мѣдную крышку отъ самовара, и поспѣшилъ выйти.

На скоро собрала Юлія Ивановна свои платья, брильянты и всѣ драгоценности, которыми мужъ дарилъ ее, и, взявъ сестру, уѣхала къ Аванасію Аванасьевичу.

Дня черезъ два Иванъ Тарасовичъ встрѣтилъ свою жену: она ѣхала въ коляскѣ съ усатымъ братцомъ. Иванъ Тарасовичъ нарочно прямо смотрѣлъ ей въ глаза. Что жъ бы вы думали? хоть бы отвернулась—нѣтъ, глядитъ на него, словно въ первый разъ его видитъ: ни поклона, ни привѣта!..

— А что ваша Юлія Ивановна? спросилъ пріятель.

— Не говорите мнѣ о ней, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ всѣмъ и каждому:—это не женщина, а демонъ, клянусь вамъ... Наказалъ меня Богъ ею!

— Какъ жаль! А кажется, она такая *bel-le femme*?

— Это со стороны такъ кажется, вѣрите мнѣ. Гробъ повапленный, мишура: блеститъ, а толку мало.

— Да не строги ли вы? не много ли вы требуете?

— Желалъ бы я, чтобъ вы на себѣ испытали подобное утѣшеніе, въ сердцахъ говорилъ Иванъ Тарасовичъ и оставлялъ пріятелей.

— Воля ваша,—говорили между собою пріятели:—а докторъ тутъ, должно быть, много виноватъ. Помилуйте, это прекрасная женщина! Какъ хороша, какъ умна, какъ привѣтлива, какъ добра!..

VI.

Болталъ, болталъ, болталъ, весь домъ привелъ въ тревогу, Но, вспомня, что онъ гость—убрался, слава Богу!

И. Хмельницкій.

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога, Однако за нее не всякъ съумѣетъ взяться.

Италии!.. Давно я не слышалъ такой іереміады, со временъ смерти ея стараго шпнца—а это была важная эпоха!.. Нѣтъ ли у васъ пахитосовъ или папировсовъ?.. А! вотъ онѣ; ваши папировсы бѣленькіе, онѣ въ американскихъ колоніяхъ прямо прыгнули бы въ аристократы по цвѣту своей кожи. Славная сторона! Будь только бѣлъ—и дуйся сколько душѣ угодно и презирай всѣхъ!.. А нѣтъ ли у васъ темныхъ...

— Нѣтъ, я и эти держу для приходящихъ.

— Жаль; а темныя куда лучше этихъ! Вспомнить жаль, какихъ отличныхъ пачку темныхъ папировсовъ я оставилъ у тетуски, убѣгая съ дачи. Ну, да она за это заплатится!..

Александръ Ивановичъ ловко повернулся на одной ногѣ.

— Вы опять натворили штукъ, Александръ Ивановичъ, правда?

— Нѣтъ, mon cher, клянусь вамъ, все дѣло изъ-за мерзлыхъ тыкъ.

— Неужели?

— Видите, тетуска была безутѣшна, -- говорилъ Александръ Ивановичъ, спокойно разваливаясь въ креслѣ: —я, чтобъ утѣшить ее, поцѣловалъ ручку и говорю: „не беспокойтесь, тетуска, мы это дѣло поправимъ“.

„Полно, Саша, какой ты шалуни! Я въ отчаяніи, а ты смѣешься“, сказала тетуска и закашлялась, бѣдненькая.

„Не грѣшите, тетуска“ отвѣчалъ я ей: „успокойтесь, mon ange, я вотъ сейчасъ привезу средство...“ Бѣдненькая, ее, можетъ быть, уже лѣтъ пятьдесятъ никто не называлъ mon ange —это ее видимо утѣшило: она улыбнулась, погрозила мнѣ пальцемъ, и я уѣхалъ. Тутъ меня взяло раздумье: какой секретъ я объявлю тетускѣ?.. Я вѣдь ей сказалъ такъ, шутя, наобумъ, покажись!..

— Понимаю, понимаю.

— Я прямо въ книжную лавку. Пожалуйста, дайте мнѣ казую-нибудь книжку о морозѣ, о мерзлыхъ, о замороженныхъ. Мнѣ подаль мальчишка какіе-то стихи Мерзлякова.

— Помилуй, сказалъ я:—это нейдетъ, все нейдетъ. Мнѣ нужно именно что-нибудь о морозѣ.

— Вотъ, извольте-съ, отвѣчалъ мальчикъ, ловко ударивъ книгой о прилавокъ и развернувъ ее передъ моими глазами:—„Новѣйшій Полный Поваръ и Кондиторъ“; вотъ здѣсь есть мороженое лимонное, сливочное, мороженое изъ кофе, изъ малины, изъ холоднаго чая...

— Нѣтъ, и это нейдетъ, хоть и ближе къ предмету.

— Вотъ не угодно ли, прекраснѣйшая кни-

га; здѣсь есть зимнее утро, очень хорошее, Пушкина-съ. И мальчикъ, раскрывъ книгу, показалъ мнѣ пальцемъ стихъ:

Морозъ и солнце, день чудесный!

— Этого вамъ неужгодно?..

— Нѣтъ, неужгодно.

— Больше, кажется, ничего такого не имѣется, отвѣчалъ мальчикъ въ раздумьи.

— Поищи, я не выйду изъ лавки безъ книги, какой мнѣ надобно.

Мое нелѣпое требованіе, кажется, немного сбило съ толку ловкаго продавца, однако онъ нашелся, полѣзъ на самую верхнюю полку, досталъ оттуда запыленную брошюру и подаль мнѣ, говоря: „Вотъ-съ еще одна самая рѣдкая книга; мы ее прячемъ для охотниковъ, для любителей-съ; ее не всякому покажемъ-съ.“

Я взялъ брошюру, она называлась: „Вѣрнѣйшее руководство къ практическому спасенію погибшихъ отъ стужи и мороза“. Мальчикъ взялъ за эту рѣдкую книгу, которую онъ берегъ для охотника и любителя, полтину серебромъ, и я съ торжествомъ привезъ ее тетускѣ. Тетуска обрадовалась, позвала свою компаньонку, ключницу и садовника, и приказала мнѣ читать во всеуслышаніе. Я ожидалъ чего-то недобраго, однако не струсилъ, принялся читать, не спѣша, громко и внятно. Пока брошюра толковала о предосторожностяхъ и строго запрещала не вносить замороженныхъ субъектовъ въ теплое мѣсто, и т. п., то еще ничего, только тетуска замѣтила, что это хлопотно, и, можетъ-быть, хорошо въ Германіи, а не у насъ; но когда я дошелъ до натиранья субъектовъ сухой фланелью и теплымъ виномъ, когда въ брошюрѣ замороженные субъекты, которыхъ тетуска, вѣроятно, считала тыквами, начали оживать, и брошюра стала поить ихъ горячей ромашкой съ виномъ, или ромомъ, то гнѣвъ тетуски разразился вполне; она вырвала изъ моихъ рукъ книгу, бросила ее подъ столъ и начала честить меня вѣтренникомъ, шалуномъ, мальчишкой...

— Помилуйте, тетуска, я и самъ не зналъ, о чемъ здѣсь идетъ дѣло, говорилъ я ей самымъ простодушнымъ голосомъ:—я, право, думалъ, что эти проклятые субъекты какіе-нибудь корни или тыквы.

— Лжешь, лжешь! сердито кричала тетуска:—ты дурачишь меня, старуху!

— Право нѣтъ, тетуска!

— Я знать тебя не хочу, мальчишка!

— Тетуска! мнѣ двадцать первый годъ!

— Тѣмъ хуже! я тебя знать не хочу.

— Тетуска, простите!

— Я тебѣ не тетушка, я тебя знать не хочу. Делай съ глазъ моихъ!

И старуха выпрямилась; какъ театральнае геронья въ трагедіи, съ гордостью поглядывая на компаньонку, ключницу и садовника.

— Ну. Богъ съ вами! сказалъ я тоже трагическимъ тономъ, схватилъ фуражку и выбѣжалъ изъ дома. Это тетушкѣ смерть какъ безразлично — я знаю ее, она завтра же придетъ за мной и сама помирится. А папироски остались. Жалко, славныя папироски!..

— Куда же вы пошли отъ тетушки? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Куда? разумѣется, прямо къ рѣкѣ и бросился—въ лодку, переплылъ на Петербургскую Сторону, пообѣдалъ у вашихъ родныхъ, сыграли пульку-другую въ преферансъ... а прогорѣ! тамъ я засталъ радость: хотѣли посылать къ вамъ съ нарочнымъ письмо, да я взялся самъ доставить.

— Письмо? отъ кого? о чемъ? что тамъ случилось?

— Случилось очень пріятное: вамъ Богъ далъ сына.

— Шутите, Александръ Ивановичъ! Это вамъ другая тетушка, правда?

— Нѣтъ, не шучу.

— Быть не можетъ. Отчего же вы мнѣ давно не сказали этого?

— Да вы мнѣ не дали говорить, все разспрашивали о тетушкѣ.

— Я же и виноватъ, ахъ вы, вѣтренники! Полно шутить.

— Право не шучу; вотъ вамъ и письмо отъ Аеанасья Аеанасича.

— Да такъ!.. пишетъ, точно Богъ далъ мнѣ сына!.. отрывисто говорилъ Иванъ Тарасовичъ, прочитавъ письмо. — Странное стеченіе обстоятельствъ! Я сегодня только что думалъ объ этомъ, а тутъ и вѣсть...

— Сонъ въ руку—не такъ ли?

— Конечно; но странно... я сегодня разсчитывалъ... Тутъ Иванъ Тарасовичъ долго смотрѣлъ на бумагу, исписанную имъ карандашомъ передъ приходомъ Александра Ивановича, пожалъ плечами и сказалъ:

— Странно!.. я сегодня разсчитывалъ...

— И ошиблись въ расчетъ?.. ай-да докторъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчалъ, будто спохватясь, Иванъ Тарасовичъ...

— Отчего же вы стали вдругъ такъ скучны?

— Видите: ребенокъ, который родится день-другой ранѣе, почти всегда недолговѣченъ.

— Бѣда быть докторомъ! Вотъ вы уже и станете беспокоиться. А я вамъ скажу, что, по словамъ Аеанасія Аеанасича, ребенокъ здоровъ, какъ теленокъ—извините за сравненіе, это его собственные рѣчи. Знаете,

вашъ родственникъ иногда выражается довольно жестко—не правда ли?

— Да.

— А иногда такъ фигурно, такъ завьетъ фразу, такъ скрутитъ ее, бѣдненькую, что не выдумать иному нехитрому уму. Вѣдь бываетъ такой грѣхъ?..

— Бываетъ.

— Что съ вами? Станный вы отецъ! У васъ родился сынъ, первенецъ; въ древности по этому случаю зарѣзали бы лучшаго тельца и угостили меня. Въ новѣйшую эпоху вамъ, какъ сыну этого времени, слѣдовало бы распить со мной, вѣстникомъ радости, бутылку добраго шампанскаго, а вы будто потеряли что-нибудь, будто пуговицу проглотили, будто сердиты на меня... Признайтесь, вы сердиты на меня?

— За что? помилуйте...

— Я знаю за что. Хотите, скажу?

— Скажите.

— За то, что я дерзнулъ подшутить надъ моей почтеннѣйшей тетушкой.

— Мнѣ что за дѣло!

— Вамъ что за дѣло? Ого, какая скромность! Вы думаете, я и не знаю, какъ вы волочитесь за моей тетушкой?.. Знаю, все знаю!..

— Ахъ вы, шалунъ, Александръ Ивынычъ! придетъ же подобная дичь въ голову! сказалъ, невольно улыбаясь, Иванъ Тарасовичъ...

— Коли и это не беретъ, такъ прощайте.

— Куда вы?

— Домой, спѣшу домой.

— Да погодите, поговоримъ еще немного...

— Нѣтъ, прощайте, тороплюсь.

— Куда вы торопитесь?

— Сказать вамъ правду?

— Скажите.

— Я хоть ветрѣнникъ, хоть болтунъ, однако не люблю врать, и скажу вамъ правду; тороплюсь васъ оставить...

— Меня? Къ чему это?...

— Да такъ вотъ, видите, я не могу сидѣть въ гостяхъ, какъ иные, когда замѣчаю, что я въ тягость хозяину; а я вамъ теперь въ тягость. Молчите, я ни чуть не сержусь. Иногда и отецъ родной можетъ быть въ тягость; не даромъ сложена пословица: *не во время гость хуже татарина*. Я вижу, что вамъ лучше остаться однимъ. Не знаю, что у васъ на душѣ, а догадываюсь, что не очень пріятное, что вамъ не до меня теперь. Прощайте.

— Хотѣ бы чаю напиться, Александръ Ивынычъ! У меня немного болить голова; это пройдетъ; посидите.

— Спасибо. А чтобъ увѣрить васъ въ совершенномъ моемъ почтеніи и таковой же преданности, съ коними имѣю честь

кланяться, я въ слѣдующій разъ выпью у васъ двойную порцію чаю. Ладно?

— Пожалуй! нечего съ вами дѣлать.

— Ну, такъ прощайте, думайте-себѣ, думайте, да не выдумайте какого-нибудь зеленого пороху—а то придется нашему брату учиться опять съ азбуки: и фортификація, и артиллерія, и всѣ военныя науки пойдутъ вверхъ дномъ.

„Добрый малый, хоть и болтунъ—Александръ Ивановичъ“, подумалъ Иванъ Тарасовичъ, когда ушелъ офицеръ. „А сынъ мой для меня задача!.. Какъ-то судьба странно путаетъ всѣ дѣла мои!.. Чего не ждешь равьше мѣсяца—тебѣ она даетъ сегодня; чего ждешь сегодня—и черезъ пять лѣтъ не получишь... Какъ-то я чудно живу на свѣтѣ!..

Потомъ онъ долго считалъ что-то по пальцамъ, долго писалъ карандашомъ на бумагѣ какія-то цифры, еще долѣе ходилъ по комнатѣ и далеко за-полночь едва забылся сномъ; и то ему безпрестанно лѣзъ въ глаза огромный верзило съ аршинными усами; онъ отчаянно ругался и хотѣлъ обнять Ивана Тарасовича.

— Позвольте, говорилъ ему Иванъ Тарасовичъ: прежде объясните: кого вы изволите ругать?

— Никого; это такъ, для препровожденія времени.

— Основательно, если вамъ нечего больше дѣлать. Отчего жъ вы хотите непременно обнять меня? развѣ это необходимо?

— Необходимо! по закону судьбы! — и верзило ругнуло судьбу.

— Не ругайте судьбы, замѣтилъ Иванъ Тарасовичъ:—она мнѣ и то много зла надѣлала; а разсердится, такъ и своихъ не узнаешь. Кто же вы такой?

— Я сынъ вашъ.

— Быть не можетъ! Вы или отецъ, или братъ Аѳанасія Аѳанасьича; вы такой крупный, а мой сынъ маленькій, и говоритъ по латинѣ и по гречески.

— А развѣ я не говорю по латинѣ? и съ страшною бранью великанъ кинулся душиить въ объятіяхъ Ивана Тарасовича. Иванъ Тарасовичъ проснулся, перекрестился, легъ снова, но снова тотъ же самый нелѣпый сонъ не давалъ ему покоя.

Рожденіе сына какъ-то очень охладило пламенное желаніе Ивана Тарасовича помириться съ женой; его золотыя мечты разсѣялись на нѣсколько недѣль; но прошелъ мѣсяцъ, другой, мысль о маленькомъ сынѣ и прекрасной его матери чаще начала навѣщать голову Ивана Тарасовича; онъ по вечерамъ сталъ напѣвать, отъ скуки, арію изъ „Сандрильоны“:

Поль коварный, но любезный,
Страдать я долженъ вѣкъ тобой!..

Мой гласъ тебя, ахъ! призываетъ.
Мой гласъ тебя, ахъ! призываетъ.
И сердце, и сердце
Жаждетъ быть съ тобой!

Эта арія вынесена памятью Ивана Тарасовича изъ деревенской бібліотеки покойнаго батюшки.

Въ такомъ состояніи былъ Иванъ Тарасовичъ, когда насталъ день рожденія Юліи Ивановны. Долго боролся съ собою Иванъ Тарасовичъ: то протягивалъ руку къ шкатулкѣ, то отнималъ руку и отходилъ отъ шкатулки подальше; наконецъ, вынувъ изъ шкатулки прекрасную брильянтовую брошку, въ красной сафьянной футлярѣ, завернулъ ее въ розовую бумажку, запечаталъ и отправилъ съ своимъ человѣкомъ къ Юліи Ивановнѣ, наказавъ ему, что и какъ говорить.

Часа черезъ два вернулся человѣкъ.

— Ну что? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Ничего-съ, приказали кланяться и благодарить, отвѣчалъ слуга.

— Сына моего видѣлъ?

— Какъ же, видѣлъ-съ. Приказалъ кланяться.

— Развѣ онъ уже говоритъ?! Вотъ еще новость!..

— Никакъ нѣтъ, нянька сказала, а онъ ничего, молчитъ только глазами похлопываетъ.

— Расскажи сначала, какъ это все было?..

— Я пришелъ, позвонилъ—мнѣ отворилъ двери Степка и говоритъ: „Здорово. Зачѣмъ тебя нелегкая принесла?“ Я и спрашиваю: „дома Юлія Ивановна?“ Онъ говоритъ: „дома“; я и говорю: „поди скажи, что, молъ, пришелъ я отъ Ивана Тарасовича“. Вотъ онѣ и вышли и спрашиваютъ: „зачѣмъ?“ Я поклонъ, и говорю: „мой баринъ, Иванъ Тарасовичъ, приказалъ, молъ, поздравить васъ съ праздникомъ, съ рожденіемъ, и прислали вамъ гостинецъ“. Онѣ вырвали у меня изъ рукъ гостинецъ и побѣжали въ другую комнату, а я и слушаю, а онѣ говорятъ: „Ахъ, да охъ!“ да все хвалятъ гостинецъ.

— Лучше бы денегъ прислалъ для сына, сказала Марья Ивановна.

— Все равно: это тѣ же деньги, сказалъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ.

— Вотъ все и говорятъ между собой, а я все слушаю, продолжалъ слуга.

— Да я имъ посылаю всякій мѣсяцъ деньги для сына. Развѣ имъ мало?..

— Не мое дѣло, отвѣчалъ слуга, я здѣсь

человѣкъ темный, а говорили, ей-богу, говорили, я въ томъ не виновать.

— Хорошо, продолжай!

— Вотъ они поговорили, а послѣ и вышла Юлія Ивановна да и говорить. „кланяйся и благодари“. Тутъ я вспомнилъ, что вы мнѣ приказывали, да и подумалъ: дай-ка стороною подѣйду, этакъ обнимомъ — поклонился и сказалъ: „Окажите молъ, сударыня-барыня, божескую милость!“

— Какую? спросили онѣ.

— Да вотъ какую: покажите мнѣ молодого барина! страхъ какъ хочется видѣть: люблю молъ, Ивана Тарасовича, такъ хочется его сына видѣть, потѣшить, посмотреть на ненагляднаго. Я, извѣстно, сказалъ не то, чтобъ правду, а такъ, изъ учтивости, да и поклонъ Юліи Ивановнѣ.

— Хорошо, сказала она, да и повела къ мальчишкѣ.

— Повела? — спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Повела, ей-богу повела, да и говорить: вотъ онъ, смотри.

— И ты видѣлъ?

— Какъ же, видѣлъ, глядѣлъ на него, какъ на васъ теперь гляжу.

— Что же? лихой парнишка?—а?

— Самый пропорціональный ребенокъ, такой здоровый, барахтается.

— Барахтается?...

— Барахтается; видать, что барское дитя! при мнѣ какъ зацѣлъ ручонкой няньку по уху, та даже вскрикнула. „Ай да баринъ! сказалъ я: молодецъ! силы не занимать стать, да и пригожествомъ постоитъ за себя...“ Тутъ нянька на меня разсердилась: „сглазишь, говорить, ребенка; плюнь, говорить, черезъ руку.“ Я плюнулъ, да и пошелъ домой.

— Ну, а онъ что?

— Ничего, схватилъ няньку за носъ, да и глядитъ на меня такъ бойко...

— А похожъ на меня?

— Какъ же-съ, чтобъ родился сынъ да не похожъ на отца! Весь въ васъ, мой красавчикъ...

— А глаза какіе?

— Глаза обыкновенно какіе, быстрее...

— Похожи на мои?

— Похожи, совсѣмъ, какъ у васъ...

— Слышишь, кто-то звонить? отвори скорѣе.

Черезъ нѣсколько минутъ, вошелъ, или почти вкатился въ комнату маленькій, почти круглый толстякъ, помѣщикъ Рѣпкинъ, и началъ перекладывать голову Ивана Тарасовича въ своихъ мягкихъ объятіяхъ справа налѣво и слѣва направо, приговаривая: „Мое почтеніе! Въ силу-то я

васъ увидѣлъ опять, Иванъ Тарасычъ! добродѣтельнѣйшій Иванъ Тарасычъ!.. Вамъ куча поклоновъ отъ вашей тещи Марціанны Петровны, отъ всѣхъ вашихъ родныхъ. Добрые сосѣди!.. ужъ какъ наказывали поглядѣться съ вами!

— Покорно васъ благодарю; садитесь.

— Ухъ, какія у васъ мягкія кресла! я думалъ, что провалился, говорилъ Рѣпкинъ, болтая коротенькими ножками, недостававшими до пола.—Да, всѣ кланяются... Я вчера только пріѣхалъ, да сегодня и къ вамъ, не успѣлъ и отдохнуть; нельзя, знаете: сосѣди просили... дѣло сосѣдское.

— Очень благодаренъ. Матушка здорова?

— Всѣ, слава Богу, живы и здоровы, живутъ помаленьку. А ваши-то какъ?

— Слава Богу.

— А Юлія Ивановна? позвольте поцѣловать ея ручку.

— Она теперь уѣхала къ сестрицѣ...

— И прекрасно; значитъ, вы не перечите ей ѣздить къ сестрицѣ и братцу?

— Для чего же это?

— Разумѣется, вы человѣкъ благоразумный! И супруга ваша теперь остепенилась; да и родные-то ваши прекрасные люди, препочтенные люди... Они здоровы?

— Сейчасъ только передъ вашими приходомъ возвратился отъ нихъ мой человѣкъ и рассказывалъ, что всѣ здоровы, и мальчишка тоже: такой, говорить, бойкій.

— А! сынъ!... такъ вы уже знаете?

— Да какъ же? странно было бы не знать.

— Вы предобродѣтельнѣйшій человѣкъ!.. А вѣдь мальчикъ-то долженъ быть порядочный: ему никакъ болѣе года.

— Что вы? Три мѣсяца!...

— Какъ? съ начала августа.

— Нѣтъ, съ конца августа.

— Помилуйте, съ начала!..

— Если и съ начала, такъ ему будетъ около четырехъ мѣсяцевъ: только, смѣю васъ увѣрить, что онъ родился въ концѣ августа.

— Станный вы человѣкъ, Иванъ Тарасычъ! вѣдь вы лечили-то Юлію Ивановну уже послѣ, въ концѣ августа...

Тутъ съ обѣихъ сторонъ было сказано еще двѣ-три фразы, еще нѣсколько объясненій, нѣсколько восклицаній, и Иванъ Тарасовичъ вдругъ остановился, уперся затылкомъ въ стѣну, глаза безсмысленно выпянилъ на Рѣпкина, раскрылъ ротъ, поблѣднѣлъ, словно на него столбнякъ напалъ.

— Извините меня, любезнѣйшій Иванъ Тарасычъ, продолжалъ Рѣпкинъ:—я не зналъ, что вы такъ горячо примете... Я думалъ, вамъ все извѣстно... вы докторъ:

я полагалъ, что вы все узнали во время ея болѣзни и женились изъ состраданія, и, признаюсь, удивлялся вашей добродѣтели, даже не выдержалъ, и въ самый день свадьбы намекалъ на это—извините! Впрочемъ, рано-ли, поздно-ли, вы бы все узнали. Да опять, какъ разсудить хорошенько, такъ чьи санки не подламывались? Кто Богу не грѣшенъ, кто бабушкѣ не внукъ? Право такъ; успокойтесь... Знаете, случай, обстоятельства, судьба!... Можетъ статься, Юлія Ивановна и не такъ виновата...

Вдругъ на блѣдномъ лицѣ Ивана Тарасовича разлился яркій румянецъ, грудь поднялась, глаза засверкали, ротъ страшно искривился, и онъ въ одинъ прыжокъ былъ передъ Рѣпкинымъ, схватилъ его за обѣ руки и, крѣпко сжимая ихъ, сказалъ ему прямо въ лицо:

— Вы подлецъ, или... или... судьба смѣется надо мной!.. и я... лишній на свѣтѣ!..

— Богъ съ вами! Иванъ Тарасовичъ, пустите меня! Что вы такъ душите? ваши руки, словно желѣзные щипцы... Вы мнѣ не смѣете дѣлать насилія! Я дворянинъ; видите, вотъ у меня бронзовая медаль; ее не всякій можетъ носить. Вы будете отвѣчать...

— Отвѣчать?... сказалъ Иванъ Тарасовичъ, тихо опуская руки Рѣпкина:—отвѣчать?... Нѣтъ, позвольте, вы мнѣ должны отвѣчать, да, вы отвѣчайте мнѣ! Бога ради, отвѣчайте... вы, кажется, сказали: она не виновата—да?.. судьба, вы говорите, виновата? Говорите же! Ахъ, Боже мой!.. И Иванъ Тарасовичъ, уничтоженный душевнымъ волненіемъ, почти упалъ въ кресло, закрывъ лицо рукою.

— Да это дѣло извѣстно всѣмъ сосѣдямъ... началъ Рѣпкинъ, немного оправаясь отъ испуга.

— Извѣстно?! всѣмъ извѣстно!.. о, Господи! еще этого не доставало!...

— То-есть, не въ подробности, какъ мнѣ, но начало всѣмъ извѣстно. Впрочемъ, для васъ тутъ ничего: такіе случаи нерѣдко бываютъ, очень нерѣдко...

— Да говорите!... добивайте сразу! Не мучьте меня!

— Вотъ видите, Аѳанасій Аѳанасичъ тоже мнѣ сосѣдъ. Вотъ онъ пріѣхалъ въ отпускъ, былъ у меня раза два, а послѣ все началъ бывать у Елечкиныхъ. Марціана Петровна не промахъ, начала приглубливать добраго молодца—мужъ-то у нея просто баранъ, на поводку ходить—вотъ мы, всѣ сосѣди, и стали поговаривать: „женить, дескать, Марціана Петровна сосѣда на своей дочери“ и положили, что женить. Осталось только узнать: на которой. Тутъ, я вамъ скажу, намъ трудненько приходи-

лось: бывало, съѣдемся, толкуемъ, толкуемъ и разѣдемся, ничего не порѣшивши. Никогда я не забуду этого времечка!..

— Изъ-за чего же вы хлопотали?

— Помилуйте! любопытно... У Марціаны Петровны былъ сынишка Гаврюшка—извините, болванъ лѣтъ шестнадцати—всѣхъ моихъ гусей перетравилъ своими собаками, и четыре дочери: Клеопатра, Марья, Юлія и Эмилиа Ивановны. Ну, Гаврюшка тутъ не шелъ къ дѣлу, мы его и съ костей долой; Эмилиа еще здѣсь воспитывалась, и эту долой; Клеопатрѣ бралось за тридцать, и собой-то она немного рябовата, немножко сухопара и немножко косить лѣвымъ глазомъ—и эту скинули. Какъ разсудили, такъ намъ и стало легче; остались двѣ: Марья и Юлія; Марья тоже не то, чтобъ очень молода а Юлія—словно розанчикъ. Иные говорили, что Марья Ивановна волочится за Аѳанасьевымъ, а Аѳанасевъ за ней; другіе: что Юлія Ивановна волочится за Аѳанасемъ Аѳанасичемъ, и онъ за ней; третьи: что Марья Ивановна волочится за Аѳанасьевымъ, а Аѳанасевъ за Юліей, и что матушка норовитъ выдать Марью: „а Юлія, говоритъ, можетъ себѣ и не такого выждать еще молодца“. Не знаешь, бывало, кого слушать и кому вѣрить. А Аѳанасевъ, бывало, то съ одной прохаживается, то съ другой катается... Я вамъ говорю: трудное было времячко.

Тутъ Рѣпкинъ вздохнулъ и перевелъ духъ. Иванъ Тарасовичъ молча сидѣлъ, подперши рукою голову.

— Да-съ, продолжалъ Рѣпкинъ:—вдругъ, въ одинъ день, съ вечера получаемъ приглашеніе отъ Елечкиныхъ пожаловать завтра на вѣнчанье и свадьбу. Не было письма, а пріѣзжалъ къ кому фореиторъ, къ кому садовникъ, къ кому псарь или поваренокъ. „За кого отдають барышню?“ спрашивали мы у посланцевъ. „За Аѳанася Аѳанасича“.—„А которую?“—„Не знаемъ за-навѣрное“. Вотъ пріѣхалъ я прямо въ церковь; гляжу—вѣнчаютъ Аѳанася Аѳанасича съ Марьею Ивановной, а Юлію Ивановну нѣтъ. Гдѣ же Юлія Ивановна? спросилъ я кого-то. „Юлія Ивановна нездорова, отвѣчали мнѣ: вотъ ужъ третьи сутки все спитъ; проснется, выпьетъ чашку чаю, да и опять заснетъ. Да какъ исхудала, сердечная!“ Гляжу на жениха—онъ прямо стоитъ, какъ свѣчка, и глазами не мигнетъ. Я подошелъ поздравить его послѣ вѣнца, онъ и языка не повернетъ: мертвецки пьянъ!... На завтра, Господи твоя воля, что за баталія сочинилась! Аѳанасій Аѳанасичъ проспался, оглядѣлся—и давай орать: „Мнѣ, кричалъ, навязали жену. Я сваталъ Юлію Ивановну, а не эту!“ Да

схватилъ, сударь мой, ножъ, и ну бѣгать; „подавай, кричить, тещу! не даромъ она меня поила наливкой! это ея штуки; вотъ я ее! она своихъ дѣтей загубила!“ А тутъ и съ Юлія Ивановны будто рукой сонъ сняло, и та себѣ давай плакать и рыдать. А послѣ Аѳанасій Аѳанасьевичъ притихъ, взялъ Юлію Ивановну, взялъ и жену свою и пошелъ къ тещѣ въ спальню. Долго тамъ сидѣли они запершись; а когда вышли, то на Марціанъ Петровичъ лица человѣческаго не было: она рвала на себѣ волосы и плакала, и Марья Ивановна сильно плакала, и Юлія Ивановна плакала еще сильнѣе; одинъ Аѳанасій Аѳанасьичъ не плакалъ и говорилъ: „Сами заварили кашу, сами и расхлебайте: я въ этомъ не виноватъ, не на моей душѣ грѣхъ!“ Черезъ недѣлку мы узнали, что Аѳанасій Аѳанасьичъ уѣхалъ съ женою въ Петербургъ, а Марья Ивановна взяла, для компаніи, сестру Юлію. „И медвѣдь реветъ, и корова реветъ—самъ чортъ не разберетъ, кто кого деретъ?“ сказалъ по этому случаю нашъ капитанъ-исправникъ. Всѣ посмѣялись, потолковали, да и забыли: кстатѣ тогда пошла ярмарка.

— Все тутъ? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Погодите. Это еще цвѣточки, будутъ ягодки. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя по отъѣздѣ въ Петербургъ моихъ сосѣдей, и мнѣ довелось побывать въ столицѣ. Вы не имѣете здѣсь оброчныхъ людей?

— Нѣтъ.

— Ну, благодарите Бога: здѣсь съ оброчнаго человѣка взятки гладки: живетъ-живетъ, служить-служить лѣтъ шесть, а оброку ни гроша не присылаетъ. Не знаешь, гдѣ его и найти и къ кому адресоваться! У меня ихъ человѣкъ двадцать здѣсь ходитъ по оброку, и мужиковъ, и бабъ; ждалъ я, ждалъ оброку, да и рѣшился самъ прѣлзать, чтобъ распорядиться; отыскалъ кой-кого изъ мужиковъ, далъ имъ гонгу, немного получилъ денегъ, да кстатѣ побывалъ у Аѳанася Аѳанасьича. Меня принялъ, какъ слѣдуетъ, очень хорошо; я отдалъ имъ письмо отъ матушки, передалъ поклоны и спросилъ: гдѣ Юлія Ивановна?

— Она гоститъ у своей пріятельницы на дачѣ, отвѣчала мнѣ Марья Ивановна.

— Да, гоститъ на дачѣ у пріятельницы, прибавилъ ея мужъ.

— Здорова ли она? спросилъ я.

— Здорова, слава Богу, отвѣчали они въ одинъ голосъ и переглянулись между собой.

„Ну, здорова, такъ и хорошо“, подумалъ я, посидѣлъ еще немного, и ушелъ отыскивать старую горничную моей покойной жены, Маланью: она тоже по смерти

жены уже десять лѣтъ ходила здѣсь по оброку и не платила ни гроша и совсѣмъ отъ рукъ отбилась, пропала безъ вѣсти. Насилу попалъ на ея слѣдъ. Спасибо, мой портной Оомка, который ѣздитъ кучеромъ у надзирателя, сказалъ мнѣ, что видѣлъ Маланью, и что она служить кухаркой у какого-то Емельянова. Я къ надзирателю—поискали и нашли адресъ губернскаго секретаря Емельянова. Прихожу къ Емельянову. „Вы господинъ губернской секретаря Емельяновъ?“

— Я. Что вамъ угодно? отвѣчалъ мнѣ сѣдой мужчина.

— У васъ находится въ кухаркахъ Маланья Иванова?

— Можетъ быть. Какое вамъ дѣло?

— Я, милостивый государь, ея помѣщикъ.

— А! вамъ угодно ее видѣть?

— Да.

— Я вамъ сейчасъ дамъ адресъ.

— Развѣ она не здѣсь?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Емельяновъ, быстро переворачивая листы большой рукописной книги:—Маланья, Маланья, Маланья Иванова. Вотъ: на Гороховой, домъ NN, номеръ 101.

— Покорно благодарю, отвѣчалъ я, и пошелъ на Гороховую, думая; „какой странный человѣкъ этотъ губернской секретаря! живетъ самъ гдѣ, а кухарку держитъ на Гороховой!“ Пришелъ я по сказанному, какъ по писанному, постучался въ дверь, вышла старуха, я и спрашиваю: не здѣсь ли живетъ Маланья Ивановна? Старуха покачала головой.

— Маланья, кухарка господина Емельянова?

— Емельянова? спросила, немного подумавъ, старуха:—вы отъ него?

— Да.

— Погодите: я справлюсь.

Минутъ черезъ пять, вышла ко мнѣ прехорошенькая разряженная барыня и спросила, что мнѣ угодно. Я ей рассказалъ все—она улыбнулась и говоритъ: „Я Эмилія Ивановна; вы ошиблись; впрочемъ, кажется, я слышала, Маланья Ивановна живетъ въ Семеновскомъ полку въ Госпитальной улицѣ...“ домъ теперь я забылъ чей, а тогда помнилъ: я записалъ и отправился. Въ Семеновскомъ полку я точно нашелъ какую-то Маланью, только не Иванову, а Осипову. И она, спасибо ей, дала мнѣ адресъ на Пески въ Матрешкину улицу, и тутъ я нашелъ свою Маланью въ одномъ домѣ съ кабакомъ...

— Съ двумя подъездами? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Да; вы его хорошо знаете. Здѣсь жила моя Маланья, словно барыня, носила

салоны и держала жильцовъ. Я пожурилъ ее порядкомъ, да простилъ; она мнѣ уплатила разомъ за годъ деньги и рассказала чудныя вещи: что она платитъ ежемѣсячно Емельянову десять рублей, а онъ ее за то держитъ у себя въ кухаркахъ, и что у Емельянова, можетъ-статься, такихъ кухарокъ десятковъ пять-шесть наберется, и что онъ деньги беретъ не со всѣхъ равно, а по разсмотрѣнію, съ кого и двадцать пять въ мѣсяцъ. И когда я сталъ требовать, чтобъ онъ внесла мнѣ оброкъ хоть за пять лѣтъ, она просила повременить и сказала мнѣ за тайну, что у нея живетъ дѣвушка, вотъ уже съ мѣсяцъ, которую скрываютъ богатые родственники, по извѣстнымъ причинамъ, и, когда дѣло кончится благополучно, общали хорошо заплатить: тогда и мнѣ она общала отдать оброкъ. Я удивился, почти не вѣрилъ Маланьѣ, и просилъ показать дѣвушку. Нельзя, кормилецъ; я всякую репутацію потеряю, отвѣчала Маланья, потомъ смягчилась, и изъ кухни, гдѣ я съ ней разговаривалъ, показала мнѣ въ щелочку несчастную... Я остолбенѣлъ, да, ей-богу, мурашки у меня ползали по носу!.. Она была—вы знаете, кто такая...

— Быть не можетъ?

— Да, именно: это была Юлія Ивановна.

— Не говорите больше!.. закричалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Вы сами просили меня рассказать.

— Не говорите!

— Теперь уже и говорить нечего: остальное вы сами знаете. Недѣли четыре спустя, Маланья мнѣ принесла оброкъ и сказала, что больная совсѣмъ-было поправилась, да простудилась, и что вчера ее началъ лечить докторъ, т. е. вы, почтеннѣйшій.

Разсказъ помѣщика Рѣпкина, казалось, положилъ вѣчную преграду между Иваномъ Тарасовичемъ и его женой. Всѣ мечты о спокойной жизни, о воспитаніи ребенка, разлетѣлись какъ легкіе облачные замки отъ вѣтра, погасли, исчезли отъ горькой истины, какъ робко мерцающія звѣздочки при восходѣ солнца. При имени Юліи Ивановны, при одномъ воспоминаніи о ней, съ языка Ивана Тарасовича срывались неблагозвучныя слова: „притворщица, кокетка, преступница, змѣя въ женскомъ образѣ, сатана въ юбкѣ“ и проч.; изъ нихъ бы можно досужему человѣку составить очень разнообразный словарь брани.

Зная мягкость характера Ивана Тарасовича и его любовь къ примиреніямъ, доказанную на опытѣ, многіе пріятель, чтобъ имѣть предлогъ попировать на чужой счетъ, пытались свести его съ женой;

но Иванъ Тарасовичъ словно одѣлъ свою душу въ твердую, заколдованную броню, и на всѣ предложенія, увѣщанія и т. п. отвѣчалъ рѣшительнымъ тономъ: „нѣтъ, никогда этого не будетъ!“ да такъ рѣшительно, что пріятель умолкали безъ всякаго возраженія.

Иванъ Тарасовичъ сталъ мраченъ, нелюдимъ. А время все шло... Настали святки.

VII.

Бразды пушистыя взрывая,
Летитъ кибитка удалая,
Ямщикъ сидитъ на облучкѣ
Въ тулупѣ, въ красномъ кушакѣ.
А. Пушкинъ.

Рѣшительно противоположную картину представляла огромная, неуклюжая кибитка, запряженная тройкой тощихъ клячъ, которая на разсвѣтѣ выѣзжала изъ воротъ постоялаго двора недалеко отъ Петербурга. Несмотря на треску морозъ, хозяинъ двора, здоровый мужикъ, съ окладистой бородой, вышелъ въ одной красной рубахѣ безъ шапки, съ фонаремъ въ рукѣ, отперъ ворота и поклонился, освѣщая уѣзжавшихъ гостей.

На козлахъ сидѣлъ кучеръ, немилосердно стегая измученныхъ клячъ; подлѣ него мостился лакей въ картузѣ съ назащитникомъ и въ войлочныхъ сапогахъ; за кибиткою, на горѣ мѣшковъ, узелковъ и чемодановъ, торчала женщина, вѣрно горничная; въ кибиткѣ полулежали двѣ барыни: одна толстая, въ лисьей шубѣ, въ черномъ стеганомъ капорѣ, другая худенькая, вся укутанная вязанными разноцвѣтными шарфами. Подлѣ толстой барыни лежала тяжелая солдатская сабля.

— А что, далеко до Питера? крикнула толстая барыня, когда кибитка выѣхала за ворота.

— Около тридцати будетъ, отвѣчалъ хозяинъ, запирая ворота.

— Такъ мы еще довольно рано приѣдемъ.

— Какъ бы скорѣе, маманъ, прибавила худенькая барыня.

— Свышишь ты, болванъ, Прошка! сказала громко толстая:—тридцати верстъ не будетъ; смотри, не зѣвай!..

— Зѣвать-то я не зѣваю, отвѣчалъ кучеръ:—да лошади не везутъ.

— Самъ виноватъ: худо кормишь, худо смотришь.

— Овса не покупали, сударыня, во всю дорогу, на сѣнѣ далеко не уѣдешь.

— Ахъ ты, дрянн! да я тебя! Еще и разсуждать смѣешь! вотъ я тебя сейчасъ!.. Этакая свиная стриженая!

— Не кричите, маменька! сказала худенькая:— можете простудиться, получить жабу. Приѣхавъ, можно взыскать на мѣстѣ.

— Ты все ихъ балуешь! Ну же, пошелъ! Слышишь?

Кучеръ стегнулъ кнутомъ, лошади дернули, засуетились и опять пошли во весь шагъ.

— Охъ, вы мнѣ!.. сказалъ кучеръ, вздохнулъ, махнулъ рукавицей и запѣлъ.

Ой, не бѣлы-то снѣжки въ полѣ забѣлѣлись!..

Разсвѣло. Утро было сѣрое; однообразно тянулись кругомъ бѣлыя снѣговья равнины, однообразно тянулись печальные звуки пѣсни кучера: барыни спали въ кибиткѣ; лакей, пользуясь этимъ, вздремнулъ и кланялся на обѣ стороны. Кибитка тихо подвигалась къ Петербургу.

Въ Петербургѣ зажигали фонари, когда кибитка съ барынями, съ узелками и мѣшками вѣзла въ заставу и поползла черепахой изъ улицы въ улицу и остановилась въ Семіоконой, передъ квартирой Аѳанасья Аѳанасьевича. Дамы взошли на лѣстницу, въ квартиру и поднялся крикъ:

— Маменька! кричала Марья Ивановна.

— Маменька! кричала Юлія Ивановна.

— Матушка! басилъ усачъ:— вы ли это?

— И сестрица! и Клеопатра! завопили дамы.

— И сестрица! чортъ возьми, прибавилъ усачъ:—вотъ неожиданно!..

Когда первые восторги родственнаго свиданія прошли, Марціана Петровна спросила:

— А гдѣ же твой мужъ, Юлія? ты одна здѣсь?

— Одна, отвѣчала Юлія:—мой мужъ уѣхалъ.

— Куда?

— Уѣхалъ по казенному дѣлу, быстро подхватила Марья Ивановна:—въ Кронштадтъ.

— Да, въ Кронштадтъ, на слѣдствіе, прибавила Юлія.

— Надолго?..

— Можетъ на недѣлю, можетъ быть и на двѣ и болѣе, какъ дѣло кончатъ. Мнѣ скучно дома, такъ я приѣхала погостить къ сестрѣ.

— Да, матушка, Марціана Петровна, какъ дѣло кончитъ, прибавилъ усачъ Фоя:— можетъ быть и мѣсяцъ проживетъ...

Когда, утомленная дорогой, Марціана Петровна вольно захрапѣла на мягкой постели, Клеопатра ушла къ сестрамъ и

долго шепталась съ ними, и о чемъ то спорила, и кого-то журила, и наконецъ сказала: „покойной ночи, спите на здоровье; утро вечера мудренѣе, авось завтра все уладимъ...“

Рано поутру, по деревенскому обычаю, поднялась на ноги Марціана Петровна и начала ссориться съ прислугой, потомъ послала нанять возокъ и одѣлась въ желтое шелковое платье.

— Куда вы, маменька? спрашивали ее дочери.

— Съ визитомъ, дѣти, съ визитомъ!

— Такъ рано!...

— Чѣмъ раньше, тѣмъ больше уваженія; а это человѣкъ важный: коллежскій совѣтникъ и кавалеръ!..

— Кто это?

— Какое вамъ дѣло? нашъ землякъ, человѣкъ съ вѣсомъ, понимаете ли: коллежскій совѣтникъ! вѣдь тутъ рукой подать до генерала. Такихъ людей я не обойду поклономъ.

Не успѣла выѣхать со двора Марціана Петровна, какъ Клеопатра Ивановна на лихомъ извозикѣ лѣтѣла по Невскому Проспекту, прямо за Лиговку.

Иванъ Тарасовичъ только что хотѣлъ идти со двора и стоялъ со шляпой въ рукахъ, какъ явилась къ нему тощая дѣвица пожилыхъ лѣтъ и отрекомендовалась его родственницей.

— Съ какой стороны? смутясь, спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Со стороны вашей супруги: я родная сестра Юліи Ивановнѣ.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте, въ другое время... началъ было Иванъ Тарасовичъ.

— Я устала, позвольте пристѣсть, и, не дожидаясь отвѣта, Клеопатра Ивановна сѣла на диванъ.

Иванъ Тарасовичъ тоже нехотя пристѣлъ.

Клеопатра Ивановна начала хвалить Ивана Тарасовича, потомъ стала ругать сестру Юлію, находила въ ней всевозможныя дурныя качества и отыскала только одну добродѣтель, безконечную любовь, привязанность къ супругу, т. е. къ нему, Ивану Тарасовичу, и кончила описаніемъ бѣдственной картины положенія Юліи: даже уподобила ее человѣку, который умираетъ отъ голода, между тѣмъ, какъ у него передъ глазами стоятъ вкусныя кушанья.

— Согласенъ, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ смягченнымъ голосомъ,—но послѣ всѣхъ обмановъ, огорченій, неприятностей, которыя я перенесъ отъ вашей сестрицы...

— Повѣрьте мнѣ, что девять десятыхъ этихъ непріятностей произошло отъ неумѣнія владѣть собой, отъ неумѣнія жить, а не отъ злобы; она не зла, а немножко вѣтрена; много она терпѣла въ разлукѣ съ вами, но это все ничего съ тѣмъ, что предстоитъ ей. Простите ее, она умретъ, если вы ее не простите!

— Я здѣсь не вижу причины умереть

— Вы не знаете, что наша маменька очень строга; мы ее или, лучше. Юлія и Маша вчера увѣрили, что вы въ Кронштадтѣ. и потому не были въ нашемъ семейномъ кругу; но пройдетъ время, маменька узнаетъ ваше житіе и — я знаю, — она проклянетъ Юлію; проклятiе матери сведетъ ее въ гробъ. Пощадите ее, я васъ умоляю!... И Клеопатра Ивановна бросилась на колѣни передъ докторомъ.

— Сударыня! что съ вами? ради Бога, встаньте? кричалъ Иванъ Тарасовичъ, поднимая ее: — я готовъ все сдѣлать для васъ; встаньте, Бога ради!..

— Простите несчастную! простонала Клеопатра Ивановна, сядя на диванъ и утирая слезы.

— Сударыня, началъ Севрюгинъ: — я васъ уважаю, какъ умную и прекраснаго сердца дѣвушку, и потому есть вещи, которыхъ я вамъ объявить не могу, которыя...

— Добрые люди дѣлаютъ благодѣянія не разсчитывая... Говорите, да или нѣтъ?

Иванъ Тарасовичъ колебался: у него на глазахъ навернулись слезы.

— Вѣрно я напрасно умоляла васъ, сказала Клеопатра Ивановна, гордо подымаясь съ дивана — теперь я понимаю, что въ семейныхъ ссорахъ не одна сестра причиной; какъ ужиться женщинѣ, любящей всей душой, съ такимъ хладнокровнымъ, безчувственнымъ человекомъ!... Прощайте. Я съ вами заговорила; намъ было хорошо, тепло... а она, бѣдная, прибавила Клеопатра Ивановна, будто говоря съ собою, — все это время дрожала у подъѣзда, дожидая рѣшенія своей участи...

— Кто? спросилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Женщина, которая васъ любитъ всей душой, несмотря на ваше хладнокровіе, на ваши требованія, можетъ-быть, и капризы, которая съ любовью, раскаяніемъ и страхомъ ждетъ на холодѣ у воротъ, какъ нищая милостыни, вашего прощенія!.. Это сестра моя, Юлія, бѣдная Юлія!...

— Неужели?! закричалъ докторъ, выбѣгая изъ комнаты.

Клеопатра Ивановна насмѣшливо улыбнулась вслѣдъ ему и сошла внизъ по лѣстницѣ; тамъ разыгралась чувствительная сцена: Иванъ Тарасовичъ плакалъ, обнимая свою жену, признавался, что вино-

вать, что не понималъ и называлъ ее нѣжнѣйшими именами; Юлія Ивановна рыдала, обнимая мужа, и едва выговаривала: „какъ я счастлива!“ Въ такомъ положеніи супруги вошли въ комнаты, сопровождаемые, словно стражей, Клеопатрой Ивановной.

VIII.

Свой своему поневоле другъ

Пословица.

Яке кориння, таке й насиння.

Малорос. поговорка.

Торжественно шумя складками желтаго шелковаго платья, Марціана Петровна заключила въ свои грозныя объятія новаго сына, Ивана Тарасовича; Иванъ Тарасовичъ, давно не испытывавшій подобныхъ родительскихъ нѣжностей, а можетъ-быть и вспомни свою покойную матушку, немного прослезился; дамы поднесли къ глазамъ платочки, самъ Аѳанасій Аѳанасевичъ почтительно стоялъ, опушта свои длинные усы. Было зрѣлище, достойное мелодрамы!...

Марціана Петровна во весь день не отпускала отъ себя Ивана Тарасовича, называла его своимъ милымъ сыномъ, говорила, что нашла въ немъ гораздо — болѣе, нежели ожидала; что она съ перваго взгляда полюбила его всѣмъ сердцемъ, сроднилась съ нимъ, будто сто лѣтъ была знакома, пила за обѣдомъ его здоровье и т. п. Всѣхъ пріятныхъ мелочей, отъ которыхъ таялъ Иванъ Тарасовичъ, не упомяну.

Докторъ, обласканный тещей, сдѣлался покорнѣйшимъ слугою; не было, кажется, услуги, которой бы не выполнилъ Иванъ Тарасовичъ для Марціаны Петровны, съ радостью, не жалѣя ни денегъ, ни времени, ни другихъ пожертвованій. Не такъ ли бѣдная, забытая, загнанная собака привязывается къ первому человѣку, ласково бросившему ей кусокъ хлѣба? Извините за сравненіе.

Марціана Петровна какъ-то въ разговорѣ замѣтила Ивану Тарасовичу, что ей жить у Аѳанасьевыхъ немного стѣснительно, и что, какъ ни пріятно ей провести время вмѣстѣ съ дочерьми, но она скоро должна будетъ уѣхать въ деревню. Иванъ Тарасовичъ почти обидѣлся этимъ и предложилъ тещѣ переѣхать къ нему. Марціана Петровна для виду стала немного отнѣкиваться: „Я васъ, сказала она, стѣсню“.

— Помилюте, маменька! я сейчас ѣду и нанимаю на Невскомъ лучшую квартиру въ бельэтажѣ, сказалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Это слишкомъ; я не хочу, отвѣчала Марціана Петровна: — мнѣ грѣхъ разорять васъ, мои дѣти; если переѣду, такъ просто на вашу теперешнюю квартиру.

— Какъ вамъ угодно, радъ вамъ повиноваться!

И Иванъ Тарасовичъ расцѣловалъ плотныя руки своей тещи.

И вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ на квартирѣ Ивана Тарасовича вокругъ чайнаго стола сидѣли: онъ самъ съ женой, его теща, Клеопатра Ивановна и сестрица Эмилиа, Дамы пили чай, ѣли тартинки и весело щебетали, какъ выводокъ воробьевъ весной на крышѣ противъ теплаго солнышка. Иванъ Тарасовичъ былъ восхищенъ до-нельзя: передъ нимъ осуществилась одна изъ картинъ нѣмецкихъ романовъ, которая еще съ дѣтства глубоко запала въ его сердце. Притомъ, его жена съ пріѣзда маменьки сдѣлалась словно шелковая, ласкалась къ нему, какъ избалованная кошечка.

— Ахъ, маменька! кричалъ Иванъ Тарасовичъ: — какъ я вамъ благодаренъ: вы превезли ко мнѣ счастье: вы добрый духъ, покровительствующій мнѣ, бѣдняку! Я не знаю, чѣмъ заслужилъ у Бога такую радость....

При этихъ словахъ, онъ цѣловалъ ручки маменьки, сестрицы и горячо обнималъ жену.

Но эти семейныя радости никакъ не избавили отъ *таковаго же* огорченія по случаю тѣсной квартиры. Гдѣ жилъ холостякъ Иванъ Тарасовичъ очень просторно, гдѣ потомъ жилъ онъ женатый прилично, тамъ, помѣстивъ еще старуху-матушку, двухъ сестрицъ, сына да ихъ прислугу, не могъ онъ избѣжать тѣсноты. Эмилиа еще ничего; но для старухи нужна особая комната: старуха привыкла къ нѣкоторымъ условіямъ жизни, которыя ей мѣнять на старости было тяжело; Клеопатра Ивановна, находясь на крайней границѣ отцвѣтанія, необходимо требовала особенной комнаты съ особыми выходами, съ особеннымъ освѣщеніемъ, съ особенными занавѣсками: тамъ она проводила многіе часы въ бѣсѣдѣ съ отчаянными косметическими наставленіями и средствами, тщетно стараясь задержать, хоть на мгновенье, быстро-улетающую красоту свою, хоть на минуту оживить безпощадно-увядавшія прелести — пора, страшная для дѣвушки! Не насмѣшки, а глубокаго сожалѣнія достойна она! Какъ же не дать было Клеопатрѣ Ивановнѣ особенной комнаты? Вскорѣ Марціана Петровна, не-

смотря на свою деликатность, заикнулась, что квартира тѣсновата, Клеопатра Ивановна подтвердила замѣчаніе маменьки; Юлія Ивановна, нѣжно обнявъ мужа, сказала: „не безпокойтесь, мой Жанъ уладитъ это дѣло — не правда ли?“

— Правда, душа моя; я и самъ думалъ объ этомъ, да боялся огорчить маменьку: она подумаетъ, что мы мотаемъ.

— Господи сохрани меня! вскричала теща, перекрестясь размахисто: — а что нужно, того нельзя перемѣнить.

Иванъ Тарасовичъ сломя — голову бѣгалъ два дня по городу, и едва на третій нашелъ квартиру въ одной изъ лучшихъ, широкихъ улицъ города. Вы, можетъ-быть, и видали: домъ каменный въ два этажа; еще во второмъ, или бельэтажѣ, есть на улицу большой, длинный балконъ, родъ галереи, на него выходятъ стеклянныя двери и шесть оконъ; этотъ самый бельэтажъ нанялъ Иванъ Тарасовичъ. Квартира была обширная, въ 11 комнатъ; онъ прикупилъ лучшей мебели, убралъ квартиру, украсилъ и переѣхалъ со всѣмъ семействомъ, обрадованный до-нельзя.

Марціана Ивановна замѣтила зятю, что на такой прекрасной квартирѣ нехудо бы обзавестись парой лошадокъ, очень жалѣла, что отъ своей тройки продала уже пару и подарила ему на новоселье третью, которой, между нами сказать, никто не покупалъ даже за безпѣнокъ. Иванъ Тарасовичъ съ чувствомъ благодарилъ тещу за подарокъ; теща говорила, что ей совѣстно дарить такую неказистую лошадь, хоть эта лошадь, отнѣнной породы и удивительный рысакъ, и стоитъ только раскормить ее, чтобы удивить весь городъ.

— Не стыдно ли вамъ, сказалъ Иванъ Тарасовичъ: — вѣдь я очень помню нашу родную, русскую пѣсню:

Мнѣ не дорогъ твой подарокъ,
Дорога твоя любовь!

— Истинный сынъ мой! замѣтила Марціана Петровна, обнимая Ивана Тарасовича.

Зажилъ Иванъ Тарасовичъ въ нѣдрахъ многочисленнаго роднаго семейства, которое еще увеличилось братцемъ Гаврюшей, который вовсе неожиданно, какъ говорила Юлія Ивановна, пріѣхалъ въ Петербургъ съ обозомъ мерзлой домашней птицы. Марціана Петровна подарила Ивану Тарасовичу десятокъ гусей, пять индѣекъ и барана, и просила его (не настоящаго барана, а зятя) принять родственное участіе въ Гаврюшѣ, коли онъ уже сглухнулъ и пріѣхалъ въ Питеръ: авось изъ

него выйдет докторъ или что - нибудь другое путное и полезное. Иванъ Тарасовичъ поцѣловалъ ручку маменьки и сказалъ: „это мой долгъ“, одѣлъ Гаврюшу съ ногъ до головы, купилъ ему латинскую грамматику Кошанскаго и помѣстилъ его въ лучшей комнатѣ, выходившей окнами на балконъ. Гаврюша исправно обѣдалъ и ужиналъ, сидѣлъ въ своей комнатѣ, глядя по цѣлымъ часамъ на проходившихъ, или, раскрывъ латинскую грамматику, бралъ хлестъ со свисткомъ и, уставя глаза на пестрыя буквы, свистѣлъ что было мочи; пронзительный свистъ раздавался по всему дому. „Бѣдное дитя!“ замѣчала Марціана Петровна: „воображаетъ, что онъ дома на охотѣ и скликаетъ собакъ“. Доктору рѣдко удавалось слышать этотъ свистъ: онъ съ утра до вечера ѣздилъ къ больнымъ. У него уже завелись свои лошади: онъ къ подаренной маменькою прикупилъ другую. Кучеръ объявилъ, что купленная лошадь хорошая, горячая и непременно издохнетъ, если ее станутъ запрягать съ деревенской клячей. Иванъ Тарасовичъ купилъ третью.

Такъ шло время беззаботно, пріятно. Иванъ Тарасовичъ ни о чемъ не заботился, кромѣ денегъ. Марціана Петровна распорядилась деньгами прекрасно. Были бы деньги, а она кормила и поила все семейство на славу, принимала гостей, ругалась съ дворней... Многіе говорили, что Иванъ Тарасовичъ живетъ не по состоянію, что онъ часто мѣняетъ на ходячую монету банковые билеты, собранные въ продолженіе многихъ лѣтъ. Иногда эти рѣчи доходили до слуха Ивана Тарасовича. „Они правы“ думалъ Иванъ Тарасовичъ: „да къ чему мнѣ деньги, если я не захочу ими улучшить жизнь моихъ милыхъ родственниковъ? Я вѣдь одинъ на бѣломъ свѣтѣ; у меня только и роду, что жена да ея родные!... Я очень желалъ бы имѣть случай доказать Марціанѣ Петровнѣ, какъ высоко цѣню ея любовь ко мнѣ и истинно-материнскую привязанность.“

За случаемъ дѣло не стало

Какъ-то вечеромъ сидѣлъ Иванъ Тарасовичъ въ кабинетѣ и читалъ книгу. Въ кабинетъ вошла Юлія Ивановна, взяла мужа за подбородокъ, посмотрѣла въ глаза и поцѣловала. Этотъ пріемъ всегда удавался; фосфорическаго огня темно-голубыхъ глазъ Юліи Ивановны никогда не могъ выносить Иванъ Тарасовичъ; онъ прищуривался и спросилъ: — Что тебѣ нужно, душенька?

— Ахъ!.. сказала Юлія Ивановна и обняла мужа.

— Что съ тобой, другъ мой?

— Ничего, я растрожена... Что за добрый женщина! что за благороднѣйшее существо!...

— Чѣмъ ты растрожена? о комъ ты говоришь? кто эта женщина?

— Наша маменька. Что за ангелъ!

— Я это и безъ тебя знаю: рѣдкая женщина.

— Ахъ, я сейчасъ видѣла; еслибъ я могла показать тебѣ... Впрочемъ, это не будетъ съ моей стороны нескромность. Пойдемъ.

— Куда?

— Ступай скорѣе, только не стучи сапогами.

— Въ маменькину комнату?

— Да.

— Помилуй, я въ халатѣ!

— Ничего, она не замѣтитъ насъ. Ну, ради Бога, пойдемъ! Ахъ, какой несносный!

— Не сердись, не сердись, иду, иду!

Юлія Ивановна тихо, осторожно ввела мужа въ комнату маменьки; маменька сидѣла спиной къ двери и что-то прилежно писала, наклонясь къ столу. На столѣ горѣли двѣ свѣчки. Приложивъ палецъ къ губамъ, Юлія Ивановна на цыпочкахъ подошла къ маменькѣ, осторожно посмотрѣла ей черезъ плечо и поманила пальцемъ мужа. Иванъ Тарасовичъ тоже тихонько подошелъ и началъ читать письмо. Марціана Петровна такъ была занята писаньемъ, съ такимъ усердіемъ выводила четкія крупныя буквы на бумагѣ, что казалось, ничего не видѣла и не слышала вокругъ себя. Иванъ Тарасовичъ прочелъ: „Не беспокойтесь обо мнѣ, другъ мой: я нашла въ Севрюгинѣ отраду на старости; это не человѣкъ, а золото, любитъ меня и жалуется, какъ родную мать. Только одна забота у меня: о нашей бѣдной деревушкѣ; если ее за долги продадутъ съ публичнаго торга, то подъ старость намъ негдѣ будетъ головы приклонить; но хотѣ продадутъ деревню, а я ни за что не рѣшусь беспокоить добрыйшаго Ивана Тарасовича; онъ и то много для меня дѣлаетъ... мнѣ совѣстно. Если онъ откажетъ, я умру со стыда и печали...“ Далѣе Иванъ Тарасовичъ не могъ читать: слезы наполнили глаза его; буквы въ письмѣ Марціаны Петровны приняли всевозможные радужныя цвѣта, зашевелились, задвигались и заплясали длинными вереницами на бумагѣ. Иванъ Тарасовичъ не выдержалъ, схватилъ тещу за руку и закричалъ: „Не пишите, не пишите! Не стыдно ли вамъ такъ думать обо мнѣ, маменька?“

— Ахъ!.. вскрикнула Марціана Петровна. Вдругъ лицо ея приняло самый строгій

видъ, и она довольно выразительно сказала:—Зачѣмъ вы здѣсь? не стыдно ли вамъ подсматривать чужія письма?

— Маменька, я вамъ не чужой! Извините меня. Зачѣмъ вы сомнѣвались во мнѣ? говорилъ Иванъ Тарасовичъ:—я готовъ для васъ всѣмъ пожертвовать.

— Очень вѣрю. Но кто же вамъ позволилъ читать мои письма, и такимъ тайнымъ образомъ?

— Это я виновата, маменька! кричала Юлія Ивановна, бросаясь на шею матери:—мнѣ стало жалко васъ; я видѣла, что вы писали письмо къ папенькѣ и плакали; это меня растрожило, я подкралась, прочитала и—виновата—уговорила мужа посмотришь... Не сердитесь, все къ лучшему. Слава Богу, что мы увидѣли: мы вамъ пособимъ—не правда ли? такъ?

— Располагайте мною, маменька! Прикажете, сколько нужно заплатить, и если это не превышаетъ моего капитала, я сегодня же, сейчасъ же внесу деньги куда слѣдуетъ.

— Ахъ, вы, мой добрый Иванъ Тарасовичъ, истинный вы сынъ мой!.. Но все я на васъ сердита: какъ вы рѣшились придти ко мнѣ и потихоньку читать мое письмо? вѣдь это дерзость! Одной Юліи только могла придти подобная штука въ голову... Ахъ, Юлія!..

— Простите меня...

— Ничего, а въ наказаніе я не хочу брать у васъ денегъ: пускай продадутъ нашу деревню, пусть я съ мужемъ останусь безъ пріюта, а не возьму. Идите спать, дѣти.

Иванъ Тарасовичъ всю ночь спалъ спокойно: онъ не могъ себѣ простить, что оскорбилъ матушку. И по утру, за чаемъ, опять присталъ къ Марціанѣ Петровнѣ, чтобы она позволила ему уплатить долгъ.

— Это долгъ казенный, замѣтила теща, смягчась понемному просьбамъ зятя.—Видишь, мы должны внести проценты 3000 руб. ассигнаціями—сумма порядочная! Наши обстоятельства теперь немного разстроились: падежъ на скотъ подрѣзалъ насъ. Не внесемъ процентовъ, можетъ быть худо. И еслибъ я наплась вынужденной взять у васъ эту сумму, то развѣ въ долгъ...

Иванъ Тарасовичъ возражалъ, Марціана Петровна понемному уступала, и дѣло кончилось тѣмъ, что докторъ досталъ изъ шкатулки банковый билетъ въ тысячу рублей серебромъ и предложилъ на уплату процентовъ. Тутъ кстати подвернулся усатый братецъ Фоя; онъ взялся сейчасъ же размякнуть билетъ и отправить три тысячи на почту.

— А остальные за пересылкой привезите обратно, замѣтилъ Иванъ Тарасовичъ.

— Это, братъ, я знаю, и говорить не къ чему; когда привозить?

— Да хоть сегодня, пожалуй, пріѣзжайте съ Марьей Ивановной къ намъ обѣдать.

Къ обѣду Фоя явился съ женой, но денегъ не привезъ.

— Три тысячи, сказалъ онъ Ивану Тарасовичу,—я отправилъ, а остальные четыреста съ чѣмъ-то считай, братъ, за за мной.

IX.

Это присказка. Пожди,
Сказка будетъ впереди.

П. Ершовъ.

Кумушки Рождественской и Каретной части немного ошибались, считая у доктора Севрюгина сто тысячъ въ ломбардѣ. Конечно, у него были деньги, но далеко меньше той суммы, въ которой подозрѣвали его всѣ, даже Юлія Ивановна и ея родственники, и потому онъ вечеромъ, послѣ отдачи тысячи рублей серебромъ тещѣ, сосчитавъ остальной свой капиталъ—изумился его ущербу и задумался. Его думы были въ родѣ слѣдующихъ: „если я такъ проживу еще съ годикъ, то послѣ жить будетъ плохо...“

— О чемъ ты задумался? спросила его Юлія Ивановна.

— Такъ, ни о чемъ.

— Быть не можетъ. Скажи мнѣ; ты меня не любишь, не хочешь говорить со мной... Ахъ, я несчастная!..

— Опять за старое! сказалъ Иванъ Тарасовичъ съ улыбкою, погрозивъ на жену пальцемъ.

— Полно, полно! перестань! И Юлія Ивановна начала цѣловать мужа.

— Я пошутилъ.

— Разумѣется! я знаю тебя: ты такой добрый! Ну, о чемъ же ты думаешь?

— Я думаю... я думаю—если тебѣ ужъ непрямѣнно хочется знать—что пропали мои пятьсотъ рублей за этимъ усатымъ кутилой, за Фоньбой.

— Кажется, можно бы лучше говорить о своихъ близкихъ родственникахъ, замѣтила довольно сухо Юлія Ивановна.

— Тутъ нечего обижаться, другъ мой: по мнѣ крѣпко ненадеженъ человѣкъ, который занимаетъ деньги, не спросивъ ихъ хозяина.

— Мнѣ кажется, по родству это можно бы сдѣлать.—онъ отдастъ.

— Нѣтъ, Юлія Ивановна, не такъ оно глядитъ, чтобъ отдалъ, а я ему ни за что не напому: мнѣ кажется, онъ въ состояніи прибить меня, если я спрошу своихъ денегъ.

— Фи, какія гадкія мысли! А еслибъ онъ и удержалъ годъ-другой, при нашемъ состояніи эта бездѣлица.

— Въ томъ-то и дѣло, что не бездѣлица: вѣдь ты моихъ денегъ не считала и не знаешь моихъ средствъ. Мы—я это говорю не въ укоръ кому-либо—мы немного живемъ не по приходамъ, и въ теперешнемъ положеніи моихъ дѣлъ пятьсотъ рублей не бездѣлица. Приходы мои уменьшились: отъ многихъ домовъ я отказался...

Юлія Ивановна не сказала ли слова, а посмотрѣла на мужа такъ, что взгляды ясно говорилъ: „какой же ты подлецъ, если у тебя денегъ нѣтъ!“

— Что ты такъ на меня глядишь, другъ мой? продолжалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Я немного испугалась. Неужели у насъ такъ мало денегъ?..

— Очень-мало.

— Однако, все есть...

— Сколько бы ты думала?

— Ну, хоть еще тысячь пятьдесятъ—шестьдесятъ...

— Да у меня ихъ никогда столько не бывало! а теперь, если соберу пять, шесть, такъ и хорошо; а тутъ расходы большіе, на квартиру, на лошадей... мало ли на что... Куда же ты?

— Я немного-нездоровая, у меня голова болитъ. Пойду къ себѣ въ комнату, лягу.

„Обманулъ я немного жену, ну, да очень-хорошо сдѣлалъ, пусть будетъ по-осмотрительнѣе: вѣдь никому же деньги будутъ, какъ *нашимъ* дѣтямъ!“ сказалъ Иванъ Тарасовичъ и улегся преспокойно спать, очень-довольный своей хитростью, или своею характерностью, какъ онъ думалъ.

Тутъ нехудо замѣтить, что, можетъ-быть, покажется страннымъ, почему я въ своемъ разсказѣ никогда не говорю о маленькомъ сынѣ Ивана Тарасовича. Что говорить о ребенкѣ? Онъ кушалъ, спалъ, какъ и всѣ ребята, кричалъ такъ громко, какъ немногіе въ его возрастѣ; у него была нянька—здоровая, бѣлокурая баба—вотъ и все. Правда, я забылъ еще одно обстоятельство: Иванъ Тарасовичъ терпѣть не могъ, чтобъ выносили ребенка изъ дѣтской, и всегда былъ къ нему очень холоденъ, будто питалъ къ нему какое-то отвращеніе, за что всѣ знакомыя Юліи Ивановны дамы называли Ивана Тарасовича камнемъ, льдомъ, жестокосерднымъ и удивлялись, какъ могла Юлія Ивановна, крот-

чайшее твореніе, жить съ такимъ варваромъ.

Наутро Иванъ Тарасовичъ замѣтилъ большую тревогу во всѣхъ своихъ домашнихъ: всѣ, начиная отъ Марціаны Петровны до Эмилиі Ивановны, были смущены, невеселы, почти печальны. „Это отъ погоды“ подумалъ Иванъ Тарасовичъ: „теперь туманъ, а одинъ извѣстный докторъ очень основательно доказалъ вліяніе погоды на состояніе тѣла, слѣдовательно и духа человѣческаго“, и Иванъ Тарасовичъ самъ немного призадумался, вспоминая цѣлую диссертацию, читанную имъ во время оно о томъ, какъ воздухъ, будучи отяжеленъ и сгущенъ влажными частицами, сдавливаетъ, сжимаетъ плотнѣе тѣло человѣка, замедляетъ кровообращеніе и проч... Но вскорѣ солнце разсѣяло туманъ и освѣтило все тѣ же угрюмыя фizioноміи. Цѣлое утро Марціана Петровна тосковала, что ей подали къ чаю гадкія сливки; и когда Иванъ Тарасовичъ уѣхалъ, сказавъ: „извините, маменька, вѣдь я самъ не доилъ коровъ, такія купили. Вотъ прикажу покупать самыя лучшія“—то гнѣвъ Марціаны Петровны разразился вполнѣ; она ворчала часа два и начала восклицаніемъ: „Дрянъ, нищій, а важничаетъ, смѣетъ грубить: „самъ не доилъ коровы!“ Полно, такъ-ли? да была ли еще корова-то у его батюшки?“

При этомъ случаѣ Юлія Ивановна замѣтила, что Иванъ Тарасовичъ тяготится ими.

— Эка важность! закричала Марціана Петровна:—да я плевать хочу на него! Зачѣмъ звалъ къ себѣ, когда жалѣетъ куска хлѣба для матери?.. Я отъ него сегодня же съѣду; а тебя пускай кормить и содержать, какъ слѣдуетъ: ты его законная жена. Зачѣмъ женился, дуракъ, когда нечѣмъ содержать жену? Живи у него, всего требуй, пусть хоть дрова рубить, а тебя содержать прилично: ты не какая-нибудь, ты дворянка, благородная!.. и безъ него нашла бы себѣ партію, еще и получила... Лекаришка какой-нибудь, а важничаетъ! Этихъ мужей только балуй сначала, такъ послѣ такую волю заберутъ, что житья не будетъ... Я это испытала... Рожномъ иди противъ—все будетъ хорошо!

На эту грозную рѣчь пріѣхалъ Аванасій Аванасьевичъ. Юлія Ивановна посмотрѣла на него такимъ умолявшимъ взглядомъ, что онъ предложилъ тещѣ переѣхать къ нему.

— Нѣтъ, голубчикъ, погоди: попытаюсь, авось его передѣлаю; жалко какъ-то оставлять.

— Пустяки, сударыня - матушка! внука можете взять съ собою, а Юлія Ивановна каждый день можетъ навѣщать васъ; насъ вы не стѣсните, вамъ же недолго остается здѣсь пожить; въ деревнѣ Эмилиі скорѣе жениха сыщете, да весна на дворѣ: безъ васъ тамъ все хозяйство станеть.

— Что правда, то правда! огорода, мотыльки, порядочно не обдѣлають, капуста не посадятъ, коли не присмотрю сама, не накричу порядкомъ да не приложу своихъ рукъ!.. а, вѣдь, коли не отъ хозяйства получить, такъ взять не-откуда.—Ты, мой батюшка, хоть и благороденъ, да нечего грѣха таить, голъ, какъ соколъ; имѣніе есть, да въ долгу, какъ въ шелку, процентовъ не платишь. Богъ тебя знаетъ, чѣмъ перебиваешься. И ея то лекаришка нищій: напрасно на него надѣялись... Убили бобра! А еще писали: вотъ-дескать подходимъ штукой, авось сбудемъ Юлію за богача.

— Помилуйте! да онъ человѣкъ...

— Ужъ не говорите мнѣ, я знаю лучше васъ, я чутьемъ слышу порядочнаго человѣка.

За обѣдомъ Марціана Петровна сильно капризилась: то супъ ей былъ горячъ, то соусъ холоднѣе, то жаркое пережарено... Изъ-за жаркого вышла дѣлая исторія: теща хотѣла отослать повара въ полицію; поваръ былъ собственный, благопріобрѣтенный человѣкъ Ивана Тарасовича; Иванъ Тарасовичъ воспротивился отсылкѣ повара въ часть. Марціана Петровна не настаивала, а принялась плакать, говоря, что гадкаго холопа мѣняетъ зять на нее, благородную женщину и близкую родственницу; ея дочери плакали, говоря, что маменька обижена, и имъ теперь жутко жить на свѣтѣ послѣ этого. Юлія плакала молча.

„Что на нихъ нашло?“ подумалъ Иванъ Тарасовичъ: „ужъ не эпидемія ли какая? не обѣлились ли онѣ чѣго ядовитаго?“ и хотѣлъ даже пощупать пульсъ у Марціаны Петровны да на первый разъ прописать стаканъ два оршада съ клецевиннымъ масломъ, а тамъ приняться и за слѣдующихъ; но послѣ обѣда всѣ онѣ ушли, немного спустя куда-то уѣхали и возвратились, когда уже докторъ спалъ.

Потру Марціана Петровна рѣшительно объявила Ивану Тарасовичу, что она, чувствуя себя въ его домѣ лишнею, рѣшилась переѣхать къ Аѳанасію Аѳанасьевичу.

Иванъ Тарасовичъ былъ неожиданно пораженъ этимъ извѣстіемъ; ему стало какъ-то тяжело и горько на душѣ. Онъ молча стоялъ и думалъ: „Боже мой, что я за несчастный человѣкъ! Правду мнѣ толковали отъ самаго дѣтства, что я никуда не го-

жусь, что я дрянъ, что я позоръ, поношеніе челоуѣчества! Иногда я въ гордости думалъ: не правда, лгали на меня! и выходитъ правда: никто не уживется со мной! всѣ меня оставляють!“

— Что жъ вы молчите, сударь? что не благодарите за пріятное извѣстіе? Я сокращу вашъ расходъ, я не хочу быть вамъ ничѣмъ обязанной; и бездѣлицу, которую я заняла, вы получите непременно, только поправятся мои обстоятельства.

— Къ чему это? помилуйте... Я знаю обязанности... началъ было Иванъ Тарасовичъ.

— Не хочу, не хочу, говорила Марціана Петровна, сверкая глазами:—не хочу ничѣмъ вамъ быть обязанной...

— Помилуйте, маменька, вы понимаете мои слова буквально...

— Какъ буквально? Что это значить? Вздумали меня попрекать букваремъ! Не всѣмъ учиться дѣлый вѣкъ; я, можетъ-быть, немного знаю побольше букваря; а если бы и одинъ букварь знала, такъ не вамъ попрекать меня букваремъ! Вотъ до чего я дожила!.. Послѣ этого нога моя не будетъ здѣсь, я васъ и знать не хочу... Я оставляю вашъ домъ, какъ недостойнаго сына, стряхаю пыль съ ногъ моихъ. Небо видитъ мои поступки; оно накажетъ васъ!

Иванъ Тарасовичъ не на шутку испугался: эта тирада отзывалась дѣла проклятіемъ, какихъ ему много случалось читать на своемъ вѣку. Онъ уговаривалъ тещу, общалъ отослать повара не только въ полицію, но хоть въ исправительный домъ; самъ брался лично отвезти его—ничто не помогало: видно было, что Марціана Петровна знала, что дѣлала, и къ вечеру докторъ одинъ гулялъ по своей опустѣлой квартирѣ. Юлія Ивановна поѣхала навѣстить матушку на новосельи; правда, еще было въ квартирѣ живое существо—братецъ Гаврюша; онъ сидѣлъ въ своей комнатѣ и свистѣлъ въ хлыстикъ.

Недѣлю три прожила Марціана Петровна у Аѳанасія Аѳанасьевича; во все это время Иванъ Тарасовичъ почти никогда не видалъ своей жены: она то навѣщала маменьку, то ѣздила навѣдываться о здоровьи своего сына; возвращалась поздно ночью, часто и совсѣмъ не ночевала и видимо охладѣла къ своему супругу. Часто Иванъ Тарасовичъ намекалъ ей объ этомъ.

— Ахъ, Боже мой! отвѣчала она: неужели ты мнѣ запретишь провести нѣсколько дней съ маменькой, можетъ-быть, послѣднихъ въ моей жизни; вѣдь старуха скоро уѣдетъ; Богъ-знаетъ, когда увидимся!

— Ладно, ладно, говорилъ Иванъ Тарасовичъ, успокоенный отвѣтомъ жены:—только какъ уѣдетъ маменька, посиди, другъ

мой, со мною; не повѣришь, какая скука гулять одному по этой огромной квартирѣ.

— Знаешь ли, мой дружочекъ, вдругъ заговорила Юлія Ивановна самымъ ласковымъ, самымъ гармоническимъ голосомъ:— что намъ дѣлать съ такой большой квартирой? не принять ли намъ къ себѣ сестру Марью Ивановну?

— Какъ? а мужъ ее развѣ бросилъ?

— Фи! нѣтъ! съ мужемъ; вѣдь ихъ только двое, и намъ было бы веселѣе...

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ! для меня и эта квартира мала, мнѣ нуженъ просторъ... Иванъ Тарасовичъ нахмурился.

— Твоя воля, отвѣчала печально жена и уѣхала къ матушкѣ.

Между-тѣмъ, добрые пріятели попрежнему стороной, деликатно, обиняками, что называется, спрашивали Ивана Тарасовича о его женѣ, о ихъ отношеніяхъ, говорили, что часто видятъ ее опять на Невскомъ подъ-руку съ усатымъ братцемъ, и т. п.

— Да, да, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ:— она теперь часто гоститъ у своей матушки. Старуха такая добрая; пожила у меня, а теперь передъ отъѣздомъ, переѣхала къ другой дочери; говорить, чтобъ никому не было обидно. Ну, вотъ моей Юліи и не удержишь дома: все къ матушкѣ, да къ матушкѣ. Дѣлать нечего, кровь не вода: пусть погоститъ у нея.

Наконецъ, матушка уѣхала. Иванъ Тарасовичъ не зналъ, что и подумать о своей супругѣ. Она рѣшительно, какъ говорится, отбилась отъ рукъ: исчезла Богъ знаетъ куда, явилась домой неожиданно, пропадала по цѣлымъ днямъ. Иванъ Тарасовичъ сначала было сердился, но видя, что она не обращаетъ никакого вниманія на слова его, не старается даже, какъ прежде, обмануть его грубою ложью или лестью усыпить его подозрѣнія, махнулъ рукой и замолчалъ. Онъ сдѣлался ко всему хладнокровенъ, задумчивъ; на него нашла какая-то ипохондрія и спячка. Чуть пріѣдетъ домой и уже спитъ. Часто онъ отказывалъ больнымъ, говоря, что нездоровъ, и засыпалъ преспокойно, не думая, что, можетъ-быть, минуты дороги, и пока найдутъ другаго доктора, больной будетъ рѣшительно безнадеженъ.

Разъ Иванъ Тарасовичъ былъ у больного купца. Купецъ подробно рассказалъ ему свою болѣзнь; Иванъ Тарасовичъ задумался.

— Вотъ, батюшка, еще тутъ есть сумлѣніе насчетъ, примѣрно сказать, пищи, прибавилъ купецъ, сказавъ свою рачею.

— Какое? спросилъ докторъ.

— Извольте видѣть: теперь постъ, я кушаю постное, а говорятъ, доктора этого не позволяютъ...

— Да, нельзя, нельзя...

— Помилуйте, будьте отцомъ-благодѣтелемъ, ужъ мы за себя постоимъ, въ накладе не останетесь, только позвольте.

— Что позволить?

— Да постное кушать, какъ я докладывалъ давеча вашей чести.

— Хорошо, хорошо, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ, задумался и прописалъ рецептъ.

Каково же было изумленіе купца, когда ему принесли изъ аптеки десять унцовъ ухи изъ ершей и кусокъ жареной осетрины!.. Купецъ стѣлъ уху и осетрину, и, правда, выздоровѣлъ, но рассказъ объ этомъ съ преувеличеніемъ пошелъ по городу.

Разъ возвратился Иванъ Тарасовичъ домой вечеромъ, часу въ седьмомъ, и началъ звонить у двери своей квартиры, звонилъ полчаса — никакого отзвѣта; онъ походилъ съ полчаса по улицѣ и опять принялся звонить — нѣтъ отвѣта. Иванъ Тарасовичъ кликнулъ дворника—дворника не было. „Не ночевать же мнѣ на дворѣ“ подумалъ онъ. „Это очень странно: у меня въ домѣ три человѣка, да четвертый братецъ Гаврюша. Не можетъ быть, чтобъ они всѣ разомъ куда-нибудь вышли. Ужъ не случилось ли чего? Надобно дѣйствовать осторожно“. Докторъ отправился къ ближней будкѣ, взялъ городского и подчаска и просилъ ихъ разломать дверь. Уже блюстители порядка начали — было какимъ то желѣзнымъ инструментомъ, очень похожимъ на острую палку, пробовать дверь со всѣхъ сторонъ, какъ пришелъ дворникъ, вѣроятно привлеченный шумомъ на лѣстницѣ.

— Кто тутъ? спросилъ онъ.

— Я, Никита, отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ:—гдѣ тебя нелегкая носить? Я два часа звоню, не дозвонюсь у себя никого; за тобой ходилъ, тебя не было: такъ я позвалъ полицію.

— Куда же вамъ надобно, ваше высокоблагородіе? спрашивалъ изумленный дворникъ.

— Къ себѣ, въ квартиру! Куда же больше?

— Да вѣдь съ этой квартиры другой мѣсяцъ, какъ жильцы выѣхавши. Ваша по выше, во второмъ этажѣ.

Иванъ Тарасовичъ оглянулся кругомъ, плюнулъ и пошелъ выше, ворча: „какъ меня обморочило!“

Согласитесь, могъ ли человѣкъ въ такомъ состояніи быть хорошимъ докторомъ?.. Не удивительно, что больные мало-по-малу оставляли его, и наконецъ онъ остался

совершенно безъ практики. Къ довершенію несчастія, въ одну безлунную ночь, когда жена его была въ отсутствіи, навѣщала больную сестру Марью Ивановну, а Иванъ Тарасовичъ спалъ обычнымъ мертвымъ латаргическимъ сномъ, какой-то фокусникъ влѣзъ на балконъ, намазалъ патокой стекла, чтобъ они не звенѣли, выдавилъ ихъ, влѣзъ въ комнаты и распорядился, какъ дома; тогда начиналась весна: вѣрно онъ вообразилъ, что перебирается на дачу и взялъ все, что было можно взять, даже и лишнее: пубы и теплые салоны.

Извѣстіе о покражѣ не произвело на доктора сильнаго впечатлѣнія; онъ махнулъ рукой и не подаль объявленія въ полицію. „Молодецъ!“ сказалъ Иванъ Тарасовичъ, рассматривая выдавленные стекла: „не хочу ему мѣшать; мастеръ своего дѣла—пусть одинъ пользуется!“

X.

Заглянетъ въ облако любое—
Его такъ пышно озаритъ,
И вотъ вошло уже въ другое,
И не надолго посѣтитъ.

А. Пушкинъ.

Спалъ да спалъ Иванъ Тарасовичъ; его обокрали—онъ спалъ; и вотъ уже два дня нѣтъ его супруги, а онъ все спитъ. Кто-то изъ людей напомнилъ ему, что уже третьи сутки нѣтъ барыни. „Богъ съ нею!“ отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ и спокойно улегся, въ намѣреніи соснуть немного до обѣда; но спать ему не далъ усатый братецъ Фоня: онъ ворвался, какъ бѣшеный, въ кабинетъ Ивана Тарасовича и закричалъ:

— Гдѣ Юлія Ивановна?

— О комъ вы говорите? хладнокровно спросилъ Иванъ Тарасовичъ, нехотя поднимаясь съ постели.

— О женѣ вашей.

— А вамъ до нея какое дѣло?

— Она сестра жены моей, наша родственница, и мы требуемъ...

— Моя жена не обязана давать отчета въ своихъ поступкахъ ни вамъ, ни вашей женѣ.

— Послушайте, у насъ есть законы; это ваши штуки; куда вы ее дѣвали?

— Оставьте меня спать. Я почти мѣсяцъ не видѣлъ своей жены, а не бѣгалъ справляться къ вамъ, да и вы не трудитесь навѣщать меня.

— Это потому, что Юлія Ивановна очень любитъ свою сестру и всякій день ее навѣщала, а теперь ея нѣтъ; мы ея не ви-

димъ третьи сутки: посылали у васъ спра- виться—и у васъ ея нѣтъ; гдѣ же она?

— Такъ она не у васъ? гдѣ же она? въ свою очередь спросилъ удивленный Иванъ Тарасовичъ.

— А! вотъ насилу заговорилъ, братъ, языкомъ немного-человѣческимъ. Вели-ка подать бутылку вина; мнѣ чертовски пить хочется; а тамъ я тебѣ расскажу кое что... да только вина дай основательнаго, не шипучки, не французскаго квасу, а мадеры или хересу! Ты, братецъ, просто фатуй, колпакъ, а не мужъ, продолжалъ усачъ:—пей же хересь, а то ничего не расскажу... Ну, вотъ такъ, ладно! Видишь; ты спишь, какъ сурокъ, какъ медвѣдь зимой, а у тебя подъ-носомъ комедію представляютъ, штуки выкидываютъ—понимаешь?

— Не очень.

— Ну, скажу проще; тебѣ, знать, не поутру высокія рѣчи. Я и самъ ихъ не больно жалую... Вотъ видишь: ты спишь, а у тебя украли жену.

— Быть не можетъ!

— А почему такъ? Что, не бойсь, она тебя любить? Положимъ, не украли; гдѣ же она?

— Богъ ее знаетъ!

— А можетъ-быть и добрые люди знаютъ; хоть не знаютъ, такъ догадываются. Что, не бойсь, она въ воду бросилась? не такова птица! Я ее раскусилъ порядочно; она брата родного продастъ, промѣняетъ, а мужа и подавно.

— Коли украли, что я стану дѣлать? гдѣ искать ее?

— Тебѣ-то ничего не сдѣлать; лучше говори: что мы станемъ дѣлать? Я, братъ, этого дѣла такъ не оставляю; я покажу ей, какъ чернить имя родственниковъ! Бѣдная ея сестра плачетъ—не наплачется...

— Дѣлайте, что хотите; пожалуй, и я съ вами же поѣду.

Хересь начиналъ немного оживлять Ивана Тарасовича.

— Ладно. Мы сейчасъ же должны отправиться въ Павловскъ.

— Зачѣмъ?

— Это мое дѣло. Я замѣчалъ нѣкоторые ея взгляды и поклоны при встрѣчѣ съ людьми, ни мнѣ, ни тебѣ незнакомыми. Эти люди, по нѣкоторымъ признакамъ, живутъ въ Павловскѣ. Вдемъ. Смѣлымъ Богъ владѣть!

Быстро перелетѣли наши два братца по желѣзной дорогѣ въ Павловскъ, пообедали на-скоро въ вокзалѣ и пошли гулять по самымъ уединеннымъ аллеямъ, сговорясь, если увидятъ ее, извѣстить сейчасъ же другъ друга. Съ полчаса гулялъ Иванъ Тарасовичъ и уже было - началъ забывать

цѣль своей прогулки, какъ слышалъ не-
вдалекѣ громкія слова усаца Фони:

— Вы мерзавецъ! вы увозите чужихъ
женъ; я осрамлю васъ передъ цѣлымъ обще-
ствомъ... А въ рукопашный хотите? такъ я
васъ уничтожу, изомну, какъ старую не-
годную понтерку—понимаете?

Когда Иванъ Тарасовичъ прибѣжалъ
на мѣсто, то уже стоялъ усачъ одинъ, дер-
жа на рукахъ лежавшую въ обморокъ Юлію
Ивановну; вдали убѣгала какая-то фигура
голубо-краснаго цвѣта—вѣрно у Ивана Та-
расовича въ глазахъ радужило...

Усатый братецъ во всю дорогу очень
грубо обращался съ Юліей Ивановной и
ворчалъ: „я тебѣ покажу, какъ измѣнять
мужу!“

Когда пріѣхали домой, усачъ посовѣ-
тывалъ Ивану Тарасовичу держать жену
построже и даже, на первый случай, по-
садить ее подъ арестъ и уѣхать.

Иванъ Тарасовичъ взялъ жену за ру-
ку, ввелъ въ комнату брата Гаврюши, по-
клонился, вышелъ, заперъ за собой дверь
на замокъ, а ключъ положилъ въ карманъ,
и остался очень доволенъ своею строгою
мѣрой.

Юлія Ивановна, оставшись одна, за-
пертою въ комнатѣ, не могла представить,
чтобъ ея мужъ, смирный Иванъ Тарасо-
вичъ, рѣшился на подобную штуку.

— Будь отъ кого другого, я перенесла
бы терпѣливо; но отъ Севрюгина—никог-
да! Это баба, безъ характера баба, дрях-
лая баба! И онъ смѣетъ управлять мною!

И Юлія Ивановна обрѣзала передъ
зеркаломъ свои прекрасныя кудри, приче-
сала ихъ à la poujik, надѣла платье сво-
его брата Гаврюши, на голову шляпу, въ
руки хлыстикъ, вылѣзла въ окошко на бал-
конъ, вошла съ балкона въ залу, гдѣ по-
лудремалъ Иванъ Тарасовичъ, прошла пе-
редъ самымъ его носомъ, вышла на улицу
и уѣхала на первомъ извозчикѣ.

— Гаврюша! Гаврюша! говорилъ Иванъ
Тарасовичъ, когда жена его прошла че-
резъ залу. — Вишь, не откликается... И
этотъ мальчишка не слушается!.. Гаврюша!
Ушелъ!...

Немного погодя, пришелъ Гаврюша.

— Что ты, братецъ, не откликаешься?
спросилъ его Иванъ Тарасовичъ: — радъ,
что весна, тепло стало: все и сидишь на
дворѣ! До сихъ поръ третьяго склоненія...

— Я не хочу его учить: оно мнѣ не лѣ-
зеть въ голову... Отдайте меня въ полкъ,
а то изъ меня толку не будетъ.

— Въ полкъ?! — Иванъ Тарасовичъ по-
смотрѣлъ прямо на Гаврюшу и спросилъ:
— куда же ты дѣвалъ свое платье?

— Какое?

— Сюртукъ и прочее... порядочное.

— Онъ тамъ лежитъ въ моей комнатѣ.

— Терпѣть не могу, когда меня дура-
чатъ! ты сейчасъ прошелъ сюда съ бал-
кона въ сюртукѣ.

— Я и не былъ на балконѣ, а съ обѣда
все гуляю въ саду въ блузѣ...

— Пожалуйста, не ври! развѣ я глазъ не
имѣю?

— Пойдемте, посмотримъ—вы увидите.

— Нельзя; тамъ у меня есть плѣнникъ.

— Какой?

— Не твое дѣло.

— Такъ пойдемте къ окну, въ окно можно
видѣть мое платье; оно лежитъ сложенное
на стулѣ.

Подошли къ окну—окно растворено,
въ комнатѣ никого нѣтъ.

— Ахъ она плутовка! закричалъ Иванъ Та-
расовичъ:—она убѣжала въ твоемъ платьѣ!...

— Кто? въ моемъ платьѣ?

— Сестра твоя!

— Въ чемъ же я буду теперь ходить,
Иванъ Тарасовичъ? закажите мнѣ другое;
я не виноватъ.

— Зачѣмъ тебѣ? пойдешь въ юнкера—
ничего не будетъ надо.

— Развѣ такъ... только поскорѣе; а то я
вамъ все буду наскучать платьемъ.

Иванъ Тарасовичъ уже не искалъ своей
жены и очень хладнокровно слушалъ сво-
ихъ пріятелей, когда они ему рассказывали,
какъ Юлія Ивановна въ мужскомъ платьѣ
гуляетъ по аллеямъ Павловска съ моло-
дежью, и хохочетъ, и ѣстъ мороженое, и
пьетъ шампанское. Можетъ быть, замѣ-
чалъ Иванъ Тарасовичъ, это законъ при-
роды: стоитъ сорваться тѣлу съ опоры,
упасть, и со всякой секундой оно поле-
титъ быстрѣе и быстрѣе. Почему же и
нравственное паденіе не можетъ слѣдовать
этому закону?... Даже Иванъ Тарасовичъ
собирался поѣхать посмотрѣть на свою
жену въ мужскомъ платьѣ, но только со-
бирался.

Въ одинъ вечеръ Иванъ Тарасовичъ,
по обыкновенію своему, легъ спать очень
рано и былъ скоро разбуженъ. Открываетъ
глаза: въ кабинетѣ горятъ свѣчи, передъ
нимъ стоитъ жена его въ мужскомъ платьѣ,
въ шляпѣ, съ хлыстикомъ въ рукахъ и,
слегка стегая его по одѣялу, говоритъ:
„Встаньте, господинъ докторъ! мы слыша-
ли, что вы желаете посмотрѣть на свою
жену въ мужскомъ нарядѣ; вотъ она, пе-
редъ вами: полюбуйтеся? Это ваше дѣло!...“

— Ну-ка, вставайте, докторъ, прибавилъ
другой гость.

Тутъ только Иванъ Тарасовичъ раз-
смотрѣлъ, что въ комнатѣ были еще два
человѣка въ цвѣтныхъ платьяхъ.

— Что вамъ угодно, господа?

— А вотъ что: мы будемъ говорить серьезно, только не пикнуть, смотрите...

Иванъ Тарасовичъ замѣтилъ, что руки незнакомцевъ вооружены и, дрожа, всталъ съ постели.

Начались переговоры.

Люди незнакомые требовали, чтобъ Иванъ Тарасовичъ обезпечилъ свою жену одновременно капиталомъ, назначилъ ей пенсіонъ и проч... Иванъ Тарасовичъ согласился. Незнакомцы приказали, во-первыхъ, подать шампанскаго, а во-вторыхъ, послать за нотаріусомъ; но прежде взяли съ него клятву: ни словомъ, ни взглядомъ, ни движеніемъ не объявлять никому и не подавать вида, что все это дѣлается не иначе, какъ добровольно, а въ противномъ случаѣ грозили страшной местию тутъ же, на мѣстѣ преступленія. Принесли шампанское. Иванъ Тарасовичъ отдалъ женѣ остальные свои десять тысячъ рублей и подписалъ условіе, по которому онъ долженъ выдавать ежегодно женѣ по двѣ тысячи рублей на содержаніе и отдать ей въ полное распоряженіе реоенка.

— На послѣднее я съ величайшимъ удовольствіемъ согласенъ, вскрикнулъ Иванъ Тарасовичъ, потому что...

— Почему? грозно спросила, подступая къ нему Юлія Ивановна.

— Потому... потому, господа, что она его больше меня любитъ.

XI.

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и размышленья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья!

А. Пушкинъ.

Плохо стало Ивану Тарасовичу; онъ былъ обокраденъ, ограбленъ, разоренъ; у него не было денегъ, не было практики, даже отъ мѣста, гдѣ служилъ онъ, ему отказали, какъ человѣку неспособному. Страшно стало Ивану Тарасовичу въ обширной, пустой квартирѣ, гдѣ молчаніе только было порою прерываемо рѣзкимъ свистомъ брата Гаврюши. Каждую ночь Иванъ Тарасовичъ самъ запиралъ всѣ двери на замокъ, запиралъ свой кабинетъ двумя замками и еще приставлялъ къ двери столъ и кресло: ему казалось, что, того и гляди, придутъ незнакомые, цвѣтные люди, придутъ съ Юліей Ивановной и про-

сто растерзаютъ его. Испуганное выраженіе глазъ Ивана Тарасовича — слѣдствіе родительской колыбельной купели — приняло болѣе рѣзкій характеръ: въ нихъ сверкали какіе-то недобрые огоньки. Наконецъ, бѣдному Ивану Тарасовичу наскучило это положеніе; онъ понялъ, что глупо жить въ одиннадцати комнатахъ почти одному, не имѣя чѣмъ заплатить за подобную роскошь, продалъ лошадей, экипажъ, продалъ почти всю мебель за двадцатую долю, чего она стояла, и переѣхалъ опять за Лиговку, на Невскій проспектъ, въ свою старую квартиру.

Усатый братецъ Фоя, изъ вырученныхъ за мебель денегъ, взялъ у Ивана Тарасовича на обмундировку Гаврюши двѣсти рублей и увезъ Гаврюшу къ себѣ, обѣщая опредѣлить его въ полкъ и сдѣлать изъ него человѣка.

— Сомнѣваюсь, спокойно отвѣчалъ Иванъ Тарасовичъ, глядя въ землю, когда уже выходилъ усачъ съ Гаврюшей изъ комнаты.

— Отчего? развѣ я не имѣю знакомыхъ? развѣ я не могу пристроить мальчишку? Худо, братъ, о насъ думаешь, право, худо!...

— Не потому; я не сомнѣваюсь въ вашемъ могуществѣ; но Богъ, сотворивъ міръ, создалъ человѣка изъ земли, продолжалъ Иванъ Тарасовичъ, не поднимая глазъ: — здѣсь заключается глубокий смыслъ; земля есть начало жизни и конецъ ея: изъ земли все выходитъ и въ землю обращается; земля есть спайка невидимаго кольца жизни мира... да, изъ земли другое дѣло... А Гаврюша просто животное!... изъ него и не вамъ трудно сдѣлать человѣка...

Усачъ молча показалъ языкъ Гаврюшѣ, поднялъ вверхъ брови и повелъ пальцемъ по лбу, будто говоря: „свихнулъ, голубчикъ!“ потомъ мигнулъ на него значительно усомъ; Гаврюша улыбнулся, кивнулъ головой и тихо вышелъ въ слѣдъ за Аванасіемъ Аванасьевичемъ...

— Зададимъ себѣ вопросъ, продолжалъ Иванъ Тарасовичъ: — почему именно природа избрала землю орудіемъ для произведенія прекраснѣйшаго созданія? почему она не передѣлала человѣка изъ осла или барана?... Тутъ самъ вопросъ нѣкоторымъ образомъ будетъ отвѣтомъ — не такъ ли? Иванъ Тарасовичъ поднялъ глаза: передъ нимъ никого не было. „Вотъ люди!“ прибавилъ онъ, горько улыбаясь: „заговорили только съ ними о задушевныхъ предметахъ — убѣгутъ отъ тебя какъ отъ чумы, какъ отъ бѣшеной собаки!... а будутъ цѣлыя сутки слушать сплетни о томъ, какъ моя жена убѣжала въ Павловскъ, какъ кто-то обыгралъ кого-то въ преферансъ, какъ извѣстная дама красить волосы... бррр!... ка-

кая гадость! Да и что тутъ удивительнаго красить волосы?... будто одна она красить волосы—всѣ онѣ красятъ! всѣ!... и все красятъ! и волосы, и лицо, и брови, и зубы, и руки, и рѣсницы—все красятъ! Мало этого: онѣ красятъ свой голосъ, свои рѣчи, свою душу, свои мысли и чувства! все, все у нихъ подкрашенное, до первой непогоды, которая неожиданно смоетъ поддѣльныя краски и представитъ истину во всей отвратительной наготѣ!... У! и какъ тогда ничтожны покажутся эти разоблаченныя, развѣнчанныя феи!... Тогда спросите у нихъ: чѣмъ гордились онѣ? чѣмъ превозносились передъ нами? спросите у нихъ, и онѣ не въ силахъ будутъ отвѣчать вамъ; онѣ сами сознаются, что блестящи занятиемъ свѣтомъ, сверкали чужими красками, чаровали умомъ и чувствомъ, взятыхъ съ проката за дешевую цѣну, и что онѣ сами по себѣ, просто, самки!... Есть чѣмъ гордиться!...“ Иванъ Тарасовичъ захохоталъ, повторяя: „Нашли чѣмъ гордиться!... Вотъ одна польза, которую я купилъ цѣною моего состоянія, спокойствія и будущности, цѣною моей женитьбы!“

Жалкое было состояніе Ивана Тарасовича! Иванъ Тарасовичъ, казалось, ожилъ, когда переѣхалъ на старую квартиру. Онъ усѣлся по прежнему въ кабинетѣ у камина, хотя уже не было здѣсь прежнихъ малиновыхъ занавѣсокъ и обои были измараны какими то жильцами, которые недавно съѣхали съ этой квартиры на дачу. Но все таки онъ усѣлся и раскурилъ сигару. Это уже была не прежняя сигара, ароматная, гаванская, *Regalia amoris* или *Cazadores regalia*, дымъ которой такъ упоительно ласкаетъ чувства и, благоухая, разливается по комнатѣ мягкими синевархатными волнами—нѣтъ; ему принесли десятокъ изъ мелочной лавочки, сигаръ М. Неслинда № 3, цѣна 10 штукъ 7¼ коп. серебромъ. Но Иванъ Тарасовичъ курилъ грошовую неслиндовскую сигару съ наслажденіемъ; ему казалось, что прежній покой и миръ душевный возвратится опять къ нему на старой квартирѣ... И долго думалъ онъ... думалъ обо всемъ прошедшемъ, нарочно вспоминалъ всѣ малѣйшія подробности своей жизни; передъ нимъ являлась и старуха-салонница, и больная дѣвушка, и сговоръ, и свадьба, и шопотъ шафера Юліи Ивановны, и рассказъ простодушнаго помѣщика Рѣпкина—и все, и все!... Иванъ Тарасовичъ не отгонялъ отъ себя подобныхъ картинъ и воспоминаній—нѣтъ, онъ съ любовью привязался къ нимъ, анализировалъ ихъ до малѣйшихъ мелочей, растравлялъ свои душевныя раны: ему

пріятно было, когда сердце его болѣзненно сжималось, духъ замиралъ!...

„Да“, шепталъ самъ себѣ Иванъ Тарасовичъ: „тяжелы были муки, но онѣ кончились, и вспоминать ихъ пріятно!“ Тутъ онъ вздохнулъ свободнѣе, отъ глубины сердца; слезы побѣжали у него по лицу. Вслѣдствіе чего были эти слезы? Не знаю; но онѣ облегчили бѣднаго страдальца: онъ утеръ глаза, подошелъ къ окну, потянулъ дымъ изъ сигары и бросилъ несчастную сигару подъ столъ, сказавъ: „фи! какая гадость!“

Значитъ, чувства возвратились къ Ивану Тарасовичу. По моему замѣчанію, если человѣкъ, привыкшій къ хорошимъ сигарамъ, раскурить грошевою и не бросить ея съ ужасомъ далеко, далеко... то онъ опасно боленъ.

Иванъ Тарасовичъ жилъ на прежней квартирѣ, но уже не прежніе толки шли о немъ между кумушками Рождественской и Каретной частей. О немъ жалѣли и поносили его, и называли его несчастнымъ; кто честилъ мотомъ, кто—тираномъ, кто—пьяницей, кто—сумасшедшимъ, даже одинъ грамотный человѣкъ далъ ему кличку: *Рауль-Синяя-Борода, или мучитель своихъ женъ*. Всѣ знакомые нашли эту кличку превосходной, особливо дамы; но кличка не пошла въ ходъ по врожденному отвращенію русскаго народа къ длиннымъ прозваніямъ, что, какъ замѣтилъ гдѣ-то одинъ очень ученый мужъ, заставлялъ нашихъ предковъ сокращать даже самыя имена, и, вмѣсто Михаила, говорить Мишка, вмѣсто Іоанна—Ванька, вмѣсто Филиппа—Филька и т. д.

Каждое утро Иванъ Тарасовичъ, по своему обыкновенію, вставалъ, одѣвался и, вмѣсто визитовъ больнымъ, отправлялся гулять по улицамъ, предпочитая Невскому проспекту разныя линіи Песковъ, особливо Слоновую улицу—по которой когда-то, говорить, велили слона: съ тѣхъ поръ и осталось улицѣ имя Слоновой. Сюда онъ часто уходилъ по двумъ причинамъ: первое, здѣсь можно было очень хорошо философствовать, задавъ себѣ вопросъ въ родѣ слѣдующаго: гдѣ теперь слонъ? гдѣ его кости?... а улицу все кличутъ Слоною и, можетъ быть, не одно столѣтіе удержитъ она за собой это названіе! Не есть-ли это фактъ, что живое переживаетъ вѣщественность? а второе, Ивану Тарасовичу очень хорошо было извѣстно, что на Слоновой улицѣ слона не имѣется, слѣдовательно, тамъ нельзя встрѣтить праздно толпы, а въ этой толпѣ—какое-нибудь знакомое лицо прежняго пріятеля. Онъ избѣ-

галъ встрѣчи съ знакомыми лицами, потому что не отличался гардеробомъ: синій широкій скюртукъ, немного запятанный, весь въ пуху, и вытертая, измятая круглая шляпа составляли весь нарядъ его. Иванъ Тарасовичъ пренебрегалъ нарядами, но по невольному инстинкту старался избѣгать людей, видѣвшихъ его во время оно, всегда одѣтаго изысканно, даже немного чопорно. Впрочемъ, напрасно боялся Иванъ Тарасовичъ своихъ пріятелей: у него уже не было пріятелей. Пріятели, какъ мухи на сахаръ, налетаютъ шумной толпой на достаточнаго или случайнаго человѣка; примите сахаръ, мухи еще разъ прилетятъ, соберутся на мѣстѣ, гдѣ былъ сахаръ, полазятъ, пожужжать и улетятъ съ тѣмъ, чтобъ никогда болѣе не возвращаться... Всѣ друзья и пріятели оставили Ивана Тарасовича; иногда только заѣзжалъ къ нему молодой офицеръ Александръ Ивановичъ, привозилъ ему въ гостинецъ пару хорошихъ сигаръ, рассказывалъ приключенія съ тетужкой; но, видя, что Иванъ Тарасовичъ слушаетъ его будто нехотя и все о чемъ-то задумывается, довольно простоушно говорилъ:

— Мнѣ скучно у васъ, Иванъ Тарасовичъ: признайтесь, вѣрно и я вамъ наскучилъ моей болтовней? Вы хотите быть одни, да и я боюсь заболѣть отъ васъ скукой,—и Александръ Ивановичъ уѣзжалъ. Такъ шло лѣто. Дѣла Ивана Тарасовича шли все хуже и хуже; ничтожный капиталъ его истрачивался, поддержки ни откуда не было и по самымъ вѣрнымъ расчетамъ, при всей ужасной экономіи, много что въ концѣ зимы приходилось ему или носить дрова и воду, или просить милостыню.

XII.

Старый другъ лучше новыхъ двухъ.

Народная поговорка.

Вино веселитъ сердце человѣка.

Старинная истина.

Иванъ Тарасовичъ задумчиво шелъ по Слоновой улицѣ; страшная перспектива бѣдности, нищеты какъ нарочно рисовалась передъ его воображеніемъ темными красками, раздвигалась, вытягивалась далѣе и сливалась въ черную точку; ропотъ отчаянія, упреки судьбѣ шевелились на устахъ бѣднаго доктора, а на встрѣчу ему ѣдетъ коляска, запряженная парой лошадей; въ коляскѣ сидитъ франтъ не франтъ, а должно быть хорошій человѣкъ, въ благопристойномъ мѣшкѣ и въ модной шляпѣ.

Это былъ знакомый Ивана Тарасовича, одинъ изъ прелюбезныхъ коллегскихъ секретарей, весельчакъ, балагуръ, мастеръ поѣсть, попить и покурить, тысячу разъ обѣдавшій въ домѣ Ивана Тарасовича. Робко снялъ Иванъ Тарасовичъ шляпу, привѣтствуя знакомаго поклономъ; но коллежскій секретарь не замѣтилъ его и отвернулся въ сторону.

— А что, Севрюгинъ! не узнаютъ господа? отворачиваются знатные? сказалъ сзади хриплый голосъ.

Докторъ оглянулся: передъ нимъ стоялъ небритый человѣкъ, въ желтой фризовой шинели, въ поношенныхъ сапогахъ и въ старомъ истасканномъ военномъ картузѣ.

— Что тебѣ нужно? спросилъ Иванъ Тарасовичъ у фризовой шинели.

— Ого! не узнаешь старыхъ друзей! — хорошо, больно нехорошо; не бойсь, тебѣ было не очень пріятно, когда эта моська въ коляскѣ отвернула отъ тебя свою морду?..

— Кто ты такой?

— Вѣрно пятнадцать лѣтъ много измѣнили меня, когда и товарищъ не узнаетъ!.. О-охъ!.. вотъ я сѣдъ уже на половину, а тогда былъ молодъ... Развѣ ты забылъ Щелкунова—а?..

— Неужели Щелкуновъ?.. Боже мой! я тебя не видалъ со времени... отставки...

— Смерть не люблю этихъ вѣжливыхъ людей! говори просто: „со времени, какъ тебя выгнали изъ академіи“—и дѣло съ концомъ. Вѣдь ты знаешь, о чемъ говоришь, и я знаю; зачѣмъ же лисить?.. ты все по прежнему—проклятый скромникъ!..

— Нѣтъ, Щелкуновъ, я совсѣмъ не тотъ: я испыталъ много горя...

— Слава Богу, я не обманулся, судя по твоему лицу и платью, и не даромъ обратился къ тебѣ. Повѣрь, я никогда не поклонился бы тебѣ, не узналъ бы тебя, если бы встрѣтилъ въ каретѣ, въ бархатѣ, веселаго—никогда!.. Я ненавижу тебя еще въ академіи за то, что ты былъ лучше всѣхъ; я презиралъ тебя съ твоей наукой, со всѣмъ! А теперь другое дѣло. Давай руку!

— Что же вышло хорошаго? Тебя выключили, и вотъ черезъ пятнадцать лѣтъ я нахожу тебя—и не радуюсь моей встрѣчѣ.

— Да я хоть здоровъ, силенъ, посмотри на меня: давай любого коня—сбору!.. я человѣкъ! а ты что? буква ходячая; высохъ, жолтъ, тощъ и, кажется, не очень веселъ, не очень щеголяешь, не очень вкусно обѣдаешь... Чѣмъ же ты выигралъ передо мною?.. Вездѣ судьба: противъ нея не поѣдешь! Чему быть, тому не миновать.

— Оставимъ этотъ разговоръ, сказалъ

Иванъ Тарасовичъ:—не хочешь ли зайти ко мнѣ?

— Пожалуй, только съ уговоромъ. Я знаю твою спѣсь: чуръ не побрезгать и моей квартирой; я посижу у тебя и пойдемъ ко мнѣ послѣ.

— Пожалуй.

Новые пріятели, или старые знакомые, хотя, правду сказать, Севрюгинъ въ академіи никогда не говорилъ и двухъ словъ съ извѣстнымъ лѣнтяемъ Щелкуновымъ, пришли въ квартиру Ивана Тарасовича, напились чаю, Щелкуновъ спросилъ къ чаю птичьего молока и очень смѣялся, что Иванъ Тарасовичъ не понялъ, чего ему хочется, крича: „водки, братецъ, водки!“ Когда стемнѣло, Щелкуновъ потащилъ Севрюгина къ себѣ въ гости.

— У меня, братъ, не барское житъе, а весело, по пословицѣ: не красна изба углами, а красна пирогами, говорилъ Щелкуновъ дорогой Ивану Тарасовичу: живу я съ двумя товарищами тутъ же, на Пескахъ, въ Болотной улицѣ; люди они молодые, не изъ богатыхъ, порой всяко бываетъ, а придетъ первое число, получаютъ жалованье, купятъ бутылку мадерцы, да бутылочку того, другого, придутъ два три пріятеля, со скрипки или гитарой—и пошла потѣха, шумъ, братъ, пѣсни, дымъ коромысло! не замѣтишь, какъ и ночь пролетитъ... Вотъ житъе!

Иванъ Тарасовичъ шелъ и почти завидоваль разсказамъ Щелкунова.

— Что жъ ты молчишь? или не нравится тебѣ наше житъе-бытѣе?

— Не то, чтобъ не нравилось, но...

— Что же *но*? да! я и забылъ, ваше высокоблагородіе все обѣдаете у французовъ, да пьете рейнское, да знаете съ людьми богатыми... хоть они вамъ и не кланяются, хоть они рады заплевать васъ...

— Перестань, Щелкуновъ! такъ не говорятъ товарищи; я и то несчастенъ...

— Ну, коли ты товарищъ—доброе дѣло! Поступай же по товарищески—зайдемъ.

И вдругъ, схвативъ подъ-руку Ивана Тарасовича, Щелкуновъ поднялся съ нимъ на три ступени крыльца, отворилъ ногой дверь—и чудная картина представилась изумленнымъ глазамъ Севрюгина: противъ двери былъ полукруглый прилавокъ, на прилавкѣ лежали кучи изрѣзанной ломтями рыбы, колбасъ, печенки, горла и другихъ закусокъ; подлѣ нихъ возвышались горы сакъ, калачей, ситники. За прилавкомъ, на полкахъ, красовались графины и штофы различныхъ цвѣтовъ, формъ и объема. Въ интервалѣ, между прилавкомъ и полками, бѣгали и суетились двѣ бороды въ бѣлыхъ фартукахъ. Воздухъ въ комнатѣ былъ на-

поенъ какимъ-то одуряющимъ запахомъ лука, спирта и съѣстнаго.

— Петрушка! порцію селянки и полштофа испанской горечи! повелительно крикнулъ Щелкуновъ и вошелъ съ Иваномъ Тарасовичемъ въ другую комнату. Здѣсь наши пріятели сѣли въ углу за маленькій столикъ.

Прибѣжала борода, поклонилась, встряхнула головой и спросила: „На чей счетъ прикажете?“

— Ахъ, ты чухонскій рукосуй! борода безаланная! на мой! не знаешь меня, что ли?

— Какъ не знать вашей чести! много о васъ извѣстны. Деньги пожалуете, или колечко?

— Денегъ нѣтъ, а кольцо возьми. Щелкуновъ снялъ съ пальца золотое кольцо и отдалъ его бородѣ.—Да смотри ты мнѣ, знаешь: потеряется, такъ и головой не расплатишься!

— Не въ первый разъ, будьте покойны! Селянку прикажете?

— И полштофа испанской горечи!

— Это кольцо часто меня изъ бѣды выкупаетъ, замѣтилъ, смѣясь, Щелкуновъ; но лицо его приняло такое грустное выраженіе, такъ принужденная веселость измѣнила его, что Ивану Тарасовичу даже стало страшно.

— И къ чему эти селянки? робко сказалъ Иванъ Тарасовичъ.

— Не твое дѣло! Я радъ угостить старого пріятеля. Помнишь пословицу: старый другъ, лучше новыхъ двухъ? Меня еще хватить заплатить за селянку; а завтра, что Богъ дастъ.

— Неужели кольцо пойдетъ за селянку?

— Кольцо?.. Нѣтъ, другъ мой! Я не вдалъ по суткамъ, дрожалъ отъ стужи подъ заборами, а съ кольцомъ никогда не разставался... Въ залогъ я его здѣсь даю иногда, если денегъ не случится; но завтра же выкупаю—они знаютъ это, мошенники, и за кольцо дадутъ хоть на сто рублей; потеряй онъ его—я перебью всѣхъ ихъ, какъ мухъ, сожгу ихъ заведеніе и самъ сторю въ немъ! Это кольцо я отдамъ развѣ съ жизнью...

— Это вѣрно подарокъ матушки?

— Матушки я не знавалъ, отца тоже, чужіе меня выкормили... А была мнѣ разъ на вѣку свѣтлая минута—да, я полюбилъ дѣвушку, и она полюбила меня. Господи! что было за время, вспомню—смѣшно самому станетъ: для нея я готовъ былъ учиться хоть еврейской грамотѣ, сдѣлаться подъячимъ, солдатомъ, огородникомъ—всѣмъ, чего бы ни пожелала она... Но меня выгнали—послушай братъ... вытолкали изъ дома, какъ собаку!.. Эй, Петрушка, скорѣй горе-

чи!.. Да, вытолкали!.. сказали, что я еще не человекъ, что на мнѣ и чина нѣтъ никакого!.. а у меня была душа!.. видитъ Богъ, была душа не собачья... О!.. какъ я хотѣлъ разсчитаться съ этими гадкими людьми!.. Но она прислала мнѣ это кольцо и просила не дѣлать зла ей родственникамъ—и я молча глядѣлъ, какъ таяла она, какъ угасала; каждое воскресенье я видѣлъ ее въ церкви и замѣчалъ, что она быстро идетъ въ могилу. Иногда, бывало, кровь прильнетъ къ головѣ моей, сердце забьется—я сожму кулаки, взгляну на нихъ; но прямо блеснетъ мнѣ въ глаза кольцо—я вспоминаю ее волю и разжимаю кулакъ... Скоро я проводилъ ее въ могилу; пѣвчіе пѣли, родственники плакали; я одинъ не плакалъ и глядѣлъ на нихъ живымъ укоромъ. Съ тѣхъ поръ для меня все пропало, все тринтравва, кромѣ кольца: съ нимъ я пойду въ могилу!..

— Чѣмъ же ты утѣшаешься?

— А вотъ чѣмъ, продолжалъ Щелкуновъ, показывая на принесенный полуштофикъ.

— Будто это помогаетъ?

— Какъ рукой сниметъ! Все забудешь, все тебѣ ни по-чемъ: одинъ самъ большой на свѣтѣ. Попробуй!..

— Пожалуй, хоть я и не пью водки.

— Ну, что?..

— Горько, противно.

— Первая коломъ, вторая соколомъ, а прочія юркнуть, словно мелкія пташечки!..

— Не думаю.

— Увидишь на дѣлѣ. Вотъ для меня первая рюмочка такъ-себѣ, будто встрѣтился съ человѣкомъ, котораго гдѣ-то когда-то видывалъ, да не знаешь, кто онъ и откуда; вторая—уже добрый пріятель; третья—старый другъ, вотъ какъ ты, Севрюгинъ; четвертая—братъ или сестра; пятая—любовница; шестая—мать родная; седьмая—громъ и молнія!.. дальше уже я не считаю: тамъ уже я пришелъ въ себя... и знать никого не хочу.

Пока принесли селянку, и Щелкуновъ разсказывалъ систему своего питья, Иванъ Тарасовичъ окинулъ глазами общество, въ которомъ онъ находился. На самомъ видномъ мѣстѣ сидѣлъ какой-то лакей, одѣтый въ узкій фракъ, короткіе, вѣрно барскіе, брюки и необъятный шарфъ, который покрывалъ всю шею и грудь, и былъ зашпигленъ чудовищно-большой булавкой; развѣлась сколько возможно на стулѣ, лакей курилъ трубку и безпрестанно кричалъ: „Половой! трубку! да смотри Жукон! я не курю другаго“. А между прочимъ говорилъ сидѣвшему противъ кучеру: „Что мнѣ баринъ?.. что мнѣ онъ—ничего!.. Кричить, ворчить, а я и ухомъ не веду!“

— Оно такъ, замѣтилъ кучеръ:—на всякое чиханье не наздравствуешься!..

Остальные гости были народъ черно-рабочій, въ разныхъ, а болѣе въ сѣрыхъ армякахъ; они сидѣли—человѣкъ восемь—за столомъ и пили въ прикуску чай; по полштофикамъ, поставленнымъ на столѣ, можно было заключить, что они намѣрены въ послѣдствіе кутнуть порядкомъ.

Покушавъ селянки, Иванъ Тарасовичъ хотѣлъ было раскланяться и уйти, но Щелкуновъ рѣшительно не пустилъ его; онъ уже окончилъ полуштофикъ, дошелъ до грома и молніи, потребовалъ другой и присудилъ Севрюгину выпить еще рюмочку, увѣряя, что она дойдетъ соколомъ. Соколомъ не соколомъ пролетѣла рюмка, но выпилась какъ-то глаже; пріятная теплота разлилась по всѣмъ членамъ Ивана Тарасовича; легкій чадъ шумѣлъ въ головѣ, на сердцѣ отлегло, и онъ сталъ прислушиваться къ шумному говору мужиковъ, уже опорожнившихъ большую половину своихъ штофовъ.

— Что жъ, братцы, не пьете? деньги заплачены, не выливать стать, говорилъ одинъ парень, одѣтый въ синій зипунъ.

— Не бойсь, Алеха, все порѣшимъ; поѣсть, попить намъ не учиться. Правда, земляки?

— Вѣстимо, отвѣчали прочіе:—постоямъ за себя!

— Ахъ ты, Тереха, Тереха! расхвастался земляками... никакъ вашепскіе лапти растеряли, по дворамъ искали, было шесть, а нашли семь!..

Общество разсмѣялось.

— Погоди, Алеха, отвѣчалъ сѣрый зипунъ:—то костромичи; Кострома себѣ сторона, а мы галичане!..

— Просимъ прощенія, замѣтилъ синій зипунъ:—вамъ и честь и мѣсто. Вы мастера и съѣсть, и выпить. Вы толокно весломъ въ рѣкѣ мѣшали, а толокна не достали!..

— Ой-ли? Знаемъ мы васъ, москвичей: у васъ толсто звонять, да тонко ѣдать.

— А все лучше васъ, ершеѣдовъ, озерняковъ.

— И за то спасибо, хоть ерши есть, хоть живемъ на озерѣ; а у васъ, въ Москвѣ, баютъ, и рѣчки нѣту-те, течения не течения, куры въ бродъ переходятъ, просто болото!..

— Куда вамъ до Москвы! рада бѣ свинья на солнце посмотришь, да рыла не подыметъ. Наша Москва—городамъ краса. Москва стоитъ на болотѣ, ржи въ ней не молотятъ, а больше деревенскаго ѣдятъ.

Шутки становились часть-отъ-часу злѣе. Москвичъ трюнилъ надъ добрыми галичаннами, которые ни за что, ни про что, разны за синій зипунъ, угощали его на свои деньги; галицкіе мужички стали перегля-

дываться, будто выжидая сигнала начать драку; расторопная борода въ бѣломъ фартукѣ подоспѣлъ во-время:

— Что ребята? о чемъ призадумались? Наслѣдство дѣлите, что ли? пришли въ веселое заведеніе, такъ не ссориться, а веселиться! Бывалъ я и въ Москвѣ, и въ Костромѣ, и въ Галичѣ—вездѣ есть хорошие люди и вездѣ есть дрянъ... не правда ли?

— Правда, правда!

— О чемъ же заспорили? по-моему, кто ни попъ, тотъ батька!.. коли добрый человекъ хорошо ему... Прикажете-ка, господа, подать еще штофника три-четыре, да затяните пѣсню... знаете поговорку: волынка да гудокъ, сбереги нашъ домокъ.

— Ладно, а соха борона разорила дома!.. сказалъ синій зипунъ:—а я и пѣсню знаю разудалую московскую.

— Ладно, ладно, заревѣлъ сѣрый зипунъ...

— Только ты, Алеха, погоди съ своей пѣсней, замѣтилъ Тереха:—мы деньги платимъ, такъ мы уже и споемъ свою, оверную...

Мужички выпили по стаканчику, и одинъ сѣрый зипунъ затянулъ:

Какъ у дяди, у Петра
Да поймали осетра!..

Ухмыляясь, мужики подпѣли:

Ай, дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!..

При началѣ этой пѣсни, сильно сжалось сердце Иванъ Тарасовича; его воображеніе, согрѣтое испанскою горечью, живо представило ему прошедшее: и больную Юлію, и его, богатаго, довольнаго судьбой, и эту пѣсню за дверью, которая такъ ужасна показалась ему тогда... Онъ быстро схватилъ стаканъ, налилъ его водкой и выпилъ залпомъ. Между тѣмъ запѣвало, съ обычной разстановкой, затянулъ окончательные два стиха пѣсни, и когда хоръ запѣлъ припѣвъ:

Ай, дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!..

то въ хорѣ прибавился еще одинъ голосъ; онъ пѣлъ рѣзко, дико, стараясь, казалось, заглушить всѣхъ и самого-себя... Это пѣлъ Иванъ Тарасовичъ!..

XIII.

О дружба! кто тебя не знаетъ,
Не знаетъ тотъ и красныхъ дней.

Н. Карамзинъ.

Но далѣ, далѣ звукъ несется,
Слабѣй.. и—смолкнулъ за горой.

А. Пушкинъ.

Часто видѣли на Пескахъ Ивана Тарасовича съ Щелкуновымъ, идущихъ дружно, рука-объ-руку, входившихъ въ заведеніе, или выходившихъ изъ него тоже рука-объ-руку, но шедшихъ недружно, шагавшихъ въ разладъ... ихъ походка была похожа на двѣ скрипки, играющія одну и ту же пьесу, только не съ одного тона. Такъ ходилъ Иванъ Тарасовичъ до осени, продалъ понемногу всю свою мебель, все продалъ, кромѣ маленькой латинской книжки „Корнелія Непота“ и стараго рукомоиника. „Корнелія Непота“ онъ хранилъ какъ подарокъ добраго стараго учителя Ивана Павловича; онъ часто, глядя на эту книжку, вспоминалъ и покойнаго отца, и матушку, домашній кровъ, и баню въ саду, и охоту за голубями, и Ивана Павловича покоящаго: „Громъ побѣды“—и бывалъ счастливъ нѣсколько часовъ воспоминаніями. Но почему онъ дорожилъ рукомоиникомъ—никакъ не могу понять; да, кажется, и самъ онъ не въ состояніи былъ бы объяснить, хотя при всякомъ вопросѣ: „что это у васъ за дрянъ?“ заботливо глядѣлъ на рукомоиникъ и таинственно говорилъ: „эта вещь—не простая вещь!.. не даромъ Мухаммедъ предписалъ омовеніе; онъ былъ философъ, а это рукомоиникъ, да я за него не возьму Мухаммеда...“ Не имѣя чѣмъ платить за квартиру, Иванъ Тарасовичъ переѣхалъ къ своему другу Щелкунову и зажилъ въ углу подъ старыми деревянными стѣнными часами. Служащіе люди объявили, что ничего не возьмутъ за уголъ, развѣ когда Иванъ Тарасовичъ напишетъ рецептикъ.

— Видишь, другъ мой, я говорилъ тебѣ, замѣтилъ Щелкуновъ:—что это благороднѣйшіе люди; вотъ гдѣ надобно искать людей, а не въ вашихъ великолѣпныхъ гостиныхъ...

Было уже довольно холодно. Ивану Тарасовичу нечѣмъ было опохмѣлиться; онъ грустно шелъ по Слоновой улицѣ и повстрѣчалъ молоденькаго офицера Александра Ивановича. Онъ отвернулся: ему совѣстно было глядѣть на этого беззаботнаго юношу; но Александръ Ивановичъ остановилъ его вопросомъ:

— Вы ли, Иванъ Тарасовичъ!..

— A LITTLE MORE OF THE SAME OLD STORY.

— TO BE SURE, I HAVE NO MEMORY OF THE FIRST PART OF THE STORY, BUT I HAVE A FEELING THAT THE FIRST PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THAT IS ALL I CAN SAY ABOUT THE FIRST PART OF THE STORY.

— BUT I HAVE A FEELING THAT THE FIRST PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE SECOND PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE THIRD PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE FOURTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE FIFTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE SIXTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE SEVENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE EIGHTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE NINTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE TENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE ELEVENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE TWELFTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE THIRTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE FOURTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE FIFTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE SIXTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE SEVENTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE EIGHTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE NINETEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

— THE TWENTIETH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE SECOND PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE THIRD PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE FOURTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE FIFTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE SIXTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE SEVENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE EIGHTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE NINTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE ELEVENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWELFTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE THIRTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE FOURTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE FIFTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE SIXTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE SEVENTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE EIGHTEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE NINETEENTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTIETH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-FIRST PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-SECOND PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-THIRD PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-FOURTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-FIFTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

THE TWENTY-SIXTH PART OF THE STORY WAS A VERY INTERESTING ONE.

расовича и не слышалъ ничего о немъ; ни на Пескахъ, ни на Слоновой улицѣ, ни въ *заведеніи*—нигдѣ не показывалась его робкая фигура въ синемъ оборваномъ скюртукѣ—и люди забыли его.

XIV.

ЭПИЛОГЪ.

Когда постраниствуешь, воротись до-
мой,
И дымъ отечества намъ сладокъ и прия-
тенъ...

А. Грибодовъ.

Далеко отъ Петербурга была зима, злая, лютая зима, какой и старожилы не запомнятъ. На самый праздникъ Рождества Христова поднялась мятель, вьюга, и бушевала трое сутокъ, воздвигала горы среди дороги, засыпала снѣгомъ деревенскія хижинны; вѣтеръ вылъ, шумѣлъ, стоналъ, срывалъ крыши; опасно было выйти на дворъ, на улицу; но на четвертый день мятель утишилась, обезсиленный вѣтеръ улегся, и первые лучи утренняго солнца весело заиграли на прихотливыхъ горахъ, утесахъ, башняхъ, зубцахъ и фестолахъ, изваянныхъ бурей изъ снѣга. Маленькій уѣздный городокъ ожилъ; праздникъ—время хорошее, кто ему не радъ? Притомъ же, въ городъ недавно вступилъ полкъ, много было офицеровъ, говорили, что они затѣваютъ устроить благородное собраніе. Мало-по-малу, на пустыхъ улицахъ показался народъ, кое-какъ расчистили снѣгъ, пошли пѣшеходы по хрупкому снѣгу, завизжали на морозѣ кованыя полозья саней. Все ожило.

Въ большой малотопленной, или, можетъ-быть, и много-топленной, но холодной по натурѣ комнатѣ, сидѣло за длиннымъ столомъ человѣкъ десятокъ или болѣе писцовъ. Они безпрестанно дули себя въ руки и мало писали. Становой Автоматъ Человѣковичъ, въ волчьей шубѣ, подпоясанный краснымъ кушакомъ, въ теплыхъ калошахъ, ходилъ по комнатѣ, слушая бумагу, которую ему читалъ секретарь—человѣкъ съ просьбою, въ вицмундирѣ, въ теплыхъ вязанныхъ перчаткахъ.

— И принесла нелегкая этого ревизора какъ-разъ къ празднику! выразительно сказалъ становой:—да еще во время болѣзни исправника! Люди гуляютъ, а ты занимайся!.. Спасибо, хоть вы ему отрѣзали хорошенько объясненіе. Все оно, что ли?

— Еще осталась статья объ освѣщеніи.

— А ему и до этого дѣло!.. Мало, дескать,

жгутъ свѣчей! развѣ отъ этого польза казнѣ? Иной въ потемкахъ больше надѣлаетъ, нежели другой среди бѣлаго дня. Ну, читайте!

— Насчетъ освѣщенія я далъ слѣдующій отвѣтъ: „недостатки, замѣченные вашимъ высокородіемъ въ освѣщеніи, будутъ немедленно увеличены“.

— И больше ничего?

— Ничего.

— Прекрасно! коротко и ясно!.. очень хорошо!.. давайте, подмахну, да и съ плечъ долой.. А, Иванъ Павловичъ! здоровы ли вы? вскричалъ Автоматъ, обращаясь къ толстому низенькому человѣку, вошедшему въ судъ въ тулупъ изъ черныхъ барашковъ, покрытомъ синимъ сукномъ.

— Слава Богу, отвѣчалъ Иванъ Павловичъ:—вы присылали за мной? Ужъ не случилось ли опять *нашествіе мертвѣго тѣла*? Нашего брата, уѣзднаго врача, рѣдко зачѣмъ болѣе тревожатъ!..

— Вы опять насмѣхаетесь! Бѣда съ ученымъ народомъ! Впрочемъ, съ того времени, какъ вы замѣтили, у меня никогда не пишутъ *дѣло о ншествіи мертвѣго тѣла*; долго спорилъ, долго бился вотъ съ господами, да отучилъ. А къ вамъ таки есть дѣло... о чемъ бишь тамъ?

— Дѣло о найденномъ въ синемъ скюртукѣ, съ заплатками, мертвомъ тѣлѣ, въ нетрезвомъ видѣ, отвѣчалъ секретарь.

— Чтожъ я съ нимъ стану дѣлать?

— Посмотрите для порядка. Нельзя же иначе, замѣтилъ становой. — А что, вы не покупали еще новой водки? Говорятъ, удивительная.

— Слышалъ я, а не покупалъ. Какъ ваша супруга, Марта Ивановна?

— Слава Богу! Посмотрите же скорѣе на мертвое тѣло, да и пойдемъ ко мнѣ на пироги... Знаете, ихъ задерживать не слѣдуетъ: того и гляди послѣ мятели, словно дровъ, навезутъ изъ уѣзда!

Иванъ Павловичъ подошелъ къ мерзлomu тѣлу; оно лежало подъ рогожей; сняли рогожу, стряхнули снѣгъ, и ему показалось, что гдѣ-то онъ видѣлъ это лицо.

— А что у него отдулось за пазухой? спросилъ онъ сторожей.

— Не знаемъ, должно быть, снѣгъ: мы не смѣли смотрѣть.

— Посмотрите.

Сторожъ съ трудомъ отстегнулъ примерзшій скюртукъ, запустилъ руку въ боковую карманъ и вынулъ оттуда небольшую книгу въ пергаментѣ.

Иванъ Павловичъ раскрылъ книгу: это былъ „Корнелій Непотъ“, съ его, Ивана Павловича, подписью. Потомъ онъ пристально посмотрѣлъ на безжизненное лицо



PG
3337
.H7
1902
v.1

Stanford University Libr
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

